

*Хаджи-Мурат Мугуев*

# БУЙНЫЙ ТЕРЕК





**Хаджи-Мурат Магометович  
МУГУЕВ  
(1893–1968)**

*Серия*

# **Кавказские истории**

Основана в 2010 году  
Благотворительным фондом  
профессора З. М. Хадонова



Хаджи-Мурат Мугуев

# БУЙНЫЙ ТЕРЕК

*Исторический роман*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕСПЕКТ»

*Владикавказ 2012*



**УДК Р2**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6**  
**М-89**

**Мугуев Х.-М.**

**М-89**      **Буйный Терек: исторический роман/Х.-М. Мугуев –**  
**Владикавказ: Респект, 2012. – 752 с. – («Кавказские истории»: серия**  
**ист. романов)**

**ISBN 978-5-905066-05-4**

Исторический роман выдающего писателя Хаджи-Мурата Мугуева «Буйный Терек» охватывает события, которые происходили на Кавказе в первой половине XIX века. В книге ярко воссозданы образы наместника Кавказа Ермолова, духовного лидера мусульман Гази-Магомеда, его последователя Шамиля и многих других представителей той эпохи.

**УДК Р2**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6**

**ISBN 978-5-905066-05-4**

© Благотворительный фонд З. М. Хадонова  
© Издательство «Респект», 2012  
© Иллюстрации Савааев С. Б.

## Предисловие

Есть книги, которые сохраняют актуальность, несмотря на коренные изменения в политическом климате, социальном строе и общественной психологии. Не так много примеров тому найдем мы в жанре исторического романа, поскольку историческое повествование чаще всего определяется идеологическим режимом той эпохи, в которой создается произведение. Успех, жизнестойкость, востребованность исторического романа всегда говорят, помимо прочего, о внутренней свободе автора, о широте воплощенного в нем мировоззрения, о глубине запечатленной в нем исторической правды.

Именно к таким романам относится книга, которую вы держите в руках: 5-е издание знаменитого романа Хаджи-Мурата Мугуева «Буйный Терек». Никакие политические катаклизмы и поветрия не в состоянии изменить русло мугуевского Терека, посеять сомнения в художественной правдивости его текста и расшатать его смысловую цельность.

Имя автора этого романа хорошо известно старшему поколению, которое зачитывалось его произведениями. Хаджи-Мурат Магометович Мугуев (21 марта 1893 г., станица Черноярская Терской области – 3 ноября 1968 г., Москва) – крупнейший представитель осетинской русскоязычной литературы, ветеран трех войн (Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной), кавалер многих орденов и медалей. Вся жизнь Хаджи-Мурата Мугуева поистине была «буйным Терekom»; это один из наших самых заслуженных соотечественников.

Глубоким смыслом исполнено для нас, его соплеменников и читателей, именно то обстоятельство, что он органично соединил в своем облике черты писателя и воина. Не зря наибольшей популярностью (а Мугуев относился к числу самых читаемых писателей) пользовались его военные хроники, произведения военно-приключенческого, военно-детективного и, наконец, военно-исторического жанра: «К берегам Тигра», «Врата Багдада», «Капитан Келли», «Степной ветер», «Весенний поток», «Огненная лапа», «Господин из Стамбула», «Градоначальник», «Кукла госпожи Барк», «В тихом городке», «Буйный Терек». «Военная тема, солдатский героизм, повседневный и обыденный, стал лейтмотивом всего творчества Мугуева, и сам он впитал доблестные черты русского солдата и славные традиции прогрессивной части русского офицер-

ства... Его книги овеяны трагической романтикой подвига...», – писал прозаик Август Явич.

В самом деле, Мугуев оставил нам произведения умные, живые, полнокровные, мобилизующие дух и пробуждающие сознание. Один из героев видного советского писателя Виля Липатова, простой сибирский паренек Венька, с головой погружен в чтение повести Хаджи-Мурата Мугуева «Кукла госпожи Барк»: «Вот живут же люди! – восклицает он. – Борются, любят, побеждают! А мы как живем? Всю жизнь здесь проторчишь, а ничего путного не сделаешь».

Мугуева читали и в Сибири, и на Кавказе, и в Европе, и в Азии (произведения его переведены на одиннадцать иностранных языков); в его личном архиве, который хранится в Музее осетинской литературы им. К. Л. Хетагурова, – сотни писем читателей с восторженными отзывами и выражением искренней благодарности.

Естественно, что «Буйный Терек» занимает особое место в литературном наследии Хаджи-Мурата Мугуева. Роман этот является, без сомнения, одним из высших достижений автора и в художественном, и в идейном отношении. Это – самая крупная и хронологически последняя вещь Мугуева, работе над которой он посвятил, по существу, не одно десятилетие, ибо начал ее еще в 1937 году первыми набросками повести «Казимуллы». Роман вобрал в себя полувековой творческий опыт Мугуева, опосредованно отразил развитие его стиля и воплотил его нравственно-этические идеалы в момент их высшего оформления и того полного расцвета, который бывает присущ последним творениям художников и заветаниям мудрых и справедливых людей.

Надо заметить, что в 50–60-е годы – в период непосредственной работы над романом – здоровье писателя было уже сильно подорвано (второй том произведения вышел в свет только после кончины автора). Мугуев, как старый солдат, предпочитал не упоминать о своем самочувствии, но, отвечая своим нетерпеливым читателям, иногда бывал вынужден и «оправдываться». Так, жителям с.Черкей, что в Дагестане, он писал: «Очень много трудностей встает передо мной, так как архивные материалы порой разноречивы, порой недоступны, а самое главное... у меня очень плохо со зрением... Писать мне крайне трудно, а читать вообще нельзя, и в моей работе по мере сил мне помогают жена и сын...».

Были, конечно, и другого рода «трудности», обусловленные темой романа. Писатель обратился к одной из самых драматичных и сложных эпох в истории отношений России и Северного Кавказа – к началу мюридистского движения, к первой активной фазе Кавказской войны XIX века, к таким неоднозначным историческим лицам, как генералы Ермолов и Паскевич, первый имам Дагестана и Чечни Гази-Магомед и его будущие преемники – Гамзат-бек, Шамиль и др. В отношении этой эпохи и этих реальных исторических деятелей и по сей день, несмотря

на обилие исследований, нет полного согласия ни в академической науке, ни в эстетической памяти современников, как не было его и в середине прошлого века, несмотря даже на жесткий тоталитарный регламент. Не случайно в предисловии к 4-му изданию романа профессор И. Н. Бородин подробно остановился на проблеме идеологического осмысления мюридизма и образов его предводителей. Учитывая принципиальность этого вопроса для советской власти, нельзя не задаться вопросом: как Мугуев избежал опалы, ни на йоту не будучи конформистом?

Дело, безусловно, в том, что, освещая конкретную историческую эпоху, Мугуев дал представление о вневременном, непреходящем, вечном; его роман повествует не только о прошлом, но и о будущем. Образам Ермолова и Гази-Магомеда (пусть, как утверждала критика, чрезмерно идеализированным), поручика Небольсина и ссыльного декабриста прапорщика Булаковича, «унтера» Елохина, простых горцев Нур-Али и Абу-Бекира, капитана Желтухина и Кунта-эфенди, а также наших соплеменников – хорунжего Туганова и прапорщика Абисалова – характерны высокий гуманистический пафос и тонкое, притягательное обаяние, которое обезоруживает любой трезвый «научный» взгляд и политический скептицизм. Россия и Кавказ у Мугуева вопреки продолжающемуся кровопролитию уже составляют единое органическое целое благодаря глубокой взаимной симпатии между героями, хоть и стоящими пока по разные стороны Кавказской линии.

Этические вопросы, поднятые Мугуевым, в высшей степени важны для осмысления нынешнего положения вещей в стране и на Кавказе, как в области политики, общественной жизни, так и в сфере культуры, духовного бытия, «движения идей» в эпоху глобализации. Больше того: одиозные тенденции в современных межэтнических и межрелигиозных отношениях позволяют утверждать, что настоящее издание романа «Буйный Терек» гораздо более актуально и своевременно, чем все предыдущие.

Ирлан Хугаев,  
доктор филологических наук





# ЧАСТЬ I



## Глава 1

Лето в этом году было особенно сырым и грязным. Вторую неделю шли почти не прекращавшиеся дожди, и броды через Сунжу стали глубоки и опасны. Набухшая земля не выдерживала тяжести орудий, и серые пушки застревали у самой реки. Избитая и изъезженная колесами фур дорога мокла под дождем, блестя налившимися до краев рытвинами.

Низкорослые кони линейцев и драгун по самое стремя уходили в жидкую, зловонную грязь, из которой егеря, матерясь и чертыхаясь, тянули застрявшее орудие.

Подняв над головой ружья и пехотные мешки – «сидоры» – с порохом и сухарями, гуськом переходили егеря, стараясь ступать один за другим, не сбиваясь с переправы. Часть солдат была без штанов, с подоткнутыми под пояса рубахами. На другой стороне реки солдаты приводили себя в порядок, обогревались у дымившихся костров, надевали серые холстинковые штаны и строились в шеренги, продвигаясь в сторону густого, сплошного леса, у опушки которого маячили конные казаки.

Звеня и хлюпая, катились картечницы, единороги и зарядные ящики, оставляя глубокие следы в посеченной дождем земле.

Опустив головы и защищаясь от ветра и дождя башлыками, папахами и фуражками, медленно текли, переливаясь через Сунжу, полки... Егеря, артиллеристы, куринцы<sup>1</sup>, драгуны, юнкера, офицеры, маркитанты и мирные горцы (переводчики и торговцы) пешком, на конях, на лафетах и на пушках переходили брод. Звенели орудия, стучали телеги, звякали штыки, и короткая, полуоборванная, сумрачная речь стыла под дождем.

У самой переправы, нахлобучив на седые дугообразные брови низкую, лохматую папаху, стоял на курганчике крупный, атлетического сложения человек, одетый в коричневый архалук и накинутую поверх него косматую бурку. Его левая рука привычно играла серебряной, черненной ручкой кавказской пашки, а сосредоточенное и нахмуренное лицо внимательно следило за переправой.

– Э-эй!.. Егеря-а-а! – протяжно и звонко послышалось с противоположной стороны, и человек в бурке невольно поднял глаза, глядя на полуголого солдата, размахивавшего на другой стороне реки руками и продолжавшего неистово кричать.

---

<sup>1</sup> Солдаты пехотного Куринского полка.





– Э-эй, третья рота, заberi у командирского драбанта сухие штаны!..

Смех солдат огласил переправу.

Невысокий брюнет, сухой, с умными глазами, в полувоенном сюртуке и высокой дворянской фуражке, стоявший рядом с седым великаном, расхохотался.

– Чему смеешься, Мазарович? – обернувшись к нему, спросил тот.

– Смешно стало, ваше высокопревосходительство, – продолжая улыбаться, сказал человек в дворянской фуражке, – идея смешная пришла в голову. Прошу, чтоб не почли меня дерзким, но смотрю я на вас, на ваш наряд да на этих боевых голодранцев, – кивая на переправлявшихся, продолжал он, – и знаете, Алексей Петрович, пришла мне вольная мысль, что вы не генерал и не главнокомандующий, а атаман разбойников.

Второй улыбнулся, и по его хмурому лицу пробежала светлая тень.

– А что! Ведаешь ли ты, о чем мыслил я в эту минуту!.. – сказал он. – Я глядел на сии голые ж-ы и думал, что бы сказал государь, если бы внезапно попал сюда и увидел этих фигурантов!.. Но... – поднимая руку и как бы останавливая вовсе не возражавшего ему Мазаровича, сказал: – Но я ручаюсь тебе, что, если б я только за два дня сведал о приезде государя, они, вот эти самые фигуранты, были бы такими же лицедеями, как и у них, в Петербурге. Эх, Мазарович, Мазарович, солдат не тот, кто с носка шагает на параде да артикул отбивает... – Он не успел договорить фразы. Далеко на опушке, около казачьих дозоров, глухо и часто захлопали выстрелы.

Казачья лава медленно подалась назад, и одиночные всадники начали показываться из леса.

Переправившиеся роты стали быстро собираться в строй. Прокатила артиллерия. Заторопились оставшиеся, еще не перешедшие брод батальоны, и голубые значки линейцев закачались над конями. Выстрелы зачастили, и пехота скорым шагом двинулась вперед ко все еще отходившим казакам.

Из леса все чаще и настойчивей показывались конные группы противника, какой-то удалец на сером коне, в белой папахе, дразня стрелявших казаков, нарочито медленно, почти шагом, проехался вдоль фронта и скрылся в кустах.

Тускло и бледно вспыхнуло между деревьями огненное пятно. Звения и завывая, за пехотой и казаками упало первое ядро. Звуки выстрела и разрыва глухо докатились до места переправы.

– Видать, Сурхайка окаянный перегордил. Отчаянная башка, – сказал человек в бурке и, сопровождаемый Мазаровичем, сошел с кургана.

Через секунду, обгоняя переходивших реку людей и поднимая брызги воды, они рысцей перешли Сунжу и подъехали к вытянувшемуся в боевую колонну батальону Ширванского полка.



Человек в бурке был главнокомандующим Кавказской армией генерал Ермолов, выступивший 12 июня 1825 года из еще не оконченной стройкой крепостцы Грозной в Дагестан, в поход против прибывшего из Персии казикумухского владетеля Сурхай-хана, объявившего русским войну.

Сопровождавший его в этом походе Мазарович, сподвижник Грибоедова, был русским поверенным при персидском дворе. Ввиду ожидавшейся войны с Персией Мазарович ехал с докладом в Петербург и по дороге навестил в походе своего старого друга и покровителя Ермолова.

## Глава 2

*Ах, прожита в введении юность счастливая,  
Остаток же дней приходится посвятить лишь раскаянию  
В том, что не ценил ты счастья.  
Ах, рвется сердце к черному локону. Но берегись увлечься,  
Допустишь оплошность, и оно будет разбито...  
Ведь твоя власть и богатство – лишь дар слепой судьбы,  
А ты, муравей ничтожный, воображал, что сам ты мудро создал их...  
Какая тоска! Даже совестно ее выражать,  
Да и как ее выразишь... Не найдешь и слов.  
Успокоение душе даст лишь чистый ветерок,  
Пропитанный утренним ароматом гиацинта...*

Из-за невысокой глиняной стены слышались слова песни и мягкое позвякивание струн пандура, нарушаемое глубокими сочувственными вздохами слушающих.

Певец смолк.

– О, валлах-биллях, как это верно. Все судьба! Все в воле Аллаха!

Снова донеслись из-за стены голоса растроганных песней людей. Пандур снова мягко затренькал, и его позвякивание слилось со звоном колокольчика бегавшего по двору неугомонного телка.

Один из четырех муталимов<sup>1</sup>, сидевших на полу на пестром кюринском ковре, беспокойно оглянулся на хмурого, ушедшего в чтение Корана невысокого, приземистого человека с небольшой курчавой бородой. Муталим несколько секунд медлил и затем, словно решившись, быстро вскочил на ноги и с размаху широко распахнул дверь.

Яркий солнечный свет, аромат распустившихся яблонь и жалобные стоны пандура проникли в низкую прохладную саклю. Солнечные блики, прорвавшись сквозь листву, пробежали по комнате, по бледным выцветшим узорам паласа и, заиграв на рукоятке кинжала муталима, застыли на узорных, писанных тушью буквах Корана.

<sup>1</sup> Студенты богословия. (араб.)



*...О, забудь тоску, легкомысленный,*

*Ведь жизнь молодая прошла.*

*Дни юности и прелесть любви минули.*

*Луноподобный гранат через какой-нибудь месяц теряет свежесть.*

Человек, читавший книгу, заложил ее соломинкой и, снимая с колен, молча и пытливо взглянул на товарищей. Первый муталим, перегнувшись через порог и держась за притолоку низенькой двери, с застывшей на лице улыбкой слушал невидимого певца.

Двое других, прикрыв ладонями свитки с толкованиями Корана, блаженно улыбались, полные молодого томления, вызванного в них словами певца. Их жадные к шуму жизни уши радостно ловили все острее звучащие слова.

*...Эй, путник в жизни... проснись... Ведь листья поблекли,*

*Волосы стали белы, блеск очей потух, и плод исчез...*

– Валлахи-билляхи, Шамиль, правильно поет кумыкский ашиг, – оборачиваясь к серьезному и внимательному соседу, заговорил первый муталим. – Жизнь наша течет быстрее, чем Койсу. Упустил ее начало, убежит и конец... – задумчиво произнес он, покачивая головой. – Давно ли мы с тобою бегали по оврагам Гимр, дерясь с мальчишками аварцев...

– А теперь, – перебивая его и вставая с места, сказал другой, – «черный локон и разбитое сердце»?

Муталимы засмеялись, а певец, словно отвечая на вопрос, пропел последние слова своей песни:

*Так проснись же от сна беспечности!*

*Ведь жизнь твоя проходит даром,*

*Цветник жизни увял, и даже осень прошла!*

Шамиль внимательно глядел на опустившего голову приятеля. Его крупное и выразительное лицо было спокойно, и только глубоко сидевшие глаза сузились и подернулись печалью.

Он что-то хотел сказать, но на площади снова раздались слова ашига, рассказывающего слушателям о пропетой им песне.

– Эти мудрые слова оставил нам в назидание известный Фатали-ага сальянский. Его высокий ум знал, что судьба, написанная в небесах, не может измениться на земле. Смерть придет к каждому, а потому помни, что жизнь твоя уходит, цени и береги ее.

Толпа сочувственно зашумела, и в комнату студентов долетели вздохи, обрывки слов и покашливание.

– Ох верно! Мудро сказал Фатали-ага... Правильная речь! Правильная песня!

– «От Бога мы изошли, к нему же и вернемся», – говорит несомненная книга... – снова заговорил ашиг. – Ни один волос не упадет с головы правоверного, если этого не захочет Аллах! Все, что есть, устроено им, и не нам, ничтожным червям земли, изменять его порядок...



Шамиль, внимательно слушавший слова ашига, хмуро усмехнулся и поднял глаза на своих друзей.

– Ты слышишь, Абакар? Народу говорят, что все устроено Аллахом, и дурное и хорошее. И змея, которая кусает человека, и муллы, которые продали Аллаха и шариат, и русские, и правоверные... Все от Бога... – Он устало засмеялся. – Видишь, Саид, и ты, Абакар, про какой локон поет кумык?

В эту минуту над аулом неожиданно разлился долгий и протяжный крик. Муталимы подняли головы.

Крик рос, и слова кричавшего явственней доносились до них.

– Э-э-й-й... лю-ди-и! Пра-во-верные! Слу-у-шай-те все-е!

Ашиг, толпа и даже дети, игравшие у родника, смолкли.

Муталимы и Шамиль поднялись.

– Приехали друзья наши и братья из Чечни и Кази-Кумуха с письмами и благословением от святого шейха Магомеда-Кадукли и храброго Сурхай-хана. Все, кому это надлежит слышать, да услышат и соберутся на гудекан<sup>1</sup> у мечети...

Прокричал будун<sup>2</sup>. Секунду длилась пауза, и затем за стеной вновь поднялся шум. Проскакал конный. Заскрипело колесо арбы, и люди, занятые новой вестью, шумно толкуя о событии, стали расходиться.

– Надо идти. Эти гости будут поинтереснее ашига... – словно в раздумье, сказал Шамиль, подтянув слегка опавший кинжал, надел папаху и, разглаживая молодую курчавую бороду, пошел к выходу.

Абакар, Магома и Саид, обрадованные неожиданным перерывом занятий, весело двинулись за ним, почтительно отставая на полшага от своего сурового и не по летам серьезного руководителя.

Аул Унцукуль славился во всей округе изобилием хорошей ключевой воды, которая была проведена в него подземными водопроводами из большого ключа, бившего из земли верстах в трех от аула. Ключ выбивался наружу двумя фонтанами в противоположных концах аула. Один из них находился около мечети, рядом с которой была построена сакля с большим четырехугольным бассейном, служившим молещикам для омовения. Вода здесь разделялась на два рукава – один шел в бассейн, другой же к фонтану за мечетью.

Второй фонтан был расположен в конце аула. Около него раскинулась маленькая площадка, сдавленная стенами окружавших ее домов. Сюда собиралась мужская аульская молодежь поглядеть на пришедших за водой девушек и женщин.

К первому фонтану никто из молодежи не ходил, потому что там всегда сидели постоянные посетители мечети – пожилые люди и старики, своим присутствием стеснявшие молодежь.

<sup>1</sup> Площадь.

<sup>2</sup> Аульский глашатай.





Но сейчас площадь была запружена народом. Почти все крыши саклей, окружавших ее, были заполнены женщинами, расположившимися на них и окруженными своим разнообразным потомством. Из узких, кривых улочек к площади шли люди. Босоногие мальчишки сновали среди них. У фонтана, под большой выбеленной стеной, лежал длинный ряд плохо отесанных камней, служивших старикам сиденьями, но сейчас старики и все наиболее почтенные люди аула были в мечети, где шел маслаат<sup>1</sup>.

Молодежь, как всегда, несколько буйная и бесстыдная, не стесненная присутствием стариков, шумно расселась на камнях, разговаривая и перебрасываясь шутками между собой.

Несмотря на жаркий день, большинство было в овчинных тулупах, накинутах поверх грязных бязевых или ситцевых рубашек. Под шубой сверх рубашки у каждого висел кинжал на широком ремне, а у некоторых, наиболее франтоватых, из-за пояса торчали пистолеты, «дамбача». На ногах у них были персидские или же местные шерстяные чулки, у некоторых сверх чулок были надеты сафьяновые чупаки. Иные ходили просто в войлочных сапогах и грубых шерстяных шароварах, надевавшихся без нижнего белья, которое вообще в те времена было совсем неведомо горцам.

Усы и бороды большинства, окрашенные в красный цвет хной и смазанные желудочным бараньим жиром, ярко горели под лучами жаркого дагестанского солнца. Почти все держали в зубах трубочки с длинным чубуком и, лениво покуривая, выпускали дым от скверного цудахарского табака, поминутно сплевывая по сторонам.

Двери мечети были плотно прикрыты и лишь изредка открывались для запоздавших, степенно входивших стариков.

Толпа, уставшая от ожидания и неудовлетворенного любопытства, стала развлекаться, галдя, ссорясь, смеясь и перешучиваясь со стоявшими на плоских крышах женщинами.

— Если б у тебя не было этой крыши, где бы ты стояла? — крикнул снизу один из молодежи, обращаясь к девушке, примостившейся на крыше соседней сакли.

— Если б у тебя не было языка, как бы ты разговаривал? — не глядя на него, ответила девушка.

— Не говори с ней, — вмешался молодой человек с выкрашенными хной усами, в франтоватой, одетой набекрень папахе, — ведь я на ней женюсь. Не так ли? — нагло подмигивая девушке, сказал он.

— Прежде высморкайся хорошенько, бродячая собака!.. — сердито отрезала девушка и быстро перешла на другую сторону крыши.

В толпе засмеялись.

— Вот и возьми!.. Дождался угощения, мальчишка?

---

<sup>1</sup> Совещание. В те времена все политические и общественно-бытовые вопросы разрешались маслаатом в мечетях.



Красноусый молодец презрительно усмехнулся и, обернувшись к другу, сказал:

– Дай-ка мне табаку на одну трубку, двоюродный братец!

– Кто ест грязь, у того на поясе должна быть и ложка! – спокойно раздувая огонь, отрезал второй.

– Ах ты, упавший из-под хвоста собаки. Да лопнет живот, родивший тебя! – озлился первый и под хохот окружающих отошел в сторону.

В эту минуту дверь мечети открылась, и все замолчали. Шум затих, смолкли даже галдевшие на крышах женщины.

На лестнице показался будун мечети. Он поднял над головою руку, и полная тишина повисла над людьми.

– Правоверные! Здесь ли почтенный Шамиль-эфенди, сын гимринского Дингоу-Магомеда? – спросил он, оглядывая залитую людьми площадь.

– Здесь!

Раздвигая толпу, Шамиль вышел вперед и поднялся к будуну.

– Идем! Ты грамотный и хороший мусульманин, будешь читать письмо шейха Магомеда.

Дверь закрылась, и площадь снова заполнилась гулом и пылью.

На следующий день в аул Унцукуль начали собираться многочисленные гости, приглашенные из разных мест Дагестана для обсуждения вопросов, вызванных приездом персидских послов.

В пристройке мечети происходило совещание съехавшихся из дальних аулов представителей больших и сильных общин. Здесь были люди из Апильты и из большого богатого Гергибиля, из Эрпели и из Гимр, из Орота и Ходжал-Махи.

Все они, оповещенные гонцами с раннего утра, прибыли в Унцукуль, чтобы обсудить письмо муллы Магомеда-Кадукли и прослушать милостивый ферман великого шаха Персии, специально написанный и посланный в Дагестан.

В просторной квадратной сакле с высокими узкими окнами расположилось до сорока человек. Здесь были кумыки, даргинцы, казикумухцы, аварцы, лаки и даже двое чеченцев, прибывших через Анди и Хунзах.

Люди сидели на полу, устланном шемахинскими коврами и паласами. Наиболее почтенные сидели у стен, опираясь на мутаки. Другие, полуприсев на корточки, внимательно и с почтением глядели на двух чернобородых персиян в высоких каракулевых шапках, привезших шахский ферман. Из-под черных шелковых аб, наброшенных на кафтаны, высовывались круглые, шишкообразные рукоятки пистолетов, расписанных золотым узором по стволу. Оба персиянина, представлявшие особу пославшего их шаха, восседали важно и степенно посреди стариков, изредка оправляя свои длинные, в завитках, черные бороды. Справа от них, опустив голову и задумчиво глядя свернутые атласные свитки, сидел мулла Алибек, по-



сол и поверенный хана Сурхая, прибывший сюда из Табасарани, где он уже успел благоприятно провести свою миссию. За ним в надвинутой по самые брови папахе сидел гимринский представитель, Гази-Магомед<sup>1</sup>, ученый алим, богослов и наставник. Несмотря на то что ему было не более сорока-сорока двух лет, было видно, что этот энергичный, серьезный и решительный человек играет здесь, среди этого собрания, немаловажную роль. Откинувшись слегка назад и опираясь всем телом о сидящего за ним Шамиля, он что-то тихо говорил ему, и молодой Шамиль легко и быстро записывал на сером листе бумаги его слова. Рядом с ним с озабоченным и невеселым лицом сидел беглый кумыкский князь Айтемир Биерасланов, яростный враг русских, уже три года скрывавшийся от их мести в горах. У входа стоял небольшой шестиугольный столик на коротеньких ножках, у которого сидел катиб (писец). На столе лежала бумага, придавленная калимданом (пеналом) и круглой чернильницей. Каждый из входивших нагибался к писцу и, называя себя и свой аул, ставил мухур (печать) и оттиск своего указательного пальца у того места, где катиб выводил арабскими буквами имя делегата и название приславшей его общины. У стен, у входа и вдоль бассейна стояли молодые и бедные горцы. Большею частью это были местные унцукульцы, уже выделившие на съезд своих представителей, но тем не менее из любопытства пришедшие сюда. Стоя в почтительных позах, не смея опереться о стены, они с любопытством глядели на важных и богатых гостей, съехавшихся издалека.

У бассейна, поджав под себя ноги, сидел красноглазый, с огненно-рыжими всклокоченными волосами человек. Около него, чуть поодаль от остальных, расположилось несколько человек, видимо, примыкавших к нему. Они настороженно прислушивались к словам делегатов. Рыжеволосый, угрюмо ухмыляясь, с неудовольствием оглядывал собравшихся, и по его кирпично-красному лицу пробегало что-то похожее на усмешку.

Катиб, не поднимаясь с колен, поклонился и что-то почтительно передал мулле Алибеку. Тот, пригнувшись к уху старейшего из унцукульских делегатов, богатому и всеми уважаемому Саиду, шепнул:

— Готово!

Саид поднялся и, воздевая над головой руки, торжественно и несколько театрально произнес:

— Во имя Аллаха милосердного и милостивого!

Все скороговоркой повторили его слова, и Саид продолжал:

— Правоверные! От братьев наших по вере, храброго и мудрого Сурхай-хана казикумухского и поборника святого ислама муллы Магомеда, приехали послы. Они ехали как гости и как друзья. Вместе с ними мы в наших бедных горах видим высоких послов непобедимого царя царей, грозного хункяра<sup>2</sup> — шаха Персии.

<sup>1</sup> В те времена русские называли его Кази-муллой.

<sup>2</sup> Кровопроливца. Один из титулов шахов Персии.



При этих словах Саид, сложив руки на груди, низко поклонился по направлению сидевших персиян. Оба посла, подняв глаза, склонили головы и в один голос произнесли:

— Бе чапм!<sup>1</sup>

Зрители теснились у дверей, разглядывая редких гостей, остроконечные шапки которых вновь поднялись и заколыхались над лохматыми папахами горцев.

— Великий хункяр Фетх-Али шах шлет нам свой милостивый ферман, который мы огласим позже. И он, и Сурхай-хан, и мулла Кадукли зовут нас на великую, кровавую войну с неверными москоу, грозящими нашим домам.

Гул и восклицания пробежали по толпе.

При последних словах Саида рыжеволосый аварец снова ухмыльнулся и многозначительно поглядел на сидевших рядом с ним людей.

Шамиль, не переставая записывать слова Саида, чуть толкнул локтем Гази-Магомед.

Гази-Магомед пристально поглядел на все еще улыбавшегося аварца и, слегка нахмурившись, отвернулся.

— ...Здесь собрались почти все лучшие мужи нашего совета. Вы, разумнейшие и богатейшие люди всего района, съехались, и да подскажет Аллах вашим сердцам, как поступить!

Саид сел, вопросительно глядя на Алибека-муллу, но неожиданно поднялся Гази-Магомед. Он стремительно шагнул вперед и быстро и взволнованно заговорил, оглядывая всех:

— Люди! Братья! Мужчины!

Страстность и порывистость его речи была такой бурной, что даже послы шаха в удивлении подняли на него глаза.

— Братья! Помните, что сегодня тот самый день и час, когда на весы нашей жизни положена наша судьба! — воскликнул он звонко и страстно. — Сегодня от правильного решения истины зависит наша свобода, наша жизнь и жизнь пославших нас сюда людей. Помните вы, богатые, — он резко оглянулся на сидевших у стены людей, — и вы, ханы, нуцалы<sup>2</sup> и беки, — он быстро повернулся к поднявшему на него красные, неприветливые глаза аварцу и, почти выпрыгнув из круга и потрясая руками, указал на столпившихся у дверей горцев, — и вы, бедняки и неимущие, что потеряете все! И жизнь, и хлеб, и свободу! И русский царь повезет на вас камни и воду, как на скоте! — Задыхаясь, он пронзительно выкрикнул вновь: — Как на скоте, если вы сегодня не будете людьми!

Шамиль, отложив бумагу на пол, с восхищением смотрел на него. Персияне, не понимавшие языка, обеспокоенные страстностью и резкими

<sup>1</sup> К вашим услугам.

<sup>2</sup> Знатные люди, дворяне.





движениями говорившего, тревожно переглянулись, но мулла Алибек что-то шепнул им, успокоив посланцев шаха.

Алибек встал и, низко кланяясь послам персидского шаха, принял из их рук свиток, перевязанный синим шнуром с красным сургучом, и, поцеловав его, многозначительно сказал:

— Ферман его шахского величества...

В комнате стало тихо. Все затаили дыхание, и десятки глаз внимательно следили за пальцами муллы Алибека, осторожно разворачивавшими ферман.

— «Мои верные аварцы, кумыки, даргинцы и все истинно мусульманские народы храброго Дагестана! Ныне я, шах Персии, Грузии и Дагестана, земная тень Аллаха и средоточие вселенной, сообщаю вам, что по окончании нашего Рамазана Уразы<sup>1</sup> буду с войсками в городе Тифлисе и очищу вас от русского порабощения...»

Чтец сделал паузу, и его голос отдался эхом в высоких сводах пристройки.

Слушатели смотрели на развернутый свиток грозного персидского шаха, и только чей-то старческий взволнованный голос тихо произнес:

— Иншаллах!

Алибек-мулла продолжал:

— «...Буде же сего не учиню, то не буду я в свете шахом Ирана и хуньяром-кровапроливцем. К вам же, верные дагестанцы, в то время, по окончании Уразы, пришлю с войсками Нох-хана, которого снабжу немало-численной казной, и награжу вас по заслугам примерно, в чем уверяю святым Алкораном...»

Сидевшие около рыжебородого аварца люди переглянулись, но, видя его нахмуренное лицо, потупились, продолжая слушать муллу.

— «...Провиант старайтесь закупать сколько можно, для чего употребите ваше имение. По прибытии же хана будет ему приказано от меня уплатить каждому понесенные убытки, только не покоряйтесь русским, повинуйтесь моим предписаниям и делайте вред соседям вашим».

Мулла молча поклонился степенно сидевшим персидским послам и, вновь поцеловав свиток, бережно его свернул и передал Шамилю.

Несколько любопытных, заинтересовавшихся цветными чернилами фермана и огромной, болтавшейся на шнурке печатью, потянулись к нему. Но Шамиль резко отдернул руку и, кладя свиток себе на колени, гневно взглянул на них.

Шум затих.

Гази-Магомед, взяв второе письмо, перешагнул через ноги сидевших послов и, выйдя на середину, отчеканивая слова, прочел:

— «От благородного эмира Сурхай-хана всем поборникам истинной веры! Сим объявляется народу с сего дня, а день этот первое число Раби-

---

<sup>1</sup> Пост.



уль-Эвваля тысяча двести сорок первого года Гиджры, что эмир Сурхай-хан, и кадий Сунгур кумухский, и почтенный мулла Магомед-Кадукли чеченский, а также и остальные властители города Кумуха и Шатоя, вожди, старейшины, ученые, почтенные и простые люди заключили договор в том, что будут непримиримо сражаться с врагом и не заключат самостоятельно, отдельно друг от друга, с ним ни мира, ни перемирия. К чему и вас, храбрые братья, в письме сем призываем! А также договор и о том, что с этого дня должен быть мир и порядок среди мусульман и что все должны содействовать друг другу в честном поведении и богобоязненности. Что за каждое нарушение этого договора, буде то убийство мусульманина или только обнажение на него шапки или кинжала, безразлично, будет объявлен штраф в двадцать пять туманов русского серебра в пользу войск, дерущихся против неверных. Если кто сопутствовал или содействовал подобному лицу в таком деле, хотя бы и сам не обнажал оружия, или кто торговал водкой или виноградной бузой, а также пьянствовал, с того возьмется штраф: один трехгодовалый бык, кто же даст или возьмет имущество у другого в качестве процента, хотя бы гарнец зерна, серебро или иную вещь, будет наказан властью как за богопротивное дело.

Не такое теперь время, о правоверные, чтобы обижать друг друга и таить свою злобу на острие кинжала.

Сражайтесь доблестно против общего врага.

Эмир Сурхай-хан.

Кадий Сунгур кумухский.

Мулла Магомед-Кадукли».

Гази-Магомед облизнул сухие, запекшиеся губы и, поклонившись собранию, отошел.

Словно дожидавшиеся этого момента, люди ожили, задвигались, шумно вздыхая, кашляя, переговариваясь и перешептываясь между собой. Одни переступали с ноги на ногу и потирали застывшие онемевшие руки, другие, оттянув своих соседей в сторону и опасно оглядываясь, зашептались. Иные невозмутимо курили крепкий цудахарский табак, не показывая на лице ничего. Маленький черненький старичок, низко пригнувшись к персиянам, что-то скороговоркой рассказывал им, бия себя в грудь и ударяя ладонью по широкому клинку кинжала. Не понимавшие его речи персияне любезно и степенно улыбались, кивая в ответ головами и односложно повторяя:

– Бяли-бяли... Элбэттэ!<sup>1</sup>

Шум возрастал, и в нем тонули отдельные слова, шепот и восклицания совещавшихся людей.

Гази-Магомед взглянул на пригнувшегося к своим людям и что-то настойчиво говорившего аварца, с ненавистью сказал, указывая на него Шамилю:

<sup>1</sup> Правильно-правильно... Справедливо.



– Продает нас, ханская собака, купленный раб! – И, еле сдерживая себя, он отвернулся, чтобы не видеть ненавистного ему лица.

За стеной висела ночь. Темная, звездная, прохладная. Она окутала аул непроницаемой чадрой, в которой дымно горели вонючие, пропитанные курдючным салом и нефтью тряпки.

Большой костер, зажженный на площади, уже догорел, и около него сновали фигуры еще не расхопившихся по саклям горцев.

Совещание затянулось. Несмотря на то что была глубокая ночь и приехавшие издалека послы были утомлены, никто и не помышлял о сне. До ушей толпившихся у входа жителей долетали отдельные слова, а порой даже отрывки речей выступавших. Сейчас говорил Абу-Бекир, богатый и почтенный житель аула Орота, имевший и деньги, и скот и дважды ездивший в Дербент, к русским, откуда он оба раза привез сахару, ситцу, грубого сукна и до сотни фаянсовых тарелок и чаш. О нем во всей округе говорили как о человеке влиятельном, богатом, видевшем жизнь и умеющем ладить с людьми.

Выйдя из обычного степенного равновесия, он горячо и возбужденно говорил и после каждой громко выкрикнутой фразы оборачивался в одну и другую стороны, к слушавшим людям.

– Аллах велик, и сила его непомерна! Ни один волос не упадет с чьей-либо головы, если не будет на то его воля! Все написано в книге предположения – такдыре, и не в силах человек изменить судьбы. Не так ли? – повернулся он, поочередно оглядывая слушавших.

– Иншаллах. Это точно! – ответили голоса.

– А если так, то надо тщательно взвесить каждое наше слово и действие, ибо не подобает нам, как слепым щенятам, бросаться вперед на первый же зов. У нас должны быть открытые глаза! – подчеркивая последние слова, выкрикнул он.

– Это несомненно, – закивал головою Ибрагим, ходжал-махинский кадий, сидевший около Шамиля.

– Великий шах Персии пишет, – продолжал Абу-Бекир, – чтобы мы готовились к войне, собирали запасы и скот, не продавали русским зерна и что скоро его войска придут к нам и уничтожат русских. Машаллах, но... – тут он порывисто подался вперед и, делая загадочные глаза, развел руками, – в книге судеб темно. Персидские войска далеко, русские уже здесь. Персидский сардар<sup>1</sup> в Эривани, Ярмол в Дербенте. Волею Аллаха дети русского царя отняли у непобедимых персидских войск Баку, Ганджу и Грузию. И это знаем мы... Я говорю вам, братья, подумайте, взвесьте все и только тогда выносите решение. Я знаю русских. Я, по воле Аллаха, был у них...

– Не приплетай напрасно Аллаха, Бекир! – прерывая его, выкрикнул Гази-Магомед. – Не по его воле, а из-за звона русских рублей.

<sup>1</sup> Главнокомандующий.



Часть слушавших улыбнулась, но большинству, которому воевать не хотелось, осторожная речь влиятельного и богатого человека была по душе.

– Не мешайте, во имя Аллаха, – зашумели они, – всякий человек ищет то, чего хочет.

Абу-Бекир с сожалением поглядел на Гази-Магомеда.

– Эх, двоюродный братец, учишься ты, говорят люди, уже давно и у улемов<sup>1</sup>, и у муфтиев<sup>2</sup> и несомненную книгу читаешь, а, видно, того еще не знаешь, что сам пророк разрешил торговать с неверными, если часть дохода отдаешь на мечети и богоугодные дела.

Презрительно отворачиваясь от саркастически улыбавшегося Гази-Магомеда, Абу-Бекир продолжал:

– Силы у русских неисчислимы так же, как их страна. Сильнее войск ак-падишаха<sup>3</sup> нет нигде. Даже в Ференгистане сам стамбульский хункяр признал это. Пушки русских велики, и если они грянут из них по нашим домам, то ядра посыплются на аулы, как листья осенью в садах. Мы можем напасть на них, уничтожить тысячу или две солдат, срыть их села, а дальше? – И, поднимаясь на носки, жестикулируя руками, он задыхающимся, предостерегающим криком завопил: – Они придут в горы и без милосердия уничтожат нас!

Глаза его, насупленные и сверкающие, обожгли слушающих.

– Сила, по воле Аллаха, у них. Русские будут воевать с нами не одинаковым оружием. Вместо шашек они пустят в ход пушки, которых у нас нет. Они употребят...

В эту минуту сквозь накаленную его словами атмосферу сухо, коротко и оскорбительно раздалось слова:

– ...Подкуп, золото, лесть и измену!

Это, обрывая речь Бекира, проговорил Шамиль, поднявшись с места и в упор глядя на остановившегося Бекира.

Собрание заволновалось. Наиболее степенные, зажиточные и жившие вдоль линии границы делегаты были оскорблены этими словами. Предостережения Бекира были отголосками их собственных дум. Еще до приезда сюда они, обсудив по своим аулам положение вещей, твердо решили не вмешиваться в опасную и, по их мнению, бесполезную борьбу с русскими, пример же кумыкских князей и аксакалов показал им, что тем, кто подчинялся русским, торговля и чины обеспечены. Еще у себя дома они сами приводили слова, которые сейчас говорил Абу-Бекир.

– Незачем оскорблять старого человека – это первый признак кяфира<sup>4</sup> и хулиателя адатов<sup>5</sup> вскормившей его страны, – оправляя седую широкую

<sup>1</sup> Мусульманские богословы.

<sup>2</sup> Ученые богословы у мусульман, толкователи Корана.

<sup>3</sup> Белый царь – так на Востоке называли русских царей.

<sup>4</sup> Неверного.

<sup>5</sup> Неписанные законы, обычаи и традиции у мусульманских народов.



бороду, поднялся с ковра кумыкский ученый и богослов Дибба-хаджи. — Не за тем мы везли сюда свой ум и свои бороды, чтобы мальчишка, сын гимринского пастуха, плевал и издевался над нами. — Он нахмурился. — Неплохие слова сказал Абу-Бекир. Ум его — ум человека, знающего жизнь, а слова его зрелы, как зрелы плоды дерева осенью. Поистине так! Благородный хан Сурхай, да продлит Аллах его дни, пишет нам, чтобы мы готовились к великой войне с неверными, а дальше о том, что за всякие ошибки, преступления и проступки он, согласно договору, будет взимать штрафы. С кого? С нас же? — Дибба-хаджи недоверчиво улыбнулся и покачал головой. — С тебя, Умар, штраф, с тебя, Магома, штраф. С него, с того, — быстро указывая рукою на слушавших его людей, не переводя духа, горячо заговорил он. — Со всех! А почему? На каком основании? Разве Сурхай-хан казикумухский наш падишах, или имам, или владетель победы? Нет! Мы его и не знаем! Лет десять назад дрался он с русскими под Кумухом, и они разгромили его. Он бежал в Персию к своим херифам<sup>1</sup>, а весь Кумух из-за него русские предали огню и мечу. И тогда были умные люди. И тогда, — тут он повернулся в сторону все еще стоявшего Шамиля, — не лезть и золото, а ум и опыт старых людей советовали ему прекратить бесполезную войну, примириться с русскими...

— И отдать им веру и могилы отцов на поругание! — крикнул из задних рядов чей-то молодой и обозленный голос.

Все оглянулись. Но богослов так же спокойно и уверенно ответил:

— Ошибаешься! Сам пророк говорил, что всякое состояние преходяще и что да будет проклят тот, кто во вред своим близким поднимет руку на сильного! — И, оглядывая притихшее, внимательно слушающее его собрание, он закончил: — А веру русские не оскверняют. И Казань, и Крым, и Астрахань уже сотни лет живут с ними и молятся по-старому, в мечетях. Имеют мулл, учат детей Корану и совершают ежегодный хадж в благословенную Мекку.

Что-то вроде вздоха пробежало по комнате.

В группе тесно стоявших у выхода людей произошло движение, и, пробираясь сквозь нее, к Дибба-хаджи приблизился худой, оборванный, с острым и мечущимся взглядом человек в лохматой, грязной серой папахе и с обломанными ножнами огромного кинжала. Его сухие и волосатые ноги были босы, а закатанные под черкеску рваные штаны при движении обнажали грязное тело. Поверх папахи был намотан потемневший от пыли и пота зеленый кусок материи. Это был Сеид-Умат, или, как его звали в ауле, Дели-Умат (сумасшедший, бешеный Умат), полужуродивый, полуфанатик, заветной мечтой которого была смерть у стен Мекки. Он остановился около Дибба-хаджи и повторил его слова:

— В благословенную Мекку!

Среди собравшихся пробежал смешок.

---

<sup>1</sup> Дружкам.



Все знали, что этот полубезумный, всегда голодный, несуразный человек не мог сказать ничего путного и нового, но все с удовольствием ждали его слов, зная, что независимо от их содержания всем слушающим его представится возможность посмеяться и хоть слегка отвлечься от тех серьезных и ответственных вопросов, которые стоят перед ними.

— Братья дагестанцы! Верно все, что здесь говорили мудрые люди, — размахивая руками, ерзая и оглядываясь, хрипло выговорил Умат. — Воевать надо! — Он вытянул вперед свою руку и, потрясая ею, снова выкрикнул: — Во-е-вать! Смерть неверным, как указывает пророк!..

Ни его худая и возбужденная фигура, ни его сверкающие глаза и порывистое дыхание, ни тем более неожиданные и совсем не смешные слова не вызывали смеха. Люди, расположенные при его появлении к улыбкам и иронии, были смущены. То, от чего они убегали даже перед самими собой, вдруг неожиданно и резко сказал тот, от кого они меньше всего этого ожидали.

И все по-разному посмотрели на продолжавшего метаться и что-то выкрикивать Умата.

Во взгляде Шамиля промелькнуло что-то вроде нежности, неожиданно и сразу изменившей серьезное и не по летам солидное выражение его лица. Гази-Магомед, слушая простые и резкие слова Дели-Умата, хлопнул с размаху по коленям ладонями и, не скрывая восторга, закричал:

— Верные слова! Крепись, сын веры, во имя пророка!

Еще несколько человек одобрительно закивали и зашумели в знак сочувствия словам Сеида, но большинство неопределенно молчали, выжидательно поглядывая на Диб-а-хаджи, Абу-Бекира и на представителей аварцев.

Послы шаха, понимая, что наступил наиболее ответственный и важный момент во всей их поездке, со вниманием следили за говорившим, успевая вслушаться в шепот переводившего им Алибека-муллы.

— Бить надо неверных так, как бил и резал их пророк на холмах и полях благословенной Аравии... — потрясая руками и, видимо, экстазируя себя, с хриплыми выкриками и стенаниями снова заметался по комнате Дели-Умат. — В несомненной книге сказано: «Сражайтесь за дело божие, Аллах избрал вас! Он назвал вас мусульманами»... — И чем больше хрипел, бесновался и корчился в экстатическом самогипнозе этот больной, истеричный человек, тем сильнее и больше действовал он на окружающих, и все те, кто поначалу улыбками встретил его появление, теперь, заражаясь его полубредовыми, бессвязными бормотаниями, выкриками и огнем дико горящих, фанатических глаз, стали поддаваться экзальтации, вслушиваясь в его слова, искать в них какой-то тайный и особенный смысл.

Шамиль, уловив внезапную перемену настроения толпы, с удивлением и удовлетворением смотрел на загоравшихся, выходявших из выжидания



тельного равнодушия людей. Он видел, как этот ничтожный человек забирал в свои руки и волю, и внимание большинства сидевших здесь людей, каждый из которых был в десяток раз умнее глупого Дели-Умата.

Этот процесс удивил и обрадовал его.

«К этому нужна еще смелость, дерзкая и безграничная», — подумал он, и в ту же минуту услышал громкий, общий, безудержный смех и с удивлением и горечью увидел, как те же самые лица, на которых секунду назад были написаны экстаз, преклонение и настороженность, сейчас безудержно хохотали, глядя на опешившего, что-то, вероятно, сгоряча сболтнувшего Дели-Умата. И сам Шамиль, хотя и не слышал последних слов возбужденного Умата, не мог удержаться от улыбки, глядя, как, обозленный неудачей и общим смехом, Дели плевался, бранился и, скача посередине комнаты, грозил кулаками всему хохочущему и стонущему от удовольствия собранию.

«...И ни капли глупости, ибо глупость рождает презрение», — пронеслось в голове Шамиля, и он с отвращением отвернулся от хохочущих людей и плевавшего Дели-Умата.

Причина, вызвавшая неистовый смех народа, была следующая. Пока возбужденный и мечущийся Дели громил неверных и призывал мусульман к войне с ними, собрание, захваченное его фанатическим состоянием, слушало его со страхом и вниманием, но Дели, сделав паузу, остановился взглядом на внимательно за ним наблюдавшем Диб-а-хаджи. Глаза Дели слегка прояснились и загорелись новым огнем. Он перевел их на персидских послов и снова заговорил:

— Правовверные! Никто из нас не откажется от войны. Война с неверными нужна!

Он изо всех сил выкрикнул последние слова и, сделав быстрое движение, метнулся вперед всей согнутой, трясущейся и возбужденной фигурой и застыл перед персиянами:

— Но кто неверные? Только ли русские? Только ли царские свиньи и казаки или и они, презренные шии?<sup>1</sup> — Дели-Умат разогнулся и всею пятерней ткнул в лица перепуганных послов: — Те, что называют себя мусульманами, но не чтят Халифа-Омара, что исковеркали и переврали Алкоран, и те, кому так же, как и русским, не видать райской жизни и источника зем-зем?

Ошарашенные послы, отползая на седалищах назад, в страхе заматались взглядами по сторонам. Гази-Магомед и Алибек-мулла вскочили с мест и, что-то крича, кинулись вперед, загораживая собой перепуганных персиян.

Собрание, замороженное страстностью речи Дели-Умата, сбитое с толку его неожиданными словами, растерялось. Но в эту минуту Дели-

---

<sup>1</sup> У мусульман есть два религиозных течения: сунниты и шииты, враждующие между собой. Горцы — сунниты, персы — шииты.



Умат, подскочив почти вплотную к послам персидского шаха, неожиданно чихнул прямо в их пышные ассирийские бороды и нарядные, дорогие кафтаны.

Стихло все. И только персидские послы, побагровевшие от неожиданной обиды, отирая рукавами забрызганные бороды, шумно и неловко зашмыгались, поднимаясь с мест, да застывший от удивления Дели-Умат чихнул снова громко и пронзительно.

Затем раздался общий, безудержный, гомерический хохот.

Собрание распалось. Пока старики и почтенные люди умоляли персиян не гневаться на глупые слова и нечаянную обиду юродивого Дели-Умата, пока обозленные послы кричали об оскорблении, нанесенном в их лице самому царю царей, пока льстивый и умный Дингоу-хаджи уговаривал обиженных забыть глупый инцидент, прошло более получаса. Абу-Бекир, Шамиль, Алибек-мулла, окружив разгневанных персиян, просили их не обращать внимания на выходку недостойного человека, которого завтра же на площади мечети, по постановлению стариков, накажут плетью за глупый и неприличный поступок.

Послы не соглашались. Хватались за поруганные бороды, грозились страшной местью персидских войск, требовали выдачи им Дели-Умата, но и те и другие знали, что этот инцидент не мог и не должен был играть решающей роли, ибо послы не могли вернуться к своему двору с отрицательным ответом, делегаты же общин хорошо понимали, что если обрвут связь с опасной для России Персией, то их удельный вес в глазах русских резко падет.

Всякий враг опасен только тогда, когда он внушает к себе страх и уважение. И, понимая это, обе стороны тем не менее в долгих словах, клятвах и извинениях изживали и заканчивали глупый инцидент, нарушивший деловую обстановку совещания.

После получасовых разговоров смягчившиеся послы дали свое согласие на продолжение совещания, назначенного на завтра.

По улочкам аула заходили огни. На площади загорелись костры и дымные тряпки. Разбуженные шумом, завывали и залились лаем огромные овчарки, и проснувшийся аул слышал, как шумно и возбужденно расходились по саклям делегаты важного маслаата.

Солнце еще только вставало над горами. По серым иззубрившимся вершинам Андийского хребта растекались молочные облачка.

Над саклями вился сизый дым от разжигаемых кизяков и сухого колючего бурьяна, собираемого за околицей женщинами. Голодные псы с настороженным любопытством бродили по дворам, заглядывая в открытые двери саклей на огни разводимых очагов. Редкие фигуры проснувшихся спозаранку стариков виднелись на завалинках. Солнце всходило над горами.





*Ве-елик Бог! Велик Бог!  
Свидетельствую, что нет Бога, кроме единого.  
Свидетельствую, что Магомет есть посол Божий...  
Приходите молиться,  
Приходите к счастью...  
Молитва полезнее сна.  
Велик Бог! Велик Бог!  
Нет бога, кроме Бога...*

Вместе с поднимающимся солнцем потекли над аулом слова утренней молитвы «ругалилькак» с минарета большой унцукульской мечети.

Из низких сеней просторной сакли, пригибаясь, вышли две женщины, неся большие медные тазы. Поставив их под навес, одна стала раздувать огонь, склонившись над очагом, другая же начала кипятить воду в большом закопченном казане. Над аулом медленно растекались дымки, и заунывное пение будуна смешалось с кукареканьем петухов.

*Вста-вай-те, правоверные,  
И идите молиться, –  
Ибо молитва лучше сна...*

Шамиль вскочил с постели, посланной ему в углу кунацкой, и, набрасывая на себя черкеску, быстро огляделся, ища спавшего в той же комнате Гази-Магомед. Не найдя его, он выскочил за дверь. Лицом к Мекке, коленопреклоненный, молился Гази-Магомед. Возле него стоял огромный таз и два кувшина с нагретой водой для омовения.

«Праведник!» – подумал Шамиль и с неловким смущением опустился возле молившегося алима.

Хозяин сакли Умар-хан, Шамиль, Гази-Магомед и двое чеченских делегатов, сидя посредине сакли, ели приготовленный женщинами на завтрак хинкал. Несмотря на то что Умар-хан был зажиточным человеком, имел много скота и хлеба, лишь хинкал – традиционное блюдо горца – дымился перед гостями. Рядом с большой миской, наполненной до краев круто сваренным в похлебке тестом, стояли две поменьше, в которых находился рыдыл-канд и чадол-канд, уксусный и чесночно-виноградный настои, которыми приправлялся хинкал. Ели молча, не спеша погружая пальцы и подкинжальные ножи в миску с кусками теста. Когда гости насытились, стоявшая в сенцах женщина, невестка Умар-хана, прибрала миски и полила из кувшина на руки мужчин.

По кривым улочкам аула, поднимая пыль над саклями, прошло стадо, через плетни и каменные ограды слышались голоса проходивших людей. За саклей негромко переругивались женщины, и горячее дагестанское солнце уже стояло над горами.

Гази-Магомед обтер руки, бороду и усы. Кивнув головой хозяину, коротко сказал: «Пора», – и они пошли к выходу.



Впереди виднелись шедшие к мечети люди. Среди обычных сагулов<sup>1</sup> аварцев резко выделялись суконные шубы кумыков, высокие, обшитые галуном папахи чеченцев и длиннополые развевающиеся черкески даргинцев. Обгоняя идущих, проехали, окруженные конвоем из казикумухцев, послы персидского шаха. Обычное утро с его гамом, криками ребят и гомоном женщин вставало над аулом.

На повороте к площади, у маленького родника, Гази-Магомед, шедший впереди своей группы, резко остановился и, делая движение назад, к идущим за ним людям, крикнул:

— Это что?

У родника, на камнях, сидели три женщины-аварки, расстелив на коленях снятые с себя рубахи. Все три были еще не старые, вполне сохранившиеся женщины. Далекие от дел, которые интересовали мужчин, скинув рубахи, оставшись по пояс голыми, они с увлечением искали в складках своих одежд насекомых. Не обращая внимания на проходивших и проезжавших людей, они внимательно разглядывали и прощупывали рубахи, односложно переговариваясь между собой.

Удивленные окриком Гази-Магомеда, они подняли глаза, в недоумении глядя на остановившегося возле них человека. Шедшие впереди мужчины оглянулись.

— Что это такое? Мусульманки это или свиньи? — более возвышая голос, гневно спросил Гази-Магомед, обращаясь к окружавшим его удивленным жителям Унцукуля.

— Где стыд? Где совесть у этих бесхвостых собак? Почему на виду перед всеми сидят эти голые, бесстыжие бабы? Или здесь уже не читится Коран? — размахивая руками, иступленно выкрикнул он. — Или наши женщины приняли закон русских матушек? Или их мужьям не понятен стыд? Прочь, проклятые блудницы, или я разрублю ваши поганые головы! — хватаясь за пашку и дрожа от гнева, выкрикнул Гази-Магомед, делая стремительное движение к онемевшим женщинам. — Позор! И этот блуд в стране, которая имеет шариат! — оглядывая пораженных, недоумевающих людей, сказал Гази-Магомед. — Тьфу, будьте вы прокляты! — плюнул он вслед бросившимся от него перепуганным женщинам. — Да будут прокляты ваши отцы, братья и мужья, которые забыли заветы пророка и разрешают своим женщинам открывать и лица, и тела...

И, весь трясаясь от негодования, он быстро пошел среди почтительно и со страхом расступившихся перед ним унцукульцев.

Среди растерянно провожавших его взглядом людей слышались робкие пристыженные голоса.

— Во имя Аллаха, верно поступил праведник Гази-Магомед. Стыд и позор нам. Стыд и позор!

И когда кто-то неуверенно сказал:

---

<sup>1</sup> Тулупов.



– Да ведь так всегда было: и раньше, и теперь... – его сразу оборвали негодующие голоса.

Рыжеволосый аварец, так возмущивший Шамиля, был родственник знаменитого правителя Аварии Умай-хана, в конце XVIII столетия огнем и мечом опустошившего зеленые поля и богатые виноградники Грузии.

Регентша Аварии, жена умершего незадолго перед маслаатом владельца Султан-Ахмета, ханша Паху-Бике прислала в Унцукуль на совещание с персиянами, чеченцами и Гази-Магомедом своего племянника Умалат-бека, приказав ему во что бы то ни стало воздержаться от участия в предполагавшемся военном союзе против русских. Хитрая и дальновидная Паху-Бике сделала весьма удачный выбор, послав делегацию под начальством своего племянника Умалата, личного врага Гази-Магомеда.

Умалат уже сидел на маслаате, когда подошел Гази-Магомед. Аварцы, окружавшие своего бека, недружелюбно оглядели подошедших. Персидские послы, еще более важные, чем вчера, едва слышно переговаривались между собой. Мулла Алибек, окруженный делегатами даргинцев, что-то с жаром рассказывал им, поминутно взмахивая руками.

– Ас-салам-aleyкюм, – делая приветственный жест, сказал Гази-Магомед. И почти все сидевшие, независимо от возраста и положения, приподнялись, отвечая поклоном на приветствия ученого гимринца:

– Алейкюм-салам!

И только аварский делегат промолчал и брезгливо отвернулся от шедшего к старикам Гази-Магомеда.

Шамиль сурово усмехнулся. «Быть схватке», – подумал он и решительно шагнул к Гази-Магомеду.

Схватка не состоялась, не состоялся и джамаат<sup>1</sup>.

Едва только расселись делегаты, как представитель аварцев встал и, вынимая из-за пазухи свернутый лист, вышел на середину. Рядом с ним стал и Диб-а-хаджи. Пошептавшись с ним немного, Умалат-бек сказал:

– Правоверные, слушайте! Утром из Хунзаха от нашей правительницы, уважаемой ханши Паху-Бике, мы получили следующую бумагу, – он поднял лист над головой.

Молчавший Диб-а-хаджи, ласково улыбнувшись собранию, мягко и вкрадчиво добавил:

– Такую же бумагу получили и мы.

С места поднялся представитель акушинского общества и громким веселым голосом выкрикнул:

– И мы! И мы, по милости Аллаха, получили от наших стариков такое же письмо.

---

<sup>1</sup> Совет.



Гази-Магомед удивленно поднял на него глаза, но акушинец, то ли избегая его взгляда, то ли не замечая устремленных на него глаз гимринского алима, быстро сел на свое место. Шамиль, встревоженный суровым молчанием Алибека-муллы, настороженно провел взглядом по всему маслаату, но его внимание отвлек Диб-а-хаджи, чрезвычайно ласково улыбнувшийся глядевшим на него персидским послам. Он вежливо поклонился собранию, откашлялся и стал читать:

— «Сообщается всем вольным обществам, аулам и отдельным людям мирного Дагестана, что сардар всех русских войск, генерал Ермолов, приказал с сего числа сложить со всех обществ и отдельных аулов дружественного ему Дагестана все долги и недоимки как за текущий год, так и за три предшествующих, для чего русский сардар вызывает в Тарки акушинских, даргинских, хунзахских, кумыкских, казикумукских и прочих желающих мира и покоя кадиев, почетных лиц, старшин и представителей для переговоров. Место сбора назначается в ауле Тарки, у главной мечети. Все съехавшиеся будут гостями русского сардара генерала Ермолова и шамхала Мехти-хана».

Диб-а-хаджи еще ласковей улыбнулся и продолжал читать, быстро оглядывая слушавших его людей:

— «Желая подчеркнуть свои добрые чувства к горским племенам Дагестана, сардар Ермолов приказал отпустить на волю сто сорок человек аманатов и арестованных за разные провинности жителей аулов Кумуха, Аварии и Табасарании».

Диб-а-хаджи почтительно сложил прочитанный лист и, благоговейно прикладывая его ко лбу, вежливым, но категорическим тоном закончил:

— После милостей и доверия, оказанного нам великим сардаром русского царя, мой народ и общество, пославшее меня сюда, этим письмом отзывает нас обратно в Костек. В полдень мы уезжаем обратно.

— И мы. Пославшие требуют нас назад, — поднялся с места акушинский делегат.

— Уезжаем и мы. Через неделю будем в Тарках, — сказал молчавший до сих пор рыжеволосый аварец. — Наша повелительница ханша приказала сейчас же возвращаться в Хунзах. — Он сделал паузу и, уже не сдерживая своего вызывающего тона, дерзко глядя в упор на закусившего губу, бледного от ярости Гази-Магомеда, крикнул, иронически подмигивая ему: — Приезжай в Тарки, если хочешь снова увидеться с нами!

Тяжелая рука безмолвного Шамиля с силой сжала плечо задрожавшего от гнева Гази-Магомеда. Аварцы, приехавшие с Умалат-беком, рассмеялись.

Через полчаса по улицам Унцукуля, поднимая пыль, на рысях спустилась по крутой, срывающейся дороге делегация аварцев. Это были первые. К вечеру разъехались и остальные. Совещание, с таким трудом



и искусством собранное Гази-Магомедом, распалось. Только представители чеченцев да беглые казикумухские делегаты Сурхая поклялись на Коране персидским послам в вечной дружбе с ними и кровавой войне с русскими. Аварцы, кумыки, даргинцы, лаки и многие другие племена вольного Дагестана ушли, не сказав ни «да», ни «нет».

— Ах, Ярмол, Ярмол, хитрая старая лисица, — сжимая кулаки и потрясая ими в сторону далеких Кумыкских гор, простонал Гази-Магомед. — На этот раз ты оказался сильнее нашего дела!

### Глава 3

На грубый войлочный ковер, расписанный черной и розовой краской, был послан другой — поменьше, на котором, опираясь по-персидски о мутак рукой, сидел кадий<sup>1</sup> Сеид-эфенди араканский. Возле него, прямо на войлоке, восседали Шамиль, Гази-Магомед, Алибек-мулла и беглый таркинский житель Дебир-хаджи. Перед сидевшими на ковре был разостлан узорчатый персидский платок, на котором стоял большой свинцовый поднос с виноградом, персиками, яблоками и другим угощением.

Ласковое, сытое и веселое лицо кадия казалось несколько утомленным, а его всегда спокойные глаза были подернуты тревогой. Только что кончился вечерний намаз, и Сеиду, привыкшему к обильной и богатой пище, было как-то не по себе от сурового вида этих молчаливых и угрюмых гостей. Привычно ласковым движением руки он пододвинул к Шамилю и Гази-Магомеду миску с розовыми шершавыми персиками и радушно сказал:

— Съешьте пока это, сейчас женщины внесут ужин... — И в душе обиделся на гостей, все так же молча сидевших и даже не прикоснувшихся к фруктам.

Сеид-эфенди, богатый и известный в горах и на плоскости алим<sup>2</sup>, был человек нового склада, отлично умевший сочетать свои дела и проповеди с приобретением доходов и известности. Он любил хороший и вкусный стол, дорогое грузинское вино и отборные дагестанские фрукты. Друг русских, он был знаком с Ермоловым и Краббе. Он неоднократно приезжал в Дербент и подолгу гостил у русских начальников во Внезапной и Бурной, увозя от них подарки и инструкции, которые он проводил в горах. И теперь, сидя с четырьмя суровыми, неразговорчивыми людьми, он скорее чутьем, нежели умом, понял, что эти настороженные люди — непримиримые враги русских, а следовательно, и его, кадия Сеида, и, втайне опасаясь какого-либо обидного слова или жеста с их стороны, он с неудовольствием взглянул на входивших с подносами жен-

<sup>1</sup> Судья.

<sup>2</sup> Ученый-богослов.



щин. Жирный плов, рубленая баранина в масле и горячий пшеничный с курдючным салом и изюмом хинкал на этот раз не порадовали его.

«Еще засмеют, собаки», – подумал он и еле заметно быстрым взглядом оглядел все так же молча и хмуро сидевших гостей, но горцы невозмутимо глядели на него, и успокоенный кадий, снова делая ласковый, приветливый жест, сказал:

– После намаза, мусульмане, пророк вкушал еду... – И уже совсем развеселившись, стал рукой сгребать наиболее жирные куски плова в сторону Гази-Магомеда.

Все молча принялись за мясо, время от времени обтирая губы полотенцем, переходившим из рук в руки.

Одна из женщин внесла пузатый глиняный, с коротким горлышком кувшин и поставила его перед хозяином. Сеид, добродушно посмеиваясь, нагнул кувшин, и в глиняную кружку Гази-Магомеда полилось холодное, розовое, пенящееся вино.

Гази-Магомед оттолкнул кувшин и, выплескивая на землю вино, коротко и недружелюбно сказал:

– Мы – мусульмане! – и как ни в чем не бывало продолжал есть мелко нарубленную, плавающую в масле жареную баранину, а Шамиль с лукавым, еле заметным смешком в глазах налил своему другу в кружку холодной воды.

Сеид-эфенди неловко и растерянно улыбнулся и неуверенно сказал:

– Магомед, ты мой ученик и по летам приходишься сыном, не подобает оскорблять учителя!

Гази-Магомед поднял на него удивленные глаза и, не переставая есть, сказал:

– Эфенди, разве лучше оскорбить пророка?

Шамиль с удовлетворением отметил, как ученый и известнейший во всем Дагестане кадий не нашел, что ответить на простой вопрос его друга.

После ужина, помыв руки, хозяин и гости перешли в кунацкую, где на дорогих коврах с вытканными изречениями из Корана лежали груды наиболее значительных книг мусульманской теологии. Тут были и рукописные Кораны, и книга Азудия, и Анварут-Тензиль<sup>1</sup> Бейдави, и Бурхани-Кати<sup>2</sup>, и «Корифей среди ученых» Гаджи-Магомеда кадуклинского, и ученые богословские труды самого Сеида, над которыми он работал уже двадцать третий год и слух о которых прошел далеко по Дагестану, Чечне и даже Персии. Гордясь своей богатой библиотекой, он с удовольствием рассказывал о каждой книге, поминутно листая их и цитируя на память самых разнообразных писателей и богословов мусульманской религии. Шамиль, увлеченный ученостью и огромной эрудицией хозяина, со вниманием слушал его, почти позабыв цель приезда к Сеиду, но пря-

<sup>1</sup> «Лучи откровения» арабского богослова XIII века Бейдави.

<sup>2</sup> Богословский толковник «Твердое руководство».



мой и суровый Гази-Магомед внезапно прервал словоизлияния хозяина и, глядя в упор на замолчавшего кадий, спросил:

– Эфенди! Что ты думаешь о нашем народе и о нашей земле, когда-то осененной благодатью? Что она представляет собой сейчас – дом войны или дом мира?

Кадий опустил глаза и минуты две гладил и расправлял свою длинную пышную бороду, затем поднял глаза на гостя и, оглядывая остальных, медленно произнес:

– Я отвечу тебе, сын мой, на это, что наш народ – народ мусульманский, а земля наша – дом мира, и, благодаря Богу, она не сделалась домом войны. Ты слишком мрачно смотришь на вещи, Гази-Магомед! Как твой наставник и духовный отец, я дам тебе совет: будь благоразумен, помни, что Аллах помогает только послушным. Я знаю, мне уже говорили, что ты учишь людей уничтожать ханскую власть.

Глаза слушавшего Гази-Магомеда блеснули из-под сурово сдвинутых бровей.

– Да, я говорил и говорю это народу! В стране мусульманской не может быть рабов. Никто: ни ханы, ни беки и ни падишахи – не может владеть вольными горскими людьми!

Сеид-эфенди возмущенно всплеснул руками и, останавливая говорившего, наставительно сказал:

– Побереги свою голову, Магомед, не дай бог, что может случиться, если ханы и беки услышат тебя! Будь благоразумен, ханская власть с приходом русских возвысилась до краев...

– Благодарю за совет, эфенди, но ты забываешь, что голова каждого мужчины принадлежит не ханам, а ее хозяину. И у ханов тоже имеются головы, и их также легко рубит кинжал. Ошибаешься, эфенди, ханская власть не возвысилась, а только укрепилась за штыками русских солдат, но мы ее найдем и там! Не бывать свободным горцам продажным скотом, как это делают русские со своим народом. Что ты скажешь на это? – И он снова взглянул на своего бывшего наставника.

– У каждого народа свои законы, – уклончиво ответил кадий и, желая закончить неприятный для него разговор, добавил: – Не нам судить дела гяуров.

– Погоди, не криви душой, уважаемый наставник, я столько лет учился премудрости у тебя, что хочу от тебя прямого и ясного ответа. Разве ты не знаешь, что многие ханы и нуцалы Аварии, Кумыха и шамхал<sup>1</sup> всего Дагестана стоят за русских?

Кадий закачал отрицательно головой и протестующим голосом выкрикнул:

– Это неправда! Это еще не доказано!

---

<sup>1</sup> Титул крупнейших феодальных правителей в Северном Дагестане, имевших резиденцией Тарки.



Шамиль, все время молча наблюдавший за словесной схваткой Гази-Магомеда и Сеида-эфенди, вмешался в разговор:

– Доказано, эфенди! Вслед за шамхалом и аварские ханы со всею Аварией принимают подданство русского царя.

Гази-Магомед вскочил с ковра и возбужденно крикнул:

– Ты это знаешь, эфенди, не хуже нас! И все это знают! Все! Но одни боятся ханов и русских и потому молчат, а другие молчат... – На секунду он задержался и со страстным презрением кинул: – ...потому что продались им!

Дебир-хаджи и Алибек-мулла, смущенные резкой фразой, брошенной прямо в лицо известному всему Дагестану человеку, отвели в сторону взоры, но Шамиль с удовлетворением заметил, как оскорбила хозяина эта обидная и жестокая фраза.

Гази-Магомед резко остановился перед растерявшимся и не знавшим, как себя держать, Сеидом, и уже более спокойным тоном спросил:

– Не ошибаешься ли ты, наставник, называя наш народ мусульманским! Разве мы с тобою тоже мусульмане?

Сытое, покрытое краской стыда и обиды лицо хозяина выразило удивление.

– А как же? Разве мы и наш народ не следуем повелениям пророка? Мы молимся единому Богу, чтим Коран, постимся, ходим в Мекку и совершаем суд по шариату. Чего же еще? – И, разведя руками, он изумленно поглядел на остановившегося над ним Гази-Магомеда.

– Зачем ты лукавишь, эфенди? Ведь мы оба очень хорошо понимаем, о чем идет речь.

– Не понимаю, не понимаю! Чего не делаем мы? – совсем растерянно сказал кадий, пожимая плечами.

– Хорошо, я скажу тебе то, что ты нарочно скрываешь здесь. Газават<sup>1</sup> есть обязанность каждого мусульманина. Га-за-ват! – страстно выкрикнул Гази-Магомед и, возбужденно блестя глазами, продолжал: – До русских мы еще доберемся, но сейчас мы должны покончить с теми ханами, которые продают народ русским. Одной молитвы недостаточно. Когда враги идут издалека, а внутри страны сидят предатели – газават и тем и другим! Газават и русским, и изменникам ханам, и всем тем, кто покрывает их!

Его голос, металлический и резкий, резанул застывшую тишину, и только Шамиль, увлеченный бурным порывом своего друга, коротко и отчетливо повторил:

– Газават!

Сеид-эфенди зябко передернул плечами и, словно даже не желая слушать возбужденные, бунтарские слова Гази-Магомеда, отодвинулся к стене и недовольно сказал:

<sup>1</sup> Так называемая «священная война» против неверных, то есть немусульман.





— Окончим этот спор и, если хочешь, займемся лучше духовной беседой.

Алибек-мулла и Дебир-хаджи сидели молча с потупленными глазами. Им обоим было неловко, и они с облегчением вздохнули, когда Гази-Магомед в ответ на последние слова кадия презрительно усмехнулся и, ни слова не говоря, вышел во двор.

Шамиль, молодой и подвижный, легко вскочил с ковра и быстро прошел за своим другом и наставником Гази-Магомедом.

В комнате в неловком, непрерываемом молчании остались трое смущенных людей.

Было совсем темно. С минарета прокричал полуночный намаз аульский будун. Сеид-эфенди вздохнул и, поднявшись с места, разостлал в углу молитвенный келим<sup>1</sup>. Алибек-мулла и Дебир-хаджи вскочили с мест и помогли старику приготовиться к намазу. Кадий коротко поблагодарил и, трогая Дебира за рукав, сказал:

— Сын мой, поди позови сюда эти горячие головы. Пусть вместе с нами совершат молитву.

Дебир-хаджи поспешно мотнул головой и выскочил за дверь к двум одиноким фигурам, стоявшим посреди двора под слабым, неровным сиянием луны.

— Гази-Магомед! Наставник зовет вас совершить боголилькак<sup>2</sup>, — смущенно и глухо проговорил Дебир-хаджи, тщетно вглядываясь в лица молча стоявших людей.

Одна из фигур резко повернулась, и в быстром, порывистом движении Дебир-хаджи узнал Гази-Магомеда.

— Пойди скажи этой продажной душе, что свободный человек и мусульманин не будет молиться вместе с ним!

Дебир-хаджи, смущенный этими громко сказанными, обидными для Сеида словами, умоляюще поднял руки и что-то хотел возразить Гази-Магомеду, но Шамиль, не давая ему сказать, выкрикнул нарочито громко и отчетливо:

— Да! Мы не будем молиться рядом с изменником!

Дебир-хаджи, сбитый с толку этими неожиданными и резкими словами, снял в волнении папаху и, теребя ее руками, неловко пробормотал:

— Нельзя нарушать долг гостеприимства! Быть может, он еще одумается!

Гази-Магомед рванулся к нему и срывающимся хриплым шепотом сказал:

— Никогда! Он такой же враг, как и ханы. Продажная собака, его следует сейчас же убить!

<sup>1</sup> Молитвенный ковер.

<sup>2</sup> Ночная молитва.



Его рука дернулась и легла на блестящий под сиянием луны кинжал. Шамиль строго взглянул на своего друга и, положив руку на его плечо, коротко сказал:

– Мы не убийцы, мы шихи<sup>1</sup>. Нельзя нарушать адаты отцов.

Гази-Магомед отвернулся. Все трое молчали. В черной неподвижной тишине хрипло и страстно дышал взволнованный, трепетавший гневом Гази-Магомед.

Дверь сакли распахнулась, и в ее светлом проеме показалась темная фигура Сеида в длинной персидской абе. Срывающимся, дрожащим голосом он крикнул в пространство:

– Правоверные! Идите совершать намаз! Я уйду из комнаты, – он медленно прошел по длинному коридору сакли и скрылся за последней дверью. Шамиль и Дебир-хаджи с непонятной им самим робостью повернулись на голос Сеида, и только Гази-Магомед с ненавистью проводил взглядом фигуру кадия и, плюнув, злобно сказал:

– Соб-ба-ка!

Уже входя в саклю, глядя с укором на молчавшего, хмурого Шамиля, произнес:

– Когда-нибудь, быть может, очень скоро, ты пожалеешь, что помещал истребить эту змею!

Осень была ясная и суровая. Снег, рано выпавший в этом году, лежал глубоким покровом в ущельях и на горах, покрывая белой каймой высокие хребты. Было холодно, и старожилы, помнившие еще персидские походы Надир-шаха, уверяли молодежь, что такой суровой и странной осени они не видели на своем веку. В дальних аулах Андии появились пророки и ясновидящие, которые глухо и неясно прорицали войну. В Эрпели двое жителей видели ночью пролетевшего через горы в русскую сторону огненного шайтана, а красная, необычная луна, окаймленная белым кольцом, каждую ночь дико всходила над горами, пугая людей. В ущельях появились стаи волков. Бурые неповоротливые медведи среди осени, в необычное для них время, показались в лесах. По аулам ползли слухи о близком конце мира, о грядущей кровавой войне, о голоде и болезнях.

На самом конце аула Ашилты, у одной из крайних саклей, толпился народ, сновали ребятишки и неслись веселые, разгульные песни. Пьяные выкрики смешивались с гулкими ударами бубна и частым треньканьем трехструнного пандура. Из сакли вылетали звуки лезгинки, хлопанье ладош и возгласы веселящихся людей. У низкой каменной ограды, заглядывая внутрь двора, стояли сморщенные старушки, что-то неодобрительно обсуждая между собой. Изредка, в моменты наиболее оживленной пляски, в сакле хлопали пистолетные выстрелы, и запах сожжен-

<sup>1</sup> Посвященные на высокие дела люди, бессребреники.



ного пороха стлался над двором. Босоногие мальчишки при каждом выстреле весело визжали. На соседних крышах чернели фигуры женщин, заглядывавших в окна, где так шумно плясали и веселились люди.

Снизу, от придорожного родника, из-за оголенных садов, окружавших Ашильты, показались три всадника. Все трое были молчаливые люди в длинных овчинных пубах и высоких, обернутых белой материей папах. Длинные кремневые ружья, заложенные в бурочные чехлы, висели у них за плечами, а широкие кинжалы и черненные тугие пистолеты выглядывали из-под накинутых пуб. Сытые кони всадников легкой иноходью быстро поднимались к аулу.

Из сакли, смеясь и пошатываясь, выбежала молодая раскрасневшаяся женщина и, бессмысленно хохоча, прикрывая возбужденное лицо рукой, пробежала через двор к выходу. Вслед за ней выскочил молодой черноусый горец, но пьяные и неверные ноги с трудом донесли его до середины двора, где он, уже не в силах идти дальше, оперся о первого попавшегося паренька. Через открытые двери еще сильнее раздались звуки пляски, крики и пение пьяных голосов.

— Что здесь такое?

Старухи, столпившиеся у ограды, оглянулись на трех всадников, удерживавших своих ретивых, играющих коней.

— Собачий ригин<sup>1</sup>, — недовольно сказала одна и отвернулась.

Молодой нахмурившийся всадник молча посмотрел на второго, постарше, с курчавой черной бородой. Третий покачал головой и только со вздохом сказал:

— Собаки! Собаки!

Женщины, уже отходившие от ворот, остановились, с удивлением глядя на человека с курчавой бородой, внезапно побледневшего и переменившегося в лице.

— Открой! — властно, с плохо скрытой яростью крикнул он подростку, державшему в своих объятиях качавшегося на неустойчивых ногах горца. И так властен и строг был этот окрик, что паренек сразу же выпустил из рук шатавшегося пьяного и послушно отодвинул длинную палку, заменявшую засов. Пьяный тупыми непонимающими глазами поглядел на въехавших всадников.

Второй всадник соскочил с коня и, передавая поводья первому, сказал:

— Будь наготове!

Третий, сделав то же, встал рядом с ним и коротко сказал:

— И я с тобой, Шамиль! — И большим пальцем руки поправил кремень своего кубачинского пистолета.

В длинной комнате было невообразимое веселье. Шум, крики, топанье ног, смех и взвизгивания женщин, грубые, пьяные словечки и гулкие

<sup>1</sup> Собачий союз, собачья свадьба.



удары бубнов – все это перемешалось в один сплошной липкий и непрекращающийся гул. По комнате стлался дым от пистолетных выстрелов и грубого табака. У двери и вдоль стен было сделано нечто вроде скамей-нар, на которых вперемешку сидели женщины и мужчины. Некоторые стояли, прижавшись к стенам, давая место для пьяной, разгульной пляски. Две женщины и двое молодых людей топтались посредине сакли, что-то выкрикивая. Один из гостей как бы в знак поощрения выхватил из-за пояса пистолет и с размаху выстрелил в пол, между ног танцующих пар. Около сидящих на нарах людей стояло несколько медных и деревянных блюд и лотков, на которых грудями лежали надломленные, обкусанные и смятые чуреки, куски овечьего сыра, вяленая баранина, лук, курдючный жир, чеснок и виноград. У двери и вдоль стены стояли большие пузатые глиняные кувшины, наполненные бузой, чабой<sup>1</sup> и виноградной аракой. Табачный и пороховой дым, запах от овчин и немытых тел смешались с острыми испарениями вина и водки.

Шамиль остановился на пороге. Весь этот гам, блуд и бесстыдство не так поразили его, как вид подвыпившего, в полурасстегнутом бешмете, аульского муллы, сидевшего рядом с толстой пьяной женщиной, что-то крикливо и настойчиво певшей. Никто не заметил Шамиля и его спутника, с гримасой отвращения замерших на пороге. Все так же бурно и бестолково гудели бубны и тренькал под песни трехструнный пандур.

Шамиль оттолкнул пробиравшегося к выходу бледного, с перекошенным лицом человека и, раздвинув пляшущих, остановился посреди сакли. Оглядывая эти пьяные, обезображенные вином и страстями лица, он весь переполнился стыдом, гневом и омерзением за этих потерявших человеческое подобие людей.

Не сдерживая себя, полный ярости и негодования, он одним ударом ноги отшвырнул в сторону кувшин с бузой, широкой, пахучей струей залившей пол. Затем, дрожа от злобы и возмущения, выхватил из рук музыканта пандур и со всего размаху разбил об пол.

Веселившиеся остановились. Пьяные, веселые улыбки исчезли. Один из сидевших у двери вскочил и, испуская проклятия, схватился за кинжал. Пандурист, с тупой покорностью и безразличным видом взиравший на осколки своего инструмента, внезапно нахмурился и, бормоча какие-то слова, стал вытаскивать из-за пояса пистолет.

Спутник Шамиля, бледный и напряженный, моментально выдернул свой «дамбача», но Шамиль, все еще трясущийся от гнева, поднял обе руки вверх и, потрясая ими, громко и взволнованно воскликнул:

– Что же это такое? Люди вы или проклятые Богом собаки? Есть ли у вас стыд и совесть? Вы – пьяницы, розвратники, называющие себя мусульманами... – И, не давая опомниться пьяным, опешившим людям, он рванулся вперед ко все еще обнимавшему свою соседку мулле и, сдери-

<sup>1</sup> Вино.



вая с его головы чалму, воскликнул страстно и возмущенно: — С ними, распутный ишак, не оскверняй чалму пророка!

Мулла покорно привстал и, пошатываясь, глупо и беззлобно сказал:

— Я тебя знаю, ты — гимринец ших Шамиль, ученик Гази-Магомеда...

И все те, кто секунду назад, оскорбленные внезапным появлением на их пирушке неизвестного человека, готовы были в куски разнести его, услышав имя знаменитого Гази-Магомеда, сразу остыли.

Пандурист тихо и незаметно снял свою руку с пистолета, сконфуженный, растерявшийся молодец осторожно и беззвучно засунул свой обнаженный кинжал в ножны. Люди молча, конфузливо и неуверенно вставали и, не глядя на нахмуренного, овладевшего собою Шамиля, по стенке пробирались к выходу и поспешно разбредались по домам. Лишь совершенно упившиеся, валявшиеся на полу, остались в комнате, где только что буйно и бурно пьянствовала разгульная толпа.

В маленьком и бедном кюринском селении Яраг, в простой, неказистой деревянной мечети с полумесяцем на кровле, в покрытой навесом галерее второго этажа, в убогой обстановке, среди груд исписанных и полустертых временем и прикосновением книг и бумаг, на старых войлочных коврах сидело семь сосредоточенных, углубившихся в мысли и раздумья человек. Посередине мечети за низкой, грубо сбитой ореховой кафедрой сидел изможденный старик с длинной, пожелтевшей от древности бородой. Это был престарелый ярагский мулла Магомед, слабый старик с полуслепыми от ночных молитв и работ глазами. На его бледном и добром лице была печать кротости и отрешенности от всего земного. Он поднял глаза, подслеповато всматриваясь в Гази-Магомеда, за спиной которого в почтительной позе сидел Шамиль. Остальные четверо были мюриды<sup>1</sup> муллы Магомеда, с рабской готовностью следившие за ним.

Гази-Магомед спокойным, неторопливым голосом рассказывал внимательно слушавшему его мулле о своей поездке в Аракань, к Сеиду-эфенди. За высоким полукруглым цветным окном тускло светила луна, безмолвие ночи окутало село. Было торжественно и тихо, и только на окраине аула глухо ворчали псы.

— Прости меня, наставник, но видит Аллах, что Сеид такой же гяур<sup>2</sup>, как и русские! — сказал Гази-Магомед.

Никто не возразил, и только мулла Магомед слабо кивнул головой в ответ и закрыл усталые глаза.

— Что делать? Научи ты, праведник, неужели и ты, другой мой наставник, не найдешь слов наставления? — придвигаясь вплотную к хилому, безжизненному телу старца, с болью в голосе выкрикнул Гази-Магомед.

---

<sup>1</sup> Последователи, ученики.

<sup>2</sup> Неверный, проклятый.



Старик тихо улыбнулся и, открывая кроткие, выцветшие от старости и трудов глаза, еле слышно произнес:

– В несомненной книге пророка есть все, чтобы рассеять твои сомнения.

Подняв над головою трясущиеся руки, он тихо и торжественно сказал:

– Пророк говорит: кто делает одну половину и не делает другую, тот совершает великий грех. Есть дело более угодное, чем молитва, и это дело... – Он медленно приподнялся и, простирая вперед руки над головами замерших людей, почти касаясь пальцами лица застывшего в благоговейном экстазе Гази-Магомеда, неожиданно звонким и сильным голосом выкрикнул: – Газават!

И все смотревшие на него тихо, еле слышно повторили: «Газават!»

Шамиль, в этой поездке исполнявший роль секретаря Гази-Магомеда, достал чернильницу и сейчас же написал на большом листе: «Волею Аллаха милостивого, в лета 1241, месяца магарамы 10, Магомед-эфенди Ярагский, ставший праведником Божьим и муршидом<sup>1</sup> в тарикате<sup>2</sup>, наставник и учитель в обществе своих учеников, истинных мусульман, Гази-Магомеда из Гимр, Алибека-муллы из Чоха, Хос-Магомы из Унцукуля, Алигуллы-хаджи из Эрпели и смиренного Шамиля бен-Дингоу из Гимр, возвестил всем дагестанским народам и тем, кого это коснется, что...»

Он выжидательно взглянул на муллу Магомеда. Старик, напрягая усилия, сказал:

– Правоверные, говорите! Народ должен знать о нашем решении, – и он тусклыми глазами оглядел всех.

Гази-Магомед приподнял папаху и левой рукою сильно провел по своей бритой голове до самого затылка. Шамиль понял, что Гази-Магомед, несмотря на внешнее спокойствие, сильно взволнован.

– Наставник, – негромко сказал он, – газават – наше великое дело, и мы объявим его, но вместе с ним мы должны сказать народу и новые слова. Люди должны знать, кто их враг, помимо русских, чью кровь они первой покажут солнцу и луне и что они получают от газавата.

– Рай, – беззвучно проговорил старик.

– Это мертвые, а живые? – снова спросил Гази-Магомед.

Мулла Магомед вышел из своего полустаившего состояния и уже с любопытством спросил:

– А чего хочешь ты? – И его оживившиеся глаза с теплом и любовью остановились на сумрачном и взволнованном лице Гази-Магомеда.

– Раздать земли и имущество изменников ханов той бедноте, что пойдет с нами на газават!

<sup>1</sup> Наставник, учитель.

<sup>2</sup> От арабского слова «тарикун» – путь, дорога. В переносном смысле – путь к истине.



Шамиль поднял глаза на бледное, без кровинки, лицо старика, но оно было неподвижно, и казалось, будто слова Гази-Магомеда не дошли до него.

– И, наконец, отрубить головы всем тем, кто будет препятствовать нам, хотя бы это был, – голос его угрожающе повысился, – сам турецкий хунляр, облеченный званием халифа!

Бледное лицо старика оживилось. Было видно, как он что-то тягостно думал и переживал. Затем открыл глаза и посмотрел в упор на взволнованного Гази-Магомеда.

– Руби измену, лев ислама, руби беспощадно, даже если бы она спряталась в листках Корана!

Бледное, угрюмое лицо Гази-Магомеда вспыхнуло огнем радости. Алибек-мулла неуверенно спросил:

– Если это даже великие умы и ученые алимы?

Мулла Магомед вздохнул и так же четко сказал:

– В первую очередь!

Измученный Алибек-мулла с неловкой почтительностью поглядел на бескровное, кроткое и спокойное лицо старика, весь внешний вид которого совершенно противоречил его жестоким и мужественным словам.

– Записывай, сын мой, – обратился к Шамилю мулла Магомед. – То, что мы сейчас говорили, – это только начало, на этом не удержится газават. Для того чтобы поднять племена на газават, надо объединить народы... – Он устало и печально посмотрел на безмолвных слушателей. – ...Адаты разлагают народ. Темнота и дикость ослабляют его, нужно укрепить шариат<sup>1</sup>. Надо ввести порядок и единение между племенами. Объединить аулы, выгнать негодных людей вон, самых дрянных казнить.

Утомленный долгой речью, он перевел дыхание, откинулся назад и замолчал.

– Верно, святой праведник! – почтительно сказал Шамиль. – Только шариат укрепит наши народы. Как пророк нес святую веру на концах своего зюльфагара<sup>2</sup> языческим народам Аравии, так и мы, не боясь крови и слез, не страшись проклятий, на лезвиях наших пашек понесем в горы шариат!

Старец пристально и внимательно посмотрел на молодое искреннее лицо Шамиля и затем перевел взгляд на Гази-Магомеда.

– С такими, как вы, шариат победит неверных!

До рассвета просидели за беседой в стенах ярагской мечети зачинатели газавата.

Почти месяц в глубокой тиши и тайне они совещались о действиях, которые следует предпринять заранее, до объявления газавата. Была

<sup>1</sup> Свод мусульманских религиозных, бытовых, уголовных и гражданских законов, основанных на Коране, в отличие от адата, основанного на обычном праве.

<sup>2</sup> Меч.



разработана настоящая программа действий, продуман устав. Сложную и трудную роль секретаря и писца этого месячного обсуждения взял на себя Шамиль.

По совету умного и дальновидного Шамиля ни в воззваниях, ни в самой речи муллы Магомеда пока не говорилось о борьбе с ханами-изменниками.

– Мы это будем проповедовать и словом и делом. Но сейчас, пока надо готовить газават и внедрять шариат в народе, преждевременно превращать ханов в наших врагов.

Старый мулла Магомед согласился, и только неистовый Гази-Магомед отказался начинать газават без погрома ханов.

Через три недели после этой беседы в ауле Яраг был созван съезд вольных обществ всего Дагестана, на котором мулла Магомед в присутствии съехавшегося отовсюду духовенства, кадиев, старшин и ученых людей провозгласил Гази-Магомеда имамом<sup>1</sup> Дагестана и руководителем начинавшегося газавата.

– Именем пророка, повелеваю тебе, Гази-Магомед, иди готовь народ к войне с неверными и теми ханами, которые идут с ними. Вы же, – обратился он к предстателям обществ, – ступайте по домам и расскажите всем, что видели здесь. Вы храбры. Рай ожидает тех, кто падет в бою, живых и победивших – спокойная, свободная жизнь! Отныне в горах и на равнинах Дагестана объявляется полное равенство всех, кто будет участвовать в газавате. Все торгующие с русскими являются врагами Бога и народов Дагестана, и их имущество будет отобрано в пользу бедных и мюридской казны, а сами они казнены. Все долги и обязательства народа ханам и бекам, связанным с русскими, как денежные, так и земельные отныне отменяются. Все ростовщики, дающие ссуду под проценты, будут казнены, а имущество их роздано народу. Идите, дети пророка, и готовьтесь все к кровавой борьбе с русскими и купленными ими изменниками!

Съезд разъехался в тот же день.

Через неделю в горах и в равнине женщины распевали хвалебный гимн:

*На свете возшло одно дерево истины.  
И эта истина – имам Гази-Магомед.  
Кто не поверит ему, да будет проклят Богом,  
а острая шашка и меткая пуля имама  
настигнут и в поле, и в скалах,  
и даже под землей найдут  
проклятого, неверующего пса...  
Ля илльа ахм ил алла!!!*

<sup>1</sup> Духовный глава мусульман.





К Сеиду-эфенди араканскому приехал из Казикумуха нукер<sup>1</sup> Аслан-хана с письмом и подарками. Владетельный хан Казикумуха прислал ученому два небольших, хорошего тканья, коврика и письмо, в котором приглашал Сеида прибыть возможно скорее в Казикумух, где ожидался из Грозной майор Скворцов и кумыкский пристав майор Хасаев. Оба офицера должны были прогостить у хана с неделку и тем временем, согласно распоряжению генерала Ермолова, переговорить с лазутчиками о настроениях в аулах. Аслан-хан подробно перечислял интересующие его и русских вопросы и многозначительно указывал на желательность приезда одновременно с русскими и самого алима Сеида.

В числе многих вопросов, написанных в письме, был следующий, дважды подчеркнутый ханом:

«Правда ли, будто секта шихов, возглавляемая гимринцем Гази-Магомедом, бывшим некогда учеником почтенного Сеида-эфенди, в глубине своих помыслов готовит войну с русскими и призывает всех байгушей и неимущих уничтожить своих ханов?»

Под этой подписью незнакомой Сеиду рукой было добавлено: «Это необходимо узнать наврное». И Сеид понял, что приписка была сделана рукой майора Хасаева, близкого и доверенного лица при Ермолове.

Через два дня, сопровождаемый напутствиями аульчан, он с ханским посланцем, собрав все нужные сведения, выехал в Казикумух.

Юродивый Индерби, подросток лет семнадцати, и лето и зиму бродивший по аулам и распевавший никому не понятную, короткую и монотонную песню, шел по Араканскому ущелью, торопясь в аул. На юродивом висел рваный, облезший тулуп, из-под которого виднелось грязное тело. Несмотря на то что горцы, считавшие юродство одним из проявлений религиозного экстаза и несомненным признаком святости, еще недавно обули Индерби в толстые кожаные лапти, ноги юродивого были босы, и его покрасневшие пальцы увязали в снегу, выпавшем за ночь. Индерби торопливо шагал по дороге, напевая одну и ту же монотонную и дикую песню без слов, размахивая палкой и поминутно приплясывая. Было морозное декабрьское утро. От аула, еще скрытого за скалами, потянуло дымом и хорошо знакомым запахом жилья. Юродивый, не переставая петь, приостановился и совсем по-звериному жадно потянул воздух носом. Секунду он стоял неподвижно, а затем поспешно зашагал, снова гримасничая и приплясывая на ходу. Вдруг пение его прекратилось, что-то пробормотав, он отскочил в сторону и, испуганно размахивая над головой палкой, зажмурясь, бросился вдоль дороги, истошно крича.

Из-за поворота дороги, шедшей на Гимры, показалась голова конной колонны, строем по шести двигавшейся в картинном безмолвии. Впере-

---

<sup>1</sup> Слуга.



ди этой все больше вытягивавшейся на плато колонны ехал на отличном белом коне хмурый и сосредоточенный человек с возбужденными, ярко горевшими глазами. На нем была длинная, до пят, чеченская шуба-черкеска, а на голове высокая, коричневая, повязанная белой чалмой папах. В правой руке человека, ведшего сурово молчавшую колонну, блестя опущенная вниз обнаженная шашка, а в левой, высоко поднятой над головой руке был раскрытый Коран. Люди молчали, и только цоканье конских копыт, изредка ударявших о заснеженные камни дороги, да стук шашек о стремяна нарушали страшное молчание появившихся так неожиданно из-за скал людей. Эта жуткая тишина, горящие глаза предводителя и мрачные суровые лица конных так поразили и напугали бедного Индерби, что он, не оглядываясь, чувствуя и слыша за собою мерное шествие сотен конских копыт, неся к аулу, в безумном страхе вопя что-то непонятное даже ему самому.

Аул был окружен с трех сторон. Часть конных во главе с Шамилем на полном карьере ворвалась в аул и, проскакав по улочкам, рассыпалась по аульской площади, выгоняя из дворов растерявшихся, недоумевавших жителей. Главные силы колонны во главе с предводителем в белой чалме остановились на расстоянии половины ружейного выстрела от аула и, заперев все выходы из села караулами, стали дожидаться делегации жителей Аракан.

К Шамилю подошел взволнованный старшина аула в наскоро накинута шубе, конвоируемый двумя конными мюридами. Из дворов и улочек, подгоняемые всадниками, шли потревоженные, перепуганные жители аула. Из-за оград глядели удивленные, готовые к плачу женщины. Аул, окруженный внезапно появившимся отрядом, беспомощно и покорно ждал.

У самой мечети, не слезая с коня, распоряжался Шамиль, отдавая отрывистые приказания и зорко оглядывая пришедший в движение аульский муравейник.

Старшина низко поклонился ему и, признавая в нем своего знакомого, ученика Сеида-эфенди, удивленно спросил:

– Шамиль-эфенди, ты наш старый друг и гость, мы всегда твои слуги, но почему сегодня твоя шашка блестит в Араканах? Разве...

– Молчи, – сухо перебил его Шамиль и правой, свободной от шашки рукой<sup>1</sup>, полуобернувшись, показал с коня в даль, туда, где на широком плато сомкнутой колонной стояли конные. – Видишь? Это – имам Гази-Магомед. С ним мюриды и шихи, поклявшиеся уничтожить измену и пороки. Мы начинаем с вас!

При последних словах старшина, машинально взглянувший в сторону отряда, побледнел и, стаскивая папаху с головы, хотел что-то сказать.

<sup>1</sup> Шамиль был левшой.



Шамиль жестом остановил его и громко, так, чтобы его слова слышали все столпившиеся на площади и дворах жители, крикнул:

– Где изменник Сеид-эфенди?

Сразу все стихло, и только горячий конь Шамиля, кровный шавлох, плясал на месте, кусая удила.

– Где? – обводя взглядом стихших, трепетавших людей, грозно повторил Шамиль, опуская повод и наезжая конем на них. Все молчали, и только старшина неуверенно и виновато сказал:

– Уже пять дней, как он выехал в гости к Аслан-хану, – и, низко поклонившись, не надевая папахи, развел руками.

Шамиль нахмурился и, вперив в него взгляд, пригнулся с седла прямо к лицу старшины. Толпа неясно и глухо зашумела.

– Уехал... уже пять дней... Приезжал человек от хана.

Шамиль резко выпрямился в седле и, взмахнув шашкой, с размаху, плашмя огрел ею своего шавлоха. Конь рванулся с места и, пугая рассыпавшуюся в стороны толпу, пронесся по площади, но из улички уже выезжали конные.

– Уехал! Нет его! – насупившись, доложил один из подъехавших всадников. Шамиль стиснул зубы и мрачно обвел взглядом людей, затем, натынув поводья и заставив успокоиться коня, приказал:

– Скачи к имаму! Пусть едет, а ты, – обратился он к перетрусившему старшине, – и вы все, люди араканские, слушайте. Сегодня ушла от нашей руки подлая собака, ваш продажный Сеид, но завтра... – он обвел всех горящим взглядом, – завтра карающая рука имама Гази-Магомеда настигнет его! – Притихшие и перепуганные араканцы молчали. Шамиль взметнул над головою клинок и грозно предостерег: – И всех тех, кто пойдет по его пути!

И так красноречив и беспощаден был этот жест, что ни один из жителей Аракан не отважился возразить Шамилю, которого они еще недавно знали здесь, в этом ауле, простым и смиренным учеником этого самого Сеида-эфенди.

Со стороны моста показалась приближавшаяся колонна. Впереди бледный, с плотно сжатыми губами Гази-Магомед. Огненные, суровые глаза, высокий нахмуренный лоб, скупые, отрывистые движения и раскрытый Коран подействовали на людей. Толпа в страхе подалась назад, и легкий, трепетный шум пробежал по ней. Когда конь Гази-Магомеда поравнялся с первыми рядами потрясенных и напуганных араканцев, все жители, как один, сорвали с себя папахи и, несмотря на холод и снег, с непокрытыми головами поклонились появлению имама. Лицо Гази-Магомеда было сосредоточенно-спокойно, и только Шамиль, ближе и лучше других знавший характер имама, по чуть вздрагивающей щеке да по неестественно яркому блеску его глаз понимал, как сильно был раздосадован Гази-Магомед отсутствием ненавистного Сеида.



К полудню богатая сакля ученого была подожжена. Весь его скот, домашние вещи и запасы зерна были розданы беднейшим жителям аула, а ковры, деньги и оружие отобраны в пользу отряда. Когда мюриды, громившие саклю, разбили кладовую и подвал, то их удивленным взорам предстали одиннадцать больших и малых глиняных кувшинов с дербентским и кахетинским вином, которое так любил ученый алим. Гази-Магомед хмуро усмехнулся и, показывая жителям выставленные в ряд кувшины, горько и презрительно сказал:

— И эта свинья была вашим руководителем!

Мюриды топорами разбили кувшины, и душистые струи дорогих вин, смешавшись с талой водой, окрашивая снег, потекли по улочке мимо ног молчавшей толпы. Шамиль, страстный любитель книг, войдя в комнату, сплошь заставленную свитками, томами, рукописями и фолиантами, служившую библиотекой для Сеида, стал любовно копаться в них, желая спасти от разгрома и уничтожения как чужие книги, так и сочинения самого Сеида-эфенди, над которыми тот трудился двадцать с лишним лет. Но суровый, мрачно оглядевший библиотеку Гази-Магомед резко остановил его:

— Не надо! Громите и это, во славу Аллаха!

Шамиль развел руками и умоляюще взглянул на него, но непреклонный имам, презрительно указывая на лежавшие груды бумаг, сказал:

— Эти книги — частички Сеида, та же ложь. От пса родятся только собаки. Сжечь все!

В тот же день аул Араканы присягнул на верность имаму в грядущей войне с русскими, Гази-Магомед назначил нового старшину из числа своих мюридов и, объявив сбежавшего Сеида изменником и врагом свободного народа, приказал выбрать нового муллу. Арестовав четырех родственников алима и двух зажиточных аульчан, сносившихся с русскими и торговавших с ними, имам, взяв в знак покорности шестнадцать человек аманатов, на следующий день вместе с отрядом выступил из Аракан.

На месте бывшего дома Сеида чернела груда золы да кое-где курились еще непотухшие обломки строений.

Представитель русского командования полковник Эммануэль и бывший при нем кумыкский князь Чапан Муртазали Алиев, прапорщик 43-го егерского полка Христофоров и казачий есаул Ефимов, гостившие в Хунзахе у аварской ханши Паху-Бике и привезшие ей и молодым царским ханам дорогие царские подарки и ордена, были неожиданно вызваны в ханские покои, где аварская правительница Паху-Бике, всего десять дней назад вместе со всем народом принявшая русское подданство, поведала им о странном и знаменательном событии. Незначительный и неродовитый гимринский алим Гази-Магомед, которого русские назы-



вают Кази-муллой, еще совсем недавно усиленно занимавшийся изучением Корана и богословия, объявил себя имамом Дагестана и, окружив себя группой лиц, не признающих ханской власти, прошел по горным аулам Кайсубы, Андии и вольных обществ, готовя восстание против русских и всех именитых людей Аварии, только что признавших власть царя. Ханша гневно рассказывала гостям о пропаганде Гази-Магомеда и его шихов. На полных энергичных руках ханши блестели два дорогих бриллиантовых перстня с бразильским топазом и кровавым рубином – императорские подарки, только что привезенные ей Эммануэлем. Умные черные глаза правительницы были сухи и гневны. Она с жаром и возмущением говорила Чапану, еле успевавшему переводить русским посланцам, о мнимых чудесах, происходящих в горах и колеблющих умы дагестанцев. По словам правительницы, Гази-Магомед в своих речах, поучениях народу и воззваниях призывал всю неимущую и босую горскую нищету повсеместно обрушиться на ханов, разделить их земли и имущество, а затем, подняв общее восстание, ринуться с гор в долины и в огне газавата, в пламени священной войны уничтожить русских, подвинув их поселения за Терек.

Лжеимам, говорила Паху-Бике, разослал по Дагестану своих людей и призывает горцев объединиться, очиститься духом, укрепиться в вере и шариате, не пить, не курить, бросить блуд и, собравшись в группы шегидов<sup>1</sup>, поститься и готовиться к газавату, к великой войне против ханов и русских войск. И так велика сила убеждения этого опасного человека, предупреждала ханша, что даже в самой Аварии и в шамхальстве, то есть в русских районах, ходят слухи и рассказы о его чудесах. Только вчера в Хунзахе поймали проходившего в Гергибиль бродягу, рассказывавшего на базаре о том, будто люди видели на небе мчавшихся всадников на белых конях, бряцавших оружием, и голосами, подобными грому, призывавших Гази-Магомеда. Ханша строго поглядела на покачавшего головой Чапана Алиева и с еще большим негодованием продолжала рассказывать о том, будто имам расстилает свою бурку для намаза на бешеных волнах Койсу и на недвижимой бурке совершает моление.

– Я прошу вас как мужей разума и совета написать великому сардару Ермолову о том, что если мы вовремя не уничтожим этого бешеного волка, то и ханской власти, и влиятельным людям Дагестана, и самому сардару придется плохо. Я хорошо знаю наши народы, – закончила ханша Паху-Бике. – Огонь надо тушить кровью.

Старая ханша Чехили, до сих пор безмолвно сидевшая рядом с Паху-Бике, утвердительно наклонила голову и, вынув из-за пазухи длинный лист бумаги, исписанный арабскими письменами, протянула его князю Чапану Алиеву:

<sup>1</sup> Посвященных.



– Вот одно из воззваний, которое привезли из Эрпели. Отвези его шамхалу и русским. Если Бог поможет мне, этому безродному бродяге не долго удастся мутить наши народы.

#### Глава 4

21 января 1826 года в крепости Грозной было заметно некоторое оживление. По трем ее улицам сновали казаки, солдаты, женщины, перекликались денщики; иногда не спеша проезжали драгунский офицер или фура с казенной кладью. Оживление в крепости объяснялось присутствием в ней самого «проконсула Кавказа», как называли в ту пору иностранные газеты Алексея Петровича Ермолова, а также и тем, что со стороны станицы Червлёной ожидалась оказия с линии. С оказией прибывали гости из Ставрополя, газеты и товары для полковых лавочек и маркитанток. Все это вносило оживление и интерес в довольно скучную, однообразную жизнь крепости, лишь семь лет назад построенной Ермоловым, вокруг которой стала расти и расширяться казачья станица Грозненская.

В просторном деревянном доме, занимаемом Ермоловым и частью штаба, былолюдно. В большой, еще пахнувшей свежим деревом комнате сидел за столом Ермолов. У окна, протирая стекла снятых с носа очков, находился Грибоедов, возле которого, выглядывая в окно, стоял один из адъютантов главнокомандующего Воейков, молодой, с черными усиками человек. Заметив что-то во дворе, он, бесшумно ступая на пятки своих азиатских чувяк, вышел из комнаты.

– Александр Сергеевич, друг любезный, – обращаясь к Грибоедову, сказал Ермолов, – о чем это ты такое говорил на этих днях в Екатериноградской с Ребровым?

– С Ребровым? – переспросил Грибоедов. – Толковали о многом и разном. И о российской торговле, в этих местах заброшенной, и о Москве и ее смешных людях говорили.

– Нет, – перебил его Ермолов, – о другом я спрашиваю тебя, Александр Сергеевич. О какой такой поножовщине ты говорил ему, которая должна была охватить в декабре Петербург? Я чаю, о восстании Трубецкого и тайном обществе была речь?

– О них, – помолчав, не сразу ответил Грибоедов. – А что? Напугал я этим разговором Реброва?

– Напугал, но дело не в нем. Ребров – мой друг и твой почитатель. Он ни слова не скажет никому о твоих суждениях, но ведомо ли тебе, сочинитель и дипломат, что восстание сие провалилось и в Петербурге идут аресты даже тех, кто хоть в крайней малости был причастен к оному?

– Ведомо, – коротко сказал Грибоедов.



– А по военному обычаю, коли командиру известны и действия противной стороны, то обязан он, коли не слеп и не глуп, принять все нужные меры и средства к обороне и наступлению. Разумеешь, об чем говорю? – тихо спросил генерал.

– Вполне, Алексей Петрович! – так же тихо сказал Грибоедов.

– Прими, Александр Сергеевич, все надлежащие и скорые меры, дабы ничего осудительного для тебя и близких тебе по сему делу лиц не было.

– Уже принял! – коротко сказал Грибоедов. По его встревоженному лицу пробежала тень. – Все могущие быть уликами бумаги лежат в особом пакете и в любую минуту будут сожжены.

– Лучше уничтожить их теперь же. Пишет мне из столицы один мой стародавний друг, что внимание следственной комиссии по делу 14 декабря направлено и на Кавказ. – Ермолов помолчал и затем еще тише сказал: – Там ведом и твой приезд в Киев. Подумай о том, ежели и тебя коснутся подозрения нового царя.

– Я уже приготовлен ко всему, Алексей Петрович, благодетель и истинный мой друг и покровитель!

– Аресты идут по обеим армиям, не сегодня завтра они дойдут и до нашего корпуса. Изничтожь свой пакет теперь же, сожги все, что опасно, и помни: знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Это спасло на Руси сотни хороших людей, – закончил Ермолов.

В сенях послышался шум. Вошли адъютант Воейков и начальник артиллерии полковник Мищенко, сопровождаемые казачьим урядником, несшим огромный бочонок с вином.

– Червленцы вам, Алексей Петрович, прошлогоднего урожая чихирь шлют, – улыбаясь, сказал Мищенко.

– Так точно, ваше высокопревосходительство! Старики просят не побрезговать их малым подарением и на здоровье попить родительского чихирьку! – ставя на стол бочонок, сказал урядник.

– Спасибо, Евстигнейч! Поблагодари стариков за память. Скажи, буду пить с особым удовольствием, – поднимаясь с места, сказал генерал.

– И там ишо кабанца привез. Казаки его надысь возле Терека в камышах подстрелили. Опять же дудаков копченых десятка два да шамай вяленой вашей милости, Алексей Петрович, бабы прислали. Кушайте на здоровье! – кланяясь в пояс и совсем уже по-станичному продолжал урядник.

– Скажи бабам и казакам спасибо. Коли б не вы, червленцы, совсем погиб бы с голоду, – похлопывая по плечу улыбавшегося урядника, пошутил Ермолов.

– От души, от сердца шлют, ваше высокопревосходительство! Не обессудьте на угощение! – снова становясь «смирно», сказал урядник.

Он вышел.

– Хороший народ эти гребенцы! – глядя ему вслед, сказал Мищенко, –



Я намеренно ночевал у Сехиных, так чуть не умер от их угощения. Одного чихирю полтора недра выпили!

— А я у Федюшкиных так из-за стола сбежал, — засмеялся Ермолов. — Есаул Дериглазов тамадой был, не хуже тифлиссских грузин угощал. Добрый народ эти казаки! — закончил он.

— Добрый-то добрый, да только за столом, — покачивая головой, сказал молчавший Грибоедов, — а я их недавно в экспедиции в Кабарде видал, не скажу, что там они были милосердны!

— Это когда Джамбота в Нальчике казнили? — пробуя налитое в стакан вино, спросил Мищенко.

— Совершенно верно! Жестокости и ненужный свирепости было в той экспедиции так много, что я пожалел, что стал ее участником. И убийств бесцельных, и казней бессудных, да и самая смерть этого юноши, Джамбота, не нужна была нашему делу! И должен сказать, Алексей Петрович, что не столь мне было жаль самого Джамбота, красавца и храбреца, бесстрашно шедшего на казнь, как его старого, в седилах, отца, бездвигно взиравшего на казнь своего удальца-сына, и только губы старца что-то шептали, едва шевелясь...

— Поэт ты и сугубо штатский человек, Александр Сергеевич, и потому суждения твои есть плод поэтической блажи. Джамбот — преступник перед лицом нашей короны, он покусился на убийства русских солдат, и карать его беспощадно и жестоко — наш долг! А слезы старика не должны трогать наши сердца. В сих азиатских местах только железо и огонь должны быть судиями, а не жалость!

— Но эта смерть храбреца уже сегодня воспринята и в Кабарде и в Осетии как бесстрашный подвиг. Девушки зывают к юношам, указывая им на Джамбота, старики как на пример геройства указуют на его деяния, и сотни других воспламененных его делами горцев займут место казненного!

— А мы уничтожим и их! — отпивая глоток за глотком чихирь, спокойно сказал Ермолов. — Только устрашение должно быть законом здесь. Двадцать казненных — как наказание за смерть одного русского! Тут Азия, добрейший друг, а не Европа!

— Вспомните Испанию! Ведь Наполеон ничего не смог сделать с народом, вставшим за свою честь, жизнь и существование!

— Э-э! — махнул рукой Ермолов. — То были испанцы, гордые, независимые, храбрые люди, которых история и прошлое полны великих дел, а что эти существа, у которых нет ничего ни в прошлом, ни в настоящем и которых не объединяет ничего! Религия у них полужыгическая-полу-магометанская, языков и народов тьма, между собой они разрознены и враждуют, ни грамотности, ни идей, ни любви к свободе. Ничего! Вы говорите об испанцах... Но разве можно сравнить вольнолюбивых, просвещенных людей Испании с этими дикарями!





– Даже у настоящих дикарей в минуты смертельной опасности для народа появлялись способные вожди! Вспомните индейцев Северной Америки, вспомните историю негров! А дикари, как вы именуете горцев, объединенные исламом, воинственны, неустрашимы. Как говорил мне наш уважаемый переводчик, подполковник Бек-Кузаров, среди их вожakov и духовенства есть немало людей, учившихся и в Стамбуле, и в Каире, грамотных и по-персидски, и по-арабски, отлично разбирающихся в политике.

– Вот эти-то немногие грамотеи давно находятся у меня на службе и получают за свое умение русское золото и серебряные медали. А ты сравниваешь этих голодранцев с храбрыми испанцами! Да не пройдет и десяти лет, как край сей будет замирен от начала и до конца, и русские попы и приставы станут хозяевами этих племен! – засмеялся Ермолов.

– Сомневаюсь, хотя и рад был бы сему! – покачивая головой, сказал Грибоедов.

– Так оно и будет! – вмешался в разговор Мищенко. – Вот с месяц назад я вернулся из карательной экспедиции, ходил с отрядом к кумыкам: имели наглость их абреки напасть на пост и убить пятерых солдат и офицера. Я прошел по аулам, повесил девять злодеев, казнил штыком шестнадцать, расстрелял восемь негодяев и взял из аулов пятьдесят аманатов и триста голов скота. И что же? Уже месяц, и ни один сукин сын больше не шалит в тех местах! Спокойно стало даже на дорогах. Вот что значит вовремя наказанное злодеяние!

– Варварство, которое вызовет обратное действие! Но что меня изумляет, мой высокоуважаемый покровитель и благопочитатель Алексей Петрович, это то, что вы, будучи человеком просвещенным, передовых мыслей, воспитанным на идеях Жан Жака Руссо и свободолюбивых философов и энциклопедистов, человек, умилавший меня широтой ума и души, знакомый с веяниями новых времен, сейчас столь жестоко оправдываете казни и насилия над людьми!

– Люди людям рознь, мой дорогой философ и вольнодумец! Квод лицет Иёви, нон лицет бови<sup>1</sup>, – говорили древние римляне, и это верно. Что хорошо в Европе, что подобает в России, то вредно здесь, а милосердие в сем крае – преступно, и за исключением грузинцев и армян, кои являются христианами и окружены мусульманским морем, все остальные народы суть азиаты и враги нашего государя, Отечества и веры, и их надо силой оружия русского покорить, а кои не сдадутся – истребить, – важно сказал Мищенко.

– А особливо персиян и дикарей Кавказа, коим непонятны милосердие и жалость. Если их щадить и жалеть, то сии христианские добродетели и свойства они почтут за слабость, – кивая головою, подтвердил Ермолов.

В комнату вошел старший адъютант гвардии капитан Талызин.

<sup>1</sup> Что подобает Юпитеру, то не подобает быку (лат).



– Оказия ночует в Горячих Водах и завтра прибудет в Грозную, – доложил он.

– Ну что ж, подождем до завтра, – поднимаясь с места, сказал Ермолов.

Мищенко и Грибоедов встали и направились к выходу.

– Вечером ужинать ко мне, – пригласил Ермолов и, задерживая за рукав Грибоедова, сказал: – Друг, Александр Сергеевич, лежит тут у меня письмо, перехваченное у эриванского сардара Гассан-хана. Не хочу показывать его переводчикам, переведи, коли сумеешь, ты.

Грибоедов подошел к столу. Остальные вышли. Ермолов покопался в своих бумагах и затем негромко сказал:

– Дипломат, а горячишься. Ни к чему в наши дни такая откровенная вольность даже и среди своих людей, каким я твердо почитаю Мищенко. А что касается пакета, истреби немедленно. – Ермолов походил по комнате, ласково поглядывая на молчавшего Грибоедова, и очень тепло, с искренним чувством сказал: – Потому что люблю тебя как сына и дорожу твоим большим талантом!

Утро следующего дня было солнечным и ясным. Хотя снежок и покрывал землю, а со стороны темных чеченских гор тянул холодный ветерок, все же это светлое утро 22 января 1826 года было веселым. В Грозной уже готовились встретить заночевавшую в Горячих Водах оказию. Письма и вести с родины, конечно, ожидались с интересом и волнением, усугубляемым тем, что скудные и тревожные сведения о декабрьском восстании войск в Петербурге, о репрессиях, судах, арестах вызывали тревогу среди офицеров и солдат.

Часам к одиннадцати дня из-за перелеска показалась голова растянувшейся оказии; были видны телеги, арбы с провиантом, конные казаки и пешие солдаты. Навстречу им поскакали дожидавшиеся оказии офицеры. Колонна остановилась. Послышались поцелуи, приветственные возгласы, смех.

Морозное утро сменилось теплым полднем. Туман уже давно рассеялся, солнце позолотило верхушки деревьев и отроги гор, его блики играли на штыках солдат, на лафетах орудий. Довольные приездом в крепость и ожидавшие отдыха, люди пересмеивались, шумно переговариваясь между собой. Озябший солдатик в шинели, соскочив с телеги, смешно и неуклюже отплясывал камаринскую под хохот и выкрики окружавших.

Офицер штаба Ермолова гвардии капитан Талызин, поручик Чистов, ротмистр Дехтярев и несколько молодых поручиков из частей гарнизона крепости шумно окружили офицеров, прибывших с оказией. По давней кавказской традиции у костров, разведенных тут же у дороги, уже жарился шашлык и в бурдюке плескалось виноградное вино, которым офицеры «согревали» прозябших и утомленных долгой дорогой товарищей.



Телеги двинулись в путь, а офицеры, шумно беседуя, угощались вином, засыпая друг друга вопросами о знакомых и сослуживцах. Капитан Шимановский, привезший из Ставрополя много новостей и свежие газеты, был центром внимания веселой компании. Талызин, подняв стакан с чихирем и размахивая папахой, крикнул:

– Господа, за здоровье дам, которые скучают по нас в Петербурге!

– ...и в Москве! – сказал подполковник Жихарев.

– ...и в Ставрополе! – добавил кто-то.

– ...и в станицах, через которые проходили мы, – под общий смех закончил Талызин, осушая стакан.

Из-за поворота дороги вынесся возок, окруженный полусотней конных казаков. Возок несся быстро, колокольчик звенел неистово и громко. Звук его разносился в морозном воздухе так звонко, что казалось, звонили тут же, возле пировавших офицеров.

– Господа, фельдъегерь... несомненно, из Петербурга, – делаясь сразу серьезным и официальным, сказал Талызин.

Офицеры насторожились. Сидевшие у костра поднялись, другие тревожно вглядывались в приближавшийся возок. Смех и говор смолкли. Каждый понимал, что появление фельдъегеря из Петербурга в такое время, когда после 14 декабря в обеих армиях шли аресты, не сулило ничего хорошего для чинов кавказского корпуса.

Талызин отошел в сторону и, отыскав глазами какого-то казачьего урядника, шепотом сказал ему:

– Скажи к Алексею Петровичу и доложи, что едет фельдъегерь из Петербурга. Скажи, что мы его здесь задержим, будем кормить шашлыком.

Урядник исчез. Возок уже подкатил к ожидавшим его офицерам и с шумом остановился. Казаки, сопровождавшие его, сгрудились на обочине дороги, выжидая дальнейшего. Из возка легко выскочил молодой, лет тридцати, офицер в пубе с капюшоном. Откинув его, он весело улыбнулся и, подходя к офицерам, сказал:

– Здравствуйте, господа! Разрешите представиться: гвардии капитан Уклонский с высочайшим повелением из Петербурга.

Его открытое, веселое лицо, любезность и простота обхождения понравились всем. Знакомясь и пожимая каждому руку, Уклонский весело подмигнул на костер, от которого вкусно тянуло жарившимся шашлыком.

– Прямо как будто ожидали гостя, – сказал он, принимая из рук Талызина шампур с жирным шашлыком.

– А это родительский чихирек... с устатку очень полезно, – протягивая ему деревянную чашку с вином, сказал есаул Карпов, один из наиболее именитых казачьих старшин, приближенных к Ермолову.

– Не откажусь. О кавказском вине у нас в Петербурге ходят легенды, – сказал Уклонский. Он долго, не отрываясь, пил чихирь. Наконец,



осушив чашу, тяжело передохнул и не без усилия сказал: – Однако этот ковш стоит кубка Большого орла. Осушить его надо иметь немало мужества!

– Просим, просим! – зашумели офицеры, окружив Уклонского и шутиво кланяясь.

– Мрайвол жамиер, – запел застольную грузинскую песню капитан Джавахишвили, снова протягивая фельдъегерю наполненную чашу.

Офицеры нестройно и как попало подтягивали ему.

– Что с вами сделаешь, господа! В чужой монастырь со своим уставом не лезь, – засмеялся Уклонский и, поднеся ко рту чашу, стал медленно осушать ее.

Талызин оглянулся, ища кого-то глазами. Казаки конвойной полусотни спешили, равнодушно ожидая дальнейших действий фельдъегеря.

– А теперь, если разрешите, – отставляя пустую чашу и переводя дух, сказал Уклонский, – направимся в крепость.

– Вместе с вами! – разбирая коней, заговорили офицеры.

Фельдъегерь влез в свой возок, казаки посадились на коней, и вся только что шумно пировавшая компания на мелкой рыси затрусила вокруг возка, позади которого скакала полусотня.

Ермолов сидел за столом, раскладывая старинный пасьянс «Капризы Помпадур». Генерал был сосредоточен. Карты не ложились в нужном порядке, и вaletы мешали маркизе, которую изображала червовая дама, встретиться в паре с трефовым королем. На плечи Ермолова был накинут широкий грузинский архалук, из-под которого выглядывала белая нижняя рубаха, кисти шелкового пояска, стягивавшего талию, – все говорило о том, что генерал даже и не подозревал о приезде царского фельдъегеря, возок которого уже подкатил к крыльцу.

Заслышав стук колес и голоса, Ермолов, подняв левую бровь, прислушался к шуму. В дверь постучали.

– Войдите, – продолжая раскладывать карты, сказал генерал.

В комнату, звеня шпорами, сияя новенькими эполетами и придерживая кивер у груди, вошел Уклонский, за которым гурьбой следовали Талызин, Шимановский, Воейков, Сергей Ермолов, Джавахишвили, Жихарев, за спиной которого был виден Грибоедов с дымившейся трубкой в руках.

– По именному высочайшему повелению к вашему высокопревосходительству фельдъегерь гвардии капитан Уклонский! – делая три шага вперед и застывая перед поднявшимся с места Ермоловым, доложил Уклонский.

– Прошу обождать одну минуту, прошу извинить, – сказал генерал и вошел в свою спальню. Минуты через три, уже в сюртуке с генеральскими погонами, с пашкой на боку и Георгием в петлице, он появился перед Уклонским.



– Слушаю приказание моего государя, – сказал Ермолов, поднося руку к козырьку фуражки.

Офицеры, стоя «смирно», смотрели на Уклонского. Вошедший позже всех Грибоедов, бледный и взволнованный, стоял у двери рядом с Талызиным.

– Его высокопревосходительством начальником главного штаба бароном Дибичем велено передать в собственные ваши руки, – торжественно сказал Уклонский, вынимая из сумки пакет с четырьмя сургучными по краям и одной в середине печатами. – Указ Его Величества! – громко произнес фельдъегерь.

Все настороженно смотрели на пакет, который медленно и осторожно, стараясь не сломать печати, вскрывал Ермолов. Талызин, легко и неслышно ступая на носки, стал за плечами генерала.

Ермолов расправил бумагу.

– Окуляры! – негромко сказал он.

Талызин достал из кармана футляр с очками и, передавая их Ермолову, быстро пробежал глазами по развернутой бумаге.

«...Следственная комиссия... коллежский ассессор Грибоедов... предлагается вам...» – прочел он и отступил назад.

Ермолов надел на нос очки, разгладил бумагу и стал медленно читать высочайшее повеление. Пока он читал, Талызин, встретив настороженный взгляд Грибоедова, чуть заметно кивнул ему головой и вышел из комнаты, следом за ним шагнул и Грибоедов.

Ермолов дважды перечитал высочайшую бумагу, затем бережно сложил ее и, уложив снова в конверт, спрятал в боковой карман сюртука.

– Господа офицеры, прошу познакомиться, гвардии капитан Уклонский, – обращаясь к офицерам, представил гостя генерал.

– Да мы уже познакомились, успели даже вашего превосходного вина отведать, – улыбаясь, сказал Уклонский.

– Да-а-с? – с самым простодушным видом удивился Ермолов. – Где же это было?

– А у поста, что перед крепостью. Там оказию встречали, ну и, как водится, чихирь с шашлыком поднесли гостю, – разглаживая черные густые усы, поспешил ответить капитан Джавахишвили.

– Добрый кавказский обычай! Его нужно соблюдать свято. А чачей гостя не угощевали? – осведомился генерал.

– Чем? – не понял фельдъегерь.

– Чачей. Это виноградная водка грузин. Отменного качества и крепости, доложу вам, – засмеялся Ермолов, – а раз не угощевали, то за сие возьмусь я сам. К столу, господа! Время завтрака! – И он гостеприимно указал Уклонскому на табуретку, – Снимайте сабли и пашки, – разрешил он офицерам, – и послушаем столичных новостей. Я чаю, вы нам расскажете многое, о чем наслышаны и не наслышаны мы.



— Новостей миллион, — снимая палаш и передавая его казаку, сказал фельдъегерь. — Разные: и добрые, и плохие, и петербургские сплетни, и столичные дела... Все расскажу, господа!

— Просим, просим! Ведь мы тут одними только слухами да письмами и живем, — заговорили, рассаживаясь, офицеры.

В дверях появился Грибоедов. На этот раз он был спокоен. Его близорукие, слегка прищуренные глаза смотрели уверенно и даже чуточку улыбались.

Талызин, выйдя из комнаты, быстро сбежал во двор и, подозвав казачьего урядника Разсветаева, что-то сказал ему.

— Слушаюсь, вашсокбродь, сею минутою исполним, — негромко ответил урядник и, понизив голос, добавил: — Камардин их высокоблагородия господина Грибоедова Алексашка уже занимаются этим. Их арбу отвели в лесок, не извольте беспокоиться, вашсокбродь, сделано все в аккурате!

— Спасибо, Разсветаев! Доброе дело делаем, нужного человека спасаем. Скажи Алексашке, чтобы поторопился, и оба забудьте обо всем!

— Не извольте сумлеваться, вашсокбродь! Мы тоже наслышаны кой о чем и понимаем.

Урядник вскочил на коня, а Талызин вернулся в дом. Когда он вошел, капитан Джавахишвили наливал гостю большой стакан желтоватой водки — чачи.

— Чистая виноградная, от нее на душе покой, голова светлеет, а сердце радуется, — угощая Уклонского, говорил капитан.

— Боюсь, что от всех этих кавказских питий вовсе потеряешь голову! — прикладываясь к чаче, сказал Уклонский. — И пахнет спиртом. Боюсь, ваше высокопревосходительство, с ног собьет.

— Ну что чача в ваши годы, — махнув рукой, засмеялся Ермолов. — В тридцать лет я в Германии пивал какой-то ликер, от которого кони с ног валились, а мы, гусары и артиллеристы, только лучше дрались с французом! — Он перехватил взгляд вошедшего Талызина и, поднявшись с места, сказал:

— Господа! От имени собравшихся здесь офицеров, от частей вверенного мне корпуса и от своего лично имею счастье поднять тост за здоровье Его Императорского Величества Николая Павловича. Виват! Виват! — осушая стакан с кизляркой, закончил генерал.

— Ура Его Императорскому Величеству государю Николаю Павловичу! — высоко поднимая стакан с чачей, звонко закричал Уклонский.

— Ура! Виват! Ура! — нестройным, шумным хором подхватили офицеры, высоко поднимая стаканы и чаши с вином.

Талызин, стоя у двери, не замеченный никем, кроме генерала, чуть заметно улыбнулся и утвердительно кивнул. Грибоедов просветлел. Держа в руке стакан с чихирем, он подошел к Уклонскому и очень приветливо и тепло сказал:



– Извините, что за общим шумом и движением не успел представить-ся...

– Не надо, Александр Сергеевич, к чему это? Кто у нас в столице и Москве не знает вас и вашего столь же знаменитого тезку Пушкина? Мы, офицеры гвардии, наизусть знаем ваше блистательное «Горе от ума»! – И он тепло и с уважением пожал руку поэта.

– Рад, очень рад случаю познакомиться с вами, – сказал Грибоедов. – Какие новости, что творится в столице? Я чаю, новостей у вас тьма?

Уклонский сел, и офицеры, не стесняемые присутствием генерала, стали спрашивать его о столице, о 14 декабря, о волнениях среди войск, задавая самые разнообразные и откровенные вопросы, на которые Уклонский так же откровенно, пространно и охотно отвечал.

– Где был Пушкин в эти тяжелые для родины дни? – спросил Грибоедов.

– К счастью, любимец муз и светских дам находился у себя в деревне и к мятежу причастия не имел, – ответил Уклонский.

– Великое счастье для нас! – облегченно сказал Грибоедов, и разговор снова потек по прежнему руслу.

– Аресты идут, господа, превеликие! Вероятно, вы наслышаны и о том, что ищут пока не разысканных Кюхельбекера, Андрея Тучкова и некоторых других. – Уклонский помолчал и затем добавил: – Милость государя велика, и уже есть немало очищенных от подозрения лиц. Будем надеяться, господа, что невинные не понесут наказания! – Он многозначительно подчеркнул последние слова.

Ермолов с уважением взглянул на него и значительно кивнул головой.

Разговор за столом был шумным и оживленным, легко переходил от декабрьских событий на Москву, на столичные сплетни и новости. Кто-то заговорил о новом романе Булгарина, Уклонский рассказал забавный, несколько фривольный анекдот, происшедший совсем недавно с писателем.

Солдаты убирали грязные тарелки и, ставя чистые на стол, прислушивались к беседе господ офицеров. События декабря были известны и им и вызывали тревожные слухи, толки и пересуды.

– И к вам, господа, на погибельный Кавказ в скором времени придут и офицеры, и солдаты расформированных батальонов, принимавших участие в событиях 14 декабря, – сообщил Уклонский.

– Что ж! Кавказ – хорошая школа для воинов. Здесь они научатся воевать, – довольно прозрачно сказал Талызин, подливая вина фельдъегерю.

Никто не заметил явной двусмысленности его слов, и только Грибоедов, отпивая глоток вина, с хитрой усмешкой глянул на капитана.

Сидели за столом долго. Наконец, когда расспросы, разговоры и вино в бочонке иссякли, Ермолов поднялся и, улыбаясь, сказал:

– Господа! Вы молоды, я уже стар. Прошу извинить хозяина за неучтивость, но я пойду соснуть часок.



Все шумно встали, разбирая сабли и шашки, оставленные в углу. Солдаты быстро унесли посуду.

– Прошу утречком к завтраку ко мне, – пригласил офицеров Ермолов. – Позвать дежурного по отряду полковника Мищенко! – И, делая всем рукой приветственный жест, генерал ушел в свою спальню.

Офицеры разошлись. Грибоедов, Сергей Ермолов – племянник генерала, Жихарев и Шимановский пошли в свой «офицерский» флигель, тут же во дворе, где находилось их общежитие.

Южный вечер быстро спускался на землю. Приближалась ночь, и черные тени от близлежащего леса и дальних чеченских гор стали длиннее.

*Червоная рябинушка,  
Расти, не качайся!  
Живи, моя сударушка,  
Живи, не печалься! –*

тихо, еле слышно доносилась со двора через полуоткрытую форточку станичная терская песня, которую где-то во дворе пели казаки.

Вечер был морозный. В комнате офицерского флигеля, где расположились на ночлег Жихарев, Сергей Ермолов, Грибоедов и Шимановский, было жарко натоплено. Лампа и две свечи ярко освещали комнату. Денщики раскладывали прямо на полу постели, подкладывая под изголовья хурджины<sup>1</sup> и чемоданы своих господ.

Жихарев, позевывая, снял скюртук и с улыбкой смотрел на оживленно споривших между собой Ермолова и Грибоедова.

– Москва – это мать российских городов, Первопрестольная. Ее древние святыни нужно чтить, и народ московский не чета твоим петербургским фертам и рябчикам! – сидя на полу, горячился Ермолов.

– Ну, пошел хвалить свою кислокапустную, застывшую в прошлом столетье Москву! И что в ней хорошего? Рутинка, грязь, косность! Огромная деревня, затхлые мозги, крепостное счастье! А к тому же мать российских городов не Москва, а старый престольный Киев!

– А что твой Петербург? Коллежские регистраторы, гвардейские фазаны и немецкий дух!

– Не сдавайся, Слепец<sup>2</sup>, стой грудью за Питербурх! – смеясь, вмешался в спор Шимановский и, прислушиваясь к песне, добавил: – Хорошо поют казачишки!

*Живи, моя сударушка,  
Живи, не печалься!  
Придет тоска-кручинушка,  
Поди разгуляйся!  
Поди, поди разгуляйся,  
С милым повидайся!*

<sup>1</sup> Ковровые переметные сумы.

<sup>2</sup> Так называли друзья Грибоедова за его сильную близорукость.





– И слова хорошие, добрые и умные! – согласился Грибоедов. – Именно когда на сердце «тоска-кручинушка», нужно разгуляться!

– Готово, вашсокбродь, – поднимаясь с пола, сказал денщик Ермолова, стлавший барину на полу постель.

За дверью слышались шаги, звякнула сабля, и в распахнувшуюся дверь вошли дежурный по отряду полковник Мищенко, фельдъегерь Уклонский, адъютант Талызин, поручик Сальников, за которым виднелись казаки. Шимановский, только что сбросивший с себя сюртук, поднялся с пола. Грибоедов протер очки, спокойно глядя на вошедших.

Мищенко, одетый в сюртук, при шарфе и сабле, шагнул к Грибоедову и несколько взволнованно сказал:

– Александр Сергеевич, воля государя, чтобы вас арестовать! Я обязан выполнить монаршую волю. Где ваши вещи?

– Воля моего государя священна! Вещи мои здесь, других не имею. Алексапа, – обратился он к своему камердинеру, молча стоявшему у стены, – открой и покажи мои чемоданы господам офицерам!

Камердинер вытащил из-под изголовья чемодан и переметные сумы своего барина, а также и большой английский саквояж.

– Все, ваше высокоблагородие, – раскрывая чемодан и хурджины, доложил он.

Уклонский нагнулся над вещами, один из казаков стал вынимать из чемодана белье, книги, какие-то карты и, наконец, с самого дна достал толстую клеенчатую тетрадь с рукописным текстом.

– Что это? – беря тетрадь в руки, спросил Уклонский.

– «Горе от ума», – просто и спокойно ответил Грибоедов.

– Есть у вас еще вещи? – спросил фельдъегерь.

– Здесь нет. Это все, что я имею с собой. Во Владикавказе на квартире майора Огарева имеются еще два чемодана, – ответил Грибоедов.

Обыск продолжался недолго. Завязав отобранное в особый пакет, Уклонский своей печатью запечатал вещи Грибоедова.

– Теперь, Александр Сергеевич, благоволите идти за нами, – сказал Мищенко. – Вам, как арестованному, отведено другое помещение. А ты, – обращаясь к камердинеру арестованного, добавил он, – приготовься сопровождать своего барина до Петербурга. Завтра отъезд.

Камердинер молча поклонился. Все: и Жихарев, и Сергей Ермолов, и Шимановский – встревоженно, с нескрываемой симпатией и озабоченностью смотрели на Грибоедова.

– Не волнуйтесь за меня, господа! Я чист перед Богом и моим государем. Все разберется, и я еще вернусь к вам! – быстро одевшись, сказал Грибоедов. – Я готов!

– Тогда пойдемте!

Казаки забрали опечатанные фельдъегерем вещи, и Грибоедов вышел из комнаты, сопровождаемый ими.



На следующий день около десяти часов Уклонский на своем возке вместе с арестованным поэтом, окруженные казаками, выехали из Грозной, держа путь к станице Екатериноградской, откуда шел прямой тракт Ставрополь – Москва – Петербург.

В тот же день генерал Ермолов, отправляя барону Дибичу и через него государю донесение об аресте Грибоедова, писал:

«Военный министр сообщил мне высочайшую государя императора волю – взять под арест служащего при мне коллежского асессора Грибоедова и под присмотром прислать в С.-Петербург, прямо к Его Императорскому Величеству.

Исполнив сие, я имею честь препроводить Грибоедова к вашему превосходительству. Он взят таким образом, что не мог истребить находившихся у него бумаг, но таковых при нем не найдено, кроме весьма немногих, кои при сем препровождаются. Если же впоследствии будут отысканы оные, я все таковые доставлю.

В заключение сего имею честь сообщить вашему превосходительству, что Грибоедов во время служения его в миссии нашей при персидском дворе и потом при мне как в нравственности своей, так и в правилах не был замечен развратным и имеет многие весьма хорошие качества».

## Глава 5

По случаю готовившейся коронации императора Николая I Павловича по войскам российской армии был отдан приказ ознаменовать это событие молебном, торжественным парадом и празднествами.

Получив этот приказ, генерал Ермолов отдал распоряжение по частям Отдельного Кавказского корпуса в одно из ближайших воскресений во всех гарнизонах городов и крепостей вверенного ему края отметить празднествами и парадом это торжественное событие.

По распоряжению Ермолова в крепости Внезапной стали усиленно готовиться к торжествам, приурочив к ним совещание представителей горских общин и владетельных лиц.

В крепостце Внезапной, где был расположен штаб и главная квартира Аваро-кумыкского отряда русских войск, происходил парад по случаю приезда в крепость начальника левого фланга генерала фон Краббе, присланного Ермоловым для проведения торжества и для переговоров с представителями Даргинского, Акушинского и Мехтулинского обществ и самим шамхалом таркинским.

Крепостца была расположена на огромной равнине, на стыке военных дорог, которые шли из Кизляра, Грозной и крепостей Дербента, Бурной и Низовой, и представляла собой важный стратегический пункт.



Укрепление было возведено на возвышенности, господствовавшей над плато, и имело вид неправильного четырехугольника, окопанного со всех сторон канавой глубиной до пяти аршин с высоким бруствером. На углах укрепления высились двойные боевые башенки с выдвинутыми вперед барбетами и аппарелями. Башни были построены с таким расчетом, чтобы вся лежавшая впереди равнина, дорога и слобода были под обстрелом грозно глядевших из угловых гнезд орудий. Самая слободка, где расположились семейные солдаты, переселенцы, торговцы и казаки, была также окопана неглубоким рвом и окружена широким боевым валом.

Единственная, прямая и широкая, Спасская улица перерезала небольшую площадь поселения, и ряд маленьких одноэтажных домиков и хатенок густо расходился от нее по сторонам. Высокая деревянная церковь, белые мазаные стены и черепично-саманные крыши хат придавали слободе вид украинского местечка, а зеленые аллеи недавно посаженного казенного сада делали его еще более схожим с каким-нибудь Гадячем, Пирятином или Черкассами. Здесь была расположена так называемая «женатая» рота, солдаты которой составляли одновременно и постоянный гарнизон, и население, оставляемое здесь для обрусения края.

Во всех вновь построенных крепостях или занятых и отвоеванных городах помимо обычных войск были расквартированы подобного рода «женатые», то есть семейные роты.

Над крепостью поднималось широкое двухэтажное казарменное здание с рядом пристроек и служб, возле которого у серых полосатых будок стояли парные часовые, сновали конные казаки, и на гладкоубитой и утрамбованной площадке блестели шесть орудий с кожаными надульниками на концах. Здесь же стояли зарядные ящики, знамя Кабардинского полка и отрядная казна.

За площадкой были разбросаны коновязи линейных казаков и строгие, разбитые по плану, белые квадраты палаток. Тут находился резерв отряда, состоявший из батальона навагинцев, четырех сотен моздокских и донских казаков, трех рот егерей и батальона Куринского полка. В стороне от штаба стоял обоз, музыкантская команда и маркитанты, шумно и безалаберно разбросавшиеся на зеленом берегу бежавшей возле слободки речушки.

Богослужение и благодарственный молебен по поводу благополучного восшествия на престол нового царя и воинский парад только что закончились, и усталые солдаты, в поту и пыли, держа ружья «вольно», шли смятыми, нестройными колоннами назад. Хотя генерал фон Краббе уже отбыл в крепость и находился сейчас в офицерском собрании, предусмотрительное начальство, желая подчеркнуть неутомимый и великолепный дух кавказского солдата, распорядилось батальонам пройти через крепость и слободу с песнями, свистом и припляской.



Впереди шли егеря. Их желтые погоны, короткие штуцера и длинные тяжелые штыки были покрыты слоем насевшей белой пыли. Усталые от маршировки и шагистики тела ныли и казались налитыми свинцом. По шеем и щекам солдат катился пот. Молебствие, а затем парад, как и полагалось, начались в десять часов, но полковое начальство, верное старой традиции не считаться с людьми, вывело батальон в семь. Поднявшиеся до зари, сонные, полуголодные люди больше трех часов простояли до начала парада. И теперь, когда солнце почти в зените стояло над Внезапной, утомленные бесцельной маршировкой, обремененные ружьями, зарядами и ранцами, они шли обратно, еле волоча ноги.

Проходя мимо открытых окон офицерского собрания, по знаку фельдфебелей несколько человек выскочили из рядов и под звон бубнов и хриплое пение плясовой, под озорные, бесстыжие слова «Машеньки» стали выделять фортели, припрыгивая впереди вяло идущих рот.

Лица и движения пляшущих были мертвы и безжизненны. Казалось, это на ходу подпрыгивают и приседают большие заводные куклы, лишь тяжелые хрипы и вздохи да грязные струйки пота на лицах говорили о том, что это люди, выполняющие тяжелый и мучительный труд.

Но звон оркестровых тарелок, лихой свист, грохот бубнов и озорные, вливавшиеся в окна слова:

*налажу...*

*ночевать к себе*

*распомажу...*

*...а я Машу –*

казались такими веселыми, радостными и буйными, что генерал фон Краббе, разрезавший в эту минуту крылышко отлично зажаренного гуся, расчувствовался... В его растроганном русско-немецком сердце заговорила пылкая любовь к «русскому воину», и он, отставив нож, взял в руки бокал с цинандальским вином и, поднимая его над головой, сказал внушительно, прочувствованно и задушевно (во всяком случае, ему так казалось):

– За него... за серую солдатскую скотинку... – И, поправляя мешавшую ему пить бакенбарду, закончил: – За кавказского воина!

День уже клонился к вечеру. Багровые облака, пронизанные лучами уходящего солнца, беспорядочно ползли над кумыкским хребтом. Ровные, колеблющиеся тени мягко сходили с гор, заполняя долину прохладой и мглой.

По Спасской в облаках пыли, мычании и гомоне, позванивая бубенцами, прошло стадо.

С высоких минаретов расположенного невдалеке от крепости кумыкского аула поплыл над крепостью и домами обычный вечерний азан<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Призыв.



к молитве. На желтых крышах саклей замелькали черные фигуры тво-  
рящих намаз мусульман.

Со стороны крепости набегали звуки духового оркестра, высыпавшие  
на улицу солдатики слушали их, судача и пересмеиваясь.

Из переулка вышли два офицера и, подойдя к низенькому деревянно-  
му домику, крикнули в раскрытое окно:

– Родзевич!

Бабы оглянулись. Одна из них, не переставая лущить подсолнухи,  
равнодушно кинула заглядывавшим в окно офицерам:

– Они, ваши благородья, в караул ушедши.

– Как в караул? – удивился первый офицер. – Ведь очередь не его. А? –  
вопросительно взглянул он на второго.

– Не могу знать. Нет и нету! – решительно сказала баба и вдруг закри-  
чала на всю улицу: – Титаренко! Э-эй, Титарее-е-нко!

– Чого? – спокойно и совсем близко раздался сонный голос, и из калит-  
ки высунулось конопатое лицо полуодетого солдата. При виде офицеров  
он вытянулся «во фронт».

– Где поручик твой? – спросил первый офицер.

– Не в очередь в заставу пошли. Слышно, татарва зашалила, ну и кара-  
улы удвоили, – выпячивая грудь, гаркнул солдат.

– Та-а-к! Жаль! Скажешь барину, что мы заходили, – поворачиваясь  
на носках и уже уходя, закончил офицер.

– Слушаюсь! – снова деревянным голосом прокричал Титаренко под  
веселый смех бездельничавших баб.

«Севе, 2-го мая 1826 года, в укреплении Внезапной по случаю вос-  
шествия на престол Его Императорского Величества императора Нико-  
лая I Павловича опосля семи часов крепостными людьми гвардии пол-  
ковника князя Голицына, совместно с солдатами-ахтерами 2-го батальо-  
на, приготовленными к оному маёром Козицыным и при участии духов-  
ного хора военной церкви на театре

**ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТ:**

**«РАЗБОЙНИКИ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ,**

**или**

**БЛАГОДЕТЕЛЬНОЙ АЛЖИРЕЦ»**

большой, пантомимный балет в 3-х действиях, соч. Глушковского, с сра-  
жениями, маршами и великолепным спектаклем.

Сия пьеса имеет роли, наполненные отменной приятностью и полным  
удовольствием, почему Санкт-Петербургской и Московской публикой за-  
всегда благосклонно принимаема была. Особливо хороши декорации и  
музыка г. Шольца (капельмейстера Кабардинского полка), в коей кре-  
посной человек князя Голицына играть будет на скрипке соло, а тан-  
цевать и вершить прыжки, именуемые антраша, будут рядовые 3 роты



Антонов Васька, Хрюмин Захарка да маркитантова дочь Зюрина Донька (pas de trois). Опося сиих танцев случится с ими же да крепостной девкой князя Нюшенькой pas de quatre сиречь вчетвером, и снова Хрюмин Захарка с Донькой вдвоем (pas de deux).

За сим дано будет:

«ЯРМАНКА В БЕРДИЧЕВЕ,

или

ЗАВЕРБОВАННЫЙ ЖИД»

препотешной, разнохарактерной, комической, пантомимной дивертисман, с принадлежащему к оному разными ариями, русскими, казацкими, литовскими и прочими танцами.

За сим приказный Моздоцкого казачьяго полка Адриан Чегин на глазах у всех проделает следующие удивительные штуки: в дутку уткой закричит, в ту же дутку забрешет по-собачьи, пустым ртом соловьем зашвищет, заиграет бытто на свирели, кошкой замаячит, медведем заревет, петухом завохчет, как подшибленная собака завизжит, голодным волком завоет и совою кричать примеца.

Тарелку на палку уставляя, а сею последнюю на нос, крутить будет, палкой артикулы делать, бытто мажор, и многое прочее проделает, а в заключение горящую паклю голым ртом есть примеца, и при сем ужасном фокусе не только рта не испортит, в чем все убедица могут, но даже и грустного вида не покажет.

За сим поручик артиллерии Отрепков 1-й расскажет несколько прекуриозных рассказов из разных сочинений, а в заключение всево, опосля хора партикулярных, воинских песен и припевов гребенских казаков уважаемые гости, господа офицеры с фамилиями своими, почтительно приглашаются к ужину в сад, в конец липовой аллеи, туды, где в своем месте расположена гарнизонная ротонда.

С почтением

афишу сею подписал

хозяин собрания и подполковник

Александр Денисович Юрасовский».

Копии с этой зазывательной афиши силами штабных писарей были размножены в двенадцати экземплярах, и уже к обеду весь гарнизон — офицеры, чиновники и духовенство крепости и слободы — читали расклеенные на заборах и стенах листы.

Немногочисленные гарнизонные дамы — жены и дочери осевших на Кавказе офицеров, свыше месяца готовившиеся к этому торжественному дню, заволновались.

Уже за три недели до вечера местная портниха, армянка «мадам Мери Ротиньянц из Парижа», была расписана по часам и еле успевала посетить своих требовательных и взволнованных заказчиц, разъезжая на за-



худалых полковых дрожках, предоставленных ей на это время устройтелем вечера подполковником Юрасовским.

Несмотря на то что верстах в десяти от крепости уже кончались «мирные» и «замиренные» аулы, несмотря на то что между крепостями, укреплениями и станицами нельзя было двигаться обозам и оказиям без сильного прикрытия, несмотря на то что весь Кумух, вся Табасарань, Авария и Андия глухо волновались и ежеминутные стычки с горцами грозили перейти в длительную и тяжелую войну, несмотря на все это, дамы, занятые мыслями о предстоящем веселом празднике, позабыв и горцев, и ожидавшуюся персидскую кампанию, и окружавшие опасности, горячо и заботливо готовились к нему.

Уже в пять часов вечера к штабу, в главном зале которого должна была состояться «пантомимная пизса», стали стекаться любопытные. В большинстве это были отставные, административно поселенные здесь солдаты и их семьи. Мастеровые, армяне со своими неразговорчивыми, закутанными в платки женами да городские кумыки, достаточно обрусевшие вокруг русских полков и успешно торговавшие с ними. Горцы, приехавшие на базар из близлежащих аулов и заночевавшие здесь, казаки, драбанты, персы-чернорабочие, вместе с нестроевыми и штрафными копавшие землю на казенных работах и прокладывавшие военные шоссе. Звонкоголосые мальчишки, туземные менялы, маркитанты и гулящие женщины – все шло сюда, чтобы, рассевшись на траве и на камнях под окнами здания, глядеть, как в большом доме будет веселиться начальство.

Съезд начался поздно. И суетившийся, взволнованный возложенными на него обязанностями штабной адъютант подпоручик Петушков не раз растерянно сбегал вниз, ожидая на «парадном» гостей. Его завитая и припомаженная полковым куафером, кантонистом Цыпкой, голова потеряла лоск, и развившиеся от беготни и волнения волосы намокли от пота. Он поминутно подносил ко лбу надушенный платок, стирал капельки выступавшего пота и, срываясь с места, носился по зданию, стараясь поспеть и к музыкантам, и на кухню, и за кулисы, туда, где среди крепостных актрис была его, как он, значительно вздыхая, любил повторять, «душенька Нюшенька» – крепостная балерина и наложница полковника князя Голицына, которую вместе со всей труппой возил за собой князь, уже с полгода назад прикомандированный из Петербурга к войскам Кавказского корпуса.

– Гос-с-поди!.. – в тысячный раз простонал считавший себя несчастным подпоручик, выглянув из окна. – Никого!.. Черт знает что такое! Ведь через полчаса прибудет его превосходительство... – Он тоскливо оглянулся по сторонам и, желая сорвать на ком-нибудь накопившуюся досаду, внезапно накинулся на прибывавшего к полу ковер солдата: – Ты чего расстучался, чертова харя!



Солдат испуганно вскочил и, вытягиваясь, быстро-быстро заморгал глазами, но шум приближающихся по лестнице шагов обрадовал адъютанта, и он опрометью кинулся к двери.

— А-а... ну, слава богу... — заглядывая вниз, сказал он. — Наконец-то хоть один пожаловал. А я уже совсем было встревожился.

— Словно ты не знаешь нашей гарнизонной аристократии. Ведь у них прийти раньше другого почитается пропащим делом. Моветон! — рассмеялся вошедший и, оглядывая зал с четырьмя зажженными люстрами, с рядами стульев и скамей, с массой прибитых к полу и развешанных по стенам ковров и паласов, слегка прищурился и удовлетворенно сказал: — О-о! А у тебя, брат Петушков, устроено не худо!

Подпоручик расцвел. По его вытянутому лицу пробежала довольная улыбка.

— Это что! Вот ты погляди, как мы ротонду разукрасили. И цветов, и ковров, и мутаков, и шелку, и все это в таком ласкательном взору антураже исполнено, что просто сказка! — захлебываясь, скороговоркой заговорил он. — А над столами люстры с восковыми свечами, над ними флаги, а надо всем царский вензель «Н», весь в огне, но огонь, ты имей на сие внимание, зажигается не сразу, а к моменту тоста за великого государя. Вокруг вензеля свечи в лампionaх, а от них восковой шнур, и прямо ко мне. Понимаешь? Моя выдумка! Я гляжу на Юрасовского, и, как только генерал подымет тост и скажет слово, все «виват!», «ура!», гимн, а тот мне глазом знак, — я и зажигаю шнур. И вензель весь в огнях и сияниях, а за окном, в саду, в парке, под окнами ракеты! Понимаешь? Мельницы вертящиеся, хлопущи в три огня: зеленый, синий и красный — и все в этот момент! А? Правда, дивно? Моя выдумка. Кабы не я, нет сомнения, этот тюфяк Юрасовский сего в разумение б не взял.

Он огляделся по сторонам и, принижая голос, сказал: — А там, — указывая на чуть колыхавшиеся суконные кулисы с двуглавым орлом посреди, — там что-о-о! — Подпоручик в восторге даже закатил сузившиеся глаза. — Чудо! Прямо, мон шер, чудо, и больше ничего. Девки-ахтерки в газу, понимаешь, здесь да тут вот прикрыто совсем маленьким тюником, а остальное...

Он даже присвистнул, но, слыша подкатившие к парадному дрожки, топот копыт и отдельные голоса, заторопился:

— Бегу, мон шер, после доскажу, а нет, так лучше я потом тебя в камеру сведу, что рядом с уборной. Поглядишь, как ахтерки одеваются. — И уже на бегу, делая серьезные глаза, подпоручик сказал: — Но, чур, Небольсин, на мою Ньюшеньку глаз не запускать... Не позволю!

Его длинная фигура пронеслась через зал и исчезла в дверях.

Небольсин, тот самый поручик, что в сумерках заходил к ушедшему в караул Родзевичу, засмеялся и, слегка покачав головой, прошел к окну и стал глядеть вниз на освещенное парадное, у которого толпилась празд-





ная, любопытная толпа. Копопиалась наводившая порядок полиция. На-  
лаживая инструменты, продували трубы и флейты музыканты, стучали  
колеса подъезжавших экипажей и звонко топотали подковы коней.

Съезд уже начался, и под трепетным светом лампионов и свечей за-  
колохались широкие поля дамских шляпок, слышались уверенные  
приближающиеся голоса кавалеров, звон шпор, смех, отдельные возгла-  
сы. Съезд начался, и подпоручику Петушкову не было больше основания  
волноваться.

## Глава 6

Сад был странный и необычный. Такой, какого он не видел еще ни разу  
до сих пор. Круглые и звездчатые газоны с оранжевыми цветами, на ко-  
торых сидели бабочки с изумрудными головками и веселыми золотыми  
крылышками. Высокие пальмы гордо разбросали свои мохнатые кроны,  
над кустами персидской сирени и желтыми чайными розами зеленые  
пчелы и юркие шмели носились в солнечных бликах, отливаясь радугой  
золотой пыли. Черный негр, страж таинственного сада, стоял у врат с се-  
ребряной алебардой в руках, но когда удивленный Родзевич остано-  
вился перед ним, он увидел, что вместо человеческой головы у негра была  
птичья, с загнутым клювом, слегка напоминающая голову какаду.

Он скосил один глаз на изумленного Родзевича и молча, с видимым по-  
чтением, откинул в сторону алебарду, делая приглашающий жест.

Дивная неземная музыка огласила воздух, и очарованный ею пору-  
чик, держась рукой за сердце, ступил через порог, идя по блестящей  
ледяной, окаймленной снегом дорожке, посреди одуряющего запаха  
жасмина, сирени, роз и настурций. Сильнее заколыхались чайные розы,  
громче запели райские птицы, сидевшие на ветвях, и очарованный, пол-  
ный любовного трепета Родзевич бросился вперед, к беседке, над кото-  
рой пышный плющ затейливо обвил кудрявые ветви в дорогой для него  
вензель – «Н и С» – «Нюшенька и Станислав»...

Но ноги не повиновались и, скользя, расползались по льду. Было  
почему-то холодно и неловко, а гипсовый амур, сидевший над входом  
в беседку, вдруг нагло рассмеялся и, отбросив в сторону свой колчан,  
встал и, вырастая и преображаясь, превратился вдруг в полковника  
князя Голицына и, грозно поводя пальцем перед самым носом поручика,  
гневно сказал:

– Ну, нет-с, государь мой... Ню-шень-ки вам не видать-с.

И в эту минуту все – и цветы, и пальмы, и даже сам ужасный арап  
с птичьей головой – громко и насмешливо расхохотались, и сквозь их  
вой и смех поручику слышался тихий и жалобный голос бедной зато-  
ченной в беседку Нюшеньки:



– Барин... Станислав Викентьич... ваше благородие...

Родзевич открыл глаза... Млечный Путь и Большая Медведица ярко горели над ним. Млечный Путь разлитым молоком растекался на темном небе. От реки несло ветерком, было прохладно, и звуки далекого «польского» доносились из городка.

– Ваше благородие... извольте вставать... чай вскипел и каша до-спела...

Осторожно теребя поручика за рукав, его будил драбант Петрович. Сновидения оставили поручика. Он вздохнул и, натягивая сползшую шинель, хотел перевернуться набок, но Петрович снова наклонился над ним.

– Вставайте, вашбродь, Станислав Викентьич, сами изволили нака-зывать будить ко второй смене.

– А разве пора? – потягиваясь и сладко зевая, спросил поручик, ски-нув шинель и усаживаясь по-татарски на сено. – Чего это они гогочут?

Шагах в тридцати у пылавшего костра виднелись черные освещенные силуэты солдат. Дружный и раскатистый смех снова добежал до пору-чика. Было видно, как один из слушавших, не в силах удержаться от душившего его смеха, повалился на спину. Другой, стоявший над ним и поправлявший хворостинкой костер, тонко, по-пороссячему взвизгнул и, шлепнув себя по ляжкам, присел в восторге. Раздался новый взрыв смеха.

Петрович, старый, почти отслуживший свою 25-летнюю службу седой и солидный старик, пренебрежительно махнул рукой и неодобрительно сказал:

– Пустое! Опять Санька Елохин комическую фарсу производит. Неодо-брительного поведения солдат. Одно слово – ферлакур!

Долгая жизнь в денщиках научила Петровича нескольким малопонят-ным словам, которые он с удовольствием применял в разговоре.

Родзевич встал. Сон, Нюшенька, Голицын – все исчезло. Была только южная кавказская ночь, полурота солдат, посты да музыка, доносивша-яся из Внезапной. Он взглянул на свой берегет, подаренный ему покой-ным дядей. Было двенадцать часов.

– Дай умыться, Петрович, да кликни сюда Захаренку, – сказал он и в последний раз, до хруста в костях, потянулся и сладко, продолжитель-но зевнул.

У костра, головами к огню, покуривая коротенькие трубочки и спле-ывая в горячую золу, лежало человек двенадцать солдат. Сладковатый дым махорки перемешался с кислым запахом черного хлеба и смазан-ных сапог. Вокруг теснились другие, с упоением слушая невысокого ко-ренастого солдата Елохина, спокойно и без аффектации рассказывавше-го им, как видно, уморительные вещи.



Языки пламени, выбиваясь из костра, облизывали охапки хвороста, только что подкинутого молодыми, «зелеными» рекрутами, лишь первую весну служившими на Кавказе.

— ...А у самой речки, коло мосту, бабы. Кто купается, кто ребят моет, а кто и так сидит. Глядь, человек на них идет с лесу. Сам худой, волос седой, на шее хрест на сепочке, а между прочим без штанов... «Хто таков?» Молчит поп, хрестит лоб. Оно, конечно, хоча и духовного званья, однако бабам смех. А каку и на грех сатана наводит.

Со стороны стога, на котором спал поручик, донесся окрик Петровича:

— Э-эй, вы! Захаренку до поручика!

Елохин смолк, сидевшие зашевелились. Один из пожилых солдат, с двумя лычками на погонах, с обшитым шевроном рукавом, встал, выбил трубочку о сапог и, пряча ее в карман на груди возле болтавшегося Георгиевского креста, крикнул в темноту:

— Иду!

Он поправил ладонью усы и бакенбарды и, переступая через круг лежавших солдат, выбрался вперед.

— Проснулся наш Викентьич, — оглядываясь на темневший стог, вполголоса сказал один.

Издали донесся рев трубы, отчетливо выделявшийся из всего оркестра.

— А что, братцы, — снова спросил кто-то из темноты, — почему опять поручик в карауле? И вечер его в наряд, и седни в карауле...

— Кто его знает? — вздохнул сидевший у самого костра солдат, наклоняясь к огню и поправляя дымившую головешку. — Офицер справный и до людей добрый...

— «Добрый... справный»! — сердито передразнил говорившего седой, хмурый солдат с серебряной серьгой в левом изуродованном ухе. — Потому и не в чести, что добрый! Опять же, поляк. Ихни братья, поляки, дюже нашкодили начальству.

Все промолчали. Было слышно, как трещал сухой, слежавшийся хворост да как со смачным хрустом жевали овес обозные кони. Издали, от командирской скирды, неразборчиво долетали слова Захаренки.

Подпоручик Петушков не преувеличил. Роскошь, с которой были украшены антре, комнаты и театральный зал, превзошла все ожидания гостей. Правда, скептики и прирожденные пессимисты угрюмым шепотом говорили о том, что обилие пестрых, пушистых ковров, расшитых мутаков, подушек с кистями и бахромой напоминает предбанник тифлисских купеческих бань, но, конечно, это был голос зависти, ибо и сам генерал-майор фон Краббе, и владетельный шамхал Мехти-хан таркинский, одетый в пожалованную ему императором генерал-лейтенантскую



форму голубых гусар, были приятно поражены убранством зала и комнаты, с таким старанием и заботой украшенных Петушковым.

Как только расставленные на перекрестках дорог махальщики заметили открытый, на высоких рессорах (что в те времена было ново и оригинально) фаэтон генерала, сейчас же вспыхнул ряд дымных, сальных плашек, расставленных по краям канав, обозначающих дорогу, а рослые квартальные с поднятыми кулаками бросились на теснившуюся у парадного толпу. Конные казаки, наседавая на толпу, быстро очистили площадку перед штабом. Вспыхнули все десять фонарей, и у подъезда стало светло, как днем.

Выбежавший для встречи Юрасовский отдавал на бегу торопливые, запоздалые распоряжения Петушкову. Полковник волновался, и подпорок, глядя на его жирное испуганное лицо, с злобной радостью подумал: «Трусись, стервец! Ра-с-по-ря-дители!»

За углом стояли дрожки, линейки уже приехавших гостей, и праздные кучера-солдаты, глядя из темноты на суетившихся офицеров, на торопливые движения капельмейстера и музыкантов, вполголоса делились крепкими ироническими словами.

Два конных казака, скакавших впереди фаэтона, на ходу спрыгнули с коней и, бросая поводья, кинулись, чтобы высадить генерала фон Краббе и влиятельного шамхала Мехти-хана. За фаэтоном ехали дрожки, в которых блестели погоны офицеров и светлые поля дамских шляп.

Толпа из-за деревьев и спин квартальных глядела на генерала, на Юрасовского, стремительно подскочившего к фон Краббе, на пышный, весь в золоте, сидевший, словно на манекене, придворный мундир Мехти-хана и на капельмейстера, неистово замахавшего палочкой над головой.

Десятки труб, флейт, валторн и гобоев рывкнули приветственный марш, и рыкающие, густые звуки поползли над домами.

Поддерживаемый под руку почтительным Юрасовским, генерал Краббе, любезно улыбаясь встречавшим его дамам, вместе с шамхалом торжественно поднялся по ступенькам подъезда.

Отъезжавшие экипажи тонули в полутьме, а все прибывавшие гости больше и больше заполняли освещенные комнаты большого дома.

Под самым портретом императора Николая стояли два высоких плюшевых кресла, обитые золотым галуном. За ними были поставлены в ряд кожаные кресла, за которыми длинными, ровными линиями шли стулья. По другую сторону от портрета царя висело изображение Екатерины II, а на стенах, поверх ковров, были развешаны портреты генералов Кутузова, Суворова и Багратиона.

Несмотря на то что Ермолов все еще был главноначальствующим Кавказским корпусом, услужливый и не в меру догадливый Юрасовский «позабыл» повесить портрет генерала. Небольсин, заметивший это еще задолго до приезда фон Краббе, поймав мчавшегося за кулисы Петушко-



ва, спросил его об этом. Петушков, вообще не выносивший Юрасовского и критиковавший все его распоряжения, в этом случае неожиданно перешел на сторону подполковника.

— А как же? Мы это сделали не машинально, — поджимая губы, сделал он большие глаза. — После недавнего высочайшего рескрипта, по-твоему, нам следует скомпрометироваться и повесить рядом с Суворовым... — Он огляделся и, принижая голос, сказал: — Бунтовщика и карбонария? Его Императорское Величество и без того слишком долго церемонится с этим старым якобинцем.

— Какая ерунда! — пожал плечами Небольсин.

— Нет-с, не ерунда! — горячо возмутился подпоручик. — Всем известно-с, сударь мой, что Ермолов имел прельстительную переписку с изменниками Трубецким, Пестелем и другими, и за это государь держит его теперь в столь прижатом положении. Жаль, обличить не удалось, а то бы он распростился навсегда со своим земным существованием, — и, видя, что Небольсин пытается что-то возразить, Петушков удивился. — Да тебе-то, душенька, что за печаль? Вот помяни мое слово, много, если еще год этот старый сомутитель и мартинист останется в корпусе. Так ты не забудь после пизэсы из чуланчика на дев воззреть, — и, размахивая руками, он скрылся за дверью, ведшей за кулисы.

— Ахти, батюшки мои, да какой же он страшный-стра-а-шен-ный! — отскакивая от дырочки, проверченной в занавеси, всплеснула руками одна из сильфид, предназначавшихся для живой картины-апофеоза «Слава русскому царю».

— Кто, девоньки? Который это? — пробиваясь к глазку и стараясь разглядеть в дырочку кого-то, зашептали остальные.

— Да вон, чернявый, бытто и генерал, а личность, как у турки! — указала на Мехти-хана первая.

На сцене прогуливались ожидавшие начала уже одетые и загримированные актеры, среди которых в невообразимо широких шароварах, коричневой безрукавке и таком же берете ходил высокий загримированный цыганом человек с пышными, спускавшимися до груди разбойничьими усами. За цветной кушак усача были заткнуты дуэльные пистолеты и кривой, в поддельных изумрудах ятаган. Он свирепо вращал глазами и, сверкая белками глаз, останавливался перед каждой из танцовщиц и амуров и с размаху бил себя в грудь, напыщенно и патетически восклицая:

*...О дева красоты, воззри на грудь иссохшу,  
Котора огонь в себе таит любви священной...*

При последних словах он стремительно падал на колени и, потрясая над головой руками, неожиданно робким и тихим голосом спрашивал:

— Ну как... сойдет?



И этот испуганный, неуверенный вопрос так не вязался с его свирепым, разбойничьим видом, пышными усами и великолепным вооружением, что Небольсин с изумлением дважды оглянулся на чудака, которого окружили щебечущие сильфиды и купидоны с розовыми крылышками, что-то успокаивающе говорившие ему.

— А это крепостной человек князя, — небрежно сказал Петушков, отыскивая глазами кого-то на сцене. — Человек, отменно способный на актерские экзерсии, мог бы снискать у князя отличную доверенность, но, дурак, робость имеет превеликую. Князь велел его известить: коли не сробеет, изобразит перед публикой высокие чувства любви — спасибо, и сверх того — червонец, а осрамится — пятьдесят плетей, и в солдаты!

Петушков расхохотался. Соломонова мудрость князя, как видно, очень нравилась предприимчивому подпоручику.

— А где остальные, пупышечка? — ткнул пальцем в щеку прехорошенького, толстенького амура с забавно колыхавшимися за спиной крыльями.

— А вам кого надо? Ой, поди не нас с Донькой? — кокетливо щурясь и поводя круглым напудренным плечом, засмеялась толстушка.

— Отчего не вас? Я одинаково азартно люблю и тебя, и прелестную Доньку.

— А особенно Нюшеньку, — хохоча досказала толстушка, — только они не выйдут со всеми. У них новый туалет для данса, — скороговоркой поведал амур, — ужаси какой приятный, весь в рюшах, кружевах и лентах, а на голове алмазный диадем с рогами. И Нюшенька — совсем как Венера. Их сиятельство увидали, ахнули и изволили мусью Карбалю за выдумку сто рублей пожаловать. Они и сейчас у ней в уборной любуются.

Петушков вздохнул и, увлекая в сторону Небольсина, осторожно прошептал:

— Экая незадача, мон шер! Как бы чего не вышло! Этот петербургский князь с его связями и силой может важно напакостить по службе. — Он горестно вздохнул и уже у самого выхода незаметно показал глазами поручику на маленькую дверцу: — Вот она, дверца рая. К концу пиесы приходи, попытаемся.

За занавесом стоял несмолкаемый гул. Музыканты, сидевшие на антресолях, заиграли что-то тихое и печальное. Сцена все больше и больше заполнялась подгримированными людьми. От частых прикосновений подглядывавших в дырочки танцовщиц занавес задрожал и заколебался. Через сцену, стараясь не стучать сапогами, прошли двое солдат и подтянули выше огни ламп. Суфлер, что-то дожевывая и обтирая ладонью губы, полез в будку, отругиваясь от щипавших и дергавших его за рукава амуров. Небольсин чуть приоткрыл край занавеса и выглянул в зал.

Впереди, на малиновых плюшевых креслах, сидели генерал фон Крабе и шамхал Мехти-хан. Краббе, облокотясь о кресло шамхала, что-то



дружески рассказывал ему, а почтительно склонившийся над ними Эристов бегло переводил слова генерала. Сзади них на кожаных креслах сидело человек пять штаб-офицеров и несколько знатных горских гостей, приехавших издалека для переговоров с генералом. Здесь были и правитель Кюринско-Казикумухского ханства полковник Аслан-хан, недавно получивший от государя этот чин вместе с 1000 червонцев и золотой табакеркой; сбоку от него находился кабардинский князь Бекович-Черкасский, полковник и командир одного из отрядов, расположенных в Дагестане. За ним, шестеро в ряд, сидели кадии и представители Даргинского, Акушинского и Мехтулинского обществ. Это были пожилые, наиболее зажиточные и влиятельные люди, не желавшие войны и боявшиеся ее. Неоднократные экспедиции русских войск в горы, разгром и сожжение непокорных аулов научили их считаться с русскими, мирная близость с которыми сулила им материальные блага. И сейчас они с удовольствием поглаживали большие серебряные и золотые медали, пожалованные им за помощь русским войскам. Им льстил и тот почет, и то откровенное уважение, с которыми отнеслись к ним русские начальники, и то, что эти, хотя и неверные, но могущественные люди сидели с ними рядом и почтительно выслушивали их. И только сухой и подтянутый даргинский кадий Нур-эфенди молчал и неодобрительно исподлобья поглядывал на своих сородичей, весело и развязно беседовавших с одетыми в мундиры неверными собаками. Шум и непривычная обстановка утомили его, но он, решившийся во имя Аллаха и Магомета опоганить себя близостью с неверными, молчал и с нетерпением ждал, когда наконец окончится вся эта скучная и непонятная ему процедура.

Прямо за гостями шли ряды стульев, на которых сидели дамы в белых и цветных платьях, без шляп, в кружевных наколках и капорах. По столичной моде того времени, строго соблюдавшейся повсюду, шляпы при посещениях летних театров снимали и передавали на хранение горничным из крепостных девок или же сдавали на руки кучерам-солдатам, сейчас же отвозившим их обратно домой.

Небольсин перевел глаза. Вот веселая и забавная толстушка, жена гарнизонного врача Штуббе, Эмма Фридриховна, или, как ее называла молодежь, «пампушка». Рядом с ней, прижав к ребрам сухие, длинные руки, сидел сам лекарь Ганс Карлович, с почтительным видом разглядывавая затылок фон Краббе. Ряд давно знакомых лиц поплыл перед Небольсиным. Весь местный бомонд, начиная от жены подполковника Юрасовского и до дочерей недавно приехавшего сюда протопопа Покровского, находился здесь. И белокурая Кригер, и молодящаяся сорокачетырехлетняя майорша Гретц, и пухлая Синицына, и волоокая грузинка Эристова, и другие – все сидели в зале, окруженные мужьями, кавалерами и знакомыми, ожидая начала пьесы.



Наскучив глядеть, Небольсин повернулся к Петушкову, но подпоручика не было. Вместо него сухой и надутый мосье Корбейль сердито глянул на него и ломаным, еле понятным языком ворчливо сказал:

– Пардон, мосье... Ушел заль... Напинайть... Impossible. Нельзиа.

А майор Козицын, страстный театрал и сочинитель, исполнявший обязанности режиссера, увидев поручика, подлетел к нему и, делая круглые испуганные глаза, замахал на него руками:

– Уходите отсюда, батенька! Сейчас начинаем. Не слышали, что ли, звонка? – И, тревожно оглядываясь по сторонам, он неожиданно перекрестился и приглушенно закричал: – Тяни!

Двое солдат, спрятанных по бокам рампы, потянули за концы веревок, и занавес с легким шелестом поплыл по сторонам.

## Глава 7

Родзевич с удовольствием ел горячую, густо промасленную кашу, в которую Петрович положил оставшиеся от обеда куски курицы.

Посты уже сменились. Костер все еще пылал, но люди вокруг него спали, и только дежурный по заставе молодой солдат Ковальчук сонно подбрасывал в огонь дрова. Спящие похрапывали во сне, кто-то испуганно и отрывисто бормотал:

– ...Побойтесь Бога! Да не кра-а-ал голенищ я... бра-а-а-тцы!.. – но сердитый толчок соседа прервал эти стонущие крики.

Ночь густо висела над землей. Черные отроги гор давно потонули во тьме. Луна, на минуту выползая из-за облаков, снова ныряла и куталась в них, и ее неровный свет бледно светил над ложбиной.

Петрович убрал тарелку поручика и, подождав еще минуту, видя, что Родзевич закурил, спрятал в сумы прибор и, свернувшись калачиком, мгновенно уснул.

Была ночь, звезды, редкая луна и тишина, прерываемая вскриками и храпом спящих солдат.

Родзевич докурил папиросу, старательно потушил ее о каблук, перевернулся на сене и, закидывая голову назад, стал глядеть в светло-серые, пронизанные луной облака.

Спать не хотелось, а грустные думы да доносившаяся из городка музыка и вовсе отвлекали от сна.

В душе поручика росла жалость к себе. Еще пять минут назад он и не думал об этом, но сейчас, когда эти звуки напомнили ему о спектакле, о шумной, веселой толпе, об освещенных комнатах с нарядными людьми, ему стало грустно, и он, словно думая не о себе, а о другом, близком ему человеке, покачал головой и прошептал:

– Да-а, обидели тебя, друг, о-би-дели!





Как и чем, вряд ли он мог определить, но сознание того, что вот он, поручик Родзевич, здесь, среди спящих солдат, лежит в поле, в карауле, в то самое время, как другие праздные и веселые офицеры любезничают с дамами и смотрят на его обожаемую Нюшеньку, казалось поручику таким несправедливым, что он даже застонал... Единственный вечер, когда можно было увидеть ее вблизи. Ее, Нюшеньку! Словчиться сказать ей два слова о ее красоте и о своей громадной, неутоленной любви! А вместо этого...

Поручик приподнялся и со злобой оглянулся по сторонам. Кругом была ночь. Луна ушла в густые облака и, как видно, надолго запуталась в них. От реки несло предутренней прохладой. В далеких камышах чуть слышно гоготали и курлыкали утки. Поручик вздохнул.

«Гос-с-поди! За что же все это? – с тоской подумал он. – Ведь я же не хуже других. Правда, я поляк, католик, но ведь и Мадатов не русский, и Эристов – грузин, да и сам фон Краббе немец! Почему же один я должен страдать от этого?»

Перед ним встало его детство, далекая Варшава, его бабушка, но внезапно, помимо его воли, лицо бабушки, тонкое и породистое лицо шляхтянки, перешло в круглую коротко стриженную голову батальонного командира майора Репина – Бугая, как прозвали его солдаты.

Родзевич с отвращением отвернулся; делая над собою усилие, отогнал видение и стал снова думать о ней, о недостижимой Нюшеньке, к которой сейчас он смешно и трогательно ревновал всех, кто только мог видеть ее полуодетой, танцующей *pas de deux*.

«А этот, я уверен, отвратительный Петушков ей еще успеет и сальнстей за кулисами наговорить...»

К князю Голицыну, хозяину и властителю жизни и тела Нюшеньки, Родзевич не ревновал. В его мозгу очень просто укладывалась мысль о том, что князь – законный хозяин Нюшеньки, имел право на все, но остальные, в том числе даже и его друг Небольсин, были «чужие». Музыка на секунду стихла.

«Неужели разъезд? Не может быть, ведь еще не более двух часов. А ужин в ротонде?» – подумал поручик и приподнялся, чтобы достать свой брегет. Рядом, совсем близко, из мглы грохнул рваный, неровный залп. Вспыхнули и погасли огоньки кремней, и свист пронесшихся пуль слился с выстрелами и громким заунывным и протяжным криком:

– Ал-л-лла-ла!!!

Сердце поручика екнуло. Не успев сунуть обратно брегет, он вскочил и пронзительно-тонким голосом закричал:

– Тревога! Тревога!

Но разбуженные залпом и криками солдаты уже метались по заставе. Кое-кто, спросонья не поняв еще, где неприятель, стрелял с колена в густую тьму. Другие с опущенными книзу штыками пробегали мимо по-



ручика туда, где из-за коновязи, покрывая гам и трескотню выстрелов, гудел зычный бас Захаренко:

– Хлопцы! Не робь! Сюды!

Неведомо откуда появившийся возле горнист сам, без приказа, заиграл «тревогу», и быстрые и задорные звуки, разрезая воздух, понеслись над взбаламученной поляной. Уже совсем близко грянул еще один пистолетный залп, и Родзевич услышал, как кто-то охнул возле него.

«Неужели Петрович?» – оглянулся на падающего поручик, но прервавшийся сигнал «тревоги» показал ему, что это был горнист. Из темноты, в ярком освещении все еще пылавшего костра, вырвались, вынырнули бегущие вперед фигуры, и поручик с ужасом увидел, что эти бесшумные, быстрые и увертливые тени стали колоть и рубить пашками не успевших отбежать солдат.

– Гос-споди! – вздрогнул Родзевич и, пересиливая страх при виде рубящихся на фоне костра людей, побежал за скирду, туда, где уже зычно подавал команду Захаренко.

В воздухе со свистом и воем летели пули. Испуганные кони, сорвавшиеся с привязей, носились по поляне. Стоны раненых и огонь нападающих слились с ржанием подбитых коней, с криками «Алла!» и хрипом умиравших, избруленных людей.

Вдруг над крепостью с треском и шумом взлетела сторожевая зеленая ракета, и вслед за ней на другом конце городка каскадом вспыхнули огненные круги взлетающих ракет. Что-то яркое и небывалое взметнулось позади казарм. Оранжевые, синие и зеленые огни закружились в диком грохоте и треске, и над поляной, над сражающимися, в разных направлениях взлетели, рассыпались и распушились длинными, звездчатыми, мохнатыми хвостами падающие ракеты.

Одна из залетевших ракет, описывая огненную дугу, с треском взорвалась позади нападавших, оставляя за собой белый мерцающий свет.

Выстрелы и крики «Алла!» внезапно смолкли. Тишина наступила мгновенно, лишь изредка прерываемая смолкавшей пальбой солдат. Переждав еще минуту, Захаренко остановил огонь своего кара.

За холмами уже светало. Предутренняя мгла, бледная и густая, ползла по земле. Чуть обозначившийся рассвет молочным светом озарил восток. Холодные, угрюмые контуры гор яснее вырисовывались во тьме.

Солдаты крестились. Густой и терпкий запах сожженного пороха плыл над землей.

– Ушли, гады! – обтирая фуражкой лоб, сказал Захаренко.

– Наделали делов, – покачивая головой, вставил неведомо откуда появившийся Петрович и, тревожно озираясь по сторонам, спросил дрогнувшим голосом: – Братцы, где же поручик?

Никто не ответил. Со стороны реки подул холодный ветерок. Ночь быстро уходила, обнажая поляну. От слободы с топотом и лязгом скакала



сотня казаков, и по замелькавшим на окраине огонькам было видно, что вслед движется дежурная полубатарей.

Петрович тревожно посмотрел на молчавших солдат и, уже не веря себе, крикнул в темноту:

– Вашбродь, вашбродь! Станислав Викентьич!

Но на голос старого драбанта никто не отозвался, и только суровый Захаренко молча потянул за рукав Петровича, указывая ему на лежавшего под скирдой человека. Петрович вскрикнул, всплеснул руками и бросился к хрипевшему поручику.

Представление подходило к концу. Пантомима с разбойниками и благодетельным алжирцем, спасшим захваченного пиратами в плен благородного юношу, гидальго дона Педро, давно кончилась. На украшенной усилиями полковых столяров и саперов сцене рушились и горели в бенгальском огне неприступные замки разбойников, а десятка полтора неуверенных в себе и робких в движениях крепостных «испанцев» штурмовали фанерные твердыни, освобождая благородного дона Педро.

После небольшого перерыва зрители прослушали сольную игру скрипача Антошки, с большим чувством исполнившего скрипичную партию из третьей сонаты Глюка.

Мехти-хан, шамхал таркинский уже раза два присутствовавший на подобного рода торжествах, был до некоторой степени знаком с процедурой и характером этих вечеров. Он старательно подражал генералу Краббе, считая, что ему, знатному и важнейшему здесь человеку, надо действовать именно так, как поступал и действовал фон Краббе. Не понимая слов пьесы, не улавливая мелодии и ритма музыки, он, однако же, напряженно слушал, то откидываясь назад в кресло, то восхищенно поводя глазами, копируя своего соседа. Но это он делал настолько тонко и с таким достоинством, что ни сам генерал, ни остальные не заметили ничего, и только ставший еще более хмурым и недовольным Нур-эфенди скорее почувствовал, нежели подметил это.

Он с неудовольствием скосил глаза на аплодировавшего актерам шамхала и остро и враждебно почувствовал, что этот человек стал для него совсем чужим.

Вид остальных несколько успокоил его. Его привычный глаз сразу заметил, что бесстрастные, вежливые, молчаливые люди, сидя здесь, были так же далеки от этих странных русских дел, как и он сам. В их напряженных позах, в их неловких улыбках он увидел самого себя и, удовлетворенный этим, с нескрываемым презрением перевел взгляд дальше, на ряды стульев, занятых русскими.

Когда во время антракта его, так же как и остальных гостей, пригласили в буфетную, где толпилась молодежь, смеялись женщины, звенела посуда и прохаживались пары, он решительно отказался и с неудоволь-



ствием заметил, как Мехти-хан, Аслан-хан и трое делегатов из Акушей и Торы прошли за генералом в буфет.

Старый кадий поджал губы и, притронувшись к рукоятке кинжала, тут же решил: «Завтра же возвращаюсь в горы. Между косою и сеном не бывает дружбы».

И, успокоенный этим решением, он с облегчением вздохнул и даже почти дружелюбно взглянул на промчавшегося мимо него Петушкова.

По залу пробежал не то сдавленный гул, не то глубокий вздох, когда мосье Корбейль в желтом старомодном, с низким вырезом и длинными фалдами фраке, наклонив голову, утонувшую в кружевном жабо, торжественно и вместе с тем любезно произнес:

– Нью-шен-ка!

Старик повернулся и, делая широкий приглашающий жест, отступил вглубь, отходя к кулисам.

Головы заколыхались. Дамские прически заходили в воздухе. В задних рядах приподнялись. Подполковник Юрасовский, перегнувшись через головы сидевших, что-то шепнул генералу. Один из петербургских франтов, «гостей», как называли здесь гвардейских офицеров, вскинул к глазам входившее в столице в моду стекло-монокль. Небольсин усмехнулся.

«Однако Нюшенька имеет успех», – подумал он, с удовольствием наблюдая за оживившимся залом.

Пехотные поручики и драгунские прапорщики с деланно-равнодушными взорами и полковые дамы с плохо скрытым враждебным любопытством веселили его. Он прекрасно знал, что переживают сейчас эти гарнизонные чайлд-гарольды и их внезапно смолкшие и нахохлившиеся соседки. Небольсин улыбнулся и... сразу потух. Улыбка сбежала с его лица. Впереди, через ряд, сидел князь Голицын, полковник конной гвардии, петербургский щеголь, хозяин и владелец Нюшеньки. На холеном и совершенно бесстрастном лице князя был покой, тупой, безмятежный покой уверенного в себе человека. Эта спокойная, ничем не колебимая уверенность была разлита и в равнодушных глазах, и в его неторопливых, еле заметных движениях. Ни говор зала, ни общий интерес к появлению его актрисы не вывели князя из спокойного, похожего на полусон состояния. Он даже не повернулся и только апатично поднял и сейчас же опустил глаза, когда из-за кулис в паре с рядовым Хрюминым показалась блистательная, в ослепительном наряде, прекрасная Нюшенька.

Небольсин с ненавистью взглянул на толстый, начинавший лысеть затылок князя и мрачно отвернулся.

Танцевала Нюшенька плохо. Но ее партнер, ловкий и сильный Хрюмин, бывший до военной службы крепостным актером в труппе графа Закревского, так хорошо и умело вел свою партнершу, что почти всем мужчинам, сидевшим в зале, показалось, что она божественна.



– Правда, не Тальони, – снисходительно шепнул Юрасовский, – но школа есть. И притом отменной красоты.

Фон Краббе только восхищенно кивнул головой, с удовольствием глядя на полные, розовые ноги актрисы и на ее голубой развевающийся тюник.

«Алмазный диадем», о котором говорила Петушкову толстуха, ярко горел и, подчеркивая черные, уложенные в горку волосы Нюшеньки, выгодно оттенял ее белый высокий лоб.

Перебегая несколько раз через сцену, Нюшенька быстро и пронзительно заглядывала в зал, и Петушкову каждый раз казалось, что девушка смотрела на него. Впрочем, это казалось не одному подпоручику. Только апатичный и холодный Голицын да удивленный непонятной беготней голых девок рассерженный Нур-эфенди не заметили этого. Остальным же, каждому из сидящих здесь мужчин, казалось, что эти смеющиеся уста и огромные голубые очи жили и смеялись только для него одного. Когда затихли звуки музыки, сочиненной господином Шольцем, и артисты, кланяясь и улыбаясь, спрятались за кулисы, Петушков, дергая за сюртук Небольсина, сказал:

– Видал, брат, какая Психея? Ах, чудная, чудная женщина! – И, не отводя от сцены восторженных глаз, с деловым и расчетливым видом шепнул: – А теперь к чулану! Через пять минут одевание корифеек.

Мнения разделились. В зале, в буфете и в ковровых комнатах шли споры, похвалы и полное отрицание талантов балерины. Дамы сошлись на последнем.

– Какая же это ахтерка? Просто обыкновенная смазливая дворовая девка, даже не из слишком хорошего дома. Без манер, без грации. Ее дансы и прыжки не делают никакого влияния на мои чувства, – разводя в недоумении руками, говорила майорша.

Ее кавалер, сухонький старичок в дворянской фуражке, робко и шепелявя возразил:

– Не правы-с, милейшая Авдотья Сергеевна, извините, не правы-с! У Нюшеньки кроме настоящей красоты есть и поворот головы, и законченная легкость движения, и...

– Да бо-ж-еж мой... разве это танцы? Выбежали себе мужики с девками так, словно у себя на лугу хоровод водят... потолкались, попрыгали и в кусты. Но при чем *pas de deux*? При чем балет и французский учитель? Назови этот танец казачком, и все будет понятно, – удивленно поднимая плечи и победно оглядывая всех, нарочито громко говорила полковница Юрасовская.

– Совершенная правда, матушка моя, вот уж истинная правда! Хороша девка, спору нет, да ведь и козла наряди в шелка да алмазы, и тот за красавца сойдет! А что насчет танцев, так вот в роте у моего мужа маркитантка как заведет гулянки с солдатней, так, ей-богу, почище Нюшки пляшет, – вмешалась в разговор худая, с лошадиным лицом женщина



в плохо спитом платье, жена капитана Сковороды, о которой говорили, что она и мужа, и его солдат с одинаковым упорством хлещет по щекам.

— А я бы присудил полное торжество этой изумительной красавице. При лучшем учителе и в другом положении она была бы и лучшей танцовщицей. Способности у нее есть, а внешних качеств природа отпустила ей вседовольно! — упорствовал старик.

Толстая и величественная майорша стремительно повернулась в сторону говорившего и, обдавая его холодным и недружелюбным взглядом, подчеркнуто громко сказала:

— Возможно, что мы, бедные армейские дамы, в курбетах и прыжках не разумеем многого, однако твердо знаем, что качества души и тела дает не природа. — Она гордо закинула вверх голову и повторила: — Не природа, а Бог! — И, не глядя на оторопевшего, удивленно пожимавшего плечами старичка, отвернулась и величественно отошла.

Вынырнувший в эту минуту из толпы запыхавшийся Петушков схватил Небольсина за рукав и сердито зашептал:

— Чего медлишь? Скорее... Уже раздеваются.

— Иди один. Я не пойду, — сухо сказал поручик, отвернувшись от удивленного Петушкова.

Генерал, видя, что его гости, а главное шамхал Мехти-хан, устали и с трудом переносят долгие часы спектакля, распорядился, чтобы после первого акта «Ярманки» в ротонде все было готово к угощению.

— Не прерывая пьесы, мы с шамхалом отправимся в ротонду, куда соблаговолите прислать заранее оркестр. Пусть молодежь веселится, нам же, старикам, — улыбнулся Краббе, — через часок-другой следует и соснуть. Тем более впереди, — он многозначительно вздохнул, — тру-удные дела.

Юрасовский наклонил голову и сейчас же бросился в ротонду, послав на розыски неизвестно куда запропадившегося Петушкова.

Из зала доносились смех и аплодисменты зрителей и голоса актеров, игравших украинца, русского и еврея, попавших в пьяном виде на ярмарке в рекруты.

Прождав минуты три и видя, что подпоручика все нет, раздосадованный Юрасовский забегал сам, отдавая приказания через дежурных солдат. И когда все уже было закончено и оркестр расположен в липовой аллее, а столы убраны цветами и сервированы, неожиданно из тьмы появился перепуганный, взъерошенный Петушков.

Подполковник набросился на него, но вспомнив, что времени остается немного, грозно сверкнул глазами и, не отвечая на бессвязные оправдания Петушкова, приказал приготовиться к пуску бураков и ракет.

Петушков облегченно вздохнул и, отскакивая снова во тьму, исчез у линии заранее установленного фейерверка.

Было около двух часов. Со стороны зала доносились аплодисменты да заглушенные взрывы хохота. Минуты две спустя на выходах зажглись



и забегали огни, и по восковой нитке промчалась пылающая струя. Плошки, дымно чадя, осветили широкую аллею с черными, полуозаренными стволами уходящих в темноту лип. Тонкий медвяный запах плыл над землей, смешиваясь с запахом сырой, прелой земли и чадающей копотью плошек. Огни приближались. На фоне движущихся фонарей и лампионов мелькали фигуры.

Петушков насторожился. По его знаку из тьмы должны были взлететь ввысь десятки шипящих, сверкающих и шумных ракет, обливая полнеба косматыми хвостами зеленых, оранжевых и красных звезд. Люди приближались. Их голоса отчетливо были слышны, и Петушкову казалось, что он видит лица говоривших. В эту минуту он сам себе казался такой же значительной и важной персоной, как важно и значительно было, по его мнению, своевременное зажжение ракет.

Невидимый во тьме оркестр заиграл встречный марш, и эти звуки, сменившие таинственную тишину, и раскинувшаяся над ними звездная ночь, а самое главное – мельком, на секунду увиденные из чулана прелести одевавшейся Нюшеньки настроили на мечтательный лад успокоившегося подпоручика, и он решил завтра же во что бы то ни стало улучшить минутку и объясниться Нюшеньке в своей страсти к ней.

Внезапно вдали, за садом и холмами, что-то грохнуло, растекаясь в правильный и размеренный залп.

Петушков вздрогнул.

– Что такое? Обвалилось, что ли?

И, еще не понимая ничего, он почему-то оглянулся по сторонам. Один из стоявших позади солдат тревожным голосом негромко сказал:

– Братцы, ай залп? А, братики?

– Вот я тебе по морде, анафемская твоя душа, – обозлился подпоручик, грозя кулаком во тьму, но в эту минуту совсем недалеко уже явственно раздались крики «Ал-лл-ла!» и звуки учащенной стрельбы.

«Напали на заставу! А может, и на слободку», – суматошно пробежало в его мозгу, и он, не соображая зачем и почему, вдруг замахал над головой платком и закричал испуганным голосом:

– Зажи-га-ай!

Десятки взрывающихся огненных, синих, красных и оранжевых змей, рассекая тьму, взвились в треске и свисте к небу, а кружащиеся, искрометные бураки и мельницы, сверкая и брызжа каскадами огня, завертелись и затрещали, озаря оживший липовый сад.

## Глава 8

Когда поручик открыл глаза, первое, что он увидел, было круглое усатое лицо гарнизонного врача, за спиной которого стоял дежурный фельд-



шер. Усы Штуббе радостно заходили, а широкие, полные щеки расплылись в улыбке.

– Я вас поздравляю... а теперь – тише! – наклоняясь над Родзевичем и делая испуганные глаза, зашептал он. И, поворачиваясь к теснившимся позади санитарам, приказал: – Отнесите в покой, не пускать никого, пока не оправится от операции.

Родзевич безвольно глядел на широкий затылок доктора, на его крепкую, квадратную, коротко стриженную голову. Зычный, энергичный голос врача проносился мимо потрясенного сознания поручика. И люди, и слова, и солнечные блики, проскользнувшие в окно, – все это было где-то в стороне, вдали от лежащего на столе, жалкого и ко всему равнодушного Родзевича. Все были чужими и ненужными. Тупая покорность и безразличие наполняли его. Ничего не думая, не напрягая память, он, словно в пустоту, смотрел остановившимся взглядом вверх, и даже когда его осторожно подняли с операционного стола и опустили в широкие двуручные носилки, даже и тогда равнодушная слабость не оставила его. Он закрыл глаза и сразу же погрузился в забытие так, словно все его потерявшее вес и ощущения тело провалилось в глубокую холодную пустоту. Один из санитаров у самой двери неловко оступился, и когда острая и внезапная боль от толчка пронзила тело поручика, он, вскрикнув от боли, глухо и мучительно застонал. И вместе с этим стоном в нем вновь пробудилась жизнь. Он испуганно оглядел кинувшихся к нему людей, и в его сознании почему-то особенно надолго запечатлелась побелевшая физиономия оступившегося санитаря и красный кулак обозленного Штуббе.

Ночной налет шайки абреков на сторожевое охранение вокруг Внезапной был раздут штабом до степени серьезного боя, в котором русские войска одержали крупную победу.

На следующее утро подпоручик Петушков вместе с командиром полка полковником Чагиным писал подробное донесение об «отбитом нападении партии затеречных хищников, дерзнувших напасть на доблестную роту егерского полка. В получасовой рукопашной схватке отраженный штыками противник был разбит совершенно и, понеся огромные потери, бежал с поля боя, унося с собою раненых и убитых. Наши потери в сем геройском деле невелики – ранен в грудь навывлет поручик того же полка Родзевич, убито 6 нижних чинов и ранено 9. В стремительном бегстве своем противник бросил у переправы Бакыл двух захваченных у кумыков коней. По сведениям лазутчиков, нападавшие были из немирных чеченских аулов Атаги и Дады-Юрта и в оном бою потеряли убитыми и ранеными до 30 человек».

Полковник почесал переносицу и недоверчиво сказал:

– Что-то непохоже на правду. Разбиты, бежали, а ни убитых, ни трофеев нет. Да и штиль вашей руки больно одинаков. Который раз одно – будто и слов других нету.





Петушков виновато развел руками и, поднимая плечи, неуверенно сказал:

— Официальный штиль-с, господин полковник. В казенную бумагу иначе нельзя-с, а лазутчики не врут-с, никак нет, господин полковник, истинную правду доносят... убитых десятка три-с...

— Кто их считал-то? — лениво ухмыляясь, перебил его командир. — «Десятка три». Знаю я этих очевидцев, эти азиаты даром что мирные, а поди, сами на посты налетели. Ну да ладно, давайте, подпишу, — согласился он и, беря от Петушкова гусиное перо, жирно и размашисто подписал: «полковник Чагин».

Через день егеря хоронили павших в ночной стычке товарищей. В девять часов утра на площадке перед полковой церковью в развернутой поротно колонне стоял полк. По флангам, словно статуи, вытянулись неподвижные флигельманы, от которых по туго натянутым веревкам строились роты. Спешенные казаки жались в стороне. Возле солдат голосили две бабы из солдатских жен. Несмотря на то что убитые были не из семейных рот и не имели среди населения родни, их по обычаю хоронили с плачем, бабьим завыванием и причитанием. Оплакивать погибших из слободки пришли две бабы, не знавшие убитых солдат; но они так горько, так естественно и горячо заголосили еще издали, завидя поставленные перед строем гробы, что даже старые, седоусые, видевшие всякие виды солдаты, опустив головы, мрачно и тяжело слушали эти воющие, на высокой ноте, тоскливо рвущиеся бабьи вопли. И не один из них в эту минуту, перед шестью убитыми товарищами, под женский плач и причитания подумал о себе; каждый вспомнил деревню, оставленную семью и представил свою, быть может, близкую и столь же бесславную смерть. Небольсин, стоявший сбоку полуроты, со скорбной болью увидел, как по коричневой морщинистой щеке правофлангового солдата медленно поползла слеза, цепляясь в седоватой, небритой щетине.

Полковой священник негромко отпевал убитых. Хор солдат глухими, поникшими голосами пел заупокойные слова молитв. По серым, насупленным лицам пробегали тени, глаза были опущены книзу, к земле, и только некоторые, главным образом молодые, с боязливым и глупым любопытством глядели на шесть простых, необитых, открытых гробов и на лежавших в них мертвецов. Около священника суетился Юрасовский, заменявший ему дьячка и на бегу подпевавший хору. Дежурный взвод с заряженными ружьями стоял наготове, ожидая знака Петушкова, чтобы залпом отдать последний салют погибшим. Солнце поднялось над головами, и начинавшие припекать лучи уже изменили лица убитых. Фон Краббе, стоявший впереди штабной группы, искоса взглянул на ближайший гроб. Левый глаз мертвеца приоткрылся, и генералу показалось, что мертвец неожиданно тонко и хитро моргнул ему. Генерал сделал шаг в сторону и, отводя взгляд, поспешно закрестился. Когда че-



рез секунду, преодолевая страх, он снова взглянул на мертвого солдата, лицо убитого было степенно и спокойно, а глаз, с которого уже сбежал солнечный блик, был мертвым, безжизненным и нестрашным.

Грянул залп, и все шесть гробов, медленно и тихо покачиваясь, легли в одну общую, братскую могилу, вырытую здесь же, недалеко от церкви, в ограде ее. Солдаты быстро перекрестились; по плацу громко и по-казенному слышалось:

– Нак-ройсь!

Через час ничто уже не напоминало о тяжелой и скорбной картине похорон. Роты с песнями и присвистом маршировали за крепостью, а неутешно голосившие бабы из слободки с увлечением занялись своими делами.

Родзевич, которому Петрович рассказал о предстоящих похоронах, с грустью услышал донесшийся залп, но и он, выздоравливавший и полный жажды жизни, через час уже забыл о шести солдатах, опущенных в тесную яму и засыпанных чужой кумыкской землей.

В слободке по случаю воскресного дня было разгульно. По грязной, никогда не просыхавшей улице шумно гуляли, горланя под бубны, полупьяные солдаты. Проходя мимо хат, занимаемых «женатой» ротой, озорники стучали в окна и двери, разнося по слободе свой неприхотливый разгул. Подошедшая с линии оказия привезла в шести бочках казачий чихирь, и свободные от службы солдаты на последние копейки тянули кислый «родительский чихирек».

Санька Елохин, веселый и затейливый малый, потешавший своими балачками постовую полуроту Родзевича, сидел в гостях у своего приятеля, женатого солдата особой роты Кутырева. Перед друзьями стояла чепурка красного вина и две солдатские оловянные кружки, в которые Кутырев наливал густое, пенистое вино. Фима, жена хозяина, стерла со стола красные винные лужи и с размаху шлепнула на стол большую сковороду с яичницей и жареной колбасой. Двое детишек Кутырева возлились на полу, на разостланной отцовской шинели, жуя пшеничный хлеб. Санька Елохин, подвыпивший и веселый, был в самом разгаре своего блаженного разгула. Придвигая к хозяйке кружку, он размякшим голосом сказал:

– Ну-ка, Афимья Егоровна, кружечку, за меня, за нашу добрую компанию... И-ех, кружечка моя, пташечка... – притоптывая и приплясывая, запел он.

Хозяйка заулыбалась и, отодвигая кружку, слабо запротестовала:

– Ку-уды мне столько, враз с ног сшибет...

Кутырев, пожилой, поседевший на службе солдат, осоловело глянул на жену и, шлепая ее ладонью по спине, добродушным пьяненьким голосом сказал:

– Пей! Пей, жена! Раз кавалер просит – следует пить... – И, с трудом поднявшись с табурета, радостным голосом прокричал: – Жена! Слу-



шать мою команду! За здоровье ново... новополученного егорьевского... кавалера... Александра Ефимовича Елохина. Урр-ра! – И, схватив налитую для жены кружку, разом осушил ее.

– Поздравляю, Александр Ефимыч, вот оно чего Господь послал. В таком разе с высокой наградой вас, – наливая себе кизлярки и кланяясь покачивающемуся гостю, заговорила хозяйка.

Елохин приподнялся и, расплескивая из кружки вино, срывающимся и восторженным голосом сказал:

– Сподобил Господь... и все их благородие поручик Родзевич, спасибо им, представил. – И растроганным, умиленным голосом закончил: – В бумаге написано – за отлично выказанную храбрость.

– Доброй души человек, – слегка трезвея, согласился хозяин, – даром что польской крови, а солдата любит. Дай ему бог всего доброго!

– Ура его благородию! – прокричал Елохин и, выпив, упал на свою табуретку. Уставясь вперед, он, не мигая, глядел на сальную, коптившую свечу и скорее себе, своим собственным мыслям, нежели хозяйке, стал быстро, неразборчиво и взволнованно говорить: – Добился крестика. Вот встанет на ножки, оправится, ей-же богу, пойду к нему и до земли поклонюся. Ведь крестик мно-о-ого дает! Первое – кавалер; значит, бить тебе по морде или сквозь строй – нельзя! Всех можно, всех, а егорьевского кавалера – нельзя! – Он гордо поднял над головой палец: – Закон не велит! Кавалера не тронь! Его морда казенная, его и царь бить не может. Сыми сперва хрест, а потом и мордуй! Опять же служба полегше, да и пенциону полтина в месяц идет... Э-эх! – в диком восторге вскрикнул он и, хлопнув о стол ладонью, выкинул из кармана перед вздрогнувшим от неожиданности, ошоловелым хозяином кучу серебряных и медных монет. – Вот они, четыре с полтиной, берег для хорошего дня! Дождался, – неожиданно сникшим и проникновенным голосом сказал он и истово перекрестился на темневшую в углу икону. – Сподобился... А все их благородие поручик Родзевич... – И снова пьяно выкрикнул: – Хочу за их благородие усе деньги пропить! Имею я такое полное право, скажи ты мне, любезный друг Микифор Иваныч, али нет?

– Имеешь! Должон пропить... – покорно согласился Кутырев.

– А коли так, посылай за винцом, за курятиной, за всем, чего хочется! – веселея душой и телом, в неистовом восторге куражливо завопил Елохин. – И давай сюды, Микифор Иваныч, куначков<sup>1</sup> моих – Терентьева, Шевчука и Хоменко. Нехай и они с нами попьют за поручика Родзевича!

– Александр Ефимыч, вы бы поберегли деньги. Другой раз сгодятся, – придвигая к Елохину монеты, наставительно сказала хозяйка, но Кутырев сердито закричал:

– Жена, молчать! Мы, как есть старые солдаты и царевы слуги, сами знаем чего и как. Молчать! – снова без нужды прикрикнул он и, забирая

<sup>1</sup> Друзей.



в горсть деньги, сказал: – Жена, ходи до маркитантовой лавки, купи все для ради праздничка. А мы ребят шукать станем! – И оба приятеля, обнявшись и пошатываясь, побрели из хаты в сторону крепости.

## Глава 9

У генерала фон Краббе состоялся военный совет. Недавнее нападение на посты, убийство солдат и ранение офицера требовали возмездия. Полученные от лазутчиков сведения сходились на одном. Шайка абреков, напавших на заставу, была собрана в немирных качкалыковских аулах, отстоявших от Внезапной в трех переходах. Как доносили лазутчики, нападавшие были под начальством чеченца Эски из аула Шали, уже известного на линии неоднократными наездами на казачьи станицы и посты.

В комнате сидело пять человек. Двое были штабные, с картами в руках разбиравшие путь предстоящей карательной экспедиции. Третий – пожилой, седобородый полковник, остзейский барон Пулло, назначенный начальником отряда, выступавшего в поход. Рядом с ним сидел Голицын, апатичный и равнодушный, как всегда. Казалось, он не слушал ни донесений лазутчиков, ни того, что говорил Краббе, ни солдатских покорных ответов Пулло. И даже когда начальник штаба, рассказывая о плане операции, наклонился над разостланной картой, подчеркивая карандашом намеченный к уничтожению аул, – даже и тогда князь Голицын лишь сонно повел в сторону говорившего свои оплывшие глаза.

– Его высокопревосходительство генерал Ермолов на наше донесение изволил ответить сею весьма энергической и неодобрительной бумагой. Командир корпуса не допускает мысли, чтобы содеянное горцами злодейство могло не быть отмщено.

– Я питаю его инструкций, – перебивая начальника штаба, сказал Краббе и с сильным, типично немецким акцентом прочел выдержку из официального письма, только вчера полученного из крепости Грозной, где в эти дни находился Ермолов.

«...Войска наши допущены бывают к потерям только лишь исключительно нерадением и невниманием своих начальников. Русская кровь, которую пролили оборванцы из чеченских бродяг, требует своего отмщения. За одну русскую смерть они должны заплатить десятью. И эту сию меру следует неукоснительно иметь перед собой, когда наши храбрые войска пойдут в горы отмщевать за павших. Неудовольствие свое за нерадивость гг. офицерам при сем объявляю...»

Фон Краббе смолк и многозначительно оглядел слушавших.

Полковник Пулло молча разгладил ладонью бороду и односложно сказал:



– Инструкцию командира корпуса имею в виду.

Карандаш начальника штаба снова заходил по карте.

– Вот тут и вот здесь, при переходах через Ямансу и Истису, могут быть некоторые затруднения, хотя качкалыковцы, как видно из донесений лазутчиков, и не подозревают о нашей экспедиции. У границ Гудермесского леса имеются у дорог и просек четыре старых завала, не уничтоженных в прошлую экспедицию. Здесь войска, конечно, уже встретятся с врагом, и отсюда начнутся боевые действия. Первый батальон егерей с одним единорогом, тремя орудиями и двумя ракетными станками двинется через эту просеку, в лоб на аул. Три роты куринцев с сотней моздокских казаков пойдут с левого фланга, подкрепленные одной кегорновой мортиркой и десятифунтовым единорогом. Три роты Куринского полка с двумя сотнями гребенцев и пятью фальконетами охватят вот этот овраг и, форсируя его, выйдут справа через лес и орешник на пастбища аула, где казаки должны будут отогнать на наши резервы весь скот чеченцев. Резерв из трех рот егерей, батальона куринцев, двух сотен моздокцев и пяти орудий будет находиться при вас, употреблен будет согласно обстановке и вашему усмотрению.

Пулло молча отдал честь.

– В качестве представителя от штаба корпуса с вами в экспедицию пойдет его сиятельство... – улыбаясь и указывая на слегка ожившее лицо Голицына, продолжал начальник штаба. Пулло неуверенно покосился на гвардейского полковника и молча поклонился.

– Я надеюсь, что честь русской оружие будет вознесено на очень большой висот. Я уверен, что презренный враг опять изведает острой русской штик... – напыщенно произнес фон Краббе, вставая. – А теперь я очень прошу, князь и господин полковник, откушат маленький ушин.

Солдаты, собравшиеся к Кутыреву и чествовавшие георгиевского кавалера Елохина, были все пожилые, старослужащие. За спиной каждого из них насчитывалось добрых пятнадцать-двадцать лет строевой военной службы. Двое из приглашенных, рядовой Шевчук и ефрейтор Хоменко, были ветеранами Отечественной войны. Они помнили и Бородино, и Смоленск, и Березину, и весь европейский поход от Варшавы и до Парижа. Сотни боев, тысячи людей, горы трупов, десятки народов и государств, отступления, победы, голод, морозы и расстрелы – все видели и испытали эти суровые пожилые люди, двадцать лет назад молодыми деревенскими ребятами взятые из дымных, курных изб в царскую службу, в двадцатипятилетнюю кабалу.

В комнатке Кутырева стоял невообразимый шум. За столом, залитым красным вином, сидели охмелевшие гости в расстегнутых мундирах или просто в одних рубашках. Рядовой Терентьев, полулежа на полатах около еще не спавших ребятшек, играл на гармошке, а уставшие плясать солдаты, с обязательной поочередностью ухая, топая и выкрикивая, но-



сились вприсядку по полу. Усталая, сбившаяся с ног хозяйка металась от чадившей жаркой плиты к забрызганному, замусоленному столу, поднося еду, прибирая грязные миски и успевая потчевать осовевших, довольных гостей и подливать им.

За здоровье Родзевича пили по несколько раз. И каждый раз георгиевский кавалер Санька Елохин восторженно кричал «ура» и клялся, уверяя всех в своей исключительной и особенной любви к поручику.

– Скажи он мне... помирай вот тут... вот здесь, сей минутою, на этом месте... и помру... и... и... сдохну! – совершенно опьянев, бормотал он, поочередно обращаясь к пьяным и не слушавшим его солдатам. Только Терентьев, оставив надоевшую ему гармонию, взял соленый хрустящий огурец и, надкусывая его, сказал:

– Поручик Небольсин тоже человек правильный. Не то чтоб вдарить или там матюгом, просто вредного слова не скажет.

Но Елохин не сдавался:

– Супротив Родзевича ему не устоять. Нету таких, как наш Викентич. Ты на его личность взгляни: сам белый, а щеки румяные, Опять же тонкого понятия... Завсегда чистый, ручки духовитым мылом моет, не то что другие. Со всеми добрый да ласковый, чего кто скажет, а он словно красная девушка зардеет. Ура! Нехай до енерала дослужится.

– Их брату поляку до енерала не дойти! Закон не позволяет... – авторитетно заявил Хоменко.

– Это почему? – обиделся Елохин.

– Доверия нема. Али не помнишь? Как Бонапарт шел на Россию, супротив нас дрались. Вон про то и Шевчук знает, – набивая трубочку, сосался ефрейтор на своего соседа.

Шевчук молча кивнул головой.

Елохин опечалился:

– Неправильно это. Значит, выходит, всякое дерьмо, навроде Петушкова альбо капитана Синицы, могут до енерала дойти, а их благородие поручик Родзевич не могут? – Он раздумчиво и пьяно покачал головой и, озлившись, крикнул: – Неправильно это! Вот я, егорьевский кавалер Александра Ефимович Елохин, егерского князя Кутузова полка, заявляю: неправильно это, а потому я хочу... – Он подумал и внезапно решил: – Я хочу пойти к моему дорогому командиру поручику Родзевичу в лазарет и об этом ему доложить.

В обычное время никому из рядовых не пришла бы в голову такая блажная и опасная мысль, но сейчас, после ведра кизлярского чихиря и пьяного веселья, мысль эта показалась всем хорошей, и только хозяйка да ефрейтор Хоменко пытались урезонить и отговорить собравшегося уходить Елохина. Но Елохин принадлежал к той категории людей, которые в хмельном виде не выносят противоречий и уговоров и поступают от пьяного удалства как раз наоборот. Он, не слушая слов хозяйки,



накинул на себя шинелишку и, крикнув с порога комнаты: «В один дух вернись!» — исчез за дверью в темноте.

Лазарет, в котором лежал Родзевич, находился в крепости, рядом со штабом отряда и офицерскими бараками. Ночь была тихая и безлунная. Молодые, недавно посаженные тополя высились над длинным белым флигелем лазарета, скупо освещенного одиноким керосиновым фонарем, под которым сидел сторож из отслуживших свой срок стариков.

Когда Елохин, разгоряченный быстрой ходьбой, подошел к нему, было поздно. Караульные на верках крепости уже в девятый раз прокричали долгое, заунывное «слу-ша-ай». Со стороны слободки еле слышно доносилась далекая гармошка, да шумно возились копи казачьей полусотни, расположенной на дежурство у площади, невдалеке от лазарета.

Елохин обругал не пускавшего его сторожа и, оттолкнув старика, почти бегом прошел в ворота, но засеменивший за ним служивый, не отставая и ругаясь, не давал возможности пройти в лазарет. Елохин, на отуманенную голову которого подействовал свежий ночной воздух, не сдавался и ускорил шаги, кинувшись в сторону флигеля, к третьему окну, где, как он знал, лежал раненый поручик; но сторож, видя, что его старческим ногам не догнать пьяного, неведомо зачем ворвавшегося сюда солдата, тревожно застучал колотушкой о медную доску и стал во всю мочь призывать на помощь. Где-то в конце флигеля зажегся сначала один, за ним другой и третий огни. В коридоре завозились. Со стороны площади, где дежурили казаки, зацокали копыта скакавших коней. Елохин сразу отрезвел. В его пьяном мозгу отчетливо и ясно встала опасность его положения. Поняв всю серьезность и нелепость своего неожиданного посещения, он бросился от окна в густые кусты мокрой от росы сирени, которая широким кругом охватила офицерские бараки и лазарет. Ломаю ветви, пригибая их тяжелыми сапожищами к земле, уже позабыв цель посещения лазарета, он несясь по кустам, прячась от несмолкавшего позади крика и стука. Сердце Елохина билось тревожно и часто, опьянение слетело прочь — успеть бы уйти, успеть бы спрятаться. Он с размаху влетел в самую гущу сирени и почти упал, наткнувшись в темноте на что-то живое и горячее. Елохин пошатнулся, и в ту же секунду кто-то крепко схватил его за плечо.

Луна, вынырнувшая из-за облаков, осветила блеснувшие погоны и серый офицерский китель человека, державшего его. Растерявшийся Елохин затрясся, узнавая в нем поручика Небольсина, того самого офицера, которого всего полчаса назад хвалил ефрейтор Терентьев. В кустах что-то охнуло и метнулось в сторону, и перепуганный Елохин увидел закрывшую руками лицо, пригнувшуюся к земле женщину.

Сзади множились голоса, не переставал дребезжать колотушкой сторож, двигались огни.

Небольсин, не отводя глаз от дрожащего Елохина, тихо спросил:



– В чем дело? – И, не давая ответить солдату, так же быстро, шепотом приказал: – Сядь здесь, не вылезай. Сейчас все слажу! – И, нагнувшись к прятавшейся в кустах женщине, сказал: – Не бойся. Сейчас вернусь.

Голоса шумели и приближались.

– Заходи отседа. Не иначе как в кусты побег.

Елохин в страхе зажмурился и, затаив дыхание, тихо опустился на корточки возле притаившейся под кустами женщины. Над ними зашумели раздвигаемые ветви и затрещали сучья. Солдат понял, что это поручик пошел навстречу приближавшимся людям.

– Во-от он... Вот! Держи его! – донеслись до слуха Елохина торжествующие крики, и он открыл глаза. Сквозь густую сеть сирени неясно, совсем близко от него, дрожали и колебались дымные огни, на фоне которых двигались потревоженные люди. Солдат слышал голоса и видел, как со всех сторон метнулись тени к выходившему из темных кустов поручику.

– Во-от! Вот он... Держи! – зашумели они и сразу же смолкли, узнав в подошедшем своего офицера.

Луна снова ушла в облака, и опять стало темно. Дымные факелы прыгали и колеблющим светом озаряли немую сцену – офицера, стоявшего перед десятком изумленных людей.

– В чем дело, ребята, кого ищете? – громким голосом спросил Небольсин.

– Да тут, ваше благородие, ничего не поймешь, – разводя руками, сказал один из прискакавших казаков, – кто говорит, чечены в крепость залезли, кто кричит, воры, а по верности сказать, и не знаем.

– Чего там не знаем, – обидчиво перебил его сторож и, подтягиваясь перед офицером, доложил: – Солдатик тут пьяный, вашбродь, забежал, чего хотел – не знаю, не иначе как своровать думал, я его, значит, не пущаю, а он мне по морде да бегом, я и закричал.

Один из слушавших иронически засмеялся:

– Вот что! А я думал, кунаки на крепость напали, такую возню поднял! Старик, обидевшись, повернулся к нему.

– Раз не допускается без разрешения. Опять же ночь, опять же пьяный и до морды...

Небольсин равнодушно протянул:

– А-а-а! Вот оно в чем дело. Ну, это пустяки, не велика штука... а я выскочил, думал – тревога. А этого пьяного я видел, он во-он, – указал он в противоположную сторону, – туда побегал. Я подумал, что к себе в роту по тревоге бежит. – И, уже уходя, добавил: – Расходись, ребята, спать, и так всех по пустякам разбудили.

И пошел обратно, делая вид, будто возвращается через кусты в бараки.

Факелы задвигались, голоса зашумели, и Елохин увидел, как разбрелись по замолкшему и опустевшему двору искавшие его люди. За воро-





тами мерно застучали копыта коней, и около него, раздвигая кусты, выросла фигура офицера.

– Какой роты?

– Третьей егерской, вашбродь... – так же тихо ответил Елохин.

– Как фамилия?

– Рядовой Елохин, вашбродь.

– Зачем сюда ворвался?

– Виноват, вашбродь, дюже пьян был, опять же их благородие поручика Родзевича хотел повидать, – и замолчал, чувствуя, что офицер засмеялся.

Луна снова выплыла на небо.

– Ты меня знаешь?

– Так точно, вашбродь!

– А ее узнал? – тихо спросил офицер, указывая на неподвижную, закутавшуюся в платок женщину.

Елохин глянул в темноту и коротко ответил:

– Никак нет!

– Ну, ступай! Да никому не рассказывай про это. А поручику Родзевичу я скажу, что ты о нем соскучился.

– Покорнейше благодарим, – тихо ответил Елохин и, ступая на носки, осторожно выбрался из сирени и перелез через изгородь сада.

Когда он вернулся обратно, все были пьяны и даже не помнили о том, что Елохин куда-то и зачем-то уходил. Он налил две полные кружки вина и, подавая одну из них единственно трезвой хозяйке, торжественно сказал:

– За здоровье поручика Небольсина!

Это было все, что он вообще когда-либо сказал об этой встрече.

Когда Пулло и Голицын, отужинав у генерала, собрались уходить, за окном послышались крик и гулкие удары колотушки. К лазарету прискакали казаки, и недоумевающий Краббе, высунувшись в окно, стал всматриваться в колеблющиеся огни факелов, забежавших и заходивших по темному госпитальному двору.

Крики смолкли, и только неясный гул голосов слабо добегал до слуха наблюдавших.

– Что это за шум? Что там такое? – спросил Краббе, но оба гостя в недоумении пожали плечами. Пулло перекинулся через подоконник и, вглядываясь в темноту, крикнул:

– Эй, кто там?

Проходившие внизу по аллее фигуры остановились. Одна из них метнулась в тень.

– Поручик Небольсин, а это кто? – И под окно подошла вторая фигура.

– Здравствуй, порутшик. Што такой слюшилось? – спросил Краббе.

– Солдат пьяный в лазарет забежал, ваше превосходительство, со сто-рожем подрался...



– А-а-а! – успокоительно протянул Краббе, – Спасибо, голубшик...

Через полчаса, придя домой, Голицын увидел сидевшую в раздумье у окна совсем одетую Нюшеньку. По ее свежему, румянному лицу, по грустному взгляду и несмытым волосам было заметно, что девушка еще не ложилась спать.

Увидя князя, она вскочила, тревожно вглядываясь в его лицо.

– Не спишь... меня дожидаясь, дурочка? – трепля ее по щеке, удовлетворенно проговорил Голицын.

– Напугалась я страсть как, батюшка-князь, чечены, сказывают, напали. Уж я, вас дожидаячи, чего только и не надумала, – опуская глаза и густо краснея, прошептала Нюшенька, отходя назад и пропуская князя в дверь спальни.

## Глава 10

Отряд уже втянулся в густой гудермесский лес. Впереди, где-то за деревьями, шла редкая, ленивая перестрелка. Одиночные выстрелы глухо расползались в сырой полутьме дремучего леса. По неширокой вязкой просеке тянулась единственная проезжая дорога, искалеченная колесами русских батарей. Солдаты шли во взводной колонне, выставив от батальонов фланговое охранение. Несмотря на приказ о стремительности набега, отряд шел не спеша, осторожно прощупывая разведкой густые кусты и непроглядную темь тесно сгрудившихся вековых деревьев. Пушки медленно катились по влажной земле, часто застревая в глубоких выбоинах и овражках. Длинной извивающейся змеей шел отряд. Бряцали шашки казаков, поскрипывали орудия, блестели штыки. До аула Дады-Юрт оставалось не более трех верст, и эта таинственная тишина замершего леса, и непрекращавшаяся перестрелка с невидимым врагом, и самая близость аула нервировали солдат.

Лес стал редеть. Впереди просветлело. Передовые роты остановились, перестрелка стала сильнее. По колонне пробежал неясный, сдержанный гул. Вдоль дороги, объезжая остановившийся отряд, на рысях пронесся Пулло, окруженный штабом, и Небольсин в первый раз за весь поход увидел трусившего на большой английской кобыле князя Голицына.

«А ему здесь что нужно? За легкими крестами», – с досадою подумал поручик, провожая неприязненным взглядом обтянутую гвардейским кителем широкую спину Голицына.

– Батарею вперед! – пробежало по колонне, и три медных единорога, блестя сияющими, начищенными частями, понеслись к опушке.

Где-то в стороне ухнул недружный залп и послышались разрозненные крики «ура».



Солдаты обнажили головы и закрестились, подскакавший адъютант крикнул:

– Колонна, бегом!

Небольсин, поддерживая пашку, бросился вперед, слыша за собою сотни бегущих ног.

Аул Дады-Юрт был один из самых цветущих притеречных аулов. Он вел торговлю с Горной Чечней, кумыкской плоскостью, с казаками и степными ногайцами. Окруженный большими фруктовыми садами, он террасами сходил вниз к нивам и пастбищам, по которым с гиком и воем мчались сейчас казаки. В стороне валил дым, сквозь который уже пробивались длинные языки пламени. Это горели подожженные казаками аульские скирды. По кривой улочке бежали люди, на крышах метались женщины. Все гуще и сильнее гудели выстрелы. Небольсин увидел, как со стороны мечети, пристегивая на бегу пашки и забивая шомполами заряд, сбегали вниз к садам густые толпы чеченцев.

– Бат-тальон, в цепь! Первая рота, направление на мечеть! Третья и четвертая, в сады, бегом марш! Вторая, в резерв! – услышал он зычный голос полковника.

– Батарея, ог-гонь! – выкрикнул кто-то слева от Небольсина, и сейчас же блеснули один за другим три жарких огня. В клубах дыма рванулись и засвистели над головой ядра. Небольсин отвел свою полуроту в овражек позади пушек и, поднявшись на холм, стал глядеть на разворачивающуюся картину боя.

Над аулом лопнули и разлетелись гранаты. Одно из ядер попало в мечеть и, пробив черепичную крышу минарета, разорвалось в нем. По верхней улочке аула бежали женщины, было видно, как сустились люди, спешно нагружая арбы. Длинная вереница людей и скота уже тянулась вверх, уходя в сторону Чечни.

Перестрелка перешла в учащенный, непрекращающийся огонь, пули стали долетать и до батарей. Иногда они щелкали по толстым стволам чинар и, жалобно свистя, проносились в лес. Пронесли убитого. Санитары с носилками кинулись вперед. Из садов сильнее и ожесточенней загрохотали выстрелы, и первая цепь егерей, не дойдя до моста, остановилась и залегла.

– Ог-гонь! – снова скомандовал полковник, и батарея открыла очередями частый огонь, бросая ядра в опоясанный дымом, грохочущий, отбивающийся аул. Вдруг за горою, со стороны шалинской дороги, послышалось «ура». Колонна беглецов остановилась. Было видно, как дрогнули и смешались передние. И снова где-то за горой, уже ближе, раздался залп. Пулло вынул часы и довольным голосом сказал Голицыну:

– Это полковник Дроздов с куринцами. Молодец! Подоспел вовремя.

Вереница отступавших в горы беглецов суматошно заматалась и, бросая арбы, кинулась обратно к аулу. Небольсин ясно разглядел, что во



всей этой торопливой гряде мечущихся людей не было ни одного мужчины. Это были женщины, дети и старики. За горой грохотали выстрелы, несколько солдат уже показались на гребне, обстреливая бегущих людей. Часть чеченцев, занимавших сады, видя это, бросилась через плетни и перелазы вверх к аулу. Залегшие перед мостом солдаты, ободренные подходом куринцев, поднялись и, крича «ура», кинулись к мосту.

Рота, шедшая со стороны просеки, вошла в ручей. Егеря, поднимая над головой ружья, спотыкаясь и скользя, переходили вброд быструю речонку. Залегшие в садах чеченцы открыли огонь. Было видно, как срывались с места, падали и разбивались о камни сраженные пулями солдаты. Но остальные, хрипло крича и стреляя на бегу, лезли вперед и, перейдя реку, атаковали сады. Орудия, немолчно бившие по садам, перенесли огонь по аулу, стремясь зажечь сакли чеченцев.

Пулло озабоченно поднялся и, тревожно оглянувшись, крикнул:

– Резерв, вперед!

В садах закипел рукопашный бой, чеченцы с обнаженными пашками в руках кинулись навстречу егерям.

Солдаты вскочили и, для чего-то оправляя смятые, сбитые от лежания на земле кителя, тревожными, сухими глазами стали смотреть вперед, туда, где кипел и грохотал рукопашный бой.

– Вторая, вперед, бегом а-рр-ш! – крикнул чей-то знакомый голос, но Небольсин не узнал его и, выдергивая из ножен пашку, вместе со всеми побежал вперед.

Атака егерей была отбита. Пока подходили из резерва роты, ворвавшийся в сады батальон был смят и отброшен за мост. Несколько солдат, успевших залечь за камни, еще отстреливались из-за своих прикрытий, но расстроенные, смятые роты уже откатились на набежавшие сзади резервы. Бой затих. Сады снова замолчали, и только отдельные выстрелы да черневшие по берегу убитые напоминали о горячей схватке. Зато наверху сильнее трещали залпы. Куринцы, занявшие проходы и хребет горы, продольным, залповым огнем и частой картечью громили аул, и дважды бросавшиеся в пашки чеченцы, не дойдя до русских, были разбиты. Пулло передвинул свой штаб вперед и, сидя на барабане, диктовал приказ всем трем группам, окружившим аул:

– Ровно в двенадцать часов пополудни всем батареям вверенного мне отряда открыть сильнейший огонь по аулу и через тридцать минут канонады, то есть в половине первого, по сигнальной ракете, данной мною, одновременно атаковать с трех сторон аул и...

– Кажется, парламентарии едут, – не отнимая от глаз подзорной трубы, проговорил Голицын.

Со стороны аула ехали трое конных. Один из них держал огромный зеленый значок с вытканым в углу полумесяцем. Другой размахивал белым шарфом и что-то кричал, но крика его нельзя было разобрать. Кто-



то встал и, подняв над головою фуражку, пошел через мост навстречу выезжавшим из садов всадникам.

– Кто это? – спросил Пулло.

– Егерский офицер. Смелый малый, – передавая трубку полковнику, сказал Голицын, но адъютант, разглядевший офицера, подсказал:

– Поручик Небольсин, второй роты егерского полка.

Выстрелы смолкли, и даже наверху, на хребте, затихла оружейная стрельба.

Офицер подошел к конным, и через минуту все четверо перешли мост, откуда конные, минуя залегшие роты, направились к ожидавшему их Пулло.

– Почему вы напали на нас? Разве у нас с русскими война? – приподнимая папаху, спросил пожилой чеченец, обращаясь к Голицыну, принимая его по яркой гвардейской форме за начальника отряда.

Переводчик, мирный темиргоевский чеченец, перевел его слова. Двое других, не слезая с коней, держали в поводу лошадь говорившего.

– Разбойничьи шайки дерзнули посягнуть на жизнь русских воинов, и за это аулы, укрывающие преступников, будут преданы огню и мечу! – ответил Пулло, с любопытством разглядывая чеченцев. Переводчик, видимо с трудом понимая его слова, стал что-то длинно и суматошно говорить, но чеченец остановил его и коротко сказал:

– Мы не абреки. Наш аул трудится мирно, и все, что вы видите вокруг, – он повел рукою по сторонам, указывая на обширные сады и возделанные нивы, – все это сделано нашими руками. Если в большом ауле и есть несколько бездельников, то почему мы все должны отвечать за них?

– Русская кровь, пролитая ими, вопиет о мщении, – выслушав переводчика, холодно сказал Пулло и посмотрел на князя Голицына, молча наклонившего голову. Чеченец нахмурился.

– Мы согласны выдать аманатов.

Пулло покачал головой. Чеченцы переглянулись и что-то тихо сказали друг другу.

– В ауле много женщин, детей и стариков. Разве они повинны в чем-нибудь?

– По приказанию его высокопревосходительства генерала Ермолова выход из аула разрешен только жителю сего аула – чеченцу Бекбулату Хаджиеву из Грозненского менового двора, со всей его семьей.

– А остальные? – выслушав переводчика, коротко спросил чеченец.

– Подвергнутся экзекуции, – также коротко ответил Пулло.

Наступило молчание. Адъютант отряда протянул чеченцу пропуск для Бекбулата, но делегат, словно не видя протянутой руки офицера, снова сказал:

– В таком случае пропустите наши семьи в горы.



– Нет! Генерал Ермолов приказал наказать мятежников, и аул Дады-Юрт будет разрушен. Разговоры излишни, – сказал Пулло и отошел к группе штабных офицеров, слушавших их.

– Хорошо! Вы увидите, как умирают чеченцы, – просто сказал парламентар и, легко вскочив в седло, иноходью поехал обратно к аулу.

Когда конные переехали мост, Пулло повернулся к адъютанту и продолжал диктовать приказ:

– «Атаковать с трех сторон Дады-Юрт и по взятии разрушить и сжечь его до основания. Пленных не брать, окромя уцелевших от огня скота, детей и женщин. Полковник Пулло».

– Ну что? Сговорились? – спросил возвращавшихся чеченцев Небольсин, но пожилой сумрачно глянул на него и, прищурившись, не отвечая, отвернулся.

Конские крупы мелькнули на мосту и быстро понеслись вверх по дороге, шедшей в сады.

– Ложись, ваше благородие. Сейчас стрелять станут, – предостерегающе крикнули из цепи. – Озлились гололобые!

– Намяли, видно, холку!

– Тут, гляди, всем достанется, – неопределенно обронил крайний солдат, около которого прилег Небольсин. Солнце уже поднялось над головой, и отвесные, палящие лучи прожигали холст кителей.

«Близко полдня», – подумал поручик, и солдат, словно угадав его мысль, сказал:

– В крепости, поди, к обеду зорю бьют!

Другой голос, очень знакомый, только что предупреждавший об опасности, многозначительно подчеркнул:

– Ты гляди, чтоб тебя тут не накормили!

В цепи засмеялись.

– Чечены накормят! Мало не будет, они насытят. С ихова обеда кабы без головы не остаться.

Из-за плетней показались головы людей, жадно вглядывавшихся в подъезжавших чеченцев. Из садов, из оврага их окликали тревожные голоса. У самого аула прямо под ноги коня бросился пожилой босой чеченец, державший в руке дымящееся ружье. Его напряженный взгляд, дрожащие губы и срывающийся голос выдавали волнение.

– Ну что, Махмуд, уйдут русские?

Пожилой чеченец, ехавший первым, поднял на него сухие, озабоченные глаза и молча покачал головой. Босоногий отшатнулся. Его глаза округлились, лицо посерело.

– Почему? Что им нужно? – упавшим, срывающимся голосом спросил он.

– Они хотят перебить нас. Так приказал сардар Ярмол. – И иронически добавил: – Кроме семьи Бекбулата...



Из садов высыпали чеченцы. Над плетнями стояли люди. Слова делегата были так неожиданны и жестоки. Все молчали, не находя, что спросить. И только босоногий выкрикнул уже надсадно и с тоской:

– А наши семьи, а дети?

Взоры всех впились в суровое лицо делегата. Он вздохнул, тронул повод и, уже отъезжая, крикнул:

– Всех! Теперь нам осталось одно – умереть, – и, ударив коня плетью, помчался вверх к мечети, где его ждала взволнованная, тревожная толпа.

У мечети стояли люди. Это были жители верхнего аула. Возбужденные, озабоченные, встревоженные, они с надеждой и тревогой смотрели на подъезжавших всадников. Никому из них не хотелось умирать в этот прекрасный день, когда светило горячее солнце, зеленели и наливались сады и тучным желтеющим морем колыхались созревшие нивы.

Как только первая атака была отбита, богатеи решили сейчас же отправить к русским делегацию упросить начальство пощадить аул, и жители были уверены, что удастся сговориться о перемирии. Были приготовлены аманаты и подсчитано примерное количество скота, которым можно откупиться от наказания. И поэтому, несмотря на то что аул был окружен со всех сторон, обстрелян артиллерией и атакован, жители были уверены в том, что русские, не желая больше проливать своей и чужой крови, удовлетворятся денежным выкупом, отбором аманатов, захватом скота и продовольствия.

Но быстрое возвращение посланных, их хмурые, суровые лица и зловещая неподвижность залегших под аулом русских цепей не предвещали ничего хорошего. Состояние тревожной тоски охватывало людей. Жены и дети, забившиеся в ямы и подвалы, связывали, делали беспомощными мужчин. Внезапное появление отряда отрезало путь отступления. И только теперь поняли они, что, окруженные, отрезанные от гор, почти безоружные, без артиллерии и резервов, они должны будут согласиться на все, решительно на все требования врага, вплоть до переселения на плоскость.

– Люди! Правоверные! Русский генерал не хочет даже разговора о мире. Да и не для того они пришли сюда. Никакие просьбы и разговоры не помогут. Они пришли уничтожить и сжечь аул.

Вздохи и стенания раздались отовсюду. Из-за плетней и каменных оград смотрели люди; голос чеченца, мощный и звонкий, разливался далеко, и даже женщины, прятавшиеся в саклях, слышали его. Плач и всхлипывания раздались сильнее. Где-то совсем близко закричал ребенок, и его плач хлестнул о стены мечети. Чеченцы, насупившись, молчали. Страшная минута конца подошла к ним, и они это поняли только сейчас, после бесстрастных слов своего посланца.

– Да что же, есть ли у них Бог, у этих нечестивых свиноедов? – всплеснув руками, спросил один из стариков, в волнении оглядывая других.



- Может быть, ты, Махмуд, не так объяснил генералу...
- За что жечь аул? – раздался чей-то молодой, тревожный голос.
- Пошлем снова... – неуверенно предложил кто-то.

Махмуд, не слезая с коня, безнадежно махнул рукой и, оглядывая тревожных, взволнованных, бормочущих людей, сказал:

– Ничего не поможет, приказано уничтожить наш аул. – И, презрительно усмехаясь, он горько добавил: – Они пожалели только одного Бекбулата и его семью.

Люди зашумели. Кто-то сделал движение. Чеченец продолжал:

– Да, Бекбулат, тебе русский генерал одному из всего аула разрешил с семьей уйти отсюда.

Полный краснощекий чеченец в белом стеганом бешмете и мягких чувяках на босу ногу неуверенно и радостно вскрикнул и, пробиваясь сквозь толпу, срывающимся голосом спросил:

– Это... правда, Махмуд?

– Правда! За твою любовь к русскому падишаху и его рублям Ярмол разрешил тебе выйти из аула.

Полный чеченец, не замечая сухого и презрительного тона, взволнованно засуетился и, еще больше краснея от неожиданной радости, забормotal:

– Я сейчас поеду туда, к генералу, я отведу беду от вас, я сейчас только соберу семью и скот... – И, оглядывая полными животной радости глазами окружающих, не в силах сдержать себя от нахлынувшего счастья, он еще быстрее и бессвязней заговорил: – Они послушают меня... Они не тронут вас... ведь я хорошо знаю русских... им надо только попугать вас... я уже пять лет торгую с ними... я сейчас... Я это быстро улажу... – И он почти бегом прошел сквозь молча расступившуюся толпу, крича на бегу женам, чтобы они спешно грузили арбы и запрягали быков.

Оставшиеся молчали, тоскливо переглядываясь. У самой мечети, опустив голову, сидел мулла, перебирая четки. По-прежнему плакал-заливался ребенок. Тяжелое красноречивое молчание висело над площадью, над понурыми людьми.

Небольсин приподнялся, чтобы взглянуть на знакомого солдата, но цепь внезапно ожила, затормошилась и загудела.

– Гляди, гляди! Чево они там замельтешились? До чего их сила, братцы! Вот бы с орудия жигануть...

– Они тебе оттель жиганут...

Поручик смотрел на аул. Всадники мелькнули у мечети. По кривым улочкам аула заходили, заматались фигуры. Несколько человек, перебежав по плоским крышам саклей, исчезли в провалах улиц. Сквозь густую зелень деревьев пронеслись к садам двое конных. Где-то под горой раздался заунывный, гортанный крик. Он несколько секунд висел над аулом. Слов этого далекого вопля нельзя было понять, но, судя по тому,





что показавшиеся было чеченцы сейчас же исчезли, за этой тишиной следовало ожидать боя.

Солдаты притихли. Каждый понимал, что эта грозная тишина возвещала близкую и беспощадную резню.

Спустя немного времени из аула показались двое конных. Они на рысях спустились к самой реке и, делая знаки солдатам, что-то пронзительно кричали им.

Небольсин поднялся и, сопровождаемый Елохиным, вторично перешел мост и подошел к конным.

Один из всадников подъехал к нему. Это был тот самый чеченец-делегат, что приезжал для переговоров. Он пригнулся с седла к Небольсину и, передав ему какой-то круглый закутанный в материю и башлык предмет, довольно правильным русским языком сказал:

– Эй, кунак, отдай генералу. Это будет наш ответ! – И сейчас же, круто повернув коня, наметом помчался к аулу...

– Разверните-ка гостинiec... чего это они прислали, – пожимая плечами, сказал Пулло адъютанту.

Офицер распутал башлык и, сорвав материю, вздрогнул и выронил предмет, подкатившийся к самым ногам полковника Пулло. Это была голова Бекбулата Хаджиева. Голицын с отвращением отвернулся, и только есаул Греков, видевший всякие виды, равнодушно сказал:

– Видать, с маху срубили... не иначе как кинжалом.

Побледневший Пулло перекусил дымившуюся сигару и коротко бросил:

– Огоны! Начать атаку!

Со стороны штаба слышался конский топот, и линейный казак, подъехав к цепи, крикнул что-то оглядывавшимся солдатам.

Казак на скаку осадил танцевавшего, покрытого пеной коня. И сейчас же из садов раздался короткий залп. Пули, резанув воздух, просвистали над цепью. Казак кинул конверт и, пригнувшись к луке, поскакал обратно.

Пожилой солдат с серьгой в левом ухе взял записку и переполз к поручику.

– Примите, вашбродь! – сказал он, глядя на офицера.

И Небольсин сразу припомнил и темную ночь в сиреневых кустах госпитального сада, и дымные факелы метавшихся по двору людей, и этого перепуганного солдата, покорно прикинувшегося к земле рядом с безмолвной женщиной.

Солдат, видимо понявший его мысли, почтительно и по-знакомому улыбнулся и молча отполз на свое место.

«Может быть, договорились», – подумал поручик, раскрывая полученную бумагу.

– «...ровно в двенадцать часов...» – прочел он короткий приказ.



– Передай по цепи голос! После артиллерийского огня всем ротам – в атаку!.. – крикнул поручик, ища глазами ротного командира, залегшего где-то в стороне.

– Передай... всем рота-ам... в... атаку! – глухо и тревожно побежали голоса в обе стороны цепи.

По долине трещали короткие залпы.

Это чеченцы, залегшие в садах, обстреливали ординарцев и казаков, скакавших по цепям.

Солнце сильно нагрело открытый затылок поручика.

«Долго ли ждать?» – подумал он и, переворачиваясь на бок, вытянул часы из кармана.

Со стороны штаба грохнул оружейный залп. За ним, словно настигая его, загремели другие пушки отряда. Ядра, гранаты и бомбы, все в дыму и пламени, падали на крыши аула.

Над лесом лопнула ракета, и сейчас же с трех сторон загрохотали орудия. Восемь пушек, пять фальконетов и четыре ракетных станка одновременно ударили по аулу. Дым и огонь опоясали Дады-Юрт. Гранаты лопались во дворах, ломая плетни, вздымая крыши и перебитые, искалеченные деревья. Клубы дыма застилали аул. Рев пушек, фонтаны огня и гудение снарядов перешли в сплошной сверкающий гул.

Чеченцы не отвечали. Низкое эхо стлалось по земле и глухо перекатывалось в ущелье.

Пулло взглянул на часы. Было двадцать пять минут первого. Он поднял подзорную трубу и стал вглядываться вдаль, сясь разглядеть защитников аула, но густой дым от разрывов, взбудораженная пыль и вспышки огня мешали заметить что-либо.

– Попрятались они там, что ли? – с досадой пробормотал он.

Голицын, разглядывавший горевший аул в новенькую выдвижную английскую трубу, вывезенную им из Лондона, покачал головой и с сомнением сказал:

– Вряд ли. Я думаю, огонь нашей артиллерии уничтожил все живое в этой жалкой деревушке.

Боевые ракеты, распушив свои пышные хвосты, со свистом и треском рвались над садами, разбрызгивая по ветру сверкающие искры. Звоня, рикошетировали ядра, ударяясь о массивные каменные плиты мечети, грохотали неровные залпы батальонов и, урча и завывая, летели тяжелые осколки гранат и круглые массивные пули фальконетов. Аул вдоль и поперек обстреливался продольным фланговым огнем рот, и в этом море огня, треска и разрушения не могла, казалось, уцелеть ни одна живая душа.

Над аулом разорвались последние гранаты, и с трех сторон – с гребня гор, от моста и со стороны лесной просеки – одновременно загрохотали



барабаны, застонали рожки, и девять пехотных рот под вой рожков и барабанную дробь бросились в атаку на курившийся разгромленный молчащий аул.

Раздвигая деления трубы, Голицын провел ею по цепям и, не видя противника, глядя на стремительно ворвавшихся в сады солдат, разочарованно сказал:

– Драться, кажется, не с кем! Чеченский аул вместе с людьми уничтожен. – И, опуская трубу, скужающим голосом договорил: – Я думаю, можно готовить донесение главнокомандующему о набеге...

Пулло что-то хотел возразить, но в эту минуту со стороны Дады-Юрта раздался долгий, густой и зловещий залп, и весь аул, сверху донизу, от гребня холма и до садов опоясался, разразился бешеной пальбой. Отовсюду – из-за камней, из рвов, со стороны мечети, из развалин саклей, из-за плетней и перелазов, из кустов и зелени деревьев грохотали залпы. Солдаты, бежавшие впереди, пали, пораженные в упор. Видно было, как бросившиеся в штыки егеря заматались в узких улочках аула и как их в упор расстреливали внезапно появившиеся чеченцы.

Голицын, не веря глазам, с удивлением и страхом увидел, как безмолвный и мертвый аул внезапно ожил и закипел стремительной жизнью. Разметанные дворы, развитые крыши и разгромленные сакли заполнились черными фигурами. Люди в папахах и бешметах стремительно показывались всюду. Они мелькали и впереди, и в тылу метавшихся по аулу солдат.

– Откуда они взялись? – растерянно сказал он, продолжая следить за чеченцами, словно по колдовству появлявшимся отовсюду. Казачий есаул Греков покачал головой и озабоченно сказал:

– Поховались по ямам. Я их повадку знаю. У них в каждом дворе ямы навроде подвалов. Теперь пойдет потеха... – И он снова тревожно покачал головой, вглядываясь туда, где гудела пальба и сверкали под солнцем обнаженные пашки и штыки сражавшихся.

– Батарей, вперед! Все резервы на линию! Казачьим сотням спешиться и идти в бой! Атаку продолжать! – скомандовал Пулло, и штаб вместе с орудиями, прикрытием и резервами передвинулся вперед, поближе к гудевшему в ожесточенной резне аулу.

По цепям поскакали ординарцы, развозя приказ полковника Пулло.

Солнце заходило за горы. Егеря, поднятые в атаку, переходили речонку, оставляя позади раненых и убитых. Из садов и из-за плетней аула частым огнем били чеченцы. Сизые дымки их кремневок курились повсюду. Русские пушки, подтянутые к самому обрыву, осыпали картечью сады. Единороги и фальконеты Дроздова, перехватившего дорогу на Шали, били с горы. Картечь, визжа, носилась над крышами. Ружейные



пули осыпали аул. Клубы дыма обволакивали Дады-Юрт. Гранаты подожгли его, языки пламени и черного дыма уже охватывали сакли нижнего аула. Но бой не стихал. Чеченцы с прежним упорством отбивали атакующих их егерей.

На скрещении трех дорог, ведущих в аул, шел рукопашный бой. Часть перешедших речку егерей, поддержанных двумя ротами куринцев, кинулась в штыки. Их встретили ружейным и пистолетным огнем. Облако порохового дыма заволокло атакующих. Человек семьдесят чеченцев, выхватив пашки и размахивая широкими отточенными кинжалами, ударили им во фланг. Стук прикладов, лязг штыков и пашек, тупые удары клинков, вопли и стоны заполнили окраину аула. Солдаты, отбиваясь от яростно рубившихся чеченцев, дрогнули и стали медленно отходить, отстреливаясь на ходу, но свежая, подоспевшая вовремя рота егерей с криком «ура» атаковала с тыла вырвавшихся вперед чеченцев. Произошло смятение. Куринцы и егеря, оправившись от неудачи, вновь бросились в штыки и всей массой ворвались в аул. Внизу среди шума боя тонкими голосами запели сигнальные рожки. Две зеленые ракеты взвились над лесом. Артиллерия перенесла огонь на верхний аул. В нижнем, охваченном русской пехотой Дады-Юрте по отдельным дворам шел жестокий рукопашный бой. Из леса бежали резервы куринцев, и пешие казаки с пашками в руках добивали в садах остатки защитников аула. На горе взвилась ответная ракета, и полковник Дроздов поднял свой отряд в атаку на верхний Дады-Юрт.

Левый погон Небольсина, сбитый шальной пулей, свесился с плеча. Поручику мучительно хотелось курить, но его табачница была пуста. Перебежки утомили его, ушибленное о плетень плечо ныло. Кругом грохотали выстрелы, и сизый пороховой дым плавал в воздухе. Из дворов аула неслись крики жителей. Рассыпавшиеся, перемешавшиеся в бою казаки и солдаты разных частей группами врывались во дворы, добивая чеченцев. Центр боя переместился выше, но вокруг по-прежнему трещали выстрелы, грохотали взрывы и летали пули.

– Самое сейчас трудное дело осталось, – отирая рукавом с лица пот, сказал Небольсину казак, приставший в бою к его полуроте, – их, чеченцев, теперь из домов ни за что живыми не взять. До последнего будут биться.

– Чего же им – песни петь, что ли, возля жены да детей, на иху смерть глядя, – хмуро ответил Елохин, еще в цепи прибившийся к Небольсину и с той поры не покидавший поручика.

По улочке к мечетской площади перебежали егеря. Пожар сильнее охватывал нижний Дады-Юрт. За плетнями кричал ребенок. Солдаты с потными красными лицами проходили мимо, спеша вперед, где снова застучали залпы. Несколько батарейцев тянули на руках орудие. Сзади, покуривая трубочку, шел черноусый благообразный штабс-капитан, разглядывавший развороченные гранатами стены и плетни.



– Моя работа, – сказал он, встретившись взглядом с поручиком. – Вот из этого орудия палили.

Сильный запах его табака щекотал обоняние Небольсина.

– Не позволите ли, капитан, набить трубочку?

– С превеликим моим удовольствием, – артиллерист поспешно достал расшитый серебром кисет. Поручик с наслаждением затаился. – Чистый турецкий, из Тифлиса привезенный, по шести с полтиной серебром плачен. Ну, спешу, – заслыша усилившиеся на площади залпы, крикнул черноусый штабс-капитан и уже издали добавил: – Штабс-капитан Алексеев, второй бригады. После боя прошу ко мне на батарею, коньячком хорошим побалуемся.

Небольсин кивнул ему вслед головой и стал собирать своих солдат. Из дворов выходили казаки и егеря, что-то пряча в сумы и ранцы. Забрызганные кровью, опаленные пожаром, в зареве огня, копоти и порохового дыма, со злыми, горящими глазами, они, не обращая внимания на офицера, рылись в своих ранцах.

– Их бабы еще хуже чеченов. Одно – ведьмы. Ка-ак она полоснет Игнатенку кинжалом по морде, так он и умылся кровью.

– Сатаны – не люди! – махнул рукою казак.

Снова запел сигнальный рожок, и привычные к команде солдаты быстро собрались возле своего поручика.

Наверху грохотал бой. Нижний Дады-Юрт догорал в пламени и дыму. Огонь перекинулся на сады, и пламя поползло по ветвям, с треском руша вековые, так любовно выращенные поколениями фруктовые деревья.

От мечетской площади, размахивая руками, бежал солдат. Завидя офицера, он крикнул на ходу:

– Вперед! Его высокоблагородие приказали всем лезервам немедленно идти в атаку!

В боевой башне, высившейся над нижним Дады-Юртом, заперлось человек тридцать жителей аула. Заставив тяжестями дверь, они тремя группами расположились в башне, стреляя по перебегавшим площадь егерям. На нижней части башни было семеро чеченцев, на второй площадке, у бойниц и глазков, стреляя по русским, лежало еще человек пятнадцать стрелков. Наверху башни сидело девять стрелков. Старый, полуслепой мулла, сидя на соломе у стены, безучастно глядел на стрелявших людей. По стене щелкали пули русских.

В башне было темно, дымные фитили слабо озаряли ее. В углу лежали чуреки, круги баражьего сыра, бурдюк с водой, кувшин и половина вяленого барана. У другой стены стояли ружья и пороховницы с порохом и пулями. Несколько женщин с суровыми, угрюмыми лицами молча заряжали ружья, передавая их мужчинам.

Взятая под косой обстрел площадь курилась от пуль. Несколько солдат пали мертвыми, не пробежав и десяти шагов. Засевшие в башне чеченцы



поражали площадь, не давая укрывавшимся за саклями егерям продвигаться дальше. И вся масса пехоты и казаков, только что покончившая с нижним Дады-Юртом, сгрудилась за плетнями, не имея возможности вырваться к верхнему Дады-Юрту, где бились куринские роты.

– Заходи с флангу, в обхват, в обхват бери!

– Ей-й, казачки, с реки, снизу обходите, оттелъ ничего-о не выйдет, забьют вас гололобые! – кричали егеря казакам, показавшимся слева. И сейчас же несколько пуль, рикошетируя, с визгом расплющилось о камни рядом с казаками.

– К реке подавайтесь, там легче пройти, – сложив рупором ладони, кричал рыжеусый фельдфебель.

Солдаты беспорядочно стреляли по башне. Подходившие резервы вносили еще больше суматохи и беспорядка. Толчея и шум росли.

– Крепка башня, кирпич да камень, разве пулями их возьмешь? – сказал егерский капитан.

– Сюда бы, вашбродь, орудие, – поддержал его фельдфебель.

Дым от горевшего аула поднимался к небу. В верхнем Дады-Юрте грохотали залпы, рвались гранаты.

– Дюже бьются, – сказал кто-то, но тут гул голосов заглушил его слова.

– Орудие, орудие привезли!

Черноусый штабс-капитан, установив орудие, сощурился и крикнул:

– Ог-гонь!

Брызнуло пламя, полыхнул дым, и девятифунтовое ядро с визгом ударило о середину башни. Осколки кирпича, щебень, пыль разлетелись в стороны. На месте, куда ударило ядро, белело свежее пятно со сбитыми ломаными краями. Черная, закоптелая башня, изъеденная временем, во мху и паутине, по-прежнему высилась над площадью. Из ее бойниц летели пули и сизоватые струйки порохового дыма.

– Ог-гонь! – переноса прицел выше, снова крикнул капитан, и новое ядро с воем ударилось и отскочило от стены. Опять посыпался щебень и взвилась пыль.

Капитан направил орудие на дверь башни.

– Огонь! – и сейчас же после выстрела снова скомандовал: – Огонь!!!

Еще два ядра с воем ударились о низкую входную дверь. Выбитые переломанные доски разлетелись по сторонам. Новый удар сотряс ее, и она, искрошенная в щепы, обнажила вход в подпиравшие ее сзади камни и мешки.

– Знатно! Вот это добре! Держись теперь, чечены, – загудели солдаты.

– Гранату! – коротко приказал штабс-капитан.

– Ог-гонь!

Внутри брызнуло пламя, рванулся серый удушливый дым лопнувшей гранаты.

– Еще три гранаты! Бегло! Ог-гонь! – крикнул офицер.



В нижней части башни рвались гранаты. Из ее разбитого входа валил густой дым.

– Урра! – охваченный восторгом, как бы уже торжествуя победу, закричал какой-то солдат.

И вся масса, без команды, по этому случайному выкрику вдруг кинулась вперед, крича «ура».

Егеря, казаки, куринцы, мешая артиллеристам стрелять, не обращая внимания на пули, перебежали площадь и окружали башню.

К вечеру все было кончено. Весь Дады-Юрт был занят русскими войсками. Нижний Дады-Юрт догорал. Дымились руины, и черные груды горячего пепла лежали на месте сгоревшего аула.

Сотня казаков с полуротой погнала во Внезапную человек двести женщин и детей, уцелевших от огня и пуль. Резервные роты, выставив охранение, заняли гору и скрещения дорог. Полковник Пулло со своим штабом расположился на ночь в одном из домов верхнего Дады-Юрта.

Усталые солдаты были разведены на ночлег. Подошедшие из обоза походные кухни с дымящимися щами и кашей проехали в расположение частей. Через час верхний Дады-Юрт затих, и только порой слышалось протяжное «слу-у-ша-ай» дежурной сотни и патрульных взводов, охранявших спящий отряд.

Поручик Небольсин вместе с пехотным капитаном расположился в сакле, недалеко от аульской площади. Он с наслаждением сбросил сюртук, стянул с усталых ног пыльные сапоги и, лежа на покрытом войлоком полу, запрокинув за голову руки, молча глядел на черный, еле озаренный свечой потолок. Пехотный капитан, покуривая трубку, ждал вскипавший во дворе чай. Он вежливо молчал, изредка поглядывая на Небольсина. В сенях зашумели денщики. Низкая дверь приоткрылась, и солдаты вошли в саклю, внося табурет и большой, пышащий паром чайник.

– Вскипел, вашброды! Прикажете дать сухариков? – спросил один из них.

– Обязательно, Сидоренко. Да зажги вторую свечу. Темно, как в яме, – откладывая трубку, сказал капитан. – Прошу вас, поручик!

Выпив по чашке крепкого, круто заваренного чая, офицеры улеглись спать.

Несмотря на сильное утомление, ни тот, ни другой не смогли уснуть сразу, и Небольсин слышал, как пехотный капитан время от времени переворачивался с боку на бок, сдержанно вздыхая.

Среди ночи Небольсин проснулся. Не то стон, не то вопль еще звучал в его ушах. Приподнявшись с пола, он прислушался. Было тихо. Свежий ветерок, дувший с гор, проникал в саклю через разбитое окно.

– Почудилось, – он зевнул и, томимый сном, снова лег на войлок.

Вдруг невдалеке послышался протяжный, болезненный стон. Небольсин поднял голову. Стон повторился. На этот раз он был глуше.



– Что это? – открывая глаза и приподнимаясь на локте, спросил пехотный капитан.

– Не знаю, должно быть, раненый.

– Ну, где ему тут быть! Сакля пустая, окромя нас да вестовых – никого. Может, кошки или так... почудилось, – ложась снова на солому, решил капитан.

Сильный стон, протяжный и долгий, раздался под окном.

– О-ой... Гос-по-о-ди... ой-й! – донесся чей-то вопль.

Небольсин вскочил. В сенях зашумели разбуженные вестовые. Набрасывая шинель, поднялся капитан.

– Вашбродь, вашбродь, – открывая дверь в саклю, зашептал денщик, – идемте отседа... в другую саклю... все равно здесь покою не будет. – Через открытую дверь замерцал свет плошки и тени вестовых.

Офицеры вышли. За плётнями темнели горы, чернел лес. Яркие звезды сияли над головами. В стороне, под холмами, дрожали огоньки.

Оттуда все тягостней и чаще неслись стоны. У самой речки ярко горел большой костер. Черные клубы дыма, прорезанные языками огня, метались над площадью, озаряя мечеть, ее высокие, мрачные стены.

Не пройдя и двадцати шагов, Небольсин остановился. Пехотный офицер смущенно кашлянул и отвернулся. Вестовые, не глядя на открывшуюся впереди картину, вошли в тень и стали торопливо обходить площадь.

У самой мечети, саженьях в двенадцати от них, по всей аульской площади была разостлана кукурузная солома, на которой, прикрытые полубубками, тужурками и шинелями, лежали раненые. Здесь были и офицеры, и солдаты, и казаки. Большинство лежало тихо, молча перенося страдания, некоторые метались, крича и стоная. Кто-то говорил в бреду, прерывая несвязные слова воплями. Один из раненых, вероятно уже в агонии, судорожно метался по земле, издавая протяжные стоны, разбудившие Небольсина.

Свет от пылавшего костра и быстрые, изменчивые тени, перебегая по искаженным лицам раненых, придавали им страшное, фантастическое выражение.

– Перевязочный пункт! Идемте скорее дальше, – прошептал капитан, дергая за рукав Небольсина.

На противоположном конце площади стоял простой стол, вокруг которого двигались люди. Один из них, держа что-то в руках, возился над столом, на котором лежал неподвижный человек.

Небольсин пошел туда.

Тяжелые стоны, болезненные вздохи, выкрики и плач, больше похожий на вой, окружили его. Капитан молча побрел за ним.

У стола над раненым возился доктор. Подле него на коленях стоял фельдшер с маленькой церковной свечкой в руках, освещая рану врачу.





Эта маленькая свеча да метавшееся по ветру пламя костра были освещением всей площади.

За фельдшером стоял солдат с одеревенелым лицом, держа в руках ящик с инструментами и окровавленной докторской пилой. В двух шагах от него на соломе лежала отрезанная ниже локтя рука. Доктор, усталый и бледный, озаряемый скудным колеблющимся светом костра, наклонившись над раненым, старался остановить кровь, стремительно бежавшую из отрезанной руки. Раненый был без сознания.

Ночь, обилие раненых, скудный, трепещущий свет свечки утомили врача. Обнаженные жилы, поминутно выскользавшие из его окровавленных пальцев, было трудно перехватить и перевязать. Попробовав безуспешно несколько раз, он взглянул внимательно на белое лицо раненого, безнадежно пожал плечами и, отирая локтем свой вспотевший лоб, тихо сказал санитарам:

– Следующего!

Небольсин заглянул в мертвенно-бледное лицо лежавшего на столе человека.

Это был Алексеев. Тот самый артиллерийский штабс-капитан, который еще днем, в перерыве боя, угощал его турецким табаком.

– Есть надежда? – шепотом спросил он.

Врач махнул рукой и сказал:

– Истекает кровью. К утру кончится.

Санитары сняли неподвижного штабс-капитана и отнесли вглубь, к мечети, где у стены лежали умирающие.

Полковой священник в облачении ходил между ними, помахивая кадилом и кропя святой водой умиравших.

Солдат-причетник поспешал за ним, торопливо повторяя слова молитвы, которые полусонно бормотал уставший от похода и ночного бдения священник.

Когда Небольсин и пехотный капитан уходили с площади к поджидавшим их в стороне вестовым, сзади уже скрипела пила доктора и неслись отчаянные вопли раненого солдата.

## Глава 11

Выходить за валы крепости не разрешалось. Черные отроги гор и близкий лес грозили смертью каждому неосторожному. Уже в полуверсте от слободки мог грянуть неожиданный выстрел, могли вихрем налететь притаившиеся горцы и, зааркавив пленного, так же быстро и внезапно умчаться назад. Дорога к Андреевскому аулу, отстоявшему от Внезапной всего в одной версте, считалась неопасной только лишь до вечерней зари. С наступлением сумерек ворота крепости наглухо запирались,



двойные болты и железные засовы закрепляли их. На валах и бастионах удваивались караулы, и долгое, протяжное «слу-у-ша-ай» всю ночь раздавалось на стенах. Дежурная рота и полусотня готовых к тревоге казаков занимали крепостную площадь. Всю ночь дымились зажженные фитили апрош-батарей.

Крепостным актерам Голицына было скучно и боязно в этой маленькой, заброшенной крепостце, где они по воле своего барина жили уже месяца три. Актрисы, достаточно избалованные и развращенные, привыкшие к веселой и беззаботной жизни в родовой подмосковной голицынской деревне, тяготились нудной армейской жизнью и с тоской вспоминали спектакли и вечера, куда съезжались со всей округи и из Москвы помещики. Они, мешая явь с мечтами и воображаемое с настоящим, захлебываясь от восторга, передавали друг другу сочиненную кем-то новость о том, что Голицына в ближайшие дни его влиятельный отец отзывает обратно в Россию.

Однообразие скучного гарнизонного житья так утомило их, что все эти крепостные Фрины, Психеи и Лаисы словно позабыли о том, как после неудачного спектакля разгневанный Голицын посылал их «на конюшню» или, отставляя вовсе из «тиатера», отправлял провинившихся актрис в дальнюю деревню на скотный двор. Бесправная жизнь крепостной рабыни из «харема», дикие капризы князя и его друзей, пьяные оргии и увеселения отошли назад и растворились в утомительной, унылой скуке захолустной кавказской крепостцы.

— Скорей бы только.

— Княжеский камардин за истину передает. Сам слышал, как князь наш гарнизонному енералу о том же говорил!

— Я, девоньки, сплю и во сне Москву вижу...

— Хоть бы какой офицерик заглянул. Ну прямо кончаюсь от скуки, — зевая во весь рот, потянулась толстуха, недавно игравшая амура.

— Кто к нам забежит-то? Молодые на походе, а кто и есть, так князя страшится, — пренебрежительно сказала другая, расчесывая косу перед зеркалом.

— Ан не все! Вон одного и накликала. Ай да Машка, и впрямь колдунья! — заглядывая в окно, засмеялась одна из девушек, бесцельно бродившая по комнате.

Все бросились к окнам. Через двор, подняв плечи и заглядывая в окна, шагал подпоручик Петушков.

Хотя подпоручик и знал, что князь находится с отрядом в экспедиции, он все же на всякий случай заготовил в канцелярии начальника гарнизона бумажку, адресованную на имя Голицына. Размахивая ею, он смело вошел к девушкам, встретившим его шумными восклицаниями и смехом. Они, хохоча, обступили делавшего торжественное лицо Петушкова.



– Здравствуйте, красавчик, ваше благородие! Здравствуйте, пригоженький! Вот спасибо, что не пострашились нашей обители. Хи-хи-хи! А мы, ровно монашки... сидим да скучаем, Богу молимся, – перебивая и подталкивая друг друга, загомонили они.

– Silence, medames, тишина! – поднимая над головой конверт с бумагой, важно остановил их Петушков. – По казенному делу...

Актёрки замолчали.

– К самому князю. Где его сиятельство?

Взрыв хохота остановил его. Он довольно глупо уставился на хохотавших девушек.

– Хи-и-трый! А сам его за околицу провожал... – давясь от смеха, пискнула, снова заливаясь, толстуха.

– Что такое? Не понимаю, – попытался возразить подпоручик, но толстуха под общий смех так весело и значительно подмигнула ему, что Петушков осклабился и, пряча бумагу в карман сюртука, сказал: – А что? Правда, здорово я разыграл с вами фарсу?

Через секунду он уже вертелся среди оживших девушек, усиленно перемигиваясь и пересмеиваясь с ними.

Вдруг он остановился.

– А где же Нюшенька, обожаемые девы?

– Эк, какой! Середь нас кадрили ведете, а о другой спрашиваете, – с неодобрением сказала актрера, увидевшая его первой в окно.

– Ферлакур, как и все мужчины, – подмигивая остальным, подтвердила другая.

– Вы что нас об этом пытаете? Вы, душечка, ваше благородие, подите у баринова Матвея спросите, – издевательски засмеялась толстуха-амур.

– А что? И спрошу! Думаешь, боюсь твоего князя! И пойду! – горячился Петушков, успевая щипнуть ее за толстый, розовый подбородок.

– Конечно, боитесь! Все вы храбрые, когда князя нету!

– Ну, очень я испугался твоего князя. Я сам дворянин и офицер. Мне ваш князь не начальник, – оглядываясь по сторонам, хорохорился Петушков. – Однако ж, где уважаемая Нюшенька?

– По князю тоскует. Ждет не дождется! Ха-ха-ха! – рассмеялись обрадовавшиеся его приходу актрерики и окружили подпоручика.

– Чего ж это вы нам сладостей не принесли?

– Или винца. Говорят, здесь оно вкусное!

– А правду болтают наши девоньки, что, как наши вернутся из походу, большой начальник сюда приедет? А мы снова пиес разыгрывать станем?

– А то и лучше бают, будто князеньку нашего в Питербурх к ампиратору с бумагой отправляют?

– Неужто правду? Вот послал бы Бог!



Петушков вертелся волчком среди обступивших его девушек, успевая отвечать и одновременно переглядываться и любезничать с ними. Несмотря на свою чувствительную любовь к Нюшеньке, подпоручик был не прочь приволкнуться за любой из этих сытых, от безделья заскучавших актеров. Он уселся среди дев и стал игриво и пространно отвечать на их вопросы. Словоохотливый подпоручик, наконец-таки попавший в запретную и недосягаемую до сих пор для него девичью князя, был наверху блаженства. Веселый смех, прибаутки и оживление, которым его встретили актеры, самоуверенный Петушков приписал целиком своим чарам, не понимая того, что появление любого из гарнизонных офицеров было бы встречено заскучавшими девушками таким же шумным вниманием.

«Держись, Петушков, не упускай момента», — думал он, лихо закручивая рыжий, негнувшийся ус и поводя по сторонам маленькими тусклыми глазками.

— Cheries<sup>1</sup>, — раскрывая объятия и усаживая на табурете в кружок дам, сказал он, — перво-наперво относительно угощения: кизлярское вино, тифлисскую шепталу и гребенской подсолнух я почтительно преподнесу для потчевания вас сегодня же вечером...

Актерки радостно загомонили.

— И слив сушеных! Да калачей сдобных тоже...

— Будут-с! Все будет-с! — успокоительно заверил Петушков. — Для столь очаровательных прелестниц, кои своими красотами в силах свести с ума весь гарнизон, ничего не жалко! Вечером принесу обязательно, — галантно закончил он, прижимая коленом ножку соседки.

— Да вы с собой заберите еще кого-нибудь из господ офицеров.

— Да лучше, да покрасивше...

— И чтоб карман был поплотнее, — смеясь, добавили другие.

Петушков был разочарован. Теперь, когда он получил доступ сюда, в святая святых княжеского театра, мысль о том, чтобы привести с собою еще кого-нибудь из офицеров, показалась ему нелепой.

— А что вам, скучно со мной, что ли? — обидчиво поджимая губы, осведомился он.

— Дак вы один, а нас много. Где вам со всеми-то управиться! Нет, давайте еще кого другого, — опять засмеялись девушки, — да глядите вечером, как будете сюда идти, сразу не ходите, а спервоначалу в калитку пошумите, там кто-нибудь из нас поджидать вас будет. А то кабы Прохор и баринов кучер не заприметили.

— Хорошо! Хорошо! — согласился подпоручик и, вспоминая снова о предмете своей пылкой любви, неуверенно спросил: — А Нюшенька будет?

Все засмеялись, а толстенный амур, уже совсем перестав считаться с влюбленным подпоручиком, махнул пальчиками перед носом Петушкова, издевательски улыбаясь.

<sup>1</sup> Дорогие. (фр.)



– Ишь чего захотел, канашка! Подавай ему княжеской закуски! – И, переходя на серьезный тон, сказала: – Нюшенька уже три дня как и к нам не приходит. И есть не ест, все молчит да в окна смотрит...

– Все глаза проглядела, дожидаясь... – покачивая головой, добавила другая.

– Князя? – с ревливой ноткой в голосе переспросил подпоручик.

– А то кого же? Как ушли наши на чечена, с тех пор и загрустила. Одна сидит да все думает, думает, все чего-то вздыхает, со стороны глядеть – и то жалко!

«Вот ведь как любит!» – с завистью подумал подпоручик, но толстушка, словно угадав его мысли, неожиданно сказала:

– И не разберешь, сестрицы, в чем тут дело! Сколько слез от него пролила по углам эта самая Нюшка. Зубы сожмет, вся побелеет, так и идет к ему в постелю. Не токмо что любить или там жалеть князя, а и видеть его не хотела, а что теперь случилось, и не пойму! Только и глядит в окна, не возвращаются ли назад солдаты.

– Что? Полюбила, только и всего. Нашу сестру недолго в грех ввести, – вздохнула одна из девушек.

– Ну да! Споначалу поневоле любила, и потом душой скрепилась. Это бывает.

– Не-ет, девоньки, не в этом сила. Тут чего-то есть, а вот что именно, и не раскумеаю, – не согласился амур и, толкая в бок притихшего адъютанта, задорно сказал: – Ну, так гляди, ваше благородие, вечером просим с угощением.

Петушков пришел вечером в сопровождении усатого пехотного поручика, приехавшего во Внезапную с оказией из станицы Шелкозаводской. В руках у поручика были кульки со сладостями, орехами и вялым дербентским виноградом. Он неуклюже поклонился актеркам и поставил у двери четверти с кизлярским вином и сладкой водкой.

Петушков охотнее пришел бы один, но делать было нечего, и он с неохотой пригласил заезжего поручика, через день возвращавшегося обратно на линию. «По крайности, хоть болтать не будет! Уедет, и все!»

Актерки уже ждали гостей. Веселая толстушка в длинной белой рубашке с заплетенными на голове косами встретила офицеров на условленном месте и проводила их в помещение.

– А кучер и остальная прислуга князя? – осторожно осведомился Петушков.

– Камардин в слободку ушел, а Матвей спит, – сказала провожатая. Они вошли в низкий, еле освещенный коридор и очутились в большой комнате с завешенными окнами. Человек десять разряженных девушек прогуливались по комнате. На свежeweымытом деревянном полу был расстлан пушистый ковер. По стенам стояли стулья, и над дверью висел



большой, в красках, портрет царя. Несколько свечей, установленных в подсвечники, освещали залу.

Поручик, простой и неотесанный армеут<sup>1</sup>, выложив угощение, смущенно кашлянул и уселся у стены. Петушков был смелее. Он развязно пробежался по комнате, останавливаясь возле той или другой корифейки, успевая на бегу пожать локоток или откровенно обнаженное плечико.

— Ишь ты, какой норовистый, — удивилась одна из актерок, обтирая щеку, которую поцеловал Петушков, передавая ей кульки с шепталой.

— Ну-с, девушки, не теряя драгого времени, приступим к веселию, — вертась между актерками, сказал подпоручик. Глазки его бегали по сторонам; оглядевшись, он, не доверяя завешенным окнам, на всякий случай приколот булавками концы шалей к стене.

— И тише, прошу вас, silence, не так громко, — предупредил он смеющихся девушек, шумно обступивших окончательно растерявшегося пехотного офицера.

— Чего же вы молчите, аль уж и говорить с нами не хотите? Не нравимся мы вам, видно, другая зазнобушка у вас имеется? Да ну, скажите ж словечушко, красавчик, — явно потешаясь над ним, теребили они растерянно таращившего на них глаза поручика.

— Дак он же, девоньки, немой, да? Немой ты, ваше благородие? Ему чечены язык в драке отсекли. А ну, покажи язычок, чернявый амурчик, — хохоча, упрашивала блондинка, чуть-чуть дотрагиваясь до усов офицера.

— Вот выпьем сейчас, девушки, по чепурке родительского чихиря, тогда поручик наш и развеселится, — пришел спутнику на помощь Петушков и, схватив в обе руки четверти с вином, понес к столу, где уже хлопотала толстуха, раскладывая сласти.

— Ну, угощайтесь на здоровье! С добрым приходом, — разлил по стаканам вино, сказала толстуха.

— И чтобы не в последний, — пожелал Петушков.

Девушки, жеманясь и смеясь, отведали чихиря.

— Ох, да какое ж оно ки-ислое! И где вы такое только раздобыли? Вон баринов камардин и то лучше находит, а это же ровно уксус! — недовольно сморщив губы, протянула одна из актерок.

— Натуральный кизлярский чихирь, можно сказать, лучший-с... А что насчет сладости, так вот вам сахарная водочка... А винцо без кислоты все одно что дева без персей, — ответил Петушков, дотрагиваясь до обтянутой груди толстухи.

— Ну, ну, без шалостей! И не целуйте меня, это еще что за новости, — отодвигаясь от подпоручика, заявила актерка, но ее лукавые, смеющиеся глаза говорили совсем другое.

<sup>1</sup> Так презрительно называли простых армейских офицеров гвардейцы.



— О, друг любезный Хлоя, не осуждай его поступок страшный, любовь ему затмила очи, и сердце бедное его страдает, — продекламировала блондинка и, сделав пируэт, положила на колени Петушкова ногу, обутую в козловый сапожок.

— Люблю в женщинах женскость... Только тогда появляется у меня с ними короткость. Примите меня в свою аттенцию, — подскакивая с места, воскликнул Петушков, ловя ножку белокурой красавицы, но она, делая очередное па, уже перенеслась к усатому пехотинцу и, отвечивая ему театральный поклон, низко склонилась перед ним: — О, мой возлюбленный Виктор, вы столь достойны щастья и любви, что и за гробом я верна вам буду! Примите пылкой дар моей любви безмерной! — и вlepила в самые губы поручика звонкий поцелуй.

— Меня зовут Прокофий, а не Виктор, — обтирая усы, проговорил офицер. Это были его первые слова за вечер. Сев за стол, он один за другим выпил стаканов пять красного вина и, охмелев, стал рассказывать не слушавшим его девушкам о своей жизни в станице Шелкозаводской, о роте, которую неправильно отобрал у него какой-то капитан Турков. Иногда он смеялся, хватал за талии своих соседок, потом запел во весь голос «Во лузях». Оборвав пение, он влез на табурет и, еле стоя на нем, покачиваясь и балансируя, стал выкрикивать слова команды:

— Заряжай... ать-два... от плеча к ноге, делай р-раз!

— Привели бог знает кого, вот уж кавалер, не дай господи, чистый в обращении мужик! У нас кучер Матвей и то повеликатней будет! — косясь на поручика, сказала толстуха.

— Миль пardon, сам вижу, что моветон, хоть и офицер; у него одна нагая существенность и никакой дворянской приязни. Что поделаешь, все светские господа ушли на чечена, — пожал плечами Петушков.

Четверти опустели. Выпитая водка и чихирь кружили головы заскукавшим девушкам, и они, уже не обращая внимания на мужчин, стали ссориться друг с другом, припоминая одна другой какие-то обиды. Петушков, забившись в угол, целовался с худенькой черноглазой актрисой, игравшей в «пиесе» одну из испанок. Белокурая балерина, обняв «амура», кружила ее по комнате, щекоча и смеясь. Пехотный поручик, стоя на коленях, бессвязно уговаривал девушку в розовом сарафане ехать с ним в станицу Шелкозаводскую, где «полковой поп... раз-два... по команде обвенчает нас... и ты станешь... по-порутчицей... а потом и... капи... таншей».

Охмелевшая девушка, хихикая, слушала, не отнимая руки, которую держал офицер.

Средняя дверь внезапно полураскрылась, и на пороге показалось бритое, с опущенными вниз баками лицо камердинера князя Прохора, или Прохор Карпыча, как величала его прислуга. Лицо Прохора было глупо изумлено. Зрачки широко раскрыты. С минуту он переводил взор с одно-



го на другого, потом вдруг побагровел и высоким, срывающимся голосом крикнул:

– Бесстыдницы, это чего ж такое? – И ткнул пальцем на остатки еды, пустые бутылки и залитый, закапанный вином стол.

Голос его был так визглив и угрожающ, что девушки ахнули и в страхе заголосили.

Растерявшийся, бледный Петушков вскочил со стула и, бросив свою даму, прячась в углу, хотел незаметно выскользнуть, направляясь вдоль стены к выходу.

– Негодницы! Вот ужо приедет их сиятельство!.. – переступая через порог, визжал Прохор. – Он вас, срамниц, на конюшню пошлет.

– Т-с-с... тс... прошу тебя, милейший Прохор... как тебя по батюшке... не устраивай шуму. Ну, прошу тебя, ну, умоляю, наконец, – лепетал Петушков. Расстегнув мундир и вынимая из внутреннего кармана зелененькую ассигнацию, он торопливо совал ее в руки Прохора.

Камердинер краем глаза оглядел бумажку и с презрительным достоинством отвел руку Петушкова.

– Не надо-с, не берем... а вам очень даже стыдно такое делать! Приедут князьенька, обо всем доложено будет. – И, чувствуя свое превосходство над окончательно струсившим подпоручиком, назидательно сказал: – Стыдно-с, судары!

Петушков, заглядывая ему в глаза, лепетал что-то с просительной улыбкой, как вдруг пехотный офицер отодвинул резким толчком в сторону Петушкова и, подойдя к иронически улыбавшемуся камердинеру, спросил:

– Кто такой?

– Камердинер их сиятельства, Прохор Полушкин, а вы кто есть в нашем доме, сударь? – с важностью осведомился Прохор.

– Я государю моему поручик инфантерии, тебе же не сударь, а ваше благородие, – раздельно сказал поручик и со всего размаху дал наотмашь затрещину по нахально улыбавшемуся лицу Прохора. Прохор охнул и схватился за щеку. Девушки взвизгнули и присели на месте.

– Что вы, что вы, поручик, – испуганно схватил его за руку Петушков.

– Но, не хватать, а то и вам могу смазать, чернильная душа, адъютантская совесть! Он вас «сударем» зовет, на вас кричать смеет, а вы, офицер, его деньгами да посулами улещаете. Прочь! – рявкнул поручик и неожиданно снова хрюкнул по щеке приходившего в себя от изумления Прохора.

– Убивают! – завопил камердинер, бросаясь к дверям.

Девушки в страхе кинулись за ним.

– Стой! – громовым голосом закричал поручик. Его черные усы заходили, в руке блеснул пистолет. Услышав щелканье курка, камердинер оглянулся и замер в страхе. Усатый поручик целил ему в голову. Петушков, трясущийся и бледный, держась за сердце, стоял у стены. Одна из





актерок залезла под стол, другая, визжа, билась в объятиях толстушки. Остальные, ожидая выстрела, в страхе жались к стене.

– Подойди сюда! – негромко, очень спокойно сказал поручик.

Прохор с раздувшейся щекой и красным слезящимся глазом, всхлипывая, сделал шаг.

– Смелее... ну-у! – сказал офицер.

Сделав на негнущихся ногах еще два шага, камердинер, отворачиваясь в сторону от наведенного пистолета, жмурясь и плача, подошел к нему.

– Ну, кто я такой? Ты теперь знаешь? – спросил поручик и левой рукой медленно расправил свои черные, жесткие усы.

– Так точно, ваше благородие, господин поручик! – заикаясь, пробормотал Прохор.

– Правильно, а теперь слушай, кобылячье семя! Если ты скажешь хоть одно слово, хоть один звук своему барину про нашу компанию и про вот этих женщин, то я, поручик Куринского полка Прокофий Ильич Гостев, вот из этого самого пистолета двойным зарядом прострелю твою подлую холуйскую башку, в чем и клянусь перед крестом Господа Бога и портретом моего государя! – Он вытащил из-за ворота сюртука нательный крест, поцеловал его и, подойдя к портрету царя, отдал честь. – И запомни, что я офицер, а не «сударь» и ежели что обещал, так выполняю точно. Понял?

– По-понял. Ни слова, вот вам истинный крест, ни слова! – забормотал, кланяясь, камердинер.

– Ступай! – коротко сказал поручик, – Прошу извинить меня, красавицы, за шум и беспокойство, но мы народ простой. – Он надел фуражку, спрятал в карман сюртука пистолет, пристегнул шапку и, отдав честь примолкшим девушкам, пошел к выходу.

– Обождите, почтенный Прокофий Ильич, и я сейчас, вместе, – засуетился Петушков.

– Вот что, сударь, – подчеркивая последнее слово, сказал черноусый офицер. – Мне с вами не по пути, да и неохота. – С минуту он ждал ответа; не дождавшись его, дерзко ухмыльнулся, поправил усы и, высоко подняв плечи, вышел из комнаты.

– Вот это мужчина, ах, какой геройский кавалер! И кто бы только подумал! – в восхищении сказала толстушка, восторженно глядя вслед офицеру.

– Чудный! А как он Прошке по морде вдарил! Я аж закатилась от страху. Душка! – простонала блондинка.

– А как пистолет схватил, так страшный стал, как демон, ну, думаю, пропал наш Прошка, – сказала девушка в сарафане.

– Это мужчина, герой, а вы что... только где в углу обнять норовите да гадости разные сказываете... Истинный вы «сударь», – отворачиваясь от



Петушкова, сказала толстушка. – И знаете что, ступайте вы себе домой, хватит! – уже совсем бесцеремонно закончила она.

– Позвольте, медам-с, что это за такие слова и прочее, я и рассердиться могу... – обиделся Петушков.

– Ну и сердитесь, а мы спать хотим, идите, идите, а то сейчас Матвея покличем.

Подпоручик встал и, застегнувшись до самого воротника, закинув назад голову и ни на кого не глядя, вышел из залы. Холодное молчание проводило его. Когда он поспешно сходил по ступенькам, до него докатился дружный хохот. Петушков съежился, осторожно открыл калитку и вышел на улицу. Ночь, свежий воздух, яркие звезды стояли над крепостью. Пройдя саженей пять, Петушков оглянулся.

– Дуры! Потаскухи! Стервы! – погрозив в темноту, сказал он.

На крепостных стенах через каждые пять-шесть минут раздавалось монотонное «слу-у-ша-а-й» часовых. За горами всходила луна. Ее блеск уже посеребрил верхушки недавно насаженных тополей, под которыми шел злой, раздосадованный подпоручик. Он уже подходил к офицерскому барaku, когда впереди зашумели голоса, раздалось ржание коней, стук прикладов, и ворота крепости с тяжелым визгом раскрылись. Десятки красных факелов, дымных и подвижных, заплясали в воздухе, озарив неясным светом толпу людей, вокруг которой виднелись конные казаки да поблескивали штыки солдат. Дежурный офицер о чем-то переговаривался у ворот с казаками. Крепостная полурота «в ружье» стояла возле. Петушков поспешил к воротам.

– Что такое?

– Пленных чеченов пригнали, – ответил казак и добавил: – Приказано донесение начальнику гарнизона доставить, а нам неизвестно, где они находятся.

– Давай сюда пакет, я адъютант полковника, – выпячивая грудь, важно сказал Петушков.

– Никак невозможно! Полковник Пулло приказали передать пакет в собственные руки ихова превосходительства, – сказал казак.

Петушков хотел вскипеть, но, разглядев на говорившем погоны офицера, миролюбиво сказал:

– Ну, коли так, езжайте за мной. А пленных пока можно отвести в батальонные сараи.

Казачий сотник скомандовал своей полусотне. Пехотный прапорщик подал команду солдатам, и сквозь открытые ворота потянулись пленные, окруженные казаками.

От толпы пахло потом, грязью и кислым запахом дыма и овчины.

– А как наши? Потерь много? – спросил Петушков.

– Хватит. Такой резни давно не было. Всем досталось: и казакам, и егерям, и пехоте. Ну, едемте к генералу!



## Глава 12

Утром в слободе шли разговоры о больших потерях, понесенных отрядом в экспедиции. Солдаты семейных рот, гарнизонные писаря, бабы, госпитальные служители, армяне-поселенцы, кумыки из Андрей-аула толкались на базарной площади, множа и без того раздутые слухи. Обеспокоенные люди теснились около казаков, пригнавших из экспедиции пленных.

– Наших побили дюже... одних мертвых человек сто, кабы не поболе, большой был бой, – говорили казаки, но кто убит, кто жив, кого ранили, – этого они сказать не могли.

– Да мы при штабе в лезерве состояли, в самом бою не были, а вечером сюды пошли, – объясняли они.

Подпоручик Петушков к девяти часам утра уже был в канцелярии. Его раннее появление объяснялось не излишним усердием в службе, а лишь тем, что вчера, отведя казачьего офицера к фон Краббе, подпоручик не был допущен дальше приемной комнаты начальника гарнизона. Он видел, как озабоченно приподнялись брови генерала, когда он, вскрыв пакет, прочел донесение полковника Пулло.

Краббе несколько секунд сидел молча, покусывая губы, напряженно думая, потом он поднял голову и увидел почтительно умильную физиономию выжидающе глядевшего на него Петушкова.

– Сплошное безобразие! – думая о больших потерях отряда, по-немецки сказал он.

– Чего-с изволите? – почтительно изогнулся перед ним подпоручик.

Генерал удивленно взглянул на него.

– Ничего. Ви идите на свой место, а мне приплить капитан Сорокин... Слюште, слюште, поручик, – остановил он метнувшегося к дверям Петушкова. – Завтра утра я посылаю вас к отряд полковник Пулло. Идите свой место спать...

Шел уже десятый час, а подпоручика все еще не требовали к генералу, и он в несколько смятенном состоянии ходил по канцелярии, начальственно прикрикивая на писарей и поглядывая через окно на улицу.

Вдруг вместо ожидаемого генеральского вестового он увидел широкое, веснушчатое лицо своего денщика Филаткина, неторопливо шагавшего по дорожке. Завидя Петушкова, Филаткин подтянулся, надул щеки и, прижимая локти к телу, подошел к нему. Не доходя четырех шагов, он остановился, замер на месте (этому научил его требовательный подпоручик) и громко доложил:

– Так что осмелюсь доложить: письмо до вашего благородия, – и, вынимая конверт из-за обшлага потертой шинели, добавил: – Барышня требуют срочного ответа.

Писаря, занимавшиеся своим делом, моментально насторожились.



– Какая там барышня, ты ерунду несешь! – нахмурился подпоручик и, махнув рукой снова открывшему было рот денщику, вышел на крыльцо, сопровождаемый ироническими подмигиваниями писарей.

Конверт был маленький, голубой, с розовой каемкой на углах. От него шел тонкий, едва уловимый запах флердоранжа. Неровные, бегущие буквы:

«Его благородию господину поручику Петушкову».

«От кого бы?» – пожимая плечами, подумал подпоручик. Он не любил получать письма, черт знает что могли они нести. А это, такое неожиданное, и вовсе удивило его.

– Какая барышня? – негромко спросил он денщика.

– Князева... полковника Голицына девка... – громко зарпортовал Филаткин.

– Не ори, говори тише, – остановил его Петушков, оглядываясь на окна канцелярии.

– ...так что пришел кучер князев. Письмо вам велел передать от барышни, от девки, ахтерки, что с князем живет, – окончательно запутался Филаткин.

– От Нюшеньки?

– Так точно, от ей самой!

Сердце подпоручика екнуло, но не от любви к прекрасной Нюшеньке... «Выдал, рассказал, подлец, – в страхе подумал он, вспоминая камердинера Прохора и неудавшийся вчерашний кутеж. – И князю расскажет... скандал, черт знает что будет!» – с замиранием сердца решил Петушков.

– Кучер их у ворот стоит, ответа дожидается, – напомнил Филаткин.

Подпоручик тускло поглядел на него и, вздохнув, распечатал конверт.

«Уважаемый господин Ардальон Иванович! Как мы наслышались всяких страхов и ужастей об убитых и раненых с чеченами и очень страшимся об князиньке нашем и вообще, то просим ввечеру пожаловать к нам и рассказать, как его сиятельство милует Бог в страшном бою. Очень просим вас все об этом: узнайте наверное, кто уцелел из господ офицеров, а кто, не дай господи, убитый. Ото всех кланяюсь, известная вам Нюшенька Бирюзова, и просим пораней прийти».

Петушков изумленно взглянул в вытаращенные глаза денщика. Подобного письма из княжеского дома, особенно же после вчерашнего пассажа, он не ожидал. От сердца отлегло, страхи перед возвращением князя прошли. Теперь, после официального приглашения девушек, беспокоящихся о своем господине, Голицыну даже и в голову не могло прийти что-либо другое. Петушков облизнулся, подмигнул застывшему в мертвой стойке денщику и расхохотался. Посмеявшись, он достал из кармана кошелек, долго рылся в нем, наконец, найдя трехрублевую ассигнацию, ту самую, которую вчера предлагал камердинеру, протянул ее Филаткину.



– На, возьми, – сказал он и вдруг поспешно добавил: – Купи на рупь чаю, на рупь свечей и табаку, а остальное пропей!

– Покорнейше благодарим! – крикнул денщик.

– Пофартило нашему Петушку-то! На цельную трешку раскукарекался, – сказал один из писарей, наблюдавший через окно.

Петушков прошел к воротам и, написав несколько слов, передал записку ожидавшемуся Матвею.

– Так ты, голубчик, скажи, что меня его превосходительство генерал фон Краббе посылает сегодня же с резервом в бой на помощь нашим, но ежели не пошлет, то я обязательно вечером буду и полностью расскажу обо всем, – и, насвистывая модную в армии песенку «Солдатская душечка, задушевный друг», важно зашагал обратно в канцелярию.

Генерал фон Краббе уже через пять минут забыл о Петушкове, но бедный подпоручик, промаявшись в ожидании приказа целый день, под вечер побрел к начальнику гарнизона. Петушков был не в духе. Ехать в отряд полковника Пулло ему не хотелось. Дорога в Дады-Юрт шла по пересеченной, лесистой местности, мало ли какие опасности могли встретиться на пути. «Как бы еще на ночь глядя не погнал, немчура оканная, так и не повидаяешься с Ньюшенькой», – тревожно подумал он.

– Ба! Петушков, приятная встреча, – раздалось около него, и высокий офицер в голубом башлыке опустил руку на его плечо.

– Небольсин, Александр Николаевич, какими судьбами? – вздрагивая от толчка, удивленно вскричал Петушков. – Да ведь ты же, мой ангел, в отряде полковника Пулло?

– Был, но сейчас прислан к генералу с донесением. Да что это ты так раскис, любезный? Нездоров, что ли?

– А когда обратно? – не слушая его, перебил Петушков.

– Зачем же обратно? Отряд сегодня ввечеру выступает из аула и через три дня будет здесь. Да постой, постой, что это ты, братец мой, так невежлив, с тобою говорят, а ты куда-то бежишь, – ловя за рукав Петушкова, засмеялся Небольсин.

Подпоручик, сияя от радости, наклонился к его уху и шепотом произнес:

– Тайна... великая тайна, но тебе откроюсь... Вот читай. – И, порывшись в кармашке сюртука, извлек письмо и еще тише добавил: – От Ньюшеньки.

Небольсин отодвинулся от него и удивленно спросил:

– Те-бе... от Ньюшеньки?

– А что? Почему бы и нет? Я, знаешь, Небольсин, не хочу только хватать, а у женщин всегда имею большую аттенцию.

Но поручик не слушал его. Развернув смятое письмо, он быстро прочел его, потом вздохнул, закрыл глаза и, проведя ладонью по лицу, тихо улыбнулся.



Петушков удивленно смотрел на него. Вдруг Небольсин весело рассмеялся.

– Счастливчик ты, Петушков! Умом и красотой не обидели тебя боги... истый Парис, – отдавая письмо, сказал он.

Петушков выставил вперед грудь и улыбнулся.

– Завидую тебе, любимец богов и князевых наяд; об одном только прошу: когда будешь говорить с прелестницей Нюшенькой, скажи ей, что я шлю низкий поклон и сегодня же нарву для нее десять сиреневых букетов из лазаретного сада.

– Десять сиреневых букетов? – перебил его Петушков. – Не много ли будет? Хватит одного, да побольше.

– О нет, мой счастливый друг, тебе утечи любви, а мне, – Небольсин вздохнул, – презенты дамам. Именно так, именно десять, и обязательно из лазаретного сада... пусть посмеется над моей смешной фантазией.

– Скажу! – покровительственно обещал Петушков. – До завтра, мон шер, да, кстати, – уже с верхней ступеньки спросил он, – а потерь много?

Небольсин посмотрел на него, помолчал, нахмурился и сказал:

– Хватит.

– Нет, нет, постой... ведь мне же Нюшеньке придется сказать... она же беспокоится, просит.

– Ничего. Скажи, что ее обольстительный князь жив и от боя был верстах в четырех.

– А... а остальные?

Небольсин повернулся, махнул рукой и, не прощаясь, сошел вниз.

– Чудной какой-то... а еще переведенный из гвардии, – поджимая губы, удивился Петушков и вошел в канцелярию фон Краббе.

Один из дворецких провел подпоручика по коридору, другой с поклоном открыл ему дверь в залу.

– Пришли... а мы уж и не чаяли увидеть... думали, и вас на чечена угнали, – сказала Нюшенька и, схватив подпоручика за руку, взволнованно спросила: – Ну как там, кого убили? – голос ее дрогнул. – Говорите, ну да рассказывайте же, а то здесь ужас чего не говорят!

– Успокойтесь, уважаемая Нюшенька! Князь ваш невредим, хотя бой был горячим и многие русские герои полегли на поле брани смертью храбрых, но господняя десница охраняла нашего дорогого князя.

Стоявший сбоку от Нюшеньки камердинер Прохор перекрестился и, кланяясь на образа, нарочито громко зашептал:

– Слава тебе, Господи, спас и сохранил его сиятельство от басурманских пулю!

– Уцелел наш князенька, живой, не ранетый наш ангел, наш золотой барин, – суетливо заговорили девушки, стоявшие у стены, и, следуя примеру Прохора, закрестились на образа.



– А убитых много? А? Кто такие? – с прежним волнением сказала Ньюшенька. В ее глазах блеснули слезы.

– Много, ведь бой был страх какой лютый, но не страшитесь, не тревожьтесь, уважаемая Ньюшенька. Я же вам точно сказываю, что его сиятельство невредим, – важно сказал Петушков, оглядывая голицынских слуг.

– Да! Это хорошо... слава богу... очень приятно, – торопливой скороговоркой проговорила Ньюшенька. – А кто из господ офицеров убитый? – Лицо ее побледнело, глаза тревожно смотрели на подпоручика.

– Мно-ого! Человек почитай тридцать будет, – соврал Петушков и остановился, видя, как побелело лицо девушки. – Ну, тридцать не тридцать, а около того. Мне только что поручик Небольсин про эту баталию сказывал. Ужаси какой бой был.

– Небольсин... – перебила его Ньюшенька, и густая краска залила ее бледное лицо. Она отвернулась, достала из рукава кофточки платок и, приложив его к лицу, сказала: – Насморк замучил, дышать нечем! А разве поручик тоже там был?

– А как же! Только сегодня оттудова вернулся. Послезавтра весь отряд здесь будет.

– Слава тебе, Господи! Увидим нашего дорогого владыку, нашего любимого господина, – снова забормотал Прохор.

– Ну, господин офицер, ваше приятное благородие, за то, что сообщили про нашего князьенку добрые вести, мы вас чайком да варением побалуем. Правда, девоньки? – смеясь, спросила Ньюшенька.

– Стоит... стоит, – зашумели остальные.

– А я тем временем расскажу про все: и кого убили, и кого ранили...

– Стоит ли такие страхи сказывать! – остановила Петушкова Ньюшенька. – Я ужас как боюсь про страшное, а особливо на ночь выслушивать.

Петушков открыл рот и глупо уставился на нее.

– Раз наш князьенка целый, вы лучше про веселое расскажите, чем нам про чужое горе слушать, садитесь вот возле меня, сказывайте да ждите, когда Машенька-вострушка чаем нас будет угощать.

Ньюшенька была так спокойна и так занята предстоящим чаем, что Петушков, как ни был расположен к ней, даже озлился. «И чего расспрашивала об убитых, нужны они ей больно, как услышала про своего князя, так и страхи все пропали», – подумал он. Но через минуту Петушков уже забыл об этом огорчении. Забравшись в угол залы, он уселся на крытую коврами и подушками тахту и, млея от радости, понес всякую чепуху.

Камердинер вышел. Толстушка, или Машенька-вострушка, как звала ее Ньюшенька, хозяйничала за столом. Две девушки вполголоса пели чувствительную песенку «Два сердца». Остальные, сидя по углам за вышиванием, подтягивали им.

*...и сирени кусты ароматные  
отряхают на нас лепестки...*



– Ах да, кстати, – унижая голос, вспомнил Петушков, – ведь я обещался передать вам, дорогая Нюшенька, глубокий поклон от поручика Небольсина.

– А разве поручик знал, что вы идете сюда? – нагибая ниже голову над вышивкой, тихо спросила Нюшенька.

– Я сказал ему. Он, бедняга, даже посинел от зависти. Ведь, между нами сказать, он тоже тайно обожает вас, прелестная Нюшенька!

– Да? А я и не знала...

– Обожают, обожают, только не имеет смелости показать вам сие. Он хороший, однако простоват очень, хотя и из гвардейцев. Насмешил он меня сегодня. Передай, говорит, обольстительной Нюшеньке мой скромный поклон и скажи, что я сегодня же нарву для нее в лазаретном саду десять букетов сирени... А? Десять! – весело рассмеялся подпоручик.

– Сегодня десять букетов? – подняла голову девушка.

– Десять, и именно, говорит, в лазаретном саду. Ну не чудак, десять букетов?

– Сегодня... десять... – не слушая его, повторила Нюшенька и посмотрела по сторонам. Девушки пели, никто не слушал их. Вдруг Нюшенька уронила свое шитье на колени и, обхватив руками голову, засмеялась. На ее влажных глазах показались счастливые слезы.

Петушков с настороженным вниманием смотрел на нее.

– Десять букетов... да что ж мне с ними делать-то? – вставая с тахты и содрогаясь от счастливого смеха, проговорила девушка.

– Идемте чай пить, – позвала их толстущка, ставя на стол кипящий самовар.

Петушков встал и пошел за Нюшенькой. Настроение его отчего-то сразу испортилось. Выпив две чашки чаю, он, так и не попробовав Нюшенькиного варенья, откланялся и поспешил домой.

Вскоре ушла к себе и Нюшенька. Спустя полчаса разошлись и остальные. Двухэтажный флигель, отведенный князю, затих. Смолкли голоса, потухли огни. По двору, осматривая запоры в последний раз, прошел Агафон, крепостной мужик Голицына, прозванный Быком за неимоверную физическую силу и по этой причине завезенный на Кавказ в качестве личного охранителя князя.

Было тихо. Из слободки еле слышно доносилась гармошка, бабьи песни да собачий лай. Иногда за забором слышались торопливые шаги или цоканье копыт.

Темная кавказская ночь с яркими звездами, холодком и мертвой тишиной окутала крепость.

Было уже около двух часов ночи, когда из темноты госпитального сада, чуть мелькнув на фоне низких, тускло озаренных окон лазарета, прошли две тесно прижавшиеся фигуры.





– Александр Николаевич, дорогой мой, не могу я без вас, если б не вы, не ваша любовь да ласка, давно руки бы на себя наложила. Нож бы взяла, да в него, проклятого, всадила, так опостылел он мне. А что сделаешь? Раба, крепостная!

– Знаю, знаю, мой дорогой друг, сам мучусь, все думаю о тебе, о нас, о нашей любви.

– Горькая любовь, – вздохнула женщина.

– Горькая, Нюшенька, тяжелая. Таясь от всех, встречаться кое-как, всего страшиться. Ох-х, проклятый век, проклятые нравы!

– Когда отседа обратно уезжать будем в Россию, повешусь я, а не вернусь обратно. Ах, Александр Николаич, не знала я вас раньше, ну, думала, так и надо, в князевом театре да в барской постели молодость прожить, а встретила и знаю, не будет мне радостей в жизни без вас... мой дорогой... Саша, – сдерживая рыдания, грустно сказала женщина.

Мужчина нежно погладил ее по голове и тихо поцеловал мокрое от слез лицо.

– Нет, Нюшенька, нет, моя любимая! Князь Голицын уедет отсюда без тебя!!!

– Как без... – удивленно сказала женщина, но мужчина долгим поцелуем зажал ей рот и, обняв за талию, шагнул дальше. Через минуту они потонули в гуще рассаженных вдоль улицы тополей.

Подпоручик Петушков выполз из кустов, росших вдоль забора. Он молча глядел в темноту, потом, обломив ветку боярышника, швырнул ее вслед ушедшим.

– Так вот ты какова, недотрога-царевна, вот, оказывается, за кого тряслась, боялась... Хорошо! Я вам покажу, как обманывать Ардальона Петушкова...

## Глава 13

Генерал Алексей Петрович Ермолов был не в духе. Еще с раннего утра решительно все раздражало главнокомандующего. И яркое азиатское солнце, и встревоженное лицо адъютанта, и этот нелепый доклад Севарсамидзе, полученный утром из Тифлиса, о том, что персияне зашевелились вдоль всей границы. Свежие, еще пахнущие соком чинары половинцы скрипели под его медлительными, тяжелыми шагами.

«Никто... никто из всей этой сволочи не понимает истинного положения дела. Ни Чернышев, ни этот урод Нессельроде, ни сам царь».

Генерал остановился.

«Царь!» – снова подумал он и недружелюбно взглянул на большой, в красках, портрет Николая Павловича, совсем недавно повешенный над рабочим столом главнокомандующего. Насупленные глазки сверкнули



из-под седых бровей и встретились со спокойным, тупым, без мысли и тепла, остановившимся взглядом императора. Ермолов секунду-другую глядел на холодное, без морщин, написанное лицо царя и вдруг отвернулся.

В его мозгу проносились все обиды и неприятности, которые он получил от этого холеного, затянутого в лосины, надменного человека. И сразу же все прошло. Недовольство и боль под ложечкой исчезли. Причина, с самого утра нервировавшая его, была найдена. Это был царь. Вернее, письмо, накануне полученное из Петербурга от графа Закревского, старого друга и приятеля генерала. Ермолов облегченно вздохнул и, подходя к розовому лицу императора, в упор заглянул в него и весело рассмеялся.

«А ведь вы, Ваше Императорское Величество, трус, — с удовольствием подумал он и не без злорадства повторил: — Трус!»

14 декабря встало перед его глазами, и он, в эти самые горячие дни бывший здесь, на далеком Кавказе, ясно представил себе бледную, растерявшуюся фигуру этого теперь надменного человека.

— Трус, — еще раз повторил он и, уже отходя, громко полупропел-полубурчал себе под нос: — Молода, во Саксонии не была!

И эта суворовская поговорка, повторяемая только в веселые, приятные минуты, ясно показала, что сплин и недовольство оставили главнокомандующего. Он подошел к окну и, перегнувшись через подоконник, поглядел вдаль. Крепость Грозная, всего семь лет назад построенная им, как на ладони раскинулась перед своим хозяином. Белая гарнизонная церковь, бастионы, казармы и лазарет, низкие мазанки семейных солдат — все это открылось его взору. Насыпь и кирпичные стены казарм мешали разглядеть дорогу, или, как ее называли, Екатериноградский тракт, по которому из Моздока, Ставрополя и Екатеринограда шли русские обозы и вообще все из России. Генерал взглянул на часы. Было рано, всего десять часов. До прихода очередной оказии оставалось часа три. Времени было достаточно. Ермолов вынул из кармана табакерку, подарок Александра I за Фридляндский бой, и, захватив полную щепотку тертого, душистого табаку, с наслаждением понюхал и громко дважды чихнул. Это было последнее ощущение хандры, ибо после этого он достал из кармашка военного сюртука смятое, скомканное письмо Закревского и, сев, словно нарочно, под самым портретом Николая, стал медленно и внятно перечитывать письмо, изредка ухмыляясь и очень насмешливо оглядывая ледяное, надменное лицо самодержца всероссийского.

«Уважаемый друг и любезнейший благоприятель мой Алексей Петрович!

Прими благосклонно сие письмо, написанное...»

— Так, так, — пропуская ряд строк, читал Ермолов. — «...Не оскорби меня, друг любезнейший, мыслью, что мои письма докучают тебе...»



– Не то, дальше, дальше, а... вот оно, сие приятнейшее известие, – саркастически ухмыльнулся главнокомандующий и громче прочел: – «...Ходят слухи, что государю благоугодно будет распорядиться послать к тебе генерала Ивана Федоровича Паскевича, коего ты отменно знаешь и кой будет оказывать тебе помощь во всех трудных твоих делах. С ним же прибудет к тебе и наш несравненный герой-партизан генерал Денис Давыдов». Благодарю вас покорно, Ваше Величество, Николай Павлович, – низко поклонился генерал портрету и сплюнул. – «...Этого нужно ожидать как факта в ближайшем. Генерал-адъютант Паскевич окромя других дел будет отправлен к тебе для безотлагательных исполнений данных ему государем личных наставлений. Сие уже решено и на днях будет известно официально...» – Слово «решено» было подчеркнуто дважды. – «...В вашу помощь как для военного, так и для гражданского попечения Кавказского края...» – Ермолов хитро улыбнулся и, говоря словно о другом, безразличным тоном сказал: – По шапке тебе дают, Алексей Петрович!..

Генерал встал и, разгладив толстыми волосатыми пальцами письмо, бережно сложил его и снова спрятал в карман. То, что Паскевич назначался, по существу, не столько в помощники к нему, сколько в заместители, было совершенно ясно ему. Письмо Закревского только подтверждало его собственные сведения и предположения, и лишь приезд старого друга, Дениса Давыдова, обрадовал его.

– Гонят – сменяют... и когда? Когда на носу персидская война, когда ахалцыхский паша готовит удар против Тифлиса, а эти мошеники чеченцы вкупе с Дагестаном затевают новые дела... Э-эх ты, – со злобой глянул он на портрет, – им-пе-ра-тор! – И снова перед ним пронеслись картины прошлого, вспомнилось, как он, генерал Ермолов, на Марсовом поле вот этого самого «им-пе-ра-тора» оборвал при всех и заставил покраснеть от огорчения и обиды. Правда, тогда это был не царь, а всего лишь великий князь, даже и не мечтавший о престоле.

Внизу, у крыльца, процокали, проплясали кони. Звякнули стремяна, зазвенели взятые «на караул» часовыми ружья, и нестройные, негромкие голоса долетели до генерала. Ермолов поднял седую разлохматившуюся голову и прислушался. Затем, упершись руками о край стола, торпливо поднялся и, обмахнув на ходу сюртук, подошел к окну. Новый адъютант, назначенный взамен Воейкова, гвардии поручик Ранцев, постучал в дверь и, просовывая голову, доложил:

– Ваше высокопревосходительство, согласно приказу попечитель торговли края полковник Румпель и представители меновых дворов коллежские ассессоры Швинке, Голубцов и Воздвиженский, а также чеченские, кумыкские, осетинские и прочие представители обмена.

Ермолов оглянулся. Его маленькие глаза были спокойны. Движения обычны и по-стариковски бесстрастны.



– Пусть собираются у Генриха Адольфовича. Сейчас приду, да вели, голубчик, приготовить крепкого чаю!

Меновая торговля существовала уже давно. Еще в 1806 году прежним главнокомандующим на Кавказе, графом Тормасовым, был учрежден особый отдел по обмену соли, железа и свинца на кожу, скот и коней, которыми изобиловали горы. Учрежденные для этого меновые дворы очень скоро уступили свои торговые функции чисто военным.

Купцы, перекупщики, переводчики и спекулянты работали в недавно организованных меновых дворах; одновременно с этим они были осведомителями русских, пропагандистами их деятельности. Во главе организации стоял «попечитель торговли», русский генерал с большим штатом чиновников и миссионеров-попов. Среди состоятельных людей Осетии, Кабарды, Черкесии и Чечни уже имелись награжденные царским вниманием лица. Ордена, чины, ленты и подарки, денежные суммы и процентные отчисления от оборотов торговли щедро раздавались главнокомандующим. Петербург и Нессельроде субсидировали эту организацию, внимательно изучая ежемесячные доклады попечителя о политических и экономических результатах торговли. Собрание, на которое прибыли представители горских народностей, было вызвано настоятельным требованием Нессельроде, до которого дошли слухи о том, что генерал Ермолов уже третий месяц не созывал его.

– Здравствуйте, господа, – входя в «присутственную» комнату, сказал Ермолов, на ходу пожимая руку склонившемуся перед ним советнику Швинке. Выстроившиеся у стен горцы низко поклонились генералу.

– Салам алейкум! Не хабар?<sup>1</sup> – кивая им головой, спросил Ермолов, садясь рядом с Румпелем на подставленный ему Голубцовым стул. Генерал немного говорил по-кумыкски и любил показывать это горцам.

– Хабар ёк... Хамуси якши-да... аллах берекет олсун<sup>2</sup>, – заулыбались гости, отвечая ему.

– Отур!<sup>3</sup> – сказал Ермолов.

Заседание обменной комиссии началось. Доклад делал советник Швинке. Его слова на кумыкский и чеченский языки переводил владетельный князь поручик Мусаев. Осетинский представитель прапорщик Кубатиев, говоривший по-русски, в переводе не нуждался. Ермолов, почти не слушая Швинке, изредка оглядывал из-под густых насупленных бровей степенно сидевших горцев.

– ...Принимая же во внимание сугубое значение сего действия и его отменную пользу в деле распространения в крае славы о мощи российской державы и величии ее августейшего монарха, главнокомандую-

<sup>1</sup> Здравствуйте! Какие новости?

<sup>2</sup> Новостей нет. Все, слава богу, хорошо.

<sup>3</sup> Садитесь!



щим войсками Кавказского корпуса угодно было предпринять следующие меры... – скучным, стеклянным голосом читал Швинке. – Первое – в целях расширения объема меновой и закупочной деятельности открыть кредит поименованным отделениям: Чеченскому – 25 000 рублей серебром, Инкушевскому – 8 000, Осетинскому – 20 000 и Дигорскому дополнительно 6 000. Кабарде Малой и Большой – 18 000, Дагестану же по обществам, рекомендованным через его сиятельство шамхала Мехти-хана, а по Аварии через посредство высокороденной правительницы ханши Паху-Бике общий кредит предположительно обозначить в 65 000 рублей, но, буде необходимо, сумму сию дозволяется дополнительно поднять до нужного размера.

«Понравилось?» – пряча усмешку, подумал генерал, видя, как при этих словах оживление прошло по лицам представителей обмена.

– ...Второе – выделить необходимые суммы из особого фонда главнокомандующего для выдачи именных вознаграждений лицам горских народов, кои особенно ревностно и полезно проводили свою работу по обмену и торговле с российскими войсками и населением края.

Третье – в виде поощрения помимо денежных наград представить к именным отличиям орденами и производству в офицерские чины наиболее благорасположенных к российской державе именитых людей народов, ведущих с русскими торговлю, обмен и прочие нужные дела. С таковых, после награждения их указом Его Величества, пошлин и прочих денежных поборов при торговле не взимать.

Четвертое – для усиления работы по торговле и обмену учредить школу переводчиков, для чего в крепость Грозную привезти от каждой вышеуказанной горской народности по пятнадцать подростков мужского пола (не свыше пятнадцати лет) и обучать их при гарнизонном комендантском управлении русскому языку, понятиям о великой российской державе и ее августейшем монархе, а также и представлению о русских государственных задачах на ближнем сем Востоке.

В комнату тихо вошел поручик Ранцев. Он чуть покосился на медленно читавшего Швинке и, обойдя Ермолова, пригнувшись к его уху, шепнул:

– Лазутчик из Дагестана... от ханши...

Поручик помолчал и затем так же тихо добавил:

– Донесение из отряда полковника Пулло. – Он помедлил и еще тише сказал: – Ваше высокопревосходительство, из станицы Екатериноградской донесение с нарочным, особо важное... от генерала Розена... Князь Александр Сергеевич Меншиков от государя туда прибыл... Вам письмо от него.

Ермолов чуть нахмурился. Он знал об ожидаемом приезде князя, но так скоро... Кровь прилила к его лицу. Он не спеша забарабанил по столу пальцами, расстегнул и без того просторный воротник и, вдруг шумно поднявшись с места, сказал остановившему чтение Швинке:



– Продолжайте! Неотложные дела... – И, кивнув головой вскочившим с мест чиновникам и горцам, удалился.

«Доношу вашему высокопревосходительству, что вчера ввечеру, близко девяти часов, в станицу Екатериноградскую по военно-почтовому тракту из города Ставрополя прибыл едущий чрезвычайным послом в Персию по высочайшему повелению князь Александр Сергеевич Меншиков, о чем спешу доложить вашему высокопревосходительству. Вместе с князем туда же следует полковник Бартоломей, граф Гейден, граф Константин Христофорович Бенкендорф и лица из состава посольской миссии.

Начальник линии левого фланга генерал-майор барон Розен 1-й».

Ермолов поглядел на портрет царя и усмехнулся.

Адъютант подал ему конверт со светло-голубой каемкой по углам. Генерал хотел остаться один. Он оглянулся на Ранцева, и тот, поняв его движение, вышел из комнаты. Ермолов вскрыл конверт и, развернув плотную, украшенную княжеским гербом бумагу, стал читать:

«Его высокопревосходительству дорогому командиру и благоприятелю...»

Начало было дружеское, совсем не такое, какое полагалось бы царскому послу и вельможе, ехавшему с миром в Персию, в ненавистный Ермолову Тегеран, и, таким образом, фактически отстранявшему его, Ермолова, от персидских дел и вопроса о том, быть или нет новой войне.

«Вспомнил, шельмец, как под моим началом корнетишкой скакал перед взводом», – усмехнулся Ермолов. Ему против воли было приятно, что вот этот самый Меншиков, несмотря на неблаговоление царя к Ермолову, все-таки пишет ему не сухое, официальное, но дружеское и даже несколько почтительное письмо.

«Балагур, остряк, бабник... какой он посол? Так, для очередного *bon mots*<sup>1</sup>, для дамского сословия, угодить царице, рассмешить словечком царя, пустить по столице анекдот – на это он хорош, но посол?.. – генерал развел руками. – Не хороши твои дела, Алексей Петрович, – обратился он к самому себе, – уж ежели тебе на смену посылают таких забулдыг и говорунов, как князь Александр Сергеевич... Уж чего лучше, слал бы ты прямо своего братца Михаила или актера Каратыгина, те остреды еще посиленей князя. Заставят посмеяться и шаха, и самого Аббаса-Мирзу... да кабы потом плакать не пришлось, Ваше Величество», – погрозил он портрету.

«...Как вам уже известно из высочайшего и милостивого к вам письма Его Величества от 11 генваря сего года, уважаемый Алексей Петрович, что монаршей волей я назначен следовать к его величеству шаху Фетх-Али в Тегеран с посольством по делу о разграничении и уточнении границ между обеими странами и устранении ряда обид, распрей и прочих причин, вызывающих беспрестанные недовольства между Ираном и нашей державой.

<sup>1</sup> Острота. (фр.)



Имея неотложную необходимость свидеться с вами, уважаемый Алексей Петрович, как по делам, лично сказанным мне государем, так и по желанию иметь от вас полезные моей миссии советы и помощь, я, к моему огромному сожалению, не имею возможности прибыть к вам, так как подобная поездка удлинит срок моего пути, каковой указан мне точно самим государем. Посему льщу себя надеждой, что вы, снизойдя к моей просьбе, окажете мне честь прибыть в скорейшее время в станицу Червленую, куда я завтра же выезжаю с посольством и где буду ждать ваше высокопревосходительство.

При встрече передам вам лично пожелания Его Величества о персидских делах, а также письмо графа Нессельроде шаху Ирана, с которым вам необходимо ознакомиться, дабы содействовать нашему посольству в его переговорах с шахом...»

Ермолов прошелся по комнате и, не открывая дверей, крикнул:

– Эй, кто там!

Вошел Ранцев.

– Вели приготовить сотню казаков, полуроту егерей на телегах да ракетную команду с фальконетом и двумя станками. Завтра рано выезжаем в Червленую. Да чтобы сборы и выступление прошли незаметно, через пять дней буду обратно, нужно, чтобы в горах считали, что я здесь.

Ранцев пошел к двери.

– погоди. Лазутчика ханши держать взаперти, обращаться хорошо. Ежели подойдут еще, держать и рассадить отдельно. Оставайся здесь, гляди за всем в оба, паче всего береги бумаги и мои письма.

– Будьте покойны, Алексей Петрович, – сказал Ранцев.

– Иди, голубчик.

Адъютант вышел.

В предрассветной тьме из крепости налегке вышел отряд и, держа направление на Терек, исчез в тумане. На второй от начала телеге, лежа на мягком ароматном сене, прикрытый лохматой буркой и овчинным полубком, дремал Ермолов. Хотя в обозе шла его отличная рессорная карета, сделанная еще год назад в Петербурге каретником Иохимом, все же генерал часто предпочитал ей обыкновенную фуру, доверху наполненную мягким сеном.

Эту привычку Ермолов заимствовал у великого Суворова, в войсках которого начал свою боевую карьеру молодым безусым поручиком.

Скрипели колеса, стучали копыта, позванивали пашки и штыки. Прикрытый с головою буркой, весь ушедший в сено, генерал молча слушал однообразный дорожный шум.

Встретились они в Червленой в доме войскового старшины Исаака Сехина, у которого остановился князь. Целый день и часть ночи прош-



ли в беседе, своеобразной и необычной. Веселый балагур, изящный царедворец и бонвиван<sup>1</sup>, Меншиков, уважавший Ермолова, обходя острые углы, старался мягко и деликатно передать генералу волю царя и точку зрения министра Нессельроде на персидские дела.

— Его Величество желает мира с Ираном. Наши турецкие дела столь запутаны, а Англия так усердно подталкивает Порту на войну с нами, что турецкую кампанию мы ожидаем со дня на день, и потому Его Величество считает, что все персидские вопросы в настоящее время должны быть закончены миром, а захваченная незаконно и без войны нашими войсками крепость на Араксе должна быть освобождена и передана обратно персиянам.

— Находясь за тысячи верст от границ Ирана, не ведая, что творится в провинциях Ширванской, в Карабахе и Талышинском ханстве, а самое главное, получая сведения из канцелярии графа Нессельроде, Его Величеству, к моему прискорбию, суждено ошибаться. По моему глупому разумению и малому опыту в сих делах, мне кажется, что турецкая война еще за горами, а персидская — на носу...

— Тем более, значит, мы ее должны оттянуть, дорогой Алексей Петрович!

— Трусость и малодушие никогда никого не спасали. Вместо «точек зрения графа Кисель вроде», уговоров Аббаса-Мирзы и подарков шаху следовало прислать сюда хотя бы дивизию пехоты и три батареи с бригадой казаков, тогда бы не было ни опасности персидской войны, ни нахальства Аббаса-Мирзы, ни спорных вопросов о границе... А теперь что? Ведь Его Императорское Величество даже не знает о том, что границы наши от лорибамбакского направления и до самого Тифлиса открыты. Полтора полка — вот все, что имеется на этом огромном участке. А здесь, в Чечне и Дагестане? И здесь все кипит и готовится к войне, и только еще непоколебленный страх перед мощью русского оружия держит в повиновении горцев. А вспыхни завтра война и потерпи мы, избави бог, урон от персиян — от Баку и Закатал, от Тифлиса и до Грозной все загорится войной...

— Тем более нужен с Персией мир, Алексей Петрович. Это есть воля нашего императора, и ее мы будем с вами выполнять, — подчеркивая последние слова, сказал Меншиков.

— Воля моего государя священна, дай только господи, чтобы ошибался я, а не этот урод Нессельроде, — язвительно сказал Ермолов. Меншиков улыбнулся. — А когда приезжает в помощь мне мой почтенный заместитель Иван Федорович Паскевич? Утомился я один за эти годы, спасибо Его Величеству, учел мои немощи и труды, оцепил старика, посылает в помощь такой талант, как генерал Паскевич. Жду не дождусь его высокопревосходительства, одному-то невдомек во всем разобраться.

<sup>1</sup> Человек, любящий пожить в свое удовольствие, кутила, весельчак. (фр.)





Меншиков промолчал, но злой и язвительный Ермолов, словно не замечая состояния собеседника, продолжал:

– А как насчет возмутителей 14 декабря, всех повыловил добрейший Александр Христофорович или еще кое-где сохранились сии страшные для нас якобинцы?

Меншиков, глядя в глаза генералу, сказал:

– За сим, Алексей Петрович, надлежит обратиться не ко мне, а хотя бы к брату графа Бенкендорфа, Константину Христофоровичу, благо он со мною. Однако могу сказать, что на Кавказе, – он медленно проговорил фразу, – их, кажется, Бенкендорф не числит. Пойдемте обедать. Слышите, как вкусно пахнет казацкими щами, – меняя разговор, сказал Меншиков и молча пожал руку генералу.

Ермолов внимательно поглядел на него из-под густых, нахмуренных бровей и, махнув энергично рукой, пошел во вторую комнату, где звенели тарелки, ножи и сутились над столом жена и невестка хозяина дома.

## Глава 14

В селение Кусур, находившееся во владении близкого к русским властям Аслан-хана казикумухского, съезжались гости. Еще ночью из Чечни приехал знаменитый мулла Магомед. Днем раньше в Кусур приехали самухский бек Шамулай, или Гаджи Шефи-бек, как подписывался он в воззваниях к народу. В доме небезызвестного в горах беледа<sup>1</sup> Абдуллы, ожидая съехавшихся гостей, уже несколько дней проживал хан Сурхай казикумухский, всего неделю назад вернувшийся из Тавриза с персидским золотом, инструкциями и ферманом, подписанным наследником Аббасом-Мирзой. Вместе с ним находился и английский полковник Арчибальд Монтис, агент и шпион английского посла в Тегеране. Полковник Монтис сидел на ковре, поджав под себя по-восточному ноги. Рядом с ним дымился кальян и стоял оловянный поднос с чаем и сладостями. Несмотря на коричневую абу и крапчатые волосы, в нем сразу можно было признать европейца и англичанина. Крупные янтарные четки висели на его руке. Указательный палец украшало кольцо-печатка с вырезанным на нем стихом из Корана. Блестящий арабист, знаток Корана и его толкований, востоковед и археолог, Монтис уже дважды приезжал в Дагестан, где появлялся перед горцами в качестве муллы и ученого шейха из Стамбула. Возле него, поджав под себя ноги, сидели чеченские наездники Бекбулат и Умалат-бек, приехавшие из Персии вместе с Сурхай-ханом. У стены, не решаясь сесть в присутствии отца, держась за рукоять кинжала, стоял сын Сурхай-хана, известный в горах храбрый и владетельный Нох-хан.

<sup>1</sup> Наездник.



Сам хозяин, белед Абдулла, то появлялся, то выходил из кунацкой, делая распоряжения женам, готовившим на дворе угощение гостям.

За оградой стояли аульчане, старики и молодые, поглядывая во двор Абдуллы. Десятка два телохранителей, прибывших вместе со своими господами, толпились вокруг дома, переговариваясь с жителями аула. За околицей, заняв край села и пригорок, дежурило около сотни конных и пеших людей, наблюдавших за дорогой.

К вечеру в Кусур приехали Аслан-кадий и старшина лезгинского аула Джары Сеид Чанка-оглы.

Хан Сурхай приветствовал от имени шаха Ирана собравшихся и, прочтя им обращение исфаганского шейха Казими к горцам, сказал:

– Все готово к началу великой войны... Кони иранских всадников оседланы, пашки наточены, и тучи непобедимой кызыл-башской конницы уже нависли над границей. Шах-Заде, могучий лев ислама Аббас-Мирза уже вынул из ножен свой зюльфагар... еще неделя-другая, и русская кровь задымится на Араксе, Мугани и Барчалю... Великий англизский курул<sup>1</sup>, друг и помощник средоточия вселенной, страшного хункяра Персии, с другой стороны ударит на проклятых москов... Вот перед вами минбаши Монтис, по воле всемогущего Аллаха уже год назад переменявший ересь Исы (Иисуса) на единственно праведную, святую веру – магометанство.

Все с уважением посмотрели на англичанина, причем Шамулай, причмокнув губами, восхищенно произнес:

– Аллах акбар!!! Его свет охватит всю землю!

Монтис, все это время почтительно молчавший, наклонил голову и, прочтя короткую аль-риги<sup>2</sup>, провел обеими ладонями по лицу, вздохнул и по-арабски сказал:

– Велик Аллах и велики его дела... Горе тем, кто уклоняется от его пути во имя своих интересов.

Никто из присутствующих, кроме Шамулая, ничего не понял из сказанного, но все еще раз с почтением оглядели Монтиса.

– Высокопоставленный эльчи<sup>3</sup> англизского курула в Тегеране просил передать вам, что близок день, когда вся Европа поднимется против москов... – негромко продолжал Сурхай, поглядывая на англичанина. Монтис кивнул. – Русским приходит конец. У них в собственном доме происходит шулюх<sup>4</sup>... Им сейчас не до войны с нами. Родной брат императора поднял восстание против него, и в их столице, да сожжет Аллах ее своим огнем, дерутся войска друг с другом... Так ли я говорю, уважаемый минбаши? – спросил Сурхай гостя.

Монтис снова утвердительно кивнул и сказал по-персидски:

<sup>1</sup> Король.

<sup>2</sup> Очистительная молитва, благодарение Богу за неожиданную помощь.

<sup>3</sup> Посол.

<sup>4</sup> Смута.



– Истинная правда! Уже несколько недель в Петербурге и Москве идет ужасная резня между сторонниками царя Николая и войсками его брата Константина. Пожары охватили столицу...

– Слава Аллаху! – прошептал мулла Магомед, еще ближе придвинувшись к англичанину.

– ...Половина России дерется друг с другом, и царю теперь не до нас. С помощью Бога вы, орлы Дагестана, вместе с непобедимыми войсками хункяра освободите Кавказ!

– А как сардар Ярмол? За кого он воюет – за царя или его брата? – не без любопытства спросил осторожный хозяин дома, белед Абдулла.

Все насторожились.

Монтис помолчал и потом, махнув рукой, негромко рассмеялся.

– Сардар Ярмол доживает последние дни... Кто бы ни победил, царь или его брат, Ярмолу конец. Его прогнали.

Абдулла даже приподнялся, мулла Магомед откинулся назад и недоверчиво повторил:

– Прогнали?

Новость была так неожиданна, что все замерли в оцепенении.

– Да... на его место приезжает другой генерал... Паскевич. Испытанный и верный друг английского курула, – коротко сказал Монтис.

Весь вечер и половину следующего дня длилось совещание съехавшихся делегатов, после чего Монтис и Сурхай-хан казикамукский роздали присутствующим холщовые мешочки с английским золотом и серебром. Некоторым, менее важным, как, например, старшине Сеид Чанка-оглы, досталось немного, по шесть-семь мешочков серебра, но таким, как Аслан-кадий, Гаджи Шефи-бек или Мустафа дербентский, щедрый англичанин дал много плотно набитых золотом мешочков.

К вечеру второго дня делегаты разъехались по своим местам, и только полковник Монтис вместе с Сурхай-ханом прогостил в Кусуре еще трое суток. Потом они исчезли из Кусура.

Наутро, после встречи с Ермоловым, князь Александр Сергеевич Меншиков отправился в Тифлис, а генерал Ермолов решил на день-другой завернуть в крепость Внезапную. Донесения о состоянии крепости не нравились ему.

«Пока я еще хозяин корпуса и всей Кавказской линии. Когда погонят отсюда, тогда уж пусть Паскевич со своими доморощенными вобанами<sup>1</sup> строит новые», – оглядывая в подзорную трубу верки поднимавшейся впереди крепости, подумал он. Не доезжая до кумыкского села Андрей-аула, Ермолов остановил отряд, вышел из коляски и, сев на своего рослого, золотистого жеребца, пропустил перед собою казачьи сотни и приободрившихся при виде крепости солдат.

<sup>1</sup> Французский военный инженер.



– Песельники, вперед! – скомандовал генерал и, обгоняя сотни на широком намете, вырвался в голову колонны. Под звуки старой казачьей песни, под гудение сопилок и сурм он въехал в Андрей-аул, на улицу которого высыпало все его население. На крышах замелькали фигуры женщин. Оглашая криками дворы, весело сбегались ребятишки. Фуражиры, фурштадты, пехотный прапорщик с двумя казаками мелькнули в толпе.

Сдвинув брови, в черной, свисавшей с плеча бурке, с нагайкой в правой руке, на игравшем под ним жеребце Ермолов торжественно ехал среди замершей, молча взиравшей на него толпы.

Уже прошли казачьи сотни, потянулись телеги, четко промаршировали егеря, а жители аула все еще стояли на улице, глядя вслед уходившей к крепости колонне.

Этой же ночью во все концы Дагестана побежала весть о том, что грозный и жестокий «Ярмол-папа» неожиданно появился во Внезапной.

Через несколько дней полковник Монтис, находившийся уже в районе Дербента, через своих агентов уведомил английского посла в Тегеране и персидского наследника Аббаса-Мирзу о том, что генерал Ермолов, наперекор уверениям русского царя и мирной миссии князя Меншикова, объехал крепости и принял меры к их укреплению.

Скверное настроение, создавшееся в результате письма Закревского и свидания с Меншиковым, нашло выход. Ермолов, мрачный, с холодной иронией придирался к перетрусившему Краббе, то и дело прерывая доклад генерала злыми, саркастическими репликами:

– Не вижу, государь мой, крепости... армянский базар, солдатский постоя и офицерская бордель, а не укрепление. А среди офицеров нравы совершенно азиатские... Бабы, ребятишки какие-то, армянские лавчонки... Где это видано, чтобы на первой линии с противником гаремы возили, театры с фарсами разыгрывали? – Князь Голицын поднял брови и холодно посмотрел в сторону генерала. – Не офицеры, а турецкие паши... Но я этого не потерплю...

– Ваше высокопревосходительство, мне было разрешено еще в Петербурге, и мне кажется... – смотря на Ермолова, как на пустое место, сказал Голицын.

– Прошу не перебивать, полковник. Мне неинтересно, что вам кажется, а вам должно быть известно, что здесь не Петербург и не великосветские балы, а Кавказская линия и что театры и актеры тут не к лицу, а тем паче на первой линии.

Обходя укрепления, он только молча махнул рукой и, оборвав на половине осмотр, пошел в слободку, где жили семейные солдатские роты. Фон Краббе, Пулло, Юрасовский и сопровождавшие главнокомандующего штабные офицеры поспешили за ним, держась позади разгневанного генерала.



В слободе было шумно, грязно и весело: сновали бабы с подоткнутыми подолами, детишки, бородатые солдаты, хрюкали свиньи, квохтали куры; пьяный фурштадт ломился в запертые двери солдатской лавчонки, пахло обжитым жильем, печеным хлебом, дымом. Низенькие белые хаты вытянулись в ряд, на площади виднелась маленькая пузатенькая церковь и в стороне от нее – вольный базар.

Ермолов зашел в одну-две хаты. Испуганные бабы, всклокоченные дети и вытянувшиеся «во фронт» семейные солдаты встречали его. У одной из хат он остановился возле замершего в мертвой стойке солдата, внимательно разглядывая его. Солдат, не отрывая глаз, смотрел на генерала.

– Кутырев, пятого мушкетерского полка? – подходя вплотную к нему, спросил Ермолов.

– Так точно, ваше высокопревосходительство! – крикнул солдат, радостно глядя на генерала.

– А помнишь Фридлянд, Смоленск, Бородино? – спросил Ермолов, и по его нахмуренному лицу прошла теплая улыбка.

– Так точно. И Париж помню, ваше высокопревосходительство!

– Вот, господа, – оборачиваясь к стоявшим позади офицерам, сказал Ермолов, крепко пожимая руку просиявшего солдата, – мой боевой товарищ, вместе наполеоновский поход делали. Ты как сюда попал, старина?

– По собственному желанию, ваше высокопревосходительство, просился в семейные роты, – не помня себя от радости, ответил солдат. – Осмелюсь доложить вашему высокопревосходительству, и Санька, – он поправился, – и известный вам рядовой Елохин тоже здесь, в седьмом егерском служит.

– Это какой же Елохин? – делая вид, будто он что-то припоминает, спросил Ермолов.

– Тот самый Елохин, что под Бородином, когда мы с вами на редут главный ходили, возле вас французского генерала в плен взял. Что у их превосходительства генерала Дохтурова вестовым был...

– Э-э... это пьяница Сашка, которого еще сквозь строй за пьянство хотели прогнать, – вдруг действительно вспомнил Ермолов.

– Так точно, он самый, малость действительно есть, выпивает, четыре раза кавалером был, четыре раза с его Егория снимали... Он и теперь опять Егория получил, – словоохотливо заговорил солдат, радуясь тому, что с ним так просто и дружески разговаривает главнокомандующий Ермолов.

У плетня, разинув блаженно рот, стояла жена Кутырева, не веря ушам и счастливо улыбаясь. На улице около плетней, у хат стояли другие бабы и солдаты, не двигаясь и не сводя глаз с блестящей группы генералов, остановившихся возле кутыревской хаты.

– Вот что, боевой товарищ, это твоя хата? – И, не давая ответить солдату, Ермолов продолжал: – Ну-ка, веди к себе, покажи, как ты живешь.



И прошел мимо окончательно растерявшейся от счастья жены Кутырева.

Неожиданная встреча со старым солдатом привела главнокомандующего в хорошее настроение. Быть может, лицо рядового Кутырева воскресило в нем воспоминания ушедшей молодости и славные дни Отечественной войны, но генерал перестал брюзжать и придирается к офицерам.

Перед обедом ему были представлены офицеры, участвовавшие в набеге на Дады-Юрт.

– ... Поручик Небольсин, седьмого егерского, – сказал полковник Юрасовский.

– Покойный генерал-майор Небольсин Николай Петрович не родственник вам? – спросил Ермолов.

– Родной отец, ваше высокопревосходительство, – ответил поручик.

Ермолов пристально посмотрел на него и молча пожал ему руку.

– Это был друг моего раннего детства и боевых, суворовских дней. Вместе делали турецкий поход.

Лицо его просветлело, глаза приняли мягкое, задумчивое выражение. Переходя на «ты», он тихо сказал:

– Прекрасный человек был твой отец, честный, добрый, храбрый, справедливый... Теперь таких мало... Старайся походить на него.

– Поручик Небольсин за храбрость в деле против чеченцев представлен к Владимиру с бантом, – высовываясь вперед, доложил Юрасовский.

– Давно на Кавказе? – не обращая внимания на Юрасовского, спросил Ермолов.

– Второй год, ваше высокопревосходительство, переведен сюда из гвардии.

Брови генерала чуть сдвинулись. Он быстро глянул на Небольсина. Поручик понял его мысль и добавил:

– По собственному желанию.

Ермолов улыбнулся краешком губ.

– А матушка, Анна Афанасьевна, жива?

– Никак нет, ваше высокопревосходительство, умерла в тысяча восемьсот двадцать четвертом году.

– Царство ей небесное, – широко крестясь, сказал Ермолов. – Ты зайди ко мне вечером, голубчик, обязательно зайди, навести старика. – И он крепко, по-старомодному, так, как делали Суворов и Кутузов, обнял и поцеловал Небольсина.

На следующий день главнокомандующий уехал обратно в Грозную. В тот же день по его приказанию рядовые Александр Елохин и Никифор Кутырев были произведены в младшие унтер-офицеры и награждены Георгиевскими крестами.

От себя Ермолов подарил им по пятидесяти рублей серебром.



## Глава 15

Владельческий шамхал таркинский Мехти-хан, отдавшись в подданство царю и получив от него чин генерал-лейтенанта, Анненскую ленту и 25 000 рублей ежегодной пенсии, доживал свои дни в непробудном пьянстве, не замечая, как призрачная шамхальская власть уплывает из его рук и как за нее его родные сыновья Сулейман, Зубаир и Абу-муслим ведут упорную борьбу. Время от времени шамхал принимал в Тарках и Парауле русских генералов, писал верноподданические письма в Петербург. В переписке с ним были владетельный дом ханов аварских, Аслан-хан кюринский, Ахмед-хан казикумухский, старшины Кайсубулинского, Кайтагского, Табасаранского и других вольных обществ. Они все еще продолжали считаться с его мнением, приезжая и советуясь с ним.

В качестве представителей русского командования при шамхале находились полковник фон Дистерлоо и майор Муса Хасаев, кумыкский князь, осведомлявшие русских обо всем, что делалось и говорилось при дворе шамхала. И все же мимо внимания Дистерлоо и Хасаева прошло событие, сыгравшее в дальнейшем огромную роль в жизни горцев.

В резиденцию шамхала приехал Гази-Магомед.

Лето пришло сразу. После холодной весны с ледяными ветрами, дувшими со стороны Каспия, вдруг настали теплые, солнечные дни. По ущельям побежали бурные потоки. В оврагах зашумели ручейки. Горные реки вздувались и, рыча, неслись в белой сверкающей пене, громыхая по камням. Черные поля покрылись высокой зеленой травой. В низинах и на горах еще лежал снег, но ядреный воздух, в котором, чертя крылами зигзаги, носились ласточки, говорил о том, что лето пришло в Дагестан. С каждым утром вставало солнце более горячее, чем вчера.

В конце мая престарелый шамхал Мехти-хан решил отправиться помолиться в Параул, отстоявший от Тарков верстах в пятидесяти пяти. В Парауле находилась старая мечеть, построенная много лет назад, в которой, по преданию, служил сам Шейх-Мансур. Воспользовавшись этим, барон фон Дистерлоо на несколько дней по своим делам уехал в Дербент, а майор Хасаев отправился погостить к родственникам в Андрей-аул. В полдень того же дня шамхал Мехти-хан прибыл в Параул, куда под вечер приехал Гази-Магомед с четырьмя приближенными людьми.

Престарелый Мехти-хан, наслышавшийся о чудесах, которые якобы творил его гость, решил встретить Гази-Магомеда так, как он не встречал даже и русских генералов. Восемь человек из прислуги шамхала с лампионами и зажженными свечами выстроились за воротами дворца. Двое личных телохранителей шамхала подскочили к подъезжавшему Гази-Магомеду, чтобы поддержать его под руки и повести по устланному коврами двору. Но суровый, не привыкший к роскоши Гази-Магомед легко



соскочил с коня, кинув поводья своему нукеру. У входа с вкрапленными в окна цветными мозаичными стеклами стояли двое сыновей шамхала: средний Зубаир и младший Абу-муслим. Старший, Сулейман, любимец и наследник шамхала, находился вместе с отцом в приемной зале, ожидая гостя. Считая Гази-Магомеда божьим человеком, угодником и пихом, избранником Аллаха, шамхал приказал осветить полностью весь дворец и зажечь во всех комнатах свечи и лампионы.

Во дворе теснились слуги шамхала, на улице стояли жители Параула. Весть о том, что прибыл пророчествующий божий угодник Гази-Магомед, облетела весь аул. Не сводя глаз, они смотрели на спокойное, полное достоинства и ума лицо Гази-Магомеда, и когда он, сойдя с коня, повернулся к ним и негромко сказал: «Здравствуйте, во имя пророка, правоверные!» – вздох пронесся по толпе. Все молча сняли папахи, кто-то заплакал, истерически выкрикнув «Аллах», и вдруг вся толпа повалилась к ногам остановившегося в изумлении Гази-Магомеда.

– Праведник... наш спаситель... божий меч... лев ислама, угодный пророку, – бия себя в грудь, кричали мужчины.

– О-о! Свет пророка... надежда бедных... исцелитель больных... – плача, кричали женщины, царапая лица и разрывая на себе платья.

– Стойте... безумцы! Остановитесь! – покрывая общий шум, закричал Гази-Магомед. Лицо его побагровело. Глаза сверкнули гневом. – Безумцы... срамники! Что вы делаете? Разве можно встречать так человека такого же, как вы? Почему вы решили, что Богу угодно такое низкое и бесстыдное пресмыкание? То, что вы делаете, оскорбляет Бога. Вы ведете себя, как рабы. Встаньте! Не валяйтесь в пыли, не плачьте, как трусливые бабы. Свободный человек никогда не плачет, плачут только слабые. Будьте сильными, сокрушайте в себе страх, боритесь с собой, тогда никто не посмеет надеть на вас ослиное седло. Завтра, если поможет Бог, я скажу проповедь в мечети. До завтра, братья! – И он вошел в распахнутые ворота дворца. Он был так величественно суров, что даже сыновья шамхала, забывая о своем высоком звании, низко поклонились ему.

Пол залы по персидскому обычаю был устлан коврами, с раскиданными по углам шелковыми подушками и мутаками. Посредине журчал фонтан, над которым висела зажженная хрустальная люстра (подарок Ермолова). Огонь свечей отражался в зеркалах, вделанных в стены, и играл на цветной мозаике высоких окон. Старый Мехти-хан, одетый в знак уважения к гостю в горскую черкеску, без русских орденов, лент и генеральских эполет, сидел на подушках посреди залы. Возле него была высокая жаровня – мангал с грудой золотых раскаленных угольев, от которых шел жар. Позади шамхала стоял его старший сын, Сулейман, высокий, статный человек лет сорока. Он был в светлой черкеске с золотыми газырями и таким же кинжалом.





– Ас-салам алейкум! – чуть приподнимаясь с подушек, сказал Мехтихан, завидя входившего Гази-Магомеда.

– Алейкум салам! – подходя к шамхалу, ответил тот. Гость и хозяин пожали друг другу руки.

– Садись, праведник, возле меня. Погрейся с дороги у мангала, отдохни, потом, после намаза, поговорим о деле, приведшем тебя ко мне.

В комнату вошли и остановились у дверей Зубаир и Абу-муслим. Они почтительно встали у порога, готовые по первому же знаку отца войти в залу. Но старый шамхал, не глядя на них, сказал:

– Вот мой старший сын, Сулейман, будущий дагестанский шамхал. Его глаза и уши тоже открыты для твоих слов, божий человек.

Сулейман молча поклонился, выжидательно глядя на Гази-Магомеда. Его несколько холодные, испытующие глаза не соответствовали словам отца. Гази-Магомед спокойно взглянул на него и протянул руку. Сулейман еле коснулся ее. Гази-Магомед дальше уже не замечал его.

– Я не устал. Путь был легкий, а люди, встречавшиеся по дороге, радовали меня, – садясь возле шамхала, сказал он.

По знаку Сулеймана слуги внесли большой медный таз, душистый кусок мыла, узкогорлый кувшин и домотканое полотенце. Шамхал и его гость вымыли руки. Стоявший у порога Зубаир кивнул головой, и слуги внесли подносы с пловом и хурушами из жареной утки, фазана и молодого барашка, залитых соусами из вишни, толченого ореха, кизила и кишмиша. В пузатых графинах была ключевая вода и холодный айран. Пивший запоем шамхал в знак уважения к своему гостю не только не подал к столу вина, но даже сутки до этого воздерживался от спиртного.

Ужинали они втроем: шамхал, его сын Сулейман и Гази-Магомед. Зубаир и Абу-муслим, как младшие дети шамхала, не могли сесть вместе с отцом и прислуживали, распоряжаясь слугами, наливая айран и воду в деревянные миски. Гость ел медленно и мало. Шамхал, которому никакая еда без вина не шла в горло, почти непрерывно говорил. Сулейман молча пробовал все хуруши и запивал жирный тяжелый плов ледяным айраном. Иногда он искоса недоброжелательно поглядывал на Гази-Магомеда, на своих почтительно прислуживавших братьев он ни разу даже не взглянул. От все замечавшего, наблюдательного гостя не ускользнуло это.

Когда слуги убрали плов и поставили перед ними сладости и крепкий лайджанский чай, шамхал знаком разрешил младшим сыновьям сесть рядом. Слуги оправили свечи и тихо вышли за порог.

– Я слышал, ты говоришь, божий человек, что пророк открыл тебе во сне и в видениях будущее Дегастана, поэтому я писал тебе письма и звал приехать ко мне. Научи меня, моих детей и мой народ шариату, – беря за руку Гази-Магомеда, сказал шамхал.



– Я не пророк, я меньше его тени, но слово божье коснулось моих ушей. Ты вали<sup>1</sup> Дагестана, большое, важное лицо на земле, все горские народы подчиняются тебе, а которые независимы, те считаются с тобой и слушают тебя, и ты хочешь, чтобы я научил тебя шариату...

– Хочу... – перебил шамхал. – Если же откажешь, то бойся божьего суда. На том свете, перед мечом Аллаха, я укажу на тебя как на виновника, если не направишь на истинный путь...

– Но он очень тяжел и опасен, особенно же для богатых, обласканных русскими людей, – сказал Гази-Магомед.

– Шариат – дело нужное, полезное. Оно должно укрепить ислам и помочь мне расширить власть и за пределами наших земель.

Гази-Магомед молча кивнул, но не сводивший с него глаз Сулейман заметил легкую усмешку на его лице.

– Я вижу, что ты, владетель и вали Дагестана, верно понимаешь суть и значение шариата и того дела, которое мы, бедные рабы Аллаха, хотим распространить на равнине и в горах. Хорошо! Я научу тебя шариату. Я помогу твоим подданным стать истинными мусульманами, а ты прикажи им слушаться меня, а тех, кто будет противиться, – накажи. За такое доброе дело Бог наградит тебя раем, пророк снимет грехи с твоей души...

– Напиши народу воззвания, выступай с речами во всех моих владениях. Грозь и карай моим именем ослушников, а я завтра же пошлю приказы в села, о божий человек. Только учи их добру и шариату. Внушай им, что власть и шариат необходимы людям... – путаясь в словах, охваченный восторгом и старческой болтливостью, бормотал шамхал.

– А некоторые люди говорили, что ты проповедуешь уничтожение власти богатых... Будто ты призываешь нищих и бездомных людей убивать своих ханов и мулл. Говорят, ты искал даже самого Сеида-эфенди? – вдруг сказал Сулейман.

Это были его первые слова, обращенные к Гази-Магомеду.

Мехти-хан удивленно поглядел на сына, но Сулейман, не обращая на отца внимания, продолжал:

– Говорят, ты даже писал об этом бумаги?

– Тебе неверно сказали мои слова, Сулейман-эфенди! Все, что я говорил и писал, все это написано в несомненной книге, и я только повторяю народу эти слова, ничего другого я не говорил. О том, что богатые должны помогать бедным, кормить голодных, не кичиться своим богатством и помнить Бога, сказано там. Во второй главе несомненной книги пророк говорит: «Те, которые раздадут свои богатства на пути божием и не сопровождают свои милости упреками и дурными поступками, будут иметь от Бога награду. Они уподобляются зерну, которое производит семь колосьев и из которых каждый дает сто зерен. Бог дает вдвое тому,

<sup>1</sup> Властитель.



кому хочет». Когда пророк видел измену среди своих приближенных, он без жалости казнил их. Когда он вошел в Мекку, разве он не приказал казнить семнадцать отступников корейшитов<sup>1</sup>, хотя они и укрылись под покровом Каабы?<sup>2</sup> Можем ли мы пожалеть изменника и богоотступника только потому, что он мулла? Нет! Его должно наказать еще сильнее, чем простого человека.

– Правильно! Когда в стаде портятся овцы, пастух в первую очередь наказывает собак! – неизвестно для чего сказал шамхал.

– А что нам делать с русскими? Воевать? Говорят, ты призывал к священной войне с ними? – прищуривая глаза, спросил Сулейман.

– Шариат не касается русских, как не касается истинных мусульман русская вера. Воевать с неверными призывал нас пророк... Но когда воевать – это дело владетелей и султанов...

Абу-муслим и Зубаир не вмешивались в разговор, но Гази-Магомед, знавший о распри в семье шамхала, подметил огонек ненависти, загоревшийся в их глазах, когда Сулейман холодно и оскорбительно сказал в ответ:

– Дело властителей и султанов заключается еще и в том, чтобы простой черный народ не мучили разные байгуши<sup>3</sup>, обещая им несбыточные блага.

– Когда пророк получил от Бога откровение на горе Акабе, только истинные анзары<sup>4</sup> и азгабы<sup>5</sup> поверили в него, подали руку помощи и пошли за ним. Среди них было много бедных, бездомных, нищих людей, но они до сих пор чтятся мусульманами, потому что они помогали Богу и пророку. Корейшиты, во главе которых стояли такие знатные люди, как Мосталик, плевали на пророка, поносили, оскорбляли его и даже воевали с ним. И что же вышло? Они презренны в памяти людей, лица их черны, а дела грязны. Ни богатство, ни знатность рода не спасли их от вечного проклятия и ада. И таков удел всякого из мусульман, отвернувшегося от пророка.

– Я знаю священную книгу не хуже тебя, – вставая, сказал Сулейман. Шамхал взглянул на него. Зубаир и Абу-муслим, опустив глаза, молча сидели возле, но их подчеркнутое безмолвие делало сцену еще острей и напряженней.

– Поступай, божий человек, так, как считаешь нужным. Скажи, что необходимо сделать? Не стесняйся, назови все, – сказал шамхал.

– Очень немного! В мечетях аула Казанищи и в остальных мечетях подвластных тебе владений провозгласить шариат, призвать к нему право-

<sup>1</sup> Арабское племя, не признававшее Магомета и воевавшее с ним.

<sup>2</sup> Мусульманский храм в Мекке, в стену которого вделан черный камень, якобы упавший с неба.

<sup>3</sup> Босяки.

<sup>4</sup> Помощники.

<sup>5</sup> Товарищи.



верных и позволить мне говорить проповеди народу, а также назначить в ауле Эрпели нового кадия, моего одноаульца Даудил-Магому. Этот человек – зеркало нравственности, чистый и честный мусульманин. Он поможет тебе укрепить власть.

– Отец, не делай этого! – вопреки горскому этикету крикнул Сулейман, не выдержав характера.

Шамхал побагровел. Откладывая в сторону кальян, он жестом прервал сына и, еле сдерживаясь, отдельно произнес:

– Сулейман, возьми свой калимдан и пиши от моего имени приказ всем аулам и всем старшинам моих земель, пусть они делают так, как скажет им шейх Гази-Магомед. Напиши также и о назначении в Эрпели нового кадия, гимринца Даудил-Магомы.

Сулейман, закусив губу, написал приказ и протянул бумагу отцу. Шамхал приложил к ней свой именной мухур.

– Пусть писцы размножат приказ и завтра же будуны утром, в обед и вечером прокричат его во всех аулах. Иди распорядись! – приказал он. Сулейман молча вышел в сени.

Гази-Магомед, безмолвно наблюдавший за этой сценой, заметил, как переглянулись Зубаир и Абу-муслим и как огонек торжества блеснул в их глазах.

Через час тяжелая восьмиместная петербургской работы карета выехала из Параула в Тарки, увозя с собою шамхала и Сулеймана. Зубаир и Абу-муслим по приказанию Мехти-хана в качестве хозяев остались с Гази-Магомедом. Уже подъезжая к Таркам, Сулейман не выдержал и горячо сказал:

– Отец, не надо было делать...

– Молчи, щенок, или я выброшу тебя на дорогу! – закричал шамхал. Он тяжело дышал. Голос его сорвался.

Сулейман приподнялся и тихо попросил:

– Прости, отец!

В молчании они прибыли в Тарки.

Проповеди Гази-Магомеда волновали людей. Что-то новое, высокое и очищающее чувствовали в них люди. Проповедник не обещал ничего, кроме Царства Божьего, но слушавшая его беднота в требованиях, которое ставил перед ними Гази-Магомед, видела не только очищение от грехов, но нечто вроде причащения перед большим и ответственным делом. Люди с упоением рассказывали друг другу о том, что новое учение запрещает курение табака, пьянство, ложь, взаимную вражду, клевотворства, разврат, ростовщичество. Некоторые передавали, что в шариат входит и равноправие богатых и бедных как в личных делах, так и в управлении обществ. Говорили и о том, что сельские налоги и общественные повинности будут изменены так, чтобы бедный платил зна-



чительно меньше богатого. Говорили и о замене прежних судей новыми, из народа, бесребрениками и последователями шариата.

Спустя два дня после возвращения в Грозную Ермолов выехал в Тифлис. Если б не посольство Меншикова, генерал еще надолго задержался бы на Северном Кавказе, но надо было быть поближе к Персии, к наиболее важным делам и интригам, чтобы своевременно обезвредить их.

Передавая Кавказскую линию во временное командование генералу Розену, Ермолов сказал:

– Прошу позаботиться, ваше превосходительство, о том, чтобы из крепости Внезапной теперь же, не медля сроку, были отозваны все лица гражданского сословия, не имеющие касательства к службе. Особливо же это касается женщин, кои проживают там. Оставить только жен господ офицеров, семейные роты перевести на линию Кизляр – Моздок, где и расселить их по надобности в станицах. В двухнедельный срок освободить крепость от разных портных, парикмахеров и торговцев. Кои на свой страх и риск пожелают торговать, могут жить рядом, в Андрей-ауле, остальных же – в Грозную или за линию. Полковника князя Голицына с его хaremом и всею труппой немедленно же откомандировать за ненадобностью обратно в Петербург. Прошу, ваше превосходительство, считать наш разговор приказом, никаких послаблений не делать и об исполнении донести мне в Тифлис, – уже садясь в карету, еще раз напомнил Розену Ермолов.

*На свете возшло одно дерево истины,*

*И эта истина – имам Гази-Магомед...*

*Кто не поверит ему, да будет*

*Проклят от Бога...*

*Ля илльяхи иль алла!*

Так, встречая Гази-Магомеда, пел народ. Толпы высыпали ему на встречу. Женщины бросали на дорогу свои платки. Пешие и конные мужчины, распевая стихи из Корана, провожали его из аула в аул. Без оружия, в простом рваном бешмете, пешком, в сопровождении трех учеников он в течение месяца обошел почти все шамхальство и, проповедуя шариат, перешел в Черкей. Его строгая, отрешенная от мирских дел вдохновенная проповедь доходила до сердца и ума возбужденных горцев, а суровое, с насупленными бровями лицо было так величественно и грозно, что только немногие решались вести с ним споры о шариате.

Майор Муса Хасаев, прибывший в Эрпели, чтобы послушать речи показавшегося ему подозрительным Гази-Магомеда, был очень удивлен, услышав, как новоявленный имам призывал народ к нравственной жизни и очищению от грехов. Особенно же удивило майора то, что после проповеди почти все жители аула Эрпели уничтожили у себя спиртные напитки и поклялись следовать заветам шариата.



«Сие обстоятельство весьма выгодно нам, и его следует всеми средствами укреплять. Оно же, гимринского лжеимамма Гази-Магомеда, облащать, препятствий ему в религиозных делах не чинить. Дело сие, как выгодное для политики российской державы, следует расширять елико возможно даже и среди непокорных горских племен», — написал на рапорте Хасаева генерал Розен.

Вскоре о Гази-Магомеде заговорили и в Салатавии, и в Табасарани, и на плоскости, и даже в Чечне.

А в горах уже сложилась боевая песня:

«Честь и слава Гази-Магомеду, труженику ислама, защитнику бедных, грозе ханов. Он, как братьев, соединил все народы Дагестана и Чечни. Он посланник Аллаха, пришедший к нам, чтоб творить правду и суд кинжалом. В нем соединились и сила, и мудрость, и величие. Да погибнут ханы от его кары, как воробы от клюва ястреба. Все мы братья, равные друг перед другом, одинаковыми нас сделал Аллах, а потому воспоем ему славу, и да погибнут от нашей шапки враги».

Пела молодежь... пели мюриды, собиравшиеся вокруг Гази-Магомеда.

## Глава 16

Когда генералу Розену донесли о том, что в горах беспокойно и что в Гимры стекаются сотни людей, генерал вспомнил рапорт майора Хасаева и приказал не мешать Гази-Магомеду распространять учение шариата.

Спустя неделю генерал-майор Розен получил от молодого правителя Аварии, султана Абу-Нуцал-хана, секретное донесение, присланное с нарочным в крепость Грозную. Гонец аварского правителя, загнав двух коней, поздно ночью прибыл в форштадт крепости.

Крепость и слобода спали. Только на невысоких валах на фоне потухавших костров медленно прохаживались часовые.

Вечером над Грозною прошел мелкий дождь. Сырая, намокшая земля поблескивала лужицами, по которым шлепали ноги аварского посланца и солдат, ведших его. Когда усталого и прозябшего горца ввели в генеральскую переднюю, из кабинета вышел генерал в наброшенном на рубашку военном сюртуке. На его опухшем, заспанном лице еще бродило сонное выражение. Густые рыжие баки подрагивали от сильного, еле сдерживаемого желания зевнуть. Аварец низко пригнул голову и, вынимая из-за пазухи письмо Абу-Нуцал-хана, подал его, успевая со скрытым недоброжелательством разглядеть полное, розовое лицо генерала.

Розен покровительственно кивнул ему головой и, взламывая на конверте печать, устало и равнодушно сказал:

— А-а, от нашего полковника его сиятельства Абу-Нуцал-хана.



Посланец, хорошо понимавший по-русски, вежливо улыбнулся, закивал головой и, глядя на позевывающего генерала, подумал: «Большонол!»<sup>1</sup>. Продолжая улыбаться, от подтвердил:

– Да! Да! Абу-Нусал-хан... Хунзахи... Очин кирецки, очин сердиты письмо... – подразумевая под словом «сердиты» важность послания.

Генерал, которому в эту минуту хотелось только одного – поскорее вернуться в оставленную теплую кровать, поблагодарил аварца и, отдавая приказание накормить его, пошел обратно в комнаты. Письмо, которое с такой поспешностью вез аварский гонец и которому особое внимание придавали ханша Паху-Бике и молодой аварский правитель, только на другой день к вечеру было передано военному переводчику и лишь через двое суток в обработанном и законченном виде вернулось к генералу.

Вот что писал Абу-Нуцал-хан русскому командованию:

«Пишу вам, высокие и сильные генералы русского ак-падишаха, в крепость Грозную о том, что новые и черные вести с темными и грязными делами окружают нас. Как вам, наверное, уже известно, в Гимрах завелась дикая змея, которая шипит на вашу благоденственную власть, и шипение ее разносится далеко. Это мулла Гази-Магомед, бешеная собака, байгуш, без фамилии и роду, осмеливающийся поносить имя нашего ак-падишаха, его генералов и идущий против ханов, нуцалов и беков Дагестана. Прикрываясь именем пророка и проповедуя шариат, этот безумный и опасный бродяга, желая обмануть наш ум, шлет нам да ват<sup>2</sup>, приглашая присоединиться к нему и его оборванной кучке абреков, которых он именует шихами и которые объявили газават. Как достоверно известно, эта бродячая собака называет себя имамом Дагестана, проповедует кровь и резню не только против вас, русских, но и против всех, кто помогает вам, торгует с вами и признает вашу власть. Торопитесь, змею легко раздавить, пока у нее молочные зубы. Если Бог поможет и по легковёрности приедет этот безумец ко мне, в Хунзах, то закую его в кандалы и под конвоем отправлю в Грозную. Вместе с нашим письмом мы присылаем и грязное воззвание этого бродяги, и наш ему ответ.

Да будет над вами сила Аллаха и милость ак-падишаха.

Правитель и султан всей Аварии Абу-Нуцал-хан.  
Аул Хунзах».

Действительно, в конверте лежали письма, написанные по-арабски и переведенные на русский язык. Одно было воззванием Гази-Магомеда к народу:

«Оседлайте ваших коней, беритесь за оружие, вы обязаны воевать против всех тех, кто, не внимая наставлениям Алкорана, занимается стяжанием мирского имущества, грабит слабых и неимущих, уничтожает свободу других и умножает темноту в народе. Воюйте беспощадно против

<sup>1</sup> Свинья.

<sup>2</sup> Письмо.



них, хотя бы они были господа духовные или богатые. Воюйте, и пусть падет гнев божий на них».

Второе письмо было собственноручно написано Гази-Магомедом хану Абу-Нуцалу: «Поскольку ты в Дагестане главный хан и утешитель, то надлежит тебе соединиться с нами и действовать совместно с мусульманами, ибо Коран одинаков для всех: как для высоких ханов, так и для бездомных людей. Правое дело ожидает твоего ответа».

Рядом с этим письмом лежал перевод с копии ответного письма Абу-Нуцал-хана, отосланного Гази-Магомеду. В нем молодой правитель Аварии писал под диктовку своей хитрой, искусственной в интригах матери Паху-Бике, следующее:

«Уважаемому и высокому светочу веры имаму Гази-Магомеду от правоверного правителя всей Аварии хана Абу-Нуцала.

Хотя я нахожусь при своей вере и повинуюсь воле божьей, но на предложение ваше не могу согласиться, не желая лишиться высокого покровительства великого ак-падишаха и его подданства. Но как чистые сердцем и мыслями мусульмане просим тебя, праведник дагестанский, посети нас в нашем дворце в Хунзахе и просвети в правоверной беседе о шихах и тарикате.

Абу-Нуцал аварский».

Генерал Розен недоуменно поднял брови и, почесывая голову, снова прочел переводы бумаг Нуцала. Несколько секунд он размышлял, затем, делая легкую гримасу, обмакнул гусиное перо в чернильницу и жирной, негнущейся строкой поставил поперек перевода резолюцию: «Дело для Дагестана и азиатцев обычное. Очередной проповедник, каких было немало. Поскольку это внутренние, свои распри и о газавате против русских ничего нет, приобщить к донесению майора Хасаева».

Спустя недели две от коменданта крепости Бурной майора Ивченко поступил рапорт, в котором майор озабоченно писал, что его лазутчики, вернувшиеся из дальних аулов, в один голос говорят о том, что имам Гази-Магомед готовит восстание против своих законных владетелей, призывая народ готовиться к долгой, упорной войне.

«Секта эта, возглавляемая имамом Кази-муллой, весьма охотно принимается есть в аулах Шамхальского, Мехтулинского и Кайсубулинского обществ. Секта эта, именуемая сектой шихов и мюридов, отвергает употребление горячительных напитков и изменяет старые обычаи адата, пытаясь образовать что-то новое. Тайну сию пока невозможно открыть, но следует полагать за настоящую их цель стремление пробудить в народе единодушие, рвение к защите свободы и уничтожение законной власти ханов и местных дворян...»

Генерал Розен недовольно покачал головой. Этот Кази-мулла начинал надоедать ему. Всего день назад от генерала Ермолова пришло личное ему, Розену, письмо, больше похожее на предписание:





«Удивляюсь вам, ваше превосходительство, как вы, с вашим опытом и знанием горских народов, могли довериться глупым донесениям Хасая и Аслан-хана. Что не видимо им, то должно быть видимо нам, иначе какова будет разница между генералами российской императорской армии и мелкими азиатскими приставами, тем паче что оные приставами сами принадлежат к этим народам. Примите неукоснительные меры к искоренению злодея и его секты. Ищите его войсками всюду, гоните из его гнезд, а особливо действуйте не через глупого и пьяного шамхала, а через его сына Сулеймана и аварскую ханшу Паху-Бике...

О здешних делах писать много не могу. Пакость и безобразие. Войск мало, персияны ведут себя нагло, но войну пока не начнут. Боятся. Посольство все еще тут, и когда оно попадет к мошеннику Аббасу-Мирзе, неведомо ни мне, ни самому Меншикову».

К вечеру из крепости Грозной в далекий Хунзах отправился гонец. В письме генерал Розен предлагал заманить в Хунзах Кази-муллу и, заковав в цепи, выслать под конвоем в Грозную. «...Ежели же сие окажется невозможным, умертвите его любым способом и сообщите о смерти мне».

Спустя недели две после отъезда Ермолова Небольсина вызвали в штаб полка. Полковник Чагин, хорошо помнивший недавнюю встречу поручика с генералом, радушно встретил его.

После нескольких незначительных слов он, как бы что-то припоминая, сказал:

– Могу порадовать вас, поручик! Его высокопревосходительство генерал Ермолов отзывает вас к себе. Сегодня пришла конная эстафета из Грозной. Вам надлежит, собравшись с делами, не мешкая отправиться за генералом в Тифлис.

Он удивленно посмотрел на переменившегося в лице Небольсина.

– Да вы, голубчик, вроде недовольны сим лестным перемещением?!

Поручик поднялся.

– Очень польщен, господин полковник, только попрошу пять дней для сборов в путь-дорогу.

– А ранее и не удастся. Ведь okazия только готовится и назначена через две недели. Хотели послезавтра ее отправлять, да полковник князь Голицын упросил. Ему с его театром и дворней не собраться в столь короткое время. Вот с ним и поедете, веселей в пути будет.

– А куда же уезжает князь? – спросил Небольсин.

– Да в ту же Екатериноградскую, приказ Алексей Петровича, а отель в Москву. Ну, собирайтесь, поручик, к новому месту службы. Рад был служить с вами, отменно хорошим офицером, с неохотой расстаюсь, – пожимая руку поручика, тепло сказал полковник.

На следующий день, когда Небольсин зашел в канцелярию штаба, ему навстречу вышел подполковник Юрасовский.



– Вам, господин поручик, согласно приказу главнокомандующего разрешается, окромя драбанта, взять с собой и нижнего чина в помощь и для оказания различных услуг в пути. Если не ошибаюсь, вы, поручик, коротко знакомы с их высокопревосходительством? – сделал приятное лицо Юрасовский.

– Нет, я только впервой имел честь разговаривать с Алексей Петровичем, – ответил Небольсин, которому претило это внезапное приторно-любезное внимание подполковника.

– Разве? – недоверчиво спросил Юрасовский. – А его превосходительство генерал фон Краббе передавал за точное о вашей крайней близости к Ермолову.

– Это мой отец и матушка были в дни своей молодости коротко знакомы с ним, – нехотя сказал Небольсин.

– Ну так это ж так и есть! Великая вам выпала фортуна и честь, поручик, быть отозвану с сей паскудной азиатской стороны в свиту его высокопревосходительства... – вздыхая, говорил Юрасовский. – Не почтите докучливой просьбой, но не забывайте нас, старых своих односумов и сослуживцев, когда начнете служить при главнокомандующем... а мы вас, дорогой... не забудем, – делая до приторности сладкое лицо, закончил подполковник.

Небольсину была неприятна эта откровенная лесть. Пересиливая отвращение, он вежливо спросил:

– Не будете ли иметь чего против сопровождения меня в Тифлис и для прохождения там службы младшего унтер-офицера Елохина?

– Это какой же роты, вашей?

– Второй, капитана Ключкова, – ответил Небольсин.

– Все, конечно, можно. Для вас, обласканного милостью Алексея Петровича, все возможно. Я сегодня же прикажу капитану откомандировать в ваше полное распоряжение одного унтер-офицера, – обещал Юрасовский.

Небольсин не спеша направился домой.

– А я полдня ищу тебя! – услышал он позади знакомый голос Петушкова.

– А-а, здравствуй, друг любезный! Какие новости? Пойдем ко мне, у меня холодной свежей бузы кувшин в сарае стоит.

– Что ты, что ты! Нету ни минутки свободной, – беря под руку поручика и делая озабоченное лицо, сказал Петушков. – Приказано представление заготавливать за поход на чеченов.

– Да, чай, не тебе его писать? – засмеялся поручик. – Отрядный командир и командиры частей давно, наверное, заготовили его.

– Сие так. Но ведь не минет же реляция и представление о наградах нас. Мы с полковником обязаны подписать общее представление. Да, мон шер, там, говорят, и тебя к чему-то представили! – небрежно закончил он.



– Да? – удивился Небольсин. – К чему же?

– Анна и Станислав у тебя имеются... Не иначе как Владимир с бантом! – сказал Петушков и, не скрывая зависти, вздохнул. – Ты, говорят, уезжаешь отселе?

– Да, в Тифлис. Генерал Ермолов отозвал.

– Не завидую тебе, Небольсин, прямо даже скажу, страшуся за твою будущую службу.

– Это почему? – остановился поручик.

– А потому, что, как я говорил тебе ранее, этого старого якобинца настигает гнев государев и немилость.

– Откуда ты взял это?

– Знаем. Наслыханы кое в чем, – многозначительно протянул подпоручик. – Уж если такие вельможи, как князь Голицын, высказывают свое неудовольствие по адресу твоего покровителя, то недолго ждать. В Петербурге страсть как возмущился персидскими делами Ермолова Нессельроде, рассказывают, головы его требовал у государя. Он-де и сомутитель, и главная причина всему персидскому неблагоприятному расположению к нам.

– Полно, Петушков, молоть вздор. «Голову требовал»... Признайся, сам вот здесь, сейчас сочинил и на Нессельроде сваливаешь!

– Вот уж и нет! За истину тебе говорю, сам от Голицына слышал, – соврал подпоручик.

– Не пойму, с чего у тебя такая приязнь к этому крепостнику и негодю объявилась!

Петушков смутился, но, оправившись, поспешно возразил:

– Его сиятельство князь Голицын не негодай, а из старейшего рода российских бояр происходит, а что касается крепостника, то напоминаю тебе, друг, что сие твое вольнодумство происходит от французских книг и заvirальных якобинских идей, кои довели изменников-декабристов до плахи. Крепостное право не отменено у нас, оно существует, им стоит российское государство, и Николай Павлович, наш государь и император, утвердил его за дворянством, – поднимая вверх палец, веско и напыщенно сказал подпоручик.

Небольсин внимательно смотрел на него. В лице и глазах Петушкова было что-то новое.

– А затем, мон шер, я думаю, что сего крепостника и негодея, как изволишь ты величать полковника, ты невзлюбил только оттого, что он, а не ты владеешь Нюшенькой!

Петушков выжидающе глянул на спокойное лицо Небольсина.

«Он что-то знает!» – мелькнуло в голове Небольсина.

Не меняя равнодушного выражения лица, он небрежно махнул рукой.

– Ну, тут ты, друг Петушков, больше меня должен ненавидеть князя. Ведь ты же любишь Нюшеньку!

Петушков отвернулся в сторону и стал усиленно всматриваться вдаль.



– Что ты там заметил? – разгадывая маневр подпоручика, спросил Небольсин.

– Да вот кумыки, что ли, с Андрей-аула едут, – сказал Петушков, но Небольсин видел, что никаких «кумыков» у крепостных ворот нет, и уловил злой огонек в глазах Петушкова.

– Мне сказал полковник, что Голицын, а значит и Ньюенька, с ближайшей оказией отъезжают с линии. Вероятно, в Москву? – нарочито спокойно спросил он.

– В Ставрополь через Екатериноградскую, а дальше – кто знает, – ответил Петушков, поворачиваясь к собеседнику.

«Да... он, по-видимому, уже что-то пронюхал...» – решил Небольсин.

– Ну, что ж делать? Им в Ставрополь, мне в Тифлис, а тебе, Петушков, что?

– А мне гнить в этой проклятой дыре, – со злостью сказал подпоручик.

– Зачем же гнить? – пожал плечами Небольсин. – Возьми на себя труд проводить через линию Голицына. Вот тебе будет случай еще несколько дней повидать Ньюеньку... – Он коротко засмеялся и уже другим тоном спросил Петушкова: – Так ты и вправду не хочешь угоститься холодной бузой?

– Не могу, не могу, дел по горло!

– В таком случае до свидания! – И, махнув подпоручику рукой, Небольсин пошел к дому.

Подпоручик Петушков уже второй раз подходил к помещению, отведенному князю Голицыну, его театру и дворне, и оба раза, так и не решившись войти, возвращался обратно в канцелярию.

Напомаженный, взбитый надо лбом кок, рыжеватые, торчком, усики, бледное лицо и возбужденные, лихорадочно блестящие глаза выдавали волнение подпоручика. Он приглаживал пальцами волосы на висках, тормозил хохолок и без причины придирался к писарям, усиленно скрипевшим перьями, но успевавшим иронически перемигиваться и перешептываться по адресу Петушкова.

– Где копия отношения начальника левого фланга их превосходительства генерала Розена, которое я дал тебе переписать, анафемская твоя душа? – набросился подпоручик на белокурого, лет тридцати пяти писаря, сидевшего у стола и перочинным ножом чинившего гусиное перо.

– У вас, ваше благородие! Я вам отдал утречком и копию, и самое отношение, – поднимаясь с места, нарочито деревянным голосом доложил писарь.

– Врешь, каналья! Никакой копии не давал! Затерял где-нибудь, мерзавец! Отыщи сейчас же, а то сквозь строй – и в роту! – затопал на него подпоручик.



– Что это вы раскричались, Ардальон Иваныч? – открывая дверь и выглядывая в канцелярию, спросил Юрасовский.

– Да вот, негодяи, важную бумагу генерала Розена затеряли. Отношение отменно важного значения.

– Не эта ли? – коротко спросил Юрасовский, беря со стола какую-то бумагу.

– Именно она-с! – разводя руками, удивился Петушков. – Каким колдовством она попала к вам?

– Простым. Вы сами час назад ее принесли.

Петушков отступил назад и растерянно посмотрел по сторонам, но писаря не поднимали голов, усиленно скрипя перьями, а обруганный им белокурый писарь все в той же стойке «во фронт» молча стоял перед подпоручиком.

– Наверное, чихирьку перехватили у маркитантки, – сочувственно заметил Юрасовский. – А крику без нужды не поднимайте. Хорошо, полковника нет, а то он прописал бы вам пфеферу, – закрывая дверь, закончил Юрасовский.

Петушков скосил глаза на солдат, но они все, словно не слыша слов подполковника, продолжали трудиться над бумагами.

– Са-д-дись, дурак! Чего стоишь, как чучело? – зыркнув глазами на писаря, сказал подпоручик и вышел вон.

– Вздрыгнул наш Петушков, и прежде глупый был, а в се дни и вовсе дураком стал! – сокрушенно сказал белокурый и поглядел вслед мчавшемуся по пыльной улице Петушкову.

Дело же заключалось в том, что вчера вечером подпоручик, завидя выходящего от генерала Голицына, торопливо нагнал его и, чуть отставая от грузного князя, почтительно, вполголоса проговорил:

– Ваше сиятельство! Имею до вас некоторое щекотливое и тайное дело...

– Как-с? Щекотливое и тайное? – равнодушно, не повышая голоса, повторил Голицын, вполоборота взглядываясь в Петушкова.

– Совершенно верно! Относительно неуважительного к вашей особе поведения офицера нашего гарнизона...

– Извините, – страшно вежливо и крайне сухо перебил его Голицын, – вы, подпоручик, напрасно изволите беспокоиться. Меня не интересуют мнения местных господ офицеров...

– Совершенно верно-с, ваше сиятельство, однако дело касается вашей чести... ваше сиятельство, – забормотал сбитый с толку, сконфуженный Петушков.

– Чести? – уже другим тоном спросил Голицын. – Чести? – повторил он.

– Так точно! – залепетал перепуганный Петушков, уже жалея, что заговорил.

– Говорите! – приказал Голицын.



– Дело сие совершенно секретное и, извините, ваше сиятельство, касается не столько вас, сколько вашей девушки Ньюшеньки, – забормотал, почти помертвев от страха, Петушков.

– А... вот в чем дело! А вы говорите о моей чести. Надо понимать, что вы говорите, сударь! – холодно сказал Голицын. – Ну, и так что же Ньюшенька?

– Имела тайное свидание, когда вы изволили в походе быть, ваше сиятельство... С поручиком Небольсиным, седьмого егерского...

– Небольсиным? Так, что же еще имеете сказать, сударь?

При слове «сударь» Петушков вспомнил поручика Прокофия, его звучные оплеухи, отпущенные княжескому камердинеру Прохору. Петушков испугался. Холодность и вежливое презрение были в голосе и фигуре князя.

– Неудобно-с здесь, ваше сиятельство... Разрешите зайти к вам, тут подслушать могут.

– Завтра в двенадцать пополудни жду у себя, – поворачиваясь к нему спиной, даже не прощаясь, сказал Голицын.

Петушков остался один. Досада и страх охватили его.

– Дурак, свинья, осел... – ругал он себя, продолжая глядеть вслед князю.

Всю ночь он проворочался на койке, тяжело вздыхая и чертыхаясь, а утром бледный, злой и перетрусивший, со страхом стал ждать «двенадцати часов пополудни».

Голицын спокойным, мерным шагом дошел до дома, равнодушно отвечая чуть заметным наклоном головы на воинские приветствия нижних чинов, за четыре шага от него сдергивавших шапки и замиравших в стойке «смирно».

Придя домой, князь тщательно вымылся в резиновой английской, входившей в Петербурге в моду ванне, крепостной парикмахер привел в порядок его лысеющую голову, ловко побрил и надушил барина.

– Позвать Прохора! – облачась в длинный удобный шлафрок и полулежа на тахте, приказал Голицын. Парикмахер поклонился, собрал свои инструменты и бесшумно исчез из спальни. Голицын взял небольшое овальное серебряное, с золотым амуром зеркало и стал внимательно изучать свое полное, начинавшее опухать лицо.

Легкое покашливание раздалось у двери.

– Входи! – коротко приказал Голицын, продолжая внимательно разглядывать в зеркале свой крупный, с маленькой горбинкой нос.

– Изволили звать, ваше сиятельство? – кланяясь чуть ли не до полу, произнес Прохор, уже почувствовавший беду.

– Кто у нас был без меня? – откладывая зеркало, спросил князь.

Сердце камердинера екнуло.



«Кто-то из девок довел... Не иначе как Ньюшка!» — мелькнуло в его мозгу, и он решил, сказав полуправду, осторожно, уже далее по ходу беседы сообразить, что ему следует говорить.

— Окромья подпоручика, коего приказала мамзель Ньюшенька призвать для разговору об вас, никого, — поднимая на Голицына полные преданности глаза, произнес камердинер.

— Какого подпоручика? — подпиливая ноготь на мизинце левой руки, апатично спросил Голицын.

— Подпоручика Петушкова, адъютанта. Ньюшенька беспокоилась об вас, ваше сиятельство, князенька наш бесценный, ночей не спала, все думала да кручинилась, а как в крепость дошла молва, будто чечены многих солдат, а особливо господ офицеров побили, мамзель Ньюшенька и вовсе спужалась, аж сомлела даже, — соврал Прохор, — и, посоветовавшись с нами, со мной и всеми девками-ахтерками, позвала подпоручика, чтобы он сказал нам об вашем сиятельстве, как все мы аж до слез боялись об вас. Ньюшенька даже два вечера молилась, свечи перед иконой жгла об вашем здравии.

— Постой, что ты мелешь? — сбитый с толку, перебил его Голицын. — Ньюша молилась о моем здравии?

— Так точно, ваше сиятельство, слезы лила, почти не спала. Прикажите в конюхи идти, коли вру, лишите вашей барской милости раба вашего, ежели что неверно сказал.

Голицын положил пилку, по его сытому, холеному лицу прошла тень удовлетворения и успокоенности. Прохор, хотя и не понял, почему так обрадовался Голицын, смекнул, что чем больше он скажет о беспокойстве за него Ньюшеньки, тем вернее отведет от себя беду за посещение девушек.

— Коли не верите, батюшка-барин, ваше сиятельство, спросите всех: и Матвея, и Палагею, и Дуняшку, и всех ахтерок. Мы хоть тоже боялись за вас да печаловались, а все ж дивовались на Ньюшу, как она это об вас убивалась. И то сказать, ваше сиятельство, разве ж она не понимает, какого счастья ей Господь Бог послал... И красавец вы, и князь первейший, и доброта ваша ангельская... Разве ж можно не любить... — холуйски закатывая глазки, медовым голосом бормотал камердинер.

— А когда был здесь Небольсин? — коротко и тихо спросил Голицын, снова берясь за пилку.

Камердинер глупо уставился на него и удивленно переспросил:

— Поручик Небольсин?

— Да, он!

— Не были-с, ни разу, ваше сиятельство, да и быть не могли. Ведь поручик, князь-батюшка, тоже ходил на чечена с отрядом.

Голос Прохора был так убедителен, искренен, что Голицын почувствовал, что камердинер говорит правду.



«В самом деле, ведь я сам видел его в подозрную трубу под аулом», – вспомнил он, и ему стала неприятна вся эта сцена и допрос Прохора.

– А Ньюша выходила куда-нибудь одна, гуляла в крепости? – просто, уже без всякой надобности спросил он.

– И-и, батюшка-князь, где там гуляла? Плакала все по вас, убивалась, слезами исходила. Да вы, коли мне, рабу вашему преданному, не доверяете, людей спросите, все в один голос то же скажут. Без вас Ньюшка, – он поправился, – Ньюшенька не токмо что гулять, а пить-есть перестала. Любит она вас очинно, ваше сиятельство!

Голицын встал, прошелся по комнате и, стоя спиной к Прохору, сказал:

– Иди, да забудь, о чем здесь разговаривал. На, возьми, – и он через плечо протянул обрадованному камердинеру ассигнацию.

Прохор облобызал барскую руку и спиной стал отходить к двери.

– А проговоришься – заперю и в солдаты сдам, – апатичным, ровным голосом сказал Голицын. – Постой! – удержал он Прохора. – А долго тут болтался этот?.. – он покрутил в воздухе пальцем, припоминая фамилию Петушкова.

– Их благородие подпоручик Петушков? – догадался Прохор.

– Да.

– Никак нет-с! Всего ничего. Как только Ньюшенька и мы прослышали от него, что вы в добром здравии, что Господь сохранил вас в невредимости, Ньюша аж засветилась вся от радости, смеяться стала, и мы все возрадовались этому.

– А подпоручик?

– А ево Ньюша тут же со двора увольняла. Спасибо, говорит, вам за добрую весть о нашем князьке, а теперь ступайте, нам спать пора, а сама веселая такая стала... а ему уходить-то и не хотелось, ведь он, ваше сиятельство, хочь и офицер, но извините меня, не из благородных будет! Его Ньюша отсель чуть не взашей гонит, уходите, говорит, мерси за новости и с тем до свидания, а он озлился, весь серый стал, глазами и на нас, и на ее стал зыркать... Он, ваше сиятельство, так думал, что его за чем-нибудь таким, вроде сказать, амурным делом зовут, а тут совсем другое... Ну, он и осерчал.

– А-а! Вот оно в чем дело! – протянул Голицын и коротко засмеялся. – Завтра этот подпоручик в полдень будет здесь. Так ты, Прохор, сделай следующее... – И Голицын стал что-то говорить камердинеру, усиленно повторявшему: «Слушаюсь, будет исполнено».

Подпоручик с бьющимся от волнения сердцем вошел в дом. У низкой двери его встретили кучер Матвей, лакей Дормидонт и казачок Савва, парень лет шестнадцати, на обязанности которого было носить кофей актеркам и помогать повару Сергею на кухне.

Все трое молча сняли шапки.





– Дома их сиятельство? – напуская на себя храбрость, важно спросил Петушков.

– Дома, – сильным тенорком ответил Савва и посторонился, пропуская офицера. За его спиной все трое переглянулись и молча последовали за ним. Такое странное сопровождение удивило Петушкова.

– Я знаю, братцы, дорогу. Я уже бывал здесь, – оглядываясь на провожатых, скороговоркой пояснил он.

– Приказано проводить! – за всех ответил Дормидонт и открыл дверь в горницу, в которой всего неделю назад Петушков так развязно угощал девушек князя.

В горнице стоял, по-видимому, ожидая его, камердинер Прохор, искосяглянувший на Петушкова. Камердинер поклонился.

«Чуть голову нагнул, хам!» – определил Петушков и развязно спросил:

– Здравствуй, любезный! Как тебя, кажется, Прохор?

Камердинер не спеша и с достоинством сказал:

– Прохором крестили, а которые и Прохор Карпович величают, сударь!

«Скотина!» – подумал подпоручик и, весело улыбаясь, продолжал:

– А-а, значит, Карпыч, будем знать, любезный... а дома?

– Их сиятельство князь Илларион Иванович изволят быть у себя! Побождите малость, я доложу их сиятельству, – и он не спеша, степенно вышел во внутренние комнаты дома.

«Какой важный, сволочь! Сударем назвал! Мало, видно, оплеух получил от этого бурбона», – вспоминая поручика Гостева, думал Петушков, усаживаясь на мягкий табурет.

Дормидонт, Савва и кучер повернулись и молча вышли, закрывая за собой дверь. Прошло минуты три. Князя не было, не видно было и Прохора. Петушкову стало неловко, его начинало забирать беспокойство.

«Какие-то гайдуки, чистые башибузуки! Черт их знает, чего они там толкуются за дверью...»

Подпоручик, опасливо покосившись на дверь, сделал от страха независимое лицо и с шумом закинул ногу на ногу. Прошло еще минут пять.

«Не уйти ли? А еще аристократ, князь, держит себя как какой-то моветон... Не интересуешься, так не зови, а если позвал, будь аккуратен, скотина! Верно, у них там в Петербурге, в свете все такие ничтожные подлецы, – злясь и на себя, и на князя, мучился Петушков. – Если бы не эти три хама за дверью, давно уже сбежал бы. Надо ж было язык развязывать, дурак, фанфарон, осел карабахский, – ругал он себя, – получил теперь афронт от этого петербургского фазана...»

В эту минуту в горницу, одетый в легкий шелковый с кистями халат, в бархатной шапке-венгерке с голубыми кистями, в розовых сафьяновых чувяках, бесшумно вошел Голицын. За его спиной с угодливо-заискивающим лицом стоял Прохор.



Петушков вскочил и, делая легкий поклон, согнул перед Голицыным плечи.

Князь, не глядя на него, прошелся по комнате и, словно не видя подпоручика и его поклона, вполголоса сказал камердинеру:

– Опустить плотней шторы. Да вели принести похолоднее морсу!

Прохор затянул темные плотные занавеси.

Голицын сел в глубокое походное кресло, вывезенное им из Петербурга и сделанное там по специальному заказу.

Петушков был растерян и все стоял в неловкой, почтительно-угодливой позе.

– Итак... вы что-то хотели доложить мне, подпоручик? – рассаживаясь поудобнее, не давая руки гостю, спросил Голицын.

– Я... князь... ваше сиятельство... – запутавшись и волнуясь, пробормотал Петушков, – хотел, совершенно-с верно, доложить вам про... – Он замолчал, тупо глядя на князя.

– Так о чем же? – разглядывая свои холеные ногти, спросил Голицын. – Помнится, вы изволили назвать поручика Небольсина и мою крепостную актерку... Так, кажется, сударь?

– Совершенно верно-с, только изволите ли видеть... возможно, что я и ошибся, ваше сиятельство... время было ночное, опять же темнота, легко обознаться.

– Так, собственно, зачем же вы все-таки говорили мне об этом, ежели были и ночь, и темнота, и прочее?

– Что офицер был именно Небольсин, это верно, ваше сиятельство, а насчет женщины... возможно, ошибся... – окончательно струхнув, пробормотал Петушков.

– В крепости есть много женщин: и солдатки, и маркитантки, и офицерские жены... Поручик Небольсин мог встретиться с любой из них. Не так ли?

– Так точно... Совершенно-с справедливо, ваше сиятельство, – думая лишь о том, как бы только выбраться отсюда, поспешил согласиться подпоручик.

– Вот видите, а вы сразу же о моих девушках выразить порочащий репризантизм изволили. Не-хо-ро-шо! – медленно и веско сказал Голицын, вставая. Он снова прошелся по горнице и негромко крикнул:

– Прохор!

Дверь приоткрылась, и в ней показался камердинер, а за ним головы трех встречавших Петушкова людей.

– Водки! – коротко приказал князь, снова усаживаясь в кресло.

«Пронесло!.. Слава тебе, Господи! Водкой с ним водки – и домой», – облегченно вздыхая, подумал Петушков.

Прохор тихо шагнул в комнату, держа в руках поднос и на нем большой пузатый графин с золоченой стеклянной пробкой.



– Налей! – вытягивая ноги и поудобней располагаясь, приказал Голицын. Камердинер поставил на стол поднос и тщательно, до краев наполнил простой граненый стакан водкой.

– Угости! – небрежно кивая головой на подпоручика, процедил князь.

– Извольте выкупать, ваше благородие! – поднося к лицу онемевшего от такого оскорбления Петушкова, преувеличенно вежливо сказал Прохор.

– Извините, ваше сиятельство, – дрогнувшим голосом сказал Петушков, – не пью-с... один никогда... ежели в компании... – пролепетал он, делая ударение на последнем слове.

– Ах да... – поднося руку ко лбу и слегка поглаживая его, как бы вспомнил Голицын. – Действительно, в компании куда приятней!..

Он лениво повернул голову к дверям и негромко крикнул:

– Эй, кто там.... войдите!

В горницу разом вошли все это время, по-видимому, поджидавшие этого приказания Савва, кучер Матвей и Дормидонт. Они шагнули вперед и разом остановились возле опалевшего Петушкова.

– Наливай и им! – приказал Голицын.

Камердинер, почти не скрывая подлой, издевательской ухмылки на лице, наполнил еще три таких же стакана и поочередно поднес каждому из людей.

– За здоровье их княжеского сиятельства! – торжественно и елейно сказал Прохор.

– Я... я не буду пить, – отступая на шаг, пробормотал побледневший от оскорбления Петушков.

– Почему? – так же лениво спросил, поднимая на него глаза, Голицын. – Вы просили компании... вот она... – указав пальцем на молча стоявших со стаканами в руках дворовых, сказал он.

– Это... это оскорбление, ваше сиятельство... Я офицер, дворянин. Честь не позволяет мне оставаться тут...

– Стойте! – негромко, но очень резко остановил его Голицын. – Вы не офицер и ни о какой чести не смеете заикаться, сударь! Вы доносчик со свойствами человека из подлого сословия... Дворянин не клеветает на дворянина, офицер не доносит на офицера, это делают хамы из низкого звания, такие как они, – он презрительно показал на молча стоявших крепостных. – Поэтому вы сейчас же выпьете с ними водку, и клянусь вам своей настоящей стародворянской и княжеской честью, что, если через минуту вы не выпьете с ними, я прикажу им выпороть вас и затем вытолкать из дому взащей, а завтра подам рапорт на высочайшее имя об исключении вас из офицеров русской армии! – Он привстал и, глядя в упор на готового завывать от обиды и боли Петушкова, спросил: – Ну?

Петушков закрыл глаза, сотрясаясь от внутренних рыданий, дрожащими пальцами сжал стакан и, расплескивая водку, поднес ее ко рту.



– За ваше здоровье, сударь! – услышал он голоса стоявших возле него дворовых, кто-то чокнулся с ним, но Петушков уже ничего не видел. Проглотив горькую, обжигавшую ему горло противную водку, он выбежал из горницы и пришел в себя только на улице, когда неверными, сбивающимися шагами отбежал далеко от дома Голицына.

– Убью мерзавца! На дуэль вызову, пристрелю на улице как собаку! – шептал он, не замечая, как слезы катятся по его щекам. И чем больше распалялся подпоручик, чем страшнее находил он казни обесчестившему его Голицыну, тем слабей и беспомощней казался он себе, прекрасно понимая, что не только не убьет князя, но даже постарается вовсе не попадаться ему на глаза.

Подпоручик остановился, огляделся и, стерев рукавом и ладонью постыдные слезы, полушепотом грязно и матерно обругал князя Голицына и всех тех, с кем только что пил водку. Потом, несколько успокоившись, прошел в слободку. К вечеру его, вдребезги пьяного, на ротной фуре привезли на квартиру, где его раздел и уложил в постель денщик.

## Глава 17

Лазутчик аварской ханши под вечер подъехал к аулу Каракай, где намеревался отдохнуть у своего кунака Нур-Али, переночевать, накормить коня и утром рано двинуться дальше в путь. Солнце уже уходило за горы, и багровый закат охватил верхушки Таши-Тау и половину долины, золотя высокие уступы скал и большие сады с абрикосовыми деревьями.

От аула шел острый и терпкий запах кизячного дыма и только что пропешедшего стада. Огромные овчарки с злобным рычанием поворачивали в сторону всадника морды, скаля острые белые клыки. Коровы с ленивым мычанием, задрав головы, отделялись от стада, и босоногие мальчишки с криками загоняли их по дворам. Из-за оград, построенных из желтого и серого неотесанного камня, выглядывали женщины, впереди, у аульной мечети, виднелся народ.

Обгоня стадо и не обращая внимания на овчарок, всадник выбрался к площади, где, по-видимому, шло какое-то совещание. Не желая попадаться людям на глаза, аварец свернул в узкую, не шире двух-трех шагов улочку и спустя несколько минут подъехал к сакле Нур-Али.

Он спешился и рукояткой своей плети постучал по низкой дощатой калитке, преграждавшей въезд во двор. Из сакли выглянула молоденькая девушка лет пятнадцати и, прикрыв рукавом лицо, исчезла в сенях. За ней показалась ее мать, жена самого Нур-Али, женщина с худым, строгим и измученным лицом.

– Ас-салам алейкум! – негромко сказал аварец. – Дома ли Нур-Али?



– Входите, дом нашего хозяина ваш дом, – отодвигая в сторону доску и отступая на шаг назад, сказала женщина. – Наш человек<sup>1</sup> на площади у мечети. Сейчас наш мальчишка призовет его, а вы, уважаемый и почтенный гость, пожалуйста в саклю.

Выбежавший мальчуган лет одиннадцати взял из рук аварца уздечку и стал вываживать коня по двору, другой, поменьше, смешно семеня босыми ножками, припустился бегом к мечети, а девушка, наклонив голову, молча вынесла высокий кувшин, таз и домотканое суровое полотенце.

Гость степенно вымыл руки, сдержанно поблагодарил девушку и вошел в полутемную прохладу сакли. Он видел, как мальчик, поведив коня по двору, легко и проворно расседлал его, внес в сенцы седло и затем не спеша стал поить лошадь.

Аварец с удовольствием пил холодный айран, принесенный ему хозяйкой в большой деревянной чаше. Он устал за эти дни. И поездка, и пребывание в Грозной утомили его. И сейчас, возвращаясь в родные горы, он радовался всему: тому, что его окружали свои, горцы, и тому, что еще три-четыре дня пути – и он снова очутится в родном Хунзахе.

Он поднял голову – на дворе послышался шум и раздались голоса.

«Нур-Али», – узнавая хозяина, подумал гость и стремительно поднялся.

– А-а, почтенный Абу-Бекир, хвала Аллаху, мы снова видим друг друга в добром здравии, – крепко пожимая руку аварцу, сказал Нур-Али.

Они сели.

– Извини, что не встретил тебя у порога сакли, – продолжал Нур-Али, – не знал о твоём приезде, да и еще событие у нас сегодня ожидается.

– Какое? – спросил аварец.

– Известный всем муршид из Гимр Гази-Магомед, которого уже многие именуют имамом, сегодня посетит наш аул, – негромко и не совсем спокойно сказал Нур-Али.

– Вот как! – поднося ко рту чашку с айраном, протянул гость.

– Ас ним и ших Шамиль бен-Дингоу, и Амир-хан, и еще некоторые из праведников, посвятивших себя тарикату.

– А я слышал, что этот человек отвергает тарикат и призывает к газавату, – сказал аварец.

– Я не знаю, что отвергает он, тарикат или шарият, мне это неизвестно, но я знаю, что он праведный человек, что он проповедует равенство между мусульманами и что для него бедный человек, пусть даже самый последний кязайраг<sup>2</sup>, ближе любого хана, нуцала или бека.

– Как так ближе? Разве это возможно? – удивился аварец.

<sup>1</sup> По адату горянка не имела права называть по имени своего мужа. Это считалось величайшим преступлением, поэтому жены называли своих мужей словом «адам», т. е. «человек».

<sup>2</sup> Купленный раб.



– Аллах, говорит Гази-Магомед, для всех мусульман один, и все истинные мусульмане для него равны. У него в раю получает место не тот, кто знатен родом, а тот, кто вел себя как подлинный мусульманин. Не так ли?

– Ну, так! – согласился с ним несколько удивленный, впервые слышавший такие речи аварец. – Но все-таки есть же разница между ханом Абу-Нуцалом и мной?

– Какая? Разве у него две головы или три ноги? – пожал плечами Нур-Али. – Или ты не встречал среди удмиев<sup>1</sup> и беков дураков, больше похожих на ишака, чем на человека?

– Это верно! – согласился сбитый с толку гость. – Однако и ты, уважаемый Нур-Али, именуешь Гази-Магомеда имамом. Разве ж он имам? Кто его выбрал в имамы?

– Это я из почтения к праведнику, но для меня он больше, чем имам. Он святой, праведный человек, носитель Божьего слова! Почему же мне не считать его человеком, возвышенным Богом? Для меня он владыка, а не хан Аслан казикумухский или твоя ханша Паху-Бике.

– Не обижай тех, кто не слышит твоих слов, Нур-Али! Бек есть бек, кадий есть кадий, хан стоит над нами, а бедняки есть бедняки. Так повелел Аллах, и не нам изменять его законы.

– Нет, почтенный Абу-Бекир, – покачал головой хозяин.

– Ты странно говоришь, Нур-Али. Раньше я не слышал от тебя таких слов.

– Раньше свет Божьего учения не касался моей души, раньше я не слышал проповеди праведника, угодного Аллаху.

– Это Кази-муллу? – с нескрываемым презрением спросил аварец.

– Его, носителя Божьего слова, – делая вид, что не замечает усмешки гостя, продолжал Нур-Али, – и пророк не сразу был понят людьми, и его поносили и прогоняли темные, озлобленные люди. И насмешки, и раны, и войны, и изгнания перетерпел он во имя Бога, но свет несомненной книги и истинной веры озарил людей, о Абу-Бекир! – горячо и проникновенно закончил Нур-Али.

Аварец нерешительно взглянул в его горящие верой и возбуждением глаза и неожиданно сказал:

– Ты прав, Нур-Али. Мне трудно понять это, но, хотя мое сердце и не лежит к тому, что проповедует Гази-Магомед, я желал бы послушать его.

– Об этом я сам хотел сказать тебе, о брат мой Абу-Бекир! Ты человек бедный, и твой отец, и твои братья, и ты сам всю жизнь копошитесь возле ханской кухни, получая за свою службу, за рабскую преданность жалкие обеды богатей, а разве ты или твой отец, почтенный Магома, хуже или глупее ханских вырожденков, которым с детства служите вы? Или вы не такие, как они, мусульмане? Или вы не творите пять раз намаз, как повелел пророк? Или вы продали свою истинную веру русским за их рубли?

<sup>1</sup> Дворяне.



Абу-Бекир вздрогнул. Слова хозяина попали ему прямо в сердце. Он с ненавистью вспомнил генерала-больхонола, который вместе с письмом к ханше дал ему пятнадцать рублей серебром.

– Нет, – продолжал Нур-Али, – мы истинные мусульмане, мы не продаем свой народ за золотые медали и за офицерские погоны, которые сверкают на черкесках продажных владык вроде Аслан-бека, хана Абу-Нуцала или хулителя святой веры пьяницы шамхала.

Абу-Бекир не раз с тайной досадой и неодобрением смотрел на широкие серебряные эполеты, которые иногда надевал на плечи молодой хан. Он вспомнил и тугие мешочки с русским золотом, которые не далее как месяц назад привез в переметных сумах ханше.

– Воистину верны твои слова, Нур-Али! – медленно проговорил он.

– Пойдем на гудекан. Скоро, вероятно, прибудут и наши гости, – вставая, сказал Нур-Али.

Они вышли в сенцы.

– Придем ночью, – не глядя на жену, сказал хозяин, – приготовь хинкал и ночлег гостю.

Подтянув пояса, поправив кинжалы и пашки, они пошли к мечети.

– Удобно ли, что я, человек из чужого аула, буду на гудекане с людьми Каракая? – осведомился аварец, трогая за рукав Нур-Али.

– Ты мой гость и мусульманин, – просто ответил тот. Он понимал, что Абу-Бекир неспроста появился в ауле, но спросить его о причине приезда было бы не по адату. Понимая это, гость как бы вскользь сказал:

– Я ездил в Кыфир-Кумух получить немного денег, данных в долг прошлым летом.

На площади было много мужчин, старых и молодых, людей средних лет, одни с оружием, другие с пастушескими крючковатыми палками. Старики сидели на длинных камнях, служивших им скамьями во время долгих совещаний. Посреди группы богатых и наиболее уважаемых людей, поглаживая подстриженную, остроконечную, выкрашенную хной бороду, сидел старшина аула Абу-Рахман. Рядом с ним, молча и сосредоточенно глядя вниз, – кадий Эски-хаджи. Последний не вмешивался в беседу окружающих, хотя слышал и подмечал все разговоры.

Нур-Али и Абу-Бекир подошли и, поклонившись старикам, сели поодаль на сваленные у дороги бревна.

Гази-Магомеда еще не было, хотя вечер уже наступил и темнота сходила к аулу с гор. Ущелья потемнели. Черные впадины посреди скал явственней обозначились, и свежая прохлада с легким, порывистым ветерком опустилась на разогревшиеся за день камни.

– Что ж, долго нам еще ждать самозванных святых? – с усмешкой сказал старшина. – Ночь на дворе, а ночью появляются только худые люди, а не праведники! – продолжал он.



Кое-кто засмеялся, но другие промолчали.

– Переход немалый, да и народ всюду просит муршида поговорить, рассказать о делах, угодных Богу, – вызываяще громко сказал Нур-Али, глядя на старшину.

– Это мы еще не знаем, угодны ли его дела Богу, – сухо ответил кадий, не глядя на Нур-Али.

– Зато мы знаем это, – еще громче ответил Нур-Али под одобряющие возгласы кучки стоявших поодаль бедно одетых аульчан.

Абу-Бекир переводил взор с одной группы сельчан на другую, и ему было понятно, что здесь, на гудекане, собрались и противники и сторонники новоявленного имама, но кого больше, трудно было определить.

«Беднота за него!» – решил аварец, видя, как к поднявшемуся с места Нур-Али подошли человек пять оборванных, худо одетых горцев и что-то тихо сказали ему.

«Кажется, напрасно я заехал к этому байгушу, ставшему заклятым муршидом», – пришло ему в голову, когда он перехватил короткий и презрительный взгляд, которым окинул его хозяина старшина.

Толпа зашевелилась. На пригорке, где уже находилось несколько молодых людей, наблюдавших за дорогой, произошло движение; кто-то отчаянно замахал папахой, мальчишки, сновавшие в отдалении от взрослых, роем кинулись к дороге. Из-за скал поднялась пыль, густая и тяжелая, она облаком затянула дорогу. Из-за поворота показались всадники, позади которых шло несколько пеших. Конные въехали в аул, и копыта коней, свернувших с пыльной дороги на камни площади, зацокали сильнее. Сидевшие приподнялись, толпа пришла в движение, некоторые подались вперед, и только кадий, старшина и племянник елисуйского бека Таш-Мурад продолжали сидя наблюдать за кавалькадой.

Нур-Али широко шагнул навстречу подъезжавшим, а аварец на всякий случай затерялся в толпе.

– Встанем, почтенный Абу-Рахман, – приподнимаясь с места, тихо сказал кадий, – мы правоверные, и какой он ни на есть, но все-таки гость и мусульманин.

– Бешеная собака, а не гость! – злобно ответил старшина, но тоже встал и сделал движение вперед.

Племянник елисуйского бека продолжал сидеть, поглаживая молодую, недавно лишь отросшую бородку, с превосходством знатного и богатого человека глядя на кучку подъезжавших бедно одетых людей.

Нур-Али шагнул к Гази-Магомеду, желая помочь ему, но тот легко и свободно соскочил с коня и, приподнимая папаху, спокойно и громко поздоровался со всеми:

– Ас-салам алейкум! Молитва, приветствие и мир да будут с вами!

– Иншаллах! – нестройно ответили ему.





— Мы ждали тебя, божий человек, — почтительно кланяясь, сказал один из стариков. — Говорят, что слова Аллаха и пророка, повторенные тобой, доходят до людей.

— Я простой человек, такой же, как и вы, и напрасно говорят обо мне то, чего я не делаю! Я не имам и не пророк, я такой же, как и вы, сын Дагестана, мусульманин и бедняк. Зачем приписывать мне то, чего нет во мне?

В толпе зашумели.

— Бедняк, говоришь? — засмеялся племянник елисуйского бека. — Так зачем же ты, байгуш, едешь подобно владетельному хану в сопровождении свиты и телохранителей? — И он пятерней ткнул в людей, приехавших с Гази-Магомедом.

— Не обижай, не оскорбляй гостя. Помни об адате и заветах старины! — негодуя зашумели в толпе.

Бек нагло ухмыльнулся и тем же оскорбительно-презрительным тоном продолжал:

— Он не гость. Он волк, нарядившийся в овечью шкуру. Его надо уничтожить, если мы не хотим гибели народа.

— Не заботься о народе. Народ сам хорошо разбирается в том, кто ему друг и кто враг. Ты говори от своего имени и не вмешивай в свои мысли народ, — перебил его Шамиль.

— А это еще кто? Гимринский бродяга, сын пастуха, который вздумал стать беком и учить нас уму-разуму? Собака! — закипая гневом, не в силах сдержать злобы, закричал племянник елисуйского владетеля.

— Стыдись! Ведь ты же сам гость у нас, кто тебе дал право оскорблять людей? — взволнованно сказал один из стариков. — А ты чего смотришь? — обратился он к молча улыбавшемуся старшине аула.

— А мне что? Когда дерутся две собаки, третья не приставай! — нагло сказал старшина, проводя ладонью по усам.

— Постойте, правоверные, погодите, — поднимая кверху руку, сказал все это время молчавший Гази-Магомед, — не годится напоминать животному о законах, которыми живут люди! Скотина не поймет слов человека. Они не дойдут до ее сознания!

— Это обо мне? Это я — животное? — вскипая гневом, завопил бек.

— Конечно! Если бы ты был человеком, ты вел бы себя подобно остальным. Закон, адаты и приличия должны почитаться всеми!

— Я — высокорожденный бек, мой дядя владетель ханства, у меня дома десятки слуг, таких как ты, мерзавец! Они лижут мне пятки, если я разгневаюсь на них, и ты смеешь называть меня скотиной! — высоким, дребезжащим от злобы и гнева голосом закричал он. — Я освобожу народ от дряни, которая загадила его душу. Я размозжу тебе голову! — выхватывая из-за пояса пистолет, завопил он и, не целясь, направил его прямо в лицо спокойно стоявшего перед ним Гази-Магомеда.

Толпа дрогнула и замерла в страхе.



– Умри, змея! – хрипло выкрикнул бек, спуская курок.

Шамиль рванулся вперед, но было уже поздно. Курок пистолета щелкнул, и этот звук среди внезапно стихшей, охваченной ужасом толпы отождествился особенно зловец и сильно.

Но выстрела не было. То ли кремь пистолета не дал искры, или отсырел порох, но пистолет, наведенный на голову спокойно и презрительно глядевшего на бека Гази-Магомеда, не выстрелил.

– Аллах акбар! Чудо! Пророк спас своего посланца! Чудо! – слышались взволнованные голоса, и, пораженные случившимся, охваченные благоговейным трепетом, люди закричали: – Аллах! Да здравствует имам Гази-Магомед! Нет бога, кроме Бога!

Шамиль с силой схватил и вывернул руку стрелявшего, вырывая из пальцев пистолет. Двое горцев и онемевший от ужаса Нур-Али, схватив бека, обезоружили его, сорвав с него кинжал и пашку.

– Не прикасайтесь ко мне, хамы, грязные свиньи, не смейте касаться меня! – вопил бек. – Твое счастье, собака, что на полку пистолета я забыл подсыпать свежего пороху, – извиваясь в руках связывавших его людей, кричал бек.

– Сейчас мы это проверим! – Гази-Магомед взял из рук дрожащего от гнева Шамиля отобранный у бека пистолет. Он взвел курок и, подняв над головой пистолет, с силой нажал курок. Брызнул огонь, раздался выстрел, и облачко порохового дыма поплыло по воздуху. Люди оцепенели. Кое-кто попадал на колени, кто-то из стариков забормотал молитву, подхваченную другими. Переждав минуту-другую, Гази-Магомед спокойно сказал:

– Пока я не выполнил долга, возложенного на меня Богом, – он поднял вверх руку, – я не умру! И не тебе, жалкий человек, бороться с судьбой! Заприте его в арестную яму, а завтра пусть суд стариков решит, как следует поступить с этим ничтожным человеком! – И, пройдя между низко кланявшимися ему людьми, с благоговейным трепетом провожавшими его, Гази-Магомед направился к мечети. Сопевание было недолгим. Шамиль спокойным, твердым голосом потребовал от жителей аула клятвы на Коране. Гази-Магомед и его мюриды призывали мусульман, не отвернувших свое лицо от Аллаха, оставить позорные привычки, занесенные в горы из чужих земель.

– Пьянство и блуд, корысть и ростовщичество, презрение к бедноте, пресмыкательство перед сильными, трусость, продажность, измену! Братья правоверные, мужчины! Вслушайтесь в эти слова, они не мои и не нашего прославленного учителя Гази-Магомеда. Нет, они написаны в несомненной книге и переданы пророку Аллахом! Кто посмеет противоречить им, кто, безумец, восстанет против воли и мудрости Аллаха? Только кяфир, проклятый Богом, только тот, кто продался шайтану и отверг Божье слово! Люди на земле рождаются одинаково, и все они уми-



рают, пройдя свой жизненный срок. Никто не минет своей судьбы, но всякого за гробом ждет то, что заслужил он здесь, на земле, своими делами! Одних, истинных мусульман и сторонников Бога, ждет райская жизнь и источник радостей зем-зем, других, детей сатаны и порока, ожидают муки и вечный позор! И каждый из нас сам выбирает себе тот путь, ту судьбу, которая ожидает его после смерти! Тунеядцы, лодыри, живущие за счет людей труда, не попадут в рай! Их ждет огонь и вечные муки. Блудники и трусы, негодяи, для которых серебро дороже жизни и слез его близких, пойдут в ад. Джахеннем<sup>1</sup> будет их вечным жилищем!

Слушатели молчали. Шамиль обвел взглядом людей и страстно закончил:

– Покайтесь, братья! И пока не поздно, спасите свои души от ада! Вернитесь к Богу, исполняйте заветы пророка, будьте мусульманами, людьми, достойными жизни на земле и вечного блаженства после смерти. Аллах велик и милостив, и он простит заблуждавшихся, но вернувшихся на правильный путь людей, – сказал Шамиль, отходя в сторону Гази-Магомеда.

– Что мы должны делать, о праведник, как нам вернуться к милости Аллаха? – простирая к Гази-Магомеду руки, взволнованно выкрикнул кто-то из толпы.

– Идти по пути, указанному пророком. Быть мусульманином, и главное, нам надо накопить силы. Впереди большая борьба, впереди испытания, в которых нам нужно единство всех мусульман.

– Верно, правильно, божий человек! – слышались возгласы.

– Все мы – божьи люди. Все мы исходим от Аллаха и все возвращаемся к нему. Правда, честность, бескорыстие, любовь к свободе – вот что должно заполнять нас. Не бойтесь быть праведными, за это заплатит вам Аллах, а окружающие будут благословлять и почитать вас. Горе тем, кто забудет Бога и пророка! Смерть и бесчестие будет их уделом!

– Ва-аш-алл-ах! – тихо пронеслось по мечети.

– Скажи, праведник, как нам быть? Говорят, ты призываешь к священной войне с русскими, но ведь они сильны, их много, у них пушки, а наш аул находится вблизи их границ, – спросил старшина.

– Я не призываю вас к войне с русскими. Я говорю вам о другом. Очиститесь от грехов, от язв, которые покрыли ваши души. Перестаньте ссориться друг с другом, не лобызайте рук ханов и беков.

– Что же нам делать, праведник? Научи нас, божий человек! О имам, о лев, о светоч Дагестана! – слышалось отовсюду взволнованные, молящие голоса.

– Освобождайтесь от продажных ханов и мулл. Выбирайте из своей среды старшин. Пусть бедные люди управляют вами. Бедняк лучше знает голодного, чем хан или нуцал!

<sup>1</sup> Ад, преисподняя.



– Верно, правильные слова, о имам, о зеркало истины! – закричали в толпе.

– И не надо вам тревожить русских. Время для войны с ними еще не пришло. Нужно в своем доме навести порядок, надо очистить горы от навоза. Без торговых и властей лучше станет житья людям, а когда пророк и шариат воцарятся в горах, когда все мы станем истыми мусульманами и шихами, тогда с помощью Аллаха мы займемся и другими делами. Сейчас же думайте одно – уничтожайте торговых псов, изменивших народу и исламу!

– А как же быть с податями, которые мы платим нашим ханам? – раздался неуверенный голос.

– И с арендной платой за землю?

– И с оплатой ханских быков и зерна, данного на посев?

– Тем ханам и бекам, которые смотрят в сторону русских, ничего не платить! – сказал Гази-Магомед.

– А подати? – снова спросил все тот же робкий, неуверенный голос.

– Они будут снижены наполовину. Кто крепок хозяйством, тот будет вносить больше, чем бедный.

– А земли беков?

– Тем бекам, которые знают с русскими, оставим столько земли, сколько сможет обработать бек и его родные. Остальное разделим между народом.

– Это хорошо! Только какой же бек или хан станет сам работать на поле? Да он и волов в соху не сумеет впрячь! – крикнул кто-то, и все дружно и весело рассмеялись.

– Поглядел бы я на этого елисуйского бездельника, который теперь сидит в яме, как это он станет пахать мой клочок каменистой земли, – сказал Нур-Али, и все еще веселее рассмеялись.

– Ну, а подати, ведь их все же придется кому-то платить? – все так же робко, но настойчиво повторили из толпы.

– Подати будете платить тем, кого выберете сами в старшины, а они будут сдавать собранное наibu, назначенному народом, или отчитываться перед ним.

– Ханы и беки не простят нам такого своевольтва! Как бы головой не пришлось ответить за такие дела! – наставительно и веско сказал мулла.

По толпе прошло движение, большинство людей насторожилось.

– Мы не спросим их, бездельников, умеющих только пить да плясать!

– А русские? – тихо спросил старшина.

– Мы не воюем с ними, мы не призываем народ к войне, а раздел земли и уничтожение ростовщиков и пьянства не беспокоят их!

– А как быть с долгами? Я, например, уже четыре года как должен нашему старшине три меры зерна, взятые на посев. Вернул я ему уже четыре с половиной, а конца долгу все нет. Еще две меры требует с меня.



Все насторожились, вытянув шеи и напряженно ожидая ответа: таких должников было немало.

– Или вот я, например, – вышел вперед другой аульчанин. – Я взял у нашего уважаемого муллы два моната<sup>1</sup> серебром сроком на год, и вот через месяц и четыре дня я должен буду отдать ему три моната и три абазас серебром.

Муллу поднял к небу обе руки и деланно засмеялся:

– О Магома, какие пустяки ты говоришь здесь, на серьезном и деловом собрании! Разве я неволю тебя со сроком! Бог с ними, с абазами, принесешь, что взял, когда сможешь!

– Спасибо тебе, мулла Таги, за хорошие слова и за то, что ты вдруг стал таким добрым, – усмехнулся Магома, – однако всего день назад ты сердито напомнил мне, что срок долга подходит и что ты не дашь мне отсрочки!

Все дружно расхохотались.

– Ах, нехорошо говорить неправду! Ложь, да еще сказанная в стенах мечети, является большим грехом, Магома! – укоризненно качая головой, сказал мулла.

– Я тоже так думаю, почтенный Таги-мулла, нельзя врать в мечети, как нельзя врать и в другом месте. Но и говорю правду, тем более что наш разговор слышали и Гассан, и Абдулла, и Индрис, и еще многие, кто просил тебя также отсрочить долг!

– Верно, правильно говорит Магома. Ты и ему, мулла, и нам говорил это. Кричал и обещал свести за долги коней и корову! – сразу шумно заговорили в толпе.

Муллу злым и вместе с тем деланно-смирненным голосом сказал:

– Аллах вам судья, Аллах!

Гази-Магомед, быстро из-под бровей глянув на укоризненно качавшего головой муллу, обратился к собравшимся:

– Завтра на джамаате все, кто имеет расписки и жалобы на долги, приходите. Там рассудим, справедливо и по совести и тех, кто давал деньги и продукты в рост, и тех, кто по бедности и от голода брал их!

Шамиль, пытливо и настороженно наблюдавший за кадием, старшиной и муллой, заметил, как вытянулись их лица и как они обменялись быстрыми и тревожными взглядами.

– А теперь, братья, – заканчивая беседу, сказал Гази-Магомед, – идите по домам, отдыхайте, обдумайте то, что мы говорили, а утром, если Бог того захочет, мы снова встретимся с вами на джамаате. Да будет мир и Аллах с нами!

– Прошу остановиться у меня, – кланяясь Гази-Магомеду, попросил старшина.

– Или у меня. В сакле моей хватит места для всех, есть две кунацкие, найдутся и ковры и мутаки, – любезно предложил мулла.

<sup>1</sup> Серебряный русский рубль.



– Спасибо! Мы ночуем у Нур-Али, – коротко ответил Шамиль, и, сопровождаемые жителям аула, Гази-Магомед, Шамиль и мюриды вышли из мечети.

Аварец, все это время старавшийся быть в толпе незамеченным, внимательно и неотступно наблюдал за Гази-Магомедом и его людьми.

Ему, привыкшему к жизни в услужении при дворце аварских властителей, было странно и ново слышать такие вольные, непочтительные слова о влиятельных в горах людях; и в то же время, прислушиваясь к горячим и страстным речам, он не мог не согласиться с тем, что говорили бедняки о своих долгах, о продажности беков и богатеев. Он сам, и его брат, и отец который уж год были в неоплатном, никак не заканчивавшемся долгу у ханши и ее сына Абу-Нуцала. Каким образом рос этот долг и почему он не был погашен до сих пор, аварец никак не мог понять. Он знал, что если судить по справедливости, то все взятое давным-давно было выплачено ханше им, его братом и их стариком отцом.

Абу-Бекира поразило присутствие духа и хладнокровие, с которым Гази-Магомед встретил наведенный на него пистолет елисейского бека. Бесстрашие и твердость Гази-Магомеда расположили Абу-Бекира к нему, а отношение жителей аула показало аварскому посланцу, что человек, которого так поносят ханы, любим народом.

«Он поистине праведный человек, иначе почему бы его так возненавидели русские и беки!» – не сводя внимательных глаз с Гази-Магомеда, думал он. И когда закончилось собрание в мечети и народ, пропуская вперед гостей, шумно высыпал на площадь, Абу-Бекир неуверенно сказал Нур-Али:

– Друг, праведник и его люди хотят остановиться у тебя. Как быть? Я думаю, что помешаю тебе разместить гостей. Позволь мне переночевать в конюшне, а утром отправиться в путь.

– Ты хочешь обидеть и хозяина и нас? Или ты не хочешь разделить с нами пищу? Разве ты враг нам? – беря его за рукав, спросил Гази-Магомед, слышавший слова аварца.

– Нет, праведник, я не враг, но я чужой, издавека приехавший человек.

– Чужой ты пока. Если ты мусульманин и человек мужественный и справедливый, ты завтра же станешь нам другом и братом. У Нур-Али не может быть плохого и неверного друга.

Часть мюридов, сопровождавших Гази-Магомеда, расположилась в соседних саклях и дворах. Другая часть несла караул во дворе Нур-Али.

Возбуждение и шум, охватившие аул, еще долго не утихали на улицах.

Вымыв руки и поужинав вареной бараниной и круто сваренным хинкалом, Гази-Магомед, Шамиль и Рамазан, один из мюридов, приближенных имама, сняли пашки, кинжалы и, сбросив черкески, уселись на полу, на грубом домотканом ковре, вполголоса беседуя между собой.



Аварец Абу-Бекир сидел возле Шамиля, с почтительным вниманием слушая беседу.

— А что у вас, в Хунзахе? Как относится народ к шариату и очищению себя от грязи и блуда? — поднимая на аварца глаза, неожиданно спросил Гази-Магомед.

— Народ еще мало знает о тебе и твоём учении, — застигнутый врасплох, ответил аварец.

— Это все сказано в Коране. Это вовсе не мое учение. Я лишь повторяю слова святой книги. Шамиль, возьми себе на память о сегодняшнем случае пистолет этого глупого елисейского мальчишки. — Говоря это, Гази-Магомед протянул Шамилю пистолет, который чуть не лишил его жизни.

— Аллах спас тебя от гибели. Это чудо, несомненно, содеяно Богом, — сказал Рамазан.

— Зачем говоришь речи, не свойственные мужчинам, друг? — спокойно возразил ему Гази-Магомед. — О каком чуде ты говоришь, и зачем Аллах будет показывать его на мне. Не-ет! Просто этот глупец недостаточно сильно нажал тугой курок, и кремьень не дал искры. Я знаю эти пистолеты, это работа казанинских мастеров, но если б пистолет делали оружейники Кубачей или русские, голова моя была бы пробита этим безумцем.

Аварцу снова понравилось то, что имам не приписал чуду свое спасение, а скромно и просто объяснил причину осечки пистолета.

Дверь сакли полуоткрылась, и в нее, ища кого-то глазами, заглянул Нур-Али. Встретившись взглядом с Шамилем, кивнул ему головой. Шамиль легко вскочил и вышел к хозяину.

Гази-Магомед и аварец остались одни.

— Знают ли у вас, в горах, о нас? — спросил Гази-Магомед.

— Знают, — тихо ответил аварец.

— Что говорят в народе?

— Разное. Одни хулят, другие радуются, третьи ждут.

— Чего?

Аварец помолчал.

— Нового. И у нас, как и везде, богатые живут спокойно и сытно, а бедные редко зажигают очаг. Нищета и долги одолевают народ.

— Ты служишь у ханши? — вдруг спросил Гази-Магомед.

Аварец поднял голову и опасно сказал:

— Да.

Но Гази-Магомед не показал, что заметил беспокойство собеседника. Он дружески улыбнулся:

— Аварцы хороший народ, у них есть мужество и честь, и они будут опорой шариату... Однако почему ты не ляжешь спать, Абу-Бекир? Время позднее, а ты, как я слышал, хочешь утром ехать дальше.

— Да. Я спешу. Мне скорее надо быть дома, — несколько робея перед имамом, ответил аварец.



– Так ложись спать, и да будет над нами благословение Аллаха! – сказал Гази-Магомед, укладываясь на войлочной кошме.

Аварец лег в стороне на войлоке, но сон не шел к нему. События дня, столь богатого неожиданными происшествиями, отгоняли сон, а непредвиденная встреча с тем, против кого было направлено письмо, которое он отвез русским, взволновала его. Гази-Магомед, который по рассказам ханши представлялся ему наглецом, выскочкой и распоясавшимся абреком, оказался другим. В нем не было того высокомерия, которое аварец с детства привык видеть в ханских детях. Простота, откровенность, бесстрашие, правдивость и не показная, а подлинная любовь и уважение к народу поразили аварца.

«Он не думает о себе, не добивается почестей и богатства», – вспомнил он слова Нур-Али. «Он прав. Этому человеку не нужны деньги». Абу-Бекир со стыдом вспомнил о серебряных рублях, которыми наградил его русский генерал в Грозной.

«Этот не продаст свой народ за золото», – снова подумал аварец, припоминая, с какой хищной радостью считали и пересчитывали ханша Паху-Бике и ее сын, хан Абу-Нуцал, золотые монеты, которые он привез в прошлый раз в Хунзах от русских.

«А-а, не мое это дело, – стараясь отогнать такие неожиданные и несвойственные ему мысли, решил он, – надо спать, а утром уехать отсюда. Пусть ханы и шихи, богатеи и беднота сами, без меня, разбираются в своих делах. Надо спать». Он повернулся на бок. Но сон по-прежнему не шел к нему, хотя он лежал неподвижно, с плотно закрытыми глазами и ровным дыханием, как крепко уснувший человек.

В комнату неслышно вошел Шамиль, за ним Нур-Али, за спиной которого темнело еще несколько фигур. Гази-Магомед приподнялся с ковра и тихо, чтобы не разбудить аварца, спросил:

– Что случилось, Шамиль?

– Муллу задержал караул, занимавший выходы из аула. Хотел бежать, собака!

– Один?

– С сыном. В хурджинах увозил деньги, золото, бумаги.

– Где он?

– Сидит в яме. Вместе с елисуйским бездельником.

– А сын?

– Мальчику тринадцать лет. Что делать с ним?

– Отпусти домой, к матери. Дети не отвечают за грехи отцов, – уже стоя, приказал Гази-Магомед.

Аварец беспокойно завозился на своем войлоке, делая вид, будто просыпается от шума.

– Разбудили мы тебя, Абу-Бекир, но что делать, видно, так угодно было Аллаху, чтобы никто из нас не спал в эту ночь, – сказал Шамиль.





– Ничего. Скоро рассвет, – быстро одеваясь, проговорил аварец, и все трое вышли во двор.

На фоне ярко мерцавшего звездами неба темнели фигуры людей. Слышался мерный хруст ячменя, пережевываемого лошадьми.

– Скоро рассвет! – взглядываясь в начавшее сереть небо, сказал Шамиль.

Аул еще спал. Один-два огонька мигали где-то за аульской площадью. Там была яма для арестованных, нечто вроде глубокой землянки с узким входом, охраняемым караулом. Собаки залаяли за околицей, закукарекал и оборвал свое пение петух. С гор тянуло холодком, ветерок был свеж и резок.

– Что, братья, – подходя к стоявшим во дворе людям, сказал Гази-Магомед, – не утомило вас служение Богу, не лучше ли было сейчас спать по своим саклям, чем бродить по чужим аулам без сна, не зная отдыха и покоя?

– Молитва лучше сна, имам, а дело, которое мы совершаем, угодно Богу и пророку, – ответил чей-то голос, и Шамиль узнал Нур-Али.

– Что мы отдаем Богу, то вдесятеро вернется к нам, – добавил кто-то.

– Правильно, сыновья веры! Все, что мы отдаем Аллаху и его делу, зачтется каждому из нас и в этой, и в будущей жизни, – торжественно сказал Гази-Магомед.

«А что, если то, что он говорит, и то, что они сообща делают, – правда, что тогда?» – с трепетом подумал аварец.

Начинавшая бледнеть луна выглянула из-за темных, с серыми краями туч, и неясный свет озарил дворы, уличку, спящий аул и людей возле сакли Нур-Али. На каменные плиты площади и крышу мечети заструился серебряный свет уже меркнувшей луны. Сильнее потянуло холодком с гор, тени задвигались и стали медленно таять, уступая место рассвету. Звезды гасли одна за другой, тая в утренней мгле и белесо-сером небе.

Гази-Магомед подошел к Шамилю и Нур-Али, тихо о чем-то беседовавшим.

– Настает утро, ночь уходит, братья, пора вспомнить о молитве!

Люди оживились, поднялись с мест, заходили по двору, снимая с копей попоны и расстилая по земле бурки.

– Нет бога, кроме Бога, и Магомет пророк его. Молитесь, братья, ибо молитвы лучше сна! – негромко, но убежденно проговорил Гази-Магомед.

И сейчас же все, и часовые, и люди, стоявшие у коновязей, и те, что занимали караулы на площади, опустились на колени.

– Ля-илляхи! Иль алла Магомет резуль-алла!..

А над ними все шире и светлей поднималось ясное летнее утро, и все алее становился восток, и горы окрашивались в радужные цвета зари.

Лица молящихся были сосредоточены и суровы.



Было тихо, и только иногда с шумом переступали застоявшиеся кони да позвякивали о камни пашки молившихся часовых, не снимавших оружия и во время молитвы.

Утренний намаз мюридов заканчивался, когда с минарета аульской мечети зазвенел голос аульского будуна.

— Вставайте, правоверные, оставьте сон, ибо молитва лучше сна!

Аул проснулся. Началось движение, слышались голоса, шум, стукнули раскрываемые двери, и при свете уже поднимавшегося солнца на улице замелькали люди.

— Ибо молитва лу-учше сна! — повторил звонко, нараспев будун, и аул погрузился в молитву.

Мюриды во главе с Гази-Магомедом, уже закончившие намаз, молча, недвижно и торжественно стояли на своих местах, спокойно и уверенно глядя на молодое, веселое солнце, выкатившееся из-за гор и озарившее всеми красками радуги окружавшие аул скалы.

Совещание началось часов около десяти. На площади возле мечети уже собрался весь аул. Здесь были даже женщины, группой теснившиеся в стороне. Крыши близлежащих саклей были заполнены старухами и детьми. Все обитатели аула хотели присутствовать на совете стариков и суде над муллой и глупым елисуйским беком. Предстоящий суд вызвал ожесточенные долгие споры между аульчанами. Никто из них никогда еще не слышал о чем-нибудь подобном. Некоторых, особенно женщин, пугала даже сама мысль, что мулла или хан могут быть наказаны.

Шум стих, как только на площади показались старики, Гази-Магомед, Шамиль и мюриды.

— Братья, правоверные! — громко сказал Шамиль. — Сегодня на джамаате мы совместно со всеми жителями аула должны решить два вопроса. Первый — как быть с долгами, как бедным людям расплатиться с ростовщиками, за большие проценты снабдившими их деньгами, зерном или хлебом; и второй — как поступить с преступником, поднявшим руку на гостя жителей аула Каракай имама Гази-Магомеда. Будьте смелы и честны. То, что мы делаем, — во имя Аллаха, и то, как решите вы, сегодня же разбежится по сторонам. И в нижних, и в верхних аулах, и в Кумухе, и в Чечне, и в Дербенте — всюду будут знать люди о нашем решении, и потому мы должны отбросить все дурные и злые помыслы и с чистым сердцем, отрешившись от личных дел и корысти, решать эти дела. Помните, что за нами следят тысячи глаз и от нашей правоты и чести зависит успех дела шариата и уважение к имаму и его последователям. Поклянемся же на Коране в том, что наше сердце, ум и язык будут свободны и чисты от лжи, зла и коварства!

И он, подняв над головой руку с раскрытым Кораном, громко и внятно прочел короткую молитву, слова которой твердо и раздельно повторил весь джамаат.



Когда слова молитвы стихли, поднялся один из стариков и громко произнес:

– Начнем суд, правоверные! Все, у кого есть долговые расписки, кто недоволен расчетами с должниками, пусть обращаются к нам.

Все молчали, нерешительно перешептываясь.

И вдруг, раздвигая толпу, вышел старшина.

– Можно мне, уважаемые? – кланяясь старикам, спросил он. – Вот что я решил, правоверные, – обратился он к аульчанам. – Корысть и нажива бывают часто сильнее справедливости. Человек подвержен греху, и если его не поправить вовремя, то грех и соблазн одолеют душу. До вчерашнего дня я сам был во власти дурных помыслов, насылаемых шайтаном на человека. Я думал, что почести и золото – главное в нашей жизни, но твое появление у нас, о святой человек, твои слова и учение очистили мою душу, сняли они грязь и копоть с моего ума. Я понял, что, гоняясь за деньгами, мы все дальше уходим от Аллаха. И я решил... – Подняв высоко голову и оглядывая изумленных жителей, не ожидавших таких речей от известного на весь округ скупого и расчетливого лихоимца, он выкрикнул: – Вот они, ваши расписки и зарубки о долгах! Всем, кто уплатил мне по сей день долги, я прощаю проценты, тех же, кто еще должен, прошу вернуть в срок взятое без всяких начислений. Я мусульманин и радуюсь тому, что имам напомнил нам, заблудившимся в лесу корысти, о словах и заветах пророка, – кланяясь низко народу, закончил старшина и, беря у подошедшего к нему сына расписки и бирки с отметками, положил их на землю. – Сожгите это зло во имя Аллаха! – смиренно отходя в толпу, сказал он.

– Хитер, собака!.. Этот, как змея, и скользит, и вьется, и норовит уползти в тень, – тихо шепнул Нур-Али Шамилю, внимательно и с интересом слушавшему старшину.

– Ничего! Мы вырвем у нее зубы, – еле слышно ответил Шамиль.

– Что скажете, старики, и вы, правоверные, по этому поводу? – спросил Гази-Магомед.

Толпа, среди которой было немало должников старшины, обрадовавшихся неожиданной доброте последнего, заговорила.

– Что ж, это хорошо! Доброе дело говорит Абу-Рахман, мы только можем поблагодарить его за это! Да благословит его Аллах за хорошее дело! – выкрикнул кто-то из близких старшины.

Гази-Магомед посмотрел на стариков, но и они удовлетворенно закивали.

– Истинные, достойные хорошего мусульманина слова сказал Абу-Рахман-эфенди, – проговорил один из стариков.

– И мы только скажем ему спасибо. Всегда помни этот день и будь хорошим человеком для всех, – добавил второй, обращаясь к старшине.

Толпа снова одобрительно зашумела, благодаря старшину.



– Но, чтобы он был и в дальнейшем хорошим человеком и настоящим мусульманином, мы обязаны отвести его подальше от греха, так, чтобы соблазны не мучили его, – сказал Гази-Магомед. – Каким же образом мы можем сделать это? Простым. Выбрав на его место старшиной другого, бедного и не подверженного соблазнам человека.

Хохот прервал эти слова.

– Пусть Абу-Рахман-эфенди продолжает на досуге размышлять о Боге, о Коране и о том, что сказал пророк. Мирские дела, торговля, ростовщичество и власть уже не будут мешать ему заниматься спасением души. Поэтому я думаю, что сейчас на место спасающего свою душу Абу-Рахмана вам надо выбрать другого старшину! – закончил Гази-Магомед.

Старшина даже переменялся в лице: секунду-другую он озадаченно озирался по сторонам, но вдруг рассмеялся и, выбравшись из толпы вперед, поклонился.

– О имам, поистине ты святой и всеведущий человек! Ведь ты прочел мои мысли, я только что хотел просить сменить меня. Ты святой человек, о Гази-Магомед! – поклонился он еще ниже.

– Умен, собака, и потому еще опасней для нашего дела, – сумрачно проговорил Шамиль.

– Ну что ж, если ты и сам просишь об этом, Абу-Рахман-эфенди, мы не можем не считаться с тобой. Как вы думаете, братья? – спросил Гази-Магомед.

– Что ж, он хоть и неважный был старшина, трудно было с ним, но Аллах, как видно, открыл ему глаза. Пусть отдохнет, пока другой будет трудиться на его месте! – слышались голоса.

– Значит, ты, Абу-Рахман, уже больше не старшина. Надо, братья, выбирать другого, – сказал Гази-Магомед.

– Кого же? – спросил один из стариков.

– Мухтара! – выкрикнул кто-то.

– Нет, лучше Иссу! Он умеет ладить с людьми, – предложил старшина.

– Иссу нельзя. Он ладит только с теми, у кого есть буза и много денег, – возразил кто-то из толпы.

– Да к тому же он твой родственник, Абу-Рахман! Дай уж нам отдохнуть от тебя и твоей родни! – насмешливо сказал Нур-Али.

И вдруг почти все, и старики, и молодежь, словно впервые увидев его, громко закричали:

– Нур-Али! Выбираем Нур-Али в старшины! Чего уж там, лучше его не найти!

Нур-Али озадаченно смотрел на кричащих.

– Его! Выберем Нур-Али! – закричали и те, кто стоял в конце площади, и даже женщины, сидевшие на крышах, закивали головами.

– Ну что ж, Нур-Али, народ делает правильный выбор. Благодарю его за честь! – сказал Гази-Магомед.



Смущенный Нур-Али низко поклонился народу.

– Спасибо! С помощью Аллаха и вашей, братья, я буду помогать делу шариата!

– Возьми, Нур-Али, мухур старшины у Абу-Рахмана и веди дело так, чтобы люди благодарили и уважали тебя! – сказал Гази-Магомед.

И Нур-Али взял у бывшего старшины аульскую печать.

– А теперь ведите сюда арестованных! – приказал Шамиль.

Головы всех присутствующих повернулись в сторону арестной ямы, откуда караульные выводили муллу и племянника елисуйского бека.

Арестованных поставили в центре площади. Головы их были непокрыты, руки связаны за спиной.

Елисуйский бек стоял неподвижно, и только его злые глаза с беспокойством и плохо скрытой ненавистью озирали людей.

На лице муллы было написано смирение и скорбь за людей, незаслуженно обидевших его. Он переступал с ноги на ногу, благожелательным, добрым взглядом окидывая людей.

– Начнем с тебя, мулла! – сказал Шамиль. – Объясни народу и старикам, куда ты намеревался бежать, что увозил с собой и почему.

– Я не хотел зла никому, Аллах свидетель, я лишь думал съездить к своим родным в Апильты.

– Зачем же ночью? – опросил Шамиль.

– Разве закон запрещает кому-нибудь ездить по ночам? Каждый сам избирает время для поездки! – смиренно сказал мулла.

– Но у тебя нашли много денег, расписок и палок с зарубками и отметками твоих должников. Зачем же ты все это увозил в Апильты?

– Я не хотел, чтобы мои кровные деньги, заработанные трудом и потом, пропали. Я не считаю вас вправе лишать меня и мою семью достатка. Это похоже на грабеж! И Аллах, который все видит, рассудит нас и, возможно, очень скоро!

По толпе пробежал шумок. Старики переглянулись.

– Не тебе говорить о грабеже, нечестивец! Первый грабитель и вор – это ты сам. Это ты грабил, обирал народ в течение многих лет. Это ты отдавал в рост абазы<sup>1</sup>, чтобы взять за них рубли. Это ты, разбойник, снабжал голодных людей зерном, для того чтобы потом за одну меру брать четыре! Это из-за тебя, грязная свинья, оборванные и голодные дети твоих должников не могут ни разу в жизни поесть досыта! – возмущенно и грозно закричал Шамиль.

– Правильно, верно! Задавил нас всех поборами!

– Какой это мулла! Для нас он самый беспощадный ростовщик! – слышались голоса.

– И ты, собака, смеешь еще свои безбожные дела прикрывать именем пророка! Ты хуже разбойника, грабящего на дорогах. Тот рискует жизнью

<sup>1</sup> Двдцатикопечная русская серебряная монета.



и не ссылается в своих преступлениях на Бога! Нужен вам такой мулла, люди? – обращаясь к толпе, спросил Гази-Магомед.

– Нет, он хуже безбожника! У него нет ни совести, ни стыда! – закричали в толпе.

– А бежать ты хотел, негодяй, не в Ашильты, а к русским. Что делать с этим нечестивцем, старики, я предоставляю решать вам! – отходя к мюридам, сказал Гази-Магомед.

Старики пошептались, посоветовались, вполголоса о чем-то поспорили.

– Муллу, который бросает свою мечеть, надо лишить сана, а на его место избрать другого, справедливого и честного!

– Правильное решение! – раздались голоса.

– Но это не все! – вышел вперед Шамиль. – Этот человек хотел бежать из своего аула. Поможем ему в этом и изгоним его, как паршивую овцу из стада. А как – на время или навсегда – решайте сами!

Толпа молчала.

– На полгода! Пусть за это время обдумает свои грехи и исправится, – быстро проговорил бывший старшина Абу-Рахман.

– Пусть убирается в Ашильты, там у него полно родни, а через полгода возвращается другим человеком, – поддержал его один из стариков.

И все, облегченно вздохнув, разом заговорили:

– Изгнать на полгода! Это ему будет хорошим уроком!

Мулла радостным и благодарным взглядом обменялся с бывшим старшиной. Это решение обрадовало его.

– А как быть с золотом и деньгами, отобранными у него? – спросил Нур-Али.

Все замолчали.

– Семье отдать половину, одну четверть раздать бедным аула, одну четверть сдать в общую казну мюридов. Расписки и бирки о долгах сжечь здесь же, на глазах у народа, и впредь подобные долги навсегда отменяются, – громко и раздельно сказал Гази-Магомед под радостные крики собравшихся.

Бирки, расписки, листки с отпечатками мухуров, палки с зарубками – все это кредиторы и должники несли на середину площади, где уже лежали бирки и бумажки, отобранные у старшины Абу-Рахмана и муллы. Когда все было принесено и сложено в кучу, Шамиль поднес зажженную хворостину, и куча бумаг и дерева, в которой как бы концентрировалось все горе и слезы, вся убогая, нищенская жизнь обездоленной аульской бедноты, запылала, и струйки дыма и пламени запрыгали посреди площади.

– Да продлит Аллах твои дни, о имам Гази-Магомед! – с чувством благодарности, тихо и проникновенно сказал кто-то, и вся толпа закричала:

– На небе взошло солнце, а на земле – имам Гази-Магомед!

Суд над елисуйским беком был короток. Старики приговорили его к смертной казни. Перепуганный, потерявший свое нахальство и не ожи-



давший такого решения, бек бессмысленно водил глазами по людям; на его помертвевшем лице отобразились отчаяние и страх. Когда к нему подошли мюриды, чтобы вести его на казнь, Гази-Магомед остановил их.

– Братья, вы справедливо осудили этого бездельника, – сказал он, обращаясь к старикам, – он заслуживает смерти, но я прошу всех жителей аула Каракай, всех, и стариков, и молодежь, простить его! Он, – Гази-Магомед ткнул пальцем в сторону еле стоявшего на ногах осужденного, – еще молод, и если у него в сердце есть стыд, он пойдет по дороге правды. Отпустите его во имя Аллаха, и пусть он вместе с бывшим муллой до вечера оставит Каракай. Пусть идут пешком, без оружия, без лошадей, с непокрытыми головами. Только пройдя фарсаг<sup>1</sup>, они получат разрешение сесть на коней и попрощаться с родными, которые будут провожать их. До заката солнца они должны оставить аул, чтобы к ночи мы уже забыли о них.

## Глава 18

Получив от лазутчиков донесение о том, что в Кусуре произошло совещание и что английский агент полковник Монтис вкупе с Сурхай-ханом и беледом Абдуллой что-то замыслили против русских, полковник Пулло донес об этом в Грозную и, не дожидаясь разрешения, подготовил экспедицию из батальона егерей, трех сотен казаков при двух фальконетах под командой полковника Кравченко для «прогулки» вглубь Табасарани и наведения порядка в полумирных, беспокойных аулах. Экспедиция была готова через день, но неожиданно начавшиеся ливни, шедшие в течение двух суток, и мгновенно разбухшие, ставшие грозными и непроходимыми горные потоки приостановили выход отряда в горы.

– Уйдут, подлецы... разве они станут дожидаться нас, – сетовал полковник Кравченко, сумрачно глядя на потоки воды, лившиеся с неба.

– Разверзлись хляби небесные. Я третий год живу здесь, а такого потопа не видывал, – сокрушенно качая головой, сказал Юрасовский. – Сорвется экспедиция... никого не найдешь, так, разве что попугаем немного разбойников.

Спустя два дня дожди прекратились, бушующие потоки сбежали с гор и превратились в еле заметные ручейки, солнышко обсушило землю, и дороги стали быстро просыхать.

– Я донес главнокомандующему об экспедиции, и теперь уже поздно размышлять о ее целесообразности. Отряду надо выступать, если даже вы и не захватите бездельника Абдуллу и английского прохвоста Монтиса. Военная прогулка в горы даст свою пользу и наведет порядок в аулах, – выслушав сомнения полковника, сказал Пулло.

<sup>1</sup> Персидская мера длины – семь верст.



На следующее утро батальон егерей и три сотни казаков с двумя фальконетами форсированным маршем пошли к аулу Кусур.

Желая перехватить беледа Абдуллу и перерезать ему путь в горы, Кравченко все три сотни казаков послал в обход к аулу Кусур. Сам же с пехотой и двумя фальконетами пошел напрямик через горные дороги и тропы.

Слева и справа поднимались утесы. Внизу, сдавленный скалами, бился о камни Ямансу, ворочая валуны и взметая белые пенящиеся брызги. Грохот заполнял ущелье. Узкая дорога, более похожая на вьючную тропу, шла над бездной, то обрываясь, то снова извиваясь по карнизу скал. За поворотом дорогу перегородил огромный, нависший над бездной утес.

«Здесь проходит только друг», — затейливой арабской вязью было написано на нем. Колонна еще медленнее потянулась вперед. Ущелье сузилось и потемнело. Полоска голубого неба почти скрылась, сдавленная сходящимися горами. Дорога снова оборвалась, и идти стало трудно. Все круче поднимались уступы скал, ближе сдвигались утесы. Внизу с оглушительным ревом бился поток, и его седые брызги жадно лизали берега. Грязная пена кипела в водоворотах.

Начальник авангарда остановился.

— Придется развьючивать лошадей, — покачивая головой, сказал он.

— Конечно. Разве проведешь тут коней? — поддержал его прапорщик фальконетного взвода.

— Только переломашь ноги, а пользы — чуть, — почтительно вставил фельдфебель и крикнул назад: — Взвод, стой! Развьючивать коней, разобрать фальконеты!

Шедшие впереди солдаты остановились. Произошло недолгое замешательство. Фальконетки начали развьючивать коней. Егеря молча проходили мимо.

Проводники вели отряд по течению реки, то находя, то снова теряя горную тропу. Головная рота что-то замешкалась впереди, полковник Кравченко, перегоня егерей, направился к ней. Несколько солдат присели на камни, двое, забравшись на выступы скалы, покуривали трубочки и балагурили со стоявшими внизу товарищами. Солдаты выжидательно смотрели на подходившего к ним начальника отряда.

— Почему остановка? — спросил полковник и умолк, увидя причину. Узкая тропа, по которой шли егеря, оборвалась. Под нею зиял обрыв аршин в семь глубиной и не менее полутора саженой шириной. На другой стороне провала тропинка возобновлялась.

— Ров, ваше высокоблагородие! Не иначе как дождями размыло, — сказал стоявший на краю обрыва пожилой солдат с Георгиевским крестом на груди.

Солдаты молча смотрели на полковника. Отвесный утес слева мешал обходу. Справа была пропасть с бесновавшимся на дне потоком.





– Хоть бы лестницы штурмовые были, а то даже и банника простого нет, – сочувственно проговорил прапорщик.

Полковник озадаченно посмотрел на него и, не отвечая, стал молча оглядывать подходивших егерей. Потом, словно убеждая себя в том, что этого препятствия не взять, он еще раз заглянул в трещину.

– Ничего не поделаешь! Придется возвращаться назад и идти левым берегом реки. Бат-тальон, кру-у-г-гом! – скомандовал он.

– Как же так, ваше высокоблагородие, – нарушая субординацию, вдруг сказал пожилой солдат с Георгиевским крестом. – Воля ваша, а возвращаться нам назад никак нельзя. Еще и примера не было, чтобы мы не дошли туда, куда нас послал Алексей Петрович...

– Да что же нам делать? – удивился полковник. – Ведь у нас крыльев нет, чтобы перелететь через этот провал...

– А вот позвольте, ваше высокоблагородие, сделать так, как нас Суворов и Кутузов учили, – и с этими словами, сняв с себя шинель, старый солдат бросил ее в провал.

– А ну, ребята, кидай туда шинеля, – крикнул он остальным егерям.

Сейчас же в обрыв полетели десятки и десятки смятых, скомканных, развернутых шинелей. Перед глазами удивленного полковника дно провала стало заполняться серой грудой шинелей. Вдруг пожилой солдат перекрестился, крепко обхватил руками ружье и, рискуя разбиться о края обрыва, прыгнул в провал.

Молодые солдаты, недавно лишь пришедшие на Кавказ, ахнули, но со дна провала донесся веселый, ободряющий возглас старого кавалера:

– Ничего, ребята, прыгай! Здесь мягко...

И молодые, словно только и ожидали приглашения, последовали его примеру.

На краю обрыва стоял другой, усатый, с седеющими висками унтер-офицер и, не давая задумываться, кричал замешкавшемуся:

– А ну, прыгай! Нечего глядеть под ноги!

Внизу уже было полно копошившихся солдат. Одни стояли на четвереньках, другие лезли на них, третьи, стоя на плечах вторых, уже подтягивались на руках, вылезая на противоположную сторону, где двое или трое наиболее проворных егерей уже тянули за ремни и руки выбиравшихся из провала товарищей.

– Прыгайте и вы, ваше высокоблагородие, – услышал Кравченко возле себя голос седоусого унтер-офицера.

Полковник хотел что-то сказать, но вдруг раздумал, махнул рукой и неожиданно для самого себя легко спрыгнул в провал. Уже стоя на другой стороне, он с удовольствием наблюдал за пожилым солдатом, уверенно и ловко руководившим переправой фальконетов через провал.

– Ты ее ремнем, ремнем крепи, – кричал он батареям, – да легче спускай лоток, а то ядра рассыпешь!



– Как фамилия, кавалер? – спросил его полковник.

– Младший унтерцер Елохин, вашсокблагородие! Второй роты седьмого егерского полка.

– Так где же ты, старина, с Суворовым и Кутузовым встречался? – спросил начальник отряда.

– С его светлостью Александрой Васильевичем не привел господь службу делать... Молод я в те поры был, а с князем Михайлой Ларионовичем, с князем Петр Ивановичем и с его высокопревосходительством Алексей Петровичем мы, ваше высокоблагородие, от Москвы и до Парижу проходили. С нами и вот он был... дружок мой, ефрейтор Кутырев, тоже кавалер и Алексей Петровича знакомец... – И он кивнул головой на стоявшего по ту сторону обрыва усатого солдата.

Кравченко посмотрел на одного, потом на другого солдата. Опершись о ружья, оба старых служивых стояли по сторонам обрыва, и в их подтянуто-четких, но вместе с тем спокойных и свободных позах была уверенность в себе и свойственная только старым кавказским солдатам неприужденность.

– Когда вернемся из похода, явитесь ко мне оба, – сказал полковник.

За камнями гомонили веселые солдатские голоса, отбивал дробь барабан, и батальонный горнист играл «сбор», созывая рассыпавшихся по скалам солдат.

Соединившись с казаками у аула, отряд запер караулами выходы и остановился на пригорке. К полковнику Кравченко уже спешили старики, старшина и мулла аула.

– В аул без приказа не входить! Ослушников накажу своим судом, – громко пообещал полковник. – Нам велено захватить разбойников Абдуллу, Сурхая и прочую сволочь, жителей же не трогать и не обижать.

Услышав эти слова, старики низко поклонились полковнику. Недавний разгром Дады-Юрта был еще в памяти у всех, и эта неожиданная милость обрадовала их.

Жители аула с радостью встретили отряд, уже заранее зарезав и зажарив к приходу русских быка и несколько овец.

– Мы знали, что вы идете к нам, и поэтому выслали навстречу провожатых и заготовили заранее пищу. С русскими у нас мир, а негодяи вроде беледа Абдуллы и его гостей бежали отсюда, как только прослышали о вашем движении, – сказали старики, а старшина при общих возгласах одобрения добавил:

– Мы бы и сами изгнали их отсюда, но что поделаешь! Ведь эти смутяны привели с собой свыше двухсот вооруженных головорезов.

Казачий офицер со взводом солдат и казаков обыскал саклю беледа, но хозяина ее уж и след простыл. Ни его, ни сыновей, ни двух его молодых жен в ауле не оказалось. Третья, старшая жена Абдуллы, женщи-



на лет пятидесяти, выглядевшая значительно старше своих лет, была приведена к полковнику. Она спокойно и не без интереса разглядывала всех.

– Спроси, где ее муж? – приказал полковник.

– А кто его знает, где он. Ты, начальник, его молодых жен спроси об этом, я уже двадцать лет и не вдова, и не жена ему, – подмигнув полковнику, весело сказала старуха.

Не ожидавшие такого ответа, и полковник, и старшина, и старики рассмеялись.

– Не шути, Сафиат, с начальником, – остановил ее мулла, – говори только о деле.

– А для нас, женщин, это и есть главное дело, мулла. У тебя самого четыре жены, и ты лучше других понимаешь это, – еще озорней сказала старуха. Старики, офицеры, солдаты покатались со смеху.

– Тьфу ты, старая дура, мелешь, что придет в твою пустую башку, – сплюнул озадаченный мулла.

– Скажи ей, – кивая на разглядывавшую его женщину, сказал полковник, – пусть спокойно возвращается домой. Обижать ее не будем, ее и так обидел муж.

– Правильно, добрый начальник, – выслушав переводчика, согласилась старуха, – а вот если б ты еще дал мне в мужья кого-нибудь из этих молодцов, – ткнула она пальцем в офицеров, – я бы тебя сто лет добром вспоминала, – под хохот всех присутствующих закончила старуха.

Переночевав в ауле, поговорив со стариками и аульчанами, полковник к общему удовольствию и жителей и солдат двинулся обратно во Внезапную. Солдаты со свистом и выкриками пели плясовую, и объезжавший роты полковник увидел, как один из его недавних знакомых, пожилой солдат с Георгием на груди и серьгой в ухе, приплясывал впереди роты, выделявая немыслимые фортели ногами.

«Молодец! Военная косточка! Такого никакой поход не сломит», – прося от удовольствия, подумал полковник, прищипывая коня.

– Напрасно ты избавил от смерти этого грязного пса! Все равно он как был врагом нашего дела, так и останется им, – недовольно сказал Шамиль, когда Гази-Магомед вошел в саклю Нур-Али.

– Нет, Шамиль, я поступил правильно, – ответил Гази-Магомед. – Если бы он стрелял в тебя или покушался на жизнь любого из мюридов, я бы без колебания казнил его.

Нур-Али, Шамиль, несколько мюридов и вошедший в саклю последним аварец с удивлением слушали имама.

– Но он стрелял в меня, и если б его казнили, то все наши враги, все продажные люди, ненавидящие нас, сказали бы, что он убит мной из мести, что я, подобно ханам, казню моих личных врагов, и этого пустого



и глупого человека они превратили бы в жертву. О нем бы, как о мученике, рассказывали в горах, пели бы песни, превращая этого глупца в сказочного героя, а меня поносили бы как кровопийцу и тирана.

— Ты прав, имам, — тихо сказал аварец, — я был уверен, что ты казнишь бека.

— Разве ты не уехал, Абу-Бекир? — удивился Гази-Магомед. — Ведь ты еще утром собирался ехать.

— Собирался и даже оседлал коня, имам, но, — Абу-Бекир тяжело вздохнул, — я не мог отправиться в путь... Сомнения мучили меня, суд стариков остановил мой отъезд. Я хотел убедиться в том, что ты не кровопийца и выскочка, каким тебя называют наши аварские ханы.

— И ты убедился в этом? — улыбаясь, спросил Гази-Магомед.

— Да, убедился. Я понял, что единственный из всех, кто хочет помочь народу, — это ты, имам. Я был потрясен, когда ты простил елисуйского бека. Никто не ожидал этого, а сейчас, когда я услышал, почему ты сделал так, я понял глубину твоей мудрости! — Он низко поклонился Гази-Магомеду. — Я должен ехать, имам, но позволь мне прежде поговорить с тобой и почтенным Шамилем бен-Дингоу. У меня к вам есть дело.

— Хорошо, брат. Ты человек честный, и я слышу голос твоего сердца.

Мюриды вышли во двор.

— Останься и ты, Нур-Али. Я больше всех виноват перед тобой как перед другом и хозяином дома, приютившим меня, — тихо, с трудом выговорил аварец.

Нур-Али подошел к нему. Шамиль и Гази-Магомед выжидательно посмотрели на аварца.

— Я был у русских. Меня посылала в крепость Грозную ханша Паху-Бике, — медленно начал Абу-Бекир. — Я уже три раза ездил от нее к русским как слуга аварских ханов и их помощник против вас. — Он остановился и, глядя в глаза Гази-Магомеда, так же медленно продолжал: — Я, как и они, ненавидел вас и считал тебя, имам, абреком и смутьяном. Я был убежден, что вы убийцы и бездельники, желающие поживиться добром богатых. Я с радостью взялся отвезти письма Абу-Нуцала и ханши Паху-Бике русским. В этих письмах они обещались заманить тебя, имам, в Хунзах и, заковав в кандалы, передать русским.

Шамиль приподнялся с места, Нур-Али тяжело дышал, и глаза его все сильнее наливались гневом и кровью, Гази-Магомед молча слушал аварца, и на его спокойном, невозмутимом лице не было и тени волнения.

— Я привозил от русских своим ханам золото, я привозил им приказы и письма, я и сейчас везу из Грозной от их главного генерала какое-то письмо. Вот оно, имам, — снимая с головы папаху и разрывая шов подкладки, сказал аварец и вынул смятый, слегка запачканный по краям конверт. — Возьми, имам, прочти и делай с ним и со мною, что найдешь нужным. Мне сейчас стыдно жить.



– Я говорил тебе, друг, что скоро и ты станешь нашим братом и шихом. И видишь, слова мои оправдались. Спасибо тебе, брат, в твоей груди бьется мужественное сердце! О Аллах, радость заполняет меня, когда я вижу, как лучшие люди Дагестана приходят к нашему делу!

Шамиль, все еще настороженный и недоверчивый, взял у аварца конверт.

– Видишь, Шамиль, я был прав, когда день назад сказал тебе, что Абу-Бекир честный и настоящий мусульманин.

– Разве ты подозревал меня? – воскликнул аварец.

– Мы знали, брат, что ты едешь от русских, мы знали, что ты слуга ханши.

– И вы не тронули меня и даже позволили жить под одной крышей! – подавленный этими словами, произнес аварец.

– Да. Шамиль и Рамазан не хотели этого, но и я, и Нур-Али верили тебе и надеялись, что слово Аллаха и наша правда откроют тебе глаза.

– И вы не ошиблись, братья, – дрогнувшим голосом сказал Абу-Бекир.

– Садись, друг, и не вспоминай прошлого, а ты, Шамиль, прочти нам, что пишет ханше русский генерал.

Шамиль осторожно вскрыл конверт и стал читать письмо генерала Розена. В одном месте он улыбнулся и прервал чтение:

– Плохой переводчик у генерала. Арабское слово «муллахак» он путает с кумыкским словом «мульчахак». – Продолжая читать, он на ходу переводил с арабского на общепонятный всем лезгинам язык. Когда он закончил, Гази-Магомед сказал:

– Что ж, Шамиль, ничего нового в этом письме! Сними копию, а его верни Абу-Бекиру. Заклей так, чтобы ханше и ее сыну и в голову не пришло, что мы прочли письмо генерала.

Спустя час аварец уехал. Вечером отряд мюридов во главе с Гази-Магомедом оставил аул.

## Глава 19

Спустя четыре дня после столь постыдного приключения подпоручик Петушков, все такой же хмурый, еще не успокоившийся и злой, был вызван к полковнику Чагину. Писаря, которым все эти дни Петушков не давал ни минуты покоя своими придирками и руганью, вздохнули, когда подпоручик ушел.

– Взял бы черт эту проклятую язву, чума подлая, – глядя ему вслед, сказал один из писарей.

– Ходит словно бешеный, житья от него совсем не стало. Одно слово – подлец! – вздохнул старший из писарей, Антоныч.



– Ему, бают, в княжом доме по сусалам надавали, да не сам князь или кто из господ офицеров, а самые что ни на есть простые мужики, крепостные князя, – шепотом поделился новостью белобрысый писарек.

– Ну, ты помалкивай, мелешь, чего и сам не знаешь! – рассердился Антоныч.

– Да я, Иван Антоныч, повторяю, что другие говорят, – виновато сказал писарь.

– Все говорят, а ответишь за всех ты, – проворчал Антоныч, снова берясь за перо.

Предчувствуя недоброе, Петушков не сразу вошел к полковнику. Он несколько раз взволнованно оправил сюртук, пригладил свой кок и, оглянувшись по сторонам, быстро перекрестился, потом осторожно постучал в дверь. В комнате находились Чагин и Юрасовский. Полковник курил трубку и едва ответил на приветствие Петушкова. Юрасовский только повел глазами.

– Изволили требовать? – наклоня корпус и голову, осведомился подпоручик.

– Да, – выпустив клуб дыма, сказал Чагин, поднимая глаза на Петушкова. Юрасовский молчал и пристально, словно впервые увидел, разглядывал подпоручика, а Петушков, чувствуя себя несчастным и жалким, продолжал стоять все в той же смиренной позе.

– Расскажите, подпоручик, как это вы с крепостными водку пили и в обнимку плясали, – вдруг сказал Чагин.

– Не пил... и не плясал, господин полковник, – пробормотал Петушков.

– И пил, и плясал, и чуть по физиономии не получил. – При каждом слове Юрасовский загибал по пальцу.

– Как честный офицер и дворянин говорю – неправда! – срывающимся голосом воскликнул подпоручик.

Но Чагин движением руки остановил его.

– Дрянной вы офицер, вот что должен сказать вам. И не лгите. Нам все известно: и как вы водку хлестали с мужиками Голицына, и как в слободке с маркитанткой и фурштатдскими солдатами отплясывали.

Кровь залила лицо Петушкова.

– Пьян был, извините, ничего не упомяну...

– И пить надо умеючи, и веселиться с себе подобными, – наставительно заметил Чагин.

– А он и пил с себе подобными, – ехидно вставил Юрасовский.

Петушков поежился и промолчал.

– Ну так вот, нам следовало бы отдать вас за поношение офицерского мундира полковому суду чести и исключить из офицерского звания за бесчестье, кое вы нанесли армии и дворянам. – Чагин поднялся и, вы-



бив свой чубук, продолжал: – Но, учитывая, что вы еще молоды и глупы, а мы с подполковником, – он трубкой указал на Юрасовского, – виноваты в том, что допустили вас до службы в адъютантах отряда и тем самым не доглядели, мы и решили, – Чагин снова уселся и немного помолчал, – предложить вам одно из двух: либо самому подать рапорт с просьбой об увольнении со службы, либо немедленно перевестись от нас в ремонтную или провиантскую роту в Кизляр. Что вам, сударь, наиболее удобно, доложите нам, – попыхивая дымом, закончил полковник.

– Не могу... знать... Сие столь неожиданно и стремительно... – заговорил Петушков. – Позвольте до вечера обдумать.

– Нечего тут думать! – грубо и раздраженно сказал Юрасовский. – Я на месте полковника просто выгнал бы вас с обвинительным аттестатом вон со службы. Решайте немедленно! – И он сердито сдвинул брови.

– В... провиантскую службу, – еле слышно пролепетал Петушков.

– Я говорил вам, Сергей Иванович, что он, – Юрасовский пренебрежительно кивнул на Петушкова, – не токмо что в провиантскую, но даже и в фурштаттскую команду согласится! Хорош офицер – из полка да в интенданты!

Чагин встал и официальным, сухим тоном приказал:

– Отправить подпоручика Петушкова в распоряжение майора Гусева для несения службы в Кизляре по провиантской части. И сделать это возможно скорей!

– Слушаюсь, – ответил Юрасовский. – Кого прикажете на его место в адъютанты?

– Как и было говорено, поручика Родзевича. Каково его состояние?

– Уже оправился от раны и через два-три дня может вступить в должность.

– Все отлично! Отдайте о сем в приказе, а вы, – обратился он к Петушкову, – подготовьте дела к сдаче и отправляйтесь к месту новой службы!

– Слушаюсь! – покорно ответил Петушков.

– Да благодарите Бога, что полковник, – указал на Чагина Юрасовский, – не захотел позорить гарнизон и выносить сор из избы, а то быть бы вам, сударь, в серой шинели. Ступайте!

Петушков вышел. На душе его светлело. Сейчас он даже радовался такому исходу дела.

«Велика беда, провиантский, в стороне от боя, и жить в городе, да и доходы смогут быть немалые!» – рассуждал он, возвращаясь в штаб.

– У вас гости сидят, уж с полчаса как дожидаются, – встретил Небольсина Сеня, его одноклассник и камердинер, сын его кормилицы Агафьи Тихоновны, с детских лет живший вместе с Небольсиным и бывший его наперсником и поверенным.

– Дормидонт? – тихо спросил поручик.



– Он, и с ним Савка, вся родня тут, Александр Николаевич. В темноте запоздно пришли. Говорят, очень нужно.

– Спасибо, Сеня. Посиди у ворот. Если кто придет, говори всем, что я в крепости. Приду поздно.

– Слушаюсь, Александр Николаевич.

В комнате сидели двое, оба крепостные люди Голицына – Дормидонт, родной дядя Ньюши, и ее двоюродный брат, сын Дормидонта, Савка.

– Что-нибудь случилось? – плотно закрывая дверь, взволнованно спросил Небольсин.

– Ничего худого, батюшка барин. Все как было, только слухи до нас дошли, будто уходить отселе станем. Так ли? Ну, всех это, конечно, обрадовало, только племянница всполошилась. В отчаянности она теперь, руки, говорит, на себя наложу, как уходить будем, – покачал головой Дормидонт.

– До крайности дошла Ньюшка. Нет, говорит, больше сил, – горячо сказал Савва.

– Ты уж помалкивай! – сердито оборвал его Дормидонт. – На то мы и пришли сюда, барин, надо что-то сделать. Спасти девку надо.

– Выкрасть – один только сказ и есть, – снова вмешался Савва.

– А как выкрасть? – тихо спросил Небольсин.

– Это дело, барин, возможное. Выкрасть – пустяки, как вот потом укроешь ее? Не к кунакам же подаваться? – раздумчиво сказал Дормидонт.

– Только, ваше благородие Александр Николаевич, одно и есть – выкрасть, а упрятать тоже можно, – возбужденно сказал Савва. – Нам бы лишь за реку, за Терек перейти, а там, – он присвистнул, – легче легкого!

– Помолчал бы ты, разбойник, все тебе легко. А дело-то, сынок, не простое. Подумай, как ее украдешь?

– А очень просто. Нехай она с нами к реке пойдет, а из-за кустов чечены на конях кинутся... Ее на коня, меня по шее, вот и все. А там ищи ветра в поле!

– Молодец ты, Саввушка, правильно рассчитал. Я и сам так надумал сделать. Выкрадем Ньюшу, когда будете на казачьей линии, по станицам идти.

– Значит, взаправду уходим? – спросил Дормидонт.

– Да, только не скоро, наверное, недели через две-три. Я тоже уезжаю, в Тифлис еду.

– Наслышаны мы и об этом, батюшка, очень это Ньюшу огорчило. Потому и послала нас к вам. Пускай, говорит, едет, а я жить без него не буду...

– Глупости... Скажи ей, Дормидонт, что я все обдумал, пусть будет спокойна. Дальше Екатериноградской мы ей уехать не дадим. Ты, Саввушка, зайди ко мне денька через три, я тебе подробно расскажу, что станем делать.





– Вот это по-моему, вот это добре, а то что сестрице Ньюше слезы лить да об петле думать, – обрадовался Савва.

– Чистый абрек, навроде чеченов, прости господи, – любуясь сыном, проговорил Дормидонт. – Ему бы только ружье да пашку!

– А что ж, тятя, разве лучше соха да онучи? Нехай пять лет да свои, чем пятьдесят – да все крепостные!

– Молчи, дурак, – оборвал его Дормидонт, опасливо поглядывая на Небольсина.

– Правильно говорит Савва, – сказал Небольсин, – жизнь в рабах – тяжелая, ужасная жизнь, и пора покончить с нею!

– Дай вам Бог здоровья, батюшка барин, за ваши добрые слова, – вздохнул Дормидонт, – есть и среди бар хорошие люди, только не дал им Господь помочь хрестьянам! Раздавили, сказывают, царские войска хороших людей, в Сибирь да на каторгу послал их Миколай Павлыч...

– И на виселицу, – тихо проговорил Небольсин.

– Вот видишь, тятя, а ты говоришь – терпи... Дождешься, пока самого в кандалы да в железа закуют. Я, батюшка Александр Николаич, так думаю, помогу вам Ньюшку выкрасть, а сам сбегу... Не хочу я в Россию возвращаться...

– А чего ж делать станешь? – с любопытством спросил Дормидонт.

– В казаки пойду или к чеченам подамся!

– Фу ты, басурман, скажешь тоже, к нехристям гололобым, – всплеснул руками Дормидонт.

Небольсин, услыша скрип открываемой калитки, предостерегающе поднял руку. Через окно было слышно, как кто-то окликнул сидевшего у калитки Сеню.

Небольсин узнал Петушкова.

– Никак нет. Они в крепости. Обещались часам к десяти вернуться, – бойко соврал Сеня.

– Та-ак... Ты, любезный, скажи поручику, что я сегодня снова зайду. Дело, передай, имею.

– Вот и об нем, об их благородии, Ньюша велела сказать, – тихо заговорил Дормидонт.

– «Благо-родие», – презрительно протянул Савва, – вы не серчайте, батюшка Александр Николаевич, а такой дрянной человек этот подпоручик, что и слов найти сразу не соберешься.

– Ты помалкивай, Савва, уж в который раз тебе говорю, – остановил его отец, – молод еще людей хаять, а что насчет их благородия Петушкова, это точно... гнилой как есть барин, навроде ореха с червоточиной... – И, пригнувшись к Небольсину, Дормидонт рассказал ему про донос Петушкова.

– Ньюша просила вас остерегаться его. Расскажите, говорит, барину все, что было, нехай знает, какой у него дружок.

– Значит, князь не поверил? – что-то обдумывая, спросил Небольсин.



– Не поверил, да ведь окромя Петушкова никто про нас да про Ньюшу не знает, а он, как увидел, что князь ему не верит, перепугался страсть как и давай отбой бить, я, мол, вроде ошибся, темно было, лица не разглядел...

– Князь ничего не сказал Ньюше?

– Смеялся дюже, дураком и подлецом называл Петушкова.

– А что Ньюша?

– Что? Ахтерка, умеет чего надо показать, как на театре, – засмеялся Савва.

Спустя полчаса Дормидонт с Саввой тихо вышли из хаты.

– Берегите Ньюшу. Расскажите ей все, что мы надумали. А за Терекom сделаем все так, как решили.

– Спасибо тебе, барин, – низко поклонился Небольсину Дормидонт.

– Мы побережем сестру, а ты, барин, не обижай ее, как вместе жить станете, – сурово сказал Савва.

Небольсин остался один.

Новость, принесенная родными Ньюши, разбередила его душу. Поручик не боялся за девушку. Пока он был рядом, возле нее, он сумел бы защитить ее.

– Хватило бы только у нее сил еще немного вынести этот ад, – прошептал Небольсин.

– Александр Николаевич, прикажете засветить огоньку? – входя в комнату, спросил Сеня.

– Зажигай.

– А я гостя от вас отвадил. Подпоручик Петушков приходил. Обещался снова зайти, так как прикажете, Александр Николаевич, допустить его до вас или спать ляжете?

– Пусти, я поздно лягу.

– А что, Александр Николаевич, правду балакают в слободке, будто скоро отселе все, окромя служилых, за Терек уйдут?

– Правда!

– Ох и скучно тут станет тогда, Александр Николаевич! Теперь и то бывает, хочь волком вой от скуки, а какая тогда тоска будет! Хорошо, что мы, спасибо генералу, в Тифлис отселе поедем.

– Да и там, Сеня, особенного веселья не будет, – остановил его Небольсин, – город хоть и большой, да азиатский.

– Что вы, Александр Николаевич, армяне говорят – ба-альшой город, и дома кирпичные, в три этажа есть, а улицы мощеные, и русских полно, ля фам и ле вин боку<sup>1</sup>, насчет веселья – все есть: и театр, и балаганы, и солдатские праздники с каруселями. Опять же христианская сторона, грузины все православные, нашей веры, церкви есть. Разве ж сравнить с этой дырой, прах ее возьми.

<sup>1</sup> Женщин и вина много.



– Ну, в сравнении с Внезапной Тифлис, конечно, столица, все равно как Москва с деревней.

– Вот-вот, я об этом и говорю, – обрадовался Сеня. – Поживем там, Александр Николаевич, годика три, а потом получите вы полковника, и тогда назад, в Москву или в Петербург, а там и жену молодую, княжну какую-нибудь возьмете.

Небольсин смеялся, слушая болтовню Сени.

– Уже нашел, Сеня, свою княжну.

Сеня поднял голову:

– Неужели...

Но Небольсин, остановив его движением руки, проговорил:

– Я с тобой после поговорю об этом, а теперь иди открывая дверь, к нам, кажется, снова идет подпоручик!

Действительно, в калитку негромко стучал Петушков.

– Здравствуйте, Александр Николаевич, – входя в комнату и вешая фуражку на гвоздь, небрежно сказал Петушков.

– Здравствуй, – коротко ответил Небольсин.

– Заходил к тебе давеча, не застал. Был в крепости? Что нового? – не замечая холодного приема, продолжал Петушков.

– Все, как и раньше. А что у тебя, Петушков, как идет твоя жизнь?

– Да вроде по-старому, хотя и есть изменения... Видишь ли, – усаживаясь у стола, развязно начал подпоручик, – наконец боги вняли моим увещаниям, и я, благодаря Аллаха, покидаю сию отвратительную крепость.

– Да-а? – протянул Небольсин. – И куда же направляешь стопы?

– Недалече, но во всяком случае в город. В Кизляр. И уйду с повышением в чине, – соврал Петушков.

– Что ж, третья звездочка сделает тебя совершенным Аполлоном, – серьезно сказал Небольсин.

– Конечно, – согласился подпоручик, – и жалование, и рацион, и прогоны – все уже будет по чину. Так вот я потому-то и зашел к тебе, Небольсин, что, памятуя о долге, о тех восьми червонцах, кои я у тебя позаимствовал... К сожалению, уезжая столь неожиданно, – забывая о только что сказанном, продолжал Петушков, – не смогу тебе, друг любезный, вернуть их, но укажи мне твой адрес, и при первой же почте переведу сей долг.

– Адреса пока не ведаю, так как не предполагаю оставаться в Тифлисе...

– Что ты, что ты, душенька. Надо пользоваться расположением главнокомандующего и, пока он еще в силе, укрепиться в Тифлисе.

– В какую часть переводишься? – перебил Небольсин, которому был неприятен и сам Петушков, и его разговоры.

Подпоручик запнулся и с деланным смехом воскликнул:



– Представь, в провиантские офицеры иду... Ну, как сам понимаешь, чести мало, а... денег много, как поется у Моцарта.

– Да, чести действительно мало, хотя и к чему она тебе! – с нескрываемым презрением сказал Небольсин.

– То есть как это «к чему»? У всякого офицера и дворянина она обязана быть, – обиделся Петушков.

– Мало что «обязана быть», да ведь не у каждого ж она есть, – барабанил по столу пальцами, ответил Небольсин.

Петушков опешил. «Видно, что-то знает», – нерешительно глянув на поручика, подумал он.

– Видишь ли, если ты насчет денег, то извини меня, мон шер, но, находясь в затрудненных обстоятельствах в данный момент, я просто не в силах... но, как честный человек и дворянин, я...

– Перестань паясничать, – сухо перебил Небольсин. – Ты отлично знаешь, о чем я говорю.

«Узнал, подлец, как бы еще чего не случилось!» – опасливо поглядывая на хозяина, подумал подпоручик.

– А об... чем же? – упавшим голосом спросил он.

– О твоём подлом и недостойном поступке, о гнусном доносе князю... вот о чем!

– Прости, прости меня, подлеца, – хрипло, дрогнувшим голосом еле выговорил Петушков. Он робко взглянул на Небольсина и вдруг, рванувшись к нему, рухнул на колени.

– Встань, ты что, с ума сошел, что ли! – Небольсин брезгливо попытался поднять Петушкова. – Не позорь себя, ведь ты же все-таки офицер и мужчина, – тихо сказал он, глядя на струившиеся по лицу Петушкова слезы.

– Какой я офицер, сволочь я, подлец и дурак, – всхлипывая и растирая ладонью по лицу слезы, прошептал Петушков. – Будь я мужчиной, разве ж я перенес бы оскорбления и все издевки над собой! – Он еще раз всхлипнул. – Виноват я, Александр Николаевич, это верно, но и перенес я не дай бог сколько... Оплевал меня князь за мой донос, хамы крепостные, глядя на меня, не только что смеялись, а и куражились надо мной, а теперь из полка выгоняют. Странятся меня все, ровно я собака шелудивая, отшепенец какой или пария... Спасибо Чагину, в провиантские перевел, а то бы и вовсе пулю в лоб.

Как ни подл и мерзок был поступок Петушкова, но Небольсину стало искренне жаль его.

– Успокойся, Ардальон Иванович, – тихо сказал он, придвигая к нему стакан с водой. – Как это случилось? Как ты позволил себе этот донос? – глядя на жалкое, со следами слез лицо Петушкова, спросил он.

Лицо подпоручика дрогнуло.

– Зависть проклятая обуяла, злость такая охватила, когда я тебя с Нюшенькой ночью видел.



– Ты что, любишь ее?

– Не-ет, кабы любил, другое дело. Позавидовал тебе: и любовь, и орден, и Тифлис, и внимание главнокомандующего, все тебе, а мне ничего... а к тому же обидело меня и то, что дурака я тогда с сиренью сваял...

– С какой сиренью? – не понял его Небольсин.

– Ну, с букетами, когда ты сам через меня Ньюше про десять букетов, сиречь десять часов ночи, передал, – опустив голову, пояснил Петушков, – все представлял себе, как вы надо мной, дураком, потешались.

– И не думали, Петушков, даже наоборот, оба, и я и Ньюша, благодарны тебе были.

Петушков еще ниже опустил голову.

– Но я все же отрекся от Ньюши, я Голицыну сказал, что ошибся... что, возможно, это и не она была...

– Я знаю это. Но как же все-таки ты мог это сделать? Ведь князь засек бы ее до смерти... Ты не подумал об этом?

– Зол был очень... прямо возненавидел тебя в те дни, – вздохнул подпоручик.

Минуты две оба молчали, и только фитиль лампы чуть потрескивал в тишине.

– Когда ты едешь? – наконец спросил Небольсин.

– Завтра, – уныло ответил подпоручик.

– Кто назначен адъютантом?

– Родзевич. Я уже сдал ему дела.

Опять наступило молчание. Петушков вздохнул и, поднимаясь с места, неуверенно, с тайной надеждой спросил:

– Ты простишь меня, Саша?

Небольсину была тягостна вся эта сцена. Он видел, что раскаяние и стыд мучат Петушкова, но преодолеть своего отвращения к нему все же не мог.

– Нет! После, может быть, но сейчас, Петушков, нет! – тоже вставая, сказал он.

Лицо подпоручика передернула судорога.

– Я понимаю, я поступил подло... – Он втянул голову в плечи и, съежившись, вышел из комнаты неровными шагами.

Небольсин подошел к окну, но в темноте только стукнула калитка.

– Шерше ля фам? Уй? – спросил вошедший Сеня и, не дождавшись ответа, стал готовить Небольсину постель.

В крепость приехала из Грозной комиссия во главе с генерал-майором Вельяминовым-младшим – родным братом генерал-лейтенанта Вельяминова, начальника штаба и близкого друга Ермолова. Приезд генерала был неожиданным и вызвал много толков в крепости и слободе. Никто не знал причины назначения комиссии, тем не менее самые разнообразные



слухи заполнили Внезапную. Слухи эти сходились в одном: крепость собираются очистить от лишних людей, а «женатые» роты отвести за Терек. Об этом говорили и на базаре, и в Андрей-ауле, и в хатах женатых солдат.

– И слава тебе, Господи, давно пора отселе выбираться. А то завезли в орду, только и видишь одни некрещенные рожи...

– Все ближе к России, хоть казаки и не мужицкого сословия, а все же свои, русские, – подхватывали бабы.

– А жить, дуры, где станете? Тут вам и хаты, и животины всякая, а там чего? – хмуро говорили мужья.

– Ничего. Отстроимся, и тут не сразу в хаты вошли. А худобу с собой погоним, – отвечали бабы.

Помощник генерала Вельяминова инженерный полковник Сургучев, присланный из штаба главнокомандующего для исполнения приказа Ермолова, был человеком дела, сухим, точным и необщительным. Не вдаваясь в излишние разговоры, он тщательно несколько раз обошел и осмотрел крепость, солдатскую слободку, побывал на базаре, посетил Андрей-аул и все время что-то записывал, чертил и вычислял. За инженером неотступно следовали два капитана, сапер и фортификатор, после каждого осмотра подолгу о чем-то советовавшиеся с ним. Обеспокоенные Чагин и Юрасовский пытались разузнать, к каким выводам пришла инженерная комиссия, но приглашенный на обед полковник почти не пил, мало ел и еще меньше говорил, и хитроумный Юрасовский так ничего и не узнал. Спустя трое суток полковник Сургучев, явившись к полковнику Пулло, совершенно официально и твердо заявил ему:

– Слободку необходимо уничтожить. Все солдатские дома срыть, базар, двухэтажное здание офицерского собрания сровнять с землей.

– Ка-как срыть? – ахнул Юрасовский, беспомощно глядя на Сургучева.

– Всенепременно! Мало того, этот сад и деревья, кои заслоняют видимости обозрения и обстрела равнины, срубить. Деревья могут быть прекрасной защитой нападающим на крепость, скроют от обороняющихся противника.

– Да что вы, полковник, кто из местных мошенников решится напасть на крепость? – махнул рукой Пулло.

– Не могу сего знать, но, исполняя приказание главнокомандующего, считаю обязательным для себя настаивать на не-мед-лен-ном... – раздельно и подчеркнуто сказал Сургучев, – выполнении решения нашей комиссии. Честь имею просить коменданта крепости сообщить комиссии, когда будет приступлено к срытию указанных комиссией объектов и в какой срок это будет выполнено?

– Но позвольте, ведь там же более двухсот семейных солдат с женами и детьми, армянские торговцы, мирные кумыки, торгующие с нами.

Генерал Вельяминов, присутствовавший при этом разговоре, поднялся с места и решительно сказал:



– Солдаты с семьями в течение месяца будут переведены за линию, на ту сторону Терека. Как мне было сказано в Грозной его превосходительством генерал-майором Розеном, часть расселится по казачьим станицам, часть будет отправлена в Моздок для усиления русского населения в оном. Армяне же переселятся в Кизляр.

– Да-с, комиссия отца Паисия, – почесал затылок Чагин, – а что же с семьями господ офицеров?

– Согласно приказу Алексея Петровича все должны выехать из Внезапной, и даже раньше, нежели солдатские семьи и торговый сброд, – сказал Вельяминов. – С первой же оказией отправьте полковника Голицына и его людей. Это всеобязательно, и требует исполнения в первую очередь.

– Слушаюсь, – покорно сказал Пулло.

– Опустеет наша Внезапная... И что так разгневался на нас Алексей Петрович? Изгоняет отсюда все то, что оживляло крепость, поистине станем теперь такой дырой, что только одним ссыльным и жить, – сокрушено покачал головой Юрасовский.

– А крепость, сударь мой, позволю доложить, для того и существует, чтобы в ней служить, а не забавляться. Какие могут быть театры и танцы в захолустной крепости? Зачем здесь актеры и балет? – насупившись, произнес Вельяминов.

– Да это уж вы самому князю скажите. Ведь не мы же его приглашали, а он по казенной надобности, в командировке здесь, – обиженно вставил Пулло.

– Кончилась командировка. Вот ему приказ отправиться со всеми принадлежащими ему людьми обратно в Петербург.

– Что ж, Владимира с бантом получил его сиятельство, зачем же ему еще оставаться? – иронически заметил Чагин, и все улыбнулись.

– Князь Голицын уведомлен обо всем. Я уже передал ему приказ Алексея Петровича. С ближайшей оказией он собирается в дорогу, – сказал Вельяминов.

Пулло посмотрел на него, почесал лоб и тихо спросил:

– А когда считаете нужным отправлять семьи господ офицеров?

– Со второй, следующей оказией. На этих днях сюда придут две охранные казачьи сотни, с помощью которых вы эвакуируете всех.

– А «женатые» роты?

– В третью очередь. Охрану в пути будут нести сами солдаты.

– Та-ак, – раздумчиво протянул Чагин, – да, опустеет наша крепость. Видно, и самому придется уходить куда-нибудь за линию.

Никто ничего не ответил на эту фразу, но было видно, что и Юрасовскому, и другим офицерам та же мысль пришла в голову.

# ЧАСТЬ II





## Глава 1

Тифлис, тридцать лет назад разоренный, разграбленный и почти сожженный персидскими полчищами Ага Магомед-шаха, быстро вставал из руин. На месте узких азиатских улочек пролегли широкие, проведенные по плану улицы, на которых уже поднялись трех- и даже четырехэтажные каменные и кирпичные здания. Штаб главнокомандующего, казенные учреждения, офицерские дома, казармы, школы, церкви, магазины придавали центру города европейский вид, а густая зелень садов и виноградников ласкала взор, сообщала этому своеобразному городу весьма живописный вид.

Но стоило чуть отойти в сторону от центра, как картина менялась. Длинные двухэтажные дома с навесами и широкими нависшими над улицей балконами, створчатыми персидскими оконцами и узкими входами преобладали здесь.

По улицам тащились ослы с седоками и грузом, караваны верблюдов, одноколки и продавцы самой различной снеди с огромными круглыми табахи (подносами) на головах. Вопли, выкрики, шум, смех, песни, ругань, ожесточенная торговля из-за одного шаура (пятака), мычание буйволов, рев ослов, звон бубенцов, подвешенных на шеи верблюдов, – все это говорило о близости майдана (базара). Здесь бродили и русские поселенцы, и грузины, жители города, и солдаты, и армяне, и персы, и евреи. Разноголосый, многоязычный гул стоял над базаром, а дымный чад от жарившихся тут же на мангалах (жаровнях) кябабов, хурушей, рыбы и шашлыков стлался в воздухе. Над раскаленными угольями дымились шампуры с кусками баранины и нанизанными помидорами и баклажанами. Рядом торговали обносками одежды и новыми чохами<sup>1</sup>, бешметами, чувяками, тут же сидели нищие, выкрикивавшие молитвы.

Поодаль стучали молотами кузнецы, горланили торговцы, шныряли мальчишки. По запруженной народом улочке базара важно ехал на коне разряженный перс – торговец с красной, выкрашенной хной бородой; проезжал конный казак или, пробиваясь сквозь толпу, со смехом и воз-

---

<sup>1</sup> Черкесками.



гласами проходили русские дамы, сопровождаемые офицерами. Время от времени на богато убранных конях, в окружении двух-трех телохранителей, с гордой осанкой шагом проезжал какой-нибудь грузинский князь.

Недалеко от штаба, ближе к Сололаки, высилось большое здание караван-сарая, тоже торгового центра города, но тут уже и покупатели, и торговцы были другого сорта. Это были люди гораздо более зажиточные и солидные, чем те, которые заполняли майдан. Тут встречались и почтенные грузинские матроны с дочерьми и слугами, и русские чиновники с женами, и внимательно разглядывающие товары полковые дамы. Русская речь перемешивалась с грузинской, армянской и даже с французской.

Тифлис, уже забывший об ужасах и погроме Ага Магомед-шаха, жил весело и беззаботно за штыками русских солдат.

Недалеко от Сионского собора, на повороте узенькой улочки, носившей пышное название «Серебряная улица», стоял длинный двухэтажный кирпично-деревянный дом князя Вано Орбелиани, генерал-лейтенанта русской службы, сослуживца и старого приятеля Ермолова еще по кампании 1812–1813 годов.

Здесь и остановился генерал по своем приезде в Тифлис, думая переехать в казенное здание, именовавшееся «дворцом», через день или два. Сделал он это для того, чтобы выяснить, что говорят в городе о недалеком уже приезде Паскевича. Он хотел узнать, какие новости, местные и петербургские, дошли до тифлисского общества и какие толки и слухи вызвала среди местных чиновников недели три назад выехавшая из Тифлиса через Тавриз в Тегеран миссия князя Меншикова.

Преданные люди уже сообщили Ермолову о том, как возликовала часть русской администрации, услышав о недовольстве царя и о скором приезде Паскевича. Ермолов был не так прост, каким хотел казаться. Некоторая его грубоватость и откровенность в разговоре была не более как манерой, за которой скрывался очень умный и, когда это было необходимо, тонкий и дальновидный политик, мстительный и злой в своем остроумии человек.

И сейчас, когда решалось: быть ли ему еще год-два «проконсулом Кавказа», хозяином армии и края, он хотел знать, кто остался ему другом и кто уже переметнулся в стан врагов.

Мысль о войне с Персией ни на минуту не оставляла главнокомандующего. Он знал, что, начнись не сегодня завтра персидская кампания, царь, так жаждавший убрать с Кавказа ненавистного ему Ермолова, не решится в такой сложный момент отозвать его, опытного, лучше всех знавшего местные условия генерала.

О приезде Ермолова еще не знали в городе и ожидали его со дня на день. Долгий путь через горы утомил генерала, и хоть он и не показы-



вал этого, но и князь Ваню, и княгиня Анастасия, старые друзья Ермолова, заметили. По суворовскому обычаю, которому он весьма охотно следовал, генерал дважды окатил себя свежей, только что принесенной с Куры водой. Скинув не очень свободный китель, он облачился в мягкий, спокойный бешмет с накладными газырями и генеральскими эполетами на плечах. Узкий ремень с простым дагестанским кинжалом облегал его талию. Синие казацкие шаровары на очкуре и мягкие ноговицы довершали костюм главнокомандующего.

— Спать надо, Алексей Петрович, отдохнуть после дороги, — сказал Орбелиани, после того как Ермолов, закусив и опрокинув две добрые «чепурки» тонкого цинандальского вина, усевшись с ногами на тахту, закурил свою трубку — чубучок, как называл ее сам.

— Соснем ввечеру, князь Ваню, а пока поговорить надо... Дела не ждут, чай сам знаешь, откуда беда надвигается.

Орбелиани только молча кивнул. Оба генерала, связанные старой, испытанной дружбой, прошедшие вместе десяток боевых лет, хорошо знали и уважали друг друга.

— Как дочка, как Арчил? Я слышал, будто его в поручики пожаловали? — пуская колечки дыма, спросил Ермолов.

— Маро здорова, растет, скоро на балы выезжать будет, а насчет Арчила — не слышал, — осторожно ответил Орбелиани.

— Как же, произведен! С монаршей милостью тебя, князь Ваню... Со мной и приказ прибыл.

Орбелиани молча поклонился и крепко пожал руку Ермолову.

— Больно быстро идет вверх, так, гляди, через пять лет он и нас с вами, Алексей Петрович, обгонит, — не скрывая отцовской радости, сказал Орбелиани.

— Этого не боюсь, князь Ваню, и наипаче потому, что не через пять лет, а думаю, через год меня тут не будет.

Орбелиани тревожно и ожидающе поднял брови.

— Паскевич сюда едет... в помощники Ермолову, — саркастически улыбаясь, проговорил Ермолов. — Здесь об этом говорят?

— Говорят, Алексей Петрович, да правда ли это? — взволнованно спросил Орбелиани, и по его красивому, мужественному лицу прошла тень.

— Верно, князь, куда уж вернее. Письма имею об этом, ну да уж бог с ним, займемся делами. Пока что еще я здесь «проконсул Кавказа» и я отвечаю перед Богом и Россией за ее будущее на Кавказе...

Княгиня Анастасия уже дважды посылала на мужскую половину дома своего племянника, пятнадцатилетнего юнкера милиции князя Амилахвари, но молодой человек оба раза возвращался к княгине:

— Разговаривают... Генерал что-то пишет, спрашивает дядю, потом оба весело смеются и опять о чем-то говорят...



Дверь открылась, и сквозь отброшенную в сторону занавеску пополз синий табачный дым, показалась голова хозяина и за ним крупная фигура генерала.

– Не сердись, хозяйюшка-княгиня, что уморил муженька разговорами да расспросами... Любопытен я очень, ровно старая дева, – смеясь, сказал Ермолов, идя навстречу княгине Анастасии.

– Что там за шум? – поднимая голову и вслушиваясь в какой-то неясный гул, спросил Ермолов, подходя к окну.

– Что за народ! С утра их гонят прочь от дома, все равно не уходят! – покачивая головой, улыбнулся юнкер.

– Кого гонят? – вопросительно посмотрел на Орбелиани Ермолов.

– Народ... Купцы, ремесленники, подрядчики... армяне, грузины, есть и татары, но больше армян, – махнув рукой, сказал Орбелиани.

– Чего им надобно? Ба, да там и духовенство... вот тебе и инкогнито, – засмеялся Ермолов. – Я чаял, любезный друг, что, кроме Вельяминова да тебя, никто о моем приезде и не ведает, а оказывается, весь Тифлис тут... Ну-с, чего они собрались?

– Жаловаться пришли, Алексей Петрович... Все на тех же разбойников, Ваньку-Каина и Чекалова... Нет от этих негодяев житья людям, – уже серьезно сказал Орбелиани. – Давеча говорил я вам о том, какими поборами и взятками обложили они купцов, а сейчас, сами видите, весь караван-сарай да Сололаки собрались у дома.

– Что ж... Выйдем! Надо поговорить с людьми, – секунду подумав, сказал Ермолов и в сопровождении Орбелиани, его племянника и двух княжеских слуг вышел на широкий балкон.

Толпа, запрудившая узкую улочку, завидя генерала, смолкла, люди обнажили головы, кое-кто поклонился; все молчали в напряженном ожидании.

– Здравствуйте, добрые тифлисцы! – негромко, но очень отчетливо произнес Ермолов.

– Гамарджобат, салам, издрасти, барев! – ответили ему.

Толпа разом опустилась на колени, а стоявший впереди всех пожилой, рослый и красивый армянский купец в вышитом архалуке протянул к генералу руки с большим, совершенно голым, ощипанным петухом. Лишь пышный хвост да красный гребень украшали петуха, испуганно и жалко поведившего по сторонам глазами. Толпа, не поднимаясь с колен, с надеждой и мольбой смотрела на главнокомандующего.

Ермолов в удивлении достал из кармана очки, протер их и снова положил в футляр.

– Что это за ярмарка? – тихо спросил он и, не давая ответить Орбелиани, произнес: – Надо идти к ним, – и широким солдатским шагом сошел вниз.



– Встаньте! – громко, как на учении, выкрикнул он.

Никто не шелохнулся.

– Они не встанут. Таков обычай. Они пришли с жалобой, – пояснил Орбелиани.

– Правильно, высокий генерал. Они не поднимутся до тех пор, пока вы не выслушаете не жалобу, нет, а вопль, слезы души, – по-русски сказал священник-армянин, стоявший рядом с высоким купцом, державшим петуха.

– Говорите, батюшка! – не без любопытства оглядывая всю эту необыкновенную картину, сказал Ермолов.

Купец шагнул вперед и громко заговорил, священник-армянин так же громко, убедительно и отчетливо повторял уже по-русски его слова:

– Великий сардар и покровитель местных христиан, подданных белого царя! Мы, честные люди, торговцы, купцы, подрядчики, земле- и домовладельцы Тифлиса, трудимся в поте лица, чтобы развивать торговлю и ремесла, кормить армию и народ и тем, по мере сил, помочь Российскому государству, подданными которого мы состоим. Но взгляни на этого петуха. Что может сделать подобная голая, оципанная, несчастная птица? Она уже не муж курам и не отец цыплятам. Этот петух не в силах нести свои петуховские обязанности, он должен сдохнуть, так же и мы. Нас так же наголо и до последнего пера оципали бессовестные начальники, и мы, подобно этому петуху, сдохнем, если ты, великий сардар, не поможешь нам и не избавишь Тифлис от жуликов, взяточников и воров.

Лицо Ермолова посерело, затем краска покрыла его полные, одутловатые щеки, и он хрипло спросил:

– Кто они?

– Главные... Чекалов, полицеймейстер Булгаков и майор Иван Корганов, – спокойно и твердо сказал священник.

И все стоявшие на коленях закричали:

– Они! Помоги нам, сардар Ярмол!

– Я сделаю все, что нужно, а теперь встаньте, – грозно крикнул Ермолов и обратился к священнику: – Батюшка, завтра вас и еще двух представителей от купечества и горожан Тифлиса жду к себе, в канцелярию штаба, к десяти часам утра.

– Яшасун, ва́ш, шноракалем! Ура! – разноголосо закричала толпа, поднимаясь на ноги и возгласами удовлетворения провожая поднимавшегося наверх в дом Ермолова.

– Пошли мальчика за князем Багратион-Мухранским и Мадатовым, да найдите сейчас же этого бездельника Арчила. Пусть немедленно явится сюда! Скажи, генерал приехал... – сказал по-грузински племяннику Орбелиани, пропуская вперед Ермолова, шедшего к ожидавшей их княгине.



Спустя полчаса к дому старого князя Орбелиани, сопровождаемый четырьмя сыновьями и несколькими конными слугами, приехал князь Константин Багратион-Мухранский, губернский предводитель дворянства, один из наиболее уважаемых и почтенных грузинских князей. За ним на взмыленном жеребце прискакал Арчил Орбелиани, корнет Нижегородского драгунского полка, которого посланные отцом люди нашли кутящим вместе с другими офицерами в одном из духанов возле Куры.

Вскоре прибыл и генерал-майор князь Вано Эристов, ранее командовавший 2-й бригадой 20-й пехотной дивизии, а ныне причисленный к штабу главнокомандующего и ведавший конными грузинскими дружинами Карталинии и Кахетии. Этого генерала особенно любил Ермолов и неоднократно отлично аттестовал его перед военным министром и главным штабом в Петербурге.

Позже всех приехал князь Валерьян Григорьевич Мадатов, генерал-майор, старый друг и сподвижник Ермолова, делавший вместе с ним наполеоновские войны и поход на Париж. Мадатов был болен «ногами», как определил болезнь лечивший его доктор Ган. Запущенный ревматизм и геморрой, обычные спутники кавалериста, мучили генерала, и он собирался в ближайшее время отправиться на воды, в Пятигорск.

Вместе с ним приехал и генерал-лейтенант Алексей Александрович Вельяминов 1-й, приятель и единомышленник Ермолова, встретивший главнокомандующего еще вчера во Мцхете и вместе с ним приехавший в Тифлис.

Деловая беседа продолжалась долго, и гости разъехались во втором часу.

Над Тифлисом стояла жаркая, душная ночь. Звезды, яркие и большие, точно пчелы в ульях, роились в черном небе, нависшем над городом. С Мтацминды чуть набегал прохладный ветерок, со стороны Метеха время от времени раздавались приглушенные рокотом Куры голоса перекликавшихся часовых: «Слушай!» Веселые звуки зурны, частые удары в бубен и стук дооли<sup>1</sup> встретили разъезжавшихся с совещания генералов.

Мадатов, живой и веселый армянин, отчаянный рубака и забулдыга, приятель Дениса Давыдова, знавший на вкус чуть ли не все вина и водки стран, через которые он проходил в Отечественную войну, остановился и, вынимая уже занесенную в стремя ногу, оглянулся по сторонам. Окруженные провожатыми Багратион и Эристов сворачивали за угол кривой улицы. Оттуда доносилось мерное хлопанье в ладоши.

— Где? — кивнув в сторону, откуда слышалось оно, спросил Мадатов молодого князя Арчила, вышедшего проводить гостя до ворот.

— На майдане. Свадьба сегодня: Асламазьян, что черкески для казаков и офицеров пьет, дочку свою выдает за телавского армянина...

<sup>1</sup> Барабан.



– Асламазьян Карапет? – переспросил Мадатов. – Э-э, ведь это мой приятель, он старый жулик, немало с меня рублей содрал за свои паршивые черкески...

Теплый ветерок сонно пробежал над домами.

Звуки зурны и крики «Таш!» раздались ближе.

– Как ты думаешь, Арчил? – серьезно спросил Мадатов.

– Наказать старого жулика, ваше превосходительство! – сказал Арчил.

Они захохотали, и генерал, забыв о своих болезнях и предстоящем лечении, легко вскочил в седло.

Арчил, Мадатов и постоянный спутник генерала ротмистр Габаев, сопровождаемые казаками, широким наметом поскакали к майдану.

Топот конских копыт стих, и только веселые звуки зурны, пистолетные выстрелы да шум Куры раздавались в тишине.

– Веселый человек и войстину отважный! – сказал Ермолов старому князю, глядя вслед умчавшейся кавалькаде.

Они стояли на плоской, затемненной чинарой крыше дома в расстегнутых бешметах, в надетых на босу ногу чувяках.

– Гусар! – коротко ответил Орбелиани, и в его словах прозвучало уважение к этому лихому и беспшибашному генералу.

На следующий день Ермолов переехал в свой недавно отстроенный дворец, помещавшийся на Посольской площади. Уведомленный о его приезде тифлисский гражданский губернатор генерал-майор фон Ховен приехал к одиннадцати часам дня с докладом о делах и положении в городе. Ермолов молча, не прерывая, выслушал его доклад и коротко спросил:

– А ведомо ли вам, Отто Карлович, о том, как строятся торговые ряды и русский квартал над Курою?

– Так точно, Алексей Петрович. Ряды уже заканчиваются, а русский квартал к осени кончим.

– Военное дело, равно как и денежное, точность любит, в этом их суть, Отто Карлович, тут и одно и другое в едином состоят... а вы как цыганская гадалка отвечаете. К осени!.. – недовольно повторил Ермолов. – В здешних краях осенью все время с сентября по самый декабрь считать можно, так в какой же из сих месяцев закончат строить?

– К... октябрю, – наугад сказал Ховен.

– Так-с... будем считать, что к октябрю. А ведомо ли вам, что строители эти вышли из сметы на восемьдесят с лишним тысяч?

– Ведомо... – повторил губернатор, впервые услышавший об этом.

– А коли ведомо, то кто и чем покрывать будет перерасход по работам? – поднимая острые, сердитые глаза из-под лохматых нависших бровей, спросил главнокомандующий.

Губернатор молчал.

– Опять на местные доходы, на городские и губернские обложения надеетесь?





Фон Ховен тупо посмотрел на Ермолова и неуверенно сказал:

– Сегодня же, ваше высокопревосходительство, прикажу выяснить, как сие получилось и в чем состоят оному причины.

– Могу сказать сейчас, Отто Карлович. Первая и основная причина сему – воровство. У них там ворует всякий, кому не лень, а вторая причина – попустительство властей. Ведь вы сами один только раз побывали на стройке?

– Один! – односложно ответил Ховен.

– И то месяца три назад, а поставленный следить за делом подполковник Зарубин спился, и за него ведут дело жулики и воры!

– Корганов лишь неделю назад докладывал совету...

– Майор Корганов – суть первый вор, сукин сын и негодяй! И, не носи он офицерского мундира, я бы его публично выпорол сегодня же посередине майдана!

Ермолов встал. Фон Ховен тоже быстро поднялся.

– Майора Корганова отстранить от дел и вызвать завтра ко мне! Прошу вас, Отто Карлович, присутствовать при этом и к завтраму доложить о преступлениях подчиненных вам полицеймейстера Булгакова, приставов Накашидзе, Лапшина и Иванова третьего. Вот дела о них. Разберитесь.

– Слушаюсь! – ответил Ховен.

– Кстати, как вы разумеете деятельность господина Чекалова? – пройдя по комнате, остановился Ермолов.

– Председателя Уголовно-контрольной палаты края? – спросил губернатор.

– Да!

– Почитаю ее вредной для дела российской короны и ходатайствовал бы о замене статского советника Чекалова другим, более достойным человеком.

– А чем скрепляет ваше ходатайство?

– Жалобами всех слоев общества, от черного народа и до самых влиятельных князей! Неправедные суды и приговоры, лихоимство и мерзости творятся в делах Контрольной палаты, и я не в силах пресечь оные безобразия, ибо ведомство сие не подчинено мне по закону.

– О каких беззакониях говорите? – спросил Ермолов, сядя на тахту с мутаками, стоявшую у окна. – Да садитесь, Отто Карлович, ведь сейчас я вас не как главнокомандующий спрашиваю, а как человек, который вроде вас стоял возле жуликов и проходимцев и вовремя не заметил их преступлений. Воровали они, а отвечаем и мы с вами, ведь они – власть здешняя, силу и могущество имеют, для управления здешних народов верою и правдою поставлены, и оба мы и Вельяминов прохлопали мошенства, кои нашими чиновниками и офицерами содеяны. Вы думаете, можно убедить князей и дворян здешних, что ни Ермолов, ни вы, ни Вельями-



нов не токмо что рублем не повинны в сих поступках, а даже и не знали об этом? Да никто не поверит, и правы будут! Начальник должен все знать и все видеть. Ежели ж он слеп, то или дурак или вор!

Щеки фон Ховена побелели, он вздрогнул и, поднимаясь со стула, сдавленным, взволнованным голосом сказал:

– Ваше высокопревосходительство, я чаю, что вы не приписываете сих качеств мне...

– Второго – ни в коем разе, милейший Отто Карлович. А за правду прошу не обижаться. Все мы оказались в дураках, а я – главным образом. Надеюсь, что сей случай послужит нам на пользу. Впереди большие события, и снова ошибаться нельзя. Не позволят ни долг, ни совесть! Извините за горькие слова, но мы их с вами заслужили. А теперь, – главнокомандующий встал, – прошу к завтраму приготовить доклад о беззакониях, чинимых в Контрольной палате. Надеюсь, что сделано сие будет в строжайшей тайне!

Ермолов, сопровождаемый конвойным казаком, сошел к экипажу, в котором уже ждал его Мадатов.

– В Контрольную палату! – приказал он кучеру, усаживаясь рядом с Мадатовым. – Поедем, князь, незванными гостями к обер-жулику и вору!

– Остановись у входа! – сказал Ермолов, трогая за рукав черкески конвойного казака, сидевшего рядом с кучером.

Коляска остановилась около калитки губернской Уголовно-контрольной палаты. Казак соскочил с козел и помог грузно вылезавшему из экипажа генералу. За ним сошел и Мадатов. Ермолов огляделся и, завидя остановившегося у калитки унтера, с любопытством и изумлением глядевшего на главнокомандующего, пальцем поманил его к себе. Унтер рванулся с места и бегом подлетел к нему.

– Чего изволите, ваше высокопревосходительство? – во весь голос начал было он, но Ермолов остановил его.

– Не надо! Проводи-ка лучше, братец, внутрь...

– Слушаюсь, ваше высокопревосходительство, – тихо ответил унтер, открывая калитку и пропуская вперед начальство.

– Может, ваше высокопревосходительство, через парадную пожалуйста?

– Нет, братец, именно через черный ход... Что там такое? – прислушиваясь к какому-то шуму, спросил Ермолов.

Унтер-офицер, пожилой человек с медалью «За усердие», негромко доложил:

– Солдатики бьют... – Он спохватился и торопливо поправился: – Наказуют, ваше высокопревосходительство!

– Кто? – сдвинул брови генерал.

– Их высокоблагородие господин Чекалов.



– За что? – удивился Мадатов.

– Солдатик, ваше превосходительство, молодой, первого году, еще глупой, ну, назвал их высокоблагородие господином чиновником, тот его и учит...

Со двора доносились удары, сдержанный стон и чей-то хриплый, озлобленный голос:

– Я государю моему статский советник, мерзавец ты этакий, я тебе не господин чиновник, а ваше превосходительство!

Ермолов шагнул вперед и остановился перед стоявшим «во фронт» солдатом, по лицу которого текли слезы, а из разбитого носа капала кровь. При каждом ударе солдат дергал головой, жмурился и беспомощно всхлипывал. Спина к Ермолову стоял сам Чекалов в чиновничьем мундире с закатанным по локоть правым рукавом. При словах «статский советник», «чиновник» и «мерзавец» он сильно и размашисто ударял по лицу плакавшего солдата. Возле них на табуретке сидел карабинерный поручик, на коленях которого стояла миска с вишнями. Офицер равнодушно взирал на избивание солдата. Выбрав вишню позрелее, он клал ее в рот и, с удовольствием надув щеки, выплевывал косточки, долетавшие до избиваемого солдата.

– Повторяй за мной, мерзавец, «ваше пре-вос-хо-ди-тель-ство», а не «господин чиновник», – размахиваясь и нанося удар, сказал Чекалов.

– Что это такое? – раздалось за его спиной.

Статский советник недовольно оглянулся, а офицер, уронив на землю миску с вишнями, вскочил и громко, на весь двор, закричал:

– Сми-рно!..

Чекалов, озадаченно смотревший на Ермолова, вдруг узнал его и тонким и ележным голосом воскликнул:

– Извините, ваше высокопревосходительство... что застали в такую, как бы сказать, неприятную минуту... что делать... учу подлеца приличию...

– Он что, ваш подчиненный? – спросил Ермолов.

– Никак нет... то есть временно прикомандированный к моему ведомству... караульный Контрольной палаты.

– Я вас спрашиваю, милостивый государь, он кто, ваш крепостной?

– Никак нет... солдат из караула...

– Разрешите доложить, ваше высокопревосходительство, это солдат моей полуроты, присланный на недельную караульную службу по охране губернской Контрольной палаты! – вытягиваясь, прокричал поручик.

– Кто таков? – коротко спросил Ермолов.

– Третьего карабинерного полка поручик Трошин! – пяля на генерала глаза и краснея от натуги, закричал офицер.

– Ваш солдат? – указал на помертвевшего от страха рядового Ермолов.

– Так точно, ваше высокопревосходительство, моей полуроты!



– Стой «вольно», оботри лицо! – повернувшись к солдату, сказал Ермолов.

Солдат нерешительно переступил с ноги на ногу, не сводя глаз с генерала.

– Кто есть солдат? Отвечай, как сказано о сем в уставе? – хмуро глядя на офицера, спросил Ермолов.

– Со...солдат есть лицо казенное, слуга госу... государев... – начал было поручик.

– Врете! – перебил его Ермолов. – Начинайте снова.

– Солдат есть лицо казенное, неприкосновенное, слуга государев и защитник родины... – забормотал громкой скороговоркой поручик.

– Довольно! Итак, в уставе покойного императора Петра Первого сказано, что солдат «есть лицо не-прикос-новенное», – медленно, с расстановкой, произнес Ермолов, – и его по закону разрешается бить и проводить сквозь строй лишь по суду и определению военного суда командира отдельной части. А вы кто будете, милостивый государь? – вдруг резко повернулся к Чекалову Ермолов.

– Управляющий Контрольной палатой статский советник Чекалов... я... ваше высокопревосходительство... вы же знаете меня... – растерялся Чекалов.

– За что избиваете солдата?

– Не самолично, ваше высокопревосходительство, а с их разрешения, – указал на поручика Чекалов.

– Верно? – поинтересовался генерал.

– Так точно, позволил наказать самолично их превосходительству за дурное поведение сего весьма скверного в поступках солдата, – испуганно доложил поручик.

– Какому «превосходительству»? – с явным пренебрежением спросил Ермолов.

– Мне то есть, – объяснил Чекалов.

– А вы, сударь, без вопросов, вам мною задаваемых, в разговор мой с военнслужащим не вступайте! – оборвал его генерал. – А ну, принеси воды, живо! – крикнул он офицеру.

Тот бегом бросился в дом, а Ермолов повернулся к Мадатову:

– Сейчас поедем обратно! – И, не обращая внимания на Чекалова, растерянно взиравшего на него, спросил солдата: – Как фамилия?

– Сусекин, ваше высокопревосходительство, третьего карабинерного полка!

– За что измордовали?

Солдат вздрогнул и испуганно повел глазами на Чекалова.

– Виноват, ваше высокопревосходительство, я иху милость господином чиновником назвал... ошибся, первого года службы... – втягивая голову в плечи, пробормотал он.



– Изволите налить?– запыхавшись от бега и держа в руках кувшин с водою и стакан, спросил поручик.

– Полей ему! – кивнул Ермолов на солдата.

Поручик открыл рот, солдат в страхе скосил на него глаза.

– Умойся, Сусекин, и потом иди обратно в роту! Скажешь, главнокомандующий генерал Ермолов дал тебе отпуск на три дни, да вот, голубчик, возьми ассигнацию, – вынимая из кармана пятирублевую бумажку, сказал Ермолов.

– Ну, поливайте воду! – сверкнул он на поручика глазами.

Поручик стал торопливо поливать на руки солдату.

– Умылся? Теперь иди в роту, а вы, – обернулся Ермолов к трясущемуся поручику, – напишите о моем приказе командиру роты, а сами завтра пополудни... ровно в двенадцать часов дни, ко мне, в штаб... И вы, сударь, в тот же час явитесь ко мне без опоздания, – глядя на поникшего Чекалова, сказал Ермолов.

– Ваше высокопревосходительство, может, пожалуете в горницу, тут и через черный ход прилично, – засуетился Чекалов, но Ермолов так грозно и выразительно поглядел на него, что статский советник осекся и замолчал.

Главнокомандующий молча пошел обратно к калитке, сопровождаемый унтер-офицером. Когда он выходил на улицу, возле коляски была огромная толпа жителей, армян и грузин, через забор и щели наблюдавших всю эту картину.

Как по команде, все обнажили головы.

Ермолов и Мадатов в полном молчании уселись в коляску. Кучер тронул вожжи, и лошади рванули.

– Да-с! Теперь будет им кануперу от Алексей Петровича, – вполголоса удовлетворенно проговорил унтер.

Кабинет генерала был во втором этаже, и, несмотря на жаркий тифлисский день, в нем было довольно прохладно. Пахло свежей масляной краской.

Ермолов, губернатор Тифлиса фон Ховен и генерал Вельяминов сидели за широким и низким столом, заваленным бумагами.

Вельяминов читал бумаги и откладывал одну за другой прочитанные.

– Ну-с, господа, начнем беседу. Прошу вас, Отто Карлович, – обратился Ермолов к фон Ховену.

– Что ж, Алексей Петрович, беседа наша будет горька, а тема ее при-  
скорбна. Все подтвердилось: статский советник Чекалов суть мошенник и лихоимец. – Фон Ховен сокрушенно развел руками и горестно продолжал: – То же скажу и о полицеймейстере Булгакове и приставах Накашидзе, Лапшине и Иванове третьем – взяточники и воры, корысть и лихоимство коих не имеют границ... Вот обличающие их документы, – ука-



зал он на кипу бумаг, которые читал Вельяминов. Тот кивнул головой. Ермолов молчал. – И, Алексей Петрович, конечно, я первый, как начальник оных мошенников, несу ответственность за свою слепоту и оплошность, – закончил губернатор.

– Все мы повинны в этом, и все вместе станем расхлебывать кашу, – глухо ответил Ермолов. – Ну, а Ванька-Каин? Какие о нем...

– Главнейший наиподлец и негодяй. Местные армяне отрекаются от сего подлеца и вора... – сказал Вельяминов.

– Да, этот грабитель похлеще и поумней остальных будет... – улыбнулся Ховен.

– Ему же и кнут похлеще! Он здесь?

– Так точно, Алексей Петрович, дожидается в адъютантской.

– Позвать мерзавца!

В кабинет вошел невысокого роста майор с хитрым и умным лицом и настороженным взглядом. Он молодцевато стукнул каблуками и, вытянувшись «во фронт», четко доложил:

– Ваше высокопревосходительство, майор Корганов по вашему приказанию явился!

Вельяминов молча и испытующе смотрел на него, фон Ховен, не желая встречаться с ним взглядом, хмуро отвел в сторону глаза. Ермолов, приложив к уху ладонь, переспросил:

– Кто явился?

– Майор Корганов... – начал было вошедший.

– Сук-кин ты сын, вор и мошенник, подлец, бестия и взяточник, а не майор, – поднося кулаки к самому лицу Корганова, хрипло проговорил Ермолов. – В солдаты, в серую шинель, в дисциплинарный батальон за гоню вора!

Вельяминов все так же молча разглядывал майора; губернатор, обескураженный столь резкими словами Ермолова, хотел что-то сказать, но Вельяминов тронул его за руку.

– Что молчишь, или нет слов оправдаться? – заходя в комнату, уже спокойнее спросил генерал.

– Ошеломлен, ваше высокопревосходительство, убит и раздавлен вашей немилостью... вижу, оклеветали меня враги перед вами, – сокрушенно сказал майор, и по его хитрому лицу пробежала скорбная тень.

– Оклеветали? – переспросил Ермолов.

Майор молча кивнул.

– Докажи! – поднял на него злые, колющие глаза Ермолов.

– Я знаю, это купцы Парсеговы, мои наследственные враги, к вам народ подослали... и еще Мелик-Бегляр, купеческий староста...

– Тоже кровник? – усмехнулся Ермолов.

– Так точно... Он моей головы жаждет, мое разорение или смерть для него – счастье.



– А священник Тер-Акопов тоже кровник? – спросил Вельяминов.

Этот тертер<sup>1</sup> безбожник! Парсеговы за деньги подкупили этого проходимца, – нагло и уверенно отвечал Корганов.

– Ну-с, а почему деньги в сумме четырех тысяч рублей, которые были переданы вам князьями Вачнадзе и Палавандишвили для сдачи в казначейство, остались у вас и не сданы в казну по сей день?

– Врут князья, ваше высокопревосходительство, ничего от них не получал! Ложь и клевета, истинный бог, правда! – воскликнул Корганов.

– Есть свидетели, целых семеро, при которых были переданы вам деньги, и вот их свидетельства, – проговорил Вельяминов.

– Лжесвидетели, видит бог, врут, да и какую силу могут иметь их свидетельства? Ведь это крепостные люди князей Палавандишвили.

– Та-ак, – протянул Ермолов. – Я ведь не говорил, кто эти люди. Откуда же вы, честный, оклеветанный человек, знаете, что это крепостные? Значит, они все-таки присутствовали при этом?

Корганов, опешив, переводил глаза с Ермолова на Вельяминова.

– Догадался, ваше высокопревосходительство, – вдруг спохватился он.

– И нетрудно догадаться, коли они тут же были, – ехидно сказал Ермолов. – Ну, а куда делись другие четыре тысячи, собранные торговцами Авлабара для постройки моста через Куру?

– А-а, – мило улыбнулся Корганов, – действительно есть такая сумма. Как только начнутся работы, деньги будут внесены... они...

– А сейчас они где?

– Пока у меня.

– Так, ну а две с половиной, которые вы, запугав сололакских торговцев, прикарманили? Где они?

– Внес в казначейство, ваше высокопревосходительство. Вот и квитанция! – поспешно вынимая из кармана квитанцию, воскликнул майор.

Ермолов взял бумагу и тщательно оглядел ее.

– Действительно, внесены. Только как же это произошло, милейший? Деньги эти взяты вами полгода назад, а внесены только сегодня?

– Виноват, ваше высокопревосходительство, употребил их на разные хозяйственные нужды!

– Вы знаете, как вас называют в обществе и в народе? – спросил Вельяминов.

– Знаю – Ванька-Каин, – мягко улыбнулся Корганов. – Так это ж, ваше превосходительство, обидчики мои так называли!

– Хватит, – прервал Ермолов, – этому господину плюй в глаза – все божья роса. Вот что, майор Корганов, властью, предоставленной мне государем императором, отрешаю вас от должности, арестовываю строгим

<sup>1</sup> Священник.



арестом на тридцать суток гауптвахты. Ежели в течение трех суток вы не возвратите казне украденные из нее деньги, а обществам и частным лицам – всего, что преступно взяли, будете преданы суду, а это, как понимаете сами, пахнет скверно. По истечении ареста подайте рапорт об увольнении вас со службы.

– Слушаюсь, ваше высокопревосходительство, – уныло промолвил Корганов.

– Идите! – коротко сказал Ермолов.

Корганов испуганно выскочил из кабинета.

В коридоре уже прохаживался Чекалов. У самых дверей взволнованно ожидал вызова поручик Трошин, возле него стоял полицеймейстер Булгаков.

– Как зверь, рычит и кусается, – ответил на вопрос Чекалова Корганов. – Вам-то хорошо, вы после меня, а я-то первый!

– Господь знает, что лучше: первым или последним, – покачал головой Чекалов.

– Да-с, всем достанется, – убежденно произнес полицеймейстер.

– Статский советник господин Чекалов и их благородие поручик Трошин! – появившись в дверях, пригласил дежурный казак.

– Чекалов, подняв голову с остроконечной, рыжеватой бородкой, прошел первым. За ним неуверенно и робко шагнул Трошин.

– Честь имею явиться, ваше высокопревосходительство, – отвечивая Ермолову и остальным поклон, любезно сказал Чекалов.

– Здравствуйте, – буркнул генерал, остальные молча поклонились.

– Ваш офицер? – указывая на онемевшего поручика, спросил Ермолов полковника, стоявшего возле стола.

– Так точно, ваше высокопревосходительство, поручик Трошин третьей роты моего полка, – поспешно подтвердил полковник.

– Как аттестуете его?

– Офицер средних качеств и свойств, ваше высокопревосходительство, особых замечаний не имеет, исполнитель и к службе ретив.

– Ретив? – переспросил Ермолов. – А ведомо вам, полковник, зачем вы вызваны сюда?

– Так точно! – торопливо ответил полковник.

– Объявляю вам свое неудовольствие, сударь! – холодно сказал генерал. – Вы отвечаете за дела и поступки офицера вашего полка. Кстати, – повернулся он к стоявшему на вытяжку адъютанту, – дайте указ императора Петра Первого Великого!

Капитан Бебутов вынул из папки, по-видимому, уже заранее приготовленный документ.

– Читайте вслух, полковник! – передавая командиру полка бумагу, приказал Ермолов.





Полковник стал медленно и громко читать:

— Указ Петра Первого. Поручика Языкова за наказание батогами невиновного и ему неподчиненного писаря корабельной команды лишить чина на четыре месяца, вычесть за три месяца его жалованье... и за один месяц в пользу писаря, за бесчестье и увечье его. Поручику же Фламингу, который, тот бой видя, за своего подчиненного встать не сумел, вменить сие в глупость и выгнать аки шельма из службы.

— «Аки шельма», — поднимая палец кверху, перебил читавшего Ермолов, — «аки шельма»... — повторил он, устремив тяжелый взгляд на бледного, с трясущимися губами поручика. — Я, государи мои, не император и не имею силы, дабы изгнать вон со службы подобного шельма и хриstopродавца, однако ж властью, данной мне государем, арестую сего бездельника на двадцать пять суток строгим арестом, опосля коего перевести его в отряд на мингрело-имеретинскую линию в самый отдаленный пункт и в течение года не допускать до командования выше звзда. Ежели Трошин за этот срок не образумится и будет замечен в мордобойстве и подлых, не достойных война делах, предать суду с учетом нынешнего преступления. А вы, господин полковник, — обратился генерал к командиру полка, — объявите о сем по полку в назидание иным прочим. Ступайте! — И он, махнув рукой, отвернулся. Ермолов встал, прошелся по комнате, открыл окно и вновь вернулся на свое место.

Чекалов выжидательно смотрел на него, но Ермолов, казалось, вовсе не замечал управляющего палатой.

— Что-нибудь есть из Тавриза? — спросил он Бебутова.

— Есть, ваше высокопревосходительство. К вам прибыл с депешами его сиятельства фельдъегерь капитан Сергеев. Как он передавал, князь со всем посольством наконец-таки выезжает в Султаниэ, где ему будет предоставлена аудиенция шахом Ирана.

— А из Грозной?

— Донесение генерала фон Краббе, два письма, сводки от начальников дистанций, а также рапорт генерала Вельяминова второго об очищении крепости Внезапной от гражданского населения и лишнего люду.

Ермолов налил воды в стакан, выпил, вытер со лба платком пот и затем, как бы теперь только вспомнив о Чекалове, взглянул на него.

— А-а, да... прошу вас, Отто Карлович, — обратился он к фон Ховену.

Губернатор неловко повернулся в кресле и негромко сказал:

— Андрей Андреич, тут на вас имеется дело...

— Дело? — поднимая брови, недоуменно переспросил Чекалов.

— Да, и даже не одно, а несколько, и очень неприятных, — все так же неопределенно продолжал Ховен.

— Преступных, подлых и грязных! — резко сказал Ермолов, вставая. Он вплотную подошел к оцепеневшему Чекалову. — Таких, за которые, сударь мой, и морды бьют, и в Сибирь ссылают!



– Не-не понимаю... – слабым, упавшим голосом начал было Чекалов.

– Полно ребячиться! Вот они, двадцать три документа о взятках, преступлении по службе, вымогательствах, превышениях власти, искусственно созданных делах, несправедном суде. Вот она – бумага от двадцати двух самых знатных дворян Грузии, с которых вы требовали взятки.

– И часть получить успели, – холодно вставил Вельяминов.

Чекалов побелел, широко открыв рот и поводя глазами по сторонам.

– Блаженной памяти император Александр Павлович простил, помиловал и вернул из ссылки дворян, а статский советник Чекалов не согласен с императором и спустя восемь лет после монаршей милости требует денег с них и устрашает дворян новой опалой и ссылкой! – произнес Ермолов, снова вплотную подходя к Чекалову.

– Позор! Подавайте немедленно в отставку! – багровея, вдруг сказал Вельяминов, – Вы достаточно опозорили и нас, и русское правосудие в этом крае! Немедленно подайте рапорт об увольнении со службы и через три дня выезжайте в Россию.

– Ваше превосходительство, – поднимая руки кверху и глядя на фон Ховена, взмолился Чекалов, – ваше превосходительство, скажите же хоть слово в мою защиту, вы же знаете, сколь неповинен я в приписанных мне преступных деяниях!

– Удивляюсь, Андрей Андреич, как у вас поворачивается язык говорить о защите вашей поистине преступной особы. Вы грязный и презренный человек, осрамивший и нас, и нашу коронную службу в здешних местах! – с негодованием воскликнул губернатор, – Ведь жители края, когда хотят сравнить последнего вора-лихоимца с кем-либо, называют ваше имя. Позор! Только намеренно подали мне записки от купеческого головы Тифлиса, всеми уважаемого господина Питоева, о том, как вы несправедливо и закону наперекор обложили налогами и поборами купцов, кои отказались дать вам взятку...

– Клевета и обман, ваше превосходительство... наветы на меня!

– Молчите, бессовестный вы человек, – вскипел фон Ховен, – если бы не стыд и боязнь опозорить нашу лишь недавно введенную в этот край российскую власть, вас следовало бы заковать в кандалы и посадить вместе с разбойниками в тюрьму...

– А сие еще не поздно, – отпивая глоток воды, сказал Ермолов. – Я чаю, лучшим оправданием чести и бескорыстия нас с вами, Отто Карлович, и есть немедленное арестование и заключение в тюрьму сего подлеца! – Он ткнул пальцем в побелевшего Чекалова. – Азиатские народы верят только в силу и уважают власть тогда, когда она беспощадна и справедлива. Эту меру следует употребить сегодня же. Отдайте под суд статского советника Чекалова, войдите об этом немедля отношением ко мне!



– Помилуйте, ваше высокопревосходительство, не погубите! Корысть, бедность проклятая одолела... век Богу буду молиться, простите, господа! – обводя присутствующих глазами, умолял Чекалов.

– «Генерал», хорош гусь: солдата, защитника родины, который не сегодня завтра будет грудью защищать нас, по щекам хлещет, хлобыщет до крови, и за что? – Ермолов с ненавистью глядел на перекосившееся от страха лицо Чекалова. – За то, что его, чинодрала и взяточника, «превосходительством» не назвал! Дрянь, вор, прохвост! – уже во весь голос кричал разъяренный Ермолов. – В тюрьму, взять подлеца под стражу!

За дверью стихло. Присутствующие в приемной замерли, прислушиваясь к громовым раскатам разъяренного ермоловского голоса.

– Ва...ваше высокопревосходительство... не погубите, виноват, грешен, явите отеческую милость, – трясаясь и хватая руку Ермолова, лепетал Чекалов.

– Прочь! – рявкнул Ермолов, вырывая руку, которую пытался облобызать Чекалов. – Снисходя лишь к просьбе почтенного Отто Карловича, не отдаю под суд... позорить не хочу русское имя... – Он подошел к Чекалову. – В два дни сдать дела преемнику – и вон отсюда... чтобы через неделю вашего поганого духа не было в здешнем крае!

– Благодарю... Бога стану молить за ваше высокопревосходительство, – бормотал Чекалов, униженно кланяясь и отступая назад. Его глаза принимали осмысленный блеск, лицо, еще искаженное страхом, просветлело. – И явите еще одну божескую милость, – униженно сказал он, – разрешите остаться на месяц в городе для приведения в порядок личных дел...

– Сегодня какой день? – не отвечая ему, спросил Вельяминова Ермолов.

– Четверг, Алексей Петрович.

– Ежели к пятнице той недели не исчезнете из Тифлиса, прикажу казакам гнать плетью пешком до Мцхеты. Понял, сударь?

– Так точно! Через неделю уеду, – поспешно ответил Чекалов.

– На ваше место временно назначен коллежский советник Павлов. Сегодня же начните сдавать ему дела, – сухо сказал Ховен.

– Слушаюсь... Мне можно идти?

– Идите! – разрешил Вельяминов, видя, как Ермолов одними губами очень выразительно и нецензурно высказался по адресу Чекалова.

Статский советник исчез в дверях.

– И с такой дрянью мы начинаем управление всем этим обширным краем! – покачал головой Вельяминов.

– Прикажете позвать полицеймейстера Булгакова и приставов? – осведомился губернатор.

– Ну их к... Я устал от всей этой дряни. Выгоните их со службы с опорочивающим аттестатом, и давайте перейдем к более серьезным делам. Мне пишут, что персияны зашевелились по всей границе, а сардар эри-



ванский Гассан-хан похвалялся, что скоро прибудет в Тифлис, – сказал Ермолов.

– Обычное восточное хвастовство! – махнул рукой губернатор.

– Не совсем! И лазутчики, и армяне доносят о том, что на границе неспокойно. Введите капитана Сергеева, присланного из Тавриза князем, – обратился Ермолов к адъютанту.

Гонец Меншикова привез неважные вести. Хотя посольству и было наконец дано разрешение прибыть на аудиенцию к шаху в Султаниэ, но по тому, как держали себя Аббас-Мирза, персидские сановники и приданная нашему посольству обслуживающая их персидская свита, было видно, что авторитет царского посла падает с каждым часом.

«Мы напоминаем собою пленников, а не посольство могущественной страны, – писал Ермолову Меншиков. – Вокруг нашего дома стража. Куда бы мы ни хотели пойти, нас обязательно провожают шпионы, даже и не пытающиеся скрыть своего ремесла. Ни с кем не общаемся, всем людям любого сословия запрещено сноситься с нами, а между тем англичане ходят здесь как хозяева, и мы через них иногда добиваемся того или иного удобства жизни...»

Вельяминов читал вслух письмо Меншикова. По лицу Ермолова прошла мрачная улыбка:

– Понял, ваше сиятельство... И до тебя наконец дошло, сколь подлы, и двулики суть персидские господа.

– «Уведомляю вас, Алексей Петрович, что, по моему глубокому убеждению, война с Ираном неминуема. Ни сам шах, ни тем более его сын Аббас-Мирза и не помышляют о мире. К границам нашего Закавказья идут все новые и новые персидские войска, среди них и части, сформированные в Испагани и Ширазе. Есть пехота, конница и артиллерия, коей персов щедро снабдили подлецы-англичане. На моем пути из Тавриза до Султаниэ я сам насчитал идущих к нашим границам войск не менее 20 000».

– Убедился, а ведь когда я говорил и писал и ему, и царю, и Нессельроде, то меня называли сомнителем добрых отношений и создателем войны... Поглядим, что теперь скажут в Петербурге...

Письмо Меншикова заканчивалось слезной просьбой к Ермолову быть настороже и остерегаться персидских провокаций:

– «Остановите постройку Миракской крепости, черт с нею и с этим клочком пустой и ненужной нам земли. Уступите ее им, отведите оттоль войско и тем самым закройте рот подлецу Аббасу, вседневно вопящему о том, что вы покушаетесь на исконные персидские земли».

– Много ты понимаешь, дурак! – пренебрежительно и без всякого уважения к царскому послу сказал Ермолов, – Отведи войско и тем покажи иранцам, что испугался их... Да ведь этого только и надо Аббасу, ведь тогда он и туркам, и своим персам скажет: «Видите, русские испуга-



лись... ушли обратно. Вот как надо держать себя с ними». Да ведь это же и есть его победа над нами. Как ты думаешь, Алексей Александрович? – обратился он к Вельяминову.

– Думаю, что Меншиков прав! Сколь ни неприятен нам отвод войск из Мирака, но, выполняя волю государя, вывести их следует немедленно.

– И тем дать этому мошеннику Аббасу праздновать верх над нами? – запальчиво перебил его Ермолов.

– Невелика победа! Укрепление Мирака не стоит костей одного русского солдата, да и надолго ли? Спустя время, при нужде, мы легко возьмем его обратно, а сейчас черта ли в нем, Алексей Петрович?

– Так ты думаешь выводить войска? – медленно, в раздумье произнес Ермолов.

– Считаю, необходимо, Алексей Петрович! – твердо ответил Вельяминов.

– Ну что ж, пиши приказ полковнику Севарсамидзе. Пусть разрушит то, что успели сделать саперы, срует стены и выводит батальоны к Безобдальскому отряду.

Спустя несколько дней губернатор доложил Ермолову о том, что на место статского советника Чекалова, ушедшего по болезни в отставку, назначен коллежский советник Павлов.

– А где сам лихоимец? – поинтересовался Ермолов.

– Выехал вчера во Владикавказ для дальнейшего следования в Петербург. Приходил прощаться, слезно каялся, просил забыть о его грехах и просил передать нашему высокопревосходительству это письмо, – фон Ховен вынул из кармана конверт.

– Что еще сочинил этот негодяй? Прочтите, пожалуйста, Отто Карлович, я забыл свои окуляры, – сказал генерал.

– «Ваше высокопревосходительство, отец и благодетель! Понимая, сколь разгневаны вы наветами моих врагов, изветами и клеветой, ожесточивших ваше благородное, но доверчивое сердце, я, не имея злобы противу вас и призывая божье благословение на вашу высокую особу, уезжая отсель в Россию, почитаю своим долгом сказать как на духу: неповинен я в злодеяниях и гнусно-корыстных проступках, кои возложили на меня враги. Чист я перед Господом и перед моим государем. Приехал я в сей край два года и месяц назад бедным и не имущим никакого состояния человеком, таковым же и возвращаюсь назад. Все, что я скопил в Грузии, отказывая себе во многом, это суть 4500 рублей серебром, сумма, как изволите видеть, небольшая и добытая мною жалованьем и наградами от государства. Ни одной копейки, кроме указанного, я не имел и не имею. Да простит Господь Бог ваше высокопревосходительство за оскорбление честного человека.

К сему Андрей Чекалов».



## Глава 2

Умная и коварная Паху-Бике, по сути, правила Аварией и была чем-то вроде регентши при своих сыновьях. Властная ханша, не терпевшая и тени непокорства, ревниво присматривалась ко все возраставшему влиянию Гази-Магомеда. Паху-Бике не могла не понимать опасности, которую несло учение этого безродного байгуша, призывавшего к равенству всех мусульман от первого хана и до последнего нищего. Она знала все, что говорили о нем в народе, и она же обо всем этом сообщала русским властям.

Конечно, Паху-Бике не любила и их, но сила и золото были на стороне ак-падишаха, к тому же все, что делали русские войска, касалось только непокорных племен и тех горских владетелей, которые не хотели признавать власть русского царя.

Шел уже второй час дня. Горы, освободившиеся от утреннего тумана, стояли словно нарисованные.

Снежные верхушки Каранчи высились над лысыми скалами и утесами хребтов, тянувшихся к югу. Ниже зеленели сплошные леса, покрывавшие горы, а еще ниже курились долины; сверкали потоки, неподвижными лентами светились горные реки. Пятна садов, мосты, дороги, дома — все это было разбросано там, далеко внизу, откуда не долетал ни голос человека, ни звук выстрела, ни даже грохот водопада.

Яркое солнце стояло высоко в голубом небе и начинало уже пригревать. От обилия гор, бесконечного хаоса нагроможденных громад, от беспрестанного движения вперед и вверх начинала кружиться голова. А горы все росли и лезли как бы одна из другой. Узкая тропка то вилась, то обрывалась, то снова появлялась под ногами размеренно, натруженно шагавших коней.

Сэр Генри тяжело дышал. Он с трудом держался в седле, и, если б не боязнь показаться слабым и смешным, он давно сошел бы с коня и охотно посидел бы на этой густой горной траве, из которой глядели на него белые эдельвейсы и крупные ромашки. Но спутники Фиц-Морриса ехали почтительно, молча, неумоимо. Их ноги, по-видимому, не ослабели от пятичасового сидения в седле, лица были спокойны, свежи, и когда делегат, или, вернее сказать, агент английского посла в Иране встречался с ними взглядом, эти полудикие разбойники почтительно улыбались ему, повторяя одно и то же:

— Теперь скоро!

Но горы все так же стояли над дорогой, все так же висели тысячепудовые утесы, все так же скакали по камням горные курочки, и по-прежнему шумно осыпался песок из-под ног устало шедших коней.

Сэр Генри повернулся к ехавшему слева соседу и неуверенно сказал:



— Как вы думаете, Арчи, не пора ли сделать привал или хотя бы отдохнуть несколько минут? Я чертовски устал от этого дикого хаоса! Ни в Персии, ни у нас в Шотландии, ни в Турции я не видел такого дьявольского нагромождения ущелий, крутизны, водопадов и гор. И подумать только, что этот старый индюк Брэдли, — отозвался он непочтительно об английском поверенном в Тегеране, — уверял меня, что эта поездка будет чем-то вроде триумфального въезда Цезаря в Рим...

— Держитесь, старина! Теперь действительно недалеко... Еще две-три петли вокруг этого холма, и мы наконец взберемся на высоту, с которой виден Хунзах, — сказал его спутник.

Это был тот самый Монтис, который совсем недавно присутствовал вместе с беледом Абдуллой на совещании в ауле Кусур.

— Хун-зах! — с нескрываемым презрением повторил Фиц-Моррис. — Дьявольское имя варварской столицы, вполне достойное его владелицы, несравненной, невежественной Паху-Бике. Черт бы побрал ее с этим звучным, пахнущим чесноком именем!

— Генри! Говорите по-английски что угодно об этой особе и ее вонючих подданных, но не изображайте на лице отвращение к ним, они могут понять его, а это нам невыгодно! Дело, из-за которого сэр Брэдли послал нас сюда, стоит нескольких улыбок с вашей стороны...

— Достаточно им того золота, которое звенит в мешках, предназначенных их варварской владетельнице, — проворчал Фиц-Моррис, обтирая платком лоб и с надеждой вглядываясь в уже показавшуюся вершину горы. Ехавшие позади всадники, аварцы и лезгины, почтительно слушали непонятную английскую речь Фиц-Морриса и его коллеги Монтиса, матерого разведчика, уже не раз бывавшего в гостях не только у Паху-Бике, но и у хана Сурхая казикумукского и даже у вожака чеченских партий знаменитого наездника Бей-Булата. Неделю назад оба англичанина, прибыв из персидского порта Шахсуvari, высадились у Дербента и сейчас же направились в горы, где должно было произойти совещание представителей горских племен, на которое были приглашены ханшей Паху-Бике Гази-Магомед и Шамиль.

Гази-Магомед, эта новая величина, появившаяся в горах, стоил того, чтобы англичане заинтересовались им. В предстоящей войне Персии с Россией важно было добиться, чтобы горцы выступили на стороне персов. Для этого нужно было сплотить разноплеменные, разноязычные, часто враждовавшие между собой горские народы, нужно было, чтобы во главе их стоял сильный, объединяющий их человек.

Ни персияне, ни англичане как следует еще не знали ни учения нового имама, ни самого Гази-Магомеда. Миссия Монтиса и Фиц-Морриса и заключалась в том, чтобы познакомиться с новым имамом и, выяснив, что он собой представляет, использовать его в предстоящей войне с русскими. Относительно же Паху-Бике дело обстояло сложнее. Надо было пере-



дать ей значительную сумму в золоте и добиться от нее обещания, что ее приязнь к России ограничится только письмами и приятными словами.

В Хунзахе ожидали их. Сюда уже приехали представители различных горских обществ, представитель таркинского шамхала, делегаты из Чечни и горной Андии. И хан Абу-Нуцал, и его мать Паху-Бике по совету русского командования широко распахнули двери ханского дворца, намереваясь немедленно же после совещания подробно донести в Грозную обо всем, что на нем говорилось.

Центральной фигурой совещания был прославленный в Иране и Турции беглый дагестанский мулла Саид-хаджи. О нем рассказывали, будто он трижды посетил Мекку, побывал в Медине, видел Каабу, окончил в Каире знаменитую духовную академию Аль-Асхар и был неоднократно принимаем для бесед самым халифом всех мусульман — султаном Турции.

В народе усиленно распространялись слухи о том, что святой Саид творит чудеса, пророчествует и предсказывает будущее, что от него не может утаиться чья-либо жизнь, он знает мысли каждого правоверного, так как во сне беседует с самим пророком.

Аварская ханша была осведомлена, что он проходимец, никогда не бывавший ни в Аравии, ни в Египте, ни в Турции, живший на хлебах у персидского наследника престола Аббаса-Мирзы; неграмотен, не знает арабского языка и прислан сюда персами для того, чтобы при помощи своей славы святого, посулов, угроз и ссылок на Коран и мощь турецкого султана и персидского шаха подготовить горцев к войне с русскими.

Мулла, высокий, худой человек с деланно строгим лицом, редко выходил из своей комнаты, из которой доносились лишь слова молитвы, вздохи и неясное бормотание. Иногда, хотя мулла и находился в одиночестве за дверью, можно было различить два голоса. И тогда люди в страхе качали головами и с трепетом рассказывали, что сами слышали беседу святого с пророком на непонятном им арабском языке.

Съехавшиеся ожидали приезда английских гостей, и когда ханше сообщили, что они прибыли, молодой Абу-Нуцал, перепоясанный золотым кинжалом, в просторной светлой черкеске и высокой серой папахе вышел навстречу гостям.

Все были в сборе, и только одного Гази-Магомеда все еще не было в Хунзахе.

После вежливых и почтительных приветствий англичан повели в отведенные им рядом с персидским уполномоченным Джаханир-эльчи<sup>1</sup> комнаты, где они, утомленные с дороги, отдыхали и переодевались.

— Как быть, матушка? — спросил Абу-Нуцал ханшу, когда они остались одни. — Все в сборе, нет лишь волка, на которого мы устроили облаву. Ждать больше нельзя, надо начинать совещание.

<sup>1</sup> Посол.





– Начинай, сын мой! Этот проклятый, отверженный Богом отступник и лжеимам не придет. Он умен, хитер и осторожен.

– Почему ты это знаешь? – тревожно спросил Абу-Нуцал.

– Вот письмо, – сказала ханша, – его только что привезли в Хунзах.

Абу-Нуцал взял бумагу и стал медленно, негромко читать:

– «Во имя Аллаха милостивого и справедливого пишу вам, высокая ханша Аварии и ее высокородный сын Абу-Нуцал-хан, что приглашение ваше я получил и, если бы не болезнь, конечно, посетил бы ваш благословенный дом, но сделать этого сейчас не в силах. Что же касается совета обществ, с тем чтобы решить, начинать ли войну с русскими, как только войска Ирана ударят на нечестивых, сообщаю: я не владетель меча, я не хозяин племен и края, и мой скудный ум не направлен на войну. Чем персы лучше русских? Почему в их войне мы должны помогать Ирану? Зачем за чужое дело должна литься кровь детей Дагестана?

Пусть положение дел остается таким, как есть, а Иран и русские пусть режут друг друга. У сынов Дагестана есть более важные дела, чем чужая война. А впрочем, да ниспошлет Аллах свою любовь и благословение на нас, ничтожных его рабов.

По поручению имама Гази-Магомеда письмо написал ших Шамиль бен-Дингоу».

– Подлая собака, еще более опасная, чем его лжеучитель! – с сердцем сказала ханша. – Теперь бессмысленно будет это совещание!

– Все равно его надо начинать. Русские ожидают от нас не только головы Гази-Магомеда, но и отчета об этом съезде.

– Пронюхали, подлецы, несомненно, они узнали о нашем плане, – продолжая думать о своем, сказала ханша. – Хитер, лиса проклятая! Опять ушел из капкана.

– Ничего, попадется в другой раз, – успокоительно сказал сын. – Я иду к гостям, матушка!

Совещание шло вяло. Персидские агенты говорили о необходимости единства всех мусульман, о том, что война с русскими – общее дело правоверных. Ссылкой на Коран они убеждали съехавшихся «вынуть меч из ножен во имя ислама». Англичане утверждали, что силы Аббаса-Мирзы во много раз превосходят силы русских, разрозненные войска которых рассеяны по всему Закавказью.

Делегаты слушали и молчали. Только чеченские представители обещали совершить набег на Грозную, но и то лишь в том случае, если весь Дагестан поднимется на русских.

Англичане слушали, персидский сановник хмурился, ханша молчала, но все понимали, что дело с войной против русских не клеится. Прошло уже два месяца, как русские не только не вторгались в Дагестан, но даже отвели назад свои находившиеся в глубине территории отряды.



– Подходит время жатвы, скоро надо снимать хлеб, сады полны фруктов, скот мирно гуляет на пастбищах, и русские не только не трогают нас, но даже отвели свои посты, а, как говорят люди, из крепостей Внезапной и Бурной начали переселять войска и жителей за Терек. Недавно приходил их отряд в аул Кусур, где скрывался белед Абдулла и его приятели по набегам. Абдулла, конечно, бежал в горы, и русские не поймали его, но ни один волос не упал с головы жителей, ни одну скотину не угнали русские, ни одна женщина не оказалась обесчещенной ими.

– Наоборот, – перебил кадия старшина аула Кусур, – русские даже не входили в аул, а ночевали за его околицей. Жену Абдуллы, все его хозяйство, скот они не тронули пальцем. Они через день ушли назад в крепость, а жители аула до сих пор добром вспоминают их. Зачем же нам воевать против них и самим ни с того ни с сего лезть на штыки?

– Неправильные слова, недостойные мусульманина! – поднимаясь с места, запальчиво выкрикнул мулла Саид. – Не «ни с того ни с сего», а для защиты ислама, единой и чистой веры всех мусульман. Для того чтобы защитить слово пророка – вот для чего надо воевать с русскими. И все настоящие защитники подлинной веры зовут мусульман на войну с неверными. Я имею поручение передать вам, о дети истинной веры, призыв к кровавой борьбе с гяурами и от знаменитого своей святостью муллы Хаджи-Кадукли, и от поднимающегося над горами Дагестана светоча веры, поборника шариата имама Гази-Магомеда. Он, этот истинный сын ислама, призывает вас к газавату! – потрясая над головою руками, воскликнул мулла.

Абу-Нуцал и ханша переглянулись, делегаты, не ожидавшие подобных слов муллы, заволновались.

Саид, хитрый и опытный демагог, сразу уловил перелом в настроении съехавшихся. Потрясая руками, изгибаясь от напряжения, он вдруг побагровел, уставился налитыми кровью и страхом глазами куда-то в окно, в сторону гор и, не видя никого, не слыша удивленных возгласов, не обращая внимания на ханшу и Абу-Нуцала, тяжело дыша, напряженно вглядывался в даль.

Все смолкли, глядя на багровое лицо и судорожно вздымавшуюся грудь муллы. Вдруг он пригнулся, лицо его оцепенело, глаза наполнились страхом.

Англичане, тоже поддавшись общему изумлению и беспокойству, с выжидательным любопытством смотрели на него.

– Кыш!.. Кыш, проклятые! – вдруг закричал мулла, размахивая руками. – Прочь со стен, грязные, подлые птицы! Кыш! – подскакивая на месте, кричал мулла.

Он взмахнул несколько раз руками, по его лицу бежал пот, губы дрожали.



– Кыш! Прочь, неверные! – еще раз пронзительно выкрикнул он, и вдруг лицо его просветлело. Слабая улыбка пробежала по нему, глаза радостно заблестели, Саид стал легко и спокойно дышать.

– Ушли, бежали, проклятые! – отдышавшись, сказал он.

– Что с тобой, что ты видел, праведник? Что напугало тебя? – посыпались вопросы окруживших его людей.

Мулла Саид глубоко вздохнул, потом про себя, еле слышно прочитал молитву и тихо сказал:

– Я прогнал их... я видел священную Мекку, – и он как бы в изнеможении опустил на грудь голову.

– Мекку? Кого прогнал? Что ты видел, Саид? – снова, но уже тихо, озабоченно и благоговейно спросили делегаты.

– Мекку... ее святые стены... я видел, как... – мулла тяжело вздохнул, сделал паузу, – я видел, как проклятые, неверные русские куры лезли на стены Мекки... Я крикнул им: «Кыш, проклятые!», но они не слушали меня... Я призвал имя пророка, и, оставляя следы, пачкая и царапая белые стены святого города, они попадали вниз. О-о Аллах, благодарю тебя за это чудо! – опускаясь в молитвенном экстазе на ковер и потрясая поднятыми вверх руками, внятно и радостно прошептал мулла.

Присутствующие, охваченные благоговейным трепетом, молчали, и только ханша да англичане не без удовольствия и скрытой иронии наблюдали за муллой.

– Я... я... сейчас не... могу, я ослабел... тело неможно... зато душа сильна. О братья, о истинные мусульмане... – Он поднялся и, еле стоя на ногах, сказал: – Пойду отдохну и помолюсь, поблагодарю Аллаха за милость, оказанную его рабу. – Поддерживаемый двумя взявшими его под руки людьми, Саид тихо вышел из комнаты.

– Дорогие наши гости и братья, пришло время намаза, скоро и обед, потом мы опять встретимся здесь, – Абу-Нуцал встал, и все шумно поднялись и, теснясь, стали пробираться к дверям.

– Неплохой актер, и какое умение управлять толпой, – тихо сказал Фиц-Моррис.

– Жулик! Просто он хорошо постиг психологию этих дикарей. Вот увидите, Генри, что вечером они все выскажутся за немедленное участие в войне.

Персидский эльчи, очень довольный действиями муллы, сидя в ответственной ему сакле, удовлетворенно сказал своему секретарю:

– Как в шахматной игре. Хороший, неожиданный и умный ход сделал этот бездельник Саид.

– Что ж, ваша милость, он только отрабатывает свой хлеб! – снимая с посла башмаки, ответил секретарь.

И только ханше не понравился ловкий трюк беглого муллы Саида. Она заперлась на своей половине, что-то тщательно обдумывая и то и дело



советуясь с поваром, готовившим обед гостям, и со своей домоправительницей, старой Фатимат, наперсницей и однокашницей ханши, посвященной во все ее дела.

Когда после намаза и недолгого отдыха делегаты собрались в обширном зале ханского дворца, муллы Саида-хаджи еще не было. Кое-кто из гостей, прислушиваясь к тому, что делалось в комнате Саида, с уважением и почтительностью передавал другим:

– Все время молился, не выходя из комнаты, святой души и чистых помыслов этот человек.

Наконец мулла вышел. Теперь он снова был свеж и полон сил.

– Молитва укрепила меня, пророк поддержал своего раба, – скромно ответил он, подходя вместе с другими гостями к двум юношам, которые из узкогорлых кувшинов поливали на руки собиравшимся обедать гостям.

Мулла подошел к юноше, и тот, молча отодвинув от него кусок дорогого, ценимого в горах мыла, которое подавали только особо уважаемым гостям, стал поливать ему на руки. Мулла сдвинул брови, но промолчал. Помыв руки, он подошел к старухе Фатимат, стоявшей тут же с несколькими сухими полотенцами в руках. Она взглянула на Саида и, отодвигаясь назад, достала из-под вороха мокрых полотенец самую грязную и рваную тряпку и протянула ее мулле. Саид злобно сверкнул на нее глазами и, завернув полу черкески, медленно и демонстративно, на виду у всех, вытер руки полой. Кое-кто изумленно глянул на него, не понимая причины этого странного поступка.

Все шумно заполняли обеденный зал дворца.

Когда гости вошли, хан Абу-Нуцал прочел короткую молитву и, сделав обеими руками приглашающий жест, сел во главе стола, за которым были посажены англичане, персидский посол, чеченский делегат, посланец шамхала и пятеро самых важных представителей дагестанских племен.

Мулла Саид, двинувшийся было к этому столу, был очень любезно остановлен ханшей.

– Уважаемый хаджи Саид-эфенди, прошу тебя, сядь за этот стол, чтобы мы могли видеть твое светлое лицо, – ласковым и таким почтительным голосом сказала Паху-Бике, что умный мулла обеспокоился.

«Старая дрянь хочет меня посадить ниже почетных гостей, подлая баба», – подумал он и вежливо закивал ханше, садясь на указанное место. Рядом с ним расположился секретарь персидского эльчи, с другой стороны сидел захудалый, ничем не значительный старшина аула Гергебиль, дальше – старый подслеповатый кадий Хаджи-Джемал из Казаниц.

«Неважная компания, – решил мулла, оглядывая остальные столы. Прямо против него сидела ханша, и на ее хитром и подвижном лице была торжествующая улыбка. – Рано радуешься, ведьма, я еще посмеюсь над тобой. Я осрамлю тебя, старая распутница», – зло подумал мулла.



Слуги разносили по столам лаваш, зелень, шурпу<sup>1</sup> и хинкал. Гости ели охотно и шумно, разгрызая лук, разрывая на куски лаваш и перекидываясь словами. Запах чеснока и лука заполнял зал.

– Я в прошлом году так пиршествовал в Кабуле, – сказал Монтис.

Когда гости покончили с хинкалом и шурпой, слуги на подносах внесли плов в больших деревянных и фаянсовых пиалах. Поверх белоснежного крупного риса в каждой пиале лежал большой, хорошо зажаренный в масле цыпленок.

Гости весело смотрели, как слуги разносили по столам вкусно пахнущий плов.

Мулла Саид вздрогнул: слуга, подойдя к их столу, поставил перед каждым по пиале с цыпленком, и только перед муллой оказалась чашка с пловом без масла и без цыпленка.

– Это вам, почтенный мулла Саид-хаджи, – чуть поклонившись, ехидно сказал слуга.

Его соседи с удивлением переводили глаза с чашки муллы на его побледневшее от оскорбления лицо. Саид отодвинул пиалу и с негодованием посмотрел вокруг. Сидевший рядом секретарь эльчи с хрустом грыз крылышко цыпленка, казанищинский кадий, измазав щеки жиром, жадно обгладывал ножку, посланец Гергебиля, ухватив двумя руками цыпленка за ножки, рвал его пополам, а старик Эски, делегат Табасарани, запустив руку в плов, обмакивал в жирной подливке кусок белого мяса с грудки цыпленка.

Мулла с ненавистью перевел глаза, и взгляд его встретился с насмешливыми, полными ехидного смеха глазами ханши.

– Правоверные! – отодвигая пиалу и резко поднимаясь на ноги, закричал он, покрывая своим голосом шум, царивший за столами.

Все повернули головы к нему, кто жуя, кто держа во рту кость или глотая плов. Некоторые, сидевшие поодаль и не видевшие всей картины, приподнялись, чтобы увидеть и лучше услышать муллу.

– Братья, да простит мне Аллах, что я ухожу отсюда, но я должен это сделать. В этом доме оскорбили меня и как служителя Бога, и как гостя и человека.

Саид обвел всех глазами и, видя удивленные, непонимающие лица, пояснил:

– Хан и особенно высокорожденная ханша Паху-Бике забыли первую заповедь мусульман – гостеприимство; они, не желая слышать слова Божии и правды, сегодня после моей речи дважды оскорбили меня. Во имя Божие и для блага истины я оба раза не захотел заметить этого, но сейчас я не в силах. Смотрите, всем гостям принесли плов с цыплятами, одному мне, как человеку, сказавшему неугодное хозяевам этого дома, не положили цыпленка. Почему? Чтобы унижить меня, чтобы показать

<sup>1</sup> Густой суп.



презрение ко мне, слуге пророка и зеркалу веры! – скорбно закончил Саид.

Гости оцепенело молчали. Действительно, оскорбление было нанесено гостью, такому же делегату, как и они.

– Я ухажу, простите меня, братья, – обращаясь ко всем, сказал Саид.

– Подожди, мулла, зачем ты говоришь неправду? Зачем сеешь смуту и смятение в сердцах хороших людей?! – вдруг громко закричала ханша, и головы всех повернулись к ней.

– Я сказал правду... Вот она, чашка... где ж цыпленок? – еще громче, возмущенно закричал Саид, держа в руках пиалу и показывая ее всем.

– Ай-яй-яй, мулла, ай-яй-яй, божий человек! Что это с тобой приключилось? – с нескрываемым смехом, очень участливо заговорила Паху-Бике. – Сегодня, всего только часа два назад, ты отсюда, из Хунзаха, видел, как русские куры лезли на стены благословенной Мекки, а сейчас у себя под носом цыпленка не видишь? Э-эй! – поворачиваясь к стоявшим у стен слугам, закричала ханша. – Помогите святому найти его цыпленка!

Рослый аварец-слуга, шагнув к онемевшему, начинавшему что-то понимать Саиду, на глазах у всех быстро разгреб пальцами рис и вытащил отлично зажаренного, крупного цыпленка.

– Как же это так? – продолжая издеваться над раскрывшим от изумления рот муллой, спросила ханша. – За тысячу фарсагов видишь кур, а под носом не замечаешь цыпленка?

Хохот делегатов заглушил ее слова. Холодный пот выступил на спине Саида. Он перевел глаза, но все смеялись, даже англичанин Монтис и тот, отвернувшись в сторону, хохотал, прикрывая рукой лицо. Один только персидский посол злыми, округлившимися глазами с ненавистью и отвращением смотрел на него.

Смеялись даже слуги, стоявшие у входа, а старая ведьма-ханша с притворным участием смиренным голосом продолжала:

– Откуда ты взял, Саид, будто известный своей праведной жизнью имам Гази-Магомед призывает мусульман Дагестана к священной войне с русскими?

Мулла, подавленный хитростью ханши, молчал.

– Что ж молчишь, мулла?.. Нехорошо, когда человек такой святой жизни, как ты, начинает обманывать народ! – укоризненно качая головой, продолжала Паху-Бике. – Мы только сегодня получили от праведника, да сохранит Аллах на долгие дни его жизнь, вот это письмо... На, прочти его громко нашим гостям, – и она протянула Саиду письмо Шамия.

Еще не придя в себя от поражения, мулла взял письмо, поднес его к глазам и стал долго и напряженно вглядываться в него.

– Читай... ну, читай же! – насмешливо и торжествующе выкрикнула ханша. – Э-э, да ты ведь, ученый человек, вверх ногами держишь его...



Видно, ты знаешь арабский язык так же, как умеешь находить курицу в плове.

И снова хохот делегатов покрыл ее слова.

– Как же ты учился в Каире, в светоче науки и рассаднике арабской грамоты, благословенном Аль-Асхаре, на каком языке ты разговаривал с султаном турок, поведай нам эту тайну, о Саид-эфенди! – продолжала безжалостно насмехаться ханша. – Значит, ты и тут соврал, негодный! – переходя на властный и злой тон, выкрикнула она. – Ты, нечестивец, хотел втянуть нас в войну, обманывая народ именем Аллаха. Ты проходимец и вор, и если бы не был приближенным нашего гостя, эльчи шаха Ирана, мы бы высекли тебя посреди нашего двора, а затем отрубили бы язык как негодяю и хулителю веры. Эй, обезоружить его! – крикнула ханша, и сейчас же двое рослых аварцев сорвали с побелевшего от позора и страха муллы его широкий позолоченный кинжал.

– А вам, уважаемый эльчи, – обращаясь к сидевшему с потемневшим лицом послу, сказала ханша, – мы бы советовали не общаться с такими ничтожными людьми, как этот, – презрительно ткнув в Саида пальцем, закончила Паху-Бике.

Лицо посла побагровело, он молчал, не поднимая глаз.

Абу-Нуцал громко прочел письмо Гази-Магомеда.

Делегаты с удовольствием слушали письмо. Война с русскими из-за интересов Ирана им не была нужна. Они кивали головами, слушая письмо.

– Справедливые слова, верно говорит праведник! Имам прав. Зачем нам эта война? – говорили они, и посол понял, что его миссия провалилась.

Монтис с невозмутимым видом по-английски сказал Фиц-Моррису:

– Неудача! Этот болван погубил так хорошо начатое дело!

– Не угрожает ли нам арестом эта неудача? – осведомился Фиц-Моррис.

– Нет. У этих скотов чрезвычайно развито чувство гостеприимства, – ответил Монтис, ласково глядя на Абу-Нуцала.

– Ешьте, дорогие гости, и пусть вас не беспокоит выходка этого шута, – сказала ханша. – Сейчас мой люфти потешит нас и покажет вам фокусы. Вы узнаете, как можно разговаривать с самим собою. Входи, Али! – сказала она.

В зал, кувыркаясь и делая огромные прыжки, вбежал невысокий человек в бешмете и желтых чувяках. Он сделал сальто, перевернулся и, выкрикнув «Салям!», стал возле муллы.

– Здравствуй, праведный мулла! – кланяясь, сказал он.

Саид нахмурился и отвернулся, и вдруг все присутствующие услышали:

– Здравствуй, мой дорогой Али... Как твои дела?



– Ничего, хороши, а твои, говорят люди, плохи. Правда это?

Мулла не выдержал и рванулся вперед, но дюжие аварцы крепко держали его. Люфти перевернулся через голову и недоумевающим голосом спросил:

– Братец, что с тобой, живот, что ли, заболел, что ты так корчишься?

Присутствующие засмеялись, а чревовещатель голосом, очень похожим на голос муллы, ответил:

– Еще бы не корчиться, когда почтенный эльчи завтра же прогонит меня. А где я тогда найду плов и теплую постель?!

Хохот покрыл его слова. Персидский посол медленно встал и, важно оправив свое платье, не глядя на ханшу, сказал Абу-Нуцалу:

– В моем лице, высокорожденный хан, ты оскорбляешь самого хункяра и железоеда, страшного во гневе шаха Ирана! Надеюсь, ты понимаешь это, хан?

– Не стоит сердиться, дорогой эльчи, из-за пустяков. Желая потешить нас, вы привезли с собой своего шута, – он кивнул головой на муллу, – а мы показали вам своего. На наш взгляд, наш шут лучше, он, как видите, и прыгает через голову, и по канату ходит, и даже животом разговаривает не хуже вашего.

Посол, не дослушав хана, шумно вышел из-за стола и, проходя мимо ханши, многозначительно сказал:

– Вы пожалеете обо всем этом, когда страшные в бою войска нашего непобедимого шаха уничтожив русских, ринутся на Кавказ.

– Ничего... Мы, дорогой эльчи, внуки тех самых дагестанцев, которых, как вам известно, не смог в свое время покорить сам железный хромец, великий Тимурленк, – улыбаясь, ответил Абу-Нуцал, – и мы сыновья тех, от которых бежал ваш знаменитый шах НаDIR. С помощью Аллаха и нашей дагестанской пашки мы сумеем отстоять свои горы.

Посол вышел, за ним двинулись англичане.

Пышный обед был нарушен.

### Глава 3

Савва пришел спустя три дня. Он торопился и все время с опаской оглядывался на ворота. Небольсин поплотнее закрыл дверь и, усадив гостя, спросил:

– Ничего не случилось? Ты все чего-то опасаясь, Савка?

– Я, ваше благородие барин, не спросясь ушел с дому, а у нас шум идет, князь не в себе, третий день лютует, по щекам камардина своего Прохора отхлестал, Зинку-ахтерку, что в зефирах на тиатере служит, самолично арапником посек...

– За что?





– Барская воля, не нам, рабам его, про то знать, – зло и горько сказал Савва. – Отцу моему кулаком погрозился. Ходит злой, чего-то с мусью по-хранцузски лопочет, на нас и не глядит... Бают, что осерчал его сиятельство на то, что его отселе не добром попросили, а навроде как выгнали, – засмеялся Савва.

– Это верно. Его Алексей Петрович с Кавказа удалил.

– Вот-вот, прослышали мы об этом, ну а разве ж наш князь такое стерпит... Гордый, не приведи бог! Он и в Москве себя среди прочих дворян первейшим почитает, спесив больно... А тут, на Кавказе, и по-давно... А его, как цыгана, под зад коленкой отселе провожают. – Он засмеялся.

– Бог с ним. Как Ньюша? – перебил его поручик.

– Ничего. После того как мы с папанькой успокоили ее, ожила, песни петь стала, опять щеки зацвели. Дюже она вас жалеет, ваше благородие, – вздохнул Савва.

– И я люблю ее, Саввушка, – тихо сказал Небольсин.

Сеня, стоявший у окна и наблюдавший за калиткой, покачал головой и тихо вздохнул. Савва неодобрительно глянул на него, но промолчал.

– Скажи отцу, что через неделю, много через десять дней, с первой okazji уходим отсюда.

– И мы? – спросил Савва.

– И вы, – доставая бумагу и толстый черный карандаш, ответил Небольсин. – Пойдем через Червленую, Наур-Моздок в Екатериноградскую. – Говоря это, он чертил на бумаге путь оказии. – Видишь, вот здесь линия – это Терек. В этом месте мы перейдем на тот, казачий берег, и отсюда путь наш лежит уже по станицам...

Савва приподнялся и внимательно следил за карандашом Небольсина.

– Отсюда нам уже легко будет похитить Ньюшу.

Сеня вздрогнул и удивленно уставился на Небольсина.

– Да, да, Сеня. Это как раз то, что я хотел рассказать тебе. На казацкой линии мы похитим ее и увезем в надежное место...

– Александр Николаевич, – испуганно сказал Сеня, – ведь опасно... Не дай бог, узнают... не миновать тогда серой шинели.

– Молчи, Сеня. Поздно теперь говорить об опасности... Как я сказал, так и будет. Не могу же я оставить Ньюшеньку в беде. А ты что боишься?

– За вас, Александр Николаевич. За себя у меня и думки нету. Как скажете, так и сделаем. В огонь, в воду, на нож пойду... За вас страпуща... Ведь за вас все наши мужики и бабы молятся. Мамаша моя, ваша кормилица, жить мне не даст, ежели, спаси бог, беда приключится... Вот я об чем думаю, Александр Николаевич, – взволнованно сказал Сеня.

– Пустое, Сеня, ничего дурного не будет, а сделаем хорошее – спасем человека, – убежденно сказал Небольсин.



– Дай-то Господы! – перекрестился Сеня.

Савка, вначале неодобрительно поглядывавший на него, просиял:

– А я думал, браток, что ты отговаривать барина хочешь... Не бойсь, Сеня, украдем девку, ровно цыган коня, ищи потом ветра в поле...

– И искать не придется, – спокойно сказал Небольсин. – За Червленной в одной из станиц живет друг мой, с которым я еще в Ставрополе подружился...

– Это есаул-то казачий? – оживился Сеня.

– Он, он, тот самый, которого я тогда из беды избавил... Я из Червленной вперед уеду, уговорюсь с ним, и в Науре увоз сделаем. А потом – к Терентию Ивановичу, за двадцать верст в сторону, лесом да кустами. На берегу Терека ее платок бросим, на другом берегу еще раньше конские следы на Чечню наведем. Поищут день – оказия дело казенное, в точности приказом рассчитанное, – а в назначенный час двинутся дальше на Моздок. Поживет Нюшенька в чулане у есаула неделю-другую, а потом, когда Голицын уже в Ставрополе будет, я за нею приеду... а там, – махнул, улыбаясь, Небольсин, – Тифлис и другая жизнь.

– Ох, хорошо бы, барин Александр Николаевич, кабы все так вышло, – довольным голосом сказал Сеня, – и дело доброе б сделали, и душой успокоились. Разве ж я не видел, как вы мучились эти дни...

– Скоро все кончится, Сеня, другая жизнь будет.

– Будет, ваше благородие, обязательно будет, – убежденно сказал Савка. – Кабы не эта думка, дня бы не прожила сестрица. А теперь, батюшка Александр Николаич, я домой пойду, боюсь, как бы этот окаянный Прохор не хватился!

– Иди, Саввушка, да осторожно Расскажи о моем плане и отцу, и самой Нюшеньке.

– Не бойсь, батюшка барин, не проболтаюсь. Мышь и та ничего не услышит.

Савва ушел.

– Лез афер тре дифисиль!<sup>1</sup> – начал по-французски Сеня. – Помог бы только Бог нам в этом, Александр Николаевич, – неожиданно перешел он на русский. – Ну да делать нечего, будь что будет, а девушку надо спасти.

– Да, Сеня, будь что будет, а мы спасем ее!

– Разрешите войти, вашбродь? – громко произнес Елохин, останавливаясь у самых дверей комнаты.

– Войди! – разрешил Небольсин.

– Вашбродь, младший унтерцер Елохин Александр в ваше распоряжение прибыл! – прижимая левой рукой к груди фуражку, выкрикнул Елохин.

<sup>1</sup> Это очень трудное дело.



– Вольно, – подходя к солдату, сказал поручик. – Итак, здравствуй, Елохин! Ты, верно, знаешь, зачем я вызвал тебя?

– Так точно, вашбродь. Фельдфебель объяснил, для перевода в Тифлис и сопровождения туда вашего благородия, – все еще вытягиваясь «во фронт», ответил Елохин.

– Да что ты тянешься, словно на параде! Я ж тебе сказал «вольно», ну, садись, – кивнул на табурет Небольсин, – и держись проще, мы ж с тобой не в строю и не на походе. Сколько тебе лет, старина?

Присевший на кончик табурета Елохин вскочил.

– Сиди, сиди... Оставь это!

Елохин снова сел.

– Сорок пятый пошел, вашбродь. В марте конец службы. Все двадцать пять годов кончатся.

– Ишь ты какой... большой путь прошел. Небось, и повоевал немало?

– Всего было, вашбродь, и плохого, и хорошего... Всякого навидался. И в Ерманию ходил, и с французом воевал, и в Париж-городе был, всего хватило.

– Ты что ж, старина, в Отечественной участвовал?

– Так точно. С Наполеонтием, и под Бородином, и под Смоленском, и на Березине, а там уж и по всем границам ходил. Я в те поры, вашбродь, молодой был, у генерала Дохтурова служил, а опосля у его превосходительства генерала-майора Давыдова в посыльных ординарцах.

– У Дениса-партизана? – перебил его Небольсин.

– Так точно, у них самих, – потерев длинный обкуренный ус, с достоинством сказал Елохин, – дюже добрый, веселый и храбрый был генерал. А что, вашбродь, живы они таперь али нет?

– Жив-здоров, говорят, к нам на Кавказ собирается в скором времени. Глаза Елохина оживились.

– Вот бы хорошо! Дай им бог здоровья! Денис Васильевич хороший был барин, солдата уважал, и те его дюже любили.

Небольсин с интересом слушал старого солдата, свидетеля тех великих событий, о которых сам он знал лишь по рассказам.

– Ранен?

– Два раза, вашбродь, один – под Бородином, когда их сиятельство князя Петра Ивановича убило.

– Багратиона? – тепло, с невольной дрожью в голосе спросил поручик.

– Так точно. Их самих. Я в ту пору возле них находился. Мы французскую атаку штыком отбивали. Дюже сильно шли французы, в пятый раз за день на штурму шли. А артиллерия и их, и наша такой огонь открыла, аж вспомнить страшно. Одно – дым, огонь, грохот. А второй раз, это уже в Франции, коло самого Парижа зацепило, – и он показал на шрам, тянувшийся через голову возле левого уха.



– Ну так вот, старина, не хочу неволить тебя, решай сам, ехать тебе в Тифлис или нет. Я уезжаю туда, какая там жизнь, не знаю, но, конечно, получше, чем здесь.

– А чем придется там быть, вашбродь? – осторожно спросил старый солдат.

– Если я буду в городе, то и ты станешь дослуживать свой срок унтером там же, где буду и я, если ж назначат в полк, то унтером в моей роте.

– Та-ак... – раздумчиво произнес Елохин. – Ну а как, вашбродь, опосля того, как окончу службу, вчистую выйду, как тогда?

– Ты – крепостной?

– Так точно. Был до службы дворян Колычевых, с под Тулы. Ну а теперь, опосля двадцати пяти годов, кто его знает, чей. Моих бар, наверное, и на свете-то нет, а к новым идти на старости лет неохота.

– А что ты думаешь делать? – спросил поручик.

– Да вот наслышан я, вашбродь, быдто тем старослуживым, кто верой и правдой двадцать пять лет царской службы отслужил, а я, вашбродь, и унтер, и егорьевский кавалер, то быдто им разрешено селиться в том крае, в Тифлисе, – пояснил он, – вольными, жениться и землю пахать, аль чем другим заниматься, чтобы русское, значит, жительство этим укреплять. Правда это, вашбродь?

– Да, по особому ходатайству перед главнокомандующим некоторых старослуживых оставляют на вольном поселении в Грузии.

– Вот-вот, вашбродь. Коли б и вы похлопотали обо мне, я с охотой пошел бы с вами, вашбродь!

Небольсин подумал.

– Единственное, что могу тебе обещать, это то, что после окончания твоей службы похлопочу перед главнокомандующим. Но что из этого выйдет, сказать не могу.

– А я, вашбродь, только об этом и прошу. Невжели ж откажут старому солдату опосля его отставки? Разрешат!

– Буду просить генерала. Вот это я тебе, Елохин, твердо обещаю.

– Покорнейше благодарю, вашбродь. В таком разе согласен, еду с вами, а ежели сделаете, вашбродь, освобождение мне после службы, век за вас Бога буду молить, и верней слуги себе не найдете, – с чувством сказал Елохин.

– Спасибо на добром слове. Сделаю все, что могу, а теперь иди и готовься к отъезду. Оказия выходит послезавтра.

Вечером Санька Елохин зашел к своему другу ефрейтору Кутыреву. В низенькой хатенке Кутырева было тихо. Хозяйка и сам Кутырев сидели за столиком. Ефрейтор чинил обувь для детей, мерно постукивая молотком, забивая шпильки и гвозди, хозяйка штопала бельишко, а двое детишек, чинно сидя в углу, играли в какие-то самодельные куклы.



– Вот и хорошо, что припожаловал. – Кутырев с удовольствием отложил в сторону драгву и шило.

– Вечер добрый, хозяйюшка, – усаживаясь у стола, сказал Елохин. – А вы как, ребятишки? – обратился он к примолкшим детям. – На вот, тезка, делись с сестрой, – Елохин вынул из кармана скомканный и помятый кусок купленной в ларьке халвы.

– Ну зачем это таким пострелам, им бы, шалопаям, розог... – довольная вниманием гостя, с деланно-смущенным видом сказала хозяйка.

– Ничего, кума. Детям сладкое требуется, потому малые они еще, неразумные, – ответил Елохин, вытаскивая из кармана два куса желтого тростникового сахара, полбутылки водки и четыре вяленые тарани, и объявил: – Еду! Выпьем за Тифлис, братцы! Послезавтра отъезжаем.

– Дай Христос помощи и добра. Может, бог даст, там лучше будет. Вчистую уйдете, свободу получите, жену заведете, – затараторила хозяйка.

– Погодь, погодь, дай кавалеру слово сказать, ишь застрекотала, сорока, – разливая принесенную гостем водку, остановил ее муж.

– А чего говорить-то? Был у поручика Небольсина, имел разговор с им... обещает помочь, а что из того выйдет, не знает.

– Он поможет, исделает, – убежденно сказал Кутырев. – Твоему поручику сам Алексей Петрович, говорят, родным дядей приходится.

– Бог его знает, кто кому дядя, одначе человек он правильный, с солдатом добрый, – тихо и задумчиво сказал Елохин. – Другой с места бы – «исделаю, не бойсь, устрою», а на деле и забыл бы, а их благородие не обещает, не кричит: «Я все могу». Вот тем-то они мне и пондравились. Еду, а там что Бог даст. Выпьем, – решительно закончил он.

– Не забывай нас, Санька, пиши. Все-таки мы с тобой двадцать лет вместе службу ломали.

– Что ты... кого ж мне и помнить-то, окромя вас? Нет ведь у меня никого родни-то.

– А может, и семьей обзаведетесь в Тифлисе? – возвращаясь к своему разговору, сказала хозяйка.

– Коли ослобонят от крепости после службы, может, и женюсь, а нет, к чему это? Рабов да холуев для бар плодить? – тихо, с горькой усмешкой ответил Елохин.

– Алексей Петрович ослобонит, пусть только ему поручик вовремя доложит, – убежденно сказал Кутырев.

– Ну, а вы как? Когда за линию?

– После вас, со второй оказией. Баут, будто в Моздок отправят, а там всех семейных в казаки по станицам пропишут, – ответил Кутырев.

– Что ж! И то дело. Хоть свободными станете, опять же земли в надел дадут.



Выпили еще, и хозяин было встал, чтобы пойти за новой бутылкой, но Елохин остановил его.

– Не надо, хватит. Я теперь, друг ты мой Никифор Иваныч, до конца службы, пока вчистую не выйду, в рот ее, вредную, не возьму. Это последняя.

– Да ну? – недоверчиво спросил хозяин. – Это почему ж так, Санька?

– А потому, что в законе указано: ослобонить от крепости и оставить на поселение только таких, которые поведением и службой своей честной того заслужили. Чуешь как? А коли я напьюсь да набуяню, крест с меня симут, ундерства лишат, а там, гляди, и сквозь строй прогонят. Так разве ж поручик, хоть он и добрый и правильный человек, вступится за меня? Али Алексей Петрович пропишет на поселение пьяницу? Вестимо, нет и... вот она, последняя рюмочка младшего унтер-офицера Александра Елохина, – он встал, перекрестился и медленно допил водку.

Хозяин молча развел руками, а хозяйка, всхлипывая и крестясь, сказала:

– Помогите вам Христос, Лександра Ефимыч!

Попрощавшись с ними, Елохин пошел обратно в роту.

Оказия вышла из Внезапной только в девятом часу. Хотя к ней готовились давно и все отъезжающие заранее связали свои вещи, тем не менее, когда все уже было готово и командир конвойной роты отдал приказ «бить в барабан», то есть трогаться, оказалось, что то у одного воза, то у другого не хватает кого-либо из отъезжающих. Шум, говор, голоса провожающих соединились со звуками рожка и дробным боем барабанов.

– Стой, стой! Забирай мешок!

– Эй, тетку забыли! А ну подсади, ребята! – слышались голоса провожающих, и под этот шум и мерную дробь барабана Оказия, растянувшись на добрую полуверсту, медленно вышла из Внезапной.

Впереди шли солдаты, за ними пылила заряженная картечью пушка, по бокам которой шагали артиллеристы, полусотня казаков рысила по обеим сторонам колонны.

По старобарскому обычаю, спозаранок, часов за пять до выезда Оказии, была снаряжена бричка с кухонным снаряжением, с поваром и поварами, которые еще с вечера получили приказ приготовить на завтра обед и ужин для актрис и челяди князя. Завтрак и полдник отъезжающие везли с собой.

За солдатами, в голове кортежа, шла огромная четырехместная, на ременных пассажах, употреблявшихся вместо только что появившихся рессор, карета, за каретой – коляска. В коляске сидел камердинер князя Прохор, везший серебро, дорожные чемоданы, несессер и погребец хо-



зяина. На запятках коляски возвышался казачок, с беспечным и глупым видом глядевший по сторонам. За ним ехали верховые казаки, по-домашнему, совсем как у себя в станице, шумно и бранчливо спорившие о чем-то. Дальше тянулись четыре крытых фургона, в которых ехал домашний театр, или, как острили офицеры, «харем» Голицына. Рядом с кучером каждого фургона сидел вооруженный солдат, из-за спины которого выглядывали закутанные до глаз фигурантки, Психеи и Лаисы... Фургоны тяжело катились по сухой и пыльной дороге, и Родзевич с замершим сердцем трепетно глядел на мелькавшие лица актеров, но Ньюшеньки среди них не разглядел.

За фургонами двигались возы и телеги, в них везли туалеты и постели актрис, сервизы и другие вещи князя. На возах и подводах, нагруженных мукой, крупой, мясом, вином и прочей снедью, расположилась комнатная прислуга, как всегда болтливая и праздная.

За фурами и телегами, обтянутыми войлоком или парусиной, шли люди. В своем большинстве это были армяне – ремесленники и торговцы, покидавшие слободку и крепость.

Опоздавший к моменту выступления оказии Голицын на рысях обогнал растянувшуюся колонну и, поднимая пыль, исчез впереди.

У выезда из слободки стояли последние провожающие, среди которых были офицеры, писаря и свободные от службы солдаты. С явной завистью смотрели они на уезжавших в Россию и за Терек людей.

Солдаты с нескрываемым недоброжелательством и усмешками поглядывали на голицынскую дворню.

– Холуи поехали... Эй, валеты, гляди рожи в пыли не запачкайте... а то барин на конюшню пошлет, – посыпались хлесткие словечки.

– Цыц, крупа вшивая! Гляди сам по зеленой улице не прогуляйся! – не оставались в долгу дворовые, показывая кулаки и пиши солдатам, а одна из девок-судомоек, озорно поворотившись к провожающим, закинув подол юбок, показала им с воза голый зад.

Родзевич съежился. Ему было больно и оскорбительно, что Ньюшенька, его чистая и трогательная первая любовь, ехала тут же, рядом с этими грубыми и бесстыдными людьми, одним своим соседством оскорблявшими ее.

– Насилу нашел тебя, Станислав, – подходя к Родзевичу, сказал Небольсин.

Радость залила бледное лицо Родзевича.

– А я вышел проводить тебя и все ищу в повозках, где ты...

Небольсин погрозил ему пальцем:

– Признайся, что разглядывал ты в бричках и фургонах все же не меня, а кого-то другого.

Родзевич покраснел и смущенно кивнул головой.

– К сожалению, князь запрятал так своих прелестниц, как Черномор украденную Людмилу, – вздохнул он.



Мимо них, одетый в темную черкеску и весь обвешанный оружием, на широкой рыси пронесся Голицын. За ним скакало трое верховых вооруженных крепостных людей.

— *Malbrouk s' en va-t-en guerre*<sup>1</sup>, — сквозь зубы процедил Небольсин.

Родзевич молча проводил взглядом Голицына и улыбнулся.

— Воображаю, какими рассказами сей новоявленный Бей-Булат станет услаждать слух московских и петербургских дам о своих подвигах на Кавказе, — продолжал Небольсин.

— Черт с ним! Давай лучше, Саша, обнимемся перед расставанием! — с тихой грустью сказал Родзевич. — Скучно, одиноко мне будет без тебя, друг. Не останется с кем отвести душу, поговорить о чувствах добрых и чистых.

Небольсин крепко обнял Родзевича.

— Пиши, Саша.

— Напишу, обязательно напишу, и ты отвечай мне.

Голова оказии уже вышла далеко за околицу. Медленно тянулись последние фуры и телеги, на одной из которых Небольсин увидел Дормидонта, почтительно кланявшегося ему. Сбоку шел Савка, весело и многозначительно улыбнувшийся Небольсину.

Поручик озорно подмигнул ему и помахал рукой Дормидонту. Скоро подошел возок поручика, в котором, свесив ноги через край, сидел Елохин, блаженно дымя короткой трубочкой. За его спиной виднелось молодое, розовое лицо Сени.

— Александр Николаевич, барин, садитесь, а то последними будем! — крикнул Сеня. Возница придержал коней.

Друзья молча, без слов обнялись, и Небольсин забрался в возок. Родзевич снял фуражку и еще долго стоял с обнаженной головой, глядя вслед все дальше и дальше уходившей оказии. Потом он быстро и незаметно смахнул с глаз слезу и, опустив голову, побрел обратно в крепость.

Спустя сутки, в середине второго дня, оказия подошла к переправе. Широкий в низовьях Терек плавно катил к Каспию свои мутно-желтые воды. По обе стороны реки тянулся густой лес, над рекой тучами носились вспугнутые появлением людей криквы, нырки, с трудом поднимались тяжелые, отъевшиеся в заводах гуси.

Через Терек на туго натянутых канатах в ту и другую сторону одновременно шли паромы. Это были огромные, полукрытые, с высокими бортами плоскодонные дощаники, один для людей, другой — для экипажей, телег и скота. По берегам были построены высокие каменные блокгаузы, в которых постоянно жили человек сорок солдат и два офицера. Тут же находился и казачий пост летучей почты в двадцать пять человек.

<sup>1</sup> Мальбрук в поход собрался. (фр.)





Верстах в двух от переправы на том берегу была расположена станция Шелкозаводская, откуда уже по казачьей стороне начинался путь на Екатериноградскую.

Казаки, солдаты, армяне-переселенцы, дворовые Голицына, актеры, несколько мирных кумыков и чеченцев в ожидании посадки на паром сгрудились на берегу под темными кущами вековых чинар, карагача и орешника. Тут же стояли повозки, брички, коляски, выпряженные кони. Девушки с боязливым любопытством глядели на темный, странной формы паром, приближавшийся к берегу. На его корме с баграми в руках что-то орала два босых с закатанными до колен штанами хмельных казака. Третий паромщик, седой, но еще крепкий, стоял у правила. Молодой, лет двадцати, казак широким веслом пригребал сбоку. Хриплые голоса приближались. Паром подходил к отмели. Один из стоявших на берегу казаков, ловко ухватив брошенный с парома канат, напрягаясь, потянул его к себе.

– Чаль влево! – крикнул кто-то с берега. Хмельной паромщик молча показал ему кулак, но все же повернул руль налево, и через минуту тяжелый паром грузно стукнулся о деревянную пристань.

– Учи ученого, – обтирая лицо, паромщик откинул борта. – Эй, кто тут за атамана? Сажать по порядку, а то утоплю лишних, – весело пообещал он, соскакивая на землю.

У берега из воды, как сплетенные змеи, высывались корневища склонившихся над рекой деревьев. Чинары и карагач, дикая груша и дуб закрывали небо. Сквозь густую сетку переплетенных ветвей слабо пробивался свет начинавшего меркнуть дня.

– Ух, и боязно ж здесь, девоньки! Темь да вода, а вокруг чечены... – поежилась от страха одна из актерок, оглядывая мрачную, вековую, еще не тронутую топором чащу.

– И как тут только люди-то живут?! – прижимаясь к ней, удивилась другая.

Остальные, вылезая из бричек и фургонов, молча озирались по сторонам, подавленные суровым и торжественным молчанием угрюмого векового леса.

Нюша подошла к говорившим и остановилась возле них.

– Э-эх, бабоньки, кабы вас да послушало начальство, да увело б нас отседа в Россию, – усмехнулся один из солдат, охранявших переправу.

– Ничего, живем тут третий год, не жалимся, – подмигнул девушкам другой, – одно плохо – вина мало да вашей сестры вовсе нету... а то б жить да попевать!

– Споешь тут – живем ровно лешие али водяные, пройдет оказия али кто через переправу – все и веселье, – сплюнул в воду первый.

– Страшно ж тут, девоньки, не дай бог как! Скорей бы на ту сторону да в Москву.



– Эй, кто на паром первый! Готовься к посадке! – крикнул пехотный офицер, покрывая своим голосом шум. – Девки, на паром, кто из оказии с детьми, тоже садись первыми... Да живо, живо, торопись, пока солнышко светит, – торопил он.

– Ну, чего скучились? На паром, не слышали нешто? Садись, – подходя к актеркам, сердито сказал Прохор.

– Да мы, Прохор Карпович, не знаем, нам ли это сказано.

– Вам, забирайтесь на паром!

Дощаник быстро заполнялся людьми. Осторожно ступая по мокрым доскам, Ньюша вместе с Дуней и толстухой прошла на паром. Он был просторный, пузатый и сразу мог вместить до пятидесяти человек.

У борта уже сидел на большом кожаном бауле Савка, весело скаливший зубы.

– А ты что, али тоже в девки записался? – спросила толстуха.

– А чего зевать-то? Пока вы балачки вели, я одним махом сюда забрался. Барское добро сберегаю, – похлопал по баулу Савка.

Ньюша быстро взглянула на него. Савка чуть заметно мигнул ей и откашлялся.

По настилу осторожно и грузно шел Голицын, чуть позади него – Дормидонт и повар. За ними силач Агафон, или, как его звали, Бык, вместе с двумя дворовыми людьми тащил ящик с серебряной посудой и чемодан князя. Остальная утварь, оставленная на полянке на попечении Прохора, и телеги с вещами должны были переправляться позже на втором, грузовом пароме. Казаки и солдаты, сопровождавшие оказию, сидели или прохаживались группами. После окончания переправы они должны были возвратиться во Внезапную. На той стороне оказию ожидали казаки, которые должны были охранять ее до Шелкозаводской.

Паром был заполнен и медленно отвалил от берега. Канаты заскрипели и натянулись, кольца блоков тихо застонали, всплеснулась и запуршала вода, и берег с деревьями, солдатами, армянами, повозками и блокаузом отодвинулся. Паромщики, регулируя ход, то и дело перебежали с борта на борт. Плескалась вода за бортом, слышалось шлепанье босых ног перевозчиков, шепот и заглушенные голоса. Паром тяжело выходил на глубинные воды Терека.

Ньюша стояла вместе с девушками у борта и с боязливым любопытством смотрела на темные мутные волны, поднимавшиеся из-под носа парома, на желтую воду Терека, на широкие, в бурунах усы, расходившиеся за кормой. Белая пена и крупные брызги взлетали над водой, и солнце здесь, на реке, не закрытое лесом, весело и озорно отражалось в них.

– Тяжелая сторона, бог с ней, – оборачиваясь назад и глядя на удалявшийся берег, сказала толстуха.

– Не приведи господи вековать в ней. Ни добра, ни радости... – вздохнула одна из девушек.



— А ты, Ньюшенька, чего молчишь, глаз от реки не оторвешь? — спросила толстушка. — Али искупаться охота?

— Страшная вода, гляжу на эту реку — и страх берет! Сама темная, сверху тихая, а внутри, говорят, быстрина огромная, — отвела глаза от воды Ньюша.

— И много вы понимаете, — пренебрежительно сказал казак-паромщик. — Батюшка Терек — отец наш родный... Без него нам, казакам, смерть. Он и поит, и кормит нас... А уж ежели рассерчает, то действительно зверь... Да вы его такого и не видали. Это он такой в ростепель, весной, когда снега тают.

Темная вода урчала под днищем парома, легкая зыбь колебала ее и поднимала волну, на которой играли отплески солнца.

— А все-таки страшная эта река, — прижимаясь к подруге, тихо повторила Ньюша.

— Злая, как и все тут на Кавказе. То ли дело наши что Москва-река, что Клязьма али Ока. Тихие, спокойные, ласковые...

— А Нева! — с восторгом подхватила другая. — Вот река! А Питербурх, одно слово — красота! Слава тебе, Господи, снова увидим наконец свои места!

Толстушка чуть подтолкнула Ньюшу локтем, одними глазами указывая ей на князя, стоявшего на носу парома. Голицын, в высокой папахе с заломленным назад верхом, высокий, прямой, негнувшийся и неподвижный, закинув голову, глядел в подзорную трубу вперед.

— Чистый памятник, навроде истукана, — в самое ухо шепнула ей толстушка.

Ньюша с едва скрываемым отвращением поглядела на толстую шею князя, на его покатые, бабьи плечи. Савка, сидевший у борта, перехватил ее взгляд и предупреждающе мотнул головой. Ньюша краешком губ улыбнулась и еле заметным кивком ответила ему.

Паром подходил к берегу. Позванивали кольца и стонали борта под напором быстрой, стремительной реки. Навстречу парому от берега отвалил другой, грузовой. У сходней стояли казаки, бабы и ожидавшие оказию солдаты.

Голицын оторвал от глаз подзорную трубу, не глядя назад, молча отдал ее стоявшему позади слуге.

— Э-эй! Лови конец, Федотка! Чаль влево! — закричал паромщик, наваливаясь на рулевое весло. Паром с мягким плеском стукнулся о мокрые темные сходни.

Паромы приходили и уходили, на берегу скапливалось все больше и больше народу. В стороне выводили коней, запрягали их в брички и телеги. Шум, говор, ржание коней заполнили берег.

Савка, уловив минуту, успел шепнуть нетерпеливо ожидавшей его Ньюше:



– Сестрица, поклон тебе и еще вот что... Ежели в станице простоим два-три дня, то и повидаться надо будет...

– А как же это, Саввушка? Как он это сделает?

– Сделаем, Ньюша, чего-чего, а повидаться надо. Александр Николаевич просит, пускай наберется сил, ожидает, скоро все хорошо кончится.

Глаза девушки засветились тихим счастьем. Она слабо улыбнулась и еле слышно прошептала:

– Хороший мой, ласковый да добрый... Помог бы только Бог.

– Поможет, Ньюша, и он, и мы поможем, – отходя, сказал Савка.

#### Глава 4

Станица Шелкозаводская находилась в двух верстах от переправы, и те, кто перевез свои телеги и имущество, растянувшись по дороге, медленно направились к станице.

В ту минуту, когда Голицын и его «харем» уже въезжали в станицу, Небольсин на одном из последних паромов перебрался на левый берег Терека и, сидя на обрубленном толстом пне на краю берега, размышлял о деле, которое затеял. Санька Елохин и Сеня увязали чемоданы и вещи в возок, возница запрягал коней.

– Готово, вашбродь, можно ехать, – вывел его из раздумья голос Елохина.

Небольсин поднялся и молча уселся в возок. Кучер махнул кнутом, присвистнул, и отдохнувшие кони весело рванули возок.

– Слава тебе, Господи, опять на российской стороне, – снимая картуз, перекрестился Елохин. – Я, ваше благородие, уже года три как все на татарской сторонке проживал!

– Ну? – удивился Сеня. – Неужели и к казакам не приезжал!

– Не было случая, нас все по Чечне да по лезгинам гоняли, – ответил Санька, с удовольствием разглядывая дорогу.

Лес и река остались позади. Впереди стояла пыль от колес ранее прошедших экипажей, из-за холмов уже виднелась станица.

Возок обогнал шедших вразвалку солдат, армян, остановившихся возле высокой арбы, в которой перепрягали волов. На холме, у пыльной дороги, играли босоногие казачата. Возок пронесся мимо телеги с солдатскими вещами и, легко поднявшись на холм, покатил вниз. Станица, обнесенная валом и плетеными изгородями, лежала перед ними. Дымок висел над хатами, кое-где уже зажигали огни.

У самой околицы стоял пехотный офицер с черными, лихо подкрученными вверх усами. Он держал в руках какие-то бумаги, но глаза его были устремлены вперед, в сторону приближавшейся окаянии. Вдруг взгляд его оживился, блеснули белые зубы, и улыбка осветила лицо.



– Александр Николаевич, поручик Небольсин! Сюда, сюда! – махая рукой, закричал он, видя, как возок сворачивает в сторону верхней улицы.

Кучер остановил коней, и Небольсин узнал в офицере своего старого приятеля еще по Моздоку поручика Гостева.

– Прокофий Ильич! Какими судьбами? – с радостным изумлением спросил он.

– По воле начальства, Александр Николаевич, – рассмеялся поручик. – Да вы не вылезайте, лучше я сяду с Сеней рядом, – взбираясь на возок, сказал Гостев и, шлепнув по плечу Сеню, спросил: – Помнишь али забыл меня, Арсентий?

– Как можно забыть, Прокофий Ильич! Такого, как вы, человека до смерти не забудешь! – осклабился Сеня.

– Ну ладно, поговорим дома, а теперь ко мне! Я ведь вас, Александр Николаевич, уже с час у околицы поджидаю, – сказал поручик. – Сворачивай вниз, вон туда, возле церкви. Там мое жительство. Дом, не скажу, большой, обыкновенная казачья хата, зато жареный гусь с картошкой да добрая чепурка кизлярки ожидают на столе, – пообещал Гостев.

– Да как вы узнали, что я сюда еду? – удивился Небольсин.

– А очень просто. Я ведь буду начальником казачьей, которая поведет вас всех до Наура. Ну, в списках казачьей я и увидел вашу фамилию. Правь налево, во-он туда, где девка через дорогу переходит, к крылечку, к крылечку подвози, – командовал он вознице.

Услышавшая голоса девушка широко раскрыла ворота, и возок подкатил к самому крыльцу, на котором усатый и в бакенбардах солдат чистил офицерские сапоги.

– Приехали! Принимаю гостей, Настя, а ты, Егорыч, – обратился он к солдату, – беги в лавочку да тащи чаю, сахару да водки очищенной.

– И давно вы здесь обитаете? – спросил Небольсин.

Возок его стоял разгруженный во дворе, вещи внесли в горницу, поручик умылся, переоделся и в одной шелковой рубашке сидел за столом, накрытым белой скатертью.

Было уютно, по-домашнему.

Хозяйка, степенная казачка лет сорока пяти, внесла миску с борщом.

– Откушайте на доброе здоровье! – низко кланяясь, сказала она.

– Людей их благородия не забудь накормить, хозяйшюк, – напомнил казачке Гостев и, обращаясь к Небольсину, продолжал: – Скоро полгода, как засел в Шелкозаводской. Наш батальон стоит на охране казачьих и путей. – Он придвинул к гостю борщ: – Кушайте на здоровье, Александр Николаевич. А ведь я недавно у вас во Внезапной был. По казенному делу ездил.

– Как во Внезапной? И не зашли? – удивился Небольсин.



– Был. Только недолго, всего двое суток. А не зашел потому, что вас в это время в крепости не было. Вы на чечена с отрядом ходили. Зашел я в штаб во Внезапной, а там адъютант такой, больше на шпака, чем на офицера похожий, с чудной фамилией... не то Цыпленков, не то Курочкин.

– Петушков? – догадался Небольсин.

– О-о, точно, он самый. Ну, так этот фендрик мне важно так ответил: «Поручик Небольсин в набег ушел».

– А где ночевали? Надо было прямо к Сене идти.

– Ку-уда там! – махнув рукой, засмеялся Гостев. – Этот самый Петушков вдруг ни с того ни с сего подобрел ко мне и пригласил меня вечером к князевым девкам.

– Князевым? – переставая есть, спросил Небольсин.

– Угу, – аппетитно уплетая борщ, кивнул хозяин. – Голицынским. Я и то сегодня глядел на их возы, не встречу ли, думаю, кого из знакомых. Никого.

– И как, посетили девушек?

– А как же! Вина и еще какой-то там чепухи захватили с собой. Ну, посидели мы, выпили с девушками, Петушок этот раскукарекался, разные там бламанже да пуркуа по-французски стал выговаривать, ломаться да важничать, а я подвыпил и с какой-то актеркой целоваться стал, даже сватался. «Выходи, – говорю, – за меня замуж, да едем со мной в станицу». А она, шельма, смеется. «Я, – говорит, – крепостная, не отпустит барин». «А мы твоего барина и не спросим. Увезу тебя, как чечены волоком увозят», – развеселившись, вспоминал Гостев.

– А что, Прокофий Ильич, если бы девушка та согласилась, неужели вы ее на самом деле увезли бы?

– С чистым сердцем увез бы! – горячо воскликнул Гостев. – А как же иначе? Таких слов я б, Александр Николаевич, на ветер не бросил. А разве ж это плохо – украсть из неволи человека? По-моему, дело это доброе, и ежели б эта актерка не была дура да согласилась, давно б я ее где-нибудь здесь на хуторах прятал.

– Да как это сделать? – наблюдая за хозяином, спросил Небольсин.

– Ка-ак... – с усмешкой протянул Гостев, – А как цыган коней ворует. Ему ведь труднее. И народ кругом, и лошадь-то не понимает, что с ней делают, а тут живой человек, сам на свободу рвется.

– Ну, украдешь, а где ж спрятать девушку?

– А схватить человека еще легче, чем украсть. Здесь, Александр Николаевич, не Россия, искать долго не будут, да и казаки народ свободный, крепостного рабства не любят, с дорогой душой прикроют. Ведь они внуки Пугачева да Разина, у них свобода на первом месте. А что вас это так заинтересовало, Александр Николаевич?

– Потом скажу, Прокофий Ильич. А сейчас скажите, не было ли с вашими девушками там Ньюши, тоже актеры Голицына?



– Не было. Наслыхан я о ее красоте много, но видать не пришлось. Этот самый Петушок споначалу все об ней у девок допытывал, где, мол, да как, да почему ее здесь нету. Ну, а потом успокоился и зачал водку пить да со всеми целоваться. А что, Александр Николаевич, или занозила она вам, эта самая Ньюша, сердце? – уже серьезно спросил Гостев.

– Да, и так, что ни покоя, ни радости мне без нее нет, – глядя в глаза хозяину, сказал Небольсин.

Гостев молча и внимательно смотрел на него.

– А она как? – наконец спросил он.

Небольсин вздохнул:

– Еще сильнее.

Хозяин с сочувствием посмотрел на него.

– Мечтает о детях, о тихой счастливой жизни. Ведь я ее в жены хочу взять, Прокофий Ильич! Если бы не наша встреча да не эти думы, она давно бы руки наложила на себя, – медленно продолжал Небольсин.

– Ну так в чем же дело? Зачем горевать там, где следует радоваться?

– А что же делать? – осторожно, уже зная ответ поручика, спросил Небольсин.

– А то же, что я собирался. – Гостев поднялся, приоткрыл дверь и, видя, что в прихожей никого нет, вернулся и сел рядом с Небольсиным.

– Эх, Александр Николаевич, ведь я сам из простых, солдатских детей, помню еще хорошо, как отец мой крепостным был... Кабы не отличился мой батька под Измаилом да не дали б ему за геройство прапорщика, был бы я по сей день крепостным, – он вздохнул и перекрестился. – Царство небесное, вечный покой Александру Васильевичу!

– Это кому ж, Прокофий Ильич?

– Суворову, отцу солдатскому. Это он произвел отца моего в офицеры и этим избавил нас от крепостного рабства. И мне, Александр Николаевич, дорого не то, что вы мне как родному и верному человеку все это рассказываете, а то, что вы, барин, дворянин и гвардеец, полюбили крестьянку, простую и хорошую девушку, что не погнушались ее черной костью, да еще в жены хотите взять. Вот этим-то вы навек купили меня. Я и раньше почитал и уважал вас, а теперь – не только вы мне друг и боевой товарищ, а роднее брата стали. Что я для вас должен сделать? – глядя прямо в глаза Небольсину, спросил Гостев.

– Сам Бог послал вас, – Небольсин встал и крепко обнял Гостева. – Дорогой Прокофий Ильич, то, что вы сказали мне, я с радостью, всем сердцем принимаю. Только друг и брат мог меня понять и всей душой посочувствовать мне. А если мы братья, то и будем ими отныне и навек. Давай, брат, Прокофий, выпьем на «ты» и навсегда, где бы мы ни были и что бы с нами ни случилось, будем помнить, что у каждого из нас есть брат.

– Клянусь Богом и своей честью, брат! – взволнованно произнес Гостев.



Они обнялись, крепко поцеловались и молча осушили стаканы.

– Делай, Саша, так, как я собирался: украсть надо, а то, что я буду начальником оказии, так это сам Бог тебе послал.

– Да теперь я спокоен, все будет так, как надо, – радостно ответил Небольсин. – Еще днем я все ломал голову, как, где, каким образом похитить Ньюшу... Ну, а теперь легко на сердце, так, словно все уже сделано.

– Нет, Саша, труд будет... и украсть надо с умом, да и схоронить потом умеючи, – серьезно сказал Гостев, – но это уж полдела. Знает этот самый князь что-нибудь про вашу любовь?

– Кажется, нет, но Петушков очень нагадил нам.

Небольсин стал рассказывать о доносе Петушкова.

Гостев внимательно слушал, иногда негодуя хмурясь или покачивая головой.

– Ох, и подл же этот подпоручик! – вырвалось у него после того, как Небольсин закончил свой рассказ. – А жаль, что я и его тогда вместе с Прохором не огрел по морде. Боюсь, как бы эта сволочь все-таки не испортила нам дела.

– Каким образом?

– А просто. Сейчас этот князь и не думает о тебе. Как же, он ведь сительство, большой барин, а девушка – его собственность. Он и думает, что осчастливил ее. Разве этот кабан помыслит, что его раба может полюбить кого-нибудь другого. Ведь, кроме себя да других, прочих графов, он остальных и за людей-то не считает. Вот потому он и не обратил внимания на Петушка этого. Ну, а ежели из оказии пропадет девушка, о которой ему уж раз навет делали, да украдут ее в то время, как ты, Саша, тут же в оказии находишься, сразу он все вспомнит и на тебя подумает. И тут уж ее и в Тифлисе, и потом от всех прятать да прятать надо, – покачал головой Гостев.

– Все это я тоже думал, и мне это приходило в голову, но что же мне делать? – с отчаянием спросил Небольсин.

– А делать это надо с умом и осторожностью. Украсть мы ее украдем, и сделаем это так, что сам черт, а не то что этот бугай князь тебя не заподозрит! – ответил Гостев.

Из сенец заглянула хозяйка.

– И чего вы все разговоры разговариваете? Кушайте да пейте. А что, батюшка, ваше благородие, уважаете поболее: фазана чи курятину? – обратилась она к Небольсину.

– А что, хозяйюшка, и фазаны есть? – спросил Гостев.

– Есть, Прокофий Ильич. Батяка наш с лесу пяток принес.

– Настрелял охотничек, – улыбнулся Гостев. – Это наш хозяин, добрый казак Левонтий Петрович, все по лесам охотится. Гляди, Матрена Ефимовна, на чечена напорется твой охотник!





– И-и, – махнула рукой хозяйка, – не впервой. Да разве его чеченом спужаешь? Он у нас боевой. Ну, так чего ж вам на утречко давать?

– Фазанов! – решительно сказал Гостев, глядя на Небольсина. – Да с картошечкой зажарь, Матрена Ефимовна!

– Как там мои люди? – спросил поручик.

– Поели, поразувались, сидят в палисадке, табачное зелье изводят, – ответила хозяйка.

– Позови ко мне, хозяйюшка, молодого, Арсентия, – попросил Небольсин.

– Позову, а вы ешьте. Может, вам еще чихирьку аль вишняка подать? – уходя, спросила казачка.

– А как твои люди, Александр Николаевич, не подведут, ежели туго в чем будет? – поинтересовался Гостев.

– Арсентий надежен, этот мне больше, чем слуга, молочный брат. Ведь его с матерью и всей семьей я давно отпустил на волю. Он своей охотой поехал со мной. А вот как унтер – не знаю...

– Это старик-то?

Небольсин кивнул головой.

– Он из крепостных?

– Да, каких-то Колычевых. В этом году кончает службу, уходит вчистую. Едет со мной в Тифлис, надеется освободиться и остаться на поселение в Грузии.

– Ну, такой не выдаст, – твердо сказал Гостев. – Разве ж старый солдат из крепостных, который надеется хоть перед смертью освободиться от неволи, поможет князю? Ни в жизнь! – убежденно сказал он. – Для меня этот унтер еще надежней твоего Сени.

– А вот и я, Александр Николаевич, – появляясь в дверях, проговорил Сеня. – Звали?

– Звал. Садись! – приказал Небольсин. – Ну как, сыты, отдохнули?

– Все в аккурате, Александр Николаевич, и поели, и попили. Теперь сидим в садике, балачки разводим. Этот Елохин – ох и веселый да чудной человек! Столько у него бывает сказок да рассказов, и смех, и грех, и умора!

– Старый солдат. Ведь он еще с Багратионом и Давыдовым с французом воевал. И Кутузова знал. В Париже побывал. Всю жизнь в войнах да в походах провел, – с уважением сказал Небольсин.

Гостев поднялся и просительно заглянул в глаза Небольсину:

– Александр Николаевич, знаешь что? Уважь ты одну мою просьбу. Никогда не забуду этого, ежели исполнишь.

– Говори. Тебе ли упрашивать меня.

– Сделай все, что можешь, освободи через Алексея Петровича старого солдата. Ведь я слушал сейчас тебя, а передо мною, как живой, батька мой встал.



– Будь спокоен. Если буду жив, Елохин будет свободен.

– Вот добре, – радостно засмеялся Гостев. – А теперь, Сеня, зови сюда этого старого хрена, вместе выпить охота.

Санька явился на зов, на ходу застегивая ворот рубахи.

– Вот что, старик, мы с его благородием, – указал на Небольсина Гостев, – хотим выпить за тебя, за русского солдата, за тех, кто сберег матушку Русь от врагов. Выпьешь с нами?

– Покорнейше благодарю, только разрешите не пить, зарок дал... а за матушку Россию да за то, чтоб солдату легче жилось, я, вашбродь, жизнь положу! – горячо сказал Елохин.

– Знаю, дружок. Солдатское сердце – что кремень. Я ведь и сам сын солдата. Ну, раз дал зарок, держись, неволить не буду.

Гостев обнял старого унтера. Сеня, стоявший рядом, удовлетворенно улыбнулся.

– ...А барина своего, Александра Николаевича, держись крепко. Береги его, старина, а он тебя вызволит, будешь и ты, друг, вольным, – убежденно произнес Гостев.

– Будь спокоен, Елохин. Будем живы, будет тебе и вольная! – заверил Небольсин.

Санька широко перекрестился.

– А жить, ваше благородие, будем. Зачем нам умирать? Нехай наши супротивникидохнут, – твердо ответил он, уходя вместе с Сеней.

– Этот умрет, а не выдаст, – глядя вслед старому солдату, сказал Гостев.

Он задумался, потом посмотрел с участием на поручика.

– А ведь тебе надо повидаться с Нюшей!

– Конечно! Но как это сделать?

– А это уж, друг, моя забота. Ты сиди, отдыхай, а я пойду кой-куда, может, обладим и это дело, – Гостев быстро оделся и вышел из хаты.

Вернулся он часа через полтора. Лицо его было спокойно и невозмутимо, но по веселым огонькам в глазах Небольсин понял, что его названный брат сделал что-то большое и хорошее.

– Завтра увидишься со своей душенькой. Наша Матрена Ефимовна все устроит, – расстегивая сюртук и усаживаясь возле Небольсина, порадовал его Гостев.

Вечер уже давно спустился над станицей. На сторожевых вышках у дороги и за валом зажглись огоньки. В хатах огни потухали.

– Ночь. Спать сейчас улягутся добрые люди, ну, а мы, Александр Николаевич, давай сядем за карту да выберем подходящее место для нашего дела.

Он разостлал трехверстку, и оба офицера склонились над нею.

Часа через два, когда Шелкозаводская уже заснула и часовые на вышках сладко подремывали, они закончили совещание.



– Я дорогу эту до Наура наизусть знаю, с закрытыми глазами в темную ночь пройду. А берег в том месте сто раз на охоте исходил. Ведь там самая глушина, одни кусты да деревья. Самое место для чеченов, их абреки по таким вот чащобам и прячутся. Хоть до утра будем искать, а лучшего места не найдем!

– А сколько верст оттуда до Наурской? – спросил Небольсин.

– Тридцать шесть. Пока прибежит Савка да пока девки опамятуются, а чечены наши уже давно за бурунами будут; казачьих постов там нет, конных разъездов тоже, оказия наша пешая, да и я шум подниму не сразу. Пошлю солдат на розыски к Тереку, а там на берегу ложный след их на Чечню наведет... Словом, к вечеру твою милую Терентий Иванович уже спрячет где-нибудь на мекенских хуторах. А теперь давай спать, Александр Николаевич, утро вечера мудренее. Только помни, из Червленной уезжай суток на трое раньше, чтобы Терентий все как следует приготовил, да князю этому, чтоб черти его побрали, на глаза не попадайся. Нехай он даже и не вспомнит о тебе.

– А не убоится ли Терентий?

– Кто, есаул-то? – засмеялся Гостев. – Да он родную свою сестру для друга украдет, чистый чечен, недаром он с ними покуначил. Ты жену его знаешь?

– Нет, а что?

– Чеченка она, с Гергеевского аула. Ведь он ее тоже вот так увозом добыл... Красивая баба, ладная да важная, их князя, что ли, дочь, а Терентий наш засел в лесу со своей родней, казаками, две ночи ховались в лесу, как волки, а потом налетели на девуку, когда она с подружками за водой шла, и – через Терек. Теперь у них двое детей, один мальчишка – чистый чечен: и глаза и морда, как у абрека... Есаула этого хлебом не корми, дай только показывать в поле! Поможет он, это даже и сомневаться не надо. Ну, спокойной ночи, – Гостев улегся на широкий дощатый топчан и задул свечу.

Когда Небольсин проснулся, Гостева уже не было. Поручик накинул шлафрок и полуодетый вышел на крыльцо. С реки веяло холодком, подрагивали листья, птицы не так часто и звонко, как вчера, перекликались в гуще садов. Сизая туча ползла по небу, захватывая горизонт и мрачной пеленой прикрывая солнце.

– Дождем пахнет, Александр Николаевич, – сказал Сеня. – Умываться будете? – И, не дожидаясь ответа, подал Небольсину мыло.

Умывшись, поручик пошел по двору, на котором кудахтали и копошились куры. Большой рыжий петух важно прохаживался возле них, осторожно кося глаз на поручика. Десятка полтора индюшек суетливо рылись в земле, ища червяков и рассыпанное, втопанное в землю зерно. Сердитый пес умными, внимательными глазами следил за ним, но не лаял.



Настя, дочка хозяев, босая, крепкая, здоровая, стоя у плетня, ворошила хворост вилами. Рядом лежала глина, смешанная с рубленой соломой и навозом. Девушка работала, не обращая внимания на поручика. Иногда она устало вздыхала, отирая ладонью пот с лица.

– Настя, корму свиньям задай да воды налей! – выглядывая из дверей кухоньки, стоявшей в стороне от гостевой хаты, крикнула мать.

– Зараз! – Настя отставила к плетню вилы и, сверкая белыми ногами, побежала к хлеву.

– Тре жоли э тре бон мадемуазель!<sup>1</sup> – глядя ей вслед, изрек Сеня.

– Жоли-то жоли, а как огреет она тебе по сопатке, так и будет «тре бон», – заметил Елохин.

Небольсин расхохотался, а удивленный Сеня озадаченно спросил:

– А разве и ты, Александр Ефимыч, понимаешь по-французски?

– Я брат, по-всякому по малости могу: и по-французски, и по-немецки, и по-поляцки разумею. Даром, что ль, всю Европу прошел?

– А ну, – недоверчиво попросил Сеня, – скажи что-нибудь по-немецки!

– Ферфлюхтер швайн гутен морген шнапс<sup>2</sup>, – невозмутимо произнес Санька.

– А чего это ты сказал?

– Всякое. Дурак, говорю, ты Сенька, что старому солдату не веришь!

– Ну, а по-поляцки?

– Можно и по-ихнему, – согласился Елохин. Он наморщил лоб, что-то усиленно припоминая, потом, держа в руке трубку, единым духом выпалил: – Матка бозка ченмтоховска езус кристус нех пан бендзе похвалена виват добра вудка старка<sup>3</sup>, – он перевел дух и важно разгладил усы.

Потрясенный Санька молча глядел на унтера.

Небольсин еле сдерживал душивший его смех.

– А где наш поручик? – спросил он.

– Так что в штаб батальона ушли. Велели передать, чтоб вы, вашбродь, одни завтракали. Они придут только к обеду.

Туча еще ниже опустилась над станицей. Стало темней, и ветерок сильнее трепал листья и кусты. Петух тревожно прокричал «ку-ка-реку!», и на его зов отовсюду сбежались куры и уже оперившиеся цыплята.

– Ох, батюшки, кабы пронесло мимо, а то гляди, какая туча-то злая! – снова появляясь на дворе, сказала хозяйка, глядя на мрачно нависшую тучу.

– Похоже, что с градом, – заметил Сеня.

– Вот-вот, сынок, того-то и страшусь. В запрошлом лете градины, спаси Христос, аж с яйцо куриное падали... И скотину, и хлеб побило, – кре-

<sup>1</sup> Очень красивая и очень хорошая девушка.

<sup>2</sup> Бессмысленный набор немецких слов.

<sup>3</sup> Бессмысленный набор польских слов.



стясь, ответила хозяйка. — А вы, батюшка, идите до хаты, я сейчас вам фазанины да супу подам!

Небольсин поблагодарил казачку и пошел в хату.

Спустя немного он услышал за дверью женские голоса и выглянул в сенцы. В дверях стояла хозяйка, вполголоса беседуя о чем-то с еще не старой, лет под сорок, разбитного вида казачкой. Гостя внимательным и несколько лукавым взглядом оглядела поручика и, кивнув на него так, словно его здесь вовсе и не было, спросила:

— Ентот самый?

— Он, мамука Луша, самый кавалер, их благородие и есть, — ответила хозяйка.

Мамука Луша поправила свой цветной, свисавший ниже плеч платок и одобчительно сказала:

— Казак гожий! Такого джигита любая девка в станице полюбит.

— Это вы о чем же, бабочки? — улыбнулся поручик.

— А о том же, — чуть толкнув его в бок локтем, озорно подмигнула гостя. — О тебе, ваше благородие. О том, чтоб седни жениться тебе сподручней было.

— Это мамука Луша, суседка наша, насупротив живет, — ловя недоумевающий взгляд Небольсина, объяснила хозяйка. — У ней в хате твоя душанюшка на постой стала. Понимаешь?

— По-нимаю! — радостно, с замирающим от волнения сердцем сказал Небольсин, догадываясь, что тут не обошлось без дружеской помощи Прокофия Ильича.

— Раскумекал! — засмеялась гостя. — Так вот, ваше благородие, всех девок к нам да к Люшину перевели, ну, а как твоя любушка у меня гостует, так ты вечер не спи, поджидай, когда за тобой я али кто другой припожалует. Душанюшка твоя у меня не в кунацкой хате, а в нашей, хозяйской ночевать будет. Понял? — засмеялась мамука. — А я вам туда и чихирю, и всякой всячины навроде вишенья, подсолнухов да кругляшей в меду припасу.

— Спасибо, милая, вот уж обрадовала! На вот, возьми денег на расходы.

Небольсин вынул два золотых империала. Мамука сразу стала серьезной, взяла монеты и уже другим голосом сказала:

— Сделаем все, будьте спокойны.

Поклонившись, она ушла вместе с хозяйкой.

Небольсин провел ладонью по лицу и легко и радостно вздохнул.

«Господи, как хорошо все устраивается! Какие чудесные люди», — думая о казачках, о Прокофии, о Савке, решил он и засмеялся тихим, радостным и умиротворенным смехом.

Где-то за Тереком, в горах, ухнул гром, слабо сверкнула молния, листья задрожали, и резкий порыв ветра пробежал по саду.

— Идем и мы, Сеня, что нам под дождем делать? — позвал Елохин.



– Идем, Александр Ефимович, – уважительно ответил Сеня, пропуская вперед старого кавалера, так свободно владеющего всеми европейскими языками.

Гром загремел ближе, и эхо прокатилось над станицей. Казачка, хозяйничавшая у стола, подошла к окну и тревожно покачала головой.

– Кабы, хорони Христос, виноград да яблоки не побило!

За Терекком блеснула молния, ухнул гром, и по деревьям зашуршали крупные капли дождя. Небо насупилось, в хате потемнело, воздух стал влажным и сырым.

– В такую пору батюшка Терек лютый да злой становится. В позапрошлом годе так разыгрался, что вода аж до плетней доходила! – сказала хозяйка.

Снова прогремел гром, но начинавшийся было дождь прекратился, порывы ветра стихли. Изредка сквозь толщу туч прорывался луч солнца, и тогда мокрая, блестящая листва деревьев озарялась нестерпимо светлым скользким блеском. В природе боролись две силы – дождь и не сдававшееся непогоде солнце. И это борение и чередование гулких ударов грома и ярких солнечных лучей, на мгновение пробивавшихся сквозь темные, сурово сгрудившиеся тучи, было так своеобразно и удивительно, что Небольсин, отодвинув в сторону завтрак, подошел к окну.

Серая, тяжелая мгла лежала кругом. Темные свинцовые облака окутали небо, но солнце то тут, то там пробивалось сквозь лохматые тучи и вновь заливало землю светом и теплом.

– Уходила бы ты на чеченскую сторону, и чего тебе тут греметь да лютовать, – глядя с надеждой на медленно плывущие к югу тучи, сказала казачка, стоявшая под окном в саду.

– А им, чеченам, он тоже ни к чему! И у их сады да хлеба дозревают, – услышал Небольсин спокойный голос Елохина.

– И бис с ними! Этой орде не то что града, а самой что ни есть поганой смерти не жалко!

– Бога гневишь, баба, – сурово оборвал ее Елохин, – и у их, у чеченов да лезгин, малые дети и старухи имеются... Ты вот одних только абреков да злодеев знаешь, а походи по аулам, разные там люди встречаются. Бывают и такие, что дай бог нам, православным, побольше!

Казачка не ответила и озадаченно поглядела на унтера.

– Это верно. Вон в Андрей-ауле я двух кумыков знаю, так они не в пример лучше да честнее наших, русских будут, – вмешался в разговор Сеня.

– Дак разве же я всем им худа желаю. Вон наш батяка Левонтий кажет, что и в орде хорошие люди встречаются, – неожиданно согласилась казачка.

Небольсин вернулся к столу. Есть ему уже не хотелось. Занятый своими мыслями, он поковырял вилкой в тарелке.



– Александр Николаевич, не нужен я вам? А то хочу к Савке сбегать, – входя в хату, негромко спросил Сеня. Он выжидающе посмотрел на Небольсина.

– Иди, Сенюшка, переговори обо всем, да будь осторожен!

– Сан дут, не беспокойтесь, Александр Николаевич! Мы с ним дождя не побоимся, к реке али в поле пойдем. Надо сегодня повидаться вам, Александр Николаевич, а то завтра, может, и в путь двинемся!

– Оказия пойдет послезавтра, но увидеться с Нюшей надо сегодня, – сказал Небольсин. – Ну, иди, Сеня, и действуй.

Сеня ушел. Дождь то начинал, то снова стихал, как видно, непогода затягивалась, но настоящей грозы ожидать надо было нескоро.

Небольсин попытался было почитать, но, перелистав несколько страниц, отложил книгу в сторону.

Часам к четырем в хату вошел Гостев. Поручик был свеж, бодр и весел. Он обтер полотенцем мокрое от непрерывно сеявшего дождя лицо, налил стакан чихиря, выпил, крикнул и, погладив усы, добродушно сказал:

– Спогодкой тебя, Александр Николаевич! Ох к ночи и будет же гроза...

– Почему так думаешь, Прокофий Ильич?

– Знаю. Во-первых плечо ноет. Это я в бою с Бей-Булатом под Гехами памятку получил. Теперь всякий раз, как к большой непогоде, рана эта свербит да ноет. А второе – во-он, гляди над Уч-Дагом, – подходя к окну, указал он, – видишь вон белое облако курится... Так к ночи оттуда такой ветер да шуга пойдут, такая гроза с громом да молоньей разыграются, что по дорогам ни пройти ни проехать нельзя будет.

– Вот то, маленькое? – с сомнением спросил Небольсин.

– А ты не гляди, что оно малое, а зла в нем да силы о-ох как много. Я ведь здешний, погоду эту во-о как знаю! – присаживаясь к столу, сказал Гостев.

– А теперь послушай, что я расскажу тебе. Князь со своими холуями ночует на Верхней улице, в хатах атамана Прохора Долгова и Евстигнея Чугунова. Девоч его с твоей душенькой перевел к нам в Нижнюю. Они уже с утра перебрались сюда и теперь живут насупротив, у наших соседей, Козырева и Степана Люпина, – довольным голосом закончил он.

– Как удалось тебе это? Ведь их разместили на Верхней улице?

– Очень просто. Я кум атамана станицы. Попросил его перевести девочек на Нижнюю поближе ко мне, а он объяснил князю, что в тех хатах, которые квартирьеры отвели девкам, тесно, да и хозяева недавно хворали оспой. Как услышали об этом девки, подняли вой, а тут атаман еще поддал жару и перепугал их до смерти. Князь тоже обеспокоился и велел срочно перевести их куда ни на есть подальше.

– Спасибо тебе, брат.

– А то! – засмеялся Гостев. – Нехай его сиятельство умоется, мы хочь и простые люди, а и не такие еще дела обламывали.



Гостев доел фазанью грудку, выпил чихирю и, наливая стакан Небольсину, сказал:

– Выступаем послезавтра в половине седьмого. Гроза в здешних местах недолга. К утру опять засветит солнце, дорога обсохнет, земля умоется, и нам легче будет идти. В Николаевской ночевка, другая в Червленной. Оттуда до Наура три перехода. Тебе, брат Александр, надо из Червленной ехать к Терентию, чтобы он вовремя приготовил все.

– Я не задержусь. Лишь бы сегодня повидаться с Ньюшей, – вздохнул Небольсин.

– Темна ночь да гроза с ливнем прикроют, и сладится все как надо. Сеня парень хваткий. Ну, а хозяйшка моя да мамука Луша кого хошь вокруг пальца обведут. Не впервой им это! За успех дела! – поднял стакан Гостев.

– Алла верды! – ответил Небольсин, чокаясь с поручиком.

Вспышки молний стали чаще, гром, уже не переставая, грохотал в небе. Рассекая темные тучи, все ярче сверкали молнии. Внезапно дождь стих. По листьям пробежала дрожь, кущи деревьев закачались, сад застонал от внезапно налетевшего вихря, и под оглушительные, непрекращающиеся удары грома и ослепительные вспышки молний полил ливень.

– Хорош дождь... Если обойдется без града, поможет урожаю, – любясь из окна яростно бушевавшим ливнем, сказал Гостев.

Небольсин молча стоял рядом с ним. Через открытое окно летели крупные брызги. Дождь колотил взмокшую землю, барабанил по темной листве. Земля быстро намокала, вырастали большие блестящие лужи.

– Закроем окно, а то нальет и сюда, – сказал Гостев.

В потемневшем саду, в притихшей станице, на дорогах, над землей и лесом бушевала горная кавказская гроза.

– Ох, страсти какие! Гремит да полыхает, аж смотреть страшно! – закрывая ставнями окно, испуганно воскликнула Донька, та самая актерка, которая во Внезапной вместе с рядовым Хрюминым исполняла *pas de deux*.

– Не дождь, а словно потоп! Ну и сторонка! – покачала головой толстуха.

– А чего хотите, девушки? Сторонка-то бусурманская, живут тут одни нехристи вроде чеченов. Вот и все здесь не как у людей! – ответила одна из девушек.

Сквозь щели закрытых ставен блеснула яркая молния, раздался совсем близко оглушительный удар грома, и хату словно рвануло, заскрипели половицы.

– Ох, батюшки, кабы погибели нашей не было! – закричала одна из теснившихся у дверей девушек.





– Лампу! Лампу задуй! Огонь, говорят, молонью к себе притягивает! – затыкая уши, отчаянным голосом завопила толстушка откуда-то из угла, где она пряталась от резких вспышек молний и ударов грома.

Кто-то быстро задул лампу. В темноте было слышно, как тяжело вздыхали да испуганно перешептывались денники, крестившиеся и взвизгивавшие при каждом ударе грома.

Нюша, сидевшая ни жива ни мертва в сенцах, в трепетном страхе поглядывала на дверь. Не гроза и не молнии пугали ее. Савка, который с минуты на минуту должен был явиться к ней, опаздывал.

«Господи, помоги! И что это Савки нету!» – с тоской и прислушиваясь к шуму ливня, думала она.

– Ты что тут спряталась, Нюша? Думаешь, здесь лучше? – засмеялся Агафон, входя со двора в сенцы, – Ох и дождь, не приведи господь, какой лютой!

Он отряхнулся.

– А где остальные девки?

– Там вон, в хате хоронятся... Испужались страсть как! – ответила Нюша.

– Ничего, нехай спать ложатся. Меня вот Прохор Карпыч прислал для охраны, значит, ващей и порядку. Скажи им, чтоб спать ложились, а я малость посижу здесь, обсушусь да покурю, да и тоже лягу, – закуривая, сказал Бык. – Утречком все в аккурате будет, опять солнышко засветит, птички запоют, а там и в путь.

– Уж скажи ты им сам, дядя Агафон, а я тут пригрелась и, правду сказать, идти прямо неохота. Вот ведь страсти-то какие! – с деланным испугом проговорила она.

Блеснула молния, и еще более оглушительный раскат грома прогремел над хатой.

– Видать, близко вдарило, – равнодушно сказал, потягивая махру, Агафон, – Ну ладно, дочка, ты сиди, а я пойду к девкам.

Он докурил, пригасил сигарку и вошел в хату. Из-за двери тотчас же раздались голоса девушек.

– Ну вы, трусихи, чего перепугались, али забыли, как дома, в деревне, гремит? – донесся до Нюши добродушный голос Агафона.

За дверью сквозь шум ливня слышался звук шагов. В сенцы, отряхиваясь от дождя, укрывшись с головой мужским кожухом, вошла хозяйка – мамука Луша. Она быстрым наблюдающим взглядом огляделась по сторонам и кивнула на закрытую в кунацкую дверь:

– Полегли спать ваши девки али еще возятся?

– Сидят, ровно мыши, испугались грома, а как?.. – снижая голос до шепота, спросила Нюша.

Мамука быстро подняла палец к губам и энергично замотала головой.

– Одни аль кто там еще есть? – спросила она.



– Дядя Агафон. Остальные – девушки.

– Это кто ж еще Агафон?

– Дворовый человек, для порядка вроде сторожа сюда назначен.

– Часовым, значит, караулить вас, чтоб, прости господи, какой-нибудь казачина не выкрал себе невестушки, – засмеялась мамука. – Ну, мы его, хрыча старого, и спрашивать не станем. На, одевай кожух моего мужа да и айда за мной на нашу сторону.

– Эт-то куда ж?

Заслышав голоса женщин, Агафон раскрыл настежь дверь. За его спиной виднелись головы актеров. Вновь зажженная лампа освещала кунацкую.

– Куда собираешься, Ньюша? Нельзя это. Прохор Карпович приказали всем вам здесь ночевать. Не дай бог, узнает его сиятельство, мне первому отвечать за вас придется, – миролюбиво объяснил Агафон.

– А ты еще что за начальник? Ты откель здесь взялся? – нахмурила брови мамука.

– А что? – озадаченно сказал Агафон. – Не начальник, а как Прохор Карповичем приставлен к девкам, так и должен точно справлять приказания.

– Это ты, чертов кум, у себя в деревне распоряжайся, а мне на твою князя и такую ж сволочугу Прохора плевать... не в Москве находишься, а на казачьей стороне. Собирайся, девка, неча его, старого кобеля, слушать, – решительно заключила казачка.

– Ты что, обезумела аль белены объелась, баба? – заворчал Агафон. – Куда это еще «собирайся»? Все в ной хате ночевать будут, вот и вся тут. Барский приказ...

– А мне на твою барина... – мамука произнесла такое, что Бык, не находя ответа, растерянно заморгал глазами, а девушки залились таким раскатистым смехом, что заглушили даже шум ливня.

– Ты... ты чего ж озоруешь, срамница, – наконец выговорил Агафон.

– Я те дам «озоруешь», Мамай окаянный! Это чья хата? Твоя али твою князя, хай его черти жрут? Хочу – заночуете, а нет – так всех вас вместе с тобой, нечистый дух, борода рыжая, отселе налажу! Это тебе не Россия. Я здесь хозяйка, а не твой князь. Ты чего думаешь, старый кобель, что я в чистой кунацкой всех вас уложу? Вы завтра да дале двинетесь, а я всю хату после вас неделю мыть да чистить буду! – наступая на Агафона, кричала мамука.

– А как же? – развел он руками.

– А вот и так же! – передразнила его хозяйка. – Сколько вас всех-то с тобой вместе?

– Девочек восемь да я вроде как девятый...

– Так нехай пять в кунацкой полягут, две – здесь, ты – в сенцах, а она ко мне в хозяйскую хату идет.



– Нет, так нельзя! – подумав немного, сказал Бык. – Чего это она одна пойдет... Не полагается одной, и опять же Прохор Карпович велел...

– Вот кобель немытый, заладил одно: Прохор да Прохор, а мне чихать на твоего Прохора! Вот что, милая, с этим дураком не сговориться, – тыча в Агафона пальцем, продолжала она, – бери себе в компанию какую-нибудь подружку, да и айда в нашу хату! Ну, что, чертов караульщик, теперь спокойней будешь?

– А чего ж? Вдвоем коли, это сподручней, вернее будет, – сбитый с толку энергичными окриками казачки, согласился Бык.

– Ну, так кого ж с собой берешь? Да живее, время-то ночное, и нам, и людям спать охота, – заторопила Ньюшу мамука.

– Пойдем со мной, Машенька, – умоляюще глядя на толстушку, попросила Ньюша.

– Пойду, хоть и боюсь дождя.

– Ну, так вы обе вот этим кожухом прикройтесь, да быстренько через двор побежим. А вы, девки, ложитесь спать, да только огонь тушите, кабы, хорони бог, хату не спалить! – приоткрывая дверь, сказала хозяйка.

– Обожди немного, я тоже с вами, – поднялся Агафон.

– А ты чего, черт рыжий, за нами увязываешься?

– А для порядку. Погляжу, что и как, а после сюда вернусь, – флегматично ответил Агафон.

– Службу, значит, справлять верно хочешь? Ну, валяй, шлепай за нами! – И под смех и шутки девушек Ньюша с толстушкой в сопровождении хозяйки и Агафона вышли во двор.

Девушки стали раскладывать на полу кунацкой постели, по двое и по трое укладываясь на ночлег.

– А ты, Донька, чего не ложишься, али тоже в хозяйкину хату ночевать пойдешь? – спросила одна актерка другую.

Донька пожала плечами и тихо, словно своим мыслям, сказала:

– Чудно как-то! Мы – здесь, а они двое – там. Потеснились бы, теплее б было... – Она расплела косу, медленно разделась и опять повторила: – Чудно! И хозяйка-то, ровно ей было велено, чуть ли не волоком утащила Ньюшу.

Но ее уже никто не слушал. Девушки, утомленные скучным днем и однообразным шумом затянувшегося дождя, уснули. Донька устроилась рядом с тихо посапывавшей во сне подругой. Минуту-другую она продолжала еще думать о Ньюше, а затем быстро и безмятежно заснула.

Перебежав под дождем двор, хозяйка с обеими девушками вошла в низкую простенькую турлучную хату с низкой и толстой камышовой крышей. В сенцах горел ночничок. Открыв настежь дверь, мамука впустила девушек в теплую, чистую, с невысоким потолком комнатку, вторая, еще поменьше, шла влево от сенец. Широкий топчан был застлан



чистым, хорошо выстиранным рядом, большая взбитая подушка и цветное одеяло покрывали постель.

– Ну, девоньки, раздевайтесь, да спать, а ты, караульщик, погляди под стол, нет ли кого из хлопцев! – насмешливо крикнула Агафону хозяйка.

Бык покачал головой, почесал затылок.

– Раз полагается, надо делать. Мне что! Кабы не наказ барина, так хоть в лесу пусть ночуют.

Нюша и толстуха, обнявшись, ждали, когда наконец Агафон уйдет.

– Ну, скорей, скорей, черт рыжий, не видишь, девки спать хотят, – торопила его хозяйка.

Агафон потоптался на месте, мотнул для чего-то головой и взялся было за шапку.

– Постой ты, кавалер, вот что мне пришло в голову, – подтолкнула его в бок мамука, – мой-то казак сейчас на постах возле Терека, в патруле ходит. Нехай девки тут спят, а ты, рыжая борода, ночуй у меня, – подмигнула казачка.

– Чего, чего? – озадаченно переспросил Агафон.

– Чаво, чаво, – передразнила его мамука. – Малый ребенок какой, не понимает! Ему пожуй да в рот положи. Оставайся, говорю, со мной зоревать, сторож лохматый!

– Тьфу ты, вот чертова баба! – наконец сообразил Агафон. Он даже отступил от хохотавшей казачки. – Стыда в тебе нет, окаянная! Муж в карауле, а ты чего предлагаешь?

– Ох и ду-ра-ак, ох и телок, даром с бугая вырос! Не хочешь, не надо. Лягу одна, а ты геть отселе, праведник чертов! – распалилась хозяйка.

– И пойду, а тебя, паскуду, и слушать не буду! – выскакивая как опшаренный, закричал Агафон.

Шаги его стихли.

– Ушел, черт рыжий! Я знаю, как таких дураков налаживать.

Мамука подошла к Маше-вострушке, молча взяла ее за руку и потянула к себе, затем ногой отворила дверцу во вторую комнатку и спокойно сказала:

– Иди, ваше благородие, выходи сюды!

Машенька ахнула, а Нюша, зардевшись от смущения и счастья, подалась вперед.

В дверях стоял Небольсин.

– Пойдем, дочка, спать, нехай люди счастьем надышутся, – сказала казачка, увлекая за собой оцепеневшую от неожиданности толстуху.

Дождь давно уже стих. Через щели неплотных ставен стало проглядывать начинавшееся утро. В хате было еще темно, и серые неясные тени ползли по комнате.



– Пора, Ньюшенька, пора, моя радость, – целуя в последний раз девушку, сказал Небольсин.

– Еще чуточку, Саша, солнышко мое светлое, счастье мое единственное, – прижимаясь к груди поручика, шептала Ньюша, – Всю ночь с тобой пробыла, а кажется, будто только-только встретились... Мало мне такой радости, бесценный мой! – глядя его руки, целуя глаза, продолжала она шептать.

– Бог даст, скоро все станет по-иному. Увезу тебя, и заживем с тобой хорошей, новой жизнью.

– И так до самой смерти.

– До конца наших дней... Вместе, всегда вместе.

– Дал бы Бог нам деточек, Саша. Я хочу, чтобы у нас был сын, и такой хороший, добрый, честный, как ты. Нет ведь больше на свете таких, как ты. Один такой, единственный!

– Ну уж «единственный», – улыбнулся поручик. – Есть еще немало людей в сто, в тысячу раз лучше меня!

– Нет, – прервала его Ньюша, – нет таких. Ты – самый лучший, ты – самый честный и хороший... Нет тебя лучше!

– Просто ты любишь меня, родная, вот тебе и кажется, что я лучший на свете!

– Может быть, может быть и так. А как ты? Как ты думаешь, есть лучше меня? – заглядывая Небольсину в глаза, спросила она.

– Дурочка, – с нежностью сказал Небольсин. – И не думай об этом. Люблю тебя крепко. Одна ты у меня. Нет и не надо мне никакой другой.

Ньюша засмеялась тихим, счастливым смехом и спрятала на его груди свое радостное, светившееся счастьем лицо.

В ставню чуть-чуть постучали, в сенцах послышались осторожные шаги.

Ньюша вздрогнула и крепче прижалась к Небольсину.

– Не бойся, девочка, это Сеня или Савка. – Он взглянул на свой брегет, но сумрак комнаты помешал разглядеть время.

Тихий стук, но уже в дверь, повторился.

– Александр Николаевич, пора! Развидняет! Пятый час, – услышали они шепот за дверью.

– Это ты, Сеня?

– Я, Александр Николаевич!

– А где Саввушка? – одеваясь, спросил через дверь поручик.

– Возле той хаты сторожит, на случай ежели Агафон или кто другой из нее выйдет. Свирестелем запоет, сигнал такой у нас назначен.

Ньюша блаженно и радостно засмеялась:

– Ох этот Савка, как дитя малое, вечно у него блажь да выдумки в голове. Ну, милый Саша, дай еще раз поцелую тебя, – она крепким и долгим поцелуем прикинула к нему. – А теперь иди, дорогой, храни тебя Бог!



– Будь спокойна, все будет так, как объяснил тебе!

– Ваше благородие, пора, светает. В станице уже казаки да бабы проснулись, гляди, как бы бугай тот рыжий сюда не появился, – входя в комнату, сказала хозяйка.

– Иду, иду... спасибо тебе, милая, – и, сунув казачке еще две золотые монеты, поручик вышел из хаты.

Воздух был свеж, чуть сыроват и прозрачен. Солнце поднималось над горами, но мгла еще висела над станицей.

Они быстро прошли к перелазу и под лай неожиданно набежавших собак скрылись в садике Гостева.

– Рада, что с любушкой свиделась? – глядя на озаренное лицо чему-то улыбавшейся Ньюши, спросила казачка, тронув ее волосы теплой и мягкой ладонью. – Только и есть у нас, девонька, счастья, что со своим любушкой типшом да негаданно встретиться!

В комнату в одной рубашке вбежала Машенька и, беззвучно плача, бросилась к удивленно взглянувшей на нее Ньюше и крепко обхватила ее руками.

– Что с тобой, родная? – глядя ее по голове, спросила Ньюша. – Или боишься чего?

– Не-ет... Кого боюсь-то? – всхлипывала толстуха, глотая слезы и целуя Ньюшу. – Радуюсь я за тебя... от счастья плачу... Любишь ты его, да?

– Люблю... больше жизни люблю... – еле слышно ответила Ньюша.

– Я ведь всю ночь не спала. Все о тебе думала... Умная ты да смелая... Так этому негодяю, кабану и надо, – вспоминая Голицына, с ненавистью сказала Машенька.

– Полегли б вы, девки, спать, еще только развидняет, – заглянула в дверь хозяйка.

– И то верно, давай спать, Машенька.

Толстуха молча обняла ее, и девушки, накрывшись одеялом, уснули.

Заглянувшая минут через пять в горенку мамука Луша увидела, что девушки крепко спят.

Мамука хитро и добродушно улыбнулась, осторожно прикрыла дверь и вышла во двор, где уже играло солнце и бродили проголодавшиеся куры.

## Глава 5

На плацу, недалеко от вала, окружавшего станицу, почти у самого выгона, происходило учение. Две роты Куринского полка, выстроенные в одну шеренгу, делали ружейные приемы по флигельману<sup>1</sup>, который

<sup>1</sup> Так назывался по уставу 1796 года правофланговый унтер-офицер роты, который во время учения выходил вперед и проделывал ружейные приемы. За ним исполняла эти приемы вся рота.



стоял на крыше небольшого сарайчика. В отдалении от фронта рот в глубоком соломенном кресле сидел майор и курил трубку, время от времени потягивая из большой эмалированной кружки горячий чай. Возле него стояли офицеры, о чем-то оживленно беседуя и не обращая внимания на топтавшихся в пыли солдат.

Оказия вывернулась из-за холма, и пехотные солдаты уже показались вдали. Взвод казаков медленной рысцой обогнал телеги и спустился к поляне.

— Полубатальон, стой! — не поднимаясь с кресла, скомандовал майор и, наводя зрительную трубу на дорогу, сказал: — Оказия! — Он обернулся к толстому капитану: — Степан Степаныч, ты уж того... муштруй роты, а я... — Он провел рукой по бакам, подтянул приспущенный пояс и пошел вперед. Адъютант и казачий сотник двинулись за ним.

Колонна приближалась к Червленной. Уже отчетливо была видна поднявшаяся над дорогой и лесом сторожевая башня. Впереди раскинулась солдатская слободка, за ней темнела базарная площадь. Поодаль высилась деревянная церковь со сверкавшим над ней крестом. Земляной вал опоясывал станицу, в центре которой стояли стройные ряды белых казенных зданий. В стороне от них поднимались четыре двухэтажных дома. Потом опять шли улочки с низенькими казачьими хатенками и редкой зеленью.

Хотя оказия была уже недалеко от Червленной, походный порядок движения еще не был нарушен. Из станицы с криками, бранью, смехом и возгласами бежали казаки, солдатки, торговки... При виде толпы стройный квадрат оказии дрогнул. Ей навстречу, прорывая солдатские роты, кинулись, в свою очередь, истомленные долгим скучным путем маркизетки, обозные и фуражники. Конвойные солдаты, сохраняя походный строй, подходили к станице. Запыленные артиллеристы, держа в руках дымившиеся фитили, спокойным шагом шли за орудиями, не обращая внимания на шум, поднятый обозом. Ехавший впереди прапорщик остановил пегого конька и, оглядываясь на растянувшуюся оказию, простуженно закричал:

— Ко-лон-на, стой!

— Из вагенбурга<sup>1</sup>, разминая усталые ноги, отдуваясь, вышел Голицын.

— Доехали, хвала Аллаху! — И, сев на подведенного ему Савкою коня, поскакал к голове колонны.

Гостев, крепко спавший в одной из фур и препоручивший командование оказией прапорщику, проснулся, протер глаза, соскочил на землю и, одергивая на себе сюртук, поспешил к майору. Подойдя к нему, он еще сонным голосом отрапортовал:

<sup>1</sup> Особый строй военного обоза на случай нападения неприятеля.



– Господин майор, честь имею доложить: оказия дошла до станицы Червленной благополучно. Происшествий в пути не случилось!

Майор пожал руку Гостеву.

– А ты, Прокофий, после квартирьеров заходи ко мне, в казармы. Я словно знал – пашлыком с винцом сегодня обедаю.

Это был ближайший друг и собутыльник поручика майор Алексей Колосов, известный по всей линии вояка, забулдыга и весельчак.

В шуме, гомоне и криках обозы входили в станицу.

– Ну, я пойду, послезу за квартирьерами, – сказал Гостев.

– Иди, Прокофий, а к обеду не забудь заглянуть. Я еще с утра такую шамаю заготовил, да грибков соленых, да капустки кислой, только пальчики оближешь!

– Приду, – пообещал Гостев.

– А это что за джигит такой, вроде фазана разodelся? – приставив ко лбу ладонь, спросил Колосов.

Гостев усмехнулся:

– А это, брат, самый джигит и есть Голицын.

– Князь? Полковник?

– Он самый. А что? – поинтересовался Гостев.

– Бумага ему из Грозной с нарочным имеется.

Гостев пошел к станице, а майор стал прохаживаться вдоль солдатских шеренг, уже не обращая никакого внимания на оказию.

От станицы Червленной военный тракт расходился на три дороги. Первая, ставропольская, вела через Моздок в Россию, вторая – от Екатериноградской на Владикавказ и Грузию, третья шла от Червленной через мост на крепость Грозную.

В станице Червленной находился штаб казачьего Гребенского полка, две горные полубатарей, одна кегорновая пушка и четыре фальконета. Здесь же был расположен и батальон Куринского пехотного полка, подкрепленный ротой егерей.

Когда оказия въехала в станицу и земляные валы и засыпанные щебнем плетни остались позади, было уже около шести часов. Уходящее солнце золотило степь, и его лучи залили станичные сады.

Квартирьеры разводили приехавших по казачьим хатам. Возле плетней стояли хозяйки, недружелюбно поглядывая на жильцов, которых вели им солдаты.

– Ну, загостили, каждую неделю люди... Всю горницу засыплют, табашники, хоть иконы выноси после них, – сказала одна из казачек, когда из-за угла показалось несколько человек, впереди которых шел казак с белой повязкой на руке. – Микишка идет... Опять, кажись, нечистый дух к нам кого-то тащит... Так и есть, маточки, к нашей хате повернул! – всплеснув руками, с отчаянием вскрикнула она.





— А все потому, что Исаку Сехину соседями приходимся, к ему генералов да богатеев водят, а к нам на постой их слуг.

— Да гляди, их мало не десяток... где ж ты их, Максимовна, уложишь? — глядя из-под руки на приближавшихся, заметила другая.

— И что их нечистая сила гоняет туды-сюды... Одни в Россию, другие с России. В ту оказию трех солдат да одного вольного чуть не месяц держали, а теперь, гляди, цельную сотню опять на постой ведут.

— Максимовна... касатушка... да ведь это бабы...глянь-ко... — всплеснув руками, перебила ее другая казачка.

— И впрямь бабы... да молодые какие... — вдруг успокоилась хозяйка и двинулась навстречу приказному Микишке, с которым шли прибывшие с оказией женщины.

— Вот, Максимовна, принимай гостей... восемь девок, мамзелей, княжеских людей. Велено три дни им у тебя постой держать, а потом в Россию... так что недолго тебе с ними чихирек распивать придется.

Казачка, удивление которой росло с каждой секундой, а любопытство, возбужденное появлением стольких девушек, пересилило неприязнь, засуетилась и, распахивая шире ворота, сказала:

— Вот не чаяла, маточки мои милые, с линии девок встретить! Да и какие ж вы все молодые да хоро-ошие! Заходите, заходите в горницу... скоро и сам хозяин наш, батяка Фома Ильич, припожалует... ай же, голубушки мои, ясочки писанные, истомились в пути, — приговаривала она, вводя гостей в низкую, крытую камышом, прохладную, чисто беленную, светлую хату, откуда доносился приятный запах борща и печеного хлеба.

Голицын занимал большой дом, своим видом отличавшийся от остальных, обычных казачьих. Дом этот был полугородского типа, с железной крышей, парадным входом и стоял на прочном кирпичном фундаменте. Это был дом войскового старшины Исаака Сехина, первого богатея в станице, лучшего винодела во всей Червленной. Совсем недавно у него останавливалась посольская миссия из Петербурга, ехавшая в Персию, во главе с князем Меншиковым. У него же всегда гостил, приезжая в Червленную, Ермолов.

Князь Голицын помылся с дороги, переоделся в просторный шелковый халат, надел красную с кисточкой турецкую феску, входившую тогда в моду у петербургских щеголей, и, закулив длинный персидский чубук с кальяном, стал совершать свой кейф.

Голицын с удовольствием возвращался в Россию. Он с наслаждением потягивал чубук, слушая, как булькает вода в кальяне. Кавказ утомил его, он и сам уже собирался вернуться в Петербург, но неожиданный приезд во Внезапную Ермолова и его категорический приказ освободить крепость от лишних людей, и в первую очередь от голицынского театра



и челяди, возмутил князя. Ермолов был главнокомандующий и «проконсул Кавказа», но там, в Петербурге, Голицын, зная о недовольстве царя Ермоловым, надеялся с помощью своих связей при дворе отплатить этому солдафону за обиду.

– Разрешите войти, ваше сиятельство? – голос Прохора вывел Голицына из раздумья.

– Войди!

– К вам, батюшка барин, майор пожаловали, – кланяясь от самого порога, доложил камердинер.

– Что за майор? – недовольно осведомился Голицын.

– Здешний комендант. С бумагой от генерала.

– Какой бумагой? Какого генерала? – пожал плечами Голицын. – Зови его, – оправляя виски и завязывая тонкий шелковый пояс, приказал он.

– Честь имею явиться, ваше сиятельство. Начальник местного гарнизона и комендант Червленной майор Колосов, – по форме отрапортовал вошедший.

– Извините, господин майор, не ожидал вашего появления, – показывая на халат и феску, сказал Голицын.

– Не имеет значения, ваше сиятельство. Я по долгу службы явился к вам со следующим делом. На ваше имя еще позавчера получены срочные пакеты, приказано вручить лично, – он вынул из сумки несколько пакетов. – Вот этот вам, ваше сиятельство, и еще второй... – он протянул было его князю, но вдруг поправился: – Никак нет, ваше сиятельство, ошибся, это гвардии поручику Небольсину, а не вам, – откладывая пакет обратно в сумку, сказал он.

Голицын, уже протянувший было руку за пакетом, произнес:

– Это во Внезапную, поручик там квартирует.

– Никак нет, ваше сиятельство. Поручик Небольсин состоит в числе лиц, идущих в оказии, потому пакет этот пришел сюда, для передачи ему в Червленной.

– В оказии? – поднимая брови, повторил Голицын. – Вы ошибаетесь, господин майор. Он служит в полку, расквартированном во Внезапной.

– Был-с ранее, а теперь направляется в Тифлис для несения там службы. Сам читал приказ по отряду об его откомандировании в Грузию. Да извольте взглянуть, ваше сиятельство, поименный список всех лиц, находящихся в оказии. – Он развернул список и, полистав его, подчеркнул ногтем. – Вот он, гвардии поручик Небольсин, следует до города и крепости Владикавказа для дальнейшего следования в город Тифлис в распоряжение штаба главнокомандующего.

«Небольсин в оказии... – слушая слова майора, размышлял Голицын. – Почему же я ни разу не видел его ни на остановках, ни на переправе через Терек? Похоже, что он прячется от меня».



– Вот вам второй пакет, извольте собственноручно расписаться, ваше сиятельство.

Голицын расписался.

– Как устроились, удобно ли? – осведомился комендант.

– Спасибо. Устроился отменно хорошо, – ответил князь, разрывая пакет и все думая о Небольсине, о доносе Петушкова, о Ньюше. Быстрая смена ее настроений от испуганно-грустного к неожиданно веселому показалась ему теперь странной. Тогда он не придавал этому значения, но сейчас все вспоминалось ему...

«Полковнику князю Голицыну. По встретившейся казенной надобности Вам надлежит немедленно, с получением сего предписания, выехать в крепость Грозную для встречи с полковником Бартоломеи и получения пакета особой важности на имя начальника Главного штаба российской армии генерал-адъютанта барона Дибича». «Дибича», – вновь прочел Голицын. Он уже забыл и о Ньюше, и о своих подозрениях, и о Небольсине.

Приказание генерала Розена явиться к полковнику Бартоломеи вытеснило все. Князь знал, что полковник, числившийся в посольской свите Меншикова, на самом деле был прислан сюда шефом жандармов генералом Бенкендорфом и что его задачей было по личному поручению царя найти и собрать возможно больше компрометирующих материалов против Ермолова.

Голицын очень вежливо раскланялся с майором и даже на прощание протянул ему руку. Когда гость ушел, князь снова прочел бумагу Розена и довольно улыбнулся. Визит к Бартоломеи и секретный пакет в Петербург давали ему возможность в столице явиться на личный доклад к Дибичу и, кто знает, может быть, и на тайную аудиенцию к самому императору. О-о, судьба благоприятствовала ему! Теперь он мог и без помощи друзей отплатить этому моветону Ермолову за оскорбление.

Голицын весело рассмеялся и забыл обо всем, что тяготило его. Он вышел в другую комнату, где его ожидал Прохор. Камердинер всматривался в лицо князя, стараясь угадать расположение духа барина.

– Приготовь к утру на послезавтра коляску и верховых коней Руслана и Резеду. Скажешь повару, чтобы сопровождал меня вместе с тремя верховыми в Грозную.

– Слушаюсь, батюшка барин, будет сделано. А как же, извиняюсь, ваше сиятельство, мы? Прикажете людям дожидаться вашего возвращения?

Голицын задумался.

– А зачем? Вам всем двигаться с оказией до Екатериноградской, где и дожидаться моего приезда. – Он прошелся по комнате и добавил: – Я вернусь через четыре-пять дней. Ты, Прохор, поведешь людей, будешь следить за ними и, – он взглянул на камердинера, – смотри, в случае чего – ответишь!

Прохор согнулся до самого пола:



– Спасибо за милость, за доверие, ваше сиятельство. Не извольте беспокоиться, все будет в целости и аккурате.

Слова камердинера напомнили князю о его недавних сомнениях.

– Ты не видел в оказии поручика Небольсина? – не глядя на Прохора, спросил он.

– Не случилось, ваше сиятельство, однако людей их благородия в пути зрил, – осторожно ответил Прохор.

– Узнай, где он остановился в станице, да внимательней следи за девками.

– Понимаю!

– Теперь ступай да предупреди людей о моем отъезде. Послезавтра утром с конвоем летучей почты выезжаю.

Прохор ушел. Оставшись один, князь снова отдался мыслям о предстоящей встрече с полковником Бартоломеи и о докладе, который он, Голицын, отвезет в Петербург.

И дворовые люди, и актеры, и сам Прохор были несказанно рады, узнав об отъезде князя в Грозную.

Голицын не принадлежал к наиболее лютым крепостникам, тиранившим прислугу. У него многим жилось не в пример лучше, чем у других помещиков, люди были лучше одеты, кормились досыта и биты бывали не часто, но холодное презрение князя и его равнодушие к их судьбе пугало крепостных. Они понимали, что в глазах этого равнодушного вельможи они значили не больше рабочего скота из его обширных подмосковных владений. Несколько дней пути без Голицына были настоящим праздником для них.

– Это Господь Бог услышал мои молитвы, – убежденно сказала Нюша, когда Савка, весь сияя от радости, сообщил ей о неожиданном отъезде князя.

– А я, сестрица, испугался сначала... Думаю, вдруг захочет он тебя с собой забрать, да спасибо Прохор Карпович объявил: все, кроме Сергея, Агафона да Силантия, пойдут в путь, а те трое с ним, в Грозную...

– Не пугай ты меня, Савка, не шути таким словом, у меня аж сердце от страха захолонуло, – испуганно схватилась рукой за грудь Нюша.

– Дак теперь чего пугаться? Сказано уж, эти трое с ним и поедут. Да и на что тебя туда, у барина там дело какое-то важное. Он его там исполнит – и давай назад, в Екатериноградскую. Ну, а тебя уж там и не будет, – обхватывая Нюшу, весело зашептал Савка. – А теперь бегу к Александру Николаевичу. Надо ж и ему доложить об этом добром случае.

– Ох и озорной да бедовый этот твой брательник... мало всех цыплят во дворе не подавил, шустрый! – входя к девушке, сказала хозяйка, – Чего это ты такая веселая да улыбочатая, аж вся светисься?

– От счастья это... от хороших вестей, хозяйюшка, – обнимая казачку, ласково ответила Нюша.



Небольсин внимательно выслушал Савку.

— Это ты точно знаешь об отъезде князя? — спросил он.

— Это точно. Послезавтра утречком черти его унесут отсюда, а тогда... —

И он весело махнул рукой.

— Спасибо тебе за добрую весть, Савва. Теперь, когда Голицына не будет с вами, дело наше пройдет еще спокойнее и легче. Скажи Нюше, что через час я уезжаю в Наур... К вашему прибытию в Мекени все будет готово...

— Понимаю, все понимаю, дорогой барин, спаси вас Бог за доброту и ласку. Все будет так, как обговорено... одним словом, конец будет всем Нюшиным мукам... а там... — Савка улыбнулся и широко развел руками.

Через полтора часа возок поручика, окруженный двенадцатью конными казаками с постов летучей почты, выехал из Червленной.

Гостев не провожал своего названного брата. В эти минуты он ужинал у майора Колосова. Услышав шум, он выглянул в окно и в вечернем сумраке разглядел возок поручика и гарцевавших вокруг всадников. Прокофий Ильич перекрестился. Не понявший его майор с удивлением посмотрел на приятеля.

Часов в десять ночи камердинер, раздевая барина, сказал:

— Ваше сиятельство, не извольте сердчать, по всей станице искали, где остановился их благородие поручик, никак не выяснили.

— Какой поручик? — зевая, спросил Голицын.

— Небольсин, как изволили приказать.

Голицын вспомнил.

— Как же это так? Не иголка же, чтобы затеряться в этой станице! — Он задумался и как бы нехотя процедил сквозь зубы: — Что делают девушки?

— Кто что, ваше сиятельство, одни спать улеглись, которые ложатся, а двоих я с улицы в дом пригнал.

— Кого ж это?

— Да Нюшеньку с Машкой Коноплевой, что в амурах играет.

— Это толстую Марию? — уже лежа в постели, поинтересовался Голицын.

— Именно так, ваше сиятельство. Ее самую.

— Чего ж это они на ночь глядя на улице делали?

— Казачата с девками песни играли, говорят, слухали, — неопределенно сказал Прохор. Князь почувствовал какую-то новую интонацию в его голосе.

— Что хочешь сказать? Говори! — приказал он.

— Ничего серьезного, ваше сиятельство, так, навроде пустой думки, однако доложить вам должен.

— Говори.



– Мне девка из тиатера, Зюрина Донька, та, что дане вдвоем пляшет...  
– Ну! – не сводя с него взгляда, тихо произнес Голицын.  
– ...быдто они, то есть Ньюша и Коноплева Машка, в ту ночь в этом самом селе... – пугаясь князя и путаясь в словах, забормотал камердинер.  
– Каком селе? – еще тише, холодно спросил Голицын.  
– В той, значит, станице казачкой, где ливень этот самый был...  
– В Шелкозаводской?  
– Точно, в ней самой, ваше сиятельство.  
– Ну и что? – спокойно спросил Голицын, выжидательно глядя на камердинера.

Прохор замялся и с отчаянием проговорил:

– Так там, значит, эти вон самые Ньюша и Машка ночевали не вместе со всеми ахтерками, в общей, а в другой, в хозяйкиной избе...

– Почему?

– Вроде как мала первая хата была, тесно всем было, и хозяйка их двоих увела к себе.

– Что ж еще говорит эта Донька?

– Больше ничего, ваше сиятельство.

– А ты что думаешь?

– Всякое, ваше сиятельство. Может, и вправду тесно было...

– А может... – испытующе глядя на него, сказал князь.

– Все может случиться, батюшка барин. Ведь бабы навроде сук, извините за такое слово. Им мной велено было всем в одном месте ночевать, никуда врозь не отлучаться.

– Кто караулил их?

– Агафон, он там и ночевал с ими. Он, ваше сиятельство, божился, что никого там, окромя бабы-казачки, не было. Сам он туда раза три за ночь ходил.

– Он дурак, твой Агафон!

– Так точно, это истинно так! Чистый бык, что головой, что силой, – поддакнул Прохор.

Голицын не отвечал. Он задумался, перебирая в голове все, что услышал от камердинера.

Хотя Небольсин и был где-то тут же, Голицыну даже смешным казалось подозревать его. Но вместе с тем, зачем Ньюша ночевала в стороне от других? Для чего в чужой станице она до десяти часов ночи бродит по незнакомой улице с этой Машкой?

– Что еще сказала Донька?

– Ничего, батюшка князь... перепугалась только и все твердит: «Ньюша – девка добрая, честная, ни в чем не повинная...»

– Ты, старый болван, распустил их, вот в чем дело. Смотри у меня, а то я за тебя возьмусь, тогда только и будет порядок, когда выпорю тебя за всех сразу.



– Барская воля, ваше сиятельство. Наказуйте, коли в чем провинился, однако служу вам, видит Бог, как надо, – униженно кланаясь, скороговоркой заговорил Прохор.

– Пошел вон! Спать только помешал, скотина! – Голицын снова натянул одеяло.

Прохор, довольный таким благополучным концом, потушил свечу и на цыпочках вышел из комнаты.

Утром, брея князя, Прохор говорил:

– Как было велено, всю ночь проверял ахтерок. Все до одной были при доме, никто не отлучался, и никто не заходил к девушкам.

Голицын апатично слушал его.

– А насчет вашего отъезда, батюшка барин, так разговоров нету. Понимают, что по цареву приказу это делается. Извольте надуть щеку, ваше сиятельство, я тута бритвочкой пройдуся, – осторожно водя бритвою возле уха Голицына, продолжал Прохор.

– Коляска на завтра приготовлена? – надувая намыленные щеки, спросил Голицын.

– Точно так-с. Матвей моет ее с дороги, к вечеру будет в аккурате.

– Повару указал, что готовить на обед и в дорогу?

– Цыплят с картофелем, суп с лапшой и кисель из вишни. В дорогу, ваше сиятельство, опять же цыплят да холодной баранины и фруктов. И, конечно, вина.

Голицын осторожно кивнул головой.

– Насчет поручика опять ничего не известно. Тут он, в станице, да где живет – никто толком не ведает. И сам спрятался, и людей его не видеть, – продолжая брить князя, рассказывал Прохор.

Когда он добрил щеку, Голицын с неудовольствием сказал:

– Как это не могут узнать? Плохо ищут!

– Не извольте гневаться, ваше сиятельство, ввечеру узнаем.

– А как Анна... как держится, узнав, что без меня едет дальше? – перебил Прохора Голицын.

Сбитый с толку, не зная, что отвечать, камердинер осторожно сказал:

– Да вроде никак, ваше сиятельство... Ничего не заметно.

Голицын стер со щеки пену, внимательно оглядел лицо в зеркало:

– Порезал, болван!

– Простите, ваше сиятельство, самую малость, прыщик...

– Дай спирт и лавандовую воду... брить – и то не умеешь!

Давно уже знавший Голицына и хорошо изучивший его характер Прохор понял, что князь чем-то очень раздражен. И то, что он назвал Ньюшу Анной, особенно напугало Прохора. Князь редко, лишь в минуты гнева, называл слуг полным именем, и это всегда было признаком накипевшей ярости.



– Где она? – вдруг спросил Голицын.

– Тута, в соседнем флигельке, ваше сиятельство, – замирая от страха, прошептал камердинер.

– Поддай мне ручное зеркало и позови ее сюда. Да когда войдете оба, ты стань вот тут, – князь указал возле себя.

– Слушаюсь, ваше сиятельство, – проговорил окончательно озадаченный Прохор.

Нюша с Машей, обнявшись, не спеша гуляли по саду, о чем-то перешептываясь и поминутно заливаясь смехом.

Щеколда ворот звякнула, и во двор быстрым шагом вошел Прохор. Лицо его было озабоченно, глаза кого-то искали.

– Принес черт этого кобеля поганого, – с отвращением сказала толстуха, – ищет кого-то.

– Ой, Господи, – испуганно схватилась за сердце Нюша, – не за мной ли?

– И чего он тебя искать будет, нас здесь цельная куча. И не люблю ж я его, окаянного холуя господского, – глядя сквозь кусты на метнувшегося в хату Прохора, сказала Машенька.

– Ой, подруженька, за мной это, ой за мной, чуеет мое сердце, меня это ищет, – прижимаясь к девушке, побелевшими губами прошептала Нюша.

– Ох да и напуганная ж ты этим князем! Зачем ему ты теперь, когда вам врозь ехать надо!

– Именно теперь-то и страшусь всего, теперь, когда солнышко мое за светило.

Она смолкла. На крыльцо, быстро шагая, вышли Прохор, Донька и Марфа.

– Ню-юша-а! – звонко закричала Донька, вглядываясь в сад. – Да во-он они, во-он в саду хоронятся, – указала пальцем на замерших под деревом девушек Марфа.

– Нюша, быстро за мной, барин требует! – сбегая с крыльца, закричал Прохор. – Серчает очень.

– Зачем требует, Прохор Карпович? – не в силах сдвинуться с места, прошептала Нюша.

– А кто его знает, зачем? Сказано «немедля», а зачем, он сам знает. Идем, идем, Нюша, торопись, он, – Прохор оглянулся, – как тигра лютует.

– А отчего? – упавшим голосом спросила Нюша, еле поспевая за камердинером.

– Барский ндрав, кто ему может запретить! На то он князь и барин.

– Звали, батюшка барин? Доброго утра! – кланяясь от двери, сказала Нюша.

– Здравствуй! Что бледна? Или нездорова?

Голицын через плечо посмотрел на девушку. Нюша молчала. Князь снова взял зеркало и стал изучать порезанную щеку.





– Разучился брить, Прохор! Еще раз порежешь, худо тебе будет. Дай-ка пудры, да не той, не той, болван, а светлой!

Князь был не в духе, и Ньюша сразу почувствовала это.

– Завтра уезжаю в Грозную... – медленно начал Голицын, пудря лицо и внимательно всматриваясь в зеркало. – Как ты думаешь, братъ тебя с собой или тебе лучше ехать со всеми дальше?

– Не могу знать, ваше сиятельство, как скажете, воля ваша, – тихо проговорила Ньюша.

– Я сам знаю, что моя воля, а я спрашиваю тебя, как ты считаешь?

– Ежели не очень буду нужна вашему сиятельству, то лучше со всеми, с девушками, – нерешительно ответила Ньюша.

– Значит, с оказией в Екатериноградскую, и там со всеми станешь ожидать меня? – ровным, спокойным тоном спросил Голицын.

– Если вашей милости будет угодно.

Голицын задумался. Прохор замер возле барина, боясь даже дыханием нарушить тишину. Еле держась на ногах, стараясь не выдать охватившего ее ужаса, Ньюша неподвижно стояла у двери, глядя беспокойным, полным отчаяния взором в затылок Голицына.

Князь, занятый своим туалетом, казалось, не обращал на нее внимания.

– Ну что ж, и я думаю, что мне надо ехать без тебя. Прохор, отложи коляску, поеду верхом!

– Не трудно ли будет, ваше сиятельство? Путь дальний, – льстиво сказал камердинер.

– Нет, всего два перехода. А ты, Ньюша, ступай к себе, поедешь со всеми в оказии!

Бледное лицо девушки залила краска, глаза радостно блеснули. Ей стало вдруг так легко, что, как птице, захотелось петь.

– Иди, ты больше не нужна мне, – спокойно повторил Голицын, в зеркало следивший за выражением лица девушки. Ньюша низко поклонилась и легкой, радостной походкой выскользнула из комнаты. Прохор молчал, только теперь он начал понимать хитрую игру князя.

Голицын повернулся к нему.

– Верни ее!

Прохор кинулся к дверям. Князь встал, побрызгал на руки духами, потом опрыснул халат, пригладил щеткой волосы и сузил холодные, полные презрения и гнева глаза.

В дверях стояла Ньюша, счастливое выражение еще не сошло с ее лица, за ней был виден Прохор.

– Войди, Анна, – коротко приказал князь, и это «Анна» щелкнуло, как удар бича.

– Я передумал. В Грозную поедешь со мной. Приготовься к отъезду. Выезжаем ровно в восемь. Ступай! – И он повернулся, давая этим понять, что вопрос решен и разговор окончен.



Нюша задрожала, темные круги заходили в глазах, и, чтобы не упасть, она руками схватилась за стену.

– Я сказал – иди и приготовься, – разглядывая ее, сказал князь.

– Но вы только что сказали другое.

– Передумал. А что тебя это так взволновало? Может быть, не хочешь ехать? Нездорово?

– Хвораю я... батюшка князь. Освободите, не могу ехать с вами, – чувствуя на себе тяжелый взгляд Голицына и уже понимая, что ничем нельзя уговорить этого человека, прошептала она.

– Чем хворает?

– Грудь болит, и сердце тоже, – чувствуя, что проваливается в пропасть, тихо сказала Нюша.

– Пустяки. Поездка и свежий воздух вылечат тебя. Ну, а сердце у девок, – Голицын сильно подчеркнул последние слова, – болит обычно от распутства и любовных историй. Как ты об этом думаешь, Анна?

Прохор побледнел и замер от страха.

– Не знаю я этого, барин. У меня оно болит от хвори.

– Ты что, спорить со мной собираешься? – поднимая брови, перебил ее Голицын. – Забыла, кто ты, холопка? Пошла вон! И сейчас же готовься к отъезду!

– Не поеду я, барин, сил у меня нет, – тихо, но с такой отчаянной решимостью сказала Нюша, что Прохор почувствовал, как у него выступил холодный пот.

– Что ты сказала? Не поедешь? – переспросил Голицын, и в его округлившись глазах была такая злоба, что Прохор не выдержал:

– Да что ты, девка, очумела, што ли! Вы не извольте гневаться, ваше сиятельство, поедет она. Да как же можно батюшке нашему, кормильцу, да такие слова выговаривать!

Но ни Голицын, ни девушка не слышали его. Князь, весь багровея и дергаясь, шагнул к ней.

– Не поедешь? – зловеще проговорил он, и жилы на его висках надулись.

– Нет, – упрямо и твердо сказала Нюша. – Я больная, и отпустите меня со всеми дальше.

Она смотрела прямо в налившиеся кровью глаза Голицына. Перетрусивший Прохор видел, что в глазах девушки был не страх, не трепет перед барином, а холодная, нескрываемая ненависть и презрение к нему.

– Где квартирует Небольсин? – вдруг спросил Голицын.

– Не знаю, про кого и про что спрашиваете, – нахмутив брови, Нюша в упор глядела на Голицына. Сердце ее словно провалилось куда-то, но ни взглядом, ни движением она не выдала себя.

– Знаешь! Где он?! – закричал князь. Ему было душно, и он судорожно расстегнул ворот рубахи.



Нюша молчала, но ее глаза с презрением смотрели на толстую багровую шею, на перекосившееся от злости лицо Голицына, и чем он больше багровел, тем спокойнее становилась она.

«Дознались! Неужели кто донес? – пронеслось в ее голове. – Лишь бы ему, голубчику родному, чего не было».

– Прохор, – повернулся к камердинеру Голицын. – Отведешь сейчас эту шлюху в людскую. Прикажи от моего имени Агафону, Сергею и Мирошке, чтобы заперли эту дрянь в чулан или подвал какой и несли поочередно караул. Коляску отменяю. Утром посадить ее в телегу, в которой поедет повар в Грозную, – Голицын задумался, – и затем, когда вернемся в Екатериноградскую, обрить ей голову, выпороть пятьюдесятью розгами и в затрапезном платье вместе с челядью везти до Москвы. – Он сузил глаза и, глядя на девушку, продолжал: – Из театра вон, кормить наравне с кухонной челядью. Ну как, нравится тебе это?

– Нравится, лишь бы от вас подальше! – с ненавистью в глазах сказала Нюша.

– А там – в деревню, на скотный двор, и замуж за какого-нибудь черного хама!

– И это лучше, чем с вами!

Прохор даже закрыл глаза.

– Давно с ним спуталась? – с презрительной усмешкой спросил Голицын.

Нюша невидящим взглядом посмотрела поверх князя и тихо, счастливо чему-то улыбнулась.

– Я тебя спрашиваю, дрянь, давно спуталась с ним? – задыхаясь от гнева, выкрикнул князь.

– Спуталась я с тобой, а его... – Нюша глубоко и радостно вздохнула: – А его – люблю!

Голицын коротко и насмешливо засмеялся.

– Распустила язык, дура, молчи, не гневи барина, забыла, что его крепостная, – забормотал Прохор.

– Я теперь не крепостная и не холопка. Я теперь своя, никому не принадлежу!

– Дур-ра! – сокрушенно сказал камердинер. – Вы не обращайтесь, ваше сиятельство, на нее внимания! Она вроде как ума лишилась, смотри-ка чего мелет! – развел руками Прохор.

– Вы не слушайте его, барин, я как раз сейчас в полном своем уме и рассудке, ничего не боюсь и никого не боюсь. Час назад я боялась всего и могла от страху рехнуться, ну, а теперь я ничья, своя, одному только Богу подчиненная!

– Нет, не Богу, а мне, я твой барин, твой хозяин и повелитель, мужичка, холопка, дрянь! И я еще сегодня же покажу тебе, шлюха! Ты думаешь, что ежели я приблизил тебя к себе, то поднял тебя от них, – он



ткнул пальцем в Прохора. – Нет, это была моя прихоть, моя блажь, а ты как была холопкой, так такой и осталась.

– Да, люблю его, чистого, доброго, хорошего, спаси его Бог, а тебя, душегуб, антихрист, проклинаяю!

– Довольно! Монологи из Федры или Лира читаешь, мужицкая Тальони! Веди ее, Прохор, да крепче запереть под замок! – в ярости закричал Голицын.

– Ну ты, девка, иди, иди отседа, пока худа не вышло, – подталкивал Ньюшу Прохор. – Моли Бога, чтобы барин простил окаянную. Ну, иди, иди!

– Пошел прочь, иуда! Уйди с дороги, а то сейчас и тебе и ему конец будет! – с силой оттолкнув Прохора и хватая со стола бритву, таким решительным и отчаянным голосом крикнула Ньюша, что и камердинер и князь поняли, что с ней сейчас шутки плохи.

– Да что, господи, очумела, что ли, девка, да как это можно? – крестясь и отскакивая от нее в сторону, забормотал перепуганный насмерть Прохор.

Голицын в изумлении смотрел на Ньюшу и не узнавал эту всегда робкую, тихую и застенчивую девушку. Перед ним стояла гордая, независимая, похожая на разгневанную Медею женщина, с холодной ненавистью смотревшая на него. Он растерялся и отступил назад.

– Иди вон! – негромко сказал он.

– Прощай, душегуб, пусть оплатится тебе мое горе! – И, швырнув к ногам оцепеневшего князя зазвеневшую бритву, Ньюша выбежала из комнаты.

Прохор дрожащими пальцами поднял бритву и торопливо положил ее в кожаный несессер.

Голицын отер лицо платком и, глядя вслед девушке, молчал.

– Разрешите, батюшка барин, идти, под арест ее, сучку поганую, садить? – услышал он возле себя торопливый шепот Прохора.

Голицын недоумевающим взглядом посмотрел на камердинера, еще раз отер лицо платком и затем со всего размаху ударил Прохора. Прохор сморщился, дернул головой вправо и влево, а барин, не переставая бить его по щекам, со злобой кричал:

– Мерзавец, вот до чего ты распустил этих хамов, это ты, это твоя вина, мерзавец! На конюшню поплю вместе с нею, скотина, вон выгоню подлека в деревню! – При каждом слове он ударял жалобно плакавшего камердинера.

В дверь заглянула старуха казачка, мать хозяина дома и с неодобрением остановилась в дверях. Голицын прекратил избиение, с неудовольствием глядя на старуху.

– Ты вот что, ваше благородие, – она сурово сдвинула к переносице брови, – здесь у нас не лютуй да не очень мордуй мужиков-то, – она ткну-



ла пальцем в начинавшее пухнуть от пощечин, все в слезах лицо камердинера.

— Не твое дело, старуха, никто не звал тебя сюда. Иди отсюда! — высокомерно сказал Голицын.

— Я тебе не «старуха», а хозяйка. Дом этот мой, и это я тебе могу молвить «поди отседа вон», ежели ты еще тут драку устроишь. Здесь казачья сторона, а не Россия, ты поймей это в виду, ваше благородие! У нас сам Алексей Петрович останавливается, всякие какие ни на есть князья бывают, слова худого от них никто не слыхивал, а ты чего так лютуешь с людьми?

Голицын насупился и, не глядя на старую казачку, приказал камердинеру:

— Иди, выполняй приказание!

Прохор шмыгнул носом, обер рукавом мокрые щеки и, косясь на барина, исчез за дверью. Вышла и старуха.

Ярость и негодование kloкотали в душе Голицына. Он взял со стола гусиное перо, переломил его надвое и швырнул на пол, ткнул ногой попавшийся на пути стул, для чего-то посмотрел в зеркало и, бросив скомканный платок в угол, подошел к окошку.

Измена Ньюши не могла огорчить его: она хамка, мужичка, крепостная, получеловек. Другое дело, если бы изменила ровня вроде Нелли Трубецкой, Софьи Виельгорской или Полины Толстой. Смешно было бы чувствовать ревность или обиду из-за этой мужичкой связи с поручиком. Голицын мог не задумываясь, легко и без всяких колебаний отдать в любую минуту эту самую девку кому-нибудь из людей своего общества, хотя бы тому же Гагарину, который раза два уже намекал ему об этом.

Но это сделал бы он сам, по своей воле, как хозяин и владелец девушки, а не по желанию ее или какого-то мелкопоместного Небольсина! Голицына душила злоба. Он сегодня же распутает весь этот узел, который на свою голову за его спиной завязали эта подлая девка и ее армейский донжуан.

Нюша сбегала по лесенке во двор и, глядя вперед широко открытыми, ничего не видящими глазами, пошла быстро вдоль плетней. Не зная, куда идти, девушка свернула в первый переулочек, вышла к церкви, пересекла небольшую площадь и опять по какому-то узенькому проулочку прошла мимо станичной кузницы, от которой пахло конями и кожей. В кузне раздавались голоса, из печи брызгали искры, чумазый, как черт, подросток раздувал мехи. Возле кузницы стояли подводы, две лошади со спутанными ногами. Высокий рябой казачина восхищенно оглядел проходившую Ньюшу и молодцевато приосанился. Но девушка ничего не видела. Перед ее глазами стояло только что происшедшее, а в голове стучала все та же мысль: «Все рухнуло! Все погибло!»



На левом берегу Терека, под наклонившимся к воде дубом, удили рыбу двое казачат. Место это славилось среди рыбаков глубиной и обилием сомов.

Саженьях в тридцати от них три казачки полоскали белье. Одна из них, стоя на коленях, била белье вальком.

Терек, широкий и мутный после обильного ливня, спокойно нес свои воды, по которым легкой рябью пробегал ветерок.

Мальчишки, слыша шум шагов, недовольно оглянулись. Сом не любит шума. Они искоса поглядели на неожиданно появившуюся женщину. Она была чужая и одета не по-казачьему – на ней была русская одежда. Не замечая ребят, она прошла вверх по берегу и остановилась у большого валуна. Мальчишки успокоились и с прежним вниманием стали следить за своими поплавами.

Нюша, опустив голову, стояла над водой. Мысли, путаясь и обрываясь, стремительно неслись в ее голове.

– Все пропало! – вдруг самой себе, своим мыслям громко сказала она.

Один из казачат недовольно глянул в ее сторону.

– Тетка, туда нельзя, там водоверты, там глыбко.

Но женщина не слышала его. Она, не отрываясь, смотрела на воду, и мальчик увидел, что она плачет. Нюша знала, что сейчас ее уже ищут в станице.

– Все кончено! Прости, Саша, дорогой!

Она закрыла глаза и с громким, похожим на плач криком бросилась в воду.

Одна из казачек ахнула, другая, выронив валец, побежала к месту, откуда бросилась в воду Нюша.

Уже далеко от камня из воды показались голова и рука несчастной, донесся неясный плачущий крик, и воды Терека глухо и тяжело сомкнулись.

Женщины заплакали и, побросав белье, побежали к станице.

Часа через полтора к Голицыну пришел взволнованный Прохор. Князь только что позавтракал, перед ним стоял еще недопитый кофе и маленькая рюмочка шартреза.

Лицо камердинера было бледно и обезображено страхом. Голицын холодно глянул на Прохора.

– Не... не... с... бе... – заикался Прохор.

– Напился, подлец! – брезгливо сказал Голицын. – Посадил эту дрянь?

– У...у...утопилась она, ваше сиятельство! – вдруг с плачем выкрикнул Прохор.

Голицын с удивлением посмотрел на камердинера.

– Как ты сказал?

– Утопла она, ваше сиятельство, бросилась в реку, – тяжело дыша, проговорил камердинер.



Голицын привскочил. Обычная апатия и сонное равнодушие исчезли с его лица.

– Какая дрянь. Ведь я же приказал посадить ее в подвал.

– Не могу знать... Искали по всей станице, а она... в реку, – прошептал Прохор.

Голицын молча смотрел на него.

– Да верно ли это? – наконец выговорил он.

– Верно, вся станица об этом знает... везде шум, батюшка барин. По реке казаки с баграми ее ищут... все люди на берег сбегались... упокой Господь ее душу, – перекрестился Прохор.

– Упустили, мерзавцы! – бледнея от ярости, сказал Голицын.

В открытые настежь двери вошел майор Колосов. Он был при шарфе и пашке и, не снимая фуражки, холодно доложил:

– Неприятное происшествие, ваше сиятельство. Девушка ваша утопилась... кончила жизнь самоубийством.

– Это была дрянь! – тоном, не допускающим возражений, сказал Голицын.

– Не могу знать, – сухо ответил майор, – но, как комендант и начальник гарнизона, обязан сообщить об этом происшествии в Грозную.

– Зачем? – поднимая удивленно брови, спросил Голицын.

– По закону. У нас здесь, ваше сиятельство, таких вещей не бывает, это в станице первый случай, чтобы женщина себя жизни лишила.

Голицын хмуро смотрел на него.

– Завтра в семь тридцать прошу быть готовым к отъезду, – напомнил майор.

Голицын молча кивнул и вдруг вспомнил:

– Господин майор, не знаете ли, где расположился на постой поручик Небольсин из оказии?

– Из оказии? – переспросил Колосов. – Не могу знать. Это должен веда-ть начальник оказии поручик Гостев. Честь имею кланяться! – Он сухо поклонился и вышел из комнаты.

Прохор, уже овладевший собой, стоял у двери.

– Доложишь, когда найдут труп. Да разыщи наконец, где остановился Небольсин, а еще лучше пройди к офицеру, начальнику оказии, и скажи, чтобы зашел. Ступай!

Голицын сел за стол, разгневанный смертью ускользнувшей от наказания Ньюши и непочтительным поведением этого армейского майора.

## Глава 6

Поручик, нагнувшись над тарелкой, выбирал из нее куски мяса и с аппетитным хрустом заедал его свежепросоленным огурцом. Прохор, рас-



часав бакенбарды и сделав казенно-надменное лицо, с важностью княжеского холуя постучал в дверь.

– Войди, кто там! – не поднимая головы и смачно жуя огурец, произнес поручик.

Прохор степенно вошел.

– Не вы ли будете, сударь, поручик Гостев? – важно осведомился Прохор и обмер...

При слове «сударь» офицер поднял голову, и мгновенно потерявший важность Прохор узнал в нем того поручика, который еще совсем недавно отхлестал его по щекам в крепости Внезапной.

Секунду поручик и Прохор молча смотрели один на другого. Узнав камердинера, поручик приподнялся с места, и потрясенный встречей Прохор отступил к двери.

– Ва...ваше благородие, – тонким дискантом выдавил Прохор, не сводя перепуганного взора с устремленных на него немигающих глаз поручика.

– То-то! – успокоился офицер и снова опустился на табуретку. – Тебе чего? – берясь опять за еду, не спеша осведомился он.

– Так что извините, ваше благородие, – забормотал Прохор, – их сиятельство князь Голицын послал к вам...

– Зачем?

– Не смею знать, однако требовали для разговору.

Поручик чуть не поперхнулся. Его черные, закрученные кверху нафакренные усы заходили, глаза сузились.

– Кого «требовали»? Меня? – вставая, спросил он.

Вместо ответа камердинер только беспомощно мотнул головой.

– Слушай, ты, телячья морда, поди сейчас к своему... – поручик задумался, видимо, подыскивая подходящее слово, но не нашел его, – пойдй к своему князю и скажи, что начальник оказии поручик Прокофий Гостев дома, что он поужинал и спать ляжет уже через сорок минут. Ежели у твоего князя ко мне есть дело, нехай спешит, а то я лягу. Ты меня понял?

– Так точно, – пытаюсь открыть ногой дверь, пролепетал Прохор.

– Пшел вон, кобылячье семя! – спокойно сказал поручик и, налив стакан красного вина, стал запивать ужин.

Прохор едва отдышался на улице. Ноги его подкашивались, лицо было бледно, руки тряслись. Теперь, когда поручик был далеко, он боялся уже не его, а доклада князю. Камердинер шел, ломая голову и не зная, как ему доложить Голицыну о таком неслыханно оскорбительном ответе поручика.

Князь Голицын в раздумье ходил по комнате. Как ни хотел он казаться равнодушным к трагической смерти девушки, все же не мог совладать





с собой. Оставшись один, он почувствовал себя несколько неуверенно и беспокойно.

«Дура, плюха и подлая тварь! – думал он, прохаживаясь по темной казацкой горенке, в которой пахло свежесвеженным пшеничным хлебом и слежавшимися яблоками. – Видно, тут у них амбар или подпол, – решил он. – Собаке – собачья смерть, черт с ней, но с этим негодяем я еще рассчитаюсь!»

В эту минуту в дверь осторожно постучали.

Голицын посмотрел в зеркало, поправил хохолок на лысеющей голове и, сделав холодное, равнодушное лицо, приказал:

– Войдите!

В комнату неловко, бочком, вошел Прохор и низко поклонился. Голицын выжидательно посмотрел на дверь и кланявшегося камердинера.

– А где ж поручик? Нет дома или не нашел? – спросил он.

– Застал, батюшка князь, застал его, ваше сиятельство, только они, извиняюсь, вроде как не в себе... – нашелся камердинер.

– Пьян, что ли? – усмехнулся Голицын.

– Да вроде не в себе, – неопределенно ответил Прохор.

– Наверное, армейский бурбон? – с брезгливой усмешкой спросил князь.

– Настоящая Мазепа, и усы, как у черта, – ободренный улыбкой князь, подтвердил камердинер.

– Вот черт, – Голицын вынул золотой, с двумя большими бриллиантами брегет и взглянул на часы.

– Без пятнадцати восемь. Подай-ка мне одеться!

Он сбросил халат и надел сюртук с гвардейскими полковничьими погонами.

Они вышли на станичную улицу. Зори за лесом догорали, светлая полоса еще дрожала над горою, и потухающий закат освещал неровным светом край дороги и верхнюю, надтеречную часть станицы.

Голицын прошел мимо баб, примолкших при его появлении. Казачки сурово смотрели на шагавшего мимо них князя, и в их молчании, во враждебных и настороженных взглядах камердинер ясно прочел тяжелую ненависть женщин. Князь шел, не глядя по сторонам. Высоко подняв голову, он шагал по зеленой станичной улочке, своим хмуро-бесстрастным видом свидетельствуя о холодном безразличии ко всему окружавшему его. Прохор семенил сзади. По его приподнятым плечам, по опущенной голове и беспокойно бегающим глазам было видно, что совесть Прохора неспокойна.

– Душегуб, антихрист окаянный, кабан, – долетело до его слуха.

Прохор со страхом поглядел на широкую спину спокойно шагавшего Голицына. Князь не слышал, да, вероятно, даже и не думал о том, что



говорили казачки. Он твердым, плац-парадным шагом шел, старательно обходя навозные кучи.

Стадо только что пришло с поля. Пахло теплым коровьим навозом и парным молоком. Прохор с завистливой жадностью потянул носом. Эти запахи напомнили ему его детство в Подмоскowie, деревню, выгон и поля, по которым он босоногим малышом бежал с ребятами. Из-за плетней, с базов, тянуло таким знакомым и родным! Мычали коровы, перекликались ребята. Через улицу степенно и важно брели гуси, мальчишки с хворостинками загоняли по дворам переваливавшихся уток. Прохор забыл и о князе, и о поручике, к которому они шли. Он жадно вдыхал запахи своего детства, забытого в холуйской жизни дворового лакея.

– Уснул, скотина! Где, говорю, хата этого офицера?

Голос князя вернул камердинера к действительности.

– Простите, ваше сиятельство, прослушал! Вот эта дверь! Позвольте, ваше сиятельство, открою. И ножки не извольте запачкать, тут мокро, – засуетился Прохор, становясь снова барским слугой.

Голицын вошел в широкий, засаженный яблонями двор, в конце которого виднелось несколько солдат, и направился к низкому крылечку, на котором сидели две девчонки, лущившие арбузные семечки. Девчонки перестали грызть, с боязливым любопытством глядя на важно поднимавшегося по ступенькам князя.

– Здесь, что ли? – Он остановился у низкой невзрачной двери.

– Здесь, батюшка князь, тут их фатера, – чуть приоткрывая дверь, ответил Прохор.

За дверью кто-то неумело играл на балалайке «Барыню».

– Можно? – деревянным голосом спросил Голицын.

Поручик отложил балалайку, молча посмотрел на гостя и затем не спеша поднялся.

– Прошу, – мотнув головой и указывая на табурет возле стола, хрипло пригласил он. – Садитесь, господин полковник. Чем могу служить?

«Он не очень-то учтив, – подумал Голицын, усаживаясь на табурет. – Типичный бурбон и хам».

Поручик тоже сел и выжидательно уставился на Голицына.

– Я посылал за вами, поручик, своего слугу... – начал Голицын.

– Угу! – снова мотнул головой Прокофий. – Я выгнал его. Он сказал, что вы требуете меня к себе, ну, я и послал его к черту. Может, разрешите стакан вина, господин полковник? – предложил поручик.

«Вот скотина!» – подумал обескураженный Голицын, впервые встретивший такого собеседника.

– Я не пью на ночь.

– А я пью и на ночь, и за полночь. Чем могу служить вашему сиятельству?



— Я посылал за вами, а вы отказались прийти, — холодно, глядя поверх собеседника, произнес Голицын.

Поручик надул щеки, отставил в сторону бутылку и коротко сказал:

— У меня к вам, ваше сиятельство, не было нужды, значит, не к чему было идти!

Прижавший ухо к двери Прохор обмер. Так с князем никогда не говорили.

— Но я в вас имел нужду, сударь, — повысил голос Голицын.

— Вот, значит, вам и следовало идти ко мне. А между прочим, ваше сиятельство, я не «сударь», а поручик славной российской армии.

Прохор зажмурился, но ухо от двери не оторвал.

— Забываетесь, господин поручик! — резко сказал Голицын. — Помните, кто вы и кто я... Я велю...

Поручик так резко вскочил, что князь оборвал свою речь и, остановившись на полуслове, смолк, уставившись на перегнувшегося через стол поручика.

— Что «велю»? Договаривайте, ваше сиятельство. Я жду, что вы велите? — пригибаясь ближе к растерявшемуся от неожиданности Голицыну, произнес поручик.

Так, глядя в упор друг на друга, они помолчали с минуту. Лицо Голицына было бледно и растеряннo, на лбу поручика вздулась жила, а его скуластое лицо побагровело. Узкие решительные глаза смотрели жестко и дерзко.

— Вы, ваше сиятельство, не меряйте людей на один аршин. Люди все разные, — холодно и не спеша заговорил поручик. — Я, хотя и не из князей и дворянство-то личное получил вместе с этими звездочками и заработанным в бою Георгием, — он тронул пальцем висевший в петлице белый Георгиевский крест, — но честь свою и гордость имею, и не то что пульей, а и хорошей оплеухой оберегу их от обиды и оскорбления.

Слушавший за дверью Прохор съежился и закрестился.

Лицо поручика приняло такое хищное и жесткое выражение, что Голицын, может быть, первый раз в своей жизни, испугался. Он откинулся назад, отодвигаясь от поручика.

— Я, ваше сиятельство, поручик русской армии и георгиевский кавалер Прокофий Ильич Гостев, а не холуй, чтобы выполнять барские затеи. К тому же, ежели вам то неизвестно, так знайте, что хоть я и поручик, а вы полковник, но согласно высочайшего указа от 1786 года еще при царствовании блаженной памяти императрицы Екатерины Великой учинено и по российским армиям распространено повеление за подписью его светлости князя Потемкина о том, что охранные команды и конвойные отряды на походе и в пути следования приравнены к крепостям, военным кораблям и вагенбургам. А их командиры, независимо от чина, являются единственными командирами и хозяевами, и им под-



чиняются поголовно все, – голос поручика стал еще более решительным и грозным, – все находящиеся в оных чины армии и флота, хотя бы они были и генеральского звания. Ведомо вам сие? – спросил Гостев совершенно сбитого с толку Голицына. – А сие значит, что и в оказии сие повеление подлежит точному исполнению и все, независимо от чина, на время ее следования подчиняются мне, начальнику оказии поручику Гостеву, имеющему быть в ответе за все, что может случиться в дороге.

Голицын слушал с удивлением и даже с невольным почтением. Ему, с самого детства окруженному крепостными льстецами, привыкшему отдавать приказы, странными казались слова поручика.

«Ведет себя, словно с ровней, еще даже поучает», – возмутился он, а поручик спокойно продолжал:

– Повеление сие до сих пор не отменено, указ императрицы существует, и им руководствуются все командиры частей и отрядов, а также оказий, кои наряжаются для сопровождения и охранения в пути штатских лиц и казенного имущества, а также арестантов и всего, в охране нуждающегося. Я, ваше сиятельство, хоть и из солдатских детей происхожу, грамоте не шибко обучен, но уставы, законоположения и свои обязанности назубок знаю.

Положение становилось глупым, и, понимая это, князь решил удалиться.

– Может быть, я ведь в гвардии не имел случаев знакомиться с особенностями полевой и караульной службы. Так вот зачем я зашел сюда: я должен завтра рано утром выехать в Грозную. По случившейся надобности мне нужен поручик Небольсин.

«Ага, голубчик, вот чего ты ко мне пожаловал!» – подумал Гостев, продолжая бесстрастно глядеть на князя.

– Но посланные на розыски мои люди не нашли поручика и не выяснили, где он квартирует. Не можете ли вы, как начальник оказии, знать, где находится сей поручик?

– Могу! – расправляя усы, ответил Гостев. – Еще вчера оный поручик вместе со своими людьми, унтер-офицером и дворовым человеком, был в Екатериноградскую.

– Как... выбыл? – опешил Голицын.

– Так точно! С казачьими постами летучей почты, а с Екатериноградской должен направиться в Тифлис.

Князь молча глядел на него.

– Да верно ли это? – растерянно спросил наконец он.

– Чего вернее! Вот и их бумажка, вроде лепортички, на мое имя, как, значит, начальнику оказии написанная. – Он извлек из сумки бумагу и протянул ее князю.

«Доношу, что сего числа согласно казенной необходимости выбываю в ст. Екатериноградскую. Прошу вычеркнуть из списков оказии меня и



сопровождающих меня лиц: мл. унтер-офицера егерского полка Александра Елохина, моего дворового человека Арсентия Иванова и кучера Костина Степана».

– Они, наверно, уже где-нибудь возле Ищерской находятся, – глядя насмешливо в недоумевающее лицо Голицына, сказал поручик.

Полковник посмотрел на него и торопливо отдал назад бумагу.

«Значит, Небольсин ни при чем, и никакого свидания или договоренности между ними не было, – думал он. – Опять какая-то непонятная неразбериха. Но тогда в чем же дело, почему эта дура утопилась?»

– А что, ваше сиятельство, может, я вместо поручика помог бы? – осведомился Гостев.

– Да нет, он был нужен, но на нет и суда нет! – Голицын встал.

Прохор отскочил от двери.

– А теперь, коли есть охота и время, ваше сиятельство, я к вам хочу обратиться, – сказал Прокофий.

– В чем дело? – отрываясь от своих мыслей, спросил Голицын.

– А дело в следующем. Надо вам подать начальнику оказии, мне то есть, лепортичку о том, что одна из ваших актерок утопилась.

– Это зачем? – высокомерно перебил его Голицын.

– А для того, чтобы исключить ее из списков оказии.

– Девка эта моя крепостная и к вам никакого отношения не имеет, – запальчиво сказал князь.

– Девка эта была живой христианской душой и как таковая была занесена в списки оказии. Теперь, когда ее нету в живых, надо исключить ее из списков, – раздельно, отчеканивая каждое слово, ответил Гостев, и подслушивавший их Прохор при словах «теперь, когда ее нету» поспешно стащил с головы картуз и перекрестился.

– Глупости! Дворовые – это мои крепостные, и вам до них нет никакого дела. Вы, сударь мой, много берете на себя!

При слове «сударь» Гостев побагровел, но сдержался.

– В таком разе, сударь мой, – подчеркивая слова, сказал он, не обращая внимания на перекосившееся от гнева лицо Голицына, – в таком разе, – снова повторил он, – вся ваша челядь с актерками, холоуями и другими прочими останется здесь...

– Как... здесь? – воскликнул не ожидавший такого исхода Голицын.

– Очень просто. Я по списку в Шелкозаводской принял от начальника оказии сто два человека, тридцать семь из них – ваша дворня. Едем мы завтра к Науру, оттуда оказию поведет в Екатериноградскую новая команда с новым начальником. По списку должен я сдать ему тридцать семь человек, а налицо будет их тридцать шесть. Куда ж один подевался? Для этого-то и нужна ваша лепортичка, – хладнокровно закончил поручик.

– Это лишнее!



– Никак нет, вовсе не лишнее! – в тон Голицыну ответил Гостев.

– Ну, и напишите, что она утонула, – теряя терпение, сказал Голицын.

– Вы должны об этом написать, ваш человек это был, а я лишь могу исключить ее из списков.

– Ничего я вам не напишу! А попробуйте только не взять моих людей... я... я... – закричал Голицын.

– А вы, ваше сиятельство, не горячитесь и не орите у меня же в комнате. Не хотите писать, ваше дело, – поручик так резко вскочил с табурета, что не ожидавший этого Голицын отодвинулся.

– Эй, кто там! – он раскрыл рывком дверь и чуть не спиб Прохора. – Вызвать ко мне фельдфебеля и писаря Карбутенко. – Заметив камердинера, посочувствовал: – Что, куриная харя, чуть тебе носа не зашиб?

Он закрыл дверь.

– Да все же знают, что она утонула, – сказал Голицын.

– Все-то все, да не все те, кто должен знать. Вы, ваше сиятельство, видать, не в обиду вам будь сказано, службу знаете только с парадной стороны, как ее в столице в гвардии справляют, а ведь в армии, да еще у нас на Кавказе, она-то совсем другая. Здесь все по порядку да расчету строится. Вот будет у меня от вас бумажка о смерти вашей актерки, я ее из списков вычеркну – и делу конец. Все по форме, и следующий начальник оказии ее уж в счет и брать не станет.

Во дворе послышался шум. Ступеньки крыльца застонали.

– Разрешите войти, ваше благородие? – раздался голос за дверью.

– Войди, Карбутенко, – ответил поручик.

В комнату вошел писарь. Увидя полковника, он вытянулся и закричал:

– Вашскобродь, разрешите обратиться до господина поручика?

Голицын вместо ответа мотнул головой.

– Вот что, Карбутенко, неси сюда списки оказии!

– Воны зи мною, вашбродь, – ответил писарь, вынимая бумаги из-за пазухи.

– А где фельдфебель? – раскладывая списки на столе, спросил Гостев.

– Сей минутою будут, вашбродь!

– Так как же, ваше сиятельство, напишете мне или оставите здесь ваших людей до следующей оказии?

Голицын с ненавистью глянул на невозмутимого поручика и, повернувшись к Карбутенко, спросил:

– Ты писарь?

– Так точно, вашскобродь! – опуская по швам руки, выкрикнул солдат.

– Садись к столу и пиши, – приказал Голицын.

Поручик все с тем же невозмутимым видом сидел у стола. Писарь присел и, взяв очиненное перо, макнул его в чернильницу.

– Начальнику оказии, следующей до станицы Наурской, поручику Ежову... – начал диктовать князь.



– Гостеву, – хладнокровно поправил его поручик.

– Гостеву, – повторил Голицын. – Сообщаю вам...

– Казенную бумагу надо писать точно. «Доношу вам», а не «сообщаю».

Пиши по форме, Карбутенко, – снова поправил поручик.

– ...вам, что крепостная девка моя, Анна Симакова, именуемая по крепостному тиатеру Бирюзова, гуляя на берегу Терека, по причине своей неосторожности упала в реку и утонула...

Поручик поднял на Голицына холодные, полные нескрываемого презрения глаза и молча слушал.

– ...об чем извещаю вас, – спокойно цедил слова Голицын.

– Пиши, Карбутенко, по форме, не «вас», а «ваше благородие», – снова остановил князь Гостев.

Голицын холодно, словно не замечая вызывающего, оскорбительного поведения поручика, продолжал:

– ...на предмет исключения оной из списков лиц, состоящих в оказии.

Писарь закончил и выжидательно посмотрел на князя.

– Дай сюда! – сказал Голицын и, взяв гусиное перо у писаря, размашисто подписал: «Гвардии полковник князь Голицын».

Он положил перо возле подписанной им бумаги и, еле кивнув поручику, холодно сказал:

– Честь имею! – и вышел.

Ничего не понимавший в этой сцене писарь с удивлением посмотрел на своего поручика. Глаза Гостева горели ненавистью, нижняя губа дрожала.

В комнату вошел фельдфебель.

– Звали, вашбродь? – не замечая состояния поручика, спросил он.

Гостев с трудом передохнул и, овладев собой, сказал:

– Закрой за этой сволочью дверь!

Фельдфебель закрыл дверь.

– Слышали, ребята, насчет утопления княжеской девки-актерки? – помолчав немного, спросил он.

– Так точно, наслышаны, – негромко ответил фельдфебель.

– Ну так вот что, Карбутенко, исключи покойницу из списков и приложи к делу лепортичку, а теперь помянем покойницу и выпьем за упокой ее души, – поручик разлил по стаканам вино.

– Упокой, Господи, ее душу! – хмуро и тихо ответили солдаты, осушая стаканы.

– А теперь к команде. Утром выступать!

Поручик скинул сапоги и сюртук, потушил лампу и улегся на койку.

Есаул Терентий Иванович Щербак как был в одном бешмете и мягких козловых чувяках на босу ногу, так и выскочил во двор, увидев, как из возка, разминая ноги, вышел молодой пехотный офицер.



– Бог гостя дал. Ура, ставь, Дунька, чихирю на стол! – выскакивая из хаты, на бегу закричал он.

Его жена, которую раньше звали Донья, увезенная им из Гергей-аула и ставшая после крещения Евдокией, принялась накрывать на стол. Она знала и любила буйный, непоседливый и вольный характер мужа, и приезд гостя обрадовал ее.

«Развеселится», – подумала она, глядя, как вслед за отцом, заплетаясь на ходу ногами, поспешил их сынишка, трехлетний Александр, или Ассан, как иногда, лаская сына, называла его она.

– А я ведь знал, что ты, Александр Николаевич, приедешь, истинный крест и Святая Троица, – обнимая гостя, говорил Терентий Иванович. – Шире, шире раскрывай ворота, чего их жалеть, да возок ставь вон туда, к базу, – командовал он. – Э-э, и ты, Сашка, здесь, ну-ка знакомься со своим тезкой, – подхватывая на руки сына, сказал есаул.

Они сидели за столом, на котором шипела в сковородке яичница со свиной и стоял кувшин красной кизлярки.

– Не откажи, Терентий Иваныч. Если не сможешь, я сам это сделаю со своими людьми, – глядя на есаула, сказал Небольсин.

– Да ты очумел чи ще, друже? – даже открыл рот от изумления Терентий. – Как же это так, чтоб я, казак Терентий Щербак, да отказался от такого лихого дела! Душечка мой, – привскочив с места, воскликнул есаул, – да ты, сердце мое, спас меня! Я ж заскучал тут возле бабы да детей. Войны нет, чечены утихли, абреков нема, ну прямо обабился я, а тут еще жена брюхатая ходит... одна срамота, а не жизнь. Ты, ты ж меня спасаешь, друже, я уж хотел было самолично за Терек с ребятами податься да набег на Кабарду сделать, а тут тебя сам Бог принес.

Он одобрил план увоза.

– Девку вапу я самолично сюда привезу. Поживет с недельку-другую, погостует у нас, а потом я ее к вам в Капкай<sup>1</sup> доставлю.

Под вечер есаул побывал у кого-то в станице. Наутро к нему пришел невысокий черноусый чеченец с умным и приветливым лицом.

– Жены моей брательник, – представил его есаул.

Чеченец сносно говорил по-русски, а понимал, по-видимому, все, хотя часто и он, и Терентий переходили на чеченский язык.

– Дыкинду!<sup>2</sup> – ласково улыбаясь, сверкнул белыми зубами чеченец.

Решено было после похищения Нюши распустить слух, что шайка абреков из дальних аулов совершила набег и ушла обратно в горы.

– Все будет чох яхши!<sup>3</sup> – потирал руки Терентий.

Гость пообедал с ними, поговорил с сестрой, приласкал детей и исчез из станицы.

<sup>1</sup> Старое казачье название Владикавказа.

<sup>2</sup> Хорошо.

<sup>3</sup> Очень хорошо.





На следующий день к вечеру Терентий с племянником, братом и двумя родичами из Гергей-аула должны были залечь в назначенном возле Мекеней месте.

– Легче жить стало, друже, опять казаком становлюсь. Ну, а сына своего, первенца, Терентием назови. Нехай знает, кто для его батьки старался, – пошутил есаул.

Небольсин плохо спал эту ночь. Послезавтра Ньюша будет свободной совсем, навсегда, до самой смерти!

Он пытался представить себе их дальнейшую жизнь, все было туманно, неясно.

– Надо спать. Утром все объяснится, – приказал он самому себе, но еще долго, почти до самого рассвета, ворочался в постели, не в силах заснуть. Только под утро, когда стал розоветь восток, он устало закрыл глаза и уснул.

– Заспался, жених, вставай, пора, – разбудил его голос Терентия.

Небольсин с усилием открыл глаза. Спал он мало, и ночная усталость еще сковывала тело.

– Окатись холодной водой. Вот ведро, прямо с криницы. Дюже помогает! – советовал есаул.

Сеня и Елохин, давно уже вставшие, копошились у возка.

– Ну-с, гость дорогой, брательник названный, – усаживаясь за стол, сказал Терентий, – выпьем, закусим на дорогу, а потом через всю станицу, не спеша, так, чтобы все видели, что ты на Екатериноградский тракт выехал. Нехай все знают, что тебя в станице нету. Провожать тебя буду как полагается, верхом до самого редута, ну а оттуда с казачьей почтой по постам до Екатериноградской. Ну! – Он поднял чашку с кизляркой. – Казакам да добрым людям в помощь, а нехристям да злодеям на погибель! – крикнул, осушая чашку, есаул.

– Так у тебя ж, Терентий Иваныч, вся родня по жене нехристи. Как же это пить за их погибель? – засмеялся Небольсин.

– Раз я их зять, значит, они не чистые нехристи, а полубусурманы, и их это не касается, – невозмутимо пояснил Терентий. – Так это ж слово такое, навроде присказки говорится, а на самом деле дай им бог, кунакам моим за Тереком, доброго здоровья, – он опять осушил чашку. – Среди них, чеченов, осетин да ногаев, много дюже хороших людей. Вот за Моздоком, в станице Новоосетинской, там у меня есть дружок один, осетин, хорунжий Тургиев, так я за него и душу, и жизнь, и бабу свою отдам. Вот он какой человек! Ты знаешь, Александр Николаевич, что он для меня в бою под Дженгутаем сделал?

Небольсин что-то хотел сказать, но раздавшийся во дворе шум – голос Сени, встревоженный басок Елохина и чей-то, знакомый Небольсину, но как-то странно звучащий голос, – остановил его. Есаул выжидательно посмотрел на дверь.



– Обожди, да что ты, разве ж можно так, сразу, – услышал поручик заглушенный голос унтера.

Есаул поднялся. Небольсин сделал то же. Дверь распахнулась, и в нее, отстранив Елохина, ворвался бледный, с трясущимися губами Савка. Из-за спины выглядывали Елохин и Сеня.

– Что случилось? – крикнул Небольсин, уже по одному виду Савки заключив, что произошло что-то страшное.

Терентий, серьезный и встревоженный, переводил взгляд с Савки на Небольсина.

– Меня поручик Гостев вперед послал, – давась словами, заговорил Савка и вдруг закричал: – У-утопла! Утопи-ла-ась Ньюша! – По его щекам хлынули слезы.

Небольсин побелел и, делая движение к нему, выкрикнул:

– Что? Что ты говоришь?

Савка только всхлипнул и упал на табуретку.

– Кто утопла? Та, которую ждем? – среди наступившего молчания спросил Терентий.

Никто не ответил.

Елохин молча перекрестился. Жена Терентия, опустив голову, стояла у входа.

– Не плачь, Расскажи толком, как случилось? – тронул Савку за плечо есаул.

Савка поднял голову и стал сбивчиво рассказывать о гибели Ньюши.

Небольсин с неестественно широко открытыми глазами слушал его, опираясь о стол руками.

Он что-то хотел спросить, но вместо слов из его груди вырвался какой-то странный хрип, и подскочивший есаул еле успел удержать под руки потерявшего сознание гостя.

Очнулся поручик в Екатериноградской, куда привез его Терентий. Есаул был потрясен трагической смертью незнакомой ему девушки.

– Надо тебе ехать в Тифлис, друже. Все равно горю теперь не пособить. Ты офицер, у тебя на руках приказ главнокомандующего. Ты должен ехать. Тем более что враг твой Голицын уже четыре дня назад проехал со своими людьми в Ставрополь. Время лечит всякие раны, – сказал он Небольсину. – Езжай в Тифлис, да не забывай меня и Прокофия. Мы тебе друзья по гроб жизни, – обнял есаул Небольсина.

В тот же день с уходившей во Владикавказ оказией Небольсин с Елохиным и Сеней выехали из Екатериноградской.



# ЧАСТЬ III



## Глава 1

С персидской границы ежедневно прибывали в Тифлис люди, сообщавшие о том, что на иранской стороне идет подозрительное передвижение воинских частей. Люди эти говорили и о том, что в крепость Гасан-Абад из Тавриза пришло большое количество новеньких английских пушек и что верблюжья артиллерия наследника персидского престола Аббаса-Мирзы, усиленная полком сарбазов и лурской, курдской и бахтиарской конницей, подошла к Араксу, а часть регулярной персидской пехоты, подкреплённая отборными отрядами иррегулярной шахсёвёнской конницы, двинулась в направлении на Эривань и Эчмиадзин. Среди доносивших об этом были люди самых различных званий. И армянские купцы, и караванные чарвадары, и лазутчики; одни из них прибывали с границы, другие были местными жителями. Об этом же сообщали и командиры русских частей, расположенных на Лори-Бамбакской и Шурагельской равнинах. Иранские пограничные части и жители персидских сёл неоднократно через реку обстреливали наши разъезды и даже пытались напасть на русские пограничные посты.

Несколько армянских семейств, и особенно юноши-армяне, которым удалось перейти границу, рассказывали о том, как лихорадочно готовятся персияне к нападению на русские владения. Они же говорили о том, что персидские власти поголовно мобилизуют молодых армян для использования в предполагаемом походе на Тифлис.

По пятницам в мечетях муллы призывали мусульман к священной войне против русских. Стали частыми нападения на мирные армянские сёла и ограбления их.

Командир Тифлисского полка, который раньше располагался в районе укрепления Мирак, а после приказа Ермолова об уничтожении крепости отошел к Безобдалу, полковник Севарсамидзе в донесении, присланном летучей почтой, также предупреждал главнокомандующего о тревожном беспокойстве, охватившем мусульманские сёла, расположенные на русской территории, и о том, что жители этих деревень частично перебежали на иранскую территорию. Все говорило о том, что на персидской границе ведутся какие-то важные приготовления, о которых умалчивал в своих посланиях Аббас-Мирза и которые подтверждали опасения князя Меншикова, высказанные им в письме к Ермолову.



Ермолов, обеспокоенный донесениями, приказал усилить наблюдение за границей, увеличить число лазутчиков и на всякий случай послал полковникам Севарсамидзе и Апраксину по батальону пехоты и по две сотни казаков, подкрепив их конными отрядами грузинской и татарской милиции. Пока это было все, что мог послать на линию генерал.

– Почта пришла, и весьма обильная, Алексей Петрович, – сказал, входя, Вельяминов, – и из Петербурга, и из Ставрополя, и с Терека.

Ермолов стал разбирать кучу бумаг и писем.

– А-а, жив курилка! Умен, прозорлив и хитер... Я был спокоен за него.

– О ком вы, Алексей Петрович? – спросил Вельяминов.

– О Слепце, об Александре Сергеевиче, далеко пойдет, дай ему бог здоровья!

– Грибоедов? А что? Есть какие-нибудь новости?

– Освобожден с очистительным аттестатом, признан невиновным и вскоре возвращается к нам на прежнюю должность. Вот бумага от Несельроде.

Генерал взял еще одну бумагу и стал про себя читать.

– Ба! Вот это новость! Ты читал, Алексей Александрович, донесение начальника Куби-Мохевского участка охраны дороги?

– Нет. А что случилось?

Вместо ответа Ермолов громко и отдельно прочел:

– «Доношу вашему высокопревосходительству о том, что на участке дороги между постами 59-м и 60-м в трех верстах от укрепления Ларса, в том месте, где дорога поворачивает к выходу из ущелья Дарьял к Ларскому урочищу, на следовавшую на Владикавказ оказию было совершено нападение шайкой осетинских хищников под предводительством известного своими злодейскими набегами дигорского наездника Хаджи-Бекира Мапукова. Шайка сия, засев в скалах и прячась меж камней, подпустила к себе бричку самовольно ехавшего впереди оказии статского советника Чекалова и, дав по ней залп, захватила ее. Следовавшая поодаль охрана оказии поспешила к месту нападения и ружейным огнем и штыками отогнала злодеев в горы. На месте нападения остался убитый статский советник Чекалов. У солдат, охранявших оказию, равно как и в самой оказии, потерь нет. Смерть статского советника Чекалова могла бы и не быть, ибо все охраняемые солдатами лица не отрывались от оказии, чего, как донес мне начальник охраны оказии поручик Стрельцов, статским советником Чекаловым соблюдаемо не было. На неоднократные указания поручика Стрельцова соблюдать положенные при следовании оказии порядки статский советник Чекалов грубо оборвал господина поручика, сказав, что по своему чину и по своему положению он не подчинен ему. Сие подтверждено актом, подписанным помимо поручика Стрельцова и лицами, следовавшими с оказией: господином майором Грачевым,



провиантским чиновником губернским секретарем Павловым и его супругой, а также купцом Галустянцем, священником Гегелашвили, ехавшими во Владикавказ, и прочими находившимися в okazji лицами.

Хищниками были уведены обе лошади из брички покойного господина Чекалова и похищены два чемодана, находившиеся в экипаже. Дорожный сундук, привинченный к задку брички, за отсутствием времени остался хищниками нетронутым.

При осмотре тела покойного и составлении акта на убитом статском советнике господине Чекалове найдено денег: российскими ассигнациями 98 500 рублей, золотыми монетами – имперIALами и полуимперIALами – 20 000, персидской и турецкой монетой в золоте на 9 800 рублей, а всего в сумме 98 500 рублей ассигнациями и золотом 29 800 рублей.

Деньги сии, а равно и документы покойного при акте направляю на вашего высокопревосходительства усмотрение.

Тело покойного для предания земле направлено в г. Владикавказ в гошпитальную церковь казенного владикавказского гошпиталя.

Начальник Коби-Можевской дистанции подполковник

князь Туманов».

Вельяминов посмотрел на Ермолова.

– А вольнодумцы еще уверяют, будто нет Бога и высшей справедливости, – сказал Ермолов. – На поверку же оказывается – есть! И хотя не подобает мне, генералу от инфантерии русской службы и главнокомандующему, благодарить хищников за пролитие русской крови, а ей-ей же хвалю этого бездельника Машукова, отомстившего своей пулей за слезы обобранных господином статским советником. Каков гусь! Мне писал слезливое письмо, будто жалованьем да наградными еле собрал 4500 рублей, а вез с собою мало не 130 000 рублей. Вор и мздоимец! Э-эй! – отворяя дверь в коридор, крикнул Ермолов. – Позвать капитана Бебутова.

Адъютант вошел.

– Слушай, князь, достань-ка из шкатулки письмо Чекалова, то, в коем он плачется на мое с ним самоуправство.

Адъютант принес письмо.

– Так... так... – пробегая его глазами, повторял генерал. – А-а, вот он сам пишет, что имеет только 4500 рублей серебром и ни копейки более.

Ермолов внимательно и долго читал поданное ему адъютантом письмо.

– Так... так... значит, по личному ко мне письму покойного статского советника Чекалова с ним находилось 4500 рублей серебром, это все, как писал он, что смог приобрести законным путем, служа в Грузии. Остальные деньги, судя по этому письму, ему не принадлежат и являются деньгами, не имеющими владельца, то есть суммой, по закону подлежащей сдаче в казну. Приказываю: 4500 рублей золотом из всех денег, найденных при убитом, отослать его наследникам, буде таковые найдутся,





по российскому адресу, в коий направлялся покойный. Остальные же деньги, как не имеющие законного владельца и являющиеся неизвестно кому принадлежащими, спустя месяц после их обнаружения передать в казну, употребив одну половину суммы на улучшение питания раненых и больных солдат Тифлисского военного госпиталя, вторую же половину – на достройку сиротского дома для детей погибших на службе солдат семейных рот. Заготовь по сему решению приказ и дай его мне на подписание.

Адъютант вышел, а Ермолов погрузился в чтение остальной почты.

– Вот и рапорт фон Краббе и донесение ханши об этом бездельнике Кази-мулле... Крепость Внезапная очищается. Весь торговый люд, бездельники и всякая сволочь вроде Голицына с его хaremом уже выехали из Внезапной. Слободку ломают, базар уничтожен, семейные роты расселяются по линии. Вскорости весь наш план превращения затеречных крепостей в боевые фортеции будет закончен.

– С этим надо спешить, Алексей Петрович! Ведь начини этот шельмец Аббас-Мирза вдоль границ свои бесчинства, сейчас же в Дагестане и Чечне возобновятся набеги, – сказал Вельяминов.

– И я того же опасуюсь. Однако вот что пишет Краббе и наша благожелательница ханша, – ответил Ермолов, передавая Вельяминову бумаги.

Тот прочел и недоверчиво улыбнулся.

– Не верю я миролюбию этого новоявленного имама, хотя и странно, что именно он призывает племена к миру с нами!

– Тут, Алексей Александрович, только два может быть вывода. Или он поистине богоискатель, человек, ищущий в Коране и молитве истину и покой, или же он хитрая бестия и шельма, хорошо понимающий, что пока дагестанцы не объединились воедино, им нельзя и помышлять о войне с нами. В таком случае этот имам – тонкая бестия и может быть опасен нам.

– Вряд ли, Алексей Петрович, на свете есть что-нибудь такое, что могло бы объединить этих горских бездельников! – убежденно сказал Вельяминов.

– Кто их там знает! Я всегда думал и думаю так, а вот Грибоедов еще полгода назад говорил иное... Не дай господь, чтобы наш Слепец оказался зрячей нас с тобой, Алексей Александрович!

В комнату вошел Бебутов.

– Ваше высокопревосходительство, из Владикавказа с оказией в ваше распоряжение и по вашему вызову прибыл поручик егерского полка Небольсин.

– Кто? Небольсин? А-а, как же, помню. Прибыл, говоришь? Здесь он?

– Так точно! Дождается в адъютантской.

– Зови его, зови сюда. Это ж сын моего старого друга, генерала Небольсина... Его уже нет в живых, царство ему небесное, – вздохнул Ермолов.



Вельяминов с интересом посмотрел на входившего в комнату офицера. Поручик вошел и остановился у двери.

— Ваше высокопревосходительство, гвардии поручик Небольсин Александр, по вашему приказанию переведенный из седьмого егерского полка в распоряжение главной квартиры войск Кавказского корпуса, прибыл.

— У-у, батенька мой, да точно в Гатчине самому покойному императору Павлу Первому аудиенц-кригс-церемониум совершаешь, — поднимаясь с места, сказал Ермолов. — Ну, здравствуй, Саша, здравствуй, гвардии поручик. — Он потрепал по плечу Небольсина и, всмотревшись в его похудевшее, скорбное лицо и печальные, без улыбки, глаза, спросил: — Ты что, болен, или что недоброе случилось?

— И случилось, Алексей Петрович, и болен был, — тихо ответил Небольсин.

Слова эти были сказаны с такой глубокой и искренней болью, что Ермолов сразу же почувствовал это.

— Ты извини, Алексей Александрович, — повернулся к Вельяминову Ермолов, — делами займемся чуточку позже, когда соберутся грузинские князья и дворяне. Этот поручик сын моих старых и добрых друзей Николая Петровича и Анны Афанасьевны, свидетелей моей молодой и беспутной жизни.

Вельяминов крепко пожал руку Небольсину.

— Ну, а теперь говори о твоём горе.

Ермолов уселся рядом с поручиком. Вельяминов пошел было к двери, но Ермолов остановил его.

— Остайся с нами, тезка. В этом юноше я принимаю участие, яко в своём сыне. И твой совет, Алексей Александрович, нам будет полезен.

— Прошу вас, ваше превосходительство, оставайтесь. Мое дело простое и горькое, без политики и государственного направления.

Оба генерала молча, не перебивая, слушали сбивчивый, горький рассказ поручика. Когда он замолчал, Ермолов тихо сказал:

— А ты ошибся, Саша. То, что задумал ты сделать со своими друзьями, есть дело и политическое, и противуправительственное. — Он немного помолчал. — Крепостное право незыблемо в государстве Российском. Похищение или увоз на свободу крепостных людей, согласно иконам государства нашего, карается каторгой. Да, Саша, пока наш народ будет на положении скота, добрые намерения хороших, но бессильных людей будут напрасны.

Ермолов посмотрел на Вельяминова и совсем уж другим голосом, как бы невзначай, спросил:

— Дело изменников-декабристов все еще не кончено следственной комиссией в столице?

— Продолжается, — односложно ответил Вельяминов.



И Небольсин понял, что эта фраза относилась к нему и была окончанием их разговора.

— Как сейчас чувствуешь себя? — осведомился Ермолов.

— Готов к несению службы Его Величеству, — поднимаясь с места, сказал Небольсин.

— Сиди, сиди, гатчинец! — усаживая его на место, улыбнулся Ермолов. — Кто сопровождал тебя?

— Мой дворовый человек и унтер-офицер Елохин.

— Елохин? — наморщив лоб и почесывая переносицу, переспросил Ермолов. — Е-ло-хин? Я где-то совсем недавно слышал эту фамилию.

— Он, Алексей Петрович, старослуживый, участник ваших походов. Был и под Бородином, и в Париже... Хорошо помнит и Багратиона и светлейшего...

— Санька Елохин! — вдруг вспомнив, закричал Ермолов. — Пьяница Санька, что у Дохтурова был. Как же, как же, знаю. Теперь и я вспомнил, ведь это я о нем от его друга, тоже старого солдата, Кутырева во Внезапной слышал.

— Так точно, это двое старых, уцелевших от тех времен солдат.

— Да как же это он, старый хрен, друга своего, бородинца Кутырева, оставил? Вот не думал! — развел руками Ермолов.

Небольсин рассказал о мечте унтера.

— Да врет он, — засмеялся Ермолов. — Вот не я буду, ежели этот старый пьяница не напьется здесь в первом же духане.

Вельяминов тоже засмеялся.

— Нет, Алексей Петрович, честью моей ручаюсь, что Елохин этого не сделает.

— Не сдержит слова, старый черт! — усмехнулся Ермолов. — Ведь я таких забулдыг знаю! Они от Парижа до Москвы, когда обратно в Россию шли, на ходу от вина качались. Хотя... — он провел по лбу ладонью и задумался, глядя куда-то вдаль, словно видя прошлые, неповторимые годы. — Хотя и было за что пить... ведь Россию спасли... Наполеона, колосса, перед которым вся Европа дрожала, свалили... Где Санька? — вдруг спросил он.

— Здесь, в приемной. Он ни на шаг не оставляет меня.

— Тут, сукин сын! — весело сказал Ермолов и, подойдя к двери, открыл ее и зычно крикнул: — Санька Елохин!

— Здесь, ваше высокопревосходительство! — раздался из приемной голос.

— Вали сюда, старый товарищ! — еще веселее сказал Ермолов. И на глазах удивленных, ожидавших приема офицеров, грузинских князей и чиновников, оправляя на ходу поношенную солдатскую рубаху и густые бакенбарды, важно прошел в кабинет небольшого роста унтер с Георгиевскими крестами на груди.

— Здорово, Санька, — оглядывая унтера, сказал Ермолов.



– Здравия желаем, Алексей Петрович, – с любовным вниманием и почитательностью ответил Елохин.

– Ну, здравствуй, старый солдат, – протянул ему руку Ермолов.

Санька отер свою ладонь о штаны и осторожно пожал протянутую руку.

– А его превосходительство генерала Вельяминова, моего тезку, знаешь? – спросил Ермолов.

– А как же, ваше высокопревосходительство, они меня не знают, я их даже хорошо знаю. И когда на Бей-Булата в Ичкерия ходили, и когда хана Сурхая по горам гоняли.

– Ну, тогда давай и мы поздороваемся, – засмеялся Вельяминов.

Санька и ему с той же почитательностью пожал руку и выжидательно поглядел на Ермолова.

– Вот что, герой, говорил мне твой поручик, что хочешь освободиться и навсегда остаться здесь. Так ли?

– Имею мечту, Алексей Петрович.

Ермолов спокойным, серьезным взглядом смотрел на него.

– А как пьянство? Ведь ты, говорил мне Кутырев, два раза бывал и унтером, и кавалером, а потом все снимали и пороли тебя. Так ли?

– Точно так, ваше высокопревосходительство, только два, а три раза сымали крест и унтерство и... – он тихо добавил: – И сквозь строй два раза прогоняли. Это правда.

Все трое внимательно и с каким-то неловким чувством слушали его.

– А как же теперь, Елохин, ведь стыдно будет мне, если я тебя освобожу и здесь оставлю, а ты... – Ермолов помолчал и, пристально глядя в глаза Саньке, медленно проговорил: – Напьешься, как свинья, как тогда набухался у Дохтурова, помнишь?

– Помню, – глухо сказал унтер. – Такого, Алексей Петрович, в моей жизни больше не бывало и не будет. Пить, пока я крепостной и на царской службе, не буду. – Он твердо выговорил это слово, прямо и честно глядя на генерала. – Не буду! – повторил он.

– А когда освободишься?

– Тогда выпью. И грех будет, господа дорогие, – обратился ко всем Санька, – ежели в такой час, когда и душа, и тело, и шкура ослобонятся от неволи, не выпить. Не стану врать, Алексей Петрович, но уже поиному, в плепорцию, честно и благородно, без шума и крику...

– А потом? – продолжая внимательно смотреть на него, спросил Ермолов.

– А потом женюсь, ежели Бог позволит, да и займусь здесь каким ни на есть делом. Ведь я, Алексей Петрович, первый на всей нашей волости печник был, ну и тут печи класть буду. Опять же пенцион рупь двадцать копеек да за два креста рупь, а всего два двадцать от царя получать стану.



– Вот что, Санька, за то, что говоришь правду, и за то, что говорил о тебе хорошо твой поручик, – указал на Небольсина Ермолов, – постараюсь оставить тебя здесь. Ты же, старый товарищ, помни свой зарок, не подведи меня, твоего генерала, и своего поручика, а теперь иди!

– Век за вас да за Александра Николаевича Бога молить буду, – Санька, не скрывая волнения, вытер ладонью пробившуюся слезу.

Когда Санька вышел, Ермолов отошел к окну и задумался.

– Золотые люди. Вот на ком держится и будет держаться наша Россия! Что там дальше будет, Алексей Александрович, ни я, ни ты не знаем. Может быть, сюда уже мчится гонец с царским указом о назначении проконсулом, – он усмехнулся, – Паскевича. Время не терпит. Заготовь приказ загодя на Елохина и дай мне его сегодня же подписать. Пусть старик добром помянет нас, когда о нас и не станут вспоминать в Тифлисе. А его, – он взял за талию Небольсина, – устрой через Прасковью Николаевну Ахвердову на жительство в какой-нибудь хороший дом, с молодыми девицами, с музыкой, с европейским обществом...

– Я бы хотел, Алексей Петрович, в полк, куда-нибудь на линию.

– Успеешь еще, да у нас здесь и линии никакой нет, – засмеялся Ермолов. – Поживи пока в Тифлисе, при моем штабе. Человек ты, Саша, молодой, рано тебе в монахи записываться. Впереди вся жизнь. А горе твое хоть и большое, но пройдет, как все проходит в жизни. Или ты думаешь, у меня не было тяжелого в прошлом? Все было! И в тюрьме сидел, и горя разного хлебнул, да, думаю, что и еще хлебнуть придется! Так-то, друг, в память твоих родителей люблю тебя, как сына. Ну, иди и не обижайся на старика.

– Такие истории с мрачным, погубительным исходом в своей жизни я видывал и слыхивал не раз, – возвращаясь к своему креслу, сказал Ермолов. – Что еще пишут нам?

– Письмо с Кислых Вод, от князя Валерьяна. Пишет, что лечится в Пятигорске. Бывает иногда в гостях у Реброва. Видел на этих днях младшего Воронцова, тот за верное передает о нашем скором увольнении с Кавказа. На Кислых Водах собралась московская знать, князь пишет, шум, сплетни, как в Тифлисе, офицеры вьются вокруг столичных дам, водка, амур, карты.

В комнату вошел капитан Бебутов.

– Алексей Петрович, князья собрались. Можно приглашать их?

– Зови!

Ермолов, стоя с широко распростертыми руками, с любезной улыбкой встретил представителей грузинской знати. Тут были князья Амилахвари, Амираджиби, Дадияни, Орбелиани, старый князь Палавандишвили, генералы Чавчавадзе и Эристов, капитан Андроников, Вачнадзе, Константин Багратион-Мухранский и другие дворяне. Они церемонным достоинством поклонились Ермолову и кучкой остановились посреди комнаты.



– Прошу извинить, господа, почта от императора и два-три военных дела задержали меня. Садитесь.

Все расселись. Около Ермолова сел Багратион-Мухранский, рядом с ним – красивый, с умным и серьезным лицом Амилахвари, далее – капитан Андроников, то и дело потрагивавший блестящий новенький Владимирский крест с бантом, совсем недавно полученный им.

«Не привык еще, любитесь», – с теплой усмешкой подумал Ермолов. Он придвинул к себе папку с бумагами, и легкий шумок стих.

– Господа, я пригласил вас ко мне для совета и доброй беседы. Вы представители здешней аристократии и почти все офицеры Российской армии, люди опыта, мужества, ума. Вы члены самых старых и знатных фамилий Грузии. Ваше благополучие, ваши земли и все, что составляет благо вашей родины и народа, связано с Россией. – Он обвел глазами слушавших его князей.

– И мы не мыслим иначе, Алексей Петрович. Грузия присоединилась к России добровольно, это спасло нашу маленькую страну, и мы теперь единое целое с империей, – сказал Багратион-Мухранский. Остальные дворяне закивали головами. – Мы одно с Россией.

– Что нужно нам делать, ваше высокопревосходительство? Прикажете, и грузинское дворянство выполнит свой долг, – раздался голос.

– Его Величество император Николай уверен в добрых чувствах ваших, но сейчас пока ничего не надо, кроме одного. Ваш исконный и старый враг, персияне, зашевелился и грозит отторгнуть от российских земель и подданства Грузию, Баку, Карабах с Дагестаном.

– Большой аппетит, могут подавиться, – засмеялся Андроников.

Все улыбнулись. Ермолов добродушно посмотрел на капитана.

– Подавятся! Но я знаю этих болтунов – Аббаса и Аллаяр-хана. Они никогда не посмеют перешагнуть границы нашей земли. Это обыкновенное бахвальство персиян, но все-таки мы обязаны прислушаться к тому, что нам говорят друзья. А лазутчики и армяне с границы доносят, что в Ереване появился ваш беглый царевич Александр с кучкой грузинских изменников.

Среди князей произошло движение.

– ...и что он заслал в Кахетию, Имеретию и Карталинию своих людей, распространяющих его подметные листы и речи о том, что близка война и он с персидским воинством нагрянет на Тифлис. Ведомо вам сие, господа? – обводя взглядом князей, спросил Ермолов.

– Кое-что известно, – за всех ответил Чавчавадзе, – но народ не верит беглецу-изменнику и смеется над его речами.

Князья снова зашумели, кивая головами.

– Не смеяться надо, а задержать и передать властям изменника, – хмуро сказал Ермолов. – Я знаю, что честный грузинский народ с нами и что его дворянство с Россией. Его Величество император Николай поручил



мне благодарить вас и ваш народ. Он верит грузинам, любит их и считает вас надежной опорой русскому корпусу на случай войны.

И он снова испытующе и выжидательно оглядел дворян.

Князья молчали, понимая, что генерал после этого монаршего благоволения скажет что-то важное и к чему-то обязывающее их. Но Ермолов молчал.

Тогда снова заговорил Константин Багратион-Мухранский.

– Царевич Александр – враг и ваш и наш. Несколько лет назад он вызвал среди грузин братоубийственную войну и залил поля Кахетии грузинской кровью. Мы никогда этого не простим ему. Если он появится в Грузии, то, несмотря на традиции и законы гостеприимства, несмотря на то что он сын нашего бывшего царя и со многими из нас находится в кровном родстве, я от имени всего дворянства заверяю Богом и честью: мы его арестуем или убьем. Так ли я говорю, братья? – поднимаясь с места и глядя на князей, спросил он.

– Клянемся в этом Богом и честью! – вразнобой, но дружно ответили дворяне.

– Государь император будет особенно доволен узнать ваши слова, господа, а теперь, по примеру армянского населения края, создающего пешие дружины, следует и вам подготовить и сформировать конные грузинские сотни. Хотя и я не предвижу войны, но меру сию одобряю. – Ермолов многозначительно посмотрел на Вельяминова.

– В Шуше, как и по всему Карабаху, уже имеется до 3500 вооруженных армянских стрелков, по всей границе до Лори-Бамбака и Безобдала созданы сильные отряды армянской самообороны, коим мы охотно даем оружие, – сказал Вельяминов. – Как начальник штаба Кавказского корпуса, нахожу своевременным указать на сие и вам, господа дворяне. Грузины всегда были храбрым, мужественным народом, и ваша конница – лучшая в Закавказье. В случае пограничных неурядиц она окажет большую помощь нашим драгунам и казакам.

Князья оживились. Они рады были услышать похвалу мужеству грузин и откровенную надежду главнокомандующего на их воинскую помощь.

– Ваш двоюродный брат, князь Петр, – обратился к Мухранскому Ермолов, – всему миру, самому Бонапарту показал, что значит доблесть и мужество воина-грузина. Память о сем герое навсегда, пока стоит Россия, сохранится в народе.

Упоминание о Багратионе словно солнцем озарило лица грузин.

– Он родственник не только мне, но и многим присутствующим здесь, – скромно сказал Мухранский. – Мы, ваше высокопревосходительство, примем меры и в очень короткий срок, если это надобно будет, выставим на поле до пятнадцати тысяч отборных кавалеристов. Вот князь Эристов, – он указал на генерал-майора, сидевшего возле Вельямино-



ва, — начальник нашего ополчения, наших резервов, он лучше меня знает об этом.

Эристов молча кивнул.

— Спасибо, господа. Обо всем высказанном вами мною теперь же будет доложено государю. — Ермолов покопался в бумагах и добавил: — Но пока нам не требуется создания столь большой конницы, сейчас этого не нужно. Не отрывайте крестьян от работ и семей, будьте лишь готовы на всякий случай. К нам из России идут дополнительные части. На марше двадцатая пехотная дивизия и уланские полки, да и никакой войны не будет. Возня на границе, которую затеяли Аббас-Мирза и его приспешники, эриванский сардар и английские прохвосты во главе с Аллаяр-ханом, кончится обычной для персиян фарсой. Пошумят, постреляют через Аракс, налетят шайкой в триста человек на солдатский пост в четыре человека — и назад! Знаем мы этих вояк, но взять нужную предосторожность — должно. Еще раз благодарю вас, господа, а вечером надеюсь свидеться с вами на бале, — прощаясь с князьями, сказал Ермолов.

Бал, о котором говорил главнокомандующий, устраивался в казенном здании дворянского собрания русским обществом и грузинским дворянством.

Когда князья ушли, Вельяминов сказал:

— И все же, Алексей Петрович, будет или не будет война, но нужно принять меры и на границе. Надо, я думаю, послать предписание полковнику Реуту и подполковнику Назимко в Чинахчи, чтобы в случае перехода Аббаса через Худаферинский мост на нашу сторону они без боя немедленно отошли бы к Шуше. Там крепость, и егерский полк Реута с пушками и казаками, подкрепленный армянским населением города, запретят в ней и выдержат осаду персиян.

Ермолов задумался.

— И все-таки этот мошенник Аббас никогда не решится на это, да к тому же посольство князя Меншикова еще у шаха.

— Азиатские войны начинаются внезапно, без отзыва послов, — возразил Вельяминов. — Вспомни и старые персидские, и прежние турецкие войны, да и не только азиатские. А Наполеон, разве он объявлял нам войну, переходя Неман? Надо, Алексей Петрович, принимать на всякий случай меры.

— Ну что ж, пиши Реуту и Назимке. Что еще в почте?

Вельяминов доложил о нескольких запросах и бумагах, связанных с управлением краем, финансами и строительством дорог.

— Эти вопросы, как и другие, гражданского свойства, разрешай сам, тезка, с палатой, губернатором и городской управой. Что еще?

— Вот рапорт и второе донесение Розена. Жалуется на лихорадку, от которой болеют и умирают люди. Просит усилить лекарством и доктора-





ми дагестанскую линию. Просит обмундирования, некоторые солдаты, пишет, ходят в лаптях, с голой задницей или во много раз латанных штанах.

Ермолов усмехнулся, вспоминая лихую фигуру Саньки, в залатанной рубахе явившегося на прием к главнокомандующему.

— Ханша сетует на своих подданных. Из Аварии немало людей бежали от нее к Кази-мулле.

— К кому-кому? — переспросил Ермолов.

— Да к этому новоявленному имаму. В Гимрах, пишет ханша, распевают они псалмы, ведут беседы о Боге... Начало-то хорошее, да как бы потом не обернулось противу нас! — осторожно сказал Вельяминов.

— Пустое! Ханша брешет в три короба и нашими руками хочет уничтожить своего противника. Черта с два, ни одного солдата не посылать против этого имама! Пусть сами расхлебывают свою кашу!

— И ханша и Розен пишут, что этот имам отказал персидским и английским лазутчикам в помощи. Он даже не явился в Хунзах и тем избег западни ханши.

— Умница, хвалю за ум, а особливо за то, что отказал персам. Ежели такие, как этот Кази-мулла, объявятся в горах, им надо помогать, они быстро покончат с удельными князьками и средневековьем в горах. Лет через пятьдесят весь этот край, от Терека и до Аракса, будет русским, цивилизованным и просвещенным, и народы Кавказа станут благословлять Россию за то, что сейчас делаем мы.

Вельяминов внимательно смотрел на Ермолова.

— Ты серьезно так думаешь, Алексей Петрович? — наконец задумчиво спросил он.

— Уверен, — твердо сказал генерал, — и я понимаю, тезка, почему ты спросил об этом. Да, все эти народы получают вместо поножовщины, резни и войн спокойное существование, торговлю, дороги, знания и покой.

Ермолов подошел к собеседнику.

— Крепостная Россия сейчас удержалась чудом. Она еще сильна, но уже закачалась, и все равно крепостное право рухнет. Посмотри на народ, от Грибоедова и Пушкина и до солдата, который сегодня говорил с нами, все они думают об одном и том же.

— Пока крепостная Россия будет двигаться на Восток, все эти народы станут отчаянно защищаться. Разве согласятся они пойти в русскую кабалу? Война будет жестокая.

Оба генерала замолчали.

— Что будет дальше, посмотрим, а теперь укажи срочным приказом Розену, чтобы он поменьше верил этой аварской ханше и не мешал святому размышлять о Боге, но лазутчиков усилить и внимательно следить как за ней, так и за имамом, — решительно сказал Ермолов.



## Глава 2

Прошло уже десять дней, как Небольсин прибыл в Тифлис. Благодаря заботам вдовы генерала Ахвердова Прасковьи Николаевны он устроился на квартире у богатого и влиятельного купца Питоева, жившего на одной из центральных улиц Тифлиса. Горе еще владело Небольсиным, и хотя новый город, новые люди и теплое, участливое отношение к нему Ахвердовой и ее друзей отвлекали его от тяжелых дум, поручик все же не спал ночами, вспоминая трагическую гибель девушки.

«Загрустил наш баринок», — покачивая головой, сокрушенно думал не спускавший с него глаз Санька.

Сене Тифлис очень понравился. Он целыми днями бродил по его шумным улицам и базарам, беседуя с солдатами гарнизона и со случайными знакомыми, преимущественно «фамами», — так любил называть Сеня женщин.

История с Нюшей им была почти забыта, и только тягостное молчание Небольсина и его апатия ко всему окружающему беспокоили Сеню.

— Не болтайся зря по городу, будь поближе к ему, — кивая на дверь Небольсина, неодобрительно сказал унтер. — В такую пору надо возле быть. Мало что, может, ему худо станет.

Сам он почти не отходил от поручика, то заглядывал к нему в комнату, то вдруг приносил винограду, яблок или холодного вина. Небольсин заметил это. Ему все ближе становился этот обездоленный, прошедший суровую, тяжелую службу, но не потерявший чуткости и веры в человека одинокий солдат.

— Что, Елохин, понравился тебе город? — спросил однажды Небольсин.

— Я, вашбродь, еще и не был в ем. Собираюсь только, — ответил Санька.

— Что так? Или неинтересно?

— Дюже даже интересно, вашбродь, только времечка не было.

Небольсин понял его.

— Пойдем вместе, Елохин. И город поглядим да и обновку тебе купим, а то ты вон на локтях какие латки нашил, — мягко улыбнулся поручик.

Санька покосился на свои рукава.

— Как изволите. Можно и новые купить. Эта ведь, вашбродь, казенная выдача еще с 1822 года, вот и обносилась рубаха.

Сеня за эти несколько дней настолько основательно ознакомился с Тифлисом, что успел уже полюбить этот веселый и солнечный город.

— Вот бы вам остаться тут, — осторожно посоветовал он Небольсину, — и народ веселый, и тепло, и нашего русского человека хватает!

Он что-то хотел прибавить, но, вспомнив о Нюше, промолчал.

— Город славный, ну, а как там дальше сложится наша жизнь, увидим, — сказал поручик.



– Вы, Александр Николаевич, ежели желаете обрядить кавалера в новую одежду, прямо в караван-сарай идите, а еще лучше на базар. Ох, и чего там только нет, не то что новую солдатскую одежду, а и генеральский мундир самолучший купите... Такого базара нигде нету, – с восхищением похвалил Сеня.

Поручик и унтер через большой и широкий, обсаженный виноградом двор вышли на улицу.

Солнце горячо пылало в небе. Воздух был мглист и неподвижен. На краю улицы бежал неширокий арычок, по его краям были посажены абrikосовые деревца, а в воде шумно плескались полуголые, черные от загара ребятишки да полоскали белье закутанные в чадры женщины. Тут же другие набирали в кувшины воду, шумно и крикливо переговариваясь между собой.

Небольсин, сопровождаемый степенным, почтительно отстававшим на полшага Санькой, спустился по улочке вниз к площади, за которой начинался базар.

Солнце жгло немилосердно, и даже близость Давыдовской горы и обилие садов не уменьшали духоты и неподвижно нависшего зноя, но Небольсину, давно не выходившему в город, захотелось пройтись по улице.

– Пойдем на базар, не хочется заходить в караван-сарай. Здесь душно, а там и подавно.

– Так точно, вашбродь, хочь и на солнышке, да зато полегче дышать.

С базара уже издали неслись шум, крик, вопли, гнусавое пение нищих, звон бубенцов на лошадях и колокольчиков на верблюдах. Пахло зеленью, фруктами, мясом, рыбой, кожей, потом и мочой.

Разноголосая, шумная и пестро одетая толпа гомонила и переливалась на базарной площади и на улочках.

Пройдя мясные и рыбные ряды, они вышли к лавкам, где торговали одеждой, шапками, чувяками, бельем. Тут же были бурки, черкески, штуки бязи и кипы цветной мануфактуры.

Санька с важным видом богатого покупателя осмотрел несколько солдатских мундиров, рубах, холщовых и суконных штанов, с придирчивостью опытного человека посмотрел одежду на солнце. Наконец остановился на довольно крепких штанах, рубашке и потертом, но еще прочном полушерстяном мундире.

– Сколько за все? – отложив в сторону отобранные вещи, спросил он.

Продавец, пожилой армянин, долго подсчитывал, загибая пальцы и повторяя:

– Ори абази да киде хути шаури икнеба<sup>1</sup>, – он задумывался, вновь загибая пальцы. Небольсина тешила эта картина. Наконец армянин подсчитал. – Одна руп читир абаз, – неуверенно сказал он.

<sup>1</sup> Сорок копеек да еще двадцать пять копеек будет...



— Ах, жулик, мазепа, чтоб тебя черти на том свете сожрали! Рупь восемьдесят за такую одежду! Да Бог в тебе есть? — возмутился Елохин. — Один рупь сорок — вот красная цена.

Армянин покачал головой и молча потянул назад облюбованную унтером одежду.

— Да бог с ним, на, бери свои рубль восемьдесят! — отдал деньги Небольсин.

Армянин взял деньги, засмеялся и дружелюбно сказал:

— Апицер якши, денги минога есть... Харапо...

— Черт ушастый, рад, что обобрал! — забирая купленное, проворчал Санька. — И напрасно это вы ему столько денег отвалили! Он, стервец, и за полтора серебром отдал бы.

Елохин сердито поглядел на улыбавшегося продавца.

— Ну, теперь есть годная одежка старому солдату, — с удовольствием проговорил он. Было видно, что покупка очень понравилась унтеру.

Они выбрались из толпы и намеревались было идти домой, как неожиданное волнение людей, заполнявших базар, остановило их. Лавки и лотки стали закрываться. Люди что-то говорили, возбужденно жестикулируя, кто с испуганным, кто с озабоченным видом проходили мимо них. Женщины, почти не закрываясь чадрой, крича и плача, спешили по домам. Базар пустел, и растерянные, испуганные горожане, не закончив своих дел, расходились.

— Чего такое приключилось? — спросил кого-то из проходивших Елохин.

Но грузин не понял его, что-то пробормотал, другой только взмахнул руками и с отчаянием проговорил:

— Оми!<sup>1</sup>

Небольсин остановил конного казака, выезжавшего из улочки.

— В чем дело, братец? Чего это народ переполошился, что случилось?

— Война, вашбродь! Персюки вчерашний день границу перешли, сюда идут!

— Война! — повторил поручик.

Елохин нахмурился и покачал головой.

— Только, вашбродь, от одной ушли, а она, подлая, тут нас достигла!

По улицам шли кучки возбужденных, растерянно обсуждавших событие людей. На Тифлис, еще час назад такой беспечный и оживленный, пала тень войны. Близость персидской границы и внезапность нападения пугали горожан. О войне иногда говорили и раньше, но серьезно никто не верил в ее возможность.

— Война, война, оми! — слышалось повсюду.

Все уже знали о нападении персиян, и страх перед новым нашествием кизилбашей охватил Тифлис.

---

<sup>1</sup> Война.



Спустя полчаса Небольсин явился к Вельяминову и попросил об откомандировании его в один из полков, расквартированных на границе.

— Алексей Петрович уже распорядился назначить вас в Ширванский полк, два батальона которого находятся здесь же, в гарнизоне. Получите приказ и явитесь к командиру полка полковнику Абхазову.

В комнату вошел Ермолов, лицо генерала было озабочено.

— Дурные вести, тезка, — сказал он Вельяминову. — Эти негодяи разбили два наших поста на границе, казачьи сотни отеснены к Безобдалу, эриванский Гассан захватил Саганлы и истребил до трех десятков наших солдат. Здравствуй, Саша, — обратился он к Небольсину. — Неважные новости! Получил предписание?

— Так точно!

— Служи с честью. Командир там хороший, солдаты народ brave. Алексей Александрович, всех арестованных из гауптвахт вон, по полкам, пусть послужат родине!

— А как с Коргановым?

— По закону во время войны отставок нет. И этого прохвоста в полк, да на первую линию!

— Я думаю, в Елизаветпольскую дистанцию, — предложил Вельяминов.

— Туда! — согласился Ермолов. — Всех вытребовать с лечения и отпусков. Немедля вызвать с Кислых Вод Мадатова. Скажи Эристову, что теперь пришла пора созывать конное ополчение Грузии.

— Мадатов уже выехал. Как с Чинахчи и Герюсами?

— Пусть оттуда спешно отходят на Шушу. Пиши Реуту, что обстановка возлагает на него самого решение вопросов. Придвинуть к Елизаветполю егерский батальон, расположенный в Пойлах. Что имеешь из Баку?

— Там тихо, но все мусульманское население провинций по Араксу готовится к выступлению против нас.

— А лезгины?

— И у них, и в Чечне, и в Дагестане пока тихо. Но пока... Ведь Аббас-Мирза перешел через Аракс и идет на Шушу, а это значит, что весь Карабах объявится мятежным, а за ним и Куба...

Ермолов сердито махнул рукой.

— Знаю я этих подлецов, малейшая наша неудача — и они все примкнут к персиянам. Э-эх, и в такую пору нет там князя Валерьяна!

— Он будет здесь через шесть дней!

— Шесть дней — это значит, что Карабах и Ганджа устроят резню всем русским, находящимся там. Ну, Александр, — вдруг обернулся он к Небольсину, — иди. Явись командиру, а пойдешь в бой, береги себя, но паче всего береги честь и родину.

Он обнял Небольсина.



— Да этого старого хрыча Саньку заведи с собой, он не оставит тебя ни в бою, ни в походе, — и, уже забыв о поручике, Ермолов взял со стола бумагу и крупным шагом вышел из комнаты.

— Обеспокоен Алексей Петрович. Не ожидали мы так скоро этой войны.

— А как посольская миссия Меншикова? — спросил Небольсин.

— Война началась, а она еще у шаха. Да что теперь это значит! Дай бог, чтобы целыми вернулись! Ну, с Богом, желаю счастья!

### Глава 3

В ночь на 19 июля шестидесятитысячная армия наследного принца Персии Аббаса-Мирзы, оттеснив слабые казачьи посты, начала переход через Аракс. Пехота, конница, артиллерия в течение полутора суток двигались через большой Худаферинский мост. Здесь были курды, луры, бахтиары, азербайджанцы, гилянцы, шахсевены. Персидская кавалерия рассыпалась по всему побережью, грабя и уничтожая армянские деревни и мелкие русские посты, не успевшие отойти на Чинахчи.

Командир егерского полка Осип Антонович Реут, стоявший в Герюсах, получив от казаков донесение о нашествии Аббаса-Мирзы, вывел свои слабые батальоны из Герюсов, спешным маршем отступил к Шуше и за стенами этой старинной крепости решил отбиться от персиян. Одновременно он приказал командиру 3-го батальона подполковнику Назимке, находившемуся со своим батальоном, сотней казаков и двумя орудиями в местечке Чинахчи, оставить его и спешным маршем отойти к Шуше на соединение с полком.

Ночь на 22 июля была тревожной. Казачий пост в шестнадцать человек под командой хорунжего Крючкова, высланный для наблюдения за степью, не спал. Сбатовав коней, казаки сидели в низкорослом кустарнике, зорко наблюдая за все сгущавшейся мглой. На персидской стороне было тихо, но не веря этому подозрительному безмолвию, казаки жались поближе к коням, готовые умчаться назад, под прикрытие крепости.

Хорунжий ушел вперед к дозору, выставленному у брода через реку. Закутавшись в бурку, так как ночь, несмотря на июль, была прохладной и сырой, он пристально всматривался в даль. Вдруг за рекой, совсем недалеке от них, грянул пушечный выстрел. Звук выстрела прокатился по воде. Хорунжий привстал.

На той стороне загорелось, расплываясь по небу, громадное зарево. Замелькали огни, розовый дым закружился над местом, где стояла ар-



мянская деревня Уч-Килиса. Послышалось ржание коней, скрип колес, неясные выкрики и голоса. И сотни огней задвигались и загорелись на другом берегу реки.

Это были бивуачные огни персидской армии. Раздался еще пушечный выстрел, и сигнальные огни авангарда Аббаса-Мирзы замелькали у самого брода. Сопровождаемый дозором, хорунжий вернулся к казакам и, послав донесение полковнику Реуту, засел в кустах, продолжая наблюдать за движением врага. Но персияне так и не перешли реки, и только их наездники, курды и кочевники-шахсевены, гарцевали на противоположном берегу, постреливая на скаку из ружей и оглашая воздух бранью по адресу русских «свиноедов» и собак. Всю ночь горели костры и стояло зарево над тем местом, где расположилась на ночлег огромная, шестидесятитысячная армия Аббаса-Мирзы.

Рано утром, как только заалел восток, к переправе с разных сторон подскочило много конных групп. Тут были и луры, и азербайджанские всадники, и курды Дильмана и Маку. Потрясая дротиками, подбрасывая на скаку ружья и ловко хватая их, они ринулись в воду, но так же быстро повернули коней и умчались в обратном направлении. Это была военная хитрость номадов. Но противоположный берег молчал. Тогда они снова понеслись к переправе, стремясь обогнать один другого, между тем огромный лагерь персидского наследника уже снимался с места. Завыли рожки, забили барабаны, к переправе двинулись пешие сарбазы, за ними потянулись полки, верблюжья артиллерия с фальконетами и новенькими английскими орудиями, только недавно подаренными британским посланником Аббасу-Мирзе. Все это толпилось и растекалось по берегу.

Наконец шатер наследника был свернут. Аббас-Мирза, сопровождаемый царевичем Мираном и сановниками, сел на белого арабского жеребца и во главе своей гвардии шагом направился к переправе. Ударил сигнальная пушка, за ней другая, и оркестр духовых инструментов заиграл марш.

Вся туча сгрудившейся у реки кавалерии с криками и воплями «Алла!», «Худа!»<sup>1</sup> ринулась в воду. Запенилась вода, несколько коней упало, кого-то течением понесло вниз, но вся масса конницы с гиком и криками была уже на середине реки.

Только тогда из невысоких кустов терна и можжевельника на широком намете вынеслась небольшая группа казаков и под визг и улюлюканье переправлявшихся всадников умчалась к холмам в сторону Шуши. На холмах, в гуще виноградных и фруктовых садов, стояли небольшие солдатские заставы, под прикрытием которых поспешно уходили в крепость армяне, бросая на произвол судьбы свои села, сады и имущество, нажитое долгим, тяжелым крестьянским трудом.

<sup>1</sup> Бог.



Несмотря на яркий солнечный день, зарево подожженных деревень охватило полнеба и черная туча дыма заволокла горизонт.

Персидская армия подходила к Шуше.

Высокие, протяжением в три версты стены крепости пришли уже в ветхость, и тут работали многочисленные армянские беженцы, укреплявшие их. Усатые солдаты да офицер саперного батальона Кригер похаживали среди работавших, поправляя их, уча и покрикивая на них. Подгонять не надо было. Люди отлично понимали, что эти старинные башни и пятисаженные стены, возвышавшиеся на скале, являются единственным прибежищем, где могут они спастись от ножа курдов, вырезавших почти поголовно всех армян.

Сквозь еще не запертые Елизаветинские ворота крепости все шли и шли крестьяне, кто гоня скот, кто подталкивая и помогая коням тянуть тяжело нагруженную арбу, на которой грустно сидели тихие армянские женщины с полузакрытыми по персидскому обычаю лицами. Рев быков, резкие крики ослов, плач детей и взволнованные отрывистые голоса перемешались в один заунывный, непрекращающийся шум. Юго-восточные Эриванские ворота также пока еще были открыты для беженцев и гарнизона, но тут уже шли подготовительные работы саперов, которым было приказано наглухо забить их и засыпать землей и камнем. Проехало несколько обвешанных оружием конных армян, проскакал чапар<sup>1</sup>, и снова потянулись жители, усталые, запыленные, с воспаленными от бессонницы глазами. Они останавливались, и перед тем как войти в ворота крепости, с отчаянием оглядывались назад, в сторону багрового зарева, откуда еле слышно доносились выстрелы. Желтая пыль нависла над дорогой.

Так прошло больше двух дней. Персы, шедшие стремительным маршем от Чинахчей на Герюсы, подходя к Шуше, почему-то замедлили свое движение и, вместо того чтобы обложить и штурмовать ее, занялись разорением и грабежами нищих армянских деревень.

В помощь к полковнику Реуту пришел назначенный еще при карабахском хане Мехти-Кули правитель армянской части города, старый, почтенный, уважаемый всем населением армянский агалар<sup>2</sup> Ага-бек Калантаров с двумя сыновьями и восемью представителями от армян города и округа Шуши. Здесь был и архимандрит Хорен, настоятель Вардапетского монастыря, сухой, подтянутый старик с умным и энергичным лицом. Его темную короткую рясу перепоясывал тонкий ремень, на котором висели кинжал и просто, но изящно отделанная черная дагестанская шашка. Через плечо, дулом к земле, висел короткий английский штуцер, новинка, еще не известная в русских войсках. Рядом с ним сто-

<sup>1</sup> Стражник.

<sup>2</sup> Старшина общины.





ял плотный черноволосый человек в серой курпейчатой папахе и высоких сапогах. Это был местный богач, хозяин городских и шушакенских мельниц Ага-Петрос Давтян, старый и испытанный друг русских, еще два года назад получивший из рук Ермолова золотую медаль «За усердие». Остальные также были из местных почтенных людей, старейшины больших родов.

– Что скажете, друзья? – поднимаясь навстречу делегации, спросил Реут. – Я понимаю, что ваше положение в этой неожиданной войне тяжелее, чем наше, солдатское. Ваши деревни горят, дома разграблены, семьи, бежавшие в стены крепости, в страхе ждут спасения... Ничего не могу обещать вам. Кроме того, что будем защищать крепость до последних сил, врагу ее не сдадим и если погибнем, то с честью.

Ага-бек Калантаров молча слушал речь начальника гарнизона и только чуть покусывал свой длинный, седой, свисающий к подбородку ус. Архимандрит, горячий и нетерпеливый, быстро глянул на него, но старик спокойно дослушал речь Реута до конца.

– Вот сейчас, ага-полковник, я слышу правильную речь мужа и воина... а начал ты, не обижайся на нас, говорить языком не мужчины, а слабой женщины. Мы, почтенные люди, выборные от армянского населения города и провинции Шуши, пришли к тебе не за спасением и не со слезами. Мы пришли как воины, с желанием драться с кизилбашиами<sup>1</sup>, победить их или умереть вместе с русскими братьями. А наше добро, наши деревни, что горят вокруг, – он показал в окно на далекое зарево пожаров, – это Бог дал, Бог и взял. Если мы победим врагов и останемся живы, все это вернется, и новые, еще лучшие деревни опояшут Шушу. Сейчас нужно думать о войне. Мы знаем, что вы храбры, но вас мало, а крепость велика, стены ее ветхи, площадь обширна. Мы просим тебя, начальник-ага, сегодня же послать на защитные работы всех могущих ходить мужчин и женщин. Пусть под руководством твоих офицеров и знающих людей они построят такие укрепления, о которые разобьет свою голову Аббас-Мирза.

– А мы просим, – выходя вперед и кланяясь Реуту, сказал архимандрит Хорен, – вооружить вашими ружьями тысячу пятьсот отборных армянских молодцов. Все это люди, умеющие хорошо рубить, отлично ездить верхом и метко стрелять. Среди них дети и агаларов, и купцов, и крестьян... Это лучшие мужи армянского народа, и если Богу угодно будет, чтобы мы погибли, то они умрут рядом с вами, полковник, но не отойдут ни на шаг. Среди этих полутора тысяч, полковник, есть люди, не один раз ходившие в битвы еще с Котляревским в прошлую войну.

Хорен еще раз поклонился и выжидательно смотрел на Реута.

Полковник обвел глазами спокойно и с достоинством стоявших перед ним армян.

<sup>1</sup> Красноголовые. Так русские называли персов за то, что они красили волосы хной.



– А вот два моих сына, Арташес и Гегам, я их привел к тебе, ага-начальник, чтобы и они послужили народу. Что наше имущество и деревни, если самое дорогое, наших детей, мы отдаем тебе, – сказал Калантаров.

Реут подошел к старику, взял двумя руками его широкую ладонь и крепко пожал ее.

– Спасибо, друзья! Главнокомандующий не ошибся в вас. Он не сомневался, что в трудную для нас минуту армяне придут на помощь. Я уверен, что нога кизилбашей никогда не ступит за крепостные стены Шуши.

В тот же день гарнизон Шуши, состоявший из шести неполных рот, был усилен полутора тысячами армян. Это были, как и предупредил архимандрит, хорошо знавшие суровое дело войны ветераны первой персидской войны, вместе с Котляревским ходившие на Асландуз и Мигри, охотники, бывшие пулей джейрана; было и около сотни «кочи», «качагов», как называли их остальные армяне, – храбрецов без роду и племени, поклявшихся умереть не раньше, чем отправив на тот свет по крайней мере трех кизилбашей. Им были розданы новые ружья, штыки, патронные сумки и порох. Сам Реут вместе со своим штабом произвел смотр добровольцев, их дух и вид его удовлетворил.

– Государь император не оставит вас и не забудет, что в трудный для России час вы стали рядом с солдатами русской армии, – сказал полковник, закончив смотр.

Потом к армянам обратился архимандрит Хорен. Горячий, порывистый и нервный, он взволнованно поднял над головой руку.

– Дети Армении, уже тысячу лет различные враги всеми силами старались уничтожить нашу землю и наш народ! Где они, эти супостаты? Даже из сказок исчезли их имена, а Айастан живет и народ армянский существует! Это потому, что армяне всегда, во все времена выше своей жизни ставили благо и жизнь своей родины, и это спасло ее. И еще потому, что слово, данное в бою, у нас всегда было одно. Отцы и деды наши не изменили ему, не изменим и мы. Поклянемся или победить вместе с нашими русскими братьями, или вместе с ними умереть!

– Клянемся! – поднимая над головою оружие, закричали все.

– А теперь, дети, за дело! Воины пойдут с русскими офицерами, а остальные – работать, рыть рвы и укреплять башни. Господи, помоги нам! – Подняв глаза к небу, архимандрит широко перекрестился.

– Амины! – срывая папахи и став на колени, ответила толпа.

Русские солдаты-часовые, стоявшие на крепостных стенах, молча снимали фуражки и, держа в левой руке ружье, крестились, глядя на коленопреклоненную, молившуюся на площади толпу.

Люди месили глину, тащили кирпичи и камни, вырубали расположенные возле крепости сады, расчищали площади перед стенами для обстрела картечью. В течение трех суток был углублен ров, укреплены стены башен с артиллерийскими гнездами на них, установлены шести-



и восьмифунтовые орудия и три найденные армянами в городе старинные чугунные пушки. Как муравьи, непрерывно шли женщины и мужчины, тяжело нагруженные известью, камнем, глиной, строительным лесом. Работали и ночью при свете костров, под охраной русских солдат и дежурной дружины армян.

Из города, находившегося от крепости в полутора верстах, изредка приходили какие-то люди, они пытливо и с любопытством посматривали на работавших. Раза три за ночь из виноградников, расположенных восточнее города, раздавалось несколько выстрелов, и пули тихо свистели над людьми, но никто не обращал на это внимания. Все понимали, что лазутчики Аббаса-Мирзы не дремлют. Поскакавшая на выстрелы к виноградникам конная сотня армян не обнаружила никого. Работы продолжались, и к концу четвертого дня стены крепости как бы выросли и помолодели.

Прибывающие в крепость армяне привезли с собой на арбах не менее тысячи пудов пшеницы, много печеного хлеба, вина, фруктов и соли. Помимо этого, армяне пригнали до шестисот голов рогатого скота. Сельский кузнец Погос Барутчан, известный мастер и умелец, узнав, что в крепости недостаточно пороха, стал со своим помощником ежедневно изготавливать до тридцати фунтов хорошего пороха, а другие мастера делали картечь, переливали старые ядра для пушек и пули для ружей.

У Елизаветинских ворот был углублен ров, через который из крепости легко перебрасывался на цепях широкий мост. Волчьи ямы, пороховые фугасы, проволочные ежи, окопчики для бойцов окружали крепость. Все домишки, мешавшие обстрелу, были убраны, заборы и сады снесены, и через каждые тридцать-сорок минут с крепостных стен гулко и протяжно раздавалось: «Слу-у-шай!»

У стен крепости наскоро проходили военные занятия армянских рот. Командовавший одной из них, поручик Лузанов, был изумлен быстрым превращением вчерашних крестьян и ремесленников в дисциплинированных заправских солдат.

К концу пятых суток в крепость пришли лазутчики и сообщили Реуту, что огромная армия Аббаса-Мирзы скорым маршем приближается к Шуме. Полковник выслал вперед казачьи разъезды.

— Полковник-ага, надо теперь же, не откладывая, арестовать беков, которые, как мы точно знаем, послали кизилбашам гонцов со всеми данными о твоих войсках, о состоянии крепости и о том, сколько солдат находится в городе и вокруг него. Они будут заложниками и ответят головами, если в городе вспыхнет восстание, — сказал Ага-бек Калантаров.

— Назови их имена, — Реут вынул из стола бумагу.

— Владетельные беки братья Гаджибековы, Муртаз-Али и Герай-бек Векилов из Герюсов, его тесть, ваш старый враг Агамали-хан, молодой Курбан, сын убитого лезгинами Рашид-хана, и еще одиннадцать купцов



и знатных лиц города. Это самые отъявленные ваши враги, они мутят народ, подстрекая его к нападению на наши села и на ваши отряды, — ответил Калантаров.

Реут проверял, все ли имена есть в его списках. Иногда он что-то помечал крестиком в своей бумаге.

— А вот у меня здесь имеется еще несколько фамилий, в том числе Магомед-хаджи и Алекпер, таджир-баши<sup>1</sup>. Как ты считаешь их? — осведомился полковник.

— Магомед-хаджи — это непримиримый враг русских, а таджир-баши — хитрая лисица. Он уважает лишь тех, кто сильнее, и так как он купеческий староста города, то готов торговать с любым, лишь бы ему хорошо платили. Я уже беседовал с ним, ага-полковник. Он не будет нам врагом до тех пор, пока мы сможем защищаться, но как только нас осилит, он сразу же делается самым близким другом персиян и самым преданным исламу мусульманином. Его бог — золото.

— Что он обещает? — осторожно спросил Реут.

— Если обстановка позволит и он убедится в том, что кизилбаши не осилят нас, он время от времени будет сообщать нам через своих сыновей о делах персов и судьбе Тифлиса.

— И то хорошо! А как быть с Магомедом-хаджи? — спросил Реут.

— Никак. Этого человека теперь уже не достанешь. Он вчера ночью бежал к персам. Надо поспешить с остальными, иначе и они сбегут к кизилбашам, и тогда у нас не останется заложников.

К вечеру все перечисленные Калантаровым были арестованы и перевезены в крепость в качестве аманатов. В городе сразу стало тревожно и тихо. Шумные сборища молодежи, разнузданные проповеди в мечетях, стрельба на улицах, болтовня на площадях, в чайхане и духанах стихли. На базаре реже стали появляться подозрительные, неведомо откуда попавшие в Шушу люди.

На следующий день к Реуту пришли два брата Тархановы, Сафар и Ростом, влиятельные жители села, расположенного в четырех верстах от крепости в тесном ущелье, по которому бежала быстрая и шумная река — Шушинка, как называли ее русские. На ней, в горловине ущелья, были расположены мельницы, принадлежавшие армянам. Ущелье было узкое, каменные громады скал нависли над тесниной и селом, образуя глубокие впадины, уже давно превращенные жителями деревни в обитаемые пещеры. Дорога, ведущая к нему и мельницам, шла по теснине, над которой находилось много пещер. Пещеры эти ввиду приближения персидских войск уже были заполнены армянскими семьями, оставившими свою деревню и прочно обосновавшимися в этих каменных жилищах, из которых вооруженные стрелки надежно контролировали узкий вход в ущелье и дорогу, лепившуюся по берегу быстрой Шушинки.

<sup>1</sup> Купеческий голова.



– Что скажете, уважаемые господа? – спросил полковник гостей. – Какие новости, в чем нужда? Охотно помогу вам.

– Новости есть, ага-полковник, но их скажем позже, а сейчас дело в следующем. Как ты знаешь, Чинахчи и Герюсы уже заняты кизилбашиами. Их войска идут сюда. Наше ущелье надежно, а сейчас мы превратили его в такую же крепость, как и ваша, но нам связывают руки старики, жены и дети. Можешь ли впустить часть из них в крепость, тогда нам легче и спокойнее будет защищать Шушакенд и мельницы от иранцев.

– Почему же часть? Пусть все старики и дети идут в крепость.

– Все не пойдут, – спокойно ответил Сафар. – Женщины нам нужны для того, чтобы они, пока мы будем отбивать кизилбашей, готовили нам пищу, и, кроме того, нужны крепкие старики, чтобы они заряжали наши ружья. Они народ бывалый, спокойный и надежный. Их присутствие поможет женщинам уверенней ожидать ухода персов.

– Ты прав, Сафар-бек. Завтра же пусть все, кто не нужен вам в Шушакенде, придут в крепость.

– Утром они придут сюда, ага-полковник. Спасибо за разрешение. Теперь второе. В нас будь уверен. Мы, армяне Шушакенда и молодежь окрестных армянских сел, которая пришла к нам, хорошо вооружены, пороху и пуль у нас много, решимости победить или умереть – достаточно. Мы погибнем все, но не допустим к мельницам персов. И горловина ущелья, и дорога, и подступы к ней простреливаются из наших пещер, ни один сарбаз не пройдет. Наши стрелки бьют ласточку на лету пульей, а наши кинжалы и пашки остры... Помни, ага-полковник, что мы не только будем бить персов в ущелье, но мы будем снабжать вас мукой. Наши мельницы будут работать и молоть для вас зерно, пусть даже не только Аббас-Мирза, а и сам его отец, Фетх-Али-шах, придет сюда со всеми войсками Ирана.

– Спасибо, друг, генерал Ермолов прислал мне письмо, в нем он пишет, чтобы я целиком полагался на армянское население Шуши. Он верит в вас.

– И он не ошибается, ага-полковник. Мы умрем, но не предадим русских братьев, не подведем нас и вы. Бейтесь до конца, насмерть, до победы.

– А мы, русские, так только и деремся!

– Видно, ты еще не знаешь о несчастье, которое произошло у реки Акера, – переглянувшись с братом, тихо сказал Сафар.

– Какое несчастье? С батальоном подполковника Назимки? – поднимаясь с места, спросил Реут.

– Да... к несчастью, вестниками этого черного дела являемся мы, – вздохнул Ростом. – Да, ага-полковник, русский отряд, который шел сюда из Герюсов, разбит. Кизилбаши уничтожили его.

– Не может быть! Это персы распускают такие слухи. Ведь в нем до тысячи солдат с двумя орудиями! – взволнованно закричал Реут.



– К сожалению, это правда. И оба орудия, и больше пятисот солдат попали в плен к кизилбашам.

– Наши армянские братья сумели по тропкам и горам вывести пятерых спасшихся от разгрома солдат. Они пришли с нами, – опустив голову, сказал Ростом.

– Не может быть! Еще никогда в этих краях не бывало, чтобы русские солдаты с орудиями и офицерами сдавались в плен. Где они? – срывающимся голосом спросил полковник.

В комнату вошли пятеро изможденных, переодетых в армянское платье людей.

Спустя час весь русский отряд, запершийся в крепости, уже знал о том, что шедший к ним на соединение из Герюсов батальон с двумя орудиями и двумя сотнями казаков был в пути настигнут армией Аббаса-Мирзы и после недолгого боя сдался в плен вместе с командиром подполковником Назимкой. Опечаленные солдаты горестно обсуждали эту страшную весть. Армяне тревожно поглядывали на солдат, как бы боясь, что это известие поколеблет дух защитников крепости.

Со стороны города вновь слышались песни, звуки зурны, веселые крики, и над Шушей снова раздались одиночные выстрелы разгулявшихся, поджидавших Аббаса-Мирзу молодцов.

– Боевые товарищи, солдаты и офицеры! Тяжелое несчастье постигло нас. То, о чем никто никогда и не думал, чего мы не могли допустить и в мыслях, – случилось. Сильный русский отряд в тысячу пштыков с двумя пушками разбит персами и пленен ими. Персами, теми самыми кизилбашами, которые бежали от нас в прошлую войну, которых одно имя Котляревского приводило в трепет, а пштык русского солдата заставлял бежать с поля боя. Позор! Но он ложится не на вас, солдаты, а на того командира, который сдал свой отряд. Боевые товарищи! На нас теперь идет Аббас-Мирза со своими полками. Их много, нас мало, но мы русские, и позор, который пал на батальон, мы должны смыть своими делами. Пусть узнают персы, что не все русские похожи на тех, кого они взяли в неволю. Я говорю вам, солдаты: то, что произошло с Назимкой, того не будет в Шуше. Мы будем биться насмерть, мы не побоимся персиян с их пятьюдесятью тысячами сарбазов, и если надо, то все взлетим на воздух, но крепости не сдадим! Товарищи, воины, солдаты! Мы – русские, и своим мужеством и отвагой спасем крепость или умрем!

Солдаты молчали, то шумно переступая с ноги на ногу, то тяжело вздыхая или тревожно оглядываясь вокруг.

– Разрешите, ваше высокоблагородие, мне сказать солдатикам слово, – нарушил тишину правофланговый, полуседой с морщинистым лицом солдат.

– Два шага вперед, говори, Рыжов! – скомандовал Реут.



Старый солдат с одним лычком на погонах и Георгиевским крестом на груди вышел из строя.

— Мы, ваше высокоблагородие, прослышали о несчастье, в которое попал батальон. Тяжелое это горе, — вздохнул солдат, — небывалое для кавказских войск приключилось. Николи не бывало, чтобы батальон русских солдат сдался в плен, чтобы пушки наши попали к персам. Я, братцы, — оборачиваясь к молча, с хмурыми лицами слушавшим его солдатам, сказал он, — знаю персов, воевал с ними и под Мигри, и под Асландузом с генералом Котляревским. И били мы их всегда. Нас пятеро, а их двадцать, а мы их гнали и били. Как же случилась такая беда, что тысяча солдат не сумела защитить себя? Думаю, вашсокбродь, не солдаты в том виноваты, а начальство. Вы не сердчайте на меня, но русский солдат, коли у него хороший командир, помрет, а не сдастся! Так я говорю, братцы? — оглядывая солдат, спросил Рыжов.

— Правильно, Трофимыч! Так точно, вестимо так! — слышались голоса.

— С нами такого не будет, вашсокбродь! Мы вас знаем, верим вам, и отпишите Алексею Петровичу, что крепость персам не сдадим, биться будем так, как учили нас Котляревский и Ермолов. За батальон отомстим, а надо будет, так и за матушку Россию, за царя, за Христову веру положим головы, а не сдадимся! Так я говорю, братцы? — снова обводя взглядом солдат, закончил Рыжов.

— Так! — хором, дружно ответили солдаты. — В полон не пойдем, биться станем до смерти!

— Спасибо, боевые товарищи! — растроганным голосом, в волнении сказал Реут. — Я знал, что все вы герои и русские воины, а за доверие ко мне спасибо особое! — Он снял с головы фуражку и, подойдя к Рыжову, трижды крест-накрест поцеловал его. — Алексей Петрович Ермолов обещал помочь нам, продержитесь немного, пишет он, и я приду на помощь. Ура ему, ура! — закричал Реут.

— Ур-ра-а! — горячо и шумно подхватили солдаты.

Армянские дружинники, которым архимандрит перевел слова полковника, вынули из ножен кинжалы и, подняв их над головами, хором выкрикнули:

— Аммен!

— На молитву шапки долой! — скомандовал Реут, и вся стоявшая «вольно» солдатская толпа обнажила головы. Армяне сделали то же.

— Спаси, Господи, люди твоя... — дребезжащим тенорком негромко запел полковой священник, и вся громада людей, стоя на коленях, торжественно и тихо продолжила его слова:

— ... и благослови достояние твое...

Молитва окончилась.

— Встать! Нак-кройсь! — крикнул полковник.



Роты разошлись по своим местам, и обычная, полная тревоги и боевых ожиданий жизнь потекла в крепости.

Вечером армяне приволокли из города двух основательно избитых лазутчиков, присланных в Шушу Аббасом-Мирзой. Они были захвачены на площади в тот момент, когда уговаривали жителей поднять мятеж и ударить с тыла на крепость. При них были найдены прокламации, в которых наследник иранского престола уже объявлял их своими подданными и обещал не позже чем через сутки прийти в Шушу. Лазутчиков посадили вместе с заложниками-беками в один из подвалов крепости.

Вокруг Шуши появились пока еще державшиеся весьма осторожно разъезды персидской кавалерии. На горизонте стали гореть в багровом дыму и пламени армянские деревни.

Чувствовалось, что Аббас-Мирза со своими полчищами уже недалеко.

26 июля утром к стенам крепости подскочила большая, человек в шестьдесят, кавалькада, впереди которой гарцевал, держа огромный белый флаг, всадник.

Это была делегация от Аббаса-Мирзы во главе с важным персидским чиновником, привезшим полковнику Реуту письмо от главнокомандующего персидской армией. Спешившись на площади, посол, сопровождаемый двумя слугами и встретившими его у ворот казаками, прошел через раскрытые крепостные ворота и был встречен комендантом крепости полковником Реутом.

— Рад видеть вас гостем у себя в доме, но не понимаю, почему персидская армия во главе с его высочеством наследником престола Аббасом-Мирзой перешла границу и подошла к Шуше. Разве война между нашими странами объявлена? — принимая посла Аббаса-Мирзы, спросил Реут.

Иранский вельможа молча пожал плечами и, почтительно вынимая из-за пазухи письмо, написанное цветной тушью и подписанное самим принцем, торжественно сказал:

— Вот письмо сына тени Аллаха на земле. Прочтите, и оно разъяснит вам течение дел, predetermined судьбой. Его высочество дает вам сроку на ответ до заката завтрашнего дня.

— «Храброму и почтенному командиру российских войск, стоящих в городе Шуше, полковнику Реуту от его высокой светлости валиагда Аббаса-Мирзы, держащего в своей руке судьбы и жизнь народов Ирана, Грузии, Дагестана, Шемахинского, Шущинского, Шамшадильского и прочих подвластных нам княжеств и ханств.

Великому Аллаху угодно было, чтобы непобедимые, страшные в бою, неисчислимые полчища моих львов и железоедов обрушились грозой на русские войска. Мои могучие сарбазы вместе со сотысячной конницей курдов и бахтияр словно железная саранча прошли по грузинским землям. Тифлис, Лори-Бамбак, Белый Ключ и другие места заняты нами.





Ганджа окружена так же, как и вы. Ваш генерал Ермолов уехал в Москву, где начали между собою из-за престола войну ваш новый царь и его брат.

Вас не больше тысячи, в то время как у меня свыше шестидесяти тысяч отборных солдат, проливающих кровь, как воду, но намерение мое не убивать напрасно людей, а лишь возвратить нашей короне те земли, которые русские незаконно захватили пятнадцать лет назад. Не приносите же себя самого и ваших невинных солдат в жертву ярости наших войск. Сдайтесь без боя, и я пощажу всех. Сохранив жизнь своим солдатам, вы этим окажете несомненную услугу Российской державе, которая конечно, не оставит вас за это без внимания. Если ж не исполните моего повеления, то переговоры мои с вами будут кончены и вы будете отвечать за пролитую кровь. Ибо все то ужасное, что случится, падет на вас, а не на меня.

Благосклонный к вам,  
Принц Аббас-Мирза, валиагд Ирана».

Персиянин поднялся, степенно провел ладонью по длинной выхоленной бороде и тихо, почти ласково шепнул неподвижно сидевшему перед ним Реуту:

— Сдавайтесь. Мы хорошо знаем, что запасов продовольствия у вас нет, крепость стара и что голод и жажда уже через неделю убьют всех. Принц не оставит своею милостью тех, кто понимает, что со львом единоборствовать невозможно. Худа аффиз шома!<sup>1</sup> — Поклонившись в пояс поднявшемуся Реуту, посол не спеша прошел мимо группы внимательно разглядывавших его офицеров. И хотя он не поднимал глаз и не озирался по сторонам, однако отлично рассмотрел обилие беженцев, заполнивших узкие улочки крепости, и понял ту тревожную, беспокойную настоятельность, с которой хмуρο озирали его солдаты, стоявшие на постах. Заскрипели петли, и сквозь приотворившуюся боковую дверцу крепостных ворот посла выпустили наружу, где двое казаков провели его через глубокий осыпавшийся ров, окружавший крепость.

Потом казаки вернулись, и посол не спеша пошел к кавалькаде, ожидавшей его в тени садов. Когда замелькали хвосты коней и желтая пыль снова заколыхалась над дорогой, Реут, не отрывая глаз от подзорной трубы, коротко приказал:

- Собрать на военный совет всех господ офицеров гарнизона!
- Вот, господа офицеры, что пишет нам его высочество принц Аббас-Мирза. Кому неясно прочитанное, прошу задать вопросы, — и он оглядел офицеров, сидевших, вокруг него.
- Все понятно! Какие уж тут вопросы! — ответил за всех краснощекий, с загорелой обветренной кожей артиллерийский капитан.

<sup>1</sup> Бог да будет с вами.



— А если все понятно, то приступаю к военному совету, российским воинским уставом на то определенному. Прошу господ офицеров, не мудря и не лукавя, действуя по чистой совести и руководствуясь токмо пользой службы Его Величеству и державе нашей, высказываться по сему случаю. Сдавать ли крепость превосходящим силам персидской армии или же, памятуя, что мы русские, и дорожа великой славой России, открыть баталию, и если придется погибнуть, то не ниже, как героями. Согласно воинскому регламенту господа офицеры высказываются по чинам. Первыми начинают самые младшие. Прошу высказаться, прапорщик Корнилов!

— Биться до последнего! — вскакивая с места, коротко сказал прапорщик.

— Прапорщик Толченев!

— Биться насмерть!

— Прапорщик фон Штуббе!

— Умереть, но не сдавать крепости!

— Поручик Лузанов!

— Биться до последнего человека!

— ... Но их шестьдесят тысяч, а нас только тысяча триста! А если штурм крепости удастся, что тогда? — тихо спросил Реут.

— Тогда взорвать пороховой погреб и взлететь на воздух вместе с врагом! — негромко предложил капитан Михайлов.

— Правильно, боевой товарищ! — поднимаясь, сказал Реут. — Вы скажали то, что ожидал я от храбрых кавказских воинов. Лучше геройская смерть, чем позор! Никогда не опустим мы наше знамя. Там, где раз поднялось русское знамя, там оно никогда уже не опускается! Закрываю военный совет. Я уверен, что подполковник Миклашевский, майоры Чилиев, Rogozin, Ключе фон Ключенау и все остальные офицеры моего гарнизона думают так же, как и опрошенные мною офицеры. Я постараюсь переговорами с принцем оттянуть штурм крепости. Может быть, за это время подойдут Алексей Петрович или князь Мадатов и освободят нас. Если же этого не случится, крепость взлетит на воздух, но не сдастся! Всякого, кто помыслит или заговорит о сдаче, я повешу на зубцах стены! Русские войска не сдаются, а персиянам надо напомнить их разгром у Асландуза, Мигри и Ленкорани. Капитан Михайлов, с этой минуты вы назначаетесь мной на должность командира крепостных пороховых складов, и, если персияне ворвутся в цитадель, вы сами должны бросить факелы в пороховые бочки арсенала. Вы сможете сделать это? — подходя к Михайлову, спросил Реут.

— Да! Клянусь Богом, моей Родиной и честью, могу! — сказал капитан.

— А теперь, господа офицеры, по местам! Надеюсь, вы сами понимаете... о нашем совете ни слова...

Офицеры разошлись. С крепостных стен далеко просматривалась равнина и город, лежащий внизу. Оттуда доносились крики, одиночные вы-



стрелы и равномерный уличный шум. Вся окрестность Шуши уже была занята полчищами Аббаса-Мирзы. Бивуачные огни опоясали город. Посты, конные разъезды, заставы и просто одиночные партии и шайки курдов бродили вокруг города, грабя крестьян и насилуя попадавшихся женщин. Испуганные горожане-татары, радостно встретившие персиян, уже готовили делегацию к наследнику с просьбой оградить их от бесчинств и насилия.

Утром в лагере персиян раздался барабанный бой, завывли рожки, забили бубны. Один за другим с батареи, установленной недалеко от города, слышались три выстрела.

Со стороны города в сопровождении шести конных показалась кавалькада. Большой зеленый флаг с изображением огромного льва и солнца колыхался над ней. Впереди, саженьях в тридцати, крупным широким галопом скакал всадник, что-то крича и размахивая большим белым флагом.

Часовые на стенах крепости сейчас же доложили дежурному офицеру, и тот, наведя подзорную трубу на всадников, сказал подошедшему майору:

— Парламентеры за ответом. Доложите полковнику, а я стану наблюдать за ними.

Кавалькада остановилась в тридцати-сорока саженьях от рва.

Реут, видевший все это с высоты крепостной стены, приказал офицеру, дежурному по обороне Елизаветинских ворот, открыть их и впустить персидского парламентаря и одного из сопровождающих его.

Ворота приоткрылись, и парламентаря впустили в крепость. Он прошел мимо направленного на вход орудия, у которого с дымящимися факелами стояли артиллеристы. Во дворе были солдаты, казаки и до сотни армянских стрелков в полной боевой готовности. У крепостного блокауза виднелись группы вооруженных людей. Вдоль первой линии обороны двора стояли завалы и фашины; в стороне мычали коровы и быки, возле них лежали грудой мешки с мукой и зерном; водоем посреди площади был полон воды.

Парламентаря Реут встретил на площади. Это делалось для того, чтобы персиянин видел, что крепость хорошо и на долгое время обеспечена питьем и едой.

Посол хитро улыбнулся и, ответившая поклон Реуту, осведомился о его здоровье.

— Благодарение Богу, и я, и все в крепости здоровы. Как самочувствие его высочества наследника престола Ирана?

— Его высочество, лев Ирана и защита всех мусульман мира, светоч мудрости и ужас непокорных, валиагд Аббас-Мирза благоденствует и полон добра и участия к вам. Его высочество прислал меня получить ответ на вчерашнее наше предложение.



— К сожалению, должен огорчить его высочество. Крепость по своему усмотрению сдать не могу. Я русский солдат и подчиняюсь моему главнокомандующему. Если он прикажет сдать крепость наследнику Ирана, я сейчас же выполню приказ, но для этого необходимо послать в Тифлис нашего офицера. Если его высочество гарантирует свободный проезд в Тифлис моего посланного, то через десять дней крепость будет сдана вам.

— В Тифлис посылать незачем. Он уже занят храбрыми иранскими войсками. Ермолов бежал из Грузии во Владикавказ, Гюрджистан вновь стал нашей провинцией. Вам надо сейчас же сдать крепость, иначе мы будем штурмовать ее, и тогда, — посол, печально улыбаясь, развел руками, — ни валиагд, ни сам Аллах не спасет вас от острой стали храбрых в бою, разгневанных вашим ответом иранских войск.

— Сталь имеется и у нас, кровопролития я не хочу, но и не страшусь оно. Крепость не сдам, а если нас осият, то мы взорвем ее вместе с теми, кто ворвется сюда.

Посол удивленно повел глазами.

— Это неслыханно, это варварство.

— Это подвиг, а не варварство, и любой из нас совершит его в нужный час, — громко, обращаясь больше к слушавшим его солдатам, нежели к послу, сказал Реут.

Персиянин с удивлением посмотрел на суровые, спокойные лица солдат.

— Скажите его высочеству, что приказ об этом мной отдан еще вчера, воины наши поклялись исполнить его, и если наследник престола действительно не желает кровопролития, то выход один — послать к Ермолову офицера.

Посол поклонился и, еще раз взглянув на слушавших их солдат, понял, что слова Реута не были просто угрозой. Он быстро пошел к воротам.

Через полчаса две батареи, стоявшие на Топ-Даге, и одна тяжелая, бившая со стороны города, открыли ожесточенный методический огонь по стенам старой крепости.

Русские почти не отвечали. Они берегли порох и ядра для генерального штурма.

В ущелье было тихо. Армянские стрелки, подкрепленные полуротой егерей, лежали в камнях по берегу Шушинки. Село было оставлено, но мельницы, находившиеся позади села, непрерывно работали. Армяне усиленно мололи зерно, готовя муку для себя и осажденных в крепости. Еще засветло к горлу ущелья подскочила сотня персидских курдов, среди которых были и местные шушинские жители. Они стреляли вверх и вдоль ущелья и выкрикивали имена наиболее видных сельчан.

— Что надо? — поднимаясь из-за камней, спросил один из армян.

Двое курдов спешили и, помогая сойти с коня богато одетому персиянину, провели его вперед. Остальные остались позади.



– Вот что, люди, – важно сказал персиянин, – я командир конницы шаха Ирана сардар Эмин-Доуле.

Армяне, лежа за камнями, молчали, а их делегат, поклонившись, спросил:

– Что угодно вашей милости, высокочтимый господин?

– Во-первых, пропустите к мельницам моих всадников, во-вторых, как подданные шаха Ирана, вы должны во всем помогать его войскам и, наконец, выдайте находящихся у вас русских солдат. Такова воля вали-агда.

Армянин посмотрел на него.

– Вы сказали, ага, что мы подданные его величества шаха?

– Конечно! – важно ответил персиянин. – Русские всюду разбиты, они бежали из Тифлиса, войска их, подобно соломе, развеяны ветром иранской армии, а вы, как и двадцать лет назад, теперь вновь вернулись к короне и подданству Ирана. Пойди и расскажи об этом своим людям, а затем встречайте нас у села с покорностью и любовью. Наследник престола обещает вам благо и неприкосновенность ваших семей и жилищ.

– Хорошо, ага, я скажу им. Через полчаса мы дадим ответ. Вас же прошу пока удалиться к своему отряду, – вежливо сказал армянин.

Иранцы повернули коней и поскакали к ожидавшей их сотне.

Прошло не больше двадцати минут, как армянин показался из-за камней. Помахав рукой, он закричал:

– Э-эй, прошу, ага-сардар, люди поручили передать ответ.

Спешившиеся было курды стали садиться на коней, но некоторые из них еще поили лошадей у реки или плескались в ее светлой холодной воде.

Сардар Эмин-Доуле выехал вперед. Он ехал степенно и медленно, как и подобало начальнику целого полка отборной шахской конницы. Он не был начальником всей кавалерии, как гордо называл себя несколько минут назад, но и полк конницы, которым командовал он, значил немало в иранской армии.

– Ну, что надумали твои сородичи? – негромко спросил он, совершенно убежденный в положительном ответе.

– Народ не согласен. Мы пока подданные русского царя. Вот когда вы возьмете Шушу и крепость, когда русские уйдут из Карабаха, тогда действительно мы станем подданными шаха Ирана, да увеличит его дни Бог, но пока здесь есть русские, мы не изменим им. У нас была клятва и присяга, а вы, ага, хорошо знаете, что нарушают их только трусы и негодяи. Мы не таковы. Оставьте нас в покое, а когда завоюете Карабах, тогда наша присяга и клятва отпадут сами собой.

Персиянин удивленно и гневно посмотрел на него.

– Вы противитесь, собаки, да я сегодня же уничтожу вас и сожгу вместе с вашим поганим селом! – распаляясь гневом, закричал он.



– Нехорошо говоришь, ага. Мы не дети и тоже умеем стрелять и рубить кинжалами. И один Бог ведает, кто сегодня будет мертвым, а русских солдат мы не выдадим вам. Они наши гости, они доверились нам, и позор падет на наши головы, если мы, спасая себя, предадим их! Я думаю, что вы сами в душе соглашаетесь с нами, ага, – кланяясь, спокойно и с достоинством ответил армянин.

– Я выпью твою кровь, собака, а твоё тело брошу свиньям! – повернув коня и взяв с места в карьер, закричал разгневанный персиянин.

Персидские батареи два часа подряд били по стенам Шупинской крепости. Бомбы, гранаты, докрасна раскаленные, специально для зажигания пожаров созданные ядра били по веркам крепости, то и дело залетая внутрь.

Гарнизон был под ружьем, но, опасаясь потерь, людей попрятали по лисым норам, окопчикам и каменным полуподвалам.

Два каленых ядра попали в дощатые части цейхгауза, но эти очаги сейчас же потушили дежурившие здесь солдаты.

В первый день персидской бомбардировки был ранен один солдат, контужена разрывом гранаты армянка, убиты две лошади.

Люди заделывали трещины и пробоины в стенах.

На следующий день, часов в девять утра, к воротам крепости подскочил, размахивая белым флагом, шупинский татарин Исмаил-бек и на довольно приличном русском языке прокричал:

– Его высочество, жалея вас, приказал вчера стрелять только трем батареям. Сдавайтесь, иначе сегодня все орудия нашей непобедимой армии обрушатся на вас! Ждем до обеда.

В полдень шесть трехорудийных батарей открыли огонь по крепости. Особенно энергичен был обстрел из тяжелых орудий, бывших с Топ-Дага. Пользуясь тем, что у русских не было дальнобойной артиллерии, персияне подтянули свои осадные пушки ближе к крепости и методично стреляли тяжелыми ядрами и гранатами. Ядра шлепали по двору крепости, зарывались в землю, подобно чугунным мячам, катились по земле и, ударяясь и крепкие, каменные стены блокгаузов, отскакивали, отбивая от них щебень.

– Английские! – разглядывая ядра, определили артиллеристы.

Огонь врага становился все сильнее. Было ясно, что персияне готовят штурм.

## Глава 4

Тифлис напоминал потревоженный, перепуганный муравейник. Из Ганджи, Ворчалю, Закатал, Караклиса, Лори-Бамбака, отовсюду прибы-



вали беженцы пешком, на повозках, верхом и на арбах, запряженных буйволами. Беженцы рассказывали о том, что все наши посты по границе заняты врагом, рота, стоявшая за Саганлыком, разгромлена. Приходили вести о налете курдской конницы на Ворчалю, об отходе всех наших войск к Тифлису. Слухи разрастались. Уже решительно все говорили о мятеже татар в Карабахе, об осаде Шуши и о том, что в Елизаветполе местным мусульманским населением вырезаны все русские, а егерские батальоны, наполовину разбитые, с трудом вышли из города и отходят на Тифлис. Где была правда и где ложь – никто не знал. Тифлис глухо волновался. Многие русские и армянские семьи спешно уезжали по Военно-Грузинской дороге во Владикавказ. Но и здесь было не безопасно. Говорили о том, что осетины и ингуши заняли перевал и что по всей дороге от Млета и до Ларса идут бои. Все ждали мятежа в Дагестане и удара лезгин на Кахетию со стороны Закатал.

Небольсин был назначен полуротным одной из рот Ширванского полка. Санька Елохин – взводным третьего взвода той же роты. Солдаты, старые кавказцы, очень напоминали поручику егерей, с которыми он провел год в горах Кавказа. Это были те же спокойные, серьезные русские люди. Обуты они были, как и егеря, плохо: кто в башмаках, кто в сапогах, кто в чувяках; одежда их тоже была разнообразна, в одной и той же роте люди носили рубахи, мундиры, бешметы с газырями, а кое-кто и обыкновенные цветные рубахи с нашитыми на них погонами и медными пуговицами с двуглавым орлом.

– Что так бедно одеты? – спросил Небольсин.

– Берегут амуницию и праздничную одежду, вашбродь, – ответил фельдфебель, улынувшись.

Но бедность одежды и не очень прочное знание солдатами ротных и полковых учений окупались отличной стрельбой, выносливостью и той выработанной на Кавказе особой молодецкой сметкой, которая отличала их от плац-парадных, привыкших к муштре столичных солдат. Солдаты отлично разбирались в маневре, самостоятельно действовали и в одиночку, и массой. Они быстро собирались в каре и так же стремительно рассыпались в цепь. Многолетняя война с горцами научила их умело биться с конницей, отражая конные атаки штыком и ружейным огнем. Они легко применялись к местности, умело ориентировались и на равнине, и в горах.

Роты ежедневно выходили за Авлабар к Навтлугу, где в течение шести-семи часов проводили боевые учения и практическую стрельбу.

Санька деловито и спокойно принял взвод, и Небольсин видел, что солдаты очень скоро приняли его в свою среду и оценили его как старого солдата и опытного унтера.

– А что, вашбродь, верно болтают, будто персиян Шушу забрал да на



Баку навалился? – спросил его Елохин, когда полурота отдыхала в тени авлабарских садов.

– Нет, неверно! Баку наш, там и поблизости нет персов, а в Шушу они пришли, но гарнизон заперся в крепости, отбивает атаки. На днях его освободят, – ответил поручик.

Солдаты, сидевшие вокруг, молча слушали, покуривая трубки.

– А верно, что князь Мадатов опять с нами? – поинтересовался один из них.

– Вернулся вчера!

Солдаты весело и одобрительно зашумели:

– Тогда пойдет дело, этот персюкам наддаст жару, пропишет...

Солдаты знали, любили Мадатова и верили в него. С любопытством приглядывались они к новому полуротному. Он нравился им.

– Не гордый барин, с душой. Человека уважает, – определили они.

Южная ночь была тиха и непроглядна, и только однообразный плеск Шушинки слышался в темноте. Один из армян часовых приподнял голову.

– Идут, – чуть слышно сказал он.

– Это река... все тихо... – ответил другой.

– Нет, это они... идут, – повторил первый и пополз вперед. Впереди было тихо, и вдруг, захлебываясь, быстро и злобно залаяла овчарка.

Это были сторожевые собаки, которых еще засветло спрятали в кустах у дороги.

Овчарки лаяли не переставая, и теперь не было сомнения в том, что в ущелье входят люди. И сейчас же загорелся стог сена, стоявший у дороги, другой запылал сбоку. Вход в ущелье озарился трепетным, колеблющимся, довольно ярким светом, на фоне которого замелькали темные фигуры людей.

Короткий залп пронесся по ущелью. Это армянский караул бил по персиянам.

– Алла... – заглушая стрельбу, раздалось по ущелью.

У дороги что-то тяжело и глухо ухнуло, потом раздался второй, более сильный взрыв. Блеснуло пламя, и дымное облако поднялось над местом, где горели стога. Отовсюду, из-за камней, с берегов Шушинки, из кустов, из пещер, нависших над мельницами, посыпались, загрохотали выстрелы, а русская ракетница ударила вдоль дороги, и, распушив хвосты, над головами перепуганных персиян стали рваться боевые ракеты.

Третий взрыв взметнул в воздух и обрушил на персов град каменных осколков. Это был самый большой фугас, заложенный кучей камней.

Забили русские барабаны, и полурота с криком «ура» открыла огонь. Охваченные паникой, персы с воплями бросились назад.

Бой стих, и только хрипло лаяли и выли перепуганные овчарки.





Утром армянский патруль стащил в кучу шестнадцать трупов и подобрал много брошенного персами в ночной суматохе оружия.

Весь следующий день мельницы, как и раньше, мололи зерно, а веселые, ободренные успехом армяне посмеивались над разбитым врагом.

Шли дни. Уже одиннадцатые сутки стояла армия Аббаса-Мирзы около Шуши. Каждый день батареи осыпали ядрами крепость, но штурма персы не начинали.

Из Тифлиса вестей все не было, и Реут решил послать туда человека. Пробраться в Тифлис было почти невозможно, но армянин Арутюн Алтуньянц взялся сделать это. Алтуньянц был человек лет тридцати двух, купец по профессии. Жена и двое детей его находились здесь же в крепости. Он попрощался с семьей и в ночь на 11 августа, спустившись по веревке со стены крепости, исчез в темноте.

Прошло еще четыре дня, и во время одной из ночных перестрелок в крепость залетела стрела, выпущенная из старинного арбалета с привязанной к ней запиской. «Будьте готовы к штурму. В ближайшую ночь кизилбаши атакуют вас», — было написано в ней по-армянски.

И Реут, и архимандрит Хорен, и Ага-бек Калантаров знали того, кто прислал в крепость столь необычным путем эту записку. Это был Геворк Минасян, переводчик, принявший персидское подданство, но в душе оставшийся армянином.

И без того бывший настороже гарнизон удвоил караулы. К Елизаветинским воротам были выведены две армянские роты, все орудия поставлены на стены, а угловые башни усилены фальконетами и ракетницами. На стенах заготовлены тюки ваты и тряпья, пропитанные нефтью, а также вязанки хвороста и дров.

Весь гарнизон уже с вечера был под ружьем. Армянские женщины кипятили чаны с водой, чтобы в нужную минуту опарить штурмующих стены крепости.

Ночь на 15 августа была тихой и темной. Шуша утонула в черной мгле. Не было ни одного огонька, стихли все шумы города, смолкли выстрелы. Казалось, мир и покой наступили повсюду.

Часовые на стенах, армянские роты возле ворот застыли в ожидании. Оба батальона егерей залегли на стенах крепости. Около часу ночи наблюдавший за юго-восточным сектором крепости часовой заметил что-то темное, выделявшееся даже в черноте ночи. Он прислушался.

— Вызвать поручика! — шепнул он подчаску. Лежавшие рядом солдаты тоже хорошо видели темные пятна на площади и слышали нараставший шум шагов и даже дыхание многих сотен людей.

Реут был уже на стене крепости. Вот стало заметно, как расходятся в темноте группы людей, как персы подтаскивают к стенам штурмовые лестницы и начинают взбираться по ним.



– Огонь! – крикнул Реут.

Грянул залп, и вспыхнули огни: запылали тюки с тряпьем, загорелись дрова. Все озарилось ярким светом. Картечь, ружейные залпы, кипяток, ручные бомбы полетели на возившихся под стенами персиян. Ракеты с треском рвались в гуще людей, картечь секла их, защитники крепости расстреливали опалевших, не ожидавших засады сарбазов. Несколько высоких лестниц с забравшимися на них людьми обрушились и полетели вниз. Стоны и крики раненых, вой опшаренных кипятком и визг испуганных – все перемешалось в один сплошной вопль.

Ударили русские барабаны, широко распахнулись Елизаветинские ворота, и оттуда ударили в штыки русские солдаты. Обгоняя их, вырвались вперед армянские добровольцы, широкими огромными кинжалами и шашками рубя персов. Вся масса персидской штурмовой колонны пустилась наутек, бросив оружие, раненых, лестницы и веревки, которые приготовили, чтобы связать русских пленных. Отступающие оставили на поле боя шесть фальконетов.

И тут им в тыл ударила полурота русских солдат и две сотни армянских добровольцев под командованием Сафара Тарханова, выпедившие из ущелья на помощь крепости. Не зная положения дел, поняв по шуму и стрельбе, что идет штурм крепости, они ввязались в бой на свой страх и риск.

Аббас-Мирза, уже считавший крепость взятой, на всякий случай вышел из города и разбил свои шатры на дороге к Елизаветполю.

Утром из крепости к Аббасу-Мирзе направили майора Ключе фон Ключенау. Майор был в полной парадной форме и при парадной шпаге. Два барабанщика забили «поход». Горнист, стоя на стене, поднял кверху трубу и проиграл сигнал «Внимание». Маячившие вдаль иранские дозорные зашевелились. На постах замелькали фигуры персидских офицеров, сбежавших с наблюдательного поста к дороге.

Из раскрытых крепостных ворот на вороном коне, сопровождаемый двумя казаками, выехал, сверкая на солнце кивером, золотыми эполетами и орденами, Ключе фон Ключенау. Встреченный за площадью офицером иранской армии и переводчиком, он сказал им, что едет от коменданта крепости в качестве парламентаря к наследному принцу Аббасу-Мирзе.

Со стен крепости солдаты, армяне и офицеры видели, как к майору присоединилось несколько конных иранцев и вся кавалькада не спеша исчезла в кривой улице, которая вела к Елизаветпольской дороге.

Толпы горожан, женщины на крышах домов, праздношатающиеся иранские солдаты молча смотрели на важно ехавшего русского майора.

Подъезжая к резиденции Аббаса-Мирзы, Ключе фон Ключенау заметил, что к шатру наследника спешат конные и пешие иранские солдаты. Невдалеке от шатра стояла группа высших сановников и офицеров



иранской армии, составлявших штаб и свиту принца. Они толпились саженьях в тридцати от высокого шелкового с цветными узорами шатра, ожидая, когда кого-нибудь из них потребует к себе наследник.

В стороне стоял духовой оркестр и полурота гвардии, охранявшая Аббаса-Мирзу. Невдалеке от них англичанин внимательно наблюдал за подъезжавшим к резиденции Ключенау.

Еще двое англичан в пробковых тропических племах и белых просторных костюмах прохаживались за шатром.

Не доезжая ста метров до шатра, майор остановил коня. Казаки соскочили и помогали ему сойти с седла.

Персидские солдаты молча смотрели на них. Англичане подошли, и один из них вежливо приподнял шлем.

– Доктор Олсон, – сказал он.

– Советник Майлз, – отрекомендовался другой.

– Майор Ключенау, – холодно ответил майор, прикладывая к киверу два пальца.

– Что угодно господину офицеру? – вежливо кланяясь, на хорошем русском языке спросил майора иранский офицер.

– Послом от коменданта крепости к его высочеству наследному принцу Аббасу-Мирзе, – раздельно отчеканил Ключенау.

– Прошу вас обождать, пока о вас доложат его высочеству! – сказал, отходя, офицер.

– Решили сдавать крепость? – спросил советник Майлз.

– А вы, милостивый государь, какую занимаете должность при дворе иранского наследника? – вместо ответа спросил Ключенау.

– Советник по делам артиллерии.

– Неважно стреляете, господин советник.

В эту минуту из шатра показался офицер.

– Его высочество просит вас к себе.

Забили барабаны, часовые взяли «на караул», оркестр заиграл марш, джанбазы<sup>1</sup>, перестроившись на ходу, стали шпалерами на пути к шатру.

Ключе фон Ключенау четким парадным шагом последовал за офицером, у входа тот передал его сановнику в расшитом золотом сюртуке.

Они вошли в первую половину огромного шатра, где находились иранские вельможи и шестеро личных телохранителей Аббаса-Мирзы. Полог, отделявший первую половину шатра, откинулся, и наследник престола, сидевший на высоком раззолоченном кресле, предстал перед майором.

Ключе фон Ключенау низко поклонился и затем, выпрямившись во весь рост, произнес:

– Майор российской армии Ключе фон Ключенау является по приказу коменданта Шупинской крепости полковника Реута к вашему высочеству!

---

<sup>1</sup> Гвардейцы.



Аббас-Мирза, красивый человек лет сорока восьми, в простой черной одежде, но с большими брильянтами на шюртуке вместо пуговиц, ласково и внимательно смотрел на него, чуть поглаживая свою роскошную, всю в завитках бороду, крашенную хной.

— Я слушаю вас, господин майор, — кивнул он.

Аббас-Мирза, на которого подействовала неудача штурма, был приветлив и предложил майору позавтракать с его генералами. Ключенау поблагодарил, но отказался от завтрака.

— Ваше высочество! Меня прислал к вам комендант полковник Реут. Во вчерашнем боевом деле нами захвачено около сорока ваших солдат и свыше семидесяти раненых сарбазов. Из чувства гуманности отдаем вам пленных и раненых, дабы они могли возвратиться к своим семьям.

— Это делает честь вашим добрым чувствам, и я с особенным удовольствием отмечаю это, — сказал Аббас-Мирза. — А как относительно крепости? Намерены вы ее сдать мне? Ведь наша маленькая неудача ничего не меняет в общем ходе войны. Вся Грузия занята мной, и вы только напрасно льете свою и чужую кровь.

— Мы, ваше высочество, такого же мнения. Как и прежде, просим — разрешите кому-либо из наших офицеров съездить в Тифлис к Ермолову за приказом сдать вам крепость. Без этого мы ее не сдадим и будем биться до смерти!

— Это излишне. Ваши войска повсюду бегут. Моя кавалерия уже поит своих лошадей водами Терека. Скоро мы возьмем Москву, и только там я заключу с вашим новым царем мирный договор.

— Тем более, ваше высочество, вам нет нужды заставлять нас оборонять Шущинскую крепость. Раз дела обстоят столь плачевно для России, то несомненно, что Ермолов разрешит нам сдать крепость без боя, и это сохранит и вам и нам тысячи жизней.

— Хорошо! — неожиданно согласился наследник. — Поезжайте сами. За вашу любезность с нашими ранеными и пленными я разрешаю ехать в Тифлис лично вам.

Спустя час майор Ключе фон Ключенау, снабженный ферманом Аббаса-Мирзы и пропуском до Тифлиса, возвратился в крепость.

Как только майор удалился, советник Майлз попросил аудиенции у валиагда.

— Ваше высочество, мне, офицеру дружественной вам нации, военному советнику вашей непобедимой армии, необходимо сказать вам несколько крайне важных слов.

— Говорите, сардар Майлз. Уши мои открыты для советов друзей Ирана. Майлз поклонился и тихо сказал:

— Русского офицера не надо отпускать в Тифлис. Ермолов никогда не разрешит сдать крепость, а перемирие, которое вы обещали русским, помогает им. Время работает на русских.



Аббас-Мирза, чуть сощурившись, смотрел на англичанина.

– Лишнее кровопролитие не нужно мне. Я вернулся в край, где люди ожидали меня много лет, и я не хочу проливать кровь моих подданных там, где можно обойтись без боя. Крепость русские сдадут.

Англичанин молча слушал его.

– Вы что-то хотите сказать еще, сардар Майлз? – лениво спросил наследник. Ему уже наскучил этот советник, приставленный к нему его отцом шахом Фетх-Али.

– Прошу не гневаться на вашего покорного слугу, ваше высочество, но эта проклятая крепость мешает плану ведения всей кампании. Осаду ее надо снять.

Аббас-Мирза поморщился, но все же поднял глаза на Майлза.

– К чему она? Вы, ваше высочество, только теряете здесь время. В Грузии у Ермолова сейчас мало войск. Подкрепления только еще идут. Русские пока еще не оправились от поражений на границе. Надо, ваше высочество, сейчас же всеми силами идти на Тифлис, приказав и его высочеству, вашему августейшему сыну принцу Мамеду-Мирзе, выйти из Елизаветполя и сардару эриванскому одновременно с вами ударить на Тифлис. Тогда победа будет полная, и кампанию вы блистательно выиграете!

– Она и так выиграна, мой уважаемый советник, а осаду бросить нельзя, люди подумают, что я слаб и не смог овладеть крепостью. Представляете, как это скажется на местном населении и на моих храбрых войсках?!

– Но разгром русских и занятие Тифлиса оправдают все!

– Все в свое время. Не надо торопиться. Аллах лучше нас знает, что надо делать. Пока крепость не падет, я не уйду отсюда!

– Но мы теряем драгоценное время. Умоляю вас, ваше высочество, прислушайтесь к моему совету.

– Я уже сказал, и так оно и будет. Что еще у вас, дорогой советник Майлз? – высокомерным тоном спросил Аббас-Мирза.

– Больше ничего, ваше высочество, – кланяясь Аббасу-Мирзе в пояс и в душе проклиная его, сказал англичанин.

– Идите, я доволен вашей службой и рвением, да пошлет на вас Аллах свое благоволение!

Аббас-Мирза закрыл глаза, давая понять англичанину, что он его утомил.

Пятясь и продолжая кланяться, Майлз вышел из шатра.

Утром следующего дня Клюге фон Клюгенау с двумя конными казаками, конвоируемый иранской почетной стражей, выехал в Тифлис.

Спустя три дня он возле грузинского села Пойлы встретил первые русские части и узнал, что Елизаветполь занят персами, что по всей границе идут бои, что Ермолов в Тифлисе и готовит ответный удар персиянам.



На следующее утро майор был уже на приеме у Ермолова. Ермолов выслушал доклад майора, прочел донесение Реута, расспросил Ключе и приказал ему остаться при штабе.

— Я полностью осведомлен о том, что делается в крепости. Посланный вами армянин Алтуньянц прибыл благополучно. Он не только доложил мне о крепости, но и привез точные сведения о силах этого мошенника Аббаса. Армянин этот — настоящий герой. Я наградил его Георгиевским крестом и пятьюстами рублями серебром. Вообще армяне поголовно везде ведут себя просто геройски. Он уже пошел обратно, и вам незачем возвращаться в Шушу. Я одобряю политику Реута, он поступает правильно, пусть еще и еще затягивает переговоры с персиянами.

## Глава 5

В начале июля 1826 года император Николай со всем двором приехал из Санкт-Петербурга в Москву, где в Кремле готовилась его коронация. Четыре митрополита, целый сонм белого и черного духовенства съехались в Первопрестольную на церемонию. Киев, Екатеринослав, Петербург, Варшава, Ростов, Вильно, Рига, Казань, Тифлис и ряд других городов прислали своих представителей в Москву. Католики и магометане, старообрядческие священники, представители различных национальностей, обществ и племен находились в Москве. Купечество, дворянство, мещане прислали на торжество своих делегатов. Москва была переполнена людьми. Войска, расквартированные в ней, и части, прибывшие на эти дни, расположились в близлежащих селах.

На площадях строили карусели, качели, балаганы. Бродячие цирки, фокусники, цыгане, гадалщики и много прочего подобного люда нахлынуло в Москву.

И вот в эти-то дни, когда никто и не помышлял о войне, из Тифлиса прибыл курьер с донесением о том, что персидская армия перешла границу и с боем вторглась в Закавказье. И царь, и Дибич, и Нессельроде и все, кто окружал императора и готовился к наградам, ожидавшим их в дни коронации, растерялись. Войны не ждали, не хотели, готовы к ней не были, и нужно было найти виновника, вызвавшего эту так несвоевременно разразившуюся войну.

И его нашли. Ермолов — вот виновник всех неудач.

— Алексей Петрович, я не буду гусаром и честным офицером, если этот мошенник Аббас не пожалеет о дерзости, которую он затеял противу нас! — входя к Ермолову, сказал Мадатов. Князь только что сошел с перекладной линейки, на которую пересел во Мцхете.



– Как твоё здоровье, Валерьян? – оглядывая Мадатова, спросил Ермолов. – Как ноги?

– Никак! Недолечился, да и до того ли было. Нет, каков подлец этот Аббаса, – без всякого почтения к наследнику престола сказал Мадатов. – Он ещё пожалеет о содеянном. Вы, Алексей Петрович, не хмурьтесь, хотя мы и малы числом, но мы – русские!

– Да разве я его боюсь, – перебил Мадатова Ермолов. – Не его, друг мой, страшусь, а своих, – он выразительно посмотрел на Мадатова, – русских немцев вроде Нессельроде, Палена с Бенкендорфом, – он что-то хотел добавить, но насупился и только выразительно махнул рукой.

– Его Величество? – тихо спросил Мадатов.

– Оно самое. Вон, прислал с сегодняшней почтой курьера. Паскевич с Денисом сюда едут. Иван Федорович будет войсками командовать, а я, – Ермолов сощурился, – главноначальствовать краем. Читай!

Мадатов взял личное письмо Николая к Ермолову и быстро пробежал его глазами. Остановившись на одной из наиболее важных строк, он выразительно прочел:

– «Я посылаю к вам двух известных вам генералов: генерал-адъютанта Паскевича и генерал-майора Дениса Давыдова. Первый пользуется всею моею доверенностью, он лично объяснит вам все, что по краткости времени не мог я вам письменно приказать. Желаю, чтобы он с вашего разрешения сообщал мне все, что от вас поручено будет давать знать, что и прошу делать как наичаще... Помощником и заместителем вашим на случай болезни или отъезда по разным делам приказываю назначать не начальника штаба генерала Вельяминова 1-го, а генерал-адъютанта Паскевича».

– Да, именно так, дорогой Валерьян. Спустя неделю он будет в Тифлисе и станет твоим прямым начальником. Как ты думаешь об этом?

– Считаю, что еще до его приезда мне надо выбыть отсюда к Гандже или Карабаху. Оглядеться самому, без указаний от ничего не ведающего в здешних делах Паскевича, а буде это возможно, то и учинить баталию персам без высокого вмешательства генерала!

– Умная у тебя голова, Валерьян. Надо, чтобы успех, который сейчас мы готовим, был хотя бы в малом начат без него. Иначе и государь, и Дибич, и тем паче этот урод и негодяй Нессельроде припишут его Паскевичу.

– А ведь трудно будет нам, Алексей Петрович, воевать на два фронта. И противу Аббаса, и противу...

– Петербурга, – перебил его Ермолов.

Мадатов засмеялся.

– А третий, самый коварный и нечестный враг, будет рядом с нами. И противу его оружия, доносов, клеветы, подлой зависти, придворных интриг и кляуз у нас с тобой, Валерьян, нет и не будет оружия. И я, и тез-



ка, как только окончим с победой эту войну, уйдем в отставку, – сказал Ермолов.

– И я, Алексей Петрович! Неужели вы думаете, что я останусь, если вы уйдете! Нет, вы мой отец-командир, и без вас мне здесь нечего делать!

Ермолов внимательно посмотрел на него.

– Я знаю, ты честный солдат и верный друг, но помни, что кроме Ермолова есть еще и Россия, которая нуждается в тебе. Подумай сам, что будет с Карабахом, если вместо тебя назначат туда другого правителя? Нахлынут жулики и прохвосты вроде Корганова и Чекалова... Не забудь о твоём народе, армянах. В тебе они видят свою опору. Подумай обо всем и отбрось мысль об отставке.

– Ну, а если прогонят? – вдруг рассмеялся Мадатов.

– Ну, тогда уходи на пенсию да дави вино в своих виноградниках.

Мадатов провел в штабе весь вечер, ночью посетил князя Эристову, а от него, когда весь Тифлис спал, направился в казармы Ширванского полка и заночевал у офицеров 3-го батальона.

Утром он вызвал к себе поручика Небольсина. Когда Небольсин вошел к Мадатову, князь уже послал конных ординарцев в распоряжение Донского казачьего полка и в район Чугурет, где ночевали конные сотни грузинского ополчения.

– Здравствуйте, поручик! Алексей Петрович просил меня взять вашу роту в поход. Вы знаете об этом?

– Так точно, ваше сиятельство. Наш батальон счастлив идти под вашим водительством в бой.

Мадатов искоса глянул на Небольсина. Лицо поручика было спокойно. Чуть печальные глаза смотрели прямо и честно.

– Верю вам. Сам не льстец и не люблю лести, но вам верю. Мне кое-что говорил о вас Алексей Петрович. Итак, пойдем в поход вместе. А там, – Мадатов засмеялся, – там накормим персов хорошим дандури. Вы поручик, знаете, что такое дандури? – вдруг спросил он.

– Никак нет, ваше сиятельство, – ответил удивленно Небольсин.

– Ну, тогда едем со мной. Тут вот рядом духан один есть, держит его старый жулик Шакро. Вор, обдирала, зато кормит хорошо, вина старого много и в долг отпускает. Идемте, – беря за локоть поручика, весело сказал Мадатов.

На улице их ждали Арчил Орбелиани, князь Зураб Андроников и драгунский капитан Меликов. Они, шумно и весело беседуя, отправились в подвал.

Духанщик Шакро сам обслуживал почетных гостей. С Мадатовым и другими завсегдатаями его духана он держался с почтительной фамильярностью.

– Ну, старый жулик, чем кормить будешь? – спросил генерал.





– Ва, батоно, зачем кислый слово говоришь? Шиплики есть, подхали есть, сациви, чихиртма, хаши, пити, харчо – рацгинда<sup>1</sup>, батоно, все есть.

– Джонджоли давай да дандури и черемшу не забудь, а пока давай хаши да шашлык с помидором да бадрижаном на шампуре тащи. Аба чкара!<sup>2</sup> – скомандовал Мадатов, и вся компания занялась едой и добрым цинандалским вином.

Через час Мадатов взглянул на часы.

– Пора, Александр-джан. Едем в казармы, и вы, господа, готовьтесь!

– Батоно-князь, – наклонившись к нему, шепотом спросил Шакро. – Как дела будут? – У него было испуганное лицо.

– Дела – алчу будут, Шакро. Запиши все на мой счет, через неделю заплачу тебе персидским золотом, – хлопая духанчика по толстому пузу, пообещал Мадатов.

– Ва, генацвале, сладкие слова говоришь, гмертмани<sup>3</sup>, – просиял улыбкой духанщик.

Шакро проводил гостей к выходу.

На заре отряд под командой Мадатова, состоявший из пяти рот ширванцев, полка донских казаков, шести орудий и тысячи пятисот отлично вооруженных грузинских всадников, выступил из Тифлиса в сторону села Пойлы, где на берегу Куры должен был соединиться с находившимися там отступившими из Елизаветполя разрозненными русскими войсками.

Иранская артиллерия молчала, молчали и русские. Обе стороны ожидали возвращения из Тифлиса майора Ключенау.

В ночь на 22 августа под южной стеной крепости послышался тихий свист. Армяне-добровольцы уже третью ночь ожидали возвращения посланного к Ермолову Алтуньянца. Свист повторился, послышался голос.

– Он вернулся!.. – взволнованно заговорили ожидавшие его возвращения армяне, дежурившие на стене. Была спущена веревочная лестница, и через десять минут усталого, измученного, еле стоявшего от изнеможения, но счастливого Алтуньянца втянули на стену крепости. Его долго обнимали сородичи, засыпали вопросами, но Алтуньянец молчал. Было видно, что он еще и сам не верил своему благополучному возвращению в крепость.

Разбудили Реута. Полуодетый, он стремительно поднялся наверх.

– Вернулся... а мы тебя, дорогой, уже похоронили, – обнимая Алтуньянца, сказал он.

– Живой, ага-полковник, и в Тифлисе все живы. Письмо тебе от сардара... Очень он доволен тобой и нами. На, возьми. – Армянин вытащил из-за пазухи смятый конверт.

<sup>1</sup> Что хотите.

<sup>2</sup> Живее, скорее.

<sup>3</sup> Ей-богу.



«Вы знаете, полковник, мою руку и поэтому по почерку убедитесь в том, что пишу вам сам. Держитесь до того, как мы освободим вас. О сдаче крепости и не помышляйте. Не верьте ни одному слову Аббаса. Этот мошенник хочет обмануть вас. Дела наши в Закавказье улучшаются, турки не помышляют о войне. Дагестан и Чечня спокойны, и мы скоро побьем персов и освободим вас. Для оттяжки времени ведите разговоры с Аббасом. Только исполнением воинского долга, геройством и обороной крепости вы сможете искупить подлую трусость Назимки, погубившего свой батальон.

Помощь к вам придет, и вам при содействии храбрых армян Шуши нетрудно будет дожидаться оной. Солдатам, товарищам моим по труду и походам – мое спасибо! Господам офицерам напомните, что от их мужества зависит сейчас судьба Грузии. Чем дольше продержите вы Аббаса с его ордой под стенами Шуши, тем верней мы приуготовим им гибель.

Ермолов».

Алтунянц рассказал о том, что в Тифлисе собираются войска, что паника, которая поначалу охватила край, утихла. Но самое главное он приберег на конец.

– Князь Мадатов приехал. Командует отрядом, который идет на Ганджу. Скоро будет здесь, и тогда персы убегут из Карабаха, – гордо произнес Алтунянц.

– Мадатов вернулся... Он в Тифлисе? – с радостной улыбкой спросил Реут.

Весть о том, что Мадатов вернулся, всколыхнула крепость. Особенно радовались этому армяне.

– Ну, теперь с Алексей Петровичем да князем крепость не сдадим! – говорили солдаты.

Утром 30 августа все батареи Аббаса-Мирзы обрушили свой огонь на крепость. Из крепости открыли ответный огонь. Одна бомба попала в пороховой склад персов. Один за другим два взрыва потрясли воздух и заволокли дымом гору, с которой стреляли персы. Это неожиданное событие приостановило бомбардировку, а иранские батареи были отведены назад и только 2 сентября стали снова обстреливать крепость.

Отряд Мадатова по мере его продвижения к Пойлу разрастался, присоединяя к себе отдельные роты, казачьи сотни и стоявшие по постам орудия. Когда он подошел к реке Тауз, он состоял уже из четырех сотен донцов, восьми рот пехоты, грузинской конницы и татарской милиции. Теперь это был значительный отряд, он имел четыре орудия и не без успеха мог сразиться с врагом.

– Ну, ребята, здравствуйте! Соскучился я по вам, а вы как? – спросил он солдат-гренадеров Грузинского полка.



– Дюже соскучились и мы, ваше сиятельство, – весело ответили солдаты.

– Как вас кормят? Сыты ли?

– Когда как, когда сыты, а когда и сухарей нет, – ответили ему.

– Ну, ничего, сейчас ложитесь спать, утром позавтракаем, а в обед – на перса. Ударим так, как били при Котляревском да Корягине. Не забыли еще?

– Помним, ваше сиятельство! Как такое забыть! Нам только вас и не хватало.

– Ну, раз я здесь и вы со мной, значит, все в порядке! Ложитесь спать, набирайтесь сил.

За палаткой послышались голоса.

– Кого бог несет? – спросил Мадатов.

– Беки к вашему сиятельству, – ответил адъютант.

– Зови!

Небольсин перенес взгляд на входивших. Соблюдая старшинство, беки пропустили вперед хана шихлинского, еще не старого человека с одним глазом. Широкий шрам от сабельного удара пересекал его лицо.

За ханом вошли братья Ахундовы, русофилы, отлично говорившие по-русски и не раз бывавшие и в Петербурге, и в Москве, капитан русской службы Сафар Алиханов. Двое молодых беков, карабахцев, Кули-заде и Атаулла, поклонившись поднявшемуся с места Мадатову, скромно встали позади братьев Ахундовых.

Последним вошел борчалинский хан, влиятельный и храбрый Халил. На его плечах были золотые русские полковничьи эполеты, а через грудь шла красная Анненская лента.

Гости поздоровались. Мадатов пожал каждому из них руку.

– Отур, елдашлар<sup>1</sup>, – по-тюркски сказал он.

Князь знал не только тюркский, грузинский, армянский и фарсидский языки, но отлично говорил и на местных диалектах. Гости сели.

– С чем пришли, друзья? – поглаживая пышные подусники, спросил Мадатов.

– Воевать вместе будем. Привели человек семьсот всадников, – коротко ответил Халил-бек.

– И сыновей наших привели тоже. Пусть дерутся рядом с отцами, – негромко сказал старший Ахундов.

Небольсина охватило волнение. Ему, не знавшему ни жизни, ни истории края, ни внутренних условий и быта народа, казалось, будто все здешние жители с ликованием встретили персиян.

Как бы угадывая его мысли, Ахундов продолжал:

– Мы не изменники – шамшадильцы. Мы любим Россию, мы ее подданные. Завтра, князь, мы нашей кровью и оружием подтвердим это.

<sup>1</sup> Садитесь, друзья.



Капитан Алиханов, хорошо понимавший по-русски, возбужденно сказал:

– Смерть и кизилбашам, и тем шамшадильцам, кто лижет их толстые зады. Завтра, князь, мы в бою покажем, что недаром носим чоху мужчин и острые шемахинские кинжалы.

Остальные молчали, но их горящие глаза и сурово сжатые губы были красноречивее всяких воинственных слов.

– Ах, молодцы други! – с пылом юноши воскликнул Мадатов. – Обещаю вам, храбрецам, послать вас в самое опасное место боя. Грузинская конница вместе с русскими казаками и татарской милицией будет знатно рубить кизилбашей.

– Спасибо! – поклонился борчалинский хан. – Люди и у нас, как и повсюду, разные. Есть и такие, которые рады приходу персиян, но у нас – одно слово, – он обвел глазами пришедших с ним людей, – или победить с вами, или с вами и погибнуть!

Мадатов обнял хана и весело сказал:

– Погибнут они, а я еще погуляю, Халил-бек, на свадьбе твоего сына Зораба. – И он показал на зардевшегося от смущения юношу, стоявшего у порога палатки.

Небольсин шел впереди, за ним тяжело и шумно шагали солдаты. Солнце уже поднялось, когда рота Небольсина подошла к горе, на которой закрепилась трехтысячная персидская конница и сотни грузинских телохранителей беглого царевича Александра. Стрельбы не было. Обе стороны молчали.

Небольсин остановил роту, подтянул отставших солдат и стал ждать приказаний из штаба.

Мадатов выехал вперед. Его блестящие эполеты, эффектный гусарский мундир и расшитая золотом грудь ярко горели под солнцем.

С горы, занятой неприятелем, узнали его, и понеслась непечатная ругань.

Вражеские воины старались перекричать друг друга, видя, как на кровном карабахском жеребце медленно едет вдоль дороги Мадатов. За ним шла конная сотня грузин и донцов, на пиках которых трепетали флажки и отсвечивало солнце.

– Э-эй, грузины, не стреляйте и не воюйте с нами, – донеслось с горы, – с нами ваш грузинский царевич, наш храбрый Александр. Он наш и ваш царевич, мы братья, мы же грузины, и пусть не поднимется рука друг на друга. Переходите к нам, и да здравствует Грузия!

– Не воюйте за русских, не губите себя и Грузию. Персидские войска сильны, их много. Они обещают грузинам мир. Переходите к нам! – кричали с горы грузинские беглецы, и голоса их долетали до Мадатова, генерала Эристова, капитана Андроникова и всех грузинских всадни-



ков, которые стояли возле русских батальонов и слушали призывы царевича.

– Грузины, вы слышите, что кричат вам изменники, продавшие свой народ? Вы знаете, куда зовет вас беглый царевич? Что вы скажете на это? – поворачивая коня к молча стоявшим грузинам, спросил Мадатов.

– Мы слышали и сейчас дадим ему ответ, – весь дрожа от негодования, сказал генерал Вано Эристов. – Братья, – повернулся он к грузинам, – настала минута показать врагу, что грузины навеки с Россией и что изменникам родины нет места на земле. Ваша!<sup>1</sup> – выдергивая из ножен пашку, звонко закричал он.

– Ваша! – разнеслось вокруг, и сотни клинков блеснули в воздухе.

– А тогда, друзья, в атаку, крушите негодяев! – крикнул Мадатов.

Три сотни грузин под командой Зураба Андроникова и Орбелиани га-лопом понеслись в обхват горы справа, другие сотни с Эристовым во главе скакали слева.

– Солдаты, в штыки! – махнул саблей Мадатов и повернулся к артиллеристам. Те дали орудийный залп по горе, гранаты стали рваться среди персов. Небольсин быстрым шагом повел роту.

– Вашбродь, – крикнул ему шедший сбоку Санька, – не спешите дюже, солдатам тяжело в гору, – хотя сам обогнал поручика, стараясь прикрыть его собой.

Ядра шипели и лопались на горе, а с нее в панике уже бежали и персы, и грузинские изменники вместе с Александром.

Армяне, жители окрестных сел, сидевшие в кустах и камнях, неожиданно ударили в тыл бежавшим, и весь трехтысячный отряд Зураб-хана, бросив раненых и обоз, обратился в бегство.

Мадатов, сидя на коне, неудержимо хохотал, видя, как казаки и грузинская конница гнали, кололи и рубили врага.

Небольсин одним из первых достиг вершины горы, но тут, кроме десятка убитых и нескольких раненых, никого уже не было.

– Морча, кончился Александр, – сказал Мадатов, когда вернулись разгоряченные боем и погоней грузинские всадники. – Спасибо вам, дорогие храбрецы. Я сегодня же напишу главнокомандующему, как доблестно сражались вы с кизилбашами и изменником царевичем.

Когда отряд вернулся в лагерь, к Мадатову подъехал только что прибывший от Ермолова курьер с письмом.

«Дорогой князь, по сведениям, полученным от лазутчиков, беглый царевич Александр с персами и кучкой грузинских изменников находится где-то в Шамхорских горах возле тебя. Остерегайся этого негодяя, он подл и хитер и может причинить тебе немало неприятностей».

«Беглый царевич Александр больше не существует. Он разбит и бежал обратно в Эривань. Грузинская конница дралась героически и первой вре-

<sup>1</sup> Ура!



залась в скопище Александра и Зураб-хана. Пью за здоровье храбрых грузин!» – вместо донесения написал Мадатов и с этим же курьером отослал свое письмо Ермолову.

Это была первая хотя и небольшая, но настоящая победа, и в Тифлисе отпраздновали ее.

Возмутившиеся было при появлении персиян окрестные мусульманские села немедленно прислали к Мадатову своих старшин и беков с изъявлением покорности. Они же пригнали баранов, привезли муку, яйца, масло в дар победителям, и оголодавшие за эти дни солдаты при свете костров до отвала поели.

– Верно сказал вчера наш Мадат, побей, говорит, персюка да и бери у него чего хочешь... Умная голова! Удалой генерал, ермоловской масти! – шутили солдаты, уставшие от еды.

А костры в лагере все горели, все веселей пели казаки и солдаты, и под зурну и дооли лихо плясали хорошо поработавшие сегодня грузины.

И только часовые да выдвинутые вперед посты напряженно всматривались в темноту.

## Глава 6

В аул Гимры съезжались делегаты из Согратля, Гуниба, Андрей-аула, Унцукуля, Ауха, Тарков и Ведено. Прибыл и известный своей ученостью и мужеством один из наиболее близких к Гази-Магомеду сподвижников его Гамзат из Гочатля. В Дагестане уже знали о вторжении персидских войск, знали и о русских неудачах на границе. Из Кубы в Казикумух прибыл хан Сурхай, и горские общины волновались, не зная, что предпринять. Аварская ханша, таркинский шамхал Мехти-хан, кумыкский Нажмутдин и дербентский правитель Саид отказались принять как самого Сурхая, так и его посланцев, но из осторожности, на всякий случай, послали и к русским на линию, и к персиянам в Шушу своих уполномоченных для наблюдения за ходом войны.

– Ты – один из самых влиятельных людей. Все с надеждой смотрят на тебя, имам. Скажи народу, что ему делать? Ударить на русских, пользуясь этой войной, или выжидать событий?

– Эта война чужая для нас. Я уже говорил об этом. И одни и другие – наши враги. Пусть они режут друг друга. Дагестану не надо вмешиваться в их дела.

– А что делать нам? Молодежь бунтует, ей не терпится. Кое-где собираются группы, чтобы ударить по казачьим станицам. Горячие головы считают, что сейчас самое время прогнать русских за Терек и сжечь все их крепости в Дагестане.



– Они молоды и потому горячи. Охладите их. У нас еще есть дела в горах. Время войны пока не пришло.

– Что же делать нам? – спросил Али-бек лакский.

– Снимайте жатву, запасайтесь солью, порохом, свинцом. Укрепляйте боевые башни. Там, где есть стены, укрепляйте и их, не жалейте камня и труда. Пусть все, кто может, даже женщины и дети, строят их. Мосты пришли в ветхость, чините их. Скоро они во славу Божию понадобятся нам.

– Когда же, праведник, мы пойдем на свиноедov? – нетерпеливо спросил чеченский делегат.

– Не торопитесь. Война – это пашня, воевать надо тогда, когда настанет необходимость, жать надо, когда созреет хлеб.

– Но сейчас самое удобное время, русские заняты с персами.

– Сейчас рано. Освобождайте душу от греха. Разве везде молитва овладела сердцами людей? Разве вино и блуд совершенно исчезли у нас? Разве шарият проник во все аулы? Табак, чаба и блуд еще владеют вашими умами. Очищайтесь от этого и искореняйте у других! В этой войне иранцы не победят, и их успехи – это укусы комара для русских. Русские всегда били персов, побьют они их и теперь. Пусть обе армии дерутся в землях Гюрджистана и Карабаха, но когда русские побьют иранцев и погонят их за границу, они пойдут за ними дальше. И война, и войска будут далеко от Кавказа, часть полков они уведут и отсюда. К тому времени мы будем готовы, аулы укреплены, порох и свинец запасен, хлеб снят и соль закуплена, а самое главное – горы будут очищены от греха и предателей. Шарият воссияет над нами, и тогда настанет время войны.

– Трудно убедить людей, хотя ты и прав, имам, но как поверят они в то, что время войны хорошо не сейчас, а после.

– А так. Скажите всем в горах и на равнине, что самый опасный для нас враг – сардар Ярмол – уходит отсюда. Скоро его не будет на Кавказе, а с ним уйдут и его генералы. Новые люди придут сюда из России.

– А верно ли это? Про Ярмола мы слышали это не раз, а он все остается! – нерешительно спросил кумыкский представитель.

– Об этом говорят и в Шуше, и в Тифлисе, – сказал Гази-Магомед.

– И казаки по станицам, и солдаты – все говорят, что на его место едет новый. И лезгины, торгующие с грузинами, сообщают о том же, – сказал Шамиль.

– А новый начальник привезет с собой новых генералов, которые не знают ни Кавказа, ни нас. Когда на место старой хозяйки приходит в дом новая, все начинается по-иному, – засмеялся чеченец Байтутан.

– Старые, вроде Краббе или Розена, чтоб шайтан унес их души джехеннем, уйдут, а они здесь давно и кое-чему научились, новые не скоро разберутся в делах, – сказал Гази-Магомед. – А старых они не спросят.



Каждый новый начальник будет считать себя умнее и опытнее прежнего. Вы понимаете, братья, почему нам надо укреплять наши горы и выжидать?

– Аллах поможет нам! Это рука Божья! – ответили ему голоса.

– Русский падишах оказывает нам самую главную помощь. Ярмол, хитрость и опытность которого велики, уходит. Без него русские долго не сумеют оправиться.

Гости разъехались.

– Гази-Магомед не благословляет войну! Пусть русские и иранцы сами ведут ее! – разнесли гонцы по аулам.

Люди успокоились, но старшины, назначенные Гази-Магомедом, и его юриды уже принялись выполнять его приказы.

Дагестан готовился к войне.

– Имам, почему ты молчишь с самого утра? Ты не ел, не пил воды и, начиная от утреннего намаза, не говоришь ни слова? – спросил Шамиль, подходя к задумчиво сидевшему над потоком Гази-Магомеду.

– Я видел сон, уже в третий раз я вижу одно и то же, Шамиль! – продолжая смотреть на воду, сказал Гази-Магомед. – Наши горы затянуты дымом, огонь поднимается над ними. Ветер колеблет пламя – это означает войну, Шамиль. Скоро здесь будет война... а над горами – зеленое знамя пророка. Это газават.

– Что ж, имам, мы только ждем твоего слова. Слышал, что говорили посланцы народа?

– Не спеши, брат мой. Яблоки снимают созревшими, иначе кислота убьет их вкус. Газават во имя Аллаха мы начнем тогда, когда русские войска уйдут за персидскую границу. Ярмол будет далеко от наших гор, а народы Дагестана объединит шариат. Но я думаю не об этом, нет, Шамиль! Я знаю, что газават охватит весь Кавказ от Гуниба и до Адыге и Ира. Я думаю о другом.

– О чем же, имам?

– В войне с неверными я буду убит.

Шамиль сделал движение и поднял руку, но Гази-Магомед остановил его.

– Да, Шамиль, я это знаю. Три раза подряд вижу один и тот же сон. – Он вытянул руку над бурно бежавшей рекой. – Мы стоим с тобой над Койсу. Река бурлит, бьет пеной и брызгами взлетает над камнями. Мы стоим на берегу с тобой, Шамиль. Я бросаю палку в поток, он стремительно уносит ее вниз, ты бросаешь свою, и волна выбрасывает ее на берег.

– Но, имам, это же сон, случайность...

– Нет, Шамиль. Этот сон я вижу в третий раз – и все одно и то же. Мою палку Койсу уносит вдаль, твою поток выбрасывает на берег. Ты будешь жить и ты будешь имамом.





– Но я же молод, и народ не доверит мне такого великого дела! Есть более достойные. Гоцатлинский Гамзат. Он умен...

– Но ты и умней и спокойнее его, Шамиль, – прервал Гази-Магомед, – и умру я не скоро. Блеск наших шапек еще долго будет ослеплять глаза русских, но я умру, и тогда тебе, Шамиль, надо стать имамом. Готовься к этому.

– Мне тяжело слышать от тебя это, Гази-Магомед, – сказал Шамиль.

– И все-таки это правда. Вспомни, как во сне Аллах говорил с пророком. Разве он не открывал ему будущее в вещих снах? Мужайся, сын отваги, все мы смертны!

Шамиль снял папаху, тяжело вздохнул и, омочив ладонь в воде, провел ею по голове.

Гази-Магомед с доброй усмешкой смотрел на него.

– Шамиль, мы с тобой дети Дагестана, и отвага родилась с нами. Нам ли бояться смерти во имя Аллаха! Садись рядом и слушай.

Шамиль сел на камень. Аул в стороне жил своей обычной жизнью. Дымок вился над ним, солнце сияло над горами, стада овец и коз рассыпались по утесам. Койсу ревел и бесновался у ног сидевших, и холодные сверкающие брызги долетали до их лиц.

– Шамиль, ты будешь имамом, а значит, и властителем Дагестана. Сейчас народ верит нам. Мы уничтожаем разврат и лень, обещаем новую жизнь тем, кто идет за нами. Если бы мы призвали народ к газавату только во имя пророка, за нами пошли бы немногие. Но уже сейчас я вижу, как трудно быть имамом, от которого люди, как от всемогущего Бога, ждут решения всех вопросов жизни. Тебе, Шамиль, будет еще труднее.

– Почему, учитель?

– Уже теперь мюриды и шихи, которые идут с нами, начинают считать себя начальниками над народом. Посмотри на старшин, которых назначили мы по аулам. Некоторые из них задрали носы и уже не считаются с людьми. В Дженгутае я выгнал мюрида, который всего три месяца назад был лучшим среди других. Власть испортила его, Шамиль, и он стал вести себя еще хуже, чем старшина Булач, бывший до него. И это сейчас, когда мы только-только начинаем наше дело!

– Понимаю, имам. Не тревожь себя мыслями. Я, если позволит Аллах, буду иным.

– Не обещай. Жизнь сильнее нас, и ты, если забудешь народ и эту беседу, станешь для всех хуже ханов и тяжелей, чем русские генералы.

– Ты обижаешь меня!

– В нашей беседе участвует Аллах, и только один он может обидеть нас, Шамиль! – тихо и грустно сказал Гази-Магомед. – Ты не обижайся, ты лучший, самый умный и честный среди остальных. Подумай и пойми, что с тобой говорит не ничтожный и маленький житель Гимр Гази-Ма-



гомед, а имам, который и после своей земной жизни оттуда, — он поднял вверх руку, — из обиталищ Аллаха, с тревогой и болью будет наблюдать за делом, которое начал я и которое продолжишь ты, Шамиль!

Лицо Гази-Магомеда было бледным, глаза горели фанатическим, трепетным огнем.

Шамиль поднялся.

— Имам, земные страсти и гордыня не овладеют мной!

Гази-Магомед, казалось, не слышал его. Он смотрел вдаль немигающими, полными веры глазами, губы его шептали молитву.

Шамиль растроганно смотрел на имама. Совершив омовение, они долго молились над потоком, который шумно и однообразно бил по камням, низвергаясь в долину.

## Глава 7

Утром из армянского селения Чардахлу к Мадатову пришли старшина Лалаянц и начальник самообороны деревни Смбат Баграмян. Они были вооружены, смотрели смело и держались свободно и непринужденно. Они сообщили, что невдалеке за Дигамом находится десятитысячный отряд сына Аббаса-Мирзы царевича Мамеда.

— Наверное, будет сражение. Вас, ага-генерал, немного, но одно только наше селение может выставить двести крепких бойцов, а ведь вокруг еще армянские села. Прикажи, и мы вместе с вами пойдем на кизилбашей!

— Спасибо, братья, вы нам будете очень нужны, но не в момент боя, а когда мы разобьем персов, вот тогда вы догоняйте кизилбашей и уничтожайте их.

Русский лагерь начал сниматься с места.

Конная сотня грузин на галопе влетела в Дигам. Он был пуст. За селом чернели группы отошедших к горе персов. Дав залп с коней, грузины остановились.

Сзади подходил отряд. Пыль обволокла дорогу, блестели штыки солдат, колыхались пики казаков.

Солдаты развели огонь, запахло жареным мясом. Кони были напоены и накормлены ячменем, брошенным ускакавшей иранской кавалерией. Солдаты и казаки поочередно купались в реке Шамхор. Грузинские дозоры и казачьи разъезды прошли верст на восемь вперед, но персов не было; одни лишь конные дозоры маячили на горизонте.

Вечером из Тифлиса прибыл курьер. Обеспокоенный малочисленностью мадатовского отряда и зная пылкий характер князя, Ермолов писал: «Остерегайся, почтенный князь, вступать в дело с главными силами



персов. По сведениям, полученным от лазутчиков, большой персидский отряд под командованием Мамеда-Мирзы и под личным руководством сардара Амир-хана надвигается на тебя. У них предовольно артиллерии, сарбазов и конницы. Командует ими генерал Амир-хан, как я извещен, наиболее способный и дельный из всех персидских командиров. Помни, что и сам Суворов иногда предпочитал отступления, называя их «прогулкой». Прогуляйся и ты, если натолкнешься на весьма большие силы врага. Стыда в оном нет, а польза делу будет».

Мадатов засмеялся и написал приказ по отряду:

«Завтра, славные кавказские орлы, мы нападём на персов. Генерал Ермолов уже поздравляет нас с победой. Не подведем его. Исполним свой долг и штыками запишем этот день в историю Кавказа!»

Утром русский отряд вышел из Дигама и подошел к переправе через Шамхор. Здесь уже стояла трехтысячная иранская конница, поджидая русских.

Грузины, казаки и татарская милиция с ходу атаковали персов. Князь Эристов врубился в гущу врагов, а две сотни карталинской конницы, сбив левый фланг иранцев, загнали их за реку. Донцы ударом в пики рассеяли правый фланг персов, и вся трехтысячная масса противника обратилась в бегство.

Пехота русских с артиллерией только подходила к реке, когда персы бежали с поля боя. Но это был лишь первый момент сражения. За горой Бахчи-Даг ударили барабаны, завывли рожки, поднялась густая пыль, и десяти тысячная армия Мамеда-Мирзы под равномерный грохот барабанов показалась в долине. С горы спускалась кавалерия, отряд верблюжьей артиллерии зембуреков<sup>1</sup> и несколько пушек двигались по дороге. Не дойдя полуверсты до реки, армия Мамеда-Мирзы развернулась вправо и влево, фланги образованного этим маневром полумесяца придвинулись к реке. Дорога и переправа оказались под ударом обоих крыльев иранской дуги. Посреди была пушка, по флангам – фальконеты; шахская гвардия и шесть батальонов отборной пехоты сарбазов образовали центр.

– Видно, действительно этот сардар Амир-хан один из лучших военачальников Персии, – глядя на быстро и умело разворачивавшиеся батальоны, сказал Мадатов.

– Недаром Аббас-Мирза послал его в помощь своему сыну. И идут хорошо, и маневр делают отлично, – заметил командир Ширванского полка Абхазов.

– А что, Александр-джан, пошел бы в штыки на их гвардию? – указывая на джанбазов, спросил Мадатов.

– Если нужно, пошел бы. А маневр они действительно делают умело, – похвалил Небольсин.

<sup>1</sup> Фальконетов.



– Ну, друзья, а теперь давайте покажем им наш маневр. Все по местам! – крикнул Мадатов. – Кавалерия, вперед, пехота, в атаку! Без выстрела, только штыком бейте перса! Батареи, огоны!

Мадатов тронул коня и медленно поехал вперед. Забили русские барабаны; пеня воду, рванулась вперед конница. Обгоняя друг друга, сверкая обнаженными клинками, понеслись грузины, милиция и донцы. Удар был столь стремителен, что левый фланг иранской дуги дрогнул. Началась рубка. Стена на стену, лава на лаву неслись и рубились конники. Русская артиллерия открыла беглый огонь по центру и резервам иранской армии.

Непрерывно и сильно били иранские орудия и фальконеты. Русская пехота под их огнем по пояс в воде, подняв ружья над головой, переходила реку.

Солдаты с ходу ударили в штыки. Мадатов выхватил из ножен саблю и с криком «ура» поскакал. Русские роты врезались в гущу иранской пехоты, смяли спешившие ей на помощь резервы. Первой не выдержала конница персов. Под натиском грузин и донцов она показала тыл и понеслась вспять. Ее обезумевшие от страха всадники налетели на собственные резервы и подавили их. Грузины рубили, казаки кололи, резервные татарские и армянские сотни, дождавшиеся своего часа, ударили по бегущим персиянам.

Разгром был полный. Царевич Мамед-Мирза, бросив свои войска, первым ускакал с поля боя, сардар Амир-хан был убит пикой донца, батальон изрублен и переколот начисто. Одно английское орудие и восемь фальконетов были захвачены в бою, весь лагерь царевича и даже его гарем были взяты русскими.

Сидевшие в камнях и кустах и выжидавшие результатов боя жители окрестных мусульманских сел, видя разгром персиян и теперь уже зная, к кому примкнуть, стали добивать разбегавшихся куда попало иранцев. Еще два лагеря были захвачены при преследовании. Высокая шамхорская башня, сотни лет стоявшая как памятник былого величия Ирана, теперь стала свидетелем разгрома десятитысячной персидской армии.

– Хорошо воевал, Александр-джан! – сказал Мадатов. – Твоя рота штыками положила немало врагов.

– Ваше сиятельство, как вы могли видеть действия моей роты? Ведь все дрались отлично, и конница, и пехота! – удивился поручик.

– Командир должен видеть все! И Эристов и Вачнадзе, и Власов – все дрались великолепно. Но и твоя рота бешено атаковала центр. Сколько взял зембуреков?

– Три фальконета и гвардейское знамя, ваше сиятельство!

– Кто овладел знаменем?



– Младший унтер-офицер Елохин. Он заколол знаменщика и двух джанбазов, защищавших знамя!

– Знаю его, – усмехнулся Мадатов, – Мне про него Алексей Петрович рассказывал. Старый солдат, кутузовской школы. Представь его к третьему Георгию и производству в старшие унтеры. А теперь, генацвале, собирайся. В Тифлис к генералу поедешь.

– Алексею Петровичу?

– К нему! Да что ты удивляешься? С донесением о сражении всегда посылают наиболее отличившихся офицеров. Ну, а ты и знамя взял, и фальконеты захватил! Собирайся, это приказ, и никаких разговоров!

– Когда прикажете ехать? – становясь «смирно», спросил Небольсин.

– Сегодня в ночь. Пять казаков тебе хватит в охрану?

– Довольно и двух, ваше сиятельство. Разрешите только взять с собой Елохина.

– Бери, бери. Это ему вместо отдыха будет.

– Когда прикажете возвращаться?

– Как отпустит Алексей Петрович. Думаю, что через четыре-пять дней снова здесь будешь.

Мадатов закрыл дверь и, подойдя вплотную к Небольсину, сказал:

– Я вот почему еще посылаю тебя, Александр-джан. Я знаю, что к тебе Ермолов относится как к сыну. И знаю, что и ты отвечаешь ему тем же. Дело в следующем, Саша: в Тифлис, наверное, уже прибыл Паскевич... Мне о нем напишет Алексей Петрович. Письмо это должно быть в верных, надежных руках. Лучше тебя вряд ли кто здесь сделает это. Ты и увидишь, и узнаешь Паскевича, а когда вернешься, передашь мне и письмо, и то, что скажет тебе Алексей Петрович!

– Понимаю, ваше сиятельство.

– А теперь приготовься к отъезду да предупреди унтера. В девять часов ты поедешь в Тифлис, а в десять я иду с казаками к Елизаветполю. – Мадатов засмеялся. – Только вряд ли эти жулики еще сидят там!

В десятом часу Небольсин, Санька и трое конных казаков выехали в Тифлис. Лагерь Мадатова шумно снимался с места.

Паскевича во Мцхете встретил посланный Вельяминовым генерал-майор Субботин. С Паскевичем ехали генерал Сухтелен, барон Мейндорф, генералы Скуратов и фон дер Нонне и несколько военных и чиновников. Конвоируемые казаками, они прибыли к полудню в Тифлис. Никто из них не бывал в Закавказье, все было им ново и интересно. Они с любопытством рассматривали встречаемых. Генерал Сухтелен то и дело шумно восторгался красотою. Один лишь Паскевич, чопорный, холодный и важный, чуть сощурив глаза, нехотя окидывал взором дорогу. Она утомила его; путь через Дарьял и Крестовый перевал несколько отвлек Паскевича от размышлений о предстоящей встрече с неприятным



ему Ермоловым. Он не любил этого странного и язвительного, непочтительного ко двору и правительству человека. Если бы не категорический приказ государя, Паскевич не поехал бы в подчинение к нему, но царь хотел этого, Дибич и Нессельроде советовали Паскевичу поскорее выехать в Тифлис, и генерал по ряду высказываний знал, что подчинение Ермолову будет недолгим. Тем не менее его раздражала предстоящая встреча, и он, насупившись, молча ехал в коляске, почти не глядя по сторонам.

При въезде в Тифлис, невдалеке от военного поста Сабуртало, их встретил Вельяминов. Встреча была холодной и официальной. Оба генерала сухо говорили друг с другом. Вельяминов по своему положению начальника штаба Кавказского корпуса был выше Паскевича, но царь специальным письмом подчинил его вновь прибывшему генералу. Паскевич, друг и любимец царя, человек, близкий ко двору и великим князьям, приятель министра Нессельроде, с нескрываемой холодностью отнесся к этому неродовитому, не имевшему никакого веса в Петербурге армейскому генералу. И только Сухтелен, давно знакомый с Вельяминовым, тепло встретился с ним.

В Тифлисе Паскевичу была отведена большая, в пять комнат, квартира на Сололаках.

Первое свидание с Ермоловым произошло утром следующего дня. Генералы внешне были любезны, но и слова, и слишком официальная форма обращения говорили о том, как далеки друг от друга эти люди, которые должны были думать об управлении вверенным им краем и его защите.

Паскевичу было немногим более сорока лет. Очень красивый брюнет в свитском мундире генерал-адъютанта с вензелями на эполетах, привыкший ко двору и светски воспитанный, он был явной противоположностью огромному, пожилому, небрежно одетому и не любившему внешнего лоска Ермолову. Беседа их была учтива, но немногословна. Оба понимали, что вдвоем им здесь оставаться нельзя.

– Ваше высокопревосходительство, курьер от князя Мадатова. Важная победа! – сияя от радости, доложил вошедший Талызин.

– Давай его сюда! Ваш приезд, Иван Федорович, ознаменован успехом! – сказал Ермолов.

В комнату вошел усталый, в пыли, еле разминавший от многочасовой езды ноги Небольсин.

– Победа, ваше высокопревосходительство. Царевич Мамед-Мирза разбит наголову. – Небольсин передал Ермолову донесение Мадатова.

– Здравствуй, Сапа, добрый вестник, да садись возле, еле стоишь на ногах!

– Восемнадцать часов на коне, Алексей Петрович.

Паскевич искоса глянул на него, а Сухтелен ласково сказал:



– Для пехотного офицера это большое дело!

– Ура, господа! Поздравляю с победой! Генерал князь Мадатов сообщает, что позавчера в трехчасовом бою он наголову разбил и уничтожил авангард Аббаса – десяти тысячный отряд под водительством сына Аббаса-Мирзы царевича Мамеда. Убито свыше тысячи пятисот сарбазов, в плен взято семьдесят пять.

– Победа блистательная. Она знаменует поворот в войне, – сказал Сухтелен.

Паскевич молча смотрел на Небольсина.

Вельяминов, сидя за столом, делал набросок донесения в Москву.

– Алексей Петрович, – сказал он, – генерал Мадатов шлет наградные представления на офицеров и нижних чинов, в их числе поручик Небольсин, взявший неприятельское знамя.

– Ваше высокопревосходительство, знамя взял не я, а младший унтер-офицер Елохин, заколовший трех персиян в рукопашном бою.

– Санька? – усмехнулся Ермолов. – Лихой солдат. Он цел?

– Так точно, невредим. Приехал вместе со мной. Генерал Мадатов особенно отличил его.

– Наградить старого вояку Георгием и произвести его в старшие унтер-офицеры. А тебя к чему представил князь?

– Не могу знать!

– Суворов дал бы тебе, «немогузнайке»! Ну, расскажи, как начался бой, как работали солдаты, как дрались персияны?

– Солдаты у нас, Алексей Петрович, отличные! Трудно сказать, кто дрался лучше: гренадеры, егеря или ширванцы! Все одновременно пошли «на штык» и ударили так дружно, что нельзя было противостоять удару!

– А грузины? – осведомился Паскевич.

– Выше всех похвал, ваше высокопревосходительство. Рубили персов столь отчаянно, что казаки и те диву дались. Да все дрались отменно хорошо: и татарская милиция, и армянские роты, и артиллерия!

– Победа нужная, только что-то мало потерь у нас. У противника до полутора тысяч, а у нас три десятка, – усомнился Паскевич.

– В том и есть умение маневра и доблесть начальников, когда с малыми силами и при малой крови делаются большие победы! – заметил Вельяминов.

Паскевич холодно взглянул на него.

– Персы поначалу дрались преотлично и маневр свой совершили искусно. Они под огнем хорошо перестроили войско и повели правильный бой, – сказал поручик.

– Но были наголову побиты. Отчего это произошло, если у генерала Мадатова всего было три, а у персов до одиннадцати тысяч солдат? – пожал плечами Паскевич.



– От искусства военачальника и мужества наших солдат, ваше высокопревосходительство, – ответил Небольсин.

Паскевич, уже раздраженный словами Вельяминова и не ожидавший от простого поручика такого ответа, нахмурился:

– Странные цифры! Противника убито свыше тысячи пятисот человек, а у нас ничтожные потери. – Он недоверчиво продолжал: – Сказочные богатыри из русских былин воевали подобным образом.

– А они, Иван Федорович, и есть те самые чудо-богатыри, которых создал Суворов. Это дети тех, которые перемахнули через Альпы и Чертов мост, – возразил Ермолов. – Среди них есть солдаты, совершившие весь европейский поход, и нужно удивляться героизму и умению этих людей.

– Возможно, но я сегодня видел егерей, встречавших меня у въезда в город, и, признаюсь, Алексей Петрович, не был удовлетворен ни их выправкой, ни умением производить маневр, ни даже внешним видом. Они скверно одеты, ходят в строю, как мужики на рыбалке, и не думаю, чтоб точно разумели полковое или даже батальонное учение.

– Это точно. Шагистике да плац-парадам они обучены плохо, но штыком и боевым маневром владеют отменно. Солдаты старой суворовской школы, кутузовской выучки, да и времени не было заниматься церемониум-парадом... воевать, ходить в штыки, защищать родину приходилось. Где уж тут до шагистики и немецких фрунтовых маршир-учений, – язвительно сказал Ермолов.

Все молчали, и даже Небольсину, еще не знавшему придворных новостей и слухов, привезенных Паскевичем и его свитой, стало понятно, что генералы недовольны друг другом.

– Надо думать, что Аббас теперь снимет осаду Шуши и пойдет на Мадатова. Нужно немедленно всеми имеющимися у нас силами помочь князю, – сказал Ермолов.

– Немного у нас их, но помочь нужно, – ответил Вельяминов.

– Завтра после обеда обратно в отъезд, а теперь иди отдыхай. Передай своему унтеру, что просьба его уважена, пусть и он помнит о моей.

Ермолов пожал руку Небольсину. Поручик благодарно взглянул на него, поняв, что мечта Саньки уже свершилась.

Вечером 4 сентября обстрел крепости прекратился. Настала тишина, сменившая немолчный грохот орудий. Это было тягостно и подозрительно.

– Наверное, опять штурм, – говорили солдаты. Тактика персиян была однообразна. Они уже дважды пробовали таким образом овладеть крепостью. Реут приказал гарнизону удвоить бдительность, он отменил отдых ротам, несшим дневной караул. Армянские женщины опять кипятили воду и готовили тюки с пропитанным нефтью тряпьем. Гарнизон ожидал штурма, но его не было, и только не прекращавшийся всю ночь отдален-





ный шум да не затухавшие в городе огни говорили о том, что Аббас-Мирза что-то задумал.

Утром, часов в десять, к стенам крепости подошла группа горожан, несших белые флаги и еще издали махавших снятыми с головы кулохами<sup>1</sup>.

— А где же персы? Это одни шупинцы. Вон впереди наш таджир-баши, за ним его зять мошенник Абдул-баши, вон меняла Тахмас-ага. Чего им надо? — разглядывая в подозрную трубу толпу, сказал Реут.

Персов не было, и это наводило на подозрение, что это какая-нибудь ловушка, военная хитрость. Голоса подходивших уже явственно были слышны на стенах, как вдруг по дороге из Тази-Кенда с барабанным боем, держа ружья «на плечо», вышла русская полурота, оставленная Реутом в помощь армянам. Впереди полуроты бежали жители Тази-Кенда, стреляя в воздух, подбрасывая вверх шапки и что-то радостно крича.

Несколько конных армян, размахивая обнаженными кинжалами, мчались в карьер к крепости, и вдруг мощное «ура» огласило воздух. Со стен, у ворот, из бойниц, стоя и размахивая шапками, защитники крепости кричали «ура».

Всем стало ясно, что Аббас снял осаду и внезапно оставил Шушу.

Обозленный долгим стоянием под крепостью и упорной защитой русских, Аббас-Мирза назначил в ночь на 6 сентября генеральный штурм, для чего подтянул к Шуше еще две батареи тяжелых орудий.

Но вечером 4 сентября прискакавшие из Елизаветполя гонцы сообщили, что десятитысячный авангард Аббаса-Мирзы под командованием его сына Мамеда и сардара Амир-хана наголову разбит Мадатовым, а сам Амир-хан убит.

Аббас-Мирза рассвирепел. В ярости он приказал пороть вестников несчастья, но татары, жители Шуши, подтвердили донесение, добавив, что царевич уже бежал за русскую границу и что Мадатов занял Елизаветполь.

Аббас-Мирза растерялся. Он понял наконец, какую роковую ошибку совершил, простояв под стенами этой проклятой крепости целых пятьдесят два дня. Горсточка русских задержала его на такой огромный срок в Шуше. Он мрачно оглянулся на Майлза, стоявшего вместе с сановниками в почтительной позе невдалеке от него. Ему показалось, что англичанин смотрит на него с усмешкой. Аббас отвернулся и долго читал присланное ему донесение.

— Что теперь делать? — наконец спросил он, ни на кого не глядя.

Сановники молчали. Новость ошеломила их. Только теперь поняли они, что война с русскими лишь начинается и что о легком захвате Тифлиса не приходится и мечтать. Они молчали, боясь сказать что-либо неуместное наследнику и не совпадающее с его мыслями.

<sup>1</sup> Шапки.



– Думать не о чем, ваше высочество! Надо сейчас же сниматься с места, бросить осаду и со всеми силами идти на Елизаветполь. Мадатов сейчас слаб, нам доносят, что у него не более трех тысяч человек. Надо настичь его и уничтожить. Нас шестьдесят тысяч, у него три. У нас пятьдесят орудий, у него двенадцать. Мы истребим Мадатова и только этим восстановим положение дел, – выступая вперед, сказал Майлз.

Англичанин был раздосадован и не старался скрыть этого. Говорил он резко, без обычной придворной осторожности и льстивости.

Аббас-Мирза нерешительно обвел глазами остальных.

– Сардар Майлз говорит верно. Надо идти к Гандже, – сказал Аллаярхан, и все закивали.

Царевич Измаил, второй сын Аббаса-Мирзы, почтительно склонился перед отцом.

– Отец, идем на Ганджу. Мы выпустим кровь из проклятого армянина и закуем его солдат в цепи.

Аббас резко поднялся с кресла.

– Утром идем на Ганджу! Приготовить войска к уходу!

Персидская армия ушла из Шуши утром 5-го, но, верный своим правилам, Аббас шел вперед подобно черепахе – медленно, осторожно. Его армия делала в сутки не свыше пятнадцати-шестнадцати километров. Майлз, возмущенный таким «наползом на русских», посоветовал Аббасу ускорить движение, но разгневанный валиагд в тот же день приказал ему выехать в Тавриз.

Высланные Мадатовым лазутчики донесли:

– Аббас-Мирза со всей своей армией движется к Елизаветполю. Шуша свободна, но персиян много, как песчинок в море.

Донесения шли из разных мест, и все они говорили о несметности иранской армии.

«Земля стонет от копыт кизилбашских коней. Верблюды с зембуреками тянутся на пять верст, пушек у Аббаса больше ста, а пехота, как саранча, заполняет степь», – писал один из татарских беков.

– Я знаю этого прохвоста, – засмеялся Мадатов. – Его сообщения надо делить на три и только одна часть будет соответствовать истине.

– Но, ваше сиятельство, если даже у Аббаса не сто, а тридцать три орудия и не восемьдесят, а сорок тысяч войска, то и тогда это во много раз больше всего нашего отряда, – сказал полковник Абхазов.

– А кавалерии у него действительно много, – добавил донской есаул Бакланов.

– Так что же, давайте решать, – предложил Мадатов.

– Выведем наш отряд из города и будем ждать помощи из Тифлиса, – предложил Мищенко.



– Правильно. В городе нам запираяться незачем, наш солдат умеет наступать и любит сам атаковать врага. Выведем отряд в степь. Пока Аббас ползет сюда, расположимся лагерем, найдем место для сражения, подойдут наши, и мы сами нападём на персов, – решил Мадатов.

Военный совет был кончен. Утром весь отряд вышел из города.

– Ваше высокопревосходительство, полученные штабом донесения говорят о том, что персы оставили Шущу и скопом идут к Елизаветполю. Там произойдет решительное сражение, и нам надо теперь же со всеми резервами идти на помощь Мадатову.

– Я готов, Алексей Петрович, – ответил Паскевич.

– Думаю, Иван Федорович, что делать это надо завтра, иначе помощь может запоздать и Аббас по частям раздавит нас. Берите с собой херсонцев два батальона, грузинцев<sup>1</sup> полтора во главе с полковником графом Симоничем – это лучший из моих офицеров; батальон карабинеров, четыре роты ширванцев, егерей батальон, шестнадцать орудий, фальконетные и ракетные взводы, нижегородских драгун семь эскадронов во главе с Шабельским – тоже старым кавказцем и испытанным бойцом; донских казаков два полка – Костина и Иловайского – и три сотни грузинской милиции во главе с князем Дадешкелиани. Это лучшее из лучших, что можем дать. Итого под вашим началом будет семь с половиной тысяч отборных кавказских воинов, каждый из которых стоит четырех персиян. Доверяйтесь им, ваше высокопревосходительство, и они не подведут вас. Это все, что могу дать. Два батальона пехоты и три сотни казаков с двумя орудиями остаются у меня для охраны всей Грузии, – сказал Ермолов.

Утром Паскевич выступил к Елизаветполю.

Ночью он, минуя Ермолова, отослал на имя Николая секретное письмо:

«Страшусь, Ваше Величество, идти с такими не обученными строем, не знающими маневра, вовсе не похожими на воинов, плохо одетыми солдатами, страшусь идти в бой. Наши российские рекруты в десяток раз надежнее и обученнее, чем сии ермоловские мужики, коих главнокомандующий называет «товарищами» и «кавказскими орлами». И офицеры не лучше солдат – невежды, не знающие уставов и дисциплины. И не будь Вашей монаршей воли, я никогда не решился бы идти с сим сбродом на вдвое сильнее врага».

Два других, весьма по своему содержанию похожих на первое, письма Паскевич с тем же курьером послал начальнику главного штаба барону Дибичу и министру иностранных дел графу Нессельроде.

Отряд Мадатова, найдя возле Елизаветполя подходящую для боя позицию, стал ждать, но кто подойдет раньше – русские резервы или вся шестидесятитысячная армия Аббаса, – сказать было нельзя.

<sup>1</sup> Солдаты Грузинского пехотного полка.



Рано утром Небольсин явился к Мадатову.

– А-а, Александр-джан, вернулся? Ну, как там дела? Как поживает Тифлис? Как Паскевич?

Узнав, что Паскевич назначен заместителем Ермолова и что Вельяминов подчинен ему, Мадатов задумался.

– Это плохо, – читая личное письмо Ермолова, вслух размышлял он. – Едет сюда начальствовать над нами. Что же делать, подчинимся, только бы разбить персов, а там... – он махнул рукой. – А как Алексей Петрович, огорчен?

– Держится ровно, однако видно, что с Паскевичем ему оставаться нельзя.

– Немного нам дает помощи Алексей Петрович, немного, но зато все лучшее, что у него есть. Посчитаем, – и, загибая пальцы, Мадатов стал считать войска, которые шли к нему с Паскевичем. – Маловато, всего нас будет тысяч около семи, это – считая и конницу. Орудий – двадцать четыре, ракетниц и фальконетов около тридцати. Прибавим к этому татарскую милицию и сотен пять армянских стрелков – вот и все. Не больше семи с половиною тысяч, это противу армады нового иранского Дария.

– Маловато, ваше сиятельство.

– Ничего, зато промаха не будет! И пуля, и каждый штык попадет куда нужно, – засмеялся Мадатов.

Вечером был созван военный совет. Персидская армия была замечена уже в районе Курак-Чая. Паскевича же все еще не было, и тяжелая ночь сомнений и напряжения охватила маленький отряд.

На военном совете было решено ждать Паскевича.

Аббас-Мирза шел не спеша, делал короткие переходы и долгие дневки в богатых татарских селах.

9-го к вечеру Паскевич с одним лишь донским полком Иловайского на рысях подошел к отряду. Мадатов встретил его с подобающим уважением и радушием. Позади, в одном переходе, шли остальные русские войска во главе с Вельяминовым.

– Вовремя подоспели, ваше высокопревосходительство! Разведка сообщает, что Аббас-Мирза тоже на подступах к Елизаветполю.

Паскевич принял отряд, но решением Мадатова и военного совета остался недоволен.

– Нам нельзя ввязываться в полевой бой с персами. У них огромная армия, много пушек и конница, и они массой раздавят нас.

– Что же думаете вы, ваше высокопревосходительство? – спросил Мадатов.

– Войти в город, запереться в крепости и вести оборонительную кампанию.



Мадатов удивленно взглянул на Паскевича. Полковники Симонич и Абхазов переглянулись. Генерал Эристов развел руками и недоуменно переспросил:

– В крепость? Зачем это, ваше высокопревосходительство?

Паскевич хмуро глянул на Эристова.

– По элементарным законам ведения боя у нас нет надежды с малыми силами отразить Аббаса-Мирзу. Стены же крепости удвоят нашу силу. Вспомните ту же Шушу.

– Наши кавказские войска не умеют драться, запершись за стенами, они приучены наступать. Персиян надо встретить в поле и атаковать их, – предложил Мадатов.

– Да, ваше высокопревосходительство, у нас к победе один только шанс – это нападение. Мы должны идти навстречу персам, искать их и, смело напав на них, уничтожить! – подтвердил Симонич.

– Мои солдаты прекрасно дерутся, атакуя врага, но они не умеют отсиживаться за стенами городов, – коротко сказал Абхазов.

– А куда мы денем нашу кавалерию и конные сотни грузин и татар? Ведь этим мы погубим их!

– Они будут драться как пехота, – сказал Паскевич.

– Но они не знают пешего боя, они не обучены ему, и у них нет штыков!

– Господа, я решил ввести войско в город и дальнейшее обсуждение считаю бесполезным, – категорическим тоном заявил Паскевич.

Все замолчали. Неожидавшее решение нового командира корпуса совершенно не вязалось с тактикой и характером кавказских войск.

– А что же с Тифлисом? – не обращая внимания на предупреждение Паскевича, спросил Эристов, – Ведь если мы запремся в крепости, Тифлис и вся Грузия останутся беззащитными и подвергнутся разгрому персиян.

– Законы высшей стратегии определяют ход войны, да и вряд ли персияне оставят за собой угрожающий им с тыла отряд и пойдут на Тифлис.

– В таком случае, – не слушая Паскевича, как бы продолжал свои мысли Эристов, – в таком случае утром вся грузинская кавалерия уйдет назад!

– Куда... назад? – опешил Паскевич.

– В Тифлис. Мы добровольно пришли сюда защищать себя и Россию. Раз вы хотите запереться в крепости и оставить на произвол судьбы Грузию, мы, ее воины, пойдем защищать свои семьи!

– Это недопустимо! Это – преступление! – воскликнул Паскевич.

– Нет, это наш долг. Или мы встречаем все вместе здесь на полях Ганджи персов и уничтожаем их, или мы идем в Тифлис, чтобы там биться с кизилбашами, – упрямо повторил Эристов, твердо глядя на Паскевича.

Генерал обвел всех глазами, но по лицам офицеров понял, что он одинок.



– Отложим решение до завтра, когда подойдут остальные войска, – решил он.

Офицеры ушли.

После того как отряды соединились, Мадатов для защиты флангов и тыла выслал по направлению к Эривани, Лори-Бамбаку и Борчало часть отрядов, с ними несколько орудий и конных сотен. Теперь это был внушительный, тысяч до семи, корпус, и иранские лазутчики сейчас же послали донесение об усилившемся русском войске.

Аббас-Мирза получил это донесение в большом селе Кянакерт, где уже второй день отдыхал, приводя в порядок свои растянувшиеся по пути войска.

На следующий день Паскевич с утра решил произвести учение батальонам.

– Да они вовсе не умеют сворачивать каре на случай атаки конницы! – всплеснув руками, в ужасе воскликнул он.

Солдаты Ширванского полка в полной боевой амуниции с тяжелыми ружьями, большими штыками, при тридцатиградусной жаре бестолково и вяло шагали по сухой и пыльной земле, слушая новые слова команды, еще не известные на Кавказе, но уже применяемые в гвардии и столице.

– В полчетверти поворота делай, раз! – командовал Паскевич, с презрительной злобой глядя на топтавшихся, не понимавших и потому не выполнявших его команды солдат.

– Противу кавалерии справа, первый plutonг, на колено, второй ряд, пли стоя, третий – огонь! Первый – штыком! – надрывался он, пугая солдат и путая своим вмешательством офицеров.

Взгляд его упал на Небольсина, который по недавней службе в гвардии знал, хотя и не очень твердо, эти нововведения и подсказывал солдатам, что нужно делать.

– Стоять вольно. Поручик, ко мне, – отирая пот со лба, командовал Паскевич.

Небольсин строевым шагом подошел к нему.

– Это вы были на днях с донесением о победе у главнокомандующего?

– Так точно, ваше высокопревосходительство.

– Вы, кажется, один-единственный, кто понимает мои команды. Вы что, служили в России?

– Так точно. Переведен из гвардии Измайловского полка.

– Дуэль, шалости или что-нибудь похуже? – поднимая бровь, спросил Паскевич.

– По собственному желанию, ваше высокопревосходительство! Хотелось видеть Кавказ и побывать в деле.

– Ну что ж, судя по Владимиру и по той лестной аттестации, которую мне довелось слышать в штабе, вы добились многого, поручик!



Небольсин молча смотрел на генерала.

– Вероятно, получив Георгия и производство в капитаны, вы вернетесь обратно в гвардию?

– Мне нравится здесь, ваше высокопревосходительство, но что будет завтра, известно одному Богу. Ведь идет война, – ответил Небольсин.

Паскевич небрежно, чуть усмехнувшись, с коня оглядел поручика.

– C'est pour la premiere fois, que je vois une telle bande, comme ces vagabonds, nommes on ne sais pas pourquoi, les soldats, jetez utl coup oeil stir ce cous-of- ficier bancal tapisse de decoration. Quels renseignements un tel rustre est capable donner aux soldats?<sup>1</sup> – кивнул на стоявшего поодаль Саньку Паскевич.

– Этот унтер-офицер, ваше высокопревосходительство, и есть тот самый Елохин, который на этих днях заколол штыком трех гвардейцев шаха и собственноручно захватил иранское знамя, – холодно пояснил Небольсин.

Паскевич посмотрел на него, затем перевел глаза на все так же свободно и спокойно стоявшего Саньку и молча пожал плечами. Он еще часа полтора гонял и мучил солдат перестроениями и шагистикой, но теперь свое раздражение и гнев перенес на нижегородских драгун, не умевших, по его мнению, даже как следует сидеть на коне.

– Чему вы учили ваших драгун? – с нескрываемым презрением спросил он командира полка Шабельского. – Ведь они не рубят, а только тычут пашками. Безобразие, а не полк!

Шабельский молчал. Он видел, что генерал зол, несправедлив и придирается к чему попало.

«Черт с ним! Увидит в бою, что такое мои драгуны», – думал он, продолжая молчать.

Часам к трем, утомив солдат, устав сам, распушив офицеров, не прощавшись с солдатами и не сказав им ни слова, Паскевич прекратил учение и поехал обратно в лагерь.

## Глава 8

Тифлис волновали два события: персы, уже подходившие к Елизавет-полю, и приезд Паскевича, в котором многие провидцы уже видели нового хозяина Кавказа.

Местное общество во главе с шумной, болтливой и недалекой Прасковьей Николаевной Ахвердовой детально и оживленно обсуждало «за» и «против» нового генерала. И даже предводитель дворянства, недавний

---

<sup>1</sup> – Я впервые вижу такую орду, как эти оборванцы, которых неизвестно почему здесь именуют солдатами. Взгляните на этого косолапого унтера, обвешанного крестами. Чему может научить солдат такой мужлан? (фр).



сторонник Ермолова князь Багратион-Мухранский на всякий случай явился с визитом к отъезжавшему на фронт Паскевичу. Старые сослуживцы Ермолова Похвистнев, Амбургер, Викентьев, понимая, что Алексей Петрович попал в опалу, «заболели», предпочитая переждать первые дни в стороне от событий.

Ермолов все видел, понимал и молчал. Победа в войне с Персией была его целью.

— Ваше высокопревосходительство, приехал генерал Давыдов, — входя к Ермолову, доложил Муравьев, оставшийся после отъезда Вельяминова за начальника штаба.

— А-а, приехал... Зови его, — обрадовался Ермолов.

— Здравствуй, Денис!

— Здравствуй, Алексей Петрович!

И они тепло обнялись, внимательно разглядывая один другого.

— Постарел ты, отец-командир, голова поседела, только глаза и голос все те же, молодые, — восхищенно сказал Давыдов.

— Где там! Укатали сивку крутые горки! — махнул рукой Ермолов. — Как ехал? Где остановился?

— До Владикавказа в коляске, оттуда — на двухместной линейке, взял ее у майора Огарева Николая Гавриловича. Помнишь его?

— Как же, начальник дороги. Ведь это у него во Владикавказе оставались чемоданы Грибоедова. Кстати, как он, когда будет в Тифлисе?

— На днях должен приехать.

— Ну, а что в Москве, долго ли двор останется в Белокаменной? Какие новости?

Давыдов посмотрел на старого друга и, отлично понимая его вопрос, сказал:

— Ждут победы. Государь послал Паскевича на время. Победа нужна царю. В дни коронации она будет звучать особенно сильно.

Ермолов молчал. Так прошла минута.

— Она, эта победа, еще больше, чем царю, нужна Паскевичу. Она поднимет его и свалит меня, но, Денис, нам с тобой дорога Россия. Помнишь, как сказал Петр накануне Полтавской битвы? — Ермолов прошелся по комнате. — «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, была бы только Россия в славе и благоденствии». Я оголил Тифлис, я дал Паскевичу все лучшее, что имел, во имя России.

— Противу тебя все, Алексей Петрович, и Нессельроде, и Бенкендорф, и немецкая партия.

— И царь, — добавил Ермолов.

— И он. Один только Дибич еще не перешел на их сторону.

— Перейдет и он. Дай только Паскевичу разбить Аббаса, и тогда они все запоют ему славу. Выезжай, Денис, завтра же к нему. Ты со своим опытом и храбростью будешь там очень нужен.





Войска отдыхали в тени садов, солдаты были сумрачны и устали. Этот новый генерал не понравился им, как не понравился ему и они. Это было ясно всем. Драгуны, казаки, батарейцы, грузины и саперы – все были огорчены и расстроены сегодняшним знакомством с новым командиром корпуса.

Санька, угрюмый и нахмуренный, молча поел из котелка вместе с двумя солдатами. Он искоса поглядывал на Небольсина, только что вернувшегося от маркитантской повозки и что-то жевавшего на ходу.

– Вашбродь, не хотите ли нашего, солдатского? – сказал он, указывая на котелок, в котором исходил паром жирный бараний суп.

– А что ж, с удовольствием. Не помешаю, братцы? – спросил поручик.

– Садитесь вот туточка, вашбродь, здесь потенистей будет, – отодвигаясь в сторону, пригласил его солдат, сидевший рядом с Елохиным.

– Ты, Степанчук, беги к кашевару, скажи, нехай супцу нальет погорячей да мяса положит, скажи, его благородию, полуротному, – приказал Санька.

Молодой солдат подхватил котелок, выплеснул из него остатки супа и побежал к ротной кухне, дымившей в стороне.

– А что, вашбродь, недоволен остался генерал солдатами? Не понравились ему. Осерчал на всех: и на драгун, и на пехоту, а донцов так аж со смотра вовсе погнал. И чем это ему солдатики плохи показались? – спросил Санька.

– Не потрафили – спокойно заметил второй солдат, – вот и осерчал.

– А ведь, вашбродь, нехорошо это, ведь сегодня-завтра бой, со всем персидским войском драться будем. Как же это так, перед самым боем и так обидеть солдата... – покачивая головой, продолжал Санька.

– Доверия нету, команды, говорит, не знаем, вовсе вроде рекрутов, значит, оказались, – снова сказал солдат, сидевший возле поручика.

– Алексей Петрович доверял, князь Смоленский, царство ему небесное, – перекрестился Санька, – доверял. И Петр Иваныч, и все прочие верили, а он не доверяет, – сумрачно сказал Елохин и покачал головой.

От кухни уже шел скорым шагом молодой солдат, ступая осторожно, чтобы не расплескать суп.

– Принес? Вот и гоже. Ешьте, вашбродь, на здоровье. Наш кухарь знатный суп сготовил, – подвинул солдат к поручику котелок.

Санька сорвал виноградный лист, тщательно обтер им свою деревянную ложку и подал ее Небольсину. Поручик с удовольствием стал есть густо наперченный и действительно вкусный суп. Он медленно пережевывал мясо, куски лаваша, не отвечая солдатам и думая о том, как же сам Паскевич не понимал того, о чем говорили сейчас эти простые солдаты. Как можно было оскорбить и обидеть солдатские души перед генеральным сражением, которое ожидалось с часу на час.



– Рассерчал генерал, а за что – бог знает, – пожал плечами подошедший сзади ефрейтор.

Солдаты после сытного обеда покуривали, с удовольствием глядя на обедавшего с ними офицера.

– Верно ли, вашбродь, рассказывают, персуюков очень много? – поправляя серьгу в ухе, спросил Санька.

– Тысяч сорок наберется, да ведь и под Шамхором его в три раза больше нас было, – ответил поручик.

– Ох, казаки на них злые. В том бою, рассказывают, много казаки денег да шелку с коврами захватили, а один донец, тот, который ихова командера заколол, одного золота фунтов пять забрал, да князь Мадатов ему за коня с седлом опять же пятьсот ассигнациями отдал.

– Начнем бой – и на нас хватит, бей только, ребята, как следует, – сказал ефрейтор.

– Эй нет. Казакам да драгунам лафа. Они конные, первыми до лагерей доскачут, а мы когда еще пехом доберемся, – ответил молодой, бегавший за супом солдатик.

– А ты, браток, не зарься на трофеи. Солдату они ни к чему. Я вон всю Европу прошел: и в Варшаве, и в Берлине, и в Париж-городе был, на шелку спал, бархатом укрывался, шенпанское как воду пил, а чего осталось? Солдатская слава да вот они, Егории, – потрагивая кресты, сказал Елохин.

– Передай голос: поручика, полуротного – к командиру, – слышались голоса.

– Вас к батальонному, – приподнимаясь с места, сказал Санька.

– Спасибо, братцы, за обед. Накормили так, как не едал уже месяц, – засмеялся Небольсин, обтер платком губы и пошел к видневшемуся вдалеке командиру батальона подполковнику Грекову.

– Александр Николаевич, идемте... командир корпуса ищет вас, – сказал подполковник.

– Паскевич? На что я понадобился? – удивился поручик. – Там военный совет, офицеры все рангом не ниже майора.

– Не знаю. Требуется, и спешно, – пожал плечами Греков.

И они поспешили к большой двухстворчатой палатке, разбитой посреди тенистого сада.

Там была ставка Паскевича, и в ней происходил военный совет.

У входа в палатку стояли часовые, двое ординарцев, подальше виднелись конные драгуны и восемь пушек.

– Удивлен и обескуражен, господа. Драгуны Нижегородского полка не умеют рубить, они тычут пашками, уподобляясь мужикам с вилами. Драгуны не знают перестроения в дивизионную колонну. Да как они пойдут в атаку на персидскую пехоту? Ведь еще Мюрат учил кавалерию колонной вломиться в гущу пехоты и там рубить, подавляя массой... – услышал поручик голос Паскевича.



Офицеры тихо вошли в палатку и замерли у входа.

— Ваше высокопревосходительство, я старый гусар, пяти лет от роду я уже сидел на коне, все наполеоновские войны я провел в кавалерии, и позвольте мне, коннику, лично знавшему Мюрата, сказать несколько слов, — проговорил Мадатов.

Паскевич недружелюбно глянул на него и коротко сказал:

— Пожалуйста!

Мадатов расправил пышные баки.

— Дело в том, что атаки колонной подивизионно, которые ввел в искусство войны маршал Ланн и которые только повторил Мюрат, — это уже прошлое и хорошо лишь в тяжелой коннице, которой у нас здесь нет. Да и не всегда хорошо действовал этот метод. Вспомните гибель кавалергардов под французской картечью или уничтожение наполеоновских кирасир под залпами нашей пехоты. Это было пятнадцать лет назад, а сейчас, в условиях Кавказа, а тем паче в столкновениях с персидской армией, у нас действуют колоннами поэскадронно и даже атаки конницей ведут уступами. Это для Кавказа самая подходящая форма атаки. И полковник Шабельский с его драгунами не раз успешно действовал именно так. Надеюсь, что и в сражении с Аббасом-Мирзой они своими победами докажут это.

Мадатов сел. Паскевич повел глазами по молча сидевшим офицерам. Взгляд его остановился на Небольсине, стоявшем у входа.

— Подойдите, прошу вас, сюда, — вежливо сказал он, указывая глазами, куда следует подойти поручику.

Небольсин стал возле генерала.

— Вот, господа, единственный из всех офицер, который понимал мою команду и сносно делал все перестроения со своей ротой, и делал он это только потому, что недавно прибыл из гвардии. Могу ли я надеяться на полки, не знающие новых методов пехотного боя, если у меня в отряде один лишь офицер, понимающий современный маневр?

Небольсин, не ожидавший ничего подобного, удивленно молчал, он заметил, как неприятно подействовала похвала Паскевича на остальных. Он видел, как поднялись брови у молча сидевшего Вельяминова, как строго смотрел на него Эристов и как дрогнули губы у Мадатова, не сводившего с него взгляда.

— Я предполагаю взять вас к себе в полевые адъютанты, поручик, как человека, наиболее верно понимающего мои приказания. Во время боя мне нужен такой человек, который точно и ясно передавал бы, не искажая и не путая, мои указания полкам.

Одни из офицеров с неудовольствием, другие с завистью смотрели на неожиданно попавшего в любимчики Небольсина.

— Что вы молчите, поручик, или раздумываете над моим предложением? — спросил Паскевич.



— Я прошу, ваше высокопревосходительство, оставить меня в батальоне, в той же роте. Я хочу быть в сражении, в строю, вместе с солдатами и офицерами, с которыми меня сроднил Шамхор... В адъютанты я не го-жусь, ваше высокопревосходительство, — твердо и очень вежливо сказал Небольсин.

Паскевич поднял глаза и уставился на него. Мадатов повеселел, и в его глазах Небольсин прочел полное одобрение. Вельяминов улыбнулся. Абхазов удовлетворенно провел рукой по усам. Генерал Сухтелен, прибывший вместе с Паскевичем, нахмурился и неодобрительно покачал головой.

Все молчали.

— Можете идти. Вы мне больше не нужны, — холодно сказал Паскевич и повернулся к Небольсину спиной. — Нет в войсках и должной дисциплины, чему первый пример — сей плохо воспитанный офицер.

Небольсин вышел. Отойдя от шатра, он остановился и вдруг рассмеялся. Вся эта нелепая сцена, надменная фигура Паскевича с его холодными остекленевшими от неожиданности глазами показались вдруг ему смешными.

Сейчас только он ясно понял, что этот петербургский генерал не только потому так неприятен ему, что пришел на место Ермолова. Внутренний голос подсказал поручику, что этот чванный, надутый, холодный и чопорный человек чем-то очень походит на ненавистного ему Голицына, палача и убийцу Ньюши. И хотя Паскевич был красив, изящен и внешне совсем не походил на Голицына, но презрение ко всему, что по его представлению стоит ниже его — к народу, к солдатам и слугам, — роднило их.

Поручик провел ладонью по лицу и прошептал:

— Ньюша! Ньюша!

— Вашбродь, Александр Николаевич, идемте в тень, я тут вам винограду припас, — услышал он возле себя озабоченный шепот Саньки.

Небольсин открыл глаза. Старый солдат стоял возле него, протягивая ему кисть черного запыленного винограда.

— Вот туточки садитесь, вашбродь. Тут прохладно, — Санька еще что-то хотел сказать, но вдруг умоляюще прошептал: — Не печальтесь, Александр Николаевич, не надрывайте себе сердце. Ее душенька теперь на небесах, а вам еще жить надо.

Небольсин вздохнул и крепко пожал руку старого солдата.

Военный совет закончился поздно. Несмотря на то, что Паскевич хотел вновь вернуться в город и запереться в крепости, все были против такого решения.

Хмурый, ставший подозрительным и придирчивым, Паскевич наконец махнул рукой.

— Делайте как знаете! Исход предстоящего боя покажет, кто прав.

Все разошлись.



Паскевич долго сидел один в палатке, и даже близкий к нему, привезенный им из Петербурга гвардии капитан Толоконцев не решался войти к разгневанному генералу.

Наконец Паскевич позвал его.

– Приготовьте курьера. Ночью он выедет с письмами к Его Величеству. Вы отвечаете за надежность этого человека.

Толоконцев наклонил голову:

– Прапорщик Арефьев – лично известный графу Бенкендорфу, это – из его людей.

– Очень хорошо, – согласился Паскевич. – А теперь идите. Я позову вас, как только окончу письма.

Лагерь стих, но не все еще спали.

Поручик вышел из палатки. Спать ему не хотелось, воспоминания о Нюше теснили грудь. Он жадно вдохнул прохладный воздух, и эта звездная ночь, и отдыхавшая степь, и чуть посеребренные облака с пробивавшейся сквозь них луной навевали мир и покой. Прохладный ветерок набегал из степи и доносил запахи цветов. Запахи были одуряюще остры, воздух тих и прохладен. Тишину, охватившую мир, нарушали лишь возня казачьих коней да резкий, посвистывающий звук шашек, которые точили грузины. Двое драгун прошли мимо поручика.

– Хороша ночка! – сказал один из них, позевывая.

– Поглядим, какой день-то будет, – двусмысленно сказал другой, – Рассказывают, что персы близко!

Они прошли, а поручик все стоял и смотрел им вслед.

Паскевич уже заканчивал письмо царю. Русский язык и он, и Николай знали плохо и переписку вели на французском.

«Всемиловейший государь, – писал Паскевич, – персидская армия подходит к Елизаветполю. Я страшусь идти в бой с необученными обрванцами, которых нарочно подсунул мне Ермолов, желая, чтобы я проиграл сражение и тем опозорил себя. И генералы, и офицеры его таковы же. Нет дисциплины, одно вольнодумство, распущенность, панибратство...»

Второе письмо он написал шефу жандармов Бенкендорфу.

«Дорогой граф, любезный Александр Христофорович, доведи до сведения государя и милого моему сердцу графа<sup>1</sup>, что дела здесь из рук вон плохи, все скверно и победы со сбродом, который Ермолов именует войском, ждать нельзя. Спаси бог, если персияны навалятся на нас всей своей силой. У солдат – ни умения, ни отваги, офицеры – не лучше. Многие из них лишены ума и чести, есть и такие, от которых за версту пахнет французским вольнодумством и четырнадцатым декабрем. Узнай, любезный граф, по твоему ведомству, как числится переведенный сюда из

<sup>1</sup> Нессельроде.



гвардии Измайловского полка поручик Небольсин, не занесен ли в особые списки и по какой причине сей дерзкий и крайне приверженный к Ермолову офицер очутился на Кавказе?..»

Часам к трем ночи Паскевич закончил письма и, запечатав их своей личной печаткой и сургучной печатью, передал Толоконцеву. Спустя час прапорщик Арефьев, минуя Тифлис, уже вез письма к царю и Бенкендорфу.

Лагерь уже спал, все стихло, лишь Паскевич не спал. Он заносил в свой личный, строго секретный журнал события и впечатления дня и характеристики людей, с которыми виделся в течение дня. Этот второй журнал он писал для себя и царя, официальный же – для Ермолова и истории.

## Глава 9

Перед самым рассветом русский лагерь снялся с места и пошел в степь. Дойдя до пологих холмов Зазал-Арха, за которыми вдалеке неслась свои воды Кура, Мадатов и его штаб остановились. Это была наиболее подходящая для боя позиция.

По пути к отряду присоединились два батальона Херсонского полка, остававшиеся в Елизаветпольской крепости и лишь по повторному требованию Вельяминова и Мадатова отозванные Паскевичем, и четыре сотни конной татарской милиции под командованием Гусейн-хана Ахвердова.

Прикуринская степь, волнообразная, желтая, изрезанная овражками, выжженная и сухая, лежала перед ними.

Казачьи разъезды, перейдя неглубокий овраг, продвинулись далеко вперед. Легкая желтоватая пыль курилась под копытами коней. Грузинские дозоры шли слева, татарская конная милиция – справа. Русские батальоны развернулись на занятой ими возвышенности, господствовавшей над долиной. Три дороги – одна на Елизаветполь, другая на Шупу и третья в сторону Тифлиса – сходились в этом месте. Над выжженной степью поднимался памятник, поставленный столетия назад в честь знаменитого на Востоке поэта и мыслителя Низами Ганджеви, родившегося в XII веке в Елизаветполе – древнем иранском городе Гандже.

Русский отряд развернулся, батальоны по команде заняли свои заранее определенные диспозицией места. Ширванцы – слева, справа – егеря, установив этим первую линию. Четырнадцать орудий и ракетницы стали в центре, остальные двенадцать пушек поставили поуступно на флангах. За егерями развернулся батальон карабинеров, а за ширванцами – батальон Грузинского полка под командой Симонича. За первой и второй линией уступами стали вглубь по флангам по две роты и по два



орудия для защиты тылов и флангов отряда от ударов иранской конницы. Посреди русской позиции находился укрепленный вагенбург из трех резервных рот с четырьмя орудиями и шестью фальконетами, задачей которого было в критическую для русского отряда минуту ударить в нужную сторону. Донские казаки полков Иловайского и Костина обошли справа фланг остановившихся батальонов. Грузинская конница, усиленная татарской милицией, при девяти фальконетах стала слева. Весь Нижегородский драгунский полк в качестве резерва находился в глубине левого фланга при Паскевиче.

Редкие облака высоко проходили над степью. Жара усиливалась, изредка со степи набегал теплый, еле ощутимый ветерок. Легкая пыль курилась по дорогам, сизое море вставало над горизонтом.

Внезапно степь ожила. Поднялась пыль, послышался гул и звон, ржание коней, крики верблюдов. Черные фигуры всадников замелькали на дорогах, и спустя пятнадцать минут огромная, темная, движущаяся масса всей персидской армии заполнила долину. Звуки рожков, бой барабанов, мерный шаг спокойно и размеренно шедших, словно на учении, персидских батальонов заглушил все.

В блеске и сверкании оружия, в тяжелом движении сорокапятитысячной армады подходили персы к Зазал-Архской возвышенности, на которой, приготовившись к бою, уже ждал ее семи с половиной тысячный русский отряд.

Паскевич с нескрываемой тревогой смотрел на подходившую персидскую армию. Как широкое, бескрайнее море, залили всю прикуринскую долину персидские полки.

Пыль висела над долиной, поблескивало на солнце оружие, конные толпы курдов и бахтиар спускались с пологих склонов возвышенности Булах-Дага.

Паскевич не отрываясь смотрел в подзорную трубу, наконец он опустил ее и молча взглянул на Давыдова.

— Я, кажется, совершил великую оплошность, послушавшись Мадатова и Вельяминова. Надо было остаться в крепости.

Денис Давыдов покачал головой.

— Нет, Иван Федорович, я держусь того же мнения, что и они. Бой в открытом поле — единственное, что должны делать мы.

Паскевич снова поднял трубу. Он молчал, но было видно, что сомнение и раздумье охватили его.

— Вынести за линию барабан, — вдруг сказал он.

Один из его адъютантов — подполковник Толстой — и двое солдат пошли за первую линию стоявших в боевом порядке ширванцев. Солдаты положили на землю барабан, и Паскевич размеренным, каким-то парадным шагом подошел к нему, сел на барабан и на виду всей иранской ар-



мии стал молча смотреть на перестроения врага.

«Какая-то театральщина. К чему это?» — подумал Небольсин, впереди роты которого, насупившись, сидел Паскевич.

Раздался орудийный выстрел, за ним второй, спустя минуту еще три ядра просвистели и упали невдалеке от генерала. Он сидел все в той же позе, не обращая внимания на огонь, ни слова не говоря, не отдавая приказаний.

— Что с ним? Пора действовать, персы уже заканчивают свой маневр, — озабоченно сказал Мадатов, находившийся в центре русских позиций.

Вельяминов молча пожал плечами.

— Да что он медлит?.. Время атаковать, — с еще большей тревогой повторил Мадатов.

Паскевич вдруг встал и не спеша пошел назад за линию войск. Что он думал, зачем сидел под огнем персов — было непонятно. Он, несомненно, был храбр, но удивить кавказских солдат личной храбростью было трудно.

Проходя мимо Небольсина, генерал поднял глаза. Заметив поручика, прищурился и молча, так же медленно пошел дальше.

Персидская пехота, закончив перестроение, остановилась в версте от русских. По флангам, как тучи, стала сгущаться и увеличиваться конница. Тысяч около девяти кавалерии начали обходить донские полки. Орудийный огонь стих, и снова наступила некоторая тишина. Обе армии стояли одна против другой, но боя не начинали.

План боя и построения иранской армии были такими же, как и при Шамхоре. Центр занимали восемнадцать лучших батальонов по тысяче сарбазов в каждом, тридцать шесть орудий и сорок фальконетов. За батальонами стояли резервы — еще четыре сильных, только что укомплектованных батальона с восемью орудиями. За резервами — ставка Аббаса-Мирзы, охраняемая гвардейской конницей и двумя гвардейскими батальонами. За ставкой наследника иранского престола стояли обозы из многих сотен повозок, телег и арб, вокруг которых находились вооруженные толпы прислуги, кочевников и сельчан, мобилизованных на работы в персидском транспорте. Сражением руководил Аббас-Мирза.

На правом фланге были шесть батальонов персидской пехоты при двенадцати орудиях, но главная сила заключалась в двенадцатитысячной коннице, которая должна была атаковать и массой раздавить слабые кавалерийские фланги русских, обхватив с тыла и фланга пехоту, врубиться в нее и, разметав русские батальоны, овладеть артиллерией. Другая туча иранской конницы находилась на левом фланге. Ее было свыше девяти тысяч, и ее задачей была одновременная атака и удар по грузино-татарской милиции, едва насчитывавшей семьсот всадников. Левым





флангом армии командовал зять персидского шаха сардар Аллаяр-хан, правым – старший сын Аббаса Мамед-Мирза, резервами – принц Измаил. Наиболее способным из всех них был зять шаха Аллаяр-хан, человек, знакомый с военным делом, близкий к англичанам и ненавидевший Россию.

Аббас-Мирза, которому еще позавчера придворный поэт и астролог Мир-Гасан, составивший гороскоп, предсказал победу, сидел на белом жеребце и, подобно Паскевичу, разглядывал в трубу армию русских.

Англичанин Олсон, командиры дивизий Эйсан-хан и Халу-Курбан-хан, начальник гвардии принц Эмин-Доуле и другие сановники стояли позади валиагда, тоже внимательно разглядывая неподвижно стоявшие русские войска.

– Что эти собаки не начинают боя? – отнимая от глаз трубу, спросил Аббас.

– Боятся, ваше высочество. Ведь не шуточное дело сразиться этой горсточке проклятых Богом свиноедов с могущественными, отборнейшими войсками льва Ирана, – склоняясь перед конем валиагда, сказал Эмин-Доуле.

– И как эти ослепленные Аллахом, лишенные разума люди не бегут перед морем войск вашего высочества! – льстиво сказал Халу-Курбан-хан.

Аббас усмехнулся.

– Мне жаль этих несчастных мужиков. Скоро все эти белые рубахи обагрятся кровью, а их жалкие казацьи и грузинские сотни лягут под ударом моих храбрецов.

– Не пора ли начинать бой, ваше высочество? У русских какое-то смятение, предпочтительно нам первыми ударить на них.

– Не все ли равно, дорогой советник Олсон, эти несчастные не уйдут от своей смерти. Азраил уже опустил над ними свои черные крылья, пусть поживут еще час, – снисходительно ответил Аббас-Мирза.

Мадатов обходил линии солдат.

– Ребята, – сказал он, – вы хорошо знаете перса. Он нестойкий, выдержите только час – и он побежит.

– Выстоим и три, ваше сиятельство, не извольте беспокоиться, – отвечали солдаты.

– А что его много, так ведь это и лучше: ни одна пуля не пролетит мимо, – пошутил Мадатов.

– Ну что, старик, побьем сегодня перса или он накроет нас? – спросил он, останавливаясь возле Саньки.

– А как же, ваше сиятельство! Вестимо побьем, аж пух с его пустим, только вы сами не зарывайтесь, как новый командир, – кивнул куда-то туда, где исчез Паскевич, Санька. – Не ровен час попадет пуля, что тогда



нам делать? – уже серьезно закончил он.

– В меня не попадет, я заговоренный, – пошутил Мадатов. – Ну, а где ж, кавалер, твои Георгии? – спросил он.

– Убрал, ваше сиятельство, в карман. В суматохе их и потерять недолго, опять же в бою без них лучше. Каждый супостат как завидит их, так в тебя или пулей или с штыком полезет, подумает – начальство.

– А ты, оказывается, хитрый! – засмеялся Мадатов.

– А как же! Без хитрости на войне я б давно башку где-нибудь в Германии или Польше оставил.

– Снимай, ребята, ранцы. Без них будет легче, – сказал Мадатов.

– Это так, и колоть, и прикладом сподручнее... и солдатам полегше, вашися! – послышались голоса. И ранцы полетели на землю.

– Знает князь солдатское дело, – с одобрением заметил Санька и, подбравшись поближе к поручику, шепнул: – Вашбродь, Александр Николаевич, вы уж, заради бога, держитесь возле меня... штыковая атака – дело страшное и тяжелое.

Небольсин улыбнулся, тепло поглядев на старого солдата.

Паскевич не принимал решения, хотя вся персидская армия уже перестроилась в боевые порядки и заканчивала свой маневр. Он стоял на возвышенности и молча наблюдал за противником.

– Что он медлит, что он медлит? – с отчаянием закричал Мадатов. – Надо атаковать врага. Еще десять минут – и тогда будет поздно! Алексей Александрович, поезжай к нему, скажи, что пора ударить в штыки!

Вельяминов в сопровождении двух казаков поспешил к генералу.

Паскевич оторвался от подозрной трубы и хмуро посмотрел на него.

– Пора начинать атаку. Персы уже закончили перестроения, и каждая минута дорога, прикажите атаковать!

Иранская артиллерия открыла огонь. Тяжелые ядра стали падать возле русских шеренг. От взрыва бомб подножие Зазал-Арха стало затягиваться дымом, осколки с визгом и воем разлетались в воздухе. Солдатские шеренги стояли неподвижно.

– Ваше высокопревосходительство, персы уже открыли огонь. Сейчас они пойдут в наступление. Прикажите начать атаку! – снова, уже громче, сказал Вельяминов,

– Место русского генерала под ядрами, а не здесь, – вместо ответа произнес Паскевич и отвернулся.

Вельяминов повернул коня и поскакал обратно.

– Ну что? Разрешил атаку? – дрожа от нетерпения, спросил Мадатов.

– Он сказал, что место русского генерала под ядрами! – иронически произнес Вельяминов.

Он расстелил на земле бурку и улегся на ней.

– Безобразие, сумасшедший дом! – закричал Мадатов и, вскочив на



коня, понесся к вершине Зазал-Арха, где находился Паскевич.

Горячий и возбужденный, он подскочил в ту минуту, когда двое офицеров, полковник Симонич и подполковник Греков, оба взволнованные, горячо убеждали Паскевича начать атаку.

— А вы уверены в успехе? — нерешительно спросил генерал.

— Вполне, ваше высокопревосходительство. Наши кавказские солдаты умеют побеждать атакуя, — ответил Симонич.

— Отвечаю головой! — запальчиво закричал Мадатов. — Прикажите атаковать, иначе персияне раздавят нас массой.

Паскевич обвел их глазами и махнул рукой. Что подразумевал он этим жестом — неизвестно, но и Мадатов, и офицеры поняли это как знак разрешения атаки.

Мадатов в карьер понесся к стоявшим под огнем батальонам.

Персидские батальоны задвигались. Над их рядами заколыхались знамена. Золотые, желтые, зеленые, со львами и солнцем, со скрещенными саблями, они поднялись над колоннами одетых в синие куртки и белые штаны сарбазов. Послышались команды, взметнулись клинки пашек, забили барабаны, завывли рожки, и иранская пехота двинулась на штурм.

Над степью горело солнце, колыхалась пыль. Иранские орудия немолчно били по русским.

— Ну что, воздействовал на гвардейского Цезаря? — с легкой усмешкой спросил Вельяминов.

— Разрешил. Открывай огонь, а я к пехоте! — соскакивая с седла, на бегу крикнул Мадатов.

Иранская пехота уже была на расстоянии семисот-восьмисот шагов. Сверкая ружьями, она густой массой шла на редкую, двухбатальонную первую линию русских солдат.

Вельяминов, словно пружина, вскочил с бурки и бросился к орудиям, возле которых с дымящимися факелами стояли бомбардиры.

— Батареи, по наступающему врагу, первая батарея — ядра, вторая — бомбами — огонь! — закричал он, и уже давно ждавшие этого артиллеристы дали орудийный залп из двенадцати пушек.

— Беглый, с переменной на картечь, огонь! — снова закричал Вельяминов. — Хорошо, братцы, еще, еще так же! — возбужденно крикнул он, видя, как десятки бомб разорвались в самой гуще наступающих сарбазов. И персидские, и русские орудия гремели без перерыва. Сизый пороховой дым застилал все вокруг. Разрывы бомб, визг осколков, грохот залпов и шипение катившихся по полю ядер заполнили воздух.

— Ну, братцы, пришел и наш черед. Подпускайте ближе перса. Залп другой, а потом — в штыки! Я буду возле вас. Действуйте смело, мы — русские, а значит, победа с нами! — обходя солдат, говорил Мадатов.

— На вас первый удар, зато вы первыми и погоните кизилбашей, — проходя мимо Небольсина, сказал он. Солдаты не мигая строго смотрели на



подходившие иранские батальоны.

Иранские батальоны тем временем приблизились и вдруг, опустив штывы наперевес, с хриплым криком «Алла!» побежали на русских.

Сардар Аллаяр-хан, командовавший левым флангом иранской армии, махнул платком – и огромная двенадцатитысячная конница ринулась в шашки на два слабых, насчитывавших не более семисот пятидесяти сабель, донских казачьих полка! Донцы в пики приняли первый удар налетевших курдских сотен. Несколько минут шла невообразимая свалка, в которой ржали кони, взлетала густая пыль, слышались хриплые крики, удары, вопли и брань. Отдельные всадники, вырвавшиеся из общей массы дерущихся, действовали самостоятельно, кто стрелял с коня, кто колол или рубил одиночных пеших или отбившихся от общей свалки людей. Кони без всадников носились по полю, а треск сабель, орудийные залпы и крики людей тонули в общем невообразимом хаосе.

Казачи были смяты. Они повернули коней и, миновав выдвинутые во фланг херсонские батальоны, поскакали за вагенбург. Туча персидской конницы, вопя и размахивая саблями, понеслась за ними, но, по пути изменив направление, оставила смятые казачьи полки и повернула в сторону русской пехоты. Развернувшись на скаку и создав нечто вроде полковой колонны, она неудержимой лавиной ринулась на две русские роты. Дротики и шашки сверкали в воздухе.

Паскевич побледнел.

– Тыл в опасности. Выдвинуть роту из резерва.

Но его приказание никто не расслышал, так как батальон херсонцев, стоявший на фланге, вдруг опоясался огнем и дымом. Раздался грохот залпа, и десятки всадников и коней, как скошенные, легли под огнем херсонцев. Новый залп и затем крупная картечь двух русских фланговых орудий вырвали еще больше жертв у курдов.

Роты, свернувшись в каре, держа на прицеле ружья, были всего в пятидесяти шагах от первых рядов мчавшейся конницы. И вдруг передние кони разом остановились. Сшибая их, сзади налетели всадники. Те, что скакали за ними, заметались и, топчась на месте, стали что-то надрывно кричать... Сзади давила и напирала на передних вся густая масса иранской конницы. Впереди был глубокий, скрытый волнообразной поверхностью овраг, в котором уже стонали раздавленные упавшими конями люди. В эту минуту ударили картечью оба русских орудия.

Десять боевых ракет разорвались над головами курдов – и вся масса кавалерии повернула назад. Еще две гранаты лопнули под копытами коней.

– Молодцы, прекрасно отбили атаку, – сказал Паскевич, глядя на тучу пыли, в которой исчезла конная масса противника.

Азарт боя и только что одержанный успех воодушевили его.

Пушечный гул катился по долине, и его эхо отдавалось где-то возле Куры. Сизый дым стлался по земле. Огонь орудий и сверкания разры-



вов, то прекращавшийся, то снова начинавшийся грохот барабанов, возгласы команд, блеск штыков – все это напоминало Паскевичу батальные картины, которые висели по стенам императорского дворца.

– Хорошо идут персы, даже сохраняют равнение, – похвалил Давыдов, глядя на стройно и густо шагавшие батальоны персидской пехоты.

– Впору бы и французам! – отозвался Паскевич.

Сейчас он не был похож на того растерянного и неуверенного в войсках генерала, каким был полчаса назад. Лично храбрый, он не раз и в турецкой кампании, и во французском походе видел смерть лицом к лицу, и теперь картина начинавшегося генерального боя увлекла его. Он внимательно следил за всеми перипетиями сражения, зорко и вовремя замечая каждое движение своих и вражеских войск.

– Много их, Денис Васильевич! Как бы не подавили массой наши батальоны, – тревожно сказал он, указывая пальцем на восемнадцать иранских батальонов, уже вплотную подходивших к первой линии русских.

– Все возможно. Надо предупредить резервы.

– Прикажите карабинерам выдвинуть роту в случае, если и вторая линия не выдержит удара.

Давыдов быстро отдал приказание Толстому, и тот бегом сбежал к вагенбургу, где в напряженном ожидании стояли две резервные роты карабинеров.

Командир драгунского полка Шабельский подошел к Паскевичу и выжидающе посмотрел на него.

– Готовы? – коротко спросил генерал.

– Так точно. Ожидаем приказа, – спокойно ответил Шабельский.

Будьте возле меня. Скоро подойдет и ваш час, – снова всматриваясь в картину боя, уже захватившего всю клокотавшую огнем и дымом долину, сказал Паскевич.

Отхлынувшая масса персидской конницы домчалась до того места, откуда начала атаку на казаков.

– Где Джехангир-хан, где он, собачий сын? – рассыпая удары плети налево и направо по головам и спинам шарахавшихся в стороны кавалеристов, кричал командующий флангом Аллаяр-хан.

– Генерал Джехангир-хан, с вашего позволения, сардар, убит, – произнес кто-то.

– А Али-Мардан, командир вашей проклятой сволочи? – заревел Аллаяр-хан, обращаясь к беспорядочной толпе конных курдов, жавшихся в стороне.

– Убит!

– А буруджирский вали? Где эта собака, которая обещала мне охватить тыл русских?

– Ранен. Ему оторвало ногу. Вон он, умирает на траве, – слышались



голоса.

– Чтoб шайтан сожрал ваши внутренности, собаки! – не обращая внимания на возгласы окружавших его людей, сказал Аллаяр-хан. – Все, кто уцелел, немедленно соберитесь в колонну – и за мной!

Желтые и зеленые знамена снова взмыли над конницей. Звеня оружием, поднимая пыль, сталкиваясь конями, разбитые толпы курдской и лурской конницы стали снова собираться в колонну.

Аббас-Мирза сидел на черном, эбенового дерева кресле с резьбой и золоченой инкрустацией. Над головой валиагда был поднят огромный зонт, в тени которого Аббас внимательно и спокойно наблюдал за боем. Главнокомандующий иранской армией был спокоен. Победа над русскими была несомненна. Он хорошо знал малочисленность русских войск, знал и о том, что командует ими новый генерал, совершенно не знакомый ни с Персией, ни с Кавказом.

– Аллах дает нам победу. Судьба вновь возвращает наши исконные земли престолу Ирана, – еще с утра уверяли его сановники и генералы. И даже немногословные англичане, советники Олсон и Кларк, были убеждены в полном разгроме немногочисленного русского отряда.

Неудача, постигшая конницу Аллаяр-хана, не беспокоила наследника.

– Кони и люди зарвались и наскочили на засаду. Это бывает, да и притом не кавалерия с ее наскоками решает судьбу сражения, а пехота и артиллерия, которых у нас много и которые только вступают в дело, – сказал он, разглядывая облака дыма, сквозь которые были видны его многочисленные сарбазы, уже вплотную подошедшие к русским.

Вельяминов, громко выкрикивавший слова команды, охрип. Артиллеристы, тяжело дыша от духоты, пыли и пышащих жаром нагретых орудий, еле успевая отирать пот рукавами, методично били по наступающей иранской пехоте.

– На штык! – закричал Мадатов, и оба русских, егерский и ширванский батальоны ринулись вперед.

Подполковник Греков, бежавший впереди батальона, пашкой срубил персидского солдата, второй замахнулся на него, но подоспевший Санька с размаху вонзил штык в грудь сарбаза. Выдернув его, унтер сбил прикладом другого и, отбив пашечный удар, снова вонзил в живот толстого иранского офицера длинный трехгранный штык. Вокруг кипел рукопашный бой. Пыль от сотен ног забивала глаза, залезала в горло, стук штыков, удары прикладов, треск одиночных выстрелов, крики «ура» и «алла» смешались воедино.

Небольсин ударом пашки свалил сарбаза и, продолжая махать ею, врубился в самую гущу дерущихся людей. В ожесточенной свалке трудно было разглядеть лица, и только голубые мундиры персов отличали их



от русских солдат, бывших в белых рубахах.

В самую критическую для русских минуту, когда казалось, что нахлынувшие массой батальоны персов раздавят два русских батальона, два других, стоявших во второй линии на случай прорыва врага, с криком «ура» без приказа рванулись вперед на помощь изнемогающим егерям и ширванцам.

Удар этих неожиданно свалившихся в гущу боя батальонов смял персов. Не выдержав, персидские шеренги полегли под штыками разъяренных карабинеров, грузинцев и ожесточенно дравшихся егерей. Ширванцы, прорвав центр иранской пехоты, уничтожали сарбазов.

Правофланговая конная масса персов пришла в движение. Мамед-Мирза бросил свою девятитысячную конницу в атаку на грузино-татарскую милицию, охранявшую левый фланг русской позиции. Вся эта масса обрушилась на семьсот человек. Не выдержав удара, милиция обратилась в бегство, открыв тыл и фланг занятой рукопашным боем пехоты. Иранская кавалерия, преследуя грузин, доскакала до пехотных частей.

В эту наиболее ответственную для всего сражения минуту Паскевич, внимательно следивший за ходом битвы, жестом подозвал Шабельского и, указывая на фланг несущейся в карьер иранской кавалерии, коротко сказал:

– Истребите их!

Шабельский подбежал к своим дивизионам.

– Драгуны, пришел час славы! Дивизион, за мной! В атаку, марш-марш! – скомандовал он.

Эскадроны с места взяли в галоп и понеслись на фланг и тыл иранцев.

– Шашки к бою! Руби негодяев! – взмахнув клинком, закричал Шабельский и сам первым срубил иранского кавалериста. Дивизион вломился во фланг неприятельской конницы. И тут Паскевич увидел, как еще вчера обруганные им драгуны сабельным ударом раскололи иранскую колонну. В восхищении он даже снял с головы фуражку, видя, как «эти не умеющие рубить», «не знающие дивизионного перестроения мужики» рубили, топтали, кололи и беспощадно истребляли еще минуту назад грозную иранскую конницу.

Полковник Симонич бежал рядом со своими солдатами. Серб по происхождению, этот храбрый боевой офицер давно сроднился с Россией. Он любил все русское, не забывая и своей угнетенной турками родины.

– На штык, бей, коли их, ребята! – закричал он, видя, как уже сплились в рукопашной ширванцы и егеря. Его грузинцы ворвались в самую гущу боя так стремительно, что прорвали центр наступающих персиян.

– Никогда не видел столь стремительной атаки. Буря, а не солдаты! –



восхищенно сказал Паскевич.

— Даже наполеоновская гвардия не устояла б против такого удара, — заметил Давыдов.

Оба генерала, затаив дыхание, возбужденные и изумленные, смотрели с возвышенности вниз, где сверкали штыки, дымилась степь, падали люди и, вгрызаясь в грозную иранскую дугу, давя и сокрушая ее, пробивались русские батальоны.

— Непостижимо! — пожал плечами Паскевич.

Симонич упал.

— Братцы, командира убило! — закричали бежавшие возле солдаты.

— Ранило, — превозмогая боль и приподнимаясь с земли, сказал полковник, — не обращайтесь на меня внимания, бейте врага, не давайте ему пощады!

— Эй, носилки сюда!

— В бой, господа, битва только начинается. По местам! — крикнул Симонич.

Фельдшер уже перевязывал его ногу. Рана была тяжелая — раздроблена кость, но Симонич не разрешил уносить себя с поля боя.

— Бой только начинается. Положите меня на горке, чтоб я видел всю картину, — приказал он.

Полулежа на бурке, не обращая внимания на раны и грохочущий возле бой, он командовал своей пехотой. Заменивший его майор Долин был убит тут же, подполковник Лаптев тяжело ранен, убиты штыками капитаны Васильев и Майсурадзе, тяжело ранены майоры Дудов и Тер-Погосов. Штыки сверкали на солнце. Лязгала сталь, хрипло кричали раненые. Жгло солнце, туча густой желтой пыли слепила глаза, а люди ожесточенно дрались, и полковник Симонич, ослабевший и обессиленный, не уходил в тыл, бросая в нужные места свою резервную полуроту.

В отдалении от боя, в оврагах, кустах, садах и на возвышенности начинавшегося Кара-Дагского хребта находились люди. Они уже с самой зари сидели тут, дожидаясь конца сражения, которое определило бы, к кому им, вооруженным поселянам местных татарских сел, примкнуть. Они были убеждены, что малочисленные русские войска будут разбиты, но история и опыт прошлых войн России с Персией научили их уважать русское оружие и не доверять многочисленности иранских войск.

И сейчас, сидя вдали от боя, они со знанием дела обсуждали все детали ожесточенного сражения.

— Русские побьют кизилбашей, — убежденно сказал Агалар Муса-бек. — Если они выдержали натиск десятков тысяч сарбазов и не побежали, то теперь дело валиагда, — он плюнул на песок, — тьфу! Я знаю русских. Теперь они станут драться как львы!

— Они стойки, но, хвала Аллаху, и непобедимые войска его высочества





тоже не навоз, – с восточным спокойствием ответил его брат мулла Мешеди Мусаиб, убежденный сторонник персов. – Ай, сволочи, ай, собачьи дети, смотрите, они бегут! – вдруг бешенно завопил он, подскакивая с места.

– Я тебе говорил, брат, не спеши... так и вышло, русские всегда били иранцев.

Муса-бек с удовольствием смотрел на оправившуюся от удара грузино-татарскую милицию: повернув коней, на всем скаку врзалась она в гущу боя и примкнула к драгунам, яростно рубившим персов.

В лучах палящего солнца было видно, как, сверкая, взлетают клинки, и, казалось, даже издали был слышен хряск пашек. Драгуны так умело, отважно и свирепо рубили, кололи, топтали и уничтожали противника, что Паскевич восхищенно закричал:

– Атака, достойная Тюрена!<sup>1</sup>

Он с удивлением следил за драгунами, которых только вчера разносил за их неумение биться в конном строю. А они, разметав иранскую конницу, рубили одиночных, пеших и конных иранцев.

Налетевшие сбоку грузины и татарская милиция с воем и визгом обрушились на отступавшую конницу принца Мамеда.

И вдруг вся масса персидской кавалерии повернула в страхе и помчалась назад, давя в паническом бегстве свои же резервы. Сам Мамед-Мирза, наблюдавший за боем с высоты отдаленного холма, вскочил на коня и первым понесся по Елизаветпольской дороге в сторону Курак-Чая. Это бегство и увидел мулла Мешеди Мусаиб, наблюдавший с холма за боем.

Но этот эпизод не мог иметь решающего значения для исхода сражения. Оно, по сути, только разворачивалось, и вся еще нетронутая восемнадцатибатальонная масса иранской пехоты лишь начала ввязываться в бой.

Как только конница Мамеда-Мирзы вышла из боя, на ее место скорым шагом рванулись четыре пехотных батальона, встретившие драгун оглушительным залпом. Сарбазы смело кинулись в штыки на налетевших на них драгун.

Полковник Шабельский упал вместе с конем. Конь, которому пуля пробила голову, издыхал. Шабельский высвободился из-под него. Кругом шла ожесточенная сеча.

– Вапскобродь, садитесь на моего коня! – крикнул ему один из драгун, и полковник, вскочив в седло, опять показался перед своим дивизионом.

Грузины гнали остатки конницы Мамеда, в центре в жестком руко-

---

<sup>1</sup> Маршал Тюрен – знаменитый французский кавалерист и крупнейший полководец XVII в.



пашном бою изнемогали батальоны первой и второй линии. Вельяминов перенес огонь артиллерии на резервы противника. Сутолока и сумятица боя мешали разобраться в обстановке.

Паскевич заметил тяжелое положение первого дивизиона драгун. Он подозвал командира второго дивизиона майора князя Андроникова.

— Атакуйте своими эскадронами пехоту персов. Истребите ее, не дайте уйти никому.

Драгуны Андроникова, уже давно ждавшие этого момента, с таким напором вломились во фланг иранской пехоты, что смяли первые шеренги сарбазов. Свежие эскадроны в пять минут шашечной рубкой положили четыре ряда сарбазов. Звон стали, ударяющейся о штыки, вопли и стоны, крики дерущихся, грохот рвущихся гранат, ржание коней перенеслись вглубь иранской позиции. Правого крыла персидской дуги уже не существовало, бой разгорелся в центре и на левом фланге, где два батальона русской пехоты и донские полки, отесняемые дружными и сильными ударами персов, шаг за шагом отступали, сбиваясь к городским садам Елизаветполя.

Аббас-Мирза медленно пил холодный освежающий айран<sup>1</sup>. Наследник иранского престола устал. Затянувшееся сражение утомило его. В исходе боя он не сомневался и сейчас, несмотря на то что эти русские мужики с самого утра неутомимо и стойко сражались с его полками.

Зять шаха Аллаяр-хан, командовавший правым флангом, после неудачи его конницы придвинул все свои резервы.

— Если вы, сучьи дети, и теперь не уничтожите этих свиноедов, я сожгу вас, мерзавцев, на огне! Каждому из тех, кто принесет по голове русского, я уплачу по туману<sup>2</sup>, а если не сумеете, то... не возвращайтесь! — помахивая плетью, грозно закончил он.

Снова завывли рожки, и подтянувшаяся конница вновь построилась в боевой порядок. Позади нее стояли четыре орудия и три батальона, взятые из резерва.

— Я сам поведу вас, педерсек!<sup>3</sup> Вы увидите, как надо воевать, как надо выпускать наружу внутренности из этих проклятых Аллахом русских свиноедов!

Первые три тысячи своей конницы он кинул на оправившихся от удара донских казаков, еще две послал в обход, а сам с остальной конницей, орудиями и пехотой, под барабанный бой и громкие, не умолкающие крики «худа» и «алла» пошел на два батальона карабинеров, картечным огнем и точным ружейным залпом встретивших его.

Персидские полки наступали, не обращая внимания на огонь, но Аллаяр-хан для пользы дела решил отстать и издали, будучи вне досяга-

<sup>1</sup> Сыворотка.

<sup>2</sup> Два рубля серебром.

<sup>3</sup> Собачьи дети.



емости пуль и картечи, руководить боем.

– Э-э, русские отступают. Я говорил тебе, что иранский лев пожрет гяуров, – радостно сказал мулла Мешеди Мусаиб, потирая руки. – Пора и нам ударить по гяурам, а то никакой пользы не будет!

– Не спеши, а то мы из-за спешки попадем в беду, – осторожно ответил Агалар Муса-бек. – Аллах еще не определил победы. Чаши весов склоняются и туда и сюда.

Жителям, ожидавшим добычи, уже надоело однообразие боя: рев пушек, гул залпов, пыль и эхо, отдававшееся за Курой. Некоторые из поселян, утомившись от ожидания, улеглись спать в тени, наказав родным вовремя разбудить их.

А бой все гудел и раскатывался по степи, и памятник Низами одиноко возвышался над клубившейся пороховым дымом и пылью земель.

Подполковник Греков, выхватив пашку, бросился вперед. Солдаты, обгоняя его, с криками «ура» уже кололи набегавших, тяжело и натруженно дышавших сарбазов. Прапорщик Язон Чавчавадзе, человек атлетического сложения, рубил саблей по головам персов, чей-то штык вонзился в плечо иранского офицера, яростно отбивавшегося от наседавшего на него Чавчавадзе. Санька отбил выпад иранского пехотинца и с маху вонзил штык в живот молодого перса, сразу осевшего на землю с бледными дрожащими губами.

– Кол-ли, ура, бра-атцы! – хрипло орал фельдфебель Пронин, размахивая вправо и влево плохо отточенной саблей. Вдруг он споткнулся, ноги его забились, а по лицу потекла кровь. Санька даже не взглянул на него. Опытный старый солдат, он знал, что нельзя отвлекаться во время боя, где любая неосторожность грозит смертью.

Высокий, черноусый, с ярко-белыми зубами иранец на бегу выстрелил в него. Санька успел ударить его штыком в плечо, и выстрел пошел куда-то в сторону, но в гуще дерущихся людей пуля несомненно уже попала в кого-либо – так густа, плотна и суматошна была толпа убивающих друг друга людей.

Небольсин, держа два пистолета в руках, не целясь, выстрелил в тесную, плечо к плечу набегавшую шеренгу сарбазов и, швырнув ненужные уже пистолеты, рванул из ножен острую, наточенную, как бритва, пашку. Шагах в двадцати от него колыхалось персидское знамя – огромное белое полотно, на нем вытканый золотом лев держал в лапе обнаженную саблю. За львом поднималось солнце. Десятка два ширванцев уже набежали и сшиблись врукопашную с сарбазами, охранявшими знамя. Небольсин увернулся от штыка толстого низкорослого иранца и с размаху ударил его пашкой по голове. Иранец ахнул, закричал и, выронив ружье, упал лицом вниз.

– Добре огрели, Александр Николаевич, держитесь возле, – услышал



он голос Саньки, успевшего свалить прикладом еще одного сарбаза. Они стали пробиваться к знамени. Новая волна карабинеров и грузинцев ударила по персам.

Прапорщик Чавчавадзе, уже дважды раненный штыками, бросил свою переломившуюся пашку и, схватив с земли брошенное кем-то ружье, словно оглоблей бил по головам сарбазов.

— Здоров, медведь, — одобрительно сказал Санька и прицелился в перса, державшего знамя. — На вот, прими угощенье.

Знамя рухнуло, но сейчас же десяток сарбазов подхватили его, и рукопашная с неослабевающим остервенением разгорелась у знамени. Небольсин видел, как подняли на штыки Грекова, как упал взводный его роты Савчук, как Елохин с такой силой ударил в грудь какого-то сарбаза, что штык почти насквозь пропорол его.

— Ух, сво-олочь, — тяжело дыша и с трудом выдергивая обратно штык, сказал Санька.

В пыли и духоте уже трудно было и дышать, и драться, но сарбазы, хотя и весьма сильно потрепанные, но еще многочисленные и упорные, сражались ожесточенно и бесстрашно. Новые два батальона персов, подошедшие из резерва, с ожесточением бросились в штыки на русских.

И именно в это время в их фланг вломился дивизион нижегородских драгун, тот самый, который кинул на помощь Паскевич.

Знамя снова упало. Это прапорщик Чавчавадзе, держась за штык, молотил прикладом по головам сарбазов. Белая его рубаха была запятнана кровью, из пробитого бедра сочилась кровь. Без фуражки, огромный, растрепанный, страшный, с хриплым кряхтением обрушивал он на головы персов тяжелый приклад.

Сарбазы не отступали. Если их кавалерия быстро показала спину, то пехота, разбившись на кучки, огнем и штыками отбивалась от драгун.

Вельяминов, видя, что сзади спешат иранские резервы, приказал поднять хоботы орудий и дал залп гранатами через головы дерущихся. В бою случайность имеет огромное значение. Этот залп, сделанный больше наугад, чем по расчету, скошил передние ряды сарбазов, бежавших на выручку своим. Две гранаты упали под ноги девяти офицеров, и все девять вместе с командиром полка полковником Кули-ханом были разорваны в клочья. Второй залп пришелся на середину замешкавшейся, смущенной потерей офицеров солдатской толпы. В эту же минуту грузинский дворянин Ираклий Вачнадзе с тремя-четырьмя десятками грузин и сотней татарской милиции ударил в пашки. Резервы обратились в бегство, во время которого Вачнадзе зарубил трех солдат и захватил знамя, на котором был нарисован желтый лев, держащий в лапах земной шар.

«Весь мир подвластен тебе!» — было написано на этом знамени.

И еще одна случайность ускорила финал этого фактически уже вы-



игранного русскими сражения.

Аббас-Мирза с беспокойством озирает поле битвы, и нигде он не мог увидеть и признака поражения или слабости русских.

– Ваше высочество, пора пустить в дело вашу гвардейскую конницу. Подошел самый нужный для последнего удара момент, – сказал Олсон. – Ваши сарбазы устали, им нужна помощь!

– Палача и веревки им нужно, собачьим детям! – в бешенстве воскликнул Аббас. – А почему русские не устали? Ведь их в десять раз меньше, чем моих негодяев! Почему они дерутся, не ожидая помощи?

– Аллах велик, лев Ирана. Эти свиноеды тоже утомятся, и тогда могучие воины вашего высочества выпьют их кровь, а тела бросят шакалам, – льстиво произнес Угурлу-хан, сын некогда владевшего Ганджинским ханством Агамали-хана, бежавший в Персию и теперь привезенный оттуда и вновь назначенный правителем всей Ганджи. Он еще раз поклонился валиагду и вдруг изменившимся голосом воскликнул: – Что это? К русским идет помощь! Смотрите, по Тифлисской дороге к ним спешат войска!

И Аббас, и Олсон, и Эмин-Доуле, и весь штаб, окружавший Аббаса-Мирзу, повернули головы туда, куда указал Угурлу-хан.

Огромное облако пыли поднялось за русским войском. Там по Тифлисской дороге что-то быстро приближалось к русскому отряду.

– Это – Ярмол-паша! Это он, проклятый кабан, идет к ним на помощь!

Что-то сверкало сквозь тучи пыли. Это было похоже на движение конницы.

– Проклятые драгуны, это они, конные солдаты, чтоб им сгореть в аду! – приглядываясь из-под ладони, сказал кто-то из свиты.

– Ярмол! – зловеще пронеслось над всеми. То, чего больше всего опасался наследник и его генералы, совершилось. Ермолов заманил их в ловушку, выставив всего семь тысяч солдат, сам же с остальной армией появился в самый разгар боя.

– Это – Ермолов! – встревоженно сказал Аббас-Мирза.

Дружное «ура» раскатилось в центре. Ширванцы и карабинеры, разгромив центр иранской пехоты, ринулись вперед. Шабельский и Андроников со своими драгунами давили, топтали и рубили бегущих сарбазов. Четыре ядра упали недалеко от ставки наследника. Это полубатарей русских, зайдя с обнаженного левого фланга, обстреляла бегущих персов.

Драгуны прапорщика Магомета Абисалова догнали убегающую верблюжью артиллерию и, порубив прислугу, заворотили верблюдов, нагруженных восемью фальконетами.

Граната с визгом разорвалась за ставкой Аббаса-Мирзы. Вторая лопнула возле коноводов, и «непобедимый лев Ирана», бросив свое вызолоченное кресло, покинул поле боя и свое разбитое, истекавшее кровью



войско.

Паскевич тоже обратил внимание на неожиданно появившееся в тылу русских войск густое облако пыли. Это удивило и испугало его. Помощи от Ермолова он не ждал, да и быть ее не могло. Генерал отлично знал, что Ермолов дал ему все, что имел. Но в таком случае это могли быть войска эриванского сардара Гасан-хана, шедшего на помощь Аббасу-Мирзе. Обеспокоенный этим, Паскевич выслал на Тифлисскую дорогу сотню казаков. Донцы быстро исчезли в пыли, и это напугало до смерти наследника престола, решившего, что казаки посланы для того, чтобы привести в его тыл Ермолова и этим отрезать им путь отступления.

Весь центр иранской армии вместе с Аббасом-Мирзой и всей его артиллерией в панике мчался уже к Курак-Чаю, когда казаки встретили русский обоз, на широкой рыси шедший с провиантом и боеприпасами к Паскевичу. Заботливый Ермолов, зная, что бой будет ожесточенный и долгий, прислал триста ядер, триста гранат и три сотни грузин-добровольцев.

К казакам подскочил черненький, весь в пыли, обвешанный оружием майор.

— Как дела? — еще издали осведомился он.

— Идет бой, борются дюже, однако персюку конец, — уверенно сказал донской сотник. — А вы кто такие будете?

— Скачем к генералу, там объясню все! — закричал майор и, подхлестнув коня, помчался к Зазал-Арху. За ним ринулись карьером все три сотни грузин. Они не останавливаясь скакали до того места, где драгуны и милиционеры рубили упорно отбивавшиеся разрозненные группы персидских солдат.

— Кто таков? — спросил Паскевич майора.

— Майор Корганов, ваше высокопревосходительство! Везу бомбы, ядра, порох, провиант и три сотни конной милиции.

Паскевич засмеялся. Это было с ним в первый раз с того момента, как он выехал из Москвы.

— Бог вас принес, майор. Эти дуралеи приняли вас за русских, а я — за персиян. Почему не встречал вас раньше в Тифлисе?

— Не имел счастья угодить его высокопревосходительству генералу Ермолову, — вздохнул, сделав скорбное лицо, Ванька-Каин. — Был арестован им и назначен к увольнению со службы.

— За что? — воззрился на него Паскевич.

— Не льстив, не люблю лжи, ненавижу интриги и не хотел угождать некоторым знатым лицам, — глядя в глаза Паскевичу, с горечью и такой неподдельной искренностью сказал Корганов, что генерал, окинув его еще раз взглядом, произнес:

— Хорошо! Останетесь при мне.

Звезда Ваньки-Каина с этой минуты засияла с новой и исключитель-



ной силой.

Разрозненные остатки сарбазов отбивались ожесточенно, но пыл их угасал. Неудача конной атаки и большие потери охладили их. Сейчас они дрались с мужеством отчаяния, не веря в свою победу, но и не желая сдаваться в плен. Атака драгун ошеломила их, разбитые батальоны уже не смогли построиться. Грузины гонялись за расстроенными, смятыми кучками отбивающихся сарбазов.

Небольсин, тяжело дыша, усталый, запыленный, полуоглохший от оружейного гула, вместе с несколькими солдатами окружил десятка полтора сарбазов.

– Теслим ол!<sup>1</sup> – закричал поручик, угрожающе поднимая шашку.

Персы опустили ружья, двое подняли руки, кто-то робко и умоляюще сказал:

– Аман, ага, аман!<sup>2</sup>

– Забирай их, ребята, гоните в общую кучу! – скомандовал поручик.

Из группы пленных вырвался один, худой со свалывшимися длинными волосами. Он что-то закричал и, подбежав к поручику, ударил его сзади широким, блеснувшим в воздухе кинжалом.

Санька, не отходивший от Небольсина, успел подставить ствол ружья. Кинжал зазвенел и, скользя по стволу, снес сустав большого пальца Саньки. Поручик охнул, пошатнулся и упал на землю. По его лицу потекла кровь.

Санька, не замечая боли, с остервенением ткнул перса штыком. Сарбаз дико завыл и со стоном упал лицом в песок.

– Бей их, гадов, ребята, чего смотрите! – побелев от гнева, завопил Санька.

– Ух, сволочь подлая! – ударив еще раз штыком уже мертвого перса, сказал Санька.

Санитары подняли Небольсина. Поручик не потерял сознания, но голова его была тяжела, губы пересохли, не хватало воздуха. Он с трудом дышал, кто-то из солдат плеснул на него водой из фляги.

– Спа... спасибо... братец, – еле слышно прошептал поручик.

– Давай носилки, Савоськин, сюда! – закричал кто-то, и ослабевшего, уже терявшего сознание поручика понесли к медико-фельдшерскому пункту.

– Вперед, вперед, – кричали, пробегая дальше, офицеры. – Не застывать, вперед, ребята!

Санька проводил взглядом носилки, тяжело вздохнул, огляделся и, взяв штык наперевес, побежал вперед.

Мадатов спокойно разъезжал позади дерущихся, не упуская из виду

<sup>1</sup> Бросайте оружие!

<sup>2</sup> Пощады!



ничего. Генерал был одарен воинской интуицией. При нем был небольшой, в две с половиной сотни, конный резерв, составленный из карабахских и ганджинских армян, людей, беззаветно преданных ему. Среди них было около сорока родичей, носивших ту же фамилию.

Мадатов ждал, весело и беззаботно переговариваясь с начальниками сотен, иногда подъезжая к командовавшему артиллерией Вельяминову или посылая к дерущимся своих адъютантов.

С той поры как Паскевич самоустранился, Мадатов уже не страшился за судьбу сражения. Армянские сотни, ординарцы, адъютанты и солдаты-батарейцы, окружавшие его, с радостным изумлением смотрели на генерала, в грохоте и хаосе генеральной битвы державшего себя, как обычно, весело и непринужденно. Его спокойствие и уверенность передавались им. К Мадатову поминутно подъезжали ординарцы с донесениями. Он знал о смерти Грекова и других боевых офицеров. Он видел ожесточение боя и исключительное напряжение своих войск, но он, понимая русского солдата, верил, что победа все равно, как бы ни был тяжел бой, останется за его полками. И он уверенно управлял всем сложным механизмом боя.

Когда драгуны Шабельского смяли и разнесли пехоту персов и вся линия иранского центра дрогнула, старый гусар проснулся в генерале.

– Пашки к бою! – выхватывая свою гурду<sup>1</sup>, закричал он и рванул по vodi.

Армяне, казаки, ординарцы, выхватив пашки, с ревом поскакали за ним.

В центре и на левом фланге все было кончено. Паскевич с высоты Зазал-Арха видел, как стремительно уносилась вспять иранская конница, как умчался Аббас-Мирза, как исчезла вся артиллерия персов. Он видел, как стихает поле боя, как по нему ведут пленных, собирают трофеи, гонят верблюдов и лошадей. Дым и пыль оседали на поле.

Победа казалась полной, но Паскевич, пораженный этим неожиданным успехом и видя, какие огромные силы персов бежали с поля боя, все еще боялся за исход сражения.

– Они могут опомниться и всей массой обрушиться на Мадатова. Зачем этот безумный человек погнался за ними? – взволнованно развел он руками. – Если персы спохватятся, они раздавят его, и успех наш превратится в поражение.

Не слушая Давыдова, он приказал драгунскому подполковнику Салтыкову с дивизионом драгун и двумя батальонами херсонцев, то есть всем, что имелось у него в резерве, спешно идти на помощь Мадатову. Отряд форсированным маршем двинулся за Мадатовым к Курак-Чаю.

Но на правом фланге бой не затихал. Стрельба и орудийный грохот усиливались, и было видно, как, теснимые персами, отступали все дальше

<sup>1</sup> Лучшие на Кавказе дагестанские клинки.





и дальше к Елизаветполю донские казачьи полки и две роты херсонцев.

Вся конница Аллаяр-хана, с тремя батальонами и четырнадцатью орудиями, давила и оттесняла медленно, с боем отступавших русских.

Два эскадрона драгун под командой майора Наврузова и два батальона херсонцев с четырьмя орудиями под общим командованием подполковника Салтыкова, посланные Паскевичем в помощь Мадатову, уже прошли Курак-Чай, когда им навстречу попался полковник Шабельский.

— Куда вы, воины? — весь в пыли, в сбившейся набекрень фуражке, отирая рукавом со лба пот, спросил Шабельский.

— Посланы генералом Паскевичем в помощь генералу Мадатову, — доложил начальник отряда Салтыков.

— Зачем к Мадатову! Там уже нечего делать, Аббас уже далеко, и его преследуют мои драгуны, грузины и милиция. Надо идти не туда, а вон куда, — вытягивая руку в сторону грохотавшего возле Елизаветполя боя, сказал Шабельский.

— Но у меня приказ генерала Паскевича. Я не могу послушаться его.

— В Курак-Чае нечего делать, а тут гибнут русские люди! Вы понимаете это?

— Вполне. И я сам бы пошел туда, но приказ генерала, — развел руками Салтыков.

— Вот что. Я здесь старший в чине и приказываю вам повернуть отряд на помощь нашим. Я беру командование на себя, а также и всю ответственность за нарушение приказа генерала.

— Очень рад, — с облегчением сказал Салтыков.

Уже через полчаса драгуны атаковали тыл Аллаяр-хана, а карабинеры пошли в штыки на оставленный в резерве батальон сарбазов.

Непобедимый Аллаяр-хан, видя в тылу у себя атакующие русские колонны и сверкающие в воздухе клинки драгун, бросил пехоту и со всей своей кавалерией бежал с поля боя.

Оставленные на произвол судьбы батальоны стали с боем отходить к холмам, возвышавшимся над Елизаветполем. Разбившись на кучки, они залегали в овражках, прятались в кустах и среди камней и яростно защищались. Херсонцы и карабинеры штыками, казаки пиками, а драгуны пашками истребляли их.

Брошенное знамя, фальконеты, орудие попали в руки драгун, но обогнанные казаки и драгуны кололи, рубили и не брали в плен сарбазов.

Остатки батальонов добрались до горки и окопались на ней.

— Вот теперь, молодцы, пришло и наше время: победили русские, кизил-баши бегут! — закричал Агалар Муса-бек, и вся орава бездельников рассыпалась по окрестностям, грабя, вылавливая и добывая бегущих персиян.

Драгуны и грузинские сотни ворвались в Курак-Чай. Мадатов, сначала опасавшийся, что персияне опомнятся, махнул рукой и приказал пре-



следовать их елико возможно.

Его гусарский мундир был распахнут, от быстрой скачки раскраснелось лицо; боль в ногах, мучившая генерала, прошла.

– Чудеса! – хохоча от всей души, сказал Мадатов. – От Курак-Чая к Елизаветполю Аббас-Мирза шел больше двух суток, а после разгрома это же расстояние проскакал за полтора часа!

Лагерь валиагда был без боя захвачен драгунами, а сам «непобедимый железоед» уже находился далеко от Курак-Чая.

Весь обоз, шатры и палатки, мешки с зерном и рисом, богатые ткани и ковры, сотни буйволов, быков, верблюдов – словом, весь богатый лагерь персидского наследника попал в руки русских.

– Не останавливаться, вперед, добивать до конца! – приказал Мадатов.

Грузины и милиция сгоняли пленных и собирали трофеи. Сам же генерал с остальной конницей понесся дальше, преследуя персиян. Проскакав и второй и третий лагерь персиян, также в панике брошенные ими, подобрав многочисленные трофеи, Мадатов с драгунами добрался до Арпа-Кянта. Только спустившаяся ночь да малочисленность и усталость преследователей помогли спастись тому, что осталось от иранской армии.

Окруженные на возвышенности иранские батальоны упорным огнем встретили херсонцев и карабинеров. На предложение Шабельского сдаться они ответили огнем.

Сумерки быстро сгущались, и тогда полковник приказал картечью и гранатами обстрелять холм. Ударили орудия. Картечь сметала защитников последнего опорного пункта иранцев.

Забили барабаны. Донцы перекинули пики наперевес, драгуны рванули из ножен клинки, сверкнув штыками, пехота развернулась к штурму.

На холме показалось белое знамя. Сарбазы сдавались. Свыше девяти-сот человек с двумя батальонными командирами, двумя орудиями, тремя знаменами и несколькими фальконетами сдались Шабельскому.

Это был последний акт генерального сражения на елизаветпольской равнине. Иранской армии больше не существовало, и памятник Низами смотрел на равнину, по которой гнали пленных и подбирали трофеи усталые, возбужденные и счастливые русские солдаты.

При поспешном бегстве неприятеля русские захватили три лагеря, четыре знамени, четыре орудия, много фальконетов, до ста зарядных ящиков, более двух тысяч пленных.

Персы потеряли убитыми свыше двух с половиной тысяч человек.

С русской стороны было убито двенадцать офицеров и двести восемьдесят пять солдат, причем большая часть этой потери приходилась на долю Нижегородского полка, потерявшего семь офицеров и сто тридцать семь



драгун.

Обрубленный палец мешал Саньке в бою. Кровь перестала сочиться, но острая боль вскоре перешла в ноющую, то и дело дергающую весь локоть.

Поле боя было спокойно. Битва закончилась, и солдаты поротно собирались на равнине.

— Э-эй, третья рота... ширванцы, сюда! Егеря, в колонну! Грузинцы, к дороге! — слышались крики офицеров, собиравших своих отбившихся или копавшихся в трофеях солдат.

Санька пошел к колонне ширванцев. Солдаты, усталые, возбужденные, сходились отовсюду.

— Ка-ак его вскинули на штыки! — рассказывал кто-то из очевидцев смерти подполковника Грекова.

— Ну, им тоже досталось! За командира мы положили мало не сотню персюков.

— Штыком лучше работать, сподручнее, — донесся до Саньки чей-то голос.

Морщась от боли, он стал в шеренгу, думая о Небольсине.

— А ты что, Елохин, здесь? — обратился к нему штабс-капитан Ручкин. — Иди, старик, в околоток. Разве ж можно с такой рукой в строй?

Санька глянул на ладонь. Обрубленный палец набух и потемнел.

— Кстати, и своего поручика повидаете. Передай ему, ежели жив, поклон от меня.

Слова офицера, словно прочитавшего мысли Елохина, встревожили унтера.

— Слушаюсь, вашбродь! — И, сдав свое ружье фельдфебелю, он зашагал в тылы.

«Как он, голубок наш Александр Николаевич, жив ли?» — беспокойно подумал он, тяжело вздыхая.

— Э-э, брат, расставайся с пальцем! Немедленно надо ампутировать, — сказал врач.

— Резать станете? — спросил Санька.

— Ну да! Где ж это ты столько времени болтался? Сразу следовало, да хорошо еще что вовремя пришел, а то всю ладонь напрочь отрезал бы, — разглядывая его опухший палец, продолжал врач.

— Вам видней, вашбродь! Резать так резать. А позвольте спросить, каков поручик наш, Небольсин Александр Николаич?

— Это что, твой ротный?

— Так точно, полуротный, — тревожно глядя на врача, объяснил Санька.

— Да. Кажется, был у меня такой, а может быть, это на другом пункте. Нас ведь, братец, здесь двенадцать докторов работает. Обожди, мы тебе сейчас отнимем палец, а потом и узнаем о поручике.



Врач посмотрел на палец, перевел взгляд на унтера и тихо спросил:

– Хватит силы, ежели прожгу тебе рану? Предупреждаю, будет больно, зато наверняка сохраним ладонь.

– Как изволите, вашбродь, делайте, что лучше, а насчет боли, – Санька усмехнулся и махнул рукой, – за двадцать пять лет действительной службы я, вашбродь, нахватался всего – от пуль и до «зеленой улицы».

Врач со вниманием посмотрел на старого солдата.

– Садись сюда, старина, да крепись и не дергай рукой. Если станет невмоготу, крикни.

– Ничего, вашбродь, стерплю. Делайте дело!

Врач облил водкой запекшийся обрубок пальца и насыпал на стол горстку пороха.

– Суй сюда палец.

Унтер вложил остаток большого пальца в порох, врач поднес лучину к пороху, и он, зашипев, вспыхнул ярким огнем и погас.

– Больно? – участливо спросил врач невозмутимо сидевшего Саньку.

– Малость есть, так точно! – ответил унтер.

– А теперь держись, начнем самое главное, – сказал врач и мигнул двум солдатам в белых, запачканных кровью халатах. Солдаты стали по сторонам Елохина.

– Не надо, ребята, выдюжу. Вы уж стойте себе по сторонам на всякий случай, – опуская на стол руку, сказал Санька.

Операция началась.

– Непостижимое чудо! Я до сих пор не могу понять его... Семь тысяч наголову разгромили персидского левиафана! – не скрывал своего восхищения Паскевич.

– И громили так, как могут бить только кавказские войска, – с нескрываемой гордостью произнес Симонич.

Он лежал возле Паскевича, нога его была забинтована, фельдшер только что перевязал его, и полковник с высоты Зазал-Арха озирает кровавое поле битвы.

– Когда Петр Великий победил в ночной атаке возле Шлиссельбурга и овладел двумя шведскими фрегатами, он велел выбить медали с надписью «И небывалое – бывает». Точно такую медаль следовало выбить и теперь, – сказал Сухтелен.

– Именно так. Я напишу о сем Его Величеству, – ответил Паскевич.

Сумерки сгущались.

Утро давно уже наступило, а подсчет трофеев все не был окончен. То далеко усакавшие при погоне за персами драгуны волокли подбранную где-то за двадцать верст пушку, то грузины гнали новую партию пленных, то жители окрестных деревень доставляли одиночных



сарбазов, пытавшихся спрятаться в садах или оврагах Елизаветполя. В числе таких пленных они приволокли на веревке и Угурлу-хана, того самого, который был привезен Аббасом-Мирзой из Тавриза и назначен правителем всего Ганджинского ханства. Угурлу-хана жители нашли где-то в кустах. Обобрав своего «правителя», они его основательно избили и в одних подштанниках, накинув ему на шею веревку, приволокли к Паскевичу.

Хан, под глазом которого сиял здоровенный синяк, дрожа от страха, умоляюще глядел на генерала.

Паскевич с безгловым удивлением выслушал его невнятный лепет и приказал одеть и отправить его в Тифлис.

Среди убитых и пленных уже опознали двух генералов, четырех полковников, двух вождей племен.

– Победа полная и блистательная! Его высочество Аббас-Мирза растворился в воздухе... – слезая с коня и разминая усталые ноги, сказал Мадатов. – Я, ваше высокопревосходительство, не спал ночь, все гнал-ся за ним, но, – Мадатов радостно развел руками, – догнать знаменитого иранского льва оказалось не под силу. Он, наверное, уже удрал за границу.

Мадатов был прав. Минуя Шушу, где находился Реут, Аббас-Мирза ринулся прямо к Араксу и уже на третий день после своего разгрома перешел через Худаферинский мост. Спустя еще два дня ни одного иранского солдата уже не было на русской территории.

Карабах, Ганджа, Шамшадиль и все ранее возмущившиеся провинции с покорностью и страхом вновь признали русское подданство.

Блистательная победа была воспринята царем как Божье благословение в дни его коронации. Не прошло еще года с того дня, как царские пушки на Сенатской площади раздавили восстание, и Николаю особенно была нужна победа над внешним врагом. Донесения Ермолова, курьеры с Кавказа и письма Паскевича привели царя в восторг.

– Вот что значит послать на театр военных действий настоящего боевого генерала, а не фрондера и якобинца, – улыбнулся Нессельроде, когда Дибич с сияющей верноподданнической улыбкой, почтительно и вместе с тем восторженно доложил царю о победе.

– Да-а, Иван Федорович, мой друг и отец-командир<sup>1</sup>, не подвел. Как вели себя войска и генералы?

– Генерал Паскевич в восторге от них, хотя и не скрывает своего удивления. Вот представления к награде.

Николай мельком глянул на большой список представления к награ-

---

<sup>1</sup> Одно время генерал Паскевич командовал 1-й гвардейской пехотной дивизией, бригадными командирами которой были великие князья – Николай (будущий царь Николай I) и Михаил. Вот почему Николай I иногда называл И. Ф. Паскевича отцом-командиром.



дам и быстро подписал его.

– Не жалеть награды. Это счастливое предзнаменование, это Божий перст, благословляющий начало нашего царствования, – сказал он.

Бенкендорф, Дибич, Нессельроде, Чернышев и Строганов, стоявшие вокруг, почтительно склонили головы, делая вид, что и не помнят о том, что началом царствования Николая было 14 декабря и казни декабристов.

Победители были щедро награждены за елизаветпольскую победу.

Император Николай пожаловал Паскевичу золотую саблю, усыпанную брильянтами, с надписью «За поражение персиян под Елизаветполем».

Князь Мадатов получил чин генерал-лейтенанта и также саблю, усыпанную брильянтами, с надписью: «За храбрость». Это была вторая брильянтовая сабля; первую он получил еще в 1813 году в чине полковника.

Вельяминов – орден святого Георгия III степени.

Георгия IV степени царь пожаловал полковникам Шабельскому и Симоничу и ряду отличившихся офицеров, среди которых был и Небольсин, одновременно произведенный в штабс-капитаны.

Только Ермолов не получил ничего, кроме «монаршего благоволения», выраженного ему в письме Николаем.

Три человека, различных по своему положению и национальности, присутствовавшие при Елизаветпольском сражении, так определили причины поражения персиян.

«Леность военачальников, хвастовство и неспособность Аббаса-Мирзы, недооценка им отличных боевых качеств русских солдат, и в особенности генералов Ермолова и Мадатова, привели к тому, что почти пятидесятитысячная отборная, хорошо экипированная, снабженная обильной артиллерией и неплохо сражавшаяся иранская армия была наголову разгромлена впятеро меньшим по количеству, но отлично обученным, спаянным дисциплиной и отвагой русским отрядом, которым управляли прославленные генералы Отечественной войны», – писал в «Таймсе» вскоре вернувшийся в Англию Олсон.

«Войска персов, и в особенности пехота, отлично вели себя на поле боя, умело маневрируя под огнем, смело идя «на штык», не боясь рукопашной, и если бы ими командовали хорошие офицеры, управляли сведущие в военном деле генералы, а главноначальствующий был не бездельник и невежда принц Аббас-Мирза, а хотя бы средней руки военачальник, то исход этого сражения был бы неизвестен...» – так сообщал об этом сражении Дибичу Паскевич.

«Когда наши непобедимые в бою и страшные в своем гневе железоеды и храбрецы, сарбазы пошли в сокрушительную атаку на грязных собак-русских, его высочество, брат Солнца, племянник Луны, существо,



державшее весь мир в своих руках, могучий в бою и ужасный в гневе, лев Ирана, валиагд Аббас-Мирза, чтобы лучше видеть, как его железоеды станут сокрушать хребты и головы несчастных русских, сошел со своего драгоценного кресла.

Не видя обожаемого и любимого своего вождя на прежнем месте, храбрые сарбазы содрогнулись. Они подумали, что, может быть, бомба из проклятых пушек русских свиноедов поразила валиагда. Скорбь охватила их сердца, и на минуту они сокрушились, чем и воспользовались собаки-русские и со свиным хрюканьем «ура» ударили в птыки на наших несколько опешивших сарбазов.

Чтоб показать, что он невредим и жив, и тем поднять дух и отвагу своих железоедов, его высочество, великий сокрушитель неверных, тень пророка на земле, валиагд Аббас-Мирза вскочил на своего быстроходного аргамака и понесся с саблей наголо к воюющим... но неблагоприятное животное споткнулось, и брат Солнца, племянник Луны, тень пророка на земле, его высочество Аббас-Мирза перенес свою высокую особу с высоты седла наземь, чем и воспользовались проклятые гяуры-русские и, накинувшись на наших сарбазов, стали беспощадно колотить их, поэтому бой окончился не совсем в нашу пользу...» — писал придворный историограф и летописец Гасан-Кули-Тебризи, сопутствовавший в походе на Грузию Аббасу-Мирзе.

## Глава 10

На русской территории уже не было ни одного иранского солдата. Войну надо было переносить на персидскую землю, но вражда между Паскевичем и Ермоловым разгорелась с новой силой.

Упоенный неожиданной победой, Паскевич решил идти за Аббасом-Мирзой и перенести войну за границу, овладеть Эриванью и Тавризом. Мадатов и Вельяминов, отлично зная характер противника, трудности зимней кампании в местности, по которой дважды прошла огромная иранская армия, предупредили его, что зимний поход невозможен.

— Крестьяне обобраны и разорены, провинции еще волнуются, беженцы, ушедшие с персами, хотят вернуться назад. Надо укрепить тыл, собрать хлеб, зерно, мясо, исправить дороги, мосты и только весной идти за Аракс, — сказал Мадатов.

— И за Араксом иранские деревни обезлюдели, хлеба и зерна нет и там. Все, кто мог, бежали вместе с Аббасом к Тавризу. Надо наполнить наши провиантские магазины, дожидаться идущих из России резервов, дать отдых войскам и пополнить недостаток в оружии и боеприпасах, вызванный боями, — добавил Вельяминов.

Паскевич напустился. И о генералах, которых всего неделю назад пре-



возносил как опытных, подготовивших елизаветпольскую победу командиров, уже 22 сентября он в своем журнале написал: «Эти неспособные люди хотят вырвать успех победы из моих рук. Это клеветы Ермолова, поставившие целью очернить неудачами мое имя...»

21-го он послал письмо Бенкендорфу, прося довести до сведения царя, что «Ермолов всячески старается уронить в глазах местного общества, населения и, главное, войск все добрые и разумные указания, кои идут ко мне от вас».

Генерал хорошо знал царя. Всякий намек на неповиновение или неисполнение царской воли Николай воспринимал как бунт, как повторение 14 декабря. Слова «местного общества, населения и, главное, войск» были дважды подчеркнуты генералом.

В особом письме царю Паскевич прямо писал: «Не могу, государь, находиться в столь странном подчинении человеку, который после столь знатной победы над неприятелем противится вторжению нашему в пределы Ирана и тем лишает нас плодов елизаветпольской победы...»

Тифлис ликовал. Разгром персов и их паническое бегство за пределы Грузии праздновали три дня. Пляски, вино, стрельба в воздух, скачки, народные гулянья, песни оглашали воздух. Имя Паскевича, дотоле неизвестного на Кавказе генерала, гремело на празднествах. Теперь уже никто не сомневался в том, что победитель при Елизаветполе победит и в Тифлисе. И только немногие, хорошо знавшие, что без Паскевича победа была бы еще более блистательной и скорой, вспоминали о Ермолове.

Войска стали на зимние квартиры, готовясь к весенней кампании, но оба генерала, не скрывая своих отношений, вели открытую войну.

По существу, Ермолов был одинок, он не имел влиятельных защитников при дворе. Лица, окружавшие престол, были глубоко антипатичны ему. Это были русские немцы – Бенкендорф, Пален, Нессельроде, Витгенштейн, Дибич, бароны Мейндорф, Цур фон Гаузец, графы Менгден, Клейнмихель, Гейден, Буксгевден – все те, кто не мог забыть фразу Ермолова, сказанную им еще покойному императору Александру. Когда тот, восхищенный отвагой и умом Ермолова, спросил его: «Скажи, чем наградить тебя?» – Ермолов с ядовитой иронией произнес: «Государь, произведите меня в немцы!»

Но и среди русских, окружавших царя, не было друзей. Все эти Чернышевы, Бутурлины, Меншиковы, Голицыны были холодными исполнителями воли царя. Они отлично знали, что Николай не терпит Ермолова и по мере сил старались уронить в его глазах опального генерала. Оставались Закревский и Давыдов. Но первый был уже стар и невлиятелен, второй все это время находился в отставке и только сейчас был прислан в Тифлис.

– Денис верный и надежный друг, но, – Ермолов вздохнул, – он ничего





не значит при дворе.

Встретил Санька своего поручика в Елизаветполе. Полевой госпиталь находился в доме бежавшего с персами бека. На топчанах и соломе, разостланной на земляном полу, лежали раненые.

Елохин, с туго забинтованной ладонью, висевшей на перевязи, зашел в офицерскую комнату, где лежал Небольсин. Со дня сражения прошло больше недели, и несколько оправившийся поручик с радостью встретил Елохина.

– Нашел меня, спаситель? – улыбнулся он Саньке.

– Дак я уже в третий раз прихожу, вашбродь, только доктора не допускали меня до вас, сказывали, пока рановато. Спасибо, нынче разрешили.

– А тебе, кавалер, видно, тоже досталось! – обернулся к нему человек в белом халате с густыми полуседыми баками на щеках, сидевший на табурете возле поручика.

Палата была офицерская, и поэтому Санька на всякий случай сказал:

– Так точно, вашбродь!

– Значит, это ты спас поручика! Это ты отбил ружьем удар?

– Если б он не подставил ружье вовремя – не быть бы мне в живых, – сказал Небольсин.

– Ну что ж. Получишь теперь четвертый крест. Что и говорить, заслужил его, старина!

«Ишь черт, привязался, ровно репей к заду!» – подумал Санька, которому хотелось поговорить с поручиком.

– Ты меня знаешь? – спросил незнакомец.

– Никак нет, вашбродь, вроде незнакомым.

Кругом захохотали, а Небольсин, улынувшись, пояснил:

– Это – его превосходительство генерал-майор Давыдов, знаменитый партизан. Как же не знаешь его? А еще бородинец!

Это был генерал-майор Давыдов, обходивший раненых и случайно задержавшийся возле Небольсина.

Санька был огорчен. Он растерянно смотрел на генерала и вдруг покачал головой.

– Ваше превосходительство, Денис Васильевич, как же я, старый пес, не признал вас... Век себе того не прощу... Ведь мне еще сам Алексей Петрович про вас сказывал – едет, мол, к нам старый дружок и односумник Денис Васильевич, а я, – он развел руками, – сплеховал-запамятовал... Вы уж извиняйте меня, ваше превосходительство!

– Ну чего там, пустяки! Ведь мы с тобой уже старики, и память уже не прежняя. Да вот, хоть и годы не молодые, – Давыдов показал на забинтованную руку Елохина, – а все же воевать да в штыки ходить приходится! – И, глядя на все еще смущенного Саньку, сказал: – Я завтра возвращаюсь в Тифлис, так что, передавать от тебя привет Алексею Петровичу



или нет?

— Передавайте, Денис Васильевич. Скажите, слово держу крепко и барина, — он посмотрел на Небольсина, — сберег, как было можно.

— Передам, а ты, как будешь в Тифлисе, зайди ко мне, вспомним старые походы, — и Давыдов, сделав общий поклон раненым, вышел из палаты.

Спустя две недели Небольсина привезли в Тифлис. Госпиталь находился над Курой, тенистый сад, прохлада, шедшая от воды, и немолчный шум реки успокоительно действовали на больных.

Раза три приходил Сеня, сначала встревоженный, а затем успокоенный и веселый. Он по-прежнему жил на той же квартире, в Сололаках.

— Александр Николаевич, хозяйка прислала вам эти гостинцы, — раскладывая фрукты и сдобные булочки, говорил он, — а это, — он улыбнулся, — от меня и Александра Ефимовича, — и он выложил на стол большой, хрустнувший под его пальцами арбуз.

— Спасибо, Сеня. А что же он не пришел с тобой? Как его рука?

— Заживает. А не пришел потому, что его сегодня четвертым Егорием проздравили и вчистую отпускают как уже негодного по ранению. Он, Александр Николаевич, теперь вольный, от крепости освобожден и словно рехнулся от радости. И то правда, полный бант крестов, службу кончил и вольную получил. Есть от чего потеряться! Завтра обязательно к вам пожалует. А верно, Александр Николаевич, будто вас в штабсы произвели и тоже Егорием наградили?

— Не знаю, Сеня, — пожал плечами Небольсин.

— Это точно. Все говорят, что царь здорово всех наградил за героизм. А что, Александр Николаевич, — вдруг спросил Сеня, — верно, будто Алексей Петрович уходит с Кавказа?

— Тоже все говорят? — спросил Небольсин.

— Тоже. Кто горюет, кто и радуется, другие молчат да дивятся, — Сеня снизил голос. — Рассказывают, что они друг с дружкой не разговаривают и не здоровкаются ни за ручку и никак. Как же это возможно, Александр Николаевич? Генералы, и вдруг такое, как промеж простыми бывает.

— Что еще говорят? — спросил Небольсин.

— Будто новый-то имеет в Петербурге большую силу и бесприменно будет здесь главным, а Алексей Петровича в отставку. Верно ли это?

— Похоже на правду, — задумчиво ответил Небольсин.

— А как же тогда вы, Александр Николаевич? Новый-то всех, кого Алексей Петрович жаловал, невзлюбит!

— Я служу не ему, а России.

— Так-то оно так, а вожжи в руках держать будет он, — покачал головой Сеня. — Здесь, Александр Николаевич, уже все те, кто прежде на Алексея Петровича словно на Бога взирали, теперь почем зря его ругают: Ермолов то, Ермолов се.

Небольсин хотел что-то сказать, но в палату вбежал смотритель госпи-



таля.

– Его высокопревосходительство обходит палаты, – зашептал он, – сейчас здесь будет, – и, поправляя постель, он окинул взглядом комнату. – Убрать это! – приказал он солдату, указывая на гостинцы.

В комнату в сопровождении врачей и начальника госпиталя вошел Ермолов.

– Здравствуй, Саша! Да сиди, сиди, – придержал он пытавшегося встать Небольсина и присел возле него.

– С монаршей милостью! Его Величество, в воздаяние подвигов ваших в боях с неприятелем под Елизаветполем и Шамхором, соизволил наградить вас орденом Георгия четвертой степени с одновременным производством в штабс-капитаны, – Ермолов, обняв Небольсина, трижды поцеловал его. – Спасибо, Саша, ты во всем оказался достойным сыном своего отца. И в бою, и в дружбе, и в чести, – прикалывая крест к груди Небольсина, подчеркнул он последние слова. – А от меня, Саша, получай годичный отпуск в Россию для поправления расстроенного войной и ранами здоровья. Не благодари, – остановил его жестом Ермолов, многозначительно глядя в глаза Небольсину, – не благодари. Я знаю, что ты нездоров, мне говорили об этом Мадатов и Вельяминов. Поправляйся, Саша, и зайди перед отъездом ко мне.

Ермолов вышел из палаты. Небольсин понял: генералу известно, что он отказался идти в адъютанты к Паскевичу, и почувствовал, что Ермолов доживает здесь последние дни.

В конце декабря Небольсин выехал из Тифлиса. Путь его шел на Баку и Дербент. Военно-Грузинская дорога с ее перевалами и ущельями была занесена снегом. Зимние бури и ураганы свирепствовали в горах.

Еще вечером он попрощался с Ермоловым. Старый генерал был суров и озабочен. Обнимая Небольсина, на прощание он коротко сказал:

– Увидимся в России!

Елохин, взволнованный и молчаливый, провел последний вечер вместе с Небольсиным и Сеней.

Утром военно-почтовый дилижанс отошел от разгонной станции в Навтлуге. Побежали версты, замелькали желтые сакли, потянулись оголенные сады, а Небольсин все сидел и думал о минувшем годе, так изменившем всю его жизнь.

В начале 1827 года Ермолов написал царю, что не может при подобном двусмысленном положении управлять краем, и просил дать ему отставку или отозвать Паскевича из Грузии. В этом письме он резко высказывался о Нессельроде и других влиятельных лицах, мешающих ему победоносно закончить персидскую войну.

Это письмо, направленное прямо против царя и его окружения, разъ-



ярило Николая, и он подписал давно уже заготовленный приказ об отставке ненавистного Ермолова. Приехавший в Тифлис Дибич передал его генералу.

Был южный, теплый и солнечный март. Опальный Ермолов уезжал из Тифлиса без почестей, без подобающего ему конвоя. Тифлисское общество не устраивало банкета и не провожало его. Мстительный Паскевич запретил Вельяминову дать дополнительную охрану оказии до Владикавказа. И недавний «проконсул Кавказа» ехал, как простой пассажир. Лишь немногие из прежних друзей Ермолова провожали его: Талызин, Бебутов, Шимановский, Сергей Ермолов, Ранцев, Орбелиани и Муравьев.

Город уже знал об отъезде генерала. С утра толпы народа ждали его проезда. Это были мещане, мелкие служащие, отставные солдаты, армянские поселенцы, солдатские вдовы, свободные от службы чиновники, мелкие торговцы – весь незнатный и нечиновный Тифлис. Из официальных лиц местной администрации провожал его только губернатор фон Ховен да генералы Вельяминов и Мадатов. Фон Ховен, с первого же знакомства не понравившийся Паскевичу, уже знал, что на его место из Петербурга вызван генерал Сипягин.

– Я, Алексей Петрович, вероятно, вскоре тоже уеду в Россию. Позвольте мне там навестить вас, – сказал фон Ховен.

– Уверен, что за вами уедет еще немало людей, и первым из них буду я, – засмеялся Вельяминов.

Ермолов молчал.

Коляска с генералами, линейки и провожавшие Ермолова конные офицеры тронулись.

Ехали молча, говорить не хотелось. Казалось, будто с отъезжавшим Ермоловым у каждого из них уходили лучшие дни их жизни. Каждый понимал и то, что Паскевич не простит им этой открытой и подчеркнутой демонстрации.

– Словно на похоронах! – шепнул Талызин.

Шимановский вздохнул и так же тихо сказал:

– Оно так и есть. Хороним золотую славу России.

На повороте Ольгинской улицы, в самом конце города, возле начала Военно-Грузинской дороги, на пыльном ветру стоял пожилой человек в солдатской форме с шевроном на рукаве, свидетельствовавшим об отставке. На груди отставного солдата блестели четыре Георгиевских креста, медали «В память вступления в Париж», «За усердную службу» и «В память Отечественной войны». Солдат, нетерпеливо поглядывая вперед, то и дело переступал с ноги на ногу и шумно вздыхал. И тогда его медали и кресты тихо позванивали.

Послышался стук колес, солдат поднял голову и насторожился. Из-за



поворота вынеслась коляска, за ней две линейки, возок. По сторонам коляски скакали конные офицеры. Пыль кружилась за приближавшейся группой.

Солдат вздохнул, перекрестился и, выйдя к краю дороги, поднял руку.

Мадатов, сидевший рядом с насупившимся Ермоловым, взгляделся в одинокую фигуру и вдруг, дернув за рукав Ермолова, закричал:

– Алексей Петрович, твой солдат-бородинец у дороги!

Ермолов оживился. По его сумрачному лицу пробежало радостное волнение.

Коляска уже проскакала мимо стоявшего с поднятой рукой человека.

– Стой! – закричал Ермолов, и кучер на ходу осадил коней. Рессоры заскрипели, пыль клубами взвилась из-под колес. Офицеры, остановив коней, с недоумением глядели на преобразившееся, ожившее, радостное лицо Ермолова.

– Елохин! – звонко закричал он, полувывисываясь из коляски.

– Так точно, ваше высокопревосходительство! Проститься пришел, Алексей Петрович. Оба мы старые, кто знает...

– И давно стоишь, товарищ? – все так же весело спросил Ермолов.

– С семи утра, Алексей Петрович!

– А сейчас десять... ах ты, старый плут, ну, давай расцелуемся, – вылезая из коляски, сказал Ермолов.

Они обнялись. Мадатов снял с головы фуражку и отвернулся. У Шимановского навернулись слезы. Вельяминов молча и грустно смотрел на прощание двух старых, храбрых и честных солдат, провоевавших не один десяток лет.

– Рад, Елохин, рад, мой старый товарищ, что не забыл своего генерала, – глядя в глаза Саньке, сказал Ермолов.

– Нехай убьет того гром, кто забудет вас, Алексей Петрович, – ответил унтер.

– А таких много, Санька... Многие забыли, – с горечью сказал Ермолов.

– Россия не забудет Ермолова!

Лицо старого генерала дрогнуло. Он что-то хотел сказать, но вместо слов по его щеке медленно скатилась слеза.

– Золотые слова, Елохин! Именно, народ и Россия никогда не забудут Ермолова! – с жаром воскликнул Мадатов.

Все молчали, охваченные чувством уважения и глубокого почтения к этому простому, с полуседыми баками человеку, так просто и точно определившему то, что думали, но не умели выразить они сами.

Ермолов с облегчением вздохнул. Тяжесть от измены благодетельствованных им людей, горечь и обида отставки – все мгновенно ушло.

– Спасибо, Елохин. Дай тебе бог, старый товарищ! – И, еще раз обняв



Саньку, Ермолов пошел к коляске.

Колеса уже стучали где-то вдаль, пыль оседала на дороге, ни коляски, ни конных уже не было видно, а старый солдат все стоял и смотрел вдаль.

Комендант крепости и Владикавказа генерал Тутолмин любил и чтит Ермолова. Он выехал ему навстречу и возле укрепления Ларс с воинскими почестями встретил опального генерала.

Ермолов держался свободно и просто. Он был немногословен, спокоен и, сославшись на усталость, отказался от встречи с представителями местного общества и офицерами гарнизона.

— К чему это? Чтобы неповинные люди стали мишенью для ярости Паскевича? — пожав плечами, сказал он. — Приготовь лучше, Амос Андреевич, оказию так, чтобы уже рано утром я смог выехать в Екатериноградскую.

— Хорошо! — тихо сказал Тутолмин, понимая, как тяжело и трудно было Ермолову выговорить эти слова.

Оказия отходила из города в восемь часов.

Ермолов проснулся рано. Было около шести, спать не хотелось. Он шумно завозился на кровати, тяжело вздыхая и отдуваясь.

— Не спите, Алексей Петрович, можно войти? — услышал он голос коменданта.

— Какой уж тут сон! Входи, Амос Андреич, — махнул рукой Ермолов. — А что ты сам так рано проснулся?

Тутолмин вошел. Лицо его было встревожено. Он с растерянным видом держал в руке какую-то бумагу.

— Что с тобой? Или приказано арестовать Ермолова? — засмеялся генерал.

— Господь с вами, Алексей Петрович! Скажете ж такое! — замахал руками Тутолмин. — Из крепости Грозной, от генерала Розена, — и он протянул бумагу.

«27 марта с. г. большая группа хищников, спустившись с гор Аварии, под водительством небезызвестного в Дагестане лжеимамом Кази-муллы совершила нападение на укрепления Амир-Аджи-Юрт и после жестокого боя, уничтожив его гарнизон, разрушила и сожгла укрепление, после чего напала на посты Ачи-Кулак и Бий-Урсланское, кои также сожжены, а их защитники перебиты. Ауховские чеченцы, подстрекаемые сим разбойником Кази-муллой, напали возле Гудермеса на обозы и охранение егерского батальона и после жестокой схватки ушли обратно, увозя пленных солдат и отбитый обоз.

28 и 29 марта скопище Кази-муллы, соединившись с хищниками Гамзата из Гочатля, напало на мирный аул Казанищи и, возбудив присоединившихся к ним жителей, устремились к Таркам, откуда своевременно успел бежать под прикрытие русских штыков его превосходительство шамхал таркинский. Имущество шамхала, его скот и все, что было за-



хвачено хищниками, увезено в горы, а дворец сожжен.

Бунт сей разгорается и принимает форму мятежа и священной войны — газавата, которую сей фанатик и изувер Кази-мулла объявил русским.

Силы наши малы и ослаблены уводом с линии нескольких батальонов ширванцев и егерей в Тифлис.

Прошу, ваше высокопревосходительство, дать указания и прислать елико возможно помощи для обуздания и наказания хищников и наказания их лжеимама Кази-муллы».

Тутолмин поднял глаза и уставился на Ермолова.

— Если не наказать их сейчас же жестоко и нещадно, этот мятеж перекинется и сюда. Здешные ингушевцы и дигорские тагауры ждут не дождутся восстания, — сказал Тутолмин.

Генерал смотрел в окно и, казалось, совсем не слушал коменданта.

— Оказывается, мы ошиблись. Риго нашелся, — произнес Ермолов.

— Как вы сказали, Алексей Петрович? — спросил не понявший его комендант.

— Я говорю, обращайтесь за этим теперь к Паскевичу, — ответил Ермолов и пошел к уже шумно собиравшейся на дворе оказии.

Звезда «проконсула Кавказа» закатилась. Над горами поднималось

# ЧАСТЬ IV





## Глава 1

Модест Антонович Корвин-Козловский, молодой преуспевающий генерал-майор, служил вторым помощником генерал-квартирмейстера Главного штаба, был на хорошем счету у начальства и, почти не имея связей при дворе, успешно и быстро продвигался по служебной лестнице.

Это был 36-летний, крепкий, всегда подтянутый, вежливый, приятный человек, деятельно и много работавший в штабе. Таких молодых способных генералов дала Отечественная война 1812 года. И хотя Корвин-Козловский не был боевым генералом, не участвовал по молодости лет в наполеоновских войнах, он очень ценился Главным штабом и военным министром, которому неоднократно делал доклады.

Спокойный, ровный в обращении, никогда не стремившийся угодить начальству, молодой генерал тактично проводил линию, которую считал правильной и нужной.

– Умница, далеко пойдет, – как-то сказал о нем Чернышев, а присутствовавший при разговоре Бенкендорф коротко заметил:

– На виду у государя.

Все знали, что Модест Антонович представлен в генерал-лейтенанты и 6 декабря, в день тезоименитства царя, будет произведен.

Женат молодой генерал был на кухне Небольсина, к которому питал искреннюю симпатию. И когда раненый Небольсин, украшенный боевым Владимиром с бантом и Георгиевским крестом, приехал в Петербург, генерал и его жена Ольга Сергеевна, как и вторая кузина – Надин, тепло, по-родственному встретили его.

Небольсин снял на Морской улице, недалеко от дома, где жили Корвин-Козловские, небольшую квартиру и довольно часто проводил дни у родных, рассказывая о Кавказе, о войне с горцами, о нравах и обычаях казаков.

Спустя несколько месяцев, когда срок годичного отпуска подходил к концу, Модест Антонович, беседуя за вечерним чаем с Небольсиным, сказал:

– Санчик, скоро тебе придется возвратиться на Кавказ... Сейчас война с Турцией. Что ты думаешь по этому поводу?

– Не знаю... – пожал плечами Небольсин. – Тебе известно отношение ко мне Паскевича. Я поведал тебе, что те, кто ценит и помнит Ермолова, не нужны графу.



– Да-а, я знаю это... Видишь ли, Санчик, – продолжал Модест Антонович, – здесь, в Петербурге, я могу задержать тебя по нездоровью еще на полгода, может быть, на год. Лекарская комиссия даст тебе такой срок при новом освидетельствовании, а потом ты останешься в столице...

– Кем? – спросил Небольсин.

– Сначала обер-офицером для поручений при штабе генерал-квартирмейстера, а затем вернем тебя в гвардейский полк, из которого ты ушел на Кавказ.

Небольсин вздохнул.

– Что ты? – спросил Корвин-Козловский.

– Одна мечта у меня, Модест: уйти с военной службы в запас или отставку. Надоела казенная служебная машина, и чем она ближе к столице, тем тяжелее ее гнет.

Генерал помолчал, побарабанил пальцами по столу и негромко произнес:

– Неверно это, мой дорогой Санчик! Ты боевой офицер, ранен в боях, у тебя высшие ордена империи, имя твое, возможно, известно государю, перед тобой карьера, будущее, и вдруг – отставка. Государь ох как не терпит военных, пытающихся уйти в запас, и тебя, молодого, награжденного Георгием, сейчас же загонят в один из отдаленных гарнизонов Севера или Сибири. Такие рапорты царь считает вольнодумством, а тех, кто пытается уйти из армии, – якобинцами, тайно связанными с мятежниками четырнадцатого декабря. Ты понимаешь, что не только просить, но и заикаться об этом нельзя.

– Что же тогда делать? – спросил Небольсин.

– То, что я предлагаю. Мы продлим твой отпуск по состоянию здоровья, а дальше будет видно.

– Санчик, Модест прав, тебе нельзя уходить с военной службы, ты на виду. Да и зачем это? Петербург живет сейчас особенно шумной жизнью, а ты на своем буйном Кавказе отвык от него, – сказала Ольга Сергеевна, слушавшая их разговор, – Пройдут и твой сплин, и горечь романтической драмы, о которой слышала я...

Небольсин поднял на нее глаза.

– Откуда? Я никому не говорил об этом.

– Мой милый Санчик! Такие истории летят как на крыльях, обгоняя ветер. Ты еще загадочнее и интересней стал для общества, – засмеялась Надин. – Как же – герой, боевой офицер, поэтическая любовь, и вдруг некий злодей, как пушкинский Черномор, все разрушает...

– Я скажу проще. О твоей истории и подлом поведении Голицына я узнал из письма статского советника Чернецова, который является тайным агентом Бенкендорфа, а у вас на Кавказе ведает провиантской комиссией в крепости Грозная.



– А детали рассказал нам твой Сеня, он до слез растрогал меня, – вздохнула Ольга Сергеевна.

– Видишь ли, Санчик, ты как-то говорил мне, что готов служить России до последнего дня жизни. Не так ли? – ровным, спокойным голосом спросил генерал.

– Конечно, – ответил Небольсин.

– А что ты подразумеваешь под «Россией»? Страну, народ, судьбы племен, армию? – Модест Антонович задумался. – Я знаю, Санчик, ты не крепостник, тебе понятны идеалы донаполеоновской Франции. Тысяча семьсот восемьдесят девятый год живет и во мне, но... – генерал махнул рукой, – мы все, прикрываясь большим словом – Родина, Россия, – утверждаем существующий режим, укрепляем то, что в душе порицаем. Ты – храбрым участием в войне, я – беспорочной службой при штабе, мужик – безропотной крепостной долей. Словом, помнишь пушкинские строки: «Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный и рабство, падшее по манию царя»? Мы и тут обманываем себя. Никакого «мания» царь не совершит, подобные вещи исходят не от царей, а от Робеспьеров, Маратов и якобинских масс.

Небольсин с изумлением смотрел на генерала: так откровенно он говорил впервые.

– Не удивляйся. Даже твой любимый Ермолов, человек больших свойств и возможностей, даже он покорно тянул и потянет дальше колесницу того, кто впряг его в нее. Таков закон истории. Гладиаторы убивали друг друга во имя «цезарей императоров».

– Ты рассуждаешь почти как якобинец, – улыбнулся Небольсин.

– Нет, просто у меня трезвая голова и ясный взгляд на жизнь. Пока не подойдет наш восемьдесят девятый год, ничего фанфаронством и болтовней не сделаешь. Кстати, – меняя тему разговора, сказал генерал, – ты знаешь, где сейчас находится наш знаменитый пиит Александр Сергеевич Пушкин? – И, не дожидаясь ответа, сообщил: – Там, в Закавказье, где-то за Тифлисом. Ему Паскевич разрешил побывать в Тифлисе, а он ловко сбежал оттуда. Приехав в Тифлис, наш прославленный поэт через несколько дней был уже в действующей армии, кажется, в отряде Раевского или у нижегородских драгун Вадбольского, где служил его брат Лев. Словом, когда в Главном штабе узнали об этом из донесения тифлисского генерал-губернатора Стрекалова, было уже поздно... Здесь негодуют на тифлиские порядки: почему-де пустили полуопального поэта так далеко? зачем он среди войск? как знать, не напишет ли еще чего противогосударственного или не вдохновится ли свободой и не исчезнет ли где-нибудь в горах Анатолии или в пучинах Черного моря?

– Дураки! – с отвращением произнес Небольсин.

– Говорят, несравненный наш поэт уже написал несколько отличных поэм па темы турецкой войны и готовит что-то вроде повести о ней, а пока



он возвращается – так ему приказано – в Тифлис, где несколько дней погостит у местного дворянства, князей и его русских почитателей, – продолжал Модест Антонович.

– Будем ждать, чем обрадует нас Пушкин, хотя после «Онегина» и его божественных стихов навряд ли может человек дать что-нибудь более возвышенное, – задумчиво произнесла Надин.

– Может. Пушкин даст больше, чем мы ждем от него. Мне кажется, он и сам не сознает той огромной силы поэзии и мысли, которую вложил в него Бог, – убежденно сказал Модест Антонович, – А теперь, Санчик, возвратимся от Пушкина к тебе. Лучшее, что мог посоветовать, я уже сделал. Через месяц-другой мы пошлем тебя на комиссию.

Спустя полтора месяца Модест Антонович пригласил Небольсина в Главный штаб, где познакомил его с полковником Терлецким, который после короткого разговора послал штабс-капитана на переосвидетельствование в военно-лекарскую комиссию при начальнике гарнизона столицы. Почти не обследовав Небольсина, врачи признали его нуждающимся в дополнительном лечении вследствие серьезности полученных в бою ранений и продлили отпуск еще на одиннадцать месяцев.

Вскоре Корвин-Козловский показал Небольсину выписку из приказа по Генерал-квартирмейстерскому управлению Главного штаба, в коем говорилось о временном прикомандировании к управлению штабс-капитана Небольсина А. Н. с несением службы в Ближне-Восточном отделении штаба.

– Теперь ты штабной обер-офицер, могущий неделями не посещать службы. Отдыхай, набирайся сил, а что будет спустя одиннадцать месяцев – увидим, – сказал генерал.

Так началась новая жизнь Небольсина, не заполненная ничем, кроме книг, театра, посещения друзей, балов, жизнь, которая, хотя и не очень нравилась ему, была единственно возможной для офицера, не стремившегося к несению «службы Его Величества».

Едва закончилась Туркманчайским миром Русско-персидская война, как на турецкой границе возникли территориальные осложнения, часто переходившие в пограничные перестрелки и наскоки турецкой кавалерии, курдов и отрядов лазов на наши слабые, вынесенные вперед караулы и посты. Война началась внезапно нападением значительного турецкого отряда на армянские села в районе поселения Гюмри. Еще не готовые к войне русские войска по приказу Паскевича перешли границу, отгеснили турок к Кырх-Килисе и прошли по Алашкерт в район Дутаха, а основные силы русского корпуса, временно возглавленного генералом Вадбольским, подошли к Карсу, куда должен был прибыть сам Паскевич с главными резервами и осадной артиллерией.



Карс был первоклассной крепостью, совсем недавно заново перестроенной английскими военными инженерами. Бастионы, форты, вынесенные вперед, узлы сопротивления, обилие пушек, труднодоступные пути, ведущие к скалам, на которых находились форты, дальнобойная артиллерия, несколько поясов обороны и, наконец, два заполненных водою рва, окружавших крепость, делали ее почти недоступной для штурма.

11 июня к войскам прибыл Паскевич. Резервы и осадная артиллерия русских были далеко позади, поэтому штурм на военном совете был назначен на 26 июня. Командовавший турецкими войсками двухбунчукный Юсуф-паша писал главнокомандующему турецкой армией сераскиру Гаджи-Салеху в Арзрум: «Скорее Евфрат повернет свое течение назад и небо упадет на землю, чем русские овладеют Карсом...»

Паскевич после внимательного ознакомления с защитными поясами крепости впал в беспокойство и раздумье. Да, Карс не был похож на Тавриз, который персы без боя отдали русским, не был он и Эриванью, прославившей его и сделавшей украинского помещика графом Эриванским. Здесь, под стенами грозной турецкой крепости, можно было в один день потерять все, что путем везения, удач, близости к царю, дружбой с Бенкендорфом и великими князьями он приобрел за пятнадцать лет. Было отчего задуматься и заколебаться. После долгих обсуждений в штабе русских войск приняли решение блокировать крепость и дожидаться прихода подкреплений из Тифлиса.

23 июня 1828 года рота русских солдат карабинерного полка под командой капитана Лабунцева собирала хворост и валежник подле самого турецкого кладбища, расположенного в четырех верстах от скал и возвышенностей «неприступного Карса», как называли его турки.

Турецкие караулы, слегка выдвинутые вперед, открыли огонь по русским солдатам, и те, обороняясь, легко выбили турок из передней части кладбища, оттеснили вглубь. На помощь караулам пришли ближние турецкие посты. Русские смяли их и, продолжая собирать валежник, разбрелись по всему кладбищу. Обеспокоенные турки, желая изгнать русских, бросили из резерва две роты низама. Возник настоящий бой – и огневой, и даже рукопашный. На помощь роте Лабунцева командир полка Гурин послал вторую роту третьего батальона, та с ходу штыками выбила турок с кладбища и в порыве атаки продвинулась на версту дальше, захватив передовые ложементы противника. Здесь уже начинались сакли и городские строения. Новые толпы турок высыпали из крепости и с криками «Алла!» ринулись на русских. Полковник Гурин ввел в дело еще одну роту, а затем и другую и приказал открыть картечный и ядерный огонь по все прибывавшим туркам. Вскоре бой закипел по всему участку полка, перерастая в сражение. Показались турецкие кавалеристы, с фланга их атаковали донские казаки. Начали стрелять крепостные пушки Карса. По тропинкам из крепости вниз сбежали атакующие турецкие колонны.



Прискакавший на шум боя генерал Вадбольский, командовавший передовой линией, приказал русским ротам отойти, а артиллерии прекратить огонь. Однако возбужденные боем солдаты с возгласами «Вперед!» ринулись на набегавшие турецкие колонны. На помощь им из русского лагеря самочинно кинулись роты и толпы солдат, и беспорядочный ожесточенный штыковой бой закипел под стенами Карса. Не обращая внимания на требования Паскевича, Вадбольского и офицеров прекратить сражение, вся русская артиллерия стреляла по Карсу, весь пехотный лагерь поспешил на помощь своим, а драгунские эскадроны генерала Раевского и уланы Андроникова врубались в набегавшие толпы турецкой пиалы<sup>1</sup>. Видя, что остановить сражение нельзя, Паскевич бросил в бой все находившиеся при нем резервы.

От захваченного куринцами укрепления Гюмбет на штурм самого неприступного, сильно укрепленного форта Тохмас-Табие ринулись карабинеры девятого и егеря семнадцатого полков. Три мощных форта, господствовавших над Карсом и всей системой его укреплений – Кара-Даг, Канлы и Хифиз, – переходили из рук в руки. Ворвавшиеся в крепость солдаты Куринского и Тифлисского полков, батальоны бакинцев кололи штыками, рубили и били прикладами аскеров. Турецкая крепостная артиллерия умолкла, так как сошедшиеся в сражении русские и турецкие войска одинаково могли быть поражаемы огнем.

Спустя четыре часа кровопролитного артиллерийского и рукопашного боя «неприступный Карс» был в руках русских. Вся громада крепости с ее фортификациями, тяжелыми орудиями, запасами продовольствия сдалась Паскевичу. Двухбунчукный Юсуф-паша передал ему ключи от Карса. И только часть турецкой кавалерии, вырвавшаяся через западные ворота крепости, чтобы избежать плена, помчалась к Сары-Камышу, преследуемая нижегородскими драгунами, мелитопольскими уланами, донскими казаками Иловайского и Бегичевского полков, а также добровольными сотнями грузинской и осетинской милиции.

Так закончилось это сражение, начавшееся неожиданным столкновением двух рот.

«Карс пал к стопам Вашего Величества», – доносил Паскевич Николаю.

9 марта 1829 года Пушкин выехал из Петербурга в Москву для дальнейшего следования в Грузию. 22 марта того же года Бенкендорф отдал петербургскому генерал-губернатору Голенищеву-Кутузову распоряжение о выяснении, «куда уехал Пушкин» и о «надлежащем за ним секретном наблюдении».

«Милостивый государь Александр Христофорович, – писал Голенищев-Кутузов, – в ответ на отношение Ваше от 22-го марта № 1267 честь имею сообщить об отъезде в Тифлис известного стихотворца Пушкина,

---

<sup>1</sup> Пехота.



состоявшего здесь под секретным надзором. Я довел сие до господина Главнокомандующего в Грузии графа Паскевича Эриванского...»

По пути на Кавказ Пушкин навестил проживавшего в своей деревне близ Орла опального Ермолова, после чего продолжил путь, иногда задерживаясь на день-другой. Наконец через Ставрополь и станицу Екатериноградскую он приехал в крепость Владикавказ, где остановился у старого приятеля полковника Огарева, бывшего в то время комендантом Владикавказской крепости. Дальнейший путь до Тифлиса шел по недавно перестроенной Военно-Грузинской дороге, так живо и красочно описанной им в «Путешествии в Арзрум».

Пушкин прибыл в Тифлис 27 мая, в дни, наполненные весельем и празднествами, которыми город отмечал победы русской армии в Анатолии. Иллюминации, пляски, музыка, балы, устраиваемые грузинским дворянством, сменялись приемами и парадами частей.

Генерал-губернатор Стрекалов, напуганный грозной бумагой из Петербурга, под всяческими предлогами задерживал отъезд Пушкина в действующую армию до тех пор, пока от Паскевича не пришло распоряжение разрешить поэту прибыть в Сoganлук, туда, где находилась ставка графа. Упоенный быстрыми и неожиданными победами над турками, Паскевич хотел, чтобы известнейший русский поэт, «любимец муз и граций», описал его, графа, и победоносное войско в самых высоких и торжественных тонах.

Друзья Пушкина – Раевский, Муравьев, Андроников, Чавчавадзе, Вольховский, брат Лев, служивший капитаном в Нижегородском драгунском полку, – с нетерпением ждали приезда поэта.

12 июня Пушкин прибыл в расположение русских войск и остановился у 28-летнего генерала Раевского, в палатке которого и прожил несколько дней. Старые друзья – Остен-Сакен, Вольховский, генерал Бурцев и некоторые разжалованные декабристы, находившиеся при Раевском, приятели Пушкина по Петербургу, как, например, Захар Чернышев, Юзефович, Семичев, подозревавшиеся в связях с декабристами, капитан Ханжонков и сотник Сухоруков, – радостно встретили поэта. Потекли незабываемые, полные впечатлений дни арзрумской эпопеи.

Паскевич, желавший видеть в Пушкине исполнительного описателя его «героических подвигов», обманулся в своих ожиданиях. Поэт ни словом, ни одной строкой не возвеличил боевых подвигов и героизма графа Эриванского. И Паскевич мгновенно охладел к нему. К тому же он получил из Петербурга бумагу, в которой сообщалось, что слишком много разжалованных и подозреваемых людей, связанных с мятежом 1825 года, находятся при штабе Раевского и в окружении генералов Муравьева и Остен-Сакена. Пушкин, которому было известно о предупреждении Бенкендорфа и о наличии при штабе Паскевича тайных агентов и осведомителей Третьего отделения, попросил командующего отпустить





его обратно в Россию, ссылаясь на усталость, на близкое окончание войны и эпидемию чумы, которая частично охватила турецкую и русскую армии. Убедившись, что поэт ничего высокопарного и значительного не намерен писать о нем, Паскевич отпустил Пушкина.

1 августа поэт тем же путем, через Шулаверы, каким выезжал в июне на фронт, возвратился в Тифлис.

Тифлис – шумный, веселый, полный гомона, рева верблюдов, лая собак, цоканья конских копыт, выкриков чарвадаров<sup>1</sup> и тулухчи<sup>2</sup>, русской, грузинской, армянской речи, – встретил его. Из густых виноградников, что раскинулись вокруг старой крепости, неслись звуки зурны, дудуки и ритмичный бой дооли. Это гуляли молодые люди в чохах и шелковых бешметах, которым весело жилось под горячим тифлисским солнцем, в окружении разгульных и беспечных приятелей-кутил. Им не было дела ни до войны с Турцией, ни до того, что их братья, грузинские конные дружины, в это самое время где-то под Байбуртом дерутся с турецкими войсками.

Остановившись на квартире Вольховского на Инженерной улице, поэт, отдохнув, отправился к генерал-губернатору Стрекалову доложить о своем возвращении. Пушкин знал, что Стрекалов по приказанию Бенкендорфа ведет неусыпное наблюдение за его жизнью, делами, разговорами и перепиской. Генерал-губернатор любезно встретил поэта, рассыпался в комплиментах и тут же, в своей канцелярии, приказал открыть бутылку «Аи», которую якобы «берег только на случай большого торжества». Распили по бокалу, наполнили еще.

– Когда и чем, какой божественной элегией обрадуете нас, ваших почитателей? Теперь, когда побывали в боях, увидели силу русской армии, познакомились с офицерами и солдатами, которыми столь победоносно командует наш военный гений, новый Александр Македонский, – Стрекалов даже прослезился, – наш чудо-полководец граф Эриванский?

– Кое-что написал, есть наброски и законченные стихи... большего пока ничего... Пока здесь, – улыбаясь и показывая на лоб, ответил Пушкин.

– Разумеется, все будет со временем, но начинайте, Александр Сергеевич, с графа. Он так любит ваши стихи, многие знает наизусть, уважает и оберегает вас, как и покойного вашего тезку Грибоедова.

По лицу Стрекалова трудно было понять, говорит он серьезно или с иезуитской любезностью подносит пилюлю. Но настороженный Пушкин светски-корректно отвечал:

– Я ценю расположение ко мне графа. Ведь не будь доброй руки и помощи Ивана Федоровича, я не смог бы побывать не только в действующей армии, но даже и у вас в Тифлисе.

Стрекалов хитро глянул на поэта и переменил разговор.

---

<sup>1</sup> Торговцы.

<sup>2</sup> Водоносы.



– Что думаете делать после подвигов бранных?

– Съездить к Чавчавадзе в Кахетию, побывать в Кара-Даге, повидать Орбелиани, выпить с ними несколько кварт доброго цинандальского, записать напевы грузинских песен и... обратно в Тифлис. Пробуду здесь еще дней семь-восемь, отдам несколько визитов, сделаю наброски того, что бродит в голове, но еще, подобно мутному вину, не осело на дно, а затем назад, в Россию.

– Очень хорошо. Вы будете нашим общим гостем, а значит, и моим тоже... Посетите меня, пообедаем вместе. Кстати, где вы остановились, Александр Сергеевич?

– У Вольховского.

– Очень хорошо, он человек благонамеренный, хотя и несколько нелюбим графом... Вы не заметили сего?

– Нет, да и не мог... Меня не интересуют такие сюжеты.

– Конечно, конечно... А из дворянства местного кого особо чтить изволите? Здесь есть достойные люди, – продолжал Стрекалов.

– Андроникова, Чилиева, Орбелиани, Санковского, поэта Мирза-джан Мадатова.

– Это кутилу-то?.. Ну? Что нашли в нем любопытного, Александр Сергеевич? Бабник, пьяница, мот, сочиняет какие-то дурацкие песни, а простой народ потом орет их на улицах и базарах. К тому же развратник, связался с этой стихотворкой... Ашик-Пери...

– Прелестная женщина! – улыбаясь, вставил Пушкин.

– Развратница, как и он... Не советую вам видаться с ними. К тому же вы, верно, не знаете, что этот самый Мирза-джан Мадатов был наперсником и правой рукой в кутежах и оргиях Ермолова, да, да, этого самого «солдатского отца», как любят именовать его многочисленные поклонники, притаившиеся здесь.

Пушкин чувствовал, как острые, пытливые глазки Стрекалова ощупывают его.

– Он отличный поэт, и Алексей Петрович, вероятно, ценил в нем именно это...

– Бродяга, кинто, вот он кто, и упаси вас бог говорить о нем благосклонно в присутствии графа... Вы очень расстроите графа и повредите себе в его мнении. Да, а потом, когда вернетесь из Кахетии в Тифлис и закончите местные дела, зайдите попрощаться. У меня будет просьба к вам. И помните, дорогой наш Пушкин, что мы на Кавказе. Уже август, а бывали случаи, когда в конце августа выпадали снега, заносило Крестовый перевал, могут пойти обвалы, тогда Военно-Грузинская станет непроезжей... Как бы не застрять... – покачивая головой, предостерег губернатор.

– О нет!.. Я проеду Крестовый перевал раньше, думаю в двадцатых числах августа быть во Владикавказе. Надеюсь, зима и обвалы пощадят меня, – с усмешкой отвечал Пушкин.



– Вот и хорошо. Там, за хребтом, уже Россия, и вы будете располагать собой, как захотите, – облегченно вздохнул Стрекалов, видя, что поэт понял его намек.

Я остановлюсь на Кислых Водах, попью лечебные и горькие воды, поезжу по горам, побываю в казачьих станицах, а там через Ставрополь в Москву, – вставая, сказал Пушкин.

– Очень хорошо. Так как-нибудь пообедаем вместе, а перед отъездом заходите по нужному, серьезному делу, – многозначительно сказал губернатор.

Пушкин почувствовал себя свободнее, когда вышел от него на яркую, шумную, залитую солнцем улицу.

Если свернуть с Николаевской улицы по направлению к Сололакам, то сразу же на углу, у дома генерала Эристова, можно увидеть неширокую вывеску: «Ресторация господина Кесслера». Это была в те дни лучшая ресторация в городе, в котором почти вся ресторанная торговля сосредоточилась в руках нахлынувших из России немцев-колонистов. Эти колонии: Анефельд, Елизаветфельд, Куки – полукольцом окружали город. Лучшие маслоделы, ремесленники, мелкие механики, пунктуальные, аккуратные лакеи и камердинеры выходили из этих колоний. Уже работали два пока небольших, но бойко торговавших пивоваренных завода Адольфа Ветцеля и Ганса Дитериха; появились и колбасные заведения, отличные кондитерские Иоганна Нуса и Франца Гене. Словом, выходцы из Баварии и Швабии под шумок, с благословения Паскевича, мечтавшего немецкими руками обрусить и оевропеить край, захватили отличные земельные участки вокруг Тифлиса и городскую торговлю. Грузины, по своей давней традиции ставшие поставщиками сырья, продуктов, вина и рабочей силы, тоже стремились из Карталинии, Кахетии и даже Имеретии в Тифлис. И только армяне успешно и прочно отстаивали свои торговые и коммерческие позиции, сопротивляясь немцам-колонистам.

Пушкин в сопровождении Бориса Чилиева, капитана Нижегородского полка Зубова и князя Валико Палавандашвили поднялся на бельэтаж ресторана господина Кесслера и вошел в растворенные двери. Ничего пышного, подобного Санкт-Петербургским ресторанам, тут не было. Ковер на полу, другой свисал со стены, яркий палас прикрывал дверь, две картины в типично немецком стиле – охота бюргеров и дворян на оленей в лесах Силезии да высокое зеркало с подставками и четырьмя канделябрами по бокам – вот все, что украшало переднюю ресторана. На вешалке, тоже типично немецкого образца, с десятком больших и малых крючков, над которыми виднелись рогатая голова оленя и выведенная золотом надпись: «Готт мит унс», висели две-три накидки и летняя военная шинель. Две треуголки, цилиндры и папахи были аккуратно развешаны на крючках.



– Вот мы и в обители герра Кесслера, – сбрасывая на руки швейцару, крепко сложенному, со слегка посеребренными временем бакенбардами, крылатку, сказал Пушкин. Он не спеша снял цилиндр, отдал его и кизилую с серебряным набалдашником тросточку и, продолжая рассказывать собеседникам, с удовольствием посмотрел на швейцара. Что-то располагающее было в его лице и глазах: то ли достоинство, с которым он держался, то ли спокойная, точная, воинская четкость движений. Он без тени угодничества принимал вещи от господ офицеров, зашедших в ресторан. А скорее всего, два Георгиевских креста, медаль на Георгиевской ленте и другая – «За храбрость» – на Анненской, а может, все это, вместе взятое, произвело на Пушкина благоприятное впечатление.

– Старый солдат, вояка, видно, не раз глядевший в глаза смерти, – сказал он, кивая швейцару.

– Как же выглядит Алексей Петрович? Здоров ли? Ведь сюда доходят разные слухи, – спросил Чиляев, продолжая прерванный разговор.

– Здоров, крепок наш Ермолов, – улыбаясь, отвечал Пушкин. – Я просидел у него часов около четырех, пообедал, выпил с ним и чихиря, и цимлянского... За вас тоже пили... Любит, не забыл он Кавказ.

Швейцар, вешавший чью-то фуражку, вздрогнул.

– А когда ты видел его? – спросил Зубов.

– Совсем недавно, в мае... Заезжал к нему в деревню, он сейчас в Орловской губернии проживает, собирается переехать в Москву, что-то пишет, какие-то записки, кажется, о походе в Дагестан и Чечню в девятнадцатом году...

– Вашескородие... вы это об Лексее Петровиче рассказываете? – делая шаг к Пушкину и застывая на месте, спросил швейцар.

Поэт обернулся, удивленный его срывающимся голосом.

– Да. А ты, служивый, знал его?

Остальные молча наблюдали за старым солдатом.

– Да как же... вашескородие... отца-командира не знать-то... Семь лет вместе были. Эти два креста они навесили мне... Как их здоровье, как Бог милует его высокопревосходительство? – забыв и о ресторации, и о гостях, и о том, что его слышат остальные, быстро заговорил швейцар.

– Как твоя фамилия, солдат? – дружелюбно спросил Пушкин.

– Унтер Елохин...

– Ну пойдем, Александр Сергеевич, – трогая за рукав поэта, позвал драгунский капитан. – Тут ведь у Алексея Петровича столько осталось почитателей, что тебе дня не хватит рассказывать о нем.

– Сейчас, сейчас, – ответил Пушкин. – А что, Елохин, ты очень любишь своего генерала?

– Жизнь положу за Лексея Петровича. Вы, вашескородие, видать, хорошо знаете его и почитаете, ежели заехали навестить Лексея Петровича в деревню. Да и как не любить, – со вздохом сказал унтер, – человеком



меня сделал, из пьяниц в люди возвернул, от крепости освободил, вот Егория самолично на грудь навесил...

– За что он у тебя? – поинтересовался Чилиев.

– За Дагестан, за поход в горы и за разгром Сурхая, – поглаживая бакенбарды, ответил солдат.

– А второй? – спросил Пушкин.

– За Лисаветполь, когда мы Аббаса с его персюками вконец разогнали... Палец там оставил, – показывая четырехпалую ладонь, сказал Елохин. – Ваше высокоблагородие, барин, – просящим, умоляющим голосом продолжал он, – у меня два человека в жизни – как два крыла у птицы: это Лексей Петрович и, может, знаете, штабс-капитан Небольсин, Александра Николаич. Оба они как свет для меня, умирать буду, а последний вздох за них... Я о чем осмелюсь просить вас, барин, – уже совсем по-деревенски сказал солдат, – сделайте милость, доставьте старику радость, зайдите, не погнушайтесь, до нас с женой... Мы тут недалеко свою хату, садок, кунацкую имеем... кур, гусей, поросят развели... Зайдите завтра, я слободный от работы буду, поищите у нас щей добрых русских али борщ с помидором, чего сами схотите, гуся или утку и там оладьи с медком... Вам, вашескородие, все равно обедать в городе надо, а мене радость, об Лексей Петровиче, его жизни скажете, а-а? Сделайте так, и я за вас Бога молить буду, вместе с Лексей Петровичем и Небольсиным в молебны впишу, а? Барин, добрая душа, господин... – Он замаялся.

– Пушкин. Какой я тебе барин да еще высокородие? А вот за то, что добро помнишь и любишь Алексея Петровича, обещаю тебе, кавалер и герой: завтра в два, – Пушкин подумал, – нет, в три часа приду к тебе обедать, только уговор – не один, а вот с ними, – он обвел рукой улыбавшихся спутников.

– Милости просим... господа, рады с женой будем! – сияя от восторга, закричал унтер.

– ...И второе: борщ, щи, огурчики и гусь пускай будут твои, а вот кахетинское, чачу и еще какое-нибудь зелье прихватим мы. Согласен, солдат? Да как тебя зовут-то? – хлопая по спине счастливого унтера, спросил, смеясь, Пушкин.

– Лександра.

Значит, тезка, меня Александром Сергеевичем... А теперь говори, где живешь, и жди нас завтра ровно в три пополудни.

– Тут недалеко, как от штаба корпуса, так направо через Патриаршу площадь, а там по Инженерной улице до Карабинерского проулка, а на нем и моя хата... Елохина, унтера, все знают, там сад из вишенья да яблук, опять же инжир, виноград – сразу найдете, – прощаясь с гостями, сказал унтер.

Когда Пушкин и его друзья расселись за столом, а немец-официант принес им дымящийся суп, капитан спросил:



– А что ты, Пушкин, серьезно обещал этому унтеру?

– Больше, чем кому-либо другому, и вас прошу пойти со мной... Человека, который так почитает Ермолова, так помнит добро, оказанное ему, обмануть – и подло и недостойно. А потом, друзья, мне осточертели восточные пити и немецкие кухен-супен, хочется своих, российских щей или борща со свиной и томатом...

Он выпил бокал цинандали и принялся за «немецкий кухен-супен».

Жена Елохина, Мавра Тимофеевна, хотя и не очень верила в то, что знатные господа «из Петербурга» и тифлиские офицеры пожалуют к ним, но, привыкнув беспрекословно подчиняться сначала первому мужу-фельдфебелю, скончавшемуся три года назад, а теперь второму мужу, Саньке, зарезала гуся, ошипала двух петушков, купила на базаре сазана, только что выловленного из Куры, и, гремя посудой, с утра начала готовить обед.

Тушинский сыр, помидоры, разная зелень от цицмады до тархуна, баклажаны стояли на столе в ожидании гостей.

– А что, приедет ли твой важный господин, не обманет ли? – тревожась за пышное угощение и видя, как волнуется муж, раза два спросила Мавра.

– Приедет, человек верный, раз к Лексею Петровичу вхож и дружен. Ермолов знает, с кем дружбу водить, – не без самодовольства ответил старый солдат, явно намекая на свою близость к Алексею Петровичу.

Судя по опрятному виду дома, по тому, как велось хозяйство Маврой Тимофеевной, по чистой кунацкой (домик был разделен на две половины, так, как строили их казаки и горцы на Северном Кавказе), по множеству кур, галдению индюшек, гусей, уток, по блеянию овец, доносившемуся из сарая, построенного за небольшим густым садом, было ясно, что Елохин жил крепкой, зажиточной жизнью, что наконец-то забулдыга-солдат, бывший крепостной помещика Салтыкова, обрел сытую, спокойную жизнь.

Вдова фельдфебеля карабинерного полка вместе с домом, садом и кое-каким достатком, оставшимся от покойного мужа, принесла Саньке маленького трехгодовалого сына, которого, как своего, полюбил Елохин. Все, что когда-то казалось недостижимым и невозможным, было у него, и старый солдат каждую субботу ходил к вечерне, вознося молитвы за рабов божиих Алексея и Александра, открывших ему на старости лет обеспеченную, спокойную жизнь.

Соседи, тоже из отставных солдат, женатых на переселенных в Закавказье русских бабах, уже знали, что у Елохиных ожидаются гости – знатные и чиновные люди. Поминутно то одна, то другая соседка якобы случайно, ненароком выбегала во двор, бросая любопытствующие взгляды через плетень и сквозь садовые заросли, пытаясь разглядеть, кто же прибыл к унтеру.



Около трех часов дня загремели колеса, слышались голоса, смех, оживленный говор, и поспешивший на шум Санька со счастливой улыбкой распахнул ворота.

– Милости просим, вашескородие, господин Пушкин, – кланяясь и пропуская гостей во двор, говорил он.

– Здравствуй, старик, здравствуй, ермоловский герой, – похлопал его по плечу Пушкин.

За ним шли друзья: полковник Дорохов, офицеры Ханжонков и Сухоруков, которых на свой страх и риск отпустил из действующей армии генерал Остен-Сакен «по болезни зубов в город Тифлис, сроком на 14 дней», на самом же деле – чтобы проводить Пушкина, вскоре уезжавшего в Россию; одетый в адъютантский мундир подполковник Чиладзе, ротмистр Андроников, за которым трое слуг-грузин несли на табачах различную еду, а еще двое – бурдюки с вином.

– А это уж особо, этим почтим нашего Алексея Петровича, пожелаем ему здоровья и долгой жизни, – доставая из возка три бутылки шипучего цимлянского, сказал Пушкин, – А-а, хозяйюшка, будем знакомы, – пожимая руку счастливой, растерявшейся Мавре Тимофеевне, продолжал он.

За ним в кунацкую пошли остальные гости, провожаемые застывшими у своих плетней соседями.

– Хозяйюшка, корми нас обедом сразу, – сказал Пушкин, когда они расселись за столом в чистой горнице. – Сейчас, – он взглянул на брегет, – без двадцати три, а в половине пятого за нами заедет князь Чавчавадзе, и мы поедем в Кахетию.

– Батюшка, все готово, барин хороший. И борщ, и гусь, и курятинка, – засуетилась Мавра Тимофеевна.

Елохин и Пушкин разливали по стаканам вино, гости ели, весело, оживленно и шумно переговариваясь. Чиладзе запел «Мраволжамиер», Андроников подтянул; Пушкин, не зная слов застольной, дирижировал.

– Хорош борщ! Я такого не едал со дня выезда из Москвы, дай-ка еще, хозяйюшка, – попросил Ханжонков.

– Со сметанкой, вашескоблагородие, и вот с красным перцем, – посоветовал Санька, почти ничего не евший, старавшийся обслужить гостей.

– Да садись с нами, служивый, а то так и не успею рассказать тебе о Ермолове, – пригрозил Пушкин, и унтер, усевшись на краешек табурета, не пропуская ни слова, слушал рассказ гостя о том, как посетил он в деревне Ермолова, как выглядит опальный генерал, о его жизни и воспоминаниях, связанных с Тифлисом и Кавказом; о друзьях, оставленных здесь.

– Почитай никого уж не осталось, – грустно сказал Санька. – Их превосходительств Вельяминова и Мадатова уволили отседа, тех, кто воевал вместе с Лексей Петровичем, не жалуют. Все новые, а что за народ – неизвестно, одно только видим: чужие они для Капказу, ничего не знают про него...



– Узнают, поживут – познакомятся, – миролюбиво сказал осторожный Сухоруков, отбывавший здесь наказание за косвенное участие в мятеже 14 декабря.

– Оно, конечно, так... да время идет, а в горах, рассказывают, Кази-мулла опять бунт затеял, многих наших посек, в Дагестане крепости не то две, не то три изничтожил... – озабоченно качая головой, тихо промолвил Санька.

– Да, там дела пока что трудноваты, не то что с турками... А воюют горцы хорошо? – поинтересовался Пушкин.

– Даже крепко, вапсокбродь, господин Пушкин. Я с персюками во-евал, с туркой схлестнуться Бог дал, с французом дрался, а эти ку-у-да покруче да отчаянней будут... И то сказать, мы их уничтожить пришли, так чего ж они хорошего от нас ожидают...

– Ты прав, философ, – согласился Пушкин, с сочувствием глядя на Елохина.

– А как же... Заяц и тот за свое дите на волка с когтями кидается, а ведь то люди... У них и свой Бог, и своя жизнь, и свои дела обозначены, а мы на них со штыком да пушками. А что, вапсокбродь, разве нельзя с ими по-другому, по-хорошему? – вдруг спросил он.

– Можно бы, коли б сами иными были, – тихо молвил Пушкин.

Санька вздохнул и утвердительно кивнул.

– Говорят, турка мира запросил, правда это? – осмелилась спросить и хозяйка.

– Правда. Начались переговоры, – ответил Чиладзе.

– Дай-то бог поскорее замириться, всем легче будет, – перекрестилась Мавра Тимофеевна.

Пили много, даже Санька, давший слово не пить, не выдержал и осушил две чепурки красного.

– Александр Сергеич, барин, господин Пушкин, когда возвернетесь в Расею и опять увидите Лексей Петровича, – попросил он, – не позабудьте, сделайте божескую милость, скажите ему про меня, про мое семейство, про добрую, хорошую жизнь в Тифлисе и спасибо ему от мене, – он низко поклонился.

– С радостью передам. А теперь выпьем цимлянское за Ермолова, за то, чтоб долго жил, и за людей, которые не забыли и помнят его, – предложил Пушкин.

Зашипело красное донское, и все, вместе с хозяйкой, стоя выпили за Ермолова.

– Станный и сложный он человек, – раздумчиво сказал Ханжонков.

– Чем именно? – поинтересовался Пушкин.

– В одном лице и просветитель, связанный с обществом, покровитель сосланных сюда декабристов и в то же время жестокий, беспощадный каратель, причинивший много горя невинным людям.





– Вашсокродие, их высокопревосходительство за Расею старался, солдата любил, жить ему помогал, – не сдержался Елохин.

– То-то и оно, что русским он помогал и был отцом солдатским, а вот горцам, персиянам и другим... – вмешался в разговор Чиладзе, но, махнув рукой, смолк.

– Друзья, оставим политику Нессельроде и истории и выпьем за процветание края, за то, чтоб скорее кончилась война и все, живущие и здесь, и за хребтом высоких гор, обрели мир и стали б трудиться для родины и общего блага, – поднял бокал Сухоруков.

Инцидент, вызванный словами Ханжонкова, был забыт, и только Санька, недовольный порицанием действий своего кумира, неодобрительно поглядывал в сторону гостя, но выпитое вино, непринужденное веселье, доброе отношение к хозяевам скоро вытеснили из его памяти эту маленькую обиду.

В четверть пятого за забором палисадника застучали колеса, послышались храп коней, какие-то голоса. Пушкин глянул на часы.

– Полковник наш аккуратен, как и подобает начальству.

Все шумно поднялись с мест.

– Може, еще с полчаса прогостите, и его высокблагородию в дорогу следует... – начал было Елохин.

– Нет, воин, спешим. У меня еще сто неоконченных дел, а на днях – в Россию, – ответил Пушкин.

В горницу вошел Чавчавадзе, сопровождаемый племянником, капитаном Ростомом Вачнадзе, и молодым, подтянутым, в щегольской черкеске хорунжим горского полка. Это был младший сын генерала Бенкендорфа, прикомандированный к казачьему полку.

Во дворе горнист заиграл «сбор». Этот шутливый призыв рассмешил всех.

Пушкин и Чавчавадзе поблагодарили хозяев за гостеприимство и, выпив за русскую армию, направились к возкам и линейкам, ожидавшим их у ворот.

– Будь спокоен... Как только попаду в Москву, передам от тебя Алексею Петровичу поклон и солдатское спасибо, – усаживаясь в возок, пообещал Пушкин.

– А коли встретите Александра Николаича Небольсина, так ему тоже скажите: до конца моих дней...

Дрожки, возок и конные, сопровождавшие отъезжающих, рванули с мест, и слова Елохина потонули в шуме, пыли и нестерпимом августовском зное тифлисского лета.

Спустя шесть дней Пушкин уже ехал по Военно-Грузинской дороге в Пятигорск и Кислые Воды, где намеревался отдохнуть и подлечиться после своего путешествия в Арзрум.



За день до отъезда генерал-губернатор Стрекалов устроил в честь поэта великолепный ужин, на который было приглашено до пятидесяти человек «лучшего общества» города.

Во Владикавказе поэт снова остановился у коменданта крепости полковника Огарева, который по-дружески предупредил его, что бывший на вечере у губернатора Стрекалова адъютант военного министра полковник Бартоломей донес в Петербург о близости отношений между ссыльными и опальными декабристами и генералами Остен-Сакеном, Раевским, Вольховским и Муравьевым.

– Ты встречался и был с ними близок, Александр. Будь готов ответить о своих встречах Бенкендорфу.

Помимо этого предупреждения Огарев посоветовал Пушкину не очень задерживаться на Кислых Водах и своевременно вернуться в Петербург, так как обстановка в столице становилась неблагоприятной для упомянутых им генералов.

– По слухам, Паскевич намеревается отчислить от корпуса кое-кого, а иных при помощи Петербурга уволить в запас, – прощаясь с Пушкиным, сказал Огарев.

На Водах Пушкин провел три недели и через Екатериноградскую и Ставрополь возвратился в Россию.

В Москве он прочел парижский номер «Журналь де Деба», в котором была напечатана статья, где говорилось, что Паскевич – бездарный, пустейший и взбалмошный царский фаворит, загребающий всю боевую славу руками талантливых русских генералов Муравьева, Сакена и Раевского. «...Теперь, когда Русско-турецкая война заканчивается и Паскевич может обойтись без этих способных и прославленных генералов, он создает интриги, ведет безобразную против них кампанию и даже позволил себе арестовать и отрешить от должности генерала Сакена...»

Значит, предупреждение Огарева было обоснованным, и обеспокоенный Пушкин, не задерживаясь в Москве, поспешил в Петербург.

Александр Христофорович Бенкендорф, друг Николая I и шеф жандармов, крайне сухо принял явившегося к нему Пушкина. Не подавая поэту руки и не предлагая сесть, Бенкендорф сказал:

– Требую от вас точных объяснений. Кто разрешил вам отправиться в Арзрум, находящийся за границей, в то самое время когда вам известно было, что выезд за пределы Российской империи вам категорически запрещен государем. А во-вторых, вы позабыли, милостивый государь, что согласно указанию, данного вам ранее, вы обязаны предупреждать меня о всех ваших выездах и путешествиях, даже в пределах России. Государь император крайне недоволен вашими самочинными действиями и приказал мне передать вам выговор.



Немного спустя в Петербург прибыли отставленные от войск Кавказского корпуса генералы Муравьев, Сакен и Раевский. Русско-турецкий мир был заключен, и Паскевич уже не нуждался в упомянутых генералах.

## Глава 2

Лето и осень этого странного года были удивительными. И старики-горцы, и старожилы-казаки не помнили такого жаркого лета и такой сухой осени.

Последний дождь выпал на поля казачьей линии в начале июня, затем на землю легла засуха. Зной не спадал даже ночью. Высохли ручейки и речушки, Терек в ряде мест обмелел настолько, что его можно было переходить вброд. Потрескавшаяся земля, бледная, жухлая, поникшая зелень, леса с чахлыми деревьями, изнемогающие от жары люди, ослабевший скот – все изнывали без дождя.

И казаки, и горожане, и горцы с надеждой поглядывали на небо, на голубое, без облачка, лазоревое небо и переводили взоры на иссохшуюся, выжженную солнцем желто-пыльную землю.

По станицам ежедневно шли молебны, народ с иконами и хоругвями, со святыми дарами и песнопениями выходил в поле. Священники в полном облачении молили Бога о дожде...

Не прекращалась лишь сторожевая служба. Так же, как и раньше, на вышках стояли посты, а на курганах блестели штыки солдатских дозоров, и конные разъезды по утрам уходили из станиц подстерегать непрощенных гостей.

И в горах опасались неурожая. Абрикосовые и сливовые сады, раскинувшиеся вокруг аулов, захирели. Мычал голодный, не всегда напоенный скот. Даже на высоких перевалах и альпийских лугах солнце сожгло траву.

И русские и горцы ожидали чего-то грозного, какого-то наказания божьего.

– Наслал Господь за грехи наши, – говорили священники.

– Прогневил Аллаха мы... пошли против адатов и власти... – говорили муллы, озираясь, шепотом, боясь, как бы слова их не дошли до слуха мюридов и имама.

Прибывшие из-за Дербента торговые люди рассказывали со страхом, что вся Шемахинская губерния подверглась разорительному опустошению налетевшей из Ирана саранчой. Тучи зеленых насекомых опустились на и без того чахлую, изможденную засухой зелень и за двое суток уничтожили все сады и посевы охваченных ужасом людей.

– Божье наказание! Аллах гневается на нас, мы отворачиваемся от пророка и творим неугодные ему дела, – говорили одни. – Только через



газават вернется к нам господня милость. Имам Гази-Магомед, да будет он благословен вечно, еще год назад предупреждал, что Аллах накажет правоверных за то, что они забыли ислам, торгуют с русскими, не чтят шариат и священную войну.

Некоторые осторожные и рассудительные люди возражали, покачивая головами: ведь засуха и саранча одинаково пагубно сказываются и на землях, заселенных русскими.

– Посевы казаков тоже горят, а прожорливая нечисть до последнего листа сожрала за Дербентом все, что посеяли и русские, и мусульмане.

Но говорилось это не всякому, с оглядкой, так как мюриды имама жестоко карали всех, кто сомневался в пророчествах Гази-Магомеда.

Сам Гази-Магомед никогда не выступал ни с какими предсказаниями, наоборот, он с негодованием отвергал их, и тем не менее слухи о чудесах, творимых имамом, о предзнаменованиях и таинственных видениях, которые якобы являлись ему, кружили головы горцам. Кто распространял эти слухи, от кого исходили они – никто не знал, да и не интересовался этим, но все верили, что пророк в лице Гази-Магомеда прислал на землю своего святого, доверенного вождя, которому предстоит великая миссия освободить Дагестан и Чечню от русских и изгнать казаков и солдат со всего Кавказа.

В последних числах июля в станице Червленной, крепости Грозной, в Моздоке, Ищерской, Мекенской, Науре, Стагогладковской, Каргалинской, Кизляре ясным воскресным утром одновременно зазвонили колокола. Во всех церквах служилась ранняя обедня, с амвонов священники, вздымая руки к небу, умоляли Господа простить «люди своя» и послать на землю дождь. Служки, дьяконы и хоры пели молитвы, кадили ладан; иступленно молились люди, падая ниц и стенаая, опускаясь на колени и до боли в суставах отбивая поклоны.

Поначалу стройные роты солдат, стоявших отдельно от баб, горожан и казаков, смешались. Молящиеся слились в единую толпу. И дети, и старики, и женщины, кто в праздничных одеждах, кто в рубище и босиком, в слезах и плаче взывали к Божьему милосердию, моля о дожде, о прощении и спасении людей. Каялись в несуществующих грехах, в несодеянных преступлениях, обещали исправиться, жить в добре и христианских добродетелях... Что-то средневековое и мрачное было в стенаниях и самобичеваниях охваченных религиозным экстазом людей.

Однако не все плакали и молились. Дежурные сотни стояли за станицами, караулы – в поле, посты – на сторожевых вышках, а заряженные на всякий случай пушки охраняли крестные ходы и молитвенные песнопения.

Атаманы станиц принимали участие в крестных ходах, в то время как начальники частей, отдельные и полковые командиры зорко и внимательно следили за тем, чтобы солдаты и казаки были своевременно уведены из неистовствующих толп.



Так прошло воскресное утро 27 июля 1829 года по всей левой Терской и части Дагестанской линиям.

Полковник Волженский, командир Гребенского казачьего полка, подполковник граф Стенбок-Фермор, двое офицеров: ротмистр Головин и поручик Всеволожский, – не казаки, петербургские светские люди, переведшиеся на Кавказ «на ловлю счастья и чинов», с нескрываемой иронией и праздным любопытством взирали на взбудораженную крестным ходом, молением, поповскими речами и выкриками кликуш толпу.

– А вдруг добрый Боженька раскроет небеса, наплет тучи, и разверзнутся хляби небесные? Ведь возможно ж такое, ну, как случай, совпадение... Воображаю, что тогда будет в душах этих полудикарей! – пожимая плечами, сказал Стенбок.

– Как раз то, что необходимо нам. Если завтра или послезавтра пойдет дождь, я с моими гребенцами смогу пройти весь Дагестан, всю Чечню, – покручивая ус, сказал Волженский. – Ведь это ж небесное знамение, Божье благословение и помощь свыше! Мои гаврилычи и федотычи полезут на рожон...

– Палка о двух концах, – возразил Всеволожский. – Вчера лазутчик докладывал барону, что в горах тоже идут моления Аллаху о дожде. Целые аулы выходят на плоскость, постятся до вечерней звезды, молят пророка и имама ниспослать дождь... Вы представляете, как эти фанатики воспримут небесные хляби, если наши казаки и бабы потеряли головы и ополоумели от молитв и поповских речей?!

На берегах Койсу толпился народ. Здесь были жители десятков аулов: из Гуниба, Цудахара, Гимр, Ахульго, Салтов, из района Гумбета, отовсюду. Были аварцы, кумыки, лаки, чеченцы. Поодаль от мужчин, группами, почти в безмолвии толпились старые и молодые женщины, дети. Конные горцы подъезжали, спешивались, вливались в толпу. Молодежь отводила в сторону коней.

Близость Койсу, этой бурной, порою бешеной реки, чуть охлаждала раскаленный воздух. Даже здесь, высоко в горах, было душно. Жар не спадал, и люди, одетые в шубы, черкески и папахи, потные, разгоряченные, с тоской посматривали на небо. Оно было безоблачным и синим, беспощадным и знойным. Только далекие снежные вершины еще поили влагой обмелевшую Койсу.

От толпы отделились четыре почтенных человека с полуседыми бородами, двое в чалмах, другие – в высоких таллинских папахах. Мужчины и женщины, без умолку сетовавшие на нескончаемую жару, засуху, на божий гнев, смолкли. Старики подошли к присмиревшей реке, необычно тихой, обмелевшей настолько, что обнажились груды камней, обломков гранита и валунов на ее полувысохшем дне.



– Правоверные! – поднимая руки над головой, зычно крикнул один из чалмоносных стариков. – Пусть все, кого это касается и кто страдает от божьего наказания, молчат и слушают нас.

Притихли даже дети, и только чуть-чуть позванивала Койсу, стиснутая валунами, да шурша ссыпались с гор мелкие камни.

– Аллах отвратил от нас свои милости за наши грехи... Мы прогневили его, чем – знает каждый, так как свои грехи мы держим в тайне, внутри себя. Но есть и общий грех, касающийся всех, это – безбожие, неисполнение обрядов, пренебрежение к шариату, боязнь газавата и неверие в него. И горе тем, кто не поймет этого божьего предостережения, тем, кто эту засуху и бедствия считает случайностью. Нет, это Бог наказывает нас за то, что мы мало приносим ему жертв и плохо помогаем имаму и священному делу газавата.

Он потряс руками и закрыл ладонями лицо. Все в скорбном страхе слушали его.

– Аллах! Аллах... Алла! – слышались голоса.

– Я вижу, вы истинные мусульмане и имам не ошибается в вас, – продолжал старик.

– Я-аллах! Алла-ах! – опять стоном пронеслось над толпой.

– А теперь сделаем так, как делали наши деды, как исстари просили они у Бога дождя, – произнес второй старик в чалме. – Мы, старые люди, еще не забыли этого и помним, как наши отцы отгоняли злых духов и шайтана и как небо проливало дождь на иссохшую землю.

Он шагнул вперед и, встав возле большого валуна, полусвисавшего к Койсу, вымыл в воде руки, затем негромко, не торопясь, прочел молитву, глядя поверх воды в сторону востока, туда, где белели снежные хребты Аварских гор.

Все молчали, женщины не мигая смотрели на него, дети замерли на местах.

– Ведите жертву! – среди общего безмолвия громко и отдельно приказал старик.

Из толпы скорее вынесли на руках, нежели вывели белоснежного, молодого, круторогого барана, испуганно и тупо поводящего глазами.

Старик вынул небольшой, обоюдоострый нож и, подняв его над головой, произнес:

– Да будет эта жертва увидена и услышана тобой, о добрый хозяин гор... наш покровитель, и пусть она будет принята тобой.

Пока он говорил, молодые люди положили на валун барана головой к воде, задние ноги его держал один из юношей, на передние коленом стал старик.

– ...И пусть дожди обильно и скоро прольются над нашими пашнями и садами, так же как обильно и быстро потечет кровь твоей жертвы, – закончил старик и резким, сильным движением надрезал горло барана.



Все благоговейно и выжидательно смотрели, как вытекала кровь из горла зарезанного барана, как капала она в Койсу.

Затем барана унесли. Юноши и женщины, мужчины и дети стали обливать друг друга водой, шумно, с веселым смехом и прибаутками. Скоро большинство тех, кто только что в религиозном оцепенении смотрели на приносимую жертву, были облиты, обрызганы веселыми, смеющимися людьми. Посреди реки, там, где было еще довольно сильное течение, пустили маленький плот с тряпичной размазанной куклой, подожженной с двух сторон. Кукла дымилась, ее смешная, несоразмерно с фигурой сделанная голова подрагивала и тряслась. Женщины затянули какую-то песенку, дети запрыгали и забили в ладоши, мужчины, кто со смехом, кто улюлюкая, кричали вслед медленно плывшей, цепляющейся за камни кукле.

– Пусть сгорит с тобою засуха, пусть вода зальет тебя, как дождь заливает землю. Ай-ала-алай!

Кричали, пели женщины. Люди уже смеялись, настроение сосредоточенности и подавленности, навеянное речью первого старика, исчезло. Тягостное, напряженное чувство беспокойства оставило людей. Что-то праздничное, легкое, похожее на отдых охватило их. Казалось, засуха и тревога за будущее покинули их. Смех, возгласы, шутки зазвенели над Койсу.

Никто не видел, как появился Гази-Магомед, все были увлечены неожиданным превращением скучной и малопривлекательной церемонии в веселый народный праздник. Он напоминал собой те беспшабашные пляски и празднества с чабой, танцами, зурной и русским вином, которые запрещали в горах суровые мюриды имама. Чем-то приятным и свободным дохнуло на людей при первых же шутках, улыбках женщин, робких попытках молодежи парами и группами разбрестись по берегу. Где-то захлопали в ладоши, кто-то затащил мотив лихой дагестанской лезгинки. Уже не видно было и стариков, говоривших о газавате.

Пистолетный выстрел, внезапно раздавшийся, привлек всех. К валуну, на котором недавно был зарезан жертвенный баран, подходил имам. За ним шли Гамзат, Шамиль и трое мюридов, все спокойные, хмурые, не обращающие на остальных внимания. В руке Шамиля дымился пистолет, из которого он только что выстрелил в воздух.

Люди замерли, шутки, смех стихли, оборвался плясовой напев. Сконфуженно, виновато, напряженно смотрели все на имама, молча поднявшегося на валун, на котором еще темнела кровь жертвенного барана. Шамиль и мюриды стали у подножия камня, хмуро и неодобрительно оглядывая притихших людей.

– Правоверные! Дети пророка, собравшиеся здесь, да будет над вами благословение Аллаха, – негромко начал имам.

– Я-а-аллах! – скорее по привычке, чем от сердца, откликнулась толпа.



– ...Но Аллах помогает только тем, кто чтит законы, посланные людям через его пророка Магомета, да будет свято и прославлено имя его.

– Я-а-аллах!! – уже громче отозвалась толпа.

– ...И тем, кто только в несомненной книге видит, как надо жить, что делать, за что воевать...

Имам сделал паузу. Тишина охватила берега Койсу, и опять стали слышны слабый шорох осыпавшихся камешков и бормотание полувывсохшей реки.

– То, что вы делали здесь, – язычество. Нигде в Божественной книге, данной нам пророком, нет ни слова об обрядах, которые вы только что совершили. Невежественные, темные люди, без Бога в сердце, язычники, подобные дикарям, могут думать, что кровью ягнят можно искупить свои грехи перед Богом. Это язычество, говоря вам, вы, темные и бедные люди, попадаете в ересь, совершая жертвоприношение. Кому? Аллаху? – Голос имама зазвенел и перекинулся через берега Койсу. – Но истинному Богу не нужна кровь невинных ягнят. Ему нужны очищение и дела, ему нужна не смерть и кровь баранов, а газават, война с неверными, кровь и смерть врагов ислама, ненавидящих пророка и его детей, истинных мусульман!

Лицо имама было сурово, озаренное гневом, оно светилось и поминутно меняло выражение. И эта смена впечатлений, горящие глаза, металлический голос, звучавший убежденно и грозно, были столь необычны, что некоторые как зачарованные смотрели на Гази-Магомеда, другие, словно не в силах видеть его, опустили глаза долу.

– Как быстро вы, о люди, забываете шариат и святыя слова несомненной книги! Как тянут вас к себе пороки и грехи! Вместо того чтобы обнажить шашки и показать их страшный блеск врагам, вы, подобно язычникам, режете скот, принося его в жертву. Кому?! – еще звонче закричал Гази-Магомед. – Истинному Богу не нужны такие жертвы. Только язычники и лицемеры прячутся за кровь беззащитных ягнят! Нам, детям ислама, защитникам истинной веры, надо проливать кровь не глупых баранов, а врагов. К этому вас призываем мы. Газават русским!

– Газават русским! – выхватывая из ножен шашки, закричали мюриды.

Блеснули обнаженные клинки. Толпа, только что беззаботно веселившаяся, грозно закричала:

– Газават русским!

– Газават ханам и бекам, продажным муллам и кадиям, отступникам ислама! – закричал Гази-Магомед.

– Газават им!.. Смерть отступникам! – так неистово и грозно подхватили люди, что звук их голосов перелетел через Койсу и долгим эхом отозвался в ущелье.

Дети, женщины, мужчины, охваченные экстазом, увлеченные вдохновенной речью имама, иступленно и грозно вопили:





– Га-за-ват! – Солнце играло на занесенных над головами клинках, отражалось на лицах людей, сверкало на снежных вершинах Аварских гор.

– Газават всем врагам истинной веры! – подняв руки над головой, провозгласил имам. – А теперь, дети, время намаза. Исполняйте его во имя пророка.

Он надел папаху и среди вновь возникшей благоговейной тишины громко, уверенно и отчетливо сказал:

– Дождь будет... Аллах пошлет его нам на этих днях, и пусть кровь неверных и изменников прольется так, как прольются дожди на нашу иссохшую землю.

– О святой имам... Отец... Да будет благословенно твое имя... Имам! – застонали, закричали люди и опустились на колени, вздымая руки, протягивая их к стоящему на валуне Гази-Магомеду.

Спустя час Шамиль, улучив минуту, озабоченно и тревожно спросил имама:

– Ты обещал им дождь, а что, если его не будет... Кто поручится, что засуха не продлится?

Гази-Магомед вздохнул, помолчал и тихо произнес:

– Шамиль, брат мой. Народу всегда надо обещать то, чего ему недостает в данную минуту, а засуха должна прекратиться... дожди должны быть... В нашей горной стране засуха не бывает вечной.

А в крепости Грозной благочинный отец Иероним писал во Владикавказскую крепость рапорт о том, что согласно указания епископа Палладия, 27 июля в семи станицах Кизлярского отдела были проведены богослужения и крестные ходы с мольбой о дожде. Донесение благочинного кончалось следующими словами:

«Народ в слезах и молениях обошел станичные улицы и за околицами провел в молитве половину воскресного дня.

Ваше предписание всеми священнослужителями церквей указанных выше станиц выполнено, теперь же, возлагая надежду и упование на Бога, будем ждать дождя, как его благословения и милости».

На следующий день солнце еще сильнее жгло иссохшую, потрескавшуюся землю. Зной беспощадней охватил всю притеречную, кумыкскую, приморскую равнины. На всей Лезгинской линии стояла туманная, жаркая мгла, «музга», как называли ее казаки. Скот задыхался от безводья и зноя. Огромные слепни нападали на животных и людей; по камышам и плавням Терека носились стада кабанов; олени, не боясь людей, заполнили за Кизляром тихие заводы Терека; люди, измученные зноем, пылью, оводами и комарами, передвигались, как сонные мухи. Участились солнечные удары, в крепостях и отрядах был введен ограниченный водный паек.



А мгла, удушающая, страшная мгла все сильнее окутывала землю.

Под утро с моря, со стороны Каспия, задул ветер. Люди, спавшие в садах под деревьями, на плоских крышах саклей, проснулись от сильного грома и блеска молний, разрывавших предутреннюю тьму. Небо бороздили огненные зигзаги. Порывы холодного, все усиливающегося ветра проносились над землей, качая деревья, пригибая к земле лозняк, шурша камышом. Затем пошел дождь. Это был ливень. Сорвавшаяся с привязи стихия, словно желая наверстать упущенное, хлестала землю косыми потоками воды. Ливень обрушился сразу на всем протяжении Кавказской линии.

Весь Дагестан, вся Чечня, Моздокская степь, Кизлярские плавни, Ногайская равнина – все было залито, исхлестано потоками дождя. Иногда он ослабевал, синее небо и брызги горячего солнца на час-другой озаряли мокрую, взбаламученную землю, затем снова гремел гром, сверкала в тучах молния, грохотало в горах, и нескончаемые потоки били и кромсали землю. Она уже досыта напилалась влагой и больше не принимала ее. Мутные потоки бежали отовсюду, урча и сверкая. Горные реки вздулись и, сметая все, что попадалось на их пути, низвергались в долины. Терек вышел из берегов. На четвертый день непрерывных дождей он изменил свой путь и ринулся на станицы, ломая мосты, унося в мутных, буйных волнах обломки лодок, плотов, береговых строений, трупы животных.

Койсу, недавно такая тихая, мирная обмелевшая речушка, сейчас с грохотом и ревом катила свои воды, смывая все, что не успели убрать люди. Арбы, доски, сено, бревна – все мчалось вниз, в долины. В грохоте и пене, заполняя ущелья, сделав непроходимыми дороги и броды, неслась в яростном беге горные реки по кручам вниз.

Четыре дня буйствовали дожди; четыре дня ливней и гроз превратили высохшую землю в болото. Затем дождь прекратился. Горы опять подернулись голубой туманной дымкой, ушли тучи, солнце, щедрое южное солнце выкатилось из-за гор и обожгло землю. Подул легкий ветерок, зашумели деревья, забормотала листва, вода быстро уходила, испарялась.

А еще через двое суток степь заискрилась, запестрела, зацвела. Благородные дожди вернули ее к жизни. Красные огромные маки, белые ромашки, желтые лютики поднялись из изумрудной травы и цветным ковром покрыли землю. Темно-зеленая листва затянула леса, высокий камыш с рыжими метелками зашуршал, заходил над водой. Плавни наполнились болотной птицей, фазаны с фырканием взлетали в подлесках Кизляра.

– Имам! Скажи, как ты узнал, что засухе конец, что будут дожди? – спросил Шамиль, глядя на бурные потоки, залившие аул, долину, горы. – Это же чудо!



Гази-Магомед поднял глаза. Шамиль, который всего на четыре года был моложе его, в эту минуту казался растерянным юношей, смущенно стоявшим перед зрелым и опытным мужем.

— Чудес нет, Шамиль, их не должно быть и в нашей жизни, — после долгого молчания сказал Гази-Магомед. — Просто я знал, верил, что должен наступить когда-нибудь конец засухе, ничего беспредельного не бывает, а она тянулась уже свыше пятидесяти дней. И потом, — он как-то мягко и добродушно улыбнулся, — ты помнишь, я сказал, что народу надо обещать то, чего он ждет, чего ему не хватает. Я это и сделал.

И на русской стороне, и за Тереком, в горских землях, аулах, горах, городах и станицах люди молились Богу, вознося благодарения, твердя о чуде. Священники читали проповеди о милости Божьей, муллы возносили хвалу Аллаху, мюриды горячо и вдохновенно напоминали всем о пророчестве имама, славу и святость которого укрепил промчавшийся над землей ливень.

### Глава 3

Над аулом разнеслись частые удары железа по чугунному кагану, висевшему на кожаном ремне.

С площади послышался громкий, протяжный и отчетливый голос будуна:

— Правоверные! Дети истинной веры, жители аула! Сходитесь к околице, к дороге, ведущей на Унцукуль. Идите все, идите старые и малые, мужчины и женщины! Идите все. Будет, по воле Аллаха, суд над нечестивыми, проклятыми в своем грехе и поступках, Джебраимом, сыном почтенного Мустафы-Кебира, и грязной шлюхой, потерявшей совесть и стыд, Патимат-Кизы, женой почтенного Саадуллы. Все, все идите, и да поможет Аллах суду и правде.

Шамиль вопросительно глядел на Гази-Магомеда. Имам сидел над какой-то бумагой, испещренной арабскими буквами. Время от времени он поднимал голову и о чем-то долго и напряженно думал. Он, казалось, совсем не замечал своего озабоченного друга.

Наконец Шамиль не выдержал и, улучив момент, когда возле Гази-Магомеда никого не было, осторожно напомнил:

— Гази, на площади уже собрался народ. Кадий и старшины готовы начать суд над преступниками, нарушившими шариат и законы, данные нам пророком. Все ждут твоего появления.

Гази-Магомед свернул в трубку бумагу с арабскими письменами.

— Шамиль, после суда напиши ответ Аслан-хану. Этот нечестивец призывает нас к измене святому делу газавата. Первым, кого мы на-



кажем за измену вере, будет он. Что же касается виновных в бесчестье и грехе блудодеев, пусть народ сам решит их судьбу. Ты и Гамзат-бек идите к собравшимся на площади и замените меня на некоторое время, потом я подойду, — и Гази-Магомед, склонив голову набок, продолжал писать.

Шамиль и Гамзат-бек, пристегнув шапки, пошли на площадь выполнять приказание имама.

Мюриды, сидевшие на корточках у входа, вскочили и по знаку Гамзата молча последовали за ними.

Во дворе, на улице и на площади уже копошились люди, слышался топот спешивших к околице, доносились отдельные голоса. А над возбужденным аулом все еще звенел голос будуна:

— Идите все, и да исполнится закон по воле Бога.

На улице царила тамаша<sup>1</sup>.

Женщины в покрывалах, малые дети, босоногие, в рваных рубашонках; пешие и конные горцы, старики и степенные старшины в длинных, хорошего сукна черкесках шли к тому месту у дороги, где должен был состояться суд над преступной парой прелюбодеев, застигнутых свидетелями на месте.

На большом валуне сидел мулла, держа в руках развернутый Коран. Трое стариков-судей расположились на другом плоском камне. Рядом с ними стоял, переступая с ноги на ногу и поминутно вздыхая, невысокий сухой человек с полуседой бородой. Это был Мустафа-Кебир, отец прелюбодея Джеббраима, которого сейчас должен был судить народ.

Любопытные жители других селений, случайно попавшие в аул, оставались, отводили в сторону арбы и, ослабив налыгачи или вовсе выпрягая быков из ярма, тоже поспешили к месту суда и молча, сосредоточенно ожидали начала. Это дело было интересно всем, касалось всех, так как подобные истории случались и в горах, и на плоскости, и каждый считал себя вправе быть и зрителем, и судьей.

Толпа все росла.

Гамзат-бек, Шамиль и мюриды, отдав салам, приблизились к сидевшим на камнях старикам. Еще раз до них донесся призывный голос будуна. Шум, возгласы, шаги, скрип арб, рев ослов и звон бившихся о стремяна шапек слились в общий гомон.

С гор веяло прохладой. Солнце поднималось над хребтами то черных, то белоснежных дагестанских гор. Зеленые леса, обрамлявшие подножия, пыль, клубившаяся на дороге, и знакомый кизячий запах от разожженных очагов были столь обычными и мирными, что Шамиль, чуть прищурясь, окинул взором людей, сосредоточенно и деловито ожидавших начала суда.

<sup>1</sup> Кутерьма, суматоха.



– Пора, начнемте, правоверные, во имя Аллаха, – сказал Гамзат. Как доверенный имама, по каким-то причинам не пожелавшего присутствовать на суде, он обратился к людям. – Важные дела и молитвы отвлекают имама от мирских дел. Он поручает вам разрешить это богопротивное дело согласно законам шариата и воле выбранных вами людей. Решайте без злобы, без мести, без мягкости, а как велит закон, как говорит шариат.

Гамзат-бек снял папаху и поклонился народу и судьям, затем, поправив пашку, молодежавато и твердо шагнул к старикам и сел позади них.

Шамиль с мюридами остался в толпе, внимательно разглядывая проходившихся поблизости людей.

Все были молчаливы, сумрачно-сосредоточенны, и только со стороны, где расположились женщины, слышались проклятия, оскорбительные, бранные слова в адрес Патимат-Кизы.

– Половина из них такие же шлюхи, как Патимат, – еле слышно шепнул на ухо Шамилю Юнус, молодой и озорной чеченец из Гойты.

Мюриды, стоявшие за ними с серьезными, нахмуренными лицами, в душе соглашались с Юнусом.

– Нет бога, кроме Бога, и Магомет – пророк его, – вставая с места, громко произнес мулла.

– Ля илльяхи иль алла! – ответила толпа, кто громко, кто вполголоса, кто шепотом.

– Итак, начинаем суд, правоверные. Судить будем мы, цудахарцы, и весь народ по правде, по закону наших гор, которые осенила истинная вера пророка, – поднимая над головой священную книгу, продолжал мулла. – Все вы знаете дело, по которому собрались сюда?

– Все, все знаем, – донеслось отовсюду.

– Тогда пусть выходит сюда почтенный Саадулла и расскажет, что знает, – обращаясь к народу, предложил мулла.

Из толпы вынырнул сумрачный, с хмурым лицом и растерянным взглядом человек в рваной черкеске и суконных чувяках на босу ногу. Держась одной рукой за широкий простой кинжал, он неловко приблизился к судьям.

– Говори! – коротко сказал мулла.

Толпа, затаив дыхание, напряженно слушала.

– Что говорить, – так же коротко ответил Саадулла. – Я всегда был занят работой и войной с русскими. И когда мне соседи сказали, что женщина, которая пришла в мой дом из рода Джавада аль-Хуссейна, – протянул он с невыразимым презрением, – ведет себя как сука, как блудливая кошка, я не поверил.

И толпе послышались голоса, насмешливые возгласы, вздохи. Мулла строго глянул, и все стихло.

– Я сам из богобоязненного и твердого в шариате и вере рода. И фамилия этой... – он промолчал.



– Твари, грязной блудни! – закричал кто-то из толпы женщин.

– Это ее мать, – указывая на говорившую, произнес Саадулла. – Что же говорить мне? Я мужчина, и я хотел узнать правду.

– Каким образом? – тихо спросил мулла.

– Я попросил двух моих родственников и двух молодых жителей аула последить в мое отсутствие за женщиной, живущей в моей сакле, – хмуро рассказывал Саадулла.

Было ясно, что так он называл свою жену не только из соблюдения горского этикета, но и потому, что она была противна и ненавистна ему.

– И что же? – спросил Гамзат-бек.

– Я ушел в набег на русские станицы. Это было тогда, почтенный Гамзат-бек, когда ты и Шамиль-эфенди, согласно воле имама, повели нас на Табасарань.

Гамзат кивнул.

– Уже на следующий день мои свидетели захватили эту женщину, – не глядя, показал он пальцем через плечо на стоявшую без покрывала бледную, съежившуюся от стыда и страха женщину. – Захватили в бесстыдстве и грязи в кустах возле Сурхайского родника.

– Кто твои свидетели?

Из толпы вышли четверо аварцев. Один был еще очень молод, лет семнадцати, не старше, остальные повзрослее.

– Мы! – одновременно сказали они, подходя к судьям.

– Поклянитесь на Коране, что каждое ваше слово – правда и что ложь не очернит вашу совесть.

И мулла коротко прочел кусок из суры, говорившей о святости домашнего очага мусульманина. Потом все четверо, ничего не понявшие из арабских текстов, подняли руки и, поцеловав краешек книги, начали рассказывать, как они проследили нечестивую пару любовников и застали их почти без одежд в объятиях у подножия Сурхая.

Внезапно все замерло. Стало так тихо, что слышен был шорох осыпавшегося под ветром песка, легкий шум деревьев, отстоявших довольно далеко от места сбора.

Полунагая, в грязной, изодранной, спускавшейся к босым ногам рваными клочьями рубашке, белая от стыда и страха, опустив голову, стояла молодая, лет двадцати трех женщина, на которую с тупым вниманием и насупленными лицами смотрели люди. Непрекращавшаяся мелкая дрожь была ее. Лицо, грудь, руки, все тело тряслось, как в лихорадке.

Ее любовник, плотный приземистый парень лет тридцати, стоял рядом со скрученными за спиной руками. Он смотрел себе под ноги и ни разу не взглянул ни на судей, ни на толпу, ни на женщину, с которой был застигнут два дня назад. Лицо его было хмурым и злым. Казалось, он не видел никого, не слышал ни муллы, ни свидетелей, подробно и сбивчиво рассказывавших о том, как они проследили нечестивую, развратную



пару и как, при каких обстоятельствах застигли их. Он не взглянул на женщину даже тогда, когда она, подавленная подробностями допроса свидетелей, зарыдала, глотая вырвавшийся из горла крик.

– Кто может опровергнуть свидетелей, заставших этих людей в грехе и прелюбодеянии? – вытягивая руку в сторону женщины и ее любовника, спросил кадий.

– Что там опровергать? Эта блудница чуть ли не на глазах всех аульчан распутничала с ним.

– Все верно!

– Гадина! Притворялась тихой, скромной, а сама погубила парня, – раздалась негодующие голоса.

– Убить их надо!.. Камнями, как собак поганных, – срывая с головы платок, дико закричала, подаваясь вперед, мать подсудимой.

И сейчас же все женщины одобрительно и громко загалдели.

– Правильно сказала, Чаба-хан! Как шелудивых псов, чтобы другим неповадно было.

– Тише, женщины! Суд еще не окончился, – поднимаясь с камня, остановил их кадий. – Решать будем после, а сейчас пусть скажут сами эти... Скажи, женщина, почему ты впала в грязь и грех с этим мужчиной? – не глядя на подсудимую, спросил кадий. – Может быть, муж твой плохой, не годится для брачной жизни?

Все насторожились. И хотя это была обычная судебная проформа, необходимая по шариату при разбирательствах такого рода, тем не менее все жадно смотрели на преступницу, ожидая ее ответа. Но она, по-видимому, не только не поняла, даже не слышала вопроса.

Шамиль всматривался в ее помертвевшее лицо и судорожно дергавшиеся плечи, потом перевел взгляд на мужчину, и ярость охватила его.

«Убить обоих. Забить камнями и залить яму грязью», – подумал он.

Гамзат-бек молча гладил ладонью свой широкий базалаевский кинжал, на котором кубачинские мастера искусно вывели по серебру сложный восточный орнамент. Перехватив взгляд Шамиля, он тихо шепнул:

– Кончать надо. Скоро намаз, а там и в дорогу.

Шамиль утвердительно кивнул, вспомнив Гази-Магомеда, которого они оставили в селе.

– Так защищать их некому, да и от чего защищать?... От собственной грязи и греха спасет один Коран, но они, эти нечестивцы и блудники, забыли и Аллаха, и пророка, и несомненную книгу, забыли о том, что они мусульмане. Как собаки, они удовлетворяли свою похоть, как собаки они и умрут, – гневно закончил кадий.

Вздых, тяжелый и весомый, прошел над толпой.

И снова стало тихо.

– На основании законов чистой веры и, как говорит шариат, эти грязные животные подлежат позорной смерти в ямах. Каждый правоверный,



каждый мужчина и каждая женщина, присутствующие здесь, с чистым сердцем и твердой верой должны кинуть камень в них. Мужчины – в негодая, опозорившего аул и дом почтенного Саадуллы. Женщины – в блудливую потаскуху, забывшую Бога, мужа и закон. Ведите их, и да свершится суд по воле Аллаха.

Толпа задвигалась, шевельнулись и оцепенело стоявшие осужденные. Парень с ненавистью глянул на свою любовницу и что-то с отвращением выкрикнул ей, но за шумом, возникшим на сходе, Шамиль не расслышал слов.

Парень яростно отбивался, выкрикивая ругательства, пытался вырваться из рук людей.

– Теперь только понял свой позор, свинья поганая!.. – сказал Гамзатбек и, оборвав себя, спросил: – Что это? Горят сигнальные костры?..

Все обернулись в сторону, куда смотрел он. Даже мулла с кадием поднялись с мест, с тревогой и беспокойством глядя на вершину соседней горы.

Там вился дым. Он то черной шапкой клубился на вершине, то, подобно конскому хвосту, взлетал и падал под ветром.

Огонь прорезывал пелену дыма и все сильнее охватывал сигнальные сухие поленицы, заменявшие горцам телеграф.

Вдали, возле дороги на Унцукуль, за клубился второй костер, за ним третий, и сигнальная цепь сторожевых костров в дыме и пламени потянулась к небу.

– Русские идут, – объявил кадий и обтер лицо ладонью.

– Опять эти нечестивцы полезли в горы, – мрачно произнес мулла и посмотрел на Гамзата.

Со стороны караула, занимавшего дорогу на Унцукуль, скакал конный. А дым все сильнее поднимался над верхушками недалеких холмов.

– Русский отряд близко!.. – соскакивая с коня, крикнул связной. – Его дозоры уже вышли к роднику Сурхая. Казаки перешли перекресток.

– Много их? – спросил Шамиль.

– Много. До тысячи человек и три пушки. Впереди казачьи разъезды, затем пехота.

– Куда идут?

Люди, забыв о казни, об осужденных, столпились вокруг связного, взволнованно задавая вопросы. Часть женщин бросилась к саклям, желая угнать в горы скот, собрать кое-какой скарб, спасти от русских.

– Точно не знаю. Но конные уже прошли перекресток, не сворачивая к нам, – ответил, пожимая плечами, посланный. – Али-Магома приготовился встретить их огнем, если пойдут к нам... но их много.

Осужденный, стоявший на краю ямы, с надеждой слушал этот разговор. Его лицо и глаза оживились. Приход русских означал спасение или хотя бы отсрочку казни.





Тревога, вызванная страшной вестью о появлении русских под самым аулом, неминуемый разгром и уничтожение оттеснили на задний план все остальные события. Люди теперь думали о себе, о своих семьях, о надвигавшейся опасности.

— Скачет кто-то! — закричали в толпе.

Пыль поднялась над дорогой. Все в беспокойстве смотрели на приближавшегося всадника.

— Как быть с ними? Сейчас не до этой дряни, — тихо сказал мулла, показывая на осужденных.

— Закон их осудил. Азраил ждет их грешные души, — сурово ответил кадий, глянув на Гамзат-бека. Тот кивнул.

Всадник, не слезая с коня, крикнул:

— Русские пошли дальше! Они даже не взглянули в нашу сторону. Солдаты и пушки идут в Ашильту.

— Слава Аллаху! Велик Бог и его святая милость! — сказал мулла, и вздох облегчения пронесся над толпой. Люди снова ожили, лица всех просветлели. Радостная весть, что русские прошли мимо, вернула к жизни всех.

— Проклятые гяуры пошли дальше. Помоги, Аллах, твоим детям, да охранит пророк правоверных, — поднимая руку кверху, помолился мулла и приказал: — Исполняйте закон, люди. Время не ждет.

Две женщины вытолкнули вперед осужденную, а третья, пожилая, с сухим и морщинистым лицом, стала остригать ее волосы большими, грубо сделанными ножницами, которыми по весне стригли аульских овец.

Парня, упиравшегося и пытавшегося ногами отбиться от схвативших его мужчин, поволокли к яме, вырытой у дороги. Вторая чернела рядом. Темные неширокие дыры, сажени по две глубиной, в которые сыпался песок. Сырой запах земли шел от еще влажной ямы. По обе ее стороны стояли мужчины, возле которых была насыпана гора камней, больших и малых. Тут были и острые обломки гранита, и круглые булыжники, и собранная мальчишками крупная речная галька, и большие, величиной с кирпич, принесенные из ущелья куски черного диабазы.

У второй ямы столпились старухи, нетерпеливо поторапливавшие обступивших блудницу женщин.

Парень еще раз попытался вырваться, но связанные руки мешали ему. Он тяжело вздохнул и обвел всех тупым и мрачным взглядом. Стоявший позади него тавлинец вдруг пихнул парня в спину, другой поддал ногой — и осужденный с глухим воплем свалился в яму. И сейчас же туда полетели камни. Били все: и старики, и молодые. Бросали мулла и кадий, мальчишки, Шамиль и даже мюриды-чеченцы, люди чужие в этих местах и не знавшие никого из присутствующих.

Вопли стихли, а камни все летели в яму.



Женщина в ужасе закрыла лицо руками, но ей развели их. Родная мать с ненавистью подтолкнула ее к яме, другая женщина, мать ее любовника, толчком в подбородок приподняла опущенное вниз лицо.

– Смотри, потаскуха, любуйся казнью моего сына, погубительница его жизни! – с ненавистью проговорила она.

Осужденную бросили в яму, и град камней посыпался на нее. Били только женщины и дети. Мужчины молча и сурово стояли в стороне, разглядывая орущих, яростно швыряющих камни женщин.

Никто не заметил, как к месту казни подошел Гази-Магомед, он внимательно наблюдал за людьми.

– Все кончено. Обе свиньи забиты камнями, их грязные тела зароят после вечернего намаза далеко за аулом, – сообщил мулла, подходя к имаму.

– Аллах лучше нас знает пути жизни и смерти. Делайте с телами так, как велит шариат. – И, не обращая внимания на приветствия заметивших его людей, Гази-Магомед сказал: – Гамзат и ты, Шамиль, выводите мюридов к дороге. Русские пошли в сторону Апильты. Нам засветло надо быть в Эрпели.

Вскоре конная группа из двадцати мюридов с Гази-Магомедом, Гамзат-беком и Шамилем на рысях вышла из Цудахара.

Старшины аулов, уполномоченные имамом мюриды, кадии, назначенные в селениях Гази-Магомедом, получили письменные приказы о том, чтобы раз в неделю все здоровое, способное трудиться население в течение шести часов приводило в порядок сакли семейств, потерявших в боях с русскими своих кормильцев.

Этот приказ понравился людям – значит, имам помнил и о тех, кто погиб, и о тех стариках, малолетних детях и больных, отцы и сыновья которых сложили головы за газават. Сначала кое-где, а затем повсеместно однодневная помощь превратилась в двухдневные общественные работы. Народ с восхищением говорил, что сам имам, и Гамзат, и Шамиль, и боевые, отмеченные уважением народа мюриды, скинув черкески, засучив рукава бешметов, таскали тяжелые камни, месили глину, носили воду, вколачивали гвозди, прокладывали тропинки, помогая беднякам и семьям погибших за ислам.

Движение это перекинулось и к кумыкам, и в Чечню, и в Табасарань, и даже в Аварию, правительница которой, будучи сторонницей русских, враждебно относилась к Гази-Магомеду.

Когда общими силами сакли и сады сирот были приведены в отличное состояние, от имама пришел новый приказ:

«Всем способным и здоровым аульчанам от двенадцати до шестидесяти лет, как мужчинам, так и женщинам, готовить завалы на узких тропках, ведущих из долин в горы, собирать в кучи большие валуны и камни, тащить их к обрывам, нависавшим над ущельями, и дорогам, шедшим



из долин; заготавливать запасы зерна и сушеного мяса, наполнять каменные цистерны питьевой водой».

Всем стало ясно, что близится начало войны и что газават, о котором говорили мюриды, — не за горами.

Лазутчики русских, почти одновременно прибывшие в Грозную из Кази-Кумуха от Аслан-хана и из Тарков от шамхала, сообщали о военных приготовлениях имама, о сборищах мюридов, о том, что из горных аулов потянулись к плоскости конные и пешие отряды.

Генерал барон Розен не поверил никому. Он знал о ненависти владетельных ханов к имаму, знал и о том, что бежавшие к русским ханы и муллы очень часто лживыми донесениями подогревали ненависть русских к Кази-мулле.

«Старая штука. Им не терпится загрести жар нашими руками и опять вернуться к себе в горы владетелями жизни и имущества своих подданных», — решил Розен и приказал приставам пограничных с горцами линий усилить наблюдение за дорогами и аулами. Тем временем из крепости Внезапной бежали в горы семеро солдат, а с четвертого поста исчезли артиллерист и второй канонир. Дознания об их исчезновении ни к чему не привели.

Армянские и татарские купцы, торговавшие с плоскостными аулами кумыков, обменяли и продали горцам большое количество пороха, а казаки, дружившие с чеченцами из аулов Шали, Цецен-Юрт и Гехи, сообщили своему начальству, что горцы стали в неограниченном количестве закупать на базарах соль, свинец и порох.

Но и это не повлияло на решение барона Розена. Генерал не верил в газават. Русские победы в Персии и Турции были столь внушительны, что смешно было думать, будто малочисленные, необученные толпы горцев могут представлять какую-либо опасность.

## Глава 4

После сурового управления краем, проводимого с 1819 года Ермоловым, нововведения Паскевича, которыми он отметил свое пребывание на Кавказе, казались прогрессивными.

Так, например, при нем стала выходить первая в Закавказье газета «Тифлиссские ведомости», довольно либеральный официоз, редактором которого был назначен прибывший из Петербурга журналист Санковский, близкий и давний друг Пушкина. Были открыты смешанные акционерные общества, французское вице-консульство, банк, школы для детей имущих грузин и армян, духовное училище для армян, семинария, школа для солдатских детей, магазины. Строились большие, двух- и трехэтажные каменные дома, расширялись улицы, сносились



ветхие домишки, создавались площади. Стали устраиваться приемы и балы, иллюминации, в саду дворца Паскевича, куда беспрепятственно допускалась «чистая» публика, каждый вечер играл духовой оркестр. Паскевич, не столько понимавший музыку, сколько желавший казаться европейски образованным человеком, привез с собой фортепьяно и жиграндоли<sup>1</sup>, очень понравившиеся грузинскому дворянству и быстро вошедшие в обиход чиновных, вельможных и богатых домов Тифлиса.

Подобные новшества сейчас же сказались и на Баку, и на Владикавказе, и на крепости Грозной, которая за три года после ухода Ермолова разрослась, ее окружили слободки, станицы, торговые ряды. И сама крепость сделалась просторнее и шире, появилось немало офицерских и чиновничьих домов, флигелей. Часто устраивались вечера. Офицерские жены разыгрывали коротенькие пьесы и водевили, музицировали. В Грозную стали наезжать бродячие цирки, вернее, фокусники; дороги и крепости улучшили, кое-где утрамбовали щебнем; был построен новый мост. И, как по мановению руки волшебника, выросли рестораны, кабачки, духаны.

Словом, то, что оставил Ермолов, преобразилось в городок-крепость с довольно большим населением и сильным гарнизоном.

В селение Черкей, расположенное вблизи владений шамхала и расквартированных в Тарках русских отрядов, внезапно прибыл Гази-Магомед, сопровождаемый чеченским проповедником Шабаном, командиром отряда Ташов-хаджи и сотней мюридов. На этот раз все были на отличных конях, в хорошо и ловко сидевших черкесках, белых папахах. Конская сбруя, оружие джигитов, образцовый строй, напоминавший обученных кавалеристов, – все произвело впечатление на жителей аула. Сам Гази-Магомед, в высокой белой папахе и длинной коричневой черкеске, молча, не глядя на приветствовавших его черкейцев, въехал в аул, держа в одной руке раскрытый Коран, а в другой – обнаженную пашку. Конные тотчас же оцепили выезды из аула, установили посты на дорогах. Черкейская молодежь с пением молитв, выкриками в честь имама присоединилась к мюридам и, создав охрану Гази-Магомеду, проводила его до мечети.

Имам сошел с коня, шагнул внутрь, все еще не здороваясь и не говоря ни с кем.

– Что с имамом? Разгневан на нас? За что? Мы верные мусульмане, истинные сыны веры... За что же он гневается на черкейцев? – шептались в толпе.

А люди все прибывали: и пешие, и конные, и местные, и даже из Тарков, Кяфыр-Кумуха и Казанищ. Напряженное возбуждение росло. Люди

---

<sup>1</sup> Многофигурные подсвечники с изображением мифологических героев, различных зверей и сказочных птиц.



терялись в догадках, ища в себе и близких причину неудовольствия имама. Но никто не знал за собой вины, все были подавлены и взволнованы этим.

Вдруг двери мечети распахнулись, и Гази-Магомед, сопровождаемый муллами, Шабаном, Ташов-хаджи и Гамзат-беком, появился на площади.

Все стихло.

– Братья правоверные! Вы – оплот и надежда ислама, вы те, которых первыми осенит божье благословение в борьбе с неверными. Мы недаром приехали к вам, мы знаем, что истинная вера сильнее всех горит в Черкее, а львиное мужество и блеск ваших шапек наводят страх на гяуров.

Не ожидавшие такого начала, готовые к признанию своих ошибок и грехов, черкейцы опешили, затем разом закричали:

– Ля иль алла! Свет нашей веры, о имам, о чистый сосуд божьих откровений... Веди нас, куда надо... О щит ислама!..

Гази-Магомед поднял руки.

– Я знаю вас и не ошибаюсь, говоря о черкейцах: вы – щит и опора газавата.

Потом имам прошел по аулу, иногда заходил в сакли знакомых ему черкейцев, беседовал с толпившимися в узких улочках людьми. Каждому хотелось самому поговорить с имамом, показать ему свою преданность мюридизму и газавату. Старики приветствовали его, женщины с крыш саклей махали платками, бросали полевые цветы и пучки сочной травы под ноги Гази-Магомеду.

Весь аул был охвачен непередаваемым возбуждением, граничившим с преклонением перед имамом. И оно все росло и крепло, то и дело выливаясь в возгласах, молитвенных выкриках и пении славословий, уже ставших общим гимном:

*На небе одно солнце...*

*На земле один имам, о Гази-Магома,*

*Светоч и лев ислама...*

*Веди нас с собой...–*

запевали один-два голоса, и сейчас же десятки громких, мужественных, охваченных экстазом голосов покрывали пение.

– Га-за-ват! Га-за-ват! – грозно перекатывалось из одного конца аула в другой.

Гази-Магомед остановился на ночлег в сакле муллы, рядом с ним расположились чеченцы и Гамзат-бек, который исполнял обязанности помощника и секретаря имама, так как Шамиль остался в Унцукуле.

После ужина и намаза имам продиктовал Гамзату письма, которые тут же были размножены муллой, кадием и всегда сопровождавшим имама во всех походах и поездках ученым алимом Муссой аль-Гумра.

«Небо наложило печать отвержения на мусульман за то, что они не исполняют закона пророка, пресмыкаются во грехе и забыли свой первый



долг – оставить родину и родных, вооружиться против неверных и идти на распространение света истинной веры убеждением и мечом. Присутствие неверных заграждает путь к трону Аллаха. Молитесь, кайтесь, жалкие трусы... Но прежде всего ополчитесь на газават против неверных<sup>1</sup>. Приготовьте себя к нему молитвою, постом и покаянием. Час наступит, и тогда я благословлю вас на брань...»

Все четверо писали и переписывали грозное воззвание Гази-Магомеда к еще колеблющимся жителям плоскостных аулов, Салатавии и Аварии.

К утру конные разъехались по не примкнувшим к газавату аулам, увозя с собой письма.

Имам молился в одиночестве, горячо и долго. Только в пятом часу утра он прилег всего на час-полтора, а в седьмом часу утра прискакал гонец из Тарков с сообщением, что новый шамхал, прослышав о появлении в Черкее имама, ночью, забрав основные ценности, имущество, жен и родню, бежал к русским.

Владетельный Аслан-хан казикумухский прислал в крепость Грозную прокламацию Гази-Магомеда; точно такую же доставил пристав Хасаев из Кюринского ханства, но барона Розена уже не было в Грозной. Его для доклада отозвал в Тифлис Паскевич, а заменивший Розена генерал Эммануэль, ограниченный и недалекий солдафон, не поняв значения газавата, обещал поймать и повесить «разбойника и самозваного имама Кази».

Часам к восьми утра из Тарков и Параула прибыли делегации от народа и почтенных стариков. Еще раньше из горных аулов к Черкею подошли конные отряды численностью до пятисот человек. Их привел Шамиль, а спустя час пришла и пехота с обозом и одной пушкой. Это были чеченские и кумыкские добровольцы, возглавляемые мюридом Юнусом и Химматом аль-Хочатли. Пехота численностью до тысячи человек расположилась вокруг Черкея, не входя в него. Параульцы и посланцы Тарков просили имама занять шамхальские владения, обещая примкнуть к газавату.

Несмотря на то что неподалеку от Тарков находилась Бурная, а вокруг нее были созданы выдвинутые вперед блокгаузы и посты, никого из русских разведка имама не обнаружила.

– Они, как мыши, заперлись в своих норах, – не без самодовольства донес белед Исмаил из Черкея, но Гази-Магомед понимал, что эта тишина обещала близкую бурю. По его приказу Ташов-хаджи со своими чеченцами двинулся в сторону Бурной, а часть пехоты, заняв Тарки и Параул, вместе с жителями начала делать завалы, каменные преграды, копать рвы и нечто вроде траншей на холмах, окружавших резиденцию шамхала.

<sup>1</sup> В данном случае русских.



К полудню, сопровождаемый лучшими наездниками из мюридов, с обнаженной шапкой под развевающимся зеленым знаменем газавата, имам въехал в Тарки.

Здесь было то же, что вчера в Черкее, с той лишь разницей, что вчера здесь еще властвовал друг русских шамхал, а сегодня властелином и хозяином стал Гази-Магомед. Сотни людей в слезах радости воплями восторга, молитвами и приветственными криками встретили его.

Гази-Магомед призвал на всех благословение Аллаха, поблагодарил мусульман за приверженность к Богу и исламу и тут же на площади стал совершать намаз. Люди, покорные каждому движению имама, тоже опустились на колени. В тишине, повисшей над Тарками, слышалось только напряженное дыхание людей и отрывистые слова молитвы.

После намаза имам позавтракал во дворце бежавшего шамхала. Он с нескрываемым презрением разглядывал богатые покои, ковры, люстру, висевшую над столом. Двуспальная широкая с шелковым балдахинном кровать вызвала веселое оживление Гази-Магомеда.

— Это русский подарок. Такую же постель подарили они и аварской правительнице Паху-Бике, — услужливо пояснил один из шамхальских слуг.

— Им надо бы спать вместе, один стоит другого, — усмехаясь, сказал Гамзат-бек, и общий смех заглушил его слова.

— Что нашли в хранилищах и амбарах шамхала? Кто отвечает за сохранность брошенных им вещей? — спросил Гази-Магомед.

— Мы переписали все, что могли, но кое-какие мелочи исчезли, — виновато сказал хранитель дворца Абу-Муслим, дальний родственник шамхала, оставленный им для охраны богатств, которые не успел вывезти шамхал.

— Чтобы через час все было здесь, ответишь головой ты и те из воров, кто попользовался чужим этой ночью.

Абу-Муслим низко поклонился.

— Что осталось в закромах? Записывай, Шамиль, — распорядился Гази-Магомед.

— Тысяча двести четвертей пшеницы, около ста батманов фасоли, сто батманов проса, много фурунгов кукурузы в початках, муки пшеничной восемьдесят мешков, муки просяной сорок, фруктов сухих и свежих без счета, меду — три бочки и сахару, присланного русскими на той неделе, — двадцать пудов. Мяса свежего девять бараньих туш, одна коровья...

— Записал, Шамиль? — осведомился имам.

— Записал, учитель.

— На конюшне — около сорока жеребцов и кобыл, жеребят до сотни да скот на пастбище — быков не менее пятидесяти и коров больше двухсот, птицы разной много, имам, ее трудно учесть, — докладывал Абу-Муслим.



– Все перечисленное и обнаруженное немедленно передай Шамилю и выделенным им мюридам. Оповести жителей Тарков, что третья часть всех захваченных нами трофеев завтра будет роздана беднейшим жителям аула.

Абу-Муслим поклонился и робко сказал:

– Прости, имам, но люди Тарков и Параула откажутся от твоих щедрот...

– Почему?

– Побоятся шамхала. Ты уйдешь в горы, они останутся здесь. Шамхал никогда не простит этого своим подданным. Не лучше ли выделить третью часть и, оставив ее в наших амбарах, раздать бедным позже, когда утвердятся газават и твоя власть в Дагестане?

– Блудливый у тебя язык, Абу-Муслим, а ум, как у лисицы. Но и мы, слава Аллаху, понимаем, с кем ведем дело. Завтра же до полудня раздашь сам, понимаешь, сам лично на площади то, что выделит жителям Шамиль. Список бедняков нам дадут другие, тебе мы не доверим этого... Шамиль, вторую треть захваченного имущества и скота отошли в горы, пусть там, в аулах, все раздадут по справедливости между бедняками и сиротами погибших за газават; последнюю треть заberi в казну мюридов; это тоже честная и необходимая мера, без которой нам не прокормить войска.

Он хотел еще что-то сказать, но остановился, увидев, что двое мюридов и молодой черкейский парень со смехом внесли в комнату расшитый галунами, весь в позументах и аксельбантах, шитый серебром и золотом мундир, с плеч которого свисали круглые генеральские эполеты с блестящей бахромой.

– Что это? – спросил Гамзат-бек.

– Подарок русского царя... Ведь наш шамхал был русским генералом, а это его мундир, ордена, – доложил Абу-Муслим.

– А вот и пальвары сбежавшего шамхала, – сказал парень из Черкея, растягивая на руках расшитые гусарские чакчиры<sup>1</sup>.

Все с удивлением и любопытством смотрели на нарядный костюм русского генерала.

– Где достали эту машхару?<sup>2</sup> – наконец спросил Гази-Магомед.

– В одной из комнат, висел на стене рядом с черкесками шамхала. Что делать с этим, имам?

Гази-Магомед подумал, еще раз с пренебрежением оглядел сверкавшие под лучами солнца чакчиры и мундир шамхала:

– Набейте эту пакость соломой, сделайте из нее чучело, вынесите на площадь. Пусть будун созовет весь аул, а ты, – Гази-Магомед повернулся к неподвижно стоявшему хранителю имущества шамхала, – а ты, Абу-

<sup>1</sup> Цветные, расшитые гусарские брюки.

<sup>2</sup> Клоунский наряд.





Муслим, собственной рукой подожги чучело и стой возле него, пока оно не сгорит. А теперь идите... Настает час раздумья.

Все: Шамиль, Гамзат и мюриды с Абу-Муслимом – вышли из комнаты.

Гази-Магомед, бледный, усталый, с запавшими глазами, прилег на ковер и закрыл глаза.

Рядом была пышная кровать шамхала, но имам даже не взглянул на нее.

Как быстро он заснул и сколько времени спал, Гази-Магомед не мог определить. Когда он открыл глаза, ему показалось, что наступил уже вечер, но день был в полном разгаре, с площади неся смех и гул толпы, отдельные голоса долетали до имама.

Он подошел к небольшому окну и увидел, как дымно и весело горело чучело в генеральском мундире.

«Значит, прошло очень мало времени», – подумал Гази-Магомед и взглянул в зеркало, врезанное в стену. Чужое, бледное, очень усталое и незнакомое лицо смотрело оттуда, и Гази-Магомед вспомнил вдруг и свое мгновенное забытие, и охватившую его во сне слабость, и, главное, сон... Сон, который словно сковал и обессилил его.

– Пойду к народу... Я должен сказать людям то, что посетило меня, – сказал имам, но голос его почему-то был слаб и еле слышен. – О Аллах, помоги мне, когда я буду говорить о тебе с людьми, – прошептал Гази-Магомед и, надев папаху, одернув сбившуюся черкеску, вышел на балкон дворца.

Люди не сразу заметили имама, на площади шутили, смеялись, перекидываясь острыми словечками, поглядывая на догорающее чучело и на Абу-Муслима, стоявшего возле него с убитым расстроенным видом.

– Не нравится тебе, шамхальская собака, не по душе наше веселье... – долетело до слуха Гази-Магомеда.

Вдруг кто-то увидел имама, назвал его имя, и толпа, забыв и об Абу-Муслиме, и о соломенном «шамхале», закричала на разные голоса:

– Слава тебе, имам, да будет свет пророка с нами!

Гази-Магомед шагнул к перилам балкона и, опираясь на них, сказал:

– Люди, правоверные, мусульмане! Я хочу рассказать вам... – он тяжело вздохнул и еще сильнее оперся руками о перила, и тут все заметили, как он бледен.

– Что с тобой, имам, ты болен? – бросаясь к нему, закричал Шамиль.

Лицо Гази-Магомеда было таким усталым, изможденным, почти страдающим, голос, еле слышный даже в передних рядах, так слаб, что все взволновались, испуганно взирая на имама.

– Что с тобой, имам? Хакима, скорее хакима<sup>1</sup>... Отравили нашего учителя и отца... О пророк, помоги ему!.. – кричали в толпе, в ужасе глядя на тяжело дышавшего Гази-Магомеда.

<sup>1</sup> Врач.



– Успокойтесь, братья... Я здоров, но силы каждого человека ограничены... они достаточны для земного, – начал имам, и, по мере того как он говорил, голос его креп, становился громче, лицо озарялось каким-то возвышенным, словно излучавшимся из всего его существа светом, на бледном лице ярко и вдохновенно загорелись глаза, – но когда смертный видит пророка – да будет тысячу тысяч лет благословенно его учение и имя во всем мире, – тогда мы, люди, черви скоропроходящей жизни, сознаем свое ничтожество и уподобляемся мертвецам.

Братья, когда я остался один, то не мог сразу заснуть, я вознес молитву Аллаху, потом уснул и опять проснулся, размышляя о Боге, исламе, газавате, и, обессиленный, снова заснул. Во сне мне явился пророк, он молча смотрел на меня, а я был не в силах произнести ни слова, только взирал на него. Свет сиял от его глаз, наконец он сказал:

– Гази-Магомед, ты сын веры и мой муршид<sup>1</sup> среди моего горского народа. Иди, поднимай его на газават, на всех неверных, если б даже они считались мусульманами...

– Как так? – спросил я пораженный.

– Многие из тех, что совершают намаз и говорят «Ля илльяхи иль алла», хуже собак и гяуров. Те хоть не знают святой веры, а эти... предадут и меня и ислам. У них язык смазан медом, но внутри – яд и гной. Поражай их в первую очередь, о щит ислама...

– Кто они? – спросил я.

– Продажные властители народов, дагестанские шамхалы, аварские нуцалы, кумыкские ханы, дербентские беки и те, кто лижет им пятки.

– Сделаю, пророк, или погибну за ислам, – сказал я.

– Ты погибнешь, сын веры, но не сейчас, а после, когда газават осветит Кавказ...

Пророк положил мне на голову руку, и я проснулся. Но, братья, голова моя и до сих пор в огне, а глаза мои видят пророка.

Имам поднял руку, под ярким солнцем блеснуло лезвие кинжала.

– Поклянитесь все, все, кто тут есть: и молодой, и старый, и здоровый, и больной, и вы, женщины, – поворачиваясь в сторону сидевших на крышах женщин, закричал имам, – поклянитесь святой верой, несомненной книгой и именем пророка, что с этого момента становитесь воинами газавата и отдаете ему свое имущество, жизни, детей!

– Клянемся!.. Кля-нем-ся!.. – нарастая, прокатился гул голосов над площадью и аулом.

– Аллах благословит вас, победа в наших руках, правоверные! А теперь все, кто здесь в гостях, пусть уезжают по своим аулам и расскажут всем мусульманам о том, как пророк благословил газават. А вы, параульцы, таркинцы, черкейцы и жители других близлежащих аулов, готовьтесь к войне, она близка. Укрепляйте аулы, делайте завалы и уничтожай-

<sup>1</sup> Наставник, учитель.



те тех, в ком обнаружите дух измены. Мы же, – обернулся к мюридам и чеченцам Гази-Магомед, – сегодня ночью пойдем на крепость Бурау<sup>1</sup>, и пророк благословит нас победой.

Вечером в сторону Бурной ушел конный отряд в триста человек и горская пехота на подводах, арбах и русских телегах. Сам Гази-Магомед, оставив в Тарках и Парауле по десяти мюридов, ночью выступил в поход. Народ уже знал, что все грозное воинство мюридов двинулось к Бурной, знали об этом и русские, которым лазутчики и мирные горцы донесли о плане имама.

Гарнизон русской крепости, оттянув посты и укрепив форпосты и блокгаузы, не спал всю ночь, ожидая штурма. Канониры сидели у пушек с тлеющими фитилями; стрелки заняли бойницы и брустверы на стенах крепости, казаки вошли в Бурную, усилив ее гарнизон, но мюридов не было. Не было их и на следующий день, хотя казачьи разъезды обнаружили на дороге конные группы горцев, быстро исчезнувших в пыли. И только на четвертый день комендант крепости полковник Федотов понял, что имам одурачил его. За эти дни он скрытно прошел к Темир-Хан-Шуре и внезапным ночным боем атаковал и взял урочище Чулекескенд, вырезал находившуюся там и не ожидавшую нападения роту егерского полка, захватив три фальконета и более ста ружей.

Из Темир-Хан-Шуры, расположенной всего в десяти верстах от Чулекескенда, на помощь своим товарищам форсированным маршем пошли два с половиной батальона егерей с четырьмя пушками и пятью сотнями казаков.

Не доходя до урочища, они натолкнулись на все воинство имама. Произошел бой, в котором горцы разгромили русский отряд, зарубили свыше двухсот казаков, захватили два орудия и три сотенных значка. Остатки егерей и казаков в панике и беспорядке еле спаслись бегством в Темир-Хан-Шуру.

Гази-Магомед рассчитал, что начало газавата должно быть победным, что идти на крепость и пытаться взять ее штурмом – сложно и может привести к неудаче не только военной. И он оказался прав. Две победы над русскими, бегство шамхала из Тарков, захват орудий и пленных мгновенно наэлектризовали горцев. Даже колеблющиеся аулы примкнули к газавату. Из Табасарани, из-под Дербента и даже из далекого Елисуя стали прибывать конные добровольцы, пожелавшие вести газават с русскими.

Так победно и широко началась кровавая и жестокая война на Кавказе.

---

<sup>1</sup> Бурная.



## Глава 5

Служба при Управлении по восточным делам Главного штаба была не обременительной и скорее походила на синекуру, оставляя много свободного времени Небольсину, не знавшему, чем заполнить его. Пользуясь свободой и бездельем, он дважды съездил в Тамбовскую губернию в свои деревни Ряжево и Иванники, повидался с управляющим, освободил от тягот крестьян и уже подумывал освободить вовсе ряд семейств, но осторожный и дальновидный Модест Антонович предупредил его:

– Пока воздержись. Совсем недавно было четырнадцатое декабря, и в памяти царя еще свежи воспоминания. К тому же ты сейчас забыт и Паскевичем и Бенкендорфом, не напоминай им о себе. А доброе дело можно сделать и позже.

И как же благодарен был Небольсин шурина за этот совет, когда разыгрались события, вернувшие его на Кавказ!

– Замбони приятна, но не оказывает на мои чувства восторга. Шоберлехнер, которую я слушал два дни назад, пела Розы в опере-буфф «Деревенские певички» куда как лучше, – идя рядом с Соковниным, сказал улан Киприевский.

– Это, мой шер, только потому, что Шоберлехнер «куда как», – перердизнил Соковнин, – моложе и авантажнее Замбони. Что же касается молвы, то даже «Северная пчела» и та находит, что мадам Замбони украшает собою Италианскую оперу нашей столицы.

– Да это ж позор – ссылаться на мнение господина Булгарина, – возмутился Киприевский и в волнении замахал руками.

Офицеры вышли на улицу.

– Еще рано, всего девятый час. Не пойти ли к Андрие, – предложил Киприевский.

– Что ж. К Андрие так к Андрие, – охотно согласился Соковнин. – Как вы? – обратился он к Небольсину.

– К вашим услугам, господа, хотя никогда не бывал в этом месте...

– Тогда идем. Быть в столице и не отобедать у Андриэ – значит не посетить самую замечательную ресторацию Петербурга.

Они не спеша пошли к Малой Морской улице, на ходу раскланиваясь со знакомыми и отдавая честь встречным офицерам.

– А кто сей Андрие? Признаюсь, проводя последние годы на Кавказе, я отстал от привычек света. Знаю только, что он француз, ресторатор и добрый человек, – сказал Небольсин.

– Французский буржуа, добрый парижанин, интендантский офицер, взятый в плен в тысяча восемьсот двенадцатом году где-то возле Малоярославца. Прекрасно кормит, недорого берет, кредита не открывает, а ко всему у него лучшие устрицы и хорошее вино, – пояснил Киприевский.



– И самое веселое и оживленное общество. Бывают и дамы, – добавил Соковнин. – Ресторацию эту посещают и любимцы муз – Жуковский, Вяземский. На днях я видел там зело подвыпившего Дельвига. Он о чем-то спорил с Булгариным. Оба горячились, а Пушкин подзадоривал их, весело смеясь над обоими.

Они дошли до Невского и повернули на Морскую. Дощатый тротуар поскрипывал под ногами. Иногда проезжали кареты, встречались пешеходы, в большинстве своем мелкие чиновники, старухи салопницы, солдаты.

– А вот и наш обетованный рай, – указывая на большой дом, сказал Киприевский.

У входа в ресторан стояли две извозчичьи пролетки. О чем-то горячо говорили толпившиеся у дверей мужчины. Седой, с выхоленными баками человек в сюртуке с блестящими пуговицами и булавой в руках объяснялся с ними на ломаном русском языке.

– Бон суар, Бартелеми, – дружески поздоровался Киприевский.

Человек оглянулся и так же весело ответил:

– О-о! Бон суар, вотр экселянс...

– Это – Бартелеми, слуга и правая рука нашего Андрие, – пояснил Соковнин.

По широкой лестнице, покрытой тяжелым цветным ковром, они поднялись на второй этаж. Внизу стояло чучело большого бурого медведя, державшего в протянутых лапах поднос с бутылкой вина и вазой с цветами, а на площадке второго этажа – две пальмы в зеленых кадках. За полуоткрытой дверью слышались голоса, звон посуды и ножей.

– Вот мы и в святилище мосье Андрие, – входя первым, сказал Соковнин.

– А вот и он сам, – этими словами Киприевский приветствовал пожилого лысеющего человека в отличном фраке и модных, обтягивающих ляжки панталонах, с достоинством шедшего им навстречу.

– Oh, enchante de vous voir de nouveau chez moi, mon cher comte!<sup>1</sup> – приятно улыбаясь, сказал Андрие.

– Мы соскучились по вас, добрейший Андрие, и, бросив театр с половины пьесы, направились к вам, – полуобнимая француза как старого знакомого, ответил Соковнин.

– И привели к вам нашего друга, который много слышал о вас и пожелал познакомиться с вами, – указывая на Небольсина, подхватил Киприевский.

– Je suis content de faire cette nouvelle connaissance, surtout quand je vois un homme, si jeune, d'ecore deja par un ordre si rare et si celebre, comme l'ordre de Saint-George<sup>2</sup>, – галантно раскланялся француз.

<sup>1</sup> – О, я рад снова видеть вас у себя, дорогой граф.

<sup>2</sup> – Я рад новому знакомству, тем более, что вижу на груди столь молодого человека такой редкий и славный орден, как орден святого Георгия.



Знакомство состоялось, и, сопровождаемые хозяином, гости прошли по широкому, небогато, но со вкусом обставленному залу к столику, предоставленному им самим Андрие.

– Si mes honorables hotes me permettent, j’irai cher-cher... – тут он лукавой улыбкой поднял вверх палец, – une petite bouteille, seulement une seule bouteille de cognac «Napoleon»...<sup>1</sup> – Андрие стал серьезным, встрепенулся, как солдат на смотре, и торжественно закончил: – Le cognac, que notre empereur Napoleon le Grand avait aime et en goutait parfois<sup>2</sup>.

Небольсин не без удивления смотрел на внезапно преобразившегося Андрие, из буржуа-ресторатора ставшего солдатом армии Бонапарта.

– Мы будем рады, уважаемый господин Андрие, – сказал он.

– Je serai ravi de choquer les verres avec un heros, – указывая глазами на Георгиевский крест Небольсина, сказал француз. – C’est que, moi-meme, je suis vieux soldat et je conserve encore dans ma memoire le souvenir des jours de la gloire orageuse de ma patrie<sup>3</sup>.

Он отошел от них.

– Фигляр, притворяется старым воякой, чуть ли не мамелюком из наполеоновской армии, а служил по провиантской части, – усаживаясь удобнее, сказал Киприевский.

– Не говори, Серж. Эти французы, что остались после войны двенадцатого года у нас, все – бонапартисты. Они презирают реставрацию Бурбонов и мечтают о новом Бонапарте.

– О Бурбонах говори вполголоса. Наш двор и император, хотя и недолюбливают Карла Десятого, но в силу легитимных и монархических убеждений поддерживают его.

– А мне плевать, или, как сами французы говорят, «жмен фиш». Я признаю у французов только три вещи – вино, коньяк и женщин, – беспечно сказал Киприевский.

– Ты забыл еще четвертое – французский театр, – напомнил ему со смехом Соковнин.

– А это и есть женщины. Какие там актрисочки!.. У-у... Пальчики оближешь, душа Небольсин! Особенно же хороши субретки, – даже взвизгнул Киприевский.

– Ну, граф, умерьте свои восторги. Все-таки мы в обществе, – остановил его Соковнин. – Во-он видите в углу, за столиком, в очках, мордастый такой, это – Греч, а с ним Веневетинов – молодой поэт, о котором вы, наверное, слыхали...

<sup>1</sup> – Если мои уважаемые гости позволят, я разрешу себе поискать... маленькую бутылочку коньяка «Наполеон».

<sup>2</sup> – Коньяк, который любил и изредка отведывал наш великий император Наполеон.

<sup>3</sup> – А я рад буду чокнуться с героем. Ведь я сам старый солдат и сохранил еще кое-что в своей памяти о бурной славе моей родины.



Пододшедший Андрие прервал их беседу.

— Sauvons-nous, messieurs, des regards indiscrets de mes clients, — и шепотом договорил: — La bouteille de cognac imperial peut-etre remarqueeetmoi, je n'ai aucune intention de la depenser inutilement. Il m'en reste seulement trois ou quatre bouteilles. Je vous prie de me suive. Derriere cette portiere vous serez gardes des regards indiscrets<sup>1</sup>.

Коньяк «Наполеон», принесенный господином Андрие и тщательно завернутый им в салфетку, действительно был великолепен.

— En temps de Napoleon le Grand, — Андрие возвел глаза к потолку, — la maison de commerce «Lenon» a Paris avait mis sur le marche, en honneur de la garde imperiale, une nouvelle espece de cognac. Le voila! Faites attention, messieurs, a la forme de cette bouteille, au portrait de Napoleon le Grand, a son visage. Oh-oh... C'etait un homme unique et qui n'aurait pas son egal s, ce n'etaient vos neiges et, pardonnez-moi, votre folie ressemblante a la barbarie, dont vous, les russes, avaient fait preuve apres la prise de Moscou, — il avait pu etre jusqu'a present Empereur de France et maitre de la moi- lie du monde<sup>2</sup>.

— Не надо было ему переть в Москву, — с удовольствием отпивая глоток императорского коньяка, сказал Соковнин.

— Oh, oui, c'etait la faute de ce grand homme, mais, meme les genies se trompent. Et encore, messieurs, c'etaient ces especes de cochon, ces venaux, ces deshonnètes les Prussiens, les Bavaoис et tous les autres Allemands qui lui avaient joue ce mauvais tour<sup>3</sup>, — с негодованием закончил пламенный бонапартист.

Он деликатно присел на стул, предложенный ему Небольсиным, отпил из рюмки свой коньяк и, вежливо извинившись, отошел от их стола.

— Mes occupations m'appellent... c'est justement a cette heure, que mes hotes commencent a arriver<sup>4</sup>, — сказал он.

— Забавный француз! И хотя Бонапарт бросил его, как и других солдат, он до сих пор остается верным корсиканцу, — сказал Киприевский.

Приятели сидели за плотным малиновым занавесом, спокойно ели, пе-

---

<sup>1</sup> — Перейдемте, господа, подальше от нескромных взоров моих гостей. Бутылка императорского коньяка может быть замечена другими, а я вовсе не намерен израсходовать его. У меня и так остается три-четыре бутылки. Прошу вас за мной, вон за ту портьеру, где вы будете отделены от нескромных взглядов.

<sup>2</sup> — В царствование великого императора парижская фирма «Ленон» выпустила в честь императорской гвардии особый сорт коньяка. Вот этот самый. Обратите внимание, господа, на форму бутылки, на портрет Наполеона Великого, на его лицо. О-о... это был единственный, неповторимый человек, и, если б не ваши снега и, простите меня, не безумие, похожее на варварство, которое проявили вы, русские, после падения Москвы, он и до сих пор был бы императором Франции и властелином мира.

<sup>3</sup> — О да, это была ошибка великого человека, но и гении ошибаются. А к тому ж, господа, его подвели эти презренные немцы.

<sup>4</sup> — Дела... Сейчас начинается съезд гостей.



ребрасываясь шутками. Небольсин отдыхал в кругу друзей. Шум общего зала проникал к ним, но они, занятые собой и ужином, не обращали на него внимания.

Представление в Итальянском театре закончилось, но публика все еще не отпускала актеров. На сцене в последний раз раскланивалась Замбони, на ее красивом, утомленном и несколько поблекшем лице бродила счастливая улыбка. Она грациозно наклоняла голову и плечи, благодарно кланялась аплодировавшей публике и улыбалась профессиональной, но тем не менее искренней улыбкой.

— Очень недурна... И кто бы мог поверить, что этой сильфиде близ со- рока, — сказал кавалергард Татищев, восторженно аплодируя актрисе.

Голицын в лорнет, поданный ему слугой, рассматривал Замбони.

Из соседней ложи уже вышли Иртеньевы. Одна из дочерей помещика задержалась, не сводя восхищенного взора с актрисы.

Медленно поплыл занавес, и партер задвигался.

— Финита ля комедия, — сказал Татищев и, деланно позевывая, глянул на исчезнувшую в дверях Иртеньеву.

Голицын опустил лорнет, встал и не спеша направился к выходу. На его кавалергардском мундире ярко выделялся матово-красный Владимир с бантом, который князь всегда носил в обществе.

— Не пойму, мон шер, что сейчас — рано или поздно? — вынимая брегет, спросил Татищев.

— Это смотря для чего. Если спать, то рано, если надеешься встретить Полин Иртеньеву, то поздно. Я видел, как рассудительный папа благо- разумно и поспешно увел ее отсюда, — разглаживая пышные подусники, отвечал конногвардеец.

— Тогда, значит, ужинать, но куда, господа? К Палкину? — Татищев поморщился. — Слишком ля мужик русс, да и кормят там...

— Тогда к Андрие, — решительно перебил его гусар. — А ты, князь? С нами или, как подобает молодому мужу, к законной жене? — с улыбкой осведомился он.

— К Андрие. Я давно не бывал у этого бонапартиста, — коротко отве- тил Голицын, оставляя без внимания последние слова гусара. Он даже в своей среде не любил двусмысленных шуток, тем более таких, которые задевали честь его рода и семьи.

Но молодые повесы не заметили этого.

— У Андрие семга и устрицы свежие, как поцелуй нисходящей зари, — сказал конногвардеец. — Кстати, кто из вас читал восьмую, новую главу «Онегина»? О-о, там Пушкин превзошел себя.

— Не люблю его... Развязен, непочтителен и даже дерзок с особами, стоящими выше его в обществе, — надменно произнес Голицын.

Они уже сошли с лестницы.





– Карету его сиятельства князя Голицына! – закричал дежуривший у дверей гайдук.

– Подашь карету к ресторации Андрие, что на Малой Морской, – останавливая небрежным жестом слугу, приказал Голицын. – Пройдемтесь, господа, пешком. Подышим воздухом после театра.

– И поглядим на белошвеек, простушек и модисток, – развеселился конногвардеец.

На улицах, освещенных керосиновыми фонарями, было довольно светло. Кое-где даже настолько, что легко можно было разглядеть лица женщин то в капорах, то в платочках, а то и в шляпках с высокой тульей. Молодые люди не пропускали ни одного хорошенького личика, то и дело задерживали быстро идущих женщин, отпуская веселые и флиртующие шуточки и комплименты.

Голицыну, холодному, ленивому и малоподвижному человеку, не очень нравилось легкомысленное поведение спутников. Князю казалось, что дворяне, особенно титулованные, принадлежащие к обществу, приближенные ко двору, не должны держать себя запанибрата с неведомыми никому простушками из мещан. Его коробили смех и ответы девушек, и он обрадовался, когда они наконец подошли к освещенному тремя большими керосиновыми лампами подъезду ресторана.

Их, как и всех гостей, встретил приветствием на ломаном русском языке стоявший в дверях старик Бартелеми.

Большой зал ресторана был заполнен. Тут были и военные, и штатские, молодые, пожилые, старые. Среди гостей гусар узнал заведомая ресторана актера Каратыгина. Сопровождаемые господином Андрие, князь Голицын, Татищев, гусар и конногвардеец, раскланиваясь направо и налево, направились к крайнему столику у окна. Позади стола стояла невысокая пальма, за ней чуть колыхалась тяжелая малиновая портьера. Обычно за портьеру Андрие сажал наиболее приятных ему посетителей. Сейчас француз, извиняясь, развел руками.

– Je vous demande pardon, mes chers amis, mais... «le paradis» (так в шуточку именовали гости отгороженный портьерой угол) est occupe. Mille pardons... – Он улыбнулся вновь пришедшим и негромко сказал: – J'espere, que vos excellences se sentiront a l'aise pres de cette fenetre. Peut-etre voudriez-vous jouer une partie de domino?<sup>1</sup>

– Потом, потом, милейший Андрие, сначала поужинаем. Мы зверски голодны, – ответил гусар и стал заказывать блюда.

«Игра в домино» была довольно хитроумным изобретением француза. Так как игорные дома столицы были наперечет и обкладывались высоким налогом, карточная игра в ресторане Андрие была раз и навсегда за-

<sup>1</sup> – Простите, дорогие друзья, но... «рай» занят. Тысяча извинений, но... надеюсь, у этого окна вашим сиятельствам будет уютно. Может быть, хотите сыграть партию в домино?



прещена практичным французом. Но, для того чтобы, не платя налоги, удвоить свои доходы и в то же время «потрафить» посетителям, Андрие ввел в обиход игру в домино. Налогом она не облагалась по той причине, что играли не на деньги, а на вино: шампанское, коньяк и ликеры, — причем все напитки должны были покупаться проигравшими немедленно и только здесь, в буфете господина Андрие.

Татищев и конногвардеец, усевшись за столик, принялись разглядывать посетителей. Голицын, всегда апатичный, преисполненный собственного достоинства, и здесь сонно, словно нехотя, поздоровался с несколькими знакомыми.

За закуской отведали тминной водки, затем перцовки, которая очень понравилась князю. Они ели, то и дело запивая беседу вином и коньяком. Стук ножей, звон тарелок, отдельные голоса ужинавших. Шум возрастал по мере выпитых напитков.

Голицын обычно пил мало, но в этот вечер он все чаще прикладывался к перцовке, коньяку и шампанскому. Князь захмелел, стал говорливым, держался свободнее, чем всегда. За их столиком было уже шесть человек. Подсевшие к ним братья, князья Мещерские, пришли к Андрие навеселе и сейчас, мешая друг другу, наперебой рассказывали о том, как Бенкендорф оскорбил, обидел их, отказав в приеме по поводу их домогательства на земельные угодья недавно умершего родственника, графа Хвостова.

— Не только отказал, но и не принял нас, русских... князей... Рюриковичей, — плача пьяными слезами, говорил корнет.

— Мы к Его Величеству обратились, — с трудом выговаривая слова, дополнял речь брата камер-юнкер, — мы ауди-е-нции просили, мы с братом... русские... исконные князья... род наш, Мещерских, уходит вглубь, в старину... Отказали! К своему государю явиться не можем...

— Потому и отказали, что Рюриковичи... Князья, божьей милостью, а не случаем вознесенные, — уставясь на них тупыми, немигающими глазами, сказал Голицын.

Оба Мещерских смолкли, выжидательно глядя на Голицына.

— Много ли нас, родовитых? Голицыны, Мещерские, Кропоткины, Мстиславские... Остальные мелочь, — Голицын презрительно скривил губы, — захудалые князья, жалованные графы, копеечные дворяне. — Он мрачно поглядел по сторонам и продолжал: — Наш род — древний. От Рюрика идет, древнее Шуйских и Вяземских, не чета Матвеевым, Нарышкиным или Толстым.

Голицын выпил бокал вина и неожиданно даже для самого себя проговорил:

— Или Романовым... Они ведь ниже Нарышкиных сидели у Годунова.

Оба Мещерских обрадованно закивали:

— Истинно говорите, князь...



– А что касается Бенкендорфа, то эти остзейские бароны да прибалтийские графы только тем и кормятся, что урвут у двора. Ни земель, ни крепостных, ни поместий. Вот и кланчат, цыганят, пока у власти, – мрачно добавил Голицын.

Татищев, гусар и конногвардеец, хорошо помня 1825 год, не вступали в разговор.

– Так каковы же горцы? Всех этих чеченов, абадзехов и других мы знаем только по письмам да романтическим писаниям господ литераторов, – переходя от коньяка к цимлянскому, спросил Киприевский.

– Люди, как и везде, много хороших, есть и дурные. Любят свои горы, свободу, не страшатся смерти, – вспоминая чеченцев, бившихся за Дады-Юрт, отвечал Небольсин.

– А чеченки? Верно, огонь? – засмеялся Соковнин.

– Не знаю. А что касается разных историй, рассказанных очевидцами, – подчеркнул Небольсин, – то девять из десяти – ложь. Горские женщины ненавидят нас. Они вместе с мужьями и братьями бьются до самой смерти, – опять припомнив боевую башню Дады-Юрта и запершихся в ней чеченских женщин, сказал он.

– А Тифлис? Каков город-то? Есть ли русские слободы, есть ли сносная ресторация, наконец, общество, дамы? – поинтересовался Соковнин.

– Он собирается к Паскевичу. Там теперь раздолье для нашего брата, – кивая на Соковнина, сказал Киприевский.

– ...Турки разбиты... – донеслось до них из-за портьеры. – Его сиятельство граф Паскевич блистательно заканчивает войну...

– Еще одно «сиятельство» с Гостиного двора. Через год и его сочтут родовитым и в Бархатную книгу особо занесут, – перебил кто-то говорившего о Паскевиче.

«Где я слышал этот голос?» – напрягая память и прислушиваясь, мучительно вспоминал Небольсин.

– Велика храбрость – гнать турок, то ли дело чечены или дагестанцы, – продолжал тот же голос. – Я десяток персюков и турок за одного чечена отдам.

– А что, князь, люты?

– Дикие звери. Ни страха, ни трепета не знают. На штыки идут с криком «алла»... Засучит такая бестия рукава своей черкески и с кинжалом бросается один на роту наших. А есть такие, что в одной руке кинжал, в другой – пашка. Его на штыки подымают, а он норовит кинжалом солдата достать.

– Ах, окаянные!.. Да как же с такими справиться! Как воевать с ними? – раздались возмущенные голоса.

Небольсин, отложив в сторону вилку, жадно слушал голос за портьерой.



– Русская доблесть, господа! Вот видите этот крест святого великомученика Владимира? Получен он мною за жестокий, я бы сказал, редкий и неповторимый по лютости бой в Чечне. Получили мы приказ взять и уничтожить большой аул этих бездельников. Не помню уж, как он назывался, не то Дядя-Юрт, не то Деди-Юрт. Это неважно. Командовал отрядом я. Окружили аул ночью, утром штурм. Три часа бились в рукопашной. Подо мною два коня были убиты. Сломалась пашка, взял другую... руки чуть не по локоть в крови... Уничтожили мы этот Дядя-Юрт, всех перебили, только и у нас потери огромные. Меня за этот бой генерал Вельяминов к Георгию представил, но...

– Что с тобой? – глядя на переменившегося в лице Небольсина, спросил Киприевский.

– Одну, только одну секунду, – умоляюще остановил его Небольсин.

Лицо его стало суровым и напряженным. Он почти касался драпировки, из-за которой слышался спокойно-барский, неторопливый густой баритон.

– ...Тяжелый был бой... Солдаты этого Ермолова просто мужики. Без шпигрутенгов и плетей их не поднимешь с земли... а казаки... – В голосе рассказчика проскользнули презрительные нотки. – Сброд! Необученные, не знающие порядка хамы, считающие себя вольными людьми. Пока я поднял с земли этих вояк, пришлось сломать трость и нагайку. Да и офицеры у Ермолова неучи, пьяницы и бабники. Великое счастье для России, что этого фигляра убрали с Кавказа.

Небольсин отдернул портьеру и шагнул в зал.

– Что с ним? – спросил Соковнин, бросаясь за штабс-капитаном.

– Вот этот крестик я получил за бой, где смерть витала надо мной. Не хвалясь скажу, господа, Георгия хотел мне дать командир отряда, офицеры поздравляли меня, но... Ермолов заменил Владимиром... После этого я не считал возможным оставаться под его началом и попросил военного министра о возвращении обратно в Россию.

– Вы лжете, полковник Голицын! Все, что вы здесь рассказали, – ложь!!! Ложь от первого до последнего слова! – громко, неожиданно для всех находившихся в зале раздался голос.

– Как?... Кто это говорит? – вскидывая голову и обводя взглядом зал, спросил Голицын.

– Это говорю я! Офицер, который от начала и до конца боя под Дядь-Юртом был впереди, в егерских цепях, где вас не было, да и не могло быть. Вы находились далеко позади, вместе с командиром отряда полковником Пулло. И никого не поднимали нагайками, никому не показывали примера храбрости...

– Молчать!.. Как вы смеете!.. – багровея и тяжело поднимаясь с места, закричал Голицын.



Но Небольсин, не обращая внимания на его крик, продолжал:

– Солдаты и офицеры Кавказского корпуса, которых вы сейчас поносили, не чета вам. Это истинные герои и защитники России, а вы – трус и хвастун! Никто не представлял вас к Георгиевскому кресту, да и не за что было. Вы и пули-то не слышали в этом бою, и Владимира вам дал полковник Пулло из желания угодить титулованному столичному гостю.

– Молчать... Я приказываю вам!.. – трясаясь от гнева, делая порывистое движение вперед, на весь зал закричал Голицын.

За столиками уже давно перестали есть и разговаривать. Все с нескрываемым интересом и любопытством, одни негодуя, другие – довольные разразившимся скандалом, глядели на них.

– Не кричите, я вам не холоп! Что же касается вашего отъезда, то генерал Ермолов просто выгнал вас за ненадобностью с Кавказа.

– Кто вы такой? – с ненавистью глядя на офицера, спросил Голицын.

– Я штабс-капитан Небольсин. А вы – лжец, хвастун и убийца вашей крепостной актрисы, – чеканя каждое слово среди воцарившейся в зале тишины, произнес Небольсин.

– А-а!.. – только теперь узнав Небольсина, прохрипел князь. – Я понимаю, в чем дело. Вы... вы...

Киприевский, неподвижно стоявший возле Небольсина, резко поднял руку и решительно сказал:

– Не превращайте, господа, разговор благородных дворян в базарную ссору подлых людей, – и обернулся к растерянно сидевшим приятелям Голицына. – Если его сиятельству, – он пренебрежительно кивнул на оцепеневшего от оскорбления Голицына, – захочется проявить свою храбрость на дуэли с моим другом Небольсиным, прошу прислать секундантов ко мне по адресу: Английская улица, дом дворянина Шведова, улану Киприевскому.

От столика посреди зала подошли двое военных. Церемонно отдав честь, они строгим, холодным тоном осведомились о том, что происходит.

– Размолвка между этими двумя господами, к сожалению, – Соковнин развел руками, – на почве романтической, как говорят наши литераторы.

– Я – полковник фон Медем, адъютант его высочества великого князя Михаила Павловича. Мне кажется, что для частных разговоров можно найти более удобное место, нежели кабак господина Андрие, – ледяным тоном произнес адъютант. – Кстати, прошу запомнить, господа, – обратился он к Небольсину, – дуэли в империи Российской запрещены и строго наказуются законом.

– Так точно, – весело согласился Соковнин. – Мы о том осведомлены, тем более что его сиятельство князь Голицын, – протянул он с язвительной иронией, – является в сим деле оскорбленной стороной.

Офицеры удалились.



– Ждите секундантов завтра от одиннадцати до часу пополудни, – коротко сказал совершенно отрезвевший от пережитой сцены корнет князь Мещерский, уходя с Голицыным из зала.

Когда Небольсин и его друзья вернулись к себе в уголок за малиновый занавес, вошел крайне встревоженный происшедшим Андрие.

– О-о, ву зет брав, ошень храбрый офиcье, как великий Бонапарт. Ви будет vainqueur. Vous abattrez votre adversaire<sup>1</sup>. – Он причмокнул губами и восхищенно произнес: – Шерше ля фам... я тоже любилъ ле жен э жоли фам. О-о, Андрие, – говоря о себе в третьем лице, – lui aussi il s'était battu en duel pour les charmantes femmes. Son epee brillait a sa main quand il la maniait pour la cause de l'amour<sup>2</sup>. – Потом сокрушенно добавил: – Cette histoire peut compromettre la reputation de mon restaurant<sup>3</sup>.

Вечер был сорван. Переждав минут пятнадцать после ухода Голицына и его спутников, Небольсин, сопровождаемый Соковниным, вышел на улицу. Киприевский, которого остановили знакомые, жаждавшие узнать подробности столь неожиданного скандала, обещал догнать их.

Друзья медленно шли по Малой Морской. Небольсин был настолько спокоен и обычен, что Соковнин не выдержал:

– Мой друг, ты непонятен мне. Ведь сейчас ты спокойней и хладнокровней, чем всегда. Неужели история с этим фанфароном-князем не вывела тебя из равновесия?

– Все очень просто, я объясню тебе, и ты поймешь меня, Алексис. Дело в том, что одна из причин моего пребывания здесь – это встреча с Голицыным. Я дал себе зарок чести и жизни – встретиться с ним, во что бы то ни стало найти его и, – уже мрачно закончил Небольсин, – и рассчитаться по полному счету.

– Он твой враг? Здесь замешана женщина? – останавливаясь, спросил Соковнин.

– Этот тиран и злодей убил прекрасную женщину, самую чистую и лучшую, какую я встречал в жизни, – со вздохом произнес Небольсин и сбивчиво, волнуясь, повторяя слова, рассказал историю гибели Нюпи.

Соковнин не прерывал его, не задавал вопросов, а когда Небольсин кончил, коротко посоветовал:

– Пристрели его. А теперь поедem ко мне. У меня есть две бутылки прекрасного венгерского вина.

Киприевский нагнал их на повороте улицы.

– Сейчас по домам. Нужно собраться с мыслями, обсудить завтрашнюю встречу с секундантами князя. А тебе, Алекс, следует хорошо поспать, – становясь серьезным, сказал Киприевский.

<sup>1</sup> – Вы будете победителем. Вы убьете вашего противника.

<sup>2</sup> – Андрие тоже дрался на дуэлях из-за прелестных женщин. Шпага сверкала в его руке, когда он защищал любовь.

<sup>3</sup> – Эта история может очень повредить репутации моего ресторана.



– Ты возьмишь на себя нашу картель?<sup>1</sup> – вместо ответа спросил Небольсин.

– Мы с ротмистром Татищевым устроим ее. И хотя я не охотник до самоубийств, но для того, чтобы всадить пулю в брюхо этой свинье... я с особым удовольствием забью ее в ствол.

– Спасибо. Вы мои истинные друзья, я не сомневался в этом, – пожмая приятелям руки, поблагодарил Небольсин.

Друзья проводили его до особняка «Генерал-майора и кавалера Святой Анны I степени», как было написано на дверной табличке дома Корвин-Козловского.

– Поклон и уважение твоей прелестной кухне и салют ее превосходительному супругу, – кивая головой на табличку, протянул Киприевский.

Было поздно. Встретивший Небольсина старый Захар, камердинер генерала, почтительным шепотом доложил:

– Господа еще не изволили прибыть из гостей от баронессы фон Таубе. Ужин и постеля для вас, ваше благородие, готовы, и резиновая ванна с теплой водой к вашим услугам.

Небольсин поблагодарил старика, отказался от ужина и, приняв ванну, лег. Ему казалось, что события дня, встреча с Голицыным и грядущая дуэль помешают ему уснуть. Однако спустя пять минут Захар, заглянувший в комнату через щелку двери, набожно перекрестил крепко спавшего штабс-капитана.

В большом родовом доме князей Голицыных все уже спали. Только князь, несмотря на поздний час, еще бодрствовал. Прошло более трех часов с того момента, когда неведомо откуда взявшийся штабс-капитан Небольсин публично оскорбил его. Поблагодарив проводивших его друзей, отослав лакея и камердинера – того самого Прохора, с которым он был на Кавказе, – Голицын остался один в своей спальне. В доме царила тишина, близкая той, какая бывает, когда в комнатах находится покойник. Прохор, отлично знавший особенности характера своего барина и к тому же расслышавший отрывистые, громко сказанные друзьями князя слова, понял, что произошло что-то особенное, что их «князеньку» оскорбил какой-то пьяный офицер. И, таясь в темном коридоре, вздрагивая от каждого шороха, трепеща при мысли, что его может позвать князь, и, опасаясь, что его в нужный момент не окажется возле, он, съежившись, полусидел на штофном стуле.

– «Господи, спаси и помилуй... И что это за время такое пришло, когда благородного человека, князя, их сиятельство, может оскорбить какой-то офицеришка», – размышлял Прохор, прислушиваясь к тяжелым шагам, доносившимся из спальни.

– Я вел себя моветон, как последний гарнизонный прапор... Поехал во французский кабак, упился вином и водкой, болтал всякий вздор и хва-

<sup>1</sup> Дуэль.



стал. – Голицын остановился и яростно прошептал: – Врал, хвастал, как ничтожный брехунишка. Болван! Осрамили себя, ваше сиятельство!.. Поделом вам... – говоря о себе во втором лице, с злорадством сказал он. – Еще пощечины не хватало! И от кого... От армейского капитанишки, безродного армейского офицера!

Голицын с ненавистью и к себе, и к Небольсину махнул рукой и снова зашагал по ковру.

– И главное, он прав. Я хвастал, болтал чепуху о каком-то моем геройстве под этим проклятым аулом. Какой стыд, какой позор!!!

«Хучь бы провалился тот нечестивец и грубиян, – думал Прохор, прислушиваясь к хриплому дыханию Голицына. – Хучь бы провалился в преисподнюю князенькин ворог и оскорбитель...»

А Голицын, не ведая о смятении чувств своего холопа, все ходил и ходил по спальне.

– Как быть? Весть о моем оскорблении завтра дойдет до всех. Всех... – с болью и тоской повторил он. – И родня моя, и друзья, и сам император, – он остановился, – возможно, и сам государь узнает об этом.

Он грузно опустился в кресло. Оскорбление можно смыть кровью, только кровью.

– Надо стреляться, и скорее... не медля ни дня, – резко поднимаясь, сказал он.

Прошка, услышав последние слова, съежился и замер.

– Надо послать к этому капитану секундантов. Но кого? Как сделать это без большого шума и огласки?

Голицын задумался. В том, что он убьет Небольсина, князь не сомневался. Он убьет Небольсина за то, что тот оскорбил его, и за то, что был, по-видимому, любовником Нюшки, и за то, что человек, осмелившийся оскорбить в его лице весь род Голицыных, не имел права жить на свете.

– Я убью его, – как уже о совершенно решенном заявил Голицын и, подойдя к двери, крикнул: – Прохор!

Прошка опрометью кинулся на зов.

– Я тута, батюшка-барин, ваше сиятельство, – просовывая голову, забормотал он.

– Вели заложить лошадей и сам, понимаешь, сам, – повторил князь, – отвезешь по адресам мои письма. И дождешься ответа. Понимаешь? – подходя к согнувшемуся в поклоне камердинеру, сказал Голицын.

– Понимаю, батюшка наш, князенька пресветлый. В самые ручки передам ваши письмеца.

– И дождешься ответа.

– Так точно. Дождусь и привезу в тот же час вашему сиятельству.

– А теперь подай свечей, перо, песочницу, конверт и бумагу. Да вели закладывать лошадей. Ступай, – закончил Голицын.





Только под утро вернулся Прохор. Князь, ожидавший его, в волнении ходил по спальне, и под его тяжелыми шагами чуть поскрипывали дубовые квадраты добротного паркета с искусно вырезанными узорами. Это было прекрасное творение крепостного художника-самоучки, награжденного барином за великолепную работу двадцатью рублями золотом и поездкой на богомолье в Печерскую лавру. Но сейчас Голицын не помнил о паркете и художнике. Он с нетерпением ждал приезда Голенищева. Князь не был трусом. Дуэль не пугала его, да он и не верил в возможную смерть от пули Небольсина. Этот еще только намечавшийся поединок рисовался ему в отдаленном будущем, сейчас же было постыдное обличие его... его, князя Голицына, Рюриковича и вельможи, обличие во вранье, в бахвальстве, в хвастливом фанфаронстве, и кем... ничтожным офицером, мелким, никому не известным дворянчиком... И – это особенно угнетало князя – Небольсин был прав. Ведь действительно все было наврано в пьяном, хвастливом бреду. Ничего геройского он не совершал. Не было ни атаки, ни сабельной рубки, ни удалства.

Голицын сжал кулаки и, проклиная себя, подумал: «Заврался, как мальчишка, как фендрик, только что произведенный в офицеры. У-у, болван!..» И ему стало ясно, что только смерть Небольсина, только пуля, которая пронзит голову штабс-капитана, может решить это постыдное дело.

– Убью... ответит за все: и за поганую Нюшку, и за оскорбления, и за то, что...

Мысли его оборвались.

– Ух, как гадко!.. Я могу обмануть весь мир... Все, все поверят мне, но ведь я же знаю, что этот проклятый штабс-капитан прав.

И опять под тяжелыми шагами князя заскрипел прекрасный паркет его крепостного художника.

– Приехал граф? – поднимая красные, воспаленные глаза на Прошку, спросил Голицын.

– Так точно, то есть... никак нет-с... – Прохор отступил на шаг, опасливо поглядывая на князя. – Они-с будут к восьми часам, раньше никак-с не могут. У них гости-с. Вот, князенька наш добрый, письмо велено отдать, – и протянул изящный конвертик-секретку.

«Мон шер, буду у тебя ровно в 8 утра. Сейчас приехать, мон анж, не могу. Грехи в образе мадам Жаклин из Французской оперы не пускают меня... О твоём деле пока ничего не слышал. Возможно, это пустяк, так сказать, сплетение случайностей, недоразумение, и все обойдется без картели? Во всяком разе – я твой секундант и благожелатель, и если нужно, то по примеру шевалье времен Людовика Каторз могу даже сам стреляться с друзьями твоего недруга. Обнимаю, так как рыжая Жаклин ревниво торопит меня, думая, что это любовное биледеу. Твой Анатоль».



Небольсин проснулся поздно. Он спал бы еще, да Сеня бесцеремонно разбудил его.

– Александр Николаевич, пора вставать. И Ольга Сергеевна, и другая кузина ваша давно встали и кофею отпили. Вставайте! Опять же с ними в круглой ротонде господ офицеры вас дожидаются.

Только тут сон оставил Небольсина. Он вспомнил вчерашнюю сцену, ресторан Андрие, обоих Мещерских и багровое от вина, злости и растерянности лицо Голицына.

«Вероятно, секунданты!» – догадался Небольсин и быстро прошел в ванную.

Сеня, помогая ему одеться, говорил без умолку.

– Они просили не будить... Отпили кофею вместе с дамами. Оно и понятно, Александр Николаевич, народ все молодой, военный, ферлакур на уме. Однако Ольга Сергеевна приказали разбудить вас.

– А кто офицеры-то? – вытирая лицо и шею жестким, мохнатым полотенцем, спросил Небольсин.

– Двое – ваши дружки, поручик Соковнин и корнет Киприевский, а вот третьего, штаб-ротмистра, не признал. Впервой его вижу, Александр Николаич. Молодые-то все балагурят, с дамами всякие плезеры да бонтоны разговаривают, ну, а новый, тот больше молчит, вежливо так улыбается, скажет словцо-другое – и опять молчок. Кажется мне, Александр Николаич, он чего-то выжидает, об чем-то с вами поговорить думает.

– Ну что ж. И поговорим, – оглядывая себя в зеркало, сказал Небольсин и слегка опрыскал лицо духами.

– А бриться потом будете? – вглядываясь, спросил Сеня. – Да вроде как чисто, побреетесь к вечеру.

– Перед обедом, – ответил Небольсин и, надев мундир, вышел в сад.

Спускаясь с веранды, он услышал женский смех, веселые голоса друзей.

– Только невинные души безмятежно спят до полудня, – приветствовал его Соковнин.

– У нашего Сандро грехи запрятаны так далеко и искусно, что обнаружить их невозможно не только посторонним, но и ему самому, – сказала Ольга Сергеевна.

– Штаб-ротмистр Талызин-второй, – учтиво наклоняя голову, отрекомендовался незнакомый офицер.

Небольсин заметил мгновенный, очень внимательный и сдержанный взгляд Талызина.

– Очень рад, – усаживаясь возле Киприевского, сказал Небольсин, и беседа за кофе, нарушенная его появлением, ожила снова.

Штаб-ротмистр был очень корректен, немногословен, но все, что он иногда говорил, было вовремя и к месту.



«Да... по-видимому, один из секундантов Голицына», – решил Небольсин и, отказавшись от второй чашки, предложил мужчинам пройти к нему.

– Оставайтесь, господа, здесь. Нам нужно поехать с визитами...

– И одновременно посетить Гостиный двор и магазин Нольде, – смеясь, перебила старшую сестру Надин.

– И к Нольде, и даже, если успеем, заглянем к мадам Ришар, – спокойно подтвердила Ольга Сергеевна.

Дамы ушли. Офицеры молча курили, ожидая, что гость начнет разговор, но штаб-ротмистр заговорил о замечательной кровной кобыле, которую неделю назад привезли из Англии князю Юсупову. И только когда дамы вошли в дом, он, чуть перегнувшись через стол, негромко сдержанно сказал:

– Как вы, конечно, догадались, штабс-капитан, я посетил ваших друзей и ваш дом по поручению его сиятельства князя Голицына. – Талызин смотрел в упор на Небольсина, и лицо его, за минуту до этого светски корректное, стало холодным и официальным. – Князь Голицын вызывает вас на картель. Ваши секунданты уже уведомлены мною и корнетом Мещерским о месте и часе дуэли. – Он выжидательно помолчал.

– Я готов. Где и когда? – с любопытством разглядывая строго официальное лицо штаб-ротмистра, спросил Небольсин.

– Завтра, в начале восьмого часа поутру. Место поединка – лесная полянка возле чухонской мызы у дороги на Озерки. Условия... – штаб-ротмистр поднял на Небольсина серые, холодные глаза, – шестнадцать шагов, на пистолетах, сходиться к барьеру посреди, огонь открывать после команды «сходись», пистолеты Лепажа, по выстрелу.

Небольсин кивнул.

– На случай непредвиденного переноса дуэли, вроде вызова князя Голицына в Царское Село, внезапной болезни или чего-либо неожиданного, дуэль состоится на следующий день там же, – учтиво и обстоятельно продолжал Талызин.

– Нет. Дуэль состоится завтра. Послезавтра я должен выехать в Москву, – так же учтиво ответил Небольсин.

Киприевский и Соковнин переглянулись, едва сдерживая улыбки. Им понравился уверенный и спокойный ответ друга.

– Прошу извинить, но, если даже дуэль окончится успешно для вас, выехать вам не удастся. По законам Российской империи, установленным и утвержденным государем императором, офицеры, вышедшие на картель, как и их секунданты, подлежат арестованию на гауптвахте и последующему преданию суду, – поднимаясь с места, объяснил Талызин. – Итак, господа, до завтра. Честь имею. – Щелкнув шпорами, он отвесил почтительный и вместе с тем сдержанный поклон.

Небольсин проводил его до калитки.



– Прошу вас, господин штабс-капитан, извиниться перед очаровательной хозяйкой и вашей кухней за невозможность проститься лично. Найдите предлог объяснить им мое неожиданное появление и такой же внезапный отъезд.

– Будьте спокойны. Я скажу дамам, что вы приглашали меня на воскресные царскосельские скачки.

И оба офицера, учтиво поклонившись, разошлись.

День до поединка соперники провели по-разному.

Голицын, запершись с графом Голенищевым, детально обсудил предстоящий поединок.

– Будь точен. Цель ему в лоб, а затем стреляй. Полусогни в локте руку, воображай, что на учебной стрельбе по мишеням, – учил его старый бреттер, гусарский полковник Голенищев, раз пятнадцать стрелявшийся по чужим и своим делам на дуэлях. – Главное, помни, он тоже стоит под дулом. Ну, а что такое быть зайцем под прицелом, понимаешь сам. Будь спокоен, пусть волнуется твой враг. Поднимай пистолет сразу, наводи медленно, не сбивайся с шага. Слушай голос распорядителя дуэли. Считай в уме, при счете «три» – медленно нажимай курок. Эти пистолеты имеют разные свойства. У одних курок хоть и смазан, а тугой. Его надо знать... У других чуть коснешься пальцем – уже «паф» – и мимо. Так ты проверь замок. При спуске не дергай сильно. А главное, верь, что не ты, а твой противник свалится на землю.

– Да, я спокоен... не могу только дожидаться минуты, когда всажу в него пулю, – с невыразимой ненавистью произнес Голицын.

– А ты не злился. Это тоже мешает дуэли. Бей хоть в сердце, но спокойно, с умом, с рассудком.

Приехал штаб-ротмистр Талызин, коротко и точно рассказал о встрече с Небольсиным.

– Как он принял вызов? – поинтересовался Голицын.

– Даже не моргнул глазом. словно его пригласили на чашку кофе или предложили прогулку на острова.

– Храбрится или не понял твоего визита...

– Понял. Он – Георгиевский кавалер. Видно, храбрый и дельный офицер, – ответил Талызин.

– О-о, это хорошо! Крестик-то белый над сердцем висит. Вот тебе, князь, и мишень, на которую целясь. Да свой Владимир сними, он тоже подвести может, – со знанием дела советовал Голенищев.

– Я ему в голову стрелять буду... только в голову, – с холодной злобой сказал Голицын.

Талызину стало неприятно и от советов старого бреттера, и от упрямотупого ответа князя.

– Вы тут не дуэль, а убийство затеяли, – поморщился он.



– А дуэль и есть убийство. Что они, в бирюльки играть собираются, что ли? – с неодобрением ответил Голенищев. – Кто ловчей, кто быстрее, кто спокойней, тот и будет жить.

В полдень Голицын пообедал в Офицерском собрании конно-гвардейского общества, сыграл две партии в французский карамболь на бильярде и, почти успокоенный, часам к одиннадцати ночи вернулся домой.

Княгиня, красивая, с чуть полнеющей фигурой тридцатилетняя женщина, привыкшая к непонятным ей и порою вовсе необъяснимым причудам супруга, не обратила внимания на то, что князь пошел в домовую церковь, откуда долго не выходил.

«Очередная блажь. Не хватает еще появления грязных монахов из какой-нибудь пустыни», – подумала она.

В начале первого часа Голицын прошел на свою половину и что-то писал за столом, аккуратно складывая исписанные листки.

Прохор, подглядывавший в скважину за князем, молча и горестно качал головой.

Небольсин в этот вечер рано возвратился домой, помня, что наутро у него дуэль.

– Стреляться будете? – осведомился Сеня, с любопытством оглядывая своего хозяина.

– Откуда взял?

– У-у, откуда! Сам слышал, как вы с господами секундантами по-французски говорили: Озерки, дуэлия! – с радостным возбуждением подмигивая Небольсину, выкрикнул Сенька. – Уж вы ему, толстому борову, в пузо цельте... Пусть помучается за ваше горе, за Нюшину смерть! – неожиданно серьезно закончил он.

– А вдруг не я его, а он?

– Никогда... ни в жисть! Бог не допустит такого злодейства... Вы его, Александр Николаич, это уж как пить дать, – уверенно закончил Сеня.

За легким ужином кузины много говорили об актрисе Семеновой, очаровавшей Петербург.

– Кстати, зачем приезжал этот симпатичный штаб-ротмистр? – поинтересовалась Надин.

– Он очень понравился твоей сестре, – продолжая говорить о Семеновой, вставила Ольга Сергеевна.

– Не очень, но весьма мил... Он так не похож на твоих шалопаев Соковнина и Киприевского, – подтвердила Надин.

– Свататься приезжал. Испрашивал у меня разрешения просить твоей руки, – очень серьезно ответил Небольсин.

Так за столом просидел он до полуночи, после чего лег спать.



– Утром разбуди меня в семь часов да никому не говори о дуэли. По-едем в Озерки, – сказал он Сене.

– И я с вами?.. Голубчик, Александр Николаич, а я хотел просить вас об этом, – сияя от оказанного ему доверия, зашептал Сеня.

– Да ведь, Сеня, вместе мы были с тобой на Кавказе, вместе были в Тифлисе, вместе будем и на поминках по Ньюше...

– Дай-то господь отомстить за ее чистую душеньку, – истово перекрестился Сеня.

Утро было ясное и до того солнечное, что Небольсин даже прищурился от обилия света, когда, разбуженный Сеней, глянул в окно.

Сквозь тюлевые занавеси виднелся сад с его могучими фруктовыми деревьями. Через раскрытые настежь окна вливался густой, пряный запах наливающихся яблок. От клумб, разбросанных под окнами дома Корвин-Козловских, шел медвяный, острый аромат цветов.

– Духмяной воздух... В такое утро не стреляться, Александр Николаич, а на речку идти надо, – сказал Сеня, но смолк, видя, как Небольсин предупреждающе поднял палец. – Никто не слышит. Барыньки, кузины ваши, спят, а генерал уже с час как на прогулку отправились.

Небольсин быстро оделся. Было около семи.

– Чай готов. Выпейте на дорогу и для верности стаканчик...

– Для верности, Сеня, дай небольшой бокал хереса и одну галету, – попросил Небольсин.

Он едва успел съесть галету, как в комнату вошли Соковнин и Киприевский.

– Раз есть аппетит, значит, состояние духа прекрасное, – резюмировал Киприевский. Он налил себе большой фужер хереса и со словами: «За погибель врагов» – залпом осушил его.

Потом они, сопровождаемые Сенькой, сошли к ожидавшему их у ворот экипажу. В нем сидел худой господин. Соковнин представил его:

– Наш полковой лекарь, Устин Фаддеевич Кокорев. Не дурак выпить, а еще лучше лечит раненых и больных.

Кокорев махнул рукой.

– Вечно шутите, Алексей Алексеич, а вот коли вправду придется лечить раненого, мне ведь не поздоровится.

Соковнин небрежно отмахнулся.

– Врач на дуэли – все равно как священник на исповеди. Вот без вас было бы нечеловеколюбиво стрелять друг в друга. А вам ваша профессия только одним и дает право быть безнаказанно на дуэлях.

– Это вы так рассуждаете, а вот как посмотрят на это комендант города и наш командир полка? – угрюмо проворчал врач.

Экипаж уже ехал по шумному Невскому.

Булочки открывали свои заведения. Бабы спешили на базар. Будочники сонно отдавали честь проезжавшим офицерам. Молодые девицы,



возвращавшиеся на покой после ночных прогулок и походов, нагло подмигивали молодым офицерам, бросая какие-то непотребные шутки.

Сеня, сидевший рядом с кучером на козлах, в свою очередь отшучивался и поддразнивал их.

Утро становилось все светлей и ярче. Прохлада охватила их, когда экипаж въехал в лесок, шедший по обеим сторонам Охтенской дороги. Сквозь листву пробегали солнечные лучи. Они растекались серебристыми струйками по стволам деревьев, скользили серебряными зайчиками по ветвям, в которых щебетали птицы.

– Ух, и хороший денек будет! – снимая с головы шапку, громко сказал Сеня.

Но никто: ни кучер, занятый лошадьми, ни офицеры – не ответил ему. Каждый был занят своими мыслями.

Дорога, шедшая на Озерки, возле ручейка с перекинутым через него мосточком, разделилась. Более широкая и наезженная побежала прямо, теряясь в деревьях, кроны которых тесно сходились над ней; другая, заросшая травой, пошла влево, к чухонской мызе, за которой в версте или двух была та самая ложбинка, о которой говорил секундант князя.

Вскоре, обогнув невысокие деревянные строения с двумя амбарами и скотным двором, они выехали на залитую солнцем поляну, где уже находились люди и стояли два отличных, один на железных и другой на ременных шинах, экипажа.

Голицын стоял вполоборота к приехавшим. Он не повернул головы и тогда, когда секунданты Небольсина, отвесив учтивый поклон всем присутствующим, стали вполголоса совещаться со штаб-ротмистром Талызиным и полковником графом Голенищевым, вторым секундантом Голицына.

На пеньке сидел лекарь, по-видимому, немец, привезенный графом. Он чопорно и церемонно поклонился, покосившись на своего коллегу Кокорева. Присутствие второго врача не очень понравилось немцу. Кучер в малиновом жилете с павлиньим пером на стеганом суконном полуцилиндре о чем-то вел беседу с Сеней.

Секунданты Голенищев и Соковнин, осмотрев лужайку, выбрали подходящее место, отсчитали шестнадцать шагов. Двое других, Талызин и Киприевский, заряжали пистолеты, тщательно вгоняя в ствол круглые, литые пули.

– Пороху подбавьте, господин штаб-ротмистр, просыпался с полки, – любезно сказал улан секунданту Голицына.

Тот молча кивнул. Небольсин небольшими шажками прохаживался возле сидевших на пеньках докторов. Ему было несколько забавно смотреть на этих так не похожих друг на друга эскулапов. Немец недовольно и хмуро поджимал губы, озираясь по сторонам. Ему, как видно, очень



не хотелось присутствовать при этой дуэли, и он всем своим видом подчеркивал это. Кокорев, наоборот, с любопытством разглядывал князя и Небольсина, время от времени переводя глаза на уже заканчивавших промерку секундантов.

В стороне от всех стоял корнет Мещерский, что-то тихо говоривший Голицыну.

Князь молча кивал ему, хотя было видно, что он не слышал и половины из того, что говорил Мещерский.

– Готово, – подходя к ним и становясь между дуэлянтами, сказал Голенищев. – Расстояние обмерено. Барьер вот он, – указывая на белевший впереди платок, брошенный на палку, – сходитьсь при счете «один», на «два» – поднимать пистолеты, «три» – стрелять. Невыстреливший, в случае промаха противника, имеет право стрелять в упор у барьера. Все понятно, господа? – спросил он, обращаясь одновременно и к секундантам, и к противникам.

– Все! – коротко ответил Небольсин.

Князь только наклонил голову.

– Еще, господа! – поднял руку Голенищев. – Пока не раздались выстрелы, быть может, господа дуэлянты найдут возможным примириться?

Он выжидательно посмотрел на Небольсина и князя.

– Нет! – коротко сказал Голицын и широким шагом пошел к отмеченному ему месту.

Небольсин махнул рукой и встал напротив князя.

Было тихо. Шел девятый час утра.

Небольсин поднял голову и посмотрел на голубое с бирюзовым оттенком небо. По нему как-то совсем незаметно проплывали редкие облачка. Сквозь них пробивалось солнце, и его лучи пробегали по лужайке, на которой начиналась дуэль.

«Хороший светлый день, – подумал Небольсин, – быть может, последний в моей жизни».

– Схо-ди-тесь! – услышал он голос Голенищева, донесшийся как будто откуда-то издалека.

Небольсин, глядя прямо перед собой, пошел крупными шагами к барьеру, обозначенному белым платком.

Голицын, как на ученье, шел ровным, твердым, каким-то парадным шагом, выбрасывая вперед носки блестящих лакированных сапог. Одет он был в легкий летний мундир, но без ордена Владимира, и только густые золотые эполеты с буквой «Н» и императорским вензелем сверкали под солнцем. Он шел, чуть наклонив толстую шею, из-под густых бровей строго и внимательно смотрели серые холодные глаза. Чисто выбритое лицо с небольшими рыжеватыми бакенбардами было спокойно и в то же время чем-то напоминало бульдожью морду.

– Один, – прозвучал голос Голенищева.





Голицын быстро поднял пистолет, целясь в грудь шедшего навстречу Небольсина.

— Два! — так же кратко и отчетливо слышался голос Голенищева.

Небольсин на ходу поднял пистолет, наводя его на лицо князя.

Секунданты, вперив взоры в дуэлянтов, напряженно молчали, ожидая выстрелов. Сеня, взобравшись на пень, с замиранием сердца и в то же время с восхищением смотрел на спокойное, решительное лицо своего барина.

«Убей, убей его, батюшка Александр Николаич», — беззвучно молил он Небольсина.

Голицын закрыл правый глаз, прищурился и стал медленно нажимать спуск. Ствол его пистолета отсвечивал под ярким солнцем и был направлен прямо в лицо подходившего к барьеру Небольсина. Голицын сильнее нажал на спуск, грохнул выстрел.

Небольсин пошатнулся. С его щеки медленно сползли капли крови.

Голицын с ненавистью глянул себе под ноги. Торопясь сделать выстрел, он не заметил выбоины, укрытой травой, и, нажимая на спуск, оступился. Пистолет резко дернулся, и выпущенная в упор пуля, сбив эполет противника и оцарапав ему ухо, прошла мимо.

Небольсин спокойно стоял у барьера. Он тщательно целился в оцарапанного от неудачи Голицына.

Секунданты напряженно смотрели на Небольсина, чуть согнувшего в локте руку.

Небольсин медлил. Он слегка опустил пистолет, целясь в переносье Голицына, и князь против воли закрыл глаза, слегка отворачиваясь от наведенного пистолета.

— Да стреляйте ж! — нарушая этикет дуэли, крикнул Голенищев.

Небольсин искоса глянул на него и, опустив пистолет, выстрелил в колено Голицына.

Пороховой дымок поплыл над его пистолетом.

Голицын лежал на траве. Возле него суетились лекари.

Небольсин, опустив пистолет дулом книзу, смотрел поверх деревьев на облачка, на бирюзовое небо и даже не заметил, как к нему подошел Киприевский.

— Тебе эполетом оцарапало щеку, — разглядывая подсыхающую царапину, сказал он, не зная, что говорить. — О чем думаешь, Сандро?

— Кавказ вспомнил. Чудесный, дорогой мне край... с его небом и людьми...

— Вот мы, вероятно, и увидим его вскоре, — многозначительно кивая в сторону людей, переносивших Голицына к коляске, сказал Соковнин.

Один из докторов, с засученными по локоть руками, окровавленными пальцами перевязывал лежавшего без сознания князя. Другой, разрезав ножницами лакированный сапог, стаскивал его с ноги Голицына.



– Господа, вы можете ехать. Вас же, господин корнет, прошу остаться, составить вместе со мною акт дуэли, подписать его и поехать к коменданту с рапортом о поединке, – сказал Голенищев.

– Вы поезжайте, а я останусь с господами офицерами для составления протокола дуэли, – отдавая честь, сказал Соковнин.

Небольсин даже и не глянул в сторону людей, склонившихся над Голицыным.

– Александр Николаич, а Александр Николаич, – робко спросил с козел Сеня, когда экипаж выехал на дорогу, – почему вы стреляли в ногу?

И Киприевский, которого тоже занимал этот вопрос, повернулся к Небольсину:

– Да, почему?

– Это было бы самым легким для него. Пусть всю жизнь ходит калек, пусть нога, которую потеряет Голицын, напоминает ему о загубленной им женщине, – холодно сказал Небольсин.

Все замолчали и уже до самого въезда в город не проронили ни слова.

Около двенадцати часов дня Небольсин, приняв ванну и обтерев лицо и поцарапанную щеку лавандовой водой, вышел на веранду.

– Однако кавказский герой встает как петербургский жуир и картежник, – с укоризной покачала головой Ольга Сергеевна, показывая на часики, висевшие у нее на груди.

– Долго читал... – придвигая к себе сыр и масло, ответил Небольсин.

– Опять Вальтер Скотт? – поинтересовался генерал.

– Он и Пушкин, – отхлебывая кофе, сказал Небольсин.

– А мне утром, рано-рано, показалось, что не то ты куда-то уезжал, не то за тобой приходил кто-то? – удивилась Надин.

– Показалось! Это со сна.

– А царапина у тебя тоже со сна? – внимательно разглядывая Небольсина, спросила Ольга Сергеевна.

– Должно быть, так, – невпопад согласился Небольсин. – Вероятно, во сне повернулся неловко.

– Ой, Санчик, ты и врать-то не умеешь. Я спросила дворовых, и Кузьма сказал, что за тобой рано утром заезжали твои озорные друзья.

– Заезжали. У меня дуэль была, – видя, что сестры кое-что знают, и понимая, что через час-другой они все равно узнают обо всем, не стал скрывать Небольсин.

– Ду-эль? – протянула Ольга Сергеевна.

– А!.. – подняв брови, восхищенным шепотом сказала Надин. – Как романтично! Из-за женщины?

– Вовсе нет. Из-за различия точек зрения на генерала Ермолова, – отодвигая чашку, возразил Небольсин.

– Вот как! А с кем? – осведомился молчавший все это время Модест Антонович.



– С гвардии полковником князем Голицыным.

– Это которым? Что женат на Долгоруковой?

– Не знаю, на ком женат. Извините, дорогие кузины, но ко мне, кажется, идут, – вглядываясь через деревья и решетку сада в сходявших с экипажа людей, сказал он.

– Ты убил его, Санчик? – с восторгом спросила Надин. Ее романтической натуре, воспитанной на французских мемуарах времен Людовиков, на романах Вальтера Скотта, дуэль казалась обязательным атрибутом каждого военного.

– Ранил в ногу, – ответил Небольсин и пошел навстречу шедшим к ним людям.

Это были его секунданты и доктор Кокорев.

– Князя отвезли в военный госпиталь, что возле Лавры. Рана тяжелая, ногу отрежут сегодня ж, – глядя куда-то в сторону, доложил лекарь, вздохнул и, видимо, думая о последствиях дуэли, как-то просительно закончил: – При дознании о случившейся картели прошу вас особо отметить, поручик, что я дважды отказывался присутствовать на таковой, но... – он опять вздохнул, – но господа офицеры, – кивнул он в сторону Соковнина и Киприевского, – все же потребовали моего присутствия.

– Конечно! Так оно и было, так и будет сказано на следствии, – успокоил его Небольсин.

Третий офицер, поклонившийся ему, полуофициально сказал:

– Разрешите представиться. Гвардии поручик Масальский, младший адъютант коменданта Санкт-Петербургского гарнизона. По распоряжению его превосходительства генерал-майора Сухтелена вы, господа, все трое обязаны со мною вместе прибыть на гауптвахту, где будете находиться во все время дознания. Сабли, господа офицеры, пусть пока будут при вас, сдадите их мне по приезде на гауптвахту.

Офицеры молча отдали честь.

– Что же касается вас, господин лекарь, – обращаясь к Кокореву, продолжал комендантский адъютант, – вы свободны. Обе стороны должны были иметь при этом прискорбном случае своих докторов, и особых указаний у нас нет. Конечно, – он опять поклонился, – возможно, что при ведении следствия вас вызовут для допроса сви-де-те-лем, – растягивая слово, закончил он.

– Нам ехать немедленно или есть еще время? – осведомился Небольсин.

– Это зависит от вас. Час-другой я могу задержаться с вами, – любезно ответил поручик.

– В таком случае прошу господ офицеров на веранду закусить перед отъездом к коменданту, – предложил Корвин-Козловский.

– ...И выпить, – добавил Киприевский.

– Весьма охотно, – отстегивая саблю, согласился Масальский.



## Глава 6

Николай стоял у стола, вполоборота к двери. Бенкендорф поклонился и остался в полупоклоне.

– Входи, Александр Христофорович, – не меняя позы, пригласил царь. – Что нового? – бросая быстрый взгляд на пачку бумаг в руках Бенкендорфа, спросил он.

– Из Польши, Ваше Величество, от их высочества Константина Павловича. Деша фельдъегерская с Кавказа от графа Паскевича и кое-что еще...

Царь вопросительно глянул на Бенкендорфа. Оба они давно и хорошо изучили друг друга, и короткое «кое-что», сказанное вскользь, насторожило царя.

– Что «кое-что»? – негромко спросил Николай.

– Неприятное дело о дуэли...

– Дуэли? – подняв брови, проговорил царь. – Какой дуэли?

– Между гвардии полковником князем Голицыным и неким штабс-капитаном Небольсиным.

– Какой части сей штабс-капитан? – еще выше поднимая брови, спросил царь.

– Отдельного Кавказского корпуса Ширванского полка штабс-капитан Небольсин, находящийся на излечении от ран, полученных в сражении под Елисаветполем, – спокойным голосом докладывал Бенкендорф.

– И каков исход картели?

– Князь Голицын опасно ранен в ногу, раздроблено колено, предстоит ампутация, – словно читая чужие слова, бесстрастно продолжал Бенкендорф.

– А штабс-капитан? – повернувшись лицом к Бенкендорфу, поинтересовался Николай.

– Офицер невредим. Первый выстрел был князя, но он промахнулся.

Царь шагнул к столу, глаза его округлились, губы задрожали в гневе.

– Нарушение приказа!

– Вот, Ваше Величество, рапортчика о дуэли, подписанная секундантами и врачами, оказавшими первую помощь раненому. Прошу, Ваше Величество, соизволить начертать на оной свое повеление, – и он пододвинул царю остро отточенное гусиное перо.

Царь резким и быстрым движением вывел: «За послушание моего приказа о запрещении разного рода дуэлей и поединков в армии и флоте приказываю штабс-капитана Небольсина разжаловать в солдаты и немедленно сослать рядовым в один из полков Кавказского корпуса на переднюю линию».

Бенкендорф молча следил за царем.

– Есть, Ваше Величество, привходящие обстоятельства, смягчающие вину сего молодого офицера, – тихо, как бы между прочим произнес он.

– Какие? – переставая писать, спросил царь.



– Как мне удалось узнать, дело сие произошло не столько на романтической основе, сколь на защите династических и верноподданических чувств, проявленных сим молодым офицером в ссоре с полковником князем Голицыным.

Царь внимательно слушал Бенкендорфа, его холодные серо-голубые глаза сузились, выхоленное лицо напряглось, и он медленно повторил:

– Династические... Расскажи, Александр Христофорович, об этой дуэли поподробней.

Николай сел и, откинувшись назад, вытянул поудобней длинные ноги, обутые в высокие, на манер ботфорт, лакированные сапоги.

– Сей штабс-капитан происходит из стародворянского рода помещиков Небольсиных, сын генерал-майора, герой Елисаветпольской баталии, лично взявший в рукопашном бою корпусное знамя Садр-Азама Персии, был тяжело ранен и находился в годичном отпуске на излечении от ран.

– Награжден? – коротко спросил царь.

– Орденом святого великомученика Георгия четвертой степени за бой под Елисаветполем и орденом святого равноапостольного Владимира с бантом за поход в Салатавию, Чечню и Дагестан.

– Отличный офицер! – похвалил царь.

– Его высокопревосходительство граф Иван Федорович Паскевич, лично знающий сего молодого офицера, сам представил его в штабс-капитаны после Елисаветпольской победы, – вставил Бенкендорф, умалчивая о письме Паскевича к нему.

– Так за что же произошла у них дуэль? – после недолгого молчания вновь заговорил Николай.

Упоминание о Паскевиче сразу расположило царя к офицеру, досель вовсе ему не известному.

– Граф, – он сочно повторил, – граф Паскевич не очень щедр на похвалы, значит, сей штабс-капитан...

– Небольсин! – подсказал Бенкендорф.

– Небольсин стоит этого внимания. Так из-за чего же произошла у него с князем картель?

Бенкендорф сделал скорбное лицо и, вздохнув, еле слышно произнес:

– К сожалению, государь, пролилась кровь из-за женщины... холопки, простой крепостной девки князя Голицына...

– Как «женщины»? Но ты же сказал, что дуэль эта вызвана совсем другой причиной.

– Совершенно справедливо, государь, – наклоняя голову, подтвердил Бенкендорф, – но это есть как бы предлог, причина же таится в ином. Князь Голицын вместе с некоторыми знакомыми ужинал в ресторации небезызвестного Вашему Величеству француза Андрие.

Царь слегка кивнул, продолжая слушать Бенкендорфа.



– Здесь же, за портьерой, находился и штабс-капитан, тоже проводивший вечер со своими друзьями. Князь Голицын, как вы знаете, государь, всегда кичился своим родом, возводя его чуть ли не к незапамятным временам Рюрика...

– И что же? – спросил явно заинтересованный царь.

– Вино, собеседники и сама тема их неопозволительного разговора довели опьяневшего князя до того, что он... – шеф жандармов остановился.

– Продолжай, Александр Христофорович, – постукивая пальцами о ботфорт, приказал царь.

– Что полковник Голицын, не стеснясь быть услышанным сидевшими в зале лицами, сказал, – Бенкендорф понизил голос, – что царствующая династия в России не самая древняя и знатная. Что бояре Романовы при московских царях всегда сидели ниже Голицыных, что Рюриковичей оттеснили от трона жалованные графы, худородные дворяне и остзейские бароны, – он чуть улыбнулся.

Николай холодно молчал.

– Сказано было и то, что при Годунове ваши предки, государь, на царских обедах садились только за вторые столы.

– Так, так! – наконец изрек Николай, еле сдерживая гнев.

Бенкендорф был доволен. Он видел, что сообщение попало в цель.

– Кроме того, Ваше Величество, Голицын допустил еще одно оскорбление роду Романовых, а значит, и династии.

– Говори все, Александр Христофорович, без утайки, – тихо попросил царь. Его холодные, цвета олова глаза загорелись.

– Князь позволил себе сказать, что царевна Софья Алексеевна, сестра Великого Петра, была любовницей его прадеда, Василия Голицына, и даже имела от него ребенка.

– Das ist doch eine alte lumpige vergessene und kaum wahrschenliche Geschichte<sup>1</sup>, – отвернувшись к окну, сказал царь.

– Вот в эту-то минуту появившийся из другого зала штабс-капитан и назвал Голицына лжецом и трусом.

– Это меняет дело, – тихо, как бы самому себе сказал царь.

– Не довольствуясь этой отвратительной ложью, князь Голицын и некоторые его друзья договорились даже до того, что их, потомков Рюриковичей, отпрысков знатных и древнейших фамилий, вы, государь, не допускаете до себя, заменяя русских дворян худородными графами из немцев, – тут Бенкендорф снова улыбнулся и показал на себя.

– Кто был с Голицыным? – с трудом проговорил царь. Бешенство и гнев охватили его.

– Два брата Мещерских, корнет лейб-гвардии Андрей и его брат, Вашего Величества камер-юнкер, Василий. Эти вели особенно непочтительный разговор с князем.

<sup>1</sup> – Старая, дрянная, забытая и не очень правдивая история (немец.).



– Остальные? – коротко осведомился Николай.

– За столом присутствовали ротмистр кавалергардского полка граф Татищев и конногвардеец ротмистр Нейдгард, но сии офицеры участия в непростительном разговоре не принимали и дважды останавливали пьяных Мецкерских и Голицына.

– Что же сделал этот Небольсин?

– Он вышел из-за портьера и назвал полковника лжецом и трусом. Этим, Ваше Величество, он оборвал недостойное поведение Голицына. Как видите, дуэль была вызвана обстоятельствами высшего порядка, – почтительно склоняя голову, пояснил Бенкендорф.

– Да... это меняет суть дела, – после минутного молчания повторил царь. Он взял гусиное перо, обмакнул его в чернильницу. – Но, Александр Христофорович, дуэль есть дуэль, и она запрещена мною в нашем государстве, – и царь, жирной чертой зачеркнув только что написанное, начертал:

«Штабс-капитана Небольсина за ослушание законов Российской империи следовало бы разжаловать в солдаты, но, принимая во внимание его мужество и доблесть в боях с персиянами, отмеченные графом Паскевичем, сего штабс-капитана от наказания освободить, учитывая высокопатриотические чувства, побудившие его к дуэли. Штабс-капитана Небольсина из-под ареста в Петербургской кордегардии освободить. С тем же чином вернуть на Кавказ в распоряжение начальника штаба корпуса. Объявить ему высочайшее благоволение и выдать из собственной моей канцелярии 500 червонцев и кольцо с бриллиантом как знак моего расположения».

Царь оторвался от бумаги.

– Пусть едет немедленно. В десять-двенадцать дней.

– Слушаюсь, государь!

– Князя же Голицына отчислить из гвардии в отставку с переводом его по армейской пехоте.

Бенкендорф ликовал, хотя на его спокойном лице это не отражалось.

– По минованию опасности для жизни приказываю Голицыну выехать из столицы и, не останавливаясь в Москве, прибыть в одно из подмосковных имений, где и проживать безвыездно до нашего особого распоряжения... А камер-юнкера перевести куда-нибудь в провинцию с отчислением от двора, – раздумывая, продолжал Николай.

– Есть вакансии чиновника для особых поручений в Пермь, Тамбов, Пензу, – доложил Бенкендорф.

– Пусть в Пензу, но с непременно отчислением от двора, – согласился царь. – Корнета же Мецкерского перевести из гвардии с тем же чином в один из полков армейской кавалерии и... вон из столицы!

– Куда прикажете откомандировать, Ваше Величество? – спросил Бенкендорф, делая отметку на своем листке.



– Хотя бы к брату Константину, в Седьмой драгунский полк. Он стоит возле Лодзи? – кичась отличным знанием дислокации войск, сказал царь.

– Да, Ваше Величество, в Лодзи.

– Передай Чернышеву, приказ об отчислении пусть отдаст немедленно.

– Слушаюсь, Ваше Величество!

Николай удовлетворенно похлопал себя ладонью по обтянутому ботфортом колену и, глядя в дело, спросил:

– Что еще?

– От генерала Эммануэля депеша. Хищные партии горцев спустились с гор, набегом прошли по линии...

Царь резко встал.

– ...И рассеялись по левому берегу реки, нападая на отдельные посты и казачьи заставы, – делая вид, что не замечает волнения царя, продолжал Бенкендорф.

– Почему военный министр не доложил мне сего?

– Депеша пришла час назад, Ваше Величество, и я первым был извещен о набеге.

– Кто вел партию хищников? Опять самозванный имам Кази-мулла?

– Так точно, он.

– Ну, а что пишет наш брат Константин?

И доклад шефа жандармов своему государю потек обычным порядком.

Небольсин был вызван полковником Колесниковым, заменявшим отсутствовавшего генерала Сухтелена. Просидев на «губе» больше суток и не будучи ни разу опрошенным начальством по поводу дуэли, Небольсин был готов к любому наказанию, вплоть до разжалования и отдачи под суд.

Находившийся вместе с ним под арестом сотник лейб-гвардии Донского атаманского полка, забулдыга и весельчак Тихон Яицков, узнав причину арестования Небольсина, сразу же изрек:

– Разжалуют – и айда обратно на погибельный Кавказ, а там, ежели не убьют, через год опять офицер, опять – ваше благородие, – оптимистически решил он.

– А вы за что, сотник? – так, только чтобы спросить что-либо, поинтересовался Небольсин.

– Да ни за что... придирика к казакам – и вся недолга, – махнул рукой Яицков. – Чего я сделал? Да ничего. Ну, выпил лишнее, это было; ну, побил в кабаке какого-то чиновника с петлицами, так то ж простое дело, а не вина... опять же стрелял в стенку, пистолет пробовал, а мне комендант покушение на смертоубийство определил... Тоже, поди, из полка в Чечню погонят...





Дверь кордегардии открылась.

– Штабс-капитан Небольсин! Прошу вас следовать за мной к его высокоблагородию полковнику Колесникову. Вас ждут новости, – очень любезно сказал дежурный офицер.

Небольсин встал с табурета.

– А как со мной? Четвертые сутки в вашем клоповнике сижу... пора бы и вызвать, – сказал Яицков.

– В свое время, сотник. По вашему делу идет дознание и, – офицер покачал головой, – да-але-ко не в вашу пользу.

Небольсин и дежурный адъютант вышли, не слыша, как донской сотник вполголоса отборной бранью напутствовал и коменданта, и порядки, установленные в кордегардии.

Полковник Колесников пожал руку Небольсину и, не давая опомниться удивленному его любезностью штабс-капитану, сказал:

– С монаршей милостью вас, капитан. Его Величество простили ваше прегрешение. Вам даны десять дней на приведение в порядок личных дел и повелено возвратиться на Кавказ в том же чине, без лишения звания, орденов, дворянства. Наоборот, – Колесников широко и искательно улыбнулся, – монаршей милостью вы награждены именным перстнем и пятьюстами червонцами из собственной казны Его Величества... Поздравляю вас, – и он снова, еще ласковей, заглянул в глаза пораженного новостью Небольсина. – Вероятно, у вас при дворе есть очень, очень значительный покровитель, – продолжал полковник, – я служу тут уже четырнадцатый год, а подобный случай наблюдаю впервые. – И, видя, что Небольсин молчит, Колесников, думая, что штабс-капитан не хочет посвятить его в свои связи при дворе, сказал: – Распишитесь, пожалуйста, вот тут и вот здесь, и... вы свободны. Остальные указания получите от своего прямого начальства. Еще раз поздравляю вас.

Ошеломленный штабс-капитан вышел с гауптвахты в состоянии полной прострации и недоумения.

«Почему так решил царь? Кто помог мне, ведь дуэль тяжко наказуется, в особенности же если произошла между военными... Модест?.. Вряд ли. Он не мог, просто не в силах был изменить давно узаконенные для дуэлянтов наказания. Быть у царя он не мог, слишком незначителен для этого... Но что же, что повлияло на царя?» – идя по Невскому, думал Небольсин.

Когда он, не заходя домой, направился прямо в особняк Корвин-Козловских, чтобы успокоить, по его мнению, встревоженных и опечаленных кузин, он понял, что и тут ошибся.

Стоявший у ворот Сенька замахал руками и, обращаясь куда-то внутрь сада и дома, закричал:

– Идет... Ур-ра-а! Идет наш Александр Николаич!..



А обе кузины, генерал и двое бывших секундантов Небольсина – Соковнин и Киприевский – показались на веранде с поднятыми бокалами шампанского.

«Что за наваждение! Они ждали меня и, значит, знали о моем освобождении», – ускоряя шаг, решил Небольсин, уже через минуту попавший в дружеские и родственные объятия.

– Да что случилось, говорите же, ради бога, как и почему царь смиловился надо мной и заменил разжалование возвратом на Кавказ? – обводя всех глазами, спросил он.

– Сначала выпьем за благополучный исход дела, затем за Его Величество, простившего не только тебя, но и нас. Понимаешь, Сандро, секунданты твоего Голицына выгнаны вон из Петербурга, нас же даже не вызвали к коменданту! – закричал Соковнин.

Все стоя выпили, и только тогда молча улыбавшийся Модест Антонович детально и очень точно рассказал Небольсину о докладе Бенкендорфа царю.

– Как видишь, эти пьяные Мещерские и надутый чванством фанфарон Голицын своими хмельными речами помогли тебе. Теперь ты ведом царю, оказал косвенную, но очень ценную помощь Бенкендорфу, и тебе не следует забывать об этом. Заканчивай, герой Елисаветполя и дуэлей, свои дела и возвращайся на Кавказ. Завтра же подай о своем скором отъезде рапорт в Управление генерал-квартирмейстера, и – счастливого тебе пути, Санчик! – обнимая все еще растерянного Небольсина, сказал Модест.

Четыре дня сборов в отъезд, прощания с друзьями, последних предотъездных разговоров с родными и посещения Андрии пролетели быстро.

На пятый день Небольсин, провожаемый кузинами, Модестом и десятком друзей, сопровождаемый Сеней, отбыл через Москву на Кавказ.

Последние дни утомили Небольсина, и, как только возок отошел от заставы, штабс-капитан, закутавшись в дорожную шинель, закрыл глаза и заснул.

Проснулся он только на очередной почтовой станции.

«Итак, прощай, Петербург!» – подумал он.

Впереди была Москва, посещение Ермолова и два дня отдыха.

В Москве он остановился в «нумерах» Тестова, находившихся в том же доме, где был расположен и тестовский ресторан. Заняв две комнаты для себя и Сени, Небольсин пошел в знаменитые Сандуны, роскошные бани, содержавшиеся женою известного московского актера Сандунова; потом написал письмо Алексею Петровичу, прося разрешения посетить его «проездом на Кавказ». Указав Сене адрес Ермолова, Небольсин отправился бродить по Москве, в которой не был уже давно. Он прошел на Красную площадь, зайдя по пути в трактир Филиппова, где в те дни отлично кормили кулебяками, московскими расстегаями и зернистой икрой. Потом вернулся к себе в номер, где уже ждал его Сеня.



– Ждет вас Алексей Петрович. Завтра велел быть в два часа, к обеду. Пускай, говорит, попостится до того времени, вместе пообедаем чем бог послал, – восторженно докладывал Сеня. – Орел, а не генерал!.. Велел сесть рядом, я ни в какую, а он ка-ак зыкнет на меня. Сполный, говорит, приказ... Садись возле да жди, пока я письмо твоему барину напишу... Тре брав ом, даром что в отставке. Написал, велел выпить на дорогу стакан водки и отпустил... Вот, извольте, письмо, – закончил Сенька, по-видимому, еще не пришедший в себя после генеральского угощения.

«Жду тебя, дорогой Александр-джан, завтра к обеду ровно в два часа пополудни», – размашистым почерком было написано на плотной белоснежной бумаге.

На следующий день Небольсин, подтянутый, тщательно выбритый и слегка надушенный любимыми духами кузины Надин «Вер виолет», отправился к Ермолову.

Было еще рано. Штабс-капитан не спеша шел по зеленому Садовому кольцу и незаметно для себя очутился на Смоленском рынке.

– А вот кому финики-и... Есть красный товар... Сбитень горячий да сладкий... Купец, а купец, возьми за недорого... – неслись отовсюду истошные голоса.

– Ваше благородие, есть для вашего сиятельства такой товар, аж самому ампиратору впору, – выныривая из толпы галдящих людей, шепнул плотный, одетый в поддевку человек, поблескивая лукавыми глазками.

– Какой же такой у тебя товар? – заинтересовался Небольсин.

– Пистолет, весь в камнях да с насечкой золотой, – вытаскивая из кармана поддевки и подавая пистолет, расхваливал свой товар продавец. – Вот, ваша честь, глядите. Отседа и до курка весь голубым бирюзом обтянут...

– Э, брат, да это кавказский «дамбача», – разглядывая длинноствольный пистолет, с удивлением протянул Небольсин.

– Так точно! С самого Капказу, солдат один знакомый на побывку приезжал, привез. С самого главного турка али там чечена снял, – прикрывая пистолет ладонью от любопытных глаз, сказал продавец.

– И насечка, и работа знакомые. Это подлинно с Кавказа, – любовался чернью и позолотой Небольсин. – Там, в горах, есть аул Кубачи, где такие вещички делают. Сколько хочешь за него?

– Видать, сами бывали на Капказе, – с почтением проговорил человек, – а раз знакомо дело, я вам, ваше благородие, задешево отдам. Может, сгодится на службе. – И совсем тихо спросил: – Пять серебром недорого будет вашей милости?

– Недорого. Был на Кавказе, воевал там, а вот оружие горское в Москве купил, – засмеялся Небольсин и, расплатившись, пошел к Пречистенке.

Запахи рынка все еще кружились над ним. Моченые яблоки, квас, соленая рыба, жареная требуха, горячие щи, вобла, свинина – все, чем был



богат и полон Смоленский рынок, все это вместе с разноголосыми выкриками торговцев еще долго провожало Небольсина.

«Хороший пистолет, несомненно кубачинский. Подарю-ка его Алексею Петровичу», — думая о встрече с Ермоловым, решил Небольсин.

День был теплый, мягкий. На бульваре, тянувшемся посреди улицы, сидели няньки и дворовые люди. Чем дальше уходил от рынка Небольсин, тем чище становилась улица, стихал шум и дома меняли свой облик. Тут шли чинным рядом полукаменные особнячки с выдвинутыми вперед садами, окруженными решетками, и украшенные у входов и крылец каменными львами или головами мифических животных: дань времени и моде. Пушкинский «Руслан» и «мертвая голова» волновали воображение крепостных скульпторов.

Дом Ермолова был типичным особнячком старомосковского стиля, пятистенным, какие во множестве расположились на Пречистенке, Сретенке и бульварах Москвы. Одноэтажный, с мезонином и мансардами, с постройками и службами внутри двора. Деревянный, но на прочном каменном фундаменте. Два крыльца с разных концов нарядно и весело глядели в небольшой, густо разросшийся фруктовый сад. Две неширокие аллеи вели от входа к крыльцу. Прочная железная решетка с бронзовыми грифами на скреплениях прутьев и задумчивый каменный лев у входа украшали парадные ворота ермоловского дома.

Небольсин посмотрел на свой брегет, подарок покойной матери. До двух часов дня, как было назначено ему, оставалось еще несколько минут, и он медленно пошел вдоль решетки. Ермолов в дни своей службы был точен как часы и не терпел ни промедления, ни преждевременного появления приглашенных людей.

Небольсин прошел несколько домов, заглядывая внутрь через ограды. Он небрежно козырнул солдату, остановившемуся в четырех шагах от него по стойке «смирно». Солдат держал у груди шапку и «ел» глазами офицера. На его груди висели Георгиевский крест IV степени и медаль «За усердие». Виски старого солдата поблескивали сединой, а густые, подкрученные вверх усы придавали его лицу воинственный вид.

Небольсин сразу вспомнил Саньку Елохина, Внезапную, бой под Елизаветполем, и теплое чувство благодарности охватило его.

— За что крест? Да ты надень шапку, стой вольно, старина, — ласково сказал он, все еще думая о Саньке. И хотя этот солдат ничем не напоминал отставного унтера, оставшегося в далеком Тифлисе, тем не менее Небольсин чувствовал все нараставшую симпатию к нему.

— За бой под аулом Чох, в Дагестане, вашбродь... вместе с Алексеем Петровичем ходил! — выкрикнул солдат.

— О-о, да мы с тобой, оказывается, оба кавказцы. Ну, а на Чеченской линии был?

— А как же! И там был, и на Ямансу ходил, — обрадовался солдат.



– А что сейчас делаешь, служивый?

– А я, вашбродь, у их высокопревосходительства Алексей Петровича вторым драбантом нахожусь, – приосаниваясь, сказал солдат.

Небольсин взглянул на часы. Оставалось полминуты до назначенного Ермоловым срока.

– В таком случае, кавалер, идем вместе. Я тоже к Алексею Петровичу, – сказал Небольсин, и оба кавказца скорым шагом пошли к особняку Ермолова.

Дверь открыл мальчик-казачок, лет пятнадцати, с круглым и добродушным лицом.

– Мишка, их сокпревосходительство дома? – напуская важность в голосе, спросил солдат.

– Дома они. Пожалуйте, барин, в горницу. Алексей Петрович ожидают вас, – принимая из рук Небольсина фуражку и саблю, сказал казачок. Он повел его наверх, где на антресолях находились еще две комнаты, облюбованные Ермоловым для работы и приема гостей. Несколько неудобная, крутая лесенка вела наверх, и Небольсин не без грусти подумал о том, как скромнен и небогат этот особнячок.

«Да любой становой пристав или городничий, ушедший по старости на покой, имел бы вдесятеро лучший дом, – глядя на потертый, но чистый пол, прислушиваясь к скрипу половиц, размышлял Небольсин, – а через его руки прошли сотни тысяч сэкономленных, сохраненных государству рублей».

– Пожалуйста, сюда, барин, – приоткрывая дверь, пригласил казачок.

Небольсин вошел в невысокую, оклеенную светло-желтыми обоями комнату.

От стола, поднимаясь с места и широко раскрывая объятия, навстречу ему шел Ермолов. Одет он был в старый генеральский сюртук, без погон, с одним Георгием в петлице. Лицо его выражало радость, маленькие умные глаза оглядывали Небольсина тепло и пытливо. Еще более располневший, чем в бытность его на Кавказе, он казался крупнее. Голова с вьющейся копной волос, пробивающейся сединой, большие руки, чуть хрипловатый и в то же время приятный голос – все возродило в Небольсине недавние встречи с генералом на Кавказе.

– Обними меня, Саша, обними, как сын отца. Ведь ты для меня сын, – трижды целуя гостя крест-накрест, сказал Ермолов, и голос его чуть дрогнул. Возле глаз собрались морщины, и печаль, которую он хотел скрыть от гостя, прорвалась в дрогнувшем голосе.

Небольсин обнял генерала, почтительно и крепко расцеловал его.

– Садись, дружок, вот тут, возле меня, – хлопотливо, видимо, волнуясь, заговорил Ермолов. – Вот сюда, у окна. А я по-стариковски, в свое кресло. Мишка! Михал Михалыч! – вдруг крикнул он, и в комнату шагнул казачок. – Что ж ты не угощаешь гостя? Что у нас там есть?



– Да я, Алексей Петрович, сыт. Я ведь повидать вас пришел, от всего сердца, – начал было Небольсин.

– А вот за чепуркой кизлярского мы все это и сделаем. Ты ведь, наверное, отвык среди своей петербургской родни от кавказского чихиря да араки. А у меня они водятся... Не забывают друзья старика. Редко кто минет, не заглянув в гости, – и он стал аккуратно цедить в стакан чихирь.

– Ну, рассказывай о себе, – и, видя, что Небольсин с интересом посматривает на стену, где были развешаны вычеканенные медали, сказал: – Это работа графа Толстого. На память прислал об Отечественной войне. Вот – Бородино, вот – Смоленск, Вязьма, а вот – Тарутино и Москва.

В стороне, у окна, висели две скрепленные кавказские пашки, над ними – щит и плетеная кольчуга, какие носили в горах хазреты.

– Память о походе на Черкей, – сказал Ермолов. – А вот эта, – он указал еще на одну кольчугу, – эта подарена мне ханшей Паху-Бике, помнишь ее? Аварская правительница. Уверяла, будто это кольчуга ее покойного мужа. Врет старая сводня, наверное, с какого-нибудь любовника сняла.

Небольшой ковер на полу, три стула, рабочий стол и большой портрет представительного старика в мундире екатерининского времени – вот все, что украшало комнату бывшего «проконсула Кавказа».

«А ведь в его руках были судьбы и Грузии, и Персии со всеми их богатствами и мощью», – внутренне восхищаясь простотой комнат, их скромной, почти бедной обстановкой, думал Небольсин.

– А это мой отец, Петр Владимирович. Ну, а теперь, Александр-джан, как называл тебя Валериан, давай выпьем.

Ермолов поднял стакан, и его лицо опять стало лицом того кавказского Ермолова, которого любили и солдаты, и офицеры: строгим, мужественным, почти суровым.

– За нашу Родину, Саша, за Россию, которая была, есть и всегда будет. – Он чуть отодвинул стакан и еще проникновенней и мягче закончил: – За русского солдата, за тех, кто телом оберегал Россию, кто грудью прикрыл ее. За армию, Саша, – и медленно отпил глоток.

Небольсин, затаив дыхание, волнуясь, смотрел на того, кого солдаты и вчера, и сегодня, да, вероятно, еще долго будут называть ласково и просто: «Ляксе́й Петрович».

Ермолов глянул на часы.

– Двадцать две минуты третьего. В три – обед. С нами обедает полковник Олшанский, ты знаешь его?

– Нет, Алексей Петрович, только по фамилии.

– Добрый человек, хороший и верный. Один из немногих, кто постоянно бывает у меня.

– Алексей Петрович, я только что случайно купил на Смоленском рынке пистолет, по-видимому, кубачинский. Не знаю, как он попал сюда, но



работы отменной. С позолотой, чернью и бирюзой по рукояти. Не обидьте, отец и командир мой, возьмите на память о днях на Кавказе, в память всего, что вы сделали для меня, Алексей Петрович, – и Небольсин достал из кармана только что купленный пистолет.

– Хорошая штука! Несомненно, кубачинской работы и, может быть, их лучшего мастера, великого умельца Ахмета-Уста, – любуясь пистолетом, сказал Ермолов.

Он дважды взвел курок, осмотрел полок пистолета, продул ствол и глянул сквозь него в окно.

– Отменная работа... Я думаю, твой купец украл его где-либо и продал тебе ворованный «дамбача».

Он со вкусом, медленно и важно проговорил «дамбача», желая подчеркнуть, что знает не только происхождение пистолета, но и то, как его называют там, в Кубачах, на Кавказе.

– Возьму, берекет-аллах, но ты знаешь, Саша, как у нас на Кавказе джигиты обмениваются оружием? Каждый, если покуначился, дает другому свое лучшее. Так вот, беру твой пистолет, он воистину хорош, а ты...

Ермолов встал, прошел во вторую комнату и вынес оттуда саблю. При первом взгляде она казалась простой, но впечатление это пропадало, как только сабля попадала в руки. Ее крестообразная рукоять со спущенными книзу краями была отлита из бронзы, железа и серебра. Бронзовая цепочка охватывала ее и свисала к ножнам. Это делалось для того, чтобы воин при ударе саблей не выронил бы ее из руки.

– Обнажи ее, – сказал Ермолов.

Небольсин легко вырвал клинок из ножен, чуть изогнутое лезвие сверкнуло в воздухе.

– «Patria, Domine, Amore», – прочел латинскую надпись Небольсин.

– Не то венгерская, не то польская сабля, но клинок отличный, дамасский, – любуясь саблей, продолжал Ермолов. – Скорей всего, польская. Эти хваты паны любят такие звучные надписи. «Аморе», – повторил он, улыбаясь. – Это мне Матвей Иванович Платов подарил не то в Польше, не то в Германии, во французском походе добыл. Передаю ее в руки более достойные, чем мои. Ты молод, идешь на войну, носи ее с честью, как носил ее Платов.

Небольсин хотел было отказаться, но суровое, полное достоинства и высокого чувства солдатской дружбы выражение на лице генерала остановило его.

– Честью своей и памятью отца клянусь, – глухо сказал он, принимая из рук Ермолова саблю.

– А ты знаешь, где я сдружился с атаманом?

– Нет, Алексей Петрович, не знаю, – все еще держа в руках подаренную саблю, ответил Небольсин.



– В тысяча семьсот девяносто седьмом году, когда и он и я по приказу императора Павла после тюрьмы и Петропавловского равелина были посланы в Кострому под полицейский надзор.

– За что же? – изумился Небольсин.

– Я – по доносу генерала Линдера как вольнодумец и иллюминат, связанный с делом Каховского. Он же как опальный человек, чуть ли не готовивший покушение на Павла. А он просто надерзил в пьяном виде Павлу, когда тот был еще наследником. Оттуда и пошла у нас дружба с Матвей Ивановичем. Его выпустили на год ранее меня, еще при покойном Павле. Меня же – после его кончины. Вот, брат Александр, как я попал в вольнодумцы, а затем в казематы и тюрьму.

Ермолов засмеялся, и вдруг лицо его опять стало внимательным, с чуть-чуть лукавым блеском в глазах.

– Ну, а стрелять ты, кажись, разучился, живучи в столице? В трех шагах в мишень, говорят, попасть не смог. Верно это, Саша?

И Небольсин понял, что Ермолову известно все: и его дуэль с Голицыным, и его арест, и, по-видимому, столь неожиданный финал драмы.

– Алексей Петрович, вы знаете о моей дуэли с Голицыным?

Ермолов наполнил чихирем стаканы, снова взглянул на часы и коротко сказал:

– Конечно. У меня в столице и в свете осталось много благожелателей, – и, подняв стакан, кивнул Небольсину. – До прихода Олшанского еще целых двадцать семь минут. Рассказывай.

И Небольсин начал свой обстоятельный рассказ, говорил иногда взволнованно, чаще спокойно.

– Это та самая крепостная актриска, о которой ты говорил нам с Вельяминовым в Тифлисе? – лишь однажды перебил его Ермолов.

– Она. Я поклялся отомстить за нее, и вот... Бог услышал мои мольбы. – Небольсин стал подробно рассказывать о неожиданной встрече с Голицыным в ресторации Андрие, о похвальбе князя. Он не скрыл его от Ермолова и обидные слова в адрес Алексея Петровича, сказанные князем.

– Почему же ты не стрелял в лоб или сердце? – перебил Небольсина Ермолов.

– Зачем? Чтоб он умер в одну минуту и все ушло бы с ним? Нет, пусть живет калекой, без ноги, живет долго, пусть каждый день и каждый час вспоминает о загубленной им девушке, обо мне и о том постыдном мгновении, когда я увидел, что он под пистолетом трус, – взволнованно сказал Небольсин.

– Молодец! Ты сделал верно. Знаешь, что говорит в своих проповедях этот аварский храбрец Кази-мулла?

– Лжеимам? – переспросил Небольсин.

– Нет, истинный имам и воин. Ведь ты слышан, верно, как он погромил наших на Дагестанской линии?





– Нет, Алексей Петрович. Как уехал с Кавказа, так ничего не знаю о делах тамошних.

– Напрасно, Сапа. Ты возвращаешься туда, где только начинаются события; боюсь, они надолго свяжут руки России. – Он покачал головой и, как бы вспомнив начатое, сказал: – А говорит сей имам следующее: «Кто думает о последствиях – тот не храбр». Умные и верные слова. И я вот, Сапа, прости старика, хотел выведать, узнать от тебя, почему ты не убил Голицына. Думал, побоялся наказания государева. Ведь убей ты его – другая была б мера вины... Ну, не кипятись, ты ведь сын моего друга, и я рад убедиться, что все, что было в отце, я встретил в сыне.

И он обнял Небольсина.

– Я знаю даже больше, чем ты. Мне об этой дуэли и писали, и рассказывали многие. И о том, как Бенкендорф вызволил тебя, сведя свои счета с Голицыным, и пятистах червонцах знаю, и о перстне прослышан. – Он дружелюбно засмеялся тихим смешком. – А дела на Кавказе идут неважно. Генерал Эммануэль – человек храбрый, но типичный пруссак. Он не понимает ни людей, с которыми воюет, ни солдат, командовать которыми его назначил Паскевич. А самое главное, он туп и смотрит только в бумаги. А в них мало толку, если в голове нет царя. Просеки, которые мы стали прорубать в Чечне, брошены, дороги через них оставлены. Через год-другой все снова зарастет кустарником, карагачем, дубом. И опять наш солдат будет мишенью для горцев.

Ермолов смолк, потом спросил:

– Ты когда дальше?

– Сегодня, Алексей Петрович. Приказ дан не задерживаться в пути. Во Владикавказе ждать назначения в часть.

– Война с Персией закончена, с турками готовится мир. Держать тебя в резерве не станут. Куда б хотел – на Кавказскую линию или в Закавказье, на границу?

– Куда пошлют, Алексей Петрович. Служить везде нужно.

– Везде-то везде, но с умом! – неодобрительно покачал головой Ермолов. – Не забывай Паскевича и свой отказ от адъютантства при нем. Иван Федорович злопамятен и такого не прощает. А ежели попадешь в Тифлис, к нему надо будет явиться.

Теперь и Небольсин понял, что Ермолов прав и встреча с Паскевичем не сулит ему ничего хорошего.

– Алексей Петрович, я давно хотел спросить вас, на Кавказе говорили, будто покойный император Александр Первый пожаловал вас за кампанию четырнадцатого года в графы. Правда ли это?

Ермолов встал, прошелся по комнате, затем остановился возле портрета Александра I.

– Покойный государь любил меня и был моим благодетелем, несмотря на то что граф Аракчеев пытался втайне опорочить меня, – он усмехнул-



ся. – Боялся лукавый царедворец, думал, что заменить его в царевых любимцах хочу, а мне это не нужно было. Я – солдат, и без армии, без товарищей по войне и миру жизни не вижу. Да, покойный Александр Павлович заготовил рескрипт на возведение меня в графское достоинство, но я отговорил его... Не надо мне копеечного графства. Я – русский дворянин, и все. Это выше и почетнее скороспелых графов Аракчеевых, Зубовых, Кутаисовых и, – он расхохотался, – Ерихонских, таких как Паскевич.

Небольсин молчал. Ермолов, занятый своими мыслями, продолжал:

– Государь Александр Павлович сначала разгневался на меня, затем через день сухо сказал: «Не напоминай мне об этом», и я – и при жизни и после смерти его – молчал об этом.

– Алексей Петрович, Никифор просют обедать, – сказал казачок, показываясь в дверях.

– Ну, раз «просют», надо идти, – грузно вставая с кресла, сказал Ермолов. – Разносолов тебе не обещаю, но добрые щи, черкасская говядина и соус будут. Эх, жаль, нет со мной моего Короева, осетина-поваренка, ты помнишь его? – спросил Ермолов. – Остался в Тифлисе, побоялся ехать в холодную далекую Москву. Его шашлыки, сациви и осетинские фит-джины Мадатов всегда вспоминал. Отменно готовил азиатские блюда Короев! – мечтательно сказал Ермолов.

– А что с генералом? Пишет ли? – поинтересовался Небольсин.

– Кто? Валериан? Редко, но пишет. Этот гусар мастер в духанах да в боях, а писать – не его удел. – Ермолов тихо добавил: – Неважно он живет. Кляузы на него ханы карабахские возводят, а Паскевич рад. Определил его «по армии», то есть в резерв, в запас, а суды да кляузники и пользуются этим, особенно Корганов. Ты помнишь такого по Тифлису?

– Ванька-Каин? – спросил Небольсин.

– Именно он. В большой чести сейчас этот жулик у графа Паскевича, – язвительно протянул Ермолов.

В небольшой скромной столовой было уютно и чисто. Стол, шесть стульев, широкий с поручнями стул для хозяина, на подоконнике – ваза с полевыми цветами.

Небольсин вспомнил, как офицеры на Кавказе добродушно за глаза подтрунивали над Ермоловым за его страсть к цветам. Хозяин уловил его взгляд.

– Люблю, старый солдат, цветы. У меня ведь две слабости было в жизни: цветы и женщины, хотя и они – цветы. От второй отвык, а вот их, – он указал на вазу, – до гроба любить буду.

– Алексей Петрович, их высокородие Семен Егорович пожаловали и барыня Булакович приехали, – доложил появившийся в дверях тот самый солдат, что встретился Небольсину на улице.



– Хорошо, проси сюда. Люблю точность, а особенно у дам, – кланяясь входившей в столовую уже немолодой, полнеющей женщине, сказал Ермолов.

– Вдова генерала и мать офицера. Привычка – вторая натура, – подхватил, показываясь за нею, худощавый полковник с подстриженными седеющими баками, с Владимирским крестом в петлице.

– ...Разжалованного в рядовые, – со вздохом проговорила гостья и поцеловала в лоб склонившегося к ее руке Ермолова.

– Знакомьтесь, господа, штабс-капитан Небольсин. Не имея детей, почитаю его за сына и люблю как родного. А это, Саша, вдова генерал-майора Булаковича, Агриппина Андреевна, мать доблестного сына, гвардии поручика Измайловского полка, разжалованного в солдаты по делу четырнадцатого декабря.

– И сосланного на Кавказ в один из линейных полков рядовым, – стараясь быть спокойной, добавила Булакович.

– А это – мой добрый друг и однокашник по французскому походу полковник Олшанский.

Небольсин поклонился.

– А теперь, милые гости, за стол. Посмотрим, что приготовил нам Леонтьич, каково цимлянское, присланное с Дону. Ты, Саша, садись возле Агриппины Андреевны, у нее к тебе, как мне кажется, есть дело.

И Небольсин понял, что его приезд к Ермолову не был неожидан: «Однако он хорошо осведомлен обо всем».

Разговор тек свободно и непринужденно. Было видно, что за столом сидели люди, давно знавшие друг друга, одинаково мыслившие и не очень облагодетельствованные новым царем. Говорили о введенных Бенкендорфом в петербургском обществе порядках, о салоне Зинаиды Волконской, о только что прошедших в Москве маневрах. Часто упоминались имена Пушкина и Вяземского.

– А знаешь, Саша, Александр Сергеевич в Тифлисе случайно встретил нашего Саньку Елохина, – Ермолов широко и добродушно улыбнулся. – Хорошо живет унтер, женился, обзавелся домом, садом... Не забыл меня, старый пьяница, слезно просил Пушкина навестить меня... да и тебя помнит. Пушкин забыл твою фамилию, но точно помнит, что Санька наш каждую субботу в церкви поклоны кладет и свечи жжет за здоровье двух рабов божьих – Алексия, – он указал на себя, и Александра, сиречь тебя.

– Елохин – честный, хороший человек, – сказал Небольсин.

– Настоящий солдат, настоящий русский... Выпьем, друзья, за здоровье нашего старого боевого товарища Елохина, – поднимая бокал, предложил Ермолов.

Все четверо выпили.

Обед был простой, но обильный и сытный. Соленые грузди, моченые яблоки, вяленая вобла, маринованные помидоры и великолепная ше-



мая, истекавшая золотистым жиром, были закуской, а вино, отличное красное искрящееся цимлянское, отставной солдат то и дело подливал в бокалы гостей.

О Кавказе не говорили, и Небольсин понял, что Алексей Петрович делает это намеренно, оставляя разговор о Кавказе на последние минуты обеда.

Госпожа Булакович несколько раз внимательно вглядывалась в Небольсина, и чувствовалось, что она намеревается о чем-то поговорить с ним.

После обеда солдат внес большой кофейник и несколько цветных чашек, сахарницу, горку рахат-лукума и очищенных грецких орехов.

– Спасибо, теперь обедай сам, а матушка Агриппина Андреевна похозяйничает, – отпуская солдата, сказал Ермолов.

Булакович разлила кофе.

– А теперь наша милая хозяйка скажет тебе, Саша, свою просьбу. Просьбу матери, которую, если будешь в силах, уважь как мою, – сказал Ермолов.

– Просьба моя проста. Мой сын, мой первенец Алексей, разжалован в солдаты за четырнадцатое декабря и сослан на Кавказ. Четыре месяца назад я через одного знакомого капитана узнала, где он, а до этого времени ничего не ведала о сыне. Письма его не доходили до меня, а люди, к которым я обращалась за помощью, не отвечали. Алексей Петрович, когда был на Кавказе, дважды писал мне об Алепе, хвалил его, просил не отчаиваться и надеяться на Бога и царя. Но теперь Алексей Петрович в Москве, а где мой сын, я не знаю. Он не то в Семнадцатом егерском, не то в Четвертом карабинерном полку. Это все, что ведомо мне.

– И тот и другой полки находятся в Дагестане, в районе крепостей Внезапной и Бурной, – добавил Ермолов.

Небольсин наклонил голову. Булакович с надеждой смотрела на него.

– Если я буду оставлен на Кавказской линии, я найду вашего сына, Агриппина Андреевна, – пообещал Небольсин. – Почту долгом сделать это для вас и Алексея Петровича.

– Благодарю вас, и, если сможете, облегчите его судьбу. Через три месяца будет четыре года его осуждения, и тогда он получит право писать мне, – со вздохом сказала Булакович. Слабое утешение Небольсина осветило надеждой ее печальное лицо.

– Я сделаю все, что будет в моих силах, – повторил Небольсин, и Булакович со слезами на глазах поцеловала его в голову.

Вскоре гости уехали. Ермолов и Небольсин остались одни.

– Сделай это, Саша, но знай – государь не любит тех, кто помнит четырнадцатое декабря, и не прощает тем, кто замешан в этом деле. Помогите Булаковичу, он достойный офицер и честный человек.

Ермолов прошелся по столовой и, остановившись возле Небольсина, сказал:



– Царь не забыл мне ничего из того, что было и чего не было с Ермоловым. Воейков, ты помнишь его, моего адъютанта?

Небольсин кивнул.

– Так его до сих пор не выпускают из-под следствия, то и дело таскают по разным комиссиям и господам-сенаторам.

– Зачем это?

– А затем, чтобы выяснить, почему Ермолов, получив указ о приведении к присяге Кавказского корпуса на царствование Николая Павловича, двенадцать дней не приводил кавказские войска к присяге. – Алексей Петрович остановился возле Небольсина. – Ты слышал когда об этом?

– Слышал, Алексей Петрович, и от солдат, и от офицеров.

Ермолов хитро улыбнулся.

– А молчал!

– А зачем же было спрашивать, Алексей Петрович?

Ермолов не обратил внимания на его слова.

– А откуда было знать Воейкову, почему да отчего? Он и знать ничего не знал, а знал бы, как человек отменной чести и благородства, не сказал бы.

Он опять прошелся по комнате.

– Знали только двое... Вельяминов, мой тезка, да Муравьев Николай, тот, что храбро с турками воевал, а теперь отчислен Паскевичем с Кавказа. Оба мужи чести, римляне времен цезарей...

Небольсин посмотрел на Ермолова: «И ты из этих римлян...»

– Ну, и что говорили солдаты и офицеры? Как объясняли задержку в приведении их к присяге? – возвращаясь к словам Небольсина, спросил Ермолов.

– По-разному, Алексей Петрович, – уклончиво ответил Небольсин, – но в общем думают, что вы не смогли объявить приказ по войскам из-за разбросанности частей по Грузии, Кавказу, границе, из-за отдаленности гарнизонов, плохих дорог.

– Дипломат! – улыбнулся Ермолов. – Ведь ты, Саша, повторяешь мои слова и слова Дибича государю: «отдаленность войск», «плохие дороги», «тревожная обстановка границы»... – Он засмеялся. – Но это не успокоило царя. Он не поверил ни мне, ни Дибичу, ни Муравьеву, которого письмом об этом запросил Чернышев.

Ермолов сел возле Небольсина.

– Когда-нибудь узнаешь правду, а если и не ты, то другие, кто будет позже тебя. Во всяком случае, Россия не осудит меня за это... – И, меняя тему разговора, спросил: – Ты когда едешь дальше?

– Вечером, в восемь.

– Тогда попрощаемся, Саша! Бог даст – увидимся еще, а нет – его святая воля.

Оба встали. Ермолов трижды поцеловал Небольсина.



– Спасибо, что не забыл. Если хочешь сделать добро старику, пиши письма, а увидишь кого из добрых наших товарищей и кунаков – от меня поклон, – он низко поклонился. – Будешь в Тифлисе, навести Саньку, обними за меня старого солдата и... – тут у него дрогнул голос, – езжай с Богом да помни старое суворовское правило: от службы не отказывайся, на службу не напрашивайся.

Ермолов отвернулся и быстро вышел из столовой. Небольсин, взяв подаренную ему саблю, тихо покинул дом Алексея Петровича и медленно побрел на Арбат.

Взволнованный прощанием с генералом, он и не заметил, как дошел до трактира Тестова.

Вечером на казенных перекладных Небольсин по подорожному листу вместе с Сеней выехал из Москвы.

## Глава 7

В начале января 1830 года, после нескольких удачных нападений на русские посты и заставы, Гази-Магомед вместе со своими мюридами исчез неизвестно куда. Лазутчики и русские приставы, наблюдавшие за движением мюридов, доносили в Грозную и Темир-Хан-Шуру, что горцы разошлись по домам. В Тифлис и Петербург полетели успокоительные донесения. Занятым персидскими и турецкими делами царю, военному министру Чернышеву, а тем более графу Паскевичу такие сообщения были особенно лестны. Умиротворение Кавказа вновь приписали мудрому руководству Паскевича, сумевшего торговыми мероприятиями покорить Чечню и Дагестан. Но это приятное самообольщение длилось недолго.

Гази-Магомед и на этот раз перехитрил царских генералов. Он отлично понимал, что оставлять в своем тылу большую провинцию, которой управляла преданная царю ханша Паху-Бике, нельзя. Авария, ставшая оплотом всех врагов мюридизма, словно глубокая заноза в теле, тревожила Гази-Магомеда. В резиденцию ханши, аул Хунзах, стекались недовольные новым учением люди: ученые алимь, влиятельные шейхи, муллы и все те, кому Гази-Магомед объявил непримиримую войну.

Русские довольно часто навещали ханшу Паху-Бике, посылали ей оружие, мануфактуру, деньги.

Аслан-хан казикумухский неожиданно для всех обнаружил местопребывание имама и приближенных к нему людей.

«Они собрались в Гимрах, туда стекаются представители разных обществ, от кумыков до чеченцев. Не доверяйте миру, не доверяйте тишине! На 28 января лжеимам созывает большой джамаат в Гимрах. Туда



приехали сотни разных людей, даже из моего ханства там присутствуют богоотступники, бежавшие от моего гнева. Не верьте лисице, когда она ходит возле курятника».

Свое письмо полковнику Мищенко правитель Кази-Кумуха Аслан-хан заканчивал такими словами:

«Ни я, ни таркинский шамхал Абу-Муслим, ни ханша Аварии Паху-Бике не можем спокойно спать. Беда грозит всем, если русские войска не помешают джамаату нечестивых в Гимрах».

Полковник Мищенко направил это донесение генералу Панкратьеву, командовавшему левым, дагестанским флангом русской армии. Панкратьев, не доверяя письму, отослал его в Грозную, а оттуда – в Тифлис.

Русские не очень верили сообщениям перепуганных правителей племен, народностей и округов Дагестана. К тому же по сведениям, поступившим от лазутчиков и мирных горцев, Гази-Магомед в одно и то же время находился в Чечне и в Салатавии, на Кумыкской равнине и возле Грозной. Словом, донесения были путаны, недостоверны и только сбивали с толку штабных офицеров дистанций, расположенных на Гребенской и Дагестанской линиях.

29 января 1830 года большой джамаат, на котором присутствовали мехтулинцы, гумбетовцы, лаки, кумыки, чеченцы, табасаранцы и даже посланцы Закатал, Елисуя и Дербента, вынес единодушное решение начать всеобщий газават и в первую очередь обрушиться на все еще непокорную, связанную с русскими, мятежную Аварию.

«Пока жива эта гнусная предательница ханша Паху-Бике, пока не вырезан весь ее подлый род вместе с нуцалами, продажными беками и лизущими русские сапоги ханами, мы не сможем выгнать русских из Дагестана, мы не сможем озарить наши горы и наш народ светом шариата... Возьмем Хунзах, истребим ханское гнездо, сожжем ее проклятое логово и, удесятеренные победой и аварскими мюридами, спустимся с гор на шамхала, на Аслан-хана, на безбожных кадиев и мулл, все еще прославляющих адат. После этого мы как горные потоки разольемся по долине, сметая русские станицы, крепости, города. Я послан вам Богом, братья! Знайте, что пока земля попирается этими продажными отщепенцами ислама, до тех пор не будет нам счастья, солнце будет жечь наши поля, дожди прекратятся, мы сами будем умирать, как мухи; и когда предстанем на суд Всевышнего, что скажем ему в свое оправдание? Народ, во имя Бога я призываю на войну с неверными, но раньше объявим газават бекам, нуцалам, продажным муллам и книжникам. Не жалейте ни себя, ни детей своих, ни имущества, ни жен. Мы не можем быть побеждены, потому что за нас правое дело...»

Когда русские прослышали о каком-то необычном совете в Гимрах, было уже поздно.



Гази-Магомед во главе трехтысячного скопища двинулся на Аварию. 4 февраля конница под командованием Гази-Магомеда вышла из Гимр. Жители аулов Иргиной и Казатлы попробовали было задержать их, но в полуторачасовом бою были наголову разбиты. Устрашенные этим, остальные аулы, по которым проходили мюриды, присоединялись к Гази-Магомеду, и вскоре войско его увеличилось до восьми тысяч. Отдельные колонны вели на Хунзах Шамиль, Гамзат-бек, ших Шабан и чеченский наездник Астемир.

Аслан-хан казикумухский прислал полковнику Мищенко еще одно, уже весьма тревожное, паническое письмо:

«Мюриды во главе с Казимуллой идут на Хунзах. Беда нагрянула... Я сам нахожусь в большом беспокойстве... Если хотите спасти положение, высылайте войска как можно больше и не велите им стоять в поле, а пусть держатся по укреплениям, ибо скопище лже-Газииза чрезвычайно большое».

А Гази-Магомед меж тем подошел к Хунзаху.

Расположившись со своими войсками на обширном аварском плато, имам разбил лагерь возле аула Ахалчи, перерезав дороги к Хунзаху. Все окрестные аулы примкнули к нему. Со стен ханского дворца, из домов Хунзаха жители со страхом глядели на все прибывающие войска имама, на почти не прекращающийся подход обозов и продовольственных транспортов.

Хунзах – большой аул, насчитывавший свыше семисот дворов, оказался в кольце вражеских отрядов. Жители пали духом, а ежечасные налеты конных групп на окраины аула, стрельба, участвовавшее бегство отдельных хунзахцев в стан имама окончательно подорвали их мужество.

В центре аула находилась священная могила шейха Абу-Муслима, в давние времена обосновавшегося и похороненного здесь. Обе стороны: и мюриды, и жители Хунзаха – призывали на помощь имя святого шейха, надеясь с его помощью разгромить врагов.

Понимая, что пощады не будет, жители аула энергично готовились к обороне: возводили завалы, укрепляли сакли, расчищали сектора для обстрела на подступах к селу. В свою очередь мюриды, разделившись на три группы, в ночь на 12 февраля 1830 года почти вплотную подошли к стенам окруженного аула.

Оставленные всеми, брошенные на произвол судьбы, хунзахцы поняли, что ничто не спасет их, если они сами не проявят мужество.

Всю ночь вокруг осажденного Хунзаха горели костры мюридов, слышались песнопения и молитвы, прерываемые выстрелами и бранью...

Аул молчал, ожидая ночной атаки.

Барон Торнау, востоковед и капитан инженерной службы, один из видных сотрудников канцелярии Паскевича, в эти дни гостил у ханши





Паху-Бике. Вместе с чиновником Тухарели и поручиком Звягиным он был послан Паскевичем для связи с ханшей, сбора сведений о движении мюридов в Аварии и передачи ханше десяти тысяч рублей золотом на нужды ее двора.

Торнау, сопровождаемый десятью казаками и конным отрядом ханши, только неделю назад прибыл в Хунзах и сразу попал в самую гущу событий. Понимая, что сейчас ханше не до него, барон разместил своих людей в боковой сакле дворца, со страхом ожидая неминуемой смерти.

В ночь на 12 февраля казаки и офицеры вместе с защитниками дворца заняли позиции у главных ворот резиденции ханши.

12 февраля был первым днем мусульманского праздника Рамазан. Обе стороны молились о победе...

Рано утром, после намаза, весь огромный стан мюридов пришел в движение. Завыли сопилки, слышались многоголосые выкрики, топот коней, залповая и одиночная стрельба. Со стороны Ахалчи, где находились Гази-Магомед и Гамзат-бек, ринулись на приступ огромные толпы мюридов. Предводимые Шамилем гумбетовцы и чеченцы атаковали аул, обойдя его через кладбище. Ружейный огонь, пороховой дым, скрежет клинков, стоны и проклятия встревожили праздничное утро Рамазана. Начался приступ.

Залпы гремели повсюду: и со стен Хунзаха, и со стороны педших в атаку мюридов. Били из окон саклей, из-за камней, с деревьев, со скал, окружавших аул, стреляли с улицы, с крыши ханского дворца, из ложбинок и мечети. Огневой, кинжально-сабельный рукопашный бой охватил весь Хунзах.

Не спеша, с дикой торжественностью, не останавливаясь и не подбирая раненых, шли мюриды, потрясая обнаженными клинками, стреляя на ходу.

— Ля илльяхи иль алла! Аллах акбар!!! — воинственно, однообразно и громко пели они, наступая на завалы хунзахцев.

Никогда ничего подобного не слышали и не видели хунзахцы, среди которых немало было абреков и мужественных людей. Оторопь и что-то похожее на суеверный ужас охватили их. Вспомнились рассказы о святости Гази-Магомеда, о чудесах, которые он творил, о том, что он посланец пророка, защитник ислама.

— Аллах, Аллах с нами!.. Смерть неверным!.. Ля илльяхи иль алла! — все громче, заглушая пальбу, неслись крики атакующих.

Религиозный страх перед посланником Бога имамом Гази обуял хунзахцев. Пальба прекратилась, руки с обнаженными клинками опустились.

Отряды Шамиля ворвались в Хунзах с севера. На ближних саклях появились значки имама, его зеленое знамя. Это Шамиль сообщал отрядам Гамзата и Гази-Магомеда, что занял часть Хунзаха. Все в ауле пришло



в смятение... Еще немного – и участь ханши, ее близких да и большинства жителей Хунзаха будет решена.

В эту минуту на валу с непокрытой головой, без чадры, с пылающим лицом и сверкающими гневом глазами, с обнаженной пашкой в руке появилась ханша Паху-Бике, окруженная женщинами, вооруженными пашками и пистолетами.

– Хунзахцы! – звонко и грозно закричала она. – Вы недостойны носить оружие!.. Покройте ваши головы чадрами, сбрейте усы, отдайте ваших жен байгушам, трусы!!! – и вместе с женщинами бросилась на врага.

Пристыженные словами ханши, оставшиеся в живых защитники аула, как один, ринулись к завалам и стенам. Вновь закипел ожесточенный, кровопролитный бой... С отвагой обреченных жители аула мгновенно смяли передовые отряды мюридов... Значки и знамена имама были сорваны с крыш... Тех из мюридов, кто не успел спастись, зарубили, остальные, выбитые столь неожиданным и мощным ударом, бежали.

Сам Шамиль с тридцатью воинами оказался отрезанным и, отстреливаясь, заперся в одной хунзахской сакле.

Поражение отрядов Шамиля было столь неожиданным, что смятение перекинулось на отряды Гази-Магомеда и Гамзата, штурмовавшие центр аула.

Нерешительность, смущение, страх сковали мюридов. Тщетно имам, намереваясь поднять дух в войсках, сам повел их на приступ главного завала. Хунзахцы дали один за другим два залпа в упор, а затем ринулись в клинки на оторопевших мюридов. Рубя и расстреливая противника, они погнали его от села. А юный хан Абу-Нуцал, находившийся в засаде, ударил с тыла.

«То, чему мы были свидетелями в этой ужасной резне, закончившейся полным погромом лжеимама и его скопищ, – удивительно, – писал барон Торнау в своем докладе Паскевичу. – Жители Хунзаха кинжалами и пашками кололи, рубили и секли обезумевших от ужаса, почти не защищавшихся мюридов. Лишь те, кто был позади и сумел бежать, спасли свои жизни. Женщины наравне с мужчинами дрались, отстаивая свое селение. Одна из них, по имени Курнаиль-Хандулап, зарубила топором девять мюридов и отняла четырнадцать ружей. Другая, Пати-мат, ударом кинжала убила чеченского беледа Курбана и, обхватив другого, прыгнула со скалы, увлекая его вместе с собою в пропасть. Паника, которая поначалу охватила хунзахцев, быстро перешла на мюридов, и хунзахцы гнали их через всю долину. К вечеру все скопище лжеимама исчезло, лишь раненые и убитые мюриды валялись вокруг села и на улицах самого Хунзаха».

Шамиль и его тридцать мюридов, окруженные в сакле, представляли собой воинство разбитого наголову имама.



– Сдавайся, или мы сожжем тебя вместе с твоими подлыми шакалами, – осыпая угрозами и бранью запершихся в сакле мюридов, кричали запрудившие улицу хунзахцы. Великая победа, неожиданный разгром врага, захваченные пленные и трофеи опьянили их. Весь аул был в радостном волнении.

Ханша со всем двором, беки, влиятельные люди Хунзаха и сбежавшиеся отовсюду муллы, судьи и богачи благодарили защитников аула, восхваляли их удаль и мужество. Из окрестных сел прибыли к ханше делегации аварских верноподданных, униженно просивших ее не помнить зла, простить им их колебания и трусость... Словом, Хунзах опять стал столицей Аварии и верным оплотом русского влияния в горах.

Прибыли представители обществ из Гумбета. Они тоже изъявили дружбу и покорность ханше и просили помиловать захваченных вместе с Шамилем гумбетовских мюридов. Ханша колебалась... Она знала, что Шамиль и Гази-Магомед никогда не простят этого поражения.

– Пусть решает сам народ. Он взял этих подлых свиней в плен, пусть он и решает их судьбу, – сказала Паху-Бике, втайне подготовившая через своих людей казнь Шамиля.

Пленных, избитых, оплеванных, без оружия, без черкесок и папах, вывели на площадь. На гудекане их ждала огромная толпа.

– Смерть нечестивцам!.. Убить!.. Сбросить в пропасть!.. кричали в толпе. Особенно яростно действовали люди, служившие при дворе ханши; раздавались и более благоразумные голоса:

– Изгнать с позором, довольно крови, сегодня Рамазан. Не подобает истинным верующим убивать правоверных в дни праздника... Довольно с них позора и поражения...

Этих было меньше, и их голоса тонули в общем крике.

– Убить... убить нечестивцев!

Шамиль, босой, в кровоподтеках, без чалмы, в разодранном бешмете, стоял, окруженный негодующей, требующей расправы толпой. Его товарищи, хмурые, подавленные, стояли возле него.

– Правоверные! Во имя Аллаха и его пророка Магомета довольно крови, довольно смертей, – раздвигая людей и выходя вперед, сказал почитаемый за святого старый, сгорбленный годами, уважаемый в горах дервиш Нур-Магомед. – Все мы дети единого Бога, от него исходим и вернемся к нему. Сегодня много мусульманских жизней унес Азраил, не будем же помогать смерти... не станем отнимать жизни даже у таких заблудших людей, как они, – он показал на пленных. – Аллах велик, и милость его безгранична... Я верю, я знаю, что он в своей милости открывает им глаза и они еще будут хорошими мусульманами. Отпустите их с миром, они и так уже наказаны вами, – закончил Нур-Магомед.

Его миролюбивая, сказанная тихо и убедительно речь понравилась хунзахцам, особенно слова, где говорилось, что они, именно они достой-



но наказали нечестивцев-мюридов. Каждому было приятно услышать хвалу своему мужеству и делам.

– Отпустим их, и пусть помнят день Рамазана и блеск шапек храбрых хунзахцев! – крикнул кто-то.

– Пусть уходят во славу Аллаха, – решили все.

Спустя несколько дней Шамиль вернулся в Гимры, где находился Гази-Магомед. О чем они совещались – никому не известно. Почти два с половиной месяца Шамиль, Гази-Магомед и Гамзат-бек не показывались народу, и на русской линии опять наступило спокойствие.

«Лжеимам разбит ханшей. Влияние его пало до последней степени. Горцы с негодованием говорят о нем», – сообщал в Петербург Паскевич, посылая царю набело переписанный штабными писарями доклад барона Торнау.

Николай особым письмом поблагодарил верноподданную ханшу, увеличил ей субсидию, произвел Абу-Нудал-хана в генерал-майоры и приказал выдать отличившимся золотые червонцы, а всю Аварию наградил Георгиевским знаменем. И этим совершил ошибку. Сразу же по горам Аварии, Чечни и Дагестана прошел слух: «Русский царь вместе с ханшей хочет всю Аварию выкрестить, для чего прислал в Хунзах свое знамя с крестами, с русским святым копьём, убивающим пророка Магомета».

Сотни очевидцев клялись, что сами видели это знамя и что ханша и ее дети тайно уже приняли христианство. Слухи эти множились, и некоторым вскоре стал даже известен срок, когда все горцы Кавказа должны будут перейти в христианство и начать есть свинину.

В начале января барон Розен вернулся из Тифлиса от Паскевича. Он вновь был назначен командующим левым флангом Кавказской линии.

Как и все, барон был убежден, что неожиданный разгром аварцами войск Кази-муллы уничтожил в горах даже самую мысль о газавате.

И действительно, в первые минуты некоторые ошеломленные общества и племена Дагестана изъявили покорность русским, и эта реакция растерявшихся людей обманула русские власти.

Николай и Паскевич, люди далекие от проникновения в мир религиозных идей и страстей, не могли понять, что всякое религиозное движение, разбуженное глубокими национально-политическими причинами, при первой неудаче, как бы она тяжела ни была, не вызовет в народе перемены убеждений.

Идеи газавата и очищения Кавказа от русских в племенах Чечни и Дагестана уже пустили такие глубокие корни, что случайное поражение войск имама не могло потушить огонь, зажженный проповедником шариата Гази-Магомедом.



«...Нельзя было в день Рамазана кровопролитием начинать священную войну между единоверцами... Пророк наказал нас за это, но очень скоро он накажет и тех, кто вызвал нас на это...» – туманно намекнул имам в своей речи в Гимрах.

А через неделю пришла весть: любимый внук ханши Паху-Бике малолетний Али-бек убит конем.

Русские и не ведали о том, что имам, которого они считали укрывшимся в Гимрах, отправился вместе с чеченским проповедником Абдуллой в Чечню. Особенно бурную деятельность развил Гази-Магомед в Ичкерии, где он, выступая с горячими проповедями, так наэлектризовал чеченцев, что слушавшие его мужчины иступленно рвали на себе одежду, бросались к его ногам и в диком экстазе призывали имама взять их с собою на газават. Тысячные толпы народа сбегались отовсюду, чтобы только увидеть святого, услышать его слова, поцеловать след его ноги.

О поражении имама под Хунзахом никто не вспоминал. Все были убеждены, что Аллах наказал имама за ошибку: начал братоубийственную войну в день Рамазана, – но все так же верили, что Аллах простил его, перенеся свой гнев на ханшу Паху-Бике и хунзахцев. Говорили, что вслед за смертью малолетнего Али-бека умерла и дочь ханши, жена Нур-Эддина, дербентского владетеля.

Весь путь Гази-Магомеда от Беноя до Кишень-Ауха был триумфальным шествием, а слава о нем бежала далеко впереди.

Прибыв в Зондак и Майортуп, Гази-Магомед собрал огромную, тысячи в четыре, толпу чеченцев и обратился к ним со словами:

– Если вы не подумаете о будущем, оно будет ужасно... Но Аллах разумит вас, и вы найдете путь к спасению... оно в газавате. Покайтесь в грехах, наденьте чалмы, станьте ближе к Богу, и он спасет вас.

Чеченские наибы Хаджи-Яхья, Авко, Астемир и проповедник мулла Койсун, повторяя слова имама, разъехались по Чечне. Имам возвратился в Гимры.

В глухих ауховских лесах, в трех-четыре верстах от аулов, двенадцать человек, одетых в черные балахоны, вырыли несколько землянок и, не разговаривая ни с кем, не отвечая на вопросы посещавших их жителей, молились, призывая народ на газават. Еще десяток подобных отшельников появился возле Шатоя и Ведено.

Прошел слух, будто в Хунзахе вспыхнула холера, что было верно. Народ и это известие воспринял как кару господнюю против нечестивой, продавшей русским и перешедшей в христианство ханши.

И вдруг...

Неожиданно, вопреки обычно холодному февралю, воздух потеплел, снег начал быстро таять. Несвойственный этому времени года зной удивил всех.



После намаза Гази-Магомед, собравшийся с чеченскими наибами в Ичкерия и уже готовый к отъезду, сидел в сакле Юнуса. За порогом сновали женщины, спешно готовившие обед. В дверь постучали.

– Входите, божьи люди, Аллах всегда благословлял гостей, – сказал Гази-Магомед.

В комнату вошли три старика, плохо одетые, с усталыми потными лицами.

– Ас-салам алейкум, – поздоровались они, остановившись у порога.

– Благословение пророка на вас, отцы и братья! Садитесь, – пригласил имам.

Старики не спеша расселись на скамье, и только теперь Шамиль заметил, как все трое тяжело и устало дышали, как натруженно поднималась грудь и дрожали узловатые, старческие руки.

– Пообедаем вместе. Обед не помешает нашей беседе, – продолжал Гази-Магомед.

Старики согласно и чинно наклонили головы, видимо, радуясь не столько трапезе с имамом, сколько предстоящему отдыху после тяжелого пути.

Откуда вы, братья? – придвигая к ним деревянную чашу с холодным айраном, спросил имам.

– Мы из Тилитля и Апильты, спешили к тебе, имам, да будет долга твоя жизнь, – сказал первый старик, отхлебнув холодного напитка. Второй с жадностью припал к чаше.

– Скажите, что заставило вас идти ко мне издалека?

– Да, имам, мы спешили... Пошли пешком, обходя дороги, по тропинкам через Чулсудаг... боялись, не застанем тебя, и, бросив наши дома, дела, семьи, поторопились сюда.

– Что заставило вас так торопиться? – заинтересовался Гази-Магомед.

– Беда идет, имам, большая беда... – разом заговорили все трое.

– Какая беда? Русские собираются в горы?

– Горы собираются напасть на нас, имам... не русские, чтоб им попасть в джехенем, а горы...

– Как так? – удивился Шамиль.

– Змеи выползли из своих нор, имам; ящерицы убежали из-под камней; кошки перетаскали своих котят из саклей на дороги; собаки воют всю ночь, не лают, а воют; птицы улетели из гнезд... Все живое: ползучее, бегающее и летающее – бежит из своих нор и гнезд на ровные места.

– Зачем?

– Беда подходит, земля трястись будет, горы и камни полетят на аулы... Мы, старые люди, знаем и верим в эти приметы, они не обманывали наших дедов. Спасать надо людей, имам, спасать скот, спасать аулы...

Шамиль и Гамзат озадаченно переглянулись. Старшина Юнус и чеченцы лишь из уважения к почетному возрасту стариков сдерживали улыбки.



Гази-Магомед, внимательно слушавший пришедших, спросил:

– А как ваши семьи?

– Они ночуют во дворах, весь наш аул проводит ночи на воздухе. Сакли, которые находятся возле утесов, покинуты людьми.

– Что я должен сделать, мудрые люди?

– Послать конных по аулам, чтобы они успели до бедствия принять такие же меры, – сказал один из стариков.

Сейчас, когда они отдохнули и успокоились, встретившись с Гази-Магомедом, все трое держались степенно, со свойственной горским старикам величавой сдержанностью.

– Я тоже слышал от старых и мудрых людей о том, что животные чувствуют такую беду и чем она ближе, тем сильнее беспокоятся и волнуются. Спасибо вам, добрые люди. Мы, мюриды, шихи, посвятившие себя газавату и Богу, не забудем ваши труды. Шамиль, Гамзат-бек, Юнус, немедленно разошлите по ближним и дальним аулам наш приказ беречь людей, дома и скот от возможного землетрясения. Пусть каждый аул, получив наше распоряжение, срочно, именем имама, шлет гонцов в соседние аулы.

– Да, имам, беда может возникнуть каждую минуту, – сказал первый старик.

И хотя Гамзат-бек и солидные люди аула Гимры не разделяли опасения стариков и имама, тем не менее уже через два часа конные посланцы Гази-Магомеда выехали по разным направлениям.

25 февраля в один час восемнадцать минут пополудни в горах и на плоскости раздался тяжелый, все усиливавшийся гул. Потом он стих, земля заколебалась, и опять один за другим послышались глухие подземные удары, горы как бы дрогнули, кое-где обвалились утесы, в долину, грохоча, понеслись обломки скал. Снова раздался тяжелый, протяжный гул, и новые подземные толчки потрясли землю. Гул и толчки, почти не прерываясь, продолжались около сорока минут. Течение рек нарушилось, подземные сдвиги и толчки круто изменили их бег, и, меняя направление, реки залили берега. Пыль и мгла окутали ущелья, а в долинах зазмеились трещины. Земля словно разорвалась от мощных сдвигов коры и подземных толчков. В долинах и горах было много погибших и покалеченных людей.

В горах подземный удар оказался менее сильным, чем на равнине. По-видимому, центром землетрясения была кумыкская плоскость с русскими крепостями и селениями, расположенными в районе Дербента.

Крепостные стены Бурной не выдержали второго толчка и развалились. Фасы, верки батареи и оборонительные валы осели. Возле дороги, ведущей на Темир-Хан-Шуру, зазмеилась глубокая трещина, другая пересекла плац, на котором проводились учения. Самой Шуре земле-



трясение не причинило большого вреда, сила удара прошла мимо, но несколько обывательских домов, базарная мечеть и две солдатские казармы покрылись трещинами и покосились. С горы Тарки-Тау на долину обрушился камнепад. Обломки скал, обтесанные ветром и временем валуны еще долго валились со склонов Тарки-Тау. Словно испуганный конь, земля все время вздрагивала и тяжело дышала, сотрясая почву.

На второй день необычная жара кончилась, и снова февральские холода охватили плоскость. Грозное землетрясение, то стихая, то усиливаясь, продолжалось двадцать одни сутки, и все это время объятые страхом люди дни и ночи проводили на воздухе.

Затем стихия успокоилась, опять тишина воцарилась в долинах и горах. Но внешний облик их изменился: новые холмы поднялись там, где раньше были равнины, а там, где нависали утесы, возникли обломанные, как бы изгрызанные, скалы; где змеились горные тропы и белели дороги, лежали груды камней или чернели трещины; появились родники с горячей, пузырящейся водой.

Убитых было немало, но их не считали.

Божий гнев – так восприняли этот неожиданный разрушительный переворот в горах.

Весть о новом чуде имама Гази-Магомеда, предсказавшего грядущее бедствие, разнеслась по всему Дагестану, Чечне и произвела на умы горцев такое сильное впечатление, что не только простые – даже знатные, родовитые люди уверовали в имама. Сам главный пристав Кумыкской линии капитан Муса Хасаев, испытанный друг русских, стал молиться, поститься, перестал выходить на улицу и объявил себя грешником, по неведению противившимся газавату.

Барон Розен обратился с письменными прокламациями к народу.

«Вы видите сами, как Бог карает вас за то, что еще недавно вы хотели воевать с нами... Аллах наказал вас, послав землетрясение, разрушившее ваши дома...»

Написаны прокламации были глупо и неубедительно. Ведь горцы сами видели, как рассыпались стены блокгаузов, обветшалые верки крепостей и казармы, занимаемые русскими солдатами; они видели и рухнувшие со стен Внезапной и Бурной орудия; они вытаскивали из-под обломков домов придавленных солдат... Они видели и панику в гарнизоне Темир-Хан-Шуры и других русских крепостях как в начале землетрясения, так и в продолжение трех долгих недель, пока сотрясалась и гудела потревоженная земля...

Со дня отставки Ермолова прошло много времени. Кавказская линия, которую он создал и укрепил, приходила в упадок. Крепости Бурная, Внезапная, Грозная, укрепление Амир-Аджи-Юрт и даже сама Шура, как называли Темир-Хан-Шуру русские, носили следы несомненно-





го упадка. Не было присущего кавказским войскам того времени воинственного облика воина и следопыта, землепашца и бойца, солдата и старожилы, знающего Кавказ. Большая часть полков была передвинута в Закавказье.

Персия, хотя и разгромленная, обессиленная поражениями и напуганная падением Эривани и вступлением русских в Тавриз, все еще была потенциальным врагом и оттягивала на свои границы войска.

Расходы по ведению закончившейся войны с Турцией были огромны. Закавказье с его христианским населением, армянами и грузинами, оставалось опорой России, хотя в Грузии то в одном, то в другом месте появлялись летучие шайки все еще мечтавших об отделении последователей беглого царевича Александра. В Имеретии было неспокойно, среди тифлисского дворянства возникла рознь, даже часть грузинских князей, офицеров Российской армии, была на подозрении у Паскевича.

Но война у границ помогла. Всегда готовое к войне грузинское дворянство и на этот раз, сформировав свои дружины, вместе с русскими отрядами пошло на Карс и Ахалцах. Дагестан, Чечня, вся затеречная часть Северного Кавказа готовились к войне с русскими.

Гази-Магомед был прав. Ермолова царь убрал с Кавказа, Турция и Персия оттянули на себя резервы и полки Отдельного корпуса. Пополнение по линии почти не приходило, если не считать необученных рекрутов, изредка вливавшихся в оставленные на линии отряды. Провианта было мало, амуниции и того меньше, деньги отпускались казной скупой, интендантство, занятое турецкими и персидскими фронтами, прекратило поставки на Северный Кавказ.

Крепости ветшали, артиллерии не хватало, и хотя после пагубного землетрясения относительная мощь Бурной, Внезапной и других укреплений была наскоро восстановлена, все же линия русской обороны оставалась крайне слабой.

Жизнь в крепости Внезапной текла обычным порядком. На форпосте и у лавочек, где торговали мирные кумыки, толкались случайные люди, среди которых мелькали белые платки и цветастые юбки солдаток. Приказ Ермолова о переводе за Терек семейных рот и всех женщин, от торговки и гулящих девок до офицерских жен, поначалу выполнялся, но спустя год после отставки Ермолова женщины стали возвращаться в крепость. Сначала туда потянулись торговки, затем офицерские жены и казачки, привозившие мужьям домашние угощения и чихирь. Правда, жить было негде, и женщины подолгу не задерживались во Внезапной.

Утром, около шести часов, когда только что сменились посты, со стороны Андрей-аула прискакал конный. Часовой задержал было его, но дежурный офицер, узнав лазутчика Магому, крикнул: «Пропустить!» — и сам повел его к коменданту.



Изменился не только внешний вид крепости, но и управление ею. Новый комендант, подполковник Сучков, сменивший ушедшего с полком на турок полковника Чагина, не был кавказским офицером. Его три месяца назад перевели сюда из Симбирского пехотного полка, расквартированного в Тамбове.

Подполковник впервые видел горы, никогда до этого не встречался ни с чеченцами, ни с дагестанцами. Казаков, особенно терских, не любил, считал их смутьянами, так как понаслышке знал, что Емельян Пугачев служил некогда в терском Гребенском полку. Мусульман подполковник презирал и, не успев приехать на линию, оскорбил во время пьяной гульбы в станице Екатериноградской осетина Тотоева, обозвав его вором, за что был дважды огрет нагайкой.

И хотя Тотоев был хорунжим Моздокского полка, Сучков не вызвал его на дуэль. А так как все участники попойки были пьяны, эти два удара нагайкой по голове и спине подполковника прошли незамеченными начальством, однако Сучков еще больше возненавидел «гололобых татар», как он именовал не только горцев, но и вообще всех ходивших в черкесах.

Офицер ввел лазутчика в комендатуру. Сучков сидел спиной к двери и аккуратно раскладывал пасьянс, отхлебывая чай из жестяной кружки.

Не поворачиваясь, он кинул через плечо:

– Кто там?.. Чего надо?

– Дежурный офицер, господин подполковник. Лазутчик с гор...

Горец, чуть склонив голову набок, наблюдал за комендантом.

Подполковник тщательно уложил короля пик в квадрат разложенных на столе карт, шумно отпил глоток и нехотя обернулся к вошедшим. Он поглядел на лазутчика, почесал темя, перевел глаза на дежурного офицера:

– Откуда?

– Это Магома, он давно работает с нами, еще со времен полковника Пулло...

– Да кто он? – перебил комендант. – Чечен или какой другой нации?

– Кажись, из кумыков...

– Одна орда, Азия и есть Азия, – недовольным голосом опять перебил его Сучков. Зовите переводчика, – и снова отпил чай.

Вошел прапорщик Арслан Аркаев, чеченец, уже пять лет находившийся на русской службе. Он приветливо кивнул лазутчику, и тот что-то проговорил, делая чуть заметное движение рукой.

– Чего он, пес этакий, без спроса болтает! Скажи ему, пусть отвечает на вопросы, а не ведет себя, как на татарском майдане.

Переводчик внимательно взглянул на коменданта.

– Он говорит – тревогу делать надо... весь гарнизон в ружье... Кази-мулла близко, около Андрей-аула мюриды много есть.



Лазутчик кивнул.

– Минога... мюрид... шесть... десять юз адам вар... минога...

Комендант недоверчиво посмотрел на него, потом на переводчика, с усмешкой произнес:

– Врет! Напугать нас хочет да деньгу за это выманить. – И, повернувшись к лазутчику, грозно закричал: – Ты что, шакал собачий, за дураков нас принимаешь! Да за такие вещи я тебя на стене крепости расстреляю!

– Он верный человек... ему Пулло верил... Алексей Петрович медаль давал, – старался защитити Магому переводчик.

Но упоминание о Ермолове обозлило коменданта.

– Мало кого он за нос водил, – вставая с табуретки, буркнул он. А ты, прапорщик, забудь про своего А-лек-сея Пе-тро-ви-ча, – растягивая слова, продолжал комендант, – теперь не те времена, теперь Иван Федорович наш командир, об нем и думать надо, а Ермолова, – он пренебрежительно махнул рукой, – забыть пора!

Лазутчик торопливо, видимо, волнуясь, заговорил.

– Чего он мелет? – спросил комендант.

– Время, говорит, мало. Кази-мулла близко... Полчаса тревоги не будет – худа будет... Мюрид крепость взят будет, – хмуро глядя на коменданта, перевел прапорщик.

– Ишь ты, какой скорый! Вот велю его плетью постегать, он и признается, что наврал иль, чего хуже, этим самым Казою подослан.

Лазутчик, видимо, понимавший по-русски, ухмыльнулся и положил руку на рукоятку кинжала.

В комнату быстро вошел майор Опочинин, командовавший батальоном Второго егерского полка.

– Тревога! – крикнул он. – Казачий разъезд пробился к крепости. Партии мюридов со всех сторон окружают Внезапную. В Андрей-ауле отрезаны два взвода и человек сорок казаков.

И как бы в подтверждение его слов вдалеке раздались частые выстрелы. С верков крепости грохнул орудийный выстрел, запели сигнальные трубы. Внизу, на площади, забили барабаны. И боевой шум с нарастающей стрельбой охватил Внезапную.

Комендант оцепенело стоял у стола, поводя глазами. Грохнул второй выстрел.

– Тревога!.. Все по своим местам! – опомнившись, закричал Сучков и, хватая прислоненную к стене пашку, побежал вон.

– Эта грязная собака не поверил мне, – с презрением глядя ему вслед, сказал по-лезгински лазутчик сумрачно стоявшему переводчику.

Комендант поспешил на крепостную стену, откуда открывался вид на дорогу к Андрей-аулу, на остатки солдатской слободы, уничтоженной по приказу Ермолова.



В степи то съезжались, то разъезжались конные группы горцев. По дороге двигались пешие партии. Пыль поднялась за аулом, откуда вразброд слышались ружейные выстрелы. Не было видно, что делается там, но по стрельбе, по тому, как она то затухала, то снова разгоралась, было ясно: отрезанная от крепости кучка русских солдат еще жива и отбивается от мюридов.

– Дежурную полуроту за ворота! Всем в ружье! Орудиям зажечь фитили! – приказал Сучков, водя подзорной трубой по окраине аула, откуда высыпало не менее семидесяти-восемидесяти пеших.

– Полуроты мало... Геннадий Андреевич. Посмотрите, сколько их там да сколько еще в ауле прячется. Хорошо бы всей роте выйти, занять подходы к крепости и валу. Казакам надо сделать ложную атаку, чтобы отвлечь орду на себя... Может, кто из отрезанных в ауле воспользуется, пробьется к крепости, – подсказал майор Опочинин, но комендант досадливо отмахнулся от него.

– Приказываю полуроту. Остальным занять свои места. Орудиям открыть огонь по цели, как только будет возможно.

– Ежели не сделаем вылазки да не кинем вперед казаков, пропадет взвод!.. – срывающимся голосом крикнул майор. Надо отвлечь на себя мюридов... Может, кто тогда и пробьется, а мы им поддержку окажем.

Комендант не слушал его.

Во дворе крепости били барабаны, заливался горнист, к воротам спешили люди. За крепостной стеной слышались крики, возбужденные голоса, ржанье коней.

В раскрывшиеся ворота, мешая выходявшей полуроте, вбежали две женщины, трое армян, кумык-лавочник. За ними, таща за руку мальчугана и неся привязанного за спиной ребенка, вбежала еще одна женщина.

Тем временем стрельба прекратилась, и движение в ауле, замеченное с верков и стен крепости, улеглось.

Комендант, все еще водивший подзорной трубой по дороге и околицам Андрей-аула, облегченно вздохнул.

– Видать, тревога-то впустую... Налетела шайка гололобых на казаков да ожглась... Шуму много, а дела-то чуть...

– Нет, это еще не дело. Оно впереди, я знаю этих азиатов... это только передовые пошалили, а сам Кази-мулла еще не пришел... Бой-то у нас впереди... А что насчет казаков сказывали, так, я думаю, разъезд их да наш взвод, что там отрезанные, в упокойниках считать следует, – и майор Опочинин, сняв фуражку, перекрестился.

– И до чего вы тут все напуганы этим муллой, аж стыдно видеть! Оборванцы и босяки российских офицеров... – начал было комендант, но, оборвав речь, замахал в воздухе подзорной трубой.

Из аула на полном карьере вылетело человек одиннадцать казаков. За ними, охватывая их с флангов, скакало десятка три горцев. Они, наго-



няя, рубили отстающих. Их пашки сверкали под солнцем. Опять раздалась выстрелы. Четыре казака рухнули с коней, а горцы, не снижая карьера, с гиком и хриплыми криками рубили неведомо откуда бежавших к крепости солдат.

– Первое и второе орудия, беглый огонь! – скомандовал прапорщик-артиллерист, не дожидаясь приказа коменданта.

Полурота, высланная вперед, кто стоя, кто с колена, открыла огонь по мюридам. Две гранаты лопнули возле них.

За Андрей-аулом, там, где дорога сворачивала к Качкалыкским лесам, поднялось облако пыли. Оно росло и быстро передвигалось под ветром.

– Конница скачет... Это сам Кази-мулла, – всматриваясь в даль и прикрывая ладонью глаза от солнца, сказал Опочинин.

Балаганы, наспех построенные бродячими торговцами на том месте, где ранее стояла солдатская слобода, задымились и разом полыхнули огнем.

– Подождли, – покачивая головой, продолжал майор, но комендант молчал. Он все еще смотрел в подзорную трубу. Лицо его было растерянно, нижняя губа дергалась.

– Геннадий Андреевич, надо подать команду... дело нешуточное... во-он сколько их высыпало из аула, – резким голосом сказал майор.

– Чего ж теперь делать... орудия бьют, солдаты стреляют... а дальше...

– Да командовать, командовать надо, черт бы вас побрал! – свирепея, заорал майор Опочинин.

Сучков нерешительно огляделся и тихо предложил:

– Бери на себя команду, решай сам... Я что-то не в себе, – и бочком пошел с крепостной стены.

Майор выхватил из его рук подзорную трубу и, перегнувшись через бруствер, закричал:

– Вторая полурота, в поле! Фальконетам открыть огонь! Пушкарям стрелять по аулу и дороге... – затем, не отрывая глаз от поля, на котором все больше и больше скапливалось конных и пеших мюридов, крикнул горнисту: – Играй «Все вперед!»

Услышав сигнал, солдаты перестроились в правильную, похожую на треугольник группу, стали бить залпами.

Стоявшие позади заряжали ружья и передавали их стрелкам. По бокам, чуть выдвинувшись вперед, рассыпались пикеты, охранявшие тылы и фланги роты. Они тоже вели огонь по противнику. Несколько казаков, спасшихся от конницы Кази-муллы, спешили и через полуоткрытые ворота вошли в крепость. Никто их ни о чем не спрашивал, так измученны, взволнованны, почти невменяемы были они.

Из Андрей-аула выехала группа конных с двумя зелеными тачками и полумесяцем на шесте.

– Пушкари, цель верней по этой группе.



Все орудия крепости стреляли по мюридам, держа их в отдалении от ворот. Сделав одну-две попытки атаковать роту, горцы с гиком бросились вперед, но огонь крепостных орудий и ружейные залпы защитников охладили их.

Пожар на месте бывшей слободки уже затих, и только дымные хвосты тянулись по ветру из-под головешек.

– Третья рота, в ружье и за ворота! Дальше валов и рва не идти, стрелять пометче, не жалеть зарядов, в случае чего – в штыки! – приказал майор, и третья рота карабинеров, топтавшаяся во дворе, скорым шагом высыпала на подмогу егерям.

Одна из гранат, пущенная из флангового капонира, удачно разорвалась возле конной группы со значком. Когда рассеялся дым, в крепости увидели, как бились в агонии кони, а пешие мюриды уносили в аул трех человек.

Цепь горцев, наступавшая со стороны бывшей солдатской слободки, остановилась, ее сейчас же накрыли орудийным огнем с верхов крепости.

– Ур-ра-а! Бей их... коли басурманов! – видя, как шарахнулась назад цепь, закричали солдаты, избегая на вал. Кое-кто даже выбежал за ров, но четкий сигнал ротного горниста отрезвил горячие головы, и солдаты поспешно отошли обратно.

Мюриды, по-видимому, не очень торопились со штурмом крепости, а быть может, и вовсе не думали об этом.

Конница отступила к аулу и скрылась, пехота, остановленная огнем русских и удачными попаданиями гранат, отошла. Из аула к ней потянулись женщины и дети, неся еду и питье.

Скоро на поле можно было рассмотреть сидящих на траве, прохаживающихся или мирно спящих воинов. Казалось, это не место битвы, а поле, на котором отдыхают утомившиеся работой люди.

Русские тоже перестали стрелять, но через каждые пять-десять минут то там, то тут в крепости били барабаны, играли сигнальные горны, раздавались команды офицеров.

Было около одиннадцати часов дня. Солнце обжигало кумыкскую плоскость, ветерок, еще час назад овевавший землю, уснул. Камни и хребты накалялись, и зной все сильнее охватывал людей.

Комендант не показывался, и майор Опочинин, взяв на себя всю власть над крепостью и гарнизоном, приказал выдать солдатам, занимавшим охрану перед крепостью, воду, хлеб и по куску вареного мяса.

Майор в сопровождении переводчика, прапорщика Аркаева, спустился со стены крепости и вышел за ворота, направляясь к сидевшим группами солдатам. На валу стоял фальконет, возле него – человек двенадцать стрелков, слева от них еще одна команда застрельщиков, как тогда называли отличных стрелков. Во рву, укрывшись в холодке, лежали солдаты, отдыхавшие от боя.



– Не вставать, лежи, братцы, как лежали, – еще издали закричал майор и, подсев к ним, спросил: – Ну как, жарко было?

– Хватало, ваше высокбродь, дюже сердито пошли они на нас, да спасибо пушкарям, хорошо огрели азию, – сказал один из солдат, видимо, давно служивший на Кавказе.

– С какого года? – спросил майор.

– Так что одиннадцатый годок кончаю. Я еще молодым лекрутом был, когда Алексей Петрович на Капказ приехали.

Все замолчали. Имя Ермолова как-то объединило их.

– Помнишь Алексея Петровича? – спросил майор.

– А как же? Помирать буду и то сохраню об ём память, – снимая фуражку, ответил солдат. – При их высокопревосходительстве разве ж могли б эти басурманы на крепость идтить?

И опять красноречивое молчание было ответом на слова старого солдата.

Майор Опочинин и прапорщик встали.

– Ну, братцы, всего вам доброго. Сторожите крепость, берегите валы, а за службу – спасибо.

– Счастливо оставаться, вашсокбродь, – нестройным хором ответили солдаты.

Уже подходя к крепости, майор сказал молчавшему прапорщику:

– Солдата не обманешь... Он сердцем чует правду, душой понимает командира.

Андрей-аул был захвачен мюридами легко, так как взвод егерей и полусотня казаков Моздокского полка очень поздно обнаружили горцев.

Беспечность и пренебрежение к Кази-мулле, проявленные комендантом крепости Внезапная, были неслучайны. Упоенные легкими победами над персами, генералы и офицеры, потянувшиеся вслед за Паскевичем на Кавказ и сменившие прежних командиров и начальников, в свое время назначенных Ермоловым, ни в грош не ставили традиции, опыт и воинское мастерство ермоловских солдат.

Ярким примером тому был новый комендант Внезапной, подполковник Сучков. И чем ближе к Тифлису, к штабу Паскевича, тем заметнее сказывалось пренебрежение к горцам, тем сильнее чувствовалась неприязнь ко всему, что еще оставалось от эпохи Ермолова.

По плану, задуманному имамом, его войска, так неожиданно спустившиеся с гор, должны были тремя партиями одновременно ударить по всей линии русских укреплений: первая, под началом Гамзата, – на Бурную, вторая – на шамхальские Тарки, недавно снова занятые русскими, и третья, возглавляемая самим имамом, – на станицу Червленую, которую в случае успеха предполагалось уничтожить и сровнять с землей. Но предварительно надо было овладеть Внезапной. Штурм крепости должен



был начаться с трех сторон: дагестанскими мюридами под командой жителя аула Черкей Кибиды Хаджиева – с тыла, чеченской партией Суаиб – с флангов и пешими аваро-кумыкскими отрядами – с фронта. Однако чеченская конница, натолкнувшись на казачьи заслоны гребенцев возле Гудермеса, после двухчасового боя изменила направление и лишь под утро подошла к Андрей-аулу. Ее-то и заметил лазутчик Магома, немедленно доложивший об этом коменданту. Если б не задержка чеченской конницы, крепость была бы атакована еще ночью.

Было уже за полдень, когда Гази-Магомед с Шамилем и старшинами приехал в Андрей-аул. С первого же взгляда он понял, что внезапного нападения на крепость не получилось, а долговременная осада надежных стен Внезапной, на которых грозно стояли пушки и с которых то и дело били ракетницы и громыхали залпы, не входила в планы Гази-Магомеда.

План этот, предложенный Шамилем, обдуманый имамом, в строгой тайне хранился мюридами, и вот теперь неточность или, вернее, оплошность чеченцев сорвала детально разработанную операцию.

Имам не рассчитывал на легкий захват Внезапной, отлично понимая, что русские своевременно будут предупреждены и лазутчиками, и торговцами-горцами. И тем не менее ошибка чеченского Суаиб-эфенди сделала бессмысленным весь план удара по русской линии.

– Как же ты, Суаиб-эфенди, человек опытный и сведущий в военных делах, так неосторожно повел своих людей через Гудермес, который, как все знают, занят русскими?

– Нас подвела непогода, имам, и темная ночь. Мы пошли по плохой дороге, желая скорее прибыть сюда...

– Вас подвела жадность и неподчинение приказу имама, – холодно возразил ему Шамиль. – Вы, чеченцы, считаете себя людьми свободными, имеющими право поступать так, как сами находите нужным.

– Имам, – не отвечая Шамилю, лишь исподлобья взглянув на него, сказал Суаиб, – что говорит Шамиль, о чем ведет речь?

– О том, Суаиб, что ты, вместо того чтобы сейчас же по получении нашего приказа вести чеченский отряд сюда, к Андрей-аулу, повел его к русскому лагерю возле Гудермеса, где стояли казаки и их кони. Вы послушались нашего приказа из жадности, желая отогнать ночью табун, и вот что получилось, – поднимаясь с места, сказал Гази-Магомед. – К крепости вы пришли позже всех, когда стало совсем светло и когда русские уже были извещены о нашем приходе. В погоне за добычей вы наткнулись на казачьи посты, были обнаружены, обстреляны солдатами и атакованы казаками. Сколько человек ты потерял в этом ненужном бою?

Суаиб, тоже поднявшийся с места, отвел глаза в сторону и неуверенно произнес:





– Человек восемь или десять...

– Говоришь неправду перед лицом имама, – оборвал его Шамиль. – Не лги, Суаиб, и помни, что у нас божий суд вершится на острие пашки.

Суаиб вспыхнул, хотел что-то возразить.

– Сколько напрасно погублено правоверных душ в эту ночь, Суаиб? – тихо, но так выразительно спросил Гази-Магомед, что чеченцу стало не по себе.

– Девятнадцать, имам, и еще семь ранено. Я велел отослать их в...

– Кроме того, Суаиб, русские сейчас по всей линии встревожились и ожидают нас.

Гази-Магомед вплотную подошел к нему.

– Чего ты заслужил, Суаиб, подведя наше святое дело и мюридов, сражавшихся за него?

Суаиб низко опустил голову. В сакле было тихо, и лишь издалека редко-редко доносились выстрелы.

– Всего, что ты скажешь, имам. Я виноват, накажи меня как знаешь...

– Передай свой отряд Ташову-хаджи, прикажи людям слушаться его беспрекословно, а сам, – Гази-Магомед твердым взглядом смотрел на Суаиба, – без кинжала и папахи двое суток молись Аллаху за души мюридов, погубленных тобой, затем вернись в отряд и своей пашкой, обгаренной русской и своей кровью, смой грех перед Аллахом и нами. Иди! – сурово закончил имам.

Двое тавлинцев вышли вместе с Суаибом из сакли. За ним вышел к чеченскому отряду и их новый командир Ташов-хаджи.

Гази-Магомед, не обращая внимания на молчавших людей, произнес молитву по убиенным мюридам. А за аулом, то смолкая, то вспыхивая, раздавалась ружейная пальба и рвались гранаты.

– Введите пленных, – наконец сказал Гази-Магомед, снова садясь за стол.

– У русских беспорядок. Из крепости бьют пушки, солдаты прячутся возле стен, боятся выйти в поле. Наши молодцы сильно побили нечестивых... – довольным голосом начал Хамид из Тилитля, командовавший передовым отрядом, атаковавшим Внезапную.

– Какие у нас потери? – остановил его Гази-Магомед.

– Еще не подсчитано, но несколько праведников, защитников истинной веры, ушли к Аллаху от рук гяуров... Особенно много от пушек, провались они вместе с русскими в джехенем, – уже несколько иным тоном продолжал Хамид.

– А у них? – показывая в сторону крепости, спросил имам.

– Множество. Одних голов отрезано у убитых свиноедов двадцать две, – похвастал Хамид.

Гази-Магомед поднял брови, его лицо, и без того суровое, помрачнело.

– Кто приказал отсекал мертвым головы?



– Я, имам. Так всегда делалось в горах, – удивленно ответил Хамид.

– Осквернять убитых в бою, даже если это гяуры, дело нечестное, годное только для разбойников и трусов. Воины ислама, защитники и поведники шариата не могут уподобиться собакам-шиитам, которые поступают так. Только иранские сарбазы рубят головы мертвым и этим оскверняют себя. Запомните все, – сказал имам, обращаясь к почтительно слушавшим его мюридам, – пророк никогда не поступал так с врагами. Он сражался с живыми, он убивал их в бою, но не осквернял трупов, не издевался над беззащитным трупом противника. Пусть это будет последний раз, братья.

Шамиль кивнул.

– Вы помните, что говорится в несомненной книге? Когда будет конец света, все: и правоверные, и заблуждавшиеся в нечестивой вере гяуры – придут на страшный суд к Аллаху. Они должны прийти туда со своими лицами, такими, какими были на земле. Убивайте своих врагов, но не лишайте их подобия человека.

Мюриды наклонили головы.

– Да будет так, имам, во славу Божию.

В саклю ввели двух солдат и черноусого смуглого казака. Это были пленные. Один солдат тяжело дышал. Морщась от боли, он поддерживал левой рукой перебитую кисть правой, обмотанную кое-как рваной, в бурых пятнах крови тряпкой. Казак молча оглядывал мюридов, сосредоточенно уставившихся на русских. Второй солдат, с худым морщинистым лицом и беспокойными глазами, покорно и выжидающе, не мигая, смотрел на Гази-Магомеда.

– Спроси их, сколько в крепости войска, кто начальник, сколько пушек и знают ли они о том, что русские всюду терпят поражения от храбрых воинов ислама, – сказал Гази-Магомед, обращаясь к переводчику, одному из кумыков, до того торговавших с русскими в слободке.

– Эй, кунак, твоя моя шалтай-болтай нету. Имам говорит, почем сколько солдат-адам русской кирепост бар, – размахивая руками для большей убедительности, начал кумык.

Солдаты непонимающе уставились на него.

– Эй, Иван-солдат, имам говорит, большой начальник кито кирепост ест?

Солдаты тревожно, испуганными глазами смотрели на кумыка, не понимая его путаного языка.

– Не умеешь ты говорить по-русски. Видишь, они вовсе не понимают тебя, – чуть усмехнувшись, сказал Шамиль. – Кто из правоверных знает язык урусов?

Растерянные мюриды молчали, озабоченно переводя взгляды с одного на другого.



– Среди жителей нашего аула есть такие, что хорошо понимают собачий язык неверных, но говорить свободно не умеет никто, сказал старшина аула.

– Есть такие... и Бада, сын Сурхая, и Осман, сын Чопана, но они в крепости у русских, – негромко подсказал один из аульских стариков.

– Я немного знаю по-кумыкски. Говори, имам, что хочешь узнать от нас, – сказал смуглый казак, и это было так неожиданно, что все в удивлении воззрились на него.

– Откуда ты знаешь язык кумыков? – спросил Гази-Магомед.

– У меня мать кумычка, отец – казак из Кизляра, – глядя спокойно в глаза имама, ответил пленный.

– Из какого аула мать и как мусульманка стала женой уруса? – не сводя взгляда с казака, спросил Гази-Магомед,

– Мать из Казанищ, из рода бесленеевского Тахо-Омара. Отец увез ее еще девчонкой, когда русские разгромили аул, лет, наверное... Это было еще при шейхе Мансуре, имам.

– Ты бывал когда-нибудь в Казанищах?

– Бывал. И к матери тоже приезжала в Кизляр родня.

Гази-Магомед погладил усы, провел ладонью по бороде и тихо заговорил:

– Ты еще можешь стать хорошим мусульманином, казак, как и твои родные из Казанищ, а пока, – он встал, – вместе с этими неверными и жителями Андрей-аула похорони в общей яме всех русских, убитых сегодня нашими воинами, сражающимися за ислам и праведное дело. Потом возвратись сюда и будешь переводчиком столько времени, сколько укажет нам Аллах. Помогите им рыть могилу для солдат. Всех обезглавленных и их головы опустить в яму, и чтобы никогда наше оружие не служило богопротивному надругательству над мертвыми. Шамиль, напиши об этом всем, кому это следует ведать, и укажи, что только язычники и отверженные Аллахом фанатики-шииты, подобно иранским почитателям лжеимама Алиа, занимаются таким богопротивным делом. Истинные воины не воюют с мертвыми, для них есть живой враг.

– Будет исполнено, имам!

Пленных вывели во двор.

Гази-Магомед прислушался к стрельбе, то смолкавшей, то снова нараставшей.

– Пора! – сказал он, вставая.

Поднялись и мюриды с Шамилем.

– А вы, – обращаясь к почтительно стоявшим у входа старшине и старикам аула, продолжал имам, – приготовьте своих лучших воинов, они уйдут с нами.

– Сколько человек надо, имам? – неуверенно спросил старшина.



– Аул ваш большой, но я не хочу обижать вас, хотя вы и торгуете с неверными.

Старшина покорно развел руками.

– Что поделаешь, праведник. Вы – далеко, а русские – возле. Поневоле приходится танцевать под их зурну.

Мюриды неодобрительно слушали старшину, выжидательно посяматривая на имама.

– Двадцать молодцов с конями, полным припасом на три дня, с ружьями и порохом, – что-то обдумывая, продолжал Гази-Магомед. – Но пойдут они не с нами, а с чеченским отрядом Ташов-хаджи.

Стрельба возле крепости и за аулом стихла. Вдруг рядом с саклей, в которой находился имам, один за другим прозвучали два выстрела, затем дробный залп и опять одиночный ружейный выстрел.

– Что там за стрельба? – спросил Гази-Магомед.

– В сакле почтенного Махмуда засел русский... проклятая собака не сдается и не слушает никого...

– Один? – удивился имам.

– Один. Двое других убиты во дворе, а этот неверный уже целый час отбивается от наших. Убил двоих и ранил моего сына, – мрачно рассказал один из стоявших у двери андreeвских кумыков.

– И вы ничего не можете сделать, чтобы покончить с этой христианской собакой? – с негодованием спросил Хамид.

– Пробовали. Он удобно засел, пули наших молодцов не попадают в него. Сейчас подожжем саклю, – сказал старшина.

– Не надо! – остановил его Гази-Магомед. – Храбрецы, презирающие смерть, – братья, если даже они поклоняются Иссе или пророку. Попробуйте взять его живым.

– Невозможно, имам. Он сидит на бочонке с порохом, который бросили при бегстве солдаты.

Гази-Магомед почесал бровь, что было признаком раздумья.

– Прекратите обстреливать солдата и позовите сюда того казака, что родился на свет от русского и кумычки.

Двое мюридов, стоявших у дверей, вышли. Спустя минуту-другую выстрелы смолкли.

В саклю вошел пленный казак.

– Слушаю тебя, имам, – он почтительно поклонился.

– Как тебя зовут?

– Александр.

– Значит, Хасан, – уточнил Гази-Магомед. – Как дела с убитыми русскими?

– Закапываем.

– А теперь, Хасан, от мертвых перейдем к живым. Здесь рядом в сакле отбивается от моих мюридов русский солдат, один, а нас много... Хра-



брые люди, подобные львам, редки, и убивать их надо только в крайних случаях. Этот русский – храбрец, да простит Аллах ему кровь правоверных, которую он пролил сегодня! Но мы – воины, и смерть за газават в честном бою ведет правоверных в рай, к гуриям, к подножию Аллаха и вечному блаженству. Не сегодня завтра мы все примем праведную смерть за газават, во имя ислама. Мы не убийцы, мы – шихи и не мстим воину за то, что он храбр и отважен. Русский солдат, которого бросили остальные, подобен льву, мы уважаем его храбрость. Пойди, Хасан, и скажи ему от моего имени, что он может выйти. Пусть идет сюда без страха, а вы, – Гази-Магомед повернулся к мюридам, – уважайте мужество в человеке, даже если оно у врага. Иди, Хасан!

Казак нерешительно шагнул было к двери.

– Имам! – сказал он. – Я знаю этого человека. Это не простой солдат, это разжалованный, из тех, которые пошли пять лет назад против нынешнего царя... в декабре месяце.

Гази-Магомед с любопытством слушал его.

– Он офицер из дворян. Его разжаловали в рядовые, – подбирая подходящие слова, чтобы его поняли мюриды, продолжал казак.

– Тем более нужно сохранить жизнь этому человеку, – тихо произнес имам. – Я знаю, зачем эти люди бунтовали против Миколай-падишаха. Они хотели своему народу добра, они хотели освободить его от рабства. Аллах не помог им, и царь потопил в крови хорошее дело этих людей. Шамиль, пойди вместе с Хасаном, убеди русского сдаться. Мы сохраним ему жизнь и его веру...

Шамиль и казак вышли из сакли.

– И среди русских есть люди достойные, с которых можно брать пример.

Мюриды молчали, хотя было видно, что слова имама некоторым пришлось не по душе.

Со стороны крепости опять гроыхнуло орудие, забили барабаны, и снова орудийные выстрелы слились с ружейной пальбой.

– Идем к воинам! – поднимаясь с места, предложил Гази-Магомед.

Коноводы подвели коней, и конная группа человек в двенадцать с развернутым зеленым знаменем газавата рысью вынеслась за околицу Андрей-аула.

Майор Опочинин, обойдя роту, занимавшую подступы к крепости, прошел к стрелкам-охотникам, поговорил с ними, проверил наличие запасов пороха и пуль, побеседовал с фальконетчиками и, дав указания, как быть, если горцы пойдут в атаку, вернулся в крепость.

– Ворот не запирайте до тех пор, пока в случае неустойки вовнутрь не отойдут все солдаты. Полуроте егерей и спешенной сотне моздокских казаков при единороге, трех фальконетах и ракетнице прикрывать отход



пехоты от валов и рва, – пояснил он боевую задачу капитану Тушнову, командовавшему боевым участком у ворот Внезапной.

Когда майор Опочинин в сопровождении прапорщика Аркаева поднялся в комендатуру, там никого не было.

– Где же подполковник Сучков? – осведомился он у дежурного писаря.

– Не могу знать, вашсокбродь. Только вы ушли за ворота крепости, как они пошли к себе.

Майор не без удивления слушал писаря. Комендант крепости, атакуемой врагом, вместо того чтобы быть с войсками на вылазке или среди стрелков, неизвестно зачем ушел к себе. Майор пожал плечами и только тут заметил чуть насмешливый, иронический огонек в глазах стоявшего навтыяжку писаря.

– Разыщи коменданта и скажи, что я жду его на крепостной стене возле четвертого орудия.

– Слушаюсь, вашсокбродь! – И писарь опрометью выбежал из комендантской.

Майор прошел по двору. Несколько армян с пожитками, три женщины, понуро сидевшие над своим наспех собранным скарбом, десяток ребятишек, хмурые солдаты с сосредоточенными лицами, спешенные казаки, группами расположившиеся возле расседланных коней... Женщины с тоской и надеждой смотрели на него, вздрагивая при каждом ударе орудий, систематически бивших с верков крепости.

У открытых ворот толпились дежурные солдаты. Здесь же стояла пушка с наведенным на выход стволом. У орудия, заряженного картечью, стоял батареец с дымящимся фитилем в руках. Несколько солдат, одетых как попало: кто в рубашке, кто в кургузом засаленном мундире, а кто в горском бешмете с нашитыми желтыми погонами, – сидели возле орудия.

«Хороша «гвардия», – усмехнулся про себя майор, глядя на ноги солдат. Ни у кого из них не было положенных по службе сапог. Одни были босы, другие прятали ступни ног в горские чеги, в рваные чусты или в стоптанные башмаки, давно потерявшие и вид, и свое назначение обуви.

«А все комендант. Все его искарриотская душа, вор, трус... подлюга», – проходя мимо и стараясь не высказать вслух своих мыслей, думал майор Опочинин.

Стрельба опять стихла, и лишь изредка одиночные выстрелы нарушали тишину.

– Как дела? Что там у них делается? – спросил майор Опочинин поспешившего ему навстречу штабс-капитана.

– Особенного ничего, только все прибывают и прибывают и конные, и пешие... Тысячи, я думаю, четыре будет, – ответил штабс-капитан, оборачиваясь в сторону Андрей-аула.



– Ты, Степан Сергеич, старый кавказский офицер, на тебя надеюсь... Как думаешь, пойдут они сегодня на приступ или только окружают крепость? – продолжал майор, тревожно поглядывая вдаль.

На поле сейчас было значительно больше горцев, чем полчаса назад.

Опять рассыпалась по полю пехота мюридов, показались конные толпы с несколькими значками, и опять позади аула, на дороге, ведущей в сторону Гудермеса, поднялась густая пыль.

– Думаю, и окружают нас, и пойдут на приступ, – сказал штабс-капитан.

– И я так считаю. А чего им ждать?... Людей у них много, а время не терпит. Ежели затянут с нами, им несдобровать. И Коханов, и сам Эммануэль недалече... Придут на помощь.

– Они ж тоже не дураки. Их Кази-мулла даром что не генерал, а свое дело знает, – тихо сказал штабс-капитан.

– Вашбродь, гляди, орда зашевелилась, массым-масса... усю крепость обложить хочут... – заговорили солдаты.

Офицеры поднялись на вал. Поле стало черным от множества пеших, то кучками, то в одиночку, то цепью двигавшихся к крепости. Далеко по флангам шла конница. А из аула все выходили и выходили новые толпы.

– Велико скопище... Надо полагать, что осаду держать будет сам чертов мулла, – сплюнув, в сердцах сказал майор. – Не устоять нам, они массой задавят роты. Как думаешь, Степан Сергеич?

– Надо отойти за стены. Здесь толку не будет, напрасно погубим людей, – медленно, но твердо сказал штабс-капитан.

– И то дело! Я об этом думал, да хотел тебя, старого солдата, спросить. Веди роту в крепость. Сперва фальконеты с ракетницей, потом солдат, да поскорей, а то гляди, как бы они в конную атаку не ударили.

Заиграл горнист, солдаты быстро собрались во взводы и с нескрываемой радостью поспешили в крепость. Прокатилось орудие, в которое впряглись егеря, прошли фальконеты. Со скрипом закрылись толстенные, окованные железными листами ворота. Солдаты заложили их поперечными стальными полосами, привалили мешки с песком, уложив их штабелями, и, еще раз стянув широкими стальными полосами, завили гайки.

Шамиль с пленным казаком Александром и двумя мюридами подошел к сакле, в которой забаррикадировался русский солдат.

За углом, прячась от возможного выстрела, жались к стене несколько человек. Это были местные жители: кумыки, два чеченца и невысокий плотный аварец, стоявший возле кучи тряпья и соломы, которую осаждавшие намеревались поджечь, надеясь дымом и огнем выкурить из сакли отважного русского.

– Держитесь этой стороны... Гяур все время обстреливает нас. Почему имам запретил поджечь саклю? – сердито спросил аварец, недовольно поглядывая на казака.



Имам приказал взять его живым, – коротко ответил Шамиль.

– Эта собака не сдастся. Его надо убить, – хмуро возразил аварец. – Иначе он перестреляет еще немало наших.

Остальные не вмешивались в разговор.

– Ты не расслышал, что я сказал? – строго спросил Шамиль и повторил резко, повелительно: – Имам приказал русского не убивать, взять живым.

Аварец переглянулся с кумыками.

– Бери, а мы посмотрим, как ты это сделаешь.

Суровое лицо Шамиля стало еще строже.

– ...А мы тебе поможем, – поспешно добавил аварец.

– Хасан, крикни русскому, чтоб не стрелял. Скажи, что его никто пальцем не тронет. Это воля имама, и это будет так.

Казак, приложив ладони ко рту, закричал:

– Э-э-эй, браток, браток, бывшее ваше благородие!..

Голос казака звучно разнесся в тишине аульской улицы. Несколько женщин пугливо выглянули из дворов.

Ответа не было.

– Вашбродь, господин разжалованный! Это я, казак Дубовской станицы, што с вами в ауле был. Не стреляй, барин, слухай, чего скажу.

Ответа не было, но спустя минуту раздался голос, глухой, как бы шедший издалека:

– Кто это? Наши, что ли, пришли? Выбили горцев?

– Никак нет, барин. Крепость они обложили, дорога и аул в ихových руках. А говорит с вами казак Гребенского полка Курынов, станицы Дубовской...

– А как же ты уцелел? – уже ближе и явственней послышался голос из сакли. По-видимому, посаженный придвинулся к оконцу.

– Я в плену, барин. Они и вас хочут в плен взять. Обещают помиловать за геройскую вашу отвагу...

– Уйди, а то в тебя стрелять буду! Изменник, продажная душа!.. – закричал солдат.

– Никак нет... Сам имам ихов, Кази-мулла, приказал помиловать, больно ваша отвага ему по душе. Вот со мной его помощник пришел...

– Не сдамся! Взорву и себя, и вас, если кто ворвется в саклю. А, да иди ты к черту, противно с тобою говорить... Трус, шкура!

– Как знаете, вашбродь, однако я с чистой душой пришел, и все, что говорю, – правда. Они б вас не пожалели, кончили б за милую душу, кабы...

– Что «кабы»?

– Кабы вы не были разжалованный. Имам ихний, Кази-мулла, сказал, что царь наш, Миколай Павлович, хороших и самых лучших русских людей повесил, а остальных в тюрьмы да ссылки послал.





– А откуда он это знает? – слышался уже несколько удивленный голос.

– Видать, знает. Они, вашбродь, и про дворян, что бунт подымали, знают, и про то, что других на Капказ сослали, тоже знают.

– Так что ж он хочет?

– Ничаво. Просто, говорит, хорошего человека спасти нужно, ежели его царь не сгубил, так чего нам таких губить, – входя в роль, от себя приврал казак.

В сакле стихло.

– А не врешь ли ты, приятель? Может, моей головой свою спасаешь, казак?

– Не такие мы люди, барин. Мы и жить можем, как надо, и умирать умеем, как следоват. Зачем обижаешь, ежели я к тебе с чистым сердцем пошел.

– А кто это с тобой? – полувысовываясь в оконце, не таясь, спросил солдат.

Если б мюриды захотели убить его, ничего не было легче сделать это сейчас. Солдат распахнул оконце и смело, прямо и твердо смотрел на горцев.

Так прошла минута-другая. Шамиль глядел на русского, и в его памяти возник Хунзах, когда он сам, осажденный, заперся в сакле.

– Иди, казак, вместе с посланным от имама. Остальные пусть стоят на месте, – согласился солдат и пошел к двери.

– Смелый человек, воистину мужественный и свободный, – с уважением произнес Шамиль, когда казак перевел ему слова солдата.

Мюриды остались на своих местах, а Шамиль с казаком направились к сакле.

Было слышно, как осажденный отодвигал приставленные к двери вещи. Наконец дверь открылась, в ней показался молодой, среднего роста человек в потертой солдатской рубаше. С левого плеча свисал желтый егерский погон, слегка окровавленный, по-видимому, сбитый пулей.

Из запекшейся раны на предплечье, багровея, чуть выступала кровь. Он спокойно встретил вошедших в саклю Шамиля и казака. Глаза его, большие, выразительные, чуть обведенные темными кругами от усталости и напряжения, пытливо, но без страха разглядывали Шамиля. Ружье было разбито в ложе. Видимо, пули мюридов повредили его. Заметив взгляд Шамиля, солдат невесело улыбнулся:

– Я потому и не стрелял, – признался он и пихнул ногой обломки ружья.

– Скажи ему, Хасан, что наш имам любит храбрых людей, даже если они сражаются с нами. В несомненной книге сказано: «Мужество в бою открывает двери рая».



Казак перевел. Солдат еще раз взглянул на Шамиля. Они – русский и дагестанец – стояли рядом, с изучающим любопытством вглядываясь друг в друга.

– У него чистое сердце, крепкая рука и ясные глаза. Скажи, имам не ошибся в нем.

Разжалованный выслушал переводчика.

– Скажи ему, – попросил он, – что не все русские враги горцев.

– Как тебя зовут?

– Булакович, – ответил разжалованный.

– Бу-ла-ко-вич, – медленно повторил Шамиль.

Они вышли из сакли. Горячее солнце заливало аул. Мюриды и местные кумыки с любопытством, а кое-кто и недружелюбием ожидали их на углу. Женщины высыпали на улицы, мальчишки попытались было швырять камни в русского, но два-три удара нагайкой и грозный окрик Шамиля разогнали любопытных.

А вокруг Внезапной кипел бой. Слышалась частая пальба, и время от времени то гулко, то глухо били легкие и тяжелые орудия.

Коменданта майор Опочинин нашел запершимся в своей комнате. Ни стук, ни крики, ни угрозы взломать дверь не действовали. И тогда майор вместе с денщиком коменданта и переводчиком прапорщиком Аркаевым высадили дверь.

За столом, положив голову на руки, спал мертвецки пьяный подполковник Сучков. Он похрапывал и не просыпался, пока по приказу майора его не окатили холодной водой из ведра.

– Чего такое?.. Кто смеет?.. Кто ты есть такой? – уставясь на майора и не узнавая его, забормотал подполковник.

– Помилуй бог, да вы в своем ли уме? Мюриды под стенами крепости, сейчас начнут штурм, а вы горькую пьете! – негодуя, закричал майор.

– М-лчаты!.. Кто ты такой? А? Кто? Я тут начальник! Я комендант, а т-т-тебя раз-жалую в солдаты... Сквозь зеленую улицу пущу... розгами забью до смерти!.. «Эй, пташечка, остроносенька, кого любишь, скажи...» – вдруг запел комендант, вращая мутными глазами.

Это было так неожиданно и нелепо, что денщик не выдержал и фыркнул в кулак, а майор только сплюнул и, уходя, приказал солдату:

– Уложи его в постель да запри дверь, как бы он спяна чего не выкинул.

– Что мне Кази-мулла... он сволочь, нехристь, а я комендант подполковник, а завтра... ге-ге-не-рал-лом буду... главно-ко-ман-душшим... – бормотал пьяный, пытаясь отпихнуть денщика ногами.

Когда Шамиль привел Булаковича, имаму было не до пленного. Только что подошли отряды из Акуши, Мехтулы, Унцукуля и ауховских чеченцев. Люди и их начальники ждали приказаний имама. Пришедшее



на помощь мюридам ополчение было разнородным: лезгины, аварцы, лаки – но все одинаково горячо верили в святость и непобедимость Гази-Магомеда и рвались в бой, чтобы победить гяуров или положить головы за газават и ислам. Они с почтительным восхищением смотрели на Гази-Магомеда, простого, скромного и в то же время какого-то отрешенного от земли.

Имам был храбр, его мужество и отвага поражали даже таких известных всем храбрецов, как гимринский Ташав аль-Гимри, черкеевский Нур-Али, акушинский Абдулла аль-Акуши, но, как всегда это бывает в народе, слухи и рассказы о нем во много раз были преувеличены.

Они смотрели на его коричневую с двумя заплатами черкеску, на высокую папаху с белой чалмой, на его сосредоточенное, задумчивое, как бы аскетическое лицо и еще больше восторгались своим имамом.

– Святой... угодный Аллаху человек... Подвижник, спасающий нас... Тень и подобие пророка, – повторяли они, стараясь, чтобы Гази-Магомед не услышал их. Все знали, что имам строг к тем, кто пытается возвеличить его святость, и это тоже нравилось людям.

– Хасан, скажи ему, – показывая на Булаковича, сказал Гази-Магомед, – что сейчас идет бой и у меня много, – он как-то добродушно улыбнулся смотревшему на него пленнику, – дел, которые Аллах и народ возложили на меня. Пусть он спокойно отправится в Черкей. Как только позволит Бог, я буду в Черкее и тогда поговорю с ним.

Казак перевел его слова. Булакович, внимательно наблюдавший за Гази-Магомедом, спокойно сказал:

– Я не сомневаюсь и буду ждать его возвращения в Черкее.

– Этого человека, – указывая на Булаковича, продолжал Гази-Магомед, – посадить на коня и отвезти в Черкей. Он будет гостем старшины. Смотрите за ним, берегите его и не делайте ничего дурного, если только он не захочет бежать.

Булаковича увели, а Гази-Магомед, отойдя в сторону от не сводивших с него глаз ополченцев, открыл военный совет. Ташов-хаджи, Шамиль, акушинский Бей-Булат и еще несколько начальников отрядов, сев на камни возле дороги, стали совещаться.

А под крепостью и вокруг нее кипел бой. Пехота имама подошла к валам. Несмотря на все усиливавшийся огонь, пешие горские цепи заняли рвы, вышли на валы и непрерывно обстреливали бойницы и стены крепости ружейным огнем.

Конница Гази-Магомеда, рассыпавшись по равнине, блокировала все дороги и подступы к Внезапной. Ее разъезды дошли до дальних кутанов<sup>1</sup>, но в них никого не было – ни овец, ни пастухов. Вероятно, еще с утра, заслышав пушечную стрельбу, пастухи отогнали овец в безопасное место.

---

<sup>1</sup> Пастбища.



Начальник конной партии, аварский мюрид Алигуль-Хусейн, был раздосадован этим. Пастухи могли сообщить русским и тем, кто якшался или вел с ними торговлю, о нападении имама на крепость. А это значило, что из Темир-Хан-Шуры или из-за Терека, со стороны казачьих станиц, в любой момент к русским могла прийти помощь. Конница рассыпалась на небольшие группы, пошла в сторону Терека, к крепости Бурной, с налету захватила укрепленный пост Аджи-Кульский и уничтожила в нем пятьдесят пять солдат, но исчезнувшие стада так и не нашла.

Только к утру следующего дня вернулись конные партии в Андрей-аул. Гази-Магомед, сдвинув брови, выслушал сообщение об исчезновении отар. Значит, местное население, так радостно встретившее его, теперь должно кормить и его четырехтысячное войско.

Каждый всадник Гази-Магомеда имел с собой питание – чуреки, сыр, кукурузные лепешки, иногда вяленое мясо – только на три дня, а в саквах – двухдневный запас ячменя или овса для лошади. В дальнейшем воины должны были собственными средствами добывать пропитание для себя и фураж для коней или переходить на содержание жителей тех аулов, которые они занимали.

– Шамиль, останься здесь. Гамзат-бек вернется сюда после захвата крепости Бурау, а я, с помощью Аллаха, спустя два дня, если мы не возьмем Внезапную, уйду с частью войск к Гудермесу, откуда могут идти на нас эти проклятые казаки с их нечестивым генералом, – заканчивая военный совет, сказал Гази-Магомед.

Ночью конная колонна в девятьсот человек ушла из-под стен Внезапной к крепости Бурной, которую осадил Гамзат-бек.

Под утро пехота Гази-Магомеда произвела второй яростный штурм Внезапной. Горели костры из остатков сараев и домишек, еще уцелевших на форштадте и в бывшей солдатской слободке. Они пылали всю ночь, и всю ночь били крепостные орудия.

Утро возшло над кумыкской равниной. Солнце выкатилось со стороны кизляро-астраханских степей и озарило горы, поляны, холмы и аулы. Но бой за крепость не стихал. Как и ночью, мюриды осыпали стены Внезапной градом пуль. Их легкое орудие обстреливало крепость, а пехота со штурмовыми лестницами лезла вперед.

Русские отбивали атаки, иногда обливали кипятком наиболее ретивых горцев, пытавшихся заложить порох под стенами крепости. Бились все – и русские, и армяне, и кумыки, связавшие свою жизнь с русскими поселениями.

Укрепление Темир-Хан-Шура, именовавшееся солдатами и офицерами городом Шура, расположилось на кумыкской плоскости, невдалеке



от резиденции шамхала. Это было самое мощное укрепление русских в Дагестане. Петровск – Дербент – Внезапная – Бурная – Низовая и, наконец, Грозная – вот основные опорные пункты русской левой, так называемой Дагестанской линии. Между ними по дорогам и на стыках торговых и стратегических путей стояли редуты, сторожевые башни, укрепления, блокгаузы. Все они носили временный характер, их строили, чтобы наблюдать за дорогами и окрестными аулами, собирать сведения у лазутчиков и своевременно сообщать обо всем в штабы, расположенных по линии отрядов, и, конечно, вступать в бой с противником, если горцы успевали блокировать эти посты.

Сторожевая башня «Русский штык», как ее называли в приказах, была выдвинута на полторы версты от укрепленного редута «Вельяминовское». В ней было три этажа с выходом на самый верх, где дежурил наблюдатель. Башня была каменная, с прочной деревянной дверью, построенная по типу горских боевых башен, с той лишь разницей, что была она значительно шире, просторнее. Три ее «помещения», нечто вроде простейших комнат, соединялись между собой деревянной лестницей. В первом этаже располагался солдатский наряд – человек восемь; во втором хранились порох, пули и солдатский провиант; третий занимали сигнальщик и начальник поста. На каменных плитах смотровой площадки был сложен костер из соломы, сена и хвороста, который в случае тревоги немедленно зажигал наблюдатель.

Обычно начальником башенной команды назначался ефрейтор или кто-либо из старослуживых солдат, но сегодня им был юнкер, уже дважды отлично выполнивший это нехитрое поручение.

Команда только час назад сменила солдат, которые ушли к полуроте в форпост «Вельяминовское», и радостно располагалась на двухдневную сторожевую службу.

Грубость офицеров, ругань и зуботычины фельдфебелей, постоянный «глаз» начальства, боязнь провиниться и попасть в наряд, а то и на «зеленую улицу» остались там, в укреплении. Здесь было вольготнее и проще, и эти двухсуточные посты всегда доставляли солдатам удовольствие, хотя и грозили бедой при встрече с горцами.

Юнкер, пухлощекий юноша лет двадцати, тоже был рад на время остаться самостоятельным командиром. Ему льстило и почтительно-дружеское внимание солдат, и что здесь он мог отдохнуть от бесконечных карт, проигрышей в «трынку», опостылевшей ему водки и глупых рассуждений командира роты, поручика Панкратова, кичившегося тем, что он когда-то учился в Москве.

– Господин юнкарь, чайку не желаете? Только с огня, да вот лепешек с белой муки, ох искусные! – поднимаясь по лестнице, сказал один из солдат.



С нижней площадки пахло чем-то вкусным, доносились голоса, и юнкеру страсть как захотелось сойти вниз.

Охотно, друг. Только что ты меня все «юнкарь» зовешь? Когда я в отдельности от роты и начальства, зовите меня просто Фомой Ивановичем.

– Так кому как... Вон юнкарь господин Тимохин из пятой роты, что допрежь вас у нас был, так тот дюже серчал, когда его по имя-отчеству величали.

– Так то Тимохин, а то – я, – усаживаясь в солдатский кружок возле фыркавшего чайника, добродушно улыбнулся юнкер. – А ну, ребята, рассказывай, как дома жили, – прихлебывая пахнувший дымом чай, предложил он.

Солдаты засмеялись.

– Как жили... Да не дюже хорошо, однако сменяли б службу на Капказе на деревенскую.

– Да как мы жили? По крестьянству, как все мужики живут, – подкладывая юнкеру кусок пшеничного чурека, откликнулся пожилой солдат, – Жили в деревне, работали на барина, крепостные мы, ну, спасибо, барин наш, может, слышали, Желваков Антон Степаныч, не из дюже лютых был, а как выпьет, так даже и вовсе добрый и веселый. Один грех за ним водился – девок да баб любил и не токмо что своих, но и чужих не пропускал. При нем еще жить можно было, а вот как его убили да приехал новый, чи его племянник, чи брат...

– Кто же его убил... на войне, что ли? Он что ж, военным был? – поинтересовался юнкер.

– Какой «на войне»?.. Он в городе, а деревня наша невдали от Рязани стоит. В женку одного офицера, можно сказать, влюбился. Ну, подарки стал посылать, цветы разные, еще чего следоваит, не знаю.

– Крепко, видно, врезался, – засмеялись солдаты, – ничего не стал жалеть...

– Ничего... – убежденно подтвердил рассказчик, – В долги полез, роща у него была березовая, десятин шестьсот, а то и поболе, и ту продал, для своей голубки деньги нужны были... Та-а-к... ну, а муж-то ейный, капитан, что ли, драгунский, заметил, как наш Антон Степаныч вкруг его мадамы пляшет, да однова на балу в Рязани ка-а-к хряснет нашего-то по морде, – солдат помолчал и поправился, – по скуле, тот аж на пол свалился. А через день эта самая...

– Дуэль? – подсказал юнкер.

– Она! Ну, наш-то помещик больше глазами по бабам стрелял, а тот... капитан-то, в медалях да с отличиями был. Он нашего Антошку ка-а-к дербанет из пистолы, да наповал!

– Ишь ты, – с удивлением загалдели солдаты. – Не суйся, значит, до чужой жены... Это и правильно, а то чего ж, ежели каждый к чужой бабе полезет...



– Ну, ему смерть, а нам беда пришла, – продолжал солдат. – Хучь Антон наш Степаныч и бабник и распутник был, однако ж людей не мучал, не порол, кос не стриг, никого не продавал, и жили мы под им спокойно. А вот приехал наследник этот самый, собой высокий, худой да гордый... Ни с кем ни слова, никому ни добра ни зла, только пошептался со старостой, съездил в Рязань да и продал нас господину Аблисимову, тоже рязанский помещик, как есть со всеми потрохами, с деревней, с землей, с лесом.

– А тот что, лютый оказался?

– А кто его знает! Мы его и не видели. Приехал его управляющий, немец Адольф Иванович. Вот этот дал нам горя. Собой худой, морда бритая, на людей не смотрит, глаза косит на сторону, и все ему не то, все плохо. Сам не бьет, а полсела отодрал на конюшне: и девок, и баб, и стариков – и никакого ему резонта не докажешь...

– Одно слово – немец! У нас тоже такой подлюга, Густав Густавыч был, так мы его ночью спалили, – сказал один из солдат.

– И стоит! – поддержал рассказчик. – Как уж там у нас дальше пошло б, не знаю, однако меня он в лекруты сдал, хотя и годки мои вышли, и сам не просился.

Все замолчали.

– Хуже нет, как новый помещик объявится: ни ты его, ни он тебя не знает. Вот и идет такая каруселя, – покачивая головой, сказал солдат, наливавший вторую кружку юнкеру.

– Ребята, в ружье! Тре-во-га! – закричал сигнальщик и снова бросился к вышке.

– В ружье! – вскакивая с места, скомандовал юнкер.

Солдаты разом схватили ружья и заняли места у бойниц. Наверху гулко забил сигнальный колокол. Юнкер выбежал было наружу, но буквально замер, застыл на месте: вся близлежащая дорога была черным-черна от мчавшейся к башне конницы. Пыль столбом стояла за нею, мешая разглядеть задних. С холмов, всего в двухстах саженях от дороги, бежали к башне толпы пеших горцев, и все это делалось без крика и шума, в жутком и страшном безмолвии.

Юнкер вскочил обратно в башню.

– Запирай дверь на крюки! Закладывай ее мешками! – приказал он. – Троим остаться здесь, остальные за мной. – И, перепрыгивая через ступени, понесся вверх, на вышку, откуда открывалась картина предстоящего боя.

Колокол уже не гудел. Вороха соломы и сена, подожженные сигнальщиком, горели медленно и дымно. Вдали, на форпосте № 3, также загорелся сигнальный костер.

«Слава богу, значит, в укреплении уже знают о налете хищников», – подумал юнкер.



И вдруг по всему полю, на дороге и на холмах разнеслось громкое, заунывное и страшное «Ал-ла-а!»

Ружейная стрельба то заглушала этот многоголосый крик, то тонула в нем. Конница горцев окружала башню.

— Ребята, беглым огнем пали! — скомандовал юнкер, и несколько разрозненных выстрелов защитников башни растворились в общем гаме, крике, пальбе. — Часто начинай!.. Бей метче!.. — кричал юнкер, то стреляя по врагу, то припадая к смотровой амбразуре. Он видел, как несколько всадников свалились на землю, как забилась раненая лошадь. — Так их... покажем, братцы, как воюют русские... бей их насмерть! — кричал юнкер, а возле бойницы уже лежал убитый солдат, тот самый, что минуто назад рассказывал о своем распутном помещике.

Дым от костра, чад от пережаренного сала, запах сожженного пороха наполнили башню. А внизу в нее ломились мюриды; они чем-то тяжелым били по скрипевшей, готовой сорваться с петель двери. Солдаты, охранявшие вход, с тревожными лицами закрепляли ее, приваливая мешки с землей.

— Ал-ла! Ал-ла! — охватило всю степь, и в этом грозном, неумолимом вопле солдаты чувствовали свою неминуемую смерть.

— Ребята, держись! Наши подойдут на помощь, а пока будем драться, как дрались отцы... — закоптелый от дыма, кричал юнкер. Он уже свалил двух всадников, пыл боя захватил его целиком, сознание, что он командир башни и солдаты смотрят на него, берут с него пример, утроило мужество.

Но солдаты и без того сражались спокойно, уверенно, как будто делали свою обычную работу, не спеша, без суеты и суматохи, размеренно и точно.

Еще двое свалились на пол. Только теперь юнкер увидел, что защитников башни осталось всего пятеро, из которых один был ранен, двое охраняли вход, а двое отстреливались. Раненый был еще в силах заряжать ружья, но делал это очень медленно. Иногда пули попадали в колокол, висевший грибом на вышке, и тогда он раскачивался и гудел жалобным, похожим на стон звоном.

Упал еще один солдат, беззвучно рухнул на амбразуру стены. Пуля угодила ему в лоб в тот самый момент, когда он, припав к отверстию, хотел выстрелить в осаждавших. Внизу что-то сильно затрещало, слышались глухие удары... один, другой, затем разбитая, разрубленная топорами, рухнула дверь. В ее проем стреляли мюриды. Были видны их лица, слышны торжествующие крики, бранные слова. Один из солдат упал у двери, другой, отстреливаясь, отходил по лестнице вверх. Мюриды дали залп, и солдат, покачнувшись, выронил ружье и медленно, потом быстрее скатился с лестницы. Мюриды ворвались в башню. Они отпывивали, оттаскивали от входа мешки с песком, заграждавшие им





путь, бросились по лестнице вверх, но юнкер сначала из своего, потом из лежавшего рядом солдатского ружья свалил двух горцев, затем швырнул вниз большой мангал с горящими углями, на котором солдаты подогревали обед, и огромный ведерный чайник с кипятком. Все это было так неожиданно, так не похоже на войну и в то же время столь ощутимо, что горцы на мгновение замялись. Юнкер еще раз выстрелил и, раненный в плечо, опустился на пол.

Атакующие видели, как упал последний защитник, крики торжества заполнили башню. Обгоняя друг друга, желая ворваться первыми, кинулись вверх по лестнице двое лезгин, чеченец и молодой черноусый кумык. Остальные продолжали копаться в разбросанном солдатском имуществе, обшаривать убитых.

Юнкер с трудом подполз к бочонку с порохом. Он ослаб от потери крови, но, собрав последние силы, нащупал разбросанные на жаровне угли и сунул их в пороховой бочонок. Рванулось, взлетело к потолку пламя. Башня покачнулась, вздрогнула, осела, стены ее задвигались, и два последних этажа рухнули на уцелевший первый. Обломки вышки, камней и мусора разлетелись вокруг. Грохот взрыва оглушил всех толпившихся возле башни. Кони, вырвавшись из рук коноводов, носились по полю, люди бежали прочь от башни, а она грузно и тяжело валилась набок.

Дым, пыль и огонь на несколько минут закрыли место, где полчаса назад стояла сигнально-сторожевая пашня егерского полка, носившая скромное название «Русский штык».

Командир роты егерей поручик Панкратов, которого в сердцах обругал юнкер, несмотря на тщеславие и желание казаться аристократом, был, в сущности, неплохим и знающим свое дело офицером. Прослужив одиннадцать лет на Кавказе, он хорошо знал горцев, неплохо разбирался и в обстановке. Как только зажегся сигнальный костер и началась ожесточенная пальба у сигнальной башни, поручик немедленно выслал к ней разъезд казаков, а летучую связь, как тогда называли почту, посадил на коней и приказал быть готовой отправиться к крепости Бурной с донесением о появлении мюридов.

Не успев отъехать от роты и на версту, казаки заметили конные и пешие толпы горцев, не только окруживших башню, но и шедших к укреплению. Казаки повернули назад, на намете примчались к форпосту, но поручик уже и сам понял угрозу, нависшую над ним, редут «Вельяминовское» и крепостью Бурной. Четверо конных поскакали к крепости.

Панкратов, понимая, что удержать укрепление он не сможет, хотел отвести свою роту в крепость, но было поздно. Конница горцев отрезала дорогу, а пехота обложила укрепление.

— Будем биться до последнего... Милости от них не жди, — кивая на горцев, сказал поручик.



Солдаты заняли свои места. На валу стояли легкое орудие, ракетница и фальконет. Из четырех повозок, фургона и нескольких горских арб был составлен вагенбург, за которым засели стрелки, открывшие огонь по горцам. Солдаты с горечью и болью смотрели вперед, туда, где находилась башня и где неумолчно слышалась стрельба.

– Кабы помог Господь, удержались бы наши, – крестясь, сказал один из солдат.

Остальные не отвечали ему, понимая, что горсточка защитников не может, не в силах удержаться в башне.

– Эта шайка не устоит противу нас, братцы, только бить на выбор, а там и в штыки, – начал было поручик, но глухой взрыв остановил его. Над башней поднялся сизо-белый, затем черный дым. Он кружился под ветром, потом рассеялся и осел. Башни не стало. Солдаты крестились. Кто-то из старослуживых громко произнес:

– Упокой, Господи, души убиенных рабов твоих...

– Смирно! – закричал поручик. – Юнкер и отделение героями сложили свои головы за родину и царя. Покажем и мы, братцы, себя... Отомстим за своих... Орудие, бей гранатами и картечью по гололобам!.. Ракетнице и фальконету открыть огонь... Тут, куда ни бей, промаха не будет... Ишь ведь их сколько!

Действительно, вся конная и пешая сила Гамзат-бека после гибели сигнальной башни ринулась к укреплению.

Егерская рота насчитывала всего восемьдесят шесть человек. И эта ослабленная, защищенная непрочно сделанными временными укреплениями горсточка солдат полтора часа сопротивлялась яростно штурмовавшим форпост мюридам. Четыре атаки горцев были отбиты огнем орудия, залпами и штыковым ударом.

– Братья, правоверные, львы ислама, вперед!.. Блеск наших пашек затмит огонь их ружей. Вперед во славу Аллаха! – спешившись, обнажив клинок, призывал Гамзат.

Человек большой воли, несокрушимого мужества, особо почитаемый горцами за ученость и исключительное знание всех тонкостей и толкований Корана, этот человек был уважаем мюридами и за то, что будучи сам из горской знати, из владетельных беков, он безоговорочно присоединился к новому учению и стал одним из ревностных учеников и помощников Гази-Магомеда.

– Ля илльляхи иль алла! – закричали горцы и, возбужденные его словами и мужеством, распевая слова молитвы, бросились на пятый штурм разбитого укрепления и все еще стойко державшегося вагенбурга. На этот раз им удалось ворваться внутрь форпоста. Рубя, крича и стреляя, они разметали вагенбург. Форпост перестал существовать. Поручик Панкратов был зарублен возле орудия, которое пытался отбить. Орудие,



фальконет и ракетница с лотком нерасстрелянных ракет достались горцам; девять солдат попали в плен.

– Сжечь все до основания и вперед, братья! Уничтожим и Бурау, и эту проклятую крепость, – садясь на коня, сказал Гамзат-бек. Его черкеска была разорвана в двух местах, ружье дымилось и пахло порохом, но глаза убежденного в своей правоте человека смотрели твердо и вдохновенно.

Когда остатки форпоста с трех сторон занялись пожаром, полчища Гамзат-бека двинулись к крепости Бурная.

Комендант Бурной полковник Федотов не был похож на коменданта Внезапной. Старый кавказский солдат, участник многих ермоловских походов в горы, он еще молодым прапорщиком получил Владимира с бантом за знаменитый бой под Аслан-Дузом, где генерал Котляревский наголову разбил огромную армию персов.

Федотов знал солдата, любил его, был справедлив, но не потакал лодырям. Солдаты любили его за то, что он, не в пример многим командирам полков, рот и отдельных частей, не был вором, не совал рук в экономические суммы, не обкрадывал солдат и казну, а наоборот, отменно хорошо кормил нижних чинов и ни разу не позволил прогнать сквозь строй ни одного солдата.

Нападение на крепость не было для полковника Федотова неожиданным. Он еще месяц назад ездил в Темир-Хан-Шуру к генералу Эммануэлю, пытаясь убедить командующего левым флангом Кавказской линии в том, что войск в крепости мало и сама крепость приходит в упадок, плохо защищена.

Эммануэль сухо выслушал полковника и с типично немецким чванством чопорно сказал:

– Это не Европа, где нужны вобаны<sup>1</sup>, чтобы остановить французские или немецкие полки. Здесь Азия, противник – полудикари, и мне хочется, полковник, чтобы вы уразумели это и больше не обращались к начальству с подобными рапортами.

Федотов вернулся в Бурную, а Эммануэль к вечеру забыл и о нем, и о своей правоучительной фразе. Полковник своими силами стал укреплять внешние подступы к Бурной, углубил ров, возвел дополнительный вал, заполнил каменные цистерны водой и выписал добавочные запасы пороха, ядер, пуль, фуража и провианта. Своей властью он задержал в Бурной два единорога, чинившиеся в крепостной мастерской, и выслал за Терек всех лишних людей, запретив даже торговцам появляться в крепости. И не напрасно.

Прошло уже пять дней с момента нападения войск Кази-муллы на Внезапную. Горцы несколько раз пытались штурмом взять крепость, но гар-

---

<sup>1</sup> Вобан – знаменитый французский инженер, строитель крепостей и фортификационных сооружений.



низон отбивал все атаки. Не хватало воды, и майор перевел защитников крепости на сокращенный паек. Раненых и убитых было немного, так как стены крепости защищали солдат от обстрела, а две легкие пушки имама ничего не могли поделать с добротными воротами и укреплениями Внезапной. Орудия крепости не позволяли артиллеристам имама, состоявшим из беглых русских солдат, безнаказанно обстреливать Внезапную, а одно из ядер, пущенных со стены крепости, разворотило лафет и пушку горцев, вызвав взрыв порохового ящика.

Так в обстреле и ночных штурмах прошло еще четыре дня.

Передав майору Опочинину всю власть над гарнизоном и все заботы по спасению крепости, комендант, подполковник Сучков, все дни был или мертвецки пьян, или молился в крепостной церкви, почти не показываясь солдатам. Правда, однажды он появился перед защитниками Внезапной и в приливе пьяной отваги приказал бить в барабаны атаку, поднять весь гарнизон и с пением «Спаси, Господи» ударить в штыки на войска имама. Он даже пытался открыть ворота и возглавить атаку, но майор Опочинин и солдаты быстро связали его, и он уснул в своей комнате.

Ядра и гранаты подходили к концу, пороха было еще много, и тогда по совету мастера Аветиса, армянского оружейника, пушки начали заряжать кусками железа, свинца, мелкими обломками стали, и эти импровизированные заряды, в случае удачных попаданий, наносили большой вред штурмовавшим стены горцам.

Что было с Бурной и Низовой, откуда могла прийти помощь, в крепости не знали: войска имама по-прежнему держали Внезапную в такой глухой осаде, что до нее не доходил ни один звук извне. А с Бурной было то же, только там Федотов успел своевременно сообщить в Шуру и на казачью линию о нападении горцев.

Прошло еще несколько дней. Уже четырнадцать суток Внезапная была окружена и блокирована Кази-муллой, и двенадцать суток Бурная отбивалась от обложивших ее войск Гамзат-бека.

Оставив Шамиля вести осаду Внезапной, Гази-Магомед, спустя пять дней после нападения на крепость, сопровождаемый восьмьюдесятью мюридами, поехал к Бурной, которую настойчиво, но пока безуспешно осаждал Гамзат.

— Ля илльляхи иль алла! — молитвой и восторженными криками встретили войска своего вожака.

Прибытие имама, уничтожение сигнальной башни «Русский штык» и укрепления «Вельяминовское», захват орудия — все предвещало скорую победу и падение крепости. Имам, одетый в скромную черкеску и залатанный бешмет, поговорил с мюридами, прочел молитву и, совершив утренний намаз, вместе с Гамзат-беком направился к войскам. Они



шли к орудиям, стоявшим на вершине холма и методично стрелявшим по крепости.

— Эти проклятые Богом гяуры не подпускают близко к своим стенам, — жаловался Гамзат. — Но Аллах даст нам победу. Мы обязательно возьмем и сожжем крепости нечестивых русских, иначе все жители плоскости никогда не станут подлинными мусульманами.

Пушки крепости не переставая били по пехоте и залегшим за валом горским стрелкам. Орудия, закрепленные на стенах крепости, стреляли коническими, только недавно введенными, но еще не утвержденными Петербургом ядрами.

Гази-Магомед и Гамзат-бека остановили мюриды.

— Имам и ты, уважаемый Гамзат-бек, не ходите дальше... Русские пушки обстреливают дорогу, — предостерег один из горцев.

— Если Бог не захочет, пушки русских не попадут в нас, — ответил Гамзат.

Гази-Магомед кивнул и молча свернул с дороги к холму.

— Достойный и высокопочтенный Гамзат-бек, мы просим тебя от имени всех, кто сражается с неверными, удержи имама, побереги и себя... Люди не хотят остаться без вас...

— Нельзя нам быть сзади, когда идет бой и война с неверными только началась. Мы не ищем смерти, но мы и не страшимся ее, — ответил Гамзат и повернулся, чтобы нагнать поднимавшегося на холм имама.

Русское ядро ударило в орудие, повернуло его и с зловещим свистом вонзилось в ящик с пороховыми зарядами. Взметнулся огонь, и сильный взрыв потряс долину. Черный тяжелый дым пополз по холму, а люди, находившиеся возле орудия, упали. Тяжелая воздушная волна обдала Гамзата.

— Имам! Где Гази-Магомед?! — закричал Гамзат и вместе с мюридами побежал на холм.

Разбитое орудие было отброшено в сторону, возле него стонал солдат-батареец, рядом, уткнувшись лицом в землю, лежал другой. Остальные, обсыпанные землей и оглушенные, с почерневшими от копоти и пыли лицами возились у второго орудия.

Имам, опрокинувшись навзничь, лежал на склоне холма и, не мигая, смотрел в небо. Гамзат бросился к нему, но Гази-Магомед тихо, почти беззвучно прошептал:

— Я жив... Меня ушибло взрывом. Дайте мне воды и помогите подняться.

Один мюрид побежал за водой, другой вместе с Гамзатом осторожно приподняли имама, помогли ему встать.

— Аллах велик... — уже громче сказал имам, — и без его воли Азраил не возьмет нас... А мы, — он попробовал подняться, но ушибы помешали ему, — еще не сделали и четверти того, что должны сделать на земле во имя пророка.



Голос его стал тверже, уверенней, бледность уже сходила с лица.

– Вот вода, имам. Пей, и поможет нам Аллах, – подбегая с ведерком воды, крикнул горец.

Гази-Магомед медленно и долго пил. Гамзат поддерживал у его лица ведро и с радостью видел, как силы возвращаются к имаму.

– Гази! Тебе надо отдохнуть, полежать... – начал было Гамзат, видя, каким огромным напряжением воли Гази-Магомед заставил себя подняться сначала на колени, а затем с помощью людей и на ноги. Он стиснул зубы, чтобы не застонать, и опять бледность покрыла его лицо. – Имам... тебе нужен покой, – настойчиво повторил Гамзат.

Но тот только покачал головой.

– Покой нужен мертвым, удел живых – газават!

Он обвел глазами поле, где поднимались белые дымки разрывов ядер, пущенных из крепости. Бой шел не утихая.

– Пойдем к ним, – показывая на сражающихся, сказал Гази-Магомед. – Воины должны видеть нас... И пусть никто не говорит об этом пустяке, который причинили мне русские.

Через час Гази-Магомед ненадолго потерял сознание, и его на бурке отнесли в тыл отряда. Вскоре он пришел в себя, но его сильно подташнивало, болела голова, и Гамзат понял, что будет лучше, если имам на время оставит войска, осаждающие Бурную.

Имам спокойно, не споря, выслушал друга.

– Ты прав, Гамзат. Сейчас мне нужен покой и долгий сон, поэтому я вернусь в Андрей-аул, а ты продолжай с божьей помощью громить нечестивых.

Гази-Магомед помолился, съел пол-лепешки с сыром и кусочек вяленой баранины. Гамзат и Ташов-хаджи, сидевшие возле него, даже и не заметили, как обессиленный от контузии Гази-Магомед уснул. Они подождали несколько минут, затем тихо, на цыпочках отошли от имама.

Опорный пункт русских войск, расквартированных на левом фланге Дагестанской линии, находился в Шуре. Правда, городом и центром военной администрации левого фланга урочище Темир-Хан-Шура с ее крепостью, фасадами, вынесенными вперед постами и блокгаузами, станет лишь в 1834 году, когда генерал барон Розен закончит строительство, а епископ Варнава освятит построенное укрепление и военный городок. Пока же Шура являлась опорным пунктом русских со значительным количеством войск, с солидной артиллерией, несколькими полками донских казаков, солдатской и торговой слободками и сильно укрепленной крепостью.

Строили ее и русские, и кумыки, и армяне, и персы, привлеченные хорошиими заработками и долгой обеспеченной работой.

Командующий левым флангом генерал Эммануэль, тот самый, что недавно так неуважительно отнесся к рапорту полковника Федотова, полу-



чив донесение, что на крепости Бурную и Внезапную произведены нападения горцев и Кази-мулла держит в осаде оба эти укрепления, лишь теперь понял, как нелепы были его сравнения французских и немецких полков с горцами. Сообщение, что Кази-мулла смог нанести одновременный удар чуть ли не по всей линии левого фланга, не только испугало генерала, но и заставило уважать воинственного и непонятного ему противника.

Крепость Бурная не так давно перенесла землетрясение и не была еще полностью восстановлена. Генерал знал об этом. Особенно его тревожило то, что возле Бурной, расположенной недалеко от берега Каспийского моря, находились провиантские склады, куда стекались военные грузы, пришедшие из Астрахани морем. По некоторым сведениям, Русская Пристань была в бою захвачена Кази-муллой и сожжена, имущество и грузы разграблены, а около половины уцелевшей после боя роты вместе с капитаном Барсуком, провиантским чиновником и несколькими штатскими людьми успели на шлюпе «Витязь» отойти в море.

Как обстояло дело с Внезапной, генерал не знал. Донесений оттуда не поступало, казаков, по-видимому, перехватили мюриды, что касается слухов, распространяемых кумыками и перепуганным населением расположенных возле Шуры аулов, генерал и верил и не верил им.

Одни говорили, что обе крепости уже взяты Кази-муллой, гарнизоны истреблены и имам со всем своим многочисленным войском идет на Шуру, другие уверяли – на Дербент, третьи – на Грозную.

Ясно было одно: нужно немедленно собирать силы и спешить на помощь осажденной Бурной. Генерал знал, что весь Дагестан бурлит и при первой же неудаче все общества и аулы, даже связанные с русскими торговлей и симпатиями поселения кумыков и аварцев, пойдут священной войной на русских.

В эти грозные и тяжелые часы ожидания, тревожного раздумья к Эммануэлю прибыли с пятисотенной туземной милицией владетельный хан Мехтулы Джевад-Нурцал-бек, Ахмед Али, конница Ибрагим-бека и дербентская милиция. За ними пришли еще две с половиной сотни кюринских всадников Аслан-хана. Это было добрым знаком, и после недолгого военного совета с штаб- и обер-офицерами шуринаского гарнизона Эммануэль решил идти на помощь осажденным.

Из Темир-Хан-Шуры, Дербента, Грозной и Кизляра были посланы войска. Гребенской полк под командованием полковника Волженского в составе шестисот сабель при двух орудиях, был срочно направлен к Гудермесу «для перехвата и полного уничтожения орды, собранной в горах лжеимамом». Так хвастливо был написан приказ Гребенскому полку. Генерал Коханов с девятью батальонами, артиллерией и полком донских казаков двинулся к Бурной и Внезапной. Из затеречных станиц к путям возможного отхода горцев направились запасные роты и казачьи сотни. Словом, вся левая линия русских войск пришла в движение.



Полковник Федотов обходил посты. На левом фесе у орудия сидели артиллеристы, покуривая трубочки, сдержанно перекидываясь скупыми фразами.

– Табачок есть, братцы? – присаживаясь возле них, спросил комендант.

– Пока хватает, вашсокбродь, курим по-богатому, а вот коли еще етот Коза-мулла не уйдет в горы, придется делиться куревом.

– Уйдет, я знаю их моду – не взял с налету, раз-два обжегся, тогда назад. Есть кто из старослуживых? – приглядываясь в темноте к покуривавшим солдатам, спросил полковник.

– Да почитай все старые... Самый молодой вот он, Гришаткин. Третий год на Капказе, остальные – кто семь, а кто и все десять лет ломают.

Слабые огоньки трубочек чуть-чуть освещали лица солдат.

– А что, как они да на огонек ахнут! Вы б, ребятушки, в кулак курили или по-другому как, – предостерег полковник.

– Это навряд, вашсокбродь. Наша угловая надысь как навернула по их батарее, так одно орудие напополам побило, – ответил артиллерист, но тем не менее все стали курить кто в кулак, кто заслоняя огонек трубки фуражкой.

– А что, долго он еще возле нас копаться будет? – спросил кто-то.

Солдаты насторожились.

– Думаю, еще один-два штурма отобьем, тогда и уйдут.

– А помощь к нам ожидается чи нет, вашсокбродь?

– Генерал Эммануэль знает о нашем положении, да и Коханов спешит к Бурной, – неопределенно сказал комендант.

– Давай бог, скорее, а то устали, вашсокбродь, сколько ночей не спамши. Все в ружье, да в караул, да по тревоге... – раздались голоса.

Подожли еще солдаты.

– Да и людей побито немало, опять же и устали, и воды маловато, – слышалось из темноты.

Воды тебе маловато... – возразил ему негодующий голос. – Ты б с нами в запрошлом годе походил бы в поход на Черкей да эти чертовы Кутуши, тогда узнал бы. Чего тебе тут не хватает? Пока и воды, и табаку, и мяса вдоволь...

– И хлеба тоже два фунта в день, – поддержал его кто-то.

– Вот-вот, два фунта, а в Кутушах и сухаря на день не было, и табак... солону курили да сухой лист... Вот, брат, как...

Комендант молчал, в душе радуясь такому обороту солдатского разговора.

– Опять же, братцы, мы тут за стеной сидим, ни ранца, ни пороха с пулями не несем и на горы-кручи не лазим, а там... и-и-и, боже ты мой, по этим самым камням да скалам шагать приходилось... – заговорил еще кто-то.

– Это ты, Синицын? – узнал комендант.





– Так точно, вашсокбродь, он самый, про те проклятые горы вспоминаем, что в песнях поется.

*Горы исполины*

*Без краю, без концов.*

*Кавказские долины,*

*Кладбища храбрецов... –*

негромко, но выразительно произнес он. Все молчали, и только издали, со стороны обложивших крепость войск имама, доносился неясный шум то ли движения конницы, то ли ржания коней.

Комендант прислушался.

– Эту песню составил один драгунский прапорщик, его как раз и убили в ту экспедицию, под Черкеем, – продолжая прислушиваться к шуму на поле, сказал он.

С верков крепости ударили одна за другой две сигнальные ракеты, забили барабаны, и крепость сразу же ожила, заполнилась шумом и движением.

Это был последний штурм мюридов. Как только сигнальные рожки и барабаны забили тревогу, со стен Внезапной сбросили промасленные, пропитанные нефтью тюки с тряпками; они горели долгим дымным пламенем, озаряя темноту, освещая подступы к крепости. Орудия били картечью по толпам горцев, неистово рвавшимся к Внезапной. Самодельные ручные гранаты, родоначальницы тех, которые позже вошли в обиход войск, рвались и лопались среди атакующих.

Долгое, бесконечное, незатихающее «ал-ла» перемешалось с грохотом орудий, ружейными залпами и пистолетной трескотней... Дважды дело доходило до рукопашной, когда мюриды по штурмовым лестницам добирались до стен крепости, но оба раза штыковой удар сбрасывал их.

Бой шел уже третий час, и положение крепости ухудшалось. Пушки накалились так, что жгли руки артиллеристам, кончался порох, ядер осталось настолько мало, что через час все пушки должны были замолчать.

Дым, вспышки выстрелов, стоны, грохот пушечной пальбы и приближающееся «ал-ла-а-а» заполнили все.

Под утро, в самый разгар битвы, к Шамилю, руководившему штурмом и осадой крепости Внезапной, подошел его дядя Бартихан, родной брат отца. Небо было серым, предутренний воздух свежим, пропитанным сыростью от росы и поднимавшегося тумана. Кое-где на горизонте уже просвечивало зарождающееся утро. Ночь боролась со светом так же упорно, как дрались у крепости мюриды и защищавшие ее русские.

Шамиль искоса глянул на Бартихана, которого очень чтил, любил как близкого и надежного человека. С детства зная привычки дяди, он видел, что тот хочет ему сказать что-то важное, но не решается сделать это в присутствии других.



– Отчаянно защищаются свиноеды, но Аллах на нашей стороне, – отводя Шамиля в сторону, начал Бартихан, и Шамиль понял, что дядя совсем по иной причине отвел его в сторону.

– Что случилось? – спросил он, когда они отошли на некоторое расстояние от людей.

– Имам ранен... Проклятые гяуры попали в пороховой ящик. Крепость Бурау не взяли... Имама отвезли в Черкей, а к русским пришла помощь из Шуры. Гамзат-бек отступил и сейчас на полпути к нам.

– Как имам? Может ли руководить нами? – после короткого молчания спросил Шамиль.

– Аварец, присланный от Гамзата, видел имама на коне.

– Слава Аллаху! Значит, рана не так опасна...

– Русские идут сюда... У них десять орудий, много пехоты, со стороны Гудермеса и Кизляра идут казаки. Что будем делать, Шамиль, сражаться или уйдем? – спросил Бартихан.

– Биться! Сейчас нельзя бросать наполовину не законченное дело. Если и мы уйдем отсюда, то русские назовут это своей победой, а все колеблющиеся аулы отступятся от нас.

– Твоя правда, сын моего брата... Но имам приказал снять осаду и отойти к Гудермесу. Там соединятся все наши силы, и, если Аллах благословит нас, мы снова дадим бой русским.

Гамзат отвел свои отряды в сторону Ауха. Осада Бурной была снята. Конные горцы, наблюдавшие за русскими войсками, видели, как из крепости навстречу освободителям вышли с развернутыми знаменами солдатские роты, послышались дробь барабанов, «ура» и радостные крики.

С вершины холмов конные горцы видели, как обнимались русские солдаты и как генерал, командовавший пришедшими из Шуры войсками, принимал рапорт коменданта крепости.

Потом конные мюриды ушли, оставив наблюдателей на окрестных высотах.

К полудню Шамилю сообщили, что имам приближается к Внезапной и его сопровождает часть войск Гамзат-бека.

– Аллах, Аллах! – удивился Шамиль. – Какова сила и каков дух у муршида! – И, оборотаясь к чеченцам и кумыкам, окружившим его, сказал: – Поистине, пока Аллах благословляет наше дело, ни один волос не упадет с головы имама. – Он отдал распоряжение пехоте и кавалерии поотрядно уходить в ауховские леса.

Горцам, не любившим длительных позиционных боев, не приученным к однообразию осады, было по душе приказание Шамиля. Четырнадцать дней под стенами крепости, несколько безрезультатных штурмов, вынужденное безделье и прикованность к одному месту, а также потери



в людях и все ухудшавшаяся нерегулярная доставка пищи утомили их, и чеченцы, более свободные в своих поступках и рассуждениях, нежели лезгины и тавлинцы, уже не раз выражали недовольство бесцельным топтанием вокруг несдававшейся крепости.

Лагерь горцев ожил. По дороге к Андрей-аулу промчалась конница, двинулась пехота, из аула по Гудермесской дороге потянулись подводы. Прекратилась стрельба, и лишь иногда какой-нибудь удалец на белом коне, в огромной черной папахе, подскакав на ружейный выстрел к крепости, стрелял по Внезапной и затем медленно, под ответным огнем русских, шагом отъезжал в поле.

Со стен крепости тоже заметили необычное движение в лагере горцев, наблюдатели, сидевшие по углам и на фасах, обнаружили отход части мюридов на Андрей-аул. Майор и артиллерийский капитан Кочин внимательно и долго разглядывали в подзорные трубы странное передвижение горских отрядов.

Солдаты с надеждой и волнением поглядывали на офицеров, вслушиваясь в слова, которыми обменивались начальники.

– Похоже, уходят, – высказался артиллерист.

– Дай-то бог, но с этими людьми надо быть настороже... Может, и уходят, а может, и военная хитрость, – раздумчиво произнес майор.

– Должно, уходят, вашсокбродь. Ожглись на нас, не взяли с налету, так чего им под стенами-то делать, – сказал артиллерист. – Во-о-о-н, видите, пыль куда перенеслась, уже за Андрей-аулом встала... Не иначе как уходят, – решил он.

– Дай-то Христос... Может, наши на выручку идут... Знамо дело, бегит отселя Азия, – вразброд заговорили солдаты, и радостные улыбки осветили их лица.

– Может, и уходят, а может, и хитрят. На всякий случай вызови дежурную полуроту на стену да орудия заряди картечью. Береженого и Бог бережет, – распорядился майор.

– Осторожность не мешает, – согласился капитан и пошел к своим пушкам.

А в долине все меньше и меньше оставалось людей. Уже шли горцы, перекрывавшие дороги на Хасавюрт и Чир-Юрт.

Поднимая пыль, гарцуя и куражась своим молодечеством и бесстрашием, на рысях прошла вдоль верков крепости колонна мюридов человек в полтораста. Они лихо завернули за холм и, взяв направление на темные чеченские леса, скрылись за пологими холмами.

– И впрямь уходят! – тихо сказал один из солдат. Другой снял шапку и перекрестился.

На стенах крепости в полном облачении показался полковой священник отец Калистрат. За ним шли солдаты-служки и несколько певчих. Священник, размахивая кадилом, дымя ладаном, запел высоким фаль-



цетом «Спаси, Господи», хор, а за ним солдаты, и те, что были на стенах крепости, и те, что стояли попеременно с казаками во дворе, в карауле и у ворот крепости, подхватили:

– Лю-у-ди твоя и благослови достояние твое...

Наблюдатели видели со стен крепости, как толпы мюридов уходили из Андрей-аула, как на его улице и дороге сначала поодиночке, робко и осторожно показались женщины, высыпали ребятишки, затем к крепости пошла группа людей, среди которых майор узнал старшину аула, двух-трех кумыков-торговцев и несколько почтенных стариков.

На стене появился опухший от пьянства, растрепанный, с красными от перепоя глазами комендант. Узнав, что Казимулла снял осаду и ушел, комендант воспрянул духом и, мешая майору и офицерам, стал отменять отданные майором приказания.

– Открыть ворота... бей сбор – пехоту в поле, казакам на коней! – кричал он. – Бат-та-реям приготовиться к огню...

Он бестолково махал руками, как видно, предполагая вывести гарнизон в поле.

– Помиловосердствуйте, какие теперь выходы в поле?! Орда отступила, нам следует привести себя в порядок, осмотреться, – начал урезонивать его майор Опочинин.

– Молчать! Я здесь комендант, я приказываю. В атаку... в штыки... чтоб их и духу не осталось! Я перед царем и Богом отвечаю за крепость. Приказываю за ворота...

Тем временем к стенам крепости подходили старики из аула. Остановившись у дороги, они сняли папахи и замахали ими, что-то крича русским.

– Батарей, на картечь их... всех, без пощады! – завопил комендант, вряд ли даже понимая, кто подошел к крепости.

Майор сделал рукой отрицательный знак артиллеристам и почти силой увлек коменданта со стены.

– Ушли... все ушли в горы... увели тридцать человек аманатов из аула, забрали кое у кого коней, седла, ячмень, хлеб и баранину... Наказали плетью тех, кто торговал с вами, в другой раз обещали отсечь головы, – наперебой рассказывали майору старики.

– А как с солдатами, которых захватили в ауле?

– Шесть человек угнали в плен, не то в Аксай, не то в Черкей. Остальных погубили.

– Ваши тоже положили немало мюридов, особенно один, тот, что заперся в сакле почтенного Махмуда. – И старики рассказали офицерам о том, как один из солдат долго отбивался от мюридов, и только милость имама, восхищенного его стойкостью, спасла ему жизнь.

– Он сидел на бочке с порохом, держа огонь возле, и никто не мог ворваться к нему... Он хотел взорвать и себя, и мюридов, – с уважением говорили старики.



– Сам Шамиль-эфенди пришел к нему со словами и милостью имама. Храбрые люди у мюридов в почете, и имам простил вашего солдата.

– Кто б это был? – в раздумье спросил Опочинин.

– Его ваш падишах из офицеров в солдаты прогнал... так говорили мюриды, говорили, он взбунтовался, когда у вас старый царь умер, – сказал старшина.

И после долгих расспросов и пояснений все поняли, что это был Булакович.

Старики рассказали и о том, что имам приказал зарыть в землю тела убитых и обезглавленных солдат, раз и навсегда запретив горцам отрубать головы погибшим в боях врагам.

Это было что-то новое, и майор, и офицеры, не доверяя сказанному, переспросили стариков.

– Да, имам запретил издевательство над убитыми врагами, считая это постыдным и недостойным мюридов делом.

Офицеры переглянулись, проникаясь невольным уважением к Кази-мулле.

Конная разведка выяснила, что горцев не было и за Андрей-аулом. Пехота снова заняла свои места. Майор расставил посты и караулы за валами и рвом.

Все было, как две недели назад, но сама крепость, подступы к ней, ее стены, побитые ядрами и пулями, обветшалый и обшарпанный вид ясно говорили о ее слабости. Внезапной, той, которую создал Ермолов, укрепил Вельяминов и защищал полковник Чагин, той Внезапной – не было.

«Почему они ушли? Побоялись подхода наших или разуверились в своих силах?» – обходя крепость, думал майор Опочинин. Ему, старому кавказцу, было ясно, что крепость могла бы выстоять еще неделю-полторы, затем... Он покачал головой.

Шедший рядом с ним саперный офицер, или, как тогда называли, «траншей-майор», делал записи, выяснял степень разрушения крепостных стен, вала, рвов и предохранительного пояса.

Хотя Кази-мулла ушел, гарнизон крепости все еще был под впечатлением двухнедельной осады.

Впервые за долгие годы кавказской войны горцы осадили и держали взаперти крепость с сильной артиллерией и крепким гарнизоном. Такого прежде не бывало!

Казачьи разъезды поскакали за Андрей-аул и, удалившись на семь-девять верст от него, удостоверились, что горцы действительно ушли. А через час издали, со стороны кечаульской дороги, глухо, потом ясней и раскатистей донеслись пушечные выстрелы. Они усиливались. Где-то, верстах в двадцати, гремел бой. Видимо, приближался русский отряд.

Комендант крепости, к этому времени уже пришедший в себя, опухший от беспробудного пьянства, с красными заплавленными глазами, но



при пашке и шарфе, появился перед гарнизоном, выслушал доклад майора и приказал сотне донцов выйти навстречу все ближе и ближе придвигавшемуся орудийному гулу.

– Наши идут... помощь подходит... спас Христос! – крестясь, говорили солдаты, поглядывая на кечаульскую дорогу.

Донцы на рысях скрылись за пригорком, с которого недавно стреляло по крепости орудие мюридов.

А за холмами поднялось густое, рыже-белое облако пыли. Оно обложило холмы и дорогу. Было ясно, что на крупной рыси идет конница.

Прошло еще около часа, и на дороге показались драгуны. Они двигались широким строем, по шести, спокойным шагом, не горяча коней. Рядом с эскадронным командиром ехали четверо донцов, а за драгунами шла пехота, сверкали пики и штыки, клубилась пыль, катились орудия. А пехота все шла и шла... Передние роты уже подходили к Андрей-аулу, а запыленная лента колонны еще поднималась на холмы и, переливаясь, спускалась в долину.

Весь гарнизон Внезапной высыпал навстречу. Солдаты, торговцы, женщины, казаки – все шумно, криками, объятиями встретили драгун, потерявших в этой взволнованной суматохе воинский строй.

Подполковник Сучков строевым шагом подошел к генералу Эммануэлю и, сделав пашкой «подвысь», громко и отдельно выкрикнул:

– Честь имею доложить вашему превосходительству, что крепость Внезапная выдержала пятнадцатидневную осаду горцев и отбила шесть ожесточенных штурмов.

Генерал обнял коменданта и коротко сказал:

– Спасибо за службу. Государь император не оставит вас своей милостью. Ура!

И все: и солдаты, и казаки, и вольные, только что пережившие осаду и штурмы, – громко и радостно подхватили: «Ура-а!»

Генерал Эммануэль, сопровождаемый офицерами, направился в крепость, а войска все подходили к Андрей-аулу мимо настороженных и испуганных жителей.

## Глава 8

Чем ближе подъезжал Небольсин к Кавказу, тем заметнее становилась разница в природе. Красочней, наряднее были густые кущи придорожных роц и перелесков; зеленее луга с пышной, сочной травой; ярче цветы, покачивавшиеся на высоких стеблях. Курганы, на которых недвижно, как изваяния, сидели орлы; голубое, переходящее в лазурь небо с белыми, чуть передвигающимися стайками облаков и чистый степной, пахнущий солнцем, землей и ветром воздух. Ароматы



степи – мяты, чабреца, полыни и густого цветения трав – висели над степью.

– Эх, Александр Николаич, вот земля, не надо другой!.. А воздух, а ширь какая!.. Здесь бы крестьянству жить, чего б только мужики тут не сделали! И рожь, и пшеница, и виноград, и скоту какое раздолье, – полуоборачиваясь, с облучка сказал Сенька.

– Тута, браток, еще воля нужна... Ежели мужику земли не дать, он и тута связанным будет, – возразил ямщик.

– А что? Разве и здесь крепостные? Ведь, говорят, на Кавказе этого нету, – удивился Сенька.

– Это верно. Крепостных здесь вроде горстка, одна малость, да земли-то мужику не дают. Все казаки забрали.

– А вы как?

– А так. Берем у них вроде как исполу. Сеем, жнем, убираем, а им половину со всего, – ответил ямщик.

– Зато они вас от чеченов да разной орды берегут. Вы сеете, а они воют, – не сдавался Сенька.

– Нам тоже достается... Когда надоть, и нас за Терек гонют. Вот теперя новая мода пошла. Надьсь начальство собрало нас, объявило государеву волю. Кто, говорит, хотит быть слободным от крепости и землю получить – записывайся в казаки. Переселяют тебя на линию, разошлют по станицам, дадут землю, волю, без налогов жить будете, даже на первообзаведение по сто рублей серебром да худобы какой дадут...

– Ну и как? – весь превращаясь в слух, спросил Сенька.

Небольсин тоже внимательно слушал ямщика.

– Да есть, которые согласные. У нас в селе Терново человек пятьдесят с охотой в казаки прописались, да и в соседях, в Раздольном, тоже многие согласные.

– А ты как?

– Я нет.... Не пойду в казаки, нехай какие дурни хочут, идуть, а я – нет.

– А почему? Ведь и воля тебе, и земля, и свобода полная, – удивился Сенька.

– Сло-бо-да, – протянул ямщик, – а что за Терекom чечены с ордой – забыл? Там каждый день така резня идет, что не токмо слободу, а и все на свете не захотишь.

– Дурак и трус! – обругал его Сенька. – Ну и сиди себе как таракан за печкой, вози проезжих да целуй своему барину зад...

– Ты-то много понимаешь, – пренебрежительно махнул рукой ямщик, – ты вот поживи на линии, погляди на Азию, на ихову разбойную жисть, тогда и учи нас.

– Я-то жил на линии. И в Чечне, и в Дагестане, и на персов ходил – и ничего... жив. А ты наслушался баб да разных трусов... Эх ты, Аника-воин.



– Ну-у! Неужто жил здесь?

– А как же! Мы с барином, его благородием, цельных два года с лишним в Грозной, Внезапной да Тифлисе служили, всего повидали, а что касаемо Чечни да Азии, то середь них тоже люди есть, брат, получше нас с тобой.

– Н-да! – с удивлением протянул ямщик. – Это кому как, иначе мне не ндравится в казаки, нехай идуть, которым жисть надоела...

– Ну и вози всю жизнь проезжих да подвязывай коням хвосты, – оборвал его Сенька.

Дорога, обрамленная с двух сторон густыми зарослями ив, акаций и кустов дикого терновника, шла мимо небольшой речки. Близость воды и прохлада одинаково бодрили и людей, и коней. Не подгоняемые возницей, кони бойко бежали по заросшей травой дороге.

– Хорошо здесь жить, – вздохнул ямщик, – чего дале лезть. Здесь хрещеный народ, русская сторона, спокойная, а там, – он махнул кнутом вдаль, – за Ставрополем, без войска да без okazji ни шагу не пройдешь... Казаки, говорят, и скот пасут, и жнут, и в садах робят все с ружжом да пашкой. Без оружия ни в степь, ни в лес, ни за околицу не ходют, да и бабы их так же!

– Правильно, зато свободный народ, ни тебе пана, ни барина, ни помещика. Одно слово – вольный казак, – сказал Сенька.

– Нехай буду с паном, да голова на плечах цела останется, – решительно возразил возница.

– Вот и дурак, противно с тобой, холуем, об хорошей жизни разговаривать!

Небольсин с удовольствием прислушивался к беседе этих так не похожих друг на друга людей, и Сеня, его молочный брат и близкий человек, Сеня стал еще ближе и понятнее ему.

Возок вырвался из зелени деревьев, дорога повернула вправо, вдали сверкнул золоченый купол деревенской церкви, на холмах кое-где темнели сады, пестрели белые и розовые хаты и тянулись дымки из труб.

– Нет, – после раздумья начал вновь возница, – нехай помещик, зато живой будешь. – И, перегнувшись с облучка к Небольсину, доложил: – Вот, барин, и Кривой Кут, а там подале, верстов десять, и казачий хутор. Отдохнуть хочите, может, попить молочка, каймаку али квасу с дороги – тут все найдется. А брага така, – он мечтательно улыбнулся, – и в Ставрополе за цалковый не сыщешь.

Небольсин хотел отказаться, но привлеченный странным шумом сбившихся в единый табор людей, развьюченными конями, пасшими в стороне стадом, лаем собак, телегами, составленными оглоблями вверх, подводами, стоявшими ровными рядами в стороне под холмом, спросил:

– Что это, цыгане, верно, табор их?





– Никак нет, барин, это мужики с Расеи, сюда с государственных земель крепостных переводют. Опять же тех, кто хочет переселение на линию издевать. Их всех по станицам в казаки пропишут, год-два поучат, на коней посадят, середь казаков и они воевать станут. А баб, баб сколько, – оживился он. – Гляди, барин, на одного мужика по три бабы станется. А это вот чего. Тута новые станицы образуют, где, значит, начальство укажет, ну а баб всем не хватает, товар в Расее дешевый, а здесь, на Капказе, баб нехватка, вот их сюда, мужицких вдов, сирот, девок засиделых да гулящих шлюшек, и посылают. Каждной по двадцать рублей и харчи, а в пути – конвой. Кто захотит бечь – розги, а денег – ни-ни, и харч похуже других. А никто и не бежит, зачем? Им в Расее не в пример хуже, а тута и муж, и земля, и своя худоба, а там и детишки, гляди, пойдуть...

– Ну-ка, подвези нас к ним, – приказал Небольсин, с любопытством поглядывая на людей, расположившихся табором под холмом, возле реки, среди зелени невысоких кустов.

– От добре! – засмеялся Сеня. – Я, Александр Николаич, гляди, и себе середь них женку поищу.

Возок свернул с дороги к холмам. Всюду дымились костры, на камнях, положенных в огонь, стояли казаны, на железных прутьях висели котелки, ведерки с едой и кипящей водой. Дымки тянулись по ветру, растекаясь между кустами.

В разношерстной толпе лежавших на траве, сидевших под кустами, прятавшихся в тени деревьев или сновавших по лагерю людей подъехавший возок не произвел никакого впечатления. Было видно, что подобное случалось не раз и переселенцам было не до любопытных проезжих.

Из палатки, разбитой на берегу реки, выглянул офицер. Он недовольно оглядел остановившийся возок, но, завидя неподвижно сидевшего Небольсина, скрылся и спустя полминуты заспешил к возку, надевая форменную фуражку.

«Верно, принял меня за начальство», – подумал Небольсин.

Офицер подошел вплотную и, взяв под козырек, представился:

– Провиантский поручик Суслов, начальник переселенческой команды. С кем имею честь?

Небольсин вылез из возка. И этот офицер, и вся церемония знакомства тешили его.

– Гвардии капитан Небольсин, из Санкт-Петербурга. Еду по высочайшему повелению в штаб корпуса, – важно произнес он.

Провиантский поручик вытянулся «во фронт» и четко доложил:

– Имею честь сообщить: в дороге находимся девятые сутки, никаких происшествий не случилось, кроме троих больных да потери от падежа скота: коровы, телки и четырех овец. Нонче дневка, завтра отдых, послезавтра в Ставрополь, где должен меня сменить ставропольский провиантский офицер и воинская команда.



– Здравствуйте, – протянул руку Небольсин.

– Здравия желаю! – поспешно ответил поручик. – Позвольте предложить вам отдохнуть в моей палатке. Есть чай, ром, рыба, найдутся и ба-раньи котлеты...

«Из тех овец, что списаны как павшие в пути», – подумал Небольсин.

Сидевшие вокруг переселенцы прислушивались к ним. Кое-кто из мужиков и баб, одергивая рубахи, смятые юбки, подходили поближе, почтительно глядя на неожиданного гостя. Из второй палатки, разбитой в тени под холмом, поспешно вышел, приглаживая волосы ладонью, человек в кителе с узкими серебряными погонами.

– Имею честь представиться вашему высокоблагородию, провиантский чиновник Колесов, – шаркнув ногой, доложил он не ожидавшему такого эффекта Небольсину.

Толстомордый фельдфебель и пожилой унтер-офицер, стоя навытяжку, «ели» глазами штабс-капитана.

«Черт их знает, за кого они приняли меня», – козырнув им, подумал Небольсин, пробираясь между окружившими палатку переселенцами. Тут были главным образом бабы в грязных от долгого пути сарафанах, подтянутых юбках, цветастых платьях, в платочках и простоволосые, с нечесаными космами спутавшихся волос. Долгая дорога, скученность, короткие ночевки, усталость, отсутствие бани и отдыха сказались на них. Большинство равнодушными глазами смотрело на проходившего мимо капитана, другие просительно улыбались ему, думая, что офицер приехал в лагерь по их переселенческим делам.

Несколько озорных, бесстыжих девок в упор разглядывали Небольсина, о чем-то негромко перешептываясь, хихикая и перебрасываясь довольно фривольными словечками.

– Ну, не баловать... Подите прочь! – крикнул им поручик, пропуская гостя внутрь палатки.

Палатка была прочная, из толстого брезента с двойной обшивкой сверху, со слюдяным оконцем сбоку. Стол, два табурета, складная кровать, два хурджина, ружье и большой баул были убранством жилища поручика.

– Сидоренко! Чаю, рыбы, подогрей котлеты да бражки на стол, – приказал поручик своему денщику.

Небольсин с удовольствием разминал уставшие от тряски в возке руки и ноги, с любопытством глядел на вошедших вслед за ним провиантского чиновника и прапорщика, по-видимому, начальника охранной команды.

– Александр Николаич, ямщик просит, коли пробудем здесь с часок, выпрячь коней и покормить их. Я так думаю, Александр Николаич, здесь нам отдохнуть не в пример лучше, нежели в Ставрополе. Опять же и трава, и вода рядом, и воздух другой. Ке ву дит? – закончил по-французски заглянувший в дверь Сеня.



– Бьен. Пусть распрягает, кормит коней, да и ты, Сеня, подкрепись с дороги, – ответил Небольсин.

– А мы их тоже накормим. Всего хватит, господин капитан, – поспешно сказал поручик. – Прошу вот с ними, – указывая на фурштадтского чиновника, предложил он Сене.

За палаточной стеной слышались голоса, иногда смех или резкие крики, мычание коров, ржание коней и опять неясные обрывки слов. Небольсин с удовольствием ел и котлеты, и рыбу гостеприимного поручика, запивая этот обед холодной брагой. Сеня принес из возка бутылку белого рейнвейна.

– За ваше здоровье, – сказал Небольсин поручику.

Они выпили, и штабс-капитан, которого очень заинтересовал этот неожиданно встреченный лагерь, стал расспрашивать о нем.

– Тяжелое дело возиться с ними, господин капитан, – вздохнул поручик, – Ведь кто эти люди? Главным образом те, кому не живется у себя на местах. Помещики продают государству на вывоз сюда самых что ни на есть отпетых людей либо лодырей да пьяниц. Бабы – или безмужные какие, или вдовы, которым все равно, где ни жить, девки – почти все гулящие да озорные – и пить, и воровать уже научились. А ведь их по счету принимаешь, по счету и сдавать надо... Хорошо еще, фершал казенный с нами всегда имеется: как что, ну и спишет какую как помершую в пути...

– Как спешет? А куда ж она денется? – удивился Небольсин.

– А коли сбежит или кто ее в пути у себя спрячет. Бывает и так, девка ладная, с лица пригожая, ну какой казачишка или мещанин, а то и слободской скроет ее от нас. Поищем-поищем, не стоять же из-за нее лагерю, мы дальше, а полиции или исправнику сообщаем – «сбежала, мол, такая-то. Разыщите – гоните со следующей партией туда-то». Да что-то никого не находят, верно, не ищут или откупаются от розыска, ну так мы другое нашли: померла от тифа в дороге, или лихоманки, или от чего иного. Ее и спишут, только и делов, – потягивая вино, пояснил поручик.

– А вот эти как будто спокойные, особенного ничего не видно, – кивнув в сторону лагеря, сказал Небольсин.

– Так это государственные мужики, казенные люди, из удельных, из царских крестьян. Они охотой переселяются. Им и волю, и землю дают на Кавказе, их сейчас же в казаки проводят. Им что? Они охотой все делают, и бабы, и дети с ними. Эти Бога благодарят, что в казаки записываются. Не пройдет и года, как они заправскими казаками станут. У них и свой скот, и свое имущество оставлены, зато, – поручик вздохнул, – в партии нашей много гулящей швали идет, девок да приبلуды всякой... С этими горя наберешься... сладу с ними нет, такие бессовестные...

– Кто?



– Да распутные бабы, шлюхи всякие. Их с разных мест согнали. Есть и московские, и тверские, и деревенские из-под Рязани да Тулы.

– И много их?

– Да голов двести будет, – ровно о скоте, сердито сказал поручик. – Не чаем, когда доберемся до Ставрополя да сдадим тамошнему начальству да полиции.

– А сами?

– А сами отдохнем два дня – и назад, в Большой Егорлык, а там новая партия – опять гони их в Ставрополь. Так и живем.

– И сколько всего этапов пути? – заинтересованный рассказом, спросил Небольсин.

– Когда как. Ежели издалека гонят партию на Кавказ, так и двадцать этапов бывает; если с под Ростова – то двенадцать, не боле. Ну, а как прогонят их за линию, на Кавказ, там уж дело другое. Казаки да солдаты выбирают себе из них женок, селятся по крепостям да станицам. Другая у них начинается жизнь.

– Чем другая?

– А как же? В станицах да в слободах гульбой да пьянством не займешься. Вокруг люди, опять же идет другой оборот жизни: работа в поле, саду, семья, детишки, а кругом война... чечены да разные осетины, опять же порядок другой... Ведь казаки какой народ – те ж азиаты: чуть чего, кинжал в брюхо – и конец. А кроме них кто там? Староверы. У тех тоже не разгуляешься – все грех: и вино – грех, и табак – грех, и блуд – грех. Так вот наши девки и становятся другими, – улыбаясь, закончил поручик.

Спустя час, поблагодарив поручика, Небольсин сажился в возок, возле которого толпились переселенцы. По-видимому, они о чем-то хотели расспросить его, но так и не решились из-за сердито оглядывавшего их поручика, прапорщика и унтера конвойной команды.

Небольсин, отводя в сторону глаза, бочком и поспешно прошел между молча стоявшими людьми, сел в возок. Сеня примостился на облучке рядом с возницей, тот взмахнул кнутом, присвистнул, и отдохнувшие, сытые кони бойко взяли с места. Закружилась пыль, и до ушей Небольсина донесся чей-то иронический возглас:

– Попил, поел, да дале... а народу хучь бы слово сказал.

– Смешной народ, Александр Николаич. Я им сказал, что вы генерал из Питера, по их делам едете на Кавказ. Ух, как они обрадовались!.. Вуаля! – сказал, ухмыляясь, Сенька.

– И глуп же ты, Арсентий, – в сердцах бросил Небольсин.

– Пуркуа?

– Даже не понимаешь, что наболтал этим бедным, лишенным родных мест и близких людям. Ведь после твоих слов они ожидали от меня каких-либо объяснений. Болтун ты! – отвернувшись, сказал Небольсин удивленному Сене.



Все тридцать верст пути до Ставрополя Небольсин молчал, не отвечал на вопросы обеспокоенного Арсентия.

Владикавказская крепость, недавно перестроенная по новому плану, стала основным опорным пунктом русской военной власти на Терекке. Обнесенная сильно укрепленными высокими стенами с бойницами и угловыми орудийными гнездами, окруженная глубоким рвом с бруствером и валами, она была грозным препятствием, на которое не решились напасть ни мюриды, ни кабардинцы, ни соседние ингушские шайки абреков. К тому же казачьи станицы и осетинские аулы, раскинувшиеся вокруг крепости, тоже представляли серьезную преграду для любителей набегов. Осетины, в огромной своей массе христиане, давно приняли русскую ориентацию, поселились возле крепости, охотно торговали с русскими, сдавали им домотканое сукно, шерсть, сырье, получая взамен соль, нитки, ножницы, порох, сахар и всякого рода товары, имевшие хождение в горах. Осетинские наездники добровольно шли в отряды и конные сотни, воюя на стороне русских и против персов, и против турок, и против мюридов Кази-муллы.

В крепости имелась русская школа для детей имущих осетин, выпускавшая переводчиков, старшин и начальных учителей, проводивших в аулах русскую ориентацию и пропаганду.

Обширная площадь крепости вмещала различные военные, административные, провиантские, офицерские дома, казармы, амбары и прочие необходимые гарнизону строения. Внутри крепости находились военный госпиталь и гарнизонная церковь, вскоре переосвященная в собор. Был там и «дом для проезжающих господ», нечто вроде гостиницы, в одной из комнат которой останавливался возвращавшийся в Россию Пушкин, правда, уже через два часа перебравшийся к полковнику Огареву, своему старому петербургскому другу, служившему комендантом крепости.

Под стенами крепости раскинулась базарная площадь, на которой казаки, осетины, ингуши и армяне вели ежедневный торг, продавая, обменивая, покупая все – от оружия и коней до рыбы, арбузов и огурцов.

Когда Небольсин, проехав этот шумный, движущийся, гомонящий на сотни голосов базар, показал свою подорожную часовому и въехал в крепость, было уже около трех часов дня.

Возница, неоднократно бывавший здесь, подвез его к «дому для проезжающих господ», где разбитной исполнительный писарь, отметив в книге прибывающих офицеров Небольсина, провел его в чистую, светлую комнату со столом, двумя табуретами, железной кроватью и подсвечником, в который была вставлена толстая сальная свеча.

– Вот, вашесокбродие, хорошая комната. Останетесь довольны, она у нас лучшая. – И, отступив к двери, сказал: – Ежели желаете пообедать, так пожалуйста в Офицерское собрание, там до четырех работает кухня,



а мне позвольте ваше командировочное и подорожную. Я доложу о вас его благородию поручику Князеву, адъютанту господина полковника Огарева.

Небольсин передал ему бумаги, помылся, переоделся и пошел в столовую Офицерского собрания.

Не успел он съесть первое блюдо, как появившийся в столовой поручик Князев пригласил его к коменданту.

– Николай Гаврилович ожидает вас, господин штабс-капитан, и просит пообедать у него. Вы, по-видимому, его старый петербургский знакомый? – ведя Небольсина к Огареву, расспрашивал адъютант. – Вот недавно так же и господин Пушкин не успел расположиться в «доме для проезжающих господ», как полковник забрал его к себе.

Из слов князя Небольсин понял, что его «петербургская дуэль» и «слава бреттера» добежала уже до здешних мест. Ведь Огарев, бывший гвардеец и столичный житель, был в переписке с родней и близкими, все петербургские новости доходили сюда быстро и в преувеличенном виде.

– Да... мы встречались в столице, – уклончиво сказал он.

Любезный и хорошо воспитанный Огарев понравился ему. Полковник ни словом не показал гостю, что ему ведома причина приезда Небольсина на Кавказ. Он познакомил его со своей супругой, они нашли общих знакомых и друзей. Огаревы знали Модеста Антоновича и кузин Небольсина, знали, по-видимому, и Голицына, о котором полковник сказал несколько слов вскользь.

Небольсин улыбнулся.

– Николай Гаврилович, вы, конечно, знаете, как и почему я так неожиданно очутился здесь и стал вашим гостем?

– Знаю. Мы знаем все, – указывая на жену, подтвердил Огарев, – и сейчас моя забота, милый наш гость, сделать для вас все, что входило бы в ваши планы, то есть помочь попасть туда, где вам будет легче служить, пока я могу это сделать.

– Хотел бы остаться здесь, на линии, минуя Тифлис. Война с турками закончена, полки, вероятно, вернутся обратно...

– Самое разумное, – согласился Огарев. – Вы – боевой офицер, делать сейчас в Закавказье вам нечего, а здесь заваривается крутая каша с газаватом и Кази-муллой. Вы знаете события последних дней?

– Нет, в пути не видел никого, не имел и газет.

– Дело в том, что имам огромными силами напал на Внезапную, в которой вы служили. Другая часть его орды атаковала Бурную. Правда, взять крепости ему не удалось, но потрясти наш престиж в горах и на плоскости мулле этому помогли его авантюры. Все вокруг в брожении. Ингуши, карабулаки враждуют с чеченцами и, за небольшим исключением, не примкнули к мюридам, тем не менее усилили свои разбои, угон скота и воровство детей. И хотя они как воинская сила не имеют никако-



го значения, но отвлекают на себя гарнизоны и внимание отрядных начальников. Кабардинцы ждут не дождутся своего часа. Они верят в лже-имама и его войско, и только наши гарнизоны держат их в повиновении, но это – пока. При первой неудаче они выступят за газават.

– А осетины? – спросил Небольсин.

– На нашей стороне. Эти, наоборот, поддерживают нас, хотя эмиссары Кази-муллы и кабардинские изменники стараются склонить осетин на сторону имама. Только в Дигории часть бажилят<sup>1</sup> хочет примкнуть к газавату. Но их мало, к тому же они мусульмане, а основная масса осетин православные, и они с оружием в руках помогают нам. Так вот, Александр Николаевич, куда хотите ехать: в Грозную, в Дагестан или остаться здесь?

– В Грозную. Там у меня осталось много друзей.

– Отлично. В Грозную так в Грозную. Отдохните с дороги, погостите у нас, а с первой же оказией – она будет через пять дней – отправитесь в Грозную. Кстати, находящийся там генерал Эммануэль готовит экспедицию против чеченцев, и, может быть, вы попадете в нее. Сейчас полки, ушедшие на турок, возвращаются на свои места. Нижегородские драгуны вернулись в Грузию, в Карагач, уланы – в Закавказье, казачьи донские полки – на Терскую линию, сюда идет пехота. Уже вернулись в Дагестан три батальона куриинцев с артиллерией, в Грозную из Владикавказа идет второй батальон апшеронцев с четырьмя орудиями и три сотни волжских казаков. Они и будут вашей оказией. Там, в крепости, они войдут под начало генерала Эммануэля. Ожидаем еще войска из Тифлиса; кое-кто на подходе, кое-кто еще за Крестовым перевалом. Газават развернулся вовсю, и нам нельзя медлить. А теперь перейдем к столу, Мария Александровна ждет нас обедать.

Полковник с Небольсиным вошли в просторную комнату, где за накрытым столом, разливая суп по тарелкам, хозяйничала Огарева.

Впервые встретив этих милых и любезных людей, Небольсин чувствовал себя так, будто знал их давным-давно и был с ними в добрых, дружеских отношениях. Конечно, он понимал, что светские люди, попавшие волею службы в далекую кавказскую глушь, были рады встретить столичного гостя, который рассказал бы им о Петербурге и обществе. Тем более что Модест Антонович, оказывается, был не только добрым знакомым Огарева, но и близким ему по духу человеком.

Обед подходил к концу, когда адъютант Князев доложил:

– Господин полковник, к вам пришли.

– Кто?

– Осетинские офицеры, прапорщик Абисалов и хорунжий Туганов.

– А, очень кстати. Я познакомлю вас с этими достойными людьми, преданными России, не за страх, а за совесть помогающими нам. Оба Ге-

<sup>1</sup> Верхушка владетелей-феодалов.



оргиевские кавалеры за турецкую войну, а Туганов еще и кавалер ордена Анны третьей степени.

– С особым удовольствием, – сказал Небольсин.

– Они влиятельные в осетинских кругах люди, и, главное, не корысть, не деньги, а глубокая убежденность в тесной близости осетин с Россией руководит ими. Просите их, – закончил Огарев, обращаясь к адъютанту.

В комнату вошли два офицера, один в коричневой, другой в темно-серой черкесках, подтянутые, спокойные. Они почтительно поклонились хозяйке, коменданту и гостю, внимательно разглядывавшему их.

– Ну, господа, оставайтесь здесь, а я пойду по своим делам, – сказала Мария Александровна.

– А-а, Тимур Асланович, рад вас видеть и вас, Сослан Урусбиевич. Знакомьтесь, господа, это штабс-капитан Небольсин, старый кавказец, сейчас снова возвращается из Петербурга к нам, а это – наши уважаемые боевые сослуживцы, первые и самые надежные друзья – хорунжий Туганов и прапорщик Абисалов. Садитесь, господа, прошу к столу, кстати, за стаканом вина поговорим о деле.

Осетины поклонились и сели возле Небольсина.

Туганов, довольно свободно говоривший по-русски, стал рассказывать коменданту о текущих делах, а Абисалов, по-видимому, понимавший все, иногда вставлял два-три слова по-русски, выговаривая их с сильным акцентом.

– Завтра в девять часов военное учение. Две сотни наших всадников и сотня ваших казаков будут на плацу за базаром, в затеречной стороне, производить учение – рубка, джигитовка, бросать аркан, стрелять с коня и в пешем строю, а также и сотенное учение по сигналам горниста, – перечислял Туганов программу совместного учения осетинско-казачьей конницы.

– Кто будет командовать?

– Сначала казачий майор Сухов, потом я. Надо, чтобы и казаки, и наши всадники понимали маневр, чтобы согласованно вели пеший и конный бой, – медленно подбирая нужные слова, говорил Туганов.

– Наш беда... плохой разговор... осетин не понимает русски, казак осетински языка, – сокрушенно покачивая головой, вставил Абисалов.

– Вот чаще будем проводить совместные учения, привыкнут, станут понимать друг друга. А как с пехотой? Будет она у вас? – спросил комендант.

– Пехота есть. Слободка и Гизель, два аула, человек сто-сто двадцать дает, – сказал Туганов.

– Это на всякий случай готовимся, – оборачиваясь к Небольсину, пояснил Огарев. – Опять зашалил Кази-мулла. Время от времени то тут, то там его шайки появляются. Среди ингушей беспокойно, по ночам обстреливают дороги, нападают, а то и грабят... Детей стали воровать





из Слободки, даже из станиц воруют, скот пытаются отогнать. Все говорит о том, что не зря действуют агенты да посланцы имама. Вот мы на всякий случай вместе с верными нам осетинскими воинами готовим встречу Кази-мулле и его ордам, ежели они захотят пожаловать к Владикавказу.

– Да неужели это возможно?.. Ведь Дагестан и Чечня далеко отсюда...

– Есть такой слухок, есть и данные, – осторожно сказал Огарев. – И наши осетины, и казаки по линии, и лазутчики предупреждают нас, а недавно осетины, казаки двух станиц, Новоосетинской и Чернойарской, что на линии расположены, рядом с Екатериноградской...

– Я знаю эти станицы. Там у меня есть кунаки – Тургиевы, Габеевы, Тускаевы, – вставил Небольсин, вспоминая осетинских друзей, которые пытались помочь ему выкрасть Нюшеньку из лап Голицына.

– Ну так туда были посланы четыре мюрида, которым Кази-мулла поручил перетянуть на свою сторону осетинские станицы, обещая в грядущем походе на Владикавказскую крепость всякие блага.

– И что же?

– Осетины связали мюридов, одного убили, остальных доставили ко мне. Обе станицы готовы к встрече с имамом, так как его гнев и месть в первую очередь обрушатся на них. Мы усилили солдатами гарнизоны Екатериноградской и Павлодольской станиц, ближайших соседей верных нам осетин. Здесь никогда не лишне быть осторожными.

– Верно сказал господин комендант; когда народ много говорит об одном и том же, это значит, что-то должно случиться. А наши осетины да ингуши и на базаре, и на улице, и в аулах говорят о готовящемся нападении имама на крепость, – подтвердил Туганов. – Значит, завтра в девять часов? – поднимаясь, сказал он.

– Да. Я буду на плацу без четверти девять, – ответил Огарев.

– А можно мне присутствовать на учении? – спросил Небольсин.

– Конечно, можно. Вам это будет полезно еще и потому, что я хочу, чтоб вы поближе познакомились и сдружились с нашими боевыми товарищами и с их храбрыми всадниками. Они достойные люди, и дружба с ними необходима нам.

– Почту за особое удовольствие, – ответил Небольсин, от души пожимая руки осетинам.

Когда они ушли, комендант сказал:

– И таких людей в Осетии немало. Дударовы, Собиевы, Хетагуровы... Да разве всех перечтешь? Эти фамилии – целые рода, соединившие свою судьбу с Россией. И в персидских, и в турецких войнах осетины всегда были нашими друзьями и храбрыми союзниками. Подружитесь с ними, Александр Николаевич. На Кавказе никто не знает, что может быть завтра, и верные, неподкупные друзья тут нужнее, чем в России или в Европе.



Небольсин кивнул.

– Значит, кроме войска, основная сила у нас здесь – казаки и осетины?

– Да, и, конечно, проживающие в слободке армяне, грузины и молокане, но это уже как дополнение.

Когда вошла Мария Александровна, Небольсин, поблагодарив хозяев, стал прощаться.

– Оставляйтесь у нас, Александр Николаевич, целых шесть комнат, есть где поместить гостя, – предложил Огарев.

– Благодарю вас, Николай Гаврилович, но у меня кое-какие дела, неразобранные бумаги, записи и, наконец, мой «верный Личарда» Сеня. Я останусь в номерах для проезжающих, а к вам, если разрешите, наведаюсь еще раз-другой.

– Мы вас ждем каждый день к обеду, Александр Николаевич. Обедаем ровно в четыре. И никаких возражений, – останавливая жестом хотевшего что-то возразить Небольсина, сказала хозяйка.

На затеречном плацу было шумно. Конные осетины, спешенные казаки, дежурный комендантский взвод, солдаты, две легкие пушки, любопытные бабы, в стороне торгующие разной снедью, – все вместе напоминало собой ранний час базара. Но стоило появиться коменданту, как общее движение стихло, люди бросились к своим местам, солдаты полукольцом заняли дорогу, ведущую на Ардон, бабы и торговцы разом исчезли.

Разнеслись слова команд, сотни приняли стройный вид. Заиграл горнист, забили барабаны, и перед фронтом стоявших во взводной колонне всадников проскакал казачий майор Сухов. Он лихо осадил коня перед Огаревым и громким, разнесшимся по всему плацу голосом доложил:

– Господин комендант, отряд казачье-осетинской конницы готов к занятиям. На учении присутствуют двести двенадцать осетинских всадников с тремя обер-офицерами и казачья сотня Владикавказского полка состоит тридцатью шестью нижними чинами, двумя субалтернами, хорунжими Горепекиным и Андреевым. Командует учением майор Терского казачьего войска Сухов.

Он опустил сверкающий клинок. Комендант подъехал к строю, громко поздоровался.

– Здравствуйте, храбрецы-конники!

– Здрав-жам... ваш... тельство... – весело, шумно и в то же время как-то несогласованно – осетины по-своему, а казаки по-уставному – ответили конники на приветствие Огарева.

– Приступайте к учению. А мы поглядим, – отъезжая в сторону, сказал комендант.

Опять раздались команды, заиграли горнисты, забили пехотные барабаны, и конница, расколовшись на три части, посотенно, сначала шагом, а затем на рыси, стала разворачиваться во взводные колонны.



К Огареву и Небольсину подъехали Туганов и Абисалов, сопровождаемые несколькими конными осетинами. Комендант кивнул им, Небольсин отдал честь, и подъехавшие стали возле них, сдерживая горячившихся коней.

А на плацу уже шло одиночное учение. Скакали всадники, рубя глину и лозу, стреляли на скаку в качавшиеся под ветром картонные мишени. Вторая сотня джигитовала в стороне от дороги. Казаки делали «ножницы», с гиканьем проносились один за другим, то свисая с коня вниз головой, то на полном карьере поднимая с земли брошенные папахи и платки. Третья сотня, отойдя с плаца на полверсты, разделилась на две части и, изображая атаку, налетала друг на друга в конном строю. У этих всадников заранее были отобраны пашки и кинжалы, для того чтобы в пылу учения кто-либо не зарубил своего «противника». Взвод осетинских всадников на бешеном галопе цепочкой скакал по узкой тропинке, шедшей возле плаца. В руках каждого всадника был волосяной аркан. Конник на полном скаку кидал аркан на удиравшего от него «противника», всеми силами старавшегося уклониться от аркана. То и дело слышались смех и крики, когда удачно брошенный аркан выхватывал из седла не успевшего умчаться «противника». Здесь ушибы, падения и даже серьезные травмы не считались обидой. Это было учение, это был экзамен на умение и ловкость всадника, на то, что завтра необходимо будет в бою.

Пехота по сигналам горнистов то перебегала, то поднималась, то залегала и снова бросалась в штыки на невидимого «врага». Оба орудия «стреляли», подчиняясь командам батареиною офицера, но без ядер, без пороха, без дымящих фитилей. Просто отрабатывалось и повторялось то, что, возможно, уже завтра придется делать в боевой обстановке с настоящими ядрами и картечью, пока мирно лежащими в лотках.

Майор Сухов, целиком занятый учением, носился на сером жеребце между взводами и одиночными конниками, наводя порядок и поправляя ошибки всадников.

— Служака... этот знает свое дело. Начал службу еще в восемьсот двадцатом году простым казаком, воевал с Наполеоном, побывал в Париже, гонял по степям и персов, и ногаев, а теперь — майор, кавалер Святой Липы второй степени, — с уважением отозвался о Сухове комендант.

А Туганов добавил:

— Справедливый человек. Для него главное — правда. Казаки очень любят и доверяют ему.

Спустя полчаса был дан отдых войскам, потом командование учением принял хорунжий Туганов. И опять конница и пехота повторили то же, что делали час назад. Наконец прозвучал отбой, и усталые, мокрые от скачки, рубки и маневров люди построились в колонны и двинулись к крепости.



Казачи ехали молча; солдаты с присвистом запели веселую песню про «Дуню Фомину». Песня была легкой, озорной, и под нее хорошо было идти строевым шагом, не сбиваясь с ноги.

Осетины шли взводной колонной. Впереди гарцевали Туганов и Аби-салов, за ними со значком всадник с двумя Георгиевскими крестами, за которым ехал прапорщик осетинской милиции Алдатов.

– Александр Николаевич, обратите внимание на осетина со значком. Дома я расскажу забавный случай, – сохраняя деловое выражение лица, чуть слышно сказал полковник.

– *Уж ты, Ду-у-ня Фомина,  
За што лю-у-бишь Ивана,* –

заливались тенора.

– *Я за то люблю Ивана, што головушка кудрява,  
Кудри вьются до лица, люблю Ваню молодца...* –

подхватывали альты, а тяжелые басы, покрывая и тех и других, выводили:

*Приговаривал Ванюша  
К себе Дуню ночевать...*

– Едемте и мы, Александр Николаевич. Ну как вам понравилось наше учение? – трогая коня, спросил Огарев.

– Отлично! Боевой, удалой народ! – восхищенно ответил Небольсин.

– Именно, удалой. Ну, а что не ведают всех тонкостей шагистики да парадной картинности, так это и не нужно. На Кавказе нужны смелое сердце, верная рука и точный глаз. Школа Ермолова, – сказал Огарев, и они поехали к крепости, куда уже подходили войска.

Обедал Небольсин у Огаревых. Чем больше наблюдал он за комендантом, тем больше нравился ему этот спокойный, рассудительный, чем-то напоминавший Модеста Антоновича человек. И суждения его не были похожи на тупую педантичную убежденность начальства, которая так угнетала Небольсина в Петербурге. Было что-то светлое, свое, человеческое в обхождении коменданта не только с офицерами и «проезжающими господами», но и с солдатами, казаками, осетинами, со всем простым народом, с которым ему по долгу службы приходилось иметь дело.

«Теперь понятно, почему Пушкин и Грибоедов дружили с ним... почему Ермолов просил при встрече передать ему поклон».

– Под Ставрополем я нагнал партию переселяющихся из России мужиков и баб. Стояли лагерем, отдыхали. Признаюсь, эта картина беспорядочного, почти насильственного переселения беспомощных людей произвела на меня тяжелое впечатление, – сказал Небольсин.

– Почему же? – спокойно осведомился Огарев.

– Да уж больно незавидная доля у этих оторванных от родных мест людей. Чужая земля, другие привычки и нравы, неведомые люди...



– Не-е-т, Александр Николаевич, вы очень ошибаетесь, делая столь скорый вывод из случайной встречи с переселенческой партией. Конечно, они идут на неведомое, но зато свободное существование среди русских же людей. Вы видели их усталыми, утомленными долгим путем; в дороге их обкрадывают провиантские чиновники и фурштаты. Более того, держат их под конвоем как арестованных, непутевых людей. Все это пугает переселенцев, они теряют голову, начинают сожалеть, что согласились на отъезд, но... – Огарев улыбнулся, – посмотрели бы вы на них через месяц-другой, когда они уже распределены по станицам и хуторам, когда жизнь вошла в колею, когда у них уже есть свои хаты, земля, пасется рядом скот, вокруг свои православные люди, церковь, базары, а главное, воля! Ведь и в слободках, и в крепостях, а тем паче в станицах начальство одно – атаман или командир гарнизона. Веди себя, как все: не воруй, не бунтуй, работай да создавай себе семью, дом – и никто тебя и не вспомнит. Ведь тут нет ни повинностей, ни налогов... А что они имели там? Кабалу, крепостную зависимость, произвол помещика, побои да скотный двор, а то и того хуже – их продавали... Не-ет, Александр Николаевич, здесь одна треть русского населения состоит из переселенных мужиков, так они до сих пор Бога благодарят, что попали сюда... А у вас есть крепостные? – вдруг спросил Огарев.

– Мало, душ, наверное, сто, остальных отпустил на волю пять лет назад, хотел сейчас сделать то же и с остальными, но... – Небольсин развел руками, – умные люди отсоветовали... сделаю позже.

– Правильно поступили, Александр Николаевич, – делать доброе дело никогда не поздно, а после... – он подумал и тихо продолжал, – после дуэли не следует спешить...

– А как у вас? – в свою очередь поинтересовался Небольсин.

– Были, но отпущены на волю еще до воцарения Николая Павловича, – многозначительно сказал Огарев. – Кстати, я вам на плацу обещал рассказать забавную историю об осетине с двумя Георгиевскими крестами.

– Слушаю вас.

– В тысяча восемьсот двадцать седьмом году сюда, как вам известно, по повелению государя императора из столицы приезжал начальник Главного штаба российской армии барон, ныне граф, Дибич, для того чтобы разобраться на месте в причинах ссоры Ермолова и Паскевича.

Небольсин кивнул.

– Возвращаясь в Санкт-Петербург, Дибич здесь, в крепости, провел четыре дня. Человек он непоседливый, вечно куда-то торопящийся, и вот взбрело ему в голову поездить с небольшим конвоем вокруг крепости. Однажды выехал он в своей коляске до Балты, сопровождаемый десятком казаков и адъютантом. Возвращаясь, решил пройти пешком по дороге, приказав конвою и кучеру через полчаса догнать его. Было тихо,



спокойно, и вдруг небо заволокли тучи, грянул гром, хлынул ливень. Оглянулся туда-сюда – некуда спрятаться. Вдруг догоняет его всадник-осетин, поздоровался и говорит:

– Слуши, кунак-апчер, бери мой лошад, ежай скорей станций – а до станции версты три, – там оставь лошад, пей водка-чай, отдыхай.

Умиленный Дибич достал золотой полуимпериял и хотел было дать его осетину.

– Нет! – твердо сказал тот. – Не возьму! Садись скорей, ежай, дождик сильна.

А дождь действительно был силен. Сел Дибич на лошадь осетина и поспекал, а тот под дождем поплелся по дороге. Вскоре его догнал конвой графа. Когда они доехали до почтовой станции, Дибич уже грелся у огня, пил чай и в умилении рассказывал о поступке благородного осетина.

– Я дождусь его и сам верну лошадь, – сказал он адъютанту.

Вскоре появился и осетин.

– Спасибо, друг, – сказал Дибич. – Ты великодушный, благородный человек. Бери своего коня.

– Ага, – сказал осетин, – а тепер давай денга.

Дибич изумился:

– Как деньги? Ты же отказался от них?

– Я думал, ты бедни русски апчер... Зачем я у бедни апчер буду взят денга?.. А ты княз, питербурхский енарал... Давай денга! – решительно потребовал осетин. Дибич расхохотался и дал ему десять империялов. Так вот этот самый урядник и был великодушным осетином, – закончил рассказ комендант.

Оба посмеялись над этой забавной историей.

– Александр Николаевич, может быть, вы хотели бы остаться здесь, во Владикавказе? Пока я тут комендантом, я в силах сделать это, – сказал Огарев.

– Признаюсь, хочется этого и мне. Здесь так уютно и хорошо, так много сердечных людей, здесь ваш дом, но... – Небольсин вздохнул, – мне необходимо побывать там, где протекла большая часть моей кавказской службы: в Грозной, Внезапной, Дагестане... Я хотел бы провести на Гребенской линии месяцев четыре-пять, а затем, если это будет возможно, перевестись сюда.

– Конечно! Поезжайте в Грозную, а потом – к нам, если я к тому времени еще буду комендантом крепости. Ведь сейчас времена странные... Неожиданные падения, возвышения, отставки, награды, благоволения и аресты сыплются с двух сторон... и из столицы, и из Тифлиса... Кто знает, что будет через полгода? Но если я буду здесь, вы, Александр Николаевич, непременно напишите мне, и мы переведем вас на Владикавказскую линию, – он улыбнулся. – И это не только мое желание. Об этом просили меня ваши новые друзья и кунаки.



– Туганов и Абисалов?

– Они самые, – подтвердил Огарев.

На следующий день Небольсин был гостем Туганова, который увез его на целый день в аул, где в его честь были зарезаны нивонд<sup>1</sup>, несколько баранов, много птицы и устроен кувд<sup>2</sup>. Абисаловы, Тугановы и Газдановы хотели как можно торжественней встретить гостя, и все же аул не произвел большого впечатления на Небольсина. В Дагестане он не раз бывал в аулах, хотя осетинские аулы кое-чем отличались и от кумыкских, и от лезгинских. Прежде всего, чувствовалась близость к русским, была заметна связь с казаками и станицами. Проще и свободнее держались мужчины; молодежь, встречая его, пыталась поздороваться по-русски. И сами сакли, и вещи в них, и наличие ложек, вилок, ножей и тарелок говорило о тесном единении с русскими. Старики, принявшие Небольсина в свой круг, были любезно почтительны. На черкесках некоторых из них блестели Георгиевские кресты и медали, а частые приглашения вроде «кусай, пожалуста», «пей, пожалуста», «ишо кусай» свидетельствовали о том, что старики эти были в свое время тесно связаны с русскими войсками.

На столах стояли кувшины с аракой, холодной брагой и темным осетинским пивом. Гостю налили полный рог пива, рог, украшенный серебром, с национальным орнаментом. Почтительный, средних лет осетин, держа рог обеими руками, поднес его гостю, и сейчас же все, за исключением двух-трех стариков, запели застольную песню.

– Это в вашу честь, просят у Бога здоровья, удачи в бою, долгих лет жизни, – пояснил Туганов.

А люди все пели, то и дело повторяя слова: «Хуцау», «Вашкерджи».

– Это они призывают к Богу и святому Георгию Победоносцу, – опять сказал Туганов.

Небольсин тоже взял рог обеими руками и похолодел от ужаса. Рог был огромен. Буйвол, с головы которого содрали его, был, по-видимому, великаном среди своих собратьев. Бог знает сколько холодного, пенящегося ароматного пива помещалось в этом роге.

Туганов, заметив смятение гостя, пояснил:

– Пейте сколько сможете. До конца пьют только самые удалые гуляки.

Небольсин поднес к губам рог и стал медленно пить, но удивительное дело: хоть он и боялся этого огромного рога, само пиво было так вкусно, так приятно, и, главное, с таким своеобразным ароматом, что он долго, очень долго не мог оторвать губ от этого впервые им вкушаемого напитка. Наконец он перевел дыхание и, отдавая на две трети осушенный рог осетину, стоявшему возле, сказал:

– Прелесть! Я никогда не пил такого чудесного пива.

<sup>1</sup> Двухгодовалый бычок.

<sup>2</sup> Пир.



А хозяева, гости и старики, одобрительно улыбаясь, пели какую-то новую, видимо, опять только ему, Небольсину, адресованную песню, часто повторяя его имя на осетинский лад – «Алксан», с припевом – «бира цар»<sup>1</sup>.

Небольсин давно не чувствовал себя так легко и свободно, так просто и задушевно. А пиво уже оказывало свое действие: лица сидевших рядом стариков расплывались, как в тумане.

Небольсин ел и шашлык, снимая его прямо с шампура, и осетинские пироги – фиджины, и какие-то удивительно вкусные олибахта, которыми его потчевал Абисалов. Холодная ключевая вода отрезвила капитана. Голова стала ясной, туман как бы уплыл куда-то в сторону.

– Чудесная вода, дайте еще, – попросил он хозяина сакли.

– Это родник, он бьет тут, под скалой... Кругом пузырьки летят, а он холодный, как лед, – наливая большую чашу, объяснил Туганов.

Кувд был в полном разгаре. Хозяева и Небольсин вышли во двор, где собралась молодежь аула – девушки с открытыми лицами, в национальных костюмах, юноши в ярких черкесках. На скамейке сидели две девушки с небольшими азиатскими гармошками в руках. Как только гость и старики появились, девушки заиграли что-то протяжное и однообразное, затем мелодия перешла в быстрый, легкий и какой-то все убыстрявшийся ритм.

– Осетинская лезгинка. Сейчас молодежь покажет вам свою удаль, – довольным голосом сказал Туганов.

И ритм, и темп, и хлопанье в ладоши все убыстрялись, девушка, затянута в золотистый пояс-корсет, в светлом длинном платье и белом шелковом платке, плыла по кругу, а за ней, то опережая, то нагоняя, то отставая, то снова вылетая вперед, неся юноша со строгим лицом, сверкая серебряными газырями и золоченым кинжалом...

Потом танцевали парами другой танец – «симд» – строгий, целомудренный и гармоничный во всех движениях. Его сменила «уге» – размеренная, мелодичная не только в музыке, но и в самом танце, благородная массовая «уге», занесенная в Осетию из соседней Кабарды.

Небольсин не сводил глаз с танцующих. Все ему казалось фантастическим, чем-то нереальным и в то же время необходимым.

Да, именно здесь впервые после Петербурга он был самим собой. Среди этих искренних, простых людей с их немудреной жизнью, с эпически спокойными понятиями о жизни и смерти, о веселье и горе.

«Как хорошо, что меня вернули на Кавказ, к этим чистым, не испорченным цивилизацией детям природы. Среди них, среди казаков и поселенцев пусть проходит моя жизнь. Прощай, Петербург», – облегченно подумал он. И только дорогие ему люди, Модест и обе кузины, еще связывали Небольсина со столицей.

<sup>1</sup> Живи долго.





А гармошки все играли, и уже пожилые, с проседью в волосах люди, танцевали «симд» и «уге», празднуя прибытие в аул почетного русского гостя.

Утром, едва Небольсин побрился и привел себя в порядок, Сеня доложил:

– Александр Николаевич, к вам пришли те два офицера осетинских, что сказать?

– Зови да скажи в столовой, чтобы дали еще приборы и завтрак, – поднимаясь из-за стола и идя к дверям, распорядился Небольсин.

В комнату вошли Туганов и Абисалов. Небольсин, довольный их неожиданным приходом, усадил гостей за стол и, хотя офицеры отказались от завтрака, настоял, чтобы они распили с ним бутылку кахетинского.

– Мы к вам, Александр Николаевич. Завтра уходит оказия в Грозную. Вы уезжаете с ней? – спросил Туганов.

– В восемь утра. А что, разве кто из вас тоже отправляется с нею?

– Нет, мы остаемся здесь, но просим разрешения проводить вас до блок-форпоста, это в восьми верстах от крепости. Мы, Тугановы, Собиевы, Абисаловы, Кабановы и еще кое-кто, хотим проводить вас, нашего кунака, по обычаям осетинской старины, – сказал Туганов.

– Спасибо! Буду рад этому... Мне очень, – он повторил, – очень понравилось и гостеприимные хозяева, и ваши обычаи, и все те, кто так радушно встретил меня в ауле.

– Итак, до завтра, до восьми часов... А теперь, это уже наша к вам просьба, я и Сослан Урусбиевич хотим подарить вам на память вот этот старинный кинжал, – доставая из коврового хурджина оружие, сказал Туганов. – Это – базалаевской работы, сталь чистая и прочная, как гурда, а чернь, серебро и золото по рукояти и ножнам сделаны в наших горах, в ауле Дур-Дур знаменитым оружейником Хаматом.

– Что вы, как я могу взять такую бесценную вещь, – искренне изумился Небольсин.

– Можете. Это дают вам кунаки, ваши друзья до последнего дня вашей жизни.

– Большой будет обида... Нехорошо здесь будет, если не берешь, Алксан, на зарда<sup>1</sup>, – поддержал друга Абисалов, и Небольсин обнял обоих.

– Беру и отдаю вам на всю жизнь дружбу и любовь брата, – сказал он. – Сеня! Дай ящик с пистолетами Лепажка...

– Это те, из которых Голицына подстрелили? – ухмыляясь, уточнил стоявший в дверях Сенька.

– Да!.. Чем может военный человек отдарить других военных в подобном случае? – беря в руки ящик из черного полированного дерева с богатой инкрустацией по крышке и бокам, сказал Небольсин. – Тоже

<sup>1</sup> Александр, наше сердце.



оружием. Так вот, друзья мои, прошу принять от меня эти пистолеты, — он вынул изящные длинноствольные «лепажи» и протянул их гостям. — Это последней модели. Шестигранные, с сильным боем, дуэльные, — пояснил он.

Абисалов не понял и половины сказанного Небольсиным, но прекрасный пистолет, тщательно и любовно сделанный французскими оружейными мастерами, захватил его.

— Дуэльные? — засмеялся Туганов. — У нас дуэлей не бывает. Если нужно, рубят или стреляют врага без церемоний. А за подарок — спасибо. Прекрасный пистолет! — разглядывая «лепаж», похвалил он.

— Из него я отомстил на дуэли своему врагу, — сурово и холодно проговорил Небольсин, — и знаете... только после этого обрел покой. На душе стало легко, и опять захотелось жить!

Туганов внимательно посмотрел на штабс-капитана.

— Я понимаю вас и разделяю вашу радость. Только кровь врага, смерти которого ищешь все время, радует мужчину. Я беру этот пистолет и... — он поднял руку с «лепажем» над головой, — клянусь вам, что постараюсь убить из него моего кровника, предателя, нарушившего честь и вековые адаты горцев... кабардинского князя Кожокина, изменнически, из-за угла, убившего моего дядю, известного в горах и среди русских, друга Ермолова, Татархана Туганова. Подлый убийца знает, что я ищу его, что я хочу его крови, и он прячется у себя в Кабарде, боясь высунуть нос на линию. Но... кровь дяди будет отомщена, я возьму ее и у князя, и у всего рода. Клянусь вам нашей дружбой, если поможет Бог, я убью его из этого пистолета!

— Желаю вам этого, — сказал Небольсин, а Абисалов, видимо, понявший все сказанное Тугановым, коротко сказал:

— Аллах поможет нам, и мы это сделаем!

Вскоре они ушли. Небольсин стал готовиться к отъезду.

Утром в половине восьмого забили барабаны батальонов, уходивших в Грозную; за стены крепости проскакали конные сотни Волжского полка, потянулись орудия, зарядные ящики, фуры, обозы, пароконные телеги, экипажи, молоканские мажары, провожающие оказию люди.

Полусотня осетин во главе с Абисаловым, Тугановым, Алдатовым и длиннородым вахмистром Тлатовым подъехала к «дому для проезжающих господ», где ожидал ее Небольсин. Сеня с чемоданами, баулами и запасным оружием своего барина уже сидел в возке.

Осетины подвели заручного, оседланного коня Небольсину, и он, вскочив в седло, вместе со всей полусотней направился к дому Огаревых, на балкончике которого стояла Мария Александровна. Небольсин соскочил с коня и, поблагодарив хозяйку за уют, радушие и гостеприимство, вместе с Огаревым, сидевшим на высоком гнедом мерине, под звуки сопи-



лок, дудок, бубна и пение осетин на рыси отправился к строившейся за крепостью оказии.

После церемониального прощания коменданта с уходившими в Грозную войсками оказия под звуки горна и треск барабанов вышла на назрановскую дорогу. Ингуши, осетины, пешие казаки, женщины, торговцы, дети, стоя по обочинам дороги, провожали их, махая платками, папахами и выкрикивая добрые напутствия.

Сначала прошла сотня волжских казаков, за нею два орудия, готовых к открытию огня, затем две роты апшеронских солдат, за пехотой – обоз и гражданские, или, как их называли, вольные переселенцы, торговцы, солдатские жены. Потом опять пехота. По сторонам двигались конные разъезды, а впереди оказии, в полуверсте от головы колонны, шагом шли дежурная полурота и дозорная полусотня казаков.

Небольсину было грустно расставаться с людьми, так по-хорошему, по-доброму встретившими и проводившими его, да и сама Владикавказская крепость понравилась ему, и он все с большим удовольствием думал о том, что, может быть, вскоре переведется сюда на службу.

Так, почти в безмолвии, слушая пение осетин и их незатейливую музыку, доехали они до укрепленного блокгауза «Теречный окоп». Тут полусотня осетин остановилась, офицеры пожали друг другу руки, выпили из круговой чаши горского пива и повернули обратно к Владикавказу, а Небольсин, поплотнее усевшись в возок рядом с Сеней, догнал оказию.

Начиналась жара, по дороге вилась пыль, однообразие пути клонило ко сну, и вскоре Небольсин незаметно для себя задремал.

От Владикавказской крепости до Грозной оказия шла больше двух суток. Переночевав в укреплении Назрань, на рассвете двинулись дальше; вторая ночевка была в двенадцати верстах от Грозной, и на третий день пути подошли к крепости, за стенами которой их ждали военные и вольные обитатели, для которых приход оказии был праздником.

## Глава 9

Пленных солдат гнали в Черкей, большой аул, раскинувшийся на пересечении трех дорог.

Гнали пешком, редко делая привалы, и пленные, изнемогая от усталости и жары, на четвертые сутки еле брели. На горных тропах встречались им конные и пешие горцы. Они сумрачно оглядывали пленных, о чем-то переговаривались с конвоирами и не достаивали русских взглядом. Женщины и дети иногда швыряли в них камнями, показывали кулаки, ругали и не давали воды. Если б не конвой, их, вероятно, прибили бы в первом же горском ауле.



Утром пленным давали по лепешке из пшеничной муки, кусок кукурузного хлеба, иногда сыр и раз или два молочной сыворотки, густой и терпкой.

Булакович молчал, лишь изредка подбадривал солдат, особенно обесилевшего раненого. Приказ Шамиля относиться к нему с уважением и добром был забыт после первого же перехода. Горцы, сопровождавшие пленных, спешили, подгоняли их, не обращая внимания на усталость.

«Ах, зачем я не взорвал себя в ауле?» – тоскливо думал Булакович, с трудом взбираясь по узким горным тропинкам высоко вверх или спускаясь вниз. Потный, грязный, обросший щетиной, с разбитыми, натруженными ногами, он едва поспевал за всадниками. Говорить с горцами было бесполезно – они ни слова не понимали по-русски.

Только на четвертые сутки, еле живые от усталости, голода и жажды, пленные добрались до Черкея.

Аул террасами спускался в долину. Сакли так тесно прилепились одна к другой, что напоминали гнезда ласточек. Весь аул можно было пройти из конца в конец, перескакивая с крыши на крышу.

«Естественная крепость, поди возьми такую штурмом. Каждая сакля – укрепление, а весь аул – цитадель», – подумал Булакович, глядя на темные, связанные воедино сакли и крыши большого аула. Над ними вились дымки очагов, выше теснились камни и утесы нависавшей горы; ниже чуть поблескивала небольшая быстрая речушка, в которой плескались ребятишки. Завидя шедших по дороге пленных, они загомонили и, выскочив из воды, мокрые и блестящие от солнца и стекавших с них капель, закричали на все лады, плюясь и швыряя песком:

– Урус... кяфир... донгуз-урус... гяур, кей-пей-оглы-урус!

– Эй, гет шайтан олу! – замахиваясь плетью, крикнул аварец Хусейн.

Мальчишки смолкли. Они показывали русским языки, грозили кулаками, плевали вслед, но все это молча, так как знали, что теперь Хусейн без предупреждения пустит в ход нагайку.

Улочка аула была узкая, пыльная, с кое-где выпиравшими из земли камнями. Помет и пыль устилали ее.

Хусейн что-то крикнул конным и, соскочив наземь, плетью указал место, где надо было стоять пленным.

– Издес... – сказал он и быстро шагнул в низкие двери сакли.

После долгого пути под солнцем по уступам, камням и тропинкам пленные солдаты тяжело дышали, облизывая ссохшиеся губы.

– Испить бы хучь дали, ироды, – тихо сказал один из них.

Булакович посмотрел на одного из карауливших их горцев, тот показался ему более добродушным, чем остальные.

– Су! – по-кумыкски сказал он. – Су вер! Воды выпить, – и, сложив чашечкой ладонь, поднес ко рту, поясняя слова.



Кумык поглядел на него, сверкнул глазами и, сплюнув, показал кулак. – Вот тебе и водица, – вздохнул солдат. Остальные караульные рассмеялись, что-то лопоча и тыча пальцами в пленных.

Мальчишки, осмелев, подобрались ближе, пытаются камнем или куском коровьего навоза попасть в пленных.

– Гет, ке-пе-еглы, баба саны! – заревел появившийся в дверях сакли Хусейн.

За ним шел невысокий человек в папахе, замотанной зеленой материей; позади виднелись два-три молодых горца в папахах и суконных шубах. Это был местный кадий, он же старшина аула.

Хусейн, ткнув пальцем в Булаковича, что-то сказал старшине, тот кивнул и показал пленному на двор сакли.

– Твоя иди здес.

Булакович понял, что его отделяют от остальных пленных, которых тотчас же окружили караульные.

– Воды им дай, кунак... устали, пить хотят... Су, су вер... – жестом показывая на рот, пояснил он.

– Якши!

Старшина что-то крикнул внутрь сакли. Через минуту-другую оттуда вынесли жестяной, похожий на лохань сосуд, до краев наполненный водой. Солдаты жадно, захлебываясь, пили, передавая лохань один другому. Горцы равнодушно смотрели на них, а солдаты, напившись вволю, начали смачивать лица и шеи.

– Пошла сакла, – беря Булаковича за рукав, сказал кадий.

Булакович, сопровождаемый старшиной и расступившимися молодыми горцами, вошел в дом.

Ему, много слышавшему о быте и нравах горцев, все представлялось иначе. И аул, неприветливый, дымный, с темными закопченными саклями, и мрачные мужчины, смотревшие на него с еле сдерживаемой ненавистью, и женщины, о которых у Пушкина он читал как об одухотворенных красавицах, были совсем другими. Две женщины в длинных темно-коричневых платьях-балахонах до самых пят внесли в комнату круглые кукурузные пышки, пшеничный чурек, сыр и дымящийся хинкал<sup>1</sup>. Худые, с опущенными вниз глазами, с лицами, покорно и привычно равнодушными, они расставили все на низеньком столе и бесшумно исчезли. Сколько им лет – двадцать пять или сорок? – трудно понять, и Булакович, знавший горские обычаи и нравы, лишь мельком глянул на них, спокойно ожидая беседы с ним старшины и Хусейна.

«Да как же мы будем разговаривать?» – подумал Булакович, знавший по-кумыкски всего десять-двенадцать слов. И, словно угадав его мысли, старшина что-то крикнул, и из глубины сакли показался невысокий че-

<sup>1</sup> Куски теста, сваренного в супе.



ловец с проседью на висках. На его скуластом лице были почтительное внимание и любезность. Старшина произнес несколько слов, и человек стал переводить на довольно сносный русский язык.

– Здравствуй, ваша блахородия, – кланяясь, сказал он. – Абу-Бекир ага-бен-Салим говорит, ишто... – Он подумал и, найдя нужное слово, повторил: – Ишто ты, ваша блахородия, есть гость яво, так имам приказал. Имам Гази-Магомед, да будет Аллах яво любит, говорил: «Эта русска офицер – моя гость... Яво обижат, яво плохо делат нелза».

Булакович слушал переводчика, внимательно вглядываясь в его лицо.

– Скажи старшине, я благодарен имаму и его помощникам. Я всегда буду другом горцев и никогда не забуду этих людей.

Старшина и другие горцы молча и дружелюбно закивали.

– А ты кто сам, откуда знаешь русский язык? – поинтересовался Булакович.

– Казански татар я. Русски солдат шесть годов служил... Лексей Петрович добре знал... – словоохотливо отвечал переводчик. – Потом горы бежал, имам переводчик стал...

– А почему бежал?

– Нада била... Мине фитфебел и ротный кажины день морда били... Кутузка сажали... свином кормили... розги били...

– А за что такое?

– Ты, говорит, татарски лопатка, вор, афицерски вещи украл, а я, ваша блахородия, никогда дома чужой палка не брал, чисты был, а тут – вор... И кажны бьет, ругается, а за што? Не знаю...

– И сквозь строй гоняли?

– Нет, я бежал... Вовремя ушла, а то – пиропала голова... – вздохнув, сказал переводчик.

– Как тебя зовут?

– Ахмед. Мой деревня близко Казань стоит... Маленьки дочка, малчишка тоже ест, – рассказывал переводчик.

Старшина и горцы терпеливо ждали, и Булакович, обращаясь к старшине, спросил:

– Как будет поступлено со мной и что сделают с пленными солдатами?

– Пусть сначала наш гость поест с нами, а уж потом мы поговорим обо всем, – предложил старшина.

– Спасибо. И, если можно, помыться...

Переводчик что-то крикнул. Из передней вышла одна из ранее прислуживавших женщин, поставила перед русским таз и стала поливать ему на руки, затем на голову и шею из глиняного широкогорлого кувшина. Хозяева учтиво ждали, и только когда пленный сел рядом с Хусейном, все не спеша принялись за еду.

– Ахмед, поблагодари хозяев за обед, за доброе отношение ко мне, – попросил Булакович, глубоко взволнованный вниманием хозяев.



– Имам приказал... Шамиль-эфенди сказал, что ты не пленник – гость. А у нас, вапа блахородия, гость Аллах дает, – перевел татарин слова старшины.

Все снова стали есть хинкал, обмакивая густо наперченные куски теста в чесночный настой. Булакович впервые ел это горское блюдо, но ему, голодному и усталому, все: и сыр, и жареное мясо, и крутой хинкал – показалось божественным.

– А что с солдатами? – вдруг спросил он. – Их накормят? Ведь они ничего не ели в дороге.

– Солдаты – пленные... Их кормят два раза в день – утром и вечером. Когда стемнеет, им дадут поесть, – равнодушно ответил старшина.

– А что будет с ними? – перестав есть, спросил Булакович.

– Кто знает ремесло – будет работать; кто стреляет из пушек – поступит в артиллерию имама, а кто ничего не умеет, того заберут в горы помогать старухам и бабам, – перевел Ахмед слова старшины и добавил от себя: – Деньги за них возьмут, если кто их захочет выкупить. Русские иногда выкупают пленных.

Разжалованный повел плечами. Кто заплатит за этих нищих солдат? Он вспомнил свою мать, которая, конечно, сделала бы все, чтоб выкупить его. Но разве могла она знать, где находится ее сын?

– А велик выкуп? – поинтересовался он.

– Разный. И десять золотых, и тридцать. За солдата, не знающего ничего, – десять серебряных туманов, за офицера – пятьдесят, – сказал кадий.

– А сколько за меня?

Горцы дружно засмеялись, и даже Ахмед прикрыл ладонью улыбающийся рот.

– Чего смеетесь? Или я ничего не стою? – удивился Булакович.

– Я говорил – ты гость имама. И если имам захочет, ты или навсегда останешься с нами, или просто уедешь обратно к русским. За гостя мы денег не берем, – уже серьезно пояснил кадий.

Только теперь Булакович понял, как опасно быть «гостем» имама Казимуллы.

Прошло двое суток. Видимого надзора за пленным не было, но Булакович чувствовал, что за каждым его шагом следят. Жил он вместе с Ахмедом в боковушке сакли старшины, холодной, с низко нависшим потолком и земляным полом. Здесь все жили так: неуютно, очень бедно и до того неприхотливо, что наблюдательному «гостю» вся жизнь аула казалась дикой и темной. Все было однообразно, сурово и примитивно: и утренний призыв муэдзина, и постоянная возня женщин по саклям, и мычание скота, возвращавшегося с выгона, и босые оборванные ребятишки, и косые взгляды мрачных стариков, неприветливо поглядывавших на русского.



«Как убога их жизнь», – провожая взглядом горцев, думал он, сидя на камне возле сакли старшины.

– Ты, ваша блахородия, одна не ходи, тут народ темный, русски не любит... может, спаси Аллах, камнем вдарить, – предупредил его Ахмед.

А старшина был все так же молчаливо любезен, так же по утрам обычным «салам» приветствовали Булаковича сын и братья старшины, но дальше этого не шло.

– Что со мной будет, Ахмед? Останусь здесь или пошлют к имаму? – наконец, не выдержав, спросил Булакович. Он с внимательным удивлением всматривался в жизнь и быт горцев. Как он разнился с жизнью крестьян и горожан России! Это был другой мир, другие понятия, другой образ жизни – свой собственный, созданный веками и условиями гор.

«Хищники»... «разбойники» – так в реляциях называли генералы своих противников-горцев. Булакович видел, что эти люди не были разбойниками, не были они и хищниками, они защищали свою жизнь, свои горы, свою самобытность и свободу.

Булакович вспомнил петербургские беседы накануне 14 декабря с теми, кто вывел войска на Сенатскую площадь. Они не одобряли Кавказскую войну, выступали против насильственного обрусения прибалтийских провинций, были противниками завоевания и присоединения Польши.

Булакович невесело улыбнулся. «И вот я, декабрист, желавший России блага, мечтавший о равенстве и братстве людей, враг крепостного права и монархии, нахожусь в плену у тех, кого приказано царем завоевать и сделать русской провинцией».

– Чего задумался, ваша блахородия? – участливо спросил Ахмед, молча наблюдавший за выражением лица Булаковича. – Худа тебе здесь не будет... не бойся. Имам очень хорош человек... Его слова – крепки слова, он тебе худа не сделает.

– Я не о себе задумался, Ахмед, а о тех людях, у которых сейчас нахожусь. Ведь мы, русские, совсем не знаем их...

– Народ ничаво... хорош народ.

– Я это вижу, а ведь три дня назад я воистину думал, что они дикари, звери... А солдаты – те и вовсе ничего не знают о горах.

Татарин наморщился, внимательно вслушиваясь в слова Булаковича. Было видно, что он не все понял и теперь силился постичь точный смысл слов пленника.

– Народ здесь разный, ваша блахородия, есть и такой – не дай бог, худа сделает, есть такой – лучше кунак будет... Разный народ гора живет, однако, если ваша через Терек не идет – мир будет, торговля будет, а ваша генерал все в горы идет аулы ломать, зажигать... Нехорошо.

– Куда как скверно! – согласился Булакович.





– Русски солдат тоже много горя, беда имеет, – покачивая головой, продолжал татарин. – Наша батальон Кизляри стояла, три солдат себя кончала, ружье стреляли, два к ногам бежала, другой тюрьма да розги, сквозь строй, били... минога били... – со вздохом сказал Ахмед.

– А за что ж их наказывали?

– Кто знает?.. Фитфебел денги не даешь – ты плохой... Одна поручик Кизляри был... у-ух, сувопоч, сука... его Петушков звали. Он мне хотел тюрьма сажат. Кто знает, зачем солдат мучит... зачем виноват, – разводя руками, снова заговорил татарин.

– А здесь как? Тоже небось наказывают? – спросил Булакович.

– Тут другая дела. Кто русски сторона держит – голова долой. Кто вор есть – рука долой. Кто война боится – дом, лошад, ружо – все имам заберет, самому – башка долой; кто за хан и беки сторона держит – башка долой. Кто Коран, шариат не любит – башка долой, – неторопливо повествовал Ахмед.

– Тоже несладко.

– Э-э, везде чижало, ваша блахородия, мужик-человек везде плохо, – вздохнул татарин, – Здесь одна хорошо: крепостной нет, пристав – нет. Нихто татар лопатка не обижают. Здесь имам хорош, чисты человек, потому эта сторона – лучше, – убежденно закончил татарин.

Прошло несколько дней однообразного пребывания в плену, хотя и пленом-то нельзя было назвать это странное существование в Черкее. Булакович пользовался относительной свободой, питался вместе со старшиной и его сыновьями, хотя заметил, что ему ставят особую миску. Каждый день Ахмед брал Булаковича, достал ему чистое солдатское белье с казенным клеймом: «Кизлярское гарнизонное депо». Услужливый и добрый татарин по просьбе Булаковича иногда передавал пленным солдатам куски кукурузного хлеба, остатки сыра и мяса, беседовал с ними. Старшина знал об этом, но молчал и не препятствовал. Даже жители аула уже не столь враждебно косились на прогуливавшегося по улочке уруса, а мальчишки, недавно швырявшие в него навозом и камнями, теперь дружелюбно скалили зубы и издали кричали:

– Издрастуй, урус... издрасти, Иван...

Наконец на девятые сутки своего пребывания в Черкее Булакович узнал от Ахмеда, что сегодня в аул прибудет имам с несколькими приближенными людьми.

– Он Кизляр нападал... минога пленны, минога денга, лошад, корова, разны хурда-мурда взял, – с почтительным одобрением поведал татарин.

«Взял Кизляр», – подумал Булакович, веря и не веря словам Ахмеда. Кизляр был крепостью и городком, в котором стоял довольно сильный гарнизон, возле были казачьи станицы, находилась там и армянская рота добровольцев, до двадцати орудий... Как мог имам овладеть такой сильной крепостью?



– Три дня мюриды вся город руках держал... Казацки войска, солдаты кирепост прятались...

– Значит, крепость не была взята имамом? – спросил Булакович.

– Кирепост нет. Город, вся Кизляр мюриды брали, три дня хозяев были, – пояснил татарин.

Это уже похоже на правду.

– А куда дели пленных? Здесь их что-то не видно...

– Зачем здес? Все пленны в горы, в аул погнали... там их кирепко держат станут... Которы красивы девки, замуж за мусульман пойдут, которы парни, работать станут. Кто денга ест – выкупят... – со знанием дела рассказывал Ахмед.

К полудню Булакович заметил, что и в самом Черкее началось некоторое движение. На улице появились старики, обычно лишь по утрам и вечерам выходившие поговорить друг с другом на площади у мечети. Появилось много конных, проехал обоз из русских фур и телег и, не задерживаясь в ауле, потянулся в горы. Оживленной было и в саклях. Почти непрерывно пылали очаги, над крышами вились дымки; женщины все чаще сновали по улице,нося из родников воду в кувшинах. Да и сам Булакович уже не привлекал ничьего внимания. Приезд имама после победоносного налета на Кизляр был главным событием дня.

– Ваша блахородия, старшина говорит, иди сакла, сиди там, улица не ходи... пока имам не приехал. Сейчас Черкей минога разны народ ест – чечены, тавлин, кумыки всякий... Ты русски, тебя знает имам, Шамиль-эфенди, мюриды мало знают... не дай бог, обижат будут...

Булакович понял тревогу старшины. И в самом деле лучше было дожждаться приезда имама в сакле, чем мозолить глаза все прибывавшим в Черкей конным и пешим воинам имама.

Часов в пять дня по аулу проехали конные. Оживление и шум заполнили улицу, и Булакович понял, что прибыл имам. Потом все стихло. Никто не входил, не тревожил его, лишь мальчишка, племянник старшины, внес кувшин с водой, три куска пшеничной лепешки, миску с густым супом, в котором плавали куски баранины, и, подмигнув, негромко сказал: «Ийи<sup>1</sup>, Иван... харапо», – и удалился.

Не было и Ахмеда. Что происходило за стенами дома старшины, где находился имам, куда прошли толпы конных и пеших мюридов?.. Булакович, теряясь в догадках, решил ждать покорно и терпеливо.

Наконец часам к семи, когда солнце уже уходило за горы и через маленькое оконце было видно, как менялись цвета утесов и гор – от нежно-розового до фиолетово-зеленого и темного, – в комнату вошел Шамиль. Он дружелюбно потрепал русского по плечу, что-то сказал по-кумыкски и так же быстро вышел из боковушки. Шедший за ним переводчик сел возле Булаковича.

<sup>1</sup> Кушай.



– Шамиль-эфенди говорит: здравствуй, кунак. Как твои дела? Он сейчас маджид<sup>1</sup> пошел, там имам, там Гамзат-бек, там се булшой мюриды. Завтра имам тебе видать хочет, теперь сиди, сипи, я тоже иду маджид, намаз пора.

Только к полудню следующего дня Булаковича позвали в кунацкую старшины. Когда он вошел в комнату, в ней уже находились Гази-Магомед, Шамиль, Гамзат-бек, чеченский наиб Бей-Булат, начальник кумыкской пехоты Аскер-эфенди, старшина и мулла Черкея. Сыновья хозяина прислуживали гостям, стоя у стен и дверей сакли. Они были молоды и в совете старейшин участвовать не могли.

– А-а, русский гость, – сказал Гази-Магомед, кивая Булаковичу.

Все сделали то же, а один из сыновей кадия придвинул табурет. Все сели. Ахмед, сидевший возле старшины, сказал:

– Имам спрашивает, как твои здоровья? Харапо был здесь жист, угощения?

– Очень. Поблагодари, Ахмед, от меня имама и скажи, что я всегда буду помнить и благодарить его и моих хозяев, старшину и его сыновей.

– Гость посылается нам Аллахом, – коротко сказал Гази-Магомед.

Женщины, не входя, у дверей передали сыновьям старшины казан с густой шурпой, оловянные кружки, два кувшина с холодной родниковой водой и большую глиняную тарелку с разложенными на ней кусками чурека. Потом внесли чуда<sup>2</sup>, киярхычин<sup>3</sup>, куски дымящейся баранины со стекающим с шампуров жиром. Это был пашлык – кушанье, заимствованное горцами у грузин Кахетии и закатальских лезгин.

Мулла что-то нараспев прочел, не повышая голоса, после чего все начали степенно есть, макая мясо в неизменный чесночный настой, налитый до краев в миску. Ели, изредка перебрасываясь одной-двумя фразами.

Булакович ожидал, что имам и его люди будут делиться впечатлениями о взятии Кизляра, о налете на русскую Затеречную линию, о героизме мюридов и слабости русских войск. Но мюриды ни слова не сказали об этом. Ни Гази-Магомед, ни Шамиль, никто не обмолвился об удачном нападении. Разговор шел о повседневных делах, а война и победа над русскими казались обыкновенным, само собой разумеющимся делом, которым никому и в голову не приходило хвастать и кичиться.

Это тоже не было похоже на раздутые подвиги и хвастливые реляции генералов, спешивших донести в Тифлис и Петербург о своих сомнительных сверхгероических победах над «скопищами хищников», над «ордами лжеимама», «разбойничьими партиями Бей-Булата чеченского и аварского Шамиля».

<sup>1</sup> Мечеть.

<sup>2</sup> Фарш из тыквы.

<sup>3</sup> Суп по-лезгински.



Булакович изучал своих хозяев, имама, Шамиля. Его интересовало все: и как они ели, и как держались друг с другом, и их отношение к татарину-переводчику, и, конечно, к безмолвно появлявшимся в сакле женщинам. Все было внове, интересно, резко отличалось от досужих рассказов офицеров, якобы бывших в гостях или в плену у горцев. Все здесь дышало строгой простотой, естественной сдержанностью и свободным общением. За обедом сидели равноправные, хотя один из них был имамом, остальные мюридами или просто жителями аула. Ничего похожего на раболепство, на петербургское низкопоклонство низшего перед высшим...

Ели не спеша, макая в огуречно-чесночный рассол куски мяса и хинкала. Баранину разрезали на большие куски, и каждый пальцами рвал или просто откусывал мясо. Пальцы лоснились от курдючного жира, и обедавшие то и дело опускали руки в тазик с водой, стоявший на полу. Большая красно-коричневая тряпка служила для всех без различия полотенцем, и Булакович видел, как имам и переводчик, обтерев губы и пальцы, передали ее Шамилю.

Во всем была какая-то библейская патриархальность, напоминавшая героев Вальтера Скотта или рассказы о первобытной простоте нравов и жизни индейцев Северной Америки.

Как все это не было похоже на суетливое угодничество младших офицеров перед командирами полков или генералами, приезжавшими в крепости и гарнизоны.

«Что офицеры?» — думал Булакович. Ему, с малых лет жившему в Петербурге, бывшему гвардейцу, посещавшему в свое время великосветские салоны, маршировавшему с солдатами по Марсову полю в присутствии царя и великих князей, ведомо то униженное низкопоклонство, рабский трепет, верноподданнический, лакейский огонек и умиление в глазах генералов, графов и придворных вельмож, когда им «посчастливилось» попасть на глаза или отвечать на какой-нибудь пустой вопрос Николая и грубые остроты его брата Михаила.

Булакович проникался все большим уважением и симпатией к этим мужественным, простым, естественным, как природа, как их горы и водопады, людям.

«Таковыми, вероятно, были наши предки, когда не знали денег, бояр, крепостной зависимости, гнева и прихотей царей. И этих людей у нас считают «злодеями», «хищниками», «разбойной ордой», — припоминая слова официальных донесений, победных реляций, выражения генералов, переписку Ермолова с Петербургом, тоскливо размышлял Булакович.

— Что задумался? Ешь, кунак. Молодой должен хорошо кушать, — через переводчика сказал ему Шамиль, и все закивали, а Гази-Магомед дружелюбно хлопнул его по плечу:



– Кусай... кусай... – и рассмеялся ласковым смехом.

По-видимому, «кусай» было одним из тех немногих русских слов, которые знал имам.

– Мало ешь, гость. Все думаешь, – сказал Гази-Магомед.

– Думаю о вас, имам. О том, что вовсе не знаем мы, русские, горцев.

– Потому и воюете против нас, что не знаете. Что ж ты увидел и узнал нового?

– Пока еще мало, но то, что вижу, говорит мне, что вы – гордый, вольнолюбивый народ, а не дикари, как вас называют наши начальники.

Собеседники молча слушали его. Переводчик с трудом передавал слова Булаковича, но Гази-Магомеду и другим был понятен смысл слов пленника.

– Я верю тебе, урус. Ты человек храбрый, справедливый и перенесший от своего падишаха много горя и зла. Мы знаем, что здесь немало солдат, которые пытались сделать своему народу добро, но Аллах не помог им. Ничего, урус, во всем, что случается на свете, есть воля и мудрость Бога, ничто не делается без его воли... Вы не смогли докончить свое дело, значит, на то воля Аллаха... Мы тоже стремимся к тому, чтобы простой народ был свободен и сыт... И пока Аллах и пророк помогают нам.

Булакович вспомнил 14 декабря, Сенатскую площадь, одиноко и безропотно стоявших под огнем пушек солдат.

– Ты прав, имам. В следующий раз мы будем умнее.

Гази-Магомед с сожалением посмотрел на него и покачал головой:

– Следующий раз придет не скоро. Царь теперь знает, что делать с вами. Слушай, что я тебе скажу. У нас здесь будет большая война, тебе не надо быть в Черкее... Вот что надумали мы, – он указал рукой на присутствующих, – или возвращайся к русским... мы дадим тебе свободу, ты наш гость, и мюриды проводят тебя до русских мест, – или же уезжай в горы и будешь с нами столько, сколько захочешь сам.

Переводчик медленно переводил слова имама.

Остальные молча ждали ответа.

– Имам, еще раз спасибо тебе и всем этим добрым людям за то, что вы хотите отпустить меня назад, но... это невозможно. Подумай сам: я – человек, разжалованный из офицеров в рядовые, долго сидел в тюрьме за то, что бунтовал против царя, попал в плен вместе с солдатами. Вы меня кормили, хорошо относились ко мне, называли гостем и отпустили обратно. «За что такая милость? – спросят меня судьи и генералы. – Почему отпустили тебя, а задержали остальных?» Что я скажу им на это? Врать, имам, не буду. Я – воин, честный человек, люблю правду и скажу им то, что было. Они не поверят, никогда не поверят мне!

Ахмед с трудом переводил слова Булаковича.

– Спасибо тебе, русский друг. Ты честен и справедлив, как истинный или мюрид. Нас радует, что среди русских есть люди, которые серд-



цем и мыслями понимают нас. Но что же все-таки делать? – растроганно спросил Гази-Магомед.

Шамиль дружески смотрел на Булаковича. Гамзат-бек встал, затем снова сел на табурет и тихо сказал:

– Аллах велик. И среди этих людей есть такие, с которыми хочется не рубиться на коне, а вести долгую и сердечную дружбу.

– Отошли меня в горы... И если это возможно, разреши послать письмо в Грозную, чтобы знакомые мне офицеры выкупили меня. Выкуп – обычное дело, и тогда это никому не бросится в глаза.

– Ты наш гость, нельзя брать денег с гостя, с которым делил чурек и пищу.

– Имам, среди пленных есть раненный в руку солдат. Он беспомощен и одинок. Я напишу, чтобы нас выкупили обоих, – предложил Булакович.

Все молчали.

– Я – ваш гость, но русские ведь считают меня твоим пленником, и выкуп только утвердит их в этом.

– Как думаете вы, братья? – обращаясь к присутствующим, спросил имам.

– Русский прав. Если отпустить его без выкупа, ему отрубят голову, – сказал Шамиль.

– Повесят или расстреляют, – поправил его знавший русские порядки Ахмед.

Все рассмеялись.

– Одно стоит другого, – согласился Булакович, когда переводчик объяснил ему причину смеха.

– Имам, отправь его к нам, в Чечню, хотя бы в мою саклю, – предложил Бей-Булат. – Я прикажу всем аульчанам уважать и оберегать русского. Он будет и вашим и моим гостем, а тем временем наши лазутчики через мирных чеченцев передадут в крепость его письмо, и русские выкупят пленного.

– Хорошо. Сделаем так. Я хочу задать ему еще один вопрос, братья, а вы следите и слушайте, что скажет русский, – предложил Гази-Магомед, – Переведи, Ахмед, мои слова... Скажи, наш гость, если мы вернем тебя за выкуп или просто так, без денег, обратно к русским, можешь ты дать нам вот здесь, сейчас клятву, что никогда больше не будешь воевать с нами... Без этой клятвы мы не можем отпустить тебя обратно.

Булакович выслушал Ахмеда и, покачав головой, твердо произнес:

– Нет, имам. Такой клятвы я не дам... я не могу ее дать. Наоборот, я твердо знаю, что мне придется снова воевать с вами. Ведь я – русский солдат и буду выполнять приказы моего начальства, а вы сами знаете, что воин обязан подчиняться командирам. Нет, имам, лучше просто отошли меня в дальние аулы, где я буду пленником до тех пор, пока будет длиться эта проклятая война.



Гази-Магомед встал, положил обе ладони на голову Булаковича:

– Чистый сердцем мюрид... Иди, Иван, к себе... Не надо мне твоей клятвы. Я знаю, что, воюя, душой и сердцем ты будешь с нашим народом. Чем больше будет таких русских, как ты, тем скорее кончится война между нами.

– Аммен! – хором произнесли все.

– Правильные твои слова, имам. Этот русский мне ближе многих тех, кто совершает пять раз в день намаз, а в душе ненавидит газават и мюридов, – сказал Гамзат-бек.

– Иди, Иван... Ты скоро будешь в Грозной и заberi с собой раненого солдата. Выкуп за него возьмем небольшой.

Все стали расходиться. Ахмед и чеченец с Булаковичем вышли на улицу.

– Поедешь его аул... хорошо там будет... русски солдат с тобой пойдет, – сказал Ахмед. – Потом обратно Грозная поедешь... Имам тебя уважает. Имам говорит, эта русски чисты человек, как мюрид, обман нету. Имам ха-а-роши, – закончил свою тираду татарин.

Вечер спускался над горами и кумыкской равниной. В серо-фиолетовой дымке виднелись белые верхушки аварских гор. Над высокими хребтами сияло уходящее солнце, и дымно-серая мгла заволакивала горизонт. В ауле зажигались огни, слышался вечерний призыв муэдзина.

«Завтра в путь», – подумал Булакович, еще не зная, что сулит ему жизнь в горах.

Постояв, он медленно пошел к пленным солдатам, чтоб предупредить раненого собрата о решении имама.

Утром Булаковича разбудил Ахмед.

– Ваша блахородия, через три час тебе и солдат, рука ранетый, ихат нада. Шамиль-эфенди говорит, два лошада имам давал, два мюрид-тавлински до чеченски сторона провожает. Одна чеченца-мюрид, тебе кунак будет, тожа едит. Аул Шали тебе возит нада, там сакла Бей-Булат жит будешь, гость будешь, чечены твоя выкуп делат будут. Иди, скажи солдат, скоро ихат нада. Потом суда иди, обедат будешь, старшина салам скажешь, и в дорогу. – Татарин тихо вздохнул: – Дай тебе Аллах твоя русски дом ихат, жена, детки видат. Меня этого бох не дает. – Он махнул рукой и вместе с Булаковичем вышел из сакли.

Была уже осень: прохладные утра с еще ярким сияющим солнцем и колючим, щипавшим щеки, ядреным, чуть морозным ветерком.

«А ведь нам будет трудно в осеннюю пору ехать без теплой одежды в глубь гор, в дальние аулы Чечни», – подумал Булакович. И он, и солдат были в поношенных мундирах, без пуговиц, с продранными локтями, не гревших даже здесь, на теплой, облитой солнцем равнине.



– Здравствуйте, братцы, – поздоровался он с солдатами, понуро и безнадежно выслушавшими его.

– Значит, покидаете нас, господин разжалованный? – с тоской спросил один из них. – Вас с Егоркиным уведут в горы, а завтра и нас куда-нибудь разгонят.

– А чего делать? Жалиться не на кого. Плен, одно слово – неволя, – горько посетовал другой солдат.

– А на что вам Егоркин, рука у него простреленная, чеченам он не работник, помочи от него никакой. Может, заменить кем, кто поздоровее будет?

Егоркин, сидевший тут же, молчал, не вмешивался в разговор, словно речь шла не о нем.

– Нельзя, его сам имам назначил со мной, – ответил Булакович, не желая говорить о возможном выкупе русскими его и больного солдата.

– Ну чего же исделаешь. Стало быть, Козе виднее, – вздохнул первый. – Да тут и не поймешь, игде будет лучше, здесь али в горах!

– Ну, Егоркин, прощайся с товарищами и пойдем со мной. Скоро ехать, – поторопил раненого Булакович.

– Эх, господин разжалованный, жаль, что увозят вас отседа. Хоть вы и отдельно жили, так мы знали, что вы возле, то тем, то сем поможете. И чуреку, и сыру нам от вас Ахмед-переводчик носил, а теперь уедете вы, ни одной с нами христианской души не останется. Вроде как на погибель брошены, – тоскливо сказал все это время молчавший пожилой солдат.

Булаковичу до слез стало жаль оставляемых им людей, но что мог он сделать, как помочь солдатам, в тоске и тревоге рисовавшим свое одиночество и бесправие после его отъезда?

– Вся надежда на обмен пленными, – неуверенно произнес он.

Солдат отрицательно покачал головой.

– Обмен, ваше благородие, – подчеркнуто выговаривая последнее слово, – нас не касаем. Не бывало того, чтоб солдат на пленных чеченов меняли.

– Бывало. Чего мелешь-то не знаючи? В нашем батальоне и сейчас трое обмененных есть, – сердито буркнул пожилой солдат. – Опять же, как дела пойдут. Ежели нам накладывают по загровку, так обмена не жди, а вот коли их побьют, тогда легкое дело. Они сами на обмен идут.

– Ну, там что бог даст, братцы, а теперь попрощаемся. Скоро нам ехать в горы. А что будет дальше – кто знает, – обнимая солдат, сказал Булакович.

Они присели перед дорогой, помолчали, потом Булакович продолжал:

– Держитесь Ахмеда. Это хороший человек и, чем может, поддержит вас.

Солдаты перекрестились.





– Всего вам доброго, господин разжалованный, – за всех попрощался пожилой солдат, – хочь вы и из офицеров, из бар, а к нашему брату всегда добры были. Давай и вам Бог освобождения. – Он хотел еще что-то сказать, но махнул рукой, вытер слезу и отвернулся.

Мюрид, наблюдавший за пленными, с любопытством смотрел на сцену прощания.

Булаковичу стало не по себе. Он быстро повернулся и, сопровождаемый Егоркиным, поспешил из сарайчика, в котором жили пленные.

– Кушай на дорога, ваша блахородия. Шамиль-эфенди сказал, пуцай много кушит, дорога булшой, длина. Он тебе бурка, папах давал, тебе ничаво одет нету, спат бульно холодно. Ему, – он указал пальцем на Егоркина, – старый шинел и папах давал. Шамиль тебе тоже лубит. Шамиль хороший чалавек, – убежденно закончил Ахмед.

– А я могу проститься с ними? – тронутый заботой чужих людей, спросил Булакович.

– Не-е. Имам другой аул маджид ушла. Шамиль, Гамзат-бек тоже Черкей нету. Тебе, ваша блахородия, чеченский Бей-Булат говорить будет, потом – айда горы, – и татарин кивнул куда-то в сторону. – Чечен аул есть, Шали зовут. Там Бей-Булат сакла, там твоя дом будет. Потом письма Грозная пишешь, денга чечен получит, твоя обратно пойдет. Хорошо будет, ты, ваша блахородия, не бойсь, се хорошо будет. Тебя тожа, Егоркин, плохо не будет. Его блахородия добры чалавек, помогать будет, тебе выкуп дает. Домой, деревня пойдешь, – пытался успокоить и обнадежить отъезжающих татарин.

– Хороший, славный ты человек, Ахмед. Спасибо за все – и за меня, и за солдат пленных. Добрая ты душа. Не оставь их, когда мы уедем. Помогай им чем можешь, едой или каким-нибудь обмундированием, словом хорошим поддержи их, Ахмед, – попросил Булакович.

– Не бось, ваша блахородия. Чего могу – наделаю. Я сама солдат бул, знаю, как чижало наш брат-мужик. Пока пилены Черкей будет, я помогать должен, когда горы уйдет, – он развел руками, – Аллах им помогать должен, Ахмед ничаво силы не будет...

Спустя час Булакович и рядовой Егоркин, переодетые в бурку и шинель, в теплых папахах, сопровождаемые двумя лезгинами и молодым чеченцем Юсуфом, выехали из Черкея. Лезгины провожали их до чеченской стороны, где Юсуф должен был провести их через ауховские и Гудермесские леса к аулу Шали.

Молодой чеченец вез устный и письменный наказ имама относиться к русским как к гостям, не обижать, кормить их и лишь не допускать удаления из аула.

За Булаковича требовали двадцать золотых червонцев, за раненого солдата Егоркина всего десять туманов русским или персидским серебром.

# ЧАСТЬ V



## Глава 1

В крепости Грозной генерал Эммануэль разбирал дело о «трусости подполковника Сучкова, воровстве, утаении им казенных, отпущенных на солдатское питание сумм, а также о беспробудном пьянстве, оставлении на произвол судьбы крепости Внезапной в дни ее штурма войском Казимуллы...»

Бывший комендант крепости подполковник Сучков, стоя навытяжку перед презрительно разглядывавшим его генералом, бормотал что-то об интригах майора Опочинина, о его подозрительных связях с горцами. Он клятвенно, божеась, уверял Эммануэля, что давным-давно не пьет, что не спал ночей, не сходя со стен атакованной мюридами крепости.

– Значит, майор Опочинин врет? – грубо и резко перебил его генерал.

– Так точно! Врет, бесстыжий человек, норовит на мое место в коменданты попасть! – почти выкрикнул Сучков.

– А вы сами того... не врете? – тихо спросил казачий полковник Волженский, сидевший рядом с Эммануэлем.

– Истинный крест, не вру! – даже перекрестился подполковник.

– Ну, а остальные господа офицеры, от прапорщиков Тузлова и Малькова, – заглядывая в бумагу, сказал третий член Военно-судебной коллегии подполковник граф Фермор-Стенбок, – до капитанов Медведева и Зонна тоже врут?

– Видать, так, – нагло заявил Сучков и, хватаясь за последнюю надежду, выпалил: – Они все против меня, потому что все ермоловцы, о нем только и говорят, в казармах все о нем толкуют и судачат. Он-де был герой, настоящий отец для солдат, а вот нынешние...

– Это кто ж так говорил, офицеры или солдаты? – поинтересовался Волженский.

– Да и те и другие. Все «Алексей Петрович» да «Алексей Петрович»... Ясно, что такой, как я, верноподданный, им не по душе, – оживляясь, ответил Сучков.

– Вот что, «верноподданный», а куда вы дели девять тысяч восемьсот двадцать один рубль и семьдесят одну копейку, которые вам отпустили из Грозной на укрепление стен и защитной обороны Внезапной? – спросил генерал.



– Все израсходовал на постройку защитных валов, ремонт стен, башен после землетрясения.

– Не все. «Рубль семьдесят одну копейку как не использованные» вы «возвратили в казну», а девять тысяч восемьсот двадцать рублей преспокойно положили в карман.

– Никак нет! Есть акты и счета на все, ваше превосходительство!

– Есть-то есть, да все фальшивые, написанные вами, состряпанные фуhrштатским чиновником Курисом и для вящей убедительности подписанные еще одним мошенником, фельдфебелем Степаном Моргунком. Кстати, он во всем признался, Курис тоже, и вам врать не следует.

Сучков побелел.

– Ва... ваше пре... – начал было он, но генерал жестом остановил его:

– Нам известно и то, как вы на питании солдат, на фураже, на любом гвоздике и клочке сена обкрадывали казну. Ступайте вон! Завтра объявим приговор.

Солдат вел подполковника через двор, и наблюдавшие за этой картиной генерал, казачий полковник и граф Фермор видели, как подкашивались ноги у Сучкова, как он то и дело останавливался.

Полковник Пулло принимал гостей в своем недавно построенном доме. Дом этот был не чета ермоловской хибарке. Рядом с Пулло сидел командир Гребенского полка Волженский, возле которого в небрежной позе восседали граф Фермор-Стенбок и недавно приехавший из Петербурга гвардии поручик князь Куракин.

Сам Пулло за прошедшие годы обрюзг, потолстел и вовсе не был похож на того Пулло, который не так давно, еще при Ермолове, ходил на уничтожение Дады-Юрта. Что-то застывшее, утомленное и апатичное было в его движениях и глазах.

На столе стояли бутылъ с кизлярским красным вином, фляга с ромом и невысокие пузатые стаканчики, жареный фазан, сыр, белый хлеб, пышные маслянистые коржики и блюдо с виноградом. Офицеры лениво пили вино, с интересом слушали новости, привезенные князем. Разговор шел о производствах в чины, о награждениях и лишь иногда перескакивал на светские сплетни, которые со смаком рассказывал Куракин.

– А как наш «проконсул»? В Москве еще, или уже снята опала? – спросил Пулло.

– Не-ет! Государь не жалует Ермолова, и вряд ли он когда-нибудь будет при дворе, – уверенно произнес Куракин.

– А меж тем я получил письмо от баронессы Медем, она пишет, что встретила Алексея Петровича в Петербурге, – сказал Стенбок.

– Вот как! – удивился Куракин, – Что-то новое, хотя я ведь, господа, из столицы давно. Около месяца был на Кислых Водах да недели три задержался в Ставрополе.



– А что с Голицыным? Правда ли, что ему отняли ногу и что он в немилости? – спросил Стенбок.

– Верно! Его на дуэли ранил штабс-капитан Нека... Дай бог памяти. Да он еще у вас на Кавказе находился... Известный храбрец... Бреттер...

– Якубович! – подсказал Пулло.

– Нет. Того я знаю, а этот Георгиевский кавалер, бывший гвардеец, лично известный государю и Бенкендорфу, а также графу Паскевичу.

– Кто же такой? – пожимая плечами, размышлял Пулло. – Может быть, Небольсин? Как же, помню, достойный и храбрый офицер, за Дагестан – Владимир с бантом, за Елисаветполь – Георгий. Его и Алексей Петрович, и граф Паскевич отмечали. Как же, знаю Небольсина! Так что с ним, где же теперь этот достойный штабс-капитан?

– Вашсокбродь, разрешите войтить, – чуть приоткрывая дверь, спросил дежурный писарь.

– Входи. Что там приключилось? – недовольно отозвался Пулло.

– Его благородие штабс-капитан Небольсин из Петербурга к вашей милости из крепости Владикавказа.

Пулло поперхнулся глотком вина, Стенбок в изумлении откинулся на спинку стула.

– *C'est de la pure sorcellerie*<sup>1</sup>, – пробормотал Куракин, и все трое обернулись к двери.

– Зови! – приказал наконец Пулло.

– *Impossible a croire!*<sup>2</sup> – проговорил Стенбок.

В комнату вошел Небольсин.

Пулло шагнул ему навстречу. Офицеры поднялись с мест.

– Господин полковник, штабс-капитан Небольсин, согласно приказа генерал-лейтенанта барона Розена, является в ваше распоряжение, – становясь по стойке «смирно» и придерживая у груди кивер, отрапортовал Небольсин.

– Очень рад встрече, ведь я вас хорошо помню, господин штабс-капитан, по совместной военной прогулке в Дады-Юрт. Познакомьтесь, господа, – любезно сказал полковник. Офицеры раскланялись. – Это хорошо, что опять к нам. Как ваше ранение? – осведомился Пулло.

– Прошло, только иногда чуть ноет место удара кинжалом.

– Чеченцы? Они на это мастера, – тоном знатока пашечного боя сказал Волженский.

– Нет, это было в бою с персиянами, под Елисаветполем, – коротко пояснил Небольсин, подавая пакет полковнику.

Пулло вскрыл его, пробежал глазами и, протягивая обе руки Небольсину, воскликнул:

– Вас с монаршей милостью, господин капитан!

<sup>1</sup> Это колдовство. (франц.)

<sup>2</sup> Непостижимо! (франц.)



Небольсин чуть повел плечами:

– О, эти милости были уже давно, – и он показал на перстень с алмазами, пожалованный ему Николаем.

– Тем приятнее сообщить вам, что, – Пулло поднес к глазам бумагу, вынутую из пакета, – что милостью государя вы одиннадцатого сего июля произведены вне очереди в чин капитана. Поздравляю! – тряся руку удивленного неожиданной новостью Небольсина, воскликнул Пулло.

И Стенбок, и Волженский, и Куракин одновременно щелкнули каблуками, поздравляя Небольсина.

– «По высочайшему именному повелению штабс-капитан Небольсин Александр Николаевич, откомандированный после выздоровления от ран, полученных в бою с персиянами, на Кавказ для продолжения службы, производится вне очереди в капитаны, о чем надлежит уведомить штаб действующего на Кавказе Отдельного корпуса.

Генерал-адъютант Чернышев.

Дежурный генерал Бенингсон 2-й.

11-го июля 1830 г.

Санкт-Петербург», –

сочно, с видимым удовольствием прочитал Пулло.

– Милости государя императора сыплются на вас, как из рога изобилия, – сказал князь Куракин.

– А теперь по кавказскому обычаю омоем кахетинским и шампанским ваше производство, капитан, – предложил Пулло.

Было видно, что Георгиевский крест, алмазный перстень и производство вне очереди в чин возвысили Небольсина в глазах Пулло и офицеров.

А так как присутствующие были людьми светскими, не раз побывавшими и в Петербурге и в Москве, то разговор поддерживался сравнительно легко. Говорили об итальянской опере, которую князь Куракин превозносил сверх меры, и о французском театре, недавно игравшем для императора забавный водевиль «Лионская волшебница». Потом вспоминали гостеприимство и хлебосольство московских бар, народные гулянья, кулачные бои на Москве-реке. Пулло оказался большим любителем этого вида развлечений, со смехом и подробностями рассказывал о том, как был свидетелем грандиозного боя за Калужской заставой.

– Поверите ли, не меньше четырех сотен кулачных бойцов сшиблись на этом месте стена на стену, да народ все крепкий, косая сажень в плечах, кулаки, как гири, молотили друг друга без усталости. Одни валяются, другие на их место бегут. Купцы их подзадоривают, то и дело косушки да серебро посылают. Знатный был бой, – восхищенно закончил полковник.

– По старому кавказскому обычаю, капитан, хорошее знакомство надо полить доброй чаркой вина, – напомнил Волженский.

Офицеры улыбнулись.



– Я думаю, вы давно не пивали кавказского чихиря, родительской кизлярки, как называют ее казаки, – продолжал он, обращаясь к Небольсину.

– Представьте, месяц назад, в Москве, – улыбнулся Небольсин.

– В Москве? – удивился Стенбок. – Разве и туда дошло наше доброе гребенское вино?

– У Алексея Петровича. Заезжал к нему прощаться перед дальней дорогой. Ну, а у него и чихиря, и кахетинского, и даже чачи предостаточно.

– Не забывают старика кавказцы, – сказал Пулло. – Вот уже четвертый год, как нет его с нами, а помнят...

Куракин и Стенбок промолчали. Они были здесь людьми новыми, ни любви, ни злобы к Ермолову не питавшими.

Солдат внес пузатый глиняный кувшин, пять стаканов, шемаю, тарань, икру и ноздреватый пшеничный хлеб.

– Ну-с, с первым знакомством, – разлив по стаканам вино, чокаясь с Небольсиным, произнес Пулло.

Было видно, что офицер, пользовавшийся благосклонностью царя, лично знакомый Паскевичу и одновременно близкий с Ермоловым, внушал ему уважение. Пулло с предупредительной улыбкой напомнил ему:

– А помните Дады-Юрт и резню в этом ауле? Я и до и после этого бывал в жарких делах, но такого кровопролития и жестокости не встречал.

– Кровопролитие было с обеих сторон, дрались крепко, но жестокость, – Небольсин посмотрел на полковника, – была с нашей. Ведь аул можно было и не уничтожать. Чеченцы сразу же хотели кончить миром, выдать аманатов.

Пулло почесал лоб и развел руками:

– Дело давнее, да и Алексей Петрович твердо решил наказать их за шалости и бесчинство.

Стенбок и князь Куракин, даже и не слышавшие об этом походе, молчали.

– Генерал посылает вас в наш отряд для несения службы. Назначение предоставлено мне. Я хотел бы оставить вас при отряде. Как вы думаете об этом?

– Куда назначите, господин полковник, кроме... – Небольсин запнулся, – кроме крепости Внезапной. У меня с ней связаны кое-какие тяжелые воспоминания, и я не хотел бы находиться...

– Будьте спокойны, вы останетесь здесь, тем более что Внезапная, этот участок Дагестана, подчинен генералу Коханову. Хотите в строй или в штаб?.. Это, однако, пусть решает его превосходительство генерал Эммануэль, которому подчинены и я, и вся Гребенская линия с ее дистанцией и кордонами. Господа, допьем вино и отправимся к генералу. Он будет рад познакомиться с вами, капитан, – сказал Пулло, вновь наполняя стаканы чихирем.





– Вы, господин капитан, – любезно встретил Небольсина генерал, – будете находиться в нашем отрядном резерве несколько дней. Как только мы вернемся с военной прогулки, вы получите назначение при штабе дистанции.

Генерал Эммануэль говорил, четко произнося слова. Эта старательная манера звучно и точно выговаривать каждый звук и заметный немецкий акцент подчеркивали его нерусское происхождение.

«Однако его превосходительство явно благоволит ко мне, почитая за государева любимчика», – подумал Небольсин, вглядываясь в холеное лицо, жирные подусники и бледно-голубые глаза сверхлюбезного начальника отряда.

– А может, вам, Александр Николаевич, – переходя на товарищеский тон, продолжал Эммануэль, – может быть, вы хотите, по старой памяти, побывать в походе, понюхать пороха и порубиться с чеченскими джигитами?

– Охотно, ваше превосходительство. Я так давно не был в строю.

– Вот и отлично. Куда б мы могли направить капитана? – вопросительно глядя на Стенбок-Фермора, осведомился Эммануэль.

Пулло, сидевший рядом с ним, подсказал:

– Я думаю, капитану Небольсину было бы интересно завтра отправиться с отрядом майора Лунева на наш левый фланг, там начнется рубка просек к чеченским аулам. Появление наших рот и казачьих сотен привлечет внимание чеченских толп к аулу Гурканай, – Пулло указал пальцем на карту. – Они попытаются помешать нашему отряду двинуться в лес. Мы разобьем их, зайдем аул, а от него начнем прокладывать через лес просеку. Кроме всего, отряд майора Лунева, в котором будет эти дни находиться капитан, – он любезно улыбнулся Небольсину, – станет левофланговой охраной нашего основного удара на чеченский аул.

– Прекрасно. Вот маленькая экспедиция, которая напомнит вам, Александр Николаевич, походы двадцать шестого и двадцать седьмого годов, – сказал молчавший все это время Фермор.

– В случае нашей задержки или сильного сопротивления мюридов ваш отряд поможет с левого фланга основному, но, – Пулло засмеялся, – неудачи быть не может. Все продумано до мелочей. Силы в Чечню идут большие, войска испытанные, а командовать ими будет, – он почтительно склонил голову, – его превосходительство генерал Эммануэль.

Все заулыбались, глядя на генерала.

– Готт... мит... унс... – неожиданно сказал Эммануэль и тут же перевел: – С нами Бог.

Только казачий полковник Волженский недоуменно поднял брови и уставился на Эммануэля.

– Когда мне присоединиться к отряду майора Лунева и в какой роли я буду там? – спросил Небольсин.



– Сегодня мы уведомим о вас майора. Вы будете, так сказать, военным консультантом и инспектирующим офицером штаба, – пояснил генерал.

– Именно. Инспектирующим лицом со всеми нужными для этого полномочиями, – подтвердил Пулло. – Майор – старый солдат. Он совершил не менее двадцати походов в горы, и вы быстро сдружитесь с ним.

«Отсылаюсь за ненадобностью, пока подыщут место», – понял Небольсин. Но ему так хотелось быть с солдатами, что он коротко сказал:

– Слушаюсь.

Командир батальона майор Лунев, человек приземистый, с плотным, обветренным лицом, встретил капитана настороженно, и только Георгиевский крест да Владимир с бантом, висевшие на груди Небольсина, несколько расположили его к беседе. Узнав, что Небольсин был ранен в бою под Елизаветполем, майор окончательно проникся уважением к нему.

А я ведь, грешным делом, решил, что вы петербургский фазан-чистоплюй, нас, армейских, ни в грош не ставящий. А вы свой, кавказец. – И уж совсем по-приятельски предложил: – За Алексей Петровича дернем по кружке вина, как вы на сей счет думаете?

– Думаю, что за Ермолова следует по две кружки, милейший майор, – смеясь, ответил Небольсин.

И они выпили за опального «проконсула Кавказа» добрые две оловянные кружки кизлярского чихиря.

– Здесь так часто пьют за здоровье Алексея Петровича, что я боюсь, как бы не спиться с круга, – пошутил Небольсин. – А вот за Паскевича тостов что-то не слышать.

Лунев только махнул рукой и спросил:

– Где служить будете после похода?

– Да, кажется, начальником Червленного кордона, а может быть, и при штабе в Грозной.

– На кордоне не в пример лучше. И свободнее, и сам себе хозяин, да и с казачишками веселей, чем в крепости службу нести.

– И я так думаю, – подтвердил капитан.

Успокоенный майор, поначалу решивший, что этот щеголеватый питерский офицер намечается на его место, окружил Небольсина настоящим солдатским теплом и вниманием.

– Вы, Александр Николаич, со мной будете, чего вам вперед во взводы да роты лезть, не ровен час, подобьют эти шельмы чечены. Они ух как метко стреляют да и в пашки охочи кидаться.

– Я видел их в деле... Молодцы! Когда наш полковник Пулло чеченский аул Дады-Юрт разгромил и сжег, я тогда в егерском полку служил.

Майор вдруг скинул с себя смятую фуражку и истово перекрестился.

– Царство ему небесное.

– Кому это? – удивился Небольсин.



– Моему товарищу-другу, капитану Ершову. Он в том бою убит был, я ведь тогда с застрельщиками у речки в камнях лежал.

– Позволь, майор, – вдруг переходя на «ты», сказал Небольсин, – а офицера, что парламентарем к чеченцам в аул с трубачом пошел, помнишь?

– А как же, он еще у нас егеря сопровождающего взял.

– И потом, когда чечены отрубленную голову в мешке к нам в цепь перебросили, помнишь, что офицер...

– «Ужасная война... Несчастные люди!..» – припоминая давно забытое, закричал майор. – Так это ты, капитан, был?

– Я, – тихо ответил Небольсин.

Майор подскочил к нему, обнял и, заглядывая в глаза, негромко сказал:

– Гора с горой... Господи... Сколько раз я потом вспоминал этот самый Дады-Юрт и того офицера. А он... на тебе, Господи, – рядом... И слова твои верные вспоминал: «Несчастные люди», «ужасная война», – Лунев крепко поцеловал капитана. – Тогда я мало чего понимал, а вот как обидели Алексей Петровича, сняли отца-командира, понял, друг: ни к чему эта война, и затянется она еще годов на двадцать. Э-эх, выпьем еще чепурочку за него, – он поднял руку, – Ермолова, и забудем этот разговор.

Они выпили и уже больше не возвращались ни к Алексею Петровичу, ни к «ужасной» войне.

## Глава 2

Заснеженные холмы, и над ними высокие, сверкающие льдами горы, а еще выше хмурые, то быстро, то медленно ползущие облака. И всюду, почти до самой полосы льдов, – леса. Темные, густые, они были дики, страшны и угрюмы. Ни дорог, ни тропок, ни просек. Солдаты жались друг к другу, неохотно отходили от костров. Дым и пламя, словно конские хвосты, метались по ветру, и это оживляло неприветливую природу.

Отдельные голоса, стук топоров, звон пил, треск валившихся столетних великанов – все сливалось в один общий гул. Снизу, по ранее проложенной просеке, медленно поднимались солдаты других рот. Вьючные лошади стояли неразгруженными возле офицерской палатки, только что разбитой денщиками.

Ветер шумел высоко в ветвях вековых чинар и грабов, тесно, как солдаты в каре, примкнувших друг к другу.

Дождь то начинал идти, то переставал, но ветер, злой и холодный, не прекращался. Его ледяные порывы пронизывали людей.

– У-ух, хла-ад-но... аж до костей доходит, – поеживаясь, сказал молодой солдат, втягивая голову в плечи.



– А ты поди подсоби дровосекам. Как намахаешься топором, так станет тепло, аж пот пробьет, – посоветовал кто-то из старослуживых.

– Мне, дяденька старшой, нельзя. Мене господин фитфебиль в стрелки назначили, – подтягиваясь к костру, объяснил рекрут.

А огни в лесу все росли. Все сильнее курились дымки, все чаще полыхало пламя костров, разожженных продрогшими солдатами.

В охранительной цепи, стоявшей в полуверсте от лесорубов, послышалась стрельба. То редко, то часто затрещали ружейные выстрелы, и опытные, уже не раз побывавшие в деле солдаты по звуку определяли характер пальбы.

– Это кунаки бьют. Ишь ведь и ружья-то у них не как наши, христианские, а ровно как цокают...

Стрельба стихла, а стук топоров и крики «поберегись» то и дело разносились по лесу. Огромные, в три-четыре обхвата дерева с тяжелым шумом и глухим надломленным треском валились наземь, цепляясь могучими ветвями за соседние, еще не тронутые людьми деревья.

Ветер усилился, небо заволокло свинцово-серыми облаками, пошел дождь. Голоса людей, крики дровосеков и свист метавшегося в ветвях ветра слились с монотонным шумом дождя.

Из глубины леса слышались крики, затем вопль, другой.

– Опять кого-то завалило... и что это за народ такой, – высовывая голову из палатки, сказал майор, озабоченно вглядываясь в даль. – А ну, Корзюн, сбегай узнай, что там случилось.

– Солдата деревом зашибло, вашсокбродь... не успел отскочить, – доложил кто-то.

– Не одного, двоих, фершал туды побег, – подкладывая сучья в костер, не поднимая головы, сообщил пожилой солдат. – Тут разве удержишься? Кругом лес валят, а деревья таки, что чуть зацепит – конец, – словно про себя продолжал он.

По всему лесу опять застучали топоры.

– Долбят ровно дятлы, – сказал Лунев и, уже прячась в палатку, приказал: – Как вернется Корзюн – ко мне. Да взводного тоже.

Дождь снова стих, и над снежными вершинами Кара-Тая засветилось солнце. Блеск пробежал по ледникам, заискрился снег, засверкали ослепительно белые вершины могучих хребтов, и даже темный, насупившийся старый лес как бы ожил и заиграл под лучами яркого, но почти не греющего солнца.

– Дал бы Господь тепла... Совсем сбились с ног солдатики, мочи им нет... И дождь, и стужа, и ветер, а тут и орда откель ни есть бьет, – покачивая головой, сказал рекрут.

– А про лес забыл? В этом чертовом лесу каждое дерево семью смертями грозит. Ты откель сам-то? – переставая ворошить костер, спросил старослуживый.



– Мы – пензенские. Помещика Яркова, может, слышали, села Круты Горки.

– Круты Горки, – повторил ворчливо старик, – какие у вас горки! Вот тут их нагладишься, крутых-то горок да темных лесов. Тут, братец ты мой, нехрещеная сторона, одним словом – бусурмане. Что народ, что земля – все едино нехрещеная Азия...

– Вернусь, дяденька, буду рассказывать – не поверят, что такие земли есть, – робко сказал рекрут.

Впереди опять затрещали выстрелы, но теперь они звучали чаще и ближе. Несколько пуль со свистом пронесли над головами солдат, две-три врезались в стволы огромных чинар.

– Не загадывай, малый, вперед. На Капказе служишь, значит, сегодня жив – и слава богу, – поднимаясь от костра, посоветовал старослуживый.

Из палатки опять выглянул майор.

– Откуда стреляют?

– Вон отсюда, где застрельщики наши стоят, – махнул рукой солдат.

– Вашсокбродь, на заставу орда пошла! Там они завал сделали, никак наши пробиться не могут, – доложил подбежавший фельдфебель.

– Поручик Королев, берите полуроту егерей и идите на помощь дровосекам.

– Майор, я тоже пойду с ними, – сказал Небольсин и направился к уже строившимся егерям.

– Не следовало б тебе, – возразил Лунев и, обращаясь к артиллеристам, приказал: – Огрейте их кегорновой гранатой, да не жалеть снарядов. Матушка-Расея богата, выдержит, – пошутил он.

Заиграл сигнальный рожок. По просеке пробежали и скрылись в кустах солдаты. Не спеша прошли к орудиям батарейцы.

– Не тушить костров! Кашеварам варить суп. Как разгоните орду, так и обедать. Чем скорей справитесь, тем вам лучше, – напутствовал майор уходящих. – Рубку продолжать, как только наши отгонят хищников подалее. Пока же дровосеки пусть отдохнут. Ну, кого там зашибло?

– Рядовых седьмой роты Коркина и Жигулина. Насмерть, – доложил фельдфебель.

Майор почесал за ухом, прислушался ко все разгоравшейся перестрелке.

– Как же это они так неловко? Не смогли отскочить вовремя?

– Никак нет, вашсокбродь. Они успели, дак под соседнее дерево угодили. Жигулину голову прошибло, а Коркина как накрыло ветвями, так еле добрались до него – мешок с костями. Всего изломало, и ноги, и руки скрозь раздавило.

– Да-а... Такие великаны кого хошь раздавят, – вглядываясь в далекие кроны вековых деревьев, почтительно сказал майор.



В конце просеки зачастили выстрелы, глухо докатилось «ура», перемешанное с «алла-ла»...

— На завалы пошли, — переноса взгляд на ложбину, продолжал батальонный. — Там теперь пойдет потеха. А ну, прапорщик Вершинин, вперед со своим взводом, да в штыки их с фланга!

Резервный взвод бегом бросился к месту боя.

Ударили орудия, грохнул взрыв, засветились лопнувшие между деревьев ракеты. И опять загрохотали выстрелы.

— Велика, видно, партия. И чего это донесения не шлют, — развел руками Лунев.

И опять взорвались ракеты и лопнули две кегорновые гранаты.

— Ловко накрыли, вапсокбродь, — удовлетворенно сказал фельдфебель, — Ишь гололобые назад подались.

— Откуда ты взял? — спросил майор.

— А как же, и стрельба стихла, и «ура» уже издали слышно.

— Мало им таперя не будет, — сказал рекрут, впервые видевший картину боя.

Шум свалки и пальба прекратились, лишь отдельные выстрелы да выкрики людей долетали до штаба отряда.

— А вот и связной! — обрадовался майор.

— С донесением до вашего высокоблагородия!

К палатке батальонного подбегал солдат. Офицеры сгрудились возле майора.

— Так что донесение вашему сокблагородию, — протягивая записку, доложил связной.

— Ну как, отогнали хищников? — разворачивая донесение, спросил батальонный.

— Так точно, вроде как отошли. Сейчас наши завал разбирают, а стрелки выбивают кого ни на есть из лесу.

«Завал взят штурмом. С полуротой двигаюсь дальше до поворота просеки. Там займем охранение и будем ждать дальнейшего приказа. Наши потери: убиты четверо солдат 9-й роты, ранены прапорщик Железнов и семеро солдат. На завале и возле него оставлены пять трупов горцев. Захвачен один, раненный в голову.

Поручик Королев».

— Добре! — складывая донесение, произнес майор. — Ракетницы пусть возвращаются обратно, а полубатарея кегорновых останется с ротой. Раненых доставить в лагерь, пленного туда же. Убитых снести к обозу. Рубку продолжать, — он посмотрел на небо, чуть-чуть затянувшееся тучами. — Скоро полдень. — Потом зевнул и, обращаясь к офицерам, предложил: — Кто чайку с ромом желает — ко мне.

Солдаты разошлись по местам. В лесу опять застучали топоры, заскрипели пилы, зашуршали падающие ветви.



Мимо офицерских палаток прошел армянин-маркитант, за ним несли узел с провиантом и четвертью чихири. Фельдфебель, сидя на пне, записывал каракулями потери в только что стихшем бою.

На просеке солдаты разводили костры. На них уже виднелись котелки, жестяные чайники. Приятно пахло поджаренными ломтями шипевшего на шомполах свиного сала. Кое-кто смастерил шалашик из веток.

Поручик Королев обходил солдат.

– Не спать, держать ухо востро.

Небольсин, сопровождаемый двумя старослуживыми усачами, пошел назад к штабу батальона, собиравшемуся отойти к аулу.

Дождь перестал, лес, поляна и просека быстро нагревались от горячего, прорвавшегося сквозь облака солнца. Земля, еще влажная и сырая, дымилась и хлюпала под ногами.

«И зачем я согласился идти в эту экспедицию, – с неудовольствием подумал Небольсин, глядя с вершины холма на брошенный жителями аул. – Ни к чему такое фанфаронство. Прав, тысячу раз прав был Модест, когда сказал, что война на Кавказе не нужна никому, кроме Главного штаба и англичан, раздувающих огонь кровопролития на Востоке».

Когда Небольсин вернулся в штаб отряда, офицеры уже отобедали и сели играть в карты. Майор Лунев, покуривая трубочку, метал банк, возле него сидел казачий есаул с сухим, обветренным лицом и опущенными вниз усами. Это был командир второй червленской сотни Прокоп Желтухин, известный на линии вояка, на скаку рубивший головы телятам. Он не играл, но внимательно, не мигая смотрел на смятые ассигнации, серебряные рубли и золотые полуимперIALы, лежавшие перед банкометом. Желтухин поднялся с места и дружелюбно улыбнулся Небольсину:

– А я ведь к вам, господин капитан. Приказ есть отряду присоединиться к главным силам, позавчера ушедшим на Гудермес.

Он передал Небольсину пакет и, пока тот вскрывал его, с недовольным изумлением сказал:

– Одни с чеченом бьются, а другие в карты воюют... И не жаль им ни времени, ни денег.

– Ты, есаул, еще дитя непорочное, ежели так рассуждаешь о картах, – продолжая сдавать, буркнул майор. – Русскому офицеру, да еще на Кавказе, чего надо... Войны, водки, отличия...

– И еще девок станичных, – засмеялся один из игроков.

– Ну, тут ты, ваше благородие, чуток обмикитился, – сухо возразил есаул. – Наши мамуки да девки не про вас... У нас казаки сами с ними справятся, а вы с чеченом да с тавлинами воюйте, а казацкого уклада да старой веры не трогайте, – видимо, ранее чем-то обиженный, ответил есаул.

Небольсин прочел приказ. В нем говорилось, что в сложившейся обстановке отряд майора Лунева должен быть готов к выступлению из аула



Гурканай и что Небольсину как представителю штаба надлежит наблюдать за своевременным движением войска.

– Готова ваша сотня?

– Готова, дак куда на ночь-то идти... Кругом лес, дороги нету, за каждым кустом, того и гляди, чечен в засаде, а тут такой туман поднялся, не приведи господь. Сейчас еще ничего, а через час ночь да музга, в двух шагах дерева от человека не различишь. Ну как тут двигаться?.. И коней поьем, и людей потеряем...

– Но приказ требует «немедленно», – возразил Небольсин.

– Оно-то так, «немедленно». Да когда он писался? Вчера вечером. Прошли уже сутки, как я разыскал вас. В штабе посчитали, что вы с батальоном возле Куштука находитесь, а вы здесь, возле леса, просеку ведете. Никто толком и не разберет, где кто есть, – в сердцах сказал Желтухин.

– Все равно, надо выполнять приказ... Дадим ротам отдохнуть часок, а потом и в дорогу, – распорядился майор.

– Дуром пойдем, господин майор, через час и вовсе туман такой на землю наляжет, что своего пальца не увидим. Коли уж идти, так сейчас, к ночи никак нельзя... И заблукоемся в лесу, и людей замучим, а ужо коней, – есаул махнул рукой, – и говорить нечего, утром их за хвосты поднимать придется, вот какая дела.

– Раньше, чем через час, я не могу. Солдаты устали, продрогли, целый день рубка леса была, перестрелка с чеченцами, – решительно сказал майор.

– В таком случае, есаул, давайте ужинать вместе, – видя, как солдат внес дымящийся борщ и кусок мяса с картофелем, пригласил Желтухина Небольсин.

– Ну что ж. Через час так через час, но все же напрасно на ночь пойдем. Где-нибудь в лесу заночуем в мокроте да сырости.

– Сыро, вашсокродие. Того гляди, дождь зачнет иттить, – разливая офицерам борщ, подтвердил солдат.

– Даю прикуп, кто храбрый, а ну, молодцы-егеря, в атаку на банк, – куражливо сказал майор.

– Мажу на двадцать пять...

– Я на тридцать...

– Мимо... – раздались голоса.

– Угол, – коротко бросил артиллерист.

– Затянут друг дружку табашным дымом, – неодобрительно покосился есаул на игроков.

Но никто не слышал его. Игра в карты, разговоры о повышении и отличиях, густой табачный дым были обычным досугом отвыкших от городской жизни офицеров.

– Позвольте, капитан, родительского чихирьку на дорожку. И полезно, и дюже вкусно, – наливая полные оловянные кружки густого





красного вина, предложил Желтухин и, чокнувшись с Небольсиным, добавил: – Щоб домашние не журились, щоб воевалось легко и щоб домой возвратнулись здоровыми.

Они выпили и принялись за картошку с мясом. Игравшие смолкли. По-видимому, банк был велик, и все, сообщая покрыв его, ждали карту, которую медленно, словно пудовую гирию, приподнимал со стола банкомет.

В помещение ворвался холодный ветер, за окном слышались голоса, ржание коней. Распахнув дверь, со двора стремительно шагнул закутанный в башлык пехотный офицер. Все, в том числе и банкомет, повернули к нему головы.

– Господа, я поручик Иволгин. Чрезвычайное происшествие. Его превосходительство генерал Эммануэль ранен, наши батальоны попали в ауховском лесу в чеченскую засаду. Огромные потери, брошен почти весь обоз, две пушки, три фальконета. Отряд отступает, порядка нет, а чеченцы то и дело идут в пашки, кругом завалы, стрельба... некому подбирать раненых и убитых.

Офицеры оцепенело смотрели на вестника разгрома главного отряда.

– Полковник Пулло принял командование. Генерала везут в Грозную. Вам приказано немедленно сняться по тревоге и форсированным маршем идти в лес, по дороге на Аух. Сейчас все, кого мог собрать Пулло, заняли переправу у Мичика. Там идет бой. Надо спешить, господа, – взволнованно закончил поручик.

– Ужас. Да как это могло случиться? Ведь в отряде не менее трех тысяч солдат, кавалерия, орудия, – заговорили потрясенные вестью офицеры.

– Не иначе как лазутчики завели их на засаду. Я знаю этих людей. Мирный, а сам норовит тебе кинжалом по шее звездануть. Бегу к казакам. Надо спешно идти на подмогу, – вставая, сказал есаул Желтухин.

Все шумно задвигались.

– Пардон, господа. Через минуту пойдем к ротам, а сейчас надо докончить банк, – спокойно, будто ничего не случилось, остановил майор. – Итак, карта дана. Прошу. – И он быстро перевернул лежавшую на столе карту. – Девятка. Банк снимаю, – еще хладнокровнее произнес он, сгреб со стола деньги, аккуратно уложил их в карман брюк и, поднимаясь с ящика, заменявшего ему стул, приказал: – По ротам! Через двадцать минут выступаем.

За окном горнист играл «сбор», затем прозвучал сигнал «тревога», и в общем гаме и шуме под хлюпанье луж под ногами, под голоса солдат, ржание коней и тяжелые стуки пушек отряд стал строиться в колонну.

Туман осел на деревьях, все ниже спускаясь к земле. Небо быстро темнело, холод и мрак окружавшего леса заполняли лощину. Луны не было. Дождь перестал, но порывы холодного ветра все усиливались.



Солдаты, кто молча, кто охая и крихтя, кто втихомолку ругаясь, спешили к колонне.

Забили ротные барабаны. Казаки шагом двинулись по едва заметной дороге, за ними, разбрызгивая грязь, пошел батальон егерей, затем трехорудийная батарея и взвод фальконетов, потом опять пехота и охранная тыловая сотня казаков Желтухина.

Спустя полчаса в разбитом ауле все стихло, только фуражничьи солдаты, лекарский взвод да полусотня моздокских казаков остались в Гурканае.

Отряд втянулся в лес, и сразу же темнота поглотила людей. Ни казаки, шедшие в дозорах, ни пехотинцы не видели друг друга. Темный лес, высокие деревья, густой орешник и туман скрыли людей. Задние ряды только по чавканью грязи под ногами впереди идущих могли держать направление.

Дороги, собственно говоря, не было – неширокая тропка, шедшая из аула и сразу же терявшаяся в кустах. В темноте слышались голоса солдат, редкие команды офицеров, тревожные возгласы дозоров, то и дело натывавшихся на стволы деревьев. А туман все густел, сырость окутала людей. Передние роты часто останавливались, и тогда все движение колонны стихало. Думать о внезапности и засекреченности похода не приходилось: слишком много людей ступило в ауховский лес.

– Опять стой, – недовольно начал кто-то из офицеров, шедших впереди роты.

– А что сделаешь, темно, как в яме. Ни дороги, ни леса – ничего не видеть, – озлобленно откликнулся кто-то.

– В такую темень только черту в свайку играть, – донеслось из рядов.

Солдаты зябко жались в кучки, толкаясь и переминаясь с ноги на ногу. Где-то заржал конь, еще два-три отозвались ему. Далеко за деревьями залаяли собаки.

– Внезапный налет, – засмеялся человек в темноте, и Небольсин по голосу узнал майора.

Опять задвигалась голова колонны, зашлепали по земле ноги, звякнула о стремя казачья пашка, вздохи и неясное бормотание пробежали по ротам.

– Вперед, вперед, – раздалась команда.

Сбившиеся в кучу люди зашевелились, стали медленно продвигаться, ориентируясь на шум шагов и тяжелое дыхание идущих впереди рот.

«Когда же мы сможем попасть к отряду?» – подумал Небольсин, понимая, что при таком движении пехота и кавалерия, спешащие на помощь Эммануэлю, вряд ли к утру доберутся до них.

Чем глубже в чащобу входил отряд, тем чернее становился лес.

Где казаки, где батарейцы, откуда следует ждать удара чеченцев – в этой крошечной тьме понять было невозможно.



«Прав Желтухин, – опять подумал Небольсин, – не дай бог, гикнет какая-нибудь партия чеченцев, даст залп, кинется в кинжалы на солдат, бог знает, какая поднимется паническая кутерьма».

Но темнота безмолвствовала, и только липкая грязь чавкала под ногами солдат.

Опять остановились роты, на этот раз стояли долго. По колонне, передавая «голос», докатилось до Небольсина:

– Заблудились, не то влево, не то вправо подались. Кругом лес. Вперед ушли дозоры с проводником-чеченем.

И снова роты, сбившись воедино, ждали, когда проводник и казаки выведут их на дорогу к Урус-Мартану, от которого отходили потрепанные батальоны.

Вновь раздалось: «Вперед. Шагом марш!» – и опять потянулись разрозненные группы солдат, пушки, зарядные ящики с ядрами.

«Зачем все это? К чему ночные походы, разорение аулов, смерть вот этих терпеливых, все сносящих солдат?» – размышлял Небольсин, натываясь на кусты орешника, стволы невидимых в темноте деревьев или спины идущих впереди солдат.

Наконец вышли на какую-то опушку. Стало значительно светлее, дождь стих, туман, отрываясь от кустов, колеблясь, рваными лоскутами пополз по сторонам. Колонна остановилась, но теперь было и спокойнее, и веселее на душе. Расступившийся лес, большая опушка, исчезающий на глазах туман взбодрили солдат.

– Видать, скоро встретимся со своими, вашсокбродь? – спросил Небольсина шедший возле солдат.

Капитан узнал в нем взводного второй роты Спичугова, степенного и серьезного унтера, больше десяти лет прослужившего на Кавказе.

– Наверное, скоро, но где мы, – Небольсин пожал плечами, – не пойму и сам.

– Ежели не хватило лишку влево, так этот самый Урус-Мартан должен быть недалеко, верстов десять отселе, – сказал Спичугов.

– А ты бывал там?

– Так точно. Еще когда с генералом Сухачевым на погром Чечни ходили, два раза этот самый Мартан брали. Дюже много солдат полегло в том походе, ну да и чеченам досталось. У них в этом ауле все дрались: и дети, и бабы – кто кинжалом, а кто камнем. Пять часов аул от них чистили, – спокойно рассказывал унтер.

– И не жаль было? – с удивлением спросил Небольсин.

– Как дрались, не до жалости было, а как взяли аул да стали жечь, чего-то вроде стыдно было, вашсокбродь, – негромко ответил Спичугов и, поняв, что Небольсин ждет его дальнейших слов, продолжал: – А как же? Что ж, разве мы не люди? Как поглядел я тогда, вашсокбродь, на детей малых да баб чеченских, пулями да штыками убитых, сумно мне ста-



ло. Цельный день потом молчал, слов не находил для разговора, — еще тише сказал Спичугов.

Впереди, там, где шли казачьи дозоры, слышались выстрелы.

— Видать, казаки наши на чечена напоролись. Теперь и нам работа будет, — предположил унтер.

Но скоро все смолкло, и опять тишина серого предутреннего рассвета повисла над встревоженным отрядом.

— Передай «голос» по колонне, что там приключилось? — приказал Небольсин, но оттуда уже передали:

«Короткий привал. Людям не спать и не расходиться».

Потом кто-то из казаков сообщил, что разъезд Желтухина наткнулся на взвод драгун, высланных в обеспечение фланга отходившего отряда Эммануэля.

В темноте драгуны, приняв казаков за чеченцев, обстреляли их и тяжело ранили урядника. Только после пятиминутной пальбы драгуны и червленцы узнали друг друга и соединились возле дороги.

Во время перепалки сбежал чеченец-проводник.

«Короткий» привал затянулся минут на сорок, и люди и кони, утомленные трудным переходом, отдыхали.

Небо все светлело, туман лишь кое-где еще висел на верхушках чинар, с черных гор подул ветерок, земля стала просыхать, а на востоке все шире прорезалась полоска неясного света.

— Слава те господи, дожили до утра, теперь и умирать легче, — крестясь, сказал кто-то из солдат. Другие поспинали мятые, отсыревшие картузы и тоже крестились на чуть-чуть заалевшее небо.

— Под-тя-нись! — разнеслось по колонне.

И через минуту-другую отряд, уже похожий не на табор, а на воинскую часть, двинулся дальше, ведомый взводом драгун.

Часам к восьми батальон встретил совершенно расстроенные роты отряда Эммануэля. Из трех с половиной тысяч вступивших в ауховские леса вернулось 2700 солдат и казаков. Батальоны Тенгинского и Сводного полков потеряли около четырехсот человек убитыми и ранеными. Были брошены два орудия, два фальконета и часть отрядного обоза. К чеченцам попала и фура с личными вещами, провиантом и погребком генерала Эммануэля.

Разбитые части соединились с подошедшими батальонами. Гребенцы и кизлярские казаки заняли охранительные фланги. Три орудия майора Лунева и чудом уцелевшие две пушки отряда Эммануэля открыли огонь по горцам, высыпавшим из леса.

Картечь и свежие солдатские роты, ударившие в штыки на чеченское ополчение, отогнали противника. Но чеченцы снова бросились в кинжалы и пашки. Залп пяти орудий, ружейный огонь спокойно стрелявших рот и конная атака Желтухина, врезавшегося со своими червленцами



в толпу пеших горцев, заставили чеченцев бежать. Они ушли в лес, и только изредка какой-либо смельчак постреливал по отряду.

Прошло два часа. Чеченцы не показывались. Стрельба стихла. Казаки беспрепятственно обшарили прибрежный лес, вывели спрятавшихся там солдат из разбитого отряда Эммануэля и вывезли около двадцати раненых.

Солдаты, пережившие разгром и десятки шашечных атак, были нервно напряжены. Гибель товарищей, нелепая смерть друзей, потеря орудий и бестолковое, перешедшее в бегство отступление потрясли их.

Пулло, отлично понимавший состояние разбитых частей, приказал поротно отводить потрепанные батальоны в Грозную, куда срочно увезли Эммануэля. Пуля пробила генералу плечо, и, падая, он сильно зашиб голову. Небольсин так и не увидел незадачливого полководца.

Чеченцы не беспокоили русских. По-видимому, последняя атака обошлась им недешево. Меткая пятиорудийная картечь отрезвила их. Несколько трупов и зеленый значок валялись недалеко от русской цепи. Когда все стихло, со стороны Мичика показались конные с белым флагом. Они подъехали к наблюдавшим за ними русским, старший проговорил что-то, указывая на валявшиеся трупы.

– Просят отдать им убитых и значок. За убитых дают по одному пленному солдату, – сказал переводчик.

– По два, – коротко ответил Пулло.

Чеченцы пошептались.

– По два, – согласился тот, что размахивал белым флагом.

Спустя полчаса мюриды вывели из леса восемнадцать солдат. Они шли понуро, то и дело останавливаясь и испуганно оборачиваясь, как бы не веря в свое освобождение. Командир охранения пересчитал их и отослал, все еще испуганных, дальше в тыл.

Чеченцы, перекинув убитых на заручных коней, перевязали трупы веревками и не спеша повернули к своим.

Русский отряд постоял еще с час, все было тихо. Чеченцы исчезли.

Заиграли горнисты, забили барабаны, и арьергард полковника Пулло выступил из ауховского леса.

Через день он был в Грозной.

### Глава 3

– Имам, власть наша расширяется и в Дагестане, и в Чечне, и плоскостные аулы идут за нами. Люди готовы сражаться за ислам, – начал Шамиль.

Гази-Магомед оторвался от созерцания чего-то, видимого лишь ему, устало повел головой, словно возвращаясь в земной мир.



– Говори дальше, Шамиль. Что ты хочешь сказать? – тихо спросил он.

– Я говорю, учитель, мы сейчас становимся сильными. Свет газавата озаряет большие массы идущих нам навстречу людей. И мы должны создавать свой порядок и среди взявшихся за оружие джахитов, и там, – он указал рукой куда-то назад, за горы, – в общинах и аулах. Надо, чтобы людей возглавляли назначенные нами истинные пихи. Без старшин и наибов порядка не будет.

Он смолк, видя, как помрачнело лицо Гази-Магомед.

– Это очень опасный путь, Шамиль, – тихо, точно беседуя с самим собой, сказал Гази-Магомед. – Люди у нас есть, ты прав. Люди достойные и преданные святому делу газавата, но, – он вздохнул, и по его лицу пробежала страдальческая тень, – таковыми они будут, пока не привыкнут к власти. Потом их окружают лстецы, обманщики, трусы и воры. Таков закон нашей жизни, Шамиль, и они станут считать себя ханами и судьями народа. А отсюда... произвол, беззаконие и ненависть к ним народа.

– Ты мрачно смотришь на людей и святое дело газавата, имам. Ведь ты будешь наблюдать за всем, ты или твои ученики. Мы станем следить за порядком и правдой, – горячо возразил Гамзат-бек.

Гази-Магомед усмехнулся и покачал головой.

– Я не вечен. Ты помнишь мой сон, Шамиль? Я знаю, я твердо знаю, что кровь моя будет пролита во славу ислама...

Он долго молчал, затем нехотя произнес, подняв глаза на собеседников:

– И вы тоже можете пойти этим путем. – И, не обращая внимания на негодующий жест Гамзата, продолжал: – Сейчас вы молоды, чисты, и сердце ваше открыто перед Аллахом. И говорите вы искренно... Но легче рубить пашкой и стрелять из ружья, чем стать во главе народа, ожидающего новой жизни. И горе тому, – Гази-Магомед поднялся, голос его окреп, рука легла на рукоятку широкого черного кинжала, – горе тому, кто обманет этот народ и заменит одних ханов другими.

– Ты что-нибудь знаешь, учитель? – после минутного молчания спросил Шамиль. – Разве уже есть такие?

– Нет, таких еще нет. Но если мы начнем назначать наибов и старшин в аулы и села, то они скоро появятся. Мы – народ свободный, над нами один Аллах, и его воле подчиняемся мы. Не для того льем мы свою кровь и кровь изменников-беков, не для того обнажили мы оружие и объявили газават, чтобы новые беки и шамхалы появились в горах. Нет... пока я жив, наибов у нас не будет.

– Но как же будут управляться люди? – наконец спросил Гамзат-бек. – Идет война с русскими, ведь нужны будут люди доверенные, управляющие на местах твоим именем.



– Очень просто, – ответил Гази-Магомед. – Старшин и кадиев народ должен выбирать сам. Он лучше знает свой аул, своих людей, и выбирать их нужно на один год, не больше.

– Но, имам, – не выдержал Шамиль, – народ может выбрать и недостойного, и труса.

Гази-Магомед улыбнулся:

Если народ ошибется, он сам исправит свою ошибку – снимет недостойного. А поставленный нами наиб или старшина будет опираться не на правду, а на силу. На тебя, Шамиль, на меня, на Гамзат-бека, на войско мюридов, – словом, на всех тех, кто прислал его. Подумай, сможет ли народ в ауле противостоять такому начальнику. Конечно, нет. Он будет бояться его. И наше святое дело будет запятнано.

Гази-Магомед надел папаху и медленно вышел во двор.

Гамзат и Шамиль переглянулись.

– По-моему, он ошибается, – тихо сказал Шамиль. – Без назначенных нами наибов и судей порядка и победы в войне не будет.

– Он прав, Шамиль, – горячо возразил Гамзат. – Мы и мюриды уже сейчас и в своих глазах, и в глазах людей возвысились над ними. А пророк сделал всех нас равными, и рай одинаково ожидает всех.

Шамиль, ничего не отвечая Гамзату, молча пошел за Гази-Магомедом.

Через два дня имам в сопровождении восьми мюридов возвращался в Черкей из соседнего аула Кураная. Аул был небольшой, всего сорок дворов, но при его мечети находилась особенно любовно отделанная и уютная завия<sup>1</sup>, и Гази-Магомед, как только представлялась возможность, посещал эту мечеть и подолгу в молитве и сосредоточенном раздумье проводил там время. Сейчас, когда развернулась большая война с русскими, он провел два дня в посте и молитве.

Подъезжая к Черкею, верстах в семи от аула имам увидел группу мюридов, человек в двадцать пять, из отряда шиха Али-Мурзы, сражавшегося с русскими довольно далеко отсюда. Мюриды почтительными приветствиями встретили имама. Они окружили его, жадно и восхищенно глядя в лицо Гази-Магомеда.

– Благословение Аллаха и милость пророка да будут с вами, братья, – сказал имам. – Когда прибыли к нам и зачем так быстро возвращаетесь обратно?

– Имам, мы приехали в Черкей вчера утром. За сутки и мы, и наши кони отдохнули, а война с русскими не позволяет нам задерживаться в гостях, – ответил старший из мюридов, молодой тавлинец из Гопатля.

– Знаю, – коротко сказал Гази-Магомед. – Зачем были в Черкее?

<sup>1</sup> Маленькая, расположенная при мечети каморка, в которой предаются размышлениям перед молитвой.



– Привезли арестованного мюрида, бывшего нашего командира, Герай-бека аварского... родича почтенного Гамзат-бека, да продлит Аллах его дни!

– В чем провинился Герай-бек?

Молодой тавлинец с удивлением посмотрел на имама.

– Его арестовали по твоему приказу, имам.

– Знаю! Но что сделал этот человек?

– Он забрал себе лучшую часть добычи, взятой нами у русских, лучших коней, отбитых у казаков, утаил деньги, захваченные в казне урусов, отослал к себе в Аварию большую часть скота, сахара, оружия, взятого у неверных. Поступил как вор, а не ших и руководитель мюридов, – твердо, догадываясь, зачем так подробно расспрашивает его имам, ответил тавлинец.

– Ты сказал точные слова, молодой защитник веры. Вор, нарушитель клятвы – дурной пример для воинов. Подрыватель доверия к нам народа этот Герай-бек. Его прошлое сильнее настоящего. Владетельный бек пересилил в нем шиха и воина газавата. Такие люди опаснее русских штыков. Они находятся с нами, живут среди нас, мы считаем их братьями по вере и газавату, а для них все это – пустой звук. Нажива, деньги, власть над народом – вот из-за чего они пошли с нами, но... – Гази-Магомед взглянул на небо, – Аллах лучше нас знает, что делать. Возвращайтесь с миром, братья, в отряд. Ваш новый начальник Али-Мурза уже получил от меня приказы и письмо. Сражайтесь доблестно за святое дело газавата, и пророк не оставит вас.

Мюриды тронулись дальше, а имам и сопровождающие его конные в полном молчании въехали в Черкей.

Имам остановился возле сакли, из которой доносились голоса, прислушался к тому, что говорил Гамзат-бек.

– ...Я не верю тому, что говорят о высокорожденном Герай-беке. Его оклеветали... Я не могу допустить и мысли, чтоб он, человек, добровольно пришедший к нам воевать за святое дело ислама и газавата, из корысти утаил бы для себя захваченное у русских добро, – возмущался Гамзат.

– И однако это так! Его никто не оклеветал, он сам опозорил себя. Ведь все, что перечислили мюриды, было найдено у него, а скот, табун лошадей, русская мануфактура и соль отобраны и возвращены отряду, – спокойно сказал Шамиль.

Имам бесшумно вошел в саклю, и только старшина заметил его. Гази-Магомед движением руки остановил старшину.

– ...В таком случае мы накажем его... но гнать столько верст отважно-го и известного всем человека без кинжала и пашки, со связанными назад руками... это... позор, срам для всех нас, – все еще горячился Гамзат.





– Салам алейкум, правоверные! О чем ведете совет? – негромко спросил имам.

Все поднялись с мест, а Гамзат, быстро повернувшись, сказал:

– Хорошо, что ты здесь, имам. Вчера пригнали в Черкей под конным конвоем известного всем храбреца и командира пятисотенного отряда Герай-бека аварского...

– Знаю!

– Вот видишь, имам, все знали о его аресте и о том, что якобы совершил он, а я, его родственник и человек, из-за которого он присоединился к нашему святому делу, не знал! – запальчиво воскликнул Гамзат.

– Именно потому ты и не знал, что он твой близкий родственник, и еще потому, что судить его будешь ты, почтенный Гамзат-бек. А то, что он из-за тебя, как ты говоришь, присоединился к святому делу газавата, – очень плохо. К делу защиты веры истинный мусульманин должен прийти сам, по любви к пророку и готовности умереть за ислам. А что, если бы ты ушел к русским, тогда этот человек тоже пошел бы за тобой? Разве это нам нужно? Вот результаты его дел: грабеж, сокрытие добычи, лучшая половина всего захваченного у русских была им тут же отослана к себе в аул. Что это? Чистая вера мюрида или воровская натура бека? И ты, Гамзат, больше не говори таких слов, как «высокорожденный». Это слово выдуманно ханами и беками. Все люди рождаются одинаково, нет ни высоко-, ни низкорожденных, но вот умирают они по-разному. Одни с молитвой на устах, воюя с неверными, другие – в поле, третьи – дома в саклях, четвертые еще как-нибудь, а пятые, – он внимательно посмотрел на Гамзата, – от руки палача, как богоотступники и воры. Я знаю, что ты, Гамзат, брат наш, человек чести, мужества и истинной веры. Ты и решай, как следует поступить с Герай-беком, опозорившим нас. Как ты скажешь – так и будет! Но... – Гази-Магомед испытующе посмотрел на растерянно поникшего Гамзата. – Не так давно в ауле Цудухар ты был главным судьей над двумя распутными молодыми людьми... гулящей бабой и ее любовником. Ты помнишь это?

Гамзат кивнул.

– Я не пошел тогда на суд... и не случайно. Убивать этих греховных молодых людей не следовало. В жизни мужчин и женщин есть много такого, в чем не разберется ни один кадий, ни один мулла... Но шариат строг, и у него для подобных вещей есть точные указания – смерть. И ты твердо, не колеблясь, осудил их на смерть... их побили камнями... – Имам сделал паузу. – Там ты был истинным шихом и мюридом... А теперь, Гамзат, иди к себе, подумай, и как ты решишь, так и будет с Герай-беком. Только помни, наша крепость – не горы, не скалы, а справедливость.

Все стали молча расходиться. Последним в тягостной задумчивости ушел Гамзат.



– Шамиль, останься на минуту, ты мне нужен. – И когда все вышли, Гази-Магомед сказал: – Шамиль, два дня назад ты был не согласен со мной, когда мы говорили о наibaх, которых ты предлагал назначить хозеями аулов. Что скажешь теперь?

Шамиль молчал.

– Подумай над этим и не становись на опасную тропу. Я умру, а тебе еще предстоит большая дорога с народом.

Когда возвратился Гамзат-бек, у имама находились Шамиль, старшина и кадий аула.

– Имам! Герай-бек должен быть казнен. Своей корыстью и разбоем он нанес вред нашему святому делу, а его смерть смочит этот позор с нас.

– Ты прав, сын веры, – мягко сказал Гази-Магомед. – Чем чище будут наши ряды, тем больше людей пойдет за нами. Что ты еще хочешь сообщить, Гамзат-бек?

– Имам, разреши мне самому всенародно отрубить голову презренному выродку и ворю.

– Нет, Гамзат-бек, нет. Это – дело палача. Ты не убийца. Твои чистые руки могут быть обагрены только кровью гяуров и бежавших к ним властителей вроде шамхала, ханши Паху-Бике и ее презренных сыновей. В Аварии и так слишком много людей, ненавидящих тебя. А если ты казнишь Герай-бека, у тебя появятся кровники в вашем роду. Зачем умножать врагов? Ты поступил правильно, остальное сделает палач. Садись и обсуди с нами, когда и как нам следует ударить по Грозной и станицам казаков.

В Черкей на военный совет съезжались начальники отрядов, чтобы сообща решить «большую войну» с русскими.

Неожиданные удары мюридов по Дагестанской линии и разгром отряда Эммануэля взволновали Паскевича и разъярили Николая. Захват Кизляра, трехдневное пребывание в нем войск Кази-муллы, погром города, осада Бурной и Внезапной, падение блокаузов и мелких укреплений – все это создало напряженную, тревожную обстановку на Северном Кавказе. Большая часть русских полков все еще находилась в Анатолии, и, хотя мир с Турцией был заключен, отряды медленно возвращались в Закавказье.

Паскевич слал фельдъегерей в Петербург, но вместо помощи из столицы шли указания и повеления разгневанного императора, вносявшие еще большую растерянность и сумбур в дело управления краем.

Только поздней осенью 1830 года стали прибывать из Закавказья части, ранее уведенные на турецкий фронт.

После военного совета, созванного имамом, минуло два дня. Русские, оповещенные лазутчиками, ждали новых вестей, понимая, что имам,



пользуясь рядом успешно проведенных набегов на Тарки, Дербент и Темир-Хан-Шуру, не остановится на этом. Но куда пойдут скопища мюридов – снова на дагестанские дистанции или бросятся всеми силами к Грозной и Владикавказской крепостям? От лазутчиков не поступало ничего. Разведка, высланная местными приставами, не сообщала новых данных, и штабы Дагестанской и Кавказской линий терялись в догадках. Ответ пришел ранним осенним утром из района Гудермеса.

Четырехтысячный отряд мюридов под командованием Гази-Магомеда напал на русские опорные пункты «Слава» и «Крест». В ожесточенном бою оба пункта были взяты горцами, около полутораста солдат убито, захвачены пленные, а сами опорные пункты сожжены. Затем в Грозную поступило новое донесение: имам возле Гудермеса разгромил русский отряд, взял в бою орудие, отогнал табун драгунских коней в двести голов и двинулся в сторону аула.

По тревоге из крепости Грозной на помощь отступающим срочно поскакал Гребенской полк под командованием полковника Волженского. За казаками двинулись отряд пехоты, четыре орудия, три сотни казаков Моздокского полка и триста человек армянских и татарских волонтеров.

Гребенцы, встретив кавалерию имама в семи верстах от Гудермеса, с ходу атаковали мюридов. После короткой рубки горцы подались назад, в сторону теснины, окруженной густым лесом.

Полковник Волженский скакал в первых рядах гребенцев, рубя отставших, отстреливавшихся мюридов.

Казаки, празднуя победу над горцами, на полном скаку влетели в Джентутаевскую теснину, где скрылись мюриды.

– Браво, молодцы! – размахивая пашкой, закричал Волженский.

Это были его последние слова. Пораженный пулею в сердце, он свалился с коня, а вокруг него закипела ожесточенная рубка. Густые толпы пеших и конных горцев ринулись из леса, тесным кольцом окружив поредевший полк. Отрезанные от выхода из теснины, гребенцы бились насмерть.

Гази-Магомед, имитируя бегство незначительного отряда своей кавалерии, заманил их и здесь, в теснине, всеми силами навалился на казачий полк.

В истории конных боев на Кавказе мало было подобных схваток. Этому ожесточенному пашечному бою, который произошел в осенний день возле Гудермеса, принадлежит одно из первых мест.

Поняв, что гибель неминуема и уйти некуда, казаки, сбившись в кучу, дрались беспощадно. Почти все старообрядцы, дети пугачевцев и выходцев с Яика, они, закусив бороды в знак причастия, рубились с мюридами, которые в свою очередь бросались в кинжалы, веря, что смерть



в таком бою ведет их в рай, к гуриям и вечной жизни. Лязг пашек, удары кинжалов, ржание коней, пистолетные выстрелы, стоны и крики людей заполнили место боя.

И вдруг ружейный залп и четырехорудийная картечь, пронесшаяся над мюридами, прервали бой. Бегом, форсированным маршем подошел высланный на помощь казакам отряд из Грозной. Еще залпы, еще несколько орудийных выстрелов, и пехотные батальоны со штыками на перевес бросились на мюридов, а моздокцы и армяне, зайдя с фланга, отрезали горцам отход.

– Братья, мы победили! Мы можем уйти обратно, – сказал имам.

Мюриды, спокойно отстреливаясь, не спеша отходили к Гудермесу. Русские не преследовали их.

Из восьмисот двадцати человек гребенцев уцелело пятьсот семь, остальные были зарублены в этом кровопролитном бою. Из пятисот семи человек только триста шестнадцать были невредимы. Сам полковник был убит и спустя два дня вместе с погибшими гребенцами похоронен в братской могиле возле Грозной.

Пулло, граф Стенбок-Фермор, Небольсин, поручики Апраксин и Куракин, артиллерийские и пехотные офицеры, полурота солдат, отдавших последний залп-салют по убиенным, сотни казачек, казаков и жителей слободок и форпостов проводили погибших в последний путь.

Казаков отпевал свой старообрядческий священник, Волженского – православный, четырех армян – местный тертер<sup>1</sup>.

Жизнь в крепости не изменилась. Гребенской полк пополнился молодыми казаками. Из Моздока подошли еще три сотни линейных казаков; сменилась пехота, ушедшая на Дагестанские дистанции, и события мрачного октябрьского дня стали забываться.

Новые события заслонили все.

## Глава 4

– Господа! Прибыл фельдъегерь из Петербурга, – начал Пулло. Лицо его было напряженно, глаза тревожно и сосредоточенно смотрели на офицеров. – Случилось чрезвычайное происшествие. В Польше мятеж. Польские полки перешли на сторону бунтовщиков, среди русских частей брожение... Начались военные действия. Из Варшавы выведены наши полки. Великий князь Константин еле спасся, успев скрыться от напавшей на Бельведер разъяренной черни. Наши войска по приказу великого князя отошли за Вислу, Прага пока в наших руках. Донские полки, атакованные поляками, отбились и тоже ушли за Вислу. Населе-

<sup>1</sup> Священник.



ние городов и деревень присоединяется к мятежникам, – взволнованно закончил полковник.

Все молчали. Новость была поразительной по своей неожиданности и масштабу восстания.

«Революция», – подумал Небольсин, ожидая дальнейших слов полковника.

– Главнокомандующим назначен граф Дибич-Забалканский. Ему посланы подкрепления, но и у поляков насчитывается свыше ста пятидесяти тысяч мятежных солдат, снабженных артиллерией, амуницией, провиантом, и, главное, их поддерживает население.

– Де-ла! – протянул казачий генерал Федюшкин.

– Час от часу не легче, – добавил Новосельцев, а подполковник Стенбок-Фермор покачал головой.

– Теперь Кази-мулла со своей братией развернет такую каруселю, что только держись казак! – сокрушенно сказал Федюшкин.

Остальные молчали, подавленные тяжелой новостью. Каждый понимал, что польское восстание неминуемо скажется на местных делах. А Петербургу сейчас не до Кавказа.

В то время как на Кавказе развернулся газават, на западе России возник новый очаг войны.

Николай I, взбешенный успехами Июльской революции во Франции, решил двинуть свои войска, подкрепленные Польским корпусом, в Бельгию и Францию для подавления революции и восстановления на троне свергнутого Карла X Бурбона.

Французская революция дала толчок польским патриотам. Поляки, сами угнетенные, вознегодовали и решительно воспротивились французскому походу. Тайные общества, как националистические, так и революционного характера, слились воедино. В войсках участились призывы к восстанию, к изгнанию русских и освобождению Польши. И аристократы, и горожане, и польские полки, и, конечно, католическое духовенство развернули агитацию среди населения и крестьян. Все было готово к взрыву, все ждали начала восстания, и только официальные русские власти во главе с наместником Польши, братом Николая I великим князем Константином, ничего не знали и не хотели знать.

В ночь на 17 ноября 1830 года в Варшаве, Ловиче и других городах польские полки напали на русские гарнизоны. Повстанцы захватили Бельведер, резиденцию великого князя Константина, успевшего сбежать от восставших. Русские войска отошли за Вислу и остановились в предместье Варшавы – Праге. Крепости Людвин и Замостье были сданы полякам, которые создали свое Временное правительство. Мятеж распространился по всей стране, перекинулся на Литву и Белоруссию. Командовавший польскими войсками генерал Хлопицкий повел наступление на Прагу и вытеснил основные силы русских из Царства Польского.



Обеспокоенный Николай спешно послал войска, вплоть до гвардии, на помощь Константину.

В самом начале польского мятежа главнокомандующим русской армией был назначен граф Дибич-Забалканский, вяло и нерешительно руководивший войсками. 24 и 25 января 1831 года русские несколькими колоннами вступили в Царство Польское между Бугом и Наревом. С этого времени вплоть до мая по всему фронту развернулись упорные бои.

Французы не поддерживали Польшу. Временное правительство разъядали разногласия. В сейме властвовала дворянско-помещичья клика, которая, боясь потерять свои богатства и земли и опасаясь народной революции, через голову армии обратилась к Николаю с просьбой о мире. Все усиливавшиеся русские войска нанесли ряд тяжелых поражений повстанческой армии, что и предопределило победу русских.

В конце мая 1831 года от холеры неожиданно умер Дибич, и на его место Николай назначил вызванного с Кавказа Паскевича. 13 июня он прибыл в Польшу и принял командование. В июле русские провели ряд успешных боев и, наступая на Варшаву, разбили, разогнали и полонили как регулярные, так и повстанческие части поляков.

Понимая свое поражение, повстанцы дали последний бой под Варшавой, после чего огромная часть их ушла за границу, остальные сдались на милость победителей.

В августе была взята Варшава, и сейм верноподданнически обратился к императору Николаю с просьбой о мире.

К ноябрю 1831 года польское восстание было подавлено.

Такова была военная и политическая обстановка, создававшаяся в России. И тем не менее пополнения из Закавказья и даже средней России двигались на Кавказ.

Осень стояла сухая, теплая. Стихли ветры. Солнце жарко светило почти целый день. Блестящие и выющиеся паутинки, словно шелковые нити, струились в воздухе.

Суббота была веселой и праздничной. В Грозную съезжались казаки и казачки из станиц. На возах-мажарах горами лежали арбузы, дыни, тыквы. Виноград и груши, битую птицу, живых ягнят, гусей и кур, розовых поросят, упитанных боровов, круторогих волов, коней разных статей и мастей; ведра с медом, бочки с чихирем – все везли, вели и несли из станиц, из-за Терека, из отдаленных армянских поселений в крепость.

В воскресенье был храмовый праздник.

Теплый и тихий вечер окутал долину. Звонили колокола армянской и православной церквей.



Возле крепости, на слободке, в расположении семейных рот и далее к Сунже, где расквартировались коноводы кубанских сотен и драгунских эскадронов, – всюду текла спокойная, размеренная жизнь. Бабы в сарафанах и ярких платьях, в цветастых платках, в новой обуви важно сидели или прохаживались группами. Молодые девки, среди которых было несколько казачек, водили хоровод и пели. Казачата в бешметах, а кое-кто и в отцовской черкеске, лихо отплясывали лезгинку под звуки гармошки, сопилки и зурны. Черноморские казаки, чубатые, с опущенными книзу усами, степенно и старательно выводили запорожскую песню о русских полонянках, изнывавших в далекой туретчине.

С противоположного берега реки доносилась задушевная терская песня, созданная еще во времена Ивана Грозного, «одарившего» казачью вольницу «рекой буйным Тереком со уго-о-одьями да со при-то-ками».

– Старая, истинно казачья песня, – указывая на поющих терцев, сказал Федюшкин Небольсину.

*...Уж и че-ем ты на-а-с, царь, пожа-а-алуешь,  
ой, царь, пожалуешь,  
ой да за работу молодецку-у-ю-ю...  
да все ка-а-за-ачию...–*

подтягивали бабы.

*Ой, пожалуй вас рекой-ой Те-ре-ком,  
ой, буйным Тереком...  
Ой, буй-ны-ым Те-е-реком  
Со при-то-ка-ми да со у-го-дьями...–*

мягко выводили тенора.

– Видали, когда эта земля уже нашей была, – удовлетворенно сказал Федюшкин, – еще царь-батюшка Иоанн Четвертый Грозный ее нашим прадедам пожаловал.

– Чужую землю дарил, – иронически ухмыльнулся Стенбок. – Не дал вашим дедам воли на Яике и Волге, а вот здесь милость свою проявил.

– Чем и восстановил против казаков всех горцев, – коротко добавил Небольсин.

– Ой нет, – оживленно возразил Федюшкин, – земли здесь богато было, никто ее не засеивал, не пахал, не ухаживал... Стояла пустая без пользы. Чечены да орда ею не пользовались. А как пришли казаки, так те как собаки на сене... ну оттого война с ними и началась... Опять же Расее вширь надо было идти, а они тут, как бельмо на глазу. Обратно, значит, за оружие берись, казак. А тут и московское войско на подмогу пришло.

– Не-ет, господа столичные, вы нашей казацкой жизни не знаете, как она да откудова складывается... А она с исстари, от веков идет... Казак и службу цареву нести, и границы берегать, и сады садить, и папаницу



сееть, и русскую славу умножает. Вот чего значит казак! – поднимая голову и оглядывая офицеров, вмешался Желтухин.

– Одно у вас хорошо – что крепостных нет, а остальное... – И, не закончив фразы, Небольсин махнул рукой.

Присутствие офицеров штаба, которых хорошо знали казаки, солдаты, жители крепости, слободок и форпоста, несколько мешало непринужденному веселому отдыху, а поминутное одергивание картузов, поклоны, «здравжелаю» и тому подобное, в свою очередь, надоело офицерам.

– А не зайти ли нам, господа, на «белую» половину кабачка Ованеса? – не без лукавого удовольствия спросил Стенбок, хорошо знавший значные места крепости.

Ованес – подрядчик, глава маркитантов и староста торговцев Грозной – был моздокский армянин Ганджумов, деловой, ловкий и оборотистый, за каких-нибудь пять лет прибравший к рукам все доходные коммерческие дела. Его сын Давид, молодой человек, отлично говоривший по-русски, носивший не староармянскую одежду, как его отец, а современные франтоватые пиджаки, высокие воротники и узкие модные брюки со штрипками, числился командиром армянской милицейской сотни и весьма храбро вместе с русскими совершал набеги на чеченские и ногайские аулы.

«Чистая половина», или, как ее звали, «дворянская», была на втором этаже деревянного дома с отдельным входом и с противоположной стороны от общего зала. Здесь были старые, еще не обтрепавшиеся диваны, два больших зеркала, несколько стульев, цветы в горшках и два паласа на стенах. Большой стол занимал половину обширной комнаты, возле него несколько выкрашенных в желтый и голубой цвета скамеек и табуреток. За дверью – буфет и особая кухня, в которой готовились для «чистой» публики различные блюда.

Две разбитные безмужние бабенки, мальчишка-армянин лет шестнадцати, племянник Ованеса – почтительно неразговорчивый Сурен – встретили гостей.

Куракин, неоднократно бывавший «в гостях» у Ованеса, приказал встретившим его улыбками молодежи:

– Шашлычку, да побольше помидоров на шампурах, да бадрижанов не забудьте... а пока – шемаи, кинзы, тархунчику, огурцов да сыру тушинского.

Прожив около года в Тифлисе, он, как и большинство петербургских гвардейцев, считал себя кавказцем и щеголял грузинскими и армянскими словами, приобретенными в тифлисских духанах.

– Есть хороши кобийски, десят раз лучше тушински, – доложил Сурен.

– Давай и его, а вино какое?

– Какой скажите, такой будет... наши ресторация се имеет, – важно ответил армянин.





– Ишь ты – «ресторация», – повторил есаул Желтухин, – а по мне духан как духан!

Они расселись за столом, на который бабенки уже постлали свежую скатерть и расставляли посуду.

Отсюда, из окон второго этажа «ресторации» Ганджумова, отлично были видны западная часть Грозной, крепостные укрепления, дорога, ведущая на Цецен-аул, и поблескивавшая под солнцем Сунжа.

Пение казаков, гармошки, заливавшиеся на берегах Сунжи, отдельные голоса и выкрики танцующих как-то мягко долетали до офицеров. Что-то располагающее к миру, отдыху, покою и глубокой человеческой общности было разлито во всем, что в эти минуты заполнило вечерний досуг людей.

Небольсин молча смотрел в окно, думая об этом радостном и таком надежном мимолетном покое.

Заливистый, звонкий женский голос выделялся в общем хоре поющих женщин и, долго не смолкая, звенел в воздухе.

– Хорошо поет бабочка... В столице такую за деньги б показывали публике, – сказал, подходя к окну, Стенбок.

– Это, барин, ваше благородие, Машка Тюфелева, лучше ее никто здесь песен не играет...

– И сама – королева, даром что в гулящих значится, – добавила вторая женщина.

– А что, хороша? – полюбопытствовал Куракин.

– Дюже ладная, красивше ее тут никого нету, да ты, ваше благородье, баринок наш, опоздал... Ее давно прибрал к рукам провиантский майор Прохоров, – засмеялась первая.

– А мы ее вместе с провиантским к себе зачислим, – пошутил Куракин.

За столом тем временем между Небольсиным, Стенбоком и Федюшкиным шел разговор о более важных делах.

– Полторы тысячи польских солдат да сто шестьдесят офицеров на этих днях сюда пожалуют. Это их за мятеж из Польши выслали, надо будет по полкам да гарнизонам разослать. Половина останется на нашей Гребенской, а другая – на Дагестанскую линию... Опять забота, – неодобрительно говорил Федюшкин.

– Их и в Закавказье через Дарьял сотен восемь отправили, – вставил Небольсин.

– И в Сибирь, и на Север, и на поселение, кое-кого даже с семьями, – продолжал Федюшкин.

– Что ж, раз провинились перед царем и Расеей, нехай сымают вину, помогают нам с гололобыми драться, – решительно сказал Желтухин.

Офицеры переглянулись. До сознания храброго есаула не доходила мысль о том, что люди, ставшие мятежниками, борясь за независимость своей страны, за свободу своего народа, вряд ли охотно будут сражаться



за своих порабощителей, да еще против горцев, которые, подобно им самим, воевали за свободу и землю.

На лестнице послышались грузные шаги, звон шпор, и в раскрывшуюся дверь вошел полковник Пулло, сопровождаемый адъютантом.

– Вот вы где, господа, уединились. Спасибо казакам, указали дорогу. У-ух, жарко! – отирая платком пот, сказал он.

– Просим, просим, господин полковник! Будете за тамаду, – приветствовал его Куракин.

– Нет, им уж будьте вы, помоложе, – отказался Пулло. – Эй, Сурен, дай мне холодного квасу или пива.

Офицеры вновь расселись.

– Господа, завтра вечером в зале Офицерского собрания предстоит некое развлечение, – желая переменить тему разговора, сообщил Пулло. – Приехавшие с okazji из Ставрополя гости дадут представление. Говорят, два сюжета – одна цыганочка, другая итальянка – прелесть как хороши, сделают перед публикой танцы, споют песенки и покажут прочие фокусы. Будут еще актеры и итальянцы. Поручик Володин, наш постоянный распорядитель и тансер, – он указал на улыбающегося адъютанта, – споет вместе с супругой гарнизонного штаб-лекаря Смирнова различные песни и романсы.

– Интересно! Обязательно придем. В нашей крепостной дыре не часты такие развлечения, – оживился Стенбок.

По лицу Небольсина прошла мучительная гримаса, он с трудом овладел собой, чтобы скрыть волнение. Образ Нюшеньки, спектакль во Внезапной, весь тот вечер с представлением и танцами пронесся перед ним. Никто не заметил его помрачневшего лица.

– Цыганочку эту я видел, недурна, канашка, хотя нет нужной плотности в комплекции... зато глаза! «Ах, очи, эти очи»... – откидываясь на спинку дивана, пропел Куракин.

– Остановились они во флигере поручика Купцова, во дворе фурашской команды, – вставила молодуха, зная все, что делалось в крепости и слободе, – а мужик с ними приехал чернай-чернай, как негра какая, из нехристей, видно, и усы у него с пол-аршина. По-нашему не говорит, все молчит и зыркает на всех глазами.

– Это итальянец Моски. Он побывал у меня в штабе, просил покровительства и содействия, – улыбнулся Пулло. – И человек он тихий, и по-русски понимает, и христианин к тому ж.

– Ну-у! – удивилась молодуха. – А мы за цыгана или арапского негра посчитали. Господа добрые, ваши благородия, разрешите заказы несть! – вдруг закончила она, видя, как из раскрытой двери ей махал рукой и звал на кухню Сурен.

– Неси, голубушка, да поживее, мы все проголодались, – разрешил полковник.



*Що не вмила шыты-мыты, не вары-ты...*

*Що не вмила с казаченьком добрым жы-ты! –*

доносилось из-за реки. Это черноморцы, потомки запорожских сечевиков, казаки, давно переселенные на Кубань, пели свою веселую, неумиравшую песню о том, как неудачно «ожениться» есаул Комар, и о его злой, сварливой жене.

Вечер мягко, словно нехотя, сходил на землю. Горы лиловели под лучами уходящего за хребты солнца. Теплый, пронизанный ароматами полей, несколько густой и пряный воздух нагонял не то дрему, не то сонный покой. Пение стихло, где-то замычали коровы, напомнив офицерам их детство, деревни, в которых они проводили лето. Все они были помещиками, так или иначе связанными с крестьянами, деревенской жизнью, ее обиходом и порядками.

– И сено тут пахнет, как у нас под Тулой, и скот, возвращаясь с поля, мычит, как везде в России, – мечтательно произнес охваченный воспоминаниями Куракин.

– Только что люди другие, орда некрещенная за Терекон и Сунжей, а так все одинаково, – поддержал его есаул Желтухин.

– А и люди здесь тоже одинаковые, ваше благородие, – вмешиваясь в разговор офицеров, сказала женщина, подававшая на стол шашлыки, – те ж человеки, такие ж, как и мы, грешные. И добрые, и злые, а сказать про их жизнь, так дай бог, чтоб наши мужики да бабы так в ладу да согласии жили, как они.

– Это как же? – озадаченно спросил есаул.

– А так... Вот и в Грозной, и на хуторах, и поблизости к крепости чечены живут мирные, так никакого от них обмана да непорядку не видим. Коли ежели чего обещали – сделают, и помочь и достать чего – в аккурате... а детишек своих любят, не дай как... Для них без детишков и семья не в семью...

– Это чечены-то? – с неодобрительной ухмылкой осведомился есаул.

– Они... Ежели ты с ими добром, так и они к тебе с миром. Вон, спроси Нюрку, – кивнула она на вторую прислуживавшую женщину, – сколько тут есть мирных кунаков, мы с их марушками, ну, значит, бабами, – пояснила она офицерам, – и дружим и куначим. Чего ж плохого в этом? Одно добро. Друг дружке помогаем. Мы к им и в гости ходим, детишкам когда сахару али леденцов принесем. Они нас как своих почитают, а ведь и середь нас есть такие, что таких, как я али Нюрка, что дружим с марушками, осуждают. «Нехристи... бусурмане, нелюди... души в их нету» и еще бог знает чего болтают. А я так скажу – дрянных людей везде хватает, а середь наших, российских, и того поболее.

– Ишь ты, раскудаhtалась как, за гололобых в защиту пошла. Попадись ты им одна в поле али за Терекон, они тебе покажут доброту... – обо-злился Желтухин.



– Бывали мы и за Терекком, и за Сунжей, ничего плохого не случилось, а вот от вашего брата казака как от первого охальника стеречься надо. «Мы хрестьяне», «мы в церкву ходим», «постимся», а сами хуже последнего чечена себя обозначаете, – уже забыв про гостей, распалилась баба.

– Ну, счеты между собой потом сведете, а пока, красавица, как звать-то тебя? – миролюбиво спросил Стенбок.

– Глашей, – вдруг застыдившись, сказала женщина.

– А пока, Глаша, корми нас.

– Молодец ты, Глаша, – похвалил все время молчавший Небольсин, – везде есть подлецы и звери, и везде есть добрые и хорошие люди. Будь здорова, Глаша, – и отпил глоток вина.

– Спасибо, добрый барин... Давай вам бог счастья, – пожелала обрадованная женщина и пошла на кухню.

– Защитница! Много чего понимает... – со злостью буркнул, глядя ей вслед, есаул. – Все они гулены да шлюхи! Сидела б себе в Расее, а на казачью сторону нечего было ехать... Живут тут за нашей спиной, отъедаются да нашего ж брата и хаот...

Но видя, что никто из офицеров не обращает внимания на его возмущение, есаул успокоился и принялся за еду.

Чарки с вином быстро опустошались. Сурен внес еще две кварты грузинского вина, а на смену шашлыку подал жирный плов с цыплятами.

За окном угасал шум, лишь отдаленные голоса, визг и смех женщин да залихватские выверты гармошек еще носились в воздухе.

Пулло с увлечением рассказывал о встрече с Паскевичем в Тифлисе, куда тот вызывал полковника незадолго до отъезда в Петербург.

– Особенно поразила меня его супруга, уж не помню – не то Эльза, не то Грета Густавовна, пышная этакая булочка, в типично немецком вкусе: бело-розовая, томная, с полной шеей и, – полковник жестом показал, – пышными бюргерскими формами. Ну, конечно, игра в высший свет, манеры, трассировка, этсетера... Но что меня поразило, господа, это полное раболепство нашего графа перед ней. Ну прямо страх и ничтожество написаны на его лице... И так, и сак, и забыл даже обо мне, все какие-то ублажительные словечки, а она – как статуя, холодна; римская матрона перед плебеем! – И Пулло расхохотался, вспоминая эту встречу.

– Да, я знаю графиню, она действительно держит нынешнего варшавского князя в ежовых рукавицах. При дворе подшучивают над его робостью перед ней, а государь даже как-то сказал ему: «Ты, Иван Федорович, гроза для турок, поляков и французов, а вот перед немкой робеешь, как рекрут в первом бою», – смеясь, вставил Стенбок.

Есаул оживился.

– Сволочи эти бабы! Все – дрянь, что эти бабы-гулены, – кивнул он на уносивших тарелки женщин, – что княжеские жены – одна им цена. Ей



бы, чертовой дочке, радоваться, что за фельдмаршалом, князем замужем, а она...

– А ты, есаул, видно, не любишь женщин? – с веселым любопытством спросил Пулло.

– А чего их любить? Казак должен службу нести, коня любить, конь его не подведет, а баба... – Желтухин махнул рукой, – только для хозяйства да поддержания роду нужна.

Все расхохотались.

– Неужели вы серьезно так думаете? – поинтересовался Стенбок.

– Ну а как же? – в свою очередь удивился есаул. – Есть, конечно, и у нас такие казаки, что нюни да слюни с ими разводят, так только, долужу вам, самые это дрянные люди по службе, да и то, слава те боже, мало их таких водится.

– Кель бет!<sup>1</sup> Совершеннейший троглодит, – покачивая головой, сказал Стенбок.

– Э, нет, это настоящий гусар! Таких я встречал и в Гродненском и в Александрийском полках, – вмешался Куракин.

– А почему, спрошу вас, Алексей Петрович неженатый был? А потому, – поднимая палец кверху, будто отвечая самому себе, продолжал есаул, – умный он был человек, веры в них не имел.

– Ну, – засмеялся Небольсин, – жены у него, это точно, не было, зато кябинных<sup>2</sup> целых пять на Кавказе оставил.

– Шесть, с вашего позволения, и детей кучу; правда, всех их под разными фамилиями обеспечил, – уточнил Пулло.

За окнами слышались цоканье подков, громкие голоса.

– И господин полковник, и все тут... Дозвольте проводить.

– Нас ищут, – становясь серьезным, сказал Пулло.

Небольсин выглянул в окно. Внизу стояли кони, возле которых толпился народ. Двое всадников шагом подъехали к уже сошедшим с коней казакам.

– В чем дело, станичники? – спросил Небольсин.

– До господина полковника прибыли, мы с поста, что возле шестой фигуры<sup>3</sup> стоит. Дозвольте подняться, ежели господин полковник здесь, – доложил один из казаков.

– Ты старшой? – появляясь в окне, крикнул Пулло.

– Так точно, приказный<sup>4</sup> Тимохин, Волжского линейного полка.

– Подымайся сюда, – и Пулло вернулся к столу.

Приказный постучал в дверь. Это был рослый черноусый казак со смелым, мужественным лицом и умным, проницательным взглядом. За его

<sup>1</sup> Какое животное!

<sup>2</sup> Временных жен, согласно мусульманскому уставу.

<sup>3</sup> В то время на местном военно-казачьем наречии – сторожевые вышки для караулов, вынесенных за линию станиц.

<sup>4</sup> То же, что в пехоте ефрейтор.



спиной стоял невысокого роста чеченец, дружелюбно поклонившийся офицерам.

– А-а, здравствуй, Идрис, давно не видывал тебя. Ну, как дела? Сначала говори ты, Тимохин.

– Так что, вашсокбродь, чечены немирные из Шали на пост прибыли. Трое от ихова старшины цидулю до вас, письмо, значит, привезли...

– Письмо? О чем же? – переводя взгляд на чеченца, спросил полковник.

Идрис, мирный чеченец из предместья крепости, был и торговцем, и переводчиком, ведшим свои и штабные дела с немирными аулами Чечни. Он торговал с ними ситцем, продавал сахар, крупы, мелкие скобяные изделия, изредка посылал и медикаменты, которые тайком скупал в солдатских лазаретах.

– Старшина Шали Саид-бей письма прислал... одна свой письма, другая – русски пленны апчер есть, одна солдат тоже, – Идрис задумался, посмотрел на Пулло и, пообеда взглядом офицеров, сказал: – Трицит рублей золотой ахча – апчер, одна туман – солдат. Сам имам, – почтительно продолжал он, – такой цена сказал... сам Гази-Магомед сказал: «Апчера хороши человек, его назад пускать надо».

– Эге, – протянул Пулло, – это кого ж похвалил имам, интересно.

– Похвалил, а денежки за него берет, – не без ехидства вставил есаул.

– Ну, денежки невелики, да и не в них суть, важно, что мюриды и среди нас хороших заметили... А как фамилия офицера?

Казак пожал плечами.

– Не могу знать, вашсокбродь, да тут в письме все обозначено. – И он, вынув из кармашка письмо, отдал его Пулло.

– А где немирные остановились? – спросил Стенбок.

– На посту возля фигуры отдыхают. Два молодых, а третий с чалмой, така рожка, что не дай бог присниться...

– Что, страшон? – и Желтухин подморгнул приказному.

– Да нам он не страшон, мы всяко видели, а просто все лицо в порезях да шрамах, на одну ногу хром, видать, когда-нибудь пулей подшибли.

Идрис улыбнулся.

– Это очень храбрый мюрид есть... Его сам имам знает, его чеченски начальник Бей-Булат кунак был...

– Как зовут-то его? – осведомился есаул.

– Кунта-эфенди, Хорошой аул, – почтительно, с особым уважением сказал переводчик.

– А-а, знакомец мой, как же! – тоже не без уважения произнес Желтухин. – Это верно, первый джигит у вас, и рубиться, и стрелять, и табуны карапчить может.

– Кунта-бей се может, – с гордостью подтвердил Идрис.

– Только лет-то ему немало, поди, под шестьдесят подходит.



– Крепкая еще джигит, стрелять, война ходить, два день, два ночь лошада ездит, крепко может, силная человек он, – с удовольствием подтвердил Идрис.

Пулло дочитал письмо.

– Чеченцы предлагают выкупить взятых в Дагестане в плен двух нижних чинов. Вот письмо разжалованного за четырнадцатое декабря двадцать пятого года бывшего гвардии поручика, – Пулло прочел, – Булаковича. С ним вместе был взят в плен раненый солдат Егоркин, которого мюриды возвращают за десять рублей серебром.

– Бу-ла-ко-вич! – протянул, что-то припоминая, Куракин. – Да, был такой, не то в Измайловском, не то в Семеновском полку.

– Я знаю его, – сказал Пулло, – теперь и я вспомнил. Он уже не разжалованный, за отличия в делах против горцев унтер-офицер Булакович награжден Георгиевским крестом, а за храбрость при отражении штурма крепости Внезапной произведен в прапорщики. Он числился без вести пропавшим, и я очень рад, что этот храбрый солдат нашелся.

Пулло с удовольствием проговорил всю эту длинную тираду. Полковник обладал удивительной памятью, он отлично и надолго запомнил фамилии и даже имена солдат и офицеров, с которыми встречался. Пулло без ошибки называл даты и места, где происходили те или иные события, лучше, чем официальный справочник, мог сказать, когда и за что был произведен в следующий чин офицер, за что награжден орденом. Полковник весьма гордился этим и охотно со всеми подробностями передавал такие, по сути, не очень уж нужные военачальнику мелочи.

– Я тоже несколько знаю его, – сказал Небольсин. – Из Москвы я вез ему письмо его матушки, но здесь в Грозной узнал, что разжалованный Булакович в прошлогодних боях пропал без вести. Очень рад, что он нашелся, и еще более, что не написал о нем ничего его матери.

– Отлично, так что ж, господа, надо выкупить этого достойного человека, – начал было Стенбок.

– Господа, я прошу вашего согласия сделать это лично мне. Дело в том, что у меня еще сохранилась часть пожалованных государем денег, поэтому мне следует выкупить прапорщика из чеченского плена...

– Тем более что вы знакомы с его матушкой и со спокойным сердцем сможете ей написать письмо о сыне, – засмеялся Пулло, – Я попрошу вас, капитан, взять на себя и всю процедуру: переговорить с мюридами, найти место и время передачи нам пленных, а затем подать мне рапорт о прапорщике Булаковиче для продолжения службы Его Императорскому Величеству и зачислении в войсковую часть. Возьмите письмо.

Небольсин взял письмо разжалованного и вышел вместе с переводчиком Идрисом и приказным Тимохиным во двор.



– Устройте мюридов на ночлег у кого-либо из мирных чеченцев, а утром мы встретимся с ними, – сказал он.

– Не-ет, капитан, мюрид не пойдет... Я скажу, капитан хочет, капитан и полковник Пулло хочет... Завтра они опять на пост едут... Мюрид здес спат, кушат нелзя... Кунта-эфенди сердиты челаовек, Кунта-бей говорит «нет... нелзя», се мюрид его слушают.

– Ну что ж, тогда скажи, пусть завтра в девять утра приедут к посту, там встретимся и уговоримся о месте выкупа и передачи пленных. Ты хорошо меня понял? – спросил Небольсин.

– Хорошо, очень добре, – засмеялся переводчик. – Завтра девят час, пост шест.

Идрис и приказный сели на коней, ожидавшие их казаки подтянулись, и вся кавалькада поскакала обратно на пост.

Небольсин вернулся к офицерам.

Молодухи сменили тарелки, а Сурен внес еще две глиняные кварталы с вином.

Когда капитан вернулся к себе, было уже довольно темно, хотя огня еще не зажигали.

– Добрый вечер, Александр Николаевич, с хорошей прогулкой, – встретил его Сеня. – А к вам тут гости приходили.

– Кто такие? – отстегивая шашку и снимая сюртук, спросил Небольсин.

– Эн месье ом авек жоли фамм, – ухмыльнувшись, пояснил Сеня.

– Фамм? Кто ж такие?

– Не то цыгане, не то армяне, он по-русски вроде мало понимает, а она ничего, чисто так говорит. Я с ним по-французски разговаривал.

– Воображаю! – засмеялся Небольсин.

– Они еще придут, да вон, легки на помине, – и Сеня пошел отворять двери негромко постучавшимся людям.

Едва Небольсин успел накинуть сюртук, в комнату вошли невысокого роста, темноволосая, с приятным лицом женщина лет двадцати трех, следом за нею черноусый, с заметной проседью на висках, чуть сутулый человек с просительным выражением на усталом лице.

– Можно к вам, эччеленца? – спросил, почтительно кланяясь, мужчина на не очень правильном французском языке.

Его спутница сдержанно, с достоинством поклонилась, окидывая быстрым взглядом капитана.

– Прошу вас... Во-первых, садитесь, – дружелюбно пригласил Небольсин, – во-вторых, с кем имею честь...

– О-о, эччеленца, честь невелика, перед вами, – усаживаясь на краешек табурета, сказал черноусый мужчина, – странствующие артисты. Я – директор труппы, Энрико Моски. Эта дама – синьорита Лючия, ар-





тистка первой руки. Остальные дамы и мужчины остались на постоялом дворе, где мы имеем удовольствие расположиться.

Женщина улыбнулась.

– А-а, я слышал, господа, о вашем приезде и очень рад познакомиться с мадемуазель Люцией и с вами, синьор Энрико. Вы итальянец?

– О, си, си, эччеленца! Из Калабрии, хотя последние восемь лет, перед тем как попасть в Россию, жил в Пьемонте.

– И давно вы у нас? Сеня, дай, пожалуйста, вина, пастилы и конфет, – распорядился капитан.

Не ожидавшие такого приема гости смешались.

– Эччеленца, мы простые люди... мы не часто встречаем внимание к себе... – начал было синьор Моски, но Небольсин жестом остановил его.

– Вы – мои гости, мы впервые встречаемся друг с другом, и я буду рад выпить бокал вина за здоровье синьориты Люции и за успех вашего дела.

Итальянец растроганно посмотрел на Небольсина и тихо сказал:

– Благодарю вас, синьор капитано! Вы напомнили мне кавалеров, воспитанных в духе восемнадцатого века. Я ведь, бродя по свету, немало видел людей! – И, заметив, что Небольсин хочет что-то спросить, сказал: – Да, я пленный солдат великой армии Наполеона Буонапарте, – с гордостью подчеркнул он итальянское происхождение Бонапарта, – Я был в отряде герцога Сардинского, посланного на помощь французам осенью двенадцатого года, но... – он замаялся, – из ста двадцати итальянцев до Москвы дошли только сорок два, да и то в качестве пленных. Нас на марше захватили гусары где-то возле Смоленска. Остальные мои патриоты или разбежались по дороге в Россию, или погибли под пиками казаков.

– О, так вы, оказывается, старый солдат! – одобрительно сказал Небольсин.

– Какой там солдат! Я был с самого детства артистом, пел на площадях и улицах песни, ходил по канату, глотал огонь и шпагу, знал десятка три фокусов, а главное, играл в разных пьесках в дни ярмарок и карнавалов в Пьемонте. Меня и забрали в солдаты прямо со спектакля, в гриме и парике. Герцогу нашему нужно было по требованию французов послать роту пьемонтцев на помощь императору... Так мы очутились в России.

– А вы, мадемуазель? – спросил Небольсин.

– А я – гречанка. Уже два года работаю в труппе синьора Моски, пою, танцую, жонглирую. Мы недавно были в Москве, Туле, Ставрополе, а после вас поедem в Тифлис...

– И не утомляют вас такие передвижения?

– Что же делать? Надо жить, надо работать, – пожимая плечами, спокойно ответила мадемуазель Люция.



Синьор Моски медленно допил свой бокал, отказался от второго, протертое выражение опять появилось на его лице.

– Многомилостивый и добрый эччеленца! Мы, артисты, люди бедные, обремененные семьями, заботами и тяжелым трудом. Зная ваш отзывчивый и добрый характер, – профессионально заученным голосом начал он, – мы убеждены, что вы осчастливите наше завтрашнее представление и посетите скромный спектакль, украшая его своим присутствием.

Небольсин искоса глянул на Лючию. Девушка с удовольствием жевала пастилу, но на ее лице было написано ироническое и несколько презрительное выражение. Она заметила быстрый взгляд Небольсина и чуть-чуть улыбнулась ему.

– Верю, верю, господин Моски. Несомненно, ваша труппа отличная, и я с удовольствием познакомился с вами. Если дела позволят мне, я побываю на вашем театре, но, – капитан развел руками, – возможно, к вечеру не буду в крепости.

У синьора Моски вытянулось лицо, а мадемуазель Лючия, перестав есть пастилу, удивленно воззрилась на капитана.

– Тем не менее я прошу вас принять от меня небольшие деньги, два золотых червонца, как дань уважения вашему мастерству и красоте синьориты. Если вернусь рано, обязательно буду вашим гостем, – сказал Небольсин.

Два золотых червонца были неожиданно большой суммой, и гости с восхищением смотрели на Небольсина.

– Ваша щедрость, дорогой эччеленца, не имеет границ. Мы, бедные бродячие артисты, от имени всей труппы благодарим вас, – растроганно сказал Моски, пряча золотые в глубокий нагрудный карман.

– Приходите, синьор капитано. Мы будем рады вам, – скромно и, видимо, искренне сказала Лючия.

Когда артисты ушли, Сеня удивленно протянул:

– Два червонца... это да! Ежели б старик один пришел, вы б ему, Александр Николаевич, десятку ассигнациями дали... Экий хитрющий народ! – одобрительно и не без зависти закончил он.

Утром Небольсин, сопровождаемый есаулом Желтухиным, шестью конными казаками и десятком драгун, прибыл на пост номер шесть. Возле вышки сидели постовые казаки, по небольшой площадке фигуры ходил часовой, то и дело поворачиваясь и вглядываясь в разные стороны. Двое чеченцев в папах, при пашках и кинжалах, но босые, сидели у воды, свесив ступни ног в мутную прохладную воду. Третий, сурового вида, крепкого сложения чеченец внимательно и сосредоточенно смотрел на подъезжавшую к посту группу.

– Салам алейкум! – поздоровался Небольсин, сходя с коня.



– Алейкюм салам! – вразброд ответили чеченцы, а старший, это, по-видимому, и был Кунта-эфенди, поднял ладонь кверху и негромко сказал:

– Здравствуй, капитана...

Желтухин кивнул ему и дружелюбно произнес:

– А-а, старый знакомец, помнишь Урус-Мартан и Датых? Мы с ним, Александр Николаевич, не раз встречались.

Чеченец без улыбки скосил глаз на есаула и что-то по-чеченски ответил ему.

Желтухин рассмеялся, по-видимому, поняв слова старика.

– Он говорит, два встречался – оба живой ест, три раза встречался – один живой не будет, – засмеялся переводчик.

Казаки недружно засмеялись, чеченец нахмурился и вопросительно посмотрел на Небольсина.

– Скажи ему, что приехали с миром, и я надеюсь еще не раз мирно встречаться с ним.

Переводчик не понял Небольсина, и тот еще раз, уже медленнее и проще, повторил свою фразу.

– Это добре... хороший дела говоришь, ваша блахородия, – уразумев смысл сказанного, одобрил Идрис и тут же перевел чеченцам.

Все трое наклонили головы, а Кунта-эфенди широким жестом пригласил Небольсина в тень. После недолгой беседы договорились, что завтра к полудню чеченцы выведут пленных, подлежащих выкупу, а русские примут их, уплатив требуемые деньги. Как с одной, так и с другой стороны должно быть по шести человек. Ни русские, ни чеченцы не должны иметь при себе огнестрельного оружия, только шашки и кинжалы. Русские и чеченские отряды, наблюдающие за церемонией, не должны подходить к берегу реки Мичик. Расстояние между ними – одна перста. После передачи пленных и получения выкупа русские и чеченские делегаты медленно и спокойно возвращаются к себе. Стрелять или начинать бой разрешается лишь спустя час после окончания процедуры. Небольсин и Кунта-эфенди согласились на условия, пожали друг другу руки, и старый суровый мюрид улыбнулся:

– Хороша русска апчер... Якши адам...

Из Тифлиса прибыли три батальона Бутырского полка, полевая батарея, взвод единорогов, полубатарея ракетчиков и восемь фальконетов. Вместе с пехотой пришли две сотни донских казаков и три эскадрона улан Ольвиопольского полка. Во главе прибывшего в крепость отряда был полковник Клюге фон Клюгенау, «герой», как его называли в корпусе, минувшей персидской войны и офицер, отличившийся в отрядах Бурцева и Муравьева в недавно законченной турецкой кампании.

Полковник привез из штаба Кавказского корпуса приказ барона Розена о подготовке всех частей Гребенской и Дагестанской дистанций,



а также и резервов, находящихся за Терекком, к вторжению в горы Дагестана.

– Его Величество император и самодержец Николай Павлович особым указом к войскам вверенного мне корпуса приказал всеми силами обрушиться на непокорный Дагестан и аулы вечно бунтующих чеченцев. С доблестью, всегда сопутствовавшей русскому оружию, разгромить и примерно наказать всех, кто дерзнет противостоять мощи русской армии. Лжеимама Кази-муллу, мюридов и его последователей, а также и зачинщиков волнений в горах Дагестана, помощников сего новоявленного «пророка» захватить, а будь сие не удастся – истребить. Аулы, дерзнувшие восстать противу русского поиска, сжечь, сады и посевы уничтожить, скот и захваченных женщин и стариков отогнать за Терек.

«Как вовемя мы выкупаем Булаковича», – подумал Небольсин, слушая, как смачно и четко полковник Клюге читал приказ главноначальствующего Кавказским корпусом барона Розена.

Федюшкин, перехватив взгляд Небольсина, покачал головой, а Пулло, дождавшись, когда Клюге фон Клюгенау дочитал приказ, сказал:

– Да-а! Легко писать, труднее выполнить... Опять, значит, пойдут аулы вроде Дады-Юрта, Черкея, Казанищ...

– Или ачхоевских и ауховских лесов, – добавил есаул Желтухин.

– Господа, я сам кавказский офицер, с тысяча восемьсот двадцать первого года и по турецкую кампанию воевал в Чечне и Дагестане. Знаю, что трудное дело поручил нам наш августейший император, но мы – русские и выполним повеление государя! – торжественно произнес Клюге.

Небольсин усмехнулся. Здесь было больше немцев, нежели русских людей, – Пулло, Редигер, сам Клюге, барон Медем, подполковник Стенбок, наконец, Розен или недавно раненный в Чечне генерал Эммануэль...

– За нами идут новые полки и батареи. Барон Розен посылает на линию почти половину войск, освободившихся после мира с Турцией. На подходе батареи, казаки, грузинская милиция, три пехотных полка и отряды кубанских и бакинских добровольцев. Из Ставрополя идут батальоны Второго Московского полка. Словом, имам и его шайка обречены. Время похода в горы пока неизвестно. Вас же, господа, прошу хранить в тайне как повеление нашего императора, так и приказ командующего Кавказским корпусом. Тайна и внезапность обеспечат успех похода.

Офицеры молча поклонились.

– А теперь, господа, честь имею сообщить вам о наградах и производствах, а также столичные, московские и тифлиссские новости. Я привез много писем, газет и вообще всего, чего вы ждете с каждой оказией. Ведь я сам подолгу сидел в таких крепостях, как Внезапная, Куба, Шемаха, и отлично знаю, как офицеры ждут оказию, – смеясь, закончил полковник Клюгенау.



За обедом и те, кто раньше знал полковника, и те, кто впервые познакомился с Ключенау, одобрительно отнеслись к нему. Полковник действительно был старым кавказцем, обстрелянным и опытным, держался сердечно и просто, несмотря на то что назначался временным начальником всей Гребенской линии и полковник Пулло переходил под его начало. Особенное же расположение к себе Ключенау приобрел, когда после тостов за царя, за русскую армию, за победу над горцами неожиданно провозгласил тост за «нашего старого друга и отца кавказских солдат Алексея Петровича».

– Ура!.. Виват Ермолову... Многая лета! – звон стаканов покрыл этот неожиданный для всех тост.

Воскресный день кончался, но крепость, слобода и поселения, расположенные по обе стороны реки, были полны радостного шума.

Воздух, насыщенный ароматами земли, полей и леса, под легким ветерком, набегавшим с гор, колебал листья, трогал ветки, чуть колыхал занавеси в раскрытых окнах офицерских квартир. Мелкая, сверкающая рябь то и дело пробегала по почти неподвижной, как бы заснувшей реке.

Солдатская церковь отзвонила, с колокольни слободской еще неся чистый, торжественный колокольный звон. Солдатки, слободские бабы и девушки сидели на завалинках низеньких хаток. В палисадниках еще копались куры, по улице прохаживались солдаты, казаки, драгуны. Песни доносились из крепости, слободы и поселка женатых солдат.

*Во-о лужах, тай ще при бэрези... –*

неслось от реки, где плескалась в воде пехота.

*Засвита-а-лы ко-за-козаченьки*

*В поход с полуночи-и-и... –*

стройно, с присвистом пели кубанцы, сотня которых занимала форпост у базара.

Вечер, тихий, располагающий к отдыху и благодушному покою, опустился на Грозную.

*Ой, и чем ты нас, царь, по-о-жалуешь,*

*Ой, чем пожалуешь, ой да за рабо-оту молодецкую... –*

тянули кизлярские казаки, отдохавшие после утренних дозорных разездов по кордону.

*Ой, да по-жа-алую вас рекой*

*Те-е-реком, ой, буйным Те-реком, –*

рокотали басы, а тенор вырвался вперед и на высокой, сладчайшей ноте выводил:

*Ой, буйным Те-е-ереком со прито-о-оками...*

А басы, догоняя его, покрывали густым:

*Со-о уго-о-одьями...*



Заходящее солнце, залитые его лучами розово-синие хребты и блестящие снежные вершины гор – вся эта мирная картина отдыхающих, наслаждающихся покоем людей даже отдаленно не напоминала о трагедии, которая разворачивалась в полях, ущельях и скалах этого благодатного края и которая называлась «Кавказская война».

Представление и труппа синьора Моски не походили на театральный вечер господина подполковника Юрасовского, несколько лет назад устроенный в крепости Внезапной. Хотя и здесь возле хорошо освещенного входа стояли группы солдаток, сновали юркие продавцы сластей и жареной кукурузы, подходили и подъезжали на дрожках дамы и офицеры; все же что-то новое, более юродское было вокруг. Да и сама крепость Грозная, по своим размерам, расположению, значению для русских была другой. Это был центр и средоточие всей Гребенской и даже Дагестанской линий. Невдалеке расположились русские станицы, вокруг форпосты и казачьи военно-сторожевые пункты, множество торговцев, постоянно увеличивался приезд «вольных», то есть поселенцев и их семейств. Солдатские слободки все больше и больше расширялись. Часть «вольных» уже расселилась за Сунжей, куда проложили новые дороги. Словом, Грозная становилась городком, военным оплотом русской власти между Терекom и Сунжей.

Площадку перед Офицерским собранием и подходы к зданию освещали большие, с треском горевшие плошки и несколько факелов. Конные драгуны и казаки, а также спешенные линейцы полукругом занимали площадь, на середине которой пылал костер.

Небольсин прошел через открытые двери вовнутрь, где уже собрались зрители, главным образом военные с женами и дочерьми. Капитан удивился, заметив неизвестных ему дам, по-видимому, совсем недавно приехавших в Грозную.

По обычаю того времени офицеры, чиновники, врачи и весь персонал, обслуживавший большие гарнизоны и штабы в сильно укрепленных крепостях края, выписывали свои семьи, вместе с которыми приезжали сестры, свояченицы, подруги и даже просто знакомые женщины, стремясь выйти замуж за офицеров, пребывавших в одиночестве.

У входа Небольсина встретил с угодливой улыбкой синьор Моски, низко и в то же время благодарно поклонился ему.

– Добрый вечер, маэстро. Как видите, я все-таки успел в гости, – приветствовал его Небольсин.

– Мы, – подчеркивая слово «мы», произнес итальянец, – весьма рады этому. Без вас, эччеленца, наш вечер был бы скучен.

Помещение, отведенное под представление труппы синьора Моски, было самым обширным по всей Грозной. Двухэтажный на каменном фундаменте дом, причем первый этаж – кирпичный, с высокими окна-



ми. Зал с двумя выходами и с хорошо натертыми полами имел не менее двадцати саженой в длину и около двух в вышину. Второй этаж – деревянный, с антресолями, гостиными и буфетной комнатой. На хорах расположился оркестр драгунского полка.

В комнатахлюдно. Много военных, дам, штатских, несколько франтоватых молодых людей с баками, в узких, на талии перехваченных фракках. Два генерала: один – еще моложавый, с пышными, сидящими усами и заметной проседью на висках, второй – лысый, с худощавым, ничего не выражающим лицом. Первый – генерал-майор Коханов, начальник Дагестанской линии, второй – генерал Витгоф, присланный сюда бароном Розеном в качестве помощника по административно-хозяйственному управлению краем.

«Когда эти барыньки и барышни приехали сюда?» – подумал Небольсин, глядя на цветник молодых особ, группами сидевших на табуретах и скамьях. Все офицеры гарнизона, кроме занятых на дежурствах и постах, находились здесь. Среди присутствующих было несколько чеченских, осетинских и кумыкских князей и алдаров, туземные пристава в прапорщичьих погонах, кто с крестом, а кто с медалью «За усердие» или за персидский поход.

Сцену сколотили гарнизонные плотники, вдоль ramпы тянулись яркие паласы, прикрывавшие еще не окрашенные доски подмостков. Как и во Внезапной, на стене у входа в зал висел огромный портрет императора Николая Павловича, в кирасирском мундире, белых, туго обтянувших ляжки лосинах, с грудью, перевитой двумя – Анненской и Андреевской – лентами, и множеством русских и иностранных орденов. На занавесе был нарисован двуглавый орел, державший скипетр и державу.

Синьора Моски уже не было видно, вместо него гостей встречала полная, несколько вульгарного вида женщина, с очаровательной улыбкой говорившая всем по-французски: «Добро пожаловать». Во втором этаже для дам отвели комнату, где находились большое трюмо, два стальных зеркала, несколько диванов, стульев и столиков. Здесь дамы прихорашивались. Им прислуживали две горничные: генеральши Кохановой и полковницы Пулло – да две солдатские жены, молодые и разбитные.

Небольсин из залы увидел подполковника Стенбока, оживленно беседовавшего с изысканно одетым, еще сравнительно молодым господином, весьма похожим на преуспевающего петербургского чиновника. Возле них, обвиваясь веером, стояла молодая, лет двадцати четырех, женщина, просто и в то же время со вкусом одетая. На ее высокой прическе блестел черепаховый гребень с двумя бриллиантами; серьги с длинными сапфировыми подвесками сверкали в маленьких красивых ушах; серые с голубым отливом глаза смотрели спокойно и уверенно.



Что-то знакомое, очень смутное вспомнилось капитану. Он где-то раньше встречал эту женщину, может быть, даже был знаком с ней. Проходя мимо, Небольсин поклонился. Стенбок остановил его.

– Александр Николаевич, мы только что говорили о вас. Разрешите, – он поклонился даме, – представить вам нашего боевого товарища и моего друга Александра Николаевича Небольсина.

Дама улыбнулась и протянула руку, а незнакомый господин учтиво и несколько чопорно наклонил голову.

– А мы знакомы, хотя Александр Николаевич не узнает нас, – сказала дама.

Небольсин удивленно поднял брови, но господин подтвердил:

– Да, знакомы...

– Мы познакомились на балу у Волынских. Я – Чегодаева, подруга по Смольному вашей кузины Ольги, – напомнила дама. – Вы тогда еще не были петербургской знаменитостью, – многозначительно сказала она.

– Евдоксия Павловна и я были представлены вашим бо фреером, Модестом Антоновичем, незадолго до того, как его высочество великий князь Михаил Павлович прибыл на бал из дворца и объявил о начале военной кампании с Турцией, – обстоятельно напомнил господин.

– Извините меня, Евдоксия Павловна, сейчас я вспомнил все – и бал, и вас, одну из самых прелестных дам, украшавших его, и... – он поклонился в сторону.

– Ивана Сергеевича, – подсказал граф Стенбок, с лукавой улыбкой поглядывавший на чопорно и прямо державшегося в своем фраке и обтянутых брючках Чегодаева, – ныне наш уважаемый Иван Сергеевич, – продолжал Стенбок с тем же невозмутимо спокойным видом, – действительный статский советник, помощник Главноуправляющего Кавказской областью по гражданским делам и прибыл в наши края по специальному указанию министра.

– Временно! Его сиятельство граф Закревский поручил мне ознакомиться с положением судебного дела и гражданского управления по всей линии от крепости Владикавказ до Кизлярского уезда, – пространно пояснил Чегодаев.

Стенбок кивнул, дама улыбнулась.

– В те дни, когда мы познакомились с вами, Алесандр Николаевич, вы были просто кавказский герой, раненый офицер с Георгием в петлице. Позже, когда вы стали столичной знаменитостью, вы просто позабыли нас, – кокетливо сказала Евдоксия Павловна, подчеркивая слово «знаменитостью».

Небольсин пожал плечами, ничего не ответив на ее слова.

Зал между тем наполнялся. Драгуны уже переиграли все свои вальсы и марши, гости шумно занимали места; за открытыми окнами стихал гул голосов, реже стучали колеса отъезжавших в сторону линеек и лег-





ких дрожек. Невдалеке от площади взлетели в воздух цветные ракеты, заструились в сверкающих брызгах шутихи.

В проходе показался франтоватый поручик Володин, за ним синьор Моски в лиловом бархатном кафтане с белым жабо и в светлом парике с рассыпанными по плечам волосами.

Небольсин занимал место во втором ряду, справа сидели Евдоксия Павловна и ее муж, возле которого стоял подполковник Стенбок. Оба офицера стояли, так как по неписаному, но давно ставшему обязательным закону военные не имели права сесть на места до того, как прозвучит первый гонг или входивший в моду звонок<sup>1</sup>. Раздался гонг, собственно говоря, солдат по знаку Моски ударил в турецкий барабан. Итальянец сейчас же исчез за кулисой. Гости, шумно смеясь, переговариваясь, рассаживались по местам. Прошли генерал Коханов со своей моложавой генеральшей, полковники Пулло и Ключегенау, приглашенные на вечер осетинские и кумыкские чиновники, или, как их именовали, «туземные пристава», мирные чеченские старшины, распорядители и члены меновых комитетов, три полковых лекаря с женами, много молоденьких девиц, навестивших своих близких в крепости.

– Честное слово, я и в Москве не всегда встречал такое обилие невест! – улыбнулся Стенбок.

Чегодаев молча повел по сторонам глазами.

– Они недолго останутся в девицах, на Кавказе не хватает невест, – наконец важно изрек он, и Небольсин снова заметил насмешливый блеск в глазах супруги действительного статского советника.

Раздался второй удар по барабану, и двое солдат с белыми повязками на рукавах стали тушить свечи. Лишь у выхода и окон горели толстые сальные свечи, вставленные в пузатые лампионы. За окном на площади ярко зажглись многочисленные плошки, в которых шипело баранье сало, перемешанное с нефтью. Дымные фитили освещали притихшую площадь. В окна заглядывали солдаты, мальчишки, бабы.

Третий удар, и самодельный бязевый занавес, украшенный цветным орлом, распался на две стороны и открыл сцену, на которой за восьмигранным столиком, покрытым многоцветной скатертью, сидел в глубокой задумчивости венецианский дож, очень похожий на алхимика или кудесника времен Возрождения. В руках у него был портрет в бронзовой раме. Моски долго грустно смотрел на него, затем вздохнул и печально сказал:

– О дочь моя, мое дитя родное, где ты теперь? – Уронив руки на колени, он горестно прошептал: – Как тяжело не знать отцу, как больно думать о твоей судьбе...

<sup>1</sup> Делалось это потому, что в театре мог быть офицер высшего ранга, у которого надо было получить разрешение остаться в зале, а главное, незримо как бы присутствовал сам император или кто-нибудь из царствующей семьи. Когда и кем был установлен этот порядок – толком никто не знал, но просуществовала эта традиция до октября 1917 г. (Прим. авт.)



– Он очень естествен, – прошептала Евдоксия Павловна.

А актер, еще раз посмотрев на портрет, встал и, подойдя к двери, крикнул:

– Ну, кто там!.. Есть ли новости из Рима?

Из двери робко вышел слуга и, кланяясь, ответил:

– Тебе письмо привез гонец, – и протянул старику запечатанный сургучом конверт.

Дальше выяснилось, что дочь старика наконец наплась и должна с минуты на минуту появиться в замке отца.

Сценка была взята из слезливо-драматической итальянской пьесы некоего Карло Адольфи.

Несколько минут Моски шумно выражал восторг и беспокойство. Слуга приносил ему воду и нюхательные соли, но благородный отец, потерявший четыре года назад любимую дочь, все не мог успокоиться: он то проливал слезы, то вздымал кверху руки, благодаря Бога за чудесное спасение дочери.

Зал притих. Театральные слезы, эффектные паузы, то быстрые, то испуганные движения Моски действовали на зрителей, а его срывающийся до шепота и вдруг рыгающий, трубный голос трагика еще более волновал слушателей.

Где-то вдали возникла печальная музыка, послышались приближающиеся голоса, и вдруг в широко распахнутую дверь ворвалась молодая женщина в расшитом золотом платье, с косами, спадавшими по плечам.

– Отец! – неестественно громко возопила она. – О-о! Мой дорогой отец!..

Моски бросился навстречу, но вдруг, движимый каким-то чувством, застыл на месте.

– А он? Кто тот, кто злодей, укравший тебя? Где он, разлучивший отца со своей единственной дочерью? Я убью его... Кто он, назови его имя! – И оскорбленный отец выхватил из ножен, висевших у него на поясе, маленький клинок.

– Вот он! – истуканно закричала дочь. – Но, отец, не убивай его, он мой муж и отец двух моих детей!

И она величественным жестом вывела из-за кулисы высокого молодого человека в бархатном колете, с расшитой золотом грудью и в обтянутых штанах.

– Кто ты, злодей? – театрально завопил Моски, поднимая свой смертоносный нож.

– Мой муж... граф Умберто Тосканский, сын герцога Тосканского, – бросаясь между ними, закричала молодая дама.

– Мой бог, – роняя на пол свой крохотный нож, опешив, сказал Моски, – ты сын герцога Антонио?

– Да, почтенный и уважаемый синьор. Мой отец – герцог Тосканский, граф Падуанский, его светлость Антонио, а я – его сын...



– О боже! И я чуть не убил тебя, – рыдая и обнимая тоже как по волшебству появившегося зятя, заплакал Моски, целуя человека в бархатном колете. Рыдания отца, нашедшего дочь, слились с радостными слезами дочери и поцелуями молодого графа Тосканского.

– Я благословляю небо, я благословляю жизнь, я благословляю судьбу, вернувшую меня к жизни, – подняв обе руки к потолку, нараспев кричал синьор Моски.

Занавес тихо поплыл с обеих сторон.

Небольсин услышал, как позади кто-то всхлипнул. Вздохи, сдержанный кашель слышались сбоку.

– Ух, как трогательно и волнующе изобразил свои страсти этот итальянский синьор! – чуть склоняясь к уху Небольсина, шепнула Чегодаева, и капитан не понял, шутит она или на самом деле взволнована сценой из пьесы Карло Адольфи.

Солдаты быстро зажгли свечи, в зале стало светло.

Господин Чегодаев поводил по сторонам головой, высокий воротник подпирал его подбородок, жара утомила петербургского гостя.

– Недурно... не так ли? – наконец спросил он жену.

– Очень... почти как в столице, – серьезно ответила она.

– Насмешница вы, Евдоксия Павловна. Для нашей заброшенной в дебри Кавказа крепости это представление просто восторг, – сказал Стенбок.

Солдаты опять погасили свечи и вынесли лампионы; полумрак охватил залу. Медленно раздвинулся занавес, и на освещенной сцене появился синьор Моски, уже не в костюме венецианского дожа или испанского дворянина, а в скромном обычном платье, только пышный парик он не снял, густой слой румян и пудры были на его лице. По-видимому, артист должен выступить и дальше.

Моски поклонился и с сильным итальянским акцентом произнес:

– Почтеннейшие, прелестные дамы и уважаемые кавалеры и господа! Сейчас перед вами будет представлена небольшая сценка из французского водевиля «Король Георг сошел с ума», с успехом идущая на сценах Парижа, Рима и других европейских столиц. Участвующая в представлении мадемуазель Лючия споет и станцует фанданго в конце отрывка. Прошу прекрасных дам и любезных кавалеров доброжелательно встретить и оценить талант молодой актрисы.

В зале зааплодировали. Итальянец еще раз отвесил церемонный поклон в стиле восемнадцатого века и, отойдя спиной к дверям, исчез за кулисой. Из боковой двери быстро, видимо, торопясь, вышел актер, одетый в странную одежду, больше похожую на наряд средневековых фламандских бюргеров, нежели на костюм повелителя Англии. Поднятые плечи, цветная грудь, расшитая золотыми галунами, на ней желтая цепь, такие же звезды и ордена. Завершала фигуру водевильного коро-



ля короткая шпажонка, свисавшая с камзола. На голове «короля Георга» была жестяная бутафорская корона, больше смахивающая на тиару вавилонских жрецов, оклеенная фольгой и густо обсыпанная «золотым порошком», отчего она сверкала нестерпимо и резала глаза. Этот порошок Моски приобрел у полкового маркитанта, который в обычное время «серебрил» и «золотил» рукоятки дешевых кинжалов, охотно раскупавшихся наезжающими из России охочими до воинских трофеев штатскими и торговыми людьми.

Длинные усы в струнку, короткая четырехугольная бородка над обязательным пуританским воротником придавали «Георгу» комический вид, а его стремительная, чуть подпрыгивающая походка вызывала улыбку.

Король, озираясь, искал кого-то, не найдя, бросился к окну, заглядывая через него вниз, затем отскочил и, тяжело вздыхая, забегал по сцене.

– Где, где же ты, неуловимая леди Джой! О-о, я найду тебя, я укрошу твою гордость, ты будешь моею... – он остановился, тупо глядя в зал, – моей (король подбирал слова, нетерпеливо пристукивая ногой) женой... Нет, нет! Любовницей... О да, но скорее нет! – Подыскивая слово, он подсакивал на месте, смешно корча разные мины, бормотал что-то и вдруг, найдя нужное, заревел: – На-лож-ни-цей!!! – И, приплясывая от радости, забегал по сцене.

Это было и смешно, и неожиданно, и глупо. А все вместе вызвало едиனுдушный смех зрителей.

«Король Георг» (тот самый актер, который только что изображал благородного графа, сына тосканского герцога), беснующийся властелин Англии, выделял несусветные клоунады и фортеля на сцене, потешая хохотавшую публику.

Вдруг дверь распахнулась, и медленно и величаво вошла леди Джой. Небольсин сразу узнал ее, это была молоденькая гречанка, которая вчера вечером приходила к нему вместе с синьором Моски.

Водевильный Георг пытался соблазнить несговорчивую леди Вулворт, предлагая ей блага мира, вплоть до бриллиантов английского королевского дома, – все напрасно, и обозленный король вдруг завопил фальцетом:

– У тебя, блудница, кто-то есть!..

– Да, ваше величество, я люблю другого.

– Кого?.. Говори, я, твой король, приказываю это!

– Он король моего сердца, – с достоинством ответила леди, отступая на шаг.

«Георг» подпрыгнул и ринулся к ней, в этот момент один из его усов развился, свис, корона соскочила с головы и со звоном покатилась по сцене.

«Георг», пытавшийся схватить в свои объятия несговорчивую леди, карикатурно застыл на месте.



– Корона мне дороже всех баб Англии и континента! – закричал он, кидаясь за позолоченной тиарой и одновременно незаметно для зрителей подталкивая ее носком башмака. Корона со звоном катилась по полу, король паясничал, гоняясь за ней и не в силах догнать, а леди Вулворт, воспользовавшись случаем, убежала со сцены.

Зрители смеялись, даже заглядывавшие в окна солдаты, бабы и кучера повизгивали от сдавленного смеха.

– Безобразие... Выставлять на смех коронованную особу! – брезгливо проворчал Чегодаев. – Я б запретил подобную французскую мерзость...

Небольсин иронически глянул на него.

– Успокойтесь, ваше превосходительство, ведь это ж не обожаемый нами Николай Павлович, а водевильный король не особенно любимой вами Англии, – довольно громко сказала Евдоксия Павловна.

– Бенкендорф и его порядки пока еще не утвердились на Кавказе, – заметил Небольсин.

– И слава богу, – коротко, все еще глядя на сцену, молвил Стенбок.

Занавес медленно пополз в стороны. Посреди сцены стоял довольный, улыбающийся «Георг», а рядом с ним актриса, игравшая леди Джой Вулворт.

Солдаты вновь зажгли свечи. «Леди Вулворт» раскланивалась с публикой. Взгляд ее оживился, она чуть заметно кивнула Небольсину, также ответившему ей почти незаметным поклоном.

– Вы знакомы с этой актеркой? – спросила Евдоксия Павловна.

– Да, она вчера была у меня вместе с синьором Моски.

– Она цыганка? – небрежно осведомилась Чегодаева.

– Нет, гречанка, и довольно сносно говорит по-русски.

– Совсем как у Пушкина: «Гляжу как безумный на черную шаль», – улыбаясь, вполголоса продекламировала Евдоксия Павловна. – И у Байрона... – продолжала она, – Ведь мы недаром прозвали вас там, в Петербурге, северным Чайльд-Гарольдом...

– Меня? – удивился Небольсин. – Когда же?

– Когда вы раненым вернулись с Кавказа, когда равнодушно появлялись на балах, безразлично принимая восторги и шепот светских дам... Георгий в петличке, гордое одиночество и, наконец, романтическая к женщине любовь с ее трагическим концом... Господи, да кто же из столичных красавиц устоит перед такой замечательной личностью! Но уж затем, когда вы дрались на дуэли с Голицыным и отомстили ему, ни одна, решительно ни одна из светских дам не осталась равнодушной к вашей особе...

– И вы тоже, Евдоксия Павловна? – засмеялся Стенбок.

– О присутствующих не говорят... Все это для меня новость, – озадаченно сказал Небольсин. – Да откуда же, откуда все эти дамы так подробно знали обо мне?



– Во-первых, Байрон, Чайльд-Гарольд и Пушкин подготовили нас к этому – и вдруг... уже не книжный, литературный герой, а живой, молодой...

– Интересный, – вставил Стенбок.

– Да, интересный офицер с Кавказа, и он, оказывается, самый настоящий байронист... Ну как тут не потерять голову бедным петербургским женщинам?! А во-вторых, вы забыли о своих кузинах. Надин и Ольга, они и при вас, и после вашего отъезда рассказывали в салонах влюбленным в вас дамам подробности...

В зрительном зале было уже совсем светло. Горели, потрескивая, сальные свечи. Слышался сдержанный смех, скрип скамей, на которых расположились те, кто не мог по своему положению занимать стулья и полукресла двух первых рядов.

Генералы встали и вышли покурить в переднюю, молоденькие девицы шумно взбегали на второй этаж, солидные майорши и полковницы, вздыхая и перешептываясь, не без удовольствия поглядывали наверх, откуда раздавались смех, возгласы, а то и хлопанье пробок.

– Не угодно ли, Евдоксия Павловна, подняться наверх, там лимонад, мороженое, прохладный оранжад? – предложил Чегодаев.

– А для нашего брата замороженное Клико, – весело добавил Стенбок.

Но в эту минуту барабан, заменявший гонг, грохнул за кулисой, и на освещенную сцену вышел синьор Моски уже в новом костюме. Теперь на нем был полуфрак с поднятыми кверху плечами, короткими фалдами и узкие, со штрипками брюки. Словом, так одевались парижские франты в период консульства Наполеона.

Шум в зале стих. Сейчас же с хоров и со второго этажа спеша сошли и сбежали молодые девицы, юнкера, прапорщики и все, кто только что развлекался в «буфетной».

– Сейчас мадемуазель Лючия покажет вам свое искусство в танце. Ею будет исполнено фанданго, один из самых темпераментных испанских танцев, – объявил Моски.

На сцену вышли двое артистов: один – все тот же буффонный король Георг, другой – смуглый брюнет небольшого роста. У Георга была скрипка, брюнет нес гитару и мандолину. Моски еще раз поклонился, и все трое стали настраивать инструменты. Затем итальянец взял на гитаре долгий бархатный аккорд и, взглянув на скрипача, сказал:

– А перед этим мы, трое артистов-музыкантов труппы, господа Ниедро Винтолли, Фома Коррен и я, – он наклонил голову, – исполним для почтеннейшей публику итальянскую элегию «Люблю тебя, прекрасное светило». Начинайте!

Зал и сцена были хорошо освещены, и зрители видели, как преобразился старый итальянец. По-видимому, господин Моски был прирожденным музыкантом и драматические роли исполнял лишь в силу



необходимости, из-за малочисленности своей труппы. Глаза его горели вдохновенным, творческим огнем.

Зрители слушали элегию, и даже те, кто теснился за окнами, сдерживая дыхание, внимали лившейся из залы мелодии.

— Однако этот бездомный лацдарони отличный артист и музыкант, — довольно громко сказал Чегодаев, удивленно поднимая брови, но никто не ответил ему, так все были захвачены мастерски исполняемой музыкальной «пиесой».

Еще два-три аккорда гитары, мягкое рокотание манолиной струны и прощальное звучание скрипки. Артисты встали. Зал шумно аплодировал им. Растроганный Моски, прижимая к груди гитару, кланялся зрителям, а Ниетро Винтолли и Коррен, улыбаясь, отвешивали поклоны. Затем музыканты резво заиграли фанданго, испанский танец, известный в России с 1815 года, когда войска Александра после победного похода во Францию возвратились домой.

— Эк как рванули! — одобрительно раздался из рядов чей-то бас.

Это Федюшкин по-своему похвалил стремительный, огненный фанданго. Из-за кулисы донеслись звонкие, мерные удары в бубен, и на сцену выпорхнула мадемуазель Лючия, одетая под испанскую синьориту: в кружевной наколке, высокой прическе с большим гребнем в волосах и яркой юбке. С ее плеча свисала цветная шаль. Сделав несколько ударов в такт музыке, она ловко швырнула кому-то за кулису тамбурин и сначала медленно, потом убыстряя движения, перешла в стремительный такт танца. Скрипач, почти согнувшись вдвое, быстро водил смычком, гитара и мандолина убыстряли темп.

— А ваша цыганка и танцует не сводит с вас глаз, Александр Николаевич, — шепнула Евдоксия Павловна Небольсину. — Ей в этом танце нужны кастаньеты, — таким же безразличным тоном продолжала она.

Небольсин промолчал, хотя он и сам заметил, как мадемуазель Лючия несколько раз, будто случайно, бросала на него быстрый, скользящий взгляд. Из-за кулисы вышел человек, одетый в черный камзол, кожаные штаны, с ботфортами на ногах, весьма походивший на опереточного пирата, он позванивал колокольчиками, висевшими на руке, бил в тамбурин и, притоптывая в такт танцу, помогал бурной пляске мадемуазель Лючии.

Музыка оборвалась, и танцовщица мгновенно застыла в картинной позе с откинутой головой и театрально вскинутыми вверх руками. Она действительно была прелестна и хорошо исполнила пламенный фанданго. Все в зале, даже обе генеральши, до сего времени снисходительно взиравшие на игру, пение и буффонную клоунаду актеров, вышли из величественного спокойствия и тоже зааплодировали артистам.

— Она пикантна и с немалым огоньком, — уже без иронии сказала Евдоксия Павловна.

Стенбок, не переставая хлопать в ладоши, добавил:



– Этой крошке следовало бы выступать в Петербурге, там ее оценили бы знатоки...

– Особенно гвардейская молодежь! – вдруг вставил свое слово и его превосходительство, действительный статский советник Чегодаев.

– Вы правы, генерал. Там она совершила бы фурор, и успех ее был бы полный, – заметил сидевший за их спиной в третьем ряду Пулло.

Синьор Моски, взяв мадемуазель Лючию за руку, подвел ее ближе к рампе, и они оба, раскрасневшиеся, счастливые, улыбающиеся, раскланивались с публикой, а Лючия, встретив взгляд Небольсина, дружелюбно, как старому знакомому, кивнула.

– Наша греческая Тальони имеет успех не только среди столичной гвардейской молодежи, но и у боевых кавказских капитанов, – засмеялась мадам Чегодаева.

В шуме возгласов, громких аплодисментов и криков «бис» ее не слышал никто, кроме Небольсина.

– А сейчас мадам Полина Смирнова, супруга нашего гарнизонного лекаря и обладательница редкого голоса, исполнит по нашей просьбе модный и любимый всеми романс Варламова «Красный сарафан», – появляясь за спиной все еще раскланивавшихся актеров, произнес распорядитель вечера поручик Володин.

Это была только недавно написанная композитором Варламовым песня «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Петербургские салоны и гостиные восторженно встретили новую песню.

Володин взял из рук итальянца гитару, оглянулся и бархатным тенором пригласил:

– Прошу вас, Полина Семеновна.

Из-за кулисы, смущенно улыбаясь, вышла молодая женщина. Она неуверенно поклонилась залу, встретившему ее громкими, ободряющими аплодисментами. За нею шел невысокого роста солдат. Он стал позади супруги гарнизонного лекаря, робко оглядывая зал.

– Рядовой пятой роты Куринского полка Ефим Рубцов будет аккомпанировать на скрипке нашей уважаемой и прелестной Полине Семеновне. Должен доложить почтенной публике, – комически копируя синьора Моски, продолжал поручик, – что оный рядовой в бытность свою крепостным человеком помещика и графа Козловского играл в графском оркестре первую скрипку, а до того два года обучался в Италии музыкальному ремеслу.

В зале негромко захлопали. Солдат переступил с ноги на ногу и низко поклонился.

– Ин-те-ре-сно! – сказала Чегодаева, взглядываясь в солдата, которому поручик Володин передал скрипку.

– А я, ваш распорядитель и скромный дилетант, буду аккомпанировать Полине Семеновне на гитаре.





Ему так же, как и всем артистам, шумно аплодировали в зале, а чей-то несколько пропитой баритон добродушно пожелал:

– Смелей, Сережа... успех тебе обеспечен.

И эта шутливая фраза еще больше развеселила всех.

Певица, явно волнуясь, поглядывала на первые ряды, где сидели самые важные особы гарнизона. Здесь были три генерала, две генеральши и чиновный гость из столицы со своей женой, несколько гвардейских офицеров, полковники с супругами – словом, самое знатное общество крепости.

Живя в Петербурге и Москве, бывая за границей, они видели и слышали многих превосходных музыкантов. Посещая Италианскую оперу, а кое-кто бывал и в Царском Селе на придворных концертах, они снисходительно отнеслись к появлению на сцене захолустной крепости местной певицы, да вдобавок еще с солдатом-музыкантом.

Но уже первые ноты, взятые скрипачом, заставили насторожиться всех, кто кое-что понимал в музыке. Чистые, вибрирующие, полные красивой простоты и глубокого очарования аккорды остановили шум в зале. Стенбок, любивший музыку, подался вперед, лицо его стало серьезным. Небольсин, чуть насупив брови, смотрел на солдата, а мадам Чегодаева, полузакрыв глаза, опустила голову. Даже драгунские поручики, армейские капитаны и равнодушные к столичной музыке червленские есаулы смолкли, а солдат, кажется, даже не видел и не чувствовал впечатления, произведенного им. Склонив голову набок и прижав скрипку к щеке, он мягко и проникновенно играл что-то, отдаленно напоминавшее «Красный сарафан». Это было вступление, это была импровизация, вводившая волновавшуюся певицу в знакомый ритм мелодии. Длилось это минуту, может быть, две. Все в зале замерло.

Солдат сделал головой знак. Сейчас никто не видел в нем того робкого человека, который несколько минут назад боязливо кланялся залу. Это был артист.

*Не шей ты мне, матушка, красный сарафан,*

*Не входи, родимая, попусту в изьян.*

*Рано мою косыньку на две расплета-ать,*

*Прикажи мне русую в ленты убирать... –*

запела певица.

Дамы и барышни, воспитанные на сентиментальной литературе и романах, говоривших о неутоленной, неразделенной при жизни и даже за гробом любви, затаив дыхание, боясь шелохнуться, слушали певицу. Генеральша Коханова неподвижно смотрела в одну точку. Чегодаева несколько раз поднимала глаза на замершего Небольсина, даже сам петербургский сановник испытывал нечто вроде восхищения, смешанного со слегка заметной печалью. Стенбок, переживая, покачивал в такт головой.



*Золотая волюшка мне милей всего,  
Не хочу я с волюшкой в свете ничего...*

Мелодия и слова песни захватили певицу. Голос ее лился широко и свободно, все больше покоряя сидевших в зале людей.

*...Дитя мое бедное, дочка мила-а-я,  
Головка победная, неразумна-а-я... –*

пела жена лекаря.

*...И мне те же в девушках пелися слова...*

Певица смолкла. Зал мгновение молчал, затем раздались громкие, все нарастающие аплодисменты и крики «бис», «бис». Певица и солдат взволнованно кланялись.

– А сейчас они же исполнят милую песню наших бабушек и матерей, – сказал поручик растроганным голосом.

*Стонет сизый голубочек,  
Стонет он и день и ночь –  
Миленький его дружок  
Отлетел навеки прочь...*

И снова простая, незамысловатая песенка, с ее бесхитростной грустью и наивной прелестью отошедшей в прошлое сентиментальной эпохи, покорила слушателей.

Мелодия была знакома всем; ее слышали и в гостиных, и в спальнях, и просто на улицах детьми, и сейчас она воскресила прошлое: юность и безмятежное детство всех этих взрослых, даже пожилых людей.

*...Он уж больше не воркует  
и пшенички не клюет... –*

выводила жена лекаря так же легко и свободно, как только что исполняла «Красный сарафан». И та же грусть по ушедшей, может быть, погибшей любви звучала в ее голосе.

Поручик Володин, весьма недурно аккомпанировавший певице, иногда приятным тенорком заканчивал отдельные концовки и слова романса. И это не портило, а даже усиливало прелесть исполнения.

*...Все тоскует, все тоскует  
и тихонько слезы льет...*

Полина Семеновна закончила на тоскливой, долго звучащей ноте.

Жена штаб-лекаря поклонилась, и только тогда раздались аплодисменты и восторженные крики «браво» и «бис». Певица поклонилась еще раз и, чего уж совсем не ожидали генералы и офицеры, взяв за локоть солдата, подвела его к рампе.

– Молодец, молодец, хорошо играл, – сказал генерал Коханов.

– И вас, Сергей Иванович, – выводя вперед поручика Володина, сказала певица.

И опять крики «бра-а-во» огласили зал. Зрители были в восторге и шумно аплодировали.



Штаб-лекарь, с опаской поглядывавший на столь странную выходку своей жены, успокоился. Генерал и полковники одобряли игру и солдата, и поручика.

Вышедший на сцену Моски очень любезно и радостно поблагодарил дам и господ офицеров, так благожелательно отнесшихся к их труппе. Он раскланивался, благодарно прижимая к сердцу ладони, а появившиеся позже из-за кулисы актеры и актрисы труппы нараспев трижды прокричали:

– Грация... спасибо... мерси!

– Их, оказывается, семеро, – сказал Стенбок, разглядывая кланяющихся актеров.

– Как обычно. Странствующие труппы не в силах иметь больше, – изрек господин Чегодаев, но Стенбок, занятый разглядыванием актрис, не ответил ему.

– Го-с-пода, милые дамы, барышни и кавалеры, – появляясь на сцене и покрывая общий шум, провозгласил поручик. – Сейчас десятиминутный антракт, – выкрикнул он, – а затем танцы. Просим дам и господ кавалеров наверх, в гостиные комнаты.

Господин Чегодаев в нерешительности остановился, глядя, как вверх по лестнице веселой, шумной толпой потянулись зрители. Он неуверенно осмотрелся и, заметив, что генералы Коханов и Витгоф с супругами шли к выходу, задержался, поджидая их. Стенбок, Небольсин и Евдоксия Павловна тоже остановились.

– А вы, ваше превосходительство, не имеете намерения до танцев посидеть в гостиной? – спросил Пулло.

Чегодаев пожал плечами. Генерал Коханов махнул рукой.

– Развлечение для безусых поручиков и молодых девиц, – сказал он.

– Вот именно. Положение и чины обязывают нас держаться иначе, – согласился с ним Чегодаев.

– То ли дело великосветские балы или танцы в Царском... Там мы стараемся обязательно быть и танцевать до упаду, – засмеялся Стенбок.

– А как же! Там высочайшие особы, именитая знать... Быть приглашенному на эти торжества – честь, и немалая, – совершенно серьезно ответил Чегодаев.

– А я бы с радостью поднялась наверх, если б не духота и усталость... Поэтому пойдете, господа, на воздух, – предложила Чегодаева.

– С разрешения дам я все же направляюсь наверх, – сказал, делая полупоклон, Куракин.

– А вам, поручик, по вашему возрасту и холостому положению именно там и надлежит быть, – сказал Коханов.

Когда они вышли на площадь, Пулло с супругой, пожелав всем доброй ночи, повернули к своему дому, Чегодаевы, квартировавшие во флигеле купца Парсегова, пошли дальше.



– Александр Николаевич, мы обедаем в три часа, приходите завтра к нам на скромный кавказский пашлык, – пригласила Евдоксия Павловна, когда они дошли до калитки парсеговского двора.

– Будем рады, – учтиво сказал господин Чегодаев. – А вечером, к чаю, будет его превосходительство генерал Коханов с супругой и барон Медем с дочерьми.

– Благодарю вас, но завтра с утра я должен быть далеко от крепости, на берегах реки Мичик, где... – И Небольсин вкратце рассказал о предстоящей встрече с немирными чеченцами и выкупе двух пленных русских.

– Ах, как это интересно, опять романтические приключения, снова Пушкин и кавказские чудеса! – обрадовалась Чегодаева. – Вы обязательно, Александр Николаевич, расскажете нам все поподробней, когда вернетесь из этого похода.

– Непременно, но это будет через день-два, Евдоксия Павловна.

– Нет, пусть только через день. Послезавтра мы будем ждать вас к обеду. А теперь спокойной ночи.

Небольсин поклонился. Его превосходительство действительный статский советник в свою очередь отвесил ему чопорный, светский полупоклон.

Когда капитан вернулся домой, было уже поздно. Крепость, слободки и форпост спали. Только в Офицерском собрании ярко светились огни и оркестр играл вальсы, мазурку и марши.

– Ужинать будете? – спросил Сеня, открывая дверь Небольсину.

– Чаю, Сеня, только чаю.

– А тут почта вам с оказией прибыла. И письма, и газеты, и книги – массым масса.

На столе аккуратной стопой были разложены книги письма. Небольсин быстро просмотрел полученную почту. Письма были от нескольких друзей из столицы, одно из Москвы и большой пакет от кузины Ольги из Санкт-Петербурга. Новые номера «Северной пчелы», «Театральный альманах», две французские книги, новый роман Вальтера Скотта и ряд московских и петербургских газет, собранных Модестом и пересланных ему в крепость.

Небольсин улыбнулся и с благодарностью вспомнил дорогих ему кузин и Модеста, всю родню, которая еще имелась у него.

Он взял объемистое письмо Ольги. «Остальное – завтра, когда вернусь с Мичика после выкупа Булаковича», – решил он и принялся за чтение.

После обычной светской болтовни Ольга перешла к тому, что особенно интересовало Небольсина.

«...Теперь о событиях в столице. Истек год со дня кончины императрицы Марии Федоровны. Траур снят, и двор открыл балы... Их много, а в особенности широко празднует матушка-Москва турецкие победы,



польский мир и окончание холеры. Государь с Александрой Федоровной выезжали в Москву. Конечно, двор, именитые сенаторы, родичи московской знати поспешили в Белокаменную. Модест по долгу службы – тоже, а значит и я. Ну как не повидать родню, не побывать на балах и не пожить десять-пятнадцать дней среди московских друзей. Пишу тебе свои впечатления.

Итак, первое. Москва встретила государя колоколами, церковным пением, с митрополитом Филаретом, народом на улицах и площадях... Пальба, музыка, крики – словом, торжество!

Балы – один роскошнее другого; и дворянство города, и купечество, и даже от верноподданных дам Москвы; но самые роскошные, похожие на чудеса Семирамиды, устроили княгиня Тенишева и князь Юсупов. Даже царь сказал ему: «А ты, вероятно, побогаче меня, князь Василий». Мы с Модестом были на этих балах.

Кстати, государь, по усиленной просьбе министра двора Волконского и московского генерал-губернатора князя Голицына – оба, как ты знаешь, любимцы царя, а особенно государыни, – полупростил твоего недруга Голицына, приходящегося племянником генерал-губернатору Дмитрию Владимировичу. Твоему одноному крестнику возвращено право носить кавалергардский мундир и каску, жить в Москве, а также дважды в год наезжать в Петербург, в дни тезоименитств – государыни и наследника цесаревича Александра – являться с поздравлением только к их двору и проживать в столице каждый год не дольше семи дней. Что ж, для бывшего опального и это хорошо, так как в дальнейшем императрица и Голицын выпросят князю полное прощение...»

Небольсин отложил в сторону письмо кузины.

«Этим и должна была кончиться история с опалой Голицына; этим и объясняется то, что Модест не написал мне письма сам. Молодец», – одобрительно подумал Небольсин, зная, как трудно генералу, не имевшему родственной знати при дворе, нетитулованному и небогатому человеку, держаться в Главном штабе.

Он засмеялся и стал снова читать письмо.

«...Модест считает, что полного прощения от государя Голицын не получит, так как Его Величество не простит наглости дерзкого князя, осмелившегося поносить царствующую династию...»

Да, это, конечно, подсказал жене Модест, давая понять, что Небольсину ничто не угрожает.

«...Теперь о твоём Ермолове. Он дважды представлялся государю (по его вызову). Модест оба раза видел обожаемого тобой Алексея Петровича; старик обрюзг, потолстел, но все еще бодр, и когда речь заходит о князе Паскевиче, нарочито громко именует его «Пашкевичем», намекая на то, что нынешний фельдмаршал и князь – внук малороссийского помещика Пашко; конечно, делает он это не при государе. Вот что про-



изошло в результате вызова его к царю... Когда льстецы и царедворцы, все время поносившие Ермолова, узнали, что государь вызвал его к себе для каких-то переговоров, все обмерли; ждали аудиенции, она прошла с глазу на глаз между царем и Ермоловым. Никто, даже Бенкендорф, не присутствовал на этой беседе. Военный министр граф Чернышев дважды спрашивал и Модеста, и Кантакузена, не знают ли они чего-нибудь об этой встрече. Но никто ничего не знал. Длилась она два с лишним часа, после чего императрица Александра Федоровна пригласила к себе Алексея Петровича, и он вместе с царем и августейшей семьей отобедал «*en famille*»<sup>1</sup>. Вечером у царя были и Бенкендорф, и Пален, и Чернышев, но государь не сказал им, зачем вызывал Ермолова.

Милый Сандро, ты не представляешь, что делалось на следующий день возле скромного дома Алексея Петровича. Рассказываю тебе со слов Модеста и камер-юнкера Кручинина, который был в этот день наряжен графом Толстым на дежурство к опальному генералу. Понимаешь, к опальному – и вдруг дежурный камер-юнкер!

На улице кареты, возки, даже «гитары», или, как их в Москве называют, «калиберы», вытянулись на версту, кругом фореиторы, кучера, усачи-солдаты, а внутри дома и на его крыльце – «шу-шу-шу», говорят, заискивают, переливаются голоса бар и чиновников, снова вспомнивших адрес генерала. И сладкие речи, умильные глаза, казенно-льстивые поклоны – словом, двор Анны Иоанновны во времена Бирона и других временщиков. Каждый спешит отдать свою любовь Ермолову, не опоздать бы, успеть приехать раньше других, ведь Алексей Петрович снова «в силе». Пустили даже слух, что царь его не то военным министром, не то начальником Главного штаба делает. Модест даже переменялся в лице и полвечера молчал, так его потрясла вся эта подлая натура ничтожных людей, еще вчера поносивших Ермолова...

«А-а, так вот чем объясняется неожиданный тост полковника Ключегнау в честь Ермолова и все добрые пожелания опальному генералу», – подумал Небольсин.

«Через два дни новый вызов к царю, но тут уже в присутствии графа Бенкендорфа.

Оказывается, государь предложил Алексею Петровичу вернуться на военную службу, так как его опыт и знания могут пригодиться армии. Ермолов коротко ответил:

– Рад служить Вашему Величеству, как служил ранее и вам, и покойному государю Александру Павловичу, но под начало Паскевича не пойду...

– Почему? – холодно спросил государь.

– Разные мы с ним, государь, люди, по-разному смотрим на армию и на солдата.

<sup>1</sup> В семейном кругу. (франц.)



– Вольности говоришь, Алексей Петрович. Фельдмаршал князь Паскевич-Варшавский лучший полководец в Европе. Вспомни персидский, турецкий, а теперь польский походы, – недовольно произнес государь.

– Солдат наш – лучший в мире, Ваше Величество, вот в чем причина побед... – начал было Ермолов, но государь прервал его.

– Я занят, Алексей Петрович, дела государственные требуют моего участия. Вот и граф Александр Христофорович дожидается своего доклада. Ты поезжай к себе, подумай, а через день дай мне ответ, – тут Николай Павлович ласково потрепал Ермолова по плечу.

– Слушаюсь, Ваше Величество! Разрешите только спросить последнее...

– Что именно? – уже сердито спросил император.

– Как дела идут на Кавказе? Как газават и имам Кази-мулла?

– А-а... – улыбнулся царь, – ты вот о чем! Понятно, что тебе, старому кавказцу, это интересно знать. Неплохо! Этот самозванный имам вместе со своей вшивой шайкой мюридов окружен нашими войсками где-то возле... – он посмотрел на Бенкендорфа...

– Возле Гудермеса, государь, – подсказал Бенкендорф.

– Именно там. Замирения Кавказа я жду на этих днях.

– Поздравляю вас, Ваше Величество. Это будет великим днем вашего царствования, – ответил, уходя, Ермолов.

Но, как говорит Модест, Бенкендорф и Чернышев уже утром этого дня знали, что чеченцы наголову разбили генерала Эммануэля, а дагестанские мюриды после жаркого боя где-то в... – тут слово было несколько раз перечеркнуто, – ...какого-то Чертея ушли из русского кольца.

Но это все военные дела, а вот что произошло дальше. И через день, и через два Ермолов не дал ответа царю; тогда разгневанный государь послал к нему сначала Чернышева, а на следующий день Бенкендорфа с требованием дать ответ. Как ни уговаривали генерала и тот и другой, он отвечал одно и то же: «Рад служить родине и государю, но под начало Паскевича не пойду».

Модест, который по долгу службы сопровождал военного министра, слышал, как уже в прихожей, прощаясь с Ермоловым, Чернышев предупреждающе сказал:

– Боюсь, дражайший Алексей Петрович, что государь будет недоволен вашим ответом.

– Я уже пятый год нахожусь в немилости у Его Величества, не знаю, чем разгневал моего государя. Прошу передать Его Величеству, что готов служить родине и царю, но под начало Паскевича идти не намерен...

– Но фельдмаршал... – начал было Чернышев.

– ...Я был под командованием двух великих российских фельдмаршалов – графа Римникского, князя Италийского Александра Суво-



рова и Михаила Кутузова, князя Смоленского, и по сей час почитают это моим счастьем, милейший Александр Иванович, но служить под начальством графа Эриванского и Варшавского князя не могу... Сие есть верное и последнее мое слово.

— Жаль, очень жаль, ваше высокопревосходительство, — прощаясь с Ермоловым, сухо сказал Чернышев.

А через день возле дома Ермолова не было ни карет, ни возков, во дворе было тихо и безлюдно.

Еще через три дня государь приказал назначить Алексея Петровича членом Государственного Совета империи, и на этом кончилось приглашение его на службу. Теперь бедный старик должен перебираться в Петербург и, занимая ничего не значащее место в Совете, жить в нашей холодной и пасмурной столице...

Дальше опять шли петербургские и московские новости и характеристики знакомых.

«На Кавказе, может быть, ты встретишь мою подругу по Смольному Евдокси Воейкову, она сестра Николая Воейкова, замешанного в деле 14 декабря, но, к счастью, очищенного спустя полтора года за недостаточей улики. Ты его знаешь, он некоторое время был при Ермолове. Ныне она замужем за директором департамента Министерства внутренних дел, очень важным, очень чиновным господином Чегодаевым. Модест его хорошо знает и за глаза именует «Свод законов и уложений Российской империи». Ты знаком с ними; вы познакомились на балу у Волынских. Евдокси очень умная, красивая женщина и, между нами говоря, как мне кажется, влюблена в тебя. Это мое (и Модеста) мнение. Во всяком случае, она спрашивала нас, где ты находишься, здоров ли, и обещала повидать тебя. Будь с ней мил, но смотри не затумань головы этой милой дамы».

Небольсин отложил письмо, затем снова прочел эти строки и улыбнулся. Ничто в мире не содействует так сближению мужчины и женщины, как сторонние слова о том, что в тебя она или он влюблены.

Да, как-то кстати, очень вовремя пришло это письмо, и прочел его Небольсин в те минуты, когда думал о Евдоксии Чегодаевой, о вечере, проведенном вместе. Он еще раз улыбнулся и, уже ложась спать, повторил слова Ольги:

«...Она в тебя влюблена... Но смотри не затумань головы этой милой дамы...»

Из Закавказья, Ростова и Ставрополя пришли на линию новые полки. Подошла и трехбатарейная мортирная бригада и дивизион легких орудий. По Военно-Грузинской дороге прибыли четыре сотни грузинской дворянской милиции, армянская пешая рота, составленная из добровольцев Кизляра и Моздока.





Слухи о прибывающих русских полках сейчас же доходили до дальних аулов. Русские стали снова прорубать и расширять просеки в лесах, укреплять на Мичике, Ямансу и других реках мосты. Несколько крепких редутов и каменных блокгаузов были выдвинуты вперед. Они строились уже на чеченской земле. Почти всю кумыкскую равнину заняли русские. Темир-Хан-Шура, Грозная и Кизляр были усилены дополнительными гарнизонами, новые дороги были проложены инженерными и саперными командами, и все это говорило о том, что несколько крупных неудач, постигших русских в Чечне и Дагестане, не укротили их. Все понимали, что газават, объявленный имамом, достиг своего высшего напряжения, но для русских этот предел горских сил, фанатизма и самопожертвования был лишь эпизодом.

Русские методично и спокойно вгрызались в Дагестан, прорубали дороги через чеченские леса, засылали лазутчиков в аулы и селения. Очень дружелюбно встречали перебежавших через кордон, некоторым даже давали скот и деньги, расселяя их на пустующих землях Моздокской и прикаспийской степи.

В аулах стали появляться листки, неведомо как попадавшие в горы. Писали их и Аслан-хан казикумухский, давний друг русских, и таркинский шамхал Нуцал-хан, и владетельная ханша Аварии Паху-Бике, писали их и сбежавшие к русским богословы вроде Сеида-эфенди араканского, ученого алима Хаджи-Идрис-бен-Омара дербентского, и многие ханы и беки, нашедшие спасение от мюридов на русской стороне.

«Бедные, темные люди, – писал Аслан-хан, – вам ли, горсточке бедняков, не имеющих даже своих земель, противиться великой силе белого падишаха русских. На ваших глазах он покори́л Иран, разгромил турецкого султана, принудил к бегству лучшие войска Ференгистана<sup>1</sup>. Пять морей омывают его царство, неисчислима его сила, но так же велика и его доброта. По воле Аллаха и наших к нему прошений он отпускает всем вины, кто до сих пор с оружием в руках боролся против его непобедимых войск. Одумайтесь, не слушайте ваших грабителей-вождей, голодранцев и разбойников вроде отступника от шариата и искажителя Корана, лжеца, именующего себя имамом, гимринского мужика Магомеда и его дружков – Шамиля и богоотступника Гамзата. Не слушайте их! Вы можете еще раз или два напасть большими силами на маленький русский отряд, убить сто или двести солдат, захватить казачий табун, даже отбить орудие, но что это даст вам, простым людям гор?.. Все равно русские раздавят мюридов, они убегут в Стамбул, а отвечать будете вы, ваши семьи, ваши аулы, ваши дети. Русские готовят большой удар, и, пока не поздно, одумайтесь, отступите от Казии-муллы, не признавайте его лживого газавата. Он ведь не пророк, и не Мекка призывает вас к священной войне, а простые гимринские жители, один – сын кузнеца, другой – пастуха».

<sup>1</sup> Франция.



Все прокламации были в таком же роде, и только Сеид-эфенди в нарочито туманных толкованиях Корана говорил горцам о том, что самочинный газават, не одобренный Каирским советом богословов и не объявленный халифом всех мусульман, турецким султаном, есть богопротивное, лживое, греховное дело.

Листки, слухи, сплетни, воззвания, неудачи под Дербентом, Внезапной, поражение под Тарками и уничтожение Черкея делали свое. Аулы глухо волновались. Мужчины неохотно шли в отряды, созываемые имамом, а силившаяся торговля мирных аулов с русскими вселяла все больше надежд на спокойную жизнь.

Место, выбранное чеченцами для передачи Булаковича и Егоркина, было в стороне от русских просек и выдвинутых к реке постов. Пологие холмы тянулись вдоль берега, за ними виднелась непролазная чаща кустов, зарослей дикого кизила, орешника и дубняка.

Мичик, довольно быстрый и неглубокий, разливался здесь несколько вширь, образуя луку с высокими травами и широким лугом. Лес, кусты, пригорки оставались в стороне. Лучшего места для встречи нельзя было найти.

Небольсин с полуэскадроном драгун, переводчиком Идрисом и двумя немирными чеченцами подъехал к берегу. Лес, поляна, река, тихая заводь вдоль излучины Мичика – все было словно нарисовано спокойной кистью великана-художника.

Одновременно с русскими на противоположном берегу показались конные чеченцы. Их тоже было не больше пятидесяти. Впереди под зеленым значком ехали двое, за ними гуськом двигались шестеро, остальные, задержав коней, молча смотрели на колонну русских.

– Скажи ему, – указывая глазами на Кунту-эфенди, сказал Небольсин, – пусть едет к ним и пригласит конных вместе с пленными на эту сторону Мичика.

Кунта, выслушав переводчика, ухмыльнулся и что-то коротко ответил по-чеченски.

– Кунта-бей говорит, чечен эта сторона не пойдет... Ты езжай другой сторона, вези денга, давай денга, бери русски солдат обратно, – сказал переводчик.

– Ишь чего захотели!.. Там ваших, может, сотни две в лесу ховаются, а капитан к вам без конвоя поедет, – воскликнул Желтухин.

Кунта-эфенди, прищулив глаза, с интересом и иронией смотрел на Небольсина.

– Не спорьте, есаул, – остановил Желтухина Небольсин, – чеченцы правы. Мы у них выкупаем пленных, и нам надо встретиться с ними. Идрис, скажи Кунте-эфенди, что я с двумя драгунами, с ним и тобою переправлюсь через Мичик.



Старый чеченец неожиданно засмеялся, похлопал по плечу капитана:

– Якши апчер... якши рус, – и о чем-то быстро заговорил с переводчиком.

– Шутковал старый пес, проверку вам делал, – вполголоса сказал понимавший по-чеченски Желтухин.

– Кунта-бей говорит, храбрый ты ест апчер. Кунта говорит, не нада туда ехать, – переводчик ткнул пальцем вперед, – чечен сюда пленны дает... Се твой драгун нехай назад идет... Чечен тоже пят, русски тоже пят будит, – удовлетворенно сообщил Идрис.

Драгуны повернули назад и, отойдя с полверсты, спешили в тени лесной опушки. Есаул Желтухин, двое его казаков и двое значковых драгун остались с Небольсиным.

Через Мичик уже переходили шестеро конных, тоже со значком, остальные чеченцы мирно расположились вдоль леса, с любопытством поглядывая через реку на русских. Их голоса отрывисто, неясно долетали до Небольсина.

– А вон, вашескородье, и наших пленных гонют, – прикладывая ко лбу лодочкой руку, возвестил казак.

– Точно! – подтвердил Желтухин.

Из леса, сопровождаемые конными, показались двое пеших. Они шли не спеша, и Небольсин в подзорную трубу разглядел их. Один – среднего роста, в наброшенной на плечи шинели, другой – в рваном бешмете и солдатских штанах. Чеченцы молча проводили их взглядами. Пленные и их конвоиры приблизились к реке.

– Невжель погонят пешком через реку, нехристи окаянные? – возмутился драгун, не сводя глаз с остановившейся на берегу группы.

Идрис улыбнулся, замотал головой. Пленные уселись на коней позади чеченцев, и кони вошли в воду.

Кунта-эфенди бесстрастно глядел вперед, то и дело поплеывая в реку. На его старом, иссеченном шрамами и долгими походами лице было равнодушие. То, что происходило сейчас, он видел не однажды, привык ко всему, и ничто, даже война и рубка, не волновало его. Желтухин заметил взгляд Небольсина, брошенный на старого чеченца.

– А ему, господин капитан, скушно. Не прикажи имам продать нам пленных, этот старый черт посек бы их пашками. Я очень хорошо знаю Кунту!

Услышав свое имя, чеченец глянул на Желтухина и, подмигнув ему, показал кулак.

Хотя минута не располагала к веселью, все рассмеялись, даже по лицу сурового чеченца пробежала усмешка. Потом все снова стали смотреть на приближавшихся к берегу конных. Как только кони ступили на берег, пленные сейчас же сошли с них, а оба чеченца, не взглянув на поджидав-



ших их русских, повернули лошадей и быстро перебрались на свой берег. Пленных окружили драгуны и казаки. Чеченцы по-прежнему спокойно сидели на камнях.

– Братцы... господа, свои... – бессвязно, срывающимся голосом бормотал один из пленных. – Сподобил Бог своих увидеть, – растерянно говорил он, озираясь по сторонам.

Другой, заметив офицера, внимательно посмотрел на него и сделал два шага в его сторону, но Кунта жестом остановил его, что-то быстро и громко сказал переводчику.

– Кунта-эфенди гавóрит, еще дело не кончил, еще пленны не куплен... давай денга, бери солдаты... чего хош говори, вези Грозны...

– Правильно! – одобрил чеченца есаул. – Надо выкуп им дать, Александр Николаевич, надо иху бумагу подписать, по рукам вдарить, что ладом все кончили, тогда и пленные опять свободными станут... А теперь они еще чеченские, невыкупленные люди... Такой тут закон! – важно закончил Желтухин.

– Ну, раз закон, так закон. Не станем нарушать его, – согласился Небольсин и через переводчика стал вести с Кунтой-эфенди всю необходимую процедуру выкупа.

Когда короткий опрос подтвердил, что прибывшие из Шали пленные действительно являются взятыми под Внезапной Булаковичем и Егоркиным, Небольсин достал деньги и высыпал золотые на ладонь чеченца.

Кунта-эфенди пересчитал монеты, попробовал их на зуб, потом сложил золото в мешочек и удовлетворенно сказал:

– Харош, – и еще что-то по-чеченски.

Переводчик и чеченцы рассмеялись.

– Что он сказал? – спросил Небольсин.

– Говорит, иди, Иван, назад... другая раз не попадай плен, денга не вазьмем, башка рубить будем, – весело сообщил переводчик.

Пленные молчали. Есаул хмуро глянул на старого чеченца и медленно, подбирая слова, что-то ответил ему. Чеченцы насторожились, но Кунта-эфенди только ухмыльнулся и, показав на кинжал и небо, отвернулся от есаула.

– Что вы сказали ему?

– Посоветовал самому не попадаться... Мы с ним хочь и кунаки, а давние кровники... Вот то я ему и сказал, – угрюмо объяснил Желтухин.

Второй пленный шагнул к Небольсину и громко доложил:

– Ваше высокоблагородие! Унтер-офицер егерского полка Булакович и рядовой того же полка Егоркин...

– Знаю, господин прапорщик... Очень рад, что встретил вас, жаль только, что при таких обстоятельствах, – протягивая руку, сказал Небольсин. – У меня уже давно лежит письмо от вашей матушки Агриппи-



ны Петровны, – и, видя, что пленный все еще не понимает его, добавил: – Из Москвы, где я был проездом год назад. Кстати, поздравляю вас с монаршей милостью – вы произведены в офицеры.

К ним подошел Кунта-эфенди. Чеченцы садились на коней, ожидая своего начальника.

– Харош апчер... кунак будешь, – и, дружелюбно потрепав по плечу Небольсина, вскочил на коня, не глядя ни на кого, рысью повел через Мичик свою группу.

– Сволочь старик, а рубиться мастер! – одобрительно сказал Желтухин.

Вскоре чеченцы и драгуны, повернув каждый в свою сторону, оставили поляну и берег Мичика.

Небольсин доложил полковнику о выкупе пленных. Пулло рассеянно слушал капитана. Было видно, что ему, старому кавказскому волку, не впервой слышать о подобных делах. Он поблагодарил капитана и равнодушным голосом сказал:

– Солдата в медицинскую комиссию. Если найдут негодным к службе – вчистую с отправкой в Россию. Прапорщика... – он почесал переносицу, – куда ж его? Разве что опять на линию в егерский полк?

– Я бы просил, господин полковник, оставить его при штабе. Он нужный человек, побывал в горах, немало перевидел, ознакомился с бытом горцев, да и сам имам хорошо знает его.

– То-то и скверно, что имам знает его, а ведь он из разжалованных, с таким беды не оберешься, – покачал головой Пулло.

– Теперь он офицер, Георгиевский кавалер, вины ему государем прощены... Не нам, господин полковник, взыскивать за грехи.

– Так-то оно так. Мне что, будь он хоть сам Пугачев, раз государь снял с него немилость... Вот разве что определить его в горскую канцелярию при штабе, – раздумчиво продолжал Пулло, – раз он чеченов да прочих кунаков знает. Как вы думаете, капитан?

– Прекрасно! Самое подходящее место, а жить он будет возле меня, в том же доме, – живо ответил Небольсин.

– Что он вам, родственник или друг? – спросил Пулло.

– Ни то, ни другое. Я узнал его только теперь, но, как говорил вам ранее, за него просили меня в Москве Алексей Петрович и матушка Булаковича.

– А-а, помню, помню... Вы же тогда сами вызвались откупить за свой счет разжалованного, – вспомнил полковник. – Ну что ж, пусть работает военным делопроизводителем при канцелярии. Прикажите, пожалуйста, написать приказ, а я подпишу.

Так Булакович остался в Грозной и поселился во флигеле того же дома, где жил Небольсин.



Сеня возился у стола, готовя завтрак; солдат внес кипящий кофейник. Небольсин дописывал письмо. Булакович, сидя у окна, просматривал газеты, стопкой лежавшие перед ним. Столько новостей и событий прошло мимо него, и все, что для Небольсина было давно известным и уже отжившим, волновало. И польский мятеж, как называли его газеты, и приход к власти Филиппа Орлеана взамен свергнутого Июльской революцией Карла Бурбона, и Испания, не утихавшая и после смерти Риго, — все было захватывающим и новым.

Булакович отложил газету и тихо, очень тихо спросил:

— Александр Николаевич, значит, и Боливар умер?

Удивленный этим вопросом, Небольсин ответил:

— Да, умер, и весьма давно, еще, кажется, в декабре тридцатого года. Вы не знали этого?

— Нет. Откуда? — подавленно сказал Булакович.

Небольсин взял довольно старый экземпляр «Московского телеграфа» и вполголоса прочел:

— «Семнадцатого декабря тысяча восемьсот тридцатого года недалеко от бывшей испанской крепости Санта-Марта в поместье Сан-Педро Александрино скончался всемирно известный генерал, главнокомандующий войсками Перу, Колумбии, Новой Гренады, Боливии и Венесуэлы, победитель испанцев дон Симон Боливар, диктатор Южной Америки, президент Колумбии, Венесуэлы, прозванный Освободителем. Умер от чахотки на сорок восьмом году жизни, но имя сего замечательного патриота, воина и человека никогда не умрет в памяти человечества».

Небольсин положил газету на стол, внимательно посмотрел на Булаковича. Прапорщик поднял на него глаза и, как бы отвечая мыслям капитана, произнес:

— Я провел несколько дней возле такого же удивительного человека и патриота...

Небольсин понимающе кивнул.

—...И этого вождя ждет тот же конец, что и Риго и Боливара... Конец всех великих безумцев, родившихся не в свое время.

— А вы его считаете безумцем? — спросил Небольсин.

— Каждый, кто встает за свободу, — и праведник и безумец, если он...

— Если он? — выжидательно повторил слова Булаковича капитан.

— Если он не победит, — тихо закончил Булакович.

— Значит, и четырнадцатое декабря тоже святое безумие?

— Нет. Это трагическая ошибка святых и предательство очень умных, не пожелавших потерять свои блага, — еще тише сказал прапорщик.

— Забудьте на время и эти мысли и эти слова, дорогой мой Булакович. Здесь многое пропитано Третьим отделением и любезным графом Бенкендорфом, — по-французски так же тихо ответил Небольсин. — Потом, на досуге, вы расскажете мне возможно больше об этом горском Боли-



варе, а сейчас вам надо успокоиться. Выпьем кофе, поговорим о разном и подготовим почту. Завтра уходит оказия, а ваша матушка ждет не дождется вестей от сына, – мягко, по-доброму, как старший брат младшему, сказал капитан.

Булакович улыбнулся и пересел к столу, где все еще хозяйничал Сеня.

– Жизнь у них суровая, патриархальная, со своим точным укладом и характером. Порядок строг, между собой – равны, только власть имама и над ним – Бог. Все остальные не подчинены никому, и тем не менее есть судьи, есть муллы, есть аульское начальство, но все выборное и не давит на людей.

– Чем же живут мюриды?

– Верно сказать не могу, находился в стороне от этих дел, но народ дает воинов, платит налоги на войну и армию, справедливо распределяет про-меж себя подати и трудности войны. Собираются в поход быстро, порою молодежи в селах нет, а после похода опять прибывают домой.

– Веселятся? – поинтересовался Небольсин.

– Этого нет. Спиртного чтобы или бузы – нет. Имам настрого запретил их, а где нет вина, там нет и песен...

– Что-то вроде пуритан Кромвеля?

– Нет, это чище. Они ближе к природе и не испорчены цивилизацией и торговлей. И все же, Александр Николаевич, видишь, как устали они от войны, как бьются из последних сил, как пустеют аулы, как гибнет скот, посевы, сады. Ведь наши первым делом жгут и уничтожают все, что кормит горцев. Просеки и дороги, блокаузы, форпосты, посты все глубже врезаются в их земли... Опять же усталость, болезни, голод, смертность и постоянные пропагаторы сбежавших к нам владетельных беков, богатеев-ханов, шейхов и мулл тревожат, раскалывают горцев. Аулы обезлюдели, а слухи о русских подкреплениях, о большом наступлении день и ночь волнуют людей. К тому же землетрясение почти все горцы восприняли как божий гнев. Думаю, Александр Николаевич, что очень скоро все, что создал этот удивительный человек Кази-мулла, не выдержит трудностей и жертв...

– Вы так думаете?

– Уверен. Есть же предел и человеческим силам. Имам интересовался Россией, но боже мой, как мало и превратно они знают о нас! Ни размеров страны, ни ее мощи, ни значения в европейских делах! Только ее слабые стороны, угнетение и рабство крестьян и жалкое положение солдат. Однажды имам резко прервал мой рассказ: «Все это неправда, Иван. Твоя страна не велика, никто не считается с нею». А Шамиль даже упрекнул меня в том, что я нарочно преувеличиваю размеры России. Они не знают Сибири, им неведомы наши города и огромные массы крестьянства. «Солдаты, с которыми мы воюем, – последние, больше их у вас нет...



а турецкий султан и султаны Аврупа<sup>1</sup> уже захватили пол-России... Ваш царь бежал, его брат пошел на него войной, мужики бьют своих беков и ханов», то есть помещиков и дворян. Так представляют они события декабря тысяча восемьсот двадцать пятого года. И в этом убеждают их польские перебежчики из наших полков, турецкие и персидские эмиссары. Между прочим, когда я был еще гостем-пленником самого имама, мне Шамиль с гордостью показал шелковое цветное знамя с королевскими лилиями Бурбонов и золоченой бахромой, на котором была искусно вышита корона и выткано «Вив ле руа!» Как, каким образом это знамя попало в горы к мюридам – никто не знает, но все очень гордятся им. Мне жаль этих хороших, свободолюбивых людей. Они будут раздавлены русской машиной, силу которой даже не в состоянии понять.

– А как иначе, по-другому можно покончить с этой войной? – спросил Небольсин.

– Я думал над этим. Мне кажется, не походами в горы, не уничтожением аулов и людей, а примирением, отводом войск за линию, признанием их призрачной самостоятельности, усиленной торговлей с горцами, открытием школ, приобщением к русской жизни, помощью деньгами и образованием. Зачем нам лезть в горы, когда горцы сами спускаются в долины, ведут торговлю и мену с нами? Пусть не будет реляций, эффектных побед и наград, но мир и прочная связь воцарятся на Кавказе.

– Я слышал о таком роде замирения еще в Петербурге. Это была идея генерала Муравьева, царь отверг ее, – сказал Небольсин, припоминая рассказ Модеста о неудаче муравьевского проекта.

Булакович хотел что-то сказать, но вместо этого только махнул рукой и отвернулся к окну.

Небольсин понял, что больше расспрашивать его не следует.

Особняк в пять комнат с пристройкой для прислуги, сараем для экипажей и флигельком «для людей» был снят его превосходительством у купца Парсегова на месяц за двести рублей серебром. По-видимому, и господин Чегодаев, и купец Парсегов были довольны этой сделкой.

Генерал встретил Небольсина у входа в зал, украшенный тавризмскими коврами и паласом, расстеленным на полу, цветами, расставленными на столе и окнах гостиной, как именовал эту комнату ее хозяин.

– Прошу, Александр Николаевич. Человек вы военный, значит, ведаете, что такое жизнь на бивуаке, – вводя Небольсина в зал, говорил Чегодаев.

– У вас очень славно... много воздуха, цветов, – сказал гость.

– Женская рука... Знаете ли... самый малый пустяк, поставленный на свое место, оказывает влияние на общий антураж, – не без самодовольства ответил Чегодаев.

<sup>1</sup> Европа.





Сейчас он не казался Небольсину таким пустым и чванным петербургским господином, каким был на вечере в Офицерском собрании. Не было чиновничьей напыщенности, столичного высокомерия. Что-то более простое, человеческое было в его глазах и в манере держаться, и в общих фразах, сказанных просто, без аффектации и казенного чванства.

«Что значит дома, а не на людях», – подумал Небольсин.

– А вот и Евдоксия Павловна, – сказал Чегодаев.

– Здравствуйте, – протягивая руку, сказала Чегодаева. Как вам нравятся наши пенаты? – И, не ожидая ответа гостя, добавила: – Помните, что мы на колесах, в Грозной всего несколько дней, что мы бездомные путешественники, почти такие же, как и милые вашему сердцу италийские актеры.

– У вас прелестно... Я восхищен.

– О-о, когда вы посетите нас в Москве или в столице, только тогда вы оцените вкус и художественный такт Евдоксии Павловны, – сказал польщенный Чегодаев.

– А пока этого нет, довольствуйтесь немногим, что мог предоставить нам наш сладкоречивый хозяин господин Парсегов. Вам рому, кофе или прозаический тее? – усаживаясь рядом с капитаном, спросила Чегодаева.

– Ничего, я завтракал.

– Тогда вот фрукты и вино, а затем – в путь, – решительно произнесла она.

– В путь? – удивился Небольсин.

– Конечно, не сидеть же нам здесь до обеда, милый Небольсин. Обед у нас в два, сейчас одиннадцать. Я пригласила генералов с супругами и ваших друзей Пулло, Стенбока и Куракина. Все соберутся к двум часам. Зачем же нам сидеть здесь, в душных комнатах, до этого времени? Ведь я потому и написала вам «прошу к одиннадцати», чтобы побыть отдельно от них. Мы поедем на эти три часа куда-нибудь на воздух, за Сунжу или слободку...

– Поближе к чеченцам! – улыбнулся Чегодаев.

– Да, еще лучше было б к ним в горы, посмотреть, познакомиться с ними...

Небольсин улыбнулся.

– Как много в вас, Евдоксия Павловна, милой романтики, которой так восхищаются наши писатели и о которой рассказывают гвардейские бонвиваны, даже шагу не ступившие на чеченскую или кумыкскую землю.

– И пусть! Но мне нравятся эти, может быть и выдуманные, люди и, возможно, вовсе не похожий на правду мир. Зато он не походит на чиновничье-чопорный мир, какой окружает нас в Санкт-Петербурге. Балы, казенные празднества, размеренные слова, обдуманная фальшь



и постоянная боязнь уха Третьего отделения... и глаза графа Бенкендорфа.

– Евдокси! Вас могут услышать люди, – умоляюще сказал по-французски Чегодаев.

– Чтобы не волновать ваше превосходительство, я пойду переоденусь и через пятнадцать минут буду готова к поездке.

– Не верьте ей, фронда... просто так... говорит, что в данную минуту ей кажется важным, – начал было Чегодаев.

– Модная салонная болезнь, я наблюдал ее в Петербурге... У меня и кузины страдают этим заразительным поветрием, – засмеялся Небольсин.

– Вот именно. Получил я на днях письмо из Франции от одного из моих друзей по Лионскому Кредиту<sup>1</sup>. Так там тоже бог его знает что творится в обществе. До сих пор не могут унять страсти в связи с низложением Бурбонов и воцарением Орлеанов, – меняя тему разговора, сказал Чегодаев.

– А что это за Лионский Кредит?

– Акционерное общество, иначе именуемое «Лионский бархат». Надеюсь, слышали о таком? Так я, извольте-с видеть, один из его пайщиков...

– Вот как?! – удивился Небольсин, даже не представляя себе, что этот чванный и респектабельный чиновник мог быть дельцом и акционером известного в Европе торгового общества.

– Удивлены? О! – засмеялся Чегодаев. – А дело обстоит просто. В бытность свою во Франции я познакомился с делами этого общества, вник в их суть и понял, что держать втуне имеющиеся в наличии деньги – преступление. А у меня как раз в те дни получено было наследство от покойной матери моей, тысяч этак до четырехсот, серебром, конечно. Я и вложил в Лионский Кредит двести тысяч... И не ошибся. Дивиденды одни скоро покроют треть капитала...

– Не подозревал в вас таланта негоции...

– А я и сам не знал о нем, – чистосердечно признался Чегодаев. – Одно понимал – нельзя деньги держать без движения...

– А это не мешает вам по службе?

– О нет... наоборот. Его сиятельство граф Адлерберг весьма одобрил мое решение, а граф Александр Христофорович присовокупил: «И нам бы следовало открыть столь полезное дело». Конечно, после таких милостивых слов было разрешено перевести деньги на Лионский Кредит.

Этот штатский департаментский генерал неожиданно поворачивался к Небольсину новой стороной.

«Как я мало знаю жизнь и плохо постигаю людей», – с удивлением думал капитан, слушая Чегодаева, одновременно являвшегося образцом

<sup>1</sup> Акционерное общество и банк во Франции.



послушного исполнителя приказов чиновного Петербурга, и умного, расчетливого дельца, приумножавшего свои капиталы.

– Вот и я, – появляясь перед ними, сказала Евдоксия Павловна.

Одета она была в легкое простое платье. На голове – широкополая шляпа, завязывавшаяся бантами под подбородком, через руку перекинута кремовая накидка.

Изящная линейка на высоких колесах, с обитой материей спинкой, разделявшей седоков, стояла у калитки. Рядом с кучером на козлах сидел казачок, мальчик лет четырнадцати. Они сдернули шапки при виде подходивших господ.

– Специально для прогулок по кавказским дорогам купил за неделю до отъезда сюда. Этот бон вояж очень удобен, – сообщил Чегодаев.

– Хорош... я еще не встречал таких, – одобрил Небольсин.

– Последняя французская модель.

Евдоксия Павловна иронически улыбнулась, слушая, как муж расхваливал свою петербургскую покупку.

– Путешествуем в удобном тарантасе, а коляска и бон вояж следуют за нами, – снова обстоятельно доложил генерал.

Они расселись: Евдоксия Павловна рядом с Небольсиным, Чегодаев спиной к ним с другой стороны. Линейка тронулась. Сытые кони сразу же взяли рысью, и они быстро выехали за линию слободок и солдатского базара, на котором уже с утра гомонили и суетились люди.

Со степи потянуло запахами трав, свежий ветерок набегал с далеких чеченских гор. Было солнечно и ясно. Небольсин чувствовал на себе взгляд Чегодаевой и изредка, при поворотах дороги или толчках бегущих дрожжек, тепло ее локтя.

– Вот теперь расскажите нам о вашей поездке к чеченам и выкупе пленных, – сказала Евдоксия Павловна. – Я нарочно увезла вас сюда, чтобы вы обстоятельно поведали об этом. Ведь генерал и ваши друзья все знают, и им неинтересно было бы слушать ваш рассказ.

Небольсин коротко рассказал о поездке к Мичику, о встрече с чеченцами и выкупе Булаковича и солдата Егоркина.

– Как это интересно... словно в романе, – восторгалась Чегодаева.

Грозная осталась позади.

Дороги зазмеились в разные стороны. Сунжа блестела слева, а лес приблизился к ним.

Небольсин заметил, что господин Чегодаев проявляет беспокойство, то и дело поглядывая по сторонам.

«Побаивается его превосходительство», – подумал капитан и тоже не без озабоченности вспомнил, что пистолеты остались дома. По давно установившемуся неписаному закону на Кавказе никто не выезжал и не выходил без огнестрельного оружия за линию крепости.



– Не повернуть ли назад, господа? – беспокойно сказал Чегодаев. – Крепость вдалеке, посад и слободки тоже... Мне кажется, что и времени остается мало... скоро станут собираться гости...

– Что вы, что вы... – запротестовала Евдоксия Павловна. – Чеченцев, которые жаждут похитить нас, нет, а до двух часов еще далеко.

– Ваше преасхадительство... во-он казак чегой-то рукой машет, – обращаясь к Чегодаеву и сдерживая коней, сказал кучер.

Впереди, из-за камня и окружавших его кустов, поднялась фигура бордатого казака, державшего в руке ружье, другой он энергично махал над головой.

– Стой, Трифон! – с облегчением сказал Чегодаев. – Наконец-то одна разумная, христианская душа.

Кучер сдержал коней. Мальчик соскочил с козел и помог генералу сойти на землю.

– Пойдемте к нему, господа, – предложила Евдоксия Павловна, видя, что казак что-то говорит им. – Кажется, поход к чеченцам и похищение знатного петербургского гостя не состоятся. Насколько я понимаю, казак этот – часовой и крайне обозлен нашим здесь появлением, – сказала Евдоксия Павловна, с удовольствием шагая по траве вдоль дороги.

– Здравствуй, станичник! – поздоровался Небольсин.

– Здравья желаю, вашескородие, – оглядывая неожиданных гостей, сказал казак.

– Часовой?

– Так точно, а впереди другой в дозоре находится, во-он там, у лясочка... А как же вы, вашескородие, так далеке от крепости?.. Не полагается это... Тут сквозь чечены по лесу ховаются, не ровен час стрельнут, а то и хуже, на аркан возьмут, – неодобрительно покачал головой казак. – Туда, вашсокбродь, с барыней не ходьте... оттель какой ни на есть кунак выкинется, да на аркан... Ищи тогда ветра в поле.

– А ты тогда зачем здесь? – недовольно спросил Чегодаев.

– А я для своо дела стою... Смотреть за полем да чечена не прозевать, вот и вся моя дела, господин... – глядя на штатский костюм Чегодаева, сказал казак.

– Я генерал, зови превосходительством.

Казак лукаво ухмыльнулся и, подмигивая, сказал:

– Енерал, да не с того конца... Я, верно, господин, и не знаю, как вас величать по чин-званию...

– Это великий князь, зови его вашим высочеством, – задыхаясь от смеха, еле проговорила Евдоксия Павловна.

– Великий князь, – недоверчиво протянул казак. – Никак нет, барыня, шуткуете. Неужто таки велики князья бывают? Они не великий князь... – ткнул он рукой в сторону Чегодаева.

– Почему так думаешь? – смеясь, спросила Евдоксия Павловна.



- Великий – это значит большой, – важно сказал казак, – а они так себе, не дюже великие, опять же и... – он задумался, – и лицом не вышли.
- Как так? – от души расхохоталась Чегодаева.
- Да так, не больно красивши, сказать, вроде Володи...
- Ха-ха-ха! – приседая от восторга, смеялась Евдоксия Павловна.
- Молчи, дурак! – обозлившись, рывкнул Чегодаев. – Я – генерал, только штатский, – указывая на шляпу с плюмажем, сказал он.
- Бывает, – равнодушно согласился казак. – Одначе я енералов знаю, может, какие и еще водются.
- Да он просто прелесть! – простонала Евдоксия Павловна. – Как тебя зовут, милый?
- Прокопом, по-станичному Прокошка, – явно довольный оказанным ему вниманием, проговорил казак.
- Прокоп, милый, ты водку пьешь?
- Помалу пью... – подумав, ответил он.
- А вино?
- А вино средственно. Да как же яво не пить, когда его Бог на потребу да радость дал, – серьезно ответил Прокоп.
- Дитя природы!.. Самородок какой-то!.. Вот что, Прокоша, возьми от меня вот этот золотой и пропей весь, целиком, за мое здоровье, – сказала Евдоксия Павловна, вынимая червонец.
- Покорнейше благодарю. Весь пропью, – рывкнул казак, забирая в свою шершавую ладонь золотой и восхищенным взглядом провожая их.
- Какой-то болван, наглец и пьяница!.. – недовольно ворчал Чегодаев.
- Что вы, ваше превосходительство! Это ж мудрое дитя природы. Не так ли, Небольсин? – сказала Евдоксия Павловна и, взяв под руку улыбавшегося капитана, пошла к бон вояжу, поджидавшему их у дороги.

## Глава 5

Несмотря на победу чеченцев в ауховских лесах над отрядом Эммануэля, поражение казаков и смерть Волженского под Гудермесом, успехи эти в горах не произвели особенного впечатления.

В Чечне еще сильно было влияние имама и мюридов, но в Дагестане, особенно же в плоскостных и равнинных аулах, усталость от войны, а также потери в людях, постоянные карательные набеги и разорительные постой русских отрядов тяжело сказались на жизни горцев. Прекратилась торговля, исчезли соль, мануфактура, разные необходимые в обиходе вещи. Отсутствие мужчин породило падение нравов и адатов среди женщин. Стало трудно с хлебом, который уже не завозили из-за Терека, а свои посевы были ограничены и давали скудный урожай. Сады и виноградники систематически вырубались русскими войсками; бе-



женцы с плоскости устремились в горы, и в дальних аулах не хватало ни саклей, ни продовольствия.

До горцев дошли слухи, что имам потерпел поражение и в Тарки после двухдневного боя ворвались русские. Нуцал-хан опять стал владельцем всего шамхальства. В горы прибывали раненные, иногда привозили убитых, число тех и других постоянно увеличивалось.

Русские все чаще появлялись в горах, не довольствуясь покоренной кумыкской равниной.

Поход Гази-Магомеда на Дербент не удался. Мюриды не смогли взять окруженный стеной и валами город. Потеряв пятнадцать дней и многих воинов, имам отступил, а спустя неделю русские под командованием генерала Коханова пошли на Черкей. Бой за аул, жестокий, рукопашный, кровопролитный, длился больше суток. Ночью и днем, штыками, пашками, картечью, ружейным огнем бились обе стороны – мюриды и русские.

Не успевшие уйти женщины обливали русских кипятком. Солдаты кололи женщин штыками, врываются в сакли, каждая из которых бралась с бою. В пламени пожара сгорели мечеть, дом старшины. Русские пушки в упор били по каменным карнизам, на которых укрепились мюриды.

Гази-Магомед, дважды бросавшийся в самое пекло, сразил двух солдат и, увлекая вперед мюридов, ворвался в расположение пятой роты Куринского полка. Бежавший рядом с имамом чеченец Абу-Бекир был поднят на штыки. Шамиль получил сильный удар прикладом в грудь. Старшина аула, тот самый, у которого «гостил» Булакович, был пронзен штыком. Его сын, молодой Мусса, ранен в голову. Отряд Гамзат-бека, сражавшийся слева от имама, был смят русскими и после недолгой рукопашной отошел к самому подножию горы, к дороге.

Но Гази-Магомед, как бы хранимый свыше, не получил ни одной раны.

Из саклей неслись вопли женщин. Всюду раздавались пистолетные выстрелы, хрипкое «ур-ра-а» и прерывающееся «ал-ла-ах», «га-за-ват»...

– Имам, надо отходить... У нас уже нет сил, и некому прийти на помощь! – крикнул Шамиль, стараясь задержать рвавшегося вперед Гази-Магомеда. – Тебе рано умирать, имам... Мы еще не сделали и половины дела... – заслоняя собою Гази-Магомеда, продолжал он.

Шум боя то стихал, то нарастал с новой силой.

– Имам, – видя, что слова его не действуют на Гази-Магомеда, говорил Шамиль, – эти Богом проклятые тавлинцы из Гоцатля и Унцукуля бежали. Мы остались одни, надо отойти...

– Уводи сыновей веры, Шамиль, мы не можем погубить здесь цвет нашего войска. А презренные тавлинцы и кумыкские холуи Аслана еще не раз вспомнят Черкей и эту кровавую ночь.

Пальба стихла. Русские или устали, или же готовились к новому штурму Черкея. Аул был повсюду охвачен огнем. Все утонуло в пламени



пожара. В степи были перепуганные, сбежавшие из дворов псы. Уже не было слышно ни треска пылавших балок, ни криков людей.

Гази-Магомед снял папаху. Вытер рукавом черкески лоб, посмотрел на бушевавшее вокруг пламя.

– Много праведников ушло сегодня к Аллаху. – Он обтер окровавленный клинок полый шинели лежавшего ничком убитого солдата и медленно произнес: – Но они ушли не одни... Смотри, Шамиль, сколько неверных сопроводит их души. Идем, Шамиль, – и, не оглядываясь, направился к дороге.

В лагере русских били барабаны, играли горны, раздавались команды, горели костры, слышались голоса, движение, стук топоров, скрип колес.

Солдаты отдыхали, готовясь к утреннему сражению. Все знали, что разбитые остатки войска имама окружены, что уйти им некуда и что завтра будет еще один свирепый, но последний бой. Солдаты ели подвезенный ужин, курили, многие спали прямо на сырой земле. Подошли еще два батальона апшеронцев, их сейчас же выдвинули на окраину сгоревшего аула. Черкей дымился, кое-где огонь, тлевший в грудях пепла, прорезал тьму, но это были последние отблески пожара.

Часов около одиннадцати ночи разнеслось:

– На молитву, шапки долой!

Послышалось разноголосое пение «Тебя, Бога, хвалим», «Спаси, Господи», и лагерь стих, только дымили костры да сторожевые казаки то исчезали, то подъезжали к палатке генерала.

Со стороны мюридов изредка постреливали. На террасах возвышавшейся над аулом горы тоже горели костры, но вскоре они потухли, зато на противоположной каменной гряде зажглись другие.

Русские посты внимательно следили за ними, то и дело донося генералу, что окруженные мюриды даже и не пытаются пробиться из кольца, что у них горят костры, возникают новые и идет редкая перестрелка.

– Да и что им делать осталось! – пожимая плечами, ухмыльнулся Коханов. – Они в кольце. Утром бой, к полудню имам и его наибы будут уничтожены, а вместе с ними и газават.

Ночь прошла спокойно. А когда рассвело и пехота двинула вперед свои дозоры, выяснилось, что на гряде и окружавших аул террасах нет ни одного горца.

Взбешенный генерал Коханов назначил расследование, послал вдогонку казачьи сотни и драгунский дивизион. Мюриды исчезли. Только возле аула Халаши казаки натолкнулись на завалы и ожесточенный огонь противника.

Расследование показало, что ночью на участке, который охраняли посты горской милиции кумыкских добровольцев и отряд аварцев, посланный ханшей на помощь русским, было замечено какое-то движение, но



часовые приняли колонну за казачьи сотни и беспрепятственно пропустили.

– Своя сволочь!.. Они все в душе с этим Кази-муллой... Разве можно доверять гололобым! – ругаясь, завопил Коханов.

Аслан-хан казикумухский и шамхал Тарков Нуцал приказали казнить четырех человек из отрядов, охранявших дорогу на Халаши.

Вечером все четверо были казнены, а из отрядов шамхала, Аслан-хана и ханши Паху-Бике ночью самовольно ушло в горы более полутора сотен мусульманских добровольцев.

Черкей был дотла сожжен русскими и вытоптан копытами коней, колесами повозок, фур и орудий, однако имам, его штаб и основная масса мюридов ушли в горы.

Единственным результатом победы было то, что потрясенные неудачей горские аулы замерли, залечивая раны, нанесенные в последние месяцы войны.

Генерал Алексей Александрович Вельяминов-старший, правая рука, друг Ермолова и единомышленник по всем вопросам ведения Кавказской войны, после падения «проконсула» был переведен графом Паскевичем в Россию. Паскевич не любил ермоловцев и не доверял им, и Вельяминов после высокого положения, которое он занимал при Ермолове, стал обыкновенным начальником пехотной дивизии, расквартированной где-то возле Рязани.

Вельяминов спокойно перенес понижение, ревностно принялся за строевую работу в своих полках и на инспекторском смотре, произведенном великим князем Михаилом Павловичем, его дивизия оказалась лучшей из всех расположенных в срединной России.

Паскевич, зорко следивший за ермоловскими любимцами, понял, что упустил способного начальника, который мог бы помочь ему в сложных и запутанных кавказских делах. Спустя два года после ухода Вельяминова Паскевич написал ему весьма доброе и лестное письмо, а затем через барона Дибича добился у Николая награждения вне очереди опального генерала орденом Станислава I степени и «высочайшего благоволения». Вельяминов все это знал и не удивился, когда его 14-я пехотная дивизия была по просьбе Паскевича переведена на Кавказ. Получив еще одно дружеское письмо графа, он ответил ему в почтительно-доброжелательных тонах, и неудовольствие Паскевича было забыто.

Оба генерала – Паскевич и Вельяминов – рьяно принялись за разработку плана «утверждения русского владычества на Кавказе», как официально именовалась подготавливаемая ими широкая экспедиция в горы. Но холера, внезапно охватившая Дагестан и всю русскую линию, затем небывалое землетрясение и, наконец, отъезд Паскевича в Польшу разединили их, хотя Паскевич, несмотря на военные действия в Польше,





иногда помогал Вельяминову и Розену своими указаниями издалека.

Второе пребывание Вельяминова на Кавказе ознаменовалось рядом жестоких экспедиций, главным образом в Чечню, куда он, помня поражение Эммануэля, выступал всегда большими силами пехоты, кавалерии и батареей.

С осени 1831 по июль 1832 года им было сожжено свыше шестидесяти аулов и хуторов, прорублено более сорока просек, возведено девять новых редутов и укреплений, вырублены все сады, окружавшие аулы, захвачены табуны коней и стада. Беря штурмом такие аулы, как Гельчиген и Майортуп, генерал не щадил никого. Сподвижник Ермолова, он целиком разделял его точку зрения, считая, что только страх может повлиять на горцев и что мягкость и милосердие в горах воспринимаются как слабость и боязнь.

Этот человек, как и Ермолов, был убежден, что русский народ угнетен помещиками и что крепостное право – бич России. Не будучи причастным к декабристам, он, как и Ермолов, облегчал участь сосланных на Кавказ солдат и офицеров, связанных с 14 декабря. И в то же время Вельяминов верил, что жестокость и беспощадное уничтожение горских аулов приведет к полному замирению в горах.

Вскоре Вельяминов был назначен командующим Кавказской линией. Это назначение означало решительное наступление русских на Дагестан для скорейшего уничтожения газавата.

Понял это и Гази-Магомед.

Неудачи последних недель под Черкеем и опустошительный поход Вельяминова по Малой Чечне показали Гази-Магомеду, что порыв, который поначалу охватил горцев, ослабел. Имам видел, как тяжело сказались на дагестанцах и чеченцах русское вторжение в горы и леса. Особенно угнетал его распад единства между некоторыми горскими обществами Дагестана.

Невдалеке от чеченского аула Майортуп имам созвал большой джамаат, на котором посланцы дагестанских, чеченских, кумыкских и прочих обществ и племен должны были решить, как поступать дальше.

У известной всем чеченцам горы Кортин-Корт собралось до восьмисот человек делегатов, съехавшихся из Андии, Ичкерии, Кабарды, Кумуха, Елисуйского ханства, Большой Чечни, Аварии и других мест. Были тут знаменитые наездники, как, например, чеченец Авко, карабулак Астемир, белед Мусса, знаменитый чеченский проповедник ших Шабан, хаджи Таштемир, Саид-бей гергебильский, Гази-Магомед, Гамзат и Шамиль. Двое суток шел джамаат, и наконец после долгих речей и споров было решено уйти в горы, прекратить на время набег на линию, собраться с силами и, дав отдохнуть людям, через год вновь провести джамаат. Мюриды вместе с жителями должны были приступить к сельским работам и укреплению аулов.



Делегаты разъехались восвояси, увозя тревожно ждавшим их жителям решение совета. Люди вздохнули свободнее – год мира обещал спокойную жизнь.

Недовольный решением джамаата, Авко увел свою конную партию из трехсот человек в ауховские леса, где устроил свое совещание. Он посоветовал наездникам двумя группами скрытно перейти Терек и ударить на казачью станицу Щедринскую, где, по его уверению, сейчас не было ни пехоты, ни казаков, якобы вызванных по тревоге к Грозной. Чеченские удалцы неохотно выслушали его. Набег на русские станицы сам по себе всегда увлекал их, но сейчас, когда дана клятва на Коране, когда сам имам требовал от них поста, воздержания и молитв, предложение Авко показалось им несвоевременным и неугодным Богу. Более двухсот всадников отказались слушать предводителя и в тот же день разъехались по аулам.

– Это бабы и трусы, но без большой партии я не могу начать дела, – сказал Авко, отлично понимавший, что даже в случае успеха его ослушивание вызовет недовольство в народе. Умный и всегда бывший настороже, Авко понимал, что успеха могло и не быть – слишком уж сильными становились русская линия и бдительные пикеты, заставы и посты, разбросанные по обоим берегам Терека. С деланным негодованием он уехал с несколькими родичами и приближенными в родной аул.

Оставшиеся шестьдесят человек, самые беспшибашные, что называется, отпетые, решили попытать счастья и на свой страх и риск пройти по русским тылам в чаянии добычи. Им нечего было терять. Бездомные бродяги, абреки – кабардинцы, осетины, кумыки, двое ингушей, четверо ногайцев и чеченские байгуши, – они давно забыли и свой аул, и своих родных.

Во главе всей партии встали три весьма известных на казачьей линии человека: чеченцы Пантук-Исак и Байрам, по прозвищу Аульский, и кумык Ходокой Абукер из Андрей-аула. Это были храбрецы, уважаемые не только в горах, но и неоднократно упоминавшиеся в русских донесениях как «весьма опасные абреки».

После ухода Авко оставшиеся разделились на три группы. К одной из них почему-то пристали все вожаки.

На совещании Пантук-Исак сказал:

– Я не люблю возвращаться домой с пустыми руками... Засмеют даже малые дети...

Кумык Ходокой говорил о том, что у него в Костеке есть кровники, у которых он должен «взять кровь», то есть убить кого-либо из них. А чеченец Байрам коротко пояснил:

– Отточил пашку, зарядил ружье, сел на коня... Зачем же возвращаться обратно?

Их небольшая группа в двенадцать человек, скрытно пройдя качкалыкские леса, перешла через Сулак и к утру четвертого дня вышла на



кумыкскую плоскость к дороге Костек – Андрей-аул. Затаившись в кустах, они терпеливо стали ждать...

Костек находится недалеко от Андрей-аула, и трое купцов-татов, распродав часть товара в Костеке, без конвоя решили перебраться в Андрей-аул. Несмотря на уговоры подождать полуденной оказии, они, вооруженные кинжалами и ружьями, отправились на подводе в Андрей-аул.

Подпустив подводу вплотную, сидевшие в засаде абреки с воем ринулись на оробевших купцов. Мгновенно обезоружив пленников, нападающие связали двух из них, но тут произошло нечто неожиданное... Кумык-подводчик схватил ружье и выстрелил в первого попавшегося на глаза абрека. Пуля насквозь пробила ему голову. Это был Пантюк-Исак, сидевший на коне возле подводы и отдававший приказания абрекам.

Третий тат, поняв, что спасения нет, ударом кинжала свалил наземь орудовавшего с товаром чеченца. На выстрел подводчика прибежал случайно шедший по дороге кумыкский уздень по имени Хасав, мужественный человек, отличившийся в боях с мюридами. Видя, что двенадцать абреков окружили подводу, он, выхватив из чехла ружье, выстрелил в самую кучу нападавших. Наугад пущенная пуля угодила прямо в сердце второго предводителя партии – Ходокой Абукера, и тот замертво свалился с коня.

Озлобленные абреки, так неожиданно потерявшие своих вожakov, с проклятиями и бранью бросились на отважного кумыка. Хасав, носивший на поясе огромный дедовский кинжал, с размаху ударил им по плечу набросившегося на него абрека, и тот со стоном упал под колеса подводы. Видно, так было угодно судьбе – этот тяжело раненный Хасавом абрек оказался третьим предводителем шайки, знаменитым Байрамом.

Абреков охватил ужас, когда залитый чужой кровью Хасав кинулся на них, размахивая кинжалом, а один из купцов вместе с подводчиком напал сзади.

Подхватив тяжело раненного Байрама и труп Абукера, бросив убитого Пантюк-Исака, абреки исчезли в кустах, откуда через минуту вынеслись на галопе, удирая в сторону леса.

Так по воле случая чеченские мюриды потеряли трех своих известных наездников и рубак.

Ближе к полудню выстрелила сигнальная пушка и на направлении казачьих пикетов задымили сигнальные огни. Две роты апшеронцев, эскадрон драгун и дежурная сотня Гребенского полка выступили спешным маршем в сторону аула Герменчик. Окутанная тучей пыли, пронеслась по дороге еще одна казачья сотня, и поднятые по тревоге части гарнизона приготовились к походу.



– Что случилось? – выходя из штаба, спросил Небольсин у казаков, что-то докладывавших генералу фон Таубе.

Адъютант тихо, чтобы не мешать опросу связных, сказал:

– Чеченская партия настигнута верстах в двенадцати от крепости. Они под станицей Щедринской двух казаков убили, бабу с казачонком в плен угнали и табун коней из-под станицы, да нарвались на солдатский пикет и казачью засаду. Их там в кольцо взяли... вряд ли уйдут...

– Капитан Небольсин, – позвал генерал, – возьмите взвод донцов – и наметом к пункту... – он всмотрелся в донесенне, – двадцать три, что возле кургана у развилки дороги на Герменчик. Вот казаки укажут, они только оттуда. Прошу вас, сразу, как разберетесь в обстановке, донесите точные данные о потерях. Из этого малограмотно написанного клочка я ничего не пойму толком, да предупредите майора Строгова, чтоб не уклонялся в сторону леса... Там чечены тоже не зевают.

– Слушаюсь, ваше превосходительство, – пристегивая шашку, сказал капитан.

Через несколько минут во главе двадцати пяти казаков он уже скакал по тропе к пункту двадцать три.

День был ясный и солнечный, деревья в цвету и зелени, воздух прозрачен и чист, и если б не эта бешеная скачка по извилистой тропинке, со стороны можно было б предположить, что кавалькада скакала сквозь кусты и деревья для собственного удовольствия, для утренней прогулки.

Рано утром этого дня казаки станицы Щедринской Иван Кульков, Степан Кольцов с сыном Кузей, подростком лет четырнадцати, и женою урядника Сергина вышли за околицу, где в полутора верстах находился луг, на котором они хотели накосить травы.

Пройдя через станичные завалы, миновав ров и обойдя сторожевой пикет у дороги, они пришли на луг. Казаки, сбросив папахи, закурили и стали косить; мальчик, стреножив коней, тоже взялся за косу, как вдруг женщина закричала истошным голосом:

– Че-че-ны!!!

Из кустов орешника выскочили человек восемь чеченцев, прятавшихся в засаде. Они бросились на отбивавшихся казаков и, свалив наземь кричавшую женщину, поволокли ее в чащу.

Один из казаков успел ударить кинжалом кого-то из нападавших, и в тот же миг оба казака были зарублены, а подросток и жена урядника со связанными назад руками перекинуты через спины двух заручных коней и крепко приторочены к лукам.

Казачьи пикеты, слышав крики, открыли огонь по горцам, дежурный взвод поскакал на подмогу, но, обстрелянный из кустов, потеряв коня и двух казаков ранеными, залег.



Из станицы поспешили конные и пешие казаки, завязалась перестрелка.

Как выяснилось позже, все это было сделано для того, чтобы отвлечь внимание казаков от большой партии чеченцев, в это самое время налетевших на казачий табун, пасшийся в версте от станицы.

В суматохе, стрельбе и погоне прошло не менее получаса, пока дозоры и пикеты не разожгли сигнальные костры и не сообщили по линии летучих постов о нападении врага.

На перехват разбившихся на группы чеченцев помчались пехотные и казачьи дежурные отряды. Во главе одной из гребенских сотен поскакал есаул Желтухин. Старый казак, опытный в набегах и преследовании, он не пошел по дороге, а, обскакав посты, увел казаков по лесным тропам к Халгоевскому броду, где обычно чеченцы поили свой скот.

Пошедшие по Герменчикской дороге драгуны и рота апшеронцев, потеряв казаков из виду, заняли соседние холмы. Спустя час издалека доносились глухие звуки пальбы.

Командовавший отрядом майор Строгов понял, что уклонился в сторону и что есаул Желтухин нагнал врага.

Прискакавшие для связи казаки и подошедшая рота с орудием вместе с остальными были повернуты на Халгоевский брод и форсированным маршем прибыли к месту боя.

Суматошно отходившие чеченцы наткнулись на драгун и казаков. Не принимая боя, они кинулись к дороге на Герменчик, где их встретили орудийная картечь и залпы апшеронцев. Вся партия оказалась в кольце. Уже давно были брошены захваченный казачий табун, плененные женщина и мальчик Кузьма. Бой разгорался... Русские, втрое превосходящие противника, окружили горцев; лишь нескольким чеченцам удалось выскользнуть из кольца.

Желтухин со своими гребенцами насел на спешившихся, бросивших лошадей чеченцев, которые залегли за деревьями и камнями, а человек пять, зарезав кинжалами коней, сгрудили их в одну кучу и, лежа за лошадиными тушами, отстреливались от казаков. Стреляли и с деревьев, и из-за кустов. Было видно, что окруженные чеченцы не сдадутся и пойдут в кинжалы и пашки, как только у них кончатся порох и свинец.

В это время к опушке, где находились майор Строгов и двое его офицеров, державших военный совет, прибыл Небольсин со своим взводом. Остальные вместе с солдатами, драгунами и казаками шаг за шагом все суживали кольцо окруженных мюридов. Иногда русское орудие било по кустам и по леску, откуда трещали чеченские ружья.

— Что думаете предпринять, господин майор? — выслушав Строгова, спросил Небольсин. — В штабе отряда до сих пор не знают, что происходит здесь, — вынимая карандаш и фельдбух<sup>1</sup>, говорил Небольсин.

<sup>1</sup> Полевая книжка для донесения, нечто вроде современного блокнота.



– Они там никогда ничего не знают... Ведь я же послал нарочных с донесением, – недовольно проворчал майор.

– Надо спешить, а то как бы промашка не вышла, – предостерег пехотный капитан, опасливо посматривая на черневший вокруг лес.

– Спеши – не спеши, а без штыковой не обойтись, да и в шашки ударить надо, – хмуро согласился Строгов.

– А может, еще огоньку поддать?.. Вон как гранаты в самой гуще рвутся... – удовлетворенно сказал адъютант и выжидательно посмотрел на майора. – Туда б с ракетниц ахнуть... – почесывая щеку, предложил он.

Небольсин почти не слышал их; сидя на барабане, он быстро излагал в донесении суть дела.

– Вы, господин капитан, прежде чем посылать рапортчку в штаб, прочтите мне да о потерях не забудьте сказать, – озабоченно напомнил майор.

– Конечно, и вы должны будете подписать донесение, – сказал Небольсин и поднялся, привлеченный новой фазой боя.

Видя, что никому не вырваться из все теснее сжимавшегося кольца, чеченцы перестали стрелять.

Стихла ружейная пальба и со стороны русских, умолкло орудие. Казалось, все кончилось, бой прекратился.

– Сдаваться, наверно, будут... – с тайной надеждой неуверенно произнес адъютант.

– Хватил, фендрик! – сердито оборвал его майор. – Бой только начинается. Не знаешь ты, поручик, здешних дел... Не сдаваться, а в шашки сейчас кинутся, с пистолетами да кинжалами подыхать будут, – грубо, не без тревоги оборвал его Строгов.

– Спаси, Господи, народ христианский, самый лютый час подходит, – перекрестился пожилой солдат с ефрейторской лычкой на погонах.

– Вашсокбродь, слышь... орда молиться зачала... – почти шепотом добавил другой, не сводя глаз с леска и завала из конских трупов, откуда заунывно, тихо, затем все сильнее и явственнее слышалось «ля илльляхи иль ал-ла-а», перешедшее в стонущий, полный отрешенности от жизни вопль.

– Фатыгу поют... предсмертную, значит, молитву... с землей и жизнью прощаются... Сейчас в кинжалы пойдут, – едва успел выговорить Строгов.

Из кустов, из-за деревьев и конских трупов поднялись чеченцы. Их было немного, может быть, сорок-пятьдесят человек. Все пешие, с заткнутыми за пояс полами черкесок, в рваных бешметах, с горящими глазами, выкрикивая слова фатыги, перепрыгивая через камни, роняя убитых, они кинулись к русским цепям.

Залп повалил половину из них. Несколько человек пытались подняться, уцелевшие, добежав до поджидавших их солдат, с воплем и криком стали рубиться с ними.



Небольсин видел, как падали мюриды, как валились солдаты, как сверкали кинжалы горцев и русские штыки.

Одиночные пистолетные выстрелы лишь иногда врываются в хриплые голоса; лязг кинжалов и штыков – и предсмертные вопли поверженных.

Несколько солдат, не выдержав страшного вида дерущихся насмерть мюридов, подались назад, но русских было много, очень много. Чеченцы падали под ударами солдатских штыков.

Впереди рубящихся капитан увидел чеченца в коричневой черкеске, плотно сбитого, быстрого и ловкого в движениях. Что-то очень знакомое показалось в нем Небольсину...

Чеченец, срубив одного за другим двоих солдат, пробивался вперед. В правой его руке была обнаженная, вся в крови пашка, в левой – пистолет, чеченец что-то яростно выкрикивал.

За ним бежали еще трое, черные от пороха и грязи. Это были, по-видимому, нукеры или близкие ему люди. Они врубились в русскую цепь. И тут Небольсин увидел то, что навсегда запечатлелось в его памяти... Ни Елизаветпольский бой, ни походы в Салатавию и Табасарань, ни даже разгром Дады-Юрта не оставили такого впечатления, как этот короткий бой возле Халгоевского брода.

Слева, оттуда, где рубились с чеченцами гребенские казаки, вырвался вперед высокий Желтухин. Есаул был в бешмете, в заломленной набок высокой папахе. В правой руке его сверкала обнаженная пашка, лицо пылало, глаза горели хищным, неукротимым огнем.

– Не трожьте его, хлопцы! – заглушая шум боя, изо всех сил закричал он. – Мы с им кунаки и давние кровники!..

Он преградил дорогу рубившемуся чеченцу, и только тут Небольсин узнал его. Это был Кунта-эфенди, который недавно передал ему на реке Мичик пленного Булаковича.

Чеченец тоже узнал есаула.

– А-а, свинья, собачий сын... все-таки привел нас Аллах встретиться перед смертью, – прохрипел он, бросаясь к есаулу.

Небольсин замер... Что-то давно исчезнувшее, такое, что могло быть лишь во времена Пересвета и Осляби или турниров средних веков, встало перед ним.

Два человека, давно знавшие друг друга, давно искавшие рукопашной, встретились на залитом солнцем и кровью поле битвы... И оба были достойны один другого.

Пашка Кунта-эфенди сверкнула в воздухе и с силой опустилась на высокую папаху есаула. Но недаром Желтухин был лучшим рубакой среди гребенцев. О его богатырской силе и ударах «навкошь» и «с потягом», перерубавших надвое телка или барана, говорили в войске. Есаул отбил удар чеченца и слева направо ткнул его концом пашки в лицо. Удар был такой, что Кунта пошатнулся и припал на одно колено... Желтухин со



всего размаха, словно на ученье, рубанул чеченца через всю голову – «с потягом». Кунта-эфенди, выронив пашку, упал на землю, но так сильны были в нем и воля к жизни, и жажда мести, что уже с земли он успел левой рукой выстрелить из пистолета в есаула.

Солдат-бутырец дважды пронзил штыком хрипевшего в агонии, залитого кровью чеченца.

Есаул, скорчившись, опустился на траву возле убитого им чеченца, а ротный фельдшер, облив водкой сквозную рану на плече, засовывал во входное и выходное отверстия тампоны.

– Чуток ба ниже, убил ба вас гололобый, – сказал фельдшер, пиная ногой убитого.

– Не трожь ево, сука, клистирная трубка... Не тебе чета был человек... Кабы он живой был, ты б возля него дышать не смел! – закричал есаул, и на его бледном от боли лице пробился румянец.

– Виноват, вашсокбродь, это ж я так... промеж себя, – отступая от раненого, пробормотал фельдшер.

– Герой был старик... Такого второго и в Чечне не найти, – тихо сказал Желтухин, – удалец из удалых... Кабы мы с ним на конях схлестнулись, он бы порубил меня, а вот пешаком не смог... годы взяли... – сказал Желтухин. Он нагнулся над убитым и прикрыл папашой его суровое, залитое кровью лицо.

Бой кончился... Солдаты сходились кучками на поляне.

Есаул обтер пашку полой черкески Кунты, повернулся и подошел к Небольсину, с изумлением смотревшему на него.

Вечером фельдшер жаловался своим друзьям в лазарете, что «казаки та ж самая орда и дикие люди... Сам чечена зарубил, а меня чуть не вдавил за убитого...»

Остальные две чеченские партии, потеряв нескольких человек и бросив коней, спаслись, уйдя через лес в сторону Гудермеса.

Партия, в которой был Кунта, погибла вся, и еще долго в горах пели песни о молодечестве старого джигита и оплакивали смерть шестидесяти трех молодцов из аулов Шали, Урус-Мартана, Герменчика и Цецен-Юрта.

## Глава 6

Небольсин стал изредка заходить к Чегодаевым, так как и Евдоксия Павловна, и сам генерал несколько раз настоятельно напоминали ему об этом. Раза два он, с разрешения Чегодаевых, пришел с Булаковичем, личность и судьба которого интересовали Евдоксию Павловну. Прапорщик оба раза был сдержан, немногословен; он коротко отвечал на вопросы, не вдавался в подробности ни своей петербургской, ни солдатской





жизни. О плене у горцев всегда говорил скупой, с уважением отзываясь об имаме и окружавших его людях.

– Что-то не нравится мне этот гость: хмур, молчалив, оживает, только вспоминая Кази-муллу... – оставшись наедине с женой, сказал Чегодаев.

– Почему же? Очень милый, серьезный человек, не шаркун и пустомеля, вполне комильфо, бывший гвардейский офицер... – не согласилась Евдоксия Павловна.

– Именно «бывший», да к тому ж из разжалованных, – покачивая головой, напомнил генерал.

– Что ж из того. И Небольсин, и Стенбок, и Куракин, да и сам Розен из бывших гвардейцев...

– Но не декабристов!.. – вставил генерал.

– И мой брат Николай, и полковник Зурин, да и сам Ермолов с Вельяминовым тоже кое-кем обвинялись в четырнадцатом декабря, – перебила его Евдоксия Павловна.

– Подозрение – это одно, а разжалование и суд – это, дорогая Евдокси, дело совсем иное, – наставительно произнес Чегодаев.

– Не беспокойтесь, Иван Сергеевич, если Булакович захочет бывать у нас, я с радостью встречу его, но...

– Что «но»? – переспросил Чегодаев.

– Мне кажется, он не очень расположен к посещениям.

– Да-а?! – удивился Чегодаев, – Вчерашний арестант, пехотный прапорщик... Нет, вы ошибаетесь, Евдокси. Он за честь должен считать, что мы принимаем его.

– Конечно, конечно, – усмехнулась Чегодаева. – Его превосходительство, начальник департамента, вельможное лицо, завтрашний тайный советник... Ну как же бедному прапорщику из декабристов не тянуться к нему!

– И вечно вы шутите, Евдокси, – уже сердясь, ответил генерал. – Я рад буду, если этот господин больше не появится в нашей гостиной.

– А Небольсин? – спросила Чегодаева.

– Небольсин другое дело. Человек с весом и положением, лично известный государю и Александру Христофоровичу. За ним ничего предосудительного нет, – уходя в спальню, ответил генерал.

Булакович тоже не был в восторге от знакомства с Чегодаевым.

– Она милая и приятная женщина, да иначе и не могло быть, ведь она сестра Николая Воейкова, а вот ее муж... – прапорщик поморщился, – образцовый петербургский благоуспевающий карьерист. Я был с визитом у Чегодаевых, выдержал никому не нужный этикет, и... хватит. Думаю, эта милая дама не сочтет меня невоспитанным человеком, если я больше не появлюсь у них.

– Она умна и прекрасно разбирается в людях.

– Разбирается, а вышла замуж за подобного монстра...



– Друг мой, в этой области человеческих отношений нельзя быть судьей.

В последние дни Чегодаев увлекся покупкой, осмотром и даже меною коней.

Человек штатский, он вбил себе в голову, что с Кавказа ему следует пригнать нескольких породистых донских и кабардинских производителей-жеребцов и кобыл чистых кровей для разведения молодняка в своем поместье.

Он часто посещал казачьи сотни, расположенные в Грозной, не пропускал конские базары; сдружился с армейскими ремонтерами и на этой почве сблизился с есаулом Желтухиным, лечившимся от раны, полученной в единоборстве с Кунтой.

Евдоксия Павловна, которой Небольсин рассказал мрачную и трагическую историю гибели чеченского наездника, долго молчала, потрясенная смертью чеченца, о котором она раньше слышала от Булаковича и Небольсина.

– Жестокие люди... Какая ужасная смерть...

– Почему? Наоборот, этот лихой есаул мне очень по нраву. Молодец, рубака, герой, – снисходительно сказал Чегодаев.

– Хотела б я посмотреть на вас, Иван Сергеевич, если б вы хоть на секунду попали в подобное «дело».

Штаб командующего линией находился в Пятигорске. Барон Розен, в бытность свою начальником линии, расположил штаб в этом спокойном городке.

Круглый год сюда и на Кислые Воды приезжали гости из Петербурга и Москвы. Модные магазины, частые наезды актерских трупп, балы, вечера, ежедневная духовая музыка, воскресные скачки, увеселения, французская речь и столичные наряды делали Пятигорск и весь район Кислых Вод местом веселого отдыха как здешнего, так и наезжавшего из России общества.

И хотя вокруг – правда, довольно далеко – были расположены полумирные карачаевские аулы, однако сильные русские гарнизоны, созданные вокруг укрепления, форпосты, а также и казачьи станицы прочно обеспечивали спокойную жизнь Пятигорска. Улицы, площадь, добротные дома, кондитерские магазины, собор и церковь, ротонды и раковины для оркестров украшали и Кисловодск.

Можно себе представить, какой переполох и уныние охватили всех, кто имел отношение к штабу командующего, когда генерал Вельяминов объявил, что штаб Кавказской линии в ближайшее время переводится в Грозную, а его хозяйственно-административная часть – во Владикавказскую крепость. «Мирному житию» чинов штаба пришел конец. Все поняли,



что начинается решительный этап Кавказской войны и что обжившимся на покое штабным полковникам и генералам предстоит другая жизнь.

В Грозной, в свою очередь, шла большая работа. Строили новые казармы, жилые дома, расширяли солдатские поселки, слободки, проводили дороги; навели два деревянных моста через Сунжу. Появились разбитые торговцы, открылись лавки там, где недавно начиналась поляна, ведущая к караулам и постам; выросли двухэтажные каменные дома. Сторожевые посты были отодвинуты на шесть верст дальше, чем до сих пор; был вырублен лес, окаймлявший берег Сунжи. Новые сотни поселенцев расположились в только что созданном «Московском» квартале. Станица Грозненская была усилена переселением сюда полтораста русских семей из отставных солдат. Базар расширился. Мирные чеченцы и кумыки вели торг и мену каждое воскресенье и четверг. Крепость росла, и ее гарнизон увеличился втрое.

Все это было с тревогой воспринято в горах.

Часть штаба уже переехала в Грозную, остальных ждали в течение ближайших трех-четырёх недель.

Вельяминов знакомился с офицерами гарнизона Грозной и Гребенской дистанций. Генерал доброжелательно и учтиво обратился ко всем собравшимся, представил своих приближенных и в кратких словах обрисовал будущие военные действия.

Небольсин, Стенбок, Куракин стояли одной группой, почтительно слушая генерала. Вельяминов, обводя глазами офицеров, прищурился, было видно, что генерал что-то напоминает. Продолжая говорить, он раза два мельком поглядел на Небольсина.

— С переводом сюда штаба мы стали ближе не только к противнику, но и к победному завершению войны, — заканчивая короткую речь, сказал Вельяминов.

Федюшкин, Пулло, Коханов, Ключе и Таубе одобрительно наклонили головы.

— А теперь, господа, прошу вас через час пожаловать в Офицерское собрание, где вы, старые кавказцы, за столом познакомитесь ближе с теми, кто в недалеком будущем вместе с вами покончит с Кази-муллой.

Офицеры благодарили генерала. Некоторые тотчас же выходили, другие почтительно ждали, когда командующий оставит помещение.

— Капитан, а ведь мы, по-моему, старые знакомые, — обратился к Небольсину Вельяминов.

— Так точно, ваше превосходительство. Еще с тысяча восемьсот двадцать шестого года.

— Нет, раньше. Ведь я вас знал еще поручиком. Не забыли второй поход в Салатавию?

— Так точно. Передовым отрядом командовали вы...



– А всеми силами – Алексей Петрович, – подхватил Вельяминов. – Ведь вы... вы...

– Капитан Небольсин, – подсказал Стенбок.

– Да, да... Александр-джан, – широко улыбнулся генерал. – Как же, как же... И Тифлис помню, и Елизаветпольский бой, и знамя, что вы отбили у Садр-Азама... Ведь вы были ранены... Алексей Петрович, помню, очень беспокоился за вас... Как теперь рана?

– Благодарю, ваше превосходительство, все прошло.

Вельяминов сощурился и, видимо, что-то припомнив, начал было:

– А как то, о чем вы... – И, махнув рукой, закончил: – Вот что, Александр-джан, зайдите сегодня в девять часов вечера ко мне. Нам есть что вспомнить... «Дела давно минувших дней»...

– Слушаюсь, ваше превосходительство.

Вельяминов пошел к выходу.

– Обласкан свыше... – засмеялся Стенбок. – Смотрите, Небольсин, как фортуна благоволит к вам. И царь, и Бенкендорф, и Ермолов, а теперь еще и Вельяминов, – обнимая за талию Небольсина, пошутил подполковник.

– Ах, все, о чем будет говорить генерал, только разбередит прошлое, – тихо ответил Небольсин.

– Друг мой, не будьте рабом минувшего. Оно – как сон, и вспоминать его, особенно если он дурной, не следует, – увлекая за собою капитана, сказал Стенбок.

Обед в Офицерском собрании был дружеским и в то же время официальным. Кроме тостов за государя, русскую армию и грядущую победу над мюридами, иных не было. Вельяминов заранее запретил провозглашать тост за него и других генералов.

После нескольких бокалов вина настроение у обедавших поднялось, за столом стало свободнее, не стесненные присутствием командующего, старавшегося меньше всего быть на виду, офицеры повели беседы на самые различные темы. Говорили о Петербурге, вспоминали общих знакомых; разговоры сближали, а будущая совместная жизнь в Грозной настраивала на благодушный лад. Кое-кто из «штабных» с нескрываемой грустью вспоминал жизнь на Кислых Водах; другие рассказывали о недавно закончившейся польской кампании, в которой участвовали они; третьи, забыв об официальном значении обеда, вполголоса напевали фривольную французскую песенку. Гвардейский ротмистр из окружения Вельяминова рассказывал казачьему генералу Федюшкину о чудесном голосе и красоте итальянской певицы Колонны, которую он недавно слышал в Петербурге. Казак, мало понимавший толк в певицах, да еще итальянских, молчал, лишь то и дело подливал чихирь в стакан ценителя фиоритуры и женской красоты.



Небольсин даже не заметил, как исчез Вельяминов, да и другие не заметили этого. Обед, шумные разговоры, отдельные возгласы наскучили ему, и, подмигнув сидевшему напротив Булаковичу, капитан выбрался из-за стола.

– Рад вас видеть снова, – усаживая возле себя Небольсина, сказал генерал, внимательно вглядываясь в лицо капитана. – Я кое-что слышал о вас в бытность мою в Москве у Ермолова.

– Вы были у Алексея Петровича? – взволнованно спросил Небольсин.

– Конечно. Он мой друг и однокашник навеки, – просто сказал Вельяминов. – Оба мы тянули здесь одну лямку, оба пострадали, оба сохранили уважение и любовь друг к другу. А как же иначе?

Небольсин горько улыбнулся.

– Не все так думают, ваше превосходительство... Многие боятся даже произнести имя Ермолова...

– Да, я знаю это, но мы-то, Александр-джан, из другого теста. Он рассказывал мне о вас и о тяжелом... – генерал помолчал, – испытании, выпавшем на нашу долю... Я говорю о крепостной, которую вы тогда хотели похитить...

Небольсин молча кивнул.

– Мы и тогда с Алексеем Петровичем считали эту затею нереальной. Помните, что сказал вам Ермолов, – и Вельяминов, точно читая написанное, четко произнес: – «Пока у нас в стране крепостное право, закон и царь осудят тебя за это...» Помните?

– Помню, – глухо ответил Небольсин.

– Рассказал он мне и о дальнейшем... о дуэли и подлеце Голицыне... А жаль, дорогой мой, что вы не убили его. Надо, надо было пристрелить, одним подлецом было бы меньше в России.

– Только одним, – усмехнулся капитан, – а сколько б их еще осталось на свете.

– Я люблю Алексея Петровича и тех, кто верно помнит и чтит его. И вас тоже, капитан. Много, много воды утекло с того времени... И войны: турецкая, польская – и людей сотни прошли мимо, разве всех упомнишь, а вот тезка мой, Ермолов, в Москве два месяца назад, когда я заходил к нему, напомнил мне, просил о вас да еще об одном, бывшем разжалованном...

– Булаковиче?

– Кажется, так. С матерью его познакомил...

– Он, ваше превосходительство, здесь, в Грозной. В канцелярии по горским делам военным делопроизводителем служит. Прапорщик. Георгиевский кавалер.

– Здесь, при штабе? – задумчиво спросил Вельяминов, почесывая бровь. – И как служит?

– Преотлично.



– Н-да... Скажи ему, Александр-джан, пусть работает еще ревностней, чем прежде. При штабе будет трудно держать бывшего декабриста. Понимаешь, Александр-джан? – переходя неожиданно на «ты», сказал Вельяминов.

– Конечно.

– Вот и отлично! Ты с ним дружишь, вот и наблюдай за ним.

Еще с полчаса говорили генерал и капитан о Кавказе, о Ермолове, о новых порядках в армии.

Когда Небольсин уходил, генерал дружески сказал:

– Рад встрече, Александр Николаевич, в дальнейшем всегда к вашим услугам.

Придя домой, капитан переоделся и, позвав Булаковича, рассказал ему о своей беседе с генералом.

Действительный статский советник Чегодаев по своему положению занимал видное место среди командированных на Кавказ столичных должностных лиц.

Генерал Вельяминов любезно принял явившегося Чегодаева и через день отдал визит, приехав к нему домой. Евдоксия Павловна очень мило и по-светски любезно приняла Вельяминова, и старый генерал стал довольно часто бывать у них.

Раза два Чегодаев уезжал на три-четыре дня вместе с Вельяминовым по линии, посещая торговые и меновые центры.

Ранним теплым утром дорожная коляска Чегодаева и вьючный обоз Вельяминова выехали из Грозной. Господин действительный статский советник отправлялся вместе с генералом в поездку по левобережному району притеречной полосы. Не очень любя долгую верховую езду, Чегодаев выехал из Грозной верхом на сером казацком мернике, спокойно и ровно трусившем по дороге. Впереди шла конная сотня казаков; еще дальше, рассыпавшись в дозоры, двигался эскадрон драгун, две роты тенгинцев и дивизион моздокских казаков тянулись позади генерала Вельяминова, Федюшкина и блиставшего своим плюмажем Чегодаева. Проехав верст девять верхом, действительный статский советник утомился и на одной из стоянок пересел в коляску, в которой мирно задремал, не видя иронических взглядов и подмигиваний казаков, почему-то прозавших его «дудаком»<sup>1</sup>.

Утром к завтраку пришел Булакович. Прапорщик поздоровался с Сеней, сел у окна, ожидая появления капитана.

– Как спали, Алексей Сергеич? – накрывая на стол, спросил Сеня.

– Как всегда, ровно, спокойно, вот только под утро шум какой-то во дворе разбудил.

<sup>1</sup> Дрофа, крупная степная птица.



– А это кунаки издалеча пожаловали, к генералу письмо привезли, – начал было объяснять Сеня.

– И все-то ты раньше всех и лучше всех знаешь, Сеня, – входя, сказал Небольсин.

– За верное говорю, Александр Николаич, три кунака от самого имама Козы прибыли. Уже пол-Грозной об этом рассуждает...

– Тебе б в лазутчики идти или на картах гадать, – отмахнулся Небольсин.

– Сеня верно говорит, Александр Николаевич. Действительно, от имама посланцы прибыли, не трое, а целых пятеро. С письмом к генералу. Сейчас двое из них у Ключе находятся, и полковник вас и меня к себе требует, – сказал Булакович.

– Идем, – Небольсин обтер лицо лавандовой водой. – Бриться и завтракать будем позже.

Офицеры вышли.

У полковника они застали двух горцев, переводчика генерала Вельяминова поручика Магомета Казаналипова и подполковника Филимонова, прибывшего из Пятигорска в свите Вельяминова. Филимонов, подвижный, сухопарый, очень говорливый и всезнающий человек, не нравился Небольсину.

Чеченцы спокойно и пытливо поглядели на вошедших, молча кивнув на «салам» капитана.

Поручик Казаналипов, отлично владевший арабским, турецким и чеченским языками, был правой рукой генерала и сопровождал его в недавнем походе на Ичкерия.

– Садитесь, господа, и выслушайте важную новость, – пригласил Ключе. – Вот эти люди, посланцы имама Кази-муллы, – оба чеченца при этих словах подняли глаза на полковника, – привезли письмо генералу. По полномочию, я в отсутствие его превосходительства могу решать важные вопросы, связанные с горцами. Когда вернется его превосходительство, я точно не знаю, может быть, через неделю, возможно, и раньше, поэтому я счел нужным ознакомиться с письмом Кази-муллы. Вот что пишет он. – И Ключе стал читать выдержки из переведенного Казаналиповым письма:

– «...Уведомьте меня насчет примирения, каким образом должно примириться. Я перед Аллахом клянусь, что истинно желаю мира...» – Ключе пробежал глазами письмо и продолжал: – «...Всему есть начало, и всему есть конец. И русские чинили нам много зла, и мы отвечали тем же, но теперь пришел день, когда мы можем хотя бы на время забыть прошлое...» Да, да, вот еще основное, что пишет нам лжеимам: «...Отвечайте по совести и с открытым Богу сердцем, так, как делаем мы в этом письме». Так, так... А вот и еще кусок, необходимый вам обоим: «...Пришлите ваших доверенных и надежных людей с ответом к нам...»



Все письмо позже я дам вам в копии для ознакомления, а теперь слушайте дальше, — и он вновь стал читать отдельные фразы из послания Кази-муллы генералу Вельяминову.

Слушая полковника, Небольсин уже понимал, что его и Булаковича не зря вызвал к себе Ключе.

— Так... — заканчивая читать, сказал полковник. — Важное и, прямо скажу, отрадное письмо, хотя и поздно, ох как поздно собрался написать его лжеимам. Видно, приспичило, — откладывая бумагу в сторону, резюмировал полковник. — Как видите, он ждет от нас ответного письма. Мы его напишем, оно будет готово завтра к утру, но мне кажется, нужно не только передать его имаму, но и послать к нему двух-трех офицеров для беседы. Переговоры, живое слово в таком случае лучше, чем бесстрастный текст бумаги. Как вы на это смотрите, господа?

— Если нужно ехать, едем, — сказал Небольсин.

— Да, вы как представитель штаба командующего линией, опытный кавказский офицер очень пригодитесь для этой поездки, — согласился Ключе. — Вас, прапорщик, — обратился он к Булаковичу, — решено послать тоже, так как имам знает вас, хорошо отнесся, доверяет, и вы, я надеюсь, с удовольствием повидаете вашего, — Ключе улыбнулся, — знаменитого друга.

— Я готов, — коротко ответил Булакович.

— Вы оба, господа, будете в помощь его высокоблагородию господину подполковнику Филимонову, — уже совершенно официальным тоном продолжал Ключе. — Он будет начальником экспедиции. Будьте готовы к отправлению. Завтра, если я не получу до полудня ответа от его превосходительства, вы выедете из Грозной вместе с этими молодцами, — он кивнул в сторону молчавших горцев.

Казаналипов быстро переводил его слова посланцам имама.

— Скажите им, — вставил Ключе, — как они доверились нам и прибыли сюда, зная, что русские не обидят парламентариев, так и мы посылаем с ними трех наших офицеров без конвоя и охраны, веря в их честь и слово.

Оба горца молча наклонили головы, затем один из них спокойно что-то сказал.

— Он говорит, их здесь пятеро, если надо, задержите трех-четырех как аманатов...

— Не надо, — перебил его Ключе. — Мы верим имаму и слову его посланцев.

Горцы встали и, приложив ладони к сердцу, поклонились.

— Вот и хорошо, а теперь пусть они будут вашими гостями, Магомет Идрисович, — попросил он Казаналипова, — отдохнут, выспятся, а завтра — в путь.

Переводчик и горцы вышли.





Видя, что они больше не нужны, Небольсин и Булакович встали.

– Да, Александр Николаевич, задержитесь на минутку. К вам есть еще одно дело, не связанное с этим. А вы, прапорщик, и вы, господин подполковник, свободны.

Булакович и Филимонов ушли. Ключе несколько раз переложил с места на место какие-то бумаги, затем, улыбнувшись, сказал:

– Солдат я, не дипломат. Вот что, капитан, я посылаю вас не только как представителя штаба, но и как друга и покровителя разжалованного Булаковича. Послать его надо, одно его появление вызовет у Кази-муллы добрые воспоминания, но... он декабрист, хоть и помилованный, он был в опале и под судом. Будьте неотступно возле него, не давайте ему наедине встречаться с имамом. Дело не в нем, – Ключе вздохнул, – дело в том, что этот Филимонов, хоть и офицер, подполковник и кавалер Святой Анны, связан с жандармами Бенкендорфа.

– Генерал это знает? – удивленно спросил Небольсин.

– Знает, да пока не может освободиться от него. Итак, оберегайте Булаковича. Если вы все время будете с ним, никакой Филимонов ему не страшен.

– А вы думаете, что подполковник будет вредить Булаковичу?

– Не знаю. Может быть, и нет, может быть, он и не помышляет об этом, но, – Ключе поднял палец, – осторожность лучше глупости, а ведь ваш Булакович беззащитен. Оберегайте его.

– Благодарю, благодарю вас, – с чувством сказал Небольсин.

– А-а, бросьте. Мы с вами кавказцы ермоловской выучки, Александр Николаевич. И пожалуйста, ни слова об этом Булаковичу.

Небольсин возвратился к себе, где за столом копошился Сеня. Прапорщик молча и выразительно посмотрел на капитана. Небольсин усмехнулся и весело сказал:

– Бутылочку рейнского, Сеня. У нас сегодня праздник.

Когда Сеня разлил вино по бокалам, капитан сказал:

– За здоровье Ключе, славный он человек!

Булакович кивнул и до дна осушил бокал.

Вскоре писарь принес полный текст письма Кази-муллы, адресованного генералу Вельяминову. Поручик Казаналипов, человек, учившийся русскому языку и письменности в Москве, отлично перевел послание имама.

Офицеры дважды внимательно прочли его.

– Помните, Александр Николаевич, я как-то говорил вам, что плохо для горцев, и в особенности для Кази-муллы, закончится эта безумная попытка газавата. Дело идет к концу, финал его не за горами, – печально сказал Булакович.

– Вы думаете?



– Надо знать горцев, их фанатическую непреклонную веру в имама, надо знать и характер этого удивительного человека, чтобы понять причины, заставившие его написать такое письмо.

Они замолчали, продолжая вчитываться в письмо и обдумывая каждую строку и каждое слово Кази-муллы.

День прошел в совместных беседах. Вечером они разошлись.

Было уже около одиннадцати часов ночи. Небольсин, в домашнем сюртуке с полурасстегнутым воротником, в просторных туфлях, сидел за столом, занося для памяти возможные вопросы будущей беседы с имамом.

Заслышав шаги, он поднял голову и увидел Сенью.

– Барыня к вам пожаловала, Александр Николаич.

– Какая барыня? Евдоксия Павловна? – понижая голос, спросил Небольсин.

– Они-с!

В голосе Сени не было обычного для него веселого озорства, с каким он говорил о знакомых дамах капитана.

– Проси, – застегивая сюртук и приглаживая волосы, сказал капитан.

– Вы удивлены, не правда ли? – входя в комнату, начала Евдоксия Павловна. – Столь поздний час, крепость, кругом горы, а в них чеченцы, и вдруг – гостя... Правда, похоже на романтическую сказку? – стягивая перчатки, спросила она.

– Нет, зачем же... Мы на Кавказе привыкли ничему не удивляться... и ваше посещение тоже одно из чудес Кавказа, – целуя ей руку, засмеялся Небольсин.

– «Незванный гость хуже татарина», – пытаюсь улыбнуться, неуверенно продолжала Евдоксия Павловна, – но я ненадолго, да и обстоятельства таковы, что нельзя было иначе... Вы завтра уезжаете? – вдруг тревожно и быстро спросила она.

– Да.

– К имаму? В горы?

– Кто вам сказал это? – удивленный ее тоном и озабоченностью, спросил капитан.

– Да все. И генеральша Коханова, и Стенбок, и мадам Пулло... Да разве в этом дело? Скажите, Небольсин, только правду... правду... Это опасно? Они могут убить или заточить вас...

– Что вы! Совершенно безобидная прогулка...

– «Прогулка!» – повторила она. – В дебри гор, к дикарям, ненавидящим русских, – волнуясь все больше, продолжала Чегодаева. – Но почему вас, Небольсин, почему не другого, а вас посылают они?!

Это «они» было подчеркнуто так резко и возмущенно, что Небольсин только пожал плечами.



– Потому что так нужно, если хотите, даже почетно. Ведь немногим русским выпадает честь видетсья и говорить с имамом...

– «Честь», – опять перебила женщина, – а если они убьют вас!.. Генеральша Коханова считает, что это очень опасная поездка.

– Спасибо, Евдоксия Павловна, вы истинный друг, и я понимаю ваше беспокойство, но, честное слово, все будет отлично, и, вернувшись, я явлюсь к вам в первый же день с визитом.

– Дай-то бог, – перекрестившись и несколько успокаиваясь, ответила Евдоксия Павловна. – У-у, однако, как у вас много всякого оружия... и пистолеты, и ружья, а эта сабля – просто восторг, покажите, – попросила Чегодаева.

– Это подарок Алексея Петровича, он в Москве мне преподнес ее. – Небольсин снял со стены кривую польскую саблю, обнажил ее и плашмя подал госте.

– Наверное, очень старое оружие, – трогая лезвие, спросила она. – Но что это? На ней буквы?

– Это целая фраза, Евдоксия Павловна, читайте...

– *Patria, Domine, Amore... Amore... любовь...* – медленно прочла Евдоксия Павловна и тихо снова произнесла: – Любовь... Чудесное слово, Небольсин... Но вы и не спрашиваете меня, почему я пришла к вам, почему беспокоюсь за вас... Аморе, – подняв глаза на молчавшего капитана, сказала Евдоксия Павловна. – Да, я люблю вас, Небольсин... Вам странно, что я говорю это? Что ж вы молчите?..

– Успокойтесь, Евдоксия Павловна. Я думаю, что это или шутка, или... минутное затмение...

– «Помрачение», как объяснил бы мне мой муж. Да... да, он тоже сказал бы «помрачение», «нервы»...

Она отвернулась от Небольсина и быстро заходила по комнате.

– Вы знаете, Небольсин, русскую сказку о люб-траве? – вдруг неожиданно спросила она, вплотную подходя к нему.

– Н-не помню... кажется, не знаю.

– Это русская деревенская сказка о том, как наколола Любушка палец о волшебный цветок... и полюбила насмерть... Ах, да не в этом дело!.. Не надо вам этой сказки... Ну что же вы молчите? – снова спросила она. – Только, ради бога, не повторяйте монолога Онегина...

– Я солдат, а не светский бонвиван, скажу просто... Из всех женщин, которых я встречал за эти годы, единственная, самая близкая и... дорогая – вы, – тихо произнес Небольсин. – Я часто думаю о вас, Евдоксия Павловна...

Чегодаева, затаив дыхание, слушала капитана.

– Вы еще любите ее? – еле слышно прошептала она.

– Кого?

– Ее... крепостную актрису... – через силу выговорила она.



– Нет! Любить можно только живых, мертвых чтут и помнят...

– Так чего же вы хотите? – с отчаянием в голосе, горько произнесла она.

– Милый друг, буду с вами откровенен. Я не хочу банальных связей, случайных встреч...

Евдоксия Павловна негодуяще вскинула голову.

– Не сердитесь. Я знаю, что и вы далеки от этого, – грустно остановил ее капитан. – Верьте, Евдоксия Павловна, мне тяжело не меньше, чем вам. Я одинок, и это одиночество угнетает меня. Мне опостылело все: и Петербург, и военная служба, мне надоело все окружающее меня... Я хочу жену, друга, детей, покоя, дорогая Евдоксия Павловна, но и этого мне не дано!..

В передней завожился Сеня, но она не слышала его. Глотая слезы, не успевая стирать их с лица, она тихо и безнадежно шептала:

– Бедные... несчастные мы оба...

Небольсин, встревоженный и потрясенный, стоял возле. Наконец, устав от слез, она замолчала.

Было тихо, и только за стеной у Сени мерно тикали часы.

– Проводите меня, – еле слышно сказала Евдоксия Павловна.

Капитан подал ей накидку. Пристегнув саблю, он вышел вслед за ней.

Ночь была тихая и звездная, лишь изредка, через каждые десять минут, с верхов крепости доносились выкрики часовых:

– Слу-у-шай!..

У самой калитки дома Парсеговых капитан протянул было руку спутнице, но она, видимо, не заметив, молча вошла во двор.

Небольсин, постояв немного, отправился домой.

## Глава 7

В двенадцать часов дня Небольсин и Булакович явились к Ключе. Филимонов, несколько встревоженный предстоящим отъездом в горы, скованно молчал. Возле него стоял штабной переводчик, мирный чеченец Идрис, тот самый, с которым Небольсин ездил выкупать Булаковича. Завидя старых знакомых, Идрис широко осклабился.

– Здравствуй, кунак-апчер, старая знакомая... – сказал он.

Филимонов косо глянул на то, как оба офицера радушно, за руку, поздоровались с толмачом<sup>1</sup>.

Ключе, заметив это, засмеялся.

– Оставьте их, господин подполковник. Это старые друзья, у них общих воспоминаний – куча. Ну-с, а теперь к делу. От его превосходительства ответа пока нет. Где он находится, не знаю. Нарочные не вернулись,

<sup>1</sup> Переводчик.



дело не ждет, и я, обсудив все с генералом Кохановым и полковником Пулло, решил с общего совета послать имаму Кази-мулле ответное письмо. Господин подполковник, — он повернулся в сторону Филимонова, — в пути скажет, как следует держаться с противной стороной, да вы оба — кавказцы и сами отлично знаете здешние условия. Вас будут сопровождать трое казаков-вестовых и вот штабной переводчик Идрис. — Чеченец кивнул. — А также те самые кунаки, что вчера явились к нам от имама. Двое из них уже с утра уехали в Урус-Мартан, чтобы сообщить немирным о вашем приезде.

Подполковник Филимонов посмотрел в сторону переводчика.

— Успеют ли сообщить? В этой стороне могут быть всякие сюрпризы.

— Успеют, — спокойно произнес Ключе, — такие вещи здесь переносятся быстрее ветра. Как сказали посланцы Кази-муллы, он сейчас где-то недалеко от нас, верстах в шестидесяти отсюда. До последних наших постов вас проводит полусотня гребенцев, а там, — Ключе выразительно поглядел на Филимонова, — там Аллах и имам сберегут вас от случайностей.

— Не бойсь, гаспадин апчер, имам письмо везем, имам гости будем, ни одна абрек, ни одна чеченски сволоч-жулик не трогает. Имам большой слово имеет, — с уважением в голосе подтвердил переводчик, обращаясь к явно растерявшемуся подполковнику. В начале второго часа дня конная группа из полусотни казаков, трех чеченцев, трех офицеров и переводчика-чеченца на рысях выехала из Грозной.

Несмотря на необычайность поездки и ожидавшуюся встречу с Кази-муллой, Небольсин никак не мог отделаться от воспоминания о вчерашней ночи, неожиданного посещения Чегодаевой. Булакович ехал стремя в стремя с Небольсиным, тоже погруженный в свои мысли.

Местопребывание имама было не в ауле Урус-Мартан, как предполагал Ключе, а в четырнадцати верстах за ним, на хуторе Ичик. Урус-Мартан, как и Герменчик, и Цецен-аул, и многие другие сожженные Вельяминовым села, уже отстроились заново. Да и не представляло большого труда людям, окруженным вековыми лесами, под рукой у которых было все: и камень, и глина, и лес, — быстро отстроиться на месте сожженных домов.

На хуторе былолюдно. Посланец из Грозной еще засветло прибыл к имаму, сообщив, что русский генерал в свою очередь посылает письмо, которое привезут офицеры.

— Генерал сказал, что охраны у них не будет. Их охраной будет твое имя и честь, имам, — доложил чеченец.

— Они будут в безопасности, мы шихи, а не убийцы. Передай это, Авко, своим людям и ты, Астемир, и ты, ших Шабан, скажите всем, что эти русские — наши гости.

— Будет сделано, имам, — ответили чеченские предводители.



Дагестанские мюриды и конные чеченцы в тот же час на конях поскакали навстречу русским, везшим письмо.

Не прошло и двух часов с момента, когда Небольсин и остальные посланцы Ключе выехали из Грозной, как закончилась русская сторона. За речушкой Тохку, где-то дальше впадавшей в Ямансу, полусотня казаков остановилась, так как из леса показались конные группы чеченских наездников, махавших куском белой материи и что-то кричавших.

Подполковник Филимонов, озираясь по сторонам, придержал коня, Небольсин и Булакович продолжали шагом двигаться к конным, от которых отделились двое. Они на галопе понеслись к русским.

– Обожди, кунак-апчер, моя вперед пойдет. Ты тут стой, ничего худого не будет, – остановив Небольсина, сказал переводчик и вместе с двумя ехавшими рядом с ним посланцами Кази-муллы поскакал навстречу чеченцам.

– Орда и есть... Ни порядка, ни субординации. Да те ли они, которых мы ждали? – все еще неуверенно сказал подполковник.

– Они самые, вашсокбродь, вон каким полотнищем машут, – успокоил его казачий сотник.

Чеченцы съехались, о чем-то шумно поговорили, и затем переводчик крикнул, махнув папашой:

– Казак, стой своя места, апчер, айда сюда... Имам гости зовет...

Когда трое вестовых и подполковник подъехали к чеченцам, Небольсин, Булакович и переводчик уже оживленно беседовали с конниками имама, высланными навстречу русским парламентарам.

Казачья полусотня должна была через сутки снова прибыть на это место и здесь ждать возвращения посланных.

Вековой лес, суровый, с уходящими ввысь кронами, закрыл небо, и только иногда, когда конная группа выезжала на редкие прогалины или переходила вброд речки, солнце озаряло землю, заливая светом почерневшие стволы чинар и насуспенных, чем-то недовольных дубов. Потом конники снова исчезали среди стоявших плотной стеной лесных великанов.

– Сколько тут ни руби просек, дороги не будет, – подавленно сказал подполковник. Его угнетали и тишина, и неподвижность огромных ветвей, и полутьма от переплетенных крон.

Чеченцы вели русских тропами, по которым вряд ли когда-нибудь ходил русский солдат.

Они торопились, стоянок почти не было. Иногда, спешившись, вели в поводу коней, пробираясь через вздутые, вылезавшие из-под земли толстенные корни могучих великанов, бесконечной сплошной стеной громоздившихся вокруг. Эти недолгие минуты служили отдыхом коням и давали возможность людям разогнуть спины и размять затекшие от долгой езды ноги.



Подполковник Филимонов, не привыкший к подобным поездкам, устал, да и Булакович, уже давно служивший в пехоте, отвык от подобной езды.

Чеченцы, как бы не замечая усталости русских, по-прежнему быстро двигались вперед, и только Небольсин, иногда по полдня не слезавший с коня, легко и свободно следовал за ними.

Часам к семи вечера лес стал гуще, закрылся черной пеленой. Мрачная тишина лишь изредка нарушалась цокотом подков, неловко стукнувшихся о корневища, да хриплым дыханием притомившихся людей.

Наконец лес кончился. Впереди замелькали редкие огоньки. Послышался лай собак. Открылась большая поляна, блеснула под светом появившейся луны вода. Это была речушка, на другой стороне которой находился хутор Ичик.

Когда кавалькада перебралась на противоположный берег, к ним подошли люди, и кто-то на сносном русском языке сказал:

– Добра вечер. Имам ожидает... говорит, салам.

Уставшие от долгой езды офицеры с удовольствием пошли за посланцем имама.

– Вот этот сакла ваша дом... Тут умывайся, тут отдохни, тут кушай и спат... Завтра утром имам пойдем, говорить будешь, – вводя гостей в саклю, сказал человек, встретивший их возле переправы.

Что-то знакомое послышалось Булаковичу в его голосе.

– Издрастуй, ваша блахородия... Наверно, забул Ахмед? Помнишь Черкей, сакла старшина, Ахмед – казанска татар, помнишь?

– Ахмед, голубчик, жив!.. – бросаясь к нему, воскликнул Булакович.

– Живая... Ты тоже здоров, ваша блахородия... апчер форма, прапорщик, слава Аллах, се живы, се хорошо ест, – обнимая прапорщика, взволнованно сказал татарин.

– Это кто ж такой, старый приятель, что ли? – удивленно спросил Филимонов.

– Тот, кто спасал нас в плену, кто кормил пленных солдат и кого до конца своих дней помнить должен, – ответил Булакович.

– Э-э, – махнул рукой татарин, – дело было такой, голодная солдат, хлеб мало, харчи мало, рази я чужой али собака... не нада, ваша блахородия, поминать...

– Совестливый, с душой, – похвалил подполковник. – А где по-русски научился?

– Казанский татар я, вашесокблахородия, солдат был, убега... бульно фитфебил мучил...

– А-а, дезертир, значит... – покачал головой подполковник.

– Он переводчиком у имама служит, завтра, наверное, переводить станет.



– Так точно, имам утром говорит будет. Давай письма, имам читать будет, думать будет... Шамиль-эфенди, Гамзат-эфенди, ших Шабан и другая большой мюрид читать будут... – сказал переводчик.

– Это как же так?.. Письмо мы должны передать лично, – начал было Филимонов.

– Не все ли равно, господин подполковник? Главное, что мы довели и передали его имаму. У них впереди целая ночь, они ждут и, обсудив, завтра уже дадут ответ, – сказал Небольсин.

– Правильно... имам читает, се думают, завтра – ответ, послезавтра айда назад...

– Ну что ж, бери, отдай своему имаму, скажи, завтра встретимся, – солидно заключил подполковник.

– А теперь отдыхай се, мой руки-ноги, кушай, спат ложись... Завтра ух какая народ ожидает, – унося письмо, сказал татарин.

Спустя час делегация полковника Ключе крепко спала в чеченском хуторе Ичик.

На другой день, в начале десятого, русских позвали к Кази-мулле.

Хутор Ичик был небольшой, домов в десять. Вооруженные мюриды стояли группами, с любопытством оглядывая проходивших мимо них офицеров.

Переводчик Идрис шел впереди, негромко разговаривая с высоким худощавым чеченцем. Под деревьями виднелись стреноженные кони, другие, на длинных чумбурах, пощипывали траву. Женщин не было. Несколько подростков молча, неодобрительно смотрели на проходивших мимо русских.

– Имам тут, сюда ходи, – останавливаясь возле стоявшей в стороне сакли, сказал Идрис.

У порога стояли Шамиль и небольшого роста пожилой чеченец. Подполковник Филимонов, идя впереди, официально и торжественно поднес руку к блестевшему на его голове киверу, украшенному высоким белым помпоном. Считая себя человеком, облеченным особым доверием начальства, которому предстояло разрешить сложное дело большой дипломатической и военной важности, подполковник еще в Грозной постарался захватить с собой парадно-помпезный кивер и сейчас, идя к имаму, заменил им армейский картуз.

Шамиль и приземистый чеченец коротко сказали:

– Салам!

А показавшийся в дверях Ахмед вежливо пригласил:

– Добра утра, ваше блахородия... Имам Гази-Магомед издес...

В комнате было несколько человек: двое мулл в белых высоких чалмах, один сеид в зеленой, остальные в высоких или лохматых папахах, какие носили тавлинцы и жители горных аулов Чечни. Посреди сакли стоял стол, возле него две длинные, по-видимому, предназначенные для





русских, скамьи. Горцы встали и чинно, с достоинством и тактом ответили на приветствие русских.

– Как доехали наши гости, как отдыхали? – садясь на разостланные мутaki, спросил Гази-Магомед.

– Хорошо, имам. И отдохнули хорошо, и встретили нас твои люди отлично, – ответил Филимонов.

Идрис перевел его слова. Гази-Магомед приложил руку к сердцу. Взгляд его упал на Булаковича, он что-то быстро сказал Ахмеду.

– Имам узнал тебя, ваша блахородия. Шамиль-эфенди тоже, – улыбаясь, сказал Ахмед. – Говорит, как твои дела, здоровья?

– Спасибо, Ахмед. Передай имаму, что все хорошо. Как он, как Шамиль? Я всю жизнь буду помнить Черкей и Внезапную... – взволнованно закончил Булакович, не сводя глаз со спокойного, дружелюбного лица Гази-Магомеда.

Ахмед перевел. Гази-Магомед и Шамиль улыбнулись.

– Имам говорит, хорошая ты чалавек, ваша блахородия, и спасибо, что пришел опять гости.

Гази-Магомед кивнул и что-то быстро сказал Ахмеду.

– Теперь, говорит имам, он будет слушать вашесокблахородие, – повернулся татарин к Филимонову. – Письмо джамаат читал, се читал, и Шамиль-эфенди, и Гамзат-бек, – оборачиваясь при этих словах к каждому названному им мюриду, продолжал Ахмед, – и ших Шабан, и Бей-Булат, и Авко, и се, кто джамаат сидит...

Подполковник встал со скамейки, расправил плечи и начал подготовленную речь. Говорил он зычно и театрально, но так как голоса не хватало, вскоре перешел на обыкновенный разговор.

Мюриды молчали. И хотя ничего не поняли из пышного набора трескучих фраз Филимонова, тем не менее спокойно и сдержанно выслушали его. Переводчики, как штабной Идрис, так и Ахмед, ничего не поняв из быстро лившегося потока слов подполковника, деликатно молчали.

Наконец русский делегат остановился.

– Переведи им, Идрис, – важно сказал он.

Чеченец-переводчик недоуменно посмотрел на него и пожал плечами.

– Я трудно понимаю, чего говорил господин апчер... Не могу... – Он снова пожал плечами.

– Тогда переводи ты, – обращаясь к татарину, сердито приказал Филимонов.

– Также не знаю... Твоя, вашсокблахородия, столько сказал, так быстро-быстро... Рази человек может понимать? – недовольно ответил татарин.

И хотя никто из горцев не понял их разговора, но озадаченный вид и раскрытый от изумления рот подполковника был красноречивее самого точного перевода.



И мюриды, и важные люди джамаата, и даже сам Гази-Магомед не могли сдержать легкого смешка и улыбок.

Небольсин тоже усмехнулся, только Булакович, все еще охваченный воспоминаниями прошлого, с восторженным уважением смотрел на имама.

Филимонов возмущенно оглядел присутствующих и важно уселся на свое место.

– Ты не сердчай, ватесокблахородия, – примирительно сказал Ахмед. – Говори мало, не быстро-быстро, только чего надо, тогда я се понимает буду.

Подполковник стал медленно, простым, понятным языком говорить о поручении, данном ему полковником Ключе. Переводчики, дополняя один другого, не спеша переводили слова Филимонова.

Имам и мюриды внимательно слушали, иногда озабоченно переговариваясь между собой.

Небольсин и Булакович почти не вступали в разговор, предоставив Филимонову всю церемонию встречи.

Смеркалось, когда имам поблагодарил русских.

– Уже поздно. Вы устали, идите к себе, пообедайте и отдохайте. Сегодня мы уже не встретимся. Отложим наше решение до завтра. Подходит час истихир-намаза<sup>1</sup>. Аллах поможет нам ответить на ваше письмо, он всегда подсказывает верные решения, – поднимаясь с места, сказал Гази-Магомед. – Вы идите к себе, мы же исполним закон, – обращаясь к мюридам, продолжал Гази-Магомед.

Чеченец Эски и переводчик Ахмед пошли проводить русских до их сакли.

– Я знаю об этих намазах, – сказал Булакович. – Они состоят из омовения и четырехкратных земных поклонов. Затем читается молитва, в которой просят Бога явить во сне свое знамение.

– Язычники, чистой воды подлецы, – пробурчал Филимонов, все же с интересом прислушиваясь к словам Булаковича.

– Бог, по их убеждению, во сне обязательно разрешит путем какого-либо знамения самый сложный вопрос, поможет найти наилучшее решение в трудном деле.

– То есть что ответить генералу?.. – вставил подполковник. – Что ж, будем надеяться, что Аллах подскажет им прекратить войну, замириться и ждать милостей государя.

Булакович продолжал, не обращая внимания на брюзгливый тон Филимонова.

– Аллах, по мнению мюридов, во сне обязательно скажет им, что следует делать... Особенно в сны и ночные откровения свыше верит сам имам. Если задумано решение хорошее, правильное, то во сне должно показаться что-нибудь светлое или какой-нибудь предмет в зеленом или

<sup>1</sup> Омовение перед сном.



белом цвете, если же дело дурное, то во сне что-либо покажется в черном или красном цвете... и этого достаточно для окончательного решения имама и его ближайших людей.

— Однако вы, прапорщик, досконально изучили их обычаи... — с удивлением вставил Филимонов.

— Было много времени для этого, господин подполковник, тем более что горцы охотно говорили мне обо всем сами.

— Вам бы книжицу про это написать, — одобрительно сказал Филимонов.

— Я и пишу... Статья, над которой работаю уже больше полутора месяцев, так и называется: «Обряды, жизнь и порядки кавказских горцев», — скромно, даже нехотя ответил Булакович.

Тут только Небольсин понял, над чем долго и кропотливо, главным образом по ночам, работал его друг, исписывая, дополняя, вычеркивая и снова доделывая какие-то страницы.

Ночь быстро сходила на землю. Лес, плотно подступивший к хутору, сильнее отделил мрачную тишину ночи. Лишь на лужайке все еще было светло, вернее, светилось пятно, до которого пока не дошли мрачные тени векового леса.

Небольсин, став сбоку от окна, смотрел на это белеющее пятно, на котором группами сходились мюриды.

— Не след смотреть... еще подумают, подглядываем, — тревожно произнес подполковник.

— Меня не видно, а пропустить такое — грех, ведь никогда больше я не увижу молитвы мюридов, — тихо, чуть отодвигаясь в тень, ответил Небольсин.

На все еще светлой от луны лужайке стоял имам. За ним группами по пять, по семь человек расположились мюриды. Имам воздел руки и произнес слова молитвы...

Лунные блики в последний раз пробежали по стволам, блеснули на оружии молящихся, отразились в водах малой речушки и исчезли во тьме.

Утром подполковник проснулся в плохом настроении. Ночь он спал тревожно, то и дело просыпаясь и прислушиваясь к шорохам и шагам за саклей.

— Что ж, господа, впечатления у меня никакого... то ли не понял нас этот господин, то ли решил обсудить со своими, — подполковник снизил голос, — оборванцами письмо полковника.

Булакович пожал плечами.

— Ну конечно обсудит. Вопрос войны и мира не связан с одним имамом, — нехотя ответил Небольсин.

— Неохота задерживаться... да и народ кругом разбойный, одни зверские лица, — продолжал Филимонов.

Ему не ответили, и подполковник занялся записями беседы с имамом.



В дверь постучали.

– Входи, – не отрываясь от бумаги, сказал подполковник.

– Завтрикат издес будешь, вашсокбродь, али кунацки комнат пой-  
дешь? – спросил Идрис. – Имам сказал, скоро ответ дает.

– Здесь, здесь, чего это мы с ними кушать будем, – собирая записи и укладывая их в сумку, ответил Филимонов.

– Интересней было бы вместе, понаблюдали б за их жизнью... не часто приходится встречаться с имамом, да и польза... – начал Небольсин.

– А чего полезного, что он, – подполковник ткнул пальцем в переводчика, – что имам ваш – одна... братия, – спохватившись, закончил он.

– Нет! Имам большой, умная чалавек... так говорит, вашблахородия, нелзя... Гази-Магомед – одна, а такой как Идрис, – он показал на себя, – минога, сто, тристо ест...

– Поостеречься надо в словах, господин подполковник. Мы здесь как бы дипломаты и парламентареры, – сухо напомнил Небольсин.

– А что я? Здесь все свои, да и Идрис тоже наш, мирный чеченец... А говорить... Я ничего такого и не сказал.

– А имам с тобой, вашброд, кушат не будет... – сказал Идрис.

– Это почему же?

– Нелзя, харам! Он чисты, святой чалавек... с тобой кушат нелзя.

Небольсин засмеялся.

– Это что ж, я поганый, что ли, а он... – покраснев от негодования, спросил Филимонов.

– Зачем поганы... может, и не поганы, а се равно – харам... – спокойно пояснил переводчик.

«А со мной он обедал, и не раз», – с удовлетворением подумал Булакович.

– Так, и где кушат будешь? – коротко повторил переводчик.

– Здесь... устал с дороги, да и дела кое-какие, – поспешно ответил подполковник.

После завтрака, скромного и недолгого, Филимонов опять взялся за свои записи, а Небольсин и Булакович вышли во двор подышать воздухом и поговорить с сопровождавшими их казаками. Несколько мюридов прохаживались вдоль опушки, двое стояли у входа в саклю, где был имам. Стреноженные кони щипали траву; мальчишка-чеченец, вооруженный дедовским кинжалом, сидел возле коней, делая вид, будто не замечает появившихся русских.

– Кормили вас? – спросил Небольсин казаков, сидевших на траве возле расседланных коней.

– Кормили, чуреку и мяса дали, – ответил казак.

– И сыру ихнего по куску, – добавил второй. – А что, вашсокбродь, тута еще ночевать придется али до дому поедем?

– Пока не знаю... А что?



– Дак вроде б и ничаво, а так... Ходют вокруг, ровно волки, не глядят, ни слова не скажут... кабы не переводчик ихов, Ахметка, да наш, что с Грозной взяли, навряд ли и харчей дали б...

– Потерпите, ребята, до завтра, а там и домой, – пообещал Небольсин.

– Ваша блахородья, та сторона не ходи, тут гуляй, – появляясь из сакли, сказал Ахмед.

Казанский татарин был в потрепанной черкеске, высокой тавлинской папахе и солдатских штанах с малиновым кантом.

– Ну, как живешь, Ахмед? Садись возле, а то и поговорить не удасться, – усаживаясь на большой камень, сказал Булакович.

– Ничаво живем... Как Черкей ваши, – татарин запнулся, – пожигали, ушел оттеда... Старшина, который ты, ваша блахородья, жил, яво два сына убили, жена, невестка тоже... хата кругом жгли, нету аул болше, – покачал головой Ахмед.

– А как ты уцелел? – поинтересовался Булакович, но Ахмед, охваченный грустным воспоминанием, продолжал:

– Многа, очен многа чалвек убили в Черкей... И малчишка, и девка, и старики... огонь горит, пушка бьет, солдаты штыком атака идет... се сакли горел... много народ пирапал... – покачивая головой, закончил он.

– Ну, а как ты спасся? – опять задал вопрос Булакович.

– Аллах помогал... Я тоже воевал, тоже мюрид был, имам мне назад послал... Твоя, говорит, язык нам надо, иди назад, позову... Не позвал, – вздохнул татарин. – Ночу се тихо-тихонко ушли... казак-дурак спал, ничего не видал... А ты опять блахородья стал? Апчер-прапорщик, дай Аллах тебе енерал погон носить. Имам тебе узнал, имам тебе любит, хороший, говорит, Иван чалвек... – одобрительно сказал Ахмед.

Булаковичу стало и радостно и тоскливо от этих слов.

– Он хороший, Ахмед, а я... – и махнул рукой.

– Нет, ваша блахородья, ты чистый, правильны чалвек, и имам это знает, и Шамиль-эфендн тоже знает. Дай бох тебе долга, хороша жизнь, – сказал Ахмед.

– Славный ты человек, Ахмед, мне про тебя много рассказывал Алексей Сергеич, – сказал Небольсин.

Татарин засмеялся.

– Он моя кунак, а игде солдат рука ранетый, котора с тобой чечен пошел? – поинтересовался Ахмед.

– Отпустили вчистую, домой поехал, – сказал Булакович.

– Домой, – задумчиво произнес татарин, – домой... своя детка, жана увидит... Эх, мне это Аллах не дает, – грустно закончил он.

Вскоре русскую делегацию позвали к имаму.

Все привстали, когда русские вошли в саклю.

– Буюр<sup>1</sup>, – показывая на длинную скамью, сказал Гази-Магомед.

<sup>1</sup> Садись.



Переводчики расположились, Ахмед слева от имама, Идрис – справа от подполковника.

Гази-Магомед достал из кожаной сумы пакет, перевязанный тонкой бечевой и по краям скрепленный личной печатью имама. Он что-то сказал Ахмеду, и тот медленно перевел.

– Имам говорит, спасибо хороши слова, спасибо хороши дела. Эта писма отдай, ваша высокблахородья, енералу. Там написана се, там отвечает имам своя дела...

– Какое дело? – не понял Филимонов.

– Имам чего исделает, чего хочит, – пояснил чеченец Идрис.

– Ну, ответ свой дает на предложение Ключе, – видя недоумение подполковника, разъяснил Булакович.

– А-а... А что ж он все-таки там написал... и нам не грех было б знать... – недовольно сказал Филимонов.

– Чего писал – енерал читает, тибе, высокблахородья, не полагается, – ответил Ахмед.

– Вот дурак, а еще солдатом был! – не сдержался подполковник. – Как же это не полагается, ежели мы посланы генералом.

– Правильно, посланы, отдай письмо Кулюге, бери письмо имам, а чего они пишут, они сами знают... – не сдавался татарин.

Имам иронически посмотрел на красного от негодования Филимонова и тихо сказал:

– Ахмед, или лучше ты, Идрис, объясни этому глупому человеку, что имам ведет переговоры не с ним, а с главным русским начальником, а его мы просим только отвезти бумагу генералу.

Он встал, остальные сделали то же.

– Сейчас рано, – продолжал имам, – гости позавтракали, кони их отдохнули, и русским надо через час возвращаться к своим. До казачьих постов их проводят мои мюриды.

Он кивнул и, чуть задержавшись взглядом на Булаковиче, улыбнулся, что-то сказал Ахмеду.

– Ваша блахородья, имам говорит, зайди к нему через десят минут... Ты его кунак, имам тебе говорит хочет.

– Приду, имам, – прикладывая ладонь к сердцу, ответил Булакович.

Когда офицеры вернулись к себе, подполковник многозначительно спросил Булаковича:

– Чего это он вас одного пригласил, прапорщик?

– Он же сказал, что мы кунаки, – хмуро ответил Булакович.

– Не следует ходить, не следовало и давать ему обещания. Я, как старший в чине, запрещаю это, – строго произнес Филимонов, – Мы здесь не на кунацкой прогулке и не в гостях у тещи. Кругом враги, а главный – сам Кази-мулла.

Булакович молча слушал его.



– Нет, господин подполковник, это очень даже хорошо, что имам пригласил к себе прапорщика. Ведь мы приехали к нему с миром, в данное время мы парламентареры, а не враги, и всякое доброе слово, сказанное имамом, может помочь делу, – возразил Небольсин.

– Как так?

– Очень просто. Мы не знаем, что пишет он генералу, может быть, он хочет замирился, и мы не имеем права отказываться от встреч с ним. Возможно, он хочет отдаться на милость государю и встретиться с генералом Вельяминовым, и вы обидите, даже оскорбите имама, не разрешив прапорщику видаться с ним.

Филимонов удивленно смотрел на Небольсина.

– И я, как это ни прискорбно, обязан буду доложить о вашем приказании Алексею Александровичу, – подчеркивая этим свою близость к генералу, сказал Небольсин.

– Но позвольте, – сбитый с толку, проговорил подполковник, – почему же ему все это не сказать нам троим, а вызывать к себе лишь одного офицера, да к тому же... – он замаялся.

– Вы хотите сказать, бывшего недавно в плену у мюридов? – подсказал Небольсин. – Именно потому и следует господину прапорщику пойти к имаму, что он был его пленником, стал кунаком, узнал многое о горцах и добился доверия к себе... Думаю, что господин прапорщик Булакович должен, именно должен пойти к имаму, а для того чтоб он не был один, я, с вашего разрешения, – Небольсин повернулся к Булаковичу, – буду сопровождать вас. Надеюсь, это не обидит имама и разрешит ваши сомнения, господин подполковник.

– М-да... разве что так... вдвоем... Это уж иное дело, – обдумывая, медленно решал Филимонов. – Да, это другой коленкор. Идите оба, – согласился подполковник.

– Какова скотина!.. Ведь он не стоит и мизинца имаму, которого презирает так откровенно, – возмущенно сказал Булакович, когда они с Небольсиным пошли к имаму.

– Он кретин, и это очень хорошо. Будь Филимонов умнее, я вряд ли смог бы напугать его упоминанием о Вельяминове. А вы, Алексей Сергеевич, извините, что я напросился к имаму. Ведь этот бурбон не разрешил бы вам...

– Я все понимаю, Александр Николаевич, спасибо! Идя со мной, вы оберегаете недавнего декабриста от доносов и клеветы, – подходя к сакле имама, тихо сказал Булакович.

Переводчик Идрис молча шел за ними. У входа в саклю стоял часовой; он посторонился, пропуская русских.

В маленькой прихожей их встретил Ахмед. Офицеры вошли внутрь.

– Имам тебе ждет, ваша блахородия, два раз говорил: «Ишо нету моя гость русски хороши Иван?» Имам тебе так называет, – открывая дверь в саклю, говорил татарин.



Внутри сакли сидели четверо: Гази-Магомед, Шамиль, Гамзат-бек и ших Шабан.

– Буюр, Иван, буюр, урус-апчер, – пригласил имам.

Русские поклонились.

– Скажи имаму, Идрис, что я пришел к нему незванным, пусть извинит за это, – обратился к переводчику Небольсин.

– Не понимай такой слов, – виновато улыбаясь, ответил переводчик.

– Я знаю, я скажу... – торопливо перебил его Ахмед и быстро перевел слова капитана.

Гази-Магомед улыбнулся и сделал рукой приглашающий жест.

– Скажи имаму, что так надо, так будет лучше для его гостя Ивана, – показывая на Булаковича, продолжал Небольсин. – Я его друг.

Теперь уже Идрис, поняв сказанное, перевел имаму.

– Друг – это хорошо. Друг, если он настоящий, подобен хорошему кинжалу, не подведет, – садясь, ответил Гази-Магомед.

Все сели, внимательно разглядывая друг друга.

– Скажи имаму, что капитан знает мою матушку, что он лично выкупил меня и что мы как братья, – понимая настороженное внимание хозяев, сказал Булакович.

– Да будет Аллах милостив к нему, мы с открытым сердцем встречаем его, – сказал ших Шабан. Гамзат-бек дружелюбно похлопал по плечу капитана.

– Ну, Иван, опять мы вместе и опять за одним столом. Помнишь, я говорил тебе в Черкее: не горюй, хорошим людям, сильным сердцем и духом, всегда помогает Аллах. Так и случилось. Ты опять со своими, не пленный, не солдат... апчер, – трогая пальцами погон Булаковича, сказал Гази-Магомед. – Как жил в Чечне, не обижали тебя? А солдат, раненный в руку, тоже вернулся?

– Не обижали, имам, спасибо тебе. Твое слово всюду оберегало меня: и в Чечне, и в Дагестане...

– А среди русских? – вдруг с лукавой усмешкой перебил его Гази-Магомед.

– Нет... там наоборот. Дружба с тобой, имам, там вызывает недовольство, подозрения...

– Глупые, недостойные люди! – сказал Шамиль.

– Единственный, кто как брат встретил, прикрыл меня от подозрений, – это он, – беря руку Небольсина, взволнованно продолжал Булакович.

Оба переводчика, дополняя друг друга, переводили слова прапорщика молча слушавшим мюридам.

– И в крепости остался я только благодаря его заступничеству... ну, помощи, помощи, – пояснил он, видя, как оба переводчика в недоумении посмотрели друг на друга.

– Полноте, Алексей Сергеич, – остановил его Небольсин.





– Нет, милый Александр Николаевич, я должен, должен этому замечательному человеку рассказать все о нас, – так горячо сказал Булакович, что даже и без переводчиков присутствующие поняли смысл сказанного им.

Гази-Магомед внимательно и пристально смотрел на Небольсина. Гамзат-бек удовлетворенно кивал, а ших Шабан негромко сказал что-то.

– Молитвы говорит арабски, – пояснил Ахмед.

– И к тебе, имам, он пришел вместе со мной только потому, что одному мне нельзя было идти... Я хоть и офицер, но был разжалован царем, находился в твоём плену, – Булакович горько усмехнулся, – мало ли что может сделать человек, поднявшийся против своего царя.

Мюриды внимательно слушали медленный, но точный перевод слов Булаковича.

Имам перевел взгляд с Небольсина на прапорщика. Суровое лицо дагестанца светлело, глаза подобтели, он молчал, но чувствовалось, как сосредоточенно думал он в эти минуты.

– Он сделал верно, Иван. И тут твой друг прикрыл тебя, но я не за тем позвал к себе. Скажи нам, ты знаешь, что написал в своем письме Килугэ? – Он с трудом выговорил это имя. «Килугэ» – прозвучало оно.

– Да, имам. Нам прочитали его.

Гази-Магомед удовлетворенно кивнул.

– И твой друг тоже знает?

– Да, имам. Я тоже читал это письмо, – ответил Небольсин.

– Так, так, – не спеша проговорил Гази-Магомед. – А ты не сказал мне, что с твоим солдатом... умер, жив, вернулся к своим?

Офицеры удивились внезапному, не имевшему отношения к письму вопросу.

– Он жив, имам. Рука его перебита, пальцы не действуют, и он отпущен вчистую домой...

– Вчистую, домой, – вздохнул Ахмед. Эти дорогие для каждого солдата слова растревожили его сердце. Он перевел слова Булаковича.

И снова все замолчали.

– Значит, вы оба читали письмо... Ну, и что скажете, гости, на предложение Килугэ о моем прибытии в Грозную... – имам помолчал, – о добровольной сдаче русским, о прекращении газавата?..

Ших Шабан испытующе глядел на офицеров; Гамзат-бек резко повернулся на затрепавшем под ним табурете; имам ждал.

Переводчики с тревожным любопытством смотрели на русских.

– И можно ли верить заверению вашего генерала – «анарала», – сказал имам, – что ни мне, ни Гамзат-беку, ни Шамилю, ни Шабану, и вообще никому из мюридов не угрожает ссылка или смерть?

– А также и требование сдать все наше оружие русским и вернуть им перебежчиков и пленных, – еле сдерживаясь, запальчиво вставил Гамзат.



– Имам, ты задал мне трудную задачу, но я человек честный, я помню все: и добро, оказанное мне, и зло, содеянное со мной, – начал Булакович.

– Так оно и должно быть, Иван. Ты человек и мужчина... Ты должен помнить все – и хорошее, и злое. За добро надо благодарить, за зло мстить до самой смерти...

– И даже после, на том свете! – выкрикнул Гамзат.

– Слышишь, что сказал ших Гамзат?... Так и должно быть, Иван, а теперь продолжай.

– Имам, наши начальники – и Ключе, и Пулло, и даже генералы Розен и Вельяминов, если дадут тебе слово чести, не тронут тебя...

Горцы зашевелились, один Гази-Магомед неподвижно сидел, слушая Булаковича.

– ...Но что значат они и их слово там, в Петербурге, в России? Ничего, пустой звук! – твердо продолжал Булакович. – Здесь, на Кавказе, они имеют вес, силу, значение. Там, в России, таких, как они, – сотни, – продолжал прапорщик, – там они ничто. Никто не послушает их, да они и не осмелятся сказать. Разве что Ермолов, но он в опале... Ну, царь не любит его, – пояснил Булакович.

– Да, этот сын шайтана, проклятый Ярмол, один был, с кем можно было и воевать, и говорить честно, – согласился Гази-Магомед.

– Поэтому, имам, не ходи в Грозную. Царь никогда не помилует тебя, как никогда не простит и нас, тех, кто шесть лет назад поднялся против него.

Горцы молчали, но в этом молчании было красноречивое восхищение словами прапорщика.

– А что думает твой друг? – спросил Гази-Магомед. – Каково его мнение?

– То же самое, имам. Тебе нельзя ехать в Грозную, – коротко ответил Небольсин.

– А как с оружием? – спросил Гамзат-бек.

– Если нельзя ехать в Грозную, значит, нельзя отдавать и оружие, – улыбнулся Небольсин, – Да ты ведь, имам, сам хорошо знаешь это...

Все засмеялись.

– Умный у тебя друг, – обращаясь к Булаковичу, сказал Гази-Магомед. – Он читает наши мысли. Спасибо, Иван, и тебе спасибо, – обращаясь к Небольсину, сказал Гази-Магомед. – Я знаю, что угрожает вам, если русские начальники узнают о ваших словах.

– Смерть или каторга, – сказал Небольсин.

– И вы не побоялись этого, – вставая, сказал Гази-Магомед.

Все встали.

– Шабан-эфенди, дай мне Коран, – обратился имам к чеченскому проповеднику.



Взяв книгу, он раскрыл ее на каком-то месте, громко, нараспев прочел что-то.

– А теперь поклянемся, братья, на несомненной книге, что ни один из нас никогда, даже под страхом смерти и боясь вечного огня ада, не скажет никому о том, что говорили эти два русских человека.

Он поднял вверх раскрытый Коран. Шамиль, Гамзат, ших Шабан и оба переводчика, Идрис и Ахмед, медленно и нараспев повторили за ним клятву.

Затем все сели.

– То, что сказали вы, я уже написал в своем ответе Килугэ. Я отказался ехать в крепость, мы не доверяем русским, и мира, который предлагали им, не будет. С завтрашнего утра опять начнется война...

– Газават! – хором произнесли мюриды.

– Иван, я верил тебе, и сердце мое обрадовалось, когда увидел тебя, но я человек, верящий не всем людям... Я знал, что ты честный и храбрый солдат, наш друг, мой друг, – с ударением на «мой» произнес имам, – но со временем меняется все, даже горы, а что говорить о людях... И я хотел проверить тебя теперь, когда ты на свободе и уже не солдат, а офицер. – Имам замолчал и долго и проникновенно смотрел на Булаковича. – И сердце мое радуется, Иван... Ты не изменился, ты даже стал еще чище... спасибо тебе и твоему другу... – Имам приложил руку к сердцу. – Аллах с вами!.. И пусть эта добрая встреча не будет у нас последней.

Мюриды пошли за ним. Офицеры, сопровождаемые Ахмедом, вышли на лужайку.

Возле сакли, где расположились русские, он внезапно обнял Булаковича и тихо прошептал:

– Добрый барин, ваша блахородья... Ахмед никогда не забывает тебе...

Переводчик Идрис молчал, по лицу чеченца было видно, что оба русских стали ближе и доступнее его сердцу.

Когда офицеры возвратились, подполковник спросил:

– Ну как, о чем говорил Кази?

– О своей силе, о каких-то пушках, якобы находящихся в горах... о том, что хочет с нами мира, но не боится войны, – сказал Небольсин.

– Хвастает, сукин сын, а у самого ноги трясутся от страха... А чего это он прапорщика одного звал, ведь то же самое мог болтать и при мне? – вдруг спросил Филимонов.

– А он и о вас справлялся, но, говорит, не позвал потому, что вы как главное в делегации лицо, уже получив письмо генералу, могли и отказаться, а это... сами понимаете, – сымпровизировал капитан, – подрыв его авторитета среди горцев.

– Хитрая собака... догадался... ведь я бы и вправду не пошел.

Через полчаса, сопровождаемые чеченским разъездом, офицеры и казаки отправились обратно.



Уже в Грозной, значительно позже, переводчик Идрис шепотом сообщил Небольсину, что подполковник Филимонов дважды расспрашивал его, о чем имам беседовал с офицерами.

В Грозную они вернулись к вечеру, так как по пути задержались в укрепленном форпосте «Кизлярском», где из-за возникшей на линии тревоги просидели свыше трех часов.

По прибытии в Грозную подполковник Филимонов сразу же отправился к полковнику Ключе и передал ему ответное письмо имама.

Около десяти часов ночи Небольсина и Булаковича вызвали к полковнику Ключе, где они застали поручика Казаналипова, переводчика Идриса и довольно хмурого Пулло.

Ключе приветливо поздоровался с офицерами, выслушал их доклад, задал несколько вопросов.

– Как выглядит Кази?

– Так же, как и в Дагестане, разве только несколько озабоченней, – сказал Булакович.

– Как отнесся к вашему приезду?

– Был спокоен, даже приветлив, гостеприимен, – вставил Небольсин.

– «Приветлив», – хмуро повторил Пулло. – А говорил ли, что отвечает нам?

– Об этом не было разговора... А что написал в ответ? – поинтересовался Небольсин.

– Ехать не намерен, оружие сдавать не будет. – И Ключе, улыбнувшись, прочел фразу из письма Кази-муллы: – «Я вас не боюсь даже и на золотник, а что касается угроз разорить Гимры, Иргиной, Ахульго и другие наши аулы, то это будет зависеть от воли Бога. К вам я приду, но только с оружием в руках и тогда, когда сам найду нужным». Видели, каким языком заговорил имам?

Офицеры пожали плечами.

– А ведь, мошенник, сам обратился к нам, прося о замирении... – сказал Пулло.

– Я, господин полковник, получив его письмо к генералу, не очень поверил в миролюбие имама, – вставил Казаналипов, – не такой он человек, чтоб мириться с нами.

– Когда подхлестнула вожжа под хвост, тогда он и написал письмо, – сказал Пулло.

– Обмануть хотел, оттянуть время, – добавил Ключе. – А вы как думаете, господа? – обратился он к Небольсину и Булаковичу.

– Возможно, и так, – пожал плечами капитан.

– Думаю, господин полковник, что имам действительно хотел мира или отсрочки, – медленно, обдумывая каждое слово, начал Булакович, – но жесткие, неприемлемые не только для него, но и для любого горца требования остановили его.



– Какие требования? – переспросил Пулло.

– Сдачи оружия, выдачи пленных и беглых солдат, роспуска отрядов и сдачи на милость государя, – закончил Булакович.

– А что же тут плохого, ему б, дураку, хвататься надо было за такое предложение, – сказал Ключе.

– Господин прапорщик прав. Горцы никогда не пойдут на сдачу оружия и выдачу бежавших к ним людей, – возразил поручик Казаналипов. – Это же, с их точки зрения, предательство.

Воцарилось молчание.

– Ну что ж, гора не пошла к Магомету – Магомет пойдет к горе... Так мы и поступим в этом деле.

– А что это такое? – спросил Ключе Казаналипова, указывая на странные письмена, вырезанные на мухуре.

– Имена семерых святых, взятые из Алкорана. Это – Ялих, Максалин, Маслин, Мариуш, Добарнуш, Шазануш и Капаштатюш. Эти легендарные святые жили якобы у какого-то вавилонского царя и благополучно спаслись от его мести. Эту печатку с именами святых следует понимать как намек на то, что Бог и на этот раз поможет делу правых против неверных, – обстоятельно пояснил поручик Казаналипов.

Письмо было подписано: «Абдугу Гази-Мохаммад».

– «Слуга божий Гази-Магомед», – добавил Казаналипов.

– Будет война... Я хорошо знаю горцев, – задумчиво произнес Ключе. – Благодарю вас, господа, – сказал он, отпуская офицеров.

Утром, после завтрака, Небольсин и Булакович пошли в штаб.

– Вы мне пока не нужны, господа. Да и вряд ли генерал, уставший с дороги, примет вас. Отдыхайте и вы, – сказал Ключе, – тем более что мы все сегодня приглашены госпожой Чегодаевой к пяти часам на парадный обед. И вы в том числе, прапорщик, – обратился он к Булаковичу.

– Покорно благодарю.

– Пойдем на Сунжу, – предложил Небольсин, – в такую теплынь неплохо нырнуть в воду.

– Охотно.

Забрав полотенца, они спустились к реке, где в стороне от моста находилась купальня. Офицеры разделись, лежали на песке и затем, окунувшись в воду, поплыли, перегоняя друг друга.

Солнце поднималось над Грозной. Небо было ясным.

На чеченские горы ложился отсвет багрово-красных лучей.

– Как разлитое красное вино, густое и терпкое, – сравнил Небольсин.

– Нет, скорее как алая, живая кровь, которая очень скоро прольется в горах и долинах, – ответил Булакович.

Друзья выбрались из воды и с наслаждением улеглись на мокром, шершавом песке.



– Алексей Сергеевич, если нетрудно, скажите, почему вы посоветовали имаму не приезжать в крепость? – спросил Небольсин.

Булакович долго не отвечал. Лежа на спине, он разглядывал небо, высоко-высоко проползавшие облачка, затем, повернувшись к капитану, сказал:

– Бывают времена, когда каждый порядочный человек должен стать на защиту свободы, на сторону правды, чем бы это ему ни угрожало... иначе потеряешь уважение к себе. А почему вы?

– Тоже потому, Алексей Сергеевич, – коротко ответил Небольсин.

Друзья долго молчали. Речной песок накалялся под лучами солнца, прохладный ветер набегал из-за Сунжи.

– В день четырнадцатого декабря я был на Кавказе... – наконец сказал капитан, – а людей, вышедших на Сенатскую площадь, почитаю героями.

– Спасибо, – сердечно поблагодарил Булакович и снова улегся на песок.

Это был весь их разговор, связанный с поездкой к имаму.

– Я не пойду к Чегодаевым, – помолчав, сказал Булакович.

– Почему?

– У самодовольного господина Чегодаева мне тяжело...

– Но ведь приглашала вас Евдоксия Павловна! При чем тут этот господин?

– При всем... решительно при всем. Когда я вижу или слышу его, передо мной встает весь тот Петербург, с которым хотели покончить мы. Ведь Чегодаев – живое олицетворение нашей системы с ее тупой жестокостью, лицемерием казенного моралиста...

– А она? – с любопытством спросил Небольсин.

– Она милый и, по-видимому, хороший человек, с чуть заметным сумасбродством в мыслях... но это сейчас модно... – улыбнулся Булакович. – К тому же, дорогой Александр Николаевич, с последней оказией я получил из Москвы письмо. Матушка моя сильно болеет, что с нею – не знаю. И сейчас мне не до званных обедов и вечеров.

– Пишет вам Агриппина Андреевна? Что с нею?

– Письмо и от нее, и от пользующего ее врача.

– Я попрошу генерала, чтоб вам разрешили отпуск по семейным причинам в Москву.

Булакович грустно улыбнулся.

– Вряд ли дадут. Попробуйте. Буду вам очень признателен. Прошу вас объяснить госпоже Чегодаевой мое отсутствие именно этой причиной.

– Хорошо.

Ударила крепостная пушка. Это был выстрел Кавказской линии, означавший двенадцать часов пополудни, введенный генералом Вельяминовым по всем крепостям.



– Полдень. Пора и домой, – сказал Небольсин.

Офицеры оделись. Вода, ветерок, безмятежный отдых под лучами солнца освежили их.

Когда Небольсин вошел в гостиную Чегодаевых, там было уже несколько человек: Пулло с супругой, генерал Коханов, Ключе, коллежский советник Богатырев, один из помощников Чегодаева, вместе с женой и свояченицей, барышней на выданье, около которой стоял Куракин.

– Вот и вы, слава богу... живы и благополучны! – встретила его Евдоксия Павловна.

– Абсолютно цел и невредим! И как и обещал – первый визит к вам, Евдоксия Павловна, – целуя руку хозяйки, сказал капитан.

– Вы обязательный и учтивый человек, мосье Небольсин, – жеманно сказала Коханова. – И отлично сделали, что с первым же визитом явились сюда. Даже представить себе не можете, как взволновалась Евдоксия Павловна, узнав о вашем отъезде к этому мулле. Я понимаю ее тревогу. Я тоже была обеспокоена за вас... горы, дикари... – качая головой, продолжала генеральша.

– Наоборот, – делая общий поклон, возразил Небольсин, – я был рад встретиться с Кази-муллой, познакомиться и с ним, и с его мюридами.

– Уж так ли? И что же нашли в этом диком вожде?

– Доброго и разумного человека.

В сенях раздались голоса.

– Его превосходительство с супругой, – сказал Чегодаев и поспешил навстречу Вельяминову.

Обед прошел шумно, в веселых тостах; пили за дам, за хозяйку, за его превосходительство Вельяминова, затем за остальных генералов и за доблестные кавказские войска.

Вельяминов был весел, прост и доступен настолько, что все дамы объявили его самым милым и приятным генералом, когда-либо находившимся на Кавказе.

– О нет! Самый любезный генерал, почитаемый всеми красавицами Кавказа, – это Алексей Петрович Ермолов, я же только второй, – пошутил Вельяминов. – А посему прошу поднять бокалы за его здоровье!

Дамы чуть пригубили, а мужчины выпили за здоровье бывшего «проконсула Кавказа».

Около семи часов вечера Небольсин вместе с остальными гостями покинул дом Чегодаевых.

Вернувшись домой, Небольсин написал несколько писем в Петербург, затем взял присланный ему Модестом новый роман Вальтера Скотта и стал перелистывать его.

Было уже поздно, Небольсина клонило ко сну.



В сенях раздались шаги, и в комнату вошел возбужденный Чегодаев. Не отвечая на приветствие хозяина, он резко сказал:

– Я пришел к вам, капитан, незваным для немедленного объяснения...

– Я не совсем понимаю вас, – удивленно сказал Небольсин, – что, собственно, угодно вашему превосходительству?

Чегодаев повел глазами по сторонам, вынул из кармана платок, обтер лицо и сухим, совершенно канцелярским голосом сказал:

– Я имею в виду, милостивый государь, то, что моя супруга, Евдоксия Павловна, три дни назад имела свидание с вами. Да-с! Не думайте отпираться. Она ночью была у вас и вернулась только во втором часу... Что имеете сказать на это? – Он выдохнул воздух и, перегнувшись через стол, устремил на Небольсина тяжелый, неподвижный взгляд.

Капитан пожал плечами, выбил из трубки пепел и, отложив в сторону длинный вишневый чубук, произнес:

– Совершенно верно. Евдоксия Павловна действительно приходила сюда. Что еще?

– Нет, что вы можете сказать по сему случаю? – возбужденно сказал Чегодаев.

– Надеюсь, что Евдоксия Павловна тогда сказала вам, зачем она приходила сюда? По-моему, лишь оттого, что ей скучно, что вы в разъездах и уделяете ей мало внимания...

– Меня не интересует ваше мнение, я спрашиваю, зачем она приходила сюда, пользуясь моим отсутствием, и что произошло здесь, – запальчиво перебил генерал.

– Вы дурно думаете о вашей супруге, вы скверно оцениваете и меня, перебивая мои слова; это потому, что вы плохо воспитаны и не умеете себя вести на людях... – беря вишневый чубук и затягиваясь, сказал Небольсин. – Значит, вы не хотите курить? – продолжал он, видя, как взбешенный Чегодаев оттолкнул предложенный ему чубук.

– Я, милостивый государь, пришел к вам не для курения жуковских табачков и праздного разговора, – впадая опять в сдержанно-канцелярский тон, сказал Чегодаев. – Я вас прошу как благородного человека – а пока я все еще считаю вас таковым – сказать, что произошло во время ночного посещения Евдоксии Павловны между вами.

– Представьте, ничего, – пожимая плечами, холодно ответил Небольсин. – Я не назначал ей, как вы полагаете, свидания, ничего не знал о ее визите, был совершенно неподготовлен к этому, в домашнем сюртуке, словом, не ожидал никого, а тем более уважаемую всеми даму. И поверьте, милостивый государь, своим поведением и почти допросом вы ставите ее, а в первую очередь себя, в... – он пожал плечами, – в очень странное положение...

Чегодаев исподлобья глянул на капитана, несколько секунд молчал, затем сдержанней сказал:





– Я верю вам. Однако зачем же она приходила и что произошло в эти два часа?

– Ничего, ровным счетом ничего... во всяком случае, того, чего опасаетесь вы... Евдоксия Павловна ушла в таком же странном возбужденном волнении, в каком пришла сюда, – капитан отложил в сторону чубук, – в этом я даю слово дворянина и русского офицера. А зачем она приходила, что побудило ее в неурочный час посетить меня и что происходит у вас в семье, следовало б вам знать самому, ваше превосходительство... я чужим делам не ответчик... не интересуюсь ими.

Чегодаев не сводил покрасневших, немигающих глаз с Небольсина, которому уже прискучил этот нелепый разговор.

– Нич-чего не понимаю... Какие дела творятся в семье?.. – Генерал растерянно поднялся с места, затем снова сел. – Я сказал ей: «На тебя нашло омрачение... это пройдет, это случается...» Она ответила: «Нет... это навсегда... я люблю его». Это вас, вас она любит навсегда, – с отчаянием и дрожью в голосе сказал Чегодаев.

Небольсину стало жаль этого уже немолодого, скучного человека.

– Что я могу сделать, если она действительно полюбила меня? – разводя руками, признался он.

– Да, – покорно согласился, опустив голову, Чегодаев.

– Зачем вы взяли ее с собой? Ведь она светская женщина, привыкшая к обществу, столице, театру...

– Я боялся оставить ее одну, – опуская еще ниже голову, прошептал Чегодаев. – Я думал, что на Кавказе, среди этих диких мест, ей и в голову не придет подобное... Да и с кем? – совсем уж глупо задал вопрос Чегодаев, даже не замечая бестактности сказанного.

Опять наступило молчание.

– Знаете что, – предложил вдруг Небольсин, желая, чтоб прервался этот глупейший разговор и генерал ушел, – знаете что, мы коснулись таких интимных подробностей, что сейчас надо просто успокоиться и выпить по стакану вина. Ей-богу, оно лучше подействует на ваши нервы и голову, чем этот трудный, затянувшийся разговор.

Он был убежден, что этот непьющий, чинно-респектабельный петербургский чиновник откажется от такого армейского предложения, да к тому же сказанного тоном, каким бурбоны-прапорщики приглашали других скоротать вечерок за вином. Но, к его удивлению, Чегодаев с готовностью согласился.

– Спасибо, буду рад вашему гостеприимству.

– Се-е-ня! – поворачиваясь к двери, за которой, несомненно, находился его «верный Личарда», закричал Небольсин.

Спустя полминуты дверь приоткрылась.

– Изволили звать, Александр Николаич? – глядя невинными глазами на Небольсина, спросил Сеня.



– Вина нам, Сенечка, закуски какой-нибудь. А может быть, рому? – повернулся он к неподвижно сидевшему Чегодаеву.

– Можно и рому, – покорно согласился тот.

Пока Сеня готовил на стол, оба молчали, но было видно, что гость находится где-то далеко, во власти своих дум.

«Тяжело ему, бедняге», – с невольным сочувствием подумал Небольсин, глядя на подергивающееся лицо и беспокойные глаза гостя.

– Прошу, – наполняя серебряную чарку ромом, предложил он.

Чегодаев взял ее и разом, обжигаясь, с трудом выпил.

– Сеня, ты можешь быть свободен.

– Слушаюсь, Александр Николаевич, – ответил Сенька и плотно притворил за собою дверь.

Небольсин с удивлением и беспокойством увидел, как Чегодаев налил себе вторую стопку.

– Это крепкий, очень крепкий ром... Ямайский, – предупреждающе начал Небольсин.

– Ничего... сегодня можно... – отпивая больше половины чарки, сказал Чегодаев. – Я хочу выпить много, я... – он не находил слов.

– Ради бога, все перед вами. Только я знаю, что вы не пьете, как бы этот напиток не повредил вам... – осторожно предупредил Небольсин.

– Наоборот... как раз сегодня я хочу выпить так, чтобы я... вы... – опять не находя нужных слов, заговорил Чегодаев. Было видно, что какая-то мысль бушует в его голове, но он не то стесняется ее, не то не находит нужных, точных, соответствующих слов.

– В таком случае, ваше здоровье, – сказал Небольсин.

Они чокнулись и разом допили свои чарки.

– Вы ешьте, – придвигая гостю сыр, копченую рыбу и чурек, угощал Небольсин.

– Съем, но только после третьей, – решительно произнес Чегодаев таким не свойственным ему тоном, что Небольсин внутренне усмехнулся.

Выпили по третьей, и, хотя было видно, что Чегодаев не умел пить, обжигал горло и крепкий ром глушил его дыхание, он все же еще раз залпом осушил свою стопку и только тогда, отломив кусочек соленого тушинского сыра, закусил им.

Небольсин с интересом наблюдал, как крепкий ром быстро действовал на чиновного петербургского гостя. Лицо Чегодаева покраснело, глаза заблестели, движения стали резче, а манера держаться – свободней.

Капитан отодвинул ром и налил Чегодаеву столового вина.

– Думаете, пьян его превосходительство? – усмехнулся гость. – Нет еще, но благодарю за заботу. Вы действительно славный человек, и в вас вполне может влюбиться любая светская дама, – чуть развязно сообщил ему Чегодаев и, подняв стакан с вином, вызывающе сказал: – Ваше здо-



ровье, Александр Николаевич, только это еще не последняя... я... сам замечу, когда будет таковая...

Они выпили еще и еще. Чегодаев почти ничего не ел, едва притрагиваясь к сыру. Наконец, после третьего стакана, он отставил вино в сторону, замолчал, задумался и, как бы позабыв о хозяине, тихо произнес:

– Да... дорогой мой, таковы-то дела...

Ничего не понявший из этой фразы Небольсин молча набил табаком вишневый чубук и собирался закурить от угольков, заранее принесенных в тазике Сеней.

– Знаете что, Александр Николаевич, давеча вы предлагали мне покурить, я отказался. Дайте сейчас. Хотя я редко курю, и только сигары и пахитоски, но сейчас... – он передохнул, было видно, что ром и вино уже достаточно опьянили его, – сейчас с удовольствием выкурю чубук.

– Вам какого табаку? Турецкого или Жукова? – с любезной готовностью спросил Небольсин.

– Какой покрепче? – поинтересовался Чегодаев.

– Да Жуков, конечно... Он попроще, но и покрепче будет.

– Его, пожалуйста...

Небольсин, понимая, что гость не столько пьян, сколько находится в душевном смятении, набил поплотнее жуковским табаком черешневый чубук и, раскурив его, передал гостю.

Чегодаев раз-другой затянулся, закашлялся и, чуть не поперхнувшись, одобрил:

– Крепкий... настоящий горлодер.

– Армейский, его все больше юнкера да прапорщики курят, – пояснил Небольсин, чувствуя, что все эти разговоры и манипуляции с табаком являются чем-то вроде прелюдии к разговору, который хочет начать и никак не решится Чегодаев.

– Юнкера любят курить его, запивая чихирем, а мы, за неимением такового, выпьем еще по чарке рома, – сказал капитан.

Чегодаев благодарно взглянул на него и охотно осушил свою стопку.

– Вы умный человек, Александр Николаевич, – робко и неуверенно начал он, – вы понимаете, что мне сейчас куражу не хватает... Спасибо... Меня не удивляет, что такая женщина, как Евдокси, полюбила вас...

«Куда он гнет?» – опять подумал Небольсин, ожидая дальнейших слов Чегодаева.

– Скажите честно, вы любите ее? – вдруг спросил Чегодаев.

– Не знаю, – сухо, уже злясь, ответил Небольсин.

– И... и... у вас ничего с нею не было? – глухо произнес Чегодаев.

«Пошел вон!» – хотел было крикнуть капитан, но Чегодаев как-то съехался, посерел, показался ему столь маленьким и незащищенным, что слова застыли на устах Небольсина.



– Что с вами? – тихо, участливо спросил он, кладя руку на плечо Чегодаева.

Гость тяжело, порывисто дышал, а лицо его было так жалко, что Небольсин сказал:

– Вам плохо? Выпейте воды.

– Нет, Александр Николаевич, мне тяжело... Дайте слово, что то, что скажу вам, никогда, ни-ког-да не скажете никому, – прерывающимся шепотом, испуганно и умоляюще проговорил Чегодаев.

– Но что именно?

– Нет, дайте слово благородного человека, я верю вам и тогда скажу... – со страдальческой миной на лице продолжал Чегодаев.

– Даю... Клянусь вам в этом Богом и честью, – пораженный его видом и беспомощностью, воскликнул Небольсин.

– Она... она вас любит... больше жизни, больше своей чести... она жить не может без вас... – опустив голову и обхватив руками лицо, еле слышно проговорил Чегодаев. – И я прошу вас, не лишайте ее счастья, не отриньте ее, если она... – он отвернулся.

– Что вы говорите! – воскликнул Небольсин. – Подумайте, что вы предлагаете...

– Я все обдумал, я все понял... Я понимаю, что выгляжу глупо, смешно, даже, может, оскорбительно для вас, но...

– Вы не любите ее? – стоя над поникшим гостем, спросил Небольсин.

– В том-то и горе, что люблю, да так, Александр Николаевич, что никто – ни вы, ни она – не поймет да и не поверит в такую любовь, – безнадежно сказал Чегодаев.

На глазах у Небольсина этот сухой педант, затянутый в вицмундир петербургский чиновник, с такой же, казалось, чопорной, затянутой в вицмундир душой, преобразился в глубоко страдающего, обойденного счастьем человека.

– Но как вы можете согласиться, чтобы ваша жена, которую так любите, могла...

– Так люблю, что и грехом этого ей не посчитаю... Так люблю, что и помнить о том никогда не буду...

Не ожидавший такого ответа, Небольсин растерянно глядел на него.

– Как же это возможно? – негодуяще вырвалось у него. – Не понимаю!

– Потому что не любили так, потому что вы красивы, молоды и женщины ищут вас, Александр Николаевич. И дай вам бог никогда и не любить так. – Он поднялся, уронив чубук на пол.

Небольсин, пораженный его словами, молча помог ему надеть шляпу с плюмажем. У самого порога Чегодаев протянул ему обе руки.

– Я знаю, что вы встретитесь... иначе не может и быть. Прошу только помнить, что Евдоксия Павловна никогда бы не полюбила фата и недостойного человека. Честь имею кланяться... – Он церемонно, так, как



поступают полупьяные люди, картинно и точно шагнул к порогу, вытягивая носки.

– Проводить вас, Иван Сергеевич? – спросил Небольсин.

– Нет, друг мой, не надо... – уже из прихожей ответил Чегодаев.

Небольсин сел у окна и долго оставался в неподвижной задумчивости, все еще не в состоянии постичь то ли величия, то ли унижения души его гостя.

– Александр Николаич, опять стреляться будем, опять дуэль? – громко, тревожно спросил возникший за его спиной Сеня.

– Да нет, какие тут дуэли... здесь, брат, посложней да непонятней дело... – вздохнув, ответил капитан.

– И слава богу... А и я так решил, что все миром закончится... Я сейчас этого генерала гражданского на улочке встрел. Идет он, ровно журавель, прямой, ноги, как рекрут, выбрасывает, по сторонам не глядит и сам никого не видит. Я было шапку скинул, а он прошел и не заметил меня... Видать, вы его добре напоили, – по-своему резюмировал поведение гостя Сеня, но, заметив, что Небольсин не слушает его, замолк и стал убирать со стола тарелки.

## Глава 8

Слова полковника Ключе оправдались очень скоро. Полковник хорошо знал природу и характер мюридов.

Из далеких аулов приходили тревожные вести. «Имам готовится к нападению на Грозную», «Кази-мулла готовит поход на Моздок», «Кази-мулла собирает ополчение в горах. Удар его намечен на крепости Владикавказскую и Грозную...» Лазутчики русских сообщали: «Объявлена поголовная мобилизация мужчин от шестнадцати до шестидесяти лет».

Русскими судами на Каспии были перехвачены быстроходные туркменские и персидские парусники, на которых нашли английское оружие, порох и мешки с серебряными и золотыми монетами. Пленные какюкчи сказали, что часть лодок успешно выгрузила оружие где-то ниже Дербента.

А тем временем по станицам возводились новые валы, рылись рвы, ставились перекаты.

Вельяминов внимательно следил за тем, что делалось в горах. Русское золото и отказ от предложенного Кази-муллой мира вносили в умы горцев разброд и смятение.

Генерал Вельяминов, человек энергичный и непоседливый, в ожидании набегов горцев на Грозную и станицы снова отправился в инспекционную поездку по затеречным районам. Чегодаев, полковник Пулло, казачий генерал Федюшкин поехали с ним.



Инспекционная поездка должна была быть короткой, не больше четырех-пяти дней, так как сведения, поступившие от лазутчиков и туземных приставов, говорили о том, что Кази-мулла уже готовится к набегу на русскую линию.

Вельяминов уехал, отдав распоряжение, чтобы на казачью линию были направлены офицеры штаба. Стенбок – в станицу Наурскую; Куракин – в Моздок; в Екатериноградскую – подполковник Филимонов; в Николаевскую – есаул Топорков; во Владикавказскую – капитан Небольсин. Атаманам станиц, начальникам гарнизонов и комендантам крепостей были разосланы приказы немедленно подготовиться к отражению ожидаемого нападения мюридов.

Оказия, с которой уезжали офицеры во Владикавказ и притеречные станицы, уходила в четыре часа дня.

Ровно в двенадцать пополудни Небольсин зашел к Чегодаевой.

– Сегодня еду во Владикавказскую крепость. Пробуду в ней около десяти-двенадцати дней. Памятуя нашу дружбу, зашел сообщить вам об этом и пожелать доброго здоровья.

– Спасибо, Небольсин, я признательна вам за это...

Все эти дни, встречаясь с Евдоксией Павловной, Небольсин видел ее спокойной, будто и не было той ночной встречи и странного разговора между ними.

И сейчас она приветливо говорила с ним.

«По-видимому, действительно было «омрачение», – подумал капитан.

– Как говорил вчера генерал, опять начинается война, снова Кази-мулла и мюриды? – ровным, негромким голосом спросила Евдоксия Павловна.

– Да, мира нет, и газават продолжается... – начал было капитан.

– Скажите, Небольсин, – вдруг перебила она, – вы думали что-либо о моем приходе к вам?

– Да... – несколько растерянно ответил он, – конечно.

– И что же?

– Я вам говорил, Евдоксия Павловна, в прошлый раз... – тихо сказал капитан.

– Что вы одиноки, что вам надоело все и что... – возбужденно начала она.

– ...И что я думаю и не могу не думать о вас.

– Тем хуже для нас обоих, – со вздохом сказала Чегодаева и отошла к окну. – На днях я уезжаю, Небольсин. Иван Сергеевич, возможно, еще задержится в крепости, а я, – она повернулась к нему, – в Петербург, в Россию.

И, видя, как изменился в лице капитан, быстро спросила:

– Вам это неприятно?

– Я и сам не знал, что так тяжел и болезнен будет для меня ваш отъезд, – очень тихо ответил Небольсин.

Грустная улыбка прошла по ее лицу.



– Спасибо и на том, мой друг. Сейчас я верю всему, что вы говорили мне в тот вечер.

Она протянула ему руку, и капитан благодарно поцеловал ее.

– Мне тяжело будет в Петербурге, – не глядя на него, продолжала Чегодаева.

– Как и мне здесь... – сказал Небольсин. – Лишь Ивану Сергеевичу станет лучше от этого. Я даже не представлял той огромной, безграничной любви, которую он питает к вам.

Чегодаева отдернула ладонь.

– Откуда вы знаете это? Он был у вас?

Небольсин опешил, удивленный страстностью и резкостью тона, которым говорила она.

– Не говорите неправды, Небольсин, не лгите! Вы не способны на это, – продолжала она. – Он был у вас! – решительно, без тени сомнения повторила она. – Он говорил вам это? Он был у вас? – вскидывая голову и глядя в упор на Небольсина, спросила Евдоксия Павловна.

– Да, но это и нетрудно заметить...

– Он был у вас? Говорите!.. Он просил вас о чем-нибудь... – она с трудом выговаривала слова, – недостойном?..

Небольсин понял, что смутное подозрение охватило ее. Ему стало жаль Чегодаева и в то же время легко оттого, что она не знала о дикой просьбе несчастного мужа.

– Был. Но какое он мог сделать мне недостойное предложение? – Он пожал плечами. – Я не понимаю вас, Евдоксия Павловна.

Она молчала, чуть нахмутив лоб, сосредоточенно думая, и лишь недоверчивая улыбка не сходила с ее губ.

– Благодарю вас, вы преподнесли мне хороший урок, Небольсин. А теперь уезжайте...

– До свидания, Евдоксия Павловна... – начал было Небольсин.

– Нет, прощайте, Александр Николаевич, именно – прощайте. Вряд ли мы когда-нибудь увидимся с вами, – ответила Чегодаева и, кивнув огорченному капитану, вышла из комнаты.

Небольсин, постояв с минуту в растерянности, медленно вышел из дома Чегодаевых.

Владикавказская крепость показалась вдали. Столовая гора, цепь снежных вершин, темно-зеленые леса, покрывавшие пологие скаты набегавших отовсюду гор, и этот милый сердцу Небольсина уголок воскресили в нем рой добрых воспоминаний.

За два года, что он провел в Грозной и на Кизлярской дистанции, ему ни разу не пришлось побывать во Владикавказе, но Небольсин не забывал дорогих его сердцу Огаревых, осетинских друзей Туганова и Абисолова и несколько раз с оказиями посылал им письма.



И вот теперь, когда крепость опять открылась перед ним, в его душе возникли светлые воспоминания о нескольких днях, проведенных в ней.

Издали она, казалось, была такой же, какою он оставил ее два года назад, но, уже въехав за крепостной вал, проезжая базар и огибая слободу, капитан заметил, что тут произошло немало изменений.

По сторонам поднимались новые каменные и деревянные дома. Были разбиты площади, правильно распланированные, густо обсаженные акациями улицы шли к крепостной стене; виднелись переброшенные через Терек узкие, деревянные, с невысокими перилами мостики. Церковь поднималась на бывшем пустыре, а поодаль от нее высились длинные двухэтажные солдатские казармы. Больше людей было на улицах и площадях.

Оказия остановилась на Соборной площади, и, пока шла церемония передачи казенного имущества и почты, посылаемой из Грозной, почти все «вольные» люди, как называли штатских, разбрелись по слободкам, базару и родным домам.

Небольсин направился к знакомому ему «дому для проезжающих господ», где и получил комнату, а еще через полчаса адъютант коменданта, поручик Истомина, приветствовал Небольсина.

— Я к вам, господин капитан, от Николая Гавриловича и его супруги. Отдохните с дороги, — он посмотрел на часы, — а к пяти часам Мария Александровна и Николай Гаврилович просят вас пожаловать к обеду, — и, наклонившись к уху Небольсина, поручик прошептал: — Наш полковник представлен в генералы... Ждем высочайшего приказа со дня на день...

— О-о! Приятная весть, — обрадовался капитан.

— ...Одно только печалит нас: произведут его в генералы, а тогда, очень может быть, назначат в Тифлис, Ставрополь или куда-нибудь в Россию.

— Будем надеяться, что оставят здесь, — сказал Небольсин, распаковывая дорожный чемодан и доставая из него несессер, мыло и полотенце.

Отдохнув, капитан отправился к коменданту, где совсем недавно так сердечно и гостеприимно принимали его Огаревы.

Чегодаев был в добром расположении духа. Поездка с Вельяминовым, внимание, оказанное ему и самим генералом, и всеми начальниками дистанций, комендантами крепостей и гарнизонов, приятно настроили петербургского гостя. Подчеркнутое уважение к его особе и задачам, возложенным на него Петербургом, радовали честолюбивого чиновника, ожидавшего от успеха своей поездки повышения по службе и благоволения «высших сфер».

Генерал долго мылся и тщательно занимался всеми деталями своего туалета. Запах лавандовой воды и опопанакса разлился по комнатам. Чегодаев побрился, привел в порядок ногти, пригладил бачки и, переодевшись в просторный домашний чесучевый костюм, вышел в столовую. Он поцеловал ручку жены, потом в губы и щеку и, удобно усаживаясь у стола, спросил:





– Как здоровье, Евдокси? Надеюсь, хорошо? Выглядишь ты отлично!  
– Здорова, а как твоя поездка? – наливая кофе мужу, поинтересовалась Чегодаева.

– Великолепно, даже не ожидал такого!.. – прихлебывая кофе и заедая его холодной телятиной, ответил генерал. – Везде прием, и, сверх ожидания, не казенная встреча, а именно прием и чисто кавказское радушие. Конечно, речи, тосты, просьбы доложить Петербургу о чувствах любви к Его Величеству государю... Победа близка, я сам убедился в этом. И солдаты, и офицеры горят желанием похода в горы, покончить с муллой и его нелепым газаватом.

– О, как вы расхрабрились, ваше превосходительство! – с легким смешком сказала Евдоксия Павловна. – А как ваши не военные, а те дела, по которым вас командировали на Кавказ?

– А-а... тоже хороши, – небрежно ответил генерал. – Хотя финансовые дела и недостаточны, но обменные и экономические общества созданы и работают по всей линии. Меновые конторы, которые совсем недавно захирели и почти прикрыли свою работу, опять создаются. По всей затеречной линии, а кое-где и по правому берегу Терека, учреждаются коммерческие фактории и меновые магазины с широким кредитом для мирных горцев. И могу сказать, – не без самодовольства улыбнулся Чегодаев, – в значительной степени этому помог я. Сам Алексей Александрович в своих тостах дважды подчеркнул, и надеюсь, донесет об этом и в Тифлис, и в Петербург.

– Поздравляю, это даст тебе еще одну звезду или крест, – равнодушно сказала Евдоксия Павловна.

– Надеюсь! А как ты? Что делала эти дни, кто был, не скучала? – обтирая салфеткой губы, спросил генерал.

– В общем, скучала. Писала в Москву письма, а был у меня Небольсин и еще кое-кто...

Генерал взял яблоко и, срезая кожуру, сказал:

– А-а, Небольсин... С визитом или в гости?

– Ни то и ни другое, прощался.

– Прощался? – удивленно поднял брови Чегодаев.

В его голосе, спокойном удивлении, небрежной позе было такое равнодушие, что ни один посторонний человек не усомнился бы в полной безмятежности генерала, но Евдоксия Павловна, отлично знавшая мужа, холодно взглянула на него.

– Да, он уехал во Владикавказскую. Но дело не только в этом... Я тебе уже говорила...

Генерал поспешно поднялся, заглянул в переднюю, в соседнюю комнату и, плотно притворив дверь, сказал, усаживаясь на место:

– А-а, старая история... Опять о том же...

– Именно. Я еще раз подтвердила, что люблю его...



– И что же он? – с любопытством спросил Чегодаев. Голос его был ровен и невозмутим, но в глазах на секунду блеснул насмешливый огонек, блеснул и исчез.

Евдоксия Павловна внимательно смотрела на него.

– Что ж ты молчишь? Ведь, наверное же, он что-нибудь ответил на это?

– Сказал... – медленно и как-то странно произнесла Евдоксия Павловна. – Ты был у него? – вдруг резко и неожиданно спросила она.

– У... кого? – растерянно спросил Чегодаев.

– Ты отлично знаешь, у кого. Говори, ты был до отъезда по линии у капитана? Но не лги! – поднимаясь со стула, сказала она.

– Не-ет... то есть был, заходил на минутку... – неуверенно ответил Чегодаев, смущенный пристальным взглядом жены.

– Зачем? Что ты сказал ему?

– Он что, говорил тебе что-нибудь? Какая наглость – пересказывать жене о муже... – начал было Чегодаев.

– Что ты сказал ему? Отвечай сейчас же...

Голос Евдоксии Павловны был тих, спокоен, но немигающие глаза, устремленные на мужа, были так гневны, что генерал пожал плечами и еле слышно пробормотал:

– Ничего особенного... Так, почти ничего... Ну, сказал, что я люблю тебя больше жизни... Вот и все... Да что он тебе, тебе-то сказал? – вдруг срываясь, почти взвизгнул Чегодаев.

– Я все поняла, – тихо, как бы самой себе, сказала Евдоксия Павловна. – Он благородный, честный человек, он не купец и коммерсант, как ты, Иван Сергеевич... Я все понимаю, вы и здесь, господин генерал, проявили свой финансовый гений... но ошиблись...

Она стояла возле оцепенело сидевшего Чегодаева.

– ...Вы просчитались, здесь не проценты и консоли, не дивиденды и деловые махинации торговых банков, а живые люди... Ох, как вы просчитались, ваше превосходительство!.. – Она с презрением отвернулась и отошла от мужа.

– Ничего не понимаю! Что за консоли и проценты? Что ты этим хотела сказать? – заговорил Чегодаев.

– Какая низость!.. Прикинуться несчастным, обезумевшим от горя человеком...

– Да, да! Я именно таким и был в эти секунды... но низок и подл он, он, обещавший ничего никогда никому не говорить, – задыхаясь от волнения, произнес генерал.

– А-а... наконец-то вы произнесли то, что я знала и раньше... Что вы сказали Небольсину в ту ночь?

– То, что этот клятвопреступник уже открыл вам, Евдоксия Павловна! – сдерживая волнение, возмущенно закричал Чегодаев. – Да, я действительно просил его, и поймите, поймите это правильно, Евдоксия



Павловна... чтоб он сблизился с вами. Да, от такой любви и ревности, которые обуревали меня, я мог бог знает что еще наговорить ему... Но он, он, давший мне честное слово офицера...

— Он ничего не сказал мне, Иван Сергеевич, ни слова, ни звука об этом. Он действительно честный и благородный человек, поверивший вам и не понявший, какую низкую игру вели вы...

— Какую игру? — вскакивая с места, злобно глядя на жену, спросил Чегодаев.

— Подлюку, о какой этот человек даже и помыслить не мог! Но вы прощитались, господин действительный статский советник... Небольсин поверил вам и, как человек благородный, сочувствуя горю ближнего, устранился... А было не «горе», а игра, коммерческий расчет...

Чегодаев, тяжело дыша, озадаченно смотрел на жену. Краска стыда сошла с его лица, и теперь бледность покрывала лоб и щеки. Только сейчас он понял, как глупо проговорился.

— В конце концов, это даже не столь важно, говорил ли тебе Небольсин или нет, — сбивчиво забормотал он, — важно то, что я действительно был готов на все, даже на то, чтоб вы встретились и... и... — Он сбился с речи под тяжелым взглядом жены.

— Не лгите, Иван Сергеевич, вы делали все продуманно, с расчетом. Вы знали, что я люблю его, знали и то, что Небольсин человек чести, и вы разыграли перед ним весь этот пошлый, отвратительный фарс...

— Неправда! Я делал это из любви к вам... — перебил ее Чегодаев.

— Из любви к себе, к своему чину, к положению богатого сановника... Не будем ребячиться, Иван Сергеевич. За четыре года нашей супружеской жизни я разобралась в вас. Карьера, путь в сановники, богатство и светская жена... Не будем обманывать друг друга, — повторила она и, вспомнив последние слова Небольсина, даже не замечая смолкшего генерала, с отчаянием повторила: — Оба мы, оба несчастные люди...

Не понявший смысла этой фразы, Чегодаев кивнул и облегченно сказал:

— Да, оба... но это пройдет, Евдокси, пройдет... и забудется, как только мы уедем с этого дикого Кавказа.

Прошло несколько минут в полном молчании. Было слышно, как в саду щебетали птицы.

Генерал успокоился.

— Не понимаю вас, мой друг... все какие-то мечты, настроения... Все у вас есть — и знатность, и положение, и богатство...

— Я — нищая среди богатств... — усмехнувшись, перебила его Чегодаева.

Генерал недоумевающе пожал плечами, не поняв горького смысла слов жены.

— Я уезжаю отсюда... Сделайте так, чтоб отъезд мой состоялся на днях.



На лице генерала изобразилось удовлетворение.

– О-о, это лучший выход, Евдоксия Павловна. Уедем мы вместе. Через пять-шесть дней я заканчиваю дела – и в Ставрополь...

– Я уеду в Петербург, – решительно заявила Чегодаева.

– Согласен... В Ставрополе я задержусь на месяц – и затем тоже в столицу и уверен, что кавказские переживания в столице рассеются как дым, – генерал учтиво поклонился и пошел навстречу показавшемуся в дверях есаулу Желтухину.

На другое утро, едва стенные часы пробили десять, вошедший в столовую казачок доложил:

– Ваше превосходительство, казачий офицер к вам.

– А-а, это Желтухин, точен как часы, – вставая из-за стола, сказал Чегодаев. – Зови!

– Куда это вы? – спросила Евдоксия Павловна.

– На конный рынок. Он обещал показать замечательных коней.

– А как же, Иван Сергеич, таких других нигде нету, хоть в Кабарде али на Дону поищите, – входя в комнату, сказал есаул. – Хозяюшке, вашему превосходительству, Авдотье Павловне, казачий салют и приветствие, – кланяясь, сказал Желтухин.

– Да не спешите вы на этот базар, не уйдут от вас хваленые кони, позавтракайте с нами... Кофе со сливками?

– И-и, барыня-хозяюшка, каки казаку сливки с кофеями... не казачье это дело – чай-кофеи пить. В другой раз чихирю у вас просить буду, а сейчас, – он махнул левой здоровой рукой, – спешить надо. Коней упустить можем, тута возля них и драгунские, и уланские офицеры толкуются, а про ремонтеров и не говорю... Спешить надо, Иван Сергеич.

– Иду, иду... Я вас только и дожидался. К обеду вернемся. Адье, ма шер, – целуя жену и надевая шляпу, сказал Чегодаев.

Сенная площадь находилась на окраине солдатской слободки, там, где начинались «ряды», отведенные для торговли ручным товаром, всякой рухлядью, поношенной одеждой и вещами. Место это носило звучное название «Нахаловка» и вполне соответствовало этому слову.

Конный рынок был разбит на площади, и торговля на нем происходила дважды в неделю – по воскресеньям и средам. Уже с утра на площади появлялись юркие фигуры перекупщиков, продавцов и лиц, по уговору с хозяевами коней набивавших цену. Усатые ротмистры и поручики, ремонтеры различных кавалерийских полков, степенные казаки, зеваки, солдаты, слободские жители ходили по Сенной, приглядываясь, прицениваясь к коням, а то и просто от скуки ведя праздные разговоры.

Шум, смех, говор, ржание коней, удары нагаек висели в воздухе на конном базаре с десяти утра до пяти часов вечера, после чего солдаты и квартальные разгоняли толпу.



Здесь часто попадались отличные кони, частью отбитые у горцев или уворованные в дальних станицах и затеречных слободах.

Чегодаев не пропускал почти ни одного торгова и, сблизившись с Желтухиным, считая его отличным конником, в последнее время все чаще и чаще приглашал к себе есаула.

— Хочу завести у себя под Тамбовом небольшой конный завод. Люблю коней, а там, в моем имении, есть все для создания горско-донской породы, — объяснил свое увлечение генерал.

На конном базаре группами и поодиночке проводили и показывали коней. Торговали главным образом казаки и армяне, хотя в толпе иногда встречались черные, смахивавшие на цыган люди. Коней было немного, но почти все породистые, хорошей стати и чистых кровей.

— Слюсаренко, — крикнул есаул, — веди сюда Зорьку!

— Зараз, ваше сокблагородье, — отозвался из толпы казак.

— Сейчас, Иван Сергеич, увидите. Золото, а не кобыла! Такую лошадь и в Москве, и в Петербурге не стыдно показать.

— Поглядим, поглядим, — предвкушая удовольствие, одобрительно сказал Чегодаев.

Слюсаренко уже вел на чумбуре Зорьку, провожаемую восхищенными возгласами лошадиников.

Кобыла была гнедой масти, не очень рослая, но несомненный карабах с красиво выгнутой шеей; тонкие бабки, налитые кровью, с чуть косящим взглядом глаза и еле заметная седловитость говорили о примеси арабской крови.

— Хороша кобылка... от такой, Иван Сергеич, у вас кони пойдут кровные, чистой породы. Гляди, каки у ей бабки, кака стать! — восхищенно говорил Желтухин, то с одной, то с другой стороны обходя и поглаживая спокойно стоявшую лошадь.

Кобыла действительно была хороша. Спокойная, ладная, она, чуть косясь на людей, игриво выгибала крутую шею, по которой поглаживал ее казак.

— Зовем ее Зорька, вашеприство, Зорька... Имя доброе. Ладно под седлом ходит... ни сбою, ни оступи... — расхваливал казак.

— Добрая кобыла. Вам ба, Иван Сергеич, ей в пару жеребца купить, чтоб приплод кровный был, — посоветовал Желтухин.

Чегодаев чуть поморщился. Он был расположен к этому «моветону», как за глаза, дома называл есаула, — но то, что гребенец упорно именовал его «Иваном Сергеичем», а не «превосходительством», коробило педантичного петербургского гостя.

— А тута, вашбродь, жеребец один есть... ух, сволочь, и ко-о-нь... — восхищенно протянул один из казаков. — Грудь — во, як каменна стена, сам ярый, беспокойный, копытом землю бьет, а глаза как у волка в загоне. Одно слово — огонь!



– Это у кого же? – осведомился Желтухин.

– А у приказного Ныркова... Он того коня у кабардинов отбил прошлым летом, когда Хапцев-аул брали... У ихова князя взял...

– Ну-у! И хорош жеребец?

– Огонь! Двум людям его на узде да цепи держать надо, – вставил кто-то.

– Чумовой, вашеприство, его на развод купите, не ошибетесь...

– Веди сюда, скажи, я приказал, – распорядился есаул. – Вам, Иван Сергеич, и впрямь такой под пару, от него добрый завод пойдет.

– Что ж, если подходящий, возьму... – подходя вплотную к Зорьке, сказал Чегодаев, осторожно поглаживая ее по холке.

– Да вы, вашеприство, не пужайтесь, лошадь смиренная, усе понимает, только что не говорит, – пошутил один из казаков.

– А я и не боюсь... Я коней разных сотни перевидел... и английских, и гунтеров, и скаковых... Просто люблюсь Зорькой... Действительно, хороша кобылка, – ответил генерал и, желая подчеркнуть свое спокойствие, стал обходить кобылу, то и дело похлопывая и поглаживая ее круп и точеные ноги.

– Картинка! – восхищенно сказал он. – А как у нее бабки, копыта?.. Нет ли козинца или шпата? – нагибаясь к задней левой, спросил Чегодаев.

Он в точности и не знал, что такое шпат и чем он отличается от козинца, но желал показать окружающим его казакам свою осведомленность.

– Не тянет ли на ходу ногу? – прощупывая суставы, спросил он.

– Откеда шпат... здорова, вашеприство, хучь на выставку веди... – начал было казак.

– Дяржи... дяржи его, сатану... зашибет насмерть!.. – раздались крики. – Тяни чумбур... не пуцай, но, зараза!..

Желтухин обернулся. Огромный грудастый жеребец, зачуйав кобылу, встал на дыбы и, мотая головой, рвался вперед. Свалив повисшего на недоуздке казака, он двумя скачками очутился возле беспокожно сжавшейся кобылы. Натянувшийся чумбур лопнул.

– Арканом его, аркан кидай! Не спущай ремня!.. – кричал кто-то возле.

– За ноздрю, за ноздрю его хватай...

– Сам хватай!.. Не видишь, сказался... забьет до смерти...

– Тяни назад, не пуцай к кобыле!

– Да не двужилый я!.. – наперебой кричали казаки.

– Швыдчей, швыдчей... мешок на морду...

– Сторонись, вдарит... – кричали люди.

Очутившись возле Зорьки, жеребец так неистово заржал, что кобыла рванулась в сторону и изо всей силы лягнула жеребца. Острые шипы ее подков ударили в лицо не успевшего отскочить Чегодаева. Он рухнул возле все еще испуганно лягавшейся кобылы.

На жеребца накинули аркан. Кто-то бил его плетью, другой тянул конец недоуздка к себе...



Есаул, забыв про раненое плечо, пытался вытащить из-под ног бесновавшегося жеребца уткнувшегося лицом в землю Чегодаева.

– Убил... убил человека...

– Не он... то кобыла... с переляку вдарила куды ни есть... – объяснял сбежавшимся людям кубанец-казак.

Зорьку отвели в сторону, подальше от все еще не утомившегося жеребца.

Чегодаева приподняли и перевернули на спину. Все лицо генерала было разбито. Один глаз уже затекал огромной сине-черной опухолью; другой, безжизненный и целый, был открыт.

Казак сняли папахи, солдаты картузы и молча стали креститься.

– По-о-мер, господи, царица небесная... – заплакала одна из баб, и тогда заголосили еще несколько женщин.

– Вот тебе и куповал коня... – озадаченно и некстати сказал Желтухин, с трудом стянув с головы папаху.

Весть о том, что лошадь «вбила генерала насмерть», уже разбежалась по слободке. Из хат и солдатских казарм бежали все, кого настигла эта весть, и скоро шумная толпа заполнила площадь, посреди которой лежал мертвый действительный статский советник Чегодаев.

## Глава 9

Огаревы сердечно встретили капитана. Как будто совсем недавно расстались они, но пропешшие два года сказались на коменданте. Виски его еще больше засветились сединой, под глазами легли темные круги, а лицо утеряло свежесть, которая недавно так молодила его.

Мария Александровна почти не изменилась. Она тепло приветствовала Небольсина, и очень скоро за столом завязался дружеский разговор. Капитан чувствовал, как искренне рады Огаревы его приезду, и тоже не таил радости от встречи с ними.

– Знаем, уже наслышаны всяких вестей о готовящемся набеге этого муллы... Ведь лазутчики, особенно ингушские, ежедневно привозят нам сведения о том, что делается в горах.

– И когда угмонится этот имам? – спросила Огарева.

– Я был у него, видел и говорил с ним, видел и его главных мюридов. – И капитан подробно рассказал о своей поездке к Кази-мулле. – ...И произвел он на меня впечатление немалое... Несомненно, человек большого ума, чести и недюжинных способностей.

– В том-то и беда, что это так. С другим мы б легко справились в месяц, купили или убили б его, – выслушав Небольсина, сказал Огарев, – а тут человек сложный, фанатик своих мыслей и идей... С ним миром, как этого хотел Вельяминов, не поладишь...



– А как мои друзья Абисалов, Туганов и другие осетины? – поинтересовался Небольсин.

– Все здесь, ожидают вас, ведь мы знали, что вы будете в крепости, рапортчику от Пулло получили еще неделю назад. Готовимся, готовимся... Сейчас у нас гораздо больше войск, чем два года назад, и осетинские сотни, теперь их уже пять, и армянская пехота, не говоря уже о гарнизоне и частях, возвращающихся из Закавказья. Вчера пришли к нам и вскоре пойдут на линию батальон Куринского полка, дивизион драгун, четыре сотни грузинской милиции. Их я спустя неделю направлю к Грозной.

– Куринцы? – оживившись, спросил Небольсин.

– Да, два батальона уже давно прошли на Дагестанскую линию, а третий пойдет к вам. Я его задерживаю здесь на случай, если ваш приятель имам вознамерится напасть на крепость. А почему вас так заинтересовало это?

– Дело в том, Николай Гаврилович, что в этом полку служит, а может быть, служил мой побратим и близкий сердцу человек, поручик Гостев. Он вместе с полком был послан на минувшую турецкую войну, и я вот уже два года тщетно навожу справки, где он, жив ли, может быть, погиб, ведь куринцы были в самом пекле войны.

– Да... полк отличный. А вам, конечно, никто ничего не ответил? – улыбнулся Огарев.

– Никто. Ни из полка, ни из штаба корпуса.

– Обыкновенная история, – сказал полковник. – Но сейчас мы это узнаем. Дежурный! – крикнул он.

В комнату поспешно шагнул солдат.

– Пройди, любезный, в офицерскую половину и пригласи ко мне майора Кислякова, командира третьего батальона Куринского полка. Ты меня понял?

– Так точно, вашсокбродь, майора Кислякова до нас, – гаркнул солдат.

– Именно «до меня», – засмеялся Огарев. – А теперь поведайте, Александр Николаевич, как жили в Грозной, как там новый командующий... Кстати, я недели две назад получил от генерал-лейтенанта, – он подчеркнул «лейтенанта» – Корвин-Козловского письмо. Вы знаете, что он произведен?

– Знаю, Ольга писала об этом, но я слышал, что на днях и вы будете превосходительством? – улыбаясь, спросил капитан.

– Кажется... и боюсь, что тогда придется уезжать из этих мест и от полюбившихся мне здешних народов.

– А как вы, Мария Александровна, довольны ли будете отъезду?

– Нет, Александр Николаевич, мы сжились с местным обществом, среди осетин у нас добрые и искренние друзья: Шанаевы, Хетагуровы, Тугановы. Ведь главное – это люди, которым веришь и которые любят





тебя. Нет, я готова еще пять лет пробыть полковницей, но остаться в этой ставшей для меня милой крепости.

— Это пока я еще не генерал, а как произведут, ее превосходительство, — смеясь, пошутил Огарев, — немедленно пожелает переехать в столицу. Между прочим, у нас там, в Грозной, целый взвод генералов — и армейских, и гвардейских, и казачьих...

— Есть даже один штатский, — вспоминая Чегодаева, улыбнулся Небольсин.

— Это действительный статский советник из Ставрополя? Я не видел его, но знаю, что и он находится у Вельяминова. Как видите, мне здесь делать будет нечего.

— Разрешите войти, господин полковник? — раздался за дверью голос.

— Входите, входите, майор, ждем вас, — поднимаясь с места, сказал Огарев.

В комнату, звеня шпорами, вошел худой, высокого роста офицер.

Небольсин еле заметно улыбнулся, глядя на огромные звездчатые шпоры пехотного майора, которому по уставу вовсе не полагались такие, но капитан знал любовь пехотных офицеров к звенящим, громыхающим за квартал шпорам.

— Познакомьтесь, майор Кисляков Геннадий Иванович, а это — гвардии капитан Александр Николаевич Небольсин.

Пехотный майор крепко тряхнул руку Небольсину.

— Очень рад!

— Вот, господин майор, представитель генерала Вельяминова, гвардии капитан Небольсин прибыл к нам с оказией из Грозной. Как вы уже знаете, этот лжеимам Кази-мулла снова готовит набег на линию, в том числе и на нашу крепость. По распоряжению штаба командующего линией вы временно задерживаетесь у нас.

— Так точно, я извещен о сем, — коротко сказал майор.

— Так вот, не угодно ли вам послушать, что доложит нам офицер штаба.

— С превеликим удовольствием, — поклонился Кисляков.

Небольсин вкратце повторил то, что только что рассказывал Огаревым. Комендант молчал, а майор то и дело согласно кивал.

— Господа, возможно, что вы вместе станете отражать набег этого мошенника, — сказал комендант, когда Небольсин закончил свой доклад. — А теперь, уважаемый Геннадий Иванович, выпьем по стакану вина за хороший исход дела и поведайте капитану о его друге и побратиме, офицере вашего полка поручике Гостеве.

Небольсин коротко рассказал майору о поручике Гостеве и о тщетных поисках своего названного брата.

— Гостев... Э-э... как же, да кто у нас в полку, а то и в бригаде не знает Порфирия... Этого орла все знали. Он под Карсом, а затем под Байбуртом со своей ротой важно отличился. Ему за Каре — Владимира, а за Бай-



бурт – штабс-капитана дали. А то, что не отвечали вам из нашего полка о нем, понятно... Ведь нет уже Порфирия...

Небольсин вздрогнул.

– Убит он? – с беспокойством спросил Огарев.

– Зачем убит? – спокойно сказал майор. – Жив он, жив, только нет его уже в нашем полку. Его, как храброго и образцового офицера, по приказу самого графа, – он поправился, – светлейшего князя Варшавского Паскевича в Эриванский гренадерский имени его светлости полк перевели... в поощрение и пример другим, как образцового офицера.

– Где же он сейчас? – облегченно спросил Небольсин.

– А там, где-то под Тифлисом, не то в Манглисе, не то в Белом Ключе их полк расквартирован. Полк гренадерский, имени самого светлейшего, на виду у Петербурга. Гостеву повезло, да-алеко пойдет наш Порфирий.

– Он и стоит того... Георгиевский кавалер, человек честный, благородного сердца, храбрый... – подтвердил Небольсин.

Вечером к нему пришли кунаки – Туганов, Абисалов и еще двое осетин, с которыми он познакомился в тот незабываемый день, когда в его честь в ауле был устроен кувд.

Уже три дня жил Небольсин в крепости, присутствуя на учениях частей гарнизона, принимая участие в репетициях отражения врага.

На военном совете офицеров гарнизона было решено: в случае появления мюридов не дожидаться их за стенами укрепления, а сильным отрядом выйти навстречу и в поле в маневренном бою отбросить горцев.

«Наступать самим, идти в поле, а уж в случае неудачи отойти под защиту крепости», – решил совет.

Небольсин почти весь день проводил вне крепости, иногда ночуя в ротах выдвинутой вперед пехоты, а чаще у своих осетин. Пятисотенная конная осетинская милиция вела наблюдение за Военно-Грузинской дорогой и производила разведку в сторону ингушского урочища Назрань. Казаки Владикавказского полка делали то же самое, но на левом фланге крепости, ведя разведку в сторону Тарских хуторов, ингушских аулов Экажево, Базоркино и Сурхахи. Пешие осетинские сотни усилили гарнизон села Ольгинского и возвели укрепление по реке Шалдон. Драгуны и донские казаки составляли кавалерийский резерв, а батальон куриnceв, две роты апшеронцев, грузинская конница и армянская пешая дружина вместе с «женатыми» ротами и молоканской самообороной были расположены в крепости, составляя ее главный резерв. Окрестные осетинские аулы были готовы к встрече мюридов и тоже возводили завалы и копали рвы вокруг своих сел.

Прошло уже десять дней, но из Грозной не было приказания возвращаться назад; напротив, Вельяминов писал полковнику Огареву, чтоб они собрали в кулак все наличные силы крепости.



«По данным лазутчиков, лжеимам уже спустился с Аварской возвышенности и намеревается броситься со своим скопищем на Грозную и Моздок...» Далее генерал сообщал о том, что из Темир-Хан-Шуры в тыл мюридам и «для отвлечения их удара на линию» сформированы два отряда генерала Коханова и полковника князя Аргутинского-Долгорукого.

Несмотря на то что тревожная военная обстановка не давала возможности углубляться в свои мысли, Небольсин часто думал о Чегодаевой. «Мы больше не встретимся...» – вспоминались ему прощальные слова Евдоксии Павловны, и грусть охватывала его.

Из Грозной еще не было оказии, и «десять-двенадцать» дней давно исekali. Шла четвертая неделя пребывания Небольсина во Владикавказе.

Наконец на двадцать третий день из Грозной по постам летучей почты Огарев получил пакет Вельяминова для пересылки его нарочным в Тифлис.

За обедом комендант рассказал о письме, полученном им от генерала.

– Все говорит о том, что мы накануне нападения мюридов. Все господа офицеры, посланные из Грозной по крепостям, станицам и в Моздок, пока остаются на местах, – обращаясь к Небольсину, сказал Огарев.

Капитан кивнул, понимая, что сейчас им, конечно, надо было находиться на месте.

Вскоре Небольсин и Туганов ушли.

Уже собираясь прилечь на получасовой отдых после обеда, комендант, что-то вспомнив, сказал жене:

– Да-а, этот казначейский чиновник, что привез пакет и завтра отбывает в Тифлис, как его... не то Соловьев, не то Соловцев... сообщил мне, что дней пятнадцать назад кого-то из знатных гостей Вельяминова убила лошадь... Представляешь себе, Мари, картину... если это, конечно, правда.

– А кого именно, какого гостя? – поинтересовалась Мария Александровна.

– Он не помнит фамилии, да и мудрено ему знать, ведь у генерала всегда десятки разных гостей, порой даже неведомых ему самому. Эта привычка у Алексея Александровича осталась еще с Тифлиса, с ермоловских времен, – и комендант отправился спать.

Утром казначейский чиновник отбыл в Тифлис, и о происшествии в крепости Грозной было забыто.

Новые, более сложные дела возникли на линии.

## Глава 10

Как это всегда бывало, наступление имама, хотя его ждали всюду, началось внезапно.



Кази-муллу ждали под Науром, готовились отразить нападение на Грозную, укрепляли Моздок, предполагали набег со стороны Гудермеса, а мюриды тремя быстрыми летучими колоннами спустились с гор и через Малую Чечню, минуя русские форпосты, ночными переходами подошли к Грозной. Одна колонна переправилась через Терек между станциями Павлодольской и Новоосетинской, ею командовал Гамзат-бек; другая, под начальством Шамиля, ринулась к Грозной; третья, под водительством Кази-муллы, скрытно пройдя западную часть Чечни, маршем через леса вышла к аулу Датых и, присоединяя к себе силою оружия ингушей, пошла через Назрань к крепости Владикавказ.

Но как ни скрытно двинулись мюриды в поход, об их выступлении знали генералы Вельяминов, Коханов и Розен, зорко через своих лазутчиков следившие за всем, что делалось в горах.

По русскому плану, заранее составленному в Тифлисе и одобренному Петербургом, «скопище» (как официально именовалось войско имама) следовало пропустить вглубь русских линий, дать им переправиться на левый берег Терека, заманивая слабым сопротивлением все дальше и дальше, а затем, захлопнув ловушку, концентрированным ударом со стороны Владикавказа, Грозной, Моздока и Темир-Хан-Шуры уничтожить противника.

– Началось! Теперь с помощью Бога и русских солдат Кази-мулла пошел в мышеловку, которую уготовили ему мы, – сказал Вельяминов, получив ранним июльским утром донесения из нескольких источников о выступлении мюридов.

– Сейчас самое время пройтись по оставшимся без мужчин аулам, сжечь посевы, вырубить сады, угнать скот, взять аманатов, а когда разбитые на линии мюриды побегут обратно, покончить с ними на их же дорогах, – отдавая приказ выступить в горный Дагестан, сказал Коханов.

Казачки кипятили смолу и воду, держа их в котлах возле завалов; семейные роты, усиленные армянскими и осетинскими добровольцами, несли внутреннюю охрану; на дорогах патрулировали конные разъезды драгун, казаков и грузинско-осетинской милиции. Мирные кумыки вместе с людьми шамхала создали пятисотенный полк. Ханша Паху-Бике заняла своими отрядами дороги на Унцукуль – Гимры – Гергемиль.

Конные эскадроны князя Аргутинского вошли в Леваши и соединились с лакским ополчением и кавалерией ханши. Аулы, находившиеся на пограничной полосе, выжидали, боясь и мюридов, и русских.

В крепость Владикавказ прибыли четыре с половиной сотни осетинской конницы. Еще триста человек пехоты влились в батальоны крепостной обороны. Ингуши из окрестных аулов Базоркино, Экажево и других



в составе трех сотен пришли в конном строю. Казаки Владикавказского полка, молодежь станиц и хуторов потянулись к крепости.

Если вторжение Кази-муллы для штабов русских войск было в какой-то степени внезапным, то оно не было таковым для простых людей, от рядового казака, «женатого» солдата до аульского жителя-осетина.

Запылали сигнальные костры. Пересекая по тропам горы, спешили пешие, скакали конные дозоры. Летучая почта и наблюдательные посты своевременно обнаружили движение мюридов, и всюду русские части, подкрепленные местным населением, выступили навстречу горцам.

Утром на военном совете Огарев предложил:

– Вечером, ровно в шесть, выходим под Назрань. Лазутчики и разведка донесли, что партия горцев тысячи в полторы-две, меняя в аулах коней и имея заручных, спешно идет на крепость. Нам нечего ждать их за стенами Капкай, у нас достаточно сил, чтобы встретить противника в поле и нанести ему поражение. Казаки в составе пяти сотен под командой войскового старшины Сухова пойдут влево от дороги Владикавказ – Назрань, при них будут два орудия и четыре фальконета; за ними следом двинется девятая рота егерей. Пункт, где они соединятся и будут ждать мюридов, вот здесь, – Огарев на карте показал место, – вот тут, на возвышенности, у хутора Белх. Здесь уже находятся около ста конных ингушей под командованием зауряд-прапорщика милиции Куриева. Задача вашего отряда, – обратился он к Сухову, – мешать маршу на крепость главных сил имама, тревожить их нападениями во фланг и, не ввязываясь в серьезный бой, отвлечь на себя часть горцев...

– Разрознить их, – коротко сказал Сухов.

– Именно. Ослабить... А когда мы нанесем по их главным силам удар, немедленно атаковать с фланга и пройти по тылам войск имама. Они этого не любят и сейчас же повернут назад. Вам, есаул Коцоев, – обратился он к пожилому, подтянутому офицеру, – и вашим храбрым осетинам я придаю тоже два орудия легкой батареи и две роты егерей. Справа от вас будут три сотни дигорской конницы сотника Туганова и батальон Куринского полка под командой майора Кислякова. Куринцы – надежные солдаты, только-только вернувшиеся с турецкой войны. Думаю, что шайкам лжеимама не поздоровится, когда они встретятся с куринцами и осетинской конницей.

– Сделаем, что можем, – коротко сказал есаул Коцоев.

– В центре, на Назрановской дороге, в стороне Алхан-Чурта, буду я с главными силами. Кто бы первым ни принял бой: мы или наши левый и правый отряды – держитесь стойко! У меня достаточно резервов, семь орудий, казачья конница, мы непременно опрокинем имама. Это его последняя ставка, силы его разрознены, часть ушла на Моздок, другая – под Грозную. Нас здесь больше, за нами – крепость, с нами артиллерия,



удобные позиции. У них же нет тыла, нет пушек, ингуши ненавидят их. Так как, товарищи, как говорил Ермолов, сомнем мюридов, не допустим их к Капкаю?

– Нас послали наши матери и отцы, как же мы пропустим к ним врагов? Кази-мулла никогда не дойдет до Осетии, – решительно сказал Туганов.

– Не дойдет и до казачьих хуторов и станиц, – поклялся Сухов.

– Дойдет до своей могилы! – заключил майор Швейковский, которого на время своего отсутствия Огарев назначил комендантом крепости.

– А как вы думаете, Александр Николаевич? – поинтересовался Огарев.

– Конечно, имаму не победить нас. Этот налет от отчаяния... – сказал Небольсин.

– Именно! Так сказано и в приказе генерала Вельяминова, где нам указываются наши боевые действия. А куда вас, с кем бы вы хотели быть в эти дни? – спросил Огарев.

– С моими друзьями осетинами, – указывая на Туганова, ответил Небольсин.

– Правильный выбор, я не сомневался, что в бою вы будете с вашими кунаками и побратимами, – закрывая военный совет, сказал Огарев.

## Глава 11

Правофланговая партия мюридов, насчитывавшая тысячу сто всадников, под командой Гамзат-бека перемахнула через приграничную полосу, разделявшую богатые пастбищные луга мирных чеченцев и казачьих станиц. Прodelав ночной рейд в шестьдесят верст, партия рассеклась на две части. Одна, свыше восьмисот всадников, прячась в зарослях густого камыша, окаймлявшего берега Терека, незаметно для казачьих постов и пехотных секретов приблизилась к Моздоку. Переплыв под утро реку, она вышла между станицами Павлодольской и Новоосетинской и затаилась в густом лесу. В этих диких девственных чащобах, в высоких кустах орешника, дикого кизила, терна и шиповника укрылась от казачьих глаз партия, возглавляемая Гамзат-беком. Дальше начинались дремучие леса из бука, дуба и ивняка, почти вплотную подходившие к неширокой дороге, проложенной вдоль берега реки и соединявшей все станицы от Моздока до Прохладной. За станицей Черноярской шел Ставропольский тракт, который через станицу Екатериноградскую соединял Петербург и Москву с Владикавказом и Грозной.

В Екатериноградской располагались пехотный батальон Тенгинского полка, два легких орудия и местные казаки сотни численностью до шестисот человек. В Черноярской и соседней с нею Новоосетинской



русской пехоты не было, не имелось и орудий. Эти станицы защищали осетины, которых насчитывалось триста одиннадцать человек. Постоянную связь с казачьей линией несли конные разъезды, пешие секреты и летучая почта.

Триста мюридов, отделившихся от отряда Гамзат-бека для того, чтобы скрыть движение главных сил, рано утром, не таясь, вышли из зарослей ниже Моздока и с ходу атаковали солдатские посты возле хуторов Веселый, Осетинский и форпост «Верный». Завязав огневой бой, зарубив нескольких не успевших уйти в укрытие солдат, мюриды подожгли хаты поселенцев и, обтекая Моздок, подались в сторону Ногайской степи. Гарнизон Моздока попробовал было настичь горцев в поле. Однако подполковник Сипягин, боясь оставить город беззащитным и понимая, что мюриды, возможно, ведут лишь демонстрацию, велел казакам и вышедшей в поле пехоте обстрелять орудийным огнем горцев, но самим не удаляться в степь. Казаки дважды сходились в пашки с отдельными группами мюридов, но серьезного дела не было, и это еще больше утвердило Сипягина в предположении, что мюриды не тут готовят главный удар.

«Отвлекающий маневр», — решил он и на всякий случай послал конные разъезды из станиц Луковской и Павлодольской, приказав павлодольцам связаться с новоосетинскими и черноморскими сотнями. К вечеру предположения подполковника получили некоторое подтверждение.

Пешая армянская рота из самообороны города вместе с двумя сотнями донских казаков скрытно подобралась по оврагу к небольшому отряду горцев и обстреляла их. На помощь разбежавшимся горцам бросились мюриды из резерва Гамзата. Они пошли в пашки, но донцы встречной конной атакой смяли их. Длинные стальные пики донцов разметали мюридов, вооруженных одними кинжалами и пашками, а вторые и третьи казаки шеренги с налета рубили смятых пикинерами горцев. Армянская самооборона залпами и частым огнем преследовала бросившегося вспять противника.

Девятнадцать убитых и семеро раненых попали в руки донцов. Из опроса пленных выяснилось, что горский отряд — это вовсе не основные войска имама, а абреки, чеченские байгуши, несколько ногайских и кумыкских бродяг, словом, только те, кто присоединился к горцам по пути их следования.

«Ложное движение, отвлекающий маневр», — уже не сомневался подполковник Сипягин и, послав донцов преследовать разбитых абреков, сам двинулся на помощь Новоосетинской станице, откуда прискакали гонцы, уведомившие о нападении Гамзата всеми своими силами.

По тревоге больше половины гарнизона Моздока выступило через Луковскую на помощь осетинам-казакам.



Как ни осторожны были мюриды, как ни скрытно шли они по казачьей стороне, пройти восьмисотенной лавине незамеченной оказалось невозможным. Сторожевые посты станиц Павлодольской и Новоосетинской обнаружили большую партию горцев, прятавшуюся в зарослях Терека на левом берегу.

Сейчас же задымились, запылали сигнальные костры, на курганах появились наблюдатели, летучие посты связались со станицами Чернойрской, Екатериноградской и Приближной.

Всегда находившиеся в положении боевой тревоги, казаки этих станиц приготовились к отражению горцев. Первый удар мюридов пришелся на станицы Новоосетинскую и Чернойрскую. Ранним июльским утром посты новоосетинцев заметили высыпавшее из лесной чащи трехсотенное скопище горцев. Мюриды в конном строю ринулись на малочисленную разведку осетин. Дав с коней залп, новоосетинцы отступили к завалам и рвам, окружавшим станицу. Часть мюридов спешила и бросилась на завалы. Здесь были лучшие части Гамзата, его личная охрана, составленная из близкой родни и тех аварцев, которые пошли за ним, покинув Аварию и ханшу Паху-Бике. Здесь были шестьдесят лучших джигитов из Унцукуля, Гопатля, Апильты и Иргиноя; тут были наездники из Елисуя, Табасарани, Ботлиха; беледы из горной Чечни; абреки и аширеты из Тарков; кумыки, порвавшие с родиной и своими близкими из-за любви к вольной походной, полной приключений жизни, которую им давал газават. Пешие мехтулинские воины с криками «алла», не обращая внимания на огонь из-за швалов, уже добежали до рвов, окружавших Новоосетинскую. Еще вчера перед вечерним намазом Гамзат-бек передал благословение на победу и приказ имама разгромить обе станицы отступников-иров<sup>1</sup>, осмелившихся отклонить обращение имама вернуться к мусульманству и перейти на сторону газавата.

Защиту Новоосетинской несли сто семьдесят человек, которыми командовал есаул Елбаев. Станица эта была хорошо укреплена и некоторое время даже без помощи соседей могла бы выдержать натиск мюридов. В эту ночь в ней находилась еще и охотничья команда Бутырского полка в составе тридцати семи человек, шедшая из станицы Прохладной в Грозную. При первой же тревоге солдаты вместе со своим прапорщиком Ковтуном и с новоосетинцами бросились к завалам. Смешавшись с казаками, солдаты открыли огонь по пехоте и коннице горцев.

Мюриды, не ожидавшие встретить здесь русскую пехоту, остановились, затем попятились, видя, как из леса на них пошли в атаку конные казаки. Это соседи, чернойрцы, во главе с хорунжими Тускаевым и Бучкиевым на галопе вовремя подоспели к бою.

<sup>1</sup> Осетины, на языке чеченцев и дагестанцев.





На левом крыле сражения мюриды дошли до завалов и частично овладели ими, но новоосетинцы ударом в пашки и ружейным огнем выбили их. Тут дрались даже женщины-осетинки. Особенно отличились две, Гопушти-Ага и Мистолати-Сона, мужественно сражавшиеся в первых рядах защитников и погибшие в рукопашном бою.

Завидя подошедшую помощь со стороны Чернойярской, казаки и солдаты бросились на отступавших мюридов. Горцы, оставив несколько убитых, повскакали на коней и понеслись к лесу.

Победа казалась полной. Соединившиеся отряды новоосетинцев и чернойярцев в свою очередь в конном строю ринулись за бегущим противником. Они нагнали замешкавшихся мюридов и вломились в их арьергард, рубя отступающих. Осетинские «Тох!» и «Марга!»<sup>1</sup> смешались с «алла» горцев.

На плечах бегущих осетины проскакали лес, дальше начался густой камыш. Он стеной стоял слева и справа, шурша своими желтыми мохнатыми верхушками. Его высокие, выше человеческого роста метелки качались по ветру. Казалось, не было ни конца ни краю этому камышовому морю, и только далеко, верстах в трех, снова темнел густой зеленый лес.

Осетины ворвались в камышовую чащу и понеслись по неширокой дороге вперед. Лишь те из мюридов, которые успели соскочить с коней и пешими нырнуть в желто-зеленую камышовую чащобу, уцелели.

И вдруг грянул залп: один, другой, третий... Передние конники повалились с седел, а из камышовых зарослей, ломая стебли, высыпала находившаяся в засаде огромная партия мюридов во главе с Гамзат-беком.

Сзади и по бокам запылали камыши, огонь быстро охватил всю территорию, по которой только что так победно пронеслись казаки.

Теперь и офицеры, и осетины станиц Чернойярской и Новоосетинской поняли, как ловко завлекли их в засаду две-три сотни мюридов, специально для этого брошенных в ложную атаку Гамзат-беком.

Вся восьмисотенная партия горцев с трех сторон обрушилась на небольшой русский отряд. Отступать невозможно, рассыпаться тоже, кругом огонь, камыши, смерть. И осетины-казаки, поняв это, решили биться насмерть, веря, что помощь соседних станиц подойдет.

Начался бой, о котором генералом Вельяминовым в отдельном донесении было сообщено в Петербург и Тифлис.

Огонь уже перекинулся на кустарник, и едкий дым, треск сучьев, языки пламени полукольцом охватили сражавшихся, отрезанных от тыла осетин.

Площадь, на которой рубились противники, была невелика, но за спиной горцев были лес, нетронутый камыш и спокойные воды Терека, в то

<sup>1</sup> В бой! Убивай!



время как осетины были отрезаны от станиц пламенем все разгоравшегося на ветру пожара.

– Тох!.. Тох!.. Алла!.. Марга!.. – вливалось в лязг и звон рукопашной, в пистолетную стрельбу.

Ржали кони, стонали раненые, хрипели умирающие. Стена огня позади, железное кольцо мюридов впереди. Под ударами мюридов погиб есаул Елбаев, пал хорунжий Тургиев, умирал простреленный двумя пулями прапорщик Жидаев, а с ними больше сорока изрубленных, расстрелянных в упор осетин. Но бой шел все с той же яростью. Вахмистр Латиев с тридцатью конными пробился вперед и, зарубив значкового мюрида, захватил наибовское знамя самого Гамзата. В рукопашной пал знаменитый чеченец Авко, пал и кумык Шамсутдин – гроза притеречных станиц. С надвое разрубленной головой свалился с коня мулла Эски, один из самых приближенных к имаму людей. За зеленый значок наба шла ожесточенная рубка, звенели папечные удары. Латиев сшиб с коня панцирного всадника и с размаху рубанул его по железной сетке, защищавшей шею и грудь. Удар его был так силен, что панцирник упал без сознания, и мюриды оттащили его вглубь камышей.

– Убит... убит наиб... пал Гамзат-бек... – пронеслось среди дравшихся мюридов.

Эти две-три минуты растерянности и оторопелого оцепенения спасли казаков. Через еще не охваченные огнем камыши, ломая сучья и подминая чакан, бежали русские солдаты. Их птыки блестели под солнцем и в пламени пожара.

– Ура-а! – раздалось еще ближе, и павлодольские казаки вместе с ротами подполковника Сипягина кинулись наперерез войску Гамзата. Одно за другим ударили орудия, две картечницы, затем ракетницы и снова картечь. Солдаты, кто стоя, кто на бегу, стреляли в бросившихся врасыпную мюридов. Часть партии пустилась вплавь и на конях на правый берег Терека, другие скрылись в лесу и чаще кустов, откуда открыли огонь по русским.

Самого Гамзата, все еще не пришедшего в себя, сразу же переправили на другой берег Терека. Его панцирная рубашка в двух местах была порвана, и только шлем, погнутый ударом вахмистра Латиева, спас наба от смерти.

Боясь оставить Моздок незащищенным, подполковник к вечеру отвел своих бутырцев и батарейцев обратно в город. Станицы Черноярская и Новоосетинская погрузились в горе и печаль. За один день ожесточенного боя казаки-осетины этих станиц потеряли убитыми восемьдесят одного человека из трехсот одиннадцати, защищавших родной кров<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> И поныне на стыке дорог, как раз на середине пути, стоит памятник «Цахди-Мардта», поставленный жителями этих станиц в память об этом бое и во славу героев, отдавших свои жизни (Прим. авт.).



Отойдя верст на семь от крепости, отряд разделился: левая его колонна пошла в сторону Сурхахи; другая, под командованием Огарева, направилась к Алхан-Чурту; третья, самая малочисленная, повернула вправо, к ингушскому хутору, где их поджидали сотня терских казаков и сто двадцать ингушских добровольцев.

Два легких орудия и два фальконета двинулись впереди пехотного батальона майора Кислякова. Пять сотен осетинской милиции и сотня казаков скакали за пушками. Казачьи и осетинские разъезды охраняли путь следования отряда.

Шли не спеша, делая частые остановки, проверяя дорогу. Встречные ингуши охотно делились слухами о приближении имама, но количества мюридов и их расположения никто не знал. Ингуши неодобрительно отзывались об имаме, о насилиях, которые, по их словам, чинили мюриды в некоторых ингушских аулах, и о том, что почти вся молодежь, боясь насильственной мобилизации, разбежалась по окрестным лесам.

К вечеру отряд прибыл к хутору, где его встретили казаки и ингушские всадники, также толком не знавшие о силах вторгшихся к ним мюридов.

Небольсин с офицерами обошел расположившийся на холмах отряд. Пушки были выдвинуты на гребень холма, фальконеты установлены справа от них, пехота заняла дорогу и перекресток, на котором сходились пути от Назрани и Алхан-Чурта. Возле хутора майор Кисляков расположил свой штаб. Сейчас же конные казаки и осетины, сопровождаемые несколькими ингушскими всадниками, поскакали для установления связи с головным отрядом Огарева.

Теперь вся лощина, оба холма и перекресток дорог были плотно заняты русскими. Солдаты двух рот несли охранение, другие уже начали окапываться, строя из камней и земли завалы.

Все было так однообразно, знакомо и так привычно, что Небольсину стало скучно.

«Марионетки! И мы, что окапываемся здесь, и те, что наступают сюда с имамом», – подумал он.

Ротные офицеры ходили среди солдат, то покрикивая, то вполголоса отдавая приказания. Конные казаки и осетины, спешившись, глазели на саперов. Артиллеристы, подкопав под пушками землю, поднимали хоботы пушек, видимо, готовя свои грозные орудия к навесной стрельбе. Несколько пеших осетин, не ожидая приказания, смешались с солдатами и тоже принялись копать ров, валить деревья и возводить завалы. На холме развевался батальонный значок, драбанты натягивали палатку, вбивая колышки и подтягивая веревки.

– Вашсокбродь, вас командир батальона просют, – подходя к капитану, доложил солдат, – Они возля палатки дожидают.

Небольсин кивнул и пошел к холму, на котором стояла небольшая белая куполообразная палатка майора Кислякова.



– Закусим, господин капитан, выпьем чайку с ромом, – вводя Небольсина в палатку, сказал майор. – А тем часом и приказание от полковника придет. Садитесь, – указывая на большой бесформенный валун, предложил он.

Долина была полна жизни, движения, звуков. Стучали топоры и молотки, сверкали под лучами солнца лопаты и кирки. Слышались голоса солдат, ржание передравшихся коней, возгласы офицеров, руководивших наспех создаваемыми фортификационными укреплениями.

– Что задумались, господин капитан? Может, сомневаетесь, выдержим ли натиск этого имама? – услышал Небольсин голос майора. – Выдержим! У нас есть все, а главное – пехота, чего у этих голодранцев и в помине не водится. А в нынешней войне пехота да пушки решают дело.

– Да, конечно! – все еще находясь под впечатлением своих дум, односложно ответил Небольсин.

– А эти «улюлю-лю» да «алла», которыми башибузуки и курды стращают нас, одна чепуха! – Майор махнул рукой. – Мы, бывало, подпустим их на залп, они скачут, размахивая клинками, да орут, а мы подпустим их шагов на сто пятьдесят-сто да ка-а-ак ахнем залп... один, другой. Затем солдатики, как на учении, влево и вправо бегом – раз... а за ними батареи, да на картечь. «Огонь, беглый... гранатный, картечь!..» – а пехота уже их с флангов огнем кроет. Тут не то что янычары, а сам сатана с турецким султаном и те потеряют голову. А картечь рвет тех, кто еще уцелел... Тут и казакишки наши, донцы – те в пики атакуют, а терцы – те в шашки... По-о-теха!

– Ну, а если прорвутся на вас? – любопытствовал капитан.

– Бывало и так, случалось, – спокойно продолжал майор. – Под Гасан-Калой они на наши батальоны в клинки пошли... почти до вагенбургов прорвались, а тут каре. Знаете, то самое пехотное каре, что еще Наполеон изобрел... Поди возьми его, когда весь батальон, как еж, штыками оцетинился, а остальные прицельный огонь по коннице ведут. Дело, прямо скажу, для нее гнилое... Вон ваш дружок и побратим Порфирий Гостев, тот под Байбургом, когда генерала Бурцева убили, построил каре, в середине два орудия и вагенбург из повозок создал, шесть раз на него в атаку курды и сувары турецкие кидались, а он их легко, как ребят малых, отбрасывал... Четыре часа продержался, пока помощь с генералом Устиновым не пришла. Штабса и Станислава за это получил наш Порфирий... Э-э, чегой-то за горой пыль поднялась, видно, казаки с донесением скачут, – прерывая себя, сказал Кисляков и быстро зашагал к группе офицеров, тоже наблюдавших за все приближающимся пыльным столбом.

«Вот человек, которому все ясно: и его дело, и его назначение, и зачем он находится сейчас здесь, и что будет делать через час или день...» – по-



думал Небольсин, глядя вслед энергично шагавшему майору, и пошел за Кисляковым.

Двухтысячный отряд мюридов, которым командовал Шамиль, появился в лесу возле Грозной. Хотя задача Шамиля была ограниченной – отвлечь внимание русских от главных сил имама, пошедших на Владикавказ, – тем не менее горцы своими передовыми частями ввязались в бой с шестьюсотенным полком, составленным из казаков Червленной и Щедринской станиц. К казакам немедленно присоединились триста наурцев<sup>1</sup> и два дивизиона драгун с тремя легкими орудиями. Командовавший отрядом генерал Федюшкин без труда отбил наскоки кавалерии мюридов, а подполковник Стенбок-Фермор с драгунами рассеял передовую колонну Шамиля. Бутырский пехотный батальон и «женатые» роты бросились в штыки на гору Таур-Даг, где расположился штаб Шамиля, но до боя дело не дошло. Узнав, что генерал Вельяминов выступил из Грозной наперерез войску имама, Шамиль, послав донесение Кази-мулле, отступил из-под Грозной.

Ночью самовольно направились в Дагестан около трехсот всадников, услышавшие о том, что русские со стороны Темир-Хан-Шуры вторглись в горы и угрожают их родным местам.

К полудню следующего дня бежали даргинцы и жители горной Чечни. Однако хуже всего было то, что почти все аулы Малой Чечни и чеченцы, жившие вблизи пограничной полосы, не только не присоединились к мюридам, но даже запретили им входить в селения.

А вечером к Шамилю присоединились отряды, так неудачно атаковавшие Моздок и две притеречные осетинские станицы. Привезли и Гамзат-бека. Он пришел в сознание, но был крайне слаб. Чувствовалось, что наibu нужны отдых и покой.

Шамиль снова послал донесение имаму, не скрывая провала начатой операции и разброда в войсках. Всю ночь он ждал ответа, но от имама не было ничего. К утру еще сто с лишним человек ушли из отряда. То были кумыки, кабардинцы и насильно мобилизованные ингуши.

Небольсин присоединился к офицерам, внимательно следившим за появившимся из-за холма казачьим разъездом.

Впереди скакал офицер, за ним человек двенадцать терцев. Коня тяжело дышали. Пена на удилах и лоснящиеся от пота бока говорили о том, что казаки проскакали немало верст.

– Где майор Кисляков?! – еле сдерживая танцующего, горячившегося коня, крикнул казачий офицер.

– Здесь я, а вы откуда, хорунжий? – выступая вперед поинтересовался Кисляков.

<sup>1</sup> Казаки терской левобережной станицы Наурской.



– Хорунжий Яицков, Владикавказского полка. Вам приказ и донесение от полковника Огарева, – соскакивая с коня, доложил прибывший офицер.

Казаки разом спешились и, разминая затекшие ноги, стали выводить своих разгоряченных коней. Кто-то попросил воды.

– Та-ак! – читая бумагу Огарева, сказал майор. – Значит, не выгорело под Моздоком, ожглись и под Грозной... Господа, – обратился он к офицерам, – казаки и гарнизон Моздока здорово погромили мюридов. Сам Гамзат не то убит, не то ранен в рукопашной.

Гул одобрительных возгласов покрыл его слова. Солдаты, так же как и офицеры, жадно слушавшие майора, заговорили разом.

– Тише, тише! – поднимая руку, приказал майор. – Что это вам, турецкий майдан или армянский базар?.. Слушайте дальше. – И он громко, внятно прочел: – «Другая колонна мюридов, осмелившаяся приблизиться к Грозной, отброшена в горы Чечни. Армия лжеимамы рассыпается, из нее бегут куда попало. Сам Кази-мулла отрезан отрядом генерал-лейтенанта Вельяминова, перекрывшего все пути горцам к бегству. По данным лазутчиков, имам отводит свое скопище назад, уже и не помышляя о нападении на Владикавказскую крепость. Нам приказано догнать его отступающие арьергарды и завязать с ним бой, но, – майор поднял палец и отдельно прочел, – не доходя до ингушского урочища Назрань, остановиться и дальше не преследовать. Отряд генерала Вельяминова и казачьи полки Грозной сами закончат уничтожение имама. Постояв не более суток под Назранью, вам надлежит присоединиться к главному отряду, который подойдет туда завтра. Объявите всем господам офицерам, казакам и солдатам благодарность за молодецкую службу. Полковник Огарев».

– Вот оно что! – почесывая щеку, проговорил артиллерийский поручик. – Значит, возможно, и боя не будет, и с Козою не встретимся.

– Напрасно землю рыли, камень таскали... – засмеялся кто-то из солдат.

– Не напрасно, солдату все на пользу, вроде как ученье, да и кто знает, может, этот Кази со страху да с отчаяния на нас наплет, – поучительно сказал майор. – А теперь по местам! Ко мне вызвать осетинского сотника с офицером и ингушского прапорщика с сорока всадниками.

– Так как же, господин капитан, – обращаясь к Небольсину, продолжал майор, – пойдете в поиск со своими осетинами или утречком нагоним их под Назранью?

– С ними, – коротко ответил Небольсин.

– Тогда – с Богом! Вон и осетинские офицеры спешат сюда.

Сотник Туганов с Абисаловым и прапорщиками Хадзагаровым и Газдановым подошли к ним.

Майор прочел им приказ Огарева и, дав указания, сказал:



— А теперь — в путь! Держитесь не далее чем на семь-восемь верст от нас. Через каждые два часа — донесение; ежели ввяжетесь в бой, не зарывайтесь. Помните, вас всего ничего, а мюридов много. Командовать будете вы, капитан, как офицер штаба, а также руководить боем в случае чего. — Кисляков подумал и решительно продолжал: — Даю вам полусотню терских казаков. Они народ тертый, бывалый, не подведут.

Через полчаса две с половиной сотни осетин, сорок ингушей и около шестидесяти казаков на мелкой рыси выбрались из лагеря, где все еще стучали молотки, сверкали лопаты и росли, по-видимому, ненужные завалы.

Майор Кисляков с вершины холма помахал Небольсину и скрылся в палатке.

Впереди шли смешанные дозоры из ингушей и казаков. Осетины несли боковые охранения. Разъезд из двадцати ингушских всадников умчался вперед.

Солнце садилось за лес, когда небольшой отряд русских приблизился к развилке дорог, ведущих на Назрань. И только здесь впервые он встретил две арбы и нескольких конных ингушей, от которых прапорщик Куриев узнал, что нигде поблизости и даже за самой Назранью нет ни одного мюрида.

Еще в полдень Кази-мулла повернул назад свое воинство и, обходя Назрань форсированным маршем, увел его куда-то в сторону Датыха. Прискакавшие дозорные доложили, что из Назрани навстречу отряду выехали старики.

— Они просят, чтобы русские не входили в аул. Ни чеченцев, ни дагестанцев нет. Они бежали еще днем.

Небольсин остановил свой отряд в поле, обещая ингушам не приближаться к Назрани. Обезопасив себя караулами и дозорами, маленький русский отряд расположился на ночевку в двенадцати верстах от Назрани.

Боевая обстановка похода, тревожная ночь в степи, ответственность за вверенный ему отряд вытеснили все недавние мрачные думы Небольсина, и чувство разочарованности, и навеванную им меланхолию... Небольсин снова стал строевым кавказским офицером, четким распорядительным командиром, требовательным к себе и подчиненным. Трижды за ночь он то с сотником Тугановым, то с караульными начальниками обходил посты, выставленные впереди отряда.

Звездная ночь до самого утра была тихой и спокойной. Луна неясно озаряла поляну, дороги, лесок.

В Назрани еле слышно лаяли собаки, да иногда ночные птицы тревожно перекликались в лесу.



Уже посветлело. Восток стал покрываться алеющей, все разрастающейся, светящейся грядой, когда Небольсин наконец прилег возле крепко спавшего Абисалова.

Через час его разбудили. Солнце поднялось над степью. Белели сходившиеся на поляне дороги, вдали темнел лес.

От майора прискакал разъезд. Полковник Огарев велел всем возвращаться к головному отряду. Кази-мулла со всем своим ополчением бежал в горную Чечню, и только отряд Вельяминова настиг где-то за Грозной небольшую фланговую группу мюридов и уничтожил ее.

Неуспех задуманной имамом экспедиции был полный. Русские войска возвращались в Грозную, Темир-Хан-Шуру и Владикавказ.

## Глава 12

Оказия подходила к Грозной. Впереди, как обычно, шли казаки, за ними батальон Куринского полка, позади телеги и возы с цивильными, торговцы, несколько армянских семейств. На двух фургонах везли товары для лавок Грозной. Словом, обычная картина.

Небольсин и майор Кисляков уютно расположились в крытой молканской мажаре. Возле майора лежало несколько арбузов и дынь, и он поочередно лакомился ими.

Небольсин молчал, думая о Грозной. Там ли еще Евдоксия Павловна?.. Он вспоминал прощание... «Быть может, события последних недель задержали ее в крепости? Вряд ли Вельяминов, не говоря уже о самом Чегодаеве, позволил ей покинуть Грозную в столь тревожные дни», — думал он.

— Не хотите ли дыньки, сладкая да сочная, — прервал его раздумье майор.

— Спасибо, — беря кусок дыни, поблагодарил капитан.

Теперь, когда Кази-мулла бежал обратно в горы, путь на Грозную, как и на другие крепости, был совершенно безопасен. Провал планов имама сразу же сказался на горцах. Притеречные аулы, лесные хутора, даже отдаленные селения вроде Шали, Цецен-аула и Гойт притихли. Ожились торговцы и меновые конторы.

«Вероятно, уехала, — все еще думая о Евдоксии Павловне, решил Небольсин. — Да и Чегодаеву уже нечего делать в Грозной...»

— А во-он и крепость, — высываясь из мажары, сказал майор. — Скоро и валы покажутся. А ну, стой! — приказал он вознице. — Надо на коня, да перед строем... Там нас, наверное, уже ожидают... — Он вылез из фургона, надел на сапоги шпоры.

— Велите, господин майор, подвести и моего коня, — попросил Небольсин, выбираясь из глубокой мажары.





Вскоре они на конях ехали впереди рот. Батальонные барабанщики дробно выбивали «поход», трубачи драгунского дивизиона заливисто играли: «Всадники-други, в поход собирайтесь», а пехотные запева- лы грянули:

*Пышет-пышет царь ту-ре-е-цкай,*

*Пышет ру-у-ус-скому царю-ю...*

И роты громко и согласно подхватили:

*«Всю Рас-сею за-во-юю,*

*Сам в Рас-се-е-ю жить пойду...»*

Из крепости навстречу бежали люди. На валах, размахивая картуза- ми, сновали солдаты.

Грянула крепостная пушка, было ровно двенадцать часов.

Оказия подошла к Грозной.

– Заждался вас, Александр Николаевич. Спервоначалу обеспокоился, да спасибо Алексей Сергеичу, он рассказал, что все господа офицеры мо- гут задержаться...

– А где он сам? – спросил Небольсин.

– Здесь. Они тоже два дня как вернулись в Грозную, – сказал Сеня. – Барыню в Ставрополь отвозили...

– Какую барыню? – удивился Небольсин.

– Генеральскую жену, что... – начал было Сеня, но вошедший в комнату Булакович крепко обнял капитана.

– Ну, все, слава богу, в сборе, – сказал он. – Как ездилося? У вас, ка- жется, до дела не дошло?

– Не дошло. Имам даже не встретился с отрядом Огарева. А куда вы...

– Наладили басурмана так, что он и от Грозной вспять кинулся, – за- смеялся Сеня.

– Полный крах! Но все-таки я не понял, кого вы отвозили в Ставро- поль? – глядя на Булаковича, спросил капитан.

– Евдоксию Павловну, по личному поручению генерала Вельяминова, а оттуда ее генерал Горголи взял на свое попечение...

– Ничего не понимаю... А где же сам Чегодаев?

Сеня отвернулся, а Булакович с удивлением глядел на Небольсина.

– Как где? Разве вы не знаете, что произошло?

– Ничего не знаю. А что случилось?

– Погиб он... чуть ли не на второй день после вашего отъезда.

Небольсин неподвижно уставился на Булаковича.

– Чеченцы?

– Какой там «чеченцы»!.. Кабы они, а то кобыла зашибла до смер- ти, – сказал Сеня и стал торопливо рассказывать ошеломленному Не- больсину, захлебываясь от возможности первым поведать эту ужасную новость.

Небольсин посмотрел на Булаковича.



– Очень жаль, что не смог предупредить об этом раньше, – сказал прапорщик, – но... – он пожал плечами, – событие это так взволновало всех, о нем так много говорили, что я был уверен...

– Нет... ничего не знал... Не знали об этом и у Огарева, – с трудом произнес Небольсин.

Сеня тихо вышел из комнаты. Булакович молчал. Небольсин растерянно огляделся и сел на стул.

– А что дальше? – наконец спросил он.

– Уложили в железный гроб, запаяли, отпели... Все были потрясены нелепой смертью...

– А она? – тихо перебил Небольсин.

– Оцепенела... была словно в трансе. В эти часы я мало видел Евдоксию Павловну, но спокойствие ее было трагичным и вызывало опасения у докторов. Я на следующий день должен был уезжать в Моздок, как вы и остальные штабные офицеры, однако вечером меня вызвали к генералу, и он оставил меня здесь, поручив сопровождать Чегодаеву в Ставрополь.

– Ничего не знал... И как это во Владикавказе не слышали об этом? – пожимая плечами, сказал Небольсин.

– Эти дни я был возле Евдоксии Павловны, – продолжал Булакович. – Странное, удивительное состояние охватило ее. Говорила спокойно, держалась ровно, отдавала приказание слугам, на лице ни кровинки, а между тем...

– Что?

– Я два раза видел ее плачущей... В первый раз вхожу, а она стоит в саду у дерева, знаете, там толстые такие, тутовые, обхватила его руками, плачет... Я тихо-тихо попятился назад, не заметила меня... да, видно, и заметить никого не могла, так безысходна и глубока была ее печаль. Вернулся через час – опять она спокойна, рассудительна, глаза сухие, впечатление такое, словно ничего с нею и не было... А второй раз – это уже когда мы уезжали. Гроб с покойным генералом крепостные люди и конные драгуны еще утром увезли. Ехали мы в дорожном тарантасе. Провожал ее весь здешний бомонд: Вельяминов, Таубе, Пулло, Ключе, конечно, с женами. Офицеры в мундирах, при орденах и касках... Драгунский оркестр играл что-то грустное, словом, на всех легла печать прощания и печали... И даже тут Евдоксия Павловна держала себя мужественно и твердо: ни слез, ничего показного, что обычно бывает в таких случаях на людях.

Поехали мы, остались одни только казаки конвойные. Оглянулась она назад, а Грозная еле видна, как заплачет, как заплачет, закричит, знаете, как деревенские наши бабы с жизнью прощаются...

Я молчу, что могу сказать, да и сам потрясен, понимаю, что наконец-то в ней горе и слезы наружу выбились... Молчу... Знаю, после этого ей



легче станет. Иногда только краешком глаза гляну на нее, а она съежилась, собралась в комочек и то молчит, а то с новой силой, с каким-то отчаянием плачет... Потом стихла. Замолчала, но слез не вытирала, забыла, видно, про них... Так мы и доехали до первой остановки.

А через шесть дней после выезда из Грозной добрались до Ставрополя...

– О чем она говорила в пути? – спросил капитан.

Больше молчала, думала о чем-то, иногда чуточку оживлялась! Она любит вас, Александр Николаевич, – вдруг сказал Булакович.

Небольсин молча смотрел на него.

– Да, любит, – повторил прапорщик. – Я это знал и раньше...

– Она спрашивала обо мне?

– Ни разу... Да и зачем?

Оба замолчали.

– Александр Николаевич, я вам белье достану, солдаты тут баньку разожгли, – появляясь в дверях, предложил Сеня.

– Через полчаса, – вздохнув, сказал Небольсин. – А потом что было?

– В Ставрополе уже знали о несчастье. Ну, встретили Евдоксию Павловну чиновные люди, ведь покойный был начальством и по тамошним понятиям – вельможей. Я передал генералам Горголи и Гейдену письма Вильяминава. Снова панихида, отпевание и прочее. Четыре дня провела она в Ставрополе...

– Утомило ее все это?

– Конечно, но была сдержанна, почти спокойна и, когда уезжала, просила поблагодарить всех в Грозной за помощь и участие.

Они снова замолчали.

– А вы не сходите в баньку, Алексей Сергеич?

– Охотно... Достань, Сеня, и мне белья, – ответил Булакович. – Перед отъездом я попросил ее передать в Москве письмо моей матери. Она любезно согласилась, но... это уж... лишнее... – подыскивая слово, закончил Булакович.

– Почему лишнее? – думая о Евдоксии Павловне, спросил Небольсин.

– Два дня назад, по приезде в крепость, я нашел письмо на мое имя от доктора, пользовавшего мою мать... Она умерла, – неестественно ровным голосом сказал прапорщик.

– Агриппина Андреевна? – пораженный новостью, спросил Небольсин.

– Да, уже больше полутора месяцев назад... В те самые дни, когда мы с вами были у имама, – продолжал прапорщик.

Небольсин провел ладонью по лицу. Все было так неожиданно, так внезапно, что он растерялся.

– А вот и ваше белье, Алексей Сергеич, идите в баньку, разогрели ее в самый раз... Там и пар, и полук, и венчики, – снова входя в комнату, сказал Сеня.



– Идемте, Александр Николаевич. Жизнь устроена так зло и непонятно, что удивляться ее сюрпризам нельзя, – сказал Булакович.

### **Глава 13**

Прошло два дня, а Небольсин все никак не мог опомниться от впечатления, произведенного смертью Чегодаева.

Рассказ Булаковича об отъезде вдовы генерала, о ее окаменевшем лице и тайных, скрытых от всех слезах не давали покоя капитану.

Время шло, а боль не утихала, тем более что, встречаясь с генеральшей Кохановой, женами Пулло и Ключе фон Ключенау, он невольно вспоминал Евдоксию Павловну и все, что окружало ее в те недавние, но уже безвозвратно далекие дни. О Чегодаевой, как и о самом генерале, здесь не говорили. Частые смерти на кордонах, набеги горцев на линию, ежечасная опасность и постоянные тревоги приучили всех недолго рассуждать о погибших, а тем более о такой необычной смерти, какая постигла петербургского гостя.

Темой разговора были неудача и бегство в горы имама.

А события тем временем развивались.

Из Петербурга за подписью князя Чернышева пришел приказ всеми имевшимися у барона Розена силами в самые ближайшие недели начать наступление на Гимры и покончить с газаватом. Император Николай поручал Розену лично возглавить этот поход.

Наступала золотая кавказская осень. Желто-зеленые леса, еще густые фруктовые сады теснились вокруг станиц. Обильный урожай винограда, арбузов и дынь радовал казаков. Всего было в изобилии; от пшеницы, проса и овса ломились переполненные закрома. Станичные общественные амбары с отборным, про запас, зерном были набиты донельзя. Овцы, свиньи, поросята – в хлевах. Индюки, куры, гуси гоготали во дворах... Табуны молодых коней паслись возле станиц. Ароматы сухого вишня, яблок, наливок, варенья и соленья вились над хатами. Вина – пей не хочу, хоть залейся чихирем и брагой!.. Наступила пора давить виноград. Молодой маджар и начинавший бродить в чанах чихирь рекой разливались по селам, хуторам и станицам линии. Тут бы готовить гулянки, вести танцы, начинать свадьбы... а вместо этого готовься казак на «орду», иди в горы, добивай басурманов...

И сытая казацкая злость охватила станицы... Злость, подогреваемая прошлыми разбродами и обидами и усиленная частыми походами войск. Казаки были сыты, пьяны, разгульны. Недавняя бескровная победа над мюридами разъярила их, особенно же тех, кто считал, что гололобые мешают казацкой вольнице и русским поселенцам спокойно и богато жить на этих благословенных землях.



– Теперь не полютуют! – грозя в сторону гор, говорили есаулы.  
– Теперя дела к расчету идет... – повторяли казаки.  
Август подходил к концу.

В Мехтуле произошел случай, какого не бывало уже несколько лет. Жители двух нагорных аулов перебили посланных к ним Гази-Магомедом мюридов, повесили наиба Хас-Магому и с оружием в руках напали на отряд, высланный против них Шамилем.

К ним присоединились другие аулы, и вся Мехтула восстала против имама и обратилась к русским за помощью. То же произошло и в Казаницах.

Небольсин только что вернулся от полковника Пулло. По тому, как спешно и необычно штаб выполнял приказания генерала, было видно, что экспедиция в горы будет совершена на днях. Небольсин писал указания начальникам дистанции, когда кто-то подошел к его столу.

– Здравствуйте, майор, рад вас видеть, – поднимая голову, сказал капитан, увидев Кислякова.

Майор был в полевой форме, при каске и шарфе.

– Я тоже... Хотя и недолго были вместе, а полюбились вы мне, Александр Николаевич, – просто ответил Кисляков. – Пришел проститься.

– Уходите?

– Так точно. На заре мой батальон идет на тот берег Терека, а там – по станицам к Кизляру, догонять полк. Зашел прихватить письмо к Порфирию, вашему побратиму. Их полк уже прошел Наурскую, идет к Николаевской.

– Как полк? Разве и эриванцы здесь? – удивился Небольсин.

– А как же! Разве барон Розен оставит в такие дни эриванцев? Они были с ним, только он с кавалерией – сюда, а они походным порядком к Внезапной. Готовьте письмо Порфирию, я его, соленого черта, разыщу, и письмо передам, и о вас наскажу всякого.

– Спасибо, дорогой майор, сейчас напишу. Вы присядьте пока. – И Небольсин быстро написал: «Дорогой мой друг и брат Порфирий! Я снова на Кавказе, уже два года. Искал тебя всюду, узнал, что ты за Тифлисом, писал неоднократно. Спасибо майору Кислякову, он рассказал о тебе. Поздравляю с чином и наградами. Служу в штабе при генерале Вельяминове, надеюсь, вскоре увидимся, так как генерал пойдет с главной колонной, с ним буду и я. Найду тебя, брат и друг, вспомним незабываемые дни 26-го года. Обнимаю. Твой Саша Небольсин».

Капитан заклеил облаткой письмо и, охваченный воспоминаниями, молчал.

– Передам ему в самые руки, да еще за ваше здоровье выпьем, – услышал он голос майора.



– Скажите, что я обязательно найду его в походе, а выпьем мы тогда втроем, – улыбнулся капитан, пожимая руку Кислякову. – До скорой встречи. Вы очень, очень прищлись мне по душе.

– Оба солдаты, и оба на Кавказе, – крепко тряхнув руку Небольсина, ответил майор и, взяв письмо, скорым шагом вышел из штаба.

Главнокомандующий Кавказским корпусом барон Розен через Владикавказ прибыл в Грозненскую крепость.

Донские казаки, дивизион нижегородцев и три конные сотни грузинской дворянской милиции сопровождали его. Вместе с бароном прибыли генералы Вревский, Малинов и Бебутов.

Грозная военным парадом и оркестрами встречала начальство. На следующий день военный совет из семи генералов и одиннадцати полковников почти целый день заседал в резиденции барона Розена, кстати сказать, находившейся в том самом особняке купца Парсегова, который недавно занимали Чегодаевы.

Теплые августовские вечера были полны шума, гомона, жизни. Подолгу горели плошки, озаряя улицы. Конные казаки и ординарцы скакали по дорогам, увозя распоряжения совета. Обозы шли по левой, затерченной стороне, от станицы к станице. Внезапная и Темир-Хан-Шура заполнились людьми. Днем и ночью не прекращались передвижения русских войск, все ближе подходивших к предгорью дагестанских хребтов.

Горцы внимательно следили за ожившим русским лагерем.

– Завтра я отправляюсь с подполковником Ключе. Наш отряд через Чечню идет к Гиграм.

– А я через два дня с отрядом Пулло на Леваши и оттуда тоже на Гигры, – сказал Небольсин.

– Александр Николаевич, я человек не сентиментальный, наоборот, скорее сухой, аналитического склада ума... жизнь и ее уроки сделали меня скептиком и научили думать о вещах и людях без идеализации...

– К чему все это? – спросил Небольсин.

– А к тому, что единственный человек, кому я верю и готов быть другом и братом до конца дней, – вы. И не только потому, что выкупили у чеченцев и устроили мою судьбу здесь, конечно, и потому, но главное, Александр Николаевич, за то, что близки вы мне по духу, прищлись по душе так, как те очень немногие, с которыми в декабре двадцать пятого года я вышел на Сенатскую площадь.

– Полноте, Алексей Сергеевич, куда мне до этих святых людей! – пытался остановить его Небольсин.

– Они не святые, они чистые, – взволнованно продолжал Булакович. – У меня была мать, теперь ее нет; нет и не было у меня брата или сестры. Я совершенно одинок, и если б не вы, я б... – он замолчал, подумал и тихо признался: – Я не жил бы... не дорожил жизнью... Зачем мне она?



Небольсин обнял его.

— Остались один вы, Александр Николаевич. Я вижу в вас друга, брата, единомышленника, и это придает мне силы. Прошу вас, берегите себя. Смешно говорить это боевому офицеру, идущему на войну, но просить вас беречь себя буду.

— Дорогой мой, спасибо за приязнь, за братскую тревогу обо мне. Будем оба беречь себя.

— Будем! — коротко сказал Булакович.

— Как вы думаете, погибнет имам и его газават в этом походе?

— Наши силы огромны. Три-четыре колоннами мы идем. В истории и в жизни людей ничего не случается вдруг и внезапно. Существуют исторические законы, по которым из толпы всегда в нужную минуту выдвигается человек, объединяющий отдельные, разрозненные, порою даже запутанные идеи в одно целое. Особенно это относится к религиозным войнам. В случае гибели имама все повторится сначала.

Утром в Грозную пришла оказия.

Из Петербурга от Ольги и Надин было письмо, в котором кузины писали ему о разных столичных новостях, заканчивалось оно следующей фразой: «Весной будущего года Модест и мы по советам врачей едем на два месяца на Кислые Воды. С нами приедет и Евдоксия Чегодаева, с которой после смерти ее мужа мы сдружились еще больше. Прими от всех общий поклон».

Небольсин улыбнулся.

«Отвечу, когда вернусь из Гимр», — подумал он и, положив письмо в ящик стола, запер его на ключ.

В десятых числах сентября по приказу барона Розена почти три четверти действующего корпуса тремя колоннами двинулись в горы. Кавалерия Аргутинского-Долгорукова и пехотные части егерей остались в Левашах. Отряды аварской ханши Баху-Бике без боя заняли дороги на Гимры, и казаки Кизлярского полка поднялись на Ханусский перевал.

Без сопротивления вся кумыкская низменность и предгорья Аварии и Чечни оказались в руках русских.

Мехтулинское общество признало власть русского царя. Даргинцы и лаки присоединились к ним. Владелец Кази-Кумуха Аслан-хан и таркинский шамхал продвинули свои войска вглубь горного Дагестана.

Все, кому надоела война и кто разуверился в победе имама, тайно и явно отходили от него.

Генерал от инфантерии барон Розен во главе большого шеститысячного отряда направился в Темир-Хан-Шуру; Клюге фон Клюгенау пошел по Малой Чечне, держа направление на Акуши и Гимры; Вельяминов, которому было поручено общее командование походом на Гимры, во гла-



ве центральной четырехтысячной колонны двинулся из Грозной в Дагестан. Конница Аслан-хана, татарская милиция и грузинские сотни, соединившись с кавалерией ханши, тесня малочисленные группы мюридов, шли на Гимры.

Розен остался для общего руководства в Темир-Хан-Шуре. Русские не спеша, медленно, осмотрительно двигались вперед, почти без сопротивления занимая встречные аулы.

Часть горцев отступила, остальные переходили на сторону русских, выдавая аманатов.

К двадцатому сентября русские с трех сторон заняли ущелья и горы, окружавшие Гимры. Все дороги, связывавшие Гимры с Чечней и горными обществами Дагестана, были перерезаны.

Началась блокада Гимр.

## Глава 14

Был отдан приказ орудиям двигаться в глубь гор. Артиллеристы везли туры, фашины, доски, железные крюки – все то, что в скором времени должно было пригодиться войскам при штурме Гимр.

По своему географическому положению Гимры были почти недоступны. Окруженное ущельями, опоясанное скалами и неприступными хребтами, это горное селение недаром было выбрано Гази-Магомедом как последнее убежище.

Три тысячи защитников собрались в ауле и на подступах к нему. Лучшие, храбрейшие из храбрых, они дали клятву умереть, но не допустить русских в аул.

«Только дождь может упасть с неба на Гимры, русским же никогда не дойти сюда», – сказал Гамзат-бек своим войскам, выдвинутым на западный склон горы Калау.

Внизу бежал горный поток, оба берега которого занимали шестьсот пеших мюридов; на хребте Калау расположился лагерь Гамзата, насчитывавший еще пятьсот человек.

Скалистую вершину правого берега Сулака занимали Шамиль и чеченский белед Умар с пятьюстами мюридами. Гимры находились от этого места приблизительно в четырех верстах дикого, хаотического нагромождения скал. Косогоры, обрывы, скопление нависших камней, водопады и стремительные горные ручьи, а подо всем этим ущелья с темными провалами между скал.

Единственная тропинка вела отсюда к Гимрам. Она была крута и узка, то терялась меж камней, то снова появлялась над кручами. Облака низко шли над горами. Утренние туманы, ветер и резкий осенний воздух подчеркивали суровое величие гор.





Уступы, крутизна, обрывы и, наконец, высеченные из камня переходы и ступени образовывали этот единственный путь в Гимры. Кое-где горцы перебросили над пропастями лестницы, шаткие, колеблющиеся, по которым могли пройти лишь пешеходы, да и то поодиночке. Встречались и такие места, где пятьдесят-шестьдесят шагов приходилось перепрыгивать с камня на камень. Наконец тропа спускалась к ущелью, окруженному отвесными, дикими скалами. Отсюда по ущелью тянулась уже сравнительно сносная дорога на Гимры. Здесь горцы построили три каменные стены и ряд завалов, преграждавших наступающим путь. За завалами залегли триста пеших лезгин, аварцев и чеченцев, на скалах сидели стрелки.

11 октября генерал Вельяминов начал наступление из аула Коронай через хребет и аул Акуши.

В ночь на 20 октября войска левого фланга по приказу Ключе фон Ключенау имитировали ночную атаку. Забили барабаны, заиграли рожки, раздались залпы, загорелись фальшь-огни, и, сидя под прикрытием скал, под навесами утесов, солдаты Апшеронского и Елизаветпольского полков с криками «ура» опоясали хребты Гимринских скал залпами ракет.

И тотчас же отовсюду посыпался град камней, обломков скал, пудовых валунов. Камнепад длился около двух часов, и все это время русская пехота, изопрямая в хитрости, создавала впечатление идущих на штурм колонн. Запасы камней, заготовленных горцами, иссякли, и тогда разведчики-осетины и грузины дали две зеленые сигнальные ракеты.

Пехота Ключе перешла в наступление.

– Русские окружают Гимры, остались лишь две дороги, не перерезанные этими нечестивцами, да проклянет их Аллах, – входя в саклю, сообщил старшина.

Гази-Магомед молчал.

– Какие? – спросил Шамиль.

– На Тилитль и Игали.

– Готовы женщины и старики? – осведомился Гази-Магомед.

– Да, имам. Все дети и больше половины женщин ожидают твоего приказа.

– Пусть сейчас же идут, пока русские не закрыли и эти пути.

– Пусть уходят и старики... Им здесь нечего делать.

– Не все хотят уходить. Разрешите нескольким из них войти, они ждут твоего слова.

– Я сам выйду к ним, – сказал Гази-Магомед и, сопровождаемый Шамилем и старшиной, вышел на улицу.

Уже смеркалось. Горы сумрачно окружали аул. Веяло холодом, темнота быстро сходилась на землю.



Перед мечетью стояла толпа. Здесь были женщины – старые и молодые, некоторые из них держали на руках детей; другие, постарше, жалась к матерям. Несколько стариков сняли папахи при виде имама.

– Я с вами, братья, и с вами тоже, – обращаясь к женщинам, сказал Гази-Магомед. – Зачем меня позвали?

– Имам... аул окружают русские. Мы хотим, чтоб наши дети и жены ушли вовремя отсюда. Нам легче будет сражаться с неверными, если будем знать, что семьи наши в безопасности, – выступая вперед, сказал один из мюридов.

– Детей жаль, имам... Зачем им видеть то, что будет завтра... Пусть уходят, иначе наши руки будут связаны.

– Имам, мы верим, святой человек, что русские не войдут в Гимры, но дети – наша жизнь, будущее народа. Решай сам, как поступить: уйти нам с детьми или остаться с мужьями?.. Как рассудишь, учитель, так и будет, – сказала высокая, полуседая женщина, и остальные повторили:

– Как скажешь, имам.

Несколько десятков мюридов, местных и пришельцев из других аулов, молча ждали ответа.

Горы уже затянуло темной пеленой, кое-где зажглись огни.

– Женщинам, всем женщинам с детьми сейчас же надо уходить на Тилитль. И старикам тоже... Все, кто не в силах держать оружие, уходите. Именем пророка и во славу нашего святого дела разрешаю уходить... – громко сказал имам.

Наступило молчание. Потом всхлипнули несколько женщин, кто-то истерически зарыдал, заплакали дети.

– А ты, имам? Разве ты останешься здесь? – тихо спросили из толпы.

И опять наступило молчание. Было слышно, как дышали сотни людей, жадно ловя ответ имама.

– Я остаюсь здесь, братья. Уйдут только те, кто не в состоянии держать оружие. И довольно слов... Уходить надо теперь же, пока русские не закрыли дороги.

– Имам, что будет с тобой, если проклятые ворвутся в Гимры? Кто заменит тебя? – с беспокойством и тревогой выкрикнула женщина, что спрашивала его.

– Делай свое дело, Салтанет... Уходи сейчас же и уводи остальных. Я не для того позвал на газават ваших сыновей и мужей, чтобы в тяжелые дни оставить их. Спешите, и да будет вам Аллах защитой в пути, – закончил Гази-Магомед и пошел по тропинке, белевшей среди камней, вверх к позициям, занятым караулами и отрядами.

С вершины скалы, нависшей над дорогой, далеко была видна вся местность.

– Что, братья, какие вести?.. Далеко гяуры? – спросил имам, присаживаясь возле мюридов, наблюдавших за тропинками, ведущими на Коронай.



– Русские идут с запада.

– И с востока тоже... Их солдаты вчера заняли Хидатль...

– Говорят, будто они тащат сюда и свои Богом проклятые пушки.

Правда ли это, имам?

– Пушки сюда не дойдут, – уверенно ответил Гази-Магомед. – По таким кручам и обрывам русским не пройти... Будьте только преданы святому делу, не спите, наблюдайте за путями и... не берегите себя... Каждый, кто умрет в бою с неверными, уже через день будет у подножия Аллаха...

– Газават... Алла Аллагу! – ответили мюриды.

Гази-Магомед поднялся и долго смотрел в ту сторону, откуда ожидалась русские.

– Аллах с нами... и пророк не оставит нас, братья, – наконец произнес он и пошел обратно к аулу.

Никто из сопровождавших его людей не произнес ни слова.

Когда они подошли к мечети, женщин и детей уже не было. Не пожелавшие уйти из аула толпились на площади.

Наступало время ночного намаза.

– Братья, настало время намаза, исполним его. Помолимся, чтоб Аллах даровал нам победу, – предложил Гази-Магомед.

Скупая осенняя луна озарила ночную площадь, на которой молились мюриды.

Гимры молчали. Не было обычного шума, предшествующего сну. Одни сакли были брошены, в других еле теплились огни. Там коротали ночь те, кто должен был утром сменить посты.

Собаки беспокойно и испуганно тявкали по дворам.

В сакле старшины расположился штаб имама. Туда время от времени приносили донесения от отрядов, занявших дороги, тропинки и проходы вокруг Гимр.

Прибыли посланцы от Гамзат-бека, занимавшего своим пятисотенным отрядом Сулакское ущелье.

«Русские не спешат, они медленно движутся с трех сторон. Их пешие части уже соединились возле Иргиноя... Их много... может быть, тысяч семь», – доносил Гамзат.

На улице и во дворах спали мюриды. Оставленные жителями сакли были заполнены ими. Кое-кто бродил по аулу. На площади горели костры, возле которых грелись караулы и те, кому не удалось найти места в саклях.

С окраины села потянуло печеными лепешками и чуреком. Это не пожелавшие уйти женщины пекли чеченские и лезгинские лаваш и варили хинкал. То там, то здесь мелькали искорки и с характерным посвистом звенела сталь. Это коротавшие ночь без сна мюриды точили кинжалы и пашки. Некоторые тихо переговаривались между собой.



Иногда во сне кто-то выкрикивал невнятные слова, и опять тишина охватывала площадь, улицу и аул Гимры.

Гази-Магомед и Шамиль сидели на простом, потертом паласе. Утомленный заботами, старшина заснул в углу.

– Тебе надо было уйти, имам. Напрасно ты остался... Что будет с нами, если ты погибнешь?.. – тихо и тревожно говорил Шамиль.

– Останется газават, останутся люди... А теперь ложись спать, русские близко, и нам нужен отдых, может быть, завтра его не будет, – заворачиваясь в овчинный тулуп, ответил имам.

Полковник Пулло вел третью группу войск. Всю ночь по одному, по двое пробирался по ущелью его отряд. Старослуживые солдаты, отлично знавшие повадки и тактику горцев, волонтеры, не раз ходившие в дальние походы, шли впереди. С ними двигались осетинские и грузинские пешие команды, умевшие ходить по крутизнам и ориентироваться в любой обстановке. Они несли штурмовые лестницы, веревки, крючья. Ноги большинства из них были обуты в мягкие козловые чуваки, сапоги офицеров подбиты гвоздями или шипами. Гранатометчики и отличные стрелки шли вместе с осетинами, бесшумно карабкаясь по скалам и откосам, откуда спускали веревки, по которым взбирались и остальные. Разобранные пушки на себе тащили батарейцы. Лотки с ядрами, картечью и порохом передавали из рук в руки. Под огнем засевших на крутизнах мюридов целый день медленно, безостановочно двигался отряд Пулло, шаг за шагом, сажень за саженью приближаясь к Гимрам.

Аул был недалеко. Огонь горцев усилился, все чаще осетинам и грузинам приходилось вступать в рукопашную, сбивая засады и заслоны на своем пути. Тропинки, по которым вот уже третьи сутки пробирался отряд, то уходили ввысь, туда, где царили орлы и низко над головами плыли облака, то неожиданно спускались вниз, теряясь в камнях или исчезая под низвергающимися водопадами.

Пулло, особенно ненавидимый горцами, хорошо знал местность, по которой вел свой отряд. Он здесь не впервые. Еще при Ермолове, в чине майора, пешком прошел от Акушей до Гимр, заноса на топографическую карту рельеф и общую конфигурацию местности, тропинки, естественные препятствия. Теперь эти уроки пригодились ему.

Небольсин, шедший с осетинами впереди пехотных рот, с восхищенным изумлением смотрел, как осетины и грузины, словно козы перескакивая с камня на камень, перепрыгивая через трещины и узкие изломы скал, под огнем мюридов все шли и шли, отстреливаясь или сшибаясь с ними в пашки.

– Вашсокродие, вас командир, полковник Пулло, просят, – нагоняя капитана, сказал солдат. – Они во-он под тем камнем ожидают.

Небольсин повернул назад, под навес огромной скалы, где расположился Пулло.



– Александр Николаевич, прежде всего не отрывайтесь. Эти лихие азиаты обойдутся без вас, они местные, прекрасно знают мюридов, вас же любой чечен или тавлинец возьмет на прицел... Тут главное – сноровка и опыт... Ну, не сердитесь, я знаю, что вы кавказский офицер, немало ходивший по горам... – засмеялся Пулло. – Дело в следующем. Впереди, вон на тех утесах, как мне донесли осетины, возле огромных куч камня, обломков скал и валунов затаились мюриды, даже их бабы. Как только мы войдем в ущелье, эта банда обрушит на нас сотни пудов камней, град обломков... Я приказал разведке завязать огневой бой, отстреливаться, тревожить противника, но отряду остановиться здесь. Осетины и казаки, грузины и наши дозоры будут двигаться, вводя в заблуждение горцев, а ночью мы устроим спектакль...

– Какой? – заинтересованный словами Пулло, спросил Небольсин.

– А вот увидите, пока не скажу даже вам, чтоб не портить впечатления. Фокус, каким научила меня здешняя служба, а пока оставайтесь с нами. Утром сюда должна подойти пехота, целая бригада Коханова. Я попрошу вас доложить генералу обстановку, которая сложится за ночь, и вместе с ним двинуться за нами, на аул. Надеюсь в Гимрах распить с вами кизлярского чихирю.

– И чем скорей, тем лучше! – ответил Небольсин, стараясь понять, что за «фокус» приготовил мюридам Пулло.

Уже стемнело. Ущелье затянуло прохладой и сумраком. На откосах и скалах пощелкивали выстрелы, время от времени передовые дозоры присылали донесения полковнику, а разведка углублялась все дальше к аулу.

Небольсин закусил хлебом и сыром, вздремнул на камне возле Пулло. Он несколько раз просыпался от холода и сырости, охватывавшей его. Под скалами жались друг к другу солдаты. Туман, белесый и густой, висел над скалами. Не было ни луны, ни звезд. Гнетущая, мрачная тишина среди нагромождения скал подавляла людей. Не слышно даже обычной стрельбы. Все мрачно и тоскливо.

– Который теперь час? – негромко спросил Небольсин.

– Начало четвертого. Скоро начнем «тамашу», – слышался рядом голос Пулло. – А вы что не спите? Продрогли?

– Насквозь. Эта проклятая сырость...

– Нам еще ничего, мы внизу да под скалами ночуем, а вот каково нашим разведчикам да осетинам... они ведь там, на сырых камнях, под ветром притаились.

Кто-то из солдат задвигался, и опять наступила тишина.

– Ну, братцы, готовься. Передай голос по отряду, да не криком, а потихоньку... Пусть по моей ракете начнут...

– Слушаюсь, есть передать по отряду! – слышались тихие голоса, все удаляясь и умолкая.



– Господа офицеры, по своим местам! Барабанщикам по сигналу бить атаку, горнистам изо всей мочи – «поход», ракетчикам открыть огонь по утесам. Самим – ни с места, ни шагу, пока не отдам приказа! Понятно?

– Так точно! Все на местах, все как бы в атаке...

– Именно. А теперь по ротам и батальонам. Как взлетит красная ракета, начинайте спектакль, – отпуская офицеров, закончил Пулло.

Только теперь Небольсин понял «тамашу», которую готовил мюридам старый кавказский волк Пулло.

Прошло двадцать минут. Скоро над горами должен был наступить рассвет. Через час-полтора проглянет и солнце.

– А ну, давай ракету, да цель ее повыше, чтоб о скалы не зацепило. Вторую можешь пускать куда хочешь... С Богом! – вставая, приказал Пулло.

Сверкнули, рассыпаясь яркими цветными брызгами, ракеты. И сейчас же, как и на участке полковника Ключе, с вершины утесов, со скал полетели в долину, на тропинки, в ущелья груды пудовых камней, с грохотом и треском низвергавшихся с высот.

Солдаты кричали «Ура!», слышались резкие команды офицеров, били барабаны, трещали выстрелы, рвались вверх уже не сигнальные, а боевые ракеты... Гул и треск, грохот и пальба продолжались свыше часа. Наконец все стихло. Сверкнули две белые и одна красная ракеты. Это разведчики сообщали, что горцы сбросили все свои запасы камней и что путь к аулу свободен.

– Три красные ракеты! Трубачи, играй «атаку», барабанщики – «поход»!

Полковник снял фуражку, перекрестился.

– Всем ротам на штурм! Одновременный штурм Гимр с запада, востока и юго-запада начался.

## Глава 15

Подъем кончился. Внизу белела узкая лента реки, слева от тропинки из-под нависшей многопудовой скалы бежал родничок; другой скатывался прямо из расщелины; третий, звеня и прыгая по откосам, сливался с ними и уже шумным водопадом низвергался в долину.

Солнце поднималось из-за гор, и белесые, пронизанные его лучами облака проплывали в небе.

Солдаты, перескакивая с камня на камень, цепочкой потянулись к утесам, на которых уже хозяйничали осетины.

Частая стрельба в ущелье не утихала; по-видимому, куринцы сблизались с мюридами Гамзата, и бой все сильнее разгорался на западных склонах Акуши. Но здесь, на высотах, занятых апшеронцами и грузин-



ско-осетинской милицией, было сравнительно тихо. Редкие, одиночные выстрелы нарушали тишину, да слышались голоса подходивших солдат.

– Ребята, руками не дотянете, обождите, подойдут эриванцы, тогда на веревках втянем наверх орудия, – убеждал солдат пехотный поручик.

– А может, мы сами управимся, – пытаюсь оторвать пушку от земли, ответил кто-то.

– Да зачем?.. У эриваицев и веревки, и крючья, и лестницы для перелеза заготовлены.

При слове «эриванцы» Небольсин вспомнил Гостева.

«И он должен быть здесь. Вероятно, майор Кисляков передал ему мое письмо», – подумал капитан и остановился, поджидая показавшихся на тропинке солдат с желтыми погонами.

«Они, эриванцы. Хорошо, если б вдруг встретил Порфирия, – подумал он. – Да где там... Их здесь четыре батальона. Кто знает, какие роты идут сюда, а какие пошли в обход...»

Апшеронцы прошли утес. За скалами грохнул выстрел, другой, и опять все затихло, лишь натруженные солдатские голоса да тяжелое дыхание уставших от подъема людей слышались отовсюду.

– Эриванцы? – спросил Небольсин коренастого унтера, шедшего впереди длинной, вытянувшейся в цепочку шеренги.

– Так точно, они самые, непобедимые! – весело и озорно ответил унтер.

– Не знаешь ли, братец, штабс-капитана Гостева, командира, точно не знаю, какой роты, вашего полка?

– А как же! – оживляясь, сказал унтер. – Нашего батальона, командир девятой роты, а мы, вашскородь, десятой...

Подходившие солдаты, пользуясь случаем, останавливались передохнуть, вслушиваясь в разговор.

– Дак они за нами идут, этой же дорожкой движутся. Вы, вашскородь, обождите тут, они и подойдут со своей ротой...

Громкий выстрел в упор прервал слова солдата.

Небольсин пошатнулся и ничком упал на тропинку.

Из-за выступа скалы выскочил с дымящимся ружьем горец, за ним второй.

– Коли его, бей его, злодея!.. – разом закричали солдаты, и унтер, точно на ученье, с размаху ударил первого мюрида штыком с такой силой, что трехгранное острие выскочило из-под лопатки горца. Второй был заколот тут же.

– От гадина, убил офицера! – пиная еще дергавшегося в конвульсиях горца, сказал унтер.

– А молодой какой, ему и шапнадцати не будет, – с удивлением произнес кто-то из солдат, разглядывая безусое, мальчишеское лицо убитого.



– Их всех кончать надо, что малого, что старого... Сволочь проклятая, сосунок поганый!.. Молоко на губах не обсохло, а они гляди какого человека убили, – с ненавистью сказал унтер.

Солдаты все подходили и подходили. Тут были только эриванцы разных рот, смешавшиеся в этом походе.

– Чего случилось? Кто стрелял? – спросил фельдфебель, глядя на лежавших мюридов.

– Да вот, орда офицера нашего погубила...

Подожли и офицеры.

– Кого это?

– Не могу знать! Они только что про капитана Гостева спрашивали, а из-за камней эти паскуды... – начал было унтер.

– Гостев, эй, Порфирий!.. Сюда капитана Гостева! – закричали офицеры.

Сзади, из цепочки подходивших эриванцев, поспешил офицер.

– Я тут... В чем дело? Кому понадобился? – заговорил он, но тут взгляд его упал на лицо лежавшего у дороги человека. – Господи! – закричал он. – Неужели Небольсин?.. Саша, брат мой, друг пожизненный, неужели... – Он замолчал, не решаясь выговорить рокового слова и не в силах оторвать взгляда от бледного, с начинавшими синеть губами лица. – Вот и свиделись... – с рыданием в голосе сказал он.

– Отойдите, господа, в сторону, дайте осмотреть, – появляясь из-за спин сгрудившихся офицеров, произнес запыхавшийся лекарь.

– Антон Ефимыч, друг, родной ты мой, посмотри его... Может, жив будет... – умоляюще просил Гостев.

Все молчали.

Часть солдат медленно тащила по тропинке вверх, другие дожидались офицеров.

– Навряд ли, – качая головой и поднимаясь с колен, ответил лекарь, – Глядите, какая рана. Его, видно, не пулей, а куском свинца или железа ранили... У этих азиатов есть такие самопалы, что всяким дерьмом да ломом заряжают. Да и место скверное... чуточку повыше сердца. Вряд ли выживет, господин капитан, – с профессиональным равнодушием закончил лекарь.

Порфирий стащил с головы картуз, дико оглянулся по сторонам и скорбно сказал:

– Прощай, браток Саша... Свиделись...

Кругом, обнажив головы, крестились солдаты.

За хребтом грянули выстрелы. Послышались ружейная и пистолетная стрельба, хриплые крики сражающихся.

– Вперед! – надвигая картуз на голову, закричал Гостев. – Барабанчики, бей «поход», вперед, соколики!.. – И, размахивая пашкой, он побежал к перевалу. Отряд Гамзат-бека, защищавший западные скло-





ны Калау, огнем русских пушек был сбит к ущелью. Солдаты-бутырцы, захватив вершины Калау, кололи штыками отчаянно отбивавшихся мюридов. Слева, оттуда, где стояли отряды галашевцев и акушинцев, пробилась русская пехота. Это два батальона тенгинцев во главе с полковником Тархановым по трудно проходимым тропам обошли фланг Гамзата и атаковали с тыла галашевцев, беспечно взиравших на раз-вернувшийся в стороне бой. За пятнадцать-двадцать минут и акушинцы и галашевцы были смяты и обратились в бегство, бутырцы преследовали их, а тенгинцы устремились к Гимрам.

Бежавшие галашевцы и акушинцы оголили фланг позиции, занятой Гамзатом. Огонь русских становился все сильнее. Прорвавшиеся грузины и осетины завязали рукопашный бой, а смешанная конница шамхала вместе с Аслан-ханом и его татаро-кумыкской милицией ворвалась в образовавшийся прорыв. Сбитые с гребня мюриды, отступая, напоролись на батальон Курина полка. Два русских орудия фланговым картечным огнем обстреляли горцев. Первыми не выдержали даргинцы, они побежали к выходу из ущелья, за ними отошли чеченцы. В разгар боя картечь разорвала их предводителя Хас-Султана. Чеченцы, подобрав убитых и раненых, отступили.

Неудача Гамзата открыла русским отрядам путь на Гимры. Генерал Сокольский повел свою бригаду в прорыв. Спустя полтора часа солдаты Тенгинского и Елизаветпольского полков замкнули окружение Гимр и соединились с апшероискими, эриванскими и бутырскими батальонами. Осыпаемые пулями и картечью, горцы заматались по ущелью.

Напрасно Гамзат с шашкой и Кораном в руках бросался навстречу осетинским и грузинским волонтерам. Все было кончено.

Мюриды, найдя незакрытый проход в сторону Сулака, бегом пустились к нему.

Над Гимрами рвались гранаты. Над Гимрами клубился дым. Аул сотрясала непрерывная пальба, взрывы кегорновых и ручных гранат. Дым от пожарища, стелясь по кручам и утесам, спускался к ущелью; грохот и шум все росли... Русские солдаты полностью овладели высотами над аулом.

Гамзат, обезумев от гнева и отчаяния, бросился вперед, но его оттащили сильные руки мюридов.

– Сохрани себя, наиб... бесполезно гибнуть понапрасну.

Гамзат неподвижно воззрился на пылавший аул, на все разгоравшееся пламя. Вдруг он выронил шашку, обхватил руками голову и застонал. Лающий, прерывистый не то плач, не то вопль вырвался из его горла.

– Скорей, скорей, гюрджи<sup>1</sup> и иры<sup>2</sup> уже бегут по ущелью... Еще немного, и путь к спасению будет отрезан... – подбегая, крикнул один из мюридов.

<sup>1</sup> Грузины.

<sup>2</sup> Осетины.



Подхватив не сопротивлявшегося, обмякшего, безмолвного Гамзата под руки, мюриды побежали к Сулаку. К вечеру его, потрясенного и онемевшего от горя, мюриды привезли и укрыли в ауле Тилитль.

Прапорщик Булакович, прикомандированный на время боев за Гимры к полку Тарханова для связи со штабом, вместе с атакующими ротами спускался к аулу, когда на противоположной от них стороне показались русские солдаты. Это были куринцы и апшеронцы, впереди которых шли осетинские и грузинские волонтеры.

Артиллеристы устанавливали на косогоре пушки. Два ракетных станка открыли огонь по аулу.

– И как солдатики пронесли их через кручи? Таперя крышка, ни один не убежит, всем загородка будет.

– Гляди, гляди, а во-он и казаки гору захватили, – возбужденно и радостно переключались солдаты.

– Не зевай... Вперед! Не останавливаться! – кричали взводные.

– Вперед, вперед, не робей, ребята, им конец!.. – кричали офицеры.

Обгоняя друг друга, стреляя на ходу, смешавшись воедино, бежали к аулу бутырцы, апшеронцы, казаки.

Одна из пушек открыла огонь по аулу, другую наспех собирали батареи.

– Быстрей, быстрей... – подгонял их офицер, суется возле готовящихся к стрельбе батарейцев.

В центре села задымились разрывы гранат. Из-за каменных стен многочисленных завалов и засек стреляли защитники аула. Человек полтора-два мюридов бросились на ворвавшихся в село солдат.

Булакович смотрел, как рубились, падали, гибли люди, с каким ожесточением шел рукопашный бой.

«Где сейчас Небольсин? Не дай бог попасть ему в такую перепалку», – тревожась, подумал он. А сам вместе со всеми бежал туда, где новые толпы мюридов, выбегая из-за завалов, беспорядочно, жестоко и разрозненно рубились с русскими.

Первая атака бутырцев и батальона Тенгинского полка была отбита мюридами. Весь аул сотрясся от залпов и опоясался пороховым дымом.

Из бойниц, из-за каменных стен, утесов и завалов, засек и холмов – отовсюду стреляли горцы. Человек двести бросились в шашки на провавшихся сквозь огонь солдат.

И вторая атака русских была отбита, но пехота все шла и шла. Спешенные казаки, драгуны, осетины, кумыки, грузины заняли холмы и утесы, возвышавшиеся над Гимрами.

Еще три орудия, доставленные через крутизны, были собраны артиллеристами; более ста лотков с ядрами, порохом и гранатами принесли на себе солдаты.



И третья атака была отбита, но пушечный огонь русских уже поджег несколько саклей и разметал стены и завалы защитников Гимр.

Полковник Ключе подтянул резерв к самой окраине аула, а пехота Пулло и егеря Коханова вплотную подобрались к Гимрам.

Уже третий день шел бой. Ни один мюрид не мог прорваться на помощь имаму. Все дороги были перехвачены русскими.

Ночью третьего дня прибыл и Вельяминов. За ним шел батальон Елизаветпольского полка. С западной стороны и с вершин Акуши спустились пять рот Бакинского полка с четырьмя горными орудиями.

На утро четвертого дня был назначен генеральный штурм аула. Окруженные со всех сторон, Гимры готовились к решительной атаке русских.

Булакович, посланный для связи со штабом генерала, шел вместе с украинцами и милицией таркинского шамхала.

С тех пор как Булакович ушел из Внезапной, он ничего не знал о Небольсине. Тяжелый путь через горы, постоянный огонь противника, засады, нападения на оставших солдат тревожили его. Почти всюду, где только было можно, он спрашивал о своем друге, но в общей сутолоке перемешавшихся в походе войск никто не слышал не только о Небольсине, но даже о том, где находятся Вельяминов, его штаб и генералы. Каждая часть, несмотря на общий план и диспозиции штаба, действовала самостоятельно, в отрыве от соседей, зачастую даже и не ведая, кто соседи и какая задача стояла перед ними.

Утро четвертого дня было поначалу туманным и серым, настолько затянутым пеленою похожего на вату тумана, что по приказанию командиров частей барабанщики каждые четверть часа били сбор, а горнисты играли сигналы, чтобы бредущие в полумгле солдаты знали направление.

Стрельба прекратилась. И горцы, и русские понимали, что передышка эта короткая и, как только рассеется туман, начнется новый штурм аула.

Булакович стоял у орудий, направленных на Гимры. Аул был рядом, но за белесой мглой не чувствовалась жизнь. Казалось, все замерло, лишилось голоса и звуков. Однако тишина была обманчивая, настороженная. Везде – и возле орудий, и впереди, и по бокам, и сзади – были солдаты, казаки, волонтеры... А впереди, держа палец на курке, затаились мюриды.

Около восьми часов утра туман расступился в нескольких местах, пополз в стороны, обнажая горы, хребты, аул. Из-за гор выкатилось веселое, совсем не октябрьское солнце, холод спал, и озябшие за ночь солдаты приободрились.

Позади батареи взлетели ракеты – зеленая, белая, красная... По тропинкам, с холмов и утесов, занятых тенгинцами, побежали солдаты.

Штурм Гимр начался.



Вельяминов, стоя в восьмистах метрах от околицы Гимр, наблюдал за боем.

Пулло атаковал с запада, Ключе – с северо-востока, а Коханов, Сокольский и Аргутинский – с холмов Калау.

Булакович видел, как пробежали вперед солдаты, как надрывались в криках «в атаку», «на штык», «вперед» офицеры.

Пушки, не переставая, без прицела и наводки били по аулу. Каждое ядро, каждая граната попадали в цель. Аул был велик. На его улицах и плоских крышах саклей толпились горцы.

Вот, засучив рукава, подоткнув полы черкесок, защитники аула бросились на солдат, уже ворвавшихся в Гимры.

Булакович пошел вперед. Его обгоняли солдаты разных полков и рот, возбужденно крича «ура».

По данным русской разведки, в Гимрах скопилось до трех тысяч мюридов, съехавшихся со всего Дагестана и Чечни, чтобы защитить аул и имама. Но сведения эти были неверны.

После разгрома отряда Гамзата, бегства акушинцев и галашевцев силы имама сократились приблизительно на тысячу человек. Чеченский отряд, около шестисот человек, защищавший подступы к аулу, был сбит русскими с хребтов Акуши и, отрезанный от своих, ушел в ночь перед генеральным штурмом Гимр. В окруженном ауле оставалось не более тысячи-тысячи ста защитников, но это были мужественные люди, поклявшиеся умереть, но не отдать Гимры русским.

Вельяминов бросал новые и новые батальоны. Резервы подходили ежечасно и с ходу вступали в бой.

Уже пять часов шло сражение. Обе стороны не раз сходились в рукопашной. Первая полоса засек и завалов была захвачена; на второй рубились терские казаки, осетинские сотни Туганова и кумыки Асланбека.

– Перенести огонь по саклям! Бить картечью по крышам! – приказал Вельяминов.

Ключе сам повел бутырцев и эриванцев к мечети, где скопились главные силы горцев.

Пулло с тенгинцами, куринцами и спешенными донцами захватил весь передний фас защиты Гимр.

Вельяминов бросил вперед еще три роты куринцев и перенес свой штаб в аул.

Еще четыре горных орудия открыли картечный огонь вдоль площади и улицы, разделявшей Гимры на две части.

Булакович глядел на мечущиеся в дыму и пламени фигуры, смутно различая горцев и русских. Дым то заволакивал аул, то, растекаясь под ветром, открывал жестокую, страшную картину резни. Увлекаемый рвавшимися вперед солдатами, он незаметно для себя очутился на ме-



четской площади. Высокая трехъярусная башня, похожая на суживающийся кверху квадрат, возвышалась над гудеканом.

– Имам, ты должен уйти из аула. Русские окружили нас... Лучше, если б ты своевременно ушел, – сказал озабоченно Шамиль, когда Гази-Магомеду донесли, что Гамзат разбит и отрезан, а чеченцы и даргинцы бежали.

– Я призвал народ к газавату, и я должен быть с ним.

– А если тебя убьют?

– Сейчас не время, брат мой Шамиль, думать об этом. Все мы смертны. Мюриды радостными криками встретили Гази-Магомеда.

– Шамиль, возьми отсюда сколько можно бойцов и бегите вперед! Проклятые гяуры прорываются к площади, – крикнул имам.

Человек шестьдесят мюридов бросились за Шамилем к мечети, где с трудом сдерживали натиск русских горцы.

Взяв последний резерв, сто-сто двадцать человек, имам под огнем русских пушек перебежал улицу навстречу эриванцам, прорвавшим и вторую линию завалов.

Пожилой солдат в огромной потертой папахе, бежавший рядом с Булаковичем, застонал и, роняя ружье, свалился поперек дороги. Охваченные пылом боя, мимо пробегали другие, не останавливаясь и даже не глядя на упавшего товарища.

Прапорщик нагнулся над ним. Солдат еще был жив; широко открыв рот, он хрипло дышал, дергаясь всем телом.

– Вперед, вперед!.. Не задерживаться!.. – прогремело над ухом Булаковича.

Прапорщик выпрямился и поспешил дальше.

Солдаты уже хозяйничали в половине аула. Стреляли в оконца, швыряли внутрь дымно рвавшиеся ручные гранаты...

И опять команда «Вперед, вперед!» гнала их дальше, к мечети, к площади, к боевой аульской башне, где кипел бой.

Окраины Гимр были взяты русскими. Желтые, красные, синие околыши и погоны, папахи, бешметы и черкески – все перемешалось, а с тропинок сбегали и сбегали новые толпы солдат, заполняя обреченный, но все еще не покоренный аул.

Завалы были разрушены. Защитные стены, преграждавшие проходы между засеками, взорваны.

Уцелевшие мюриды отступали к саклям, бой растекался на отдельные стычки, весь аул стал местом рукопашной резни.

Шел уже седьмой час штурма, а Гимры еще были не полностью в руках русских.

Гази-Магомед, раненный пулей в плечо, не покидал поля боя. Отступая вглубь аула, он сдерживал русских, окружавших площадь. Натиск



солдат был так силен, что мюридам, бившимся вместе с имамом, пришлось отойти к башне.

Гази-Магомед оглядел людей. С ним было не более сорока человек, остальные пали, защищая завалы.

Не лучше было и на других участках. Всюду сверкали штыки и гремело русское «ура». Было ясно, что Гимры падут...

Мюридов осталось так мало, что через час некому было бы защищать аул. Разрозненные группы то в одиночку, то по трое-четверо дрались тут и там, но их заливало солдатское море...

Русские стреляли вдоль улицы из захваченных саклей, из развороченных завалов. Две пушки, установленные на углу, ударили картечью слева от того места, где еще недавно шел рукопашный бой. Единорог и две ракеты свинцом и огнем брызнули по площади.

Мечеть, которую обстреляли гранатами, задымилась и медленно повалилась набок.

– В башню!.. Скорей!.. Русские заходят со всех сторон!.. – закричал кто-то.

На площадь ворвались егеря. Солдаты Тенгинского батальона отрезали небольшую группу мюридов.

– В башню! – крикнул Гази-Магомед, и шестнадцать оставшихся в живых защитников аула вбежали в старую темную башню, поднимавшуюся над площадью: Гази-Магомед, Шамиль, чеченец Саид-бек из аула Гойты, андийский старшина Магома, будун аула Гимры Таштемир и мулла Бештемир-эфенди из аула Чох. Остальные десять – из разных мест.

Мечетская площадь быстро заполнялась солдатами.

Вельяминов передвинулся еще ближе к центру Гимр, расположив свой штаб в северо-западной части аула.

Пулло, Клюге, генерал Сокольский, полковники Тарханов и Вревский методично, сакля за саклей, выбивали мюридов из дворов и подвалов.

Заканчивался восьмой час штурма Гимр. Кровавая драма подходила к концу, но выстрелы и взрывы гранат все еще раздавались по всему аулу.

Булакович стоял возле разметанного ядрами завала, дописывая донесение в штаб.

Суматоха вокруг не затихала. Солдаты, опьяненные боем, охваченные сознанием победы, стреляли, кричали... Некоторые чему-то смеялись, неестественно громко переключаясь между собой.

Орудия уже не били по Гимрам.

– Гляди, гляди, в башню побегли... поховались в башне. Эй, ребята, остерегись!.. – закричали солдаты, видя, как несколько мюридов, отстреливаясь, вбежали в башню.

Прапорщик перестал писать. Зрение не обманывало его, он ясно видел, что среди горцев, скрывавшихся в башне, был имам.



– Ховайтесь за сакли... ожгут гололобые! – закричали казаки появившимся на противоположной стороне площади солдатам.

Из башни грянули выстрелы, пополз пороховой дымок, из щелей и бойниц высунулись стволы ружей.

– Окружай с поднизу, с поднизу...

Три орудия били с близкого расстояния по башне. От нее отваливались куски щебня и ссохшейся глины, белесая известковая пыль поднималась и опадала там, куда врезалось ядро.

– Эти башни строились навечно... Их по несколько раз доделывали и перестраивали. Я знаю их, это родовые, какой-нибудь знатной фамилии. Они на извести да яичном желтке замешаны, – с досадой сказал батареинный капитан после того, как три ядра, одно за другим, ударились о замкнутые изнутри, окованные железом двери.

Картечь целкала по бойницам, откуда метко стреляли мюриды, не давая солдатам приблизиться к башне, но под ее стенами уже скопилось человек тридцать русских.

– Давай горн!<sup>1</sup> Тащи сюда горн! – командовал усаатый фельдфебель. – Сейчас мы закладку сделаем. Мало не будет...

– Подкапывай отсюда, глубже, глубже, да мину закладывайте не так... Куда вы ее стоймя кладете? – надрывался минер-поручик. – Боком ставьте... Вот так, еще левей... Давай и второй горн сюда. Вот его ставь на попа, как первый рванет – вторая мина сама собой взорвется, и второй удар будет уже по диагонали.

– Так точно... мало не будет, сомнет башню... – пробормотал фельдфебель, закладывая в подрытую под стеной яму второй горн.

Оба фугаса были большой силы. Солдаты, не обращая внимания на пальбу и крики, осторожно и деловито готовили заряды.

В полутемной комнате второго яруса, освещенной лишь заглядывавшими через бойницы и узкое оконце лучами солнца, было девять мюридов. Двух убитых и двух тяжелораненых отнесли наверх. Внизу, на защите ворот, – трое.

Имам, Шамиль, аульский будун стояли у окошка, пятеро стреляли по русским, шестой заряжал ружья и пистолеты.

В помещении было сумрачно, пахло сыромятными ремнями, хлебом и вареным мясом. Сизый пороховой дым стлался по потолку и выходил через бойницы и верхний ярус наружу. Иногда сотрясалась и скрипела дверь. Это очередные ядра поражали ее.

– Весь аул в руках неверных. Гимры пали, – тихо сказал будун, глянув в бойницу.

– Аллах не дал нам победы... Наши грехи велики... Много чистых душ ушло к его подножию, – прошептал Гази-Магомед.

– Имам, русские занимают все пути... Их окаянные солдаты долбят

<sup>1</sup> Минный заряд.



землю и камни под башней. Они взорвут ее. Мы здесь как в мышеловке... Что делать? – проговорил Шамиль.

– Надо умирать, братья!.. Умирать за веру, за газават! Мы не бабы, мы – пиши!.. Первым выпрыгну я, за мной – Шамиль, затем ты, Таштемир, – обратился к будуну Гази-Магомед. – Как только мы бросимся отсюда на русских, стреляйте все! Стреляйте, не жалея ни себя, ни нас... Затем прыгайте сами... Не все погибнут, кто-нибудь да прорвется... – убежденно сказал имам.

Он засучил рукава черкески, расстегнул бешмет, обнажил пашку и, взяв в левую руку пистолет, крикнул:

– Аллах поможет храбрым!.. Ля илльяхи иль алла!.. – и выпрыгнул через широко распахнутое боковое окно башни.

Булакович неподвижно стоял на том самом месте, откуда увидел Кази-муллу. Прапорщик ошеломленно смотрел на башню, вокруг которой роились сбегавшиеся отовсюду русские солдаты.

«Значит, он здесь, не ушел... остался с другими, – взволнованно думал Булакович, не сводя глаз с бойницы. – Он погиб...» – с тоской подумал прапорщик, восстанавливая в памяти выражение глаз, строгое и вместе с тем доброе лицо Кази-муллы.

Везде: и в Черкее, и под Внезапной, и при последней встрече с ним в чеченском хуторке – чувство благодарности и восхищенного уважения к этому человеку не покидало Булаковича.

– Он погиб... уйти уже невозможно, – глядя на саперов, закладывавших мины под башню, тихо проговорил он.

– Вашбродь, остерегитесь, они оттеда в упор бьют... Назад, назад, вашбродь!.. Сюда идите, тут за саклями лучше!.. – кричали солдаты, видя, как прапорщик стремительно шагнул вперед и побежал к башне.

– Молодец! – одобрительно сказал один из солдат. – Прямо под огонь кинулся, и ничего... уцелел.

– Его счастье, а дуром лезть не годится... – сердито ответил кто-то из солдат, тщательно прицеливаясь в окутанную дымом бойницу.

Но прапорщик не видел опасности, как не слышал и возгласов солдат. Его бросило на опасный, необдуманный шаг чувство, какое бывает у людей, кидающихся в огонь или в воду, желая спасти или защитить близкого, родного человека.

– Эй, эй, в сторону!.. С ума сошли, что ли?! – подбегая к нему, закричал поручик-сапер. – Скорей за угол, за камни... Сейчас мины взорвутся. – И, увлекая за собой ошеломленного, полного бессильного отчаяния Булаковича, офицер крикнул: – Ложись!..

Прапорщик как вкопанный стоял на месте, кажется, даже не слышал сапера. Он видел, как из бокового окна показался имам, как взлетела над солдатскими штыками его фигура, как десяток штыков остервенело кололи распростертое на земле тело Кази-муллы.





– Туши запалы, заливай огонь! – вдруг неистово закричал саперный поручик. – Не давай взрыва!.. Они, как тараканы, сами кидаются из башни!..

Солдаты, кто забрасывая землей, кто затаптывая ногами, погасили взрывные шнуры. Они глядели на свалку, возникшую под стенами башни, где пехотинцы вместе с казаками и горскими добровольцами добивали прыгавших из башни мюридов.

Вслед за имамом выпрыгнул Шамиль, за ним аульский будун, затем чеченский мулла Бештемир-эфенди.

Оставшиеся в башне открыли pistolетный и ружейный огонь. Они, не прячась, высунулись из окна и стреляли из pistolетов в гущу солдат, окруживших Шамиля.

Один из тенгинцев всадил штык в грудь муллы, другой ударил штыком Шамиля. Шамиль с размаху разрубил ему голову и вторым ударом опрокинул набегавшего на него грузинского волонтера. Штык выпал из раны, и Шамиль, срубив еще одного солдата, бросился по улочке. За ним кинулись двое солдат, но будун, бежавший следом, убил одного, другой отскочил в сторону и выстрелил в Шамиля. Пуля сбила папаху. Будун из pistolета уложил и этого солдата и побежал за Шамилем.

– К реке, к камням!.. – закричал он.

Шамиль на бегу оглянулся и, узнав будуна, свернул в улочку, где не было русских.

Огромный солдат, вылезший из сакли, увидел двух бегущих горцев, бросил свой тюк и изо всей силы швырнул камень в Шамиля. Камень попал в раненое плечо. Обливаясь кровью, бледный, задыхающийся от бега, Шамиль был так страшен, что солдат бросился обратно к сакле. Шамиль застрелил его из pistolета и, обессиленный, медленно пошел к реке.

– Скорей, скорей, Шамиль! Проклятые гяуры еще возьмется у башни... Скорей... Будет поздно! – умолял будун, поддерживая терявшего силы Шамиля.

Занятые грабежом, усталые от боев, опьяненные победой, солдаты не преследовали их.

На берегу реки будун уложил среди камней потерявшего много крови Шамиля. Всю холодную ночь он просидел возле впавшего в беспамятство наиба, а утром с помощью пятнадцатилетнего мальчика, тоже прятавшегося в камнях, перетащил на другую сторону бившегося в лихорадке полузамерзшего Шамиля. К вечеру они были в далеком ауле.

Из шестнадцати мюридов, запершихся в башне, спаслись двое – Шамиль и будун.

Булакович широко открытыми глазами смотрел, как подняли на штыки Кази-муллу, как кололи его, уже мертвого, на земле...



Он не видел ни Шамиля, ни других мюридов, бросившихся из башни. Остановившимся взором он глядел на исколотое, окровавленное тело имама, на кровь, темневшую на его серой черкеске.

– Ура-а!.. Ура!

Крики, раздавшиеся вокруг, привели его в себя.

– Ура! Убили имама!.. – слышалось вокруг.

К телу Кази-муллы со всех сторон бежали солдаты, офицеры, осетины, драгуны.

– Ура-а! – неслоь отовсюду.

Булакович смотрел на эту ликующую, орущую толпу, а перед ним, как живой, стоял Кази-мулла, внимательно и ласково говорящий: «Здравствуй, русский Иван, здравствуй, кунак!» – и слезы готовы были показаться на глаза прапорщика.

Надломленный, потрясенный, он приблизился к убитому.

Широкоскулый приземистый аварец, один из приближенных ханши, стремительно расталкивая людей, окруживших тело Кази-муллы, выхватил из ножен огромный, широкий базалаевский кинжал и, выкрикивая проклятья, со всего размаха дважды рубанул по шее мертвого имама. Пихнув ногой обезглавленное тело, он, пачкая руки в крови, поднял обеими руками вверх отрубленную голову и закричал:

– Подох нечестивец... не ушел от смерти!.. – и плюнул в мертвые, полузакрытые глаза Кази-муллы.

Булакович затрясся от негодования. Ярость и возмущение охватили его. Он бросился к аварцу, с силой оттолкнул его и, схватив голову убитого, бережно приложил ее к телу.

– Это еще кто?.. Я тебя сейчас, собачий сын... – хватаясь за кинжал, заревел аварец, но солдаты, по-видимому, тоже возмущенные таким поступком, вытолкали его вон.

– Это... это... – задыхающимся голосом, похожим на шепот и одновременно на крик, проговорил Булакович, – человек, который запретил мюридам под страхом казни отрубать головы нашим убитым... Он проклял тех, кто делает это... – Задохнувшись, Булакович замолчал и затем громко сказал: – А этот подлец ему... беззащитному отрубил голову...

– Успокойтесь, прапорщик. Здесь Азия, варварство тут в моде, – ласково сказал пехотный офицер. – Слава богу, что эти дикари еще не едят мяса своих убитых противников.

Окружающие засмеялись.

Подходили все новые и новые солдаты.

Прапорщик отошел в сторону, сел на груды развороченных камней, еще час назад бывших завалом, преграждавшим дорогу в аул. Булакович смотрел куда-то вдаль, а перед его глазами был Кази-мулла, не тот, которого он знал все это время, а окровавленный, мертвый, со множе-



ством штыковых ран... со спокойным, как бы удивленным лицом, на которое смерть еще не наложила свою печать.

А крики «ура», барабанный бой, сигналы трубачей заполняли Гимры. Саперы тушили огонь, растаскивая разметанные, подорванные взрывами остатки тлеющих саклей.

Еще громче рванулось «ур-ра-а», защелкали выстрелы. Прапорщик поднял голову. Над площадью, над ликующей, опьяненной победой толпой, на высоком шесте торчала голова имама. Бритая, без папахи, с рыжеватой подстриженной бородой, она высилась над людьми, праздновавшими победу и окончание тяжелой войны.

Высокий плечистый горец в нарядной черкеске-шубе держал шест высоко над собою, а на его выхоленном лице была торжествующая улыбка. Это был младший брат казикумухского владельца Аслан-хана – Аслан-Гирей.

Булакович опустил голову и отвернулся.

– А-а, вот где вы, Алексей Сергеевич, – услышал он голос подполковника Стенбока. – Слава богу, хоть одного штабного нашел.

Прапорщик встал. Стенбок, не замечая его состояния, быстро заговорил:

– Покончили с имамом... но, боже, какие потери!.. Какой кровью досталось нам это... Тяжело ранен Куракин, убит Дедюлин, убит Филимонов, помните, вы с ним и Небольсиным ездили к имаму. – Вдруг он оборвал свою речь, снял фуражку и взволнованно сказал: – И он тоже.

– Кто? – с замиранием сердца спросил Булакович.

– Небольсин... наш Сандро... Царство ему небесное, – крестясь и надевая фуражку, сказал Стенбок.

– У-бит?.. – еле слышно произнес Булакович.

– Да... собственно, я сам не видел... Случилось это утром, где-то вдалеке от аула... Да что вы, голубчик, что вы?.. Успокойтесь, разве так можно? Мне и самому тяжело говорить...

– Вы видели убитого?

– Нет, я был с центральной группой... мне сказал кто-то, я уж и не помню кто... – торопливо продолжал подполковник. – Да, возможно, это ошибка... Ведь в такой сутолоке, в таком аду можно было перепутать, – глядя на бледно-землистое лицо Булаковича, произнес он. – Да вот, сейчас узнаем... Доктор, доктор, – позвал он штаб-лекаря, суетившегося возле раненых.

– Чем могу служить? – подходя к ним и обтирая окровавленные руки, спросил лекарь.

– Не знаете ли точно, как дело с капитаном Небольсиным? Он ранен был утром на пути в Гимры...

– Это из штаба? – задумавшись, спросил врач.

– Да, – сказал Стенбок.



– Убит, – категорическим тоном сказал лекарь. – Сам не видел, был с апшеронцами, по левой тропке сюда шли, но слышал от ординар-лекаря Эриванского полка... убит, – еще раз проговорил он.

– Я видел, когда его несли в тыл, – вмешался в разговор молодой зауряд-лекарь. – Осматривал его вместе с штаб-лекарем господином Шульцем. Огромная рваная рана в грудь, был без сознания. Такие тяжелые ранения не оставляют никакой надежды, – качая головой, закончил он.

– Царство ему небесное... прекрасный был человек, добрый товарищ. Я понимаю вас, Алексей Сергеевич. И мне тяжело, уверяю вас, очень, очень горестно, но что сделаешь... война, проклятый газават... и кто знает, что ожидает нас самих здесь, – участливо сказал Стенбок. – Пойдемте к штабу, вон уже и генерал показался.

– Я сейчас... чуточку позже... позвольте мне остаться одному... потом свидимся... – с трудом произнес Булакович и опустился на камень.

– Посидите, отгорюйтесь, дорогой мой, а потом присоединяйтесь к штабу, – мягко сказал подполковник.

Солнце уходило за горы, становилось холодней, а Булакович все сидел на камне, не обращая внимания на то, что площадь почти опустела. Солдаты разошлись по уцелевшим саклям, вокруг аула выставили караулы, пешие дозоры ушли далеко за Гимры. Уже тянуло солдатскими щами, запахом выпекаемого хлеба. Это провиантская часть отряда занялась на окраине аула своим обычным делом.

– Один... никого, – поднимая голову, тихо сказал прапорщик. – Никого... Умерли мать... Кази-мулла... Небольсин...

Оп посмотрел по сторонам: мимо шли солдаты, человека четыре, казак вел расседланную лошадь; голоса, русская речь, отдаленные выстрелы врывались в тишину...

– Один... – отрешенно повторил Булакович и, не поднимаясь, вытянув из кобуры пистолет, выстрелил себе в сердце.

Солдаты, уже поворачивавшие с площади к улочке, оглянулись.

– Кто-то стрелял? – озираясь вокруг, сказал один.

– Убили нашего! – закричал другой, и все четверо побежали к медленно сползавшему с камня Булаковичу.

– Кто позволил себе эту мерзость?.. Дикарство!.. – закричал Вельяминов. – Сейчас же снять с шеста голову, выяснить, кто сделал...

Казаки и драгуны кинулись к Аслан-Гирею и вырвали из его рук шест с насаженной на острие головой имама.

– Приложить голову к телу. Перенести убитого в саклю, приставить караул, чтоб не украли и не издевались над убитым его недруги, – брезгливо сказал Вельяминов.

Драгуны, приложив к туловищу Кази-мулы отрубленную голову, унесли тело.



– Мерзость!!! – еще раз повторил Вельяминов и сел писать донесение барону Розену.

Над хребтами акушинских гор отсвечивало закатное солнце, алмазными россыпями светились снежные вершины.

Изредка с гор набегал ветер и относил запах дыма и паленого мяса на площадь. Западная часть Гимр горела, то окутываясь дымными хвостами, то полыхая рыжим пламенем.

– Перейдемте подальше, – морщась от весьма ощутимого запаха горелого мяса, сказал генерал, и все вместе с ним перешли на другую сторону площади.

Вельяминов сел на камень и, взяв гусиное перо, обмакнул его в чернильницу, подставленную адъютантом.

«Лжеимам не существует. Кази-мулла погиб...» – написал он, затем зачеркнул первое слово и написал поверх: «Великий имам не существует, он погиб...»

Так начал Вельяминов свое донесение барону.

Закончив, прочел, оглядел все еще пылавшую часть Гимр и отослал донесение.

Вдали кое-где еще раздавались выстрелы, на утесах и скалах мелькали солдаты.

Из аула гнали пленных: пять, может быть, шесть десятков стариков, женщин, детей.

– Победа, конец газавату! Поздравляю с замирением Кавказа! – подходя к Вельяминову, произнес Ключе, усталый, задымленный, со сбитой набок эполетой.

– Благодарю, полковник. Вам и вашим солдатам мы обязаны этой победой, – обнимая Ключе, сказал Вельяминов.

– Полная победа!.. Взяты Гимры... Имам убит, скопище его уничтожено. Как обрадуется Петербург, – продолжал Ключе.

– Да, но какой ценой... За всю мою военную службу я не видал такого побоища, – указывая рукой на горевший аул, невесело улыбнулся Вельяминов.

Ключе огляделся. Убитых сносили к башне.

– Война! – вздохнул он. – Я, ваше превосходительство, считаю, что Гимры и Кази-мулла обошлись нам дешевле, чем ожидалось... Это еще малая кровь.

Вельяминов молчал.

За гудеканом в только что укрепленной колышками палатке сидели полковник, аудиторский чиновник, старший лекарь штаба и двое писарей. Походная канцелярия отряда спешно готовила сводку потерь за последние два дня.

– Нижних чинов убито, – проверяя списки, сказал полковник, – триста семьдесят два.



- Триста семьдесят два, – повторил писарь, заполняя клетку потерь.
- Свалившихся в пропасть и пропавших без вести – сорок один; штаб-офицеров – двое; обер-офицеров – двадцать семь...
- Двадцать семь, – повторил чиновник.
- Двадцать восемь, вапсокбродь, – повторил писарь, – недавно последнего принесли.
- Кого это? Бой-то давно кончился, – равнодушно спросил полковник.
- Прапорщика, того, что на площади возле башни убило. Он... как бы это сказать, вроде сам... – сказал лекарь.
- Как это «сам»? Скажете тоже, офицер, воин, и вдруг... – сердито оборвал полковник.
- Да кто его знает... и бой ведь уже затих, да и положение тела, пистолет возле разряженный, и ожог порохом... – начал было врач.
- В такой суматохе, батенька, не то что в упор, а на кинжалы брали... а вы про какой-то ожог говорите!.. Ведь резня была, рукопашная, я вда-ли был, и то не приведи бог второй раз такое видеть... а вы офицера бое-вого убитого хаετε... позорите...
- Да что вы, господин полковник, я просто предположение сделал, а между прочим, в такой обстановке действительно любая смерть может случиться.
- Именно!.. Так ты исправь, Звонарев, двадцать семь на двадцать во-семь. Много погибло людей, ох мно-о-го, – протянул полковник. – А как фамилия этого прапорщика?
- Они из штаба их превосходительства были, – разбирая записи, ска-зал писарь. – Прапорщик Бу-ря-ко-вич, – с трудом прочел он.
- Ну, царство ему небесное, видать, из хохлов был, – подписывая ра-портчику о потерях, сказал полковник. – А теперь давай списки ране-ных.

### Глава 16

Небольсин открыл глаза. Все вокруг было чужим, неведомым. Он си-лился что-то вспомнить и не мог.

– Вот и хорошо. Все идет отлично... скоро и на ножки встанете, – услы-шал он чей-то голос.

Не в силах повернуться, он повел глазами и увидел стоявшего у постеле-ли доктора, за ним Сеню с испуганно-счастливым лицом.

– Слава те господи, ожили, Александр Николаевич, – не сдерживая счастливых слез, крестясь, бормотал Сеня.

– Тише, тише... У постели больного и радоваться надо вполголоса, – остановил его лекарь.



Небольсин безучастно смотрел на них... что-то очень смутное, апатичное владело им.

— Вот и хорошо... а теперь выпейте вот этих капель, Александр Николаевич, усните, а завтра, бог даст, с новыми силами начнем поправляться... — отодвигая Сеню, продолжал лекарь.

Капитан равнодушно, словно в прострации, слушал его. Слова доходили до него откуда-то издали, как бы невесомо, отчужденно. На секунду ему показалось, что в дверях мелькнули чьи-то знакомые лица, не то Туганова, не то Порфирия Гостева. Он выпил капли, закрыл глаза и уснул.

Через четыре дня, когда стали прибывать силы и сознание воскресило прошлое, он с напряжением вспомнил Гимры, тропинку, по которой шел с солдатами к аулу.

— Давно я лежу? — тихо спросил он.

— Давно... Одиннадцать суток как без памяти... Мы уж и не чаяли вас... — начал Сеня, но лекарь перебил его.

— «Не чаяли»... Это ты не чаял, а мы знали. Рана у вас, Александр Николаевич, хотя большая и опасная, но организм железный... Таких, как вы, пуля не берет, разве только в сердце, а у вас рана от сердца далеко... ближе к ключице. По нашему медицинскому определению, у вас осколочное ранение левого плечевого сустава, осложнившееся шоком.

Небольсин молчал.

— А как пришли вы первый раз в себя, мы в один голос сказали: «Будет жить!»

— «Первый раз», — повторил Небольсин. — А сколько же раз приходил?

— Четыре. Зато теперь все время будете в сознании... и хватит разговоров. Лежите, молчите, к вечеру зайду. А ты, красавец, — обратился он к Сене, — не давай барину разговаривать, да и сам помалкивай.

— А где я нахожусь? — поинтересовался Небольсин.

— Аул Левашин... Все будет хорошо, так через неделю отправим вас в Шуру или Грозную... До вечера, господин капитан.

Лекарь ушел. Сеня радостно смотрел на Небольсина.

За окном было серо. Вероятно, прошел дождь...

— Гимры... взяли? — наконец спросил Небольсин.

— Взяли, черт бы их до нас забрал! А теперь, Александр Николаич, спите... а я выйду... нельзя разговаривать, — притворяя за собой дверь, сказал Сеня.

Капитан закрыл глаза, пытаясь вспомнить поход на Гимры. Перед ним прошли Пулло, Булакович, Стенбок, Гостев...

«Как они там, целы?» — подумал он и незаметно для себя заснул.

Поправлялся он медленно, с трудом, несмотря на благодушный, оптимистический тон лекаря. Рана была тяжелая. Самодельная, отлитая в ауле пуля прошла выше сердца, но задела плечевой нерв и пробила спи-



ну. Не неделю, а целых двадцать дней пролежал Небольсин в Левашах, пока наконец штаб-лекарь тылового лазарета разрешил отправить раненого в Грозную.

Врачебная комиссия рекомендовала ему уехать в Пятигорск или на Кислые Воды месяца на два-три: благодатный воздух, покой, тихая жизнь излечат его, и рука опять станет здоровой.

Русская линия праздновала победу.

Затеречную сторону, от Внезапной до дальних чеченских аулов, от Кази-Кумуха до Анди и Дарго, охватило оцепенение. И дагестанцы, и чеченцы, и даже мирные кумыки в страхе ожидали репрессий.

«Что же теперь будут делать русские?»

А русские праздновали победу. По всей казачьей линии, до Пятигорска и Ставрополя, ликовали все – и казаки, и армяне, и новоселы-переселенцы.

Газават уничтожен, Кази-мулла убит.

Из Петербурга прибыл специальный фельдъегерь, гвардии полковник граф Кутайсов. Император в самых лестных выражениях благодарил Розена за поход на Гимры и «истребление хищного лжеимамы и его орд». Было приказано по всей Кавказской линии отпраздновать победу русских войск. В городах и станицах в воскресенье 21 ноября устроить парад гарнизонов и отметить наградами отличившихся в походе офицеров и солдат.

21-го с утра по всей казачьей линии зазвонили колокола, начались молебствия, затем парад войск и празднование победы.

Вечером барон Розен устроил прием, или, как тогда говорили, «монаршее благоволение».

Празднество проходило в том самом зале, где так недавно итальянская труппа господина Моски давала свои представления.

Дамы, генералы, светские щеголи, отличившиеся в походе офицеры заполнили залы собрания. Духовые оркестры, сменяя друг друга, играли марши и вальсы. За окнами толпился народ. Полупьяные казаки и солдаты орали песни, изредка хлопали пистолетные выстрелы. Звон колоколов смешивался с песнями, музыкой и криками разгулявшейся, ликующей толпы.

Барон Розен в сопровождении генералов Вельяминова, Федюшкина, полковников Ключе и Пулло появился в зале.

– Господа, я имею счастье передать царское спасибо войскам, покончившим с Кази-муллой и газаватом. Его Императорское Величество приказывает мне представить к наградам всех отличившихся в походе героев.

Офицеры и гости окружили генерала.

– Ур-ра Его Императорскому Величеству!.. – прокатилось по залу.





За окнами стали рваться ракеты, петарды, шутихи и прыгающие цветные «лягушки». Загорелись плошки. На снежных улицах Грозной застрели, заискрились блески от рвавшихся в воздухе ракет.

– Слышите, как ликует народ? – указал рукой за окно Розен. – Конец газавату! Отныне мир и покой воцарятся на Кавказе! Конец газавату! Нам было суждено покончить с ним, – гордо сказал Розен, пожимая руки теснившимся возле него генералам.

Если бы знали эти военачальники и рукоплескавшая им нарядная толпа, что война на Кавказе продлится еще двадцать семь лет и что самый страшный и грозный газават ожидает их лет через семь-восемь...

## Содержание

<i>Предисловие</i> .....	5
--------------------------	---

### ***Часть I***

<i>Глава 1</i> .....	11
<i>Глава 2</i> .....	13
<i>Глава 3</i> .....	32
<i>Глава 4</i> .....	49
<i>Глава 5</i> .....	61
<i>Глава 6</i> .....	68
<i>Глава 7</i> .....	75
<i>Глава 8</i> .....	82
<i>Глава 9</i> .....	87
<i>Глава 10</i> .....	93
<i>Глава 11</i> .....	108
<i>Глава 12</i> .....	118
<i>Глава 13</i> .....	124
<i>Глава 14</i> .....	132
<i>Глава 15</i> .....	138
<i>Глава 16</i> .....	145
<i>Глава 17</i> .....	159
<i>Глава 18</i> .....	178
<i>Глава 19</i> .....	184

## **Часть II**

<b>Глава 1</b> .....	<b>197</b>
<b>Глава 2</b> .....	<b>217</b>
<b>Глава 3</b> .....	<b>227</b>
<b>Глава 4</b> .....	<b>239</b>
<b>Глава 5</b> .....	<b>257</b>
<b>Глава 6</b> .....	<b>274</b>

## **Часть III**

<b>Глава 1</b> .....	<b>289</b>
<b>Глава 2</b> .....	<b>301</b>
<b>Глава 3</b> .....	<b>305</b>
<b>Глава 4</b> .....	<b>321</b>
<b>Глава 5</b> .....	<b>329</b>
<b>Глава 6</b> .....	<b>337</b>
<b>Глава 7</b> .....	<b>341</b>
<b>Глава 8</b> .....	<b>354</b>
<b>Глава 9</b> .....	<b>361</b>
<b>Глава 10</b> .....	<b>386</b>

## **Часть IV**

<b>Глава 1</b> .....	<b>397</b>
<b>Глава 2</b> .....	<b>414</b>
<b>Глава 3</b> .....	<b>422</b>
<b>Глава 4</b> .....	<b>430</b>
<b>Глава 5</b> .....	<b>439</b>
<b>Глава 6</b> .....	<b>463</b>
<b>Глава 7</b> .....	<b>481</b>
<b>Глава 8</b> .....	<b>529</b>
<b>Глава 9</b> .....	<b>550</b>

**Часть V**

<b>Глава 1.....</b>	<b>567</b>
<b>Глава 2.....</b>	<b>574</b>
<b>Глава 3.....</b>	<b>584</b>
<b>Глава 4.....</b>	<b>591</b>
<b>Глава 5.....</b>	<b>640</b>
<b>Глава 6.....</b>	<b>651</b>
<b>Глава 7.....</b>	<b>663</b>
<b>Глава 8.....</b>	<b>688</b>
<b>Глава 9.....</b>	<b>698</b>
<b>Глава 10.....</b>	<b>702</b>
<b>Глава 11.....</b>	<b>705</b>
<b>Глава 12.....</b>	<b>715</b>
<b>Глава 13.....</b>	<b>719</b>
<b>Глава 14.....</b>	<b>723</b>
<b>Глава 15.....</b>	<b>729</b>
<b>Глава 16.....</b>	<b>745</b>

**Хаджи-Мурат Мугуев**

## **БУЙНЫЙ ТЕРЕК**

Главный редактор С. В. Горшкова  
Корректоры Я. Т. Таймазова, А. Х. Сланова  
Верстка В. И. Андриянова  
Художник С. Б. Савлаев

Подписано в печать 10.02.2012.  
Формат издания 70х100/16. Печать офсетная.  
Гарнитура «SchoolBookС». Тираж 1000 экз. Заказ № 1506  
Издательство «Респект»

ООО «Респект»  
362027, РСО–Алания, Владикавказ,  
ул. Маркуса, 41 а, тел.: (8672) 50-09-04

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



*Приезд Шамиля и Гази-Магомеда в Араканы*





*По приказу Ермолова русская армия  
идет в атаку на аул Дады-Юрт*



*Елисуйский бек стреляет в Гази-Магомеда  
на гудекане в ауле Каракай*





*Нюша, доведенная до отчаяния,  
решает утопиться*



*Ермолов отчитывает статского советника Чекалова*





*Нападение русского отряда  
на армию царевича Мамеда*



*Бой под Шушей*





*Покидающий Кавказ опальный Ермолов  
прощается с Елохиным*



*Встреча А. С. Пушкина со швейцаром  
ресторана Кесслера, бывшим унтер-офицером Елохиным*





*Гази-Магомед въезжает в Черкей в сопровождении  
мюридов с раскрытым Кораном в руке*



*Дуэль между Небольсиным и Голицыным*





*Шамиль и тюриды убеждают сдаться Булаковича,  
засевшего в одной из саклей Андрей-аула*



*Небольсин в гостях у Туганова*



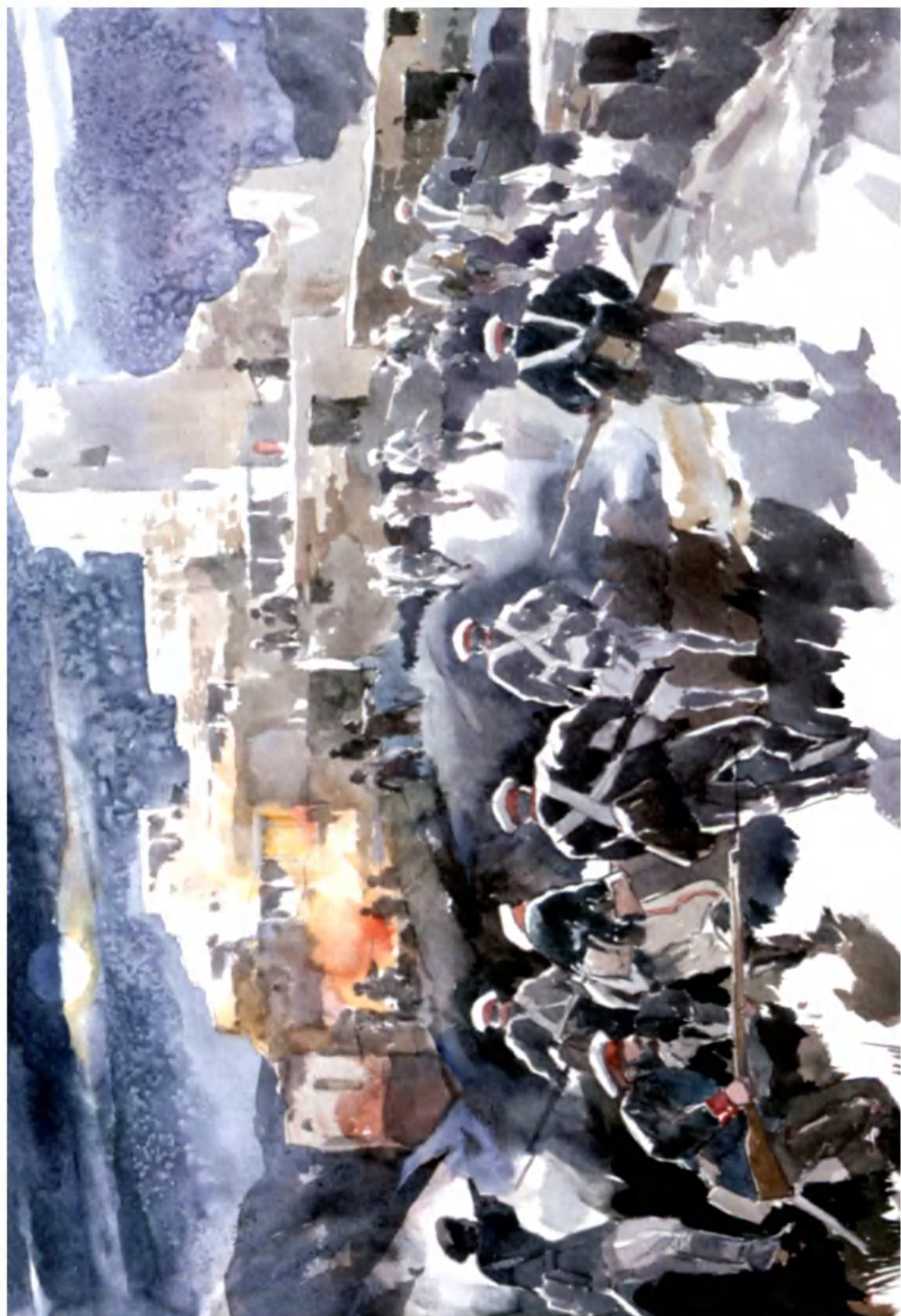


*Желтухин и Кунта-эфенди, давно мечтавшие встретиться на поле боя, схватились в рукопашной*



*Небольсин, Булакович и Филимонов прибыли к Гази-Магомеду с ответным письмом от Ключе*





*Русские штурмуют аул Гимры,  
в котором укрылся Гази-Магомед*



